россия в мемуарах

М. ДМИТРИЕВ

ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

россия в мемуарах

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

россия в мемуарах

М.ДМИТРИЕВ
ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Подготовка текста и комментарии
К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой, Т.Ф. Нешумовой

Вступительная статья
К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой

Серия выходит под редакцией
А.И. Рейтблата

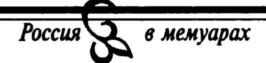
Оформление серии
Н. Песковой

Художник тома
А.А. Брантман

Дмитриев М.А.
Главы из воспоминаний моей жизни/Подготовка текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой и Т.Ф. Нешумовой. Вступительная статья К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой. М.: Новое литературное обозрение, 1998. 752 с.

Впервые публикуемая книга не уступает по своим литературным и познавательным достоинствам лучшим образцам русской мемуарной прозы. Пытливый и цепкий взор автора запечатлевает усадьбу симбирского помещика и Московский университетский благородный пансион, а затем и сам университет 1810-х гг., московский театр 1820-х гг., суд и уголовные процессы того времени, литературную жизнь 1820—1840-х гг. Среди персонажей книги: П.А. Вяземский, С.Т. Аксаков, П.Я. Чаадаев, С.Н. Глинка, М.П. Погодин и многие другие деятели отечественной культуры.

ISSN-0869-6365
ISBN 5-86793-023-8



МОСКОВСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Известный остроумец С.А. Соболевский сочинил некогда такую эпитафию:

Михайла Дмитриев умре!
Он состоял в девятом классе.
Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.

Историк и археограф П.И. Бартенев написал некролог, в котором можно было прочесть, в частности, следующие строки: «5-го сентября скончался в Москве, на 71-м году от рождения, один из старейших наших писателей, действительный статский советник Михаил Александрович Дмитриев. <...> М.А. Дмитриев некогда служил и в сороковых годах с неуклонною честию занимал важное место обер-прокурора в 7-м московском департаменте Правительствующего Сената; но в общем итоге его жизни гражданская служба почти незаметна по сравнению с тем служением русской словесности, коему он посвятил себя с молодых лет и до старости, до последних месяцев и даже дней своих»[1].

Эпитафия, написанная Соболевским в 1825 г., была на самом деле злой эпиграммой, и сообщение о смерти Дмитриева здесь не более чем литературный приём. С тех пор до 1866 г., когда Дмитриев скончался и «родные, друзья и знакомые с прискорбием проводили его на кладбище Данилова монастыря», прошло немало времени. Два этих отзыва можно считать полюсами, между которыми располагается весьма широкий спектр мнений современников о Дмитриеве. Хронологический момент верен здесь лишь отчасти: как в 1820-е годы многие не разделяли взгляда Соболевского, воспринимая Дмитриева и его труды всерьез, так и в 1860-е годы многие же считали его в лучшем случае забавным или досадным анахронизмом, в худшем — пугалом, литературным мертвецом.

* * *

Михаил Александрович Дмитриев, автор предлагаемых читателю воспоминаний, родился 23 мая 1796 г.[2] в селе Богородском Сызранского уезда Симбирской губернии, в родовитой и обеспеченной дворянской семье. Родители будущего мемуариста были вынуждены в пору его младенчества жить порознь: Александр Иванович Дмитриев служил в Суздальском мушкетерском полку, который летом 1796 г. был с Оренбургской линии переведен в Астрахань, затем принял участие в Персидском походе, а в мае следующего года отправлен в Георгиевск. Такая служба обрекала А.И. Дмитриева на разлуку с женой и сыном (они оставались в Богородском, на попечении его родителей) и, что было особенно тягостно, — на разлуку неопределенно долгую. Выйти в отставку не позволяло не столько честолюбие, сколько боязнь навлечь на себя неприятности: было хорошо из-

[1]Московские ведомости. 1866. 10 сентября.
[2]Даты везде приводятся по старому стилю.

вестно, что Павел I не любил подобных просьб и мог легко усмотреть в них непростительную дерзость. Скованность в действиях обернулась для А.И. Дмитриева и его близких подлинной трагедией: в 1798 г. он скоропостижно скончался в Екатеринодаре, так и не увидев больше ни жену, ни «милого Мишиньку»[1]. Марья Александровна Дмитриева (в девичестве Пиль) пережила мужа на восемь лет. Вскоре после его смерти она сильно простудилась и в результате перенесенной болезни оказалась прикованной к креслу. В воспоминаниях о ней сына, к сожалению, кратких и отрывочных, запечатлелся притягательный образ человека любящего, кроткого, искренне верующего.

Оставшись сиротой десяти лет, М.А. Дмитриев продолжал жить в доме деда, Ивана Гавриловича Дмитриева. Начальным образованием мальчика руководил «француз старого века», эмигрант Жорж Д'Англемон, по всей видимости, дворянин и человек просвещенный. В мемуарах своего воспитанника он обрисован с большой теплотой, хотя и не без доли иронии. У Д'Англемона Дмитриев учился французскому языку, древней истории, географии и мифологии; склонность к предметам гуманитарного цикла, определившаяся в раннем возрасте, сопутствовала ему на протяжении всей жизни. С малолетства пристрастившись к чтению, зная наизусть многие стихи, в том числе почти всё написанное его дядей, поэтом И.И. Дмитриевым, мальчик превосходно ориентировался в обширном книжном собрании деда и по его приказанию мог мгновенно отыскать нужную книгу, карабкаясь, «как белка, по полкам библиотеки, доходившим до потолка». С 1806 г. он стал внимательным и благодарным читателем журнала «Вестник Европы», а также других периодических изданий, которые получали в Богородском: «К именам Державина, Жуковского, да и ко всякому, кто только печатал под стихами свое имя, я чувствовал какое-то благоговение, как к существам высшей натуры»[2]. Сохранились два номера рукописного журнала «Русский вестник» (за январь и март 1809 г.), «издаваемого Михайлом Дмитриевым» и выходившего «в типографии Михайла Дми<триева>»[3]. Тексты, со вкусом расположенные «издателем» в аккуратно сшитых из серо-голубой бумаги тетрадочках форматом 8×5 см, весьма точно отражают жанровые предпочтения периодики того времени: это небольшое рассуждение о каком-либо античном муже (в богородском «Русском вестнике» — о Луции Крассе и Платоне) с приложением его портрета (оба рисунка пером выполнены самим Дмитриевым), басни, мадригал, «мелочи» (анекдот, загадка, эпиграммы, «надгробия»). Безусловное пристрастие двенадцатилетний журналист питал к поэтическим произведениям своего дядюшки: номер за март практически целиком состоит из них (переписаны басни и классические «безделки»); сочинения других поэтов представлены в журнале одной-единственной «Песнью на случай мира» П.Соковнина. Ощущение собственной, пусть опосредованной, причастности к литературе не только доставляло молодому Дмитриеву немало удовольствия, но и вырабатывало вкус и чувство стиля. Так, в объявлении, помещенном в мартовской книжке, наивно и в то же время уверенно воспроизведена характерная для 1800-х гг. интонация журналиста, веду-

[1]РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 10. Л. 2 (письмо А.И. Дмитриева к жене от 23 февраля 1797 г.).

[2]«Главы из воспоминаний моей жизни», гл. 1. В дальнейшем цитаты из этих мемуаров М.А. Дмитриева приводятся без ссылок.

[3]РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 8.

щего печатный разговор с публикой: «Издатель обещается при следующих некоторых нумерах напечатать портреты великого князя Рюрика и Владимира».

После отъезда Д'Англемона из Богородского и неудачного опыта занятий с суровым и вспыльчивым дедом, мгновенно превратившихся в сущее наказание, в феврале 1811 г. Дмитриева отправляют для продолжения обучения в Москву, под присмотр Бекетовых, приходившихся ему родственниками по бабушке, Екатерине Афанасьевне Дмитриевой (урожденной Бекетовой). Разлука с домом и первая дальняя поездка (до этого мальчику случалось путешествовать только в пределах Симбирской губернии) положили начало расставанию с детством. Нам показалось важным подробно остановиться на первых пятнадцати годах жизни Дмитриева не только по причине особой значимости детства в судьбе любого человека, но и потому, что черты домашнего уклада, воспринятые в раннем возрасте как незыблемые и основополагающие, впоследствии определяли мировоззрение Дмитриева, его литературную позицию, круг предпочтений и многое другое. Размеренная и небогатая событиями жизнь в деревне, бок о бок с природой сформировала своеобразную идилличность видения мира; постоянное общение с людьми старшего поколения, к тому же провинциалами (всегда «запаздывающими» по сравнению с обитателями столиц лет на 30—40), дало в результате многостороннюю «укорененность» Дмитриева в XVIII столетии. Отсутствие в семействе увлечения модными политическими и экономическими теориями, как представляется, сказалось в том, что Дмитриев, с отроческих лет вращавшийся в среде, которая дала целую когорту будущих декабристов (Московский университетский благородный пансион и университет, кружок молодых чиновников из канцелярии московского военного генерал-губернатора Д.В. Голицына), близкий многим из них по возрасту и полученному образованию, не входил в состав ни одного из тайных обществ.

С 1811 по 1812 г. Дмитриев учился в Благородном пансионе, а с 1813 по 1817-й — в Московском университете. Студенты, обучавшиеся на собственный, а не казенный счет, обязаны были посещать лишь те лекции, «которые требовались для получения коллежского асессорства» (то есть для последующей сдачи экзаменов на этот чин, введенных высочайшим указом 6 августа 1809 г.), прочие они могли выбирать «по собственной наклонности к той или другой науке». Курс учения Дмитриева состоял из предметов, входивших в программу двух факультетов: словесного и этико-политического (юридического); посещал он также лекции по физике.

Служебная карьера Дмитриева складывалась довольно прихотливо. Еще в феврале 1805 г. он был принят актуариусом в Московский архив Коллегии иностранных дел, но, разумеется, лишь числился там. С декабря 1811 г. он состоял в должности переводчика и, учась в пансионе, по понедельникам ездил в архив, хотя обязанности его не были многосложны; в 1814 г. был произведен в титулярные советники, а в 1818-м, через год после окончания университета, — в коллежские асессоры. Отсутствие у Дмитриева глубокого интереса к профессиональным историческим штудиям, сложные отношения с начальником архива А.Ф. Малиновским, а также, по-видимому, дефицит сколько-нибудь заманчивых карьерных перспектив — все это подготовило его переход чиновником для особых поручений в канцелярию московского военного генерал-губернатора.

В этом качестве Дмитриев прослужил весьма недолго (с ноября 1825 по февраль 1826 г.), но общение с Д.В. Голицыным оказало заметное влияние на весь дальнейший

ход его жизни. Неповторимое обаяние Голицына, одного из последних «вельмож александровского благородного времени», сообщалось кругу служивших при нем одаренных молодых людей, что создавало в этой среде на редкость насыщенную интеллектуальную и светскую атмосферу. Кроме того, именно здесь юридическое образование Дмитриева оказалось востребованным — он начал заниматься судебными делами в уголовном комитете, который был учрежден Голицыным, так сказать, «домашним образом» — для предварительного рассмотрения решений двух департаментов уголовной палаты и их возможного уточнения. Вскоре, успев приобрести некоторый опыт, Дмитриев получил место судьи в Московском надворном суде, а в 1828 г. — должность советника в 1-м департаменте Московской уголовной палаты.

Без всякой натяжки можно сказать, что Дмитриев нашел себя в службе по юридической части. Рациональность и логичность умозрительных правовых конструкций хорошо отвечали складу его мышления. Зависимость людских судеб от верности вынесенного им решения давала пищу его обостренному, хотя и несколько абстрактному, чувству, справедливости и желанию быть полезным. Безусловно, несовершенства российской судебной системы, отразившиеся в судебных делах пороки людей и общества глубоко его удручали. Вместе с тем эта коллизия находила отклик в той стороне сознания Дмитриева, которую мы выше назвали идиллической: потрясение от столкновения с реальной жизнью искупалось возможностью подтвердить собственную просвещенность и по мере сил облагораживать печальную действительность.

Назначение в 1833 г. за обер-прокурорский стол 6-го (московского) департамента Сената, последующее повышение в должности до обер-прокурора 7-го департамента (1839), а затем заведующего делами общих собраний московских департаментов Сената (1843) было для Дмитриева не только карьерным взлетом. На это время пришелся и расцвет его служебных дарований. В мемуарах он касается, конечно, далеко не всех дел, которые ему приходилось решать. Тем не менее доля «судебных эпизодов» в его воспоминаниях весьма значительна (по сравнению с записками других его коллег-юристов — скажем, А.И. Кошелева), а изложены они настолько изящно, профессионально и живо, что «Главы...» помимо их основной — мемуарной — ценности безусловно можно считать еще и важным источником по истории российской судебной системы.

Независимое поведение Дмитриева, его постоянные апелляции к Закону как таковому, нежелание понимать намеки и считаться с личными соображениями вышестоящего начальства вызвали ненависть министра юстиции В.Н. Панина. В 1847 г., после ревизии, произведенной в канцелярии 7-го департамента, Дмитриеву было (без всякого основания) поставлено в вину большое количество нерешенных и не сданных в архив дел, что и явилось поводом для его увольнения от службы. После отставки в его жизни надолго образовалась пустота. Несправедливость происшедшего ощущалась особенно остро ещё и потому, что Дмитриев, в течение многих лет живший в основном на жалованье, был уволен без пенсии. К положению «помещика поневоле», к избытку свободного времени ему пришлось долго и мучительно привыкать.

* * *

В «Главах...» Дмитриев прямо указывает на то, что целый ряд дисциплин преподавался в университетском благородном пансионе на редкость поверхностно. Однако на

риторический вопрос: «Что же хорошего было в этом пансионе?» — он отвечает: «Вот что: литературное образование». Словесности отводилось много часов в учебных курсах, воспитанников поощряли к самостоятельному творчеству. Во времена учебы Дмитриева продолжало действовать учрежденное в 1801 г. «Собрание питомцев благородного пансиона», основателем и первым председателем которого был В.А. Жуковский. Тяга Дмитриева к литературе в таком контексте не могла не восприниматься как естественная. Вскоре в одном из пансионских сборников появляется переведенное им с французского жизнеописание «Младший Плиний»[1].

С этих пор Дмитриев регулярно печатается в московской (и реже — в петербургской) периодике, помещая как собственные поэтические опыты, так и переводы (из Шиллера, Гете, Ф. Маттисона, Ж. Делиля, Ж.П. Флориана). В 1816 г. он становится членом-сотрудником, а в 1820-м — действительным членом Общества любителей российской словесности при Московском университете; в 1824 г. по предложению К.Ф. Рылеева его избирают членом петербургского Вольного общества любителей российской словесности. В 1830 г. выходит (в двух частях) сборник «Стихотворения Михайла Дмитриева». Помимо элегий, басен, переложений псалмов, посланий в нем содержались стихи «философического» характера, отразившие, в частности, глубокий интерес автора к идеям Ф. Шеллинга. Не случайно, что тогда же Дмитриев печатает в журнале «Московский вестник» ряд статей, посвященных религиозно-философским вопросам: стихи, по его замечанию, «отзывались в это время тем важным настроением души моей, которое выражалось в прозе».

Во второй половине 1820-х гг. Дмитриев пишет немного, но с начала 1840-х возвращается к активной литературной деятельности. В «Москвитянине» появляются его стихи, статьи, заметки и рецензии; на протяжении 1851 г. он вел библиографический отдел этого журнала.

В 1865 г. вышел новый двухтомник: и название («Стихотворения М.А. Дмитриева»), и типографическое исполнение подчеркнуто сближали его с изданием более чем тридцатилетней давности. Однако эта книга включала только стихи, написанные после 1830 г. Нисколько не рассчитывая на успех («<...> знаю, что мои стихи никому не нужны и вероятно не будут иметь читателей, зато и печатаю только в количестве трехсот экземпляров»[2]), автор все же счел возможным обнародовать плоды своего труда — как напоминание о времени, «когда уважалась любовь к поэзии»[3]. Надо заметить, что это Дмитриеву удалось. П.И. Бартенев в цитированном выше некрологе пишет: в стихотворениях Дмитриева «мы думали было услышать запоздалые звуки поколений прошлых, и вместо того нашли страницы, писанные недавно и удивляющие как силой стиха, так и меткостью иронии»[4].

В первой части этого издания помещено датированное 17 января 1863 г. стихотворение «О чем я думаю». Как нам представляется, оно может быть названо лирическим кон-

---

[1]В удовольствие и пользу. Ч. 2. М., 1811.

[2]Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23162. Л. 31 об. (письмо к М.Н. Лонгинову от 15 ноября 1865 г.)

[3]РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 12. Л. 2 (неопубликованное предисловие к сборнику 1865 г.).

[4]Московские ведомости. 1866. 10 сентября.

спектом дмитриевских «Глав из воспоминаний моей жизни», и потому мы сочли возможным привести его целиком.

О чем я думаю? — Я думаю о том,
Как бегал мальчиком я по родному лугу,
Как прятался в траве. — Покорная недугу,
Больная мать моя сидела под окном,
И кликала меня, боясь, чтоб я далеко
Не убежал, резвясь, на мост, на пруд глубокой!

А лето ясно так бывало в старину!
Гроза, и ливный дождь, и вспыхнет солнце жаром,
Зеленая трава дохнет душистым паром,
И долог, долог день, и нас, детей, ко сну
Насильно отведут: так жить — бывало в радость,
Что чувство бытия само уж было сладость!
Я думаю о тех надежды светлых днях,
Когда так мир хорош, так поприще обширно,
Когда я в первый раз в долине нашей мирной
Нежданную любовь нашел в младых играх;
Рос с нею; сочетал судьбу с судьбой, мне милой,
И через год стоял над свежею могилой!

Я думаю о тех мечтах души младой,
Привыкшей с детских лет родную слышать лиру,
Когда и мне легко казалось внятный миру
Поток высоких чувств излить перед толпой!
Но век уж был не тот: корыстный и холодной,
Он слух свой отвращал от песни благородной!

Я думаю о том избытке сил, когда
Гражданским мужеством душа моя кипела,
Боролась с сильными, и верой пламенела
На землю низвести луч Божьего суда!
Но сила превзмогла; душа в борьбе устала,
А месть змеей ползла и исполином встала!

Я думаю о том, что много прожил я,
А мало повстречал добра на белом свете;
Что тридцать гнета лет убили жизнь во цвете,
И что прошла в трудах без пользы жизнь моя;
Что вольный воздух был для сильной груди нужен,
Что душен был наш путь, порыв обезоружен!

Я думаю о том, что всё прошло как сон,
Игры младенчества, дни юности счастливы,
И мужества души бесплодные порывы;
Что жизнь обманчива, что ею отягчен,
Согбенный над землей, где бодрость, духа силы
Не нужны никому, я молча — жду могилы!

Через год Дмитриев принимается за исполнение давнего замысла: он начинает писать пространное автобиографическое повествование. Ранее в «Мелочах из запаса моей памяти» (о них см. ниже) он фиксировал в первую очередь то, что касалось литературы, писательских судеб и репутаций, сознательно отводя собственную фигуру на дальний план рассказа. «Главы из воспоминаний моей жизни» — история индивидуального бытия, воссоздающая попутно множественность и масштабность связей героя-автора не только с другими людьми, но и с эпохой в целом. В названии мемуаров отражена присущая им в известной мере фрагментарность (память по природе своей мозаична), однако сочинение Дмитриева оказалось не только монументальным, но и связным, ярким, живым, захватывающе интересным — может быть, лучшим из написанного им.

«Главы...» открываются Введением — подробной генеалогической росписью Дмитриевых, возводивших свой род к Владимиру Мономаху. Несмотря на то что есть основания сомневаться в действительном их происхождении от Рюриковичей, для М.А. Дмитриева это было неоспоримым фактом и стало своеобразной *idée fixe*. Во Введении мемуарист прямо называет членов царствующего дома голштинцами (не претендуя на престол, а лишь подчеркивая древность своей фамилии)[1]. Читатель вправе ожидать и в ходе дальнейшего рассказа повышенного внимания автора к происхождению описываемых лиц, однако упоминания о титулах и родовитости, с одной стороны, и плебейском происхождении — с другой, служат, как правило, лишь объяснением их достоинств или недостатков. На протяжении многих лет одним из самых близких Дмитриеву людей, его единомышленником по многим вопросам и литературным соратником был М.П. Погодин, сын отпущенного на волю крепостного.

Это противоречие в мемуарах Дмитриева и в самой личности их автора далеко не единственное. В свое время А.И. Герцен заметил: «Дмитриев бранит (с умеренностью) все — и недоволен, что Белинский не имеет достаточного уважения к тому, к чему он сам не имеет уважения»[2]. Подтверждений подобной непоследовательности в тексте «Глав из воспоминаний моей жизни» предостаточно: похвалы провинциальной патриархальности соседствуют с нападками на нее, осуждение общего образования — с защитой общего образования, сосредоточенность на вопросах веры и нравственного совершенствования — с явным недостатком смирения и снисходительности, филиппики в адрес дореформенного суда — с отрицанием необходимости в «Своде законов», удовольствие от получения орденов — с выпадами против этих же орденов, призывы к гласности — с отыскиванием достоинств в крепостных порядках. Дмитриев поддерживал приятельские отношения с целым рядом описанных им в мемуарах лиц, однако читатель столкнется с насмешливыми, пренебрежительными, а подчас и неприкрыто враждебными отзывами о многих

[1]Сведения о своих предках М.А. Дмитриев черпал главным образом из «Выписи о происхождении и службах Дмитриевых», составленной в Московском архиве Коллегии иностранных дел по прошению И.И. Дмитриева в 1817 г. в связи с ходатайством последнего о внесении в родовой герб княжеских короны и мантии. Подробнее о создании «Выписи» и выдержки из нее см.: *Беспалова Е.К.* Род и предки И.И. Дмитриева // Симбирский вестник: Историко-краеведческий сборник. Ульяновск, 1993. Вып. 1. С. 34—44.

[2]Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 245 (дневниковая запись от 23 ноября 1842 г.).

из них[1]. Перечень можно продолжить, и ссылками на возраст (Дмитриев работал над воспоминаниями на исходе седьмого десятка) такого количества странных, иной раз вопиющих несоответствий не объяснить. Скорее, наоборот: свойственная пожилым людям раздражительность, старческий негативизм делают автора менее сдержанным, и он «проговаривается», не желая согласовывать свои высказывания. За противоречащими друг другу словами стоит, разумеется, непростой характер, но не только это.

Дело в том, что создать сколько-нибудь цельную систему взглядов Дмитриев, по-видимому, и не пытался. На первый план в его воспоминаниях выходят симпатии и антипатии, склонности и пристрастия, в конечном счете — впечатления детства и юности, а также черты жизненного уклада (среди них стоит выделить коллекционирование эстампов и библиофильство, масштаб которого мы попытались донести до читателя с помощью отсылок в комментариях к материалам книжного и рукописного собраний семьи мемуариста). Сознание Дмитриева, как уже говорилось, может быть названо идиллическим: носителю такого сознания присущ страх перед чужим миром и нежелание подолгу в нем находиться. Под «своим» миром следует в данном случае понимать не только пределы собственной комнаты или дома, но и семью, поместье, круг давних знакомых, Москву, а также — что весьма важно — целый ряд литературных топосов и эпох, осознанных как *свои* и противопоставленных *чужим*.

Сформировавшееся в эпоху Просвещения и развитое в рамках романтической эстетики восприятие детства и юности как «золотой поры» жизни, а следующих за ними лет — как периода разочарований и утрат, безраздельного господства рока свойственно Дмитриеву в высшей степени. Обретенная идиллия всегда неустойчива и уязвима, и это касается разных сторон существования. Так, сравнительно либерального Александра I сменяет на престоле деспот Николай. Неостановимо уходит в прошлое близкая Дмитриеву, описываемая в восторженных тонах литературная эпоха 1810-х — первой половины 1820-х гг. И собственное бытие охарактеризовано Дмитриевым как цепь безуспешных попыток сохранить обретенную на время гармонию. Женитьба на Наташе Быковой, которую он полюбил, когда ему было 14 лет, есть восстановление семейственности, утраченной с кончиной родителей, однако смерть скоро отнимает у Дмитриева возлюбленную; второй и, вероятно, самый счастливый брак (всего Дмитриев был женат трижды) также был недолгим. Погружение в служебные дела, успешный ход карьеры были грубо оборваны отставкой. Будучи «опрокинута» в прошлое и пронизана воспоминаниями, преданиями, милыми сердцу мелочами, идиллия лишена возможности видоизменяться, приобрести новые черты. Ее неизбежное разрушение в конце концов обрекает мемуариста на пессимизм, брюзжание и непоследовательность.

Для историка идей «Главы из воспоминаний моей жизни» могут оказаться раздражающим чтением именно в силу этой противоречивости. В качестве выразительного примера укажем на отношение Дмитриева к его дядюшке Ивану Ивановичу.

Узы родства изначально отводили будущему автору «Глав...» строго определенную роль: ему следовало быть племянником своего дяди. Для человека молодого, еще ничем себя

---

[1]Мотивы и механизм последовательного снижения (с элементами моральной дискредитации) Дмитриевым образов С.Т. Аксакова, Ф.Ф. Кокошкина, А.И. Писарева убедительно раскрыты О.А. Проскуриным (Новое литературное обозрение. 1992. № 1. С. 197–201).

не прославившего, но самолюбивого и небесталанного она сводилась к парализующей несамостоятельности и пребыванию в тени дяди — большого поэта и государственного деятеля. В силах И.И. Дмитриева было сделать эту роль менее тягостной, однако он и пальцем не пошевелил для этого.

Стихотворец, роль которого в формировании языка русской поэзии признавали все писавшие после него, при жизни вошедший в литературный пантеон и сумевший сойти с поприща словесности удивительно вовремя, министр, не запятнавший своей репутации ни скандальными историями, ни низкопоклонством, тонкий и остроумный собеседник, друг Карамзина, умело создавший свой собственный образ в глазах младших современников, Иван Иванович Дмитриев в семейном общежитии был человеком холодным, капризным, придирчивым и тяжелым. Жуковский не случайно назвал его «добрым эгоистом». Однако если своему младшему современнику И.И. Дмитриев запомнился в первую очередь добрым, то его близкие, увы, сталкивались чаще со второй половиной этой удачной формулы. Доброта была для него скорее обдуманной линией поведения, чем неотъемлемым качеством характера. Расхожее клише «Дмитриев — русский Лафонтен», в основе которого лежит общность жанровых предпочтений, оборачивается в этом контексте другой стороной: французский поэт, как известно, был из рук вон плохим семьянином, жил отдельно от жены и детей и, по легенде, при встрече не узнал своего сына.

Надо отдать должное Дмитриеву-младшему: он старался быть объективным по отношению к дяде — и потому, что высоко ценил его как поэта, и потому, что видел от него немало добра и был многим ему обязан. Однако в упоминаниях о том периоде жизни, когда ему пришлось жить под одной крышей с дядей (1815—1820), неизменно проскальзывает обида заброшенного ребенка, сироты, оторванного от родного дома и близких.

Противопоставление характеров «чувствительного и холодного», развитое в одноименном эссе Карамзина, было одним из опорных в культуре сентиментализма. Для М.А. Дмитриева оно стало меркой, с которой он подходил к окружающим его людям и семействам. Его так влекло в дома Вельяминовых-Зерновых, Долгоруких, Бакуниных, Левашовых именно потому, что общение с дядей не удовлетворяло его тяги к взаимной доброжелательной открытости близких людей: разговор И.И. Дмитриева «всегда был умный, но холодный, равнодушный, не интимный. А молодому человеку всего нужнее теплота добродушия и простота семейного быта». Холодность поэта-министра к племяннику, возможно, объясняется и тем, что в первой половине 1790-х гг. отец последнего, А.И. Дмитриев, человек одаренный, жизнерадостный и кроткий, был ничуть не менее (если не более) задушевным приятелем Карамзина, чем его брат Иван Иванович, который впоследствии приложил немало усилий к тому, чтобы никто не мог усомниться в исключительности его дружбы с историографом. Ревность, которую Иван Иванович наверняка испытывал в свое время к старшему брату, вполне могла обернуться некоторой невольной неприязнью по отношению к его сыну.

Как нельзя ярче эта неродственная позиция Ивана Ивановича проявилась в 1824 г., в ходе острой полемики М.А. Дмитриева и П.А. Вяземского о романтизме по поводу пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан». Старший Дмитриев не только безоговорочно принял сторону Вяземского (причем принципиальные литературные соображения здесь не просматриваются: отношения Ивана Ивановича с Пушкиным в ту пору были весьма

прохладными из-за неблагосклонного отзыва маститого стихотворца о поэме «Руслан и Людмила»), но и не сделал ничего, чтобы примирить спорящих, хотя мог выступить, например, в столь естественном для литературного патриарха амплуа третейского судьи. По словам М.А. Дмитриева, со стороны дяди он встретил «полное негодование» и отказ принимать его у себя, чего совершенно не ожидал. На упреки своего двоюродного брата П.П. Бекетова Иван Иванович отвечал, что Вяземский — сын его друга. «Бекетов возразил ему, — пишет М.А. Дмитриев, — что я еще к нему ближе: сын его брата! Ничто не помогло: мы с дядей расстались». Разрыв этот не был бесповоротным: через несколько месяцев Дмитриевы примирились — благодаря стараниям князя Д.В. Голицына, пригласившего обоих в числе других литераторов к себе на обед. Однако в результате журнальной войны с Вяземским к младшему Дмитриеву пристала колкая кличка «Лжедмитриев», задевавшая его и без того обостренное самолюбие.

По словам М.А. Дмитриева, отношение к нему Ивана Ивановича сказывалось не только на литературной, но и на служебной репутации. Согласно неписаным правилам, пожилому и влиятельному бездетному родственнику следовало если не опекать единственного сына покойного брата, то уж, во всяком случае, не отказывать ему в помощи в случае служебных затруднений. Однако И.И. Дмитриев руководствовался скорее собственными капризами, чем сложившимися нормами, и подавал племяннику повод к желчным замечаниям: «Большая невзгода иметь родственника высокого звания, если он не оказывает справедливости. <...> Если что получишь, всякой думает: «Дядюшка выпросил». — А если догадаются, что дядюшка не выпрашивает, всякой думает: «Что-нибудь да есть, когда и дядя не хлопочет». <...> А мой знатный дядя был таков, что при всяком успехе моем по службе он расцветал радостно, потому что и на него некоторым образом отражались мои успехи: я делался известным уже племянником известного дяди; а при первой неудаче он первый, бывало, сделается ко мне холоден и пойдет против меня же». Последовательное установление дистанции между дядей и собой, отделение собственных заслуг от дядиной помощи было одной из важных задач при создании мемуаров, и здесь М.А. Дмитриев вряд ли значительно искажает события и сгущает краски.

Если основным критерием оценки близких (родственников, приятелей, друзей) служит оппозиция «чувствительность — холодность», то в качестве универсальной шкалы при характеристике остальных лиц выступает у Дмитриева противопоставление просвещенности (то есть образования, воспитания и ума) — невежеству (необразованности, невоспитанности, глупости, приверженности предрассудкам), столь характерное для XVIII столетия. И также вслед за веком Просвещения Дмитриев при создании образов неприятных ему людей часто прибегает к открытой сатире, так что отдельные персонажи его мемуаров явно тяготеют к тем или иным амплуа классической комедии (например, «плюгавый старик» А.А. Наумов, хищные судейские чиновники М.Е. Марков и Ф.В. Кондырев, перезрелая старая дева В.И. Долгорукая, «два молодца из военных», глупые и жадные мужья двоюродных сестер Дмитриева — П.Е. Матюнин и Н.А. Нефедьев). Комический эффект возникает здесь не за счет ситуаций или отдельных черт тех или иных героев. В смехе Дмитриева, как правило, не находится места даже малой толике симпатии к осмеиваемым, нет в нем и юмора; портреты, которые создает мемуарист, скорее напоминают карикатуры. Смешное для Дмитриева — лишь одна сторона опасного, грозящего

разрушением общественных и культурных основ. Негодующий смех — естественная реакция на невежество и единственное оружие против него.

На низшую ступень культурной иерархии вполне логично попадают крестьяне: в их изображении превалируют описания нравственных изъянов и предрассудков. Фольклор Дмитриев считал исключительно «памятником старины», с раздражением отзывался об «эпидемии нынешней нашей словесности» — «пошлых сказках и тошных песнях, и розысках об них»[1] и рассматривал устное народное творчество как низшую по сравнению с литературой ступень развития творческого начала. Нигде не уподобляя крестьян быдлу, он явно считал их «дикой силой». Поэтому в его описаниях деревни отчетливо различимы некоторые черты, характерные для повествований путешествовавших по России цивилизованных европейцев XVIII в., в первую очередь внимание к этнографическим деталям (одежда, пища, праздники, нравы, отношения полов).

Последовательный противник всякого деспотизма, насилия и цензуры, он тем не менее вовсе не был горячим сторонником освобождения крестьян, полагая, что крепостная зависимость от помещика (в сравнении со свободным состоянием) дает им, невежественным, определенные преимущества, а самое главное, обеспечивает общественную стабильность. Будучи вынужден после отставки сделаться хозяином-помещиком и, предпочитая город, много времени проводить в деревне («это, — с горькой иронией писал он П.М. Бакуниной, — не то, что подмосковная дача»[2]), Дмитриев оказался в числе тех, кто всецело зависел от сельских доходов и впоследствии много потерял в результате крестьянской реформы. Чувство досады и негодования, вызванное необходимостью передать крестьянам значительную часть своих земель, было в нем так сильно, что он не останавливался перед вопиюще несправедливым обвинением: они-де «не проливали ни одной капли крови за отечество, но зато не прольют ни одной капли сивухи мимо рта!»

Мир народной культуры остался Дмитриеву глубоко чужд, враждебен и абсолютно непонятен; единственным качеством, примирявшим Дмитриева с мужиком, становилась обязанность и способность последнего работать на господина. Почти неизбежное в этой ситуации уподобление себя античному философу, окруженному бездушными рабами, во многом предопределило обращение к Горацию. Весьма примечательно, что в выполненных Дмитриевым переводах «Науки поэзии» и «Сатир» Горация (опубликованы в 1853 и 1858 гг. соответственно) рецензенты увидели не только соблюдение буквы, но и воспроизведение духа подлинника.

В деревне Дмитриев обращается к устройству усадебного парка. Он с удовольствием и особенной теплотой рассказывает в мемуарах и письмах о своих трудах и успехах на этом поприще: «<...> у меня теперь в саду такая густота и тень, что я не налюбуюсь! А большая часть сада насажена моими руками. Даже есть целая сосновая роща, которую я садил сам, и которая успела уже вырасти с тех пор, как я сделался деревенским жителем»[3]. В данной ситуации он вдохновлялся прежде всего примером Горация, но навер-

[1]Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23162. Л. 10 об. (Письмо к Лонгинову от 9 марта 1859 г.).

[2]РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 3. Л. 1 об. (письмо от 18 января 1852 г.).

[3]РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 4. Л. 1. (письмо к С.В. Лепехину от 3 июня 1862 г.).

няка вспоминал и об И.И. Дмитриеве, также любившем на склоне лет работать в саду. Важно и другое. Дмитриев умел тонко чувствовать красоту ландшафта, не затронутого вмешательством человека. Однако в деревне первозданная природа становилась аналогом нецивилизованного крестьянского мира, поэтому создание парка было равнозначно расширению обжитой (культурной) территории, отдалению границ враждебного мира, маленькой победе над дикостью.

Психологическая, эстетическая и языковая связь Дмитриева с XVIII столетием особенно ярко проявилась в конце его жизни. Еще в период учебы в университете он вынес из лекционного курса по эстетике, читанного профессором М.Т. Каченовским, не только прочные знания, но также охоту и вкус к дальнейшему штудированию эстетических трудов, в том числе немецких авторов (Г.А.Ф. Аста, И.А. Эбергарда, Ф. Бутервека, А.Г. Баумгартена). По всей видимости, Дмитриеву импонировала строгая систематичность их построений, выверенность формулировок. Полемические выступления Дмитриева середины 1820-х гг. (статьи по поводу «Бахчисарайского фонтана» и комедии «Горе от ума») во многом основывались, как замечает он сам, на стремлении осмыслить современный литературный процесс в устоявшихся эстетических категориях и получить в итоге не шаткое «поверхностное знание литературы», а «прочные основания». Полемика убедила Дмитриева в правильности избранного пути: «<...> я занялся прилежнее изучением немецких эстетиков. В это время и после я перечитал вновь известное прежде и многое прочитал вновь, но с сравнительною поверкою разных теорий, я обращал постоянное внимание на философские начала изящного как на жизнь его, как на источник, из которого должна истекать теория. Это изучение представило мне много умственного наслаждения и наделило меня многими верными и сладостными идеями об отношении духа человеческого к видимым, или ощущаемым, формам изящного». Попытка, а затем и постоянная потребность выработать такие «прочные основания» формировала у Дмитриева пристальное внимание к прошлому литературы, как далекому, так и недавнему.

К середине столетия журнальные «бои», которые Дмитриев вел в 1820—1840-е годы с «плебейским», по его мнению, направлением Н.А. Полевого и В.Г. Белинского, были безнадежно проиграны. Литературная ситуация изменилась коренным образом. Анахронизмом стали не только Ломоносов, Державин, Карамзин, но и Батюшков, Жуковский и, разумеется, сам Дмитриев. Литература сделалась профессиональным занятием, среди писателей заметное место заняли разночинцы; ушли в прошлое тесные родственные связи, буквально пронизывавшие и немало скреплявшие литературную среду, уютная общность сословного воспитания и самосознания. Окончание эпохи позволяло ее осмыслять и писать ее историю. Именно с завершением «золотого века» Дмитриев находит наконец ту роль, в которой получает признание современников, — он становится хранителем литературных преданий, пришедших большей частью из второй половины XVIII — начала XIX столетия. В 1851 г. он публикует в «Москвитянине» биографический очерк «Князь И.М. Долгорукий и его сочинения», в 1853—1854 гг. печатает в том же журнале «Мелочи из запаса моей памяти» (оба эти труда вышли отдельными изданиями, значительно исправленными и дополненными, в 1863 и 1869 гг. соответственно). «Мелочи» были доброжелательно встречены публикой; с большим воодушевлением о них отозвались профессиональные историки литературы, особенно Н.С. Тихонравов. Его замечание о том, что сочинение Дмитриева непременно сделается «настольною книгою

у всех занимающихся историею русской словесности»[1], оказалось пророческим. К Дмитриеву стали обращаться за сведениями, как к живой энциклопедии. Он не скупился на консультации и был склонен упорно отстаивать свои мнения[2]. Среди тех, кто высоко ценил его общество и познания, были М.Н. Лонгинов и П.И. Бартенев. Обоих Дмитриев привлек к сотрудничеству в издании документов из фамильного рукописного собрания: по его инициативе в 1866 г. вышли в свет мемуары И.И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь» с примечаниями Лонгинова, издание «Писем разных лиц к И.И. Дмитриеву» (М., 1867) осуществил Бартенев. Передавая Академии наук право на публикацию писем Карамзина к И.И. Дмитриеву, Михаил Александрович настаивал на том, чтобы именно Лонгинов составил к ним необходимый комментарий[3]. Лонгинов, в свою очередь, обсуждал с Дмитриевым ряд глав из написанной им книги «Новиков и московские мартинисты» (М., 1867)[4]. Дмитриев был признан знатоком в области литературного быта второй половины XVIII — начала XIX в. не только в кругу московских историков. Его переписка с Я.К. Гротом недвусмысленно свидетельствует о глубоком уважении ученого к знаниям и мнениям Дмитриева. Так, приводя в одном из томов подготовленного им издания сочинений Г.Р. Державина дату смерти А.Ф. Лабзина, Грот опирался именно на свидетельство своего московского корреспондента[5].

Кроме названных выше сочинений по истории словесности перу Дмитриева принадлежат и несколько мемуарных опытов. Это очерк «Воспоминание о С.Е. Раиче» (Московские ведомости. 1855. № 141) и не опубликованные при жизни Дмитриева записки о М.Н. Загоскине. В 1863 г. отдельной брошюрой выходит «Краткое жизнеописание М.А. Дмитриева», написанное им самим по просьбе С.П. Шевырева для задуманного, но так и несостоявшегося «Словаря воспитанников Университетского благородного пансиона». По всей видимости, эту книжечку Дмитриев хотел приложить к воспоминаниям, которые он начал писать 9 января 1864 г.

Не исключено, что замысел больших автобиографических записок начал складываться у Дмитриева еще в конце 1830-х годов, когда к нему перешел архив дяди Ивана Ивановича, в котором находилась и рукопись «Взгляда на мою жизнь». Дмитриев, несомненно, не раз прочел мемуары своего старшего родственника, много размышлял и над ними, и над перспективой их издания[6]. В первый номер начавшего выходить в 1841 г. погодинского журнала «Москвитянин» Дмитриев дал отрывок из «Взгляда...», повеству-

---

[1]*Тихонравов Н.С.* Сочинения. М., 1898. Т. 3, ч. 1. С. 236.

[2]Достаточно вспомнить его продолжительную (длилась около двух десятков лет!) полемику с Погодиным о годе рождения Карамзина. Звуча рефреном в письмах Дмитриева с конца 1840-х гг., она в середине 1850-х выходит на страницы печати (См.: Московские ведомости. 1857. № 135; Русский архив. 1865. № 12. Стб. 1534—1535).

[3]Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23162. Л. 37 (письмо к Лонгинову от 5 июня 1866 г.).

[4]Там же. Л. 29.

[5]*Зорин А.* Глагол времен // Зорин А., Немзер А., Зубков Н. «Свой подвиг свершив...». М., 1987. С. 125.

[6]См., напр., его письма к Погодину от 20 ноября 1847 г. (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 6. № 1. Л. 36 об.—37) и к Шевыреву от 17 декабря 1848 г. (РНБ РО. Ф. 850. № 28. Л. 13).

ющий о начале знакомства И.И. Дмитриева с Карамзиным. Тем не менее кристаллизация идеи собственных мемуаров и ее осуществление пришлись на конец 1850-х — середину 1860-х гг. Вышедшие к тому времени в свет дневники, записки и автобиографическая проза современников Дмитриева (С.П. Жихарева, Ф.Ф. Вигеля, С.Т. Аксакова), несомненно, оказали определенное влияние на замысел «Глав...» и его воплощение; в первую очередь, эти тексты самим фактом своего появления «вынудили» Дмитриева взяться за перо. Можно сказать, что Дмитриев, весьма ревниво относившийся к своему месту на Парнасе, вступил в очередное состязание с современниками. Его претензии на звание первого шеллингианца в России (резкая и устойчивая неприязнь Дмитриева к В.Ф. Одоевскому во многом объяснима, по замечанию О.А. Проскурина, именно чувством соперничества за данный «титул»), яркой фигуры московской интеллектуальной жизни 1820—1840-х гг., самобытного мыслителя, достойного внимания литератора — все это для публики представляло лишь исторический интерес и могло быть обосновано только в соответствующих жанрах, прежде всего в подробных мемуарах. Сделав себя центральной фигурой воспоминаний, логично было перейти от принципиальной мозаичности «Мелочей» к созданию цельного полотна и отказаться от сухости статей в пользу большей эмоциональности — как в повествовании о себе, так и в характеристиках окружающих.

Этот шаг был важен прежде всего для самого Дмитриева. Не собираясь публиковать «Главы...» при жизни, он давал себе полную волю в оценках, выборе и комбинировании сюжетов, последовательности изложения. Многие фрагменты «Мелочей...» Дмитриев почти без изменений воспроизвел в «Главах...», но встроил их в совершенно иной — автобиографический — контекст, и оттого они не потеряли своей значимости и не выглядят как неуместные длинноты.

Известно, что записанные М.Н. Лонгиновым литературные анекдоты (Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056) почерпнуты им из бесед с Дмитриевым. Трудно сказать однозначно, фиксировал ли их Лонгинов по памяти или у него была возможность использовать текст «Глав...». Во всяком случае, карандашные пометы, сделанные Лонгиновым на полях автографа дмитриевских мемуаров, убеждают в том, что он читал их с большим вниманием. Круг лиц, знакомых с «Главами...», точно не известен. О том, что их видел не только Лонгинов, но и Д.Н. Свербеев, можно судить по рукописному экземпляру первых девяти глав, который находится в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в фонде Чертковых (Ф. 445. № 190). Этот список, выполненный писарской рукой, отразил более поздний этап работы Дмитриева над текстом воспоминаний: в частности, здесь мемуары имеют другое заглавие — «Рассказы из моей жизни» (автор неоднократно именует так свой текст в публикуемом нами варианте). Многочисленные исправления (вставки на полях, перемены слов, зачеркивания), сделанные рукой Дмитриева в автографе воспоминаний, в писарской копии учтены. Текст первых семи глав несколько расширен, преимущественно за счет включения пространных фрагментов, посвященных впечатлениям раннего детства (эти вставки мы сочли возможным отразить в публикуемом тексте мемуаров, отметив их прямыми скобками).

Воспоминания Дмитриева остались незавершенными. Он не успел осуществить намерение «продолжать описание собственной... жизни» с середины 1850-х гг., высказанное в главе 22, последней из перебеленных им собственноручно. За текстом этой главы

следует дата окончания работы над ней — «3 августа. 1866». 5 сентября того же года Дмитриева не стало. Глава 23, речь в которой идет о Крымской войне и восшествии на престол Александра II, существует лишь в черновом наброске.

Ценность этих мемуаров как исторического источника была осознана исследователями давно. Материалы их использовались в ряде статей и книг[1], однако, по замечанию их первого публикатора, «сами тексты в сколько-нибудь репрезентативном виде в печать так и не проникали». Ситуация переменилась к лучшему в 1989 г.: именно тогда в журнале «Наше наследие» (№ 4) О.А. Проскуриным были напечатаны главы 11 и 12, рассказывающие о кончине Александра I, восшествии на престол Николая I, коронационных торжествах и деятельности тайной полиции. Публикации была предпослана информативная статья, тексту воспоминаний сопутствовал развернутый комментарий. В 1992 г. в первом номере «Нового литературного обозрения» читателям была предложена блестящая работа О.А. Проскурина об отражении литературной жизни Москвы 1820-х гг. в воспоминаниях Дмитриева, включающая и подробный разбор специфики авторской личности, а также две подробно откомментированные главы мемуаров — 10-я и та часть 11-й, которая осталась за рамками публикации в «Нашем наследии». Две первых главы со вступительной заметкой и примечаниями опубликованы Т.Ф. Нешумовой в шестом выпуске биографического альманаха «Лица» (М.; СПб., 1995). При подготовке настоящего издания мы опирались на разыскания О.А. Проскурина (так, написанные им примечания к 10-й главе были, с его любезного позволения, включены с необходимыми дополнениями и уточнениями в общий корпус комментариев).

Введение в научный оборот полного текста «Глав из воспоминаний моей жизни» не только позволит беспрепятственно черпать из них разнообразнейшие сведения: о словесности, журналистике, книгоиздании и книготорговле, театральной жизни, об университете, светских салонах, Сенате, судах, тюрьмах, о московском и провинциальном дворянском быте, о дорогах и почтовых станциях, болезнях и способах их лечения, о ценах на хлеб и проч. Безусловно, возникает необходимость поместить записки Дмитриева в некоторый мемуарный ряд, зафиксировать в них переклички с другими воспоминаниями о первой половине XIX столетия, выявить и подробно разобрать своеобразие их замысла, композиции, тона, пафоса. Не претендуя здесь даже на развернутую постановку такой задачи, отважимся лишь заметить, что среди давно признанных классическими образчиков этого жанра («Записок» Ф.Ф. Вигеля, С.Н. Глинки, Д.Н. Свербеева, «Литературных и театральных воспоминаний» Аксакова, «Записок студента» С.П. Жихарева, «Записок о моей жизни» Н.И. Греча) «Главы...» по праву займут свое место. Своим неповторимым своеобразием эти мемуары — резкие, безжалостные, скептические и в то же время на редкость проникновенные, исполненные глубочайшей преданности литературе, временами безупречные с точки зрения языка и стиля, детально прорисовывающие целую галерею картин из русской жизни прошлого века — обязаны личности их автора, Михаила Александровича Дмитриева.

---

[1]См.: *Грумм-Гржимайло А.Г., Сорокин В.В.* Общество громкого смеха // Декабристы в Москве. М., 1963; *Киселев-Сергенин В.С.* Цензурно-полицейский террор в литературе после 14 декабря 1825 г. по мемуарам М.А. Дмитриева // Литературное наследие декабристов. Л., 1975; *Каландадзе Ц.П.* Участие грузин в культурной и общественной жизни России в 1-й половине XIX в. Тбилиси, 1984; и др.

* * *

Текст «Глав из воспоминаний моей жизни» печатается по автографу, хранящемуся в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 178. Карт. 8184. № 1—2). В целом ряде случаев нами сохранены особенности авторской грамматики (к примеру, архаичное глагольное управление «недорого ценил его сочинениями»), орфографии (отражающей черты московского говора второй половины XIX в.: «скушно», «серьезно», «манор»,«латинской язык», «оравёр») и пунктуации (тире между предложениями, многочисленные точки с запятой и двоеточия), хотя в основном они приближены к современным нормам. Без специальных оговорок раскрыты сокращения имен и отчеств, денежных единиц, месяцев, исправлены очевидные описки; оставлены авторские разночтения в ряде имен собственных (Беккендорф — Бекендорф, Д'Англемон — д'Англемон). В квадратные скобки заключены пропущенные слова, восстанавливаемые по смыслу, в ломаных раскрыты сокращения.

Считаем приятным долгом выразить нашу искреннюю признательность всем, кто помог нам суждением, указанием или советом: М.С. Александровой, И.Л. Великодной, Е.А. Вульфиус, М.Л. Гаспарову, Р.М. Кирсановой, Л.А. Коробенко, Г.А. Космолинской, А.Л. Лифшицу, В.А. Мильчиной, С.И. Панову, О.А. Проскурину, К.Ю. Рогову, А.И. Серкову, а также Отделу редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ за предоставление иллюстративных материалов. Особенная благодарность — А.И. Рейтблату, который был одним из инициаторов настоящего издания и на всех этапах работы живейшим образом содействовал осуществлению этого проекта.

К.Г. Боленко, Е.Э. Лямина

ГЛАВЫ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
МОЕЙ ЖИЗНИ

Начинаем эту повесть,
Вопрошая нашу совесть:
Юным детям в поучение,
Добрым людям в прославление,
Беззаконным в посрамление[1].

Тут же краткая биография,
написанная по предложению Шевырева
для словаря русских авторов, который
не состоялся[2].

ВВЕДЕНИЕ
О роде Дмитриевых и моих предках

Прежде чем стану говорить о самом себе и рассказывать о собственной моей жизни, думаю, что надобно сказать о моем происхождении.

Род Дмитриевых происходит от князей Смоленских. Вот их постепенная роспись.

У великого князя Владимира Мономаха старший сын был *Мстислав*, князь Смоленской, который после отца был и на. великом княжении Киевском[3]. У Мстислава третий сын был *Ростислав*, князь Смоленской же, который тоже был потом на том же великом княжении[4]. У Ростислава были сыновья: Роман[5], Рюрик[6] и *Давыд*[7]. Роман был посажен на великое княжение Киевское великим князем Андреем Боголюбским, но сидел на Киеве всего два года[8]: однако вышел, сказано в летописи, своею волею. Впрочем, до него нам нет дела, потому что наш род шел от третьего брата Давыда. У него был сын *Мстислав*[9]; а у Мстислава *Ростислав*[10]. У этого второй сын был *Константин*; у него был сын *Феодор*; а у Феодора *Александр*, прозванный *Нетшею*, потому что, по старинному выражению, был *в нетех*. — В молодости своей, по причине утеснения в своем отечестве от литовцев и татар, он удалился в Германию, в немецкую землю, и вступил в иностранную службу, а возвратясь в Россию, отдался в покровительство великого князя Иоанна Даниловича Калиты и водворился в устрояемой тогда Москве. — Он был родоначаль-

ником Дмитриевых, Внуковых, Даниловых и Дмитриевых-Мамоновых[11]. Им пресекся титул князей Смоленских, но не род их: ибо у него, у последнего князя Смоленского, был сын *Дмитрий*, от которого и ведут род свой Дмитриевы[12].

Следовательно, мы происходим по прямой линии от Владимира Мономаха, и по мужской линии, а не по женской, как Романовы, мнимые родоначальники наших государей, которые совсем не Романовы, а происходят от голштинцев[13]. — Как это странно! — Наш предок потерял титул княжеской и ранг владетельного князя оттого, что ушел к немцам; а потомки немцев сидят на всероссийском престоле и присовокупили к своему титулу прозвание князей Смоленских!

Два сына Дмитрия, внуки последнего князя Смоленского Александра Нетши: *Иван* и *Михайло*[14], были родоначальниками двух отраслей, или двух поколений Дмитриевых. — У старшего Ивана, который был *боярином*[15], был сын Дмитрий же, которого двоюродный брат Григорий Андреевич был прозван *Мамон.* Но его потомство пресеклось, и прозвание Мамоновых перешло, не знаю почему, на потомков этого Дмитрия. Однако это прозвание Мамоновых было допущено только употреблением, а как фамильное отличие прибавлено к фамилии Дмитриевых не скоро, а уже в шестом колене. Трое из потомков Дмитрия, три брата: Михайло, Илья и Афанасий, испросили у царей Иоанна и Петра эту прибавку прозвища Мамоновых[16]. — Следовательно, Мамоновы имеют право на это прозвище не по прямому происхождению от Мамона, а, так сказать, косвенно; из чего следует еще, что мы, просто Дмитриевы, происходящие от другого брата, Михайлы, которому Мамон тоже был двоюродным братом, имеем равное право прозываться Мамоновыми, если бы было из чего хлопотать об этом.

Сказавши о происхождении, прежде я буду говорить о старшей линии Мамоновых, а потом о младшей, просто Дмитриевых, к которой принадлежу и я. Говоря об обеих, я буду упоминать только о людях более замечательных, хотя предки и тех и других всю жизнь свою служили разные царские службы. Лежебок между ними не было.

Григорий Андреевич Дмитриев, прозванный Мамоном, был (1500—1510) у великого князя Ивана Васильевича окольничим[17]. А сын его, Иван Григорьевич, был послан в Литву к великой княгине Елене, бывшей замужем за литовским великим князем Александром, с убеждением от ее отца, чтобы она, невзирая ни на льстивые обещания мужа, ни на самые мучения, не отступала от греческого православия и не склонялась к католицизму[18]. Потом он был отправлен в Крым к царю Мингли-Гирею с извещением о победе над литовцами при Ведроше и о подданстве разных князей с городами и

волостьми[19]. — В 1515 году он был уже боярином и от великого князя Василья Ивановича вторично ездил в Крым, для утверждения прежнего союза против Польши, где, в течение года претерпевши многие притеснения и огорчения, умер[20].

Один Дмитриев, из старшего поколения, Михайло Михайлович, при первом бракосочетании царя Алексея Михайловича был чашником и носил, сказано, перед царем вино, то есть подавал ему пить, а в 1654 году имел уже чин стольника[21]. Во время же похода против черкесов[22] и татар под начальством боярина и воеводы князя Григорья Семеновича Куракина[23] был его товарищем вместе с князем Борисом Мышетским, который против его, Дмитриева, *вчал места*; но 29 августа дана ему в местничестве на князя Мышетского государева грамота. Он, Дмитриев, перетянул тем, что велено *быть без мест*; а князь Борис Мышетской за то, что *начал место вчинать бездельно и государеву делу поруху чинить*, посажен был на один день в тюрьму[24].

Но всякое время переходчиво; видно, и тогда действовал дух времени или, простее сказать, дух необходимости. Другой Дмитриев же, стольник Василий Михайлович[25], через тринадцать лет после того подписался собственноручно, 1681 года, под соборным деянием о уничтожении местничества[26].

Последний, известный более всех, Дмитриев-Мамонов, *граф Александр Матвеевич*, был фаворитом Екатерины[27]. Он, кажется, не охотник был до деловых занятий, сколько ни вводила его Екатерина и в дела внутреннего управления, и в тайны дипломатии. Она при всех своих женских слабостях, происходивших от страстной ее натуры, была, однако, столь совестлива, что ей всегда хотелось прикрывать незаслуженные милости к фаворитам их великими способностями к трудам государственным; но не все были князья Орловы[28] и князья Потемкины[29]: с Мамоновым ее школа не удавалась! — Известно из записок современников, что она нередко жаловалась на это и говорила: «Не могу никак приучить к делам Александра Матвеевича!» — Наконец великая Государыня застала его, говорят, на своей постеле с фрейлиной княжной Щербатовой[30]. Как ревнивая и оскорбленная женщина, она рассердилась, потом поплакала, что известно из записок Храповицкого[31]; но потом, как великодушная Государыня, сочетала их браком и наградила по-царски. Однако она удалила их от двора.

Сын их был обер-прокурором Сената; потом, в отечественную войну 1812 года, он набрал на собственные деньги гусарской полк и им командовал[32]; наконец сошел с ума на том пункте, что он истинный наследник российского престола, и, пробывши в этом положении с лишком сорок лет, в совершенном одиночестве и отчуждении от людей, недавно умер на своей даче

в Васильевском[33]. Однако есть еще и ныне Дмитриевы-Мамоновы, но, кажется, не в богатом состоянии.

Теперь перехожу к младшей линии, к Дмитриевым просто, без прибавочного прозвания, к которым принадлежу и я. Упомяну тоже не о всех, а только о некоторых, более других замечательных. Прочих напомню только имена.

Я сказал уже, что у последнего князя Смоленского, Александра Нетши, был сын Дмитрий[34]. От младшего его сына *Михайлы* происходили: *Григорий, Иван старый, Василий* и *Арефий*, прозванием *Нехороший*[35]. Видно, за ним водилось что-нибудь дурное; ибо это прозвание, по свойству старинного своего значения, относится, без сомнения, не к безобразию лица. Но его сын *Константин Арефьевич* известен уже тем, что (в 1654 и 1655 г.) находился в Литовском походе[36], в числе кокшайских боярских детей, и потом за отличие был включен в список московских дворян, что тогда было очень важно и по увеличению оклада, и по некоторым правам, между прочим и по близости к царскому двору[37]. О подвигах его по службе можно заключить из того, что в грамотах, данных его сыну, говорится о наградах не за одни его собственные подвиги, но и за службу отца.

Сын его, *Семен Константинович*[38], кроме храбрости, оказанной против турок и татар, оказал еще важную услугу тем, что во время второго стрелецкого бунта один из первых пришел с своим полком на защиту царей Иоанна и Петра. Этот подвиг храбрости и усердия не остался с их стороны без воздаяния. В один и тот же день, 16 февраля 1684 года, он получил *три* похвальные грамоты, с пожалованием при том немалого количества земель, а именно: 1. За службу отца его, Константина Арефьевича; 2. За храбрость, против турок и татар оказанную; и 3. За охранение царских особ при бывшем в Москве мятеже и за неотлучное его пребывание при государях в селе Коломенском, в Савине монастыре в селе Воздвиженском и в Троице-Сергиевском монастыре. В 1704 году он был уже стольником и 27 февраля получил четвертую похвальную грамоту: «за службы предков его и отца его, которые службы, ратоборство и храбрость, и мужественное ополчение, и крови, и смерти нежаление, предки и отец его и сродники показали в прошедшую войну в коруне Польской и в княжестве Литовском»[39].

Так награждали в старину, когда не было еще ни звезд, ни лент[40]. Во-первых, эти награды заключали в себе не одно удовлетворение тщеславия, не одни наружные знаки честолюбия, а нечто существенное: земли[41], которые обеспечивали не только самого оказавшего услуги, но и потомство его; те земли, из которых немалая часть отнята у нас нынешним царем и отдана мужикам[42], которые не проливали ни одной капли крови за отечество, но

зато не прольют ни одной капли сивухи мимо рта! — Во-вторых, в грамотах писалось не так, как ныне: «в изъявление нашего благоволения» или глухо: «за усердную службу, начальством засвидетельствованную», а прописывалась подробно не только вся история подвигов получающего награду и, так сказать, вся история его служебной жизни, но вспоминались заслуги и отца его, и предков, и даже сродников. Луч славы и царской милости отражался на весь род, и минувший, и будущий, то есть и на предков, и на потомство! — У меня хранятся доныне все эти грамоты[43]. Каждая состоит из длинного листа в три четверти аршина ширины и аршина полтора или два длиною. Напечатаны они церковными буквами[44]; к каждой привешена на шелковом шнурке огромная восковая печать, а к заголовку грамоты приделана под фигурным шелковым картушем, обведенным шнурами, длинная, во всю грамоту, шелковая китайская материя, закрывающая и охраняющая всю грамоту.

Жалок тот потомок, который, глядя на подобные грамоты своих предков, не воспламенится и сам их рвением! — Вот именно в чем состоит значение иметь предков и знать их: у аристократии есть задатки, которых демократия не имеет. И потому напрасно нынешний дух унижает первую и возвышает последнюю: ее никак не возвысить, потому что нечем! — А что касается до собственных подвигов этих людей, о них что-то не слышно! — Все нынешние подвиги, особенно у людей демократической партии, состоят не в деяниях, а в так называемых убеждениях! Они горды своими *убеждениями*; но об них можно еще поспорить! Потомство, может быть, плюнет на эти убеждения.

Может быть, меня будут винить за эти и другие мои выходки против демократов; но я буду на это отвечать так: пока они нас не трогали, мы, имеющие предков, никогда, ни одним словом не укоряли их плебейским происхождением. Но с тех пор, как они подняли нос, оказывают нам гласно пренебрежение и ставят нам в укор наше благородное происхождение, с тех пор, как их газеты и журналы, романы, повести, комедии не дают нам проходу, — с тех пор, говорю, отпор наш не только законен, но и необходим. И потому мы имеем не только право, но даже обязанность, даже необходимость, в противоположность нам, выставлять во всей истине, то есть во всей черноте, их плебейскую натуру, от которой на Руси и обман, и пьянство, и криводушие, и вообще испорченность нравов; выставлять во всей наготе их плебейской род, в котором не обращаются, не находятся в общем обращении понятия о правах и обязанности, о долге и чести, о справедливости и

честности, может быть, и потому, что ничего этого не оставили им семейные предания о предках.

Жаль семьи, где нет примера;
Честен род, где предки есть;
Где народная есть вера,
Там народная и честь![45]

После этого вполне законного отступления перехожу опять к моему предку. Семен Константинович кроме своих ратных подвигов и преданности царям отличался еще подвигами благочестия и преданностию православной вере. В старости своей, около 1712 года, построил он в Симбирской губернии, в Сызранском уезде (ныне отошло к Самарской губернии)[46], на собственной земле Кашпирской Благовещенский монастырь[47]; а в 1730 году, вероятно, вместо прежней деревянной церкви, соорудил каменную церковь, а на пропитание монашествующих дал несколько душ своих крепостных крестьян с землею, поселив их в особой при монастыре слободке. Там он принял и сам пострижение, где в монашеском чине и скончался. А в 1764 году этот монастырь был упразднен; церковь, существующая и доныне, была обращена в приходскую, а 14 дворов крестьян, которых тогда было 32 мужеских души, и с землею, отошли в ведомство Коллегии экономии[48]. Так у нас ничто не прочно; так не уважается у нас и самая благочестивая воля. Завещатель или благотворитель строит и жертвует на предмет своей собственной благочестивой мысли, в утешение души своей, а обращается оно на другое. Власть у нас всегда сильнее права: нет ни правительственной, ни народной совести! — По уничтожении монастырских имений, пожалуй, можно было взять и у этого, но не уничтожать монастыря, а вознаградить его другим доходом. — В храме этого монастыря были между прочим пожертвованные храмоздателем золотые сосуды, которые, говорят, были взяты в Казанской собор, ибо это было тогда в Казанской епархии[49]. Подробное описание этого монастыря, составленное из подлинных документов профессором К.И. Невоструевым, будет присовокуплено к этой книге в виде особого приложения[50].

Но привычка народа сильнее указов правительства и переживает производимые им перемены. Так и память об этом монастыре сохраняется доныне столь твердо, что эта приходская и теперь, через сто лет по уничтожении монастыря, слывет далеко в окружности Симионовским монастырем: иначе ее не называют[51]. Всякой год в день Ивана Постного (29 августа, на память усекновения главы Иоанна Предтечи)[52] собирается туда множество богомольцев. Они, я помню это в моем детстве, приносят оттуда с собою калинники (постные пироги из сладкого теста с солодом, начиненные калиной), а с

берега Волги, на котором стоял монастырь, набирают цветных камешков, раковин, улиток и слюды. Почему собираются богомольцы именно в этот день, мне неизвестно; ибо, хотя и есть в этой церкви один придел во имя Св. Иоанна, но не Предтечи, а Богослова. Вероятно, благочестивое неведение простых людей, не различая обоих святых, предпочло день постный для своего богомолья; но вероятнее потому, что в другом приделе Благовещения есть икона усекновения главы Св. Иоанна Предтечи, по преданию, чудотворная и особенно чтимая окрестными жителями. — На восточной стороне ограды этой церкви стояла колокольня, сложенная из дикого камня[53], но, видно, непрочно связанная. 1 мая 1806 года она упала и вся рассыпалась. Ограда, тоже из дикого камня, во многих местах обрушилась: поправлять некому! — Вот краткое описание и заключение подвигов Семена Константиновича. О многом я не упомянул; например, о том, что он был пензенским (1686), а потом (1708—1709) симбирским воеводою и что он построил много сел и деревень, которые перешли к его потомкам[54].

Сын его *Яков Семенович* написан был в боярском списке 1721 года[55]; а 1727 году по приговору Высокого Сената был определен Астраханской губернии в город Сызран (что ныне Симбирской губернии) воеводою. Но, видно, прожил в этой должности недолго, потому что в следующем году жена его *Катерина Ивановна* была уже вдовою. Она была женщина тоже благочестивая. После смерти своего мужа она построила в принадлежащем ныне мне селе Троицком каменную церковь и колокольню, с двумя приделами, из которых один тоже во имя Иоанна Богослова: почему-нибудь предки наши, видно, особенно чтили память сего святого. Церковь построена по образцу московской, Заиконоспасского монастыря, а колокольня по образцу московской же Иоанна Воина[56]. У меня хранится доныне подлинная запись 1728 года о постройке этой церкви. В ней названа строительница женою царедворца. Замечательнее всего в этом условии, или записи тогдашняя цена: вся эта большая, трехъярусная каменная церковь с двумя приделами и высокою колокольнею стоила вчерне, и материалом и работою, 550 рублей. Ныне нельзя бы построить ее за 30 тысяч рублей серебром. На колокольне этой церкви есть особая комната с тремя окнами на восток, север и юг, в которой видно еще место, где была печь. В этой комнате жила и спасалась строительница до самой своей кончины.

У них был сын *Гаврила Яковлевич*, а у этого — *Иван Гаврилович*, мой дед, о котором я буду упоминать в моих рассказах[57]. — В 1753 году вступил он в военную службу и, дослужившись до капитанского чина, был в Сызране воеводским товарищем. По открытии Симбирского наместничества он получил там же, в Сызране, должность городничего, а в 1791 году вышел с

чином надворного советника в отставку. Он был строг в исполнении своей должности, но справедлив, а о честности его, составляющей общее свойство рода Дмитриевых, и говорить излишне. Обыватели Сызрана его боялись, то есть боялись его строгости и точности, но уважали и любили его за равную ко всем справедливость и приветливость. Я помню, какое уважение и какой почет оказывали ему тамошние судьи и купцы через десятки лет после его отставки; помню, что первые из них и тогда боялись его правды.

Вот краткое известие о роде Дмитриевых вообще и о моих предках. Из него видно, что наш род, происходящий от Мономаха, восходит до Рюрика, то есть до самого начала Российского государства, а начало фамилии Дмитриевых современно основанию столицы в Москве. Вот как я изобразил некогда наш род и важнейшие лица нашей фамилии в стихах, которые при сем прилагаю:

МОНОМАХИ

Мой предок — муж небезызвестный,
Единоборец Мономах,
Завет сынам оставил честный:
Жить правдой, помня Божий страх.

Его потомок, в службу немцев
Хоть и бежал от злой Литвы,
Не ужился у иноземцев
И отдался в покров Москвы.

С тех пор мы немцев невзлюбили,
С тех пор взлюбили мы Москву,
Святую Русь и правду чтили,
Стояли царства за главу!

Мой пращур в бунт второй стрелецкой,
Когда Петр маленький ушел,
Свой полк с отвагой молодецкой
Под стены Троицы привел.

За то землей и деревнями
Нас Петр Великий подарил,

Но между новыми князьями
Титу́л наш старый позабыл!

Но дух отважный Мономаха
С княжою шапкой не пропал;
За правду мы стоим без страха
И каждый предка оправдал.

Мой дед — сызранской городничий,
Прямой Катон[58] в глуши своей,
Был чужд и славы и отличий,
Но правдой был гроза судей!

Отец мой — он в руках со шпагой,
Собрав отважнейших в рядах,
Зажженный мост прошел с отвагой
Противу шведов — на штыках![59]

Мой дядя, верный страж закона,
Прямой министр, прямой поэт,
Высок и прям — стоял у трона,
Шел смело в царский кабинет![60]

А я, безвестный стихотворец,
Не князь, а просто дворянин,
В Сенате был единоборец,
За правду шел — на всех один![61]

(28 августа 1849)

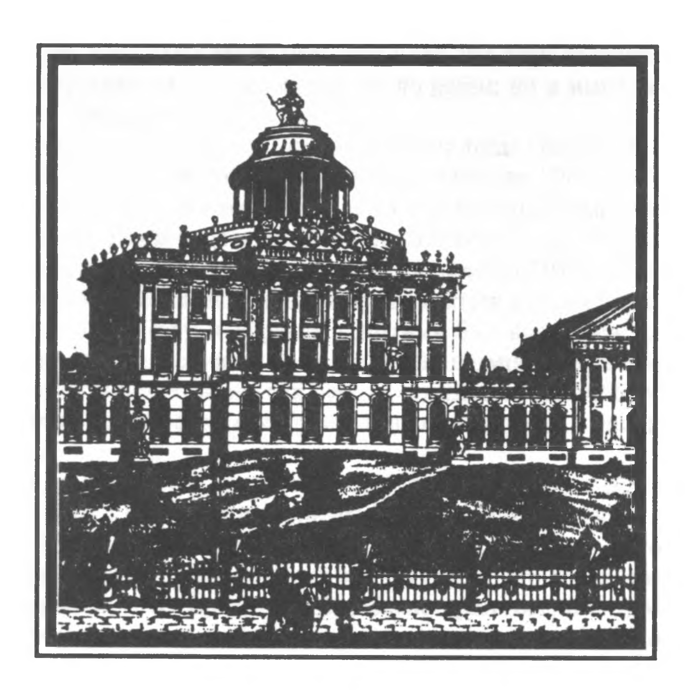
Итак, я, пишущий эти *Рассказы из моей жизни*, происхожу от Рюрика в 28 колене, а от Владимира Мономаха [в] 21 колене. Происхождение довольно древнее. Я не горжусь им, но и не пренебрегаю. Желаю, чтобы и дети мои помнили о своих предках как оставивших им задатки благородства, которому оказывают пренебрежение только те люди, которым его недостает: это нынешнее пренебрежение аристократии, нынешняя к ней ненависть происходят от зависти, наследственного порока плебеев. Нам завидовать нечему, а есть чему подражать. Нам приобретать имени нечего; у нас есть имя, которое нужно только поддерживать. Имение наше, у кого какое есть, тоже

приобретено заслугами предков, не откупами и взятками![62] А у них ни наследственного имени, ни наследственного имения: оттого и зависть, и ненависть! — Но неужели всегда так будет? Неужели не образумится Россия от этого демократического угара, в котором трудно дышать людям, привыкшим к чистой атмосфере благородства, чести, справедливости, честности и даже того вежливого обращения, которое дается благородным воспитанием и которого у демократов не видно!

Приступая к *Рассказам из моей жизни*, я, по крайней мере, возобновлю в памяти лучшие лета моей собственной жизни и лучшее время нашего общества, когда мы были равные между равными, когда мы уважали друг друга и в самом коротком обращении, в самой юношеской дружбе не забывали, чем мы обязаны один к другому и нашему благородному воспитанию.

25 мая 1864
Москва

ЧАСТЬ I



ГЛАВА 1
Рождение ● Воспитание ● Семейная жизнь ● Отъезд в Москву

Я родился 23 мая 1796 года Симбирской губернии, Сызранского уезда в имении моего деда — в селе Богородском. Я знаю верно день и час моего рождения, потому что дед мой записал его в «Христианском месяцеслове 17... года», изданном Новиковым, книга ныне чрезвычайно редкая, отыскиваемая нашими библиоманами и которая сохранилась у меня доныне[1]. В ней записано так: «1796 года мая в 23-й [день] в пятницу, в таком-то часу пополуночи невестка Марья Александровна[2] родила сына Михаила, и имя дано того ж дня», то есть именины мои приходятся в день моего рождения[3]. Мне рассказывали, что при моем рождении тетка Анна Ивановна[4] принесла мне розу, на которую я устремил глаза. Несмотря на то, что первым приветствием мне была роза, жизнь моя, однако, шла не по розам; но и ныне, в старости, я особенно люблю розы.

Будучи семи недель, по существовавшему тогда обычаю, я был записан в гвардию, в Семеновской полк, а июля 6-го того же 1796 года был отпущен в дом до совершенного возраста. У меня доселе сохранился паспорт на этот отпуск за подписом подполковника Семеновского полка, генерал-аншефа и сенатора Салтыкова[5]. Но по вступлении на престол Императора Павла, который повелел всем записанным в гвардию явиться к своим полкам[6], не явившись по малолетству, я наравне с другими был выключен из списков, а потом, наравне со всеми же неявившимися, получил дозволение числиться в отставке. Таким образом, как будто в предзнаменование будущих неудач по службе[7], я начал свою службу выключкою из службы и отставкою еще на руках у кормилицы.

[Когда мне минуло год, в самый день моего рождения, 23 мая 1797 года, в семье нашей и во всей деревне сделалась страшная тревога[8]; узнали, что хотят у нас быть разбойники. Нынче удивятся, как[9] узнали. А тогда разбойников было много, и разбойники были так смелы, что иногда давали знать о своем приезде, чтоб заранее и добровольно приготовили им добычу. Впрочем, в этом случае не знаю, как пришло это известие. Надобно было всем скрыться, бабушка, тетки и матушка[10] перерядились в юбки и телогрейки, занятые у дворовых, нас с сестрой Лизой[11] переодели в крестьянские рубаш-

ки, и все побежали укрываться в лес. Дедушка велел ударить в набат; крестьяне были все в поле, услышав набат, они прискакали на господский двор. Дедушка вооружил всех дворовых ружьями и саблями, а крестьян рогатинами, пиками и дротиками, а сам подпоясался кортиком на бархатной портупее, велел отворить настежь ворота и ждал гостей на переднем крыльце. Но они не были, подъехали только к околице в числе двенадцати человек, все верхом, подозвали караульщика и послали его с таким приказанием: «Поди скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались его набату, да лошади у нас приустали». — После сего они проехали, в виду всей деревни, но задом, мимо нашей горы, и на Сызранской степи, верстах в двадцати от нас, ограбили и сожгли мельницу.

Это было дело столь обыкновенное, что всякое лето ждали разбойников. У дедушки, с наступлением весны, обыкновенно в лакейской развешивали по стенам ружья и сумы с зарядами; в зале сабли и дротики; а по обеим сторонам переднего крыльца сколачивались столы с перекладинами, на которых раскладывались рогатины и копья.

Я помню несколько лет спустя после этого, однажды летом дедушка был на гумне, а бабушка сидела у открытого окна. Оба они увидели вдали дым, и оба послали по одному человеку узнать причину: дедушка — лакея Асафа, а бабушка — другого лакея, Филиппа. Этот воротился, не видев ничего; а Асаф не возвращался. Вечером входит в ворота какой-то чужой мужик и подходит прямо к бабушке. Это был красильщик, ехавший с возом холстов и крашенины. Разбойники встретились с ним и с Асафом, обоих ограбили, отняли лошадей и холсты, а их привязали холстами же к деревьям. К счастию, у красильщика был спрятан нож, он его как-то достал зубами и, держа в зубах, разрезал холст, потом освободил и Асафа, который пришел поздно вечером.

Земская полиция сама боялась разбойников, а инвалидные солдаты были старые, увечные и без ружей. А в самую старину, когда еще были воеводы[12], случалось, что один смелый разбойник приходит в город в полном вооружении, берет из лавок, что хочет, и никто не смеет остановить его.][13]

Говорят, что я был в первые годы младенчества очень хорош собою; мое лицо испортила сильная оспа, которой тогда еще не умели прививать и по деревням не прививали[14]. Но кормилица моя Соломанида, а по отце Еремеевна, как мамушка недоросля Митрофанушки[15], была уверена, что меня сглазил италианец, который проезжал с мелкими товарами. Оспа изрыла мое лицо, и я вышел дурен собою.

Отец мой, служивший, как и все тогдашние дворяне хороших фамилий, в гвардии, в Семеновском полку, перешел при Павле в армейской Софийской полк, который стоял в Казане[16]. Благовидная причина этого перехода

была та, чтобы быть ближе к отцу; но истинною причиною могло быть и желание быть подальше от Павла, которого бешеная строгость и дисциплина, к которой гвардейцы не привыкли при Екатерине, была для них и отяготительна, и опасна.

Но судьба устроила иначе. Этот полк был послан в землю черноморских казаков[17], где между прочим отец мой, бывши уже в чине полковника, имел поручение произвести суд по случаю неудовольствия таманских казаков, которое было представлено в виде бунта. Отец мой поступал по всей справедливости, но вскоре там же, в Екатеринодаре, он скончался от желчной горячки[18], и дело поручено было другому, который, впрочем, из угождения власти осудил безвинных казаков: многие были наказаны и сосланы в Сибирь. Их провозили через наше село, где им назначено было ночевать. Узнав, что они в имении отца их прежнего судьи, они выпросили позволения прийти к моему деду, упали ему в ноги и благодарили за сына, который поступал с ними кротко и справедливо.

Мне было два года, когда я лишился отца, и я его не помню, но во всех дворовых, даже в ребятах, долго сохранялась память о его добродушии, ласке и кротости. Последнее тем более делает ему чести, что он от природы был вспыльчив, но всегда себя удерживал. Если случалось ему рассердиться на слугу, он высылал его как можно скорее, боясь, чтобы как-нибудь его не обидеть или не ударить. Этим всегда и кончалось его сердце.

После его кончины приехали бывшие у него служители Никифор и Николай, привезли небольшое его имущество, состоявшее из мундиров, фраков и другого поношенного платья и двух немецких седел. Привезли еще три письма, продиктованные им при своей кончине [к родителям, моей матери и ко мне][19]. Они сохранены были и по возрасте моем поступили ко мне. Они помещаются здесь в особом приложении[20].

[Отец мой был человек просвещенный и много читавший, знал особенно хорошо историю: так я слышал от дяди Сергея Ивановича[21]. Он и сам занимался литературою, больше переводами, и издал следующие книги: 1) «Письма Абельярда и Элоизы», 1783[22]. — 2) «Адонид», 1783[23]. — 3) «Взятие св. Лукии», 1785[24]. — 4) «Лузиада камоэнсова в 2-х томах», 1788[25]. — 5) «Поэмы древних бардов», 1788[26]. — Есть еще книжка его сочинения: «Слава русских и горе шведов», 1790[27]. — Он писал и стихи. В московском журнале Карамзина напечатаны его песни «Разлука» и «К Темире»[28]. Есть и другие. Много осталось в рукописях, и между прочим некоторые рассуждения. — Об нем говорит Карамзин в своем путешествии, в Агатоне и в частных письмах[29]. О нем же не раз упоминает академик Грот в своих примечаниях к Державину[30]. — Будучи благочестив, он занимался много размышлениями об отношениях человека к Существу Высочайшему и, не принадлежа к мистикам,

не пренебрегал, однако, мистическими книгами. После него остались мне в наследство три книги Сен-Мартена: I. Tableau naturel des rapports, qui existent entre l'homme, Dieu et l'univers. 2. L'homme de desir и 3. Manuel de dexolius[31].][32]

Мать моя после его кончины простудилась. Она была в бане; коридора в доме не было, и не было другого хода, как через гостиную; а у деда, ее свекра, были гости, она принуждена была идти в свою комнату через двор по снегу. Она лишилась употребления ног, и я уже не помню ее на ногах. Она всегда сидела в креслах, а на другие кресла были положены ее ноги. Лечить было некому. Она занималась рукоделием, именно вязанием чулков, и чтением книг, из которых любимою ее книгою был роман Бернарден де Ст. Пиера[33] «Павел и Виргиния» в русском переводе[34]. Она любила моего отца и была до конца своей жизни истинно несчастлива[35]. Много способствовали этому и образ жизни, и состав семейства, о чем будет упомянуто после.

Имя ей было Марья Александровна, по фамилии родителя — Пиль[36]. Отец ее был по происхождению швед, совершенно обрусевший, однако имевший в лице и фигуре что-то напоминавшее склад нерусский. Я помню это длинное лицо и тонкой прямой стан, даже в его старости, также и учтивость, совсем не похожую на тогдашнее резкое обращение дворянства. Имя его было Александр Алферьевич, он служил в Саратове советником палаты и имел Владимирский крест[37], что тогда было большою редкостию. А брат его Иван Алферьевич, генерал-поручик, был наместником, или генерал-губернатором Сибири[38] и сменил в этом звании Якобия, за которого, по невинности его в разных клеветах, на него возведенных, так заступался прямодушный Державин[39]. Иван Алферьевич кончил жизнь в отставке в Симбирске, где он имел небольшую деревеньку и небольшой же деревянный дом в губернском городе.

[Во мне осталось еще одно умилительное воспоминание о моей матери. Так как она не могла ездить в церковь, то всякое воскресенье, во время обедни, сидя в креслах и протянув ноги на другие и затворив двери, она молилась, читая по книжке утренние молитвы. Меня ставила она тоже молиться, возле себя. По большей части она молилась со слезами, и я, несмотря на то, что это мне казалось довольно долго, не скучал этим, вникая в слова молитв, и с благоговением разделял с нею ее возношение души к Богу. — Особенно помнится мне, она с особенным чувством произносила молитвы благодарственные; она, в молодости лишившаяся мужа, лишившаяся употребления ног и не имевшая никаких утешений! Это оставило во мне такую память, что я узнал именно ее примером, что за все надобно благодарить Бога; она то же и толковала мне иногда, что все, что ни посылает Бог человеку, все это для его пользы, даже и самое наказание. Это навсегда осталось у меня в памяти и доселе приходит мне на мысль при всех и хороших и превратных случаях моей жизни. Так сильны впечатления детства[40].]

Отец мой, человек строгой добродетели, был, однако, влюбчив. В Петербурге он был влюблен в Софью Ивановну Тишевскую, девицу, как говорил мой дядя, достойную любви и уважения[41]. Из любви к ней даже поправлял он переводы ее брата и напечатал исправленный им его перевод комедии «Голубок», где на заглавном листе сказано, что она переведена 12-летним сержантом гвардии Сергеем Тишевским[42]. Девица и ее родители были согласны на их брак, но отец, в видах сколько-нибудь обеспечения их состояния, желал, чтоб отец жениха уделил ему при жизни хотя малую часть имения. У него было 1700 душ, и отделить было можно; но дед мой, будучи и скуп, и своенравен, принял это за признак корыстолюбия, не согласился, и свадьба разошлась.

Мать мою увидел мой отец впервые в Сарепте, на серных водах[43], и опять влюбился. Дед мой, заметивши, вероятно, какое действо горести произвел первый отказ, согласился на этот брак, и свадьба состоялась.

[Когда мать моя была еще очень молода и жила в Саратове, у ней была там приятельница Анна Петровна Левашева, которая вышла замуж сперва за князя Трубецкого, а потом за эмигранта графа Брольо[44]. Узнавши обо мне, т.е. о существовании сына ее молодой подруги, она вздумала оказать ей знак своей любви и памяти и записала меня в 1805 году марта 8-го в московский архив иностранной Коллегии, куда меня приняли архивариусом, чином 12-го класса. Вдруг получена была на почте маленькая шпажка и уведомление об этом от дяди. Все были в восторге и решили тотчас сшить мне мундир; но не знали какой. У дяди Сергея Ивановича были пуговицы с гербом Лифляндской губернии; на первый случай сделали мне зеленый мундир с красным казимировым воротником и с этими пуговицами. Потом, когда получили известие о настоящей форме, сшили мне другой, с черным бархатным воротником и посеребренными пуговицами, который мне, однако, не так нравился, как прежний, потому что тот, с красным воротником, был похож на военный. Таким образом, по большим праздникам я ходил к обедне и щеголял дома в мундире. Потом именным указом от 24 февраля 1806 года я был уволен в отпуск, «до окончания наук», как было сказано в указе, т.е. до окончания курса учения. Определение Коллегии об этом отпуске подписано было князем Адамом Чарторижским[45].][46]

Я лишился моей матери, кажется, 1806-го году, когда мне было около 10 лет. Помню, что во время ее болезни я принес ей цветов и что она мне сказала: «Украшай, украшай меня; тебе осталось уже недолго меня видеть». — Помню, как пронесли мимо моих окошек ее гроб, обитый синим атласом; помню, как меня подводили к ней прощаться: в первый раз я увидел тело умершего — мою мать. Помню, какую грусть и чувство страха возбуждало во мне медленное и однообразное чтение Псалтыри. Вот и все мои воспоминания об

отце и об матери. После нее я поступил в надзор к моей тетке Надежде Ивановне, и в те лета, когда именно начинается воспитание ума и сердца, я был под ее руководством. В дни памяти по моей матери она всегда брала меня с собою в церковь, и когда для совершения литии[47] сходили мы за священником в фамильный склеп под алтарем, я помню, что это возбуждало во мне не столько горесть, сколько страх; слыша рыдания тетки и мрачный напев, я всегда очень плакал, но желал только поскорее выйти из склепа.

Тетка меня очень любила, но не баловала. Это было бы хорошо, если бы она не почитала баловством и те уступки, которые смягчают характер воспитанника. Но и любовь ее, и строгость были иногда без толку и не руководились истинными началами, образующими характер. Об этом скажу после.

Я начал учиться читать очень рано. Четырех лет я уже читал хорошо, а в 1801 году, когда дядя мой Иван Иванович написал стихи на коронацию Государя Александра Павловича[48], бывшую 30 сентября, эти стихи, будучи 5 лет от роду, я декламировал наизусть перед гостями моего деда. Письму и первым правилам арифметики учил меня дворовый человек Сидор Иванович. Арифметика мне трудно давалась, и я не любил ее; но читать был охотник и посредством чтения приобрел многие сведения, которые впоследствии много облегчили мне более серьезное учение.

Кажется, в 1806 году, только помню, что еще при жизни моей матери, была привезена из Москвы для двоюродной сестры моей и для меня мадам француженка, Елизавета Ивановна Джиберти, с дочерью, которая была нас постарее. У ней начали мы учиться французскому языку. Я выучился несколько понимать и лепетал по-французски, но мало. Учение шло без методы и без толку. Она заставляла нас переводить, когда мы еще не знали ни слов, ни спряжений. К счастию, она оказалась не совсем благонадежного поведения, и ей отказали. У меня остались еще писанные ею прописи (exemples d'écriture), из них увидел я впоследствии, что она не знала даже правописания и писала *ce* promener и *se* livre[49]. Эту воспитательницу прислал нам из Москвы дядя Иван Иванович; кажется, можно было удостовериться хоть в ее орфографии. Но какая же порядочная женщина поехала бы в эдакую даль, за несколько сот рублей ассигнациями и в такое семейство, где ни один человек не говорил по-французски?

После нее дядя прислал из Москвы уже учителя; он был француз старого века, эмигрант, который говорил, что служил в королевской гвардии, добрый и умный шестидесятилетний старик в круглом парике. Этот знал, по крайней мере, правописание. Но и его учение было только на память, без всякой методы. Мы выучили у него наизусть слово в слово всю французскую грамматику Мартына Соколовского[50]; выучили и французский текст, и рус-

ской перевод, но без всякого толкования, так что, зная наизусть все правила и примеры, никак не понимали, к чему они служат. Когда выучена была грамматика Соколовского, monsieur George d'Anglemont был в большом затруднении, чему еще учить? — Но у нас была еще французская грамматика г-на Ресто, в русском переводе[51]. Он заставил нас выучить и ее от доски до доски; потом заставил нас перевести ее всю на французской язык и выучить наизусть свой перевод. Между тем, что было полезнее всего, он заставлял нас спрягать и писать на бумаге спряжения разных глаголов, учить слова, диалоги и заниматься переводами. Я помню, что диалоги о весне и лете, о прогулках я выучивал скоро и с большим удовольствием: мне веяло от них воздухом и волей. Но диалоги о зиме, о кухне, разговоры с портным и проч. были для меня скучны и никак не давались моей памяти. Мы перевели с русского на французской многие Езоповы басни и «Юлию» Карамзина[52], которые и теперь у меня еще хранятся. Он же учил нас географии по книжке «L'Enfans geographe»[53] и заставлял читать и рассказывать древнюю историю по детским же книжкам «L'Éducation complète»*, par madame Le Prince de Beaumont[54]. Географии помогал и атлас. Но и книги, и атлас содержали в себе еще ту географию, которая была до революции, и потому мы изучали La Normandie, La Picardie**, когда их уже и не существовало[55]. В довершение курса мы учились еще мифологии, которая почиталась тогда необходимою; я любил ее как сказку: она занимала мое воображение, и потому я и теперь отлично знаю мифологию.

Mr. D'A[n]glemont всякой вечер приходил к моему деду пить чай и разговаривать. Дед мой говорил по-немецки, некогда понимал и французской язык, но забыл, и потому разговоры происходили по-русски: кое-как понимать Данглемона было можно, а в случае решительных неразумений прибегали к моему переводу. Он получал одну французскую газету «L'Abeille du Nord»[56]. Когда ее привозили, в этот вечер дед и учитель садились у стола друг против друга, а я стоял подле них и весь вечер читал им французскую газету и переводил ее на словах по-русски. Эта практика послужила мне и к большему знанию французского языка, и ввела меня в тогдашнюю политику.

У Данглемона вообще я так привык говорить по-французски, что иногда забывал даже русские слова и помнил французские; главное же, я освоился с французскими выражениями и идиомизмами, которые можно узнать только на практике. В первую войну с французами и милицию[57] я с любопытством следил за войною; помню, что дядя прислал из Москвы раскрашенный план Аустерлицкого сражения; я срисовал его, и потому Аустерлицкое

*«Маленький географ», «Всестороннее образование», сочинение г-жи Лепренс де Бомон (*фр.*).

**Нормандия, Пикардия (*фр.*).

сражение больше всего осталось у меня в памяти[58]. Помню и Тильзитский мир; кажется, ему радовались как миру, не разбирая его условий. Впрочем, так как его условия состояли не в материальных приобретениях или уступках, а более в приступлении к континентальной системе, то невыгоды его ясно не понимали. — Только когда вдруг вздорожал сахар и дошел до ста рублей пуд, тут только почувствовали невыгоды этого мира[59]. Наполеона и тогда ненавидели.

Вот и все, чему я учился дома. Русской грамматике меня не учили; да некому было и учить: никто не знал даже правописания. О катехизисе никто и не думал, чтоб он был нужен; да и книги не было, и законоучителя не было. Два священника, бывшие в нашем селе, были неученые и служили по навыку: они и сами не имели никакого понятия о догматах. У деда была довольно большая библиотека, состоявшая из истории, путешествий, романов и сочинений русских авторов; но в ней не было ни одной духовной книги[60]. Библии нельзя было достать, и я не видывал ее до издания библейского общества[61]: тогда и дед мой купил себе Библию, но не читал ее. Псалтирь считали только годным читаться по умерших. Но сочинения г. де Вольтера в трех томах и его сказки были переведены по-русски[62] и были у моего деда. Чего было ожидать от такого воспитания?

Я с малолетства был страстен к чтению. Читал с вниманием «Московские ведомости»[63], с завистью находил в них известия о продающихся книгах, как о недостижимом для меня блаженстве. [Между прочим прельщал меня титул поэмы Захарии: Кот во аде[64]. Чрезвычайно хотелось мне почитать этой книжки: фантазия моя представляла мне в ней невообразимое богатство чудес.][65] С 1806 года я начал постоянно читать «Вестник Европы», особенно стихи и статьи об искусстве, которые помещались в нем впоследствии[66]. К именам Державина, Жуковского, да и ко всякому, кто только печатал под стихами свое имя, я чувствовал какое-то благоговение, как к существам высшей натуры. И не мог вообразить себе такого блаженства, чтобы когда-нибудь видеть и слышать этих людей. Стихи дяди почти все знал наизусть, а имя Карамзина было в нашем семействе чем-то избранным, чем-то веющим жизнью и красотою. Однако имена и Василия Львовича Пушкина, и князя Шаликова, издававшего «Аглаю»[67], тоже были для меня имена любезные и почетные. Но полного собрания сочинений Карамзина у нас не было; я знал только его «Безделки» и «Путешествие»[68]. Дед мой как-то недорого ценил его сочинениями и в последствии времени, когда он сделался историографом[69], никак не верил, чтобы он мог сладить с таким трудом после князя Щербатова[70], которого дед мой знал лично и бывал у него в кабинете и помнил, что посредине кабинета стоял огромный стол, вокруг которого

на медных прутьях задергивалась и отдергивалась зеленая тафта, за которой лежали груды столбцов[71] и летописей. Вся эта обстановка казалась ему очень важною, рассказывая это, он как будто думал о Карамзине: где ему! Но он любил поэзию, то есть он любил ее по выбору: достоинства ее состояли для него — в силе и высоте мысли и выражения, в картинах и в намеках. И потому он из всех поэтов особенно любил Державина и Хемницера[72]. Стихи и басни своего сына Ивана Ивановича он находил прекрасными, но никак не равнял его с упомянутыми двумя поэтами.

Я помню, нередко случалось, что при гостях, особенно когда речь доходила до Екатерины, которую он считал умной государыней, но не очень любил, он посылал меня доставать или Державина, или Хемницера. Это был для меня праздник. Я лазил, как белка, по полкам библиотеки, доходившим до потолка, и громогласно читал или оду «Бог» и другие, или лучшие из басен Хемницера, метившие на учреждения Екатерины, например, «Орлы», «Совет», «Лестница», которые особенно восхищали моего деда[73].

Когда в «Вестнике Европы» начали появляться стихи Жуковского, я особенно пристрастился к этому поэту. Но его «Людмила», появившаяся в 1808 году, привела меня в восторг и ужас: я не мог вообразить себе ничего подобного и столько ее перечитывал, что нечувствительно выучил ее наизусть[74]. Надобно сказать, что и во всех она произвела изумление как новость, не виданная в нашей поэзии, и приобрела какую-то любовь к самому Жуковскому. Таково было действие первой русской баллады; и после этого будут говорить, как многие и писали, что баллада не свойственна русской поэзии!

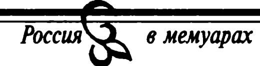
В 1810 году переехала на житье в свою небольшую деревню, в 5 верстах от нас, прибывшая из Петербурга соседка Екатерина[75] Васильевна Лобанова, дочь генерал-лейтенанта, командовавшего лейб-гренадерским полком и умершего в это время[76]. Она в своем детстве жила в нашем доме, любила моих теток, как старших сестер, а деда моего называла по привычке дедушкой, хотя вовсе не была нам родня. Еще при жизни отца она была помолвлена за его адъютанта Ивана Ивановича Кашпирова. Жених приехал вслед за нею, и свадьба состоялась.

Я упоминаю об этом потому, что с этого времени нас с двоюродной сестрою стали, так сказать, считать в людях, разговаривать с нами и приглашать в гости. До того времени мы не выезжали из деревни, кроме как раз в год в Сызран, на лодки, приходившие с товарами. Дед мой был человек серьезный, неразговорчивый; с ним никто из семьи, кроме бабушки, не смел первый начинать речи; а мы его страшно боялись! — Но тут всякой раз, как приезжали Кашпировы с жившей у них живой и умной хохотуньей, институткой, жившей у них для компании Марьей Тимофеевной Сапожниковой[77], у нас в семье как-то делалось светло и живо. Иногда Кашпиров с двоюрод-

ным братом своим, офицером Кексгольмского мушкетерского полка[78], пели песни: они были мастера петь! — Светлее делался и дедушка; смелее делались тетки, а мы, дети, были в восторге и от некоторой свободы, и от обращения с нами. Когда нас брали к Кашпировым, это был для нас истинный праздник. Мы сидели и ходили без страха, наравне с большими; кроме того, у них был сад, предрянной, состоящий весь из старых ветл, но для нас он был в диковинку. Можно было в нем при всех даже и бегать, чего нам при дедушке не позволяли. Был и у нас сад с плодовитыми деревьями, яблонями и грушами. Последние никогда не приносили плодов, а яблоки иногда бывали, но очень дурные, потому что садовника не было, садом никто не занимался, а он всегда был заперт. Раза два в лето ходила в него бабушка и нас брала с собою; там иногда находили яблоки, но более всего радовали меня розы, которые каким-то чудом, без всякого ухода все еще цвели перед дерновою софою, на которую садилась бабушка.

Все наши прогулки состояли в беганье по двору, разумеется, не по переднему двору, на который были окошки гостиной, и не по задней его части, на которую выходил кабинет дедушки, а по тому пространству, довольно большому, которое было перед нашей комнатой и комнатами тетки. [Главная забава моя была играть в солдаты. Ко мне собирались дворовые мальчишки; я вооружал их деревянными ружьями и учил их экзерциции, которой выучился у дяди Сергея Ивановича. У меня были и знамя, и барабан. Когда приезжали к нам дети Карамзины и Философовы, они тотчас просили меня собрать войско. Я собирал и предлагал им начальство; но всякому хотелось быть барабанщиком. Еще любил я стрелять в цель из лука. Стрела у меня была настоящая. Но однажды я попал сзади в горничную, шедшую по двору; к счастию, что она была в шубе, и стрела не проникла далее. Однако у меня ее отняли и забросили на печку. Долго ходил я около нее, глядя на недостижимую высоту; но стрела так и пропала.][79] Иногда пускали нас за околицу; иногда, очень редко, на гору и к родникам. Но далее, например в луга, надобно было проситься у дедушки, а к нему не всякой решался подойти и не во всякое время.

Я помню, однажды позволено было теткам ехать к Кашпировым, а об нас забыли. Мы с сестрой и ее родным братом маленьким Валентином[80] были в отчаянии, а никто не решался идти замолвить за нас слово. Я всегда был смел, а главное, никогда не любил деспотизма и решился войти в кабинет к деду, в который никто не ходил без призыву. Эта смелость, видимо, изумила его, и этому изумлению я был обязан позволением и себе, и сестре, и брату ехать к Кашпировым. Когда прибежал я в восторге к теткам с этим известием, они долго не верили и много дивились моей смелости. В такой жили мы строгости и страхе.



Здесь место описать характер всей семьи.

Дед мой, Иван Гаврилович, родился в 1736 году, начал служить в гвардии при императрице Елизавете Петровне. Вышед в отставку, он женился, будучи 18 лет от роду, на дочери полковника Катерине Афанасьевне Бекетовой, которая была одним годом его моложе[81]. С осмнадцатилетнего возраста он был, по смерти своего отца, уже полным властелином имения, состоявшего из 1500 душ, к которым, почти уже в старости, он прикупил еще 200 душ. Живучи еще в Петербурге, он по брате жены, Никите Афанасьевиче Бекетове[82], бывшем фаворите Елизаветы, был знаком с Сумароковым[83] и другими значительными людьми того времени; между прочим, по гвардейской службе был знаком и с Орловыми. Потом жил он в Симбирске, где во время губернатора Василия Михайловича Сушкова[84] была гульба ужасная. Там же он познакомился и с Суворовым, который был там во время Пугачева[85]; но от Пугачева он со всею семьею уезжал в Москву. Потом, желая возвыситься в чине и ездить четверней (ибо при его богатстве ездить парой было обидно), он посредством своего шурина Бекетова[86] выпросился в воеводские товарищи и наконец получил место сызранского городничего[87]. В этой должности он был примерно строгой справедливости; его весь город уважал и любил. Из этой должности он вышел в отставку с чином надворного советника и остался жить в Сызране. Но в 1795 году весь этот город выгорел; сгорел и его дом со всеми пожитками и старинным серебром, которого было много. Тогда он переехал жить в село Богородское.

Прежде, говорят, мой дед жил открыто и весело: имел большое знакомство и псовую охоту. При Екатерине помещики дозволяли себе барство, какого после не было и в помине. Так, у моего деда было 12 гусар[88]: я помню еще их платье и шапки с лопастью, которые хранились в кладовой. Он езжал из города в деревню и обратно, окруженный гусарами. Но мало-помалу старые знакомые редели; межевания[89], возникшие с ними процессы и взяточничество требовали денег и не давали покоя; пожар сызранской еще более раздражил его, и он жил в деревне, окруженный заботами и скукою. Думаю, что это еще более испортило его характер, который, надобно признаться, был тяжек всему семейству. Никогда улыбки, никогда семейного разговора; взаимное отчуждение и разделение семейства на партии: вот что я, с моей любящею душою, был осужден видеть в моем детстве. Деда все боялись, все от него скрывали, боясь его неукротимого нрава: от этого скрывали от него многие вины служителей, которые этим пользовались. Одна была у него забава: конный завод, который, он сказал однажды при мне, стоил ему, овсом и содержанием конюхов, 40 тысяч ассигнациями ежегодно. Но детям давал он мало: Ивану Ивановичу, который был обер-прокурором и потом уже сенатором, посылал он по тысяче рублей ассигнациями ежегод-

но[90]. Другому сыну, Сергею Ивановичу, отдал он, в его пользу, заволжские луга; за что он их отдаст внаймы, то и было его: я думаю, что круглым счетом он получал не менее старшего брата. Теткам покупал, по своим фантазиям, ситцу на платья и давал рублей по 25 на именины и рождения. А между тем выписал для них из Москвы бриллиантовые серьги, каждая пара в тысячу рублей ассигнациями, что тогда было немало. Только им и некогда и не с чем было надевать эти серьги: они в них наряжались обыкновенно в день именин отца, как в самый торжественный день года. Впрочем, у них были свои деньги: дядя их Никита Афанасьевич Бекетов отказал сыновьям и дочерям сестры своей немаловажные суммы, из которых они получили от мужа его покойной дочери, Всеволожского[91]: братья по пяти тысяч, а сестры по две тысячи. Эти деньги отдавались по 10 процентов, таким образом, каждая имела на свой пай по 200 рублей серебром[92] в год. На чай, на сахар и на платья было довольно. Кроме этого, горничные их вышивали по кисее в тамбуре[93] фаты и рукава для сызранских купчих. Это тоже составляло некоторый доход. Нам давалось в такие же дни, когда мы подросли, по 10 рублей. Но эти деньги тотчас у нас брали: мы считали, что так это и должно быть, да и купить на них было нечего. Нас с двоюродным братом одевали очень бедно: я помню, что тетка Надежда Ивановна покупала мне канифасу[94] и красила его в орлянку[95]; из этого шили мне панталоны ранжевого цвета, которые, когда полиняют, превращались в couleur saumon[96]. — Да к приезду Ивана Ивановича из Москвы в 1809 году сшили нам однобортные длинные сертуки из светло-фиолетовой байки, с стоячими воротниками. В них и щеголяли мы при дяде, в самые жары, в июле месяце. Были у нас и фраки, тоже какого-то особенного фасона. Можно бы летом ходить хоть в них: все было бы не так жарко. Но, по тогдашним деревенским обычаям, фраки надевались только по воскресеньям и праздникам; носить их дома ежедневно было бы что-то выходящее из ряду, и как будто быть в гостях. Однако наш Mr. D'Anglemont ходил всегда во фраке.

Полевое хозяйство шло у деда хорошо, потому что он сам с раннего утра ездил всякой день в поле или на гумно[97]; знал толк во всех мелочах земледелия, а прикащики, мужики и бабы боялись его как огня: за дурную пашню и плохое жнитво расправа следовала тут же. Правда, сеял он немного, не обременяя крестьян излишеством посева, но земля пахалась отлично, высевалось все сполна, и урожаи, кроме известного голодного года, были отличные. У деда моего на гумне было такое множество хлеба, лет за десять, что копны стояли улицами и некуда было девать хлеба; невозможно было и всего перемолотить. Овес шел весь на лошадей; в Богородском и Троицком он почти никогда не продавал хлеба, потому что не хотел отдавать его за низкую цену и не хотел продавать нового. А старого, простоявшего несколько лет,

никто не брал. В других деревнях его продавали. По всем этим причинам, несмотря на 1700 душ, он получал на них доходу не более 10 тысяч рублей ассигнациями в год. — Другие хозяева прикупали имения и богатели, а он оставался при том же. Денег он в проценты никому не давал и сам никогда не бывал должен; в Опекунской совет[98] тоже не клал: и потому его капитал, очень небольшой по сравнению с его средствами, оставался в сундуке мертвым капиталом.

[Умеренность и неприхотливость во всем, а может быть, и недостаток вкуса к изящному, а может быть, отчасти и скупость составляли заметную черту его характера, которая отражалась на всей обстановке нашей деревенской жизни. Трудно вообразить что-нибудь прочнее и некрасивее тогдашнего нашего дома. Это были длинные одноэтажные хоромы, без фундамента, построенные из толстого леса, какого я с тех пор не видывал, не обшитые досками, не выкрашенные и представлявшие глазам во всей натуре полинялые, старые бревна. Этот дом был построен в год рождения дяди Ивана Ивановича в 1760 году и был продан им на сломку в 1820 году за 500 р. ассигнациями. Следовательно, он стоял и был тепел в продолжение шестидесяти лет. По временам, по мере умножения семьи, к нему приделывались пристройки, и потому фасад его не имел симметрии, и вообще дом этот годился бы в роман старого быта. Зала, гостиная, спальня бабушки, две комнаты моей матушки и теток и кабинет дедушки были обиты грубыми обоями (заметьте: не оклеены по-нынешнему, а обиты гвоздями, от чего и произошло слово: обои). Обои эти на полтора аршина не доходили до полу; этот остаток, называвшийся панелью, был обтянут толстым холстом и выкрашен на клею мелом; потолки тоже, окна и двери были также выкрашены. В прочих комнатах не было и этого: по стенам гладко обтесанные бревна, с мохом в промежутках, а двери и окна просто деревянные. Мебель домашней работы была выкрашена тоже на клею, но белилами, выполирована хвощом и по краям раскрашена цветными полосками. Подушки были на них, по старинному обычаю, пуховые, из клетчатого тика, а по праздникам на них надевали желтые ситцевые чехлы. Но два ломберные стола и маленький столик перед диваном были старинные, красного дерева. В гостиной, в одном углу, была изразцовая печь, очень фигурной и красивой формы, с уступами в несколько этажей и с колонками. В другом углу вделан был шкаф с лучшими фарфоровыми чашками, которые никогда не употреблялись, и с двумя фарфоровыми же китайцами, которые прельщали меня в моем детстве, но были для меня недостижимы, как вещи редкие и дорогие. В третьем углу, на мраморном угольнике, стояли столовые часы. В зале было двое стенных часов, оба предмета моего удивления: одни с курантами, то есть с музыкой; а на циферблате других была впадина, в которой три мальчика поворачива-

лись и били в два колокола часы. Зеркала в гостиной и зале были в потускневших, вызолоченных рамах. — В то время у богатых помещиков была везде мебель красного дерева; но дедушка не любил роскоши и никаких нововведений.][99]

Дед мой был во внешних своих отношениях человек непоколебимой справедливости. Имевши много дел по имениям, особенно же со времени межевания, он знал хорошо гражданские законы; а будучи богат, он никого не боялся и потому, при разговоре о делах, был гроза сызранских судей. — Один из них вывел его из терпения незнанием законов (а его вывести из терпения было очень легко). Он сказал ему: «Да ты бы, братец, читал законы!» — «Ох! Пробовал читать, батюшка!» — отвечал судья. «Ну что же?» — «Хуже выходит!» — Строгой старик расхохотался.

В том же Сызранском уезде жил богатый помещик Василий Борисович Бестужев[100], человек умный, но низкой души, хитрый и корыстолюбивый, и такой сутяга, что заводил дела о земле с малосильными помещиками, содержал судей на своем жалованье и обирал, кого хотел. Он служил прежде в гвардии вместе с дядей моим Иваном Ивановичем, потом, вышедши в отставку, был знаком и с отцом его, а моим дедом. Понадобилась ему землица, принадлежащая моему деду, которую он и начал оттягивать судом; дед ни за что не уступил бы, из одного самолюбия. Однажды встретились они в гостях, где зашла речь об их тяжбе. Дед мой сказал: «Я ни за что не уступлю вам, Василий Борисович, хотя бы мне дело стоило дороже земли: из того только не отступлюсь, чтобы не сказали, что я уступил Бестужеву. Однако вам есть верное средство даром получить эту землю!» — «Какое же?»— спросил Бестужев. — «Да вот какое. Признайтесь здесь при всех, что земля по праву принадлежит мне и что вы хотите оттягать ее незаконно. Я завтра же дам вам на нее купчую крепость». — Бестужев начал говорить обиняками, что, конечно, землица-то нужна ему, что подошла к его меже и проч. — Дед возразил: «Нет! Мне этого мало, что она вам нужна! Вы сознайтесь прямо, что тяжба ваша незаконная!» — Твердость его слова знали; знали, что он от него не откажется: и Бестужев сознался. — Дед плюнул, сказал, что завтра же напишет купчую, но что с этих пор они не знакомы. На другой же день он поехал в гражданскую палату и написал купчую крепость на имя Бестужева.

Как это бывало странно видеть, когда дядя мой, бывши уже сенатором, приезжал к отцу в деревню, Бестужев, как старый его сослуживец и приятель, всегда приезжал видеться с ним и живал у нас дня по два. Дедушка принимал его, угощал за обедом, заботился о его помещении и покое, но во все время: ни при встрече, ни в гостиной, ни за обедом, ни прощаясь — во все дни не говорил с ним ни слова. Все говорили с Бестужевым, а ста-

рик разговаривал и с своими, и с другими гостями, а с Бестужевым ни одного слова! — Такой это был твердый характер.

Скучна была жизнь всей семьи. Иногда приезжали гости, которым надоедал он рассказами о межевании или показывал свой конный завод. Но к его именинам 26 сентября[101] съезжались к нам гости, иногда не из одной Симбирской губернии, а и из других. Как изобразить тогдашнее общество? Судьи, помещики, купцы — всё пировало вместе. Городничий, судья, соляной пристав, почтмейстер и прочие являлись к обедне в мундирах — и это в деревне, на именинах надворного советника! Купцы — в сертуках, в кафтанах и в тулупах на крымском[102] меху, с малиновыми шелковыми кушаками. Для отъезда к обедне подавались обыкновенно несколько карет четверней, и в каждой были лошади особой масти: серые, гнедые, белые, чубарые (особенно любимые хозяином) и другие. Тотчас после обедни подавали завтрак: круглый пирог, кулебяку с осетром и вязигой[103], икру зернистую и паюсную, сыр и сельди. За обедом всегда было два горячих: стерляжья уха и суп; огромная кулебяка, огромная рыба, два холодных: ветчина и говядина; два соуса: фрикасе[104] из цыплят и рагу. Пирожное и бланманже[105], потом дыни и арбузы, которыми изобиловали заволжские деревни и которые были столь различных сортов и вкуса, каких я после нигде не видывал. Вина подавались в изобилии, различных названий; но не думаю, чтоб они были порядочные, потому что покупались в Сызране, где и теперь вино прескверное. Дед мой в старости был очень умерен: он отроду не отведывал водки, и когда перед обедом дядя Сергей Иванович выпивал рюмку сладкой водки с ложечкой эликсира долговечной жизни[106], он всегда дивился, как он может проглотить водку. За обедом вина никогда не было, а иногда для желудка выпивал он рюмку сантуринского[107], настоянного на горьком дереве, Lignum quassi[108]. Но пищу употреблял иногда тяжелую: за обедом и ужином ел равно, и поросенка под хреном, и ветчину, иногда выпивал на это еще стакан сливок; видно, старинные желудки были крепки. Домашние полпиво[109] и квас были для него необходимы. После обеда раздевался, ложился в постель и спал часа два. Но на этих обедах и он не отказывался от вин. Вечером одни гости садились играть до ужина в карты; другие вместе с купцами усаживались по стенке в столовой, и их беспрестанно обносили винами; таков был обычай. Однако я не помню, чтоб они бывали пьяны, кроме одного купца Петра Гаврилова Заворотнова, который выходил к своей кибитке и тянул из бочонка привезенное им простое вино.

Эти праздники были для нас, детей, истинным наслаждением: во-первых, некогда было смотреть за нами, и строгость утихала; а во-вторых, к этим дням приезжали обыкновенно Карамзины и Философовы с кучей детей, наших внучатных сестер и братьев. Александр Михайлович Карамзин и Марфа

Михайловна Философова (урожденная Карамзина), родные брат и сестра историографа, были моему отцу двоюродки[110].

Таков был мой дед, и таков был его образ жизни. Бабка моя Катерина Афанасьевна была годом его моложе. Она была женщина добрая, умная, кроткая, некогда красавица и, кажется, несчастная, потому что не пользовалась любовью своего мужа. Всякое утро, помолившись, сидя на кровати, потому что у ней от застуженной рожи ноги были в ранах, хотя она и ходила, она вынимала из комода силуэт моего отца и другого сына Николая[111], целовала их и горько плакала. Это было ежедневно.

Дядя Сергей Иванович, поручик гвардии в отставке, был человеком основательного ума; много читал по-русски; но кроме русской грамоты не учился ничему и даже не знал правописания. Он был человек добрый, помогал отцу в хозяйстве, и всякой день, как скоро, по окончании послеобеденного сна, у деда открывались ставни, он шел из флигеля в общую гостиную и там или отвечал на вопросы отца, потому что с ним никто первый не заговаривал, или играл с ним в пикет. Он любил тоже русских поэтов.

Старшая из теток, Анна Ивановна, была добродушна, откровенна и скора в своей правдивости. За это ли или за что другое, только ни отец, ни мать ее не любили. А из сестер она была дружна со второй сестрой Надеждой Ивановной. Она любила прогулки. Занималась рукоделием и много читала не только романов, но и книг духовного содержания. Она скончалась в 1812 году.

Вторая, Надежда Ивановна, которой я был поручен по смерти моей матери, была тихого, но скрытного характера. Она тоже не очень была любима отцом и матерью, но держалась своей уступчивостью. Она тоже любила чтение. Умерла в глубокой старости, и под старость обнаруживала какую-то особенную раздражительность. В детстве и молодости она любила меня, даже пристрастно, но по старости перенесла свою привязанность на одну из дочерей брата Федора Ивановича[112], о котором скажу после; но ко мне она совершенно охладела без всякой причины.

Третья, Наталья Ивановна, живущая ныне (1864) в монастыре, была живого характера, лукава, капризна и ровно ничем не занималась: ни рукодельем, ни книгами[113]. Ходила из комнаты в комнату и говорила что придет в голову, хотя была очень умна. Она была одна любимица отца и матери, да и Сергей Иванович любил ее больше, чем других сестер. Может быть, за то, что она не таилась во всем, как другие; впрочем, ей было это и не так нужно: как любимой дочери ей все сходило благополучно, за что на других сестер произошла бы и досада. Так несправедливость производит скрытность, а скрытность производит опять отчуждение! — Она взяла в свое покровительство упомянутую мной двоюродную мою сестру Лизу, дочь умершего их брата Николая Ивановича, брошенную ее матерью. Она баловала ее до беско-

нечности, заступалась за нее, а меня не любила и была ко мне вообще несправедлива. Но в старости, напротив, охладела совершенно к своей любимице, а меня особенно полюбила, также и детей моих, и даже отдала свое имение младшей моей дочери[114].

Спросят: отчего же такие перемены? Надобно вообще заметить, что любовь людей непросвещенных всегда пристрастна; а в старину, кажется, в семье никогда не было равенства: всегда были или избранные любимцы, фавориты, или гонимые. Наша семья не была образцом семейного чувства и разделялась на партии. С одной стороны, были бабушка, тетка Наталья Ивановна и Лиза; с другой — сестры Анна Ивановна, Надежда Ивановна и я. Дедушка отдавал мне справедливость, но любил более тоже Лизу.

Надежда Ивановна не спускала мне шалости, впрочем, я был мальчик только резвой, но послушный и не шалун. Она меня учила говорить всегда правду, быть уступчивым в ссорах, терпеть несправедливости и не делать возражений; на последнее была у нее поговорка: «Тихое молчанье ничему не ответ». — Но разногласие семейства и крутой нрав деда были причиною, что практика иногда противоречила некоторым из этих правил. Иногда заставляли меня многое скрывать. Так, однажды дядя Иван Иванович привез нам из Москвы несколько французских книжек с раскрашенными картинками, которые мне первому дали на выбор. Некоторые мне так нравились, что я не мог никак сделать выбора; а число их превосходило то, которое должно было достаться на мою долю. Дядя решился подарить мне особо три тома книжки «Galerie des Hommes»*[115], и мне их дали тайно от двоюродной сестры и ее брата и не велели показывать. Иногда тайно давали мне лакомства. В ссорах с сестрою Надежда Ивановна судила нас справедливо и обыкновенно уводила меня от нее из общей детской в свою комнату; не защищала меня и не оправдывала, но всегда давала вид, что уводит от сильных слабого, потому что Наталья Ивановна никогда не разбирала, кто прав, и вступалась за свою любимицу. Так, поневоле, ковыляло на все стороны нравственное воспитание. Из него я вынес одно хорошее: чувствуя, что принадлежу к какой-то угнетенной партии, я с малолетства возненавидел пристрастие и несправедливость, и, будучи в зрелых летах судьею, от которого зависела судьба людей[116], я сохранил это чувство, то самое чувство, которое инстинктивно развилось во мне в малолетстве. Но словесными наставлениями тетки я мало воспользовался: к терпению, уступчивости и молчанию без возражений я никогда не мог привыкнуть, и мне много вредила в моей жизни резкость возражений. Так справедливо то, что надобно воспитывать не столько наставлениями, сколько практически. Однако скрытность,

*«Человеческая галерея» (*фр.*).

которой поневоле иногда меня учили, никогда не была моим пороком, потому что я ее считал ложью, а ложь я от природы ненавидел и считал унижением. Напротив, в течение моей жизни я больше грешил излишнею доверчивостию к людям. Так справедливо и то, что натуры не переделаешь!

К терпению иногда приучала она меня мерами, которые меня приводили в отчаяние. Так, например, она не позволяла мне ничего просить настоятельно. Однажды, я помню, приехал разнощик, у которого были не виданные мною плоской формы карандаши. Мне их так захотелось, как будто в них состояло все мое счастие: я всегда был страстен в моих желаниях. Но как я ни упрашивал купить мне карандаш, тетка захотела переломить мою страстную натуру и не купила. Я плакал, как от несчастия, и долго не мог забыть лишения. Нехороша и эта излишняя твердость с ребенком: надобно разбирать, какого рода желание.

Тетка меня строго наказывала: самое строгое наказание бывало: за леность — запрещение идти гулять, а за неумеренное беганье и прыганье — приказание сидеть целый вечер, не сходя с места и без книги. Эти два наказания были для меня самые жестокие. Я был чрезвычайно жив, а прогулки были единственное мое наслаждение и единственная свобода. Когда меня с дядькою пускали одного прогуливаться, я или ходил на мельницу дивиться устройству мельничной машины, или бежал в поле, где для меня было великое удовольствие перебежать овраг, полюбоваться родниками, а иногда доходил даже и до лесу, называвшегося Ближний Колок. Но в луга и на гору нужно было высшее дозволение. Помню эти прогулки доныне и понимаю то, что я чувствовал и тогда инстинктивно: природа и воля — вот что меня делало тогда счастливым; я любовался на небо, на зелень, на лес, на воду, я весь упивался этим наслаждением, которое и до старости осталось моею потребностию и делает меня почти счастливым! Зимою нас не выпускали на воздух, разве только брали с собою в церковь. Но Mr. d'A[n]glemont брал иногда меня с собою кататься в санях. Это было для меня и необыкновенно, и чрезвычайно приятно как некоторое отличие.

Я сказал уже, что в 1810 году приезд в наше соседство Кашпировых несколько изменил наш образ жизни. Произошла перемена даже и в том, что вместо 12 часов начали обедать в два часа, что сначала казалось нам очень поздним обедом. У ней была небольшая отцовская библиотека, состоящая в новейших романах и сочинениях Коцебу, переведенных по-русски[117]. Тетки мои брали у ней для чтения эти книги, которыми и я пользовался с жадностию. Модные романы были тогда — романы г-жи Жанлис и Радклиф[118]. Нежные произведения первой мне не нравились и казались всегда приторными, но тетки немало пролили чувствительных слез над ними. А ужасы и тайны мадам Радклиф приводили меня в восхищение, как и всех тогдашних читателей.

Зимою 1809—1810 года последовало еще другое знакомство, которое имело влияние на мою жизнь, на мое будущее, на мое счастие и несчастие. В зимний вечер все семейство наше собралось в гостиную пить чай. Вдруг послышался под окнами шум полозьев зимнего экипажа, подъехавшего к крыльцу. Знак, что приехали гости. Приезжая велела сказать о себе: из Лукоянова, Александра Степановна Быкова, бывшая Ружевская. Начали наскоро вспоминать, кто это такая, и решили, что это должна быть дочь Ружевской, бывшей Дмитриевой, которая приезжала когда-то к бабушке с молоденькой дочерью; и что это должна быть ее дочь. Оказалось действительно так. Вошла прекрасная черноволосая женщина и объяснила свое дальное родство таким гармоническим голосом, который вместе с ее наружностию и обращением просто всех пленил. С ней приехал ее молоденькой брат[119], годами четырьмя меня постарше, и семилетняя ее дочь, белокурая и живая Наташа[120]. Я пошел в бабушкину спальню без всякой цели, по обыкновению дети бродили по всем комнатам. Там нашел я Наташу с ее нянькою, уже расставившую свои игрушки, и остановился поиграть с нею. Я с первого взгляда полюбил Наташу и не расставался с нею. Летом они приехали к нам опять и — кто этому поверит? — я, четырнадцатилетний мальчик, влюбился в семилетнюю девочку. Когда нянька после ужина относила ее на руках во флигель, где они жили, я бегал провожать ее и упрашивал няньку донести ее на своих руках; Наташа обнимала меня за шею, и я доносил до крыльца мою милую подругу, которой назначила судьба быть подругою моей жизни, но ненадолго. Нашу взаимную детскую любовь заметили в семействе и шутя называли нас женихом и невестою; даже однажды тетка Анна Ивановна хотела благословлять нас образом, но ее не допустили до этой шутки как до профанации священного обряда. Я не могу забыть наших игр, наших прогулок; я дышал только для этой девочки и помню, что она была мне дороже всего на свете.

В то время, как они приехали к нам, отец ее, Михайла Егорович[121], поехал в Петербург, где дядя мой был в это время министр юстиции, и определился в его департамент. Вслед за ним посланы были к дяде от отца и матери рекомендательные об нем письма, и он получил место губернского прокурора в Симбирске, куда они и переехали, что было для них тем выгоднее, что у них была небольшая деревня в Карсунском уезде. Мы звали Александру Степановну, по отдаленному родству, теткою, а я и Наташа называли друг друга братом и сестрою. Наташа даже писала ко мне из Симбирска письма, по линейкам, и прислала однажды в подарок, разумеется, с позволения матери, шелковой шейный платок; и письма ее, и платок я храню доныне: так дорога мне была ее память.

Осенью они приезжали опять; все эти свидания укрепляли нашу любовь, и мы обещались — я на ней жениться, а она ни за кого, кроме меня, не выходить замуж. Но скоро надобно было расстаться надолго. Приходило время отправить и меня, и моего двоюродного брата Валентина в Москву, чтобы продолжить или, лучше сказать, правильно начать наше учение. Наконец решительно было назначено нам ехать. Плакал я о разлуке с родными, с домом и с привычками жизни; вдвое плакал о разлуке с Наташей. Но еще до отправления нашего должно было расстаться с Данглемоном, добродушным стариком, который, что мог, все для меня сделал, что мог, все мне передал. Когда он в первый раз приехал к нам, сначала его несколько чуждались как иностранца, но вскоре увидели, что он человек добрый. Сначала и крестьяне дичились его как нехристя, но он стал помогать больным своими советами и лечил их. Это поселило к нему доверенность; начали ходить старухи, потом и бабы водить больных детей; одним словом, его полюбили. Он был человек спокойный, неприхотливый и во всем умеренный. Одна страсть у него была — охота с ружьем; и потому у него были гончие и легавые собаки. Ему дан был слуга и другой взрослый мальчик, которых он тоже сделал стрелками. Дичи около нас было множество. Каждую субботу, по окончании утреннего класса (ибо в субботу вечером мы учились по-русски), он садился с двумя своими егерями на дрожки и пропадал до понедельника. Питался он во время охоты печеными яицами и булками; ел очень умеренно, а перед пищей выпивал маленькую рюмку сладкой водки. Больше ему было не нужно. Настрелял он пропасть, и все записывал: летом — уток, куликов, бекасов; зимой — зайцев; лис тогда еще не было: они развелись ныне, через 50 лет после д'Англемона; он не дожил до счастия этой охоты.

Д'Англемон не был особенно благочестив; как француз, никогда не читал Библии; но, кажется, был доступен религиозному чувству, потому что один раз в год, в день памяти по его матери, он заказывал в нашей сельской церкви панихиду и во все время службы стоял на коленях и, сложив по-католицки руки, молился со слезами.

Все было хорошо! Егор Иванович (так называли у нас д'Англемона) был всем доволен и жил благоразумно, как вдруг лукавый попутал грехом шестидесятилетнего старца! — В доме у нас была чернорабочая девка Дарья, сестра буфетчика Афанасия: толстая, белая, плотная и румяная. Егор Иванович запылал страстию, которой оказались явные признаки. Дед мой, дававший иногда полную волю своей господской натуре, был, однако, строгий наблюдатель домашних добродетелей в других. Егору Ивановичу отказали. Старик плакал, хотел купить Дарью, просил позволения поселиться с ней в заволжской деревне деда; ничто не помогло! Должен был ехать в Симбирск. Я и сам не меньше Данглемона тосковал о разлуке с ним, но он обещал ко мне писать из Симбирска. И действительно, почти всякую неделю я полу-

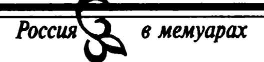
чал от него письма и сам писал к нему, что, между прочим, было мне полезно как практика в французском языке, на котором шла наша переписка. Он иногда поправлял мои письма или делал на них замечания.

С отъездом д'Англемона учение наше прекратилось: это ускорило отправление наше в Москву. Мы и сами, наконец, рады были скорее отправиться, потому что в его отсутствие дед наш вздумал заставить нас повторять уроки и ходить к нему то на исповедь в повторении, то показывать русские тетради: все это сопровождалось с нашей стороны трепетом и страхом, а с его — беспрестанным сердцем, досадой, выговорами: видеть всякой день и так близко его сердитое лицо (а он почти постоянно был сердит; я не помню его веселым и довольным) — это было истинное мучение! — Я помню, когда, бывало, идешь, дрожа заранее, показывать ему тетради или повторять наизусть старое, тетка Надежда Ивановна всегда крестила меня и отпускала с наставлением читать про себя во всю дорогу от нашей комнаты до кабинета: «Помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его!» — Но и вспоминание кротости царя Давида не помогало: это было мучение[122]; насилу вырвались в Москву.

Наконец стали нас собирать тою же зимою: нашили нам теплого платья и шапок. Бабушка напекла пирогов, в том числе и с вареньем; нажарили кур; наплакались вдоволь, благословили и отпустили.

В числе разных наставлений деда и бабки я помню особенно одно: беречься села Бунькова и в нем не останавливаться, потому что в нем живут разбойники и убивают ночью проезжающих, которые останавливаются тут ночевать. Это бывало действительно в старину, когда они сами езжали в Москву; а в последний раз ездили они туда, скрываясь от Пугачева[123]. С того времени прошло сорок лет; но старики никак не могли вообразить, что с тех пор все переменилось. А Буньково было в старину так страшно и опасно, что те, которые проедут его благополучно, служили даже благодарственный молебен. Бабушка из всех опасностей дальнего пути боялась больше всего Бунькова!

Мы отправились в Москву (я, брат Валентин и двое дядек) на почтовых в феврале месяце 1811 года. [Впрочем, нас отправили в дорогу не без надзора. С нами поехала мать Лизы и Валентина, Александра Герасимовна[124], которая пробиралась в Петербург к своей матери.][125]



ГЛАВА 2
Приезд в Москву • Дом Ирины Ивановны Бекетовой и ее родственники

Итак, в конце февраля 1811 года мы въехали в Москву и остановились на Волхонке, в доме родственницы моей бабки, Ирины Ивановны Бекетовой[1]. Дом этот существует еще и ныне (1864), но куплен в казну и назначен к сломке. Он находится против дома князя Сергея Михайловича Голицына[2], а заднею частью двора обращен был к тогдашнему Алексеевскому монастырю, ныне к великолепному, недоконченному храму Спасителя[3]. По обеим сторонам были длинные двухэтажные флигеля, из которых один, правый, смотря с улицы, заворачивал далеко и по улице. Ныне левый флигель сломан. В большом флигеле жил тогда пасынок хозяйки, Платон Петрович Бекетов[4].

Мы были приняты ласково, как родные; но чистота, красивое убранство комнат, мебель красного дерева, а особенно паркеты и мраморный камин с зеркалом, отроду не виданные нами, казались нам таким великолепием, которое беспрестанно напоминало нам, что мы на чужой стороне, что мы тут чужие. Нам отвели помещение в бельэтаже, в парадных комнатах, потому что хозяйка не могла ходить по лестницам и жила в нижнем этаже. Там были стены под мрамор, огромная зала, штофная мебель[5]: мы пуще растерялись, как перенесенные в волшебный замок; до всего дотрогивались и едва смели ложиться на кровати. Так привыкли мы в своей комнате к бревенчатым стенам, не закрытым даже обоями, и к мебели, состоящей из простых стульев и липовых некрашеных столов. Нам казалось там покойнее; здесь были мы не на своем месте и по образу жизни не в своей атмосфере.

Ирина Ивановна была вторая жена тогда уже умершего Петра Афанасьевича Бекетова, родного брата моей бабки. Первая жена его была Репьева, от которой остался сын, упомянутый мною двоюродный наш дядя Платон Петрович. У ней же были еще два сына, Иван Петрович и Петр Петрович[6]. Те жили не с нею: один на Тверской, в наследованном после отца доме[7], который он увеличил прикупкою дома доктора Фреза[8] и пристройками; а другой, Иван Петрович, жил и летом и зимой на даче, приезжая оттуда ежедневно к матери обедать. А пасынок, Платон Петрович, жил с нею, и она любила его не меньше родных сыновей своих.

Она была дочь симбирского купца Ивана Борисовича Твердышева-Мясникова. Их было два брата; оба небогатые, но умные и смышленые. Они открыли в Оренбургской губернии медные и железные руды, которые по тогдашнему закону Екатерины были предоставлены в их пользу, с платою некоторого процента в казну. Екатерина, видя в подобных открытиях и предприятиях пользу общую, не хотела присвоивать руды одной казне и лишать частных людей выгод, сопряженных с обогащением самого государства. Братья Твердышевы вскоре разбогатели неимоверно, один из них, Семен, умер бездетным, и все досталось одному Ивану. После него имение разделили между четырьмя его дочерьми[9], но оно было так огромно, что у одной Ирины Ивановны Бекетовой было две тысячи душ и заводы, что приносило ей ежегодного чистого доходу до 400 тысяч ассигнациями.

Надобно упомянуть и о других сестрах, потому что их детей и внуков узнал я в это время и видал часто как обстановку той пестрой картины, которая поражала меня с непривычки к людям, но которую я разобрал и оценил скоро. Катерина Ивановна[10] была замужем за известным эллинистом Григорием Ивановичем Казицким[11], который печатал свои переводы в «Трудолюбивой пчеле», издавал журнал «Всякая всячина» и был статс-секретарем императрицы Екатерины. Дочь его Анна Григорьевна[12] была замужем за известным остроумцем, любителем художеств и посланником Александром Михайловичем Белосельским-Белозерским[13]; другая, Александра, за графом Лаваль. Лаваль был эмигрант, он ходил в Петербурге по знатным людям и продавал помаду и духи. Так был он вхож и к князю Белосельскому. В французика влюбилась Александра Григорьевна. Князь заметил, что иногда за обедом она жала ему руку и трогала его ногами; Лавалю было отказано от дому. Но он, имея знакомство между знатными, довел до Императора Павла, что они оба влюблены друг в друга и что мать девицы мешает счастию двух сердец[14]. Чувствительный Павел разрушил препятствие очень просто. К Катерине Ивановне был прислан обер-полицмейстер Архаров[15] с полицейскими драгунами взять ее у матери и отвезти в церковь; там ожидал уже ее жених. Их обвенчали и привезли к матери. Долго еще после этого лакеи Казицкой анонсировали его титулом мусье Лаваль; но теща всегда повторяла: «Долго вам говорить, чтобы звали его Иван Степанович!» После восстановления Бурбонов[16] он съездил в Париж и возвратил себе титул графа[17]. Впоследствии я знал его церемониймейстером нашего двора.

Третья сестра, Степанида Ивановна, была в замужестве за Алексеем Федоровичем Дурасовым[18]. У ней были дети: известный богатством, роскошной жизнию, стерлядями, театрами, балетами и глупостью Николай Алексеевич Дурасов[19], о праздниках которого упоминает в своих записках С.П. Жихарев[20]. Дочери ее были: Катерина Алексеевна, замужем за бригадиром

Степаном Егоровичем Мельгуновым. Человек очень простой, которого сыновья известны и ныне своей глупостью[21]. Другая, Аграфена Алексеевна, замужем за Михаилом Зиновьевичем Дурасовым же[22], отставным генерал-майором и георгиевским кавалером, который под конец жизни жил в Симоновом монастыре, посхимнился и отличался отшельнической и святой жизнью. Их дочь Аграфена же Михайловна[23] была замужем за попечителем университета сенатором Писаревым[24]. Третья дочь, Степанида Алексеевна, была замужем за известным любителем древности и физических игрушек графом Федором Андреевичем Толстым[25]. Их дочь Аграфена Федоровна вышла замуж за генерал-адъютанта Закревского[26].

Четвертая сестра, Дарья Ивановна, была в замужестве за Пашковым. Ее дети были: обер-егермейстер Василий Александрович и бригадир Иван Александрович Пашковы[27]. Двух сестер уже не было в живых, когда я узнал их потомство, оставались только Ирина Ивановна Бекетова — в Москве и Катерина Ивановна Казицкая в Петербурге. Все эти семейства съезжались всякое воскресенье и середу на обед к Ирине Ивановне, который накрывался, по крайней мере, на сорок кувертов. До того времени я не бывал даже в Симбирске; я видал у деда многих приезжавших оттуда, но не имел никакого понятия о губернском обществе. Узнавши его впоследствии, я могу сказать ныне, что вся эта компания родственников, собиравшихся у Ирины Ивановны, была совершенно провинциальна, хотя я принимал их тогда за людей высшего общества. Болтовня о московских новостях и увеселениях и игра в карты: вот был характер этого собрания родственников; так что даже и мне, не видавшему ничего лучшего, некоторые из них казались смешными, и все вообще утомляли меня, мальчика, своею пустотою. Многие из них, например, Николай Алексеевич Дурасов, Иван Александрович Пашков и Степан Егорович Мельгунов, были нестерпимо глупы; последние двое хотя бы без претензий, а Дурасов с надменною уверенностью позволял себе иногда нестерпимые выходки, хвастовство и глупые шутки, которым и хохотал. Он хвастал богатством, презирал всякой ум и всякой талант и ученость, унижая их с каким-то глупым наслаждением. Ему и другим родственникам досталась в наследство какая-то библиотека. Он не иначе согласился разделить ее, как по форматам, маленькую книжку за маленькую, большую за большую, а многотомные сочинения разделить тоже томы поровну. Так и сделали, и разрозненные увражи[28] не пошли ни на что. Но он угощал роскошно Москву; жил в своем Люблине, как сатрап, имел в садках всегда готовых стерлядей, в оранжереях огромные ананасы и был до эпохи французов, все изменившей, необходимым лицом общества, при тогдашней его жизни и тогдашних его потребностях. С.П. Жихарев в своих «Записках студента» очень верно изобразил Дурасова, хотя и не с моей откровенностью.

Граф Федор Андреевич Толстой был тоже не дального ума, но добродушен, а страсть его к собранию летописей и других древних рукописей делает ему большую честь и составила ему имя, хотя она остается для меня и поныне загадкою. Он не знал ни одного иностранного языка, не читал ни одной русской книги, не имел никакого образования и не мог порядочно разбирать старинных рукописей. Он покупал все старинное и все редкое, что бы ни попалось, и потом показывал это, как знатокам, Платону Петровичу и Ивану Петровичу, которые делали ученую оценку его покупкам. Скупая жена его давала на это ему по 10 тысяч рублей ассигнациями ежегодно. С ним бывали довольно странные ошибки. К Бекетовым ходил всегда по этим дням, когда сходились он и граф Толстой, один книжник, Петр Григорьевич Котельников[29], которого по сближению понятий называли фарисеем[30]. Этот фарисей знал всю подноготную русской библиографии и книжной торговли и мог достать со дна моря редкую книгу. Однажды, до приезда [еще] графа Толстого, он вытряхнул перед Бекетовыми из своего мешка какое-то французское письмо, писанное новейшею женскою рукою и подписанное Marie St. На обороте было надписано: à Mr. Palme*. Платону Петровичу вздумалось сыграть шутку с графом Толстым и уверить его, что это письмо Марии Стюарт[31]. Иван Петрович был уверен, что граф не поверит; да и потом, к кому же она писала? — «Скажем, — возразил Платон Петрович, — что к книгопродавцу Пальму, расстрелянному Наполеоном!»[32]. Фарисею велели просить 500 рублей и потом уступать. Что же! Добродушный археолог всему поверил, тем более что Платон Петрович собирал автографы и почерк Марии Стюарт был ему знаком. Граф торговался жарко; сторговал это письмо за 150 рублей; но проказники расхохотались и, открывши ему правду, не допустили его до покупки. Однажды он привез к обеду купленный им вместе с другим хламом какой-то, как говорил он, чудный платок с старинными изображениями. Вытащил его из кармана, и это оказался антиминс[33], вероятно, выброшенный из церкви французами. Граф остолбенел, когда ему растолковали, и не знал, что делать.

Платон Петрович Бекетов, отставной майор, и брат его Иван Петрович, отставной полковник[34], были люди очень умные, просвещенные, даже по тогдашнему учению, и оба очень приятные в разговоре и в обращении. Оба они знали языки: французской, немецкой и отчасти латинской. Первый учился вместе с Карамзиным в пансионе Шадена и был старше Карамзина четырьмя годами[35]. Он имел лучшую в Москве типографию, которую перед моим приездом продал Воейкову[36] и которая со всеми книгами и запасами во время французов сгорела. — Он был первым председателем Общества исто-

*Г-ну Пальму (*фр.*).

рии и древностей[37] и был всеми любим за свой[38] ум и добродушие. У него была огромная библиотека, наполнённая редкими, драгоценными и великолепными изданиями. Она тоже сгорела. Иван Петрович, действительный член того же общества, занимался преимущественно историей и ботаникой; у него на даче за Серпуховской заставой был прекрасный зимний сад, составленный из трех отделений, по различным климатам жарких поясов, где находились в группах деревья Южной Америки, Индии и Африки. Переход из дома в этот сад составлял птичник[39], в котором были насажены уже наши отечественные деревья. У него тоже была отборная и огромная библиотека. Оба братья были любители картин, эстампов и статуй и имели очень хорошие копии с знаменитейших произведений скульптуры.

Младший брат их Петр Петрович был совсем не похож на старших, ни умом, ни познаниями. Отец их, заботившийся о воспитании старших и отпустивший их на службу в Петербург, не хотел учить младшего, говоря, что от тех никакой нет подпоры отцу в его старости, что им, как ученым, с ним скушно, оттого и живут далеко, а что этого сына он готовит на утешение своей старости. Взяли мадам, поучили его немножко по-французски, да тем и кончилось. Потом записали его в гвардию и перевели с чином в провиантскую комиссию, где он ничего не делал. Отец купил для него при Павле мальтийское командорство, то есть крест Иоанна Иерусалимского на шею[40]. Тут он присватался как-то к дочери Кутузова (потом князя Смоленского[41]) и был помолвлен. Кутузов выпросил ему камергерство, что давало тогда генеральство. Но открыли, что он глуп и ревнив, и отказали. Дочь вышла после за Хитрова, а он, никогда не служа, вышел в действительные камергеры, то есть, по-нынешнему, в действительные статские советники[42]. Он строил, не имея понятия об архитектуре, имел инструментальную, вокальную и роговую музыку[43]; был человек очень добрый, раздавал много денежных награждений и пенсий[44]. После матери разделил с братом Иваном ее огромное имение, не умел управлять им и умер разоренным, однако в огромном доме, купленном им на Мясницкой, потому что, по упрямству перед законными требованиями московского градоначальника, не хотел отделывать прежнего на Тверской.

У Ирины Ивановны было еще две дочери: Катерина Петровна[45] за сенатором Кушниковым[46] и Елена Петровна[47] за министром полиции Балашевым[48]. Платон Петрович, человек умный и просвещенный, был особенно добродушен, я его любил чрезвычайно и почитал не меньше, как родного дядю. В молодости, служа еще в гвардии, он промотался и наделал долгов. Отец сперва заплатил за него, но после, видя, что он еще более мотает (особенно по привязанности своей к актрисе Синявской[49], которую он отбил у графа Хвостова[50]), отказался платить долги сына, который принужден был скры-

ваться у родственников, чтобы не попасть в тюрьму: то у дяди своего Павла Афанасьевича Бекетова[51] в его арзамасской деревне, то у моего деда, женатого на Катерине Афанасьевне, родной его тетке. Здесь, живучи у них в селе Богородском, он особенно полюбил наше семейство и подружился с двоюродными братьями и сестрами; и его все полюбили как родного брата. Так проскитался он до самой кончины своего отца[52], по смерти которого мачеха Ирина Ивановна тотчас заплатила за него все долги, составлявшие более ста тысяч, сумма и теперь огромная, а тогда и подавно. Мудрено ли, что он так был привязан к мачехе и жил даже у нее в доме, тогда как родные сыновья жили каждый особо.

Прежде моего приезда в Москву дом Ирины Ивановны был на Рожественке; она продала его под Медико-хирургическую академию. Платон Петрович помещался в одном флигеле, который сам по себе [был] большим барским домом. А в главном здании были даже мраморные колонны и мраморные лестницы, что тогда была большая редкость. К дому примыкал огромный сад с террасами и оранжереями, выходивший заднею каменною оградою на другую улицу[53]. Все это существует и ныне, не знаю, в том ли виде. Она, продавши этот дом, купила другой, поменьше, на Волхонке, в котором жили и мы по приезде в Москву.

Дяди Ивана Ивановича не было тогда в Москве, он был министром юстиции и жил в Петербурге[54]. Его вполне заменил нам Платон Петрович, и думаю даже, что эта замена была нам полезна, при простоте нрава и доброте души его, которые были нам очень нужны, как пересаженным растениям нужны тепло и солнце.

Платон Петрович свозил нас с братом рекомендовать попечителю университета Павлу Ивановичу Голенищеву-Кутузову[55], с которым он был дружен. Надобно сказать, что основанием этой дружбы было, кажется, то, что Кутузов печатал на его счет свои сочинения. Кутузов был себе на уме, и его вообще не хвалили как человека, но добродушный Бекетов смотрел на одни его хорошие отношения к себе. Он печатал тоже на свой счет и в своей типографии журнал «Друг просвещения», который издавали Кутузов, граф Салтыков и граф Д.И. Хвостов[56]. Этот журнал можно помянуть добром только потому, что в нем помещал Евгений[57] свой словарь российских писателей. Что касается до литературы — трое бездарных редакторов пользовались своим журналом только как средством помещать свои стихи, которых никто не хотел печатать. Но тут происходила еще вот какая взаимная хитрость: они собирались читать свои стихотворения, назначаемые для журнала; при этом чтении, как скоро были у кого из них плохие стихи, двое других их-то и принимались взапуски хвалить с тою целию, что их собственные произведения при этих стихах покажутся лучше. При такой методе можно вообразить,

каков был их журнал. И действительно, Бекетов потерпел от него убытки и от печатания второго года отказался. В этом-то журнале появлялась самая гениальная гиль графа Хвостова, в которой, например, пьют шампанское «под Троей греки-храбрецы», и другие курьозности в том же роде[58]. Здесь у П.И. Кутузова увидел я в первый раз дочь его, Авдотью Павловну, впоследствии Глинку[59]. Она была годом или двумя меня постарее.

Потом Платон Петрович представил нас инспектору (впоследствии названному директором), то есть к непосредственному главному начальнику университетского благородного пансиона[60], Антону Антоновичу Прокоповичу-Антонскому[61]. Он слегка проэкзаменовал нас. Чего было экзаменовать? Я знал только по-французски и мифологию, а брат Валентин, который был и моложе меня, и ленивее, не знал и того. Антонский присоветовал поучиться нам на дому, чтобы сколько-нибудь приготовиться к вступлению в пансион, и обещал прислать учителя давать нам уроки. Вследствие этого явился к нам кандидат университета и надзиратель пансиона Михайло Игнатьевич Ханенко[62], педант, который оказался впоследствии и сам почти ничего не знающим в сравнении с другими учителями и надзирателями. Но он был любимец Антонского. Не помню, чему он нас учил, но, кажется, русской грамматике, арифметике и читать на немецком языке, которого он только и знал, что умел несколько читать. Давши нам достаточное число уроков, то есть достаточное не для приготовления нас к дальнейшему учению, а для получения себе денег, он сказал, что мы приготовлены. Нас отвезли в пансион. Антонский дал нам так называемую таблицу, в которой было назначено, в каком предмете в какой класс нам поступить. Потом дал записку книгам, которые должно было купить в пансионской библиотеке, и растолковал, к какому надзирателю явиться, то есть в какие быть помещенными комнаты. Что это значило, я объясню после[63]. Я явился к Ивану Федоровичу Гудиму-Левковичу[64], который после был председателем симбирской уголовной палаты и женился на приятельнице моей первой жены: тогда мы оба не воображали этого.

Я поступил в французском и русском языке в средние классы; в арифметике — тоже; в немецком языке во второй, то есть только что не в самый нижний. А всеобщей истории и географии и русской истории был один, для всех общий. Брат Валентин поступил еще ниже.

Учебные книги были следующие: «Краткая русская грамматика», изданная для пансиона[65]; французская грамматика; немецкая Гейма; латинская таблица, содержащая склонения, спряжения и другие части речи вместе с нужнейшими именами существительными и глаголами; «Логика» Богданова; «Риторика» Мерзлякова; «Всеобщая история» Шрекка; география в двух толстых томах; курс математики Безу и атлас древней географии «Лафиза», пе-

реведенный Черепановым. Впоследствии прибавлена была еще «Славянская мифология» Кайсарова[66]. Вот какие были наши учебные пособия. Кроме этого, надо было купить еще кожаную теку для книг и тетрадей[67]. А потом для меня была куплена еще рапира и маска для фехтования.

Кроме учебных книг, назначено было нам приобрести еще французскую хрестоматию, «Детский театр», изданный для пансиона, кажется, Сандуновым[68], и книжку, издаваемую пансионерами вышнего класса, под заглавием «В удовольствие и пользу»[69]. Так поступили мы в пансион. Плата за нас была за учение, стол и помещение 400 рублей ассигнациями за каждого, но перед этим было еще менее, кажется, 350 рублей. Платье, белье, постель и учебные пособия были свои собственные. Кроме того, каждый пансионер при вступлении должен был внести серебряную ложку, которая и оставалась в пользу заведения[70].

ГЛАВА 3
Университетский благородный пансион

Со страхом вступили мы в пансион. Вход наш в толпу пансионеров, которых было тогда вместе с приходящими до 400 человек, можно уподобить вот чему: это было похоже, как бы человека, едва умеющего плавать по небольшому пруду, вдруг бросили в море и велели плыть с другими! — Толпа мальчиков из нашей и из других комнат окружила нас с вопросами: как ваша фамилия. Бесчисленное, как мне казалось, множество лиц, и всегда новых, мелькали мимо нас с шумом, заглядывались на нас, подбегали к нам, а мы, робкие и всем чужие, не знали, где стоять и куда приютиться. Но не прошло полугода, как мы привыкли; однако все-таки не могли забыть семьи, ее обычаев и привычек, родных и даже женщин и дворовых людей, которые тогда сохраняли именно патриархальную привязанность к своим господам и любили нас, детей, как свое, а не чужое[1].

Обращаюсь к университетскому пансиону. В воспитательном заведении надобно различать две цели: учение и собственно воспитание. И то и другое стояло не высоко[2]; но и то и другое соответствовало потребностям того времени и тогдашней образованности общества, и потому и то и другое, в относительном своем достоинстве, было не хуже нынешнего. А в мире все относительно. Теперь мы не довольны настоящим нашим воспитанием, и мы правы; тогда были довольны воспитанием того времени, и тогдашние люди были тоже правы. Больше не было нужно!

Тогда параллельных классов не было; да, может быть, это было и лучше. Нынче требуется, чтобы ученик шел во всех предметах равно, что решительно невозможно. Из этого выходит, что, успевши в каком-нибудь предмете, он не переходит в класс высший потому только, что отстал в других предметах. Но как хотите вы этого равенства? Есть головы, способные к языкам или к словесным наукам и не способные к математике. Таков был и я. За что же угнетать способности, данные природою, и не давать им дальнейшего ходу из того только, что ученик отстал в предметах другого рода? — У нас было так, что в некоторых предметах учения можно было достичь высших классов, оставаясь по другим предметам в средних. Иностранным языкам учили очень плохо. В французском языке я не только не подвинулся вперед, но отчасти забыл и то, что знал прежде. В немецком не выучился

ничему; так и вышел из пансиона, не зная совсем немецкого языка, хотя и был переведен в средний класс к Миллеру[3], то есть за один до вышнего класса. Латинской язык преподавали у нас в русском классе, следовательно, не имели даже и особых учителей. Математика шла, говорят, хорошо, но не у меня: я насилу смог дойти до геометрии и не пошел далее. Географии учили очень пространно; но наизусть и без карт географических, то есть это было дело одной памяти, а наглядно мы не могли бы указать, без подписи, границ ни одного государства. Всеобщую историю преподавал известный своим тупоумием профессор Черепанов[4], который если бы не был смешон, был бы тошен; это была олицетворенная скука и бездарность[5], как в общей идее об истории, которая была для него не более, как последовательность происшествий, так и в вялом, монотонном, неодушевленном рассказе, прерываемом только привычными поговорками: «с позволения вашего, государи мои», «равномерно как бы уже»; «с позволения доложить». — И теперь еще памятны некоторые его изречения, иные подлинные, иные, вероятно, и выдуманные, но которые переходят и передаются по преданию от поколения поколению и через пятьдесят лет смешат внуков, чем смешили дедов. Вот эти изречения: «С позволения вашего, государи мои, Господь Бог в шесть дней сотворил мир». Или: «И Ассирийская монархия в сие время также уже хуже стала становиться» и проч.[6] — Другой памяти он по себе не оставил. Искусства, то есть музыка, пение, рисованье и танцеванье, шли хорошо для тех, которые дома положили хорошее начало: они усовершенствовались; но те, которые начинали в пансионе, никогда им не выучивались[7].

Однако, скажут после этого, что же хорошего было в этом пансионе? — Вот что: литературное образование, которое более всех других способствует не к специальным знаниям, а к общей образованности, которая, соответствуя потребности тогдашнего просвещенного общества, была действительно нужнее положительных знаний. Хорошо всегда то, что соответствует потребности. Эта часть шла хорошо. Доказательством тому — воспитанники пансиона, давшие ему действительную и справедливую славу: Дашков, Тургенев, Жуковской, Милонов, Кайсаров, Аркадий Родзянка[8] и многие другие. Большая часть имен, прославившихся у нас в литературе и на поприще службы, вышли из университетского благородного пансиона. Я сам, не сравнивая себя с ними, положил, однако, начало своего литературного образования в этом же пансионе и ему обязан моею любовию к литературе.

С самых средних классов мы привыкали уже к именам и произведениям лучших писателей. Мы учили их наизусть и изучали и дух и красоты их в подробностях. Нам преподавали теорию словесности постепенно, начиная с логики, как формы мышления, и переходя к риторике, как к внешней

форме речи. В высшем классе преподавалась пиитика и эстетика. Но начиная с средних классов подвергали лучшие произведения слова критическому разбору. Истории литературы собственно не преподавали; но она составлялась сама собою в уме нашем, при последовательном обозрении писателей. А вместе с оценкой русских писателей параллельно упоминались и иностранные, то есть больше французские и знаменитейшие поэты Италии; немецкая литература была тогда мало известна и не пользовалась у нас классическою славою, а об английской почти не было и слуху.

Нам задавались и самим упражнения в стихах и прозе, что иногда доходило даже до излишества. Так, когда я поступил в подвышний класс, у нас очутился на кафедре тот самый Ханенко[9], который давал нам уроки еще в доме Бекетовой. Этот надутый собою педант вздумал задавать нам к каждому понедельнику темы для стихов; некоторые я и доныне помню: басня «Пчела и осел», «Ночь», «Зима» и проч. — У всех, кто мог, должны были явиться к понедельнику стихи одного и того же заглавия. Некоторые совсем не могли писать стихов и оставались у преподавателя по одной этой причине на заднем плане. У меня без труда родились стихи, и он всегда хвалил меня. Видя это, некоторые ученики мне завидовали, другие начали просить меня написать и для них. Я писал две пиесы на заданную тему, показывал товарищу обе и объяснял очень честно, что лучшую я возьму себе, а ему дам похуже. Он рад был и той; переписывал ее, подписывал свое имя и подавал. Другие, не знающие нашего секрета, удивлялись, откуда взялись способности у того, который не умел прежде написать ни одного стиха! Но я признаюсь, что делал это не даром, а брал с ученика за утренним чаем по два сухаря, которых нам давали всего по три, и мы голодали, о чем будет сказано после. Но однажды я испытал совсем незаслуженный и обидный отзыв нашего педанта. Произнеся мое имя при чтении моего стихотворения «Зима», он, к моему и всеобщему удивлению, произнес: «Эти стихи так плохи, что это заставляет меня подозревать, что и прежние писали не вы!» — Все на меня оглянулись, и я заметил в некоторых злобную радость о моем падении! — Этот отзыв тем более был мне чувствителен, что был несправедлив: стихи были не только не хуже прежних, но мне казались лучше, и я за них-то и ожидал себе похвалы. Очень вероятно, что кто-нибудь, из зависти ко мне, надул в уши Ханенке, что я подаю стихи чужие.

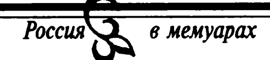
Вскоре, однако, дали нам вместо его человека, достойного уважения и по уму, и по характеру, и по учености. Это был только что возвратившийся из чужих краев профессор университета Алексей Васильевич Болдырев[10]. — Он принял совсем другую методу. Он начал с того, что продиктовал нам прозу, и потом пересадил нас по сведениям нашим в правописании. Это показалось нам, которым прежде показывали одни высоты Парнаса, несколь-

ко унизительно, но вскоре мы все увидели, что это полезнее. Начавши с такого мелкого требования, с правописания, он нечувствительно ввел нас, так сказать, в тайны русского языка; он разбирал критически, и грамматикально, и риторически, прозу Карамзина, показывая нам порядок его речи, согласие ее законов с красотою слога и зависимость одного от другого. Одним словом, это было учение прочное, основательное и методическое, чем он дал нам прочные основания к литературе вообще.

Главным предметом Болдырева были семитские и азиатские языки; он знал еврейской язык и арабской, персидской и турецкой, но знал также греческой и латинской. В основательном, научном знании русского языка ручаются его рассуждения о глаголе, напечатанные впоследствии в «Трудах общества любителей российской словесности»[11].

К 1812 году я был переведен в некоторые вышние классы, и, между прочим, в высший класс русской словесности к Мерзлякову[12]. Он преподавал нам теорию словесности, по известным французским теориям Ле-Батте и других[13], но главное, занимал нас подробным изучением русских писателей, то есть поэтов, потому что тогда, кроме Карамзина и его подражателей, ничего не было в прозе. Хераскова «Кадм и Гармония»[14] и проч. устарели и никогда не могли почитаться образцами. Русская академия[15] отстала во всем от Московского университета, а петербургская литература с «Беседой» Державина[16] была в пренебрежении. Один Крылов[17] из всех тамошних поэтов привел нас в восхищение изданием двух книжек своих басен[18]. Ломоносов, Петров[19], более всех Державин, потом Дмитриев — вот кто были предметом критических разборов Мерзлякова[20]. Эти разборы были верны, подробны и обильны плодами разных сведений: в них заключалась и история поэзии в применении к истории времен, и теория в применении к образцам; обзор и целости идеи, и подробностей, как в плане, так и в исполнении. Это был, несмотря на ложность французской теории, художественный курс поэзии. У Мерзлякова как мало было вкуса в собственных произведениях, так много художественного такта в критических разборах. Он был не красноречив и имел недостаток в выговоре и произношении, но когда входил в восторг, а он без восторга не мог говорить о великих поэтах, тогда незаметен был его недостаток: он увлекал нас; мы его любили слушать, любили его самого и уважали.

В вышнем классе были уже прежде меня некоторые взрослые воспитанники, которые между нами и сами имели уже славу поэтов. Таковы были: Сергей Гаврилович Саларев[21], молодой человек прекрасного лица и прекрасной души, умный, скромный и просвещенный; Аркадий Гаврилович Родзянка, написавший несколько стихотворений, полных воображения, картин и жизни[22]. Мы, младшие, уважали их и смотрели на них как на избранных, тем более, что они не далеки еще были от времени Жуковского и были как



бы его наследниками в славе пансиона. Сам Антонской и Мерзляков отличали их знаками какого-то почетного благоговения.

Много способствовало литературному образованию пансионерское общество любителей словесности. Оно было учреждено еще при Жуковском; имело свой устав, под которым после Жуковского и его современников подписывались по мере вступления все члены этого общества, и принадлежать к нему было высшею честию[23]. — Оно собиралось всякую середу в шесть часов вечера. При мне председателями были Сергей Гаврилович Саларев, секретарем Григорий Васильевич Полетика[24]; членами Аркадий Гаврилович Родзянка, Алексей Павлович Величко[25], Илья Иванович Полугарской[26], Григорий Эсимонтовский[27], других не помню, но их было девять. Кроме членов были сотрудники, в число которых приняли и меня.

Порядок заседания происходил так. После прочтения протокола предыдущего собрания и после подписи его членами начиналось обыкновенно очередною речью одного из членов, всегда нравственного, или философского, или чисто литературного содержания. За нею следовали рассуждения или прения членов по предмету этой речи. Потом читались стихи и проза членов или и посторонних, еще не принадлежащих к обществу воспитанников. Вслед за этим чтением иногда один из членов разбирал на словах читанное произведение. Потом один из сотрудников читал письменный разбор какого-нибудь лучшего произведения знаменитых тогда русских поэтов: Державина, Ломоносова, Дмитриева, Карамзина и других. В этих разборах строго рассматривались и эстетическое достоинство произведения, и нравственное его начало, и красоты или недостатки языка, и относительные его стороны; и все это основательно и с доказательствами, основанными на твердых началах. Так, я помню, после разбора «Ермака» Дмитриева[28] один из членов сделал вопрос критику: «Верно ли изображен костюм шаманов, или это только изобретение поэта?» — Критик отвечал положительно: «Я нарочно с этой целию перечитывал «Сибирскую историю» Миллера[29] и могу утвердительно сказать, что костюм и вооружение — все верно!» — Так строго и основательно смотрели тогда на произведения поэзии; так привыкали мы к основательной оценке. Под конец заседания обыкновенно один из членов предлагал вопрос на разрешение, по большей части возникший в его уме при чтении какого-нибудь иностранного мыслителя. Вопрос обсуживался в общем прении, в котором хотя бывали иногда и горячие споры, но всякой желающий говорил в свою очередь и не был никогда ни перебиваем, ни прерываем другими.

Антонской всякую середу приходил в эти собрания, но сидел в стороне и слушал, нисколько не мешая свободе мнений. Только когда случалось, при прениях и вопросе, кому-нибудь сбиваться в сторону и выходить из воп-

роса, он напоминал его и наводил на сущность рассуждения. Почетными членами этого маленького собрания были люди, известные в литературе или достойные особого уважения по службе и по месту, ими занимаемому, как-то: попечитель университета Кутузов[30], Карамзин, Дмитриев[31] и другие. Когда случалось, что в середу кто-нибудь из них приезжал к Антонскому, он непременно приводил его в собрание. Выборы действительных членов и сотрудников происходили по предложению председателя и всегда при баллотировке. В следующую середу после выбора избранный приходил в комнату, которая вела в небольшую залу заседания. Там, при затворенных дверях, прочитывали протокол предшествовавшего заседания, в котором прописывали выбор. По подписании членами этого протокола, председатель просил секретаря ввести избранного; председатель приветствовал его дружескими объятиями и братским поцелуем; потом, указав ему место, читал ему приветственную речь, в которой кроме указания на предмет литературных занятий настаивал более на том, что это общество друзей, что члены обязаны питать друг к другу это святое чувство, делиться друг с другом мыслями и дружескою взаимностию и хранить тайну о всем, что происходит в их собраниях. Это последнее правило составляло действительно один из важнейших пунктов устава, и никогда не случалось, чтобы кто-нибудь рассказал посторонним, что читалось и говорилось в обществе. Это, между прочим, охраняло самолюбие и членов, и посторонних, держало его в пределах и не давало повода оскорбляться, хотя бы чье сочинение и подвергалось всей строгости критики. Это оставалось известным только между членами и не распространялось далее.

Из всего сказанного мною можно видеть, что это собрание имело цель не одну литературную, а воспитывало старших и лучших юношей в понятиях о нравственности, о дружбе, о чистосердечии, о скромности; что оно приучало мыслить и выражаться, что оно поднимало дух и воспитывало самолюбие в благоразумных пределах; одним словом, что оно, так сказать, взаимным самовоспитанием довершало обязательное самовоспитание юношей.

Этим обществом изданы были многие книги: «Утренняя заря» в шести томах, в которых находятся и юношеские произведения Жуковского; «Избранные сочинения из Утренней зари»; «И отдых в пользу»; «В удовольствие и пользу», две части[32]. Первая издана была до меня; а во второй напечатан и мой перевод жизни Младшего Плиния: первый слабый труд, под которым в первый раз было напечатано мое имя. После моего выхода из пансиона издано было несколько частей «Каллиопы».

Антонской был самый тонкий воспитатель. Он редко давал наставления, а воспитывал, так сказать, фактически. Так, призвав меня к себе, он сказал: «Ты бы перевел что-нибудь; вот хоть из этой книги. И это вот в ней хо-

рошо, и вот это, и это». — При этом указании я заметил, что он как-то чаще указывает на жизнь Младшего Плиния. Прочитавши ее, я понял, что ее-то он и почитал приличнее, и понял вот почему. В ней говорено было о знаменитом дяде его, Плинии Старшем, и сказано, что племянник шел по стопам его[33]. — Это было и мне наставление, и дяде моему легонькой комплимент. Я ее перевел, Салареву отдали ее поправить и напечатали. Так вел он рядом и литературную, и моральную пользу.

Вообще надо бы заметить, что имя отечества встречалось нам во всем; о любви к отечеству говорило нам все окружающее, и люди, и вещи. На актах университета в речах и стихах воспитанников раздавалось имя отечества; зала, где происходили акты, была уставлена портретами кураторов университета, как верных сынов отечества и благодетелей юношества. Имена Муравьева, Хераскова, Мелиссино, равно как и черты лица их, и предание о их действиях на пользу просвещения, были всегда присутственны в нашей памяти[34].

Торжественный акт пансиона был обязательно[35] в декабре, перед Рождеством и зимними ваканциями. На него съезжались все значительнейшие лица Москвы, родители воспитанников и любители просвещения. Акт начинался всегда произнесением речи, которые можно и ныне видеть напечатанными в книгах, изданных воспитанниками[36]. Потом следовали их же стихи; потом было пение, музыка и фехтованье: все это с тем, чтобы показать посетителям все их способности и успехи. Наконец раздавались награды: высшая награда была глобус; другие состояли в книгах и так называемых учебных пособиях: дорогих чернильницах, математических инструментах и проч. Имена награждаемых провозглашались громко и потом обнародовались посредством печати. В заключение читался отчет за минувший год, о всем, относящемся до пансиона. После акта воспитанники, имевшие в Москве родных, распускались по домам.

Дом университетского благородного пансиона был тогда на Тверской, против дома Бекетова. Он выходил двумя фасами еще на два переулка, старый Газетный и другой, ближайший к университету[37]. Церкви в те времена в доме пансиона еще не было; приходская наша церковь была Успенья на Вражке[38], куда мы каждое воскресенье ходили к обедне и где мы на страстной неделе говели, исповедовались и приобщались святых тайн. Антонской жил тогда в особом небольшом флигеле у ворот переднего двора. Нынче этот дом продан: его купил камергер Базилевский[39], переделал и начал отдавать по частям в найм, под магазины, лавочки и разные так называемые увеселительные заведения. Признаюсь, меня огорчила и оскорбила эта продажа, как святотатство, тем более что впоследствии, после меня, была и церковь в этом доме[40]. На месте церкви теперь табашный магазин, кажется, Мори-

ана[41]. Тогда я написал элегию «Проданный дом», которая возбудила во всех слышавших ее большое участие, но напечатать ее не позволили, как оскорбительную для начальства, придумавшего и утвердившего эту продажу. Она была напечатана в одном харьковском сборнике, но с пропуском последних, сильнейших куплетов[42]. Там есть, между прочим, следующие стихи:

Тайник святыни воспитанья
Непосвященному открыт,
И осквернен рукой стяжанья
Дом купли он, народу в стыд!

Внутренний распорядок нашего быта был такой: несколько комнат, две или три, не больше, соединенных под смотрением одного надзирателя, назывались по его имени, комнатой такого-то: сам надзиратель имел за перегородкой особое помещение, с одним окном; а мы размещались по нескольку человек в одной комнате. У каждого была деревянная, выкрашенная красной краской кровать, выдвигавшаяся на ночь, а днем представлявшая некоторое подобие высокого комода. Днем в выдвижную часть ее пряталась постель и подушки; в верхней части был выдвижной ящик для тетрадей, а в нижней — два ящика для платья и книг. При каждой кровати была табуретка, которая служила не только для сидения. Так как столов у нас совсем не было, то мы писали на верхней доске этой комоди; а так как она была высока, то для писанья мы становились ногами на табуретку.

Воспитанники были разделены на разные комнаты по возрастам. Маленькие жили в нижнем этаже, у двух разных надзирателей; старшие вверху. Кроме того, была отличная комната, для немногих самых старших и лучших, и полуотличная, тоже для лучших, помоложе, не достигших еще чести быть отличными и бывших не по всем предметам в вышних классах. В число этих вскоре был переведен и я, под надзор одного из лучших и более сведущих в науках надзирателей Ивана Федоровича Гудима-Левковича[43].

Вставали мы по звонку в шестом часу; умывшись и одевшись, в шесть часов мы шли в репетиции, учили и повторяли уроки. В 7 часов по звонку шли, комната за комнатой, всегда в одном определенном порядке, в столовую пить чай с тремя сухарями, а по середам и пятницам — сбитень с половиной небольшого белого хлеба.

При начале читалась одним из полуотличных утренняя молитва, после которой все садились. Во время же чая один из отличных по очереди читал на налое, стоящем посредине, нравоучительную книгу, изданную при Новикове, но которой название я не помню[44]. В девять часов шли в классы, которые продолжались до двенадцати.

Обедали мы в 12 часов все в одной зале, где было, кажется, девять или более столов, по числу комнат. Для отличных был круглый стол посредине. Каждая комната обедала за особым столом под председательством своего надзирателя, который разливал горячее[45]. За обедом нам не позволяли разговаривать, а для предупреждения разговоров велено было всякому ходить за стол с книгой и читать между кушаньями. Я брал больше Державина и других поэтов; но случались и такие смельчаки, которые читали романы, строго нам запрещенные[46]. Антонской всегда ходил по зале во время нашего обеда. Случалось иногда, что вдруг из-за спины читателя протягивается рука и берет книгу: если это было дозволенное чтение, то книга тут же возвращалась, но если это был роман, она исчезала навеки!

После обеда, побегавши до двух часов, в два часа мы опять шли в классы, до шести. В шесть часов, вместо чаю, раздавали нам куски белого хлеба. В семь мы шли опять в репетиции, потом в 9-м часу ужинали и слушали вечернюю молитву, а в десятом ложились спать.

Летом, после вечерних классов, мы бегали по двору, играли в мячи, в бары и в другие игры. Был и сад, но в него позволялось ходить только воспитанникам отличной комнаты. В летнее время вместо репетиций желающие учились ружью. Для этого был нанят отставной офицер, Вонифатий Алексеевич[47], в синем фраке, а из полку откомандировывали на все лето[48] барабанщика. Мундиры были у нас из толстого зеленого сукна, панталоны сверх сапогов из белой парусины, каски с красными шерстяными шнурами. Ружей было два комплекта: ежедневные без штыков и на случай парада со штыками. Тесаков[49] не было; они были только у ундер-офицеров, в которые производили лучших из нас по части военной экзерциции[50]. Знамя было как необходимая принадлежность, потому что фрунт равнялся по знамени. Помню, что знамя хранилось в пансионской больнице и что относить знамя по Тверской с барабанным боем было для нас большое удовольствие и какое-то возвышение духа! — Антонской всякой вечер ездил верхом; когда он садился на лошадь и проезжал мимо нас, мы ему отдавали честь, делая на караул. А во время ваканции те из воспитанников, которые не уезжали из Москвы, жили в лагере, во Всесвятской роще[51], где ничем более не занимались, кроме учения ружью, построениям и вообще военной экзерцицией. Они содержали караулы и подвергались всем условиям лагерной жизни.

Кормили нас очень дурно. Утренний чай был какая-то жижа с молоком, а трех сухарей было мало: мы выходили из-за чая всегда голодные. Покупать съестное было строго воспрещено, но голод заставлял прибегать к обману. Дядьки всякое утро приносили нам тайно каждому калач или с икрой, или с маслом, или с вареньем. В ближайшей лавочке все это нарочно держали для пансионеров: калач разрезывали и клали туда требуемую прибавку. Комнат-

ные надзиратели смотрели на это сквозь пальцы. Но у нас был еще инспектор, который, по счастию, приходил очень редко: барон Швенгсфельд[52], которого все ненавидели и даже не любили двух-трех учеников, именно двух Крюковых и Похвистнева[53], подозревая, что они его шпионы. Беда, если он повстречает дядьку с калачом! Достанется и ему, и пансионеру от этой строгой, длинной, красной, деревянной немецкой фигуры!

За обедом подавали нам суп или щи, всегда жидкие, мутные, холодные, с небольшим кусочком мяса; а в Великой пост в тарелке плавали два или три снятка. Соус был обыкновенно какая-то смесь, не имеющая никакого ни вида, ни вкуса; жареное — дурная, черная телятина. Мы никогда не наедались сыты. Один раз, я помню, как полуотличный стол, человек 25 или более, сговорились не пить чаю и вылить все чашки на поднос; потоп этот был доведен до сведения Антонского. Нас спросили; мы сказали всю правду. Говорят, что досталось эконому[54]; с неделю нам давали чай получше, потом пошло по-прежнему.

Антонской и сам был умерен в пище; но стол его был хорош. Летом он всякой день ел молошную кашу и всякой день купался, а верхом ездил и зимой и летом. Свои понятия о воспитании оставил он в небольшой книжке под этим титулом[55], которая показывала самые зрелые понятия об этом предмете. Но на практике особенно пища и вообще содержание не согласовались с его теорией.

Мы, однако, любили Антонского и очень уважали, хоть и боялись. Он редко бранил нас, но делал такую серьезную физиономию, от которой одной находил страх. Но когда рассердится, в каком-нибудь редком и крайнем случае, он топал ногами, махал руками и приговаривал: «Ат-та! Ах-та! Вот asinus-та! Вот stupidus-та! Stupidissimus-та!»* Он имел привычку ко всякому слову прибавлять: «та!» — Один раз в вышнем классе не было профессора и мы подняли страшный шум. Вдруг является в дверях Антонской и произносит на своем французском языке: «Ах-та! Се-та, ки сон-та, ле плю гран-та сон-та ле плю фу-та!», то есть: «Ceux qui sont les plus grands, sont les plus fous!»** Мы разом утихли!

Один раз нам не стало терпения от клопов. Мы составили совет, и все, человек около тридцати, каждый завернувшись в простыню и нахлобучив на голову подушку в виде трехугольной шляпы, отправились ночевать в столовую и полегли на столах. Вдруг раздается весть: идет Антонской! — Мы в этом же костюме бежали назад, мимо лестницы, на которую уже поднимался Антонской. Мы все мчались мимо него, как привидения, оставя его ахать; ночью узнать нас было нельзя, и все мы полегли на свои кровати. Кого

*Вот осел-та! Бестолковый-та! Бестолковейший-та! (*лат.*).

**Самые старшие суть самые глупые! (*фр.*).

Антонской ни подходил будить, все храпели. Он только приговаривал: «Спит-та! И этот спит-та!» Наутро разузнали причину нашего перемещения, тоже досталось, кому следует, и кровати как-то очистили.

Вообще шалостей у нас было мало. Я попался только однажды, и вот как это было. В какой-то большой праздник многие разъехались, а за мной не прислали от Бекетовых. Очень было скушно, и мы с другим товарищем, М.Ф. Четвериковым[56], уговорились уйти тихонько на бульвар, но только что сделали несколько шагов по Тверской, как встретились нос с носом с другим инспектором, который как-то то являлся в должности инспектора, то исчезал, между тем как барон Швенсфельд был inamovible*! — Это был известнейший в то время математик, переводчик курса Безу, Василий Дмитриевич Загорский[57]. Он был человек добрый, но отчасти свихнутый отысканием квадратуры круга и с тех пор ставший меланхоликом. Он отвел нас домой и хотел открыть наш побег Антонскому, но я упросил его[58].

Был и еще один из надзирателей, которого мы считали очень добрым человеком. Это был племянник Антонского, Иван Пантелеевич Чернявский[59]. Он делал нам иногда невинные послабления в дисциплине. Например, нам позволялось пить только за обедом и ужином. Летом, в жары, мы бегали куда-то тихонько пить воду; а он жил как-то запасно и имел свой хороший квас. Иногда решались попросить у него квасу, и он не отказывал.

По мере наших заключений о главных лицах пансиона, у нас от поколения к поколению передавалась следующая их характеристика:

Антон Антонской Царь пансионской!
Иван Пантелеевич Пансионской царевич!
Василий Загорской Конь заморской!
Барон-дергач Пансионской палач![60]

Малейшее доброе слово Антонского, малейший знак его благоволения были для нас великою наградою и знаком хорошего признания в его мнении. Так, например, случалось, что он позовет к себе; и со мной раза два это было. Воображаешь, что позвал за что-нибудь побранить; а зов его, не знаю почему, был так страшен, что когда, подходя к его флигелю, почувствуешь из окон приятный запах курения, то уже чувствуешь трепет. У него в комнатах была примерная чистота и всегда накурено чем-то ароматическим. Но вместо гнева находишь его за чаем. На столике перед ним один маленькой чайник с чаем, другой большой с кипятком и две чашки. Он нальет другую чашку, разбавит ее пожиже горячей водой и подаст со словами: «На-ка, пей-ка!» — Возьмешь с почтительною осторожностию чашку и выпьешь ее, стоя

* бессменный (*фр.*).

у дверей. Он после этого скажет только: «Ну, ступай-та!» — По возвращении в комнаты первый вопрос: «Зачем звали?» — И когда скажешь, что пил чай, то пойдет гул по всей комнате: «Такой-то у Антонского чай пил!» — Так это было важно, и так умел Антонской соединить боязнь с любовью и субординацию с уважением!

Будучи и сами уже почти стариками, я и Шевырев[61], оба воспитанники пансиона, хотя и не современники, сидели однажды у Антонского и рассказывали ему, как мы его боялись[62]. «Отчего же? — спросил Антонской,— кажется, я не был так строг и страшен». — «Не знаем отчего, — отвечали мы, — но только увидим в зале на вешалке вашу синюю шинель, так все и притихнем». Антонской рассмеялся и сказал: «Ну так теперь и я вам скажу, что я вас иногда и обманывал». — «Как обманывали?» — «Да вот, иногда на дворе или дождь идет, или снег, или мне нездоровится. Думаю: не шумят ли дети-то? А идти-то не хочется. Я и пошлю моего человека Сергея повесить в зале мою шинель. А вы думаете, что я сам пришел, да и притихнете». — Вот какие простые средства употреблял иногда Антонской для сохранения порядка; это доказывает, впрочем, и то, каков был дух времени и каковы были мы сами.

Нынче, когда наши журналы силятся ввести и в воспитательные заведения вместо безусловной покорности равенство эмансипации и вместо благоразумной дисциплины — мнимый прогресс, достигают ли до тех целей спокойного исполнения долга, до чего достигал Антонской своими патриархальными средствами! Нынче возбуждают в воспитанниках какую-то благородную гордость (а гордость, правду сказать, никогда не бывает благородною), нынче внушают им не бояться наставников и не внушают любви к воспитателям; за то сами наставники боятся мальчиков и не любят их! Недавно начали у нас восставать против всяких наказаний, особенно против розог: для меня все это просто непостижимо! В нашем пансионе не было и слуху о телесных наказаниях; а все было тихо, и повиновение было совершенное. Стало быть, можно обойтись и без розог, да только надобно уметь без них обходиться! А то нынче внушают мальчикам, чтоб они не уважали начальников и держали себя в отношении к ним как равные; словом, сами же взбунтуют их да и требуют, чтобы не было розог! — У нас их не было; а мы и доныне, следуя слову Священного писания: «Поминайте наставники ваша»[63], поминаем добром наших наставников, вспоминая с благодарностью, как они соединяли строгость власти с добродушием и правдою!

В пансионе же, вскоре после моего вступления, я увидел в первый раз Карамзина[64]. Он был в первой молодости своей дружен с моим отцом, знал потом и мою мать, а с дядей Иваном Ивановичем сохранил взаимную горячую дружбу до конца своей жизни. Дяди тогда не было в Москве: он был

министром юстиции и жил в Петербурге. Карамзин, узнавши, что мы с братом в пансионе, приехавши к Антонскому (у которого он бывал нередко), пожелал нас видеть. Поговоря с нами, он занялся разговором с Антонским; а мы постояли и были потом отпущены. Я сказал уже, что имя Карамзина повторялось в нашем семействе как имя существа высшего разряда, и потому я смотрел на него с благоговением и слушал его как оракула. Возвратясь оттуда, я упомнил и записал весь разговор их. Помню, что они говорили о императрице Екатерине, оба превозносили ее царствование и сравнивали с настоящим временем[65]. Помню, что Антонской сказал между прочим: «Говорят, что нынешний Государь любит откровенность». — Карамзин возражал с жаром: «Нет! Екатерина любила откровенность; а Александр любит только фамильярность!» — Впоследствии времени Карамзин, узнавши коротко Александра, без сомнения, переменил свое мнение, особенно после своей записки о Польше, которая доказывает, как Александр ценил разумную откровенность[66].

До 1812 года воспитанников пансиона производили в студенты без экзамена. Имена назначенных к слушанию университетских лекций провозглашались на торжественном акте пансиона: это происходило зимой, перед Рождеством. С генваря они начинали ходить в университет и были признаваемы студентами: следовательно, звание студента для пансионера зависело от одного Антонского. Так были провозглашены последние на акте 1811 года. Но с этого времени положено держать экзамен в университет. В феврале 1812 года отобрали нас, человек тридцать, назначенных к экзамену, и усилили преподавание нам латинского языка, потому что один только он и требовался, чтобы быть студентом. Это преподавание было не только без всякой системы и постепенности, но представляло такую смесь приемов, что решительно не могло произвести успехов, затрудняя понапрасну нашу память и путая все усилия нашего соображения. Я и доселе не могу надивиться, как Антонской, самый методической человек и наблюдавший во всем точность и порядок, мог выбрать такую смешанную методу. А именно: в понедельник сам он задавал нам выучивать наизусть так называемую латинскую таблицу: склонения, спряжения и прочие части речи, потом слова и глаголы; и все это вдруг в таком количестве, что никакая память не могла с этим сладить. В середу — надзиратель Стопановской толковал нам оды Горация[67], которого мы буквально не понимали. А в субботу — другой надзиратель, Куницкой, объяснял нам Федровы басни[68]. В понедельник опять переходили мы к грамматике, а в середу опять к Горацию, а в субботу опять к Федру. Одно только могу предполагать, что Антонской, не надеясь на прежние успехи наши в латыне, захотел нагнать потерянное и вбить вдруг в наши головы, что не вошло в них постепенно.

А время к экзамену приближалось. Стопановской решил употребить хитрость и так подделать нас, чтоб обмануть экзаменаторов. Он заставил нас выучить наизусть и натолковал нам известную оду Горация «К Юлию Антонию» (кн.4, ода 2)[69]. Нас привели в университетскую залу. За одним столом сидели профессоры, за другой посадили нас. Стопановской развернул своего Горация и сказал: «Переведите и объясните одну оду, вот хоть эту», — и начал: «Pindarum quisque studet acmulare»*. — Но перед этим, на беду нашу, за что-то поссорился с Антонским ректор Гейм[70], брюзга страшный! Он, видно, подозревал подготовку, вскочил в ярости с своих кресел, подбежал к Стопановскому, вырвал у него из рук книгу и начал диктовать другую оду. Как сошел с рук этот перевод, не понимаю: вероятно, ему попалась ода, тоже несколько нам известная, а понимать всего Горация à livre ouvert** мы не могли! — Затем задали нам перевод с русской прозы на латинскую: и тут судьба помогла мне. Не знаю почему, мне вздумалось подать свой перевод профессору Черепанову. Добрый старик переправил его и сказал тихонько: «Перепишите, государь мой, да подайте Ивану Андреевичу», — то есть тому же ректору Гейму. — Я переписал и подал; Гейм подписал optime***; и слава Богу! И это с рук сошло. Долго ждали мы результатов совещаний на профессорском совете; наконец объявили нам, что 20 человек из нас удостоены звания студентов; в том числе и я. А другие не удостоены этого отличия!

Я был в восторге! Некоторые из ленивых, сваля с плеч эту обузу, отпраздновали свое студенчество тем, что составили auto da fe**** из всех латинских книг: это было в обычае; но я и еще немногие поняли, что по получении таким легким способом студенчества совесть обязывает нас сколько-нибудь поучить еще по латыне, и сберегли свои книги.

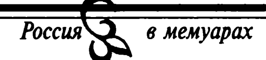
В июне же, в конце месяца, был университетский акт; тогда университетские акты были летом. Многие тотчас же по наступлении ваканций отправлялись по деревням, но нам надобно было дожидаться акта, потому что тогда студенты получали на нем шпаги. Я должен был сшить себе студенческий мундир, синий с малиновым воротником. На лекции тогда ходили во фраках, но мундир был необходим для актов университета и пансиона, а я и по возвращении в Москву не предполагал его оставить. Наконец при звуках труб я торжественно получил шпагу, хотя уже и прежде имел право носить ее, потому что был записан в службу. Напрасно отменили эту торжественную раздачу шпаг новым студентам: эта публичность придавала много значения новому званию, как гласное признание университетом и всей мос-

*«Кто с Пиндаром стремится состязаться...» (*лат.*).

**с листа (*фр.*).

***отлично (*лат.*).

****аутодафе, костер инквизиции (*исп.*).



ковской публикой вступления на некоторую степень между согражданами и как печать их участия в дальнейшей судьбе молодого человека.

Тогда акты были гораздо торжественнее. Кроме речей иногда произносилось похвальное слово, и всегда были хор и ода. Слова и музыка хора сочинялись нарочно на этот случай, а ода произносилась Мерзляковым, иногда стихи и другой формы, но всегда торжественного содержания. Раздача медалей и других наград производилась как и нынче: но присоедините к этому еще и раздачу шпаг, радостные лица новых студентов и радость их родных, и вы поймете, что это был не один ученый праздник, а семейный для всей столицы. Это описал я с лишком через тридцать лет после того в одной из моих «Московских элегий»:

Помню годичный торжественный день я — во храме науки!
Это был праздник Москвы; вся Москва между нас ликовала!
Хор прогремит — и всходил Мерзляков на кафедру — и оду,
Пышную оду громко читал, иль похвальное слово!
С звуком трубы раздавались потом и награды, и шпаги![71]

После акта в июле месяце 1812 года наступила и для меня ваканция. Надобно было собираться в деревню. Это была для нас большая радость, особливо для меня, перешагнувшего Рубикон, то есть студенчество. Но прежде я должен упомянуть о тогдашних внешних обстоятельствах. Война началась; 12 июня войска Наполеона перешли границу и шли вперед. Это было известно, то есть известно, что неприятель уже в России. Но в Москве так было спокойно, так мало думали об опасности, что никто и вообразить не мог, чтобы через полтора месяца нужно было бежать из Москвы.

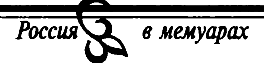
Но падение Сперанского наделало в пансионе много шуму[72]! Всякой, съездивший домой, привозил разные известия. Большая же часть была такого мнения, что Сперанской изменил России и передался Наполеону[73].

Не помню, сказал ли я, что еще в 1805 году (марта 8-го) был я записан в московский архив Иностранной коллегии. Поступив в начале 1811 года в пансион, я должен был в то же время явиться к младшему начальнику архива, Алексею Федоровичу Малиновскому[74], который по знакомству своему с моим дядей взялся сам представить меня главному начальнику архива Николаю Николаевичу Бантыш-Каменскому[75]. Здесь была со мной неприятная история. В архиве было несколько сот юношей, записанных и ничего не делавших. С них только и требовалось, чтобы они изредка показывались в архиве; но некоторые уезжали из Москвы или просто по году и более не являлись. Таких обыкновенно отыскивал и ловил Малиновской и привозил их к старику Бантыш-Каменскому. Старик был глух[76]; не слыша, что говорит

Малиновской, и видя незнакомое лицо, он принял меня за одного из беглецов и начал бранить. Малиновской кричал ему на ухо, а он, не слушая, продолжал кричать: «Знаю, знаю! все они шмольники[77], только что шатаются! ну, пошел!» Малиновской после этого заключения, когда замолчал старик, растолковал ему наконец, кто я и что я в первый раз являюсь на службу. — Старик улыбнулся, просиял своим добрым лицом и сказал: «Ну, извини, а я думал, что ты из наших беглецов!» — Мне велено было всякий понедельник часу в 12-м являться в архив, куда, с позволения Антонского, я и ездил из пансиона.

Однажды, это уже было в конце июня 1812 года по произведении меня в студенты, по приезде в архив меня окружили с вопросами: «Видели ли вы прокламацию?» Я ничего и не слыхал об ней, и мне принялись читать в письменном русском переводе прокламацию Наполеона, где он возмущал русской народ и обещал ему вольность. В это время приехал Малиновской и сказал нам: «Что это вы читаете, господа? верно, эту прокламацию? Не читайте и не распространяйте ее: поверьте, что это выдумки и что-нибудь выдет из этого нехорошее». Впоследствии оказалось, что эту прокламацию переводил с французского из какого-то запрещенного нумера иностранных газет купеческий сын Верещагин, которого в самый день вступления французов в Москву, 3 сентября, Ростопчин предал, как изменника, собравшемуся против его дома народу, который растерзал его на части[78]. Это, само собою разумеется, я узнал после, по возвращении моем в Москву.

К отъезду в деревню я и брат сшили себе новое платье. Вот был тогдашний костюм: светлый синий фрак с золочеными пуговицами, жилет белого пике[79] и панталоны сверх сапогов (по-нынешнему: брюки) из английской планшевой китайки[80]. Талия была чрезвычайно низко, что было при нашем малом росте чрезвычайно уродливо; но такова была мода! А мне шил это платье первый модный портной, Флорье[81]. С нетерпением ждали мы отъезда; с восхищением сели в кибитку и отправились в путь, в Симбирскую губернию. Впереди была радость родных, чистый деревенский воздух, лес и поле, и воля, потому что мы уже не дети и дома учиться не будем.



ГЛАВА 4
Приезд на ваканцию • Французы в Москве

В Симбирске, чрез который лежала наша дорога, мы нашли нашего деда, который тотчас повел нас к губернатору князю Алексею Алексеевичу Долгорукому[1] и к другим важным лицам губернского города, в том числе и к Быковым, отцу и матери Наташи. Отец ее был тогда губернским прокурором. Признаюсь, мне очень не хотелось к ним ехать. Я не мог забыть Наташи и ее детской дружбы со мною, но с того времени прошло почти два года: я жил в пансионе особой жизнью, удален, так сказать, от обращения с людьми, а она, живя в губернском городе, думал я, видела тамошнее лучшее общество и по мере лет своих пользовалась удовольствиями и рассеянностию. Немудрено, что во мне хранилась память прежнего, а она, думал я, верно меня забыла и будет мне чужою! Я не мог перенести этой мысли и потому желал лучше не видать ее и таким образом мало-помалу самому от ней отвыкнуть. Но в конце нашего визита, когда я уже брался за шляпу, довольный, что не видался с нею, вдруг она порхнула в гостиную, и я увидел по глазам ее и по радостной улыбке, что она чрезвычайно мне обрадовалась. Она выросла, но была все еще такой же живой и милой девочкой, какой и прежде. Это короткое свидание усилило навсегда мою привязанность, и с тех пор она осталась навсегда в моей памяти и в моем сердце как существо, необходимое для моего счастия.

Через двое суток после приезда в Симбирск дед, остававшийся там, отпустил нас в деревню. Проезд этих ста верст был для нас совершенным праздником. По дороге все нас знали или, по крайней мере, знали, кто мы, и потому нигде уже не было задержки на станциях, а везде встречала ласка и услужливость. Тогда вообще люди были простые сердцем; корысть и нужда не породили еще нынешней холодности, когда всякому до себя. Тогда довольно было быть с одной стороны или соседями по деревне, чтобы на тебя смотрели как на человека близкого, имеющего право на помощь и услуги. Когда открылись две церкви нашего села, сердце хотело выпрыгнуть от радости. Подъезжая к мельнице и к мосту, где по левую сторону была тогда особая слободка для дворовых под названием Елховка, [мы увидели] что и с мельницы, и из слободы нас заметили и узнали, и всё это бросилось бежать вперед нас, по ближайшей дороге, к господскому дому: все обрадовались.

Да позволено мне будет сделать здесь небольшое отступление от рассказа. Отчего при тогдашней строгости была такая привязанность к господам? — Оттого, что строгость строгостию, а справедливость была справедливостию и баловство баловством. Строгость была в взысканиях, а в обращении с людьми была взаимная свобода и некоторое патриархальное равенство, которое не мешало уважению. Говорить с господами было позволено, не дожидаясь их вопроса, о своих нуждах объяснялись прямо, с полною доверенностию. Содержание целых семей было полное, без разбора лет и службы, потому что давать нужное почиталось обязанностию господ, а заслуженные люди получали в награду и сверх нужного. Одежда была грубая, но достаточная, а самонужнейшая, именно теплое платье, сапоги, а неженатым людям и рубашки, выдавалась по срокам и без задержки. Дворовые люди, не зараженные еще бродяжническою волею, знали очень цену своего содержания и вполне понимали, что на воле они не нашли бы его так легко и в таком количестве. Они водили, сколько хотели, коров и кормили их на счет господской, то есть летом паслись они на господских лугах, а зимой или выпрашивали корму, или доставали его с грехом пополам, но на это смотрели сквозь пальцы. Старухи приходили иногда к бабушке, еще чаще к теткам, просто побеседовать, покалякать, по тамошнему выражению, то есть просто поболтать, а мальчики и девочки прибегали играть с нами. Одним словом, хорошо и привольно было жить: нужды никакой и много воли! — Под вину же, разумеется, попадал не всякой: о наказанном жалели, но никогда не винили господина, хотя боялись дедушки, зная, что у него — всякая вина виновата и спуску не будет! — Бабушки не боялись, потому что это была воплощенная кротость, зато, правду сказать, не так ее и слушались: доказательство, что русскому человеку строгость ни во что, была бы справедливость и было бы довольство! — Я сказал: «много воли». — Да! Их было во всяком деле много, и потому работы на каждого доставалось мало; да и кто же усмотрит за всяким в эдакой ораве! В одной лакейской было человек двадцать! — К этому надо прибавить, однако, что и волю они употребляли не так, как ее употребляли [позже]. Всеобщего пьянства не было, гуляли только по праздникам. Города, базара и трактиров, развращающих ныне, не знали; в Сызране, отстоявшем от нас всего в 7 верстах, многие во всю жизнь свою не бывали ни разу, а нынешних так называемых увеселительных заведений почти не было. — Роскоши в простом народе тоже не было: жили умеренно, одевались в домашнее. Нынче и мужики и бабы носят французские ситцы на рубашках; тогда самое праздничное платье было китайчатый сарафан и александрейская рубашка. Даже у горничных теток моих не было ситцевых платьев, носили домашние полосушки[2]. Кормили их хорошо. А крестьяне не только имели достаточно хлеба на годовую потребность, но и продавали,

чего ныне нет! У кого были деньги, те берегли их, и никогда не случалось, чтобы прогуляли все деньги, вырученные за продажу хлеба. Все это потому, что и нужды, и нравы были простые; а простые они были потому, что менее было сообщения с чужими; все жили, замкнутые в сфере своей семьи и своей деревни. От этого казалось, что нет лучше своего села, своего угла и своих господ, которые об них заботились. Усердия к храму Божию тоже было больше. Вот основание того патриархального быта, который выражался и в наследственной привязанности к господам, к которым их подвластные были ближе, чем стали впоследствии. Оттого и мы, когда писали из пансиона к теткам и сестре (моей двоюродной, а родной Валентина[3]), всегда поручали кланяться домашним, почетнейшим старушкам, поименно[4], — этой взаимной связи не знали и не поняли наши непрошеные просветители и прогрессисты, которые истребили все хорошее старое и ничем не заменили его новым. Дело в том, что прежде был твердый фундамент быта, а теперь его нет! — И мы, и наши бывшие дворовые остались un pied en l'air*; да и крестьяне только получили землю, а руководить их к добру и собственной их пользе не будут ни новое начальство, ни мир[5], всегда несправедливый и всегда остающийся на стороне богатых. Не будет единства в ходе к определенной цели, потому что и цель более воображаемая, нежели существенная. Прогресс — слово относительное; при нынешнем материальном направлении оно граничит с роскошью и развратом.

Это отступление от моего рассказа, думаю, не лишнее, как изображение того, что было и что забыто, того, о чем судят так превратно и что сделалось каким-то мифом! Я счел нужным описать тот быт, который тогда окружал нас. Возвращаюсь к рассказу. Нечего и говорить, как встретили нас родные, бабушка и тетки: это были и объятия, и радость, и слезы, все вместе; и потчеванье, как будто мы в Москве проголодались, потом расспросы и наши рассказы о Бекетовых и о пансионской жизни. Нам отвели помещение как взрослым, особое, во флигеле, где жил дядя Сергей Иванович. После первых праздничных ощущений я начал понемногу заниматься повторением выученного; прогуливаться нам дали уже бо́льшую свободу. Одним словом, нам было уже гораздо вольнее, следовательно, лучше, чем прежде. Но без нас умерла соседка наша Кашпирова, и муж ее уже не был так весел; и ездить нам было уже не к кому.

Я сказал, что при нашем отъезде, несмотря на войну, все были покойны и не ожидали никакой опасности. Но вскоре начали нас тревожить и газеты, и слухи; дедушка задумывался, однако не предвидел тех последствий, какие открылись после. Вдруг получен был манифест об ополчении[6] и встрево-

*без опоры, основания (*фр.*)

жил всех; правда, и в 1807 году была милиция, которая не была и в деле[7], но эта война была в пределах России.

Несмотря на это, так мало думали об опасности внутренних губерний, особенно Москвы, что к истечению срока ваканции нас с братом собрали опять в путь и отпустили: это было во второй половине августа, а ехали мы не на почтовых, а на своих лошадях, следственно, прямо могли попасться неприятелю. Дорогой начали мы встречать некоторых знакомых и пансионеров, которые все бежали из Москвы; но мы боялись больше дедушки и Антонского, чем Наполеона, и никак не смели воротиться назад. Около Арзамаса, это было уже на половине пути, повстречались мы на одном ночлеге с семейством Аграфены Алексеевны Дурасовой, которая, спасаясь от французов, ехала из Москвы в Симбирск. К нам на квартиру зашел ее племянник, наш же пансионер Четвериков, и уговаривал воротиться, но мы не смели и ехали далее. Наконец за одну станцию от Арзамаса остановились мы на квартире ночевать. Вдруг слышим, что кто-то случит в окошко, оказалось, что это один из наших дворовых людей, Иван Кривой, который был отправлен дедушкой на почтовых догонять нас и воротить. Признаться, мы чрезвычайно обрадовались: не тому, что избавились от опасности, а тому, что избавились от сомнения и что получили право ехать назад. Опять деревня и воля: кто их не любит! Однако так как это было близко от деревни дяди Платона Петровича Бекетова, села Саврасова, то мы решились заехать к нему: он удивился, что мы едем прямо навстречу опасности, и подтвердил необходимость воротиться. Когда мы приехали назад, радость всех была еще более, чем при прежнем свидании, потому что все, особенно бабушка, боялись, что нас не догонят и чтобы мы не попались французам. В деревне было получено без нас письмо ко мне от самого Антонского, который советовал не ездить в Москву и «для лучшего здоровья» оставаться до времени в деревне[8].

Многие из старших пансионеров, как я узнал после, пошли в это время в военную службу[9]. Если б я был в Москве, вероятно и я, несмотря на свой возраст, пошел бы тоже в военную службу, но судьба меня спасла от нее. Говорю «спасла» не от боязни опасности, потому что, пришед в совершенные лета, я разобрал всю пустоту ее и как она отучает от всех умственных занятий.

Между тем набор ополчения был в самом разгаре. Дядя мой Сергей Иванович был в это время сызранским уездным предводителем: его не потребовали бы в ополчение. Но другие, жившие в отставке, все были очень неприятно потревожены среди своей беспечной и привольной провинциальной жизни. В Симбирск по этому случаю был прислан известный своим заведением школы колонновожатых, тогда уже генерал-маиор, Николай Николаевич Муравьев[10].

Немного было таких дворян, которые шли охотно в ополчение. Первый в Симбирске подписался желающим двоюродный мой дядя Степан Федорович Филатов[11], шестидесятилетний здоровый старик, отставной флотской капитан 1-го ранга и георгиевской кавалер[12]. Он взял перо и написал:

. Готов везде:
Хоть в пехоте,
Хоть во флоте,
Хоть в кавалерии,
Хоть в артиллерии!

Он действительно водил свою дружину за границу и был под крепостью Глогау[13]. — Другой пошел в ополчение сосед наш Кашпиров, и некоторые другие тоже пошли охотно. Но большая часть дворян шла очень неохотно: и отнекивались, и плакали: их брали просто насильно.

Между прочим, приезжал к нам однажды в это время Александр Михайлович Карамзин, родной брат историографа и племянник моего деда. Ему обрадовались, как и всегда были рады. Но он, только что вошел в гостиную, упал в ноги моему деду и заревел, а мужчина он был рослой, толстой и здоровый. Все перепугались, думая, не умерла ли его жена или не случилось ли другого какого несчастия. Оказалось, что его берут в ополчение и он приехал просить дядю своего избавить его от службы. Дедушка сказал ему с пренебрежением: «Как тебе, братец, не стыдно эдак реветь и отказываться, когда настала такая нужда в дворянской службе?» — Однако поехал в Симбирск, просил об нем губернатора: ему дали поручение покупать в Оренбурге лошадей для ополчения. Это было его дело, и он успокоился!

Не хотелось дворянству расставаться с теплым углом и с насиженными привычками! Но когда устроилось совсем ополчение, откуда взялся воинской дух! Загремели сабли; оказалась геройская поступь; пошла гульба страшная, и гуляли до тех пор, как отправились в поход. Но что касается до пожертвований деньгами, оружием и другими потребностями для обмундирования, этого не жалели. Купцы показали в пожертвованиях меньше рвения, чем дворяне.

Милиция 1807 года имела зеленые кафтаны; у офицеров были мундиры обыкновенного покроя, с узкими фалдами, с оранжевым воротником и треугольная шляпа с зеленым пером или салтаном[14]. Но в 1812 году в первый раз возбудился дух народности, и в чувствах, и в самой одежде войска. Это заметно было уже и в том, что первое называлось милицией; второе старинным именем ополчения, рядовые назывались ратниками. Вместо мундиров были серые кафтаны народного покроя, не только у ратников, но и у офицеров. Вместо шляп была и у офицеров фуражка с крестом на лбу. Надобно

сказать всю правду, что когда все устроилось, все закипело войною, а народ и в отдаленных губерниях доходил до ярости против французов.

Дед наш был в своей семье большой политик! Кроме «Московских ведомостей», которые были всем нам открыты, другие известия тщательно от нас скрывались. Долго не знали мы и об отдаче Москвы. В самом деле, это было страшное и поразительное известие, но причиной его таинственности было совсем не то, чтобы щадить нашу чувствительность. Он боялся другого, чего боялись и многие помещики: чтобы не взбунтовались крестьяне! Не знаю, как эта мысль соединялась с известием о занятии Москвы; однако невежественный народ мог легко подумать, что с тем вместе пало наше правительство и что настало время своеволия. Вот чего боялись. — Однако народ оставался спокоен; мысль о бессилии русской власти перевешивала ненависть к французам; особливо когда стали доходить известия о их безбожных деяниях в Москве и об оскорблениях святыни.

«Московские ведомости» и «Вестник Европы» — главные источники новостей — прекратились[15]. Но в это время Греч[16] начал издавать в Петербурге политический журнал «Сын отечества», который по окончании войны и ее последствий превратился в литературный[17]. Там же Пезаровиус[18] начал издание военной газеты «Инвалид». И на то, и на другое дед наш подписался[19], и я беспрерывно следил за всеми военными известиями и политическими новостями.

«Сын отечества» кроме известий о войне отличался тогда патриотическими статьями важного содержания и мелкими анекдотами, которые все клонились к тому, чтобы больше и больше возбудить ненависть и вместе презрение к французам. Эти анекдоты не только удерживались у всех в памяти и повторялись, но даже служили основанием и карикатур. Все они большею частию были выдуманы, но принимались за правду: им верили, и они производили именно то действие, для которого они предназначались, то есть ненависть и презрение к народу, оскорбившему наше собственное народное чувство. Я узнал уже после, спустя тридцать лет, их настоящее происхождение, узнал от Александра Ивановича Тургенева, бывшего тогда еще легким и живым молодым человеком. Тургенев, Воейков, Греч и другие собирались вместе после выхода неприятеля из Москвы и начали выдумывать эти анекдоты[20] в Московской и Смоленской губернии, на обратном пути неприятеля. Так распространился рассказ о русском Сцеволе[21]; о том, как старостиха Василиса перевязала голодных французов и привела их на веревке к русскому начальству; как один козак победил нагайкой троих артиллеристов и отнял у них пушку; как голодный француз на требование хлеба, услышав от старухи, что у нее осталась одна коза, принял это за слово «козак» и бежал с своими товарищами из деревни[22]. Все это было ко времени и кстати и производило сильное действие.

С тою же целию начали появляться в Петербурге карикатуры, которые брали себе сюжетом или эти самые анекдоты, или другие выдуманные происшествия. У меня они есть почти все, и жаль, что нигде уже не встречаются в продаже. Они свидетельствуют о тогдашнем духе народа и должны бы сохраниться как документ исторический. Более всех отличался в карикатурах художник Теребенев[23], как изобретательностью, так и рисунком. В этом не отставали от нас и англичане. У меня есть тоже большая коллекция и их карикатур[24]. Но их карикатуры были слишком злы, многосложны и безобразны, а наши были просты и показывали больше изобретательности и остроумия.

Наконец ко всеобщей радости было получено известие о выходе французов из Москвы, и одно за другим начали получаться известия о их бегстве и о наших победах. Никто не мог и воображать такого оборота; все были в восхищении и благодарили Бога, приписывая нашу неожиданную поверхность[25] его святому покровительству. Но и слава наших войск, и уверенность в нашей силе поднялись высоко: Государя начали прославлять за его твердость, между тем как незадолго до этого его винили.

Вскоре явился из Москвы пришедший пешком дядька моего брата, Михайла Анисимов; мы, едучи из Москвы, взяли с собой одного моего дядьку, Ивана Николаевича, а того оставили в Москве, думая, что он дождется нас спокойно. А вместо того он попался к французам. Его рассказы о голоде, о жестоком обращении врагов, о московском пожаре и о грабеже церквей наполняли нас ужасом. Но справедливость требует сказать, что и он, и все другие, бывшие в плену и с кем только мне случалось разговаривать об этом времени, все обвиняли и в жестоком обращении, и в грабеже церквей более поляков, а не французов. О французах говорили вообще, что они народ добрый и только по необходимости отнимали хлеб и платье; а о поляках, что они грабили что попало и сверх того наругались и над русскими людьми, и над русской святыней. Все это, вместе с тем, что совершается ныне (в 1864 году), доказывает, что поляки были и будут всегда нашими злейшими врагами[26]. Кроме того, французы того времени, большею частию родившиеся во время революции, иные, вероятно, и некрещеные, были только равнодушны к религии, я думаю, и к своей, и к нашей, а в поляках действовал тогда, как и ныне, тот фанатизм, который составляет особенную черту католицизма: они, конечно, считали нас не только еретиками, но даже и не христианами!

Кроме всех этих тревог внешних жизнь наша в деревне шла спокойно. Опять приезжала к нам Александра Степановна Быкова с Наташей; опять я блаженствовал, играя или бегая с нею. Я жил тогда в том же флигеле, в котором и они, отделенном только сенями от помещения приезжих. Когда

дедушка ложился после обеда спать, Наташу, чтобы она не шумела, отводили во флигель, а чтобы ей не было скушно, присылали ее ко мне, на другую половину: это было для нас обоих радость и веселье. Она училась тогда писать по-русски. Мне поручали иногда смотреть за ее писаньем. Это занятие для обоих нас было скушно, и потому, чтоб не терять в скуке золотых часов, я, бывало, напишу вместо ее всю страницу: после чего все дивились, что ни у кого Наташа не пишет так хорошо, как у меня, под моим наблюдением. Но мы хранили нашу тайну.

У меня был еще дядя Федор Иванович[27]. Он служил сначала тоже в гвардии; потом перешел в какой-то армейской полк, стоявший в Москве. Он был человек довольно умный и чрезвычайно добродушный, но слабый характером, так что с кем ему ни случалось жить и сблизиться, у того перенимал он и нравы, и образ жизни. Стоя с полком в лафе[р]товских казармах, он сблизился с дочерью отставного унтер-офицера Агафьею Николаевной Доброхотовой; слабость характера и совесть заставили его на ней жениться; свадьба состоялась без ведома родителей, тайно от брата Ивана Ивановича, жившего тогда в Москве, и от других родных. Это совершенно его от них отдалило, а отец, узнавши об этом, не хотел об нем и слышать. Он попал в другой круг низшего разряда, купил как-то в Лафертове домик, и не знаю, чем жил, но знаю, что в бедности.

Когда Иван Иванович сделался министром юстиции, он определил его членом военной конторы, а потом перевел за обер-прокурорской стол[28], чтобы в этих двух местах он, по крайней мере, получал жалованье, небольшое, но для него было оно значительным пособием.

Бабушка и тетки по мягкости сердец своих продолжали любить его. Через почту переписываться было невозможно, но года через два всегда посылались люди в Москву к Ивану Ивановичу. С ними писали они письма, тайно от дедушки, и к бедному Федору Ивановичу и получали письма от него. А мне он прислал однажды даже и подарок: ящик красок.

Когда мы с братом были отправлены в Москву, нам дано было тайное приказание съездить к дяде Федору Ивановичу. Мы были у него и встречены были с жалкою радостию, как родные с того света, из стороны, которая казалась навек недоступною. — Как дом Бекетовой показался нам после деревенского дома великолепным, так после него домик дяди показывал нам жалкую, хотя и опрятную, бедность. И гости, встречаемые нами у него, при всей их пристойности напоминали как-то захолустье. Хотя мы были очень неопытны в различении кругов, но они как-то нам казались из другого круга, низшего, чем у Бекетовых. О дяде осведомлялся у нас один добродушный Платон Петрович[29].

При вступлении неприятелей в Москву он по недостатку денег и по тогдашней невозможности достать в Москве лошадей принужден был остаться в Москве и попался к неприятелям. Они ограбили у него все; но вслед за первыми нагрянули еще поляки, самые злейшие из тогдашних грабителей, и начали требовать у него денег, которых не было. На отказ Федора Ивановича один из них выстрелил в него из ружья в самый пах. Он умер, а жена и дети пошли скитаться по огородам, добывать картофелю и пробрались до села Измайлова. Мы ничего этого не знали[30].

Однажды утром будят нас дядьки ранее обыкновенного и уведомляют, что приехала Агафья Николаевна с детьми: мы встрепенулись от страха, потому что ожидали бури. Через полчаса доходит известие, что приехала Александра Степановна Быкова, и одна, без Наташи. Мы пошли здороваться к бабушке. Нашли ее сидящею на кровати в слезах и обнимающею детей. Тут же сидела неподвижная, высокая, пухлая, белая и не показывающая никакого признака хотя бы малейшего чувства Агафья Николаевна.

Александра Степановна приехала вот по какому случаю. Ей с дороги из Арзамаса написали, что проехала Агафья Николаевна. Она, принимавшая такое участие в нашем семействе, тотчас поняла, как тяжело будет и свидание с ней, и известие о смерти Федора Ивановича. Кроме того, она знала влияние своего ума и мягкого красноречия на старика дедушку; она взяла почтовых лошадей, скакала всю ночь, чтоб предупредить о приезде ее, но не успела. Та приехала прежде.

Дедушка в это время был болен и, по счастию, не выходил из кабинета, следовательно, можно было несколько времени скрывать от него это происшествие. Однако наконец надобно же было объявить. Он плакал; когда стал вставать с постели, решился увидеть детей, велел привести их к себе и ласкал с чувством очевидно родственным. Все шло хорошо; оставалось только приготовить самым благоприятным образом представление ему Агафьи Николаевны, и с совета дяди Сергея Ивановича и Александры Степановны устроили это самым лучшим образом, с постепенною подготовкою свидания. Но вышло совсем напротив. Никто не знал, что дедушка намерен в одно утро выйти в гостиную. Агафья Николаевна выходила из нее в залу, а он входил из залы в гостиную, и они вдруг встретились в самых дверях. Агафья Николаевна шаркнула ногою и сказала с самым бодрым духом: «Имею честь рекомендоваться!» — Дедушка был большой наблюдатель приличий и тонкий знаток отношений; его поражало все угловатое, грубое и неприличное положению человека. Он тотчас увидал, какого полета эта птица, какого круга и воспитания. Он оскорбился, отвел ее издали рукою и сказал: «Постойте, матушка! Прежде мне надо знать: кто вы такие!» Все пропало!

Пошли допросы Агафье Николаевне, и вся семья трепетала! Долго это продолжалось, однако со временем уладилось: дедушка привык считать ее невесткой. Оставалось только этим воспользоваться, но Агафья Николаевна не замечала никакой погоды, ни дурной, ни хорошей, и не гнулась ни в которую сторону, ни по ветру, ни по солнцу. По выходе французов из Москвы вдруг пришло ей в голову, что надо ехать в Москву. Дедушка уговаривал и спрашивал: «Зачем ей нужно?» — Она отвечала, что нужно продать дом, который уцелел от пожара, и выкопать зарытые в землю серебряные ложки. Это была причина, конечно, благовидная — продажа дома, хотя оказалось после, что она не хотела его продавать и не продала. Но что касается до ложек, то ей справедливо говорили, что дорога будет стоить дороже ложек. Но ей, как после оказалось, хотелось пожить на воле и по-своему погулять. Она не поддавалась. Дедушка, наконец, очень благоразумно предлагал ей ехать домой и по продаже дома воротиться: на все это давал ей и денег. А детей предлагал ей оставить у него и обещал дать им такое же воспитание, как и нам. Она ни на что не согласилась, взяла деньги на проезд и со всеми детьми уехала. Дедушка окончательно рассердился и был в этом прав!

В том же 1812 году скончалась после болезни наша бабушка[31]. Это нам было истинное горе: она нежно любила нас и по своему мягкому характеру была искренно доступна, и потому мы имели к ней тоже искреннюю любовь и полную доверенность. Она была дочь полковника Бекетова[32]. Вышла замуж за моего деда, будучи одним годом его моложе, то есть семнадцати лет от роду. Приданое ей дали великолепное, вместе с тем несколько семей дворовых людей и две тысячи на покупку имения. Можно по этому судить о тогдашних ценах! Что купишь нынче на две тысячи? Я знаю все это потому, что у меня есть копия с ее приданой записки. Брат ее, Никита Афанасьевич Бекетов, был недолгое время фаворитом императрицы Елисаветы Петровны. Он воспитывался в кадетском корпусе в то время, как начали там играть трагедии Сумарокова. Он был белокурый, розовый молодой человек и играл женские роли. В роле Семиры[33] понравился он императрице, так что на следующие представления она стала присылать для Семиры свои бриллианты на время спектакля и наконец сделала его своим фаворитом en forme*: это и при ней была уже просто придворная должность; мудрено ли, что при Екатерине это был утвердившийся обычай, необходимое звание, к которому все привыкли. Молодой человек был добродушен и невинен, но на такой высоте несколько зазнался и стал принимать заслуженных стариков и вельмож в халате. Это оскорбляло их и заставило придумывать средства к его падению. Они начали ему советовать заботиться более о своем туалете, о

*официально, формально (*фр.*).

свежем цвете лица, и на его возражение, что не знает никаких средств к этому, сказали ему, что есть многие притиранья и умыванья, и по просьбе его обещали ему их доставить и доставили. Больше всех тут усердствовал граф Петр Иванович Шувалов[34], который имел уже в виду на эту должность своего брата Ивана Ивановича Шувалова[35]. Бекетов умылся этим умываньем, и все лицо у него покрылось прыщами, так что нельзя было ему являться ко двору. Елизавета очень огорчалась его болезнию и спрашивала, чем он болен. Отвечали уклончиво и с ужимками. Это возбудило в ней подозрение; она строго приказала сказать ей всю правду; и ей объявили, что он болен какой-то дурною болезнию. На вопрос ее «отчего?» ей сказали, что его поведение только для ней было тайною, но что оно всем известно! — Елизавета уволила его от двора, наградила его щедро и долго сокрушалась.

При Екатерине, которая знала всю правду о его падении и ценила его ум, честность и добродушие, он был сенатором и в то же время астраханским губернатором: должность тогда очень важная. В ней он был благодетелем всего края. При нем были разведены там виноградные сады, возвышена торговля, усовершенствована рыбная ловля и, наконец, заведены немецкие колонии, между прочим, знаменитая Сарепта с своими целебными водами близ Царицына: тогда нынешняя Саратовская губерния тоже составляла часть Астраханской[36].

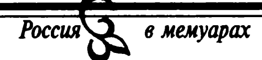
Жил он довольно уединенно, но пышно, даже и в отставке. У него в царицынской его деревне Отрада были тоже виноградные сады; в зале мраморный фонтан и бассейн с живою рыбою; в молошном его погребе никогда не бывало льду, а по стенам были мраморные желоба, в которые была проведена родниковая студеная вода, в которую ставились стеклянные горшки с молоком, сливками и сметаною. У него была огромная мукомольная мельница, на которой не было ни обыкновенного стуку, ни мучной пыли, а стояли ломберные столы красного дерева, за которыми он иногда играл в карты с своими гостями. Такова была его изящная роскошь.

Он женат не был, а имел одну побочную дочь, Елизавету Никитишну Кетову, которую выдал замуж за Всеволода Андреевича Всеволодского[37]; и все имение как-то досталось им. После оно было продано какому-то козаку, по фамилии Попову. Бабушка, будучи еще девочкой, езжала во дворец, и Елизавета очень ее ласкала.

По прежним связям Бекетова дед мой познакомился и с Сумароковым, который после нередко и обедывал у молодых супругов, а бабушка знала наизусть лучшие места из трагедий Сумарокова и восхищалась его песнями[38]. Эта-то женщина, некогда красавица, умная и по-тогдашнему просвещенная, оканчивала жизнь в захолустье и не вполне оценена по ее достоинствам. Вечная память благочестивой, добродетельной и кроткой страдалице.

[В том же году, не помню только, в котором месяце, испытали мы другую потерю. Скончалась моя старейшая тетка Анна Ивановна. — Она была необыкновенно добродушна, но правдива и скора: вероятно, за эти два последние свойства в семье ее не очень любили. С одной Надеждой Ивановной, второй из сестер, она была дружна; а с Натальей Ивановной — как чужая. С моей матерью, я помню, она была тоже в хороших отношениях; во-первых, потому, что отец мой был с нею дружен, а во-вторых, думаю, что их сближала и одинокая участь какого-то отчуждения от семейства, в котором обе они не были виноваты. — Отец и мать оба не любили Анны Ивановны. Странное дело, что в старину всегда были в семействах или любимые, или нелюбимые. Напрасно так прославляют старинные русские нравы: справедливости и тогда не было, а пристрастия и раздоров было больше, чем ныне. А нынче стало их менее, не потому, чтоб люди стали справедливее, а потому, что они стали равнодушнее и благовоспитаннее, то есть умеют покорять внутренние движения благопристойной наружности. Но Анна Ивановна, кроме упомянутых мною качеств, была и просвещеннее своих сестер: она много читала и духовные книги, ко мне она была всегда хороша. Она никогда не брала надо мною никакой власти; но всегда оказывала мне ласку. Она одна из всех сестер любила прогуливаться пешком, ходила много и часто брала меня с собою. Эти прогулки, при ее необыкновенной снисходительности, были мне очень приятны, тем более, что куда я сам вздумаю идти, она никогда мне не противоречила. Однажды только, когда я этим похвастался, она не пошла, куда мне хотелось, и для меня осталось навсегда уроком не принимать доброту за слабость характера. Да будет ей сказано в этих строках: «вечная память», ей, которая скоро была забыта!][39]

В 1813 году, когда все позатихло, кроме наших побед и славы, когда война была уже далеко, начали думать и об отправке нас из деревни. Но куда? Москва еще пуста, пансиона и университета нет. Дедушка решил, что мне полно учиться и пора на службу, а брат мой может учиться и в Петербурге. И вот, летом этого года отправили нас в Петербург: брата в Пажеский корпус, потому что он был принят в пажи, а меня к дяде служить в министерство юстиции. В Москве мы нашли уже Бекетовых, которые все уезжали в Симбирск, но давно уже возвратились. Мы остановились проездом опять у Арины Ивановны Бекетовой, которой дом уцелел. Москвы нельзя было узнать, нельзя было распознать прежних улиц: по обеим сторонам были обгорелые стены домов и торчали трубы. Но многие дома уже начинали отстраиваться. Я прошел мимо обгорелого дома университетского пансиона и заплакал.



ГЛАВА 5
Поездка в Петербург и возвращение в Москву

Это было, помнится, в июне месяце 1813 года. Впечатление, произведенное на меня Петербургом, было двоякое. Красивая наружность города мне чрезвычайно понравилась после Москвы, которая до французов представляла глазам гораздо более смеси и несообразности, чем ныне: подле палат были иногда дома самой простой архитектуры, так что возле огромного дома Почтамта[1] стоял какой-то деревянный домишко. Садов еще не было; на месте нынешнего Кремлевского сада[2] протекала мутная Неглинная, куда бросали из железных лавок деревянные останки экипажей; бульваров было только два: Тверской и Никитской, последний совсем без тени[3]. В Петербурге, напротив, поразил меня вид широких прямых улиц, чистая и широкая Нева; поразило и движение множества экипажей, от которого трясутся дома, и крик продавцов-разносчиков; и ночь, с двумя зарями, без сумерек и темноты. Но, с другой стороны, как-то мне было неловко и страшно между чужими людьми в огромном министерском доме. С боязливою робостью явились мы к дяде. Мы его знали давно: когда он приезжал в деревню, он был с нами ласков и обходителен, даже шутлив; но тут ввели нас в кабинет министра, через огромные комнаты, где сидели дежурные чиновники; все это с непривычки обдавало нас холодом.

Нас поместили рядом с комнатами нашего же симбиряка, Андрея Васильевича Бестужева, сына того, с которым дед мой был в ссоре за землю. Мне было уже 14 лет, но я был неопытен, мало знал, мало видел; он был года три меня старее, был уже светский молодой человек, которому все были знакомы в департаменте, был знаком и Петербург, с его проспектом, театром и кондитерскими. Он был с нами очень вежлив и показывал желание сблизиться. Но я чувствовал между нами расстояние светскости и незнания света, бойкости привычки с нашею неловкою робостию. — После, когда я был обер-прокурором, он был в должности обер-прокурора[4]; мы с ним сблизились, и я не раз воспоминал ему первое наше знакомство. Пугала меня и служба в Петербурге!

Но, по счастию, мы приехали в Петербург в то время, когда дядя, получивши отпуск, собирался в Москву[5]. Брата Валентина поместили в Пажес-

кий корпус[6], а меня дядя взял обратно в Москву. Я очень был рад этому! С тех пор прошло уже 50 лет, а я ни разу не был в Петербурге и не чувствую к нему ни малейшего желания.

У дяди был в Москве собственный деревянный дом с садом, у Харитонья в Огородниках[7]; но он во время французов сгорел. Мы остановились на Маросейке, в доме канцлера, графа Николая Петровича Румянцева[8], который по приязни с дядей пригласил его остановиться в этом доме[9]. В нем кроме штофных обоев и других украшений, каких я еще не видывал, замечательна была зала в два света, то есть в два этажа окон. Она была расписана альфреско[10], и над всеми окнами были изображены победы отца хозяина, фельдмаршала графа Румянцева[11]. Этот дом строил знаменитый архитектор Баженов[12]. Над дверьми же изобразил он: на одной себя, облокотившегося на балкон и смотрящего вниз, а над другой — себя же и своего зятя, живописца[13], расписывавшего эту комнату, с маленьким арабом, подающим ему шоколад. Этот дом был после продан какому-то купцу, который в нижнем этаже понаделал магазинов, и я видел на половинке одной двери уже другого араба, с трубкой табаку: тут продавался табак. Так исчезают у нас все памятники и все предания: вероятно, в изображении баталий Румянцева и поднесения ему ключей от города невежа новый владелец не разумел их значения и принимал за сказочных богатырей.

Мне отвели подле самой этой залы две китайские комнаты, то есть окленные китайскими бумажными обоями с изображением сцен из китайской жизни. Никогда еще я не был так помещен великолепно! Но главное: из моей комнаты был угловой балкон, с которого видна большая часть Москвы и все Замоскворечье. Такого вида я не встречал и в Петербурге! Мне объяснил архитектор Маслов, что дом Румянцева занимает самый высокий пункт Москвы, даже выше Кремля с его горою.

На другой же день утром ко мне вошел седенькой старичок в сером нанковом сертуке[14] и спрашивал меня, доволен ли я своим помещением? Я благодарил и сказал, что доволен, не зная, кто меня спрашивает, и полагая, что это дворецкой хозяина. Но каково же было мое удивление, увидевши вечером этого старичка у дяди и заметивши на нем александровскую звезду[15]. Дядя хотел меня представить, но он сказал: «Мы уже познакомились; я был у Михаила Александровича с визитом». — Это был брат хозяина, действительный тайный советник граф Сергей Петрович Румянцев, член Государственного Совета и бывший при Екатерине посланником в Пруссии[16].

После, уже в зрелом возрасте, я узнал его ближе и видал чаще. Он был старик умный, прекрасно образованный, живой, веселый и того прекрасного тона, которым умели отличаться люди прошедшего века, вельможи и придворные времен Екатерины. Вежливость и равенство со всеми, без за-

бывчивости своего ранга и без той близости, которая заставляет забываться других: это искусство ныне потеряно! Нынче вельмож нет; нынче есть знатные люди только по чину, а более по близости к Государю: они сами чувствуют, что сами по себе, по своему роду и достоинству, не имеют никакого значения, что все их значение зависит от большей или меньшей близости к источнику власти и милостей. И потому чувство своего непрочного и условного высокого положения принуждает их к некоторой гордости и недоступности; а если они начинают допускать других до равенства с собою, это равенство тотчас обнаруживается в самом тоне, и они упадают в глазах других. Прежде этого не было: вельможа не забывал себя, но был любезен; да и другие в обращении с ним были просты, но почтительны. Граф Сергей Петрович был, как человек XVIII века, немножко вольнодумец и немножко подшучивал над предметами, над которыми нынче не шутят, а хотят искоренить их совсем, по крайней мере в Петербурге, где не один Чернышевский[17], а легион! — Граф любил иногда бродить по книжным лавочкам и отыскивал разные редкости и курьозности, которые иногда с добродушным смехом приносил показывать моему дяде. Так, однажды купил он житие известного архимандрита Дионисия[18], но, читая его, напал на ссору клириков за неправильное произношение слова «семени». Это открытие сделало его надолго веселым! Но я читал его депеши, во время его посольства: они показывают много ума и тонкую проницательность. Между прочим, с одной есть у меня даже копия, по необыкновенности ее содержания. Известно, что король прусский[19], наследник Фридриха Великого[20], был охотник до тайных наук и до видений. Екатерина поручала Румянцеву разузнать всю подлинность о его сообщении с духами. Ответная депеша посланника исполнена остроумия и написана так, как только к Екатерине могли писать ее посланные[21].

Он любил вообще литературу. Ничто, выходящее в печать на русском языке, ни малейшие стихи не укрывались от его внимания, и обо всем он сообщал свое мнение. Так, помню, много лет спустя, когда я написал стихи на кончину Александра[22], граф Румянцев знал их почти наизусть, и один стих, именно: «Вкусили мир любви счастливые народы», — критиковал без милости. Сколько дядя ни защищал этого выражения, он никак не соглашался в ясности его смысла. Может быть, он был и прав, потому что в самом деле выражение не точно; но его доказательства заставляли улыбаться моего дядю. Он твердил одно: «Переведите это на французской язык: «la paix de l'amour!»* Можно ли сказать это?»

Граф Румянцев был членом Государственного Совета с его открытия, то есть с 1810 года, но в Петербург он не ехал и в Совете не заседал. Будучи за

*мир любви (*фр.*).

что-то недоволен государем, он беспрестанно был в отпуску, а чтобы придать этому благовидный предлог и показать, будто беспрестанно хлопочет о своих делах, он решился никогда не жить на одном месте: то жил он в Москве, то в местечке Гомель, принадлежащем канцлеру, его брату, и все был в разъездах. Он умер поздно, в 1838 году, в царствование уже Николая Павловича. Все помнят, я думаю, в Москве его экипаж, кучера, форейтора и сзади двух лакеев, всех четверых в желтых ливреях яичного цвета, по цвету герба Румянцевых.

Ему принадлежало село Тарутино, при котором происходило сражение, известное по его имени[23]. В память первой победы, одержанной нами над французами, граф Румянцев освободил его от крепостной зависимости. Крестьяне в благодарность графу Румянцеву поставили там памятник с надписью, возвещающей этот подвиг[24]. Вот как поступали прежние вельможи, а не так, как Клейнмихели[25] и Киселевы[26], из которых последний продал свое огромное имение да, обеспечив себя деньгами, и сделался либералом, вопиющим против крепостного права! Александр был сам благороден; таковы были и вельможи!

К дяде съезжались всякой вечер и вельможи, и писатели, и старые знакомые. Здесь в первый раз увидел я графа Федора Васильевича Ростопчина, тогдашнего генерал-губернатора[27]. Здесь почти всякой день видал Карамзина. Ростопчин был среднего роста, круглого лица, немножко курнос, нехорош собою, но очень приятного и умного лица: глаза его блистали проницательностию и остроумием; широкой выдававшийся лоб показывал твердость воли. Таков он и был. В это время он не был еще в немилости Государя[28], был силен, но в то же время в каком-то неопределенном положении в отношении к московской публике, которая боялась его как преследователя болтливых языков и не любила, приписывая ему бедствие Москвы. История оправдала его, доказав, что сдача Москвы была спасением России, но что он и сам не знал до последнего дня о решении военного совета уступить ее неприятелю.

Пожар Москвы — дело, доныне не решенное; но верно то, что не Ростопчин велел сжечь ее. Известна его французская брошюра, в оправдание от этого поступка[29]. Она говорит то же, что и сам рассудок: Ростопчин велел только вывезти пожарные трубы; вот и все его участие. Но справедливо и то: если бы трубы оставались, кто стал бы гасить пожар в этой сумятице и безурядице? — Кто же сжег ее? Все, остававшиеся в Москве, уверяют, что Каретный ряд, где начался пожар, и город, то есть лавки, зажгли сами русские. Это очень вероятно: справедливая ненависть к французам доходила до зверства; кроме того, могло побудить и отчаяние, и месть: в лавках оставалось множество товару: так не доставайся же никому, чем врагам! — Это естественно и

понятно! — Но потом зажигали уже сами неприятели: где из ненависти, где от безурядицы, бывшей в их войсках, а где и от пьянства! — Ростопчин сжег только свой великолепный дом в селе Воронове[30]: это известно.

Впрочем, Ростопчин давно питал ненависть и презрение к французам. Об этом свидетельствует брошюрка, изданная им в 1807 году, во время милиции, под заглавием «Мысли вслух на красном крыльце»[31]. Эта брошюрка пришлась очень ко времени; кроме того, Ростопчин мастер был приноравливаться к простому языку, и народному, и старомодному: она облетела всю Россию, и редко кто не знал ее наизусть или не повторял из нее целые тирады. После, в 1809 году, написал он комедию «Вести, или Убитый живой»[32]. Комедия имела успех необыкновенный, но московское общество рассердилось, потому что не только оно было вообще изображено верно, но многие лица были портреты с людей, известных в московском обществе, которые себя узнавали; например, Маремьяна Бобровна Набатова[33] была известная по силе языка Настасья Дмитриевна Офросимова[34]. Но всего замечательнее, что Николай Иванович Пустячков — это был известный сочинитель драм Николай Иванович Ильин, которого Ростопчин, сделавшись генерал-губернатором в 1812 году, взял к себе в правители канцелярии[35].

Ростопчин был чрезвычайно остроумен и мастер рассказывать. Сколько я слыхал от него анекдотов об императоре Павле, которые хотя и помню все до одного, но не нахожу удобным рассказывать. Запишу их когда-нибудь особо[36]. Ростопчину можно поставить в большую заслугу, что во время приближения французов к Москве, когда весь народ был в волнении и в злобе и на французов, и на правительство, он умел сохранить спокойствие в народе до последней минуты. Он умел сделать, что на него смотрели как на оракула; верили его знаменитым афишкам[37] и не упадали духом. Он умел поддержать злобу к врагам и не допустить народ до упадка духа. Хотел ли он действительно идти во главе народа на три горы сразиться с неприятелем[38], этого утвердительно сказать нельзя, но оружие из арсенала было и распродано, и роздано даром[39], и народ ждал только воззвания.

К спокойствию Москвы употреблял он самые действительные средства. Между прочим, имея справедливую причину подозревать французов Кузнецкого моста и других, им подобных, в приверженности к Наполеону, он нагрузил ими несколько барок и отправил в Нижний Новгород. С ними был отправлен и танцмейстер L'Amiral. Французы и тут не изменили своему характеру веселости и шутки. Они называли его адмиралом флотилии: notre Amiral*[40]!

Как нужны были подобные предосторожности и как основательны его подозрения, доказывает, между прочим, следующий случай. Против наше-

*наш адмирал (*фр.*).

го пансиона был частный пансион Monsieur Gaudefroid, которому давали титул профессора. Он преподавал у нас французскую литературу в вышнем классе[41]. Я слушал там его лекции; кроме того, он благоволил ко мне по особенному обстоятельству. Перед самым отъездом нашим в Москву переехала к нам от Карамзиных недовольная их немножко башкирским обращением француженка, парижанка, Madame Blanquet, присланная к ним Николаем Михайловичем. Она не брала денег; хотела только дожить у нас до весны, занимаясь с сестрою без всякого вознаграждения. Весною приехала она в Москву и, к изумлению нашему, вышла замуж за этого старика Годефруа. Они, по нашему знакомству с нею, приглашали нас с братом к себе, и мы у них бывали.

Годефруа был уже очень пожилых лет, седой и самой степенной и почтенной наружности. Его все уважали за его знания и основательность [в] поступках. Пансион его был лучший. Не знаю, по какому-то подозрению, впрочем, очень слабому, Ростопчин взял его под стражу, но не открывалось ничего, и готовы были его освободить. Но Годефруа требовал себе ватошной своей шинели, жалуясь на холод; между тем как было лето и дни жаркие. Это показалось подозрительным; распороли подкладку шинели и нашли там переписку, доказывающую, что он был агентом Наполеона. Его сослали, а жена его Madame Blanquet, говорят, ушла с французами, и если так, то, вероятно, погибла. Вот как нужна была тогда осторожность. Ростопчина винили в подозрительности ко всем иностранцам вообще и в строгости, но что же было делать? Он знал, что весь Кузнецкой мост наполнен предателями, которые очень умели пользоваться болтовней барынь и московских франтов! Известнейшая тогда в Москве модная торговка Madame Aubert-Chalmet оказалась тоже агенткой французского правительства, но узнали поздно: она бежала с французской армией. После ее не называли иначе, как Обер-Шельма, а прежде она была и в славе, и в почете[42]. Теперь нельзя и вообразить того ослепления к французам, которое господствовало в столицах до 1812 года.

Известно, что перед ополчением[43] Государь приезжал в Москву[44]. Известно, что он сказал речь к дворянству[45], которая произвела энтузиасм всеобщий; все закричали: «Пойдем поголовно!», а купцы посыпали миллионы. В это время жил в Москве отставной маиор Сергей Николаевич Глинка, издававший с 1808 года «Русский вестник»[46]. Он беспрестанно шатался по рынкам и был известен как патриот простому народу; он проповедовал своим громким и ясным голосом ненависть к французам, и народ ему верил и его слушал. Перед приездом Государя, который был назначен вечером, он уговорил народ идти навстречу Государю, и за ним пошло по большой дороге тысяч до семи народа[47]. Но Государь остался ночевать на последней станции и приехал в Москву рано утром. Встреча не удалась.

Государь, зная патриотизм Глинки и его нравственную силу в народе, пожаловал ему, отставному, Владимир 4-й степени[48]; сверх того граф Ростопчин, по приказанию Государя, выдал ему 100 тысяч ассигнациями для раздачи в народе к большему подстреканию его против врагов. Глинка сделал все, что мог, а деньги возвратил графу Ростопчину в целости, между тем как сам первый в Москве записался в ополчение и пожертвовал на военные надобности свои последние серебряные ложки![49] — А при Николае Павловиче[50] этого человека, как цензора, посадили на гауптвахту! Об этом будет сказано в своем месте[51].

Граф Ростопчин, одним словом, был один из тех людей, которые в важных случаях истории народов являются, как будто выдвинутые провидением. Он был тогда на своем месте. Он отличался твердостию духа, но эта твердость граничила иногда с жестокостию. Я упомянул уже о прокламации Наполеона, которую читали мне в архиве и которую Малиновский советовал нам не читать и не списывать, предсказывал, что из этого выйдет что-нибудь нехорошее. Вот что было после моего отъезда на ваканцию. Граф Ростопчин велел сделать об этой прокламации розыскание[52], тем более что такого рода бумага, напечатанная в иностранной газете, не могла пройти через газетную цензуру[53]. Этот нумер был бы запрещен; да и действительно он не был выпущен в публику. Оказалось, что эту прокламацию переводил на русской язык купеческой сын Верещагин[54] и что он получил эти газеты от сына почт-директора Федора Петровича Ключарева[55]. Когда надобно было взять Верещагина к допросу, оказалось, что он укрывается в доме Почтамта, на Мясницкой[56]. Граф Ростопчин послал туда полицейского чиновника, но когда почт-директор Верещагина не выдал, отвечая, что полиция не имеет права входить в ведомство Почтамта, у которого есть своя собственная полиция, граф Ростопчин послал полицеймейстера сказать на это директору: «А ежели бы мне пришлось взять под стражу самого Вас, Ваше Превосходительство, кого бы я послал с этим поручением, когда я не имею права посылать к вам полицию?» (Последствие доказало, что эти слова были пророческие; может быть, граф Ростопчин знал уже кое-что и пророчествовал наверное). — Как бы то ни было, Верещагина взяли и посадили в острог.

В самый день вступления французов в Москву, 2 сентября, утром, граф Ростопчин велел вытребовать его к себе[57]. Он жил не на Тверской в казенном доме[58], а в своем собственном на Лубянке[59], который после принадлежал граф[у] Орлову-Денисову[60], почти против церкви Введения[61]. Он вышел на крыльцо в сопровождении своих адъютантов. Верещагин стоял уже тут. Ростопчин указал на него народу, которого собралось множество, и, сказав, что он изменник, велел полицейскому драгуну рубить его; драгун не вдруг повиновался, но по второму приказанию вынул саблю и нанес ему удар. —

Фамилия этого драгуна была — Бурдаев[62]. После он был в Москве частным приставом или квартальным надзирателем. — Потом Верещагина бросили с крыльца народу, который растерзал его на части и поволок по улицам. — А Ростопчин, видя, что народ занят своей жертвою, ушел во внутренность дома; двери за ним затворились; он сел на дрожки и с заднего крыльца уехал из Москвы догонять армию и Кутузова. При этом происшествии был тогдашний адъютант графа Ростопчина Василий Александрович Обрезков[63], который после был московским полицеймейстером. Он сам рассказывал это. Кроме того, случайно попал я на извощика, который при этом был и рассказывал слово в слово то же. Это оставило пятно на памяти Ростопчина и, может быть, много послужило впоследствии к его немилости у императора Александра[64].

Есть у меня и собственное признание графа Ростопчина. Это — подлинное отношение его к моему дяде. Отношение это от 13 октября 1812 года за № 5-м из Владимира. Из него видно, что дядя мой, как министр юстиции, спрашивал графа Ростопчина, куда и как размещены московские присутственные места после разорения Москвы неприятелем, а во-вторых, о судимости Верещагина. Граф Ростопчин, после извещения о присутственных местах, что они находятся в Нижнем Новгороде и что в самый тот день (13 октября) получено во Владимир первое известие об опорожнении Москвы неприятелем, в конце своего отношения пишет слово в слово так: «Что же касается до Верещагина, то изменник сей и государственный преступник был пред самым вшествием злодеев наших в Москву предан мною столпившемуся пред ним народу, который, видя в нем глас Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости». — Это уже свидетельство истории, основанное на подлинном документе того времени[65].

Я знал и почт-директора, тайного советника Федора Петровича Ключарева, и его сына, о котором упоминается в моем рассказе. Их обоих, по повелению Государя, отослали на жительство, кажется, в Вологду[66]. Я видел их в Москве по возвращении оттуда[67]. Старик не роптал, а на вопрос об этом моего дяди с слезами на глазах взглянул на небо и покорялся воле Божией. Он был масон старинной новиковской школы, а граф Ростопчин терпеть не мог масонов[68].

Я сказал уже, что видал в это время Карамзина почти ежедневно у дяди, который брал и меня к нему с собою. Он жил тогда на Дмитровке, в доме Селивановского[69]. Не знаю, за сколько он нанимал этот дом, но знаю, что вместо наемной суммы он заплатил хозяину дозволением издать его сочинения, которые и были изданы в 12-ю долю листа, кажется, в 1815 году, а третьим изданием, в 8-ю долю в 1820 году. Карамзин говорил громко, ясно и красноречиво. Всегда был добродушно весел, хотя тогдашний московской

погром и наводил некоторую тень на лицо его. Но замечательная черта его физиономии было несколько морщин на лбу, при самом начале носа, что придавало ему всегда вид размышляющего человека. Ум его был действительно серьезнее, основательнее и глубже, чем у дяди. Дружба их известна всему литературному миру, и она доказывает, как нельзя более, ту истину, что для любви и дружбы не нужно одинаких характеров, а нужна одинаковость склонностей и вкусов. Одно в них было одинаково: это благородство души, чистота побуждений и чувство правды. Карамзин вел жизнь чрезвычайно регулярную. Вставал рано и после кофию тотчас принимался за работу. Часа за два до обеда всякой день ездил верхом. Обедал, помнится, часа в три: тогда это было поздно. Не знаю, отдыхал ли он после обеда, но занимался и после: по крайней мере, до десяти часов вечера он был невидим. В десять часов выходил в гостиную пить чай, и к этому времени всегда съезжались к нему, кто хотел его видеть. Часто случалось мне слыхать его споры. Карамзин был в них стоек и неуступчив, но всегда снисходителен к ошибкам и никогда, в самых горячих прениях, не переступал границ вежливого возражения. Дядя смотрел на эти споры с улыбкой светского человека, как на нечто лишнее и никогда в них не участвовал, как о предметах специальной учености, ему чуждой. Жена Карамзина, Катерина Андреевна[70], была по наружности холодна, но принимала с радушною простотою и по уму и по характеру была достойна своего мужа.

Так как я не пропускаю случая рассказать какой-нибудь анекдот, то кстати расскажу следующее. Карамзин был женат на первой жене, по фамилии Протасовой[71]. Он любил ее страстно. Она занемогла, не помню, в 1802 или 1803 году, и была уже в отчаянном положении. А Карамзин в это время издавал «Вестник Европы». Сердце его терзалось, глядя на больную, а между тем срочная работа выдачи книжки журнала требовала спокойного духа. В этой борьбе с самим собою однажды, утомленный, заснул он на диване и видит во сне, что его привели к вырытой могиле, а по другую ее сторону стоит Катерина Андреевна и через могилу подает ему руку. Карамзин уверял, а ему можно было поверить, что во всю болезнь жены ему и на память не приходила Катерина Андреевна; да и где же в этом положении было думать о другой женитьбе, особливо такой душе, какая была у Карамзина. Как бы то ни было, но он на ней женился.

После я видал Карамзина и бывал у него чаще. Может быть, я опять возвращусь к нему. В это время я узнал у дяди многих писателей, но скажу об них в своем месте, когда я вырос, стал сам заниматься литературой и познакомился уже с ними как с равными. Но теперь не могу не упомянуть об одном: о князе Шаликове. Однажды на вечере у дяди, где, как теперь помню, был граф Ростопчин и многие из первых людей Москвы, на конце целого ряда

кресел сидел неизвестный мне человек, с черными бакенбардами и огромным носом, который, говоря, ломался, делал жесты и по временам пускал нежные вздохи. Дядя мой вдруг говорит ему: «Что это, князь, вас так коробит?» Я чрезвычайно удивился, потому [что] от его осторожного обращения и соблюдения светских условий я никак не ожидал такого вопроса. — По отъезде гостей приступил к дяде с вопросами о многих, которых еще не знал; между прочими спрашивал по приметам и об этом госте. Дядя никак не догадывался, о ком я говорю, так что я принужден был сказать: «Это тот, которому вы сказали, что его коробит!» — «А! Это князь Шаликов!» — Я точно упал с высоты! Привыкши читать в деревне его «Аглаю», я воображал его молодым белокурым человеком, с розовым цветом лица, и образцом нежной красоты и ловкости! — А вышло, что он и смуглый, и черноволосый, и с огромным носом, да еще и ломающийся при всяком разговоре!

Ростопчин, кажется, ставил ни во что князя Шаликова, как вялого стихотворца и пустого писателя, и не любил его за гласную привязанность к французам. Князь Шаликов оставался в Москве при занятии ее французами. Вероятно, ему и не с чем, и не на чем было выехать: ни денег, ни лошадей не было. А впрочем, не менее вероятно и то, что, уверенный, по своим понятиям, в вежливости и чувствительности просвещенной нации, он остался в надежде пожить по-европейски, пожить почти в Париже, который почитался у нас почти раем нашими галломанами! Но Ростопчин смотрел на это другими глазами: всех, остававшихся в Москве, кроме простолюдинов, он считал почти изменниками и по возвращении его в Москву начал строгой разбор этим людям. Призван был и князь Шаликов. Он, ограбленный чувствительной и просвещенной нацией, явился к нему в фризовой оборванной шинели, но не потерял духа! — На вопрос графа Ростопчина, зачем он остался в Москве, он отвечал: «Ваше сиятельство объявили, что пойдете с московскими жителями на Три горы драться с французами; я и остался и все ждал вашего приглашения. Не дождавшись его, даже сам ходил на Три горы, но не нашел там никого, не нашел и Вашего Сиятельства!» Это бы хорошо, но он прибавил еще французскую фразу: «Et puis, j'y suis resté par curiosité!»* — Мудрено ли, что после такого объяснения его при Ростопчине и пуще коробило?

Князь Шаликов был беден, французы отняли у него почти все, что было в его собственном домике на Пресне. За ними нагрянули еще поляки, которые были злее французов, да и князь Шаликов с первыми мог, по крайней мере, говорить, а по-польски не знал, и что ни пищал, они ничего не понимали. Эти начали рыться у него в каком-то узелке и отрыли там какую-то

*И наконец, я остался из любопытства! (*фр.*).

наследственную панагию[72], принадлежащую какому-то его предку, грузинскому духовному лицу. Шаликову стало жаль этой вещи; не в состоянии объясниться на словах с грабителем, он решился растрогать его чувствительность и со слезами на глазах кинулся в его объятья; тот принял это просто за дружеское чувство, уступающее ему эту вещь как подарок, и тоже бросился обнимать его! Шаликов, обманутый чувствительностию, успокоился, а тот, вырвавшись из объятий, унес панагию, унес как подарок дружбы![73]

Он был очень смешон и нежностию, и раздражительностию: первая была у него чем-то накликанным, ненатуральным и обнаруживалась вздохами и слезливостию, а вторая представлялась какой-то злой визгливостию, чрезвычайно смешною. Он был совсем не нежен и не чувствителен, а только сладострастен. Но в маленькой своей злости был даже мстителен. Однажды на бале в благородном собрании он пригласил графиню Брольо[74] на польской, и пригласил ее какой-то ломаной и вычурной французской фразой. Она вспыхнула, однако подала ему руку. Но во весь польской толковала ему с досадой, как ей было стыдно подать руку кавалеру, который не умеет порядочно сказать двух слов по-французски; что все слышали его ломаное приглашение, и проч. — Князь Шаликов отмстил ей, сделав из этого повесть, которую и напечатал[75].

Кстати повторить здесь, что до французов привязанность наша к ним и к их языку была что-то непостижимое! Довольно было хорошо говорить по-французски, чтобы быть приняту в лучших домах, но никакое просвещение, никакой ум без французского языка никогда не давали почетного места в гостиной. Дядя мой, не говоривший по-французски[76], был единственным исключением в этом роде, и это надобно приписать его особенному счастию, которое и во всем другом во всю его жизнь не оборачивалось к нему спиною. Сколько ни восставали, сколько ни писали против галломанов и пристрастия к французскому языку и Шишков[77], и С.Н. Глинка, и Крылов в своих двух комедиях, и, наконец, граф Ростопчин: ничто не помогало![78] — Вывески в Москве все были французские; разговаривали в гостиных по-французски! Не было порядочного дворянского дома, даже по деревням, где бы не было французского учителя; французские эмигранты принимались без разбору, как люди высшего образования; в богатейших русских домах учили и наставляли детей французские аббаты! Это была язва, которая, казалось, привилась и сделалась натурою нашего общества! Но чего не могло сделать благоразумие патриотов и острые насмешки писателей, то сделало время, то сделали сами французы своим нашествием на Россию: их возненавидели; мало-помалу начал выходить и французской язык, не из употребления, а из моды; а это-то и главное! — Окончательно вошел во всеобщее употребление в московском обществе русский язык уже в царствование Николая Павловича!

Надобно, однакож, было думать о вступлении моем в университет, который скоро должен был открыться. Но приготовлен был я очень худо. Дядя вздумал, что мне надобно будет, по крайней мере, поучиться по-немецки. По рекомендации ректора Гейма явился ко мне профессор Юлий Петрович Ульрихс[79]. Вероятно, оба они думали, что мне нужно только усовершенствоваться в немецком языке; а я не знал и склонений. Для Ульрихса, для профессора, нужен был ученик не такой! — Он заставлял меня твердить наизусть склонения и спряжения; потом со вступлением в университет эти уроки прекратились, не принеся мне никакой пользы.

В сентябре 1813 года открылся университет, в Газетном переулке, в небольшом каменном доме какого-то купца[80], нанятого по случаю сгорения в общем пожаре университетского дома. Так как в нем было всего три аудитории, то поневоле лекции читались и после обеда, с двух часов до шести, иначе не было бы места для лекций всех профессоров. Я опишу в особой главе университетское ученье и университетскую жизнь. Теперь скажу только, что мне с непривычки чрезвычайно трудно было рано вставать, чтобы поспевать к осьми часам утра на лекции статистики Гейма. А вставать надобно было тем ранее, что с Маросейки в Газетный переулок дорога была неблизкая, а ходить надобно было пешком: денег на извощика не было. Все деньги, которые давались дедушкой, шли на пищу моего дядьки и на необходимые расходы для меня. Так, например, я привык ужинать, а ужина у дяди не было. Чтобы не ложиться голодным, дядька покупал мне всякой вечер калач и стакан густых сливок. Помнится, это стоило гривен шесть ассигнациями; в десять дней — шесть рублей, а в месяц осьмнадцать. Это было уже начетисто! А другого ужина мы не придумали, да и достать было ничего нельзя; после неприятельского нашествия Москва только начала отстраиваться, и удобств жизни не было никаких. Да и до французов в Москве хотя было гораздо более роскоши, чем ныне, но удобств жизни несравненно менее. Нынче каждый кучер может за несколько копеек напиться в трактире чаю; каждая прачка имеет дома самовар и может на несколько же копеек купить в лавочке чаю и сахару: тогда этого не было! Простолюдины вместо чаю пили сбитень, с которым сбитенщики ходили по улицам. Ныне сбитню совсем нет, а жаль![81] Он согревал на морозе лучше чаю, не расслабляя желудка, и не приучал к барству и пустой роскоши. В целой Москве было только две кондитерских: Педоти на Тверской и Гуа на Кузнецком мосту. Кажется, и кондитерская Гунгера[82], в которую я хаживал студентом, завелась после французов.

Когда ночи стали делаться длиннее и темнее, ходьба моя в университет сделалась еще труднее. Вспоминаю один пример, довольно смешной, из моих ночных путешествий. Путь мой лежал, между прочим, через Фуркасовский переулок[83]. Флигель дома, принадлежащего теперь Черткову[84] и выходящий

в этот переулок, в то время только что отстраивался, и угол, мимо которого мне надобно было заворачивать в этот переулок с Мясницкой, был тогда завален кирпичами и глиной. Кто поверит, что всякой раз, проходя тут в потемках поутру в университет и вечером оттуда, я падал на эти кирпичи, сколько ни оберегался: так что наконец привык к этому; знал, что упаду, а все-таки падал!

По истечении своего отпуска, продолжавшегося шесть месяцев, дядя должен был возвратиться в Петербург, на министерство; а я переехал опять на житье к Ирине Ивановне Бекетовой. Здесь я видел уже другого разбора общество, то есть опять всех ее родственников. О литературе и о высших интересах уже не было слышно. До обеда и после обеда карты и те разговоры, без содержания, которыми занимаются люди, принадлежащие к светской толпе, но все они были богаты, были поэтому в Москве на виду и почитали себя стоящими довольно высоко в обществе. Меня мало удостаивали они разговорами, да и о чем мне было говорить с людьми непросвещенными, пустыми и отчасти надутыми; с людьми, подобными Николаю Алексеевичу Дурасову, который оправдывал своим умом фамильное свое имя. Несносна мне была эта шумная компания, вполне напоминавшая «Горе от ума» Грибоедова. Но умный Иван Петрович Бекетов и особенно умный же и добродушный Платон Петрович не пренебрегали мною и находили, о чем со мною разговаривать.

Об отпуске дяди и потом его отставке я скажу особо, потому что причины их заслуживают не быть забытыми. А теперь скажу о себе. При отъезде из Москвы дядя велел мне усовершенствоваться без него в французском языке и выучиться по-немецки, математике и танцовать. — Шутка! — Для французского и немецкого языка выбрал он сам учителя, Mr. Petin[85], который у Карамзиных давал уроки старшей дочери Софье Николаевне[86], рожденной от первой жены, бывшей по отце Протасовой, а для других предметов велел самому найти учителей. Французской язык шел у меня порядочно и не без пользы, потому что я знал уже по-французски, но немецкого, кажется, не любил сам Mr. Petin, и я решительно у него ничему не выучился по-немецки. Видя, что не я же виноват в этом, потому что не был тупым учеником, я решился взять немца, господина Гердера[87], который ни слова не знал по-русски и решительно ничего не знал, кроме немецкого языка, но обожал Шиллера[88] и других великих писателей Германии. Он, оставя лишнюю мудрость, стал меня учить, как мальчика, но мальчика взрослого: то есть начал с склонений и спряжений, но в то же время, чтобы приохотить пониманием смысла, заставлял переводить, приискивая каждое слово в словаре. Начали мы с самой детской книги: «Vorbereitende Ubungen»*, потом перешли,

*«Подготовительные упражнения» (*нем.*).

как к легкому писателю, к Геснеру[89]; и потом к другим потруднее. Он сделал то своей немудрой методой, что в год я стал понимать стихи Шиллера, но проза немецких писателей, которая по конструкции труднее стихов, далась мне не скоро! Однако к концу другого года я не только стал понимать все и даже говорить по-немецки, но и полюбил страстно немецкую поэзию! — До этого я почитал высоко поэзию французов и любил чрезвычайно поэмы Делиля[90], басни Флориана[91] и элегии Парни[92]. Но тут, не отвергая красивости и чувств французских поэтов, я понял, однако, что поэзия требует чего-то другого, кроме внешнего изящества и нежного чувства: я понял инстинктивно, что поэзия есть глубокое искусство, что она требует силы и оригинальной формы. Одним словом, мне открылся новый мир, в котором я, так сказать, купался в волнах пиитического блаженства. Если бы я узнал понемногу немецкий язык, с детства, как узнал французский, вероятно, поэзия немцев не произвела бы на меня такого действия, но, вообразите, что мне открылся этот новый мир вдруг и в те лета, когда я мог вполне постичь его моим смыслом и очароваться, как юноша, чем очаровываются лета молодой силы и некоторой зрелости. Вечно буду я благодарен Гердеру: он в простоте души своей открыл мне источники благородного наслаждения!

О математике нечего было и думать; учители математики были дороги, да я не знал, где и достать их. Кроме того, на все уроки, на платье, на содержанье дядьки и на извощиков, без которых иногда нельзя же было обойтись, мне давалась всего тысяча рублей ассигнациями. А уроки, по 5 рублей за каждый, стоили много. Итак, математику я отложил в сторону! — Но как быть с танцеваньем?

Рекомендовали мне какого-то танцмейстера и бывшего балетмейстера синьора Гаетана Мунарети[93], которого звали по-русски Гайтан Антоныч. Я спросил его: «Можно ли учиться танцовать одному?» — Он отвечал: «Покуда можно, а когда выучим все па, надобно будет искать компанию!» — Мы принялись, затанцовали, а когда я выучил всевозможные и мудреные па, оказалось, что фигур различных танцев одному выучить невозможно. Он придумал для кадрили и экосеза расставлять вместо пар стулья; так я и танцовал со стульями. Потом я придумал рисовать планы, как переменять место в различных фигурах. Понять было можно, но все-таки это была не практика! Наконец, он отыскал мне один дом, где тоже учил двух молодых девушек и мальчика. Это было семейство штаб-лекаря Семена Петровича Смольянского. Дом их был за Москвой-рекой, на Якиманке[94], в приходе Иоакима и Анны[95]. Я стал ездить к ним с робостию, потому что мало бывал на чужих людях, но они меня приняли ласково и добродушно. Учились: маленький сын хозяина; падчерица его Елизавета Адриановна, вышедшая после замуж за полковника Толь, и племянница тогдашнего губернского предводителя Арсеньева[96],

Елизавета Петровна Степанова. Добрый Гайтан Антонович, всякой раз приехавши к ним давать урок, присылал за мной свои сани, чтобы мне не нанимать извощика. Вот как я выучился танцовать. Я всегда буду помнить это доброе семейство, где я был в обществе, между тем как у дяди и у Бекетовых я был между их гостей чужой и только зрителем общества. Дороги для молодого человека теплота души и простота приветливости!

Буду говорить теперь об отпуске и отставке дяди. Дядя был сенатором с 1806 года по 1810-й. — Перед Новым годом он получил официальное письмо от Балашова (который был женат на двоюродной его сестре), он писал к нему о желании Государя, чтоб он приехал в Петербург к Новому году. Вслед за этим пришло от него же другое письмо, в котором он писал, что Государь расчел, что к Новому году он не поспеет, и потому приехал бы хоть в первые дни Нового года. — Дядя не знал, для чего его вызывают: вышло, что при новом учреждении министерств он был назначен в министры юстиции.

Тогдашний новый состав министерства был такой: граф Н.П. Румянцев был сделан канцлером, военным министром — Барклай де Толли[97], морским — маркиз Траверсе[98], финансов — Гурьев[99], внутренних дел — О.П. Козодавлев[100], юстиции — И.И. Дмитриев, просвещения — граф Разумовский[101], полиции — Балашов, которым это министерство началось и кончилось. — Всех их было десять, но двоих не помню. В то же время был учрежден Государственный совет под председательством самого Государя. Он состоял из особых членов, но в нем присутствовали и все министры. В отсутствие Государя занимал место председателя Николай Иванович Салтыков[102]. А государственным секретарем был Сперанской.

В это же время был учрежден и Комитет министров, но не на том основании и не с теми правами и властию, которые он получил после и частию присвоил себе во время отлучек Государя в армию. Он был учрежден почти для частного, так сказать, домашнего совещания министров, для сокращения письменных их сношений. Он совсем не был инстанцией, тем менее судебной: в Комитете не было даже и книг законных, а только перед каждым министром чернильница и лист белой бумаги. Личные доклады министров самому Государю были еженедельно: для каждого был назначенный день.

До войны 1812 года, или, лучше сказать, до последовавших за нею отлучек Государя, дядя мой был совершенно доволен своею службою и своим положением. Государь его любил и ценил его чистые правила, его благородный характер. Но с отлучками Государя из Петербурга положение Дмитриева, как министра, переменилось. Известно, что во все это время распространены были действия Государственного совета и даже власть Комитета министров; что в них поступали и ими разрешались окончательно некоторые дела административные, которые прежде взносились на утверждение самого

Государя; что Н.И. Салтыков, который был не столько человек государственный, сколько тонкой и лукавый придворный, в это время почти правил Россиею. Вместе с делами по некоторым отдельным частям управления, по поставкам на армию и проч. совет и даже Комитет начали присвоивать себе власть и по Сенату. Рапорты общего собрания Сената по делам, окончательно решенным, представлялись Государю; тут, вместе с другими бумагами, и они вносились тоже в Комитет. Государь принимал эти рапорты только к сведению, ибо на решения общего собрания, по закону (см. Образ<ование> Госуд<арственного> Совета (97, пункт 2) не принимается жалоб на Высочайшее имя. Нынче, конечно, их принимают, но это вошло при графе Панине, по какому-то забвению закона, который все-таки существует. А покойный Государь (Александр Павлович) строго его держался. — Но вышел вот какой случай.

В общем собрании петербургских департаментов Сената было дело малолетных наследников тайного советника Судиенко[103] с помещиком Покорским-Журавкою, которое было решено не в пользу малолетных, но которого решение было согласовано министром юстиции, следовательно, было окончательное. — Рапорт общего собрания по этому делу был, по журналу Комитета, тоже принят к сведению; этот журнал был подписан всеми, в том числе и Кочубеем[104], который впоследствии был сделан графом[105].

Чрез несколько времени после того напомнили Кочубею, что он опекун малолетных Судиенко и что ему следовало за них вступиться. Кочубей начал упрашивать товарищей, чтобы дело перенести в совет для пересмотра, и все согласились, кроме Дмитриева, который, отстаивая права Сената, министра и, главное, закон, подал по этому случаю мнение, которое приняли и по которому должно было последовать какое-нибудь заключение Комитета. Но, просматривая журнал этого числа (поданный к подписанию нарочно через несколько дней, в надежде, что число не придет на память министру юстиции и что он этот журнал подпишет), Дмитриев не нашел в этом журнале своего мнения и потребовал, чтоб оно было записано. Салтыков и другие отвечали, что они оставляют предложение Кочубея без последствий и что он сам на это согласен, следовательно, все это остается безгласным. Но вот что сделали впоследствии.

Спустя несколько времени после этого, когда Дмитриев был уверен, что о Судиенках оставлено и забыто, Салтыков, который был председателем Государственного совета, а вместе и Комитета министров, представил от себя Государю, что Комитет, за множеством других дел, накопляющихся особенно по военным обстоятельствам, не может рассматривать подробно рапортов и докладов, взносимых Сенатом на высочайшее имя, и потому не угодно ли будет повелеть все без исключения доклады и рапорты, взносимые Сенатом

на Высочайшее имя, передать на рассмотрение Государственного совета. Это представление, одностороннее и двусмысленное, удостоилось Высочайшего утверждения, и вследствие этого не только рапорты и доклады, но все дела по этим рапортам, даже решенные окончательно, для одного дела Судиенки были переданы на рассмотрение Государственного совета! Сколько людей, которых тяжбы были уже окончены, пострадали от этого! — Таких опытов был не один! — Все это было тяжелым камнем на груди министра юстиции!

Многие такие действия Комитета министров побудили моего дядю проситься в отставку. На случай же несогласия на это Государя писал он к Балашову, который был при его особе в чужих краях, исходатайствовать ему бессрочный отпуск[106]. Государь уволил его только на четыре месяца; потом еще на два; наконец не согласился уволить долее, и Дмитриев, как я сказал выше, возвратился на министерство.

Чтобы не прерывать рассказа, я должен несколько забежать вперед. Когда возвратился Государь из-за границы, дела приняли другой оборот. Личных докладов министров уже не было: их докладные дни были отменены; все докладные шли через графа Аракчеева[107]. Дмитриев не имел случая объясниться с Государем и просил уже решительно об отставке, которую получил 30 августа 1814 года. В министры юстиции поступил Дмитрий Прокофьевич Трощинской[108], а во время отпусков дяди назначен был управлять министерством сенатор Алексей Ульянович Болотников[109], прежний сослуживец его по гвардии. Ему оставил Дмитриев замечательное письмо, в котором писал, что, может быть, ему и впредь не удастся объяснить Государю, почему он так настойчиво просился в отставку, и потому он просил его при удобном случае довести об этом до сведения Государя. «Таким образом, — заключал он, — я вас делаю душеприкащиком моей чести»[110]. — Не знаю, исполнил ли Болотников это поручение, но, вероятно, наконец Государь узнал истину, потому что, уволивши Дмитриева от службы с заметным неудовольствием, он вскоре как будто искал случая вознаградить его. Об этом будет сказано в своем месте. Здесь нахожу только не лишним сказать, что отставка моего дяди, по причинам, побудившим его оставить министерство, делает ему больше чести, чем другому назначение в министры.

Итак, после своей отставки дядя мой переехал опять в Москву, где во время своего отпуска купил землю с садом у Спиридонья, заплачен[о] им 13 тысяч, и начал строить дом[111], остановившись до окончания его постройки опять в доме графа Румянцева. А я до переезда его на новоселье оставался жить у Бекетовой. Он думал найти в Москве прежнюю жизнь, прежних друзей и прежнее общество. Но время, особенно 1812 год, многое изменили; под старость он скучал в Москве, которая была им столь любима. Более всего его привлекало в Москву то, что там он будет вместе с Карамзиным.

Но Карамзин с 1815 года переехал для печатания своей истории в Петербург[112]. Другие старые знакомые мало-помалу померли. Знавшие его прежде молодые люди, князь Вяземский[113], Жуковский и их ровесники, конечно, много услаждали его своим обществом и оказывали величайшее уважение и ему, и его таланту; но они были ему не ровесники, люди другого поколения, хотя не отличались от его направления так резко, как ныне отличаются молодые поколения от старых. Гармонии в обществе было тогда больше. Но об этих людях и о других, которых я узнал в это время, я буду говорить после.

В это время в доме своей тещи Бекетовой, в бельэтаже, жил сенатор Сергей Сергеевич Кушников[114], с женою своею и детьми, потому что их дом на Никитской сгорел. Он был красавец собою, ума основательного, человек просвещенный и добрый; он обращался со мною, как следует доброму родственнику, и оказывал мне и тогда, и после всевозможное внимание. Он был по матери родной племянник Карамзину, хотя был и одних лет с ним, а мне, по жене своей, был двоюродный дядя. Он воспитывался в Кадетском корпусе, при Ангальте[115], говорил прекрасно по-французски, как и все тогдашние кадеты, знал языки: немецкой и италианской; был любимым адъютантом Суворова, участвовал в Италианской компании и имел много иностранных крестов, которые до войны 12-го года были большою редкостию. Он сам любил Суворова, вспоминал об нем всегда с чувством и рассказывал о нем много анекдотов, неизвестных. Я любил слушать его рассказы, но помню теперь немногие. Вот один из них. Суворов во время италианской войны[116] был однажды болен и лежал на своей походной постели. Рано поутру призывает он Кушникова, велит ему сесть к столику и писать под его диктант. Это бывало нередко и прежде, и Кушников ничего не ожидал до себя относящегося. Суворов начал диктовать письмо к королю Сардинскому[117]; вдруг видит адъютант, что это письмо об нем и что Суворов выпрашивает ему орден. Он встал, благодарил и сказал, что и без того награжден много, и прочее. Суворов отвечал: «Это не твое дело! Пиши!» Письмо было послано, орден получен, а Кушников все еще не знал, за что.

Однажды Суворов сам ему объяснил это. «Ты помнишь, сказал он ему, — что я позвал тебя писать письмо, только что я проснулся. Я видел во сне, что я во дворце, где множество людей, и все меня теснят и толкают и не дают мне дороги. Один ты идешь впереди, всех расталкиваешь и очищаешь мне путь. Проснувшись, я подумал: в самом деле, Кушников человек добрый, и если бы мне при дворе пришло худо, он один не оставил бы меня. Вот за это я тебе и выпросил орден».

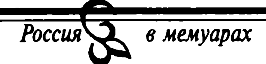
Кушников был послан Суворовым к императору Павлу с известием о взятии какой-то крепости. — Павел был в восхищении. — «А Нови?»[118] — спросил он. — «Я думаю, — отвечал Кушников, — что теперь сдалась уже и

Нови». — Действительно, к вечеру приехал другой курьер с известием о сдаче Нови. Павел обнимал Кушникова и всякой день приглашал его к обеду и к ужину. После, когда рассердился на Суворова, он велел всех Кушниковых выслать из Петербурга; и все Кушниковы, какие только нашлись, были высланы.

В эти же годы я видал и Балашова, другого зятя Бекетовой, возвратившегося вместе с Государем из чужих краев. Он был мал ростом, коренаст, с брюшком и выдававшейся вперед грудью, как все военные небольшого роста. Он был чрезвычайно умен; он умел говорить интересно даже и о погоде, потому что у него не было слова без мысли. Говорил он громко и красноречиво; после Карамзина я не находил человека красноречивее Балашова. Он с поручениями Государя изъездил всю Европу, был при всех дворах, всеми королями был принимаем как любимец русского императора, получал от них и ленты[119], и золотые табакерки. И все эти подарки сгорели в его петербургском доме. Он умел рассказывать не только умно и живописно, но иногда и с примесью легкой насмешки. Так я помню его рассказы о свидании своем в Риме с королем испанским: и его, и королеву, обнаруживавшую свой перевес над ним и в этом положении, и знаменитого князя Мира он представлял в легкой, но смешной карикатуре.

Все полагали тогда Балашова первым любимцем Александра. Но после я узнал из рассказов графа Григория Владимировича Орлова[120], который в Париже был тоже при Государе, что фавёр Балашова и тогда уже колебался и что все эти поручения к королям доказывали, что Государь искал случая отдалить Балашова[121]. На это он представлял ясные доказательства. После этого можно ли заключать о фавёре двора по внешним признакам, даже по таким, которые кажутся другим знаками доверенности!

Я описал все это одно за другим сряду, чтобы не прерывать рассказа о себе самом посторонними вставками. Теперь обращаюсь опять к себе и к университету; опишу и поездки в деревню на ваканции.



ГЛАВА 6
Университет и знакомство с некоторыми писателями

Я сказал уже, что в сентябре 1813 года открылся университет. Здесь началась для меня новая жизнь, сначала, с непривычки, довольно скучная, но вскоре самая веселая из всей моей жизни. Здесь вступил я, так сказать, в новое семейство студентов университета; здесь сделал новые, самые приятные знакомства; здесь узнал дружбу, продолжавшуюся до старости. Студенты университета и в мое время, и ныне сохраняют к Московскому университету какое-то родственное чувство, сладостное и в самой старости. Московской университет — это вторая наша родина!

Университет и тогда разделялся на четыре факультета, или отделения. В мое время они были следующие: словесный, этико-политической, физико-математической и медицинской[1]. Не знаю, обязаны ли были в наше время казенные студенты принадлежать к какому-нибудь факультету, кроме медицинского, который всегда стоял особняком, но мы, своекоштные, могли выбирать предметы разных наук, по своему усмотрению. По большей части в этом выборе мы руководствовались указом 1809 года, то есть слушали необходимо те лекции, которые требовались для получения коллежского асессорства[2], а другие выбирали уже по собственной наклонности к той или другой науке. Это представляло большую выгоду в отношении к просвещению вообще. Менее выходило специалистов, но более людей образованных. А так как в России главная цель — служба и, по большей части, не знаешь, в какую попадешь, да потом, в продолжение жизни люди по обстоятельствам, от них не зависящим, переходят иногда из одной службы в другую, то и нельзя специально приготовлять себя к какой-нибудь одной цели. По этой причине и нынче России нужны больше люди, имеющие общее образование, чем ученые и специалисты.

Ныне случается, что выходит из университета математик или юрист, не знающие литературы, между тем как литература, в обширном смысле, со всеми вспомогательными науками, способствует более к образованности человека, чем специальные предметы других наук. И потому в наше время было менее положительной и односторонней учености, но более общего просве-

щения, уясняющего идеи. От этого происходило более разнообразия в сведениях, более жизни в разговоре и более широты в их предметах.

Многие восстают нынче против университетов. Не говорю уже о том, что всех предметов, преподающихся в университетах, негде узнать, кроме как в них, но главное достоинство университетского учения состоит в том, что науки ложатся в голову в связи и в системе. Недостаток системы и связи обнаруживается всегда в знаниях самоучек или учившихся дома, как бы хорошо они ни знали ту или иную науку; а те из них, которые чувствуют сами этот недостаток, составляют иногда произвольную систему. От этого-то мы видим такое множество совопросников и слышим такое множество споров. В них возникают иногда вопросы, давно разрешенные, или превращается в вопрос такое сомнение, которое происходит от недостатка связи, так сказать, от пробела в знаниях. При систематическом учении, которое приобретается только в университетах, этого произойти не может.

Я слушал следующие лекции: словесности — у Мерзлякова; церковнославянского языка — у Гаврилова[3]; эстетики, теории изящных искусств, археологии и русской истории — у Каченовского[4]; метафизики — у Брянцева[5]; естественного права, теории законов, римского права и истории римского права — у Цветаева[6]; практического законоискусства — у Сандунова[7]; теории русских законов — у Смирнова[8]; всеобщей истории (увы!) — опять у Черепанова; статистики — у Гейма; политической экономии — у Шлецера[9]; физики — у Двигубского[10], и наконец, немецкого языка — у Ульрихса[11]. Таким образом, я составил курс моего учения из предметов, принадлежащих к трем факультетам. — Одни удовлетворяли требованиям указа 1809 года; другие — кругу знаний, необходимых для литературного образования, к которому я всегда чувствовал непреодолимое влечение. — Само собою разумеется, что все эти предметы я слушал не вдруг, а разделил их на все годы полного курса, начав или с самонужнейших, или с легчайших.

Из всех тогдашних наших профессоров я должен упомянуть прежде всех о Каченовском, как о человеке, стоявшем наравне с наукою своего времени и следившем за дальнейшими успехами. В курсе эстетики он был благоразумным эклектиком, исторически он открывал нам весь постепенный ход этой науки, начиная с ее родителя Баумгартена[12] и переходя к последующим: он говорил с уважением о системах Сульцера[13], Эбергарда[14], Бутервека[15], но предпочитал Бахмана[16] и в основаниях держался Аста[17]. О Лессинге[18] он говорил с восторгом и из отдельных замечаний его об отношениях поэзии и живописи[19] умел извлекать общие истины изящного, которые были бы недоступны другому, привыкшему видеть в частных замечаниях одни частные правила. Его лекции были истинною философией изящного.

В теории изящных искусств не было, по свойству самой науки, такого обширного поля, такого простора для его идей: это была наука, почти основанная только на опыте. Для нас было очень достаточно его указаний и примеров; но для художника это было бы только началом, только необходимым введением к практике. Но на этих лекциях узнали мы Винкельмана[20], Монфокона[21], графа Келюса[22] и других. Обширна была и эта часть при его подробном преподавании.

Но более всего познакомились мы с этими лицами на его лекциях археологии: это была археология в тесном смысле, то есть археология искусств. Но она-то и служит к образованию вкуса и служит необходимым дополнением вообще к науке изящного; между тем как общая археология занимается древностями вообще, по отношению их ко времени и без всякого отношения к изяществу. Эта последняя нужна только для ученого историка, а та для всякого образованного человека: она необходима для художника, для поэта и для всякого любителя художеств. Каченовский приносил иногда на лекции огромные томы Монфокона «Les antiquités expliquées»[23] и показывал нам в гравюрах изображения знаменитых произведений ваяния; в книгах гр. Келюса — обращал наше внимание на медали, камеи и другие предметы древности. Вообще его лекции были занимательны и плодотворны, несмотря на его малое искусство выражаться. Он был далеко не красноречив, но точен и не говорил ни одного слова даром. У него можно было записывать лекции почти слово в слово.

Русскую историю преподавал он не так, как вообще понимали ее в это время: не так как повествование происшествий, по годам и много-много что с разделением на эпохи. Он опередил свое время, и из всех тогдашних профессоров, может быть, один он годился бы на кафедру и в нынешнее время. Он читал русскую историю критически, что в то время было большою новостию. Он начал с обозрения источников русской истории в их хронологическом порядке и с критической их оценки. Он столь подробно разбирал их, что в этом прошло почти полгода. До него мы знали только по именам и Болтина[24], и Шлецера[25]; он разоблачил нам и их и многих и довольно коротко познакомил с Нестором[26]. Одним словом, наша история, вообще довольно утомительная и скучная, в некрасноречивом преподавании Каченовского представлялась нам живою, самою интересною наукою, требующею не одной памяти, а деятельности сил умственных![27]

Таков был Каченовский, хотя иногда он был и смешон, когда, например, говоря об Аполлоне Бельведерском[28] или о Венере Медицейской[29], не имея под руками их изображений, он вскакивал с кафедры и, бледный, в сером фраке, вдруг становился перед нами в позе Аполлона или Венеры! Это случалось наиболее [часто], когда он приходил в восторг вслед за Винкельманом и

повторял его слова: «Мне кажется, я сам становлюсь благороднее, взирая на Аполлона Бельведерского» и проч. Но, несмотря на наши улыбки, на наш смех после лекции и на наше передразнивание уже не Аполлона, а самого профессора, мы уважали Каченовского и дорого ценили его лекции.

О Мерзлякове я говорил уже, упоминая об университетском благородном пансионе. В университете в мое время он ограничивался преподаванием теории поэзии по Батте и разбором наших русских поэтов. Мы чрезвычайно любили Мерзлякова за его ум, его познания, его добрую душу и, наконец, за его восторженную речь, которою он иногда и нас доводил до восторга! Но надобно сказать правду: тогда Мерзляков уже клонился к падению. Здесь должно упомянуть вкратце часть его истории.

До 1812 года он бывал и был любим в хорошем обществе. Он был хорошо знаком с князем Борисом Владимировичем Голицыным[30], с Кокошкиным[31], который и сам был тогда еще на виду в московском большом свете; он преподавал русскую словесность в доме Вельяминовых-Зерновых[32], был у них ежедневным посетителем, принят ими дружески и даже живал у них в подмосковной деревне[33]. Все эти хорошие светские общества действовали благотворно на добродушного и веселого Мерзлякова. Это было и лучшее время его литературной деятельности. Кроме публичных лекций, читаемых им в доме князя Голицына[34], он издал полный перевод эклог Виргилия[35], перевод идиллий г-жи Дезульер[36], печатал в «Вестнике Европы» переводы греческих трагиков и отрывки из «Одиссеи»[37]; все эти труды его ценились по достоинству и заслужили ему у современников большую славу: имя Мерзлякова было современною громкою известностью. Наконец, тогда же он занимался переводом Тассова «Освобожденного Иерусалима», который кончил гораздо позже[38].

После французов многое переменилось в Москве. Общество не скоро устроилось; Вельяминовы оставались с год в дальней орловской деревне; раз он приезжал к ним и туда, но потом, сколько ни приглашали они к себе Мерзлякова, он не ехал. Таким образом, он отвык от хорошего общества и попал в другое. Он еще прежде был знаком с Семеном Васильевичем Смирновым (не с профессором, а с другим, который тоже был любитель литературы и перевел «Разбойников» Шиллера[39]), с Федором Ивановичем Ивановым, автором «Семейства Старичковых»[40], и с некоторыми другими людьми не высокого круга. У них бывали литературные пирушки, и слабодушный Мерзляков привык к пуншу. Он был некрасив собою, приземист и неуклюж: от этого был несколько застенчив; а чувствуя, что стал уже принадлежать к другому кругу, и пристрастившись к гульбе, он, вероятно, уже и совестился появляться на прежних гостиных и отвык от хорошего общества. В то же время женился он на сестре этого Смирнова, Софье Васильевне[41]. Без жены

являться ему в прежних домах было неловко; ввести в этот круг жену не позволяло состояние финансов; таким образом, он совсем отвык от людей и мало-помалу сделался даже и нелюдим[42]. Каждое утро начиналось у него пуншем, а после лекций, которые он читал вечером, он тотчас отправлялся в трактир, называемый «Певческим». Там была готова ему особая комната и пунш. Я не верил этому, но один из студентов, Терехов[43], бывший вместе со мной еще в пансионе, пригласил меня самого удостовериться в этом. Мы пошли с ним после лекции в «Певческой» и спросили par contenance* бутылку меду. Едва успели мы усесться за стол, как пролетел мимо нас, развевая полами сертука, Мерзляков в свою заветную комнату.

На лекции под конец моего курса ходил он очень редко и, случалось, приходил очень навеселе! Но таково было свойство ума этого человека, и такова была его светлая мысль и восторженная любовь к поэзии, что и в этом положении мы извлекали много полезного из его преподавания. По большей части он всходил на кафедру, совсем не приготовившись к лекции: он же был и ленив! — Не зная, о чем говорить, и потерявши уже совсем нить лекции, он, случалось, развернет наудачу Державина или другого поэта; начнет читать его и делать критические замечания: одушевится, и рекою польются у него откровения истин о поэзии как об искусстве, так что хочешь, извлекай из них систему, хочешь, превращай их в апофегмы![44] — Мы говорили о нем, как о Платоне ученики его: «αὐτός ἐφή» — «сам сказал!» — Такова была пламенная душа его; таков был его сильный ум; а о доброте сердца Алексея Федоровича и говорить нечего! Несмотря на его недостаток произношения, он был красноречив; несмотря на его слабость, мы его глубоко уважали и любили. Вечная память ему, умному и доброму человеку![45]

Дядя мой очень уважал его[46], но и с ним Мерзляков расстался! — Что касается до Каченовского, то, принявши на себя издание «Вестника» с 1805 года, Каченовский познакомился тоже с моим дядей и даже следовал его советам, но один случай все расстроил. Державин прислал в «Вестник» двое стихов: одни — «Дева за клавесином», из Шиллера; другие не помню. Стихи были, как и часто случалось у Державина, в некоторых местах очень плохи; дядя их поправил, обещавши уведомить об этом Державина[47]: это бы и ничего; из издания Грота видно, что он и часто поправлял стихи Державина[48]. Но стихотворение было напечатано, а о поправках дядя позабыл уведомить автора. Державин, думая, что эти поправки сделаны самим Каченовским, вскипел гневом и написал в досаде письмо к издателю[49]. А Каченовский принял это за намерение их поссорить, пришел к дяде с сердцем и с упреками. — Дядя, человек правдивый, оскорбился подозрением в двуличности.

*для вида, для приличия (*фр.*).

Он сказал в заключение, что с тех пор, как «Вестник» издает не Карамзин, этот журнал ему ни друг, ни сват, и что с этих пор они незнакомы. Так они и расстались, и что странно, с этой минуты оба разом невзлюбили друг друга[50]. Каченовский был желчен; дядя не любил, чтоб перед ним забывались. Но после выхода «Истории» Карамзина, когда Каченовский в своем «Вестнике» начал жевать его предисловие и привязываться к словам[51], дядя почти возненавидел Каченовского. В этом он был неправ: он не разбирал ни вины, ни правости Каченовского, а видел в нем только человека, дерзающего критиковать Карамзина, который был для него infaillible*, как Папа Римской; критиковать Карамзина — это было для него профанацией, почти святотатством[52]! — Возвращаюсь к лекциям и к преподавателям.

Цветаев был один из самых достойных профессоров, и по науке, и по своему нравственному характеру. Строг к себе в исполнении своих обязанностей, строг и к студентам в требованиях науки, но чрезвычайно мягкого свойства как человек. Тогда еще профессоры не обращались с студентами как с равными и руки им не жали, но Цветаев отличался добродушною вежливостию и приветливою улыбкою. Его не так любили, как Мерзлякова, но уважали, как одного из лучших людей и из лучших профессоров. Он в молодости, не помню, с каким-то вельможей путешествовал по Европе[53] (что тогда было право на отличие человека от других), и потому он привык к хорошему тону и один из всех профессоров хорошо говорил по-французски. Лекции его были не глубоки, но полны и основательны. Он не цитировал нам подлинных слов римского законодательства: да мы и не были приготовлены к этому, и по-латыни знали еще довольно худо. Он во всех четырех предметах своих лекций следовал изданным им учебникам[54]; однако для римского права, не знаю почему, и без его совета, мы пользовались еще книгой петербургского профессора Кукольника[55], которая казалась нам полнее и ученее книги Цветаева, хотя это и несправедливо. Естественное право и теорию законов мы изучали хорошо; римское право — только чтобы благополучно выйти из экзамена, а история римского права осталась у меня в памяти только в крупных своих предметах, например, в «Непременном Едикте» Адриана[56] и тому подобном. Но на экзаменах он был строг и уважал свой предмет, как немногие из тогдашних профессоров[57].

Метафизике у Брянцева я учился с большою охотою и с большим уважением к этой науке[58]. Он знал все системы до Шеллинга[59] наизусть, а следовал в своих лекциях Вольфу[60]. Он читал по своим тетрадям, как и ныне читают в духовных академиях, но делал на словах множество примечаний. Так как мне трудно было записывать в точности его лекции, где всякое слово имело

*непогрешим (*фр.*).

значение, почти как в математике, а пропуск чего-нибудь делал тотчас неясным последующее, то я решился сходить к нему на дом и выпросить у него тетради списать для своего употребления. Старика удивила эта любовь к метафизике, и это было ему очень приятно. Он привык думать, что читает попустому и вдруг увидел доказательство участия к его науке. Он был один из самых старых профессоров того времени, когда наука считала в университете много людей глубоко ученых: Шадена[61], Страхова[62] и других. По наружности старик был странен и смешон. Длинное, суровое лицо его было все в крупных морщинах и какого-то коричневого цвета; белые волосы, которые зачесывались по старинке назад и привыкли к буклям, были очень коротко острижены. Носил он голубой фрак старинного покроя с огромными перламутровыми пуговицами, розовый ситцевый жилет, короткие черные штаны с пряжками и козловые сапоги с зеленой сафьянной оторочкой. Ходил он медленно и важно и кланялся одной головой, поворачивая ее на обе стороны. Между нами был студент Курбатов (о котором после будет говорено много); он был большой весельчак и проказник[63]. Он, бывало, караулит Брянцева у дверей, и пока тот доходит до кафедры, он идет за ним и поет потихоньку: «По мосту-мосту шел-прошел детинка; голубой на нем кафтан»[64]. — Больше таких детских шалостей между нами не было.

Сандунов не читал собственно лекций. Он занимал нас, как сказано выше, практическим судопроизводством[65]. Бывши прежде обер-секретарем Сената, он имел доступ в его канцелярию; что и было ему дозволено; оттуда, а также и из нижних инстанций брал он решенные дела; потом, смотря по содержанию процесса, учреждал из нас суды и палаты, стряпчих и прокуроров. Начиналось с того, что, объяснив предмет просьбы, с которой началось дело, выбирал истца и велел написать прошение с приведением законов, которое выслушивал и исправлял. Потом по порядку дело начиналось в нижней инстанции, по апелляции поступало в высшую и так далее.

У Сандунова были между студентами некоторые, обыкновенно не из лучших фамилий, которых он преимущественно занимал писанием просьб и другим, что было потруднее. Он, кажется, преимущественно готовил их к судебной практике и выделывал из них стряпчих и подьячих[66], желая дать им этим хлеб в будущем. Они были самые приверженные к нему люди, но зато он и обращался с ними, как в старину обращались с канцелярскими служителями. Иногда скажет: «Что ты, батинька, жуешь бумажку-то? Ты знаешь ли, из чего ее делают? Из матросских порток, батинька!» — Или: «У кого ноги начало, у того голова мочало!» — и тому подобные любезности и поговорки. Кроме своего предмета он мало чем уважал, хотя был некогда сам литератор: он издал драму «Отец семейства», издал «Детский театр»[67] и писал сатиры, которые, однако, по их резкости нельзя было напечатать. Он умел иногда

сразу огорошить к общему смеху студентов. Один из них читал в классе какое-то рассуждение и часто повторял имя Цицерона[68]. Сандунов слушал с большим вниманием и вдруг закричал: «Что ты, батинька, все по глазам нам своим Цицероном? Да знаешь ли ты, что был Цицерон? Такой же взятошник, как и мы, грешные! Ведь он защищал своих приятелей-то за деньги!»[69] — Все расхохотались! — Однако Жихарев пишет в своих «Записках студента», что Сандунов тем и отличался от других своих товарищей, что не брал взяток[70].

Правда, у него было множество самых дорогих золотых табакерок, но ему, говорят, дарили их за его советы по делам[71]. Эти избранные студенты Сандунова, его клиенты[72], занимавшиеся усердно по его классу, зато уже ничем другим не занимались у других профессоров. Они выходили из университета подьячими и болванами. Им все с рук сходило, потому что Сандунов, громогласный и дерзкий, взял в руки и Совет, и Правление[73] и делал в них, что хотел: его покровительство было сильнее всяких достоинств. Но вот что было особенно хорошо у Сандунова. Иногда заставлял он студентов читать вслух важнейшие из наших законов и учреждений или старинные грамоты, относящиеся к вотчинным делам. Сначала делал он общее историческое или юридическое введение по предмету предстоящего чтения; потом останавливал по временам читающего и делал замечания или о причинах, подавших повод к изданию этого закона, или служащих к объяснению текста и многих старинных или технических выражений старинной юриспруденции. Тут узнали мы и что значат слова «бортные ухожи»[74] и другие; узнали и старинную меру земли в сравнении с нынешнею, и термины тогдашнего межеванья и означения урочищ и пространства, например: на воловий рык[75] и проч. Все это было очень полезно и в историческом, и в юридическом отношении, потому что в книгах этого не было. Иногда по своей привычке он вмешивал иногда кстати какой-нибудь смешной юридической анекдот из старины, посредством которого предмет легче оставался в памяти.

Вслед за Сандуновым всего ближе вспомнить о Смирнове, потому что предмет их был один: только один занимался практикой судопроизводства; другой преподавал законы. Семен Алексеевич был совсем другой человек: очень простой и служивший некоторым из нас почти шутом. Он знал хорошо и законы, и судопроизводство, и даже был отсылаем на практику в Сенат, где, не считаясь в сенатской службе, занимался делами. Но все это нисколько не служило в пользу слушателей и по его недалекому уму и неспособности к преподаванию, и потому, что его не слушали, а позволяли себе только разные над ним шутки! Зато от его лекций ни у кого из студентов ничего не осталось в памяти, кроме проказ над ним и шуток. Например, у него всякую лекцию составлялся журнал о чтении, по обыкновенной форме: «такого-то числа прибыли» и проч. — Всякой раз писали: «профессор, надвор-

ный советник и бронзовой медали кавалер!» — И всякой раз Смирнов говорил с важностию, которую любит брать на себя, глупость: «Это, господа, право, лишнее! Я чувствую, что вы даете мне титул кавалера из любви и уважения; однако что же я за кавалер? Оставьте это!» — А на другой день опять являлся в журнале «бронзовой медали кавалер» — и опять та же оговорка: «Я чувствую, господа! однако...» — и проч. — И это круглый год.[76]

Он оказывал большое уважение к людям знатным или имеющим влияние. У меня был дядя министр; у другого студента, Новикова, был дядя сенатор Алябьев[77], у третьего — у Курбатова был дядя, кажется, директор гимназии[78]. Смирнов всякой раз, являясь на лекцию, спрашивал нас поодиначке о здоровье дядюшек. Студенты не любят этих отличий, и потому мы все трое уговорились, чтобы первый, к которому он подойдет с вопросом о здоровье дядюшки, отвечал за всех: «У всех троих дядюшки здоровы!» — Отучили мы его наконец от этого вопроса!

Он приезжал однажды к моему дяде, который спросил его, доволен ли он моими успехами? — Смирнов отвечал, что я учусь отлично! — «Постой!» — подумал я. На первой же после этого лекции я сказал ему при всех: «Не стыдно ли вам, Семен Алексеевич, что вместо того, чтобы подавать нам пример справедливости, а вы, напротив, говорите неправду! Дядя спросил вас, хорошо ли я учусь: вы отвечали, что я у вас учусь отлично, а я ничего не знаю!» — «Ну вот, — отвечал Смирнов, — так об вас и сказать всю правду, да еще эдакому лицу!» — Все захохотали.

Гаврилов преподавал нам церковно-славянской язык и отчасти литературу этого языка. Старик был добрый, весьма учтивый с нами и несколько смешной. Иногда он почти до слез восхищался славянским языком и всегда желал показать его преимущество над русским. Это преимущество в богатстве грамматических форм неоспоримо: довольно познакомиться с спряжениями славянских глаголов, чтобы удостовериться, как, например, богаты в них формы времен прошедших. Но Гаврилов, не углубляясь в разбор грамматических форм, отдавал преимущество словам и хотел доказать подобиями. Например, он говорил: «Юная дева трепещет! Какая красота! Скажите это по-русски: «молодая девка дрожит»! Гадко! Скверно!» — Мы тотчас заучивали эти фразы и после повторяли их с хохотом! Таким образом, его некоторые изречения, а более дикие присказки Черепанова между студентами сделали их бессмертными: их затвердили все поколения и передают одно другому. Заставляя нас переводить с славянского языка на русский, он иногда запинался на таком слове, которое в обоих языках одно и то же. В таком случае мучился старик, отыскивая синоним[79]. Такое слово было, например, «Бог». — «Ну, — скажет Гаврилов, — нечего делать! Напишите: «Господь, Творец, Вседержитель»![80]

Однако, несмотря на это, его наставления в славянском языке не прошли совсем бесплодно. Он объяснил нам многие обороты, многие термины, многие особенности конструкции церковного языка; объяснил нам, что собственно принадлежит ему, что вошло из греческого языка при переводе Библии и где от ошибочного перевода превращен смысл подлинника. Вместе с этими объяснениями должно было касаться иногда и иудейских древностей. Все это было очень полезно! Но о сравнении новейших, современных нам славянских языков тогда нечего было и думать. Языки эти были у нас неизвестны; польза знания их не была открыта, а сравнительной грамматики языков вообще у нас не существовало!

Однако и у него не обходилось без шуток. Между нами был один студент, ныне уже в больших чинах и в лентах, Гаврила Степанович Попов[81], который был большой подлипало к Сандунову, по выгодам его покровительства, и к Гаврилову по той причине, что угодить ему было легко, а на экзамене и в Совете и он на что-нибудь пригодится! Гаврилов получил чин коллежского советника: Попов написал ему оду от имени всех студентов и публично прочитал ему ее на лекции. Я помню одну строфу:

Хвала! — воскликну я, — министру просвещенья,
Он не забыл меня!
Он чин коллежского мне дал в вознагражденье
И не умру надворным я!

Старик плакал от умиления и благодарил за эту оду как за доказательство нашего доброго к нему расположения и участия в его радости! Он был богобоязлив, умен, но простодушен!

О профессоре Никифоре Евтропьевиче Черепанове, у которого мы слушали историю, я говорил уже, рассказывая об университетском пансионе. Он был добрый человек, но ума до крайности ограниченного и тупого! Я сказал уже, что история была для него последовательность происшествий — не более, периоды были просто остановками памяти; эпохи — просто крупными происшествиями, без всякого отношения к судьбе народов. В республике, в деспотизме — он видел, кажется, только различие правления, не думая о духе, который производит то или другое. Цари были для него все важны, потому что они цари, а великие люди различались только подвигами, не силою души и не целию, определявшею их направление. Он преподавал, рассказывая как сказку, однообразно, монотонно, скушно, говоря беспрестанно, как и в пансионе: «с позволения вашего, государи мои!» — и употребляя другие поговорочные фразы: «так как», «поелику уже», «равномерно» и тому подобные. Я думаю, право, что Александр Македонский не отличался в его уме от Карла Великого, потому что оба были завоеватели!

Для него не существовал ни характер времени, ни характер народов: все это сливалось в бесцветном пространстве, совершалось машинально и двигалось в безбрежном направлении, как в вечности! Тошный он был человек, тошны и бесполезны его лекции! — Он и сам это чувствовал и перед экзаменом трусил больше нас!

Говорят, правда ли, нет ли, что однажды он сказал некоторым баричам из студентов: «Что уже мне и делать с вами, государи мои! Все вы люди богатые и знатные; выдете в генералы, приедете ко мне и скажете: «Ты дурак, Черепанов!» Жалкой был человек!

Статистику преподавал сам ректор Иван Андреевич Гейм. Память у него была обширная и вместительная, особенно на слова, зато он и известен более изданием словарей, хотя есть его и география, и немецкая грамматика[82]. Он всякой день с утра надписывал каким-то составом по одному иностранному слову на каждом ногте, даже и правой руки, и, что бы ни делал, беспрестанно поглядывал на свои ногти и таким образом затверживал всякой день десять новых слов, а так как жил он долго, то мудрено ли, что кроме обыкновенного затверживания вокабул он одним этим средством вытвердил их много. Так как память была у него главною его способностию, то и в статистике он видел более науку памяти, чем политическую науку о силах государства. Его требовательность помнить номенклатуру и цифры без отношения к жизни вместе с его брюзгливостью были истинно несносны! Не любили мы его науки, а учились прилежно из страха. Он же был ректор — первое лицо в университете, от которого все зависело!

Шлецер, сын знаменитого объяснителя Нестора, преподававший нам политическую экономию, был умом и способностями, кажется, не по отце! — Ограниченного ума, застенчивый, робкой, какой-то запуганный, он знал хорошо свою науку, но не умел передавать ее! — По-русски говорил он плохо, так, что вместо слова «гвозди» говорил «гвоздички», а в положениях и истинах своей науки, не сладя с доказательствами, иногда на кафедре божился: «Ей-Богу, господа! Поверьте чести моей, что это так!» — Помню я эту высокую, мясистую, неповоротливую фигуру, с поднятыми плечами, в длинном нанковом сертуке горохового цвета и с огромным крестом Анны 2-го класса на шее[83]. Это был человек нетребовательный и безопасный: была бы прочтена лекция, а знают ли что, ему не было дела. На экзаменах он краснел, как будто совестно спрашивать, а в университетском совете не имел никакого веса! — Он содержал какой-то пансион в собственном доме и жил совершенно уединенно, всегда на запоре. Светского общества убегал и боялся и не знал никаких обычаев. Однажды, это было еще до французов, князь Борис Владимирович Голицын давал большой обед, на которой пригласил лучшее общество Москвы, и мущин, и дам, пригласил и некоторых профес-

соров. Шлецер приехал в длинном синем сертуке и с Анной на шее. Хозяин удивился, но Карамзин говорил ему, что, верно, у него есть какая-нибудь причина для такого костюма, и взялся спросить его. Шлецер очень удивился и сказал Карамзину, что «надел сюртук в знак своего уважения к хозяину; что сюртук он почитает приличнее фрака потому, что и сукна пошло больше, чем на фрак, следовательно, и стоит дороже; а потом и закрывает все тело: стало быть, и пристойнее фрака». — Карамзин сам при мне рассказывал это. — Нынешние славянофилы, ненавидящие фраки[84], не подозревают, что Шлецер упредил их в умозаключениях.

Физика не составляла для нас необходимого предмета; но я, удовлетворяя моей любознательности и желая сколько-нибудь вникнуть в тайны природы, всегда желал узнать науку, объясняющую видимые явления невидимыми силами. Я вникал с величайшим вниманием и с постоянною прилежностию в лекции Двигубского. Старики говорили, что прежний профессор, Страхов, преподавал физику красноречивее и вообще лучше, чем Двигубской. Но мы того уже не застали в университете, а для нас было очень достаточно чтений и нашего профессора. Метода у него была рациональная, точная и постепенно ведущая от одной части науки к другой, так что предыдущее всегда вело к последующему, а последующее было всегда подробнейшим раскрытием предыдущих законов науки. Не говорю уже о предварительных понятиях о телах и их свойствах, как-то: о непроницаемости, тяжести, силе центробежной и центростремительной и проч. Его лекции о электричестве, магнетизме и гальванизме открывали нам новый мир чудес и приковывали, так сказать, наше внимание. В преподавание его входило, само собою разумеется, и учение о свете, о различных законах преломления лучей и теория зрения. Какое обширное поле знания, которого предмет у всех перед глазами и которое без науки от глаз сокрыто! Как жалел я, что вместе с словесными науками не предался вполне и изучению природы, особенно химии! Но время было уже упущено! — Физические опыты не всегда вполне удавались Двигубскому, думаю, от недостатка машин, особенно же потому, что по недостатку помещений для университета после разгрома войны физической кабинет не был еще приведен в настоящий порядок и устройство; однако и этих опытов было достаточно для наглядного объяснения и доказательства теории. Одним словом, лекции Двигубского приносили нам истинную пользу, а сам он был достойно уважаемый профессор.

Остается сказать о лекциях немецкого языка профессора Ульрихса. Это были не лекции, а просто упражнения в этом языке с целию хоть как-нибудь и кого-нибудь выучить ему. Профессора нечего и винить в этом, потому что в мое время почти никто не знал по-немецки: как же тут было говорить собственно о литературе. Этот класс, опять повторяю, без малейшей вины со

стороны Ульрихса, был в жалком и детском состоянии! Он принужден был заставлять нас переводить на немецкой язык «Письма русского путешественника» Карамзина; диктовал по-русски, потом сказывал каждое слово по-немецки, оставалось только найти конструкцию, но и этого никто не мог. Во всем его классе только двое, я и Курбатов, знали по-немецки. У нас, бывало, перевод всегда готов, но Ульрихс, после нескольких разов просмотра, перестал, наконец, брать от нас переводы и говорил нам: «Извините меня, гг. Дмитриев и Курбатов, я не могу заниматься с вами, будучи уже уверен в ваших переводах; позвольте мне, сберегая время, заняться с другими, которые более вас этого требуют».

Вот и все двенадцать профессоров, у которых я слушал лекции. Из моего рассказа видно, что большая часть из них были люди, истинно знающие свой предмет и достойные полного уважения; другие, впрочем, немногие, были тупы и нисколько нами не уважаемы, но Черепанов и Смирнов были просто машины. Из этого же рассказа, где я вывел не теперешнее, а тогдашнее наше мнение и о лекциях, и о преподавателях, можно, я думаю, вывести такие два справедливые заключения: во-первых, что успехи в какой-либо науке много зависят от самих преподавателей, а во-вторых, что студенты, несмотря на молодость и неопытность в науке, бывают всегда самыми верными и беспристрастными ценителями и знаний, и достоинств профессоров и что их мнением пренебрегать не следует!

Много было в это время и других профессоров, достойных уважения и по познаниям, и по личному характеру. Я об них не говорю, потому что у них я не слушал лекций. Но не могу не упомянуть о некоторых: например, о знатоке греческого и латинского языков и их словесности Романе Федоровиче Тимковском[85], человеке, отличавшемся кроме глубокого знания своего предмета еще скромностию, важностию и строгими нравами. Я был не довольно силен в латинском языке, чтобы пользоваться его лекциями [о чем и доныне сожалею][86], но Курбатов слушал его лекции и всегда говорил о нем и о его преподавании с уважением и даже с удивлением к его знанию. В медицинском отделении был знаменитый Мудров[87], которого я узнал после и о котором буду говорить впоследствии, другой — в том же отделении, Вильгельм Михайлович Рихтер[88]. Химия и чистая математика имели вообще отличных профессоров[89].

Обращаюсь от университета к моей домашней жизни. Помнится, в 1815 году дядя мой переехал в вновь построенный дом и взял меня опять к себе. Для меня и для моего слуги были четыре небольшие комнаты: две с окнами и две темные. Дядя был охотник до хорошего и элегантного помещения, но не имел познаний в архитектуре и не умел никак приладить удобства. В доме у него была анфилада парадных комнат, общий порок русских домов, отчего

происходит, что все они как будто строятся напоказ и для гостей, а не для хозяев. Во всю длину дома проходил коридор, выходивший на заднее крыльцо и упиравшийся в одну из дверей кабинета: от этого был всегда сквозной ветер. Жилые его комнаты были наверху, в мезонине: там была его спальня, была еще гостиная, и еще кабинет: такое разделение на два помещения, на две гостиные и на два кабинета, было чрезвычайно неудобно. Кроме того, и вверху была темная проходная комната: он никак не мог обойтись без проходных и темных комнат.

Дом снаружи был прекрасной архитектуры и с двумя рядами колонн; для житья же был неудобен. Карамзин очень верно назвал его «un beau caprice»*! Карамзин хотя и не имел никогда в Москве собственного дома, но был человек семейный: он не любил роскоши и не жертвовал удобством сценической красоте, а дядя — так любил красивость, так мало поверял красоту архитектуры и убранства — мыслию о жизни, так любил внешность и представительность, что нельзя было от него и требовать положительного и полезного в устройстве дома. Он сам чувствовал, что ему неловко, и теснился наверху, а низ, где были лучшие комнаты, оставался пустой. Он сходил вниз только для приема почетных гостей и для званых обедов. Но сад, для городского сада, был обширный и великолепный красотою старых деревьев и густых аллей, чистых и прекрасно содержанных, убитых дорожек. Перед домом был обширный луг, выстланный богатым дерном, с дубом посредине. — Аллеи были и прямые, и неправильные; а вокруг всей решетки — густые и высокие деревья, составлявшие непроницаемую стену зелени и листьев. Сад был английской[90], но в одной стороне его была частичка регулярного сада. Из цветов были больше розы, но в регулярной части были цветники и с другими. В ней же, в темной зелени, стояла статуя Амура, грозящего пальцем[91]. По правде сказать, у нас и грозить было некому. А в конце длины прямой аллеи, в виде герма, стоял двуглавый Янус[92]. В этом же саду была прекрасная баня, к которой с лицевой стороны сада приделана была беседка, где иногда мы и обедали. В той же стороне сада был птишник, отгороженный решеткой, в котором жили голуби и два павлина. — Окна моих комнат выходили в боковую часть сада, и я имел удовольствие видеть из моих окон кусты роз, которые всегда составляли для меня предмет наслаждения, хотя дядя и уверял, не знаю почему, что я люблю розы только в «Садах» Делиля. Он вообще мало знал меня и не во всем отдавал мне справедливость; да и вообще он составлял о людях поверхностное заключение, основанное или на безотчетном впечатлении, или на их общественных отношениях, которые придавали в его глазах большие достоинства. Здесь жил я у него в полной

*прелестный каприз (*фр.*).

свободе, которая, с одной стороны, так приятна молодым людям, но, с другой, видя, что эта свобода происходит от совершенного равнодушия и безучастия, я чувствовал в этом отчуждение и холодность, тяжелые чувства для молодого сердца, которое требует теплоты и привыкло к семейной жизни и к родственному участию. Когда дядя обедал дома, я, разумеется, обедал с ним, но когда он не обедал дома, обеда для меня не было. Знать об этом заранее было невозможно, потому что я рано утром уходил в университет, когда еще неизвестно было его намерение. И потому очень часто случалось, что, возвратясь в час пополудни с лекций, я должен был отправляться пешком обратно, или на Тверскую, или на Кузнецкой мост обедать у ресторатора. Когда бывали свободные деньги, я обедал за пять рублей ассигнациями на Тверской у Ледюка. У него за эту цену был обед почти роскошный: отличный вкусом суп с прекрасными пирожками; рыба — иногда судак sauce à la tartare*[93], иногда даже угри; соус — какое-нибудь филе из маленьких птичек; спаржа или другая зелень; жареное — рябчики, куропатки или чирок (une sarcelle); пирожное или желе из апельсинов или ананасов — и все это за пять рублей. Вино за особую цену: я иногда требовал стакан медоку[94] St. Julien**, что стоило рубль ассигнациями; половину выпивал чистого, а половину с водою. После, когда я познакомился с Курбатовым, мы иногда обедали у Ледюка двое или трое вместе; никогда более. Нам, как обычным посетителям, верили и в кредит, чем, однако, я не любил пользоваться и, в случае некоторого уменьшения финансов, обедал на Кузнецком мосту, у Кантю, за общим столом. Это стоило два рубля ассигнациями. Тут была уже не французская, тонкая и избранная кухня, а сытные щи или густой суп; ветчина и говядина и тому подобное. Но при большом недостатке денег я отправлялся к Оберу, где собирались по большей части иностранцы и обедали за одним столом с хозяином. У него стол был поделикатнее, чем у Кантю, но беднее, а стоил обед всего рубль ассигнациями.

В это-то время, то есть во вторичное житье мое у дяди, узнал я короче некоторых писателей, из которых видал иных еще и в доме графа Румянцева. Жуковской в 1812 году пошел в ополчение и состоял при Кутузове[95], кажется, для составления реляций и для переписки. Он был свидетелем если не сражений, то, по крайней мере, места битв и написал своего «Певца», как известно, после отдачи Москвы, перед Тарутинским сражением[96]. Помнится, я узнал его в первый раз или в конце 1813 года, или в начале 1814-го, только еще тогда, как я жил в доме графа Румянцева. Он на время приезжал в Москву и привозил с собою переписанные набело два тома своих стихотворе-

*соус тартар (фр.).
**Сен-Жюльен (*фр.*).

ний, изданные в 1815 году в Медицинской типографии[97]. Я смотрел на Жуковского как на один из счастливейших случаев моей жизни, как на исполнение давнишнего моего желания и считал за большое счастие, что удалось даже разговаривать с Жуковским! Надобно сказать, что, узнав о моем знакомстве с Жуковским, завидовали мне мои университетские товарищи: слава тогдашних первоклассных поэтов окружала их каким-то сиянием, ставившим их выше людей обыкновенных: к ним между молодыми людьми чувствовалось благоговение, которого не помрачал ни строгий суд, ни зависть. А Жуковской не только возбуждал удивление как поэт, но и любовь за его мягкие, глубокие и меланхолические чувства, за его патриотизм и высоту духа! — Нынче не то! — Будь поэт хоть небесный гений, но если он не разделяет пристрастий толпы, называемых ею убеждениями, он не только не заслужит славы, но его очернят, унизят, уничтожат! — «Будь равен с нами!» — вот чего требуется ныне! Зато и считается великим поэтом какой-нибудь Некрасов[98]; зато нет и славы! — Жуковской с самого начала своего поприща был чистый жрец искусства и сохранился таким до конца своей долгой жизни. Он был любим и уважаем с первой молодости; тем же чувством любви и уважения почтит его и потомство! Два тома его рукописи, отданной им на просмотр моему дяде, я имел долго в руках моих и читал с вниманием, тем более что в них находилось много еще не напечатанного и мне не известного, в том числе и баллада его «Старушка»[99], которую он выключил во всех первых своих изданиях. Не знаю почему, я, как будто предчувствуя это, переписал ее и знал давно, когда она еще многим была еще неизвестна.

В это время (1814—1817) я узнал многих из наших поэтов и писателей: князя Вяземского, Д.В. Давыдова[100], В.В. Измайлова[101], А.Ф. Воейкова и других. Позже всех узнал наконец и К.Н. Батюшкова[102]. Князь Вяземский, по родству своему с Карамзиным, который был женат на побочной дочери его отца, чаще всех бывал у моего дяди. Он был уже тогда известен как молодой стихотворец с замечательным талантом, и особенно по остроте своей. Впрочем, надобно и то сказать, что, будучи молод, богат, принадлежа к блестящим молодым людям светского круга и играя в азартные игры[103], он имел на своей стороне много преимуществ фортуны, которая много помогала и литературной его известности. Его много превозносили молодые люди его круга; а большой свет и тогда, как ныне, сам мало разбирает достоинства поэта, а верит голосу молвы. Вяземский был остер, но добродушен; Жуковской, и по преданности семейству Карамзина, и по собственному добродушию, тоже ценил талант князя Вяземского и, кажется, ожидал от него более, чем вышло из него впоследствии.

В 1814 году Владимир Васильевич Измайлов переехал в Москву издавать «Вестник Европы»[104], а в 1815-м завел свой собственный журнал «Российс-

кий музеум». В «Вестнике» я напечатал в первый раз басню «Новый календарь» и перевод из Жуи «L'Ermite de la Chaussée d'Antin», а в «Музеуме» еще две басни[105]. Это была первая моя попытка. В это время князь Шаховской написал в Петербурге комедию «Липецкие воды», в которой намерен был осмеять некоторые лица, и в том числе, как говорила молва, Жуковского, хотя я, признаюсь, этого сам не вижу[106]. Как бы то ни было, но комедия эта, представленная на петербургском театре, вообще в петербургской публике получила большую славу, но в Москве возбудила большую бурю на Шаховского. Вспомнили и недоконченную комическую его поэму «Расхищенные шубы»[107], которой несколько песен напечатал он в «Беседе» Державина и в которой было много истинно забавного и острого. На Шаховского посыпались эпиграммы в «Музеуме», из которых лучшие принадлежали князю Вяземскому, например, следующая:

С какою легкостью свободной
Играешь ты в стихах природой и собой!
Ты в шубах — Шутовской холодной;
В водах — ты Шутовской сухой![108]

И все это повторялось и затверживалось наизусть! В Петербурге же написал песни на Шаховского sur l'air de la Bechamèle* тогдашний тоже молодой человек Дмитрий Васильевич Дашков, где были очень забавные куплеты. Припев к ней был:

Хвала, хвала тебе, о Шаховской,
Тебе, герой! Тебе, герой![109]

Я не сказал в своем месте о Дашкове. Я узнал его в 1813 году в Петербурге. Тогда он был коллежский асессор и кавалер 4-й степени Владимирского ордена. Он служил в канцелярии министерства юстиции[110] и был особенно отмечаем моим дядею, но не по пристрастию, а истинно по достоинству. Никто не подозревал тогда, что он будет сам министром юстиции, но и тогда серьезным своим направлением, глубоким умом, обширным просвещением и объемом литературных познаний он пользовался между товарищами большим почетом и уважением. Он напечатал в 1811 году небольшую книжку «О легчайшем способе возражать на критики»[111]. — Эта книжка направлена была против Шишкова. Она содержала в себе самые здравые понятия о языке славянском и русском и такие зрелые сведения, какие были тогда не совсем обыкновенны. Она была принята всей партией, противной Шишкову, как кодекс! Но и Дашков был остроумен. Между важными заме-

*на мотив из «Бешамели» (*фр.*).

чаниями в ней были и шутки. В одной статье своей Шишков, оправдываясь от прежних обвинений критики, говорит, между прочим, что он и сам знает, что не все выражения славянского языка отличаются одинаковой высокостию; что есть и низкие. Например, можно сказать по-славянски: «Сотворю ти подзатыльницу!» — Дашков отвечает: «Да! А если сказать: «И абие воздам ти сторицею», это будет и сильнее и принадлежать к высокому слогу»[112]. — Шишков говорит, что при составе славянского языка к круглым предметам и буквы прибирались круглые, например: око содержит две буквы о. Дашков отвечает: «Как же эти философы, составлявшие славянской язык, забыли при этом два прототипа круглости: шар и круг, в которых нет ни одного о?»[113] Тогда это очень забавляло; а важные замечания его о языке и о переводе книг церковных сделали ему большую славу. Владимир Васильевич Измайлов был человек достойный уважения по своему характеру и сведениям в языках, в литературе и в ботанике[114]. — Он писал много, язык его был чист и правилен, но трудолюбие не талант! Его «Путешествие в полуденную Россию»[115], писанное в подражание «Письмам русского путешественника» Карамзина, чрезвычайно жидко содержанием, а в рассказе о Киеве показывает очень слабое и поверхностное знакомство с русской историей! Не говорю уже о слёзах чувствительности, которые встречаются беспрестанно и не возбуждают никакого участия. В «Вестнике Европы» 1814 года он напечатал несколько повестей чрезвычайно скучных[116]! Но имя его было известно и повторялось почти непосредственно за Карамзиным потому только, что чистота языка и слога были еще такая редкость, которые давали право на звонкое титло писателя, без отношения к содержанию и к идеям. Смотря с нынешней точки зрения, скажешь, что легко было быть тогда писателем и получить известность; но что нынче легко, было тогда довольно трудно, и по тогдашнему способу к учению, когда все зависело от собственных усилий и опытов, эта известность доставалась недаром!

В эти же годы, кажется в 1814-м, потому что, помнится, это было еще в доме графа Румянцева, увидел я в первый раз славного партизана и стихотворца Дениса Васильевича Давыдова. Не буду говорить о нем как о партизане: это не мое дело. Но он явился в Москву уже известен своими стихами, особенно двумя ухарскими посланиями к гусарскому же офицеру Бурцеву[117], которого он, говорят, споил с кругу! — Давыдов был между другими поэтами не более как дилетант, но стихи его нравились оригинальностию предмета и тою свободою в выражении, которая не стеснялась тогдашнею условностию и приличием. Они были легки и свободны и, как не подлежащие печати, всеми переписывались и заучивались наизусть. Военная слава храброго партизана бросала немало лучей и на поэта. В то время (1815) Мерзляков издавал в Москве ежемесячный журнал или сборник «Амфион», в котором помещал стихи и князь Вяземской; там же были напечата-

ны некоторые элегии Давыдова[118], и оригинальные, и подражания Парни. Все эти пламенные излияния сердца относились к нечувствительной красавице, к танцовщице Ивановой[119], которая после вышла замуж за балетмейстера Глушковского[120]. Она была девица высокого роста и была особенно величественна и грациозна в русской пляске. В нее-то был страстно влюблен Давыдов. Но сам, кроме острого ума и военной славы, не имел ничего для победы; его faits et gestes* могли бы победить сердце дамы в века рыцарства, а не в наше прозаическое время, и не сердце танцовщицы. Давыдов же был ужасно дурен собою: вместо носа у него была какая-то пуговка; голос имел пискливый; черные густые волосы и на лбу серебряный клок волос. Государь был недоволен за одну басню, написанную на него, и по службе он испытывал неудачи[121]. На вопрос Государя, отчего у него этот клок седых волос, он отвечал ему: «Sire, c'est un bout de chagrin»**. Не меньше щадил он и начальников. Все это возвышало его в глазах приятелей, но не могло нравиться тем, к кому относилось.

В эти же годы я узнал и Александра Федоровича Воейкова. Он тогда не был еще журналистом[122] и не имел врагов, и не утратил своей славы. Напротив! Имя его между молодыми литераторами произносилось с почетом, наравне с именами Жуковского и Батюшкова, с которыми он составлял нераздельный триумвират. Он известен был как один из лучших поэтов своей сатирой «О благородстве», написанной им к Сперанскому[123], посланием «К Эмилии», из которого приводились наизусть некоторые стихи, например:

С тобою проводил я время золотое!
С тобой я не один, с тобой нас и не двое![124]

Давно, еще до французов, начал он переводить поэму Делилеву «Сады», из которой печатал отрывки в журналах[125]. В 1816 году, вслед за первым изданием стихотворений Жуковского, издал и он свой перевод с прекрасными четырью гравюрами лучших тогдашних граверов Галактионова и Чесского[126]. В те времена серьезного внимания к литературе и особенно к поэзии это был труд, заслуживающий уважения, и Воейков занимал одно из самых видных мест между поэтами и литераторами. Дружеская связь его с Жуковским усилилась еще более некоторым родством: Воейков женился на Александре Андреевне Протасовой, которой Жуковской посвятил свою «Светлану»[127]. Воейков тогда еще не был хромым; не хромал еще и в литературе то на ту, то на другую сторону; не обнаруживал своей злости и мстительности и не был ненавидим за свои беспощадные выходки против петербургских

*дела и подвиги (*фр.*).
**«Ваше величество, это след печалей!» (*фр.*).

писателей и журналистов, которые много чернили его и ввергали иногда в большие неприятности, от коих спасал его Жуковской. Но и тогда злость и насмешливость его были уже известны по стихам «Дом сумасшедших»[128], куда он посадил многих литераторов, много и других лиц известных. Но так как нападки его в этих стихах были, по большей части, на людей, действительно заслуживающих насмешку, к тому же такие стихи были тогда в моде, то и они сделались скоро всем известными; все смеялись, и никто не винил Воейкова. Несколько лет спустя он написал еще чувствительное и сатирическое послание «К жене и друзьям», но не то, которое где-то было напечатано под этим заглавием[129]. Все новые произведения молодых поэтов немедленно сообщались моему дяде, которого почитали они за родоначальника нашей поэзии, что и справедливо; а от него все эти новости попадали и в мои руки. Таким образом, я всегда один из первых узнавал литературные новости и с первой юности моей следил за нашей литературой.

Всех позже узнал я из наших поэтов незабвенного Константина Николаевича Батюшкова. Он был всех умнее, всех скромнее и всех ученее: можно ли было вообразить то жалкое состояние, то отсутствие всех способностей, в котором суждено ему было провести большую часть своей жизни и дожить до старости лишенным ума и почти сознания![130] Неисповедимы судьбы человека! — Когда я знал его, и в это время, не снявшего еще воинского мундира[131], и после, даже по возвращении его из Италии[132], он отличался тонкостию и проницательностию ума, скромностью, соединенною с остроумием, и совершенно светским приличием обращения. Воспитанный под надзором своего родственника, Михаила Никитича Муравьева[133], он знал хорошо языки: латинской, французской, немецкой и италианской, и знал хорошо их литературу. Изо всех он отдавал преимущество италианской, и потом римской. В первой нравилась ему сила, пламенная нежность и роскошь картин, во второй — античная стройность формы, сила в краткости и строгая точность выражений. Он был, по преимуществу, классик, даже и в самых сладострастных своих картинах, которые пленяли нас, юношей, как нечто совершенно новое в нашей поэзии, вместе с сладостью и стройною силой его языка! — Более всего он сделался известен своим стихотворением «Мои Пенаты»[134]. Но между немногими он известен еще своими сатирическими стихотворениями. Еще до нашествия французов (эпоха, разделявшая для нас два периода жизни) написал он известные шутливые стихи под названием «Видение на берегах Леты»[135]; после двенадцатого года написал он пародию на «Певца» Жуковского[136]. Оба эти остроумные и чрезвычайно забавные стихотворения были направлены против петербургских писателей и особенно против членов державинской Беседы. Два стиха:

Да здравствует Беседы царь,
Сумбур! Твоя держава! —

направлены против Державина: это он сам назван Сумбуром. Так объяснял сам Батюшков[137]. Здесь кстати сказать, что петербургские литераторы не отличались тогда ни знанием языка, ни талантами. Они упорствовали против нового карамзинского языка и держались старины и языка церковного, которого тоже не знали порядочно. Такова была и Академия, такова была и Беседа: невежество и бездарность, соединенные с упорством, которое назвали бы ныне застоем, но тогда этого слова еще не было. Напротив, Московской университет и московские писатели с Карамзиным и Дмитриевым во главе были представителями прогресса, хотя и этого слова еще не существовало! — Само собою разумеется, что это были два противные и враждебные лагеря: петербургцы ненавидели московцев, а московцы платили им за это насмешками и презрением. Сила была на стороне московских писателей, к которым, по своему направлению, по таланту и образованности, причислял себя и Батюшков, хотя никогда не жил в Москве[138]. Он был наружностию — невысок ростом, тонок, как-то субтилен и до крайности осторожен и в обращении, и в разговорах. Сколько я могу судить по преданию, он напоминал собою Богдановича[139].

Наконец должен я сказать о самом добрейшем, хотя не самом даровитом нашем стихотворце, о Васильи Львовиче Пушкине. Прежде опишу его наружность: он был среднего роста, довольно полон, с небольшим орлиным носом и, пока не развеселится, очень важной наружности. Портрет, изданный при его стихотворениях, очень похож[140]. Дядя говорил, что он похож на италианского импровизатора. Василий Львович, как известно, писал басни и послания, но особенность его была в том, что любил всем читать свои стихотворения и читал, правду сказать, прекрасно, пока у него были зубы и пока не был еще подвержен одышке. Это была такая охота читать, что довольно ему было написать небольшую басню или четверостишие, как и пойдет делать визиты, чтобы читать свое новое произведение, а читал он наизусть[141]. — Он был человек очень просвещенный: он знал литературу многих народов и был коротко знаком с языками: латинским, французским и италианским. Оды Горация и целые места из Данта он знал и читал наизусть; о французских поэтах и говорить нечего: он говорил и писал на французском как на своем природном языке! — Но самое лучшее его произведение — это сатира, не подлежащая печати, напечатанная, однако, два раза: в Дерпте, посредством литографии, и в последнее время (1855) в Лейпциге; это известный всем «Опасный сосед»[142], сатира в роде Ренье[143], но показывающая

такой мастерской талант, которого нельзя и подозревать по напечатанным стихотворениям Пушкина. Немногие, конечно, знают, что в этой сатире [есть стихи Воейкова и даже один самый][144] нескромный стих принадлежит скромному Жуковскому[145]. Я мог бы указать его, но не смею. — Василий Львович и брат его Сергей Львович, отец Александра Сергеевича, были старые приятели моего дяди: знакомство их началось еще с гвардии[146]. Я знал все их семейство. Василий Львович был несколько смешон своим добродушием, но Сергей Львович, не дозволявший с собой приятельских шуток, был едва ли не смешнее своею привязанностию к модам. Гораздо после того времени, которое я описываю теперь, начали было входить в моду шотландские клечатые плащи. Эта мода не принялась, но Сергей Львович немедленно сшил себе клечатый плащ и явился в нем на улице. Мальчишки приняли его за какого-то известного тогда шута и побежали за ним гурьбою; собаки, видя эту гурьбу, сбежались со всех дворов и с лаем тоже бросились за ними: насилу мог спастись Сергей Львович, шмыгнув в какие-то ворота.

Кстати — я знал и сестру их Анну Львовну[147], которую нынче осмеивают в некоторых стихах, не только известных в рукописи, но даже и печатно в заграничных русских сборниках[148]. И не стыдно русским людям осмеивать людей, которые во всем их лучше! — Нет, я думаю, народа бесстыднее нашего, не знающего вовсе чувства уважения ни к чему, ни к кому, кроме тех, которые нужны по своему богатству или опасны своей силой!

Анна Львовна, когда я ее узнал, была девицей уже старой. Она была умна, умнее своих братьев, женщина кроткая, любезная и просвещенная. Она читала на французском языке не одни романы и стихи, не одни книги, назначаемые для легкого чтения, но и важного, даже философического содержания. Разговор ее был чрезвычайно приятен и полон мыслей и опытности, приобретенной посредством собственного размышления. Она была в числе немногих и редких женщин, которые могли бы служить украшением всякого, и светского, и мыслящего общества! Ум, доброта и снисходительность просвечивали в каждом ее слове.

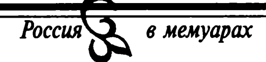
Недавно напечатана была в чужих краях, в одном русском сборнике дерзких и непозволенных стихотворений, эпитафия духовнику Анны Львовны, будто бы написанная племянником ее Александром Пушкиным. Я считаю обязанностию чести обличить эту бесчестную выдумку. Эта эпитафия написана Александром Ивановичем Писаревым, известным нашим водевилистом; написана им еще в детстве, в деревне, на смерть их сельского священника[149]. У нас ничего не значит приписать всякую дерзость и непристойность — Пушкину и осмеять почтенную женщину. И кто же это делает? — Сами поклонники Пушкина! — По своим развратным понятиям и по своему плебейскому воспитанию они и не подозревают даже, что оскорбляют этим память Пуш-

кина, который, несмотря на свои юношеские шалости и на дерзость некоторых стихов, был все-таки человеком благовоспитанным и хорошего тона.

Здесь надобно упомянуть и о князе Шаликове. Я рассказал уже, как странно мне в первый раз было узнать его в такой фигуре, которая совершенно противоречила портрету, составленному моим воображением. Живучи у дяди, я видал его чаще всех наших писателей, потому именно, что он был забавен и что дядя с ним не церемонился. Как скоро дядя бывал вечером один и ему было скушно, он приказывал, бывало, слуге: «Вели заложить Пегаса и ехать за князем Шаликовым!» — Это была пегая лошадь, которую закладывали в дрожки или в сани и привозили князя Шаликова[150]. — Он был смешон нежностию, смешон и злостью; смешон, когда вздыхал, смешон и пронзительным визгом, когда сердился на врагов своих. Когда, бывало, дядя станет критиковать его новое произведение, в негодовании и на пустоту мыслей, и на вялость, Карамзин защищает его, говоря, что «конечно, у него нет таланта и души немного, но в нем есть что-то тепленькое»[151]. — А Василий Львович Пушкин говаривал иногда с важностию и с жалостию: «Как князь Шаликов скучно пишет!» Он одевался тоже довольно странно и носил летом на шее розовый платочек, именно как описал его князь Вяземской в стихах, тогда очень известных:

С собачкой, с посохом, с лорнеткой
И с миртовой от мошек веткой,
На шее с розовым платком...[152]

Вот и все, что осталось у меня об нем в памяти из этого времени. В следующей главе я перейду к моим университетским юношеским знакомствам и к тогдашнему нашему образу жизни[153].



ГЛАВА 7
Университетские знакомства и поездки на свою сторону[1]

Теперь следует сказать о моих университетских знакомствах между студентами и другими молодыми людьми. При самом вступлении в университет, по непривычке к людям вообще, по какой-то врожденной застенчивости, я чуждался товарищей, не скоро составил знакомства и первые два года посещения лекций провел уединенно в толпе сверстников и скушно дома. Единственным посетителем моим был Гердер[2], у которого я продолжал учиться по-немецки и уже упивался красотами немецкой поэзии: Шиллера, Виланда, Тидге, Фосса, Маттисона и даже «Мессиады» Клопштока[3]. Но до Гете[4], как слишком трудного по своей национальности, мы не касались: с ним познакомился я после. В начале 1816 года пресеклась для меня эта отшельническая жизнь: я сблизился со многими студентами и с двоими даже подружился: с Курбатовым[5] и Новиковым[6].

Не помню, как я сошелся с Александром Дмитриевичем Курбатовым, но помню, что вскоре мы сделались неразлучными друзьями. Отличительная черта его характера в это время была неистощимая и неисчерпаемая веселость, добродушие, живость и острота ума. Где был Курбатов, там не могло быть скушно. Он имел необыкновенную память: изучение языков ему ничего не стоило, и потому он, мало-помалу учась им всю жизнь, выучился, где с помощию учителей, а где и сам собою, многим языкам древним и новым. Он тогда уже знал языки: латинской, французской, италианской, немецкой и английской, впоследствии прибавил к ним: еврейской, эллинской, новогреческой, польской и какой-то азиатской, кажется, грузинской[7]. Но об лекциях мало заботился и слушал их пополам с шуткой, только для получения аттестата. Когда, бывало, станешь в этом упрекать его, он всегда говорил: «Я и в аттестате большой нужды не вижу; а хотелось бы получить его только для своего спокойствия, чтобы крепче спать. Я уверен, что когда положу его под подушку, то крепче усну». — Он много шалил на лекциях, особенно у Смирнова; но у хороших профессоров слушал, по крайней мере, по наружности, внимательно, и его вообще любили и профессоры, и товарищи.

С Петром Александровичем Новиковым познакомился я вот как. В Обществе любителей российской словесности[8] по предложению Каченовского

выбрали меня 26 февраля 1816 года в сотрудники. В то же время был принят и Новиков. Мы не знали друг друга, но встретились в дверях в университете — и в то же время встретился с нами студент Титов[9], который сказал: «Ну, оба вы сотрудники, так познакомьтесь!» — Мы улыбнулись, подали друг другу руку, познакомились и с тех пор сделались очень дружны. Вот как легко в молодости делаются связи. Новиков был совершенная противоположность Курбатову: смирен, тих; благонравен, как требуется в нравоучительных книжках; так же наклонен к чувствительности[10], как тот к смеху; горд и не очень сближался. Товарищи его не любили.

Третье знакомство было с Михайлою Аполлоновичем Волковым[11]. Ему давал уроки немецкого языка тоже Гердер, как и мне. Часто говорил он мне об нем как об ученом молодом человеке. Когда я спрашивал об его учености: «In welchem Fache?»*, — Гердер отвечал мне: «In ihrem Fache!»** — Я недоумевал, потому что в себе не подозревал учености ни в каком роде. Но любопытно мне было узнать этого молодого человека. Гердер сказал, что и он желает познакомиться со мною и что он держит в университете асессорской экзамен. Однажды стоял я у дверей аудитории, дожидаясь, чтобы профессор, у которого я не слушал, кончил свою лекцию; тут же стоял, смотря в щелку, высокой черноволосый молодой человек, мне не знакомый. Я спросил, чьей он дожидается лекции; он отвечал о себе, что он не студент, а приехал держать асессорской экзамен[12]. Я сказал ему с радостию: «Вы Волков?» — А он отвечал вопросом же: «Вы Дмитриев?» — Мы оба чрезвычайно обрадовались друг другу и в один миг познакомились. Вышло, что Гердер и ему говорил обо мне: «Das ist ein gelehrter Mann!»*** — и на вопрос: «In welchem Fache?» — отвечал тоже: «In ihrem Fache!» — После мы долго этому смеялись, потому что мы оба были совершенно различного направления: я занимался словесными науками и литературой; а он, всех нас серьезнее, изучал право, политическую экономию и вообще науки политические, к которым имел страстное влечение и действительно имел по этой части большие познания.

Четвертое знакомство было с студентом же Дмитрием Николаевичем Свербеевым[13]. Этот был всегда благоразумен; хотя и весел, но воздержан в речах; совсем не горд, но чрезвычайно осторожен и разборчив в знакомствах. Не скоро дружился, но его приязнь была прочна и надежна. Он особенно дорожил дельными лекциями Сандунова и Цветаева, но с пользой слушал и Мерзлякова, и Каченовского. К чести его надобно сказать, что другие приятели наши не раз менялись во многом, и к лучшему, и к худшему, а ему

*«В каком роде?» (*нем.*).
**«В вашем роде!» (*нем.*).
***«Это ученый человек!» (*нем.*).

было меняться нечего, и до старости он остался тем же основательным и порядочным человеком[14].

Еще надобно упомянуть о внучатом моем брате[15], Михайле Никитиче Философове[16], который с начала моей университетской жизни был еще в пансионе, но потом ходил на лекции и был тоже нашим товарищем. От его общества мы не отказывались; но как-то он не вполне принадлежал к тесному нашему кругу. Он был умен и весельчак; но такая сорвиголова, что мы отчасти пренебрегали им и стыдились тесной с ним дружбы. Он был родной племянник Карамзина; ценил его чрезвычайно как писателя, но часто забывал его как дядю. Сколько раз случалось, что Карамзин поручал мне его отыскивать и приводить к нему, только затем, чтобы хорошенько побранить его. Но ничто не помогало! Его жизнь была самая раскачная; а проказы его бывали такого рода, что мы только дивились, как он из них умел вывертываться! У него никогда не было денег, и он занимал у нас. Курбатов очень забавно говорил со вздохом: «Вот видите ли, Михайла Никитич! Я вам даю взаймы денег; et toi, qui sait, si tu te souviendras jamais de moi!»*

С Новиковым я сначала был дружнее, чем с другими: меня привлекала его чувствительность, которую я принимал за нежность сердца; меня приближала к нему общая у обоих наклонность к литературе, которую я почитал и у него за истинное его призвание; наконец, меня обманывала его важность, которую я принимал за признак ума. Немножко только не сходился я с ним в его чувствительности, потому что в нем ограничивалась она вздохами к луне[17], чтением Руссо и вместе Сенанкура[18], а у меня была идеалом любви и дружбы; литературу я любил как наслаждение души, а он как средство показать себя в числе ее любителей; ум я признавал в собственном упреждении мысли, а он с важностию принимал только то, что сказали знаменитости. Поздно узнал я, что мы с ним в сущности люди совсем розные.

Но у Курбатова было что на уме, то и на языке, то есть острота, шутки и откровенность: он был славный малый и славный товарищ; его все любили, а я с каждым днем более и более. Где он, там не могло быть скушно; он забавно рассуждал и умно дурачился! Так как я тоже был очень веселого нрава, то в промежутках лекций или по окончании их вокруг нас с ним всегда собирался кружок умнейших студентов. В числе их помню Павла Петровича Шеншина[19]; Яковлева, который после написал несколько духовных книг[20]; Федора Ивановича Гильфердинга[21] и черноглазого умного италианца — Чеколини, которого с тех пор я совсем потерял из виду[22]. Мы с Курбатовым составляли какую-то somitée**, какую-то силу, дававшую тон окружающим

*«А ты, кто знает, вспомнишь ли ты когда-нибудь обо мне!» (*фр.*).

**Точнее: la sommité – общество умнейших; самые выдающиеся люди (*фр.*).

нас, в роде клиентов! За этим ближайшим кругом помещались иногда и другие, не вступавшие в наш разговор, а слушавшие. Что они думали о нас, не знаю; но полагаю, что иные, поумнее, ловили остроты Курбатова, а другие, не понимавшие его шуток и нашего смеха, вероятно, видели в нас пустых людей, занимавшихся только этим, и после на экзаменах дивились нашим ответам: когда-де они успевают учиться!

Я учился порядочно и отвечал всегда смело: бодрость придает уверенности и в экзаменаторах. Так, однажды, на экзамене из археологии меня спросил Гейм, знаю ли я, что такое das grüne Gewölbe[23]? — Я отвечал, что знаю, что она находится в Дрездене и содержит в себе то-то. — Когда Гейм сказал мне: «Хорошо! Хорошо!», я прибавил: «Впрочем, это не принадлежит к предмету этой науки. Я знаю это потому, что читал об ней в «Письмах русского офицера» Глинки[24]; а мог бы и не знать!» — Каченовский, преподававший археологию, сказал, что я прав; а студенты удивились моей смелости, думая, вероятно, про себя: «Ведь отвечал; сказали: «хорошо»; ну и слава Богу, что с рук сошло! — Нет! надо еще прибавить в пику ректору! Эдакая у них смелость!»

Я не шалил так, как Курбатов; но он не мог никак удержать своего потока веселости! — Однажды надоел он Смирнову. Он сказал ему: «Господин Курбатов! я вас прошу оставить мои лекции и выйти вон, или я пойду жаловаться ректору; вы смешите весь класс!» — Курбатов отвечал с важностию: «Не стоит труда вам беспокоить ректора, Семен Алексеевич! Я и сам уйду; да у вас и научиться нечему! — Только с условием, чтобы меня вперед не приглашать!» — и ушел. Недели через две он встречается с Смирновым на лестнице. Тот не утерпел и сказал ему: «Что же ко мне-то, господин Курбатов?» — «А условие-то, чтобы меня не приглашать?» — сказал Курбатов и стал опять ходить к Смирнову.

Мы трое, Новиков, Курбатов и я, видались почти ежедневно и кроме лекций, особливо мы с Курбатовым. Новикову надо было всякой раз проситься у отца, который был человек добрый, но холодный, угрюмый, неподвижный; и надобно было всякой раз закладывать дрожки: он пешком не ходил. А мы оба, не зависящие ни от кого и оба безлошадные, ходили пешком и на лекции, и к друг другу. Новикову всегда нужно было быть под чьей-нибудь командой: сперва под командой отца, а потом, когда женился, под командой жены: он не умел быть самим собою, но мастер был отыскивать милостивцев, которые его выдвигали на вид: так, в литературе он пользовался поправками Мерзлякова; а потом по службе выводил его в люди, с помощию жены, князь Сергей Михайлович Голицын. Но об этом после. Мы с Курбатовым, открытые и простые сердцем, хотя и замечали в нем слабосилие, подпираемое искусственно; но его юношеская важность казалась нам

порукою за существенные достоинства. Правда, Курбатов хотя иногда и смеялся над нею, но я его даже упрекал в этом. После я увидел, что мы были ему даже нужны, потому что наша компания придавала и ему рельефности. Он, оставаясь один, и нелюбимый студентами, стоял бы от всех особо и без всякого значения.

С каким удовольствием вспоминаю я и ныне наши вечерние беседы с Курбатовым за Шиллером и Вилландовым «Обероном»[25] и наши летние прогулки, в которых Новиков никогда не участвовал, и по неумению ходить, и потому, что не смел не воротиться домой к отцу, да и потому, что при его важности это ему казалось слишком ничтожно! — А мы, бывало, после вечерних лекций, которые кончались в шесть часов, отправлялись пешком, не спрашивая, далеко ли, близко ли, только бы походить по воле, посмотреть на зелень, на деревья, на воду и дать полный простор своей силе и молодости. Так иногда хаживали мы в сад Корсакова, в котором еще не было публичного гулянья[26]; на Пресненские пруды[27] и просто за город. Однажды, я помню, мы вздумали сходить пешком к Симонову монастырю и на Лизин пруд[28]. Это верст семь; мы устали до чрезвычайности. Когда по набережной дошли до Кремля, где еще не было саду ни кругом, ни к Москве-реке[29], а гора заросла вся кустами, мы, чтобы сократить путь, решились пройти через проломные ворота[30] и вскарабкаться по кустам на гору. В то время отстраивались соборы[31]; мы присели на каменных плитах отдохнуть и в десять часов вечера дошли до моего жилища. Потом пошли к дяде. Никогда не забуду этого вечера! Мы нашли у него Жуковского, Воейкова и других, которые удивились, что мы сходили пешком в Симонов, и долго смеялись нашей юношеской прогулке! Но за то мы много наслушались в этот вечер о литературе и кончили наш отдых самым приятным образом!

В это время (не помню, именно в котором году) учредилось в Петербурге Арзамасское ученое общество[32]. Цель его была осмеивать, в речах и пародиях, державинскую «Беседу» и Академию. Между прочим, положено было в каждом заседании похоронить одного из их членов, то есть сказать ему надгробное слово. Члены имели свои имена, взятые по большей части из баллад Жуковского. Некоторые из них я помню: Жуковской назывался — Светлана; Тургенев — Эолова арфа; Уваров[33] — Старушка; Блудов[34] — Кассандра; Жихарев — Громобой; Вигель[35] — Ивиков журавль; Северин[36] — Резвый кот; В.Л. Пушкин — Староста[37]. Других не помню[38]. Название Арзамасского дано этому обществу вот почему. Один академик, или воспитанник Академии художеств, по фамилии Ступин[39], завел в Арзамасе школу живописи. Молодым людям показалось очень забавным, что в Арзамасе открыта как будто Академия; и поэтому они дали своему забавному обществу имя Арзамасского. В нем всякому заседанию составлялся протокол, и как эти протоколы, так и их забавные сочинения до меня доходили.

В этом обществе были не одни те, которые сами смеялись, но случались и такие, над которыми забавлялось общество. К числу их принадлежал добродушный Василий Львович Пушкин. Вот как его принимали в члены, уверив, что этот ритуал употребляется со всеми принимаемыми.

Кабинет Уварова, где собиралось общество, отделялся от другой комнаты аркой. Ее задернули занавесом оранжевого огненного цвета, за которым место собрания было освещено, а входная комната оставалась темною, кроме этой огненной преграды. Пушкина ввели сначала в другую комнату, самую переднюю, где вводитель объявил ему, что начинаются испытания и что прежде всего, в знак отречения от «Беседы» и для истинного понятия действия «Расхищенных шуб», поэмы Шаховского, надлежит испытать и вытерпеть ему шубное прение. После этого положили его на диван и навалили на него шубы всех членов. Это испытание должно было продолжиться, то есть он должен был преть, пока выслушает какую-то французскую трагедию, которую и заставили перед ним читать самого автора, какого-то полушута, француза[40]. — За сим ввели его во вторую темную комнату, где перед завесой стояла вешалка, окутанная простыней и с шляпой наверху. Пушкину сказали, что это эмблема дурного вкуса, в образе Шишкова, которого он должен поразить стрелою. Ему подали стрелу и лук. Пушкин натянул тетиву, прицелился и выстрелил, в то время мальчик, сидевший за простыней, выстрелил и в него из пистолета. Чучела повалилась; упал от страха и Пушкин! Его подняли и объяснили, что испытания кончились. Завесу отдернули, и он увидел ярко освещенную комнату и всех членов; их превосходительства, гении «Арзамаса» (такой был их титул) важно сидели вокруг стола. Пушкина поставили на пороге и дали ему в руки мерзлого гуся, эмблему «Арзамаса», которого он должен был держать в руках, пока один из членов говорил ему длинную приветственную речь. После речи взяли у него гуся и поднесли ему лоханку и рукомойник умыться после прения и мерзлого гуся — липецкими водами, в память комедии Шаховского «Липецкие воды». — За сим посадили его как члена на приготовленное ему место.

Так забавлялись тогда молодые люди и не первой уже молодости, и главное — люди умнейшие и даровитейшие из литераторов. Шутка не мешала делу. Многие из них занимали уже тогда важные должности по службе; таковы были: Тургенев, Уваров, Блудов и Жихарев[41]. Другие были представители таланта и вкуса; и все — первые люди по просвещению. Когда подумаешь о важности нынешних бездарных копунов, славянофилов, собирателей мужицких песен и сказок, кропателей и исследователей всякой старой дряни[42], тогда почувствуешь всю свежесть умственной атмосферы, которою так легко было дышать в то время, и всю пустошь и духоту, окружающие настоящие поколения! — Им не душно и не тошно, потому что они не жили и не дышали прежним живым и питательным воздухом!

Надобно и то сказать, что после 1815 года вся Россия ожила новою жизнию! Всем было легко и свободно, и все веселилось. Говорят газетчики, что ныне-то и настала для нас новая жизнь; но что-то жить тяжело и тошно, и не видно ни особенного ума, ни особенного веселья!

Вздумали и мы, московские студенты, завести подражание Арзамасскому обществу и учредили «Общество громкого смеха»[43]. Собирались у меня, в доме дяди. Меня выбрали в председатели; Курбатова — в секретари. Членами были: Новиков, Волков, Философов, бывший пансионер Попов[44], сын саратовского губернатора Дмитрий Панчулидзев[45], С.Е. Раич[46] и другие, которых не помню. Всякое заседание начиналось забавною речью, потом читали шутливые, часто остроумные стихи и пародии: самые забавные и самые остроумные из них принадлежали Курбатову; таковы были «Смотр профессоров»; «Распря профессоров» (пародия Гнедичева отрывка из «Илиады», «Распря вождей»[47]), кантата «Рождение графа Хвостова» и многие другие. Все эти сочинения Философов переписывал в одну тетрадь, в которой одно из первых мест, по забавному остроумию, занимала его поэма в трех песнях, под названием «Гаврилиада», написанная на профессора Гаврилова. Эта поэма получила такую славу, что в пансионе переписали ее великолепно с виньетками пансионера Бруевича[48]. Наше общество получило в университете известность: профессоры Мерзляков и Давыдов[49] брали нашу тетрадь для прочтения; мы дали, несмотря на то, что тут было и о Мерзлякове. Они посмеялись и рукопись нам возвратили!

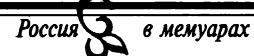
Что было бы с этим, если бы это безвредное общество и эта тетрадь стихов и прозы существовали в царствование незабвенного Николая Павловича? — Мы были бы все в солдатах! Так мы, слушая лекции, в то же время по-своему пользовались свободой и силой юношеской жизни, не отступая, впрочем, ни малейше от нравственной чистоты поведения: мы не употребляли во зло нашей свободы; мы были чисты, как младенцы. Ручаюсь не только за себя, но за Новикова, Волкова и Свербеева. Один Курбатов, младший из всех нас, позволял себе некоторые уклонения и уступал своей огненной натуре. Но за то ему от нас и доставалось! Иногда я, Новиков и Свербеев делали против него заговор; зазывали его к кому-нибудь из нас на вечер, по большей части ко мне. Курбатов прилетал на крыльях веселости, думая, что тут-то будет и смех, и веселье, и остроты, и шутки. А наша цель была та, чтобы напасть на него общими силами, устыдить и хорошенько разбранить его, а иногда представляли его тут же и в карикатуре. Курбатов, попавший неожиданно в засаду, то пробовал хохотать над нами и над нашей философией, то сердился не на шутку, то отделывался софизмами, то оправдывался и был как на огне! — Ничто не помогало; мы его не выпускали из рук и добивались-таки, что он обещал исправиться и исправлялся. Но Курбатов и

среди шалостей все-таки оставался благородным и добрым малым; и по совести сказать, несмотря на то, что вел себя иногда нехорошо, но, по доброте сердца и по прямому открытому характеру, он всегда был едва ли не лучший из нас! — Отклонения были временные, а основание было прочное: натура одарила его всеми качествами и ума, и сердца, но вместе дала ему огненный темперамент! Другого сорта был человек — родня мой, Философов: этого мы и не пробовали исправлять!

Это наводит меня вот на какую мысль: нет лучших воспитателей для юношества, как те же юноши. Если кому выпадет на долю счастие попасть в круг добрых и нравственных товарищей, они непременно переделают пылкую или шаткую натуру, если в ней есть хоть сколько-нибудь благородного и наклонного к добру, если это не совсем дерево и камень. Во-первых, между молодыми товарищами нет ничего тайного и скрытного! Где официальному наставнику усмотреть так, как они усмотрят друг за другом! А во-вторых, и советы, и журьба товарищей, не имея в себе характера обязательного, принимаются охотнее. В этом смысле та свобода, которая предоставлялась студентам в наше время, производила самое благодетельное действие. Но надобно и то сказать, что время на время не приходит. Ныне свобода имеет совсем другое направление и присвоила себе другие и более широкие размеры. Она простирается не на одну частную домашнюю волю, а на свободу политическую. Мы не имели этих притязаний и потому умели пользоваться своею свободою в законных ее пределах. Ныне, конечно, мудренее справиться! А кто виноват в этом? Виновато подозрительное и стеснительное время Николая Павловича. При нем давали политическую важность всякой детской шалости; этим приучили молодых людей думать, что их шалости могут и в самом деле иметь важную цель, и приучили их думать о себе, что они и сами люди важные! Одним словом: внушили тот дух, которого боялись, когда его еще и не было!

В 1816 году мне минул срок трехгодичного курса, который требовался тогда для аттестата; но мне хотелось еще поучиться, кроме того, жаль было бросить и товарищей, которым приходилось слушать лекции еще два года; и потому я решился остаться в университете еще на год. Наконец в 1817 году, 12 июня, я получил аттестат и вышел из университета. Товарищи завидовали мне, что я наконец на воле; а я хотя рад был чрезвычайно, но жаль было университетской жизни.

С аттестатом я поехал в то же лето в деревню. Теток, дядю Сергея Ивановича и сестру Лизу нашел я в Симбирске, куда приехали они под видом болезни Натальи Ивановны; впрочем, и сама городская жизнь была уже лечением, потому что избавились от тошной деревенской жизни и пользовались, наравне со всеми, человеческой свободой, которой там не было. Кстати



скажу, что это село Богородское, в котором мы жили так скушно и под таким гнетом и которое ныне принадлежит мне, было названо Державиным в одних стихах раем небесным. — Это находится в его стихах «Лето», где он, думая, что дядя Иван Иванович живет у отца, обращается к нему так:

В доме жив летом, в раю ты небесном,
В славном поместе Сызранском с отцом,
Мышлю, ленишься петь в хоре прелестном,
Цвесть Муз под венцом[50].

Очень забавно, что тетки всегда с досадой вспоминали эти стихи и говорили: «Бог с ним, с Гаврилом Романовичем! Пожил бы он в этом раю небесном; узнал бы, каково в нем жить!» — Тетки чрезвычайно были рады и мне, и моему аттестату; но я у них не мог остаться более двух суток: боялись, чтобы не рассердился дедушка. Он тоже был мне очень рад; но, прочитавши мой аттестат, сказал с недоверчивостию: «Неужели ты все это знаешь?» — В самом деле, нельзя было сказать по совести, чтобы все эти науки я усвоил себе во всей широте и глубине: тогда я был бы человек ученый. Но нельзя не сказать и того, что о большей части предметов, прописанных в аттестате, я имел довольно ясное и достаточное понятие, чтобы почесться человеком просвещенным. Я не знаю, как это делалось: мы выходили из университета, может быть, не с такими подробными сведениями, каких требуется ныне от хороших студентов, но объем понятий был едва ли не шире. Причиною этого было, что учение наше было не специальное, а, так сказать, энциклопедическое. Из нас не хотели выделывать ученых, что и невозможно: не всякой способен усвоить науку в совершенстве, но хотели сделать нас людьми образованными, чего и достигали. Кроме того, университетские лекции были для нас, так сказать, задатком дальнейшего образования: план составлен и открыт; средства даны; кто хотел и чувствовал в себе способность, мог и после университета идти далее. И потому — посмотрите на нас, тогдашних студентов: кто был впоследствии дельным человеком по службе, кто литератором, но тоже дельным, не поверхностным дилетантом, а с твердым классическим направлением. Я сам, при моем плохом знании латинского языка, перевел в старости «Ars poetica» и все сатиры Горация, и перевел, говорят знатоки, верно[51]. Этим я обязан университету. Стало быть, нас учили основательно, и мы учились недурно. Как не вспомнить стиха Грибоедова: «Вы, нынешние! Нут-ка!»[52]

Однако дедушка, продержав меня недели две, не более, отпустил в Симбирск к теткам. У них теперь был уже я молодым человеком, находившимся не под властию старших: я мог идти, куда хочу, но уважение к тетке Надежде Ивановне и привычка ей повиноваться были так сильны, что я не делал ни шагу из дома без ее позволения.

У них видал я почти всякой день Наташу. Она была уже четырнадцати лет и похорошела. Я думал, что она меня забыла; но нашел в ней ту же дружбу, ту же любовь. Иногда она подкрадывалась сзади ко мне, закрывала мне руками глаза и целовала. Тетка или Александра Степановна говорили ей: «Это нехорошо, Наташа! Ты теперь уже не маленькая!» — Но она говорила: «Отчего же нехорошо? Ведь он мне брат!» — Все смеялись; а я с каждым днем любил ее более.

Я сказал уже, что в Симбирске жил мой двоюродный дядя, моряк, Степан Федорович Филатов. Жена его, Катерина Ивановна, урожденная Пиль, была двоюродная сестра моей матери[53]. Оба они были люди умные и добрые; но Степан Федорович был добродушный весельчак, а Катерина Ивановна была олицетворенная печаль, хотя и ездила в пунцовой карете. У них была дочь, Варвара Степановна[54], моя внучатная сестра. Она была лет пять меня старше, если не больше. Но мы с ней скоро подружились и с тех пор, до ее кончины, последовавшей в 1829 году, жили душа в душу. Мне придется впоследствии нередко упоминать об ней. Она была смуглого цвета лица, с черными прекрасными волосами, очень мила, добра и благоразумна. Несмотря на взаимную нашу дружбу, неравенство лет покоряло меня ее советам и наставлениям; иногда случалось вытерпливать от нее и журьбу, которая от нее никогда не была мне досадна и оскорбительна; зато никто не оказывал мне и такой снисходительности. Я иногда читал ей вслух книги, а она играла мне на фортопиано и пела. У ней тоже я видал Наташу, и она, как общий друг наш, любовалась на взаимную нашу склонность, как на картину молодого счастия!

У ней были еще две двоюродные сестры Анна Михайловна и Марья Михайловна Филатова, ровесницы и подруги Наташи. Я видался и с ними, бывал и у них в доме, и в первый раз попал таким образом в общество молодых девиц, которое так развертывает способности молодого человека, так благотворно действует на его нравственное усовершенствование, умягчая его сердце, отклоняя его от дурного общества и, так сказать, воспитывая его общественность в пределах благоразумного приличия. Никогда не забуду этого приятного времени! Между тем я сделался, так сказать, их придворным стихотворцем. Тогда были в моде альбомы; я должен был написать каждой из них хоть по куплету. А другие молодые девушки, их приятельницы, которые не были еще знакомы со мною, просили меня, через них, писать и в их альбомы. Я как сыр в масле катался между этих граций, partout fêté et partout bienvenu*, в самом лучшем смысле этих выражений. А Наташа заметно гордилась моими успехами!

*везде радушно принят и везде желанный гость (*фр.*).

Осенью я уехал в Москву. В это время там был уже Государь со всей царской фамилией[55]. Так как он располагался пробыть там долго, то с ним прибыл туда весь дипломатической корпус[56]. Само собою разумеется, что приехали и два статс-секретаря, граф Нессельрод[57], управляющий Коллегиею иностранных дел, и граф Каподистриа[58]. — В канцелярию первого потребовались три чиновника из нашего архива; и были откомандированы Дмитрий Павлович Голохвастов[59], Михайла Аполлонович Волков и Зорин[60]. Но последний оказался не совсем способным, его отослали назад, а на его место 9 октября 1817 года прикомандировали меня, только что возвратившегося из Симбирска. Я поехал представляться главным моим начальникам. Мне сказали, что они поехали к Государю с докладом, но скоро возвратятся. Действительно, они всегда ездили с докладом вместе и даже в одной карете. Граф Нессельрод был тогда главным лицом в нашей дипломатике, но к графу Каподистриа, как к человеку гениального ума, Государь имел особенную доверенность. Они вскоре прибыли, и вместе с учтивою фразою графа Нессельрода я имел удовольствие услышать несколько умных и приветливых вопросов, обращенных ко мне графом Каподистриа, которого все уважали за его глубокой и точный ум и за высокую простоту его характера, отзывавшуюся и в его обращении.

Начальником нашей маленькой канцелярии был действительный статской советник Петр Петрович Щулепников[61], который один ездил с докладами к графу Нессельроду. Старший после него и неутомимый работник был статской советник Федор Лаврентьевич Холчинский, переводчик книги генерала Жомини[62] «О великих военных действиях»[63]. Наша работа была трех родов: экстракты из депеш на французском языке; составление докладных записок, подаваемых Государю, на русском языке и, наконец, переписка набело и внутренние сношения.

Государь и вместе с ним оба статс-секретаря уезжали на время в Варшаву. Нас распустили; но с возвращением их[64] потребовали опять. Здесь я имел случай увидеть маленькую служебную интригу, которая была для меня первым опытом. Она относилась не ко мне, но сколько, в последствии времени, в продолжение дальнейшей моей службы случалось мне видать интриг, важнейших этой. Мы получили приказание явиться к непосредственному нашему начальнику Малиновскому. Так как мы с Волковым видались ежедневно, то мы и поехали вместе. Малиновской сказал мне просто, чтобы я явился в канцелярию графа Нессельрода; а к Волкову обратился с такою речью: «А вы, Михайла Аполлонович! Так как граф знает ваши достоинства, и проч., то он назначает вас к церемониймейстеру Ивану Александровичу Нарышкину[65] для ввода послов». — Волков после такого пышного вступления речи как с неба упал! — «Помилуйте, ваше превосходительство, — сказал он

Малиновскому, — я вижу в этом назначении только то, что я в канцелярии не нужен, а вводить послов решительно отказываюсь: я башмаков не люблю надевать! Это гораздо приличнее Голохвастову; он человек светской!» — Как бы то ни было, Волков под лад не давался и упросил Малиновского, чтобы он в своей записке написал глухо, что посылает двух требуемых чиновников, не называя их по имени. Малиновской согласился, написал записку; а Волков скорее положил ее в карман. В это время входит Голохвастов. Малиновской обратился к нему с тою же речью о его достоинствах; и тот обиделся. Но делать было нечего; Малиновской откланялся и отпустил нас. Голохвастов, видно, догадался, он сказал с досадой: «Видно, граф любит вороных!» — Мы с Волковым оба были черноволосые. — «Да! — подхватил Волков, — он рыжих терпеть не может!» — Голохвастов был рыжий.

Таким образом, мы с Волковым поступили опять в канцелярию, где был еще с нами молодой Сакен[66], с Станиславом на шее. Этот польской орден тогда еще не давался в России; мне он очень нравился, как иностранный[67]. — Думал ли я, что после буду иметь его и со звездою первой степени, но что некуда будет надевать его.

В начале 1818 года был торжественный въезд в Москву прусского короля Фридриха Вильгельма[68]. Все высшие чины разъехались на это торжество; а нас с Волковым оставили работать в канцелярии, которая была на Никольской. Но нас взяло такое нетерпение, что мы бросили все и ушли на Красную площадь. Александр и Вильгельм ехали верхами рядом; на Императоре был синий прусской мундир и ранжевая лента Черного Орла[69]; а на короле — русской темно-зеленой мундир и голубая андреевская лента[70]. — Тогда же был торжественно открыт памятник Пожарского и Минина[71]. В этот приезд Государя приходила в Москву гвардия, и я познакомился в первый раз с Федором Николаевичем Глинкою[72]. Он был в адъютантском мундире и обвешан крестами, и русскими, и иностранными. У него был и Pour le mérite, и Legion d'Honneur[73], и, кажется, шведской. Он езжал к моему дяде, заходил и ко мне в комнату и побеседовать о литературе, и почитать моих стихов. Я должен сказать, что это было, по-тогдашнему, большое отличие; мы не считали себя с первых успехов наравне с известными литераторами. А Глинка издал уже тогда восемь томов «Писем русского офицера» и три тома «Писем к другу»[74]. — В это время приезжал и Батюшков; были в Москве Жуковской и Воейков, с которыми я тоже в это время познакомился короче. Публичные чтения Общества любителей российской словесности при участии этих приезжих членов были богаты выбором пиес и давали великолепные заседания. Тут были читаны в первый раз гекзаметры Жуковского «Овсяный кисель» и «Красный карбункул»; тут читано было стихотворение Батюшкова «Поэт»[75]. Жуковской был в это время при дворе, в должности учителя рус-

ского языка великой княгини Александры Федоровны[76]. Для нее, и по большей части по ее выбору, переводил он разные стихотворные пиесы с немецкого, больше из Гете и Уланда[77], и с алеманского наречия оригинальные и наивные стихотворения Гебеля. Он печатал все эти переводы под названием «Для немногих». — Их вышло шесть книжек, которые известны действительно немногим и составляют величайшую редкость в нашей библиографии[78]. — В последней книжке был напечатан Пролог из Шиллеровой «Орлеанской девы»[79]. — Это было вообще блестящее время нашей литературы.

Командировка наша кончилась 17 июля 1818 года. Граф Нессельрод хотел всех троих наградить нас и просил Государя, накануне уже отъезда его из Москвы, пожаловать нам звание камер-юнкеров, но Государь отвечал, что за службу он не дает этого звания. Действительно, только при Николае Павловиче начали давать его в награду, так же как и камергерство. Итак, мы, хоть сколько-нибудь, но занимавшиеся делом, не получили ничего. Малиновской, уверенный, что мы-то и будем награждены, не представлял нас ни к какой награде; а архивские сидни получили кресты, в том числе и Зорин, которого отослали назад по неспособности, был им представлен в утешение этой неудачи и получил в петлицу орден Св. Анны.

Мая 2 числа 1818 года скончался мой дед. Странно, что еще в марте месяце, будучи здоров, он писал ко мне: «Извещаю, что я жив, и замечаю, весьма близок мой конец». Правда, еще в предыдущем году, когда я жил у него, замечалось, что он, всегда бодрый, вдруг иногда засыпал, сидя на креслах; а это у стариков всегда признак близкой смерти. Ему было 82 года. Жаль мне его было чрезвычайно, потому что, несмотря на свой строгой нрав, он прилагал об нас всевозможные попечения; ему были мы обязаны и возможностию получить порядочное воспитание, и содержанием, на которое он, когда мы подросли, не жалел денег. Кроме того, его умное и серьозное лицо было необходимою принадлежностию в картине нашего семейства, которое им держалось и в материальном, и в моральном отношении: он был именно главою семейства, содержавшею в равновесии все члены, и главою дома, содержавшею порядок и довольство. Странно было подумать, что надобно будет разделить между нами его имение, и мудрено было понять с непривычки, как будет жить каждому своим: как-то страшно было и вообразить, что мы коснемся самопроизвольно к тому, на что только он имел право, к чему только он мог прикасаться; как повелевать, приказывать, распоряжаться тем и теми, которых только он был хозяин, повелитель и распорядитель! — Я не рад был и наследству, чувствуя, что с ним нераздельны попечения и хлопоты по хозяйству, в котором я ничего не смыслил: это было уже не то, что получать наверное известную сумму денег и по количеству их располагать своими расходами.

После неудачи нашего камер-юнкерства Нессельрод и Каподистриа желали как-нибудь вознаградить нас. Последний предложил Волкову приехать служить у него, по возвращении его из чужих краёв в Петербург; а Нессельрод предложил мне ехать с ним вместе. Я был очень рад; дядя тоже; и так как на этот раз при графе Нессельроде никого не было, то я начал уже принимать и некоторые бумаги. Но дяде вдруг пришло в голову, что мне для раздела имения надобно будет немедленно ехать в деревню. Сколько я ни представлял ему, что раздел не может состояться скоро, потому что есть наследники малолетные (дети дяди Федора Ивановича), что я могу дать доверенность другому дяде, Сергею Ивановичу: ничто не помогло! Он, не имея никакого понятия о том, как дела делаются на практике и как замедляют их наши формы, думал, что и это можно обернуть около пальца! — Да я был уверен, что он и сам не скоро соберется: что и вышло так! — Я поехал, а его насилу дождались! Но он уперся в том, чтобы я просился у графа Нессельрода в отпуск. Я не знал, как и приступить к этому. Что он мог обо мне подумать? — А сам дядя не хотел за меня просить! — Делать было нечего! — Я плакал; но поехал проситься. Таким образом я не попал на дальнейшее продолжение открывавшейся мне карьеры; не попал и в чужие краи. А Волков поехал в Петербург и потом был при миссии[80]. Из дальнейшего моего рассказа будет видно, что мои мысли обратились уже к другому, к женитьбе: нечего было и думать о дипломатической службе и о поездке в чужие краи.

Сравнивая теперь характеры дедушки и дяди Ивана Ивановича, я должен сказать, что хотя первый был и крут, но основательнее и дельнее; а последний, не будучи собственно мечтателем и будучи холоден сердцем, вечно был под властию настоящей минуты и настоящего впечатления. Всякое дело, довольно того, что оно дело, было ему тяжело, пугая будущей скукой. Скука и боязнь быть ridicule* были для него два пугала, которых он страшился пуще всего на свете. Он не опасался говорить правду и Государю; но мнение света было для него законом! Капризы его происходили не от дурного нрава, но от легкомыслия и боязни сколько-нибудь стеснить себя для другого! — Отец же его, а мой дед, был человек положительный и не боявшийся ни труда, ни скуки для достижения полезной цели. Он жил не для одного себя, а и для других.

Итак, вскоре после его кончины я поехал к теткам, которые, после него, переехали из Богородского в село Покровское, в сорока верстах от Симбирска. Никогда не забуду приятных дней, там мною проведенных! — Домик был невелик; комната моя маленькая и на солнце, но свобода, досуг, вечерний чай на крыльце, в прохладе, и занятия, и прогулки — все по сердцу!

*смешным (*фр.*).

Я сказал уже, что меня приняли в сотрудники Общества любителей российской словесности. Там 27 генваря 1817 года были публично читаны первые мои стихи, отрывок из поэмы Делиля «Сельский житель». С того времени, занявшись службой в канцелярии графа Нессельрода, мне некогда было думать о стихах. Здесь я принялся опять переводить из Делиля и некоторые басни Флориана[81]. Пусть рассмеются ныне над этим пустым занятием; но дело в том, что на искусство Делиля живописать природу я смотрел именно как на искусство; а сравнивая его с картинами Маттисона, я учился постигать разные поэтические приемы в исполнении одной и той же цели. Более всех из поэтов я читал в это время Шиллера. Когда, после обеда, слишком отягощал жар солнца, я уходил лежать в парусинной походной палатке, принадлежавшей моему отцу и расставленной перед окнами.

Вечером, когда свалит жар, мне седлали белого коня, и я облетал окрестности. Любя всегда волю, я по этой причине любил и верховую езду: как только я садился на лошадь, мне казалось, что у меня как будто вырастали крылья! — Не имея нужды трудить ноги, я быстро, по одному желанию, по мелькнувшей мысли и по одному движению руки, переносился, куда хотел, через большие пространства, которых бы не переходил своими ногами. В верховой езде я находил всегда что-то поэтическое: чувствуешь себя и выше, и сильнее, и свободнее других: что-то как будто героическое!

Чаще всего езжал я на холм, отстоявший в нескольких верстах от Покровского. С него виден был весь Симбирск, как на блюдечке. Вообще надобно сказать об этом городе, что как он некрасив, однообразен и скучен внутри, так великолепно смотрит издали. Я не мог налюбоваться этой картиной, этой живой панорамой домов, церквей и зелени. К этому удовольствию глаз присоединялось и чувство: там жила Наташа; глядя на эту картину города, я думал об ней. Особенно же я не забывал туда ездить в те дни, когда посылали в Симбирск на почту и за получением писем, а дорога шла мимо холма: я с нетерпением ждал, не встречу ли посланного и не будет ли записочки от Наташи, или о присылке книг, или так, un petit mot d'amitié*, потому что ей позволялось писать ко мне. — О молодость! о живые сердца! о сила жизни! Почти со слезами вспоминаю я это время: дай мне теперь то же самое; оно не только не произвело бы никакого трепетания сердца, но было бы в тягость!

Все это, всю жизнь в Покровском описал я в послании «К московским друзьям из Симбирска», которое напечатано было сперва в «Вестнике Европы», а потом в первой части моих «Стихотворений»[82]. Оно начинается так:

*несколько дружеских слов (*фр.*).

Желать ли мне, друзья, в столицу возвращенья?
Все, все меня манит в заманчивый ваш свет:
И дружество, и просвещенье!

Там описаны и Шиллер, и Маттисон, и тесная комната, и шатер, и верховая езда. Это послание — одна из лучших страниц моей жизни. Оно написано к Новикову и Курбатову, с которыми я был в самой дружеской переписке. Я сообщал им свои стихи и чувства; они мне — чувства и новости того круга, в котором сосредоточивался наш общий интерес, то есть приятельского и литературного. Эти письма и теперь у меня целы[83]. Тогда я ценил больше переписку с Новиковым, но корреспонденция с Курбатовым была веселее и живее. Письма первого отличались какою-то книжной чувствительностию: их, по-нынешнему, можно бы назвать классическими; а письма Курбатова были небрежны, натуральны и по большей части забавного и веселого содержания. Еще был у нас приятель, с которым мы познакомились в архиве: это был, по тогдашнему названию, свитской офицер, Александр Осипович Корнилович[84] (которого мы звали шутя Корней Львович). Он отыскивал в архиве сведения о старине для Бутурлина, который писал тогда «Историю 1812 года»[85]. Плодом его занятий была между прочим книжка, изданная им в 1825 году, под названием «Русская старина»[86]. Он был человек необычайно добродушный, веселый и хороший товарищ. С ним я тоже был в переписке: этот уведомлял больше о театре. Несчастный, попал в историю 14 декабря (1825 года) и был сослан на пятнадцать лет на каторгу[87]. Не верю я, чтобы он мог быть преступник! Ежели он еще жив, в чем я сомневаюсь, думает ли он, что через сорок шесть лет память об нем не угасла, что об нем вспомнил приятель и товарищ его веселой молодости, шестидесятисемилетний старик, сохранивший доселе всю свежесть воспоминаний!

В Покровское приезжала к моим теткам погостить их двоюродная сестра Марфа Михайловна Философова (сестра Карамзина), с дочерью Надинькой, которая теперь уже давно старуха, замужем за Ознобишиным[88]. Эта Надинька была мне внучатная сестра и родная сестра тому неукротимому шалуну Философову, которого я описал прежде. Мы были с ней очень дружны и пользовались до усталости прогулками пешком по окрестностям Покровского. Местоположение было плоское; но оно было окружено небольшими рощами, как будто насаженными искусством. Они стояли отдельно одна от другой и довольно далеко от деревни, но все до одной были на виду и представляли издали как будто подобие обширного английского сада. Ныне, говорят, они все вырублены на дрова. Мы с Надинькой, оба неутомимые в ходьбе, почти всякой день отправлялись в эти рощи; рвали цветы, отдыхали, валя-

ясь по траве, и болтали! О чем мы говорили, теперь не могу и придумать, но помню, что разговор был всегда живой и не прекращался. Это была настоящая идиллия, самая невинная и полная жизни, а для нас полная интереса. — Вспоминая это, нельзя не благодарить Природу, что она так легко посылает наслаждения в молодости: все перед тобою; только наслаждайся! — А кажется, чем? — Все то ж, что и теперь, можешь видеть; да сам-то был не тот! — Это много разрешает для теории прекрасного в искусстве! — Прекрасно не то, что само по себе хорошо; а то, что возбуждает в душе благородную деятельность и чувство изящного. С Надинькой Философовой мы были и в дружеской переписке, когда она уезжала в Карсунской уезд, в их сельцо Малое Шуватово.

Тем же летом мы переехали на житье в Симбирск. Здесь постигла меня жестокая и мучительная болезнь. Когда я начал оправляться и мог говорить, хотя еще не оставлял постели, меня навещала иногда Наташа. Она являлась ко мне, как ангел исцеления: я забывал болезнь и был счастлив. Это описано мною в том же послании:

С какою сладостной надеждою я ждал
Минуты, чтоб она пришла к моей постели!
О Гений мой! издалека
Я узнавал твои шаги и улыбался!
Твой голос в сердце мне, как бальзам, проливался;
К губам моим твоя касалася рука,
И тихой радостью светился взор больнова:
Избыток счастия среди мученья злова!
Небесная душа! Любви ко мне полна,
С какою кротостью она
Садилась близь меня, страданье в сердце кроя,
Но в ангельском лице вся тишина покоя!
Любовь, любовь меня спасла,
Мольбой невинности закрылась мне могила;
Любовь мне в сердце жизнь влила
И самой дружбе возвратила!

Но в самом деле, без метафор, меня вылечил штаб-лекарь Рудольф[89] и его лекарства. Однажды приносят мне из аптеки записку на немецком языке. Я взглянул и верить не хотел: почерк руки и подпись — моего учителя Гердера! — Я чрезвычайно обрадовался и послал за ним дрожки. Мы оба чуть не плакали от радости видеть друг друга. — Вот какая была причина неожиданного его приезда. Предупреждаю, что здесь я и оглянусь назад, и забегу вперед, и что тут будет целая история.

Гердер, беднейший человек, почти нищий, и не знающий ровно ничего, кроме немецкого языка, бывший актером, потом сделавшийся учителем, сумел дать своей дочери Наталье Федоровне, или Наташе Гердер[90], прекрасное воспитание. По счастию, он имел много уроков: все заработанные деньги он употреблял на ее воспитание. Ел картофель, ходил всегда пешком; но выучил ее отлично: языкам — немецкому, французскому и русскому, так что ей были вполне известны и русские знаменитейшие поэты; она знала много наизусть из Державина, Дмитриева и Жуковского. В музыке давал ей уроки самый лучший и самый дорогой учитель, знаменитый Фильд[91]. Гердер или платил ему деньги, или, не помню наверное, учил у него кого-то по-немецки, за уроки дочери; потому что он делал и то, и другое.

Окончив воспитание дочери, Гердер отправился с нею путешествовать по России, с тем чтобы она давала концерты на фортопиано и декламировала на трех языках произведения лучших поэтов. С этой целию приехал он и в Симбирск. Он познакомил свою дочь с моими тетками. Однажды просит он, чтобы они позволили ей пожить у них, потому что у ней флюс, а в аптеке дует сквозной ветер; они позволили, и мамзель Гердер переехала к нам с подвязанною щекою. Я уже тогда был здоров. Гердер, привезя дочь, отозвал меня в сторону и открывает мне со всею немецкою важностию, что он привез свою Наталью не столько к тетушкам, сколько ко мне! — Меня это удивило; но он объяснил, что дочь его совсем не больна, и в аптеке совсем нет сквозного ветру, но есть молодые люди, аптекарские гезеля, которые строют ей куры; и потому, зная мою невинность, он отдает ее под мой присмотр! — Я натурально расхохотался; но мне и двоюродной сестре моей Лизе было очень приятно с этой гостьей, да и ей было приятнее у нас, чем в аптеке.

Потом делает мне Гердер другую конфиденцию: что в бытность их в Туле или в Калуге стоящий там с полком полковник барон фон Гейсмар[92] влюбился в его дочь, объявил, что он имеет на нее самые законные виды, и просил позволения вступить с ней в переписку; что Гердер и позволил, с условием, что он прежде сам будет читать эти письма.

По окончании музыкального путешествия барон фон Гейсмар действительно женился на мамзель Гердер. Это тот самый знаменитый генерал, который после так прославился в турецкую войну. После он был корпусным генералом и стоял в Курске, там, где был военным губернатором Павел Николаевич Демидов[93], с которым она завела, говорят, самое короткое знакомство. Гердер сначала переехал было к ним; но они, и муж и жена, оказывали ему такое явное пренебрежение, что он принужден был их оставить. В Москве он женился на своей кухарке; прижил с нею и вырастил другую дочь, которую уже не мог учить ничему, но которая почитала его и ухаживала за ним, когда, вследствие ревматизма, он лишился употребления ног. Он за-

вел на Моховой табашную лавочку и сидел в ней, продавал тертый русской табак, по грошу табакерку; а иногда возвышаясь и до продажи одеколоня. Так он и умер, оплаканный этой дочерью; а баронесса фон Гейсмар не хотела и знать его! Какой-нибудь Август Лафонтен[94] мог бы составить из этой истории чувствительный роман или повесть.

Настала зима (1818—1819); начались в Симбирске вечера и балы. Наташа не выезжала еще на балы; но во многих домах была уже знакома. Особенно часто бывала она у Филатовых, Карповых и Родионовых[95]. Я хотя был знаком с ними, но не так коротко, чтобы бывать запросто. С этими знакомствами она стала реже бывать по вечерам у моих теток, а приезжала утром, и то не часто. Это расстроивало нас обоих, мы искали случая видеться: это было заметно. Впрочем, в небольшом городе ничто не может укрыться: все стали замечать любовь нашу. Александру Степановну это встревожило: правду сказать, мне было 22 года, а Наташе 15 лет; в такие молодые лета любовь можно почитать непрочною, и матери нельзя не тревожиться. Но дело в том, что она повернула свои стратагемы[96] против нас очень круто и, благоприятствуя прежде сама нашему сближению, вдруг начала разлучать нас. Тетки мои заметили в ней неудовольствие и сами сделались с ней холоднее и стали реже ездить. Беда со всех сторон! Не только нельзя было нам по-прежнему дружески поговорить или весело посмеяться между собою; но, видя везде глаза аргусов[97], мы сделались неловки в наших отношениях, связаны в разговорах, чем еще больше обнаруживали тревогу сердца и тайну души нашей, если только она для кого-нибудь была тайною. Наконец нас так стесняли, что мы не находили случая сказать от души друг другу ни одного слова. Это сделало, что мы решились на тайную переписку. Тогда был обычай, здороваясь и прощаясь, целовать руку. Я, целуя руку у Наташи, иногда передавал ей записку. И каких только не употребляли мы хитростей. Случалось, я намекну Наташе попросить у меня сургучу, что и прежде случалось: я умел мастерски подделывать сургуч, с записочкой внутри. Все эти записочки были самые невинные и пустые: они содержали жалобы и уверения в любви; но они были нам необходимы как единственное излияние сердца. Александра Степановна довела свою строгость до горьких упреков, заставляя ее даже молиться на коленях за ее, как она говорила, грехи! — А какие грехи? Она просто любила и страдала; и сама же мать смотрела прежде с удовольствием на нашу дружбу. У ней жила для компании русская немка, Анна Ивановна Лилье: Александра Степановна начала и ее преследовать, подозревая, что она служит нам для корреспонденции; чего, однако, не было.

В числе моих средств передать иногда Наташе что-нибудь нужное, или совет, или замечание, или предостережение, я иногда клал записку в шляпу, из которой она и брала ее. Однажды случилось это, как теперь помню,

вечером 28 генваря 1819 года. Наташа, по моему знаку, вышла, чтобы взять ее, и воротилась, вся покрасневши и в заметной на меня досаде. Я не мог понять этого. Но на другое утро, 29 генваря, мне подают от нее пакет, принесенный стариком дядькой ее братьев. Это меня чрезвычайно удивило. Она писала ко мне длинное письмо, в котором раскаивалась в обращении со мною, отрекалась от своей любви, говорила, что она во всем призналась матери, и просила забыть ее. Я по самому началу письма, по надписи «милостивый государь», по тону и по слогу, догадался тотчас, что оно писано под диктант матери. И потому, не отвечая ей, я написал о получении этого письма к самой Александре Степановне и просил позволения немедленно приехать. Она позволила; я был у ней; мы оба плакали: о чем она плакала, я не знаю; но она просила меня забыть Наташу навсегда, а я уверял ее, что не забуду никогда, что люблю ее больше всего на свете. «Я знаю, — говорил я, — что она молода и об замужестве ее думать рано, но что годы ни меня, ни ее не переменят», — я и за нее ручался перед ее матерью. Я обещал ей одно: удаляться от Наташи, не быть с ней так коротким и разговорчивым, как прежде. На том и осталось. Она, правда, езжала к моим теткам; но я почти не говорил с нею. Вся эта тревога произошла вот как. Старик дядька, желая подслужиться барыне, давно подмечал за нами. Он видел, как я положил в шляпу записку, и взял ее, положив на ее место игорную карту. Наташа, найдя эту карту вместо записки, думала, что я пошутил ее легковерием. Она обиделась и огорчилась; оттого она и воротилась, раскрасневшись и в досаде. А записку мою старик передал Александре Степановне. По несчастию, эта записка была писана на французском языке, а она по-французски не знала. Если бы она могла прочитать ее, она разом увидела бы ее невинность; но нашему переводу она натурально не доверяла, а показать было и некому, и казалось опасным, чтобы не выставить дочери. Она воображала в этой записке Бог знает какую важность! — Конечно, писать тайно к молодой девушке нехорошо; но что же нам было делать при таком стеснении после такой свободы? — После этого я видался с Наташей у моих теток и у них, но редко, и помня слово, данное ее матери, обращался с нею церемонно и почти не смел говорить с нею.

Вдруг, по прошествии некоторого времени, я получаю записку от Александры Степановны. Она писала, что мое принужденное обращение с Наташей и моя с ней молчаливость могут подать подозрение теткам, что между нами что-нибудь произошло; что она позволяет мне по-прежнему с ней обращаться и разговаривать, только не забывать моего обещания и не быть с ней в прежних отношениях. Это было всего тяжелее! Трудно было принуждать себя быть с нею, как с чужою, но еще было труднее взять на себя фальшивую маску! Мы замучились!

После Наташа сказывала мне, что она видела, как я приехал утром 29 генваря к ее матери, что она слышала, стоя у дверей, все наши разговоры; слышала, как я говорил, что никогда ее не забуду; что она рыдала и занемогла после этого. В это-то время я наиболее испытал благотворную дружбу Варвары Степановны[98]. Никто не знал, что между нами случилось; некому было мне поверить свое горе. Некоторые в нашей семье, замечая между нами принужденность или как бы остуду, даже радовались, предполагая размолвку: Бог с ними! не хочу называть их. Одна из них давно заплатила мне за тогдашние свои чувства, переменив их на самое теплое участие; а другая, совсем без сердца, никогда не была и сама счастлива: всю жизнь была обманываема и была довольна своей судьбою только потому, что не в состоянии была ни чувствовать, ни понимать лучшего. Одной Варваре Степановне мог я открыть мое горе и рассказать все подробности: у ней мог я слезами отвести душу, единственная отрада, для которой не было мне другого места, как у ней в комнате. Она принимала во мне сестринское участие; она меня утешала. По этой причине я бывал у нее часто, раза два в неделю, и сидел всегда долго.

Но и тут беда! Старик отец ее, добрейшая душа, каких мало, видя мои частые посещения его дочери, к которой я проходил прямо в мезонин, в ее комнату, как только услышит мои шаги по лестнице, ту же минуту явится с нами беседовать и не уйдет, пока я не уеду; так что мне решительно невозможно было поговорить и посоветоваться с Варварой Степановной.

Наконец она однажды говорит мне: «Знаешь ли, что я замечаю, Мишенька?» — Она, будучи гораздо меня старее, говорила мне «ты» и звала меня, по привычке, Мишенькой. «Ведь старик-то мой думает, что мы влюблены друг в друга! — Я вижу, что он и сам замучился этой мыслию. Оттого-то он и стережет нас! — Надобно ему поговорить!» — Он был, повторяю, чрезвычайно добродушен, и дочь обращалась с ним просто и откровенно. — Вот однажды она говорит ему: «Папинька! Что это вы об нас с Мишенькой думаете?» — «Я ничего, дитя, не думаю!» (Он ее и сорокалетнюю называл: дитя). — «Стыдно, стыдно вам, папинька, это об нас думать! Сказать ли вам всю правду? Только никому не говорите! — Вот что и вот что!» — и рассказала ему всю нашу любовь и всю нашу историю. — «Ты бы давно мне сказала!» — отвечал он; и с этой поры полно ходить наверх и мешать нашим конфиденциальным разговорам.

Иногда случалось мне видеться у ней с Наташей. Это была для нас ни с чем не сравненная радость: мы бросались друг другу на шею; записывали этот день и долго помнили его как светлый праздник. Однажды еще, не могу забыть этого, мы не видались с ней очень долго, но не помню, по какой причине прекратились все средства видеться. Это было летом 1819 года. Я проезжал на дрожках мимо угловой часовни женского монастыря[99] и, увидя

карету теток, вздумал взойти в часовню. Это приехала туда двоюродная сестра моя Лиза, которую я стану называть уже Елизаветой Николаевной; через минуту пришла пешком тетка Наталья Ивановна; через минуту порхнула в часовню Наташа с Анной Ивановной Лилье. Не прошло несколько минут, как Елизавета Николаевна уехала; Наталья Ивановна вышла в ограду монастыря, и мы остались одни. Мы помолились, поцеловались и подтвердили друг другу нашу чистую любовь перед образом Божией Матери. Никогда не только никакой нечистой мысли не входило в мою душу при мысли о Наташе; но даже я боялся слишком пламенно воображать ее, в отсутствии, чтобы не оскорбить ее в воображении. Так чиста была любовь моя.

Кажется, в этом году присватался к Елизавете Николаевне советник казенной палаты Петр Сергеевич Пазухин[100], бледный, криворотый, с разбегающимися в сторону глазами, от которого пахло трубкой и даже водкой, хотя он тогда еще не был пьяницей: он усовершенствовался после. Елизавета Николаевна никогда не была способна к нежному чувству любви, да его и полюбить было невозможно, ни морально, ни физически; а он влюбился в ее триста душ, которые ей достались после смерти брата ее Валентина. Так как, из уважения к этому существенному достоинству, за нее сватались и другие два урода, то надобно же было сделать выбор. Дядя Сергей Иванович и тетка Наталья Ивановна, желая ей добра, а главное, ее пристроить, преклонились на сторону Пазухина и писали к Ивану Ивановичу спросить об нем Карамзина, которому он был двоюродный племянник. Карамзин, знавший его по Петербургу, уведомил оттуда, что он ничего дурного об нем не знает, кроме того, что он любит иногда сказать красное словцо, то есть солгать[101]. Ну, это еще не такой порок: выдать за него можно, но как уговорить ее? — Невеста под лад не дается! — Решились вот как, и на это она согласилась: отслужили в комнате Натальи Ивановны молебен, положа за образ две записочки, с прописью, на одной: идти замуж, на другой: нейти. После молебна велели непорочной девчонке Устюжке вынуть своими невинными руками записочку; на ней оказалось: идти. — И все в радости поздравили невесту; а она при каждом поздравлении только упиралась головой в подушку и стыдливо мычала.

Я от этой комедии уехал; а по возвращении домой нашел вот какую картину. Наталья Ивановна сидела на кровати, а на коленях у ней была толстая невеста. Дядя Сергей Иванович сидел на той же кровати и как-то маслено улыбался. Надежда Ивановна сидела в стороне на креслах. При входе моем Наталья Ивановна сказала: «Поздравь нас! идем замуж!» — Точно обе идут. — Я поздравил; невеста уперлась от стыдливости головой в подушку и промычала.

По принятому обычаю, следовало было кому-нибудь из старших делать с женихом и невестой визиты; но тетки почти ни с кем не были знакомы; а

Сергей Иванович всех знал, и все его знали, но только по праздничным визитам. Нашли вот какое средство показать невесту: прогулку по большим улицам. Она шла обыкновенно впереди, под руку с женихом, в турецкой шали, которая лежала на локтях, а сзади тащилась по земле. За ними охранителем девственности шел Сергей Иванович; а за ним лакей в ливрее и в трехугольной шляпе. Так эта процессия проходила мимо домов, чтобы все видели из окон, что это жених и невеста.

Летом 1819 года мы с дядей Сергеем Ивановичем поехали в Москву: отчасти для покупки приданого Елизавете Николаевне, а более, чтобы почтительнейше поторопить Ивана Ивановича разделом имения; потому что он, хотя и помешал мне воспользоваться предложением графа Нессельрода, торопя ехать в деревню для раздела; но сам не торопился, и раздел насилу кончили в 1820 году, то есть через два года. Я с дядей опять воротился в Симбирск.

Здесь я должен отступить несколько назад. Прошу читателя вспомнить, что я говорил в этой главе об учреждении у нас Общества громкого смеха, которого я был председателем. Ко мне писали Новиков и Курбатов, что общество наше хочет принять серьезное направление и более широкие размеры; что в него вошли другие члены, в том числе князь Федор Шаховской[102]; что они хотят заниматься политическими науками и издавать журнал в роде французской «Минервы»[103], но что они без меня не хотят приступить к этому и положили испросить моего согласия. Я отвечал, что серьозному направлению я рад, но сомневаюсь в их силах и способностях; что издавать подобие «Минервы» им не по силам, да и не дозволят; что согласия моего не нужно, и они могут выбрать другого председателя, но что пока я лично не удостоверюсь в направлении общества, я в члены его вступить не могу. — Так это и осталось без всякого ответного уведомления. — По приезде в Москву я вспомнил об этом и спросил. Мне отвечали, что они выбрали в председатели князя Федора Шаховского; что было два заседания; что во второе Шаховской пригласил двоих посетителей, Фон-Визина[104] и Муравьева[105], но произошло что-то странное. Во-первых, гости во время заседания закурили трубки; потом вышли в другую комнату и о чем-то шептались; потом, возвратясь оттуда, стали говорить, что труды такого рода слишком серьозны и проч. и начали давать советы. Шаховской покраснел; члены обиделись, что посторонние вступились учить их; заседание кончилось, и больше не было. А между тем члены подписали уже какой-то устав, предложенный Шаховским. Так рассказывали они мне, не придавая этому никакого значения.

Когда я, вместе с дядей Сергеем Ивановичем, уезжал уже из Москвы и приведены были почтовые лошади, прибежал ко мне добродушный Корнилович (который жил в доме Бутурлина[106], очень от нас близко). Он говорил, что у него князь Федор Шаховской, только что приехавший в Москву; что

он очень желает со мной познакомиться и спрашивает, можно ли ко мне прийти. Я отправил его с извинениями, что мы сей час едем. — Корнилович прибежал вторично. Мы уже садились в экипаж, и я сказал ему: «Ты видишь ответ!» — Так я и не познакомился с Шаховским, и даже никогда не случалось после с ним встретиться.

Что же это было за сильное желание познакомиться со мною? Оно было в связи с неудавшимся преобразованием нашего общества и объяснилось мне спустя шесть лет, после 14 декабря 1825 года. Шаховской был член тайных обществ; в нашем молодом обществе он видел готовый элемент для набора в члены их политического общества; Муравьев и Фон-Визин приглашены были удостовериться своими глазами в способностях молодых людей, но нашли их слишком незрелыми; а устав, подписанный ими, была первая часть устава, известного по донесению Следственной комиссии[107]. Вот как закидывали они свои сети.

Чтобы не возвращаться после к тому же, скажу теперь, что когда в 1826 году начались аресты, Новиков трепетал, чтобы не нашлось и его невинное имя под этим уставом. Но, по счастию, еще прежде было какое-то подозрение на Шаховского и обыск у него, в деревенском доме; но ему дали знать заранее, и он успел сжечь свои бумаги, в том числе и этот экземпляр устава.

Зимой этого года (1819—1820) были в Симбирске дворянские выборы[108], на которых был и я, и в первый раз видел все безобразие наших дворянских сходок. По случаю большого съезда дворян было множество балов, и в частных домах, у Ивашева, Кроткова[109] и других, и в доме дворянского собрания. После тех балов, которые я видал после этого в Москве, о симбирских и сказать нечего; однако они были, по мере провинциальных средств, если и не великолепны, по крайней мере, роскошны: имения тогда еще были непочатые, богачей там было много, и денег не жалели, желая один другого перещеголять блеском.

[Думаю, не лишнее будет сказать несколько слов о тогдашних симбирских балах, потому что у нас обычаи изменяются скоро. Московские балы, на которых я бывал несколько лет спустя после этого, имели уже нечто другое; а теперь, вероятно, и в Симбирске они изменились. Тогда всякой бал начинался длинным польским[110], за которым следовала так называемая русская кадриль с вальсом[111]. Французской кадрили[112] еще не было: ее танцовать не умели. Изредка только составлялась она из четырех пар, в доме генерала Ивашева, потому что только эти четыре пары и умели танцовать ее. — Все прочие танцы тогда останавливались, и на них смотрели как на редкость. Впрочем, и то надобно сказать, что тогдашняя французская кадриль (то есть настоящая — contre-dance[113]) была труднее и требовала грации и искусства: тогда еще не ходили в танцах пешком, как ныне, а выделывали па и против своего vis-à-vis балансировали. Теперь только и танцуют, что эту бестолко-

вую кадриль и толкутся на одном месте[114]. А тогда танцев было множество: экосезы и англезы[115] со множеством фигур, круглый польской[116], polonaise sautante[117], вальс, тампет[118], матрадура[119], мазурки, и все это кончалось бесконечным котильоном[120]; а после ужина поднимались и старики с молодыми и дурачились в грос-фазере[121]. Бывало, так завеселишься, что ног под собой не слышишь; эти балы кончались, как я сказал, часа в четыре за полночь. Степенные люди играли в бостон и вист; а там, где-нибудь в стороне, в кабинете хозяина или в антресолях, идет и банк. Выигрывали и проигрывали огромные суммы. Дело в том, что эти балы были для всех веселы. Я и не помню, где бы я так веселился, как в эту зиму (1818—1819) в Симбирске[122].]

Наташа тогда уже выезжала на балы; я почти всегда с ней танцовал котильон и мазурку, для того чтобы иметь право и возможность во время этих длинных танцев сидеть возле нее и разговаривать. И потому эти балы были для меня бенефис[123], посланный судьбою. Александра Степановна морщилась, но делать было нечего! Эти балы продолжались всю зиму и бывали почти каждый вечер, так что я всякой день приезжал домой в четыре часа пополуночи. Одним словом, я и завеселился, и был счастлив!

Уезжая в Москву весною 1820 года, я просил теток сказать Александре Степановне о моем намерении жениться на Наташе. Я знал, что она еще слишком молода, чтобы выходить замуж; но я не хотел уезжать, не объяснившись формально. Александра Степановна внутренно была рада; но отнекивалась молодостью невесты. Однако наконец согласилась, с тем чтобы ждать два года, не объявлять никому о моем предложении и не делать даже помолвки. Я тоже на это согласился. Однако напрасно потребовали такой тайны, напрасно не сделали формальной помолвки и не дали мне права переписываться с Наташей, как жениху с невестой. Это от многого бы меня предохранило. А я уехал из Симбирска, так сказать, не вполне уверенный и в продолжение слишком полутора года не имел прямых известий о Наташе. Тетки совсем об ней не писали, изредка только Варвара Степановна уведомляла, что видается с нею. Хорошо было тут только то, что, пока я не уехал, Наташа получила опять возможность и право быть ко мне ближе; у меня сердце тоже было на месте; а Александра Степановна успокоилась больше всех. Я опять начал часто видеться с Наташей; а она, освободившись от притеснений, жила вся любовию, возвратила прежнею живость и веселость нрава и расцветала, как роза. Варвара Степановна была в восторге от радости, как будто дело шло о ее собственном счастии.

Тою же весною или в начале лета я отправился в Москву[124].

ГЛАВА 8
Переезд от дяди Ивана Ивановича • Знакомство с Долгорукими • Свадьба и кончина жены

Возвратясь в Москву, я нашел Новикова уже женатым, на княжне Долгорукой. Имя, данное ей при крещении, было Антонина; но в своей семье и в обществе звали ее Варвара Ивановна[1]. Она была дочь известного поэта и бывшего владимирского губернатора князя Ивана Михайловича[2]. После моего выхода из университета Новиков познакомился там, на лекциях, с его сыном, Рафаилом, которого обыкновенно звали Михайлой[3]. Через него вошел он в дом его отца и сблизился с Варварой Ивановной. Он был молодой человек, 23 лет, хорошенькой, с розовыми щеками, немножко заносчивый с студентами, но тихого нрава и поддававшийся легко всякой силе. Варвара Ивановна была три или четыре года его старее, следовательно, уж под тридцать, дурна собою, увядшего лица и с бледными губами; но она умела влюбить в себя юношу, поддевши его на страстную чувствительность, которой он был предан совсем не по нежности сердца, а как какой-то профессии, к которой не имеешь призвания, но которая рекомендует с хорошей стороны. Он был перед этим влюблен, по одному голосу, в какую-то крепостную певицу Александра Ивановича Бахметева[4], которой он никогда не видал, но для которой он искал случая познакомиться с Бахметевым, чтобы бывать у него в домовой церкви и слушать ее ангельской голос. Он и добился-таки этого знакомства, и езжал к нему к обедни, и слушал, и таял от любви, и все-таки никогда ее не видал. Но он всячески раздражал свою чувствительность и гальванизировал ее, вздыхая на луну и проливая слезы, когда я играл на шестиструнной гитаре «Выду я на реченьку»[5] или «На то ль, чтобы печали»[6]. Курбатов, не веривший любви, немало смеялся над этой платонической страстью[7]; но я, по какой-то глупости, жалел Новикова. В это-то время предстала пред него Варвара Ивановна, дева, уже не идеальная, а, как следует, en chair et en os*. Это, право, не насмешка, хотя она была действительно кожа да кости; но дело в том, что она была уже не воображаемая, а

*Во плоти, собственной персоной (*фр.*). Каламбур Дмитриева основан на игре между фразеологическим и дословным («кожа да кости») смыслами выражения.

существенная дева! — Новиков в это время читал более всего и читал беспрестанно Руссо, его «Элоизу» и «Исповедь»[8]. Он перевел на русской язык трактатец Madame Сталь «Sur les passions»*[9]. Варвара Ивановна ухватилась за это открытие; выпросила у него его перевод и исписала его весь страстными комментариями[10]. Это окончательно победило Новикова. Он увидел в ней самой мадам Сталь и решил жениться на мадам Сталь! — Новиков признавался нам с Курбатовым, что он никогда не чувствовал физического влечения к женщине; но Варвара Ивановна была в этом смышленее: у нее, без всякого сомнения, под чувствительностью холодного сердца скрывалось нечто более существенное. Впрочем, расчет был верный: молод, смирен и сын довольно богатого отца. Положено было объясниться с отцом ее, то есть свататься. Князь Иван Михайлович, давно ожидавший этого как будто неожиданного предложения, спросил его: «En avez-vous parlé a votre père?» — «Non, mon prince, — отвечал юноша, — mais j'espère què...» — Князь не дал ему закончить и закричал: «Monsieur! On ne jette pas une princesse Dolgorouky à la tête du premier venu! Allez et parlez-en à votre père!»** Новиков пошел объясняться с отцом. Александр Борисович[11] был человек холодного рассудка, не способный не только ни к какому восторгу, но и ни к чему, что выходило из круга его хозяйства и из самого тесного круга домашних понятий. Он всякой день долго молился Богу, потом садился на кресла и неподвижно, не трогаясь ни одним членом, курил трубку и молчал. Сама фигура его и бесстрастное лицо, на котором никогда не видно было ни одной игры мускулов, похожи были, как будто он вытесан из дерева и раскрашен. Это была и по телу, и по душе, и по уму олицетворенная неподвижность, совершенная противоположность князю Ивану Михайловичу. Просвещения он не имел никакого и всю жизнь читал и перечитывал одну книгу: «Деяния Петра Великого» и «Дополнения к Деяниям Петра Великого»[12]. Других книг он не признавал. Впрочем, он был человек рассудительный: дозволить жениться сыну, почти мальчику, на созрелой деве, бойкой, светской, которая была дурна собой и бедна, — при этих условиях мудрено было убедить холодного старика, у которого было-таки и хорошее имение. Кроме того, он не очень дорожил и честью породниться с князем Иваном Михайловичем, которого он, по слухам, почитал каким-то прыгуном и шутом. Слыхал он, что князь Иван Михайлович стихотворец; но, вероятно, и это, по своим понятиям, почитал он не очень дельным занятием, не по летам старику, особенно же неприличным тайному советнику. Он наотрез отказал сыну в своем благо-

*«О страстях» (*фр.*).

**«Вы говорили об этом с вашим отцом?» — «Нет, князь, но я надеюсь, что...» — «Сударь! Княжну Долгорукую не выдают замуж за первого встречного! Идите и поговорите об этом с отцом!» (*фр.*).

словении. Не знаю, как его уломали; но знаю, что было трудно. Старик был упрям, однако наконец согласился. По приезде моем в Москву, по приязни моей с Новиковым, я познакомился с семейством князя Долгорукого. Сначала князь Иван Михайлович был со мною только вежлив, но не оказывал большой приветливости: он не любил дядю Ивана Ивановича[13] и видел во мне только его племянника; это производило в нем заметную ко мне холодность и даже какое-то отчуждение. Но были бы сохранены все условия приличного обращения; никто не имеет права требовать чувств сердца. Это только в провинциях с первого раза бросаются к тебе на шею и вводят в дружескую короткость; но зато оно и непрочно: за глаза тебя разбирают по ниточке и нередко язвят. Я, признаюсь, никогда не любил этой короткости: она не должна быть признаком простой вежливости; она должна быть последствием сближения. Но мало-помалу он, узнав меня ближе, находил со мною удовольствие, чаще и чаще приглашал меня, и наконец я сделался одним из самых близких людей в его семействе. Надобно сказать, что все семейство их было самое добродушное и без всяких претензий. Для меня, кому все в Москве были почти чужие, потому что дядя был человек бессемейный и холодный; двоюродные дяди Бекетовы были тоже не женаты и жили и далеко, и врознь, для меня, говорю, не было в Москве семейной жизни. У Долгоруковых я нашел именно чего мне недоставало: полную семью, и мужчин, и женщин, и девиц, близких ко мне по своим летам. Мудрено ли, что я ухватился за это знакомство и дорожил им. К ним можно было ехать во всякое время, и всегда кого-нибудь застанешь дома. Такого бенефиса в Москве мне никогда еще судьба не посылала. У них я был не одинок. В этот приезд в Москву я остановился тоже в доме дяди. Я и не смел сделать иначе, думая, по моим провинциальным понятиям, что даже было бы неблаговидно и неприятно дяде, если б я вздумал жить особо. Но вскоре заметил я, что я для него как будто помеха. Молодые люди никогда не бывают помехой друг другу; но старики их иногда остерегаются[14]. В это время Сергей Сергеевич Кушников разговорился со мною о моем житье-бытье (до которого Иван Иванович никогда не касался, не принимая в нем никакого участия). Кушников же, напротив, как человек семейный, следовательно, привыкший и к расчету, и к участию, начал мне доказывать, как убыточно для меня ездить всегда на извощиках, и расчел мне, что для меня гораздо выгоднее было бы содержать даже пару лошадей и кучера, чем всякой раз платить целковые извощикам. Это навело меня на мысль купить лошадей. У дяди было на конюшне несколько стойлов лишних; но он решительно отказал мне в позволении поставить в них лошадей и иметь кучера, потому что между людьми заведутся споры об овсе и сене, и от этого будет ему беспокойство. Нечего делать! надобно было съехать на квартеру. Дяде эта мысль чрезвычайно

понравилась, и он сделался отменно ласков. Не найдя еще квартеры, я уже купил одну лошадь, а потом прикупил к ней под пару и другую; эту последнюю купил я у Курбатова, который перед этим щеголял на последние деньги и промотался. Он со мною не торговался; мы согласились, чтоб оценил эту лошадь общий знакомый наш, Василий Карпович Зверев[15], который был гораздо старее нас. Курбатов, с обыкновенною своею веселостью, говорил мне: «Послушай, Дмитриев, я тебе за эту цену лошадь готов продать; но советую тебе, как друг, 50 рублей прибавить!» — Я прибавил, и у меня составилась прекрасная гнедая пара; я выписал из деревни молодого кучера с женою, которая должна была готовить кушанье людям. Повар у меня оказался превосходный, какого я и не ожидал от молодого человека моложе меня. За полгода до этого Зверев отдал своего мальчика на кухню сенатора Алябьева; уговорил и меня отдать моего Ванюшку. Он в несколько месяцев сделался отличным поваром. Однако, не находя квартеры, я не знал, куда мне деваться с лошадьми и женатым кучером. Помог тот же добродушный Зверев: он имел свой собственный каменный дом и взял их к себе. Покуда я еще не переехал, мне хотелось уже пользоваться своим собственным экипажем, которым можно было даже и щегольнуть: я купил очень красивые дрожки, обитые самым светло-зеленым сукном, с золоченой бронзой, за которые заплатил 1200 рублей ассигнациями; по-нынешнему, это с лишком 340 рублей серебром: тогда это была цена самая дорогая. Но всякой раз мне надобно было за экипажем посылать человека к Звереву; а жил он край света: за Сухаревой башней, у Креста, почти на выезде[16]. Это было неловко. Тогда не было еще тех удобств всякого рода, какие существуют ныне: не издавалось и «Полицейских ведомостей»[17], в которых предлагаются квартеры всех родов, и богатые, и бедные. Надобно было ездить несколько дней по всем улицам и смотреть, не прибито ли где на воротах бумажки об отдаче внаймы. Я ездил на извощиках с утра до ночи; посылал и моего человека и не мог найти приличного помещения за порядочную цену. Сидя однажды у одного стола с Голохвастовым, я разговорился о своих хлопотах. Он предложил мне свой флигель на Тверском бульваре[18]: правда, цена была очень дорога, по шести полуимпериалов в месяц (что составляло по тогдашнему курсу 126 рублей[19]), и с условием платить непременно золотом, а не бумажками. Золота тогда было много; только не у меня. Но чтобы развязаться с принужденною и безлошадною жизнию у дяди, я согласился и переехал. Во флигеле было, с маленькой передней, всего шесть комнат; но две темные, как и у дяди. Я занял две на бульвар: одна была и гостиная, и зала; другая и кабинет, и спальня. В одной темной поместил гардероб и всякую мелочь; а в другой темной же было платье и другие принадлежности домашних. Внизу была кухня, людская, конюшня и сарай для экипажей. Главное, что было

приятно в этом флигеле, это большой четверугольный балкон на бульвар; и самая близость прогулки, и зелень была для меня не последним удовольствием. По моему небольшому тогда имуществу это помещение было и для меня и удобно, и приятно, да и в центре города: отвсюду близко; а Курбатов жил тогда на Тверской, несколько шагов от бульвара. Свобода и молодость довершали это удовольствие. Упомянувши раз об архиве, кстати сказать два слова и о службе: по окончании откомандировки к графу Нессельроду я возвратился туда. Ездили мы раз в неделю; но для меня и для других, человек десяти, дело было: прочие гуляли на воле. Мы занимались извлечениями из дипломатических дел по сношениям с Турциею. Каждому из нас давался один год подлинных депеш (по-старинному: реляций) наших посланников и резидентов, и из каждого года делалось извлечение; а потом из всех этих извлечений составлялась целая так называемая история дипломатических сношений. Этот последний труд вверялся уже одному лицу. Составление второго тома поручено было мне[20]. Нечего и говорить, как это было трудно: иногда сношения об одном предмете, относящиеся к нескольким годам, были разбросаны в извлечениях нескольких лиц; иногда, по слабому знанию истории того времени, пропускалось совсем или упоминалось слегка начало такого происшествия, которое впоследствии оказывалось великой важности; иногда повторялось в нескольких экстрактах одно и то же; иногда, чтобы наполнить год, несколько пустой по содержанию, говорилось во всех подробностях о мелочах. Одним словом, этот труд — составить из хаоса чиновничьих экстрактов нечто целое — была работа совершенно новая и требующая некоторых немаловажных соображений. Я говорил моим сотоварищам, из которых некоторые были старше меня и летами, и по службе, чтобы они не оскорблялись, если я буду многое вымарывать из их трудов. Куда оскорбляться! Они на все соглашались, лишь бы я поскорее кончил, потому что ждали себе наград. Этот том, в рукописи, как и первый, был представлен Государю, и действительно, многие получили награды, кроме меня. — Да и нельзя было иначе! Малиновской рассуждал, что для меня карьера откроется впереди; а некоторые, засидевшиеся в архиве, были уже ни на что не способны [21]: иные только танцовали на балах, как два брата Глебовы[22]; другие прокисли и заплесневели, сидя на одном месте. Если их не наградить теперь, то когда же представится другой случай? В том числе за мой труд получили Анну на шею и два Глебова, Александр Петрович и Дмитрий Петрович; оба какие-то архивные маркизы, воспитанники аббата Perin[23], а один и стихотворец, уважавший как образцы поэзии Виже и Дората[24] — нельзя было опять не наградить их, и по той законной причине, что они были племянники Анны Петровны Малиновской[25]. Впрочем, дело тут не в обиде по службе, а в том, что таких наград не стыдятся у нас ни начальники, ни получившие. Здесь место ска-

зать о самом архиве иностранной Коллегии. Он содержал в себе все внешние дела, с отдаленного времени наших царей по самое царствование Екатерины Второй; впоследствии присланы были и дела ее царствования. Это — действительно драгоценнейшее хранилище документов нашей истории. Долго он был в пренебрежении, пока не занялся его устройством известный Миллер. После него никто столько не способствовал к приведению в известность и в порядок дел этого хранилища, как честный, трудолюбивый и добродетельный муж Николай Николаевич Бантыш-Каменской. Он всякой день бывал в архиве и корпел над разбором и описью дел; даже больной езжал туда, говоря, что этот приятный труд служит ему лекарством, портфели Миллера он умножил еще большим числом портфелей[26]. Я сказал уже, что в архив было записано несколько сот молодых людей[27], которые ничего не делали, не брали и жалованья, но получали чины. В числе этих молодых людей были многие, которые впоследствии пошли далеко и отличились на другом поприще: довольно назвать — Дашкова, Блудова, Тургенева, двух Булгаковых, сына начальника Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского и многих, многих других[28]. В это далекое время главное занятие тех, которые действительно работали, состояло в прочтении и описании столбцов: труд мелочной и скучный, но чрезвычайно полезный и требовавший большого навыка. Во второй половине царствования Александра Павловича канцлер граф Румянцев, пожертвовавший огромными суммами на кругосветное путешествие Крузенштерна[29], обратил просвещенное внимание и на архив. На его деньги была учреждена Комиссия печатания «государственных грамот и договоров»[30], которых в мое время было издано четыре тома in-folio[31]. Эта Комиссия составляла зерно трудов архива; между тем как наше составление так называемой «Истории дипломатических сношений» было трудом весьма несовершенным, поверхностным и неудовлетворительным, придуманным Малиновским, кажется, только для того, чтобы чем-нибудь занять людей гуляющих и давать некоторым награды. Первым лицом в этой Комиссии был наш известный археолог Константин Федорович Калайдович[32], человек честный, трудолюбивый и знающий; помощником его был известный же Павел Михайлович Строев[33]. Под их дирекцией трудились еще двое: один Прилуцкой[34], другого фамилию я забыл. Все они трудились ежедневно и получали, как члены Комиссии, от канцлера особое жалованье; но наград никаких. Малиновской был не Бантыш-Каменской: он любил загребать жар чужими руками и держал их в черном теле; а другие баричи и франты архива смотрели на них, как на черных работников. А они-то и доставляли значение архиву. Калайдовича наконец это выводило из терпения. Однажды, когда он подавал на просмотр Малиновскому дельное предисловие, кажется, ко второму тому «Грамот и Договоров»[35], Малиновской взял перо и без церемонии хотел под-

писать под ним свое имя, Калайдович остановил его, сказавши: «Позвольте, ваше превосходительство! Это писал я; я же должен подписать под моим трудом и мое имя!» — Малиновской рассердился и с этого времени стал его преследовать. Алексей Федорович Малиновской, сын известного протопопа, обиравшего старых барынь, Федора Авксентьевича[36], был человек весьма неученый, но искусный в искательстве у вельмож. Он был такой на это мастер, что получил однажды три награды вдруг от трех милостивцев: Румянцева, Аракчеева — третьего не помню. И какие же награды? От одного ленту; от другого сенаторство[37]; третьей награды — не помню. А сколько он получал от Государя бриллиантовых перстней! — Он Аракчееву подарил даже соловья, чтобы беспрестанно своим пением напоминал ему Малиновского. Он был так подл, что однажды, будучи уже сенатором, зная, в каком часу должен приехать в Москву Аракчеев и остановиться в Малом дворце, он целое утро дожидался его на крыльце, в сенаторском мундире[38]. Когда я впоследствии служил по уголовной части, а он был сенатором, он иногда советовался со мной по делам; но я увидел, что ему нельзя давать даже и советов: он не имел ни малейшего понятия о юридической правде, а отыскивал только естественную справедливость, и потому бесполезно путался в требованиях практики и не понимал моих советов. — Таков был человек, получивший все возможные высшие награды, составивший себе имя знатока в русской истории и бывший даже в переписке с Карамзиным, который требовал иногда у него сведений из бумаг архива[39]. Я сказал где-то, говоря об архиве, что в мое время там было несколько сот молодых людей, которые ничего не делали, не получали жалованья, но получали чины. Это завелось не только в архиве, но и в кремлевской экспедиции, вероятно, с тех пор, как запрещено было записывать малолетных в гвардию[40]. По видимому это было злоупотребление; но с другой стороны — имело свою необходимость и даже пользу. Необходимость состоит в том, что правительство требует со всех дворян службы, от всех без исключения: где же достать столько мест, и какие будут дельные чиновники из молодых людей, имеющих воспитание, годное только для света? — А без службы не будут они получать чины; без чинов же не имели бы никакого значения в обществе! — Таким образом, сами собою устроились в Москве эти два складочные места чинов и чиновников, которые не мешали ничему и никому; люди, истинно способные, выходили и из них людьми полезными. Примером таких людей: Дашков, Блудов и многие другие, которые тоже начали с того, что шатались в архиве. — Разве теперь лучше — эта толпа молодежи, почитающей себя зерном администраторов и путающей дела, к которым не имеют никакого призвания и за которые принимаются без всякой опытности. Тогда делал дело только тот, кто действительно мог его делать! Легкая служба в архиве оставляла мне много времени для занятий

литературою. Сколько бы мог я написать дельного, если бы в это время имел уже достаточную опытность и зрелость мысли; но все приходит со временем. Однако я не оставлял литературы, и Общество любителей российской словесности, которого я был уже сотрудником, желая, может быть, наградить постоянные мои занятия, если не действительные заслуги, 20 октября 1820 года единогласно избрало меня в действительные члены. Новиков, всегда честолюбивый, чрезвычайно этим обиделся и приступил к своему тестю, князю Долгорукому: тот наступил на председателя Антонского, и 8 марта 1821 года выбрали и Новикова. Впрочем, много было членов так же, как и он, слабых в литературе и с такими же слабыми правами. Здесь место сказать об этом обществе. Оно было учреждено 6 июля 1811 года. Двадцать любителей литературы, которым пришла первая мысль о составлении этого общества, и были первыми его учредителями[41] под руководством тогдашнего попечителя университета, П.И. Голенищева-Кутузова. Устав был утвержден министром просвещения графом Разумовским. Правда, и тогда не все члены общества были из литераторов, например, Дружинин[42] и Двигубский, но оно и называлось обществом не литераторов, а только любителей словесности. В первый же год своего существования оно выдало три тома своих трудов и четвертый летописей[43]. Эти первые томы не отличались произведениями поэзии; но в прозе были в них статьи капитальные о литературе. Председателем был выбран тоже не литератор, А.А. Прокопович-Антонской; но человек ума основательного, твердый наблюдатель порядка, беспристрастный, скромный, всеми уважаемый и мастер своего дела, то есть соединения в одно людей и к одной цели их мнений: после него не было столь достойного и способного ни одного из председателей, и общество распадалось, распадалось и распалось[44]. При нем общество имело главною целию не публичные заседания, не потеху зевак, как ныне, а издание своих трудов. В этих книгах кроме тех статей, которые я назвал капитальными, относящимися до теории словесности и до языка русского, в первый раз обращено было внимание и на областные наречия[45]. Антонской умел как-то сделать, что и те члены или сотрудники, которые не отличались большими способностями, и они делали дело: так, многие представляли синонимы[46]; другие — мелочные, но тем не менее важные замечания о языке, например, об уравнительных степенях[47]; иные не пренебрегали и народною поэзией[48]. Тогда не было еще невежественного направления, которое ставит наши старинные песни и сказки выше произведений просвещенного времени и Киршу Данилова[49] выше Державина, потому что тогда наши литераторы были и сами людьми благородными и просвещенными и не принадлежали ко всякому сброду из грязных закоулков письменности; но, не пренебрегая нисколько старинной народностию, ставили ее произведения на приличное им место, не высокое, но заметное, не почетное, но достойное разумного внимания. Однако и

публичные заседания были тогда блестящее нынешних. Не было ни одного, на котором не присутствовали бы, в числе посетителей, и генерал-губернатор, и архиепископ, впоследствии митрополит[50], и сенаторы, и дамы лучшего круга. А сзади их помещались, где сидя, а где и стоя, кто только желал и был приличен, без пригласительных билетов; в том числе толпа студентов и воспитанников университетского пансиона. Члены были все такие, с которыми по крайней мере не стыдно было сидеть, как с некоторыми из нынешнего набора. Все это делало, что быть действительным членом этого общества было очень почетным отличием. — Описавши его, возвращаюсь опять к самому себе. Кроме знакомств университетских, у меня других не было; то есть я знал многих, например, литераторов, и меня знали; но не было домов семейных. Дядя ни с кем меня не познакомил. У него я бывал по крайней мере раз в неделю; но часто не заставал его дома: он много ходил пешком и много выезжал; а когда заставал его у себя, он по большей части был один. Разговор его всегда был умный, но холодный, равнодушный, не интимный. А молодому человеку всего нужнее теплота добродушия и простота семейного быта. Такой круг нашел я у Долгоруких. Между тем и Новиков с женою переехали к тестю[51]. Александр Борисович жил по большей части в деревне; а дом свой, на Сивцевом Вражке, он, кажется, в это время отдал своей дочери, которая была замужем за Новосильцевым[52]. — Этот переезд Новиковых был причиною, что, бывая часто у них, я чаще видал и все семейство Долгоруких и более с ним сблизился. Их семейство, их образ жизни и сам князь Иван Михайлович описаны уже мною подробно в его биографии[53]; и потому говорить здесь о том было бы повторением. По этой же причине на стану говорить о их спектаклях и загородных прогулках[54]; скажу только, что после моего московского одиночества и отчуждения это было для меня какое-то открытие новой жизни, чрезвычайно приятной по свободе, разнообразию и хорошему обществу. Такого рода отношения производят между молодыми людьми невольное сближение; особенно способствуют к тому домашние спектакли. Репетиции и свидания за кулисами и на сцене производят больше интимности, чем другое долговременное знакомство: ибо, во-первых, на все надобно случай; а во-вторых, чем больше трутся люди одни около других, тем простее и нетребовательнее делаются между ними отношения. И потому эти спектакли, если они бывают не случайно, а так часто, как они были у Долгоруких, я не могу почесть совершенно безвредными. Они если и не оставляют после себя каких-нибудь дурных последствий, то по крайней мере представляют такие случаи, которых без них бы не было. Я испытал это на себе и должен рассказать один эпизод из моей жизни, который, не оставя прямо никакого пятна на моей совести, немало, однако, тревожил ее впоследствии. Я рассказал уже в биографии князя Долгорукого, что у них жила прекрасная собой молодая девушка, Аграфена Федоров-

на Любавская[55]. Она была побочная дочь Ушакова[56], кажется, двоюродного брата князя и старушки княжны Прасковьи Михайловны[57]. Не знаю, по какому случаю уехавши из Москвы и имея малютку-дочь при себе, он, умирая, передал ее добродушному человеку, ему знакомому, маиору нашей службы Ивану Николаевичу Классону[58], которого я знал уже в его старости, когда он жил у Долгоруких. Классон привел ее к княжне с просьбою умершего Ушакова: она оставила ее у себя и воспитала под именем племянницы. Повторяю: Аграфена Федоровна была почти красавица: высокого роста, стройна, прекрасного цвета лица, жива и очень умна. С ней-то по большей части доставалось играть нам на театре роли влюбленных: что и действительно нас сдружило, в самом лучшем смысле этого слова. Но дружба молодых людей разных полов — это порох, готовый вспыхнуть при малейшей искре! Сперва смеялись над нашей короткостью; потом Варваре Ивановне Новиковой, которая не могла жить без политических интриг, не только в своем семействе, но и между чужими, за что ее в свете и не любили, пришло в голову устроить судьбу Груши, женивши на ней меня. К этому она имела две побудительные причины и два политические основания. Во-первых, ей хотелось сделать хорошую партию этой молодой девушке, чего она, по своему происхождению и по своей бедности, не могла никак ожидать. Во-вторых, зная, что отец почти ненавидит моего дядю за то, что дела о нем шли в министерство последнего, зная, что и дядя мой терпеть не мог Долгорукого, она хотела через эту свадьбу унизить и до сердца уязвить гордость моего дяди. С этими двумя целями она всячески сближала меня с этой девушкой, а ее заставляла кокетничать со мною. Сначала я не замечал этого; потом заметил и сделался осторожнее, но уже было поздно. Самая эта осторожность раздражила чувствительность Аграфены Федоровны: она, думая сначала заловить меня в свои сети, попалась сама. Она в меня влюбилась: правду сказать, не знаю, во что, потому что я всегда был дурен собою; но я был, по природе моего сердца, нежен и непритворен, и к тому же несколько искусен в деликатных оборотах, которые давал выражению моих чувств и мыслей. Я не изъяснял их прямо, но умел показать и то, и другое в самых по видимому общих выражениях. Таким образом, я очутился un séducteur sans le vouloir*, опять в самом чистом и безгрешном понятии этого выражения. Я не был влюблен нисколько; но, по страстной моей натуре, решительно не мог удаляться от Аграфены Федоровны и даже искал случая быть ближе с нею. Слабость характера, которой я не мог простить себе впоследствии.

Но Варвара Ивановна, видя, что ничего из этого не выходит, стала беситься, я думаю, более от того, что увидела несостоятельность своих дипломатических способностей; а что всего хуже, стала преследовать бедную Агра-

*соблазнителем, сам того не желая (*фр.*).

фену Федоровну. Мне говорила она: «Помилуйте! что за à parte* с молодой девушкой!» — Ее поддразнивала насмешливо в неудаче, как будто не она же навела ее! — Аграфена Федоровна все это мне рассказывала. Она была так откровенна со мною и так мало хотела скрывать прошедшее, что сама созналась мне в первой любви своей к сыну княгини, молодому Алексею Пожарскому[59], и в их отношениях. Конечно, она открыла мне не все: всю правду я узнал уже в старости, читая подлинные записки князя Долгорукого. — Но Варвара Ивановна знала всю истину; и со всем тем хотела меня, друга ее мужа, женить на этой обманутой девушке! Ей тоже не была неизвестна и любовь моя к Наталье, потому что о ней знал ее муж. Она меня пыталась и допрашивать. Я сказал ей всю правду, что люблю ее с малолетства; но не мог же я ввести ее во все тайные изгибы моего сердца, где, несмотря на временное заблуждение молодости, был тайник, в котором она сохранилась как святыня. На вопросы о женитьбе я отвечал откровенно, что не имею никакой положительной уверенности. Да и кто же станет разглашать о таком деле, которое составляет семейную тайну; а потому и тайну, что не было ничего верного. Если было чье поведение в этом случае неизвинительным, то это Новикова, потому что он знал насквозь мою душу по прежним моим откровенным к нему отношениям; он же знал и всю прежнюю историю Аграфены Федоровны. Но он молчал, только иногда приятельски подшучивая над нами: потому что он был совершенно покорен Варваре Ивановне, жил ее умом и руководствовался во всю свою жизнь ее предначертаниями и повелениями. Всех более это огорчало и раздражало старика князя; о чем я узнал уже гораздо позже, от лица постороннего, бывшего с ним в дружеских сношениях. Он не мог выносить этих тайных подкопов Варвары Ивановны; почитал бесчестным заманивать молодого человека и боялся даже за репутацию своего дома, где происходят такие интриги. Но какая сила могла сладить с Варварой Ивановной! — А обнаружить интриги дочери, опять какой отец на это решится? Я описал уже в моей книге о Долгоруком наши загородные гулянья (1820) и наши спектакли (зимою 1820—1821) и потому не стану здесь говорить о них. С началом лета 1821 года вся семья начала сбираться в деревню и должна была разделиться натрое. Князь с княгиней[60], племянница ее Прасковья Ивановна Пожарская[61] и живущий у них в доме упомянутый мною добрый старичок Классон и одна старушка Елизавета Ивановна Елисеева[62] поехали в княгинину Шуйскую деревню; Новиков, на страдание властолюбивой Варвары Ивановны, в подмосковную деревянного и безмолвного Александра Борисовича Новикова; а добрая и умная старушка, сестра князя, княжна Прасковья Михайловна, вместе с своей воспитанницей отправлялись куда-то в третье место. В день отъезда был прощальный обед, за которым

*разговоры наедине, вполголоса (*ит.*).

все хныкали, как будто расстаются навек. Мне это наскучило! Когда налили бокалы шампанским и стали желать отъезжающим счастливого путешествия, я встал и, обводя глазами отъезжающих по мере произнесения моих слов, сказал громко из эктиньи: «За здоровье плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих и плененных!»[63] — Все захохотали, потому что старуха княжна была и недугующая, и плавающая: она верно ехала бы всю дорогу шагом; Елизавета Ивановна была вечно страждущею флюсом; а при последнем слове я взглянул на Аграфену Федоровну, которая покраснела и тоже захохотала! Мы поехали все провожать князя и княгиню до Перовой рощи[64], где пили чай, погуляли и покатались на деревянных горах. После их отъезда княжна со своей воспитанницей должна была проводить Новиковых до их подмосковной и потом ехать далее. Аграфена Федоровна начала упрашивать меня, чтобы и я приехал хоть дня на два к Новиковым, и настроила или умилостивила Варвару Ивановну упросить меня к ним приехать. Я поехал; прожил там два дня; проводил в дорогу княжну и там в последний раз перед женитьбой виделся близко с Аграфеной Федоровной. Знаю, что меня будут винить в этом эпизоде, который, судя по строгости, не делает мне чести. Но я был молод; женитьба была нечто очень недостоверное, а Аграфена Федоровна была, надобно признаться, красавица и в коротких отношениях очаровательна. Это, конечно, не извиняет меня; но что такое эта способность сердца двоиться, так сказать, в своих стремлениях. Я думаю, что тут играют большую роль наши молодые силы! — Дома я проводил иногда ночи в слезах о Наташе; а днем искал случая видеть другую и почти не мог с ней расстаться! В это же лето приехали для поступления в университетский благородный пансион два брата Наташи, Андрей и Василий[65]. С ними приехал живший у них учитель Monsieur Morel; а мне поручено было поместить их и устроить. От Александры Степановны были письма, но от Наташи нет: так строга была мать к любви ее. Я спросил об ней Мореля. Он отвечал мне: «Oh, Monsieur, mademoiselle Natalie depuis quelque temps est devenue très gaie, et elle a beaucoup embelli!»* — Потом спросил он у меня адрес нашей симбирской знакомой Агафьи Вильмовны Кротковой[66], говоря, что имеет к ней поручения от Александры Степановны. — На вопрос мой, какие поручения, он отвечал мне: «Madame lui donna la commission de faire le trousseau». — «Pour qui donc?» — «Mais pour mademoiselle Natalie!» — «Comment! Est-ce qu'elle se marie?» — «Eh, monsieur! comme si vous ne le saviez pas!» — «De grâce, dites le moi, — сказал я, — avec qui se marie-t-elle?» — «Mais, avec vous, monsieur!»** У меня отлегло от сердца! Я узнал, что Александра

*«О, сударь, мадемуазель Натали с некоторых пор очень повеселела и похорошела» (*фр.*).

**«Мадам дала ей поручение заказать приданое». — «Для кого же?» — «Для мадемуазель Натали!» — «Как! разве она выходит замуж?» — «О, сударь, будто вы не знаете!» — «Ради Бога, скажите, за кого?» — «Да за вас, сударь!» (*фр.*).

Степановна сама напомнила теткам о свадьбе; но меня не почли нужным об этом уведомить. Вследствие этого известия я переписался с тетками и с Александрой Степановной и по получении их подтвердительных ответов поехал в Симбирск для помолвки. Назначили для этого день и поехали всей семьей к Александре Степановне. Все обычаи более или менее стеснительны; так и в этом случае — все согласны: на что бы еще формальность, называемая помолвкой? Но эти наружные обряды сохраняют порядок, придают гласность и облекают простое согласие в какое-то торжественное действие, само собою показывающее его важность: и потому они необходимы. Мы приехали и сели, как никогда не садились важно в их доме. Речь подобало начать, как старшему, дяде Сергею Ивановичу и обратить ее к Михайле Егоровичу, как отцу невесты и главе семейства. Но Сергей Иванович, не женатый и девственник, был на матримониальные дела чрезвычайно робок и неловок: это для него была такая задача, как бы, например, вести процесс, не зная законов, или иметь с ученым муфтием диспут об алкоране. В помощь к его застенчивости был в это время рекрутской набор; а Михайла Егорович был прежде губернским прокурором. Всего ближе казалось завести речь о рекрутском наборе; а потом нечувствительно перейти и к сватовству. Но Михайла Егорович был человек терпеливейший; при этом же разговоре он был совершенно в своей сфере: и потому рекрутской набор никак не сводился на сватовство! — Тетки сидели молча; в глазах Александры Степановны было видно нетерпение; а мы с Наташей взглядывали друг на друга и едва могли удержаться от смеха. — Наконец я решился сказать тихонько дяде: «Что же вы, дядюшка, не начинаете?» — Дядя, точно пойманный в незнании урока, откашлянулся и сделал предложение. Михайла Егорович принял его с приятною улыбкою; Александра Степановна блеснула радостию; а мы с Наташей точно вышли из заключения! Нас поздравили, велели нам поцеловаться, посадили рядом и подали шампанского! — Никогда еще я не летел так быстро на крыльях любви к Наташе, как теперь я полетел от нее! — Видеться с ней всякой день, иметь право любить ее и считать передо всеми своею: какое счастие! После этого, по заведенному тогда обычаю, я написал известительные письма о моей помолвке ко всем, даже далеким родным, и к ближайшим знакомым. И к кому только не писал я! — И к Бекетовым, и к Кушниковым, и к Балашевым. После них я на первой же почте уведомил и князя Ивана Михайловича, и Новикова. Это было всего нужнее. Но каково же было мое положение! Мне принесли с почты письмо с огромною княжескою печатью. Тетки, по старинному праву теток, распечатали это письмо, но не могли прочитать его, потому что оно было писано по-французски. Это было пламенное письмо на четырех страницах от Аграфены Федоровны! — На следующей почте — другое! — Это укололо меня в самое сердце, как уп-

рек совести, и много помешало чистой моей радости! Я рассчитывал только, когда будет получено мое извещение; по получении его в семье Долгоруких письма прекратились. Надобно было съездить опять в Москву за покупками к свадьбе. Между тем Быковы поехали в свою деревню в Карсунском уезде. Я, до отъезда в Москву, приезжал к ним в Ружевщину[67] и никогда до этого времени я не испытывал такого полного и спокойного счастия! В первый раз я жил под одной кровлей с Наташей; с утра был с ней вместе; ходил рука с рукою по саду; и даже получил изумившее меня право сидеть с ней наедине в собственной ее комнате! Мне казалось, что я в каком-то храме и предо мною какое-то неземное существо, готовое соединить со мною чистую жизнь свою! — Так любовь моя к ней, несмотря на временное помрачение души моей описанным эпизодом, была самым чистейшим и святым чувством, которое испытывается только раз в жизни, и то только в первой молодости, и то только тогда, если она не была помрачена чувственными связями! — Я так чисто любил Наташу, что если в ее отсутствии образ ее представлялся мне в слишком обольстительном виде, я старался тотчас изгонять его из моей памяти или обратить мое воображение на другое. Между тем вот как я был виноват перед Наташей. В то время, как я занимался другою, она не пропускала ни одного дня без мысли обо мне и без обращения ко мне всех своих мыслей. Когда я, будучи женихом, жил у них в деревне, она отдала мне толстую тетрадь своего ежедневного журнала. В каждый день записано было, где она была, с кем виделась и что говорила. Ей, этой чистой душе, хотелось, чтобы мне был известен каждый ее день в мое отсутствие. И каждый день было записано или какое-нибудь воспоминание, или какая-нибудь мысль обо мне. Этот журнал сохранился у меня и доныне. В это время дядя мой Иван Иванович, желая сделать мне к свадьбе подарок, выпросил мне звание камер-юнкера. Каким образом это было, описано мною и прежде[68], но здесь самое приличное место повторить это. Не смея писать об этом прямо к Государю, несмотря на уверенность в его милости, Иван Иванович написал к Карамзину, что желал бы узнать, сохранил ли к нему Государь прежнее благоволение и может ли он написать к нему о своей просьбе. Император жил тогда в Царском Селе. Встретившись с Карамзиным в саду, он сел на скамейку и посадил его подле себя. Первый вопрос был, как почти и всегда: «Пишет ли к тебе Иван Иванович и здоров ли он?» — «Пишет, Государь, я еще имею от него и поручение». — «Какое?» — «Он желает узнать от меня, сохранили ли вы к нему прежнее милостивое благоволение?» — «Что это значит? разве он сомневается?» — «Нет, Государь; но у него есть просьба». — «Какая?» — Карамзин сказал о камер-юнкерстве. — Надобно сказать, что Государь, при начале разговора с Карамзиным, взял у него трость. — Не отвечая на его последние слова, он начал писать на пес-

ке тростью и написал: «Быть по сему». — Карамзин, видя это, ободрился и решился спросить: «Какой же ответ прикажете мне написать, Государь?» — Александр отвечал: «Ты ответ видишь!» — «Но это, Государь, написано на песке!» — заметил Карамзин с улыбкою. — «Что я написал на песке, то напишу и на бумаге!» — По уведомлении об этом дядя мой уже написал письмо к самому Императору. Таким образом, 19 августа 1821 года получил я звание камер-юнкера. Это совершенно неожиданное известие чрезвычайно всех обрадовало; но не меня, и по самой простой причине: когда получено было об этом письмо от дяди, я страдал ужасною зубною болью; мне было не до камер-юнкерства! — Я заметил, во все продолжение моей жизни, что ни одной радости судьба мне не посылала без горечи: может быть, для того, чтобы я не слишком прилеплялся к земным отличиям, которые обольстительны, отвлекают от существенного, производят некоторую гордость и заставляют человека забываться. Я никогда не был честолюбив, то есть не придавал важного значения так называемым знакам отличия, но был суетен: любил их как украшение и как некоторое преимущество перед другими. Не все ли это равно, с тою только разницей, что я их не добивался, не приносил им себя в жертву; но если они приходили ко мне сами собою, я никогда не показывал к ним того пренебрежения, которое многие показывают ныне, как лисица к сладкому винограду, говоря, что он кисел. Впрочем, в наше время этого еще не было. Наконец начал я собираться в Москву. На семейном совете написали мне длинный реестр покупок, из которых некоторые были действительно нужны, потому что мне надобно было заводиться домом; но некоторые, и самые дорогие, были назначены для свадебных подарков, родным отцу и матери, посаженым отцу и матери, и родным. Нынче этот обычай вывелся, и это очень хорошо, потому что это было сущее разорение, с обеих сторон. Приехавши в Москву, надобно было быть у Новиковых. Я знал, что Варвара Ивановна с высоты своего оскорбленного величия примет меня трагически. Так и вышло! — Она, в одно из моих посещений, выславши мужа, сказала мне: «Дмитриев! У вас есть два письма от Аграфены Федоровны: вы должны мне их отдать». — Я отвечал: «Пока я не услышал этого от нее самой, я даже не могу и признаться, что у меня есть ее письма, и потому я вам говорю, что их нет!» — Она одумалась и сказала мне: «Приезжайте в другой раз, тогда-то; я покажу вам записку самой Аграфены Федоровны». — Я приехал по назначению; она подала мне от нее записку; я отдал ей оба письма. Тогда она сказала с подобающим величием своему мужу: «Петр! Принеси свечу, а сам уходи». — Он исполнил приказание; а она сожгла при мне письма, сказавши мне: «Видите! Я даже их не читала!» — Все это происходило очень величественно, как будто на сцене. В Москве заняли меня покупки самым скучным образом: я вообще не люблю хлопот. Надобно было по-

купать и вещи, и посуду, и даже четверню лошадей, в которых я никогда не знал толку. Я вспомнил, что прежде когда-то я начинал учиться по-итальянски; чтобы чем-нибудь себя рассеять в хлопотах, я пригласил того же учителя, грека, морского капитана и георгиевского кавалера Егора Павловича Метаксу[69] и начал опять брать уроки. Эти занятия делали приятное развлечение в моих хлопотах. Наконец, не желая, чтобы подумала Наташа, что я остался на святки без нее повеселиться, накануне Рождества, 24 декабря я сел в кибитку и отправился в Симбирск. Свадьба наша была 22 генваря, и очень парадная[70]. Я венчался в золотом камер-юнкерском мундире, которого в Симбирске до того еще не видывали[71]. Потом был обед по случаю нашей свадьбы. Насилу-то все утихло; весною Быковы, отец и мать, переехали в деревню, а нам с Наташей они уступили свой дом на Большой улице, и мы в первый еще раз остались с ней совершенно одни, счастие, которого я давно дожидался: мне, кроме ее, ничего не было нужно.

Когда судьба начнет нас тешить, она посылает всякого рода подарки; но когда начнет преследовать, тоже гонит без усталости, пока не ввергнет в бездну. В этом году счастие мне во всем улыбалось, готовя меня к будущему бедствию. Апреля 2-го дан мне был первый знак отличия, орден Св. Анны, в петлицу. Первый орден надеть всегда приятно; а я был тогда еще молод, и эту радость разделяла со мною моя молоденькая жена, которой казалось это отличие очень важным и как будто отражающимся и на нее. Я получил этот крест 23 мая, в самый день именин моих; надел его и поехал к обедне. Мне казалось, что все на меня смотрят!

Этот год проводили мы так. Большею частию оставались в Симбирске; ходили пешком к теткам или читали вместе, по большей части Вальтер Скотта[72], который был тогда в самой славе. Иногда мы с Наташей, молодой прокурор Федоров[73] с женою и сестра моя Варвара Степановна езжали за город, в окрестные рощи: дамы на дрожках, а мы с Федоровым верхами. Иногда ездили мы в Ружевщину, к отцу и матери моей жены; но не забывали посещать и мою деревню, где многое нужно было устроить.

Приехавши туда в первый раз после нашей свадьбы, разумеется, летом, мы, не имея своего дома, остановились во флигеле, принадлежавшем дяде Ивану Ивановичу, потому что оба наши села (его — Богородское и мое — Троицкое) были построены вместе и нераздельно одно от другого. Там оставался еще тогда брошенный старый дом моего деда, в котором в первый раз я узнал Наташу. Мы обегали в нем все углы, потому что не было ни одного уголка, который бы не представлял нам множество мелких, но дорогих воспоминаний. Так справедливо, что предметы заимствуют по большей части цену от тех обстоятельств, которые они собою напоминают. Тот же дом, который был нам так драгоценен, напоминая собою золотое время детства, игр и первой любви: тот же дом был для дяди старым и гнилым гнездом деревенской скуки! — Это объясняет и цену исторических памятников: для од-

них они святыня предков; для других безобразная куча камней! Мы с Наташей не забыли сходить и на гору, по которой мы бегали в детстве, и один раз, упавши на всем бегу, скатились вниз, кувыркаясь один через другого. Все это воскресло в нашей памяти и прибавляло много живых воспоминаний к нашему и без того полному счастию.

Надобно было, однако, думать о постройке помещений, если не для себя, то по крайней мере для дворовых людей, для лошадей и скота, потому что со времени совершения нашего раздельного акта в 1820 году они жили еще в прежних строениях, принадлежащих уже одному дяде. Мы отмерили сами место, за селом Троицким, против горы и пруда, по правой стороне большой дороги. Там начали строить при нас же четыре флигеля для людей, каретный сарай и конюшню. В первый раз я увидел себя хозяином и получил чувство собственности, чувство, необходимое в быту гражданском, связывающее людей союзом общей пользы и потому служащее самым прочным цементом для частей государства. Нынче не поняли его, ослабили собственность и тем самым расшатали связи его частей: распадение сил, если не самого государства, будет неминуемым этого последствием. Оно произойдет, может быть, не скоро, и, вероятно, мы не доживем до этого; но оно неминуемо будет: начало видно уже и теперь.

В октябре месяце, кажется уже в конце, случилась небольшая помеха нашему благополучию. В это время были уничтожены масонские ложи и произошло гонение на масонов. Велено было всех служащих чиновников обязать подпиской, если они принадлежат к ордену, более не принадлежать к нему. Малиновской, трусливый холоп всякой власти, чрезвычайно испугался и потребовал, чтобы я для этой подписки явился в Москву. При обыкновенной снисходительности архивского начальства, которое, уволив в отпуск на 29 дней, дозволяло оставаться в отпуску по два года, исполнить это требование показалось мне неизбежным. После многих совещаний с Наташей и с родными, после многих слез ее, я должен был наконец решиться ехать один в Москву. Ей решительно было невозможно пуститься в этот путь со мною по причине ее беременности, приближавшейся уже к концу; дорога же была, по позднему времени года, почти невозможная к проезду. Мы расстались; но, по счастию, я решился заехать дорогой в Ружевщину, к ее отцу и матери. Михайла Егорович, отличавшийся всегда непоколебимым здравым рассудком, расспросивши меня порядком, удостоверившись, что я к масонству не принадлежу, и раскинувши обоюдные стороны неважности требования и важности моих семейных обстоятельств, решил, что мне просто незачем ехать самому, а можно послать мою подписку. La nuit porte

*Утро вечера мудренее (*фр.*).

conseil*, говорит пословица; я, переночевавши, решился воротиться в Симбирск. Так и сделал; и неожиданное мое возвращение было большим счастием для Наташи.

Ко времени родов Наташи отец и мать ее переехали в Симбирск. 22 ноября она разрешилась от бремени благополучно и родила мне сына, Михайлу[74]. Но недолго наслаждался я счастием. В отсутствие мое из ее комнаты ее испугали: девочка застучала тазом; а настоящей причины стука ей не сказали. Она вообразила, что сделалось что-нибудь с ребенком, и я когда пришел к ней, я застал ее в слезах. Это меня справедливо встревожило, потому что она, по твердости своего духа, не заплакала бы без сильной тревоги. Бросилось молоко; медик Рудольф[75] не находил опасности, но был заметно встревожен. Позвали другого, Арнольда[76], который присоветовал теплую ванну; но пока она шла через длинные комнаты, ванна простыла. Ей стало хуже, и она, ровно через месяц после родов, 22 декабря, скончалась. Последние слова ее были ко мне: «Я тебя очень любила!» — Потом она обвела нас всех мутными глазами и сказала: «Что это, я вас никого не вижу!» — После ее кончины я имел довольно силы, чтобы закрыть ей глаза своими руками. Но изобразить мое отчаяние я не могу: оно было ужасно!

Погребение ее было в Покровском монастыре[77], 24 декабря. Прошлого года, в это самое число я выехал из Москвы, спеша к свадьбе. — Так как дорога была тогда чрезвычайно дурна, нельзя было порядочно ехать ни на санях, ни на колесах, меня колотило в моей кибитке из стороны в сторону. Я роптал на это беспокойство; но в ту же минуту я утешился мыслию, что еду к моему благополучию и что на будущий год в это число я буду счастлив. А в это самое число я стоял над ее могилой и вспомнил эту мысль, стоя над нею! — Так неверно наше будущее; так неверны наши о нем гадания.

Этим кончился первый период моей жизни, кончилась моя юность, со всеми ее мечтами о легком пути жизни и о счастии. Остается сказать о грустном годе, окончившем это памятное время[78].

ГЛАВА 9
Вдовство • Знакомство с Лабзиным • Литература • Отъезд в Москву

После кончины жены моей я ни в чем не находил утешения. Казалось, жизнь моя кончилась. Я только и находил отраду в том, что каждую субботу ездил в монастырь слушать заупокойную обедню и во время литии плакать на ее могиле. Архимандрит монастыря Серафим[1], видно, чувствовал ко мне сожаление и любил меня, потому что всякой раз, когда мы выходили из церкви, чтобы идти на могилу, он сходил с своего крыльца в облачении и служил сам литию, отказываясь от всякой платы.

Михайла Егорович и Александра Степановна вскоре после похорон уехали в деревню, и я, оставшись один в их большом доме, перешел в антресоли, где взял себе две комнаты, чтобы ничто не напоминало прежней семейной жизни. Я не бывал в это время нигде, сидя дома в моей горести, но меня вседневно кто-нибудь посещал, чаще всех князь Баратаев[2], бывший тогда губернским предводителем, человек умный, просвещенный и с душой. Пробовал я искать утешения в книгах; но увидел, что в них одни общие холодные утешения, не проникающие до сердца. Между прочим, вздумал я прочитать в книге Вейса главу «Consolations dans le malheur»[3]*; но бросил с негодованием книгу, которая прежде мне нравилась: так далеки утешения мнимой философии от истинных ран сердца. Наконец попался мне в русском переводе Псалтырь, который я читал и прежде, но, видно, не в том расположении духа. Эта книга первая умягчила мое сердце и послужила мне истинно утешением: это было как будто что-то мягчительное и теплое, приложенное к больному месту. Никогда не забуду благодетельного действия этой книги: при чтении ее я чувствовал какую-то особенную сладость и нашел, что многие места ее применяются прямо к душе, оскорбленной несчастием, потому что цель ее не временные бедствия, а весь человек, страдающий и виновный, но доступный надежде.

Я попробовал переложить некоторые псалмы в стихи и мало-помалу переложил их несколько. В этих переводах я не искал блистать красотами лирической поэзии, не превращал их в оды, а старался только о сохранении

*«Утешение в несчастье» (*фр.*).

близости, чтобы не отдалиться от их истинного духовного смысла. Некоторые из них впоследствии были напечатаны[4].

Тетки мои обратили все свое внимание на ребенка. Они, само собою разумеется, принимали во мне самое горячее участие, но разницей в летах и в понятиях не гармонировали с тогдашней потребностью души моей. Одна сестра Варвара Степановна, навещавшая меня очень часто, плакала вместе со мною и вполне делила мою горесть, так, как мне это было нужно.

Но вскоре судьба послала мне человека, который впоследствии имел большое влияние на настроение души моей и вообще на мой образ мыслей. Это был Александр Федорович Лабзин[5].

Он был конференц-секретарь (или даже и вице-президент) Академии художеств и был сослан в Симбирск вот по какому случаю.

Академия готовилась к годичному собранию, для которого предварительно, частным образом, собрались на совещание об избрании почетных членов[6]: президент Академии Алексей Николаевич Оленин[7], Лабзин и третий член, которого, по причинам, изложенным ниже, он не хотел назвать мне. Президент предложил в почетные члены троих: Румянцева, Аракчеева и Гурьева. Лабзин говорил, что первый достоин как известный покровитель наук и художеств; второй — по крайней мере хоть заказывал воспитанникам Академии некоторые работы; но что последний не имеет никакого права. После многих возражений и уговариваний (как у нас всегда бывает) Оленин сказал наконец, что Гурьев близок к Государю. Лабзин, разгоряченный уже прежним противоречием, сказал на это: «А! Если так, то я, вместо Гурьева, укажу вам человека, который к нему еще ближе!» — «Кто это?» — спросил Оленин. — «Илья кучер![8] — отвечал Лабзин. — У него Государь недавно даже разгавливался!» — Государь действительно на Святой неделе был у него в гостях. — Оленин сказал на это серьезно: «Не угодно ли вам, чтобы я довел это мнение ваше до сведения Государя?» — «Как вам угодно! — отвечал Лабзин. — Я от моих слов не откажусь!» — Это было доведено до Государя, но не Олениным, а третьим членом: потому-то он и не хотел мне назвать его[9]. Оленина он не винил нисколько[10].

На другой же день он был позван к генерал-губернатору Милорадовичу[11], который, спросив его об этом и получив подтвердительный ответ, сказал ему, что Государю угодно, чтоб он ехал к Гурьеву и извинился. Лабзин отказался. Дело это оставалось без последствий три дня, пока Государь был в Петербурге; но по отъезде его в чужие края вслед за ним послано было донесение о Лабзине. Как это было представлено, неизвестно; но его велено было сослать Симбирской губернии в город Сенгилей[12].

Заслуженный больной старик, с больною женою, которая была и его старее[13], отправился осенью 1822 [года][14], по дурной дороге, в простой ки-

битке, к дальнему и неизвестному месту своего назначения. Вдобавок к этому, под Москвою вывалили их из кибитки, и старухе Лабзиной повредило это больную ногу[15]. Но в Москве жил в это время славный медик, известный своим благочестием, Матвей Яковлевич Мудров, который, приняв, при посредстве Лабзина, учение истинного благочестия, почитал его своим благодетелем[16]. Он приготовил для принятия его комнаты в своем доме, испросил у московского начальства дозволение прожить им три дня в своем доме на Пресне[17] и — мало этого — испросил дозволение иллюминовать дом для приезда своего благодетеля. Он встретил приезжих на крыльце низким поклоном, покоил их и отпустил, оказав им и медицинскую, и дружескую помощь.

Плохо было изгнанникам в Сенгилее[18]: в этом городишке не находили они самонужнейших потребностей жизни; но один симбирской помещик, Петр Петрович Тургенев, брат Ивана Петровича[19], по старинной масонской связи, прислал им воз домашних припасов и другой с лекарственными травами, без которых они были бы в большом затруднении и по недостатку денег, и по неимению никаких средств в небольшом и бедном городе.

Вскоре Лабзин переведен был в Симбирск[20]. Здесь перед этим была масонская ложа «Ключ к добродетели», великим мастером которой был упомянутый уже мной князь Баратаев. Ложи в 1822 году были закрыты; но имя Лабзина было в таком уважении, что братья ложи поставили себе за долг с ним познакомиться. Александр Федорович, вследствие строгости, с которою было с ним поступлено, был сначала в несколько раздраженном состоянии. Князь Баратаев был ему как-то родня[21]; но посещения всех других казались ему просто любопытством и даже были ему подозрительны: и потому он принимал посетителей не совсем ласково. Между прочим, тамошний губернский почтмейстер Лазаревич[22], желая истинно быть ему полезным, предложил ему, не угодно ли ему будет получать на его имя письма и писать через него. Лабзин принял это в дурную сторону и отвечал: «Если вам, батюшка, угодно быть надо мной шпионом, вам никто не мешает!» — Тот смолчал, не оскорбился и продолжал свои посещения. — Вообще надобно отдать справедливость тогдашним жителям Симбирска: они терпеливо переносили первоначальную раздражительность изгнанника и добились его искренной признательности и искреннего чувства дружества[23]. Они берегли его, как больного ребенка, как бедную душу, оскорбленную судьбою, и много помогали ему, но так искусно, что он и сам иногда не догадывался. Так, однажды был он в большом затруднении о приискании порядочного, хотя и бедного помещения. Только и был один дом, отдающийся внаймы, г-жи Назарьевой; он казался Лабзину дорог и был не по деньгам, а цена эта была настоящая, и уступить было нельзя. Начальник удельной конторы А.А. Крылов[24], узнавши это, спросил Лабзина, сколько он дает за наем этого дома,

и сказал ему, что это цена хорошая, но, верно, он не умеет торговаться, а поручил бы ему. Лабзин был рад дать такое поручение, а Крылов сказал хозяйке, чтоб она согласилась будто бы уступить за эту цену, а остальное он сам будет ей приплачивать. Так и сделалось; Александр Федорович был чрезвычайно доволен успехом найма и до конца жизни не знал этого секрета.

Мне имя его тоже давно было известно; я уважал труды его по их направлению, но не был знаком с ними. Даже и то удивительно, что я, по какому-то инстинкту, чувствовал к ним уважение: потому что, когда он в последний раз приступил к изданию «Сионского вестника» (в 1817 году)[25], то в доме дяди, где я жил, я слышал только насмешки над ханжеством издателя, особенно над посвящением его «Господу Иисусу Христу, бывшему, сущему и грядущему»[26], что казалось совершенно неприличным. Мне было это, правда, неприятно, но единственно по какому-то темному, бессознательному чувству; то есть мне эти насмешки казались гораздо неприличнее самого посвящения, и только.

Когда первое волнение горести во мне несколько поулеглось, а чтение Псалтыря несколько умягчило самое чувство горести, обратив его к надежде и вечности, мне чрезвычайно хотелось найти человека, который бы гармонировал со мною и мог открыть мне яснее то, что было во мне в одном темном ощущении. Что-то говорило мне, что я найду такого человека в Лабзине, и мне очень хотелось с ним познакомиться; но меня удерживала мысль, что Лабзин едва ли найдет в молодом человеке собеседника, стоящего серьезной беседы. Но Варвара Степановна, слышавши часто об нем от Крылова, с женой которого она была очень дружна, подкрепляла меня в мысли искать его знакомства. Не помню, через кого, кажется, именно через Крылова, я наконец познакомился с Александром Федоровичем.

Долго продолжалось, что Александр Федорович принимал меня вежливо, но холодно и с какою-то особенною осторожностию в выборе разговора. Кажется, его отталкивало от меня то, что я был племянником Ивана Ивановича, которого он считал человеком совсем другого духа, не того, который обнаруживал он сам во всех своих направлениях. Но мало-помалу он становился обходительнее, простее, откровеннее и наконец полюбил меня так, как немногие любили меня в моей жизни. Я слышал по пересказам Крылова и других, что наконец он отдавал мне такие преимущества в своем мнении обо мне, каких я решительно не заслуживал[27]. Но он был человек страстный: он не мог любить вполовину; он предавался человеку весь, но за то требовал и себе всего человека!

Из его разговоров я начал усматривать такой широкий объем христианской религии, которого я и не подозревал, такое согласие частей и такую связь духовного мира с вещественным, о каких я не только не имел ни малейшего

понятия, но до чего даже я не подозревал возможности проникнуть и воображением, не только разумом. А его разум представлял все это просто и ясно и основывал все на законах необходимости и на законе, соединяющем видимое с невидимым, земное с небесным. Итак, думал я, есть наука религии: это было для меня большое и важное открытие!

Может быть, многие, прочитавши это, подумают, что Лабзин, по смыслу общепринятого об этом понятия, не был православным: нет! он был вполне православным греко-российского исповедания, только находил ясные доказательства разума там, где обыкновенно требуется одной веры. И действительно, богословие, будучи наукою, открытою всему народу, не может углубляться в тайны, ибо не всякой ум, особенно непросвещенный, может понять их, и потому ясное открытие истины для многих было бы темно и вместо пользы принесло бы вред и послужило к заблуждению! Вот причина и основание тайны, которую ставят в вину некоторым обществам. Мы читаем в Евангелии, что Христос учил более в притчах или проповедовал всенародно одни самонужнейшие нравственные истины, которых и достаточно для спасения; ученикам же своим, сказано, открывал все (Марка гл.4, ст.34). Нет сомнений, что и они это все передавали только достойнейшим. Следовательно, и тогда было учение — экзотерическое и эссотерическое, то есть внешнее, для народа, для всех, и внутреннее, для немногих.

Он постепенно указывал мне некоторые книги, начиная от самых простых и легких для разумения. Эти книги были всем доступны, потому что продавались; но мне не были известны. Первая, которую он рекомендовал мне, была «Торжество Евангелия», им переведенная[28]. Она содержала в себе общие доказательства истины христианской религии и согласие пророчеств в событиях Ветхого и Нового завета.

Потом советовал он мне прочитать им же изданный «Сионской вестник». Вот в нем-то начал открываться мне новый взгляд на истины христианства. Многое удивляло меня, как я не понимал этого прежде, например, в «Беседе на Преображение Господне»[29] та мысль, что Христос хотел показать ученикам своим духовное тело, которое праведники будут иметь по воскресении. Это и многое другое было для меня лучом света, которого прежде не примечал я и при котором значение многого открывалось мне более и более.

«Сионской вестник» начал издавать Александр Федорович в 1806 году в генваре, но прекратил его сентябрем месяцем, не знаю, почему; однако в конце последней книжки сказано, что издатель «решается на прекращение своего журнала по обстоятельствам важным и не от его воли зависящим». — Из этого должно заключить, что были препятствия со стороны цензуры или правительства. — Но в 1817 году, когда Император Александр Павлович показывал большую наклонность не только к благочестию, но и к так называемому мистицизму; когда были в таком ходу библейские общества[30], а масонс-

кие ложи пользовались особенным покровительством, Государю угодно было, чтобы опять возобновилось издание «Сионского вестника». Он сам побудил к возобновлению этого журнала, и Лабзин с апреля 1817 года начал его издавать вторично, в полной надежде на успех, за который ручалось не только покровительство, но и самое желание Государя. Однако в половине следующего же 1818 года начали делать ему со стороны цензуры разные притеснения; так что думали наконец подвергнуть его цензуре духовной: при таких обстоятельствах нельзя было и думать о продолжении такого журнала, и с июнем месяцем он опять прекратился. Всего в оба периода было издано 24 книжки, составляющие 8 томов. Впоследствии, в конце царствования Александра, особенно в грубое, закоренелое и фанатическое министерство Шишкова[31], этот журнал, вместе с другими книгами в том же духе, был строжайше запрещен в продаже и составляет доныне библиографическую редкость.

Любопытно бы было проследить исторически все перемены, которым следовал дух нашего правительства, хотя со времени заключения Новикова в Шлиссельбургской крепости[32]. То гонение на масонов, при Екатерине[33]; то, при Павле, покровительство тем же людям: Новиков освобожден, а И.В. Лопухин даже награжден и приближен к Государю[34]. То, в средине царствования Александра I, распространение библейских обществ, покровительство масонским ложам, распространение и даже печатание на казенный счет мистических книг; то вдруг закрытие и обществ, и лож, и не только запрещение подобных книг, но даже запрещение продавать те, которые были напечатаны по воле и по побуждению самого Государя, и отобрание их по книжным лавкам![35] — Дух истины так не изменяется: он со времени Евангелия все один и тот же. — Это доказывает, что не было никакого истинного духа и никакого убеждения, а только вспышки, смотря по тому, какие люди входили в силу и чем обольщали или чем напугали властителя! — После запрещения этих книг все книги, изданные Лабзиным, были запечатаны в петербургском подвале Глазунова[36], и Лабзин лишился не только всего своего дохода, но всего своего имущества, состоявшего в этих книгах. Он сделался почти нищим, и, когда его высылали из Петербурга, ему не с чем было ехать; но князь Александр Николаевич Голицын[37], имевший всегда от Государя некоторые суммы денег на раздачу бедным, выдал ему из этих денег две тысячи рублей ассигнациями. Это делает ему тем более чести, что выдал государевы деньги изгнаннику, ссылаемому по воле того же Государя: при Николае не сделали бы этого его любимцы! — Это доказывает, однако, что Голицын не сомневался и в благотворной душе Государя!

Я не помню всех книг, которые я перечитал по указанию Лабзина. Но между прочим дал он мне рукопись, переведенную с французского, под названием «Система древних и новых о состоянии души по смерти». — Это имя не совсем соответствовало содержанию. Предметом ее было — восста-

новление всех вещей и всеобщее спасение. Читая ее, нельзя было не сознаться, что эти две истины доказаны в ней неоспоримо и победоносно! Известно, что православная наша церковь признает вечность мук; здесь опровергалось это, основываясь на понятии о правосудии и благости, на силе заслуги Христовой, на том, что если бы грех победил милосердие, то он был бы сильнее милосердия, и наконец на своде многих текстов Св. Писания, подтверждающих сильнее всеобщее спасение, чем другие, говорящие о вечной муке. Логичность этой рукописи изумила меня своею убедительностию тем более, что это рассуждение нисколько не ободряло греховности надеждою на безнаказанность. Между прочим там сказано было, что вечность, и без того сама по себе существующая, заключается, однако, для нас преимущественно в идее и в чувстве, и потому наказание по смерти, и не будучи само по себе вечным, тем не менее может быть для нас равносильным вечности: следовательно, это учение не могло служить к ослаблению нас на пути спасения. Подобные сочинения, заключая в себе объяснение многого, не высказанного вполне в Св. Писании или сказанного под покровом, чрезвычайно важны, как нить, ведущая в глубину истины; но они же, для людей не твердых в вере и не имеющих сильного логического мышления, могут служить и вредным соблазном. Вот еще доказательство против тех, которые восстают против тайного учения и тайных обществ.

Впрочем, разговоры Александра Федоровича были и вразумительнее, и питательнее самых книг. Он так обдумал все предметы важнейших истин, что разрешал их просто, ясно и без многих рассуждений. Конечно, и вопросы мои не могли быть столь глубокомысленны, чтобы представлять много затруднений такому человеку; однако для меня разрешение их было ново и важно: главное же, мало-помалу из его ответов составлялась в моем уме полная система убеждений, недостаток которой много вредит самой вере. Представлю пример вопроса неглубокого, но который может, однако, неопытного поколебать сомнением. Так, однажды я сказал ему: «Мне кажется, слишком уж строго сказано в Евангелии: «Всякой, кто взглянет на женщину с похотствованием, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матв. V: 28)». — «Что же вас затрудняет?» — спросил Лабзин. — «То, — отвечал я, — что самая мысль вменяется как бы в действие». — «Нет! Вы судите вот как: если грешная мысль вменяется в грех, то неужели не вменится вам и добрая мысль в добрый подвиг? Господь справедлив, по одному вы судите и о другом. Впрочем, у апостола Иакова объясняется и в этом постепенность. Там сказано: «Похоть, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1: 15). Так оправдывал он строгость христианства и тем легко объяснял затруднения или противоречия, существующие для неопытной пытливости разума!

Говоря о милосердии Божием, он так непритворно умилялся, что я не видывал никогда такого умиления при мысли о любви Божией! Его почитали ханжою, но что ему было ханжить в четырех стенах, в изгнании, при молодом человеке, который не только не мог дать ему никакой славы, но и принести никакой пользы? Карьера же честолюбия, которой приписывали его религиозные действия, была для него кончена; что он мог выиграть притворством?

Его любящая душа обнаруживалась в том, что был особенно приветлив к людям бедным, неизвестным или пренебрегаемым другими. Нередко у него обедала бедная старуха-калмычка, которая была вхожа в домы к некоторым благотворительным людям, но нигде не была принимаема как равная. Еще были две молодые девушки, тоже небогатые, за которыми ничего не было дурного, но которые были в каком-то пренебрежении; с ними как-то избегали знакомства: они тоже были у Лабзиных почти ежедневные гостьи. И муж, и жена лелеяли их своею ласкою взамен чужой к ним несправедливости.

Александр Федорович так был наполнен духом религиозного настроения, что он во всякой житейской вещи, во всяком, даже пустом чтении находил поучительное. Так, однажды застал я его за чтением романа Жанлис «Рыцари Лебедя»[38]. — Он мне сказал: «Вы, верно, думаете: какие-де он читает пустяки! Но я вам скажу, мой милый, что главное в этом, с каким духом читаешь! — Вот я читал сейчас, как рыцарь тайно ходил по ночам на свидание с дочерью Карла Великого[39], а ночью выпал небольшой снег, и по следам дошли и узнали обольстителя! При этом мне пришла одна мысль: что ничто дурное не скроется от Бога, и если Он захочет, пошлет обличение. Следовательно, надо помнить всегда Его присутствие и всегда бояться Его всеведения и правды!» — Нынче назовут это детскими нравоучениями и скажут: «Кто же не знает таких истин?» — Ну, это неизвестно, все ли признают их нынче за истины; да не в том дело: дело в том настроении души, которое по всякому житейскому случаю припоминает себе пути Божии! А этого нельзя иначе достигнуть, как долговременным и постоянным воспитанием души своей.

Воспитывать свою душу — вот в чем состояла главнейшая работа жизни Александра Федоровича. Это то, что греческие и наши русские аскетические писатели, в том числе и Димитрий Ростовский, называют «умным деланием»[40]. — Это наука древних отшельников и наука настоящего монашества, которая превратилась в одно наружное соблюдение строгой жизни. — И потому Александр Федорович, кроме так называемых книг новейших мистиков, из которых он перевел такое множество, любил преимущественно и читал со вниманием сочинения аскетов о внутренней жизни и между ними чрезвычайно дорожил известным сборником, изданным на славянском языке под названием «Добротолюбие»[41].

Но все это не мешало ему быть самым веселым стариком, который любил и забавное, и невинные шутки, и потому его общество всегда было и поучительно, и привлекательно, и в обоих случаях всегда свободно, легко и приятно. — Его многие посещали, и все любили и уважали, а я сделался у него ежедневным.

Желая всячески меня подвинуть вперед, он предлагал мне и упрашивал меня перевести с немецкого одну книгу известного фон Мейера «Ueber die Prophezeungen und Verheissungen der Kirche Iesu Christi»[42]. Я не мог предпринять этого перевода по многим причинам: и по сознанию в себе недостатка сил для такого труда, и по недостаточному знанию немецкого языка, да и потому, наконец, что в это время приближался мой отъезд в Москву! Александру Федоровичу было это неприятно, и вот какую однажды получил я от него записку, от 25 августа 1823 года: «Возвращение вами моей немецкой книжки поставило меня в недоумение; ибо, кроме вас, здесь я никого надежного человека не знаю — и в сожалении о недостатке необходимой любви к ближнему: ибо хотя мы сами с душевною тоскою иногда ищем подобных просвещений, но, получа оных, не думаем о наших братьях, которые, не зная, например, немецкого языка, не могут так же утолить голода своего. — Не есть ли это то же положение, в каком находятся богачи, которые, будучи сыты, не думают о других, кои остаются голодны? — Когда Св. Писание, напротив того, призывает нас разделять пищу свою с неимущими, так что Давид, испрашивая себе *сердца чистого и духа правого,* и проч., тут же объявляет и условия, на каких он получить то хочет, говоря: *научу беззаконные путем твоим и нечестивые к тебе обратятся*[43]. — Такая холодность ко благу братьев наших меньших не отнимает ли у нас какого-нибудь дара, любезный Михайла Александрович?»

С Лабзиным жили в Симбирске: жена его Анна Евдокимовна, которая была старее его летами, и воспитанница их Софья Алексеевна Мудрова[44], племянница знаменитого доктора Матвея Яковлевича Мудрова. Брат его, Алексей, тоже врач и вдовец, умер в молодых летах и оставил после себя маленькую дочь, у которой только и было родных, что дядя Матвей Яковлевич, который в это время только что получил звание врача и отправлялся путешествовать в чужие краи для усовершенствования в медицинских науках[45]; да и без того, как молодой человек и неженатый, он не мог взять на себя воспитание этой девочки. В этих обстоятельствах Лабзины взяли ее к себе, вырастили, выучили ее языкам и другим необходимым предметам и воспитали в благочестии. Они любили ее, как дочь, и она любила и почитала их, как родителей, и последовала за ними в изгнание. Она была умна, жива, кротка и благочестива. После их кончины она вышла замуж за Лайкевича и была доброю женою и хорошею матерью. Добрые семена принесли плоды, достойные таких воспитателей.

Мы с Александром Федоровичем ездили иногда вместе в гости, именно к архимандриту Серафиму, а летом за десять верст от Симбирска, в деревню к князю Баратаеву. Этим общим выездам было две причины: во-первых, у Лабзина не было своих лошадей; а во-вторых, он любил мое общество, у Серафима же оно было отчасти и нужно.

Он любил Серафима, и Серафим любил его; но они были люди во многом разные. Серафим был человек ученый; он был некогда ректором Заиконоспасской академии[46] и любимцем митрополита Платона[47]. Но он был человек необширного ума и довольно раздражительный. Вероятно, имея силу при Платоне и будучи человеком правдивым, но нетерпеливым, неуклончивым и неуступчивым, он наделал себе много неприятелей между духовными лицами, потому что, по кончине Платона, начали все его гнать и преследовать и наконец запрятали его в архимандриты, кажется, третьеклассного Покровского монастыря в Симбирске: это было почти ссылкой для ученого монаха, который, как ректор Академии, был на пути к архиерейству[48].

Александр Федорович любил Серафима за его ласковую приветливость, за его хорошую жизнь и правдивость, наконец, уважал и за ученость; но последнее качество не заменяет ума, в котором он требовал силы и объема, недостававших Серафиму. От этого происходили всякой раз между ними жаркие споры о предметах православия и вообще религии, для обоих равно дорогих и важных. Серафим часто не понимал или понимал криво глубокие пути, в которые пускался с ним его посетитель; а Лабзин раздражался его противоречиями и непонятливостию. И потому почти всякое посещение кончалось с обеих сторон спором, раздражительностию и досадой. Вот в этих-то случаях я бывал иногда нужным.

Лабзин уедет иногда от него в досаде. Посмотришь, через несколько времени опять заговаривает мне: «А что, не съездить ли нам к Серафиму?» — Я, бывало, говорю ему: «Я очень рад быть у него с вами, Александр Федорович! Да ведь вы опять оба рассердитесь!» — «Нет, нет! — отвечал Лабзин. — Не всегда же сердиться! Он, право, человек добрый!» — Поедем. Серафим рад нам от души и встречает в восторге! — А под конец вечера опять спор, и оба разгорячатся!

Когда мы с Лабзиным в первый раз приехали в деревню к Баратаеву, это было в воскресенье; а каждое воскресенье у него был обед, на который собиралось большое общество из Симбирска. Кроме тех, которые, по особым отношениям, по масонству, давно уже познакомились с Лабзиным, многие любопытствовали его видеть и видели его в первый раз. День был прекрасный; все общество сидело на террасе, обращенной в сад. Александра Федоровича окружили эти любопытные, вероятно, ожидая услышать от него тут же диковинные вещи. Он заметил это неприличное любопытство, подозвал к себе

мальчика — сына хозяина (который теперь и сам уже почти старик), поставил его между колен и начал: «Ну-ка, расскажи мне, Мишенька! Что это за чудеса, что над нами вертятся небеса? — Что это за штуки, что раки не щуки? — И что это за проказы, что стекла не алмазы?» — и пошел, и пошел в этом роде![49] — Все слушатели расхохотались и разошлись! — Это тем более всех удивило, что он был старик под шестьдесят лет, действительный статский советник и имел Владимирскую звезду второй степени. — Но Александр Федорович не любил вульгарного удивления, а искал в людях единомыслия и уважения не к нему, а к учению, которому он посвятил всю жизнь свою.

Он был и доверчив, и подозрителен. — Однажды я уезжал на короткое время в свою деревню, а лошадей и экипаж оставлял в Симбирске. Он просил у меня позволения пользоваться, в мое отсутствие, моим экипажем, на что я и согласился, и дал об этом приказание моему кучеру. По возвращении в Симбирск я заметил, что Александр Федорович на меня немножко дуется. Надобно было спросить о причине. «А вы, батюшка, заметили! — сказал старик. — Я полагал вас человеком верным; а вы только обещаете и не исполняете. Дрожек-то мне без вас не дали, потому что от вас никакого приказу об этом не было!» — Я исследовал это дело. Оказалось, что посланный его спросил об этом мальчика-форейтора, который отвечал, что ему не приказано. Тот с этим ответом и возвратился, а приказание дано было, натурально, не мальчику, а кучеру, которого об этом и не спросили. — Узнавши все дело, Александр Федорович успокоился: как рукой сняло!

В другой раз мы были с ним на большом обеде у Крылова. Возвращаясь с ним оттуда, я опять заметил, что он не в духе. «Что с вами?» — спросил я. — «А вот что, — отвечал старик, — что вы совсем не таковы, как я об вас думал! Что это значит, что вы, как вошли, заговорили по-французски? Что это за франтовство? А потом беспрестанно вертели в руках эмалевую табакерку; чем тут хвастаться? Да у меня есть и с бриллиантами, да еще подарок Государя!» — «Только-то?» — спросил я. — «Чего же больше?» — «Ну так, прошу вас, выслушайте! С кем я заговорил по-французски? С Николаем Ильичем Татариновым?»[50] — «Так! С ним!» — «Да разве вы не знаете, что его ничем нельзя больше одолжить, как заговорить с ним по-французски, и что все адресуются к нему с словом mon cher?» — «Ну, хорошо! А табакерка?» — «Это у меня просто дурная привычка держать табакерку в руках; а табакерка у меня некупленая, нечего ею и хвастаться: она принадлежала моей матери, и потому я особенно люблю ее!» — Надобно было видеть, как посветлело лицо Александра Федоровича, и раскаянием, и радостию, что я оказался совсем не франт и не человек, преданный хвастовству и роскоши!

Таким образом я жил в Симбирске, не думая ехать в Москву. В Симбирске удерживали меня самые обстоятельства, в которые я был поставлен

судьбою, и привычка к другой обстановке жизни: хотя у меня и не было уже семейства, но в продолжение почти двух лет я сделал опять привычку к атмосфере родственного участия, а в Москве ожидала меня опять шумная и холодная обстановка холостого, одинокого существования. Я несколько привык жить домом; там опять жить на квартире. Ребенок был болен; нельзя было его оставить. Да и служба архивская была такого рода, что мне она не представляла занятий; а сама она очень могла без меня обойтися, как обходилась без множества других моих товарищей, которые менее меня имели причин к отлучке.

Но вдруг получил я, от 13 сентября, письмо от моего начальника Малиновского, который строго требовал моего возвращения. Я думаю, что этот угодник людей с весом никогда не вздумал бы меня потребовать, если бы ему не внушил этого мой дядя, по понятиям которого первая цель человечества была служба, как средство выйти в люди; он, по своим соображениям, тоже желал мне добра, но в свойстве и средствах добра мы никогда с ним не сходились: я имел всегда в виду самого человека и свойство его потребностей; а для него добро и счастие заключались в людском почете и в приличных декорациях, которыми должно обставить сцену жизни. Понятия о добре, о счастии и даже о чести — очень относительны! — В этом винить людей нельзя; но не надобно налагать своих понятий другому.

Как бы то ни было, но вот какое письмо получил я от Малиновского. Оно стоило того, чтобы сохранить его, как грубое противоречие той мягкости, которую он всегда оказывал, и как несообразную начальническую строгость в тех обстоятельствах, в которых я находился. Он писал ко мне так: «Приняв искреннее участие в потере вашей, я по деликатности не тревожил вас напамятованием о ваших обязанностях по службе; но вы не употребили в отношении ко мне взаимности, просрочиваете сверх меры, законами положенной, ставите начальство в ответственность за вашу произвольную отлучку и теряете следующий вам чин. Посудите сами себя и с наблюдением справедливости произнесите приговор себе. Одним словом, ни дня не мешкав, выезжайте к должности; покиньте свое уединение; оно омрачает мысли ваши, оковывает деятельность вашу и винит вас перед всеми, кто искренно вам доброжелательствует».

Начальник мой, судя по себе, употребил, между прочим, как сильную угрозу, как побудительную причину к отъезду потерю следующего чина! — Не о чинах думал я в то время! Можно бы при этом случае напомнить ему стихи дяди:

Чин стоит ли того, что для него оставим?
Покой, покой души, дар лучший из даров,
Который в старину уделом был богов![51]

А я в это время думал именно только о покое, как человек, претерпевший бурю! Еще при жизни Натальи Михайловны думал я идти в отставку и заняться устройством своего небольшого имения; но судьба решила иначе, и время вместе с обстоятельствами увлекли меня на дальнейшее поприще, несообразное с моими тихими наклонностями. Надобно было ехать в Москву.

Лабзин очень грустил о моем отъезде: ближе меня, кажется, никого к нему не было. Он поручил мне отвезти письмо к архиепископу московскому (нынешнему митрополиту) Филарету и просил отдать ему это письмо, как нужное, непременно лично. По приезде в Москву я немедленно поехал к Филарету; но мне сказали, что он занят каким-то совещанием. Однако, узнавши, что я с письмом из Симбирска, служка решился доложить ему. Он немедленно ко мне вышел; я подал ему письмо и по краткому его чтению догадался, что оно было очень коротко. Но каково было мое удивление, когда Филарет, прочитавши его, сказал мне: «Это письмо об вас. Александр Федорович пишет ко мне, что вы желаете со мной познакомиться». — Я извинился, что не вовремя его обеспокоил. — Он с ласковою улыбкою отвечал мне: «Для доброго знакомства всегда время. Прошу приехать ко мне в другой раз; я буду вам рад во всякое время». — Таким образом, с этого случая я стал вхож к Филарету; после бывал у него нередко и до сих пор, вот уже сорок лет, пользуюсь его благорасположением. Александр Федорович ни слова не говорил мне о знакомстве с Филаретом[52] и не предупредил, что дает мне к нему рекомендательное письмо; вероятно, он думал, и очень справедливо, что я, как молодой человек, побоюсь беспокоить своим посещением такое важное лицо, и решился, для моей пользы, употребить эту хитрость. Таким образом, он и по смерти своей, и до моей старости, благодарил меня, доставив возможность приблизиться к такому человеку.

Во все продолжение своей жизни, которая пресеклась, однако, скоро после моего отъезда из Симбирска, он вел со мною переписку, которая и доныне у меня сохраняется. Но нетерпеливость его характера обнаруживалась и заочно. Однажды, ходя по Кремлевскому саду, я встретился с его старинным приятелем и братом по масонству, сенатором Павлом Степановичем Руничем[53], с которым я был знаком по его же рекомендации. Рунич, после некоторых вопросов об Александре Федоровиче и после многих подробных осведомлений о его симбирском житье, узнав, что я с ним в переписке, поручил мне написать к нему, что он ему кланяется, и дружески попенять, что он забыл его. Я исполнил это поручение. Какой же я получил от Александра Федоровича ответ? — Он поручал мне сказать Руничу, что если хотеть поддержать прежнюю их дружбу, то теперь не ему, а самому Руничу следует ее поддерживать. Вместе с этим он поручал сделать ему и многие упреки, например, что при высылке его из Петербурга сын Рунича[54] не смел приехать

к нему проститься и что он сам не отвечал на его письма и не уведомил даже о каком-то старике, жив ли он, и проч. Само собою разумеется, что я ничего этого не исполнил; да и сам Александр Федорович, я думаю, не ожидал исполнения и вскоре раскаялся в своей вспышке. Я пишу об этом, только чтобы вполне обозначить его характер и показать, как натура берет верх и над такими людьми, которые много над укрощением ее работали.

Симбирской жизнию своею он был наконец очень доволен, так что однажды он говорил мне с чувством: «Я думал, что, уезжая из Петербурга, я оставляю там друзей, каких уже не нажить; но вместо того я нашел здесь таких искренних и добрых друзей, каких у меня и там не было!» — Вообще он был в спокойном расположении духа, но нельзя сказать, чтоб его совсем не тревожило его фальшивое положение. От 8 ноября 1823 года он писал ко мне: «Позвольте самолюбию человеческому полюбопытствовать у вас: каким я кажусь в глазах вашего дядюшки, почитает ли он меня за преступника наказанного или за страдальца, невинно впадшего в сие несчастие?» Кажется, его занимало мнение и других значительных лиц. В начале 1824 года он между прочим писал ко мне: «Вероятно, вы видаетесь иногда с графом Ф.В. Ростопчиным. Некогда он был моим начальником по службе[55], и один из всех начальников, который, кажется, знал мне цену. Итак, прошу вас при случае возобновить меня в его памяти и донести ему, что я сам писать к нему не смею, не потому, чтобы я в нем сомневался: надеюсь также, что и он во мне не усомнится; а по почтовым обстоятельствам, ему не безызвестным, опасаясь, чтоб не нанесть тем какого вреда ему или себе, когда донесено будет, что у меня переписка с графом». — А граф Ростопчин был в это время сам в немилости и жил почти отшельником. Конечно, их положение было совсем различно! — Я хочу сказать только одно: что человеческое берет верх и в таком человеке, который весь, кажется, предан неземному, и прозревает лучшее этой треволненной жизни!

Но всего более свидетельствуют мирное и христианское состоянии души его стихи, написанные им в ноябре 1823 года под заглавием «К жене моей». Вот как, обращаясь с молитвою к Богу, говорит он о своих врагах:

Прими во власть Твою святую
Равно и всех врагов моих;
Подай им участь преблагую,
Ущедри милостию их
И, превращая зло во благо,
Не подавай Ты им инаго,
Как милость щедрую Твою,
Да за меня никто не страждет,
Но паче всяк к Тебе возжаждет...
Я суд и милость воспою![56]

Чтобы не перерывать моего повествования, я кончу заодно рассказ всего, что знаю о Лабзине. Он подвержен был падучей болезни и вскоре после моего отъезда из Симбирска, в конце осени, имел сильный припадок: три дня почитали его почти уже умершим; однако в этот раз Господь сохранил его. Он скончался, кажется, в конце 1824 года и похоронен был в Покровском монастыре, у Серафима[57].

После его кончины жена его, Анна Евдокимовна, женщина тоже примерного благочестия, осталась, конечно, свободною от изгнания; но чем жить и куда ехать? — В этом неисходном положении Мудров пригласил ее с племянницей к себе, в Москву. У него в доме, где он жил сам, на Пресненских прудах, не было для них помещения, но он немедленно начал делать пристройку, уведомил об этом Анну Евдокимовну, и она с Софьей Алексеевной приехала к нему[58]. Здесь я нередко посещал ее. Однажды она поручила мне, зная мою любовь к Александру Федоровичу, написать в стихах эпитафию для его памятника. Я написал ее и привез к ней в Светлое воскресенье следующие четыре стиха:

Всю жизнь он верен был учению Христову!
Как веровал, так жил,
И братьям путь открыв к Спасителеву слову,
Он запад дней своих страданьем освятил[59].

На могиле его поставлен из дикого камня крест, как бы из неотесанных дерев, и на нем помещена, вырезанная на бронзовой дощечке, эта надпись.

Многим действительно открыл Александр Федорович путь к Спасителеву слову; многих ввел и в глубину тайн христианской религии. Я не могу никак считать себя в числе последних; но и я, что узнал к убеждению себя в неопровержимой ее истине, этим я обязан ему же, и потому в сердце моем сохраняется к нему вечная благодарность и вечная память.

Я не могу ничего сказать собственно о масонском его поприще и не имею на это права. Скажу только, что он был истинным последователем старой новиковской школы. В Петербурге принадлежал он к одной из лож, зависевших от «Астреи»[60]. Но, усмотрев всю пустоту собраний, ограничивавшихся только наружным ритуалом, он отделился самовольно от союза и с некоторыми из членов завел свою ложу[61], на что хотя и имел право по своей степени, но не имел права сделать этого самопроизвольно. Но Александр Федорович, где дело шло о сущности, не очень смотрел на формальность. За это рассердились на него как на отщепенца. Однако он получил наконец законную утвердительную грамоту на открытие своей ложи и тем вошел в правильный союз; но стал зависеть уже не от петербургского «Востока»[62], не от «Ас-

треи», а от одной иностранной великой ложи, и потому имел полное право работать по другой системе, ввел то важное преподавание религиозной истины, которое должно составлять сущность истинного и справедливого масонства, в чем и был он истинный последователь Новикова.

Некоторые из статей, напечатанных в «Сионском вестнике», суть не что иное, как речи, или поучения, говоренные им в своей ложе. Но он перевел (кроме всем известных переводов Штиллинга и Эккартсгаузена[63]) многие книги собственно для братьев, книги, которые не были назначены для продажи, хотя и прокрались в нескольких экземплярах и продавались за весьма дорогую цену. Важнейшая из этих книг, так называемое «Пастырское послание» (1806)[64], содержит в себе самое глубочайшее учение о Христе, о сотворении мира и вообще о системе и сущности христианства. Эта книга предназначалась для одних высших степеней, и потому немудрено, что она, читаемая без предварительного учения, содержит в себе многое непонятное. Много издал он для высших степеней и книг, и книжек, объясняющих законы физической натуры; в том числе маленькую, но очень важную книжку «Предварительное понятие к познанию натуры» (1819)[65]. Упомяну еще об одной из важнейших книг, им изданных с целию объяснения внутреннего христианства, это «Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова» (1820). На французском языке называется она «De l'Instinct divin»[66] и составляет величайшую редкость. Никто никогда в России со времени Новикова не издавал столь важных книг и в таком количестве, как Лабзин. Но со времени закрытия масонских лож в 1822 году не только эти книги, но и переводы сочинений Штиллинга и Эккартсгаузена были строжайше запрещены в продаже. А с 1824 года, со времени министерства Шишкова, они подверглись такому гонению, что если бы подолее продолжалось это министерство, пожалуй, была бы учреждена и инквизиция, потому что он предлагал Государю дать право цензуре рассмотреть все и прежде напечатанные книги. Так колебались в нашем правительстве разные противоположные направления. Мудрено ли, что в нашем воспитании и в наших идеях нет ничего твердого и верного!

Расскажу еще кстати об Лабзиных одно странное происшествие, которому, кто хочет, может и не поверить; но которое я, по совести, утверждаю за истинное; ибо в устах таких людей не могло быть лживой выдумки.

Анна Евдокимовна была за первым мужем, за каким-то начальником ссыльных[67] и жила с ним в Сибири. Там познакомился с ними один персианин, который ходил к ним часто и был принимаем очень дружелюбно. Когда в последствии времени она вышла замуж за Александра Федоровича и жила с ним в Петербурге, туда приезжало (кажется, в 1816 году) персидское посольство[68], и знакомый ей персианин был в свите посланника. Он отыскал

их, познакомился с Лабзиным и по-прежнему начал навещать их. При отъезде посольства, бывши у них, он сказал, что еще один раз может посетить их и потом уедет. Анна Евдокимовна сказала ему шутя, что надобно бы ему оставить ей что-нибудь на память. Он отвечал серьозно, что принесет и отдаст на прощанье. Пришедши к ним в последний раз, он принес ей три резных сердолика и сказал: «Вы эти камни берегите; они вам понадобятся. Может быть, когда-нибудь вас пошлют в изгнание, а у вас не будет денег; тогда, кто первый доставит вам сумму на проезд, тому подарите вы один из этих камней. Может быть, на месте изгнания вы будете лишены самых первых потребностей жизни; тогда, кто первый доставит вам необходимое, тому вы подарите другой камень. А может быть, вы будете в таком положении, что у вас не будет и крыши; тогда, кто вас примет в свой дом, тому подарите вы третий камень». — Анна Евдокимовна совсем забыла об этих камнях; но однажды в Петербурге, разбирая сундук, нашла на самом дне что-то завернутое в бумажку. Она увидела в ней камни и тогда только вспомнила предсказание. — Я описал уже ссылку Лабзина; мне остается только сказать, что все совершилось по предсказанию. Тогда, по получении 2 тысяч на дорогу от князя А.Н. Голицына, они подарили ему первый камень. По получении в Сенгилее припасов от П.П. Тургенева, ему подарили они второй камень. Третий камень, обделанный в перстень, носил сам Александр Федорович; но когда, после его кончины, Мудров приютил в своем доме вдову его, она подарила этот перстень с третьим камнем — Мудрову. На всех трех камнях резьба была одинакая: небесный шар с звездами; в нем крест; средина креста покрыта вся треугольником, на котором написано по-еврейски имя Божие; сверху шара и креста надпись: «In cruce salus»*; внизу креста две известные в масонстве колонны J. и B. и между ними наугольник и циркуль, в обратном один к другому положении, а под шаром цифры 135. — Тем страннее такое изображение на этих камнях, что персианин был, само собою разумеется, магометанин. — Ныне этот перстень находится у доктора медицины Михаила Константиновича Гульковского[69].

Кроме знакомства с Лабзиным, мне нечего и не о ком больше вспомнить из жизни этого времени. Были и другие некоторые молодые люди, с которыми я чаще других видался, особенно два учителя гимназии: Базилев[70], человек степенных и тихих наклонностей, который после был директором гимназии, кажется, в Оренбурге; и Карниолин-Пинской[71], настойчивый и властолюбивый пройдоха, который после, благодаря своим интригам и ослеплению наших вельмож, умел втереться в люди и пошел далеко: ныне он уже давно сенатором. Об нем я буду говорить при последующей моей жизни в Москве.

*«В кресте спасение» (*лат.*).

Чуть не забыл было еще об одном моем знакомом того же времени: о бедном и больном стихотворце Маздорфе[72]. Он служил некогда в Симбирске частным приставом, но впал в хроническую изнурительную болезнь и принужден был оставить службу. Он жил в крайней бедности; между тем имел жену и детей, не имея никаких способов к жизни, если бы не помогала ему благотворительность некоторых лиц, помнивших его и его честную службу. Но благотворительность эта сопровождалась всегда тайною и осторожностию. Иногда, после посещений нескольких гостей, он находил под книгою два-три полуимпериала, или употреблялись другие средства, так чтобы он не знал, кому обязан. Маленькой, худенькой, с умными глазами и умным разговором, он не унывал, был весел и писал стихи, по большей части басни, которые Каченовский помещал безотговорочно в «Вестнике Европы» и доставлял ему некоторые пособия благотворителей[73]. У него, в его бедном жилище, проводил я иногда приятные вечера в разговорах о литературе.

Все занятия мои в то время состояли в чтении книг, о которых я упомянул выше. Я не оставлял и литературы и кое-что писал в стихах; но все это было так ничтожно, что не стоит и упоминать об этом. Впрочем, некоторые из тогдашних моих стихов напечатаны в собрании моих стихотворений издания 1830 года[74].

Однако литература была тогда в таком ходу и так легко приобреталась известность, что при первом нашем альманахе «Полярная звезда» на 1823 год, в обзоре, написанном Бестужевым[75], не забыто и мое имя. Там сказано: «Полуразвернувшиеся розы стихотворений Михайла Дмитриева обещают в нем образованного поэта с душою огненною»[76]. — Характеристика довольно странная и неопределенная; но что же можно было и сказать о тогдашних моих стихотворениях? И того много, что упомянуто имя. — Но мало этого: в 1823 же году от 28 апреля получил я в Симбирске письмо от издателей этого альманаха, Бестужева и Рылеева (из которых впоследствии первый был сослан, а второй повешен). Они отыскали меня в моем уединении и просили моих стихов для будущей книжки своего альманаха[77].

Я говорю это только к тому, чтобы показать, как ценились тогда и небольшие успехи в литературе. Никто, ни малейшая пиеска в стихах не пропадала без внимания: имя делалось тотчас известным, и это чрезвычайно ободряло молодых писателей. Это просвещенное внимание образованной публики и опытных писателей, под надзором которых, так сказать, беспрестанно находился молодой человек, начинающий свое литературное поприще, налагало моральную обязанность быть чистым и благородным, и в мыслях, и в выражении. Литература была жива и благородна: в наше время Некрасовы были невозможны! Это действовало обратно и на благородство нравов! — Литературные почести ценились дорого авторами; зато и не было

примера, чтоб она миновала писателя, хоть сколько-нибудь заслуживающего внимания, или талантом, или трудом. Так, еще в 1820 году, 1 ноября, Московское общество любителей российской словесности, которого я был сотрудником, единогласно выбрало меня в действительные члены. Эти своего рода отличия придавали силы и труду и таланту. Правда, не могло и не быть лестным — быть, так сказать, присоединенну к избранной фаланге Жуковских, Батюшковых и других. Спрашиваю по совести: к каким нынешним именам было бы лестно быть причисленным? Неужели к именам Афанасьевых, Бессоновых и всей этой демократической шайки, которая считает песни калек перехожих выше Державина![78] — Куда девались вкус и даровитость? Куда девалось благородство помыслов? — Нет! Нельзя нам не уважать нашего времени и нельзя сказать доброго слова о нынешних литературщиках!

Все, что я говорю здесь о литературе, относится более к поэзии, к стихам. Прозы, со времени Карамзина, почти не было. Были рассуждения Мерзлякова, были иногда в журналах отдельные статьи; но собственно изящной литературы в прозе, для чтения публики, не существовало до повестей Бестужева[79] и до романов Загоскина[80]. Бестужев повестию «Роман и Ольга», напечатанной в «Полярной звезде»[81], удивил читателей, и без всякого преувеличения можно сказать, что он был прародитель нашей повести. Правда, писал их в то же время и Булгарин[82], но его повести не имели той силы и живости и той оригинальности в изображении людей и обычаев и в самом рассказе, какие появились у Бестужева. Впоследствии он слишком дал волю фигурным выражениям и не только потерял в мнении читателей красивость рассказа, но даже манера его была почитаема и несколько карикатурною; но сначала нравилась в нем и самая вычурность выражений, как новость и как признак силы, после вялой прозы Измайловых и Шаликовых и после утомительных повестей Клаурена, печатаемых в «Вестнике Европы»[83]. — И потому «Полярная звезда», и особенно повести Бестужева составили эпоху в нашей прозе и вообще в нашей легкой литературе.

Все относительно, все хорошо ко времени и в свое время. «Полярная звезда» появлялась три года сряду; за нею начали появляться «Северные цветы» Дельвига[84], и наконец народилось такое множество альманахов, что недоставало избранных пиес для наполнения их; они упали и прекратились. Но первые альманахи были истинной заслугой нашей литературы, потому что они представляли вместе все лучшее, что выходило в том году: читатели знали, где искать этого лучшего; а поэты и прозаики, прежде разбросанные по журналам, могли безо всякой зависти и без пристрастия со стороны издателей соединять вместе свои произведения[85].

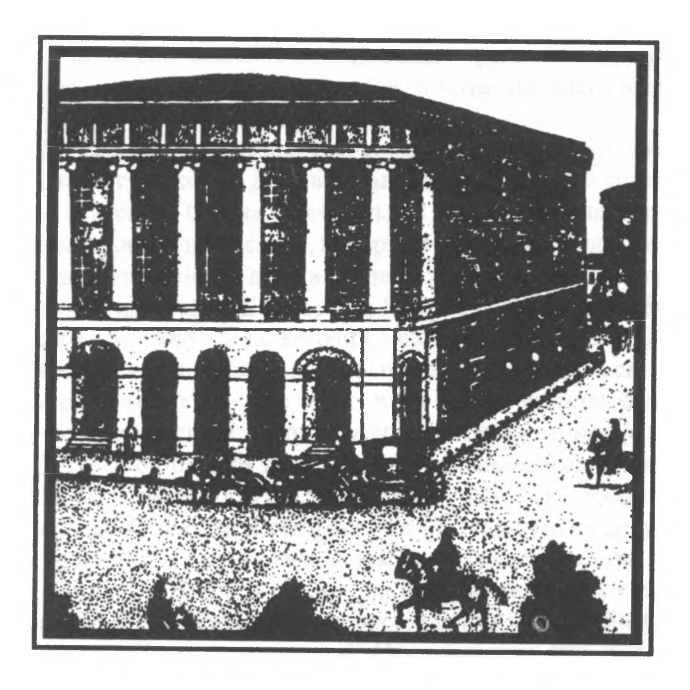
Странно одно, что всегда было и бывает в нашей литературе, да и во всем, что у нас ни делается: это то, что вдруг войдет что-нибудь в моду и сделается

необходимою потребностию, и вдруг к тому же все охладеют, да еще поднимают и на смех то самое, за что прежде стояли грудью! В Германии альманах «Минерва» выходил лет двадцать сряду[86]; а у нас альманахи в несколько лет погибли безвозвратно. Правда, в «Минерве» были превосходные гравюры; но и у нас впоследствии альманахи тоже выходили с гравюрами. Больше винить в этом надобно наше непостоянство, которое в литературе ищет только пустой забавы, а не пищи для ума и воображения. Но довольно об этом.

Пора было отправляться в Москву. Жаль мне было расставаться с местом, которое напоминало мне погибшую семейную жизнь и домашний угол; горько мне было начинать опять жизнь холостую, без цели, без привязанности сердца, между людьми, которым нужен не я сам, а мое общество, покуда оно не скушно.

В Москве нанял я в переулке, идущем, кажется, от церкви Николы в Плотниках на Арбате, дом Грязновой, за две тысячи ассигнациями в год, и возобновил старые знакомства, о которых я еще не говорил; некоторые приобрел и вновь, особенно между молодыми людьми, занимавшимися тогда литературой. Собственно литературная моя жизнь начинается с этого времени. И вообще должно заметить, что с этого времени жизнь моя пошла совершенно иным образом: из тихой и семейной, довольствующейся внутренним чувством, она сделалась более наружною и более общественною; суета и суетность, и литературная, и житейская, потом мелочные заботы службы обхватили меня со всех сторон и увлекли в мир, несообразный природным моим наклонностям; но мы все находимся под властию случая и обстоятельств. Об этом напишу особо. Теперь скажу только мимоходом, что по приезде моем в Москву я получил в конце 1823 года, именно 31 декабря, чин надворного советника, которым мне грозил Малиновской! — Как бы я рад был этому, если бы жива была Наташа! Но теперь некому было и порадоваться в Москве: все вокруг чужое; а в Симбирск я никогда уже не ездил с удовольствием[87].

ЧАСТЬ II



ГЛАВА 10
Московские литераторы ● Театр ● Знакомые дома ● Литературная ссора с князем Вяземским

В доме Долгоруких я познакомился с некоторыми московскими писателями или любителями литературы, о которых не упомянул прежде: с Аксаковым (который не был с ними знаком, как мы, а только играл у них на театре)[1], Загоскиным и Кокошкиным; около того же времени, то есть тоже до моей женитьбы, познакомился и с другими, которые были моложе меня и только что начинали упражняться в литературе: с Писаревым и Павловым[2]. Все они бывали у меня часто, еще тогда, когда я жил во флигеле Голохвастова; по возвращении же моем в Москву, в конце 1823 года и в следующих годах, я сблизился с ними еще более. И потому нахожу приличным говорить о них теперь, когда, лишенный семейной жизни, я более прежнего предался литературе. Скажу о них о каждом особо.

Аксаков, Сергей Тимофеевич, был тогда более известен по своему сценическому таланту, который действительно, и по природной способности к сцене, и по искусству, был на замечательной степени совершенства: он родился быть актером и изучил сцену, как артист[3]. Но в литературе он был тогда не только мало известен, но даже в пренебрежении, кроме некоторого внимания в кружке приятелей. Его перевод Лагарпова «Филоктета» был известен только по приговору Греча, который в библиографии «Сына Отечества», вместо всякого суждения, поставил под его заглавием полустишие Вольтера: «Philoctète, est-ce vous?»*[4] — Еще между нами был он известен довольно топорным переводом десятой сатиры Буало «На женщин», которую, по тогдашнему обычаю, он отчасти переделал на так называемые русские нравы. А переделка была такова, что он даже включил в нее свадебный контракт, которого у нас не бывает; да и контракт этот пишут у него нотариус вместе с подьячим из палаты: и вся эта гиль в нравах и судопроизводстве никому не бросалась в глаза![5] — Несмотря на это, он имел, в отношении к литературе, и тогда большое достоинство; именно: строгой вкус и чрезвычайную верность в оценке литературных произведений. Стихотворение или драматическая

*«Вы ль это, Филоктет?» (*фр.*).

пиеса, прошедшие через его строгую цензуру, могли быть уверены или в своем достоинстве, или в вернейшем указании всех недостатков. В этих изустных критиках он обнимал и целое произведения, и все его подробности до малейших оттенков, и в худом, и в хорошем. Это достоинство, вместе с тем, что он был человек уже семейный, и вместе с его приветливостию, делали, что он был центром тогдашних литературных наших сходок, между нами, молодыми еще людьми и почти бездомовными. Действительно, Писарев и Павлов были тогда почти мальчиками и не имели своего угла; я хотя был и старее их, но все-таки гораздо моложе Аксакова, и хотя жил в особом наемном доме, но один, без семейства; а Кокошкин, всех нас, и Аксакова, гораздо старее, хотя имел огромный каменный дом[6], но был вдовец и жил с старухою своею сестрою[7]. У него бывали большие обеды[8]; но кроме их его нельзя было застать дома. Один Аксаков был человек домовитый. Хотя все его семейство состояло тогда только в жене и маленьком сыне, Константине[9], но его всегда можно было застать дома, и потому он был верным нашим прибежищем, где всегда нам можно было встретиться друг с другом.

Он жил тогда под Новинским, против весов, во флигеле г-жи Несвицкой[10]. Его небольшая угольная гостиная оглашалась всякой вечер чтением новых стихов, разговорами и спорами о литературе, и об одной литературе! — Он не был еще заклятым славенофилом[11], не составлял еще вокруг себя партии людей исключительных и ненавистных к чужим мнениям и не был еще знаменем, под которое выросший сын его Костинька стал собирать шайку либералов и преобразователей, от крика которых тряслись стены и которые не пускали в свой круг ни одного здравомыслящего, умеренного и неединомысленного с ними человека. Да и Сергей Тимофеевич, не прославленный еще как друг людей, хотя и говорил громко, по силе своего органа, но еще не горланил и не почитал себя светилом народности. Об этом будет сказано в своем месте.

Загоскин, Михайла Николаевич, был и тогда уже (1820—1823) известен своими комедиями; но романов он еще не писал. По одной из его комедий его прозвали *добрый малый*; и действительно, он был очень добродушен[12]. Ума в нем большого не было и просвещения тоже, в литературе он был недалек; но его непритворная веселость и в комедиях, и в обращении, особенно его простодушие, делали его очень добрым и приятным товарищем. Ему везде были рады; иногда над ним и посмеивались; но он или не замечал этого, или отшучивался и никогда не сердился, разве когда согласятся нарочно рассердить его: тогда он был очень забавен. На это был Аксаков особенно мастер! Он — с своим лукавством русской простоты — так умел выставить неподдельную простоту Загоскина, что он на одном часу и горячился,

и утихал, и сердился, и дружился, и все вокруг хохотали: это были настоящие комические сцены.

Загоскин не учился ничему, кроме русской грамоты. По-французски выучился он уже в зрелом возрасте и избрал престранную методу; а именно: он выучил наизусть весь французской словарь Татищева и во всю жизнь не догадался, что надобно поучиться грамматике. И потому не было, я думаю, слова, которого бы он не знал; а говорил по-французски уморительно смешно. Притом же путался и в роде слов; говорил: un femme и le maison[13]. Но перечитал и на русском, и на французском языке множество книг: романов, комедий, трагедий и путешествий. Глубже этого чтения он не опускался и по большей части почитал вздором все, чего не понимает. Но при его терпении и памяти все прочитанное приносило ему пользу. Одну «Историю о странствиях вообще» в русском переводе[14] перечитал он несколько раз и заимствовал из нее много сведений о всех частях света и народах, в них обитающих.

Как пример его терпения можно указать на то, что, не имея аттестата, по указу 1809 года, и долго оставаясь титулярным советником, он решился держать экзамен в асессоры[15] и для этого принялся учить наизусть статистику, и еще что требовалось, и выдолбил все это на память, хотя и не получил надлежащего сведения в тех науках. Как он умел при этом процессе пустить в ход одну память, без методы, без системы, без применения к мыслящей способности, это просто психологическая задача; да и сам он был психологическою задачей.

Пока он не разбогател от своих романов, он был очень беден и, будучи женат на побочной дочери Дмитрия Александровича Новосильцева[16], жил у него в доме, в мезонине, где кабинет его был за перегородкой, с одним окном и составлял какой-то узкой коридорчик. В нем был у окна письменный стол, занимавший почти всю ширину кабинета, у противоположной короткой стены диван; и несколько стульев. Но и тогда была уже у него хотя и небольшая, но достаточная библиотека, составленная из русских авторов и из французских маленьких и дешевых стереотипных изданий их классиков; между тем как у Аксакова, ни в это время, ни после, никогда не было ни одной книжки. Я думаю, право, одни наши русские литераторы могут пробавляться только тем, что попадет под руку! — Загоскин нигде и ничему не учился; а Аксаков, это известно из его «Воспоминаний», был и в гимназии, и в Казанском университете, и ничему не выучился![17] — И оба были писателями и заслужили справедливую славу! — Чудеса, которые, опять скажу, только и бывают на Руси! — Загоскин был просвещеннее Аксакова; но — вот что значит ум! — Аксаков казался имеющим более его литературных сведений! — Он имел искусство обходить в беседе все, чего не знает, и держать разговор на знакомой почве; между тем как Загоскин вляпается, бывало, и в прения о

философии и рассмешит всех или своим невежеством, или карикатурным презрением к науке! — Но Загоскина любили за то, что он был весь наружу; а Аксаков был себе на уме, лукав, льстив, скрытен и заочно не таков, каким казался в глаза. Аксаков, однако, почитался у молодежи и у актеров знатоком в литературе, а Загоскин, хоть и писатель, только аматёром![18]

Чтобы не прерывать рассказа, скажу, что Загоскин вдруг разбогател после своего первого романа «Юрий Милославской» (1829) и второго, «Рославлев»[19]. Первый действительно удивил всех. Я помню, что на одном чтении нескольких глав из не напечатанного еще «Юрия Милославского» все восхищались и хвалили автора; а одна дама сказала ему с восторгом откровенным: «Мы, Михайла Николаевич, не ожидали от вас этого!» — «Право? — отвечал добродушный Загоскин. — Я и сам не ожидал!»[20] — Но забавно то, что Загоскин был давно уже в славе, и в большой славе, как тесть его Новосильцев, человек умный, надменный и смотревший на Загоскина свысока, никак не хотел верить его громкой известности; и Загоскин обижался этим, как ребенок!

Однако наконец нельзя было не поверить: Загоскин купил большой и прекрасный дом, большую и прекрасную дачу в парке, завел хороший экипаж и верховую лошадь: и все это, как говорили, улыбаясь, скептики, нажил своим умом![21] — Наконец он переехал от Новосильцева в свой собственный дом и в первый раз в жизни зажил барином.

Кабинет у него уже был огромный, превращенный из залы; библиотека увеличилась тоже до больших размеров и наполнилась даже очень дорогими изданиями. Конечно, это должно было быть ему очень приятно, потому что все это он нажил своими трудами, своими сочинениями. Он и тут не поднимал носа, но сделался как-то самоувереннее и величавее!

Надобно сказать еще в похвалу Загоскина, что он был человек очень религиозный. Религиозность его состояла более в чувстве; а это самое лучшее. Но нельзя сказать, чтобы он не вдавался иногда, по-своему, и в исследование представляющихся в ней вопросов: ум его был недостаточно силен для их разрешения, образованность также не была достаточна, и потому он иногда подвергался почти мучительному состоянию духа, желая проникнуть в тайны христианства, а еще больше в тайны духовного мира. Иногда это доходило даже до смешного. Однажды я замечал в продолжение нескольких дней, что он против своего обыкновения невесел. На вопрос мой он отвечал: «Грустно, братец!» — «Отчего же грустно?» — «Да есть отчего: все думаю, что такое в нас душа? У всех ли она одинакая, или у всех розные? Ежели розные, то за что же иному дана умная и добрая, а другому глупая или злая? А если у всех одинакая и все зависит от грубости или нежности мозга и других органов; то хорошо, как ее посадят в светлую голову, как, например, у нас с тобой: ей там светло и просторно! А то посадят ее в какую-нибудь, где ей и темно и тесно;

да она же и отвечай! Грустно, братец!» Оно смешно; но доказывает, что его занимали и даже мучили метафизические и религиозные вопросы первой важности! — Ему разрешишь, бывало, как-нибудь полегче, хоть и не совсем удовлетворительно; и он после этого успокоится! Аксаков, при всем своем уме, был человек другого рода: он был совершенно чужд миру духовному, не любил этих предметов и не ломал головы над вопросами высшего разряда![22] — Для него были гораздо существеннее карты; а самый высший интерес составляла для него постановка на сцену какой-нибудь комедии!

Федор Федорович Кокошкин был гораздо старее даже и Аксакова. Было время, когда он был если не в славе, то в большой известности. Он был человек богатый; женат на дочери Ивана Петровича Архарова[23], почти вельможи, принадлежал, до французов, к светскому кругу, был коротко знаком с тогдашними литераторами, особенно с Мерзляковым, и сам был не последним писателем[24]. Главную известность его в литературе, уже после 1812 года, составил перевод в стихах Мольерова «Мизантропа»[25]; и этот перевод — ныне сказали бы: недурен, а может быть, и дурен, но тогда был действительно хорош: это был литературный подвиг! — Конечно, время на время не приходит, однако странно, когда подумаешь: в то время действительно были таланты первой степени, например: Дмитриев, Жуковской, Батюшков и другие; а всякой труд в литературе, всякое дарование имело цену! А теперь, при совершенной скудости талантов, при нищенской бедности нашей литературы, при полном отсутствии основательных в ней сведений, ничем, никаким трудом, никаким дарованием, не заслужить похвалы и известности. Никто ничего не читает; а литературные судьи наши, обор и поддонки литературы, не дают цены ничему: все у них мало и ничтожно; подавай Шекспиров, подавай гениев![26] — «Милостивые государи! — сказал бы я им. — Да вы-то сами что такое? Да если б, на беду вашу, были теперь у нас не только гении, а хоть прежние таланты, вы бы и пикнуть не смели!» — Презренное время и презренная литература, когда все в пренебрежении и возвышают голос одни бездарные писаки, из задних рядов общества, потому что в передние их не пускают!

Итак, Кокошкин был известен переводом «Мизантропа» и некоторыми стихотворениями; кроме того, он имел большую сценическую славу как превосходный актер; еще был известен как искусный чтец и декламатор. Его чтение, правда немножко напыщенное, было, однако, при его громком и гармоническом голосе, при его искусных инфлекциях[27], превосходно и могло дать цену даже и посредственному произведению поэзии. О сценическом его таланте нечего и говорить: он изучил сцену, как знаток; изучал роль, как художник, и был на сцене свободен, как дома. Одно только надобно заметить, что он и до натуры доходил посредством искусства. Но орган его

был таков, что даже речь, сказанная шепотом, была слышна внятно. Эти достоинства: талант литературный, сценический и прекрасное чтение, вместе с богатством и принадлежностию к хорошему кругу, давали ему большую известность и некоторый вес в обществе.

Он имел большой каменный дом на углу Вздвиженки, против Бориса и Глеба[28]. В то время, как я с ним познакомился, он был уже вдов и жил вместе с своею сестрою, пожилою девицею Аграфеной Федоровной. Он часто бывал у Аксакова; бывал и у меня, еще тогда, как я жил на Тверском бульваре, во флигеле у Голохвастова, то есть еще до моей женитьбы. Сколько приятных летних вечеров провел я там на большом квадратном балконе в обществе Кокошкина, Аксакова, Загоскина и других, и предметом наших разговоров, суждений, иногда и споров была литература, одна литература, которая была тогда еще в уважении и считалась не пустою игрушкой, а делом!

Александр Иванович Писарев был всех нас гораздо моложе: он около этого времени (1820) только что вышел из университетского пансиона, где был из числа первых воспитанников. Но в то время пансион не имел уже тех прав на славу, как во времена Жуковского, даже, если не ошибаюсь, не мог сравниться и с нашим временем. Самые лучшие его воспитанники были уже не с основательными, хотя и немногими, знаниями юноши, а выходили какими-то заносчивыми детьми. Много способствовал этому бывший в нем инспектором Иван Иванович Давыдов. — Сам он был человек с большими сведениями в языках и науках: он знал языки греческой и латинской и многие из новейших; присвоил себе почти весь круг наук, от грамматики до высшей философии; но при всем этом был человек неосновательный, любивший наружный блеск и, так сказать, хватать верхушки, переходя и в философии от убеждения к убеждению. Это было тем страннее при его положительных и довольно глубоких знаниях. Это доказывают и его пустая пробная лекция, и его книжка, содержащая историю философии, в которой пропущена безделица: вся история гностицизма и Александрийская школа[29]. Я тогда говорил ему об этом. Из его слов я узнал, что тогда эти две школы он не почитал еще важными, а убедился после. Но дело в том, что он следовал в своей книжке истории Дежерандо, которой было тогда выдано еще только первые четыре тома, в которых он не дошел до времени этих двух систем[30]. Я помню, когда появился курс философии Кузеня[31], Давыдов пристрастился к эклектизму, как будто увидел новый свет. Я, при моем небольшом знании философии, удивлялся этому и говорил ему, что эклектизм в философии есть ложь, и доказывал это тем, что всякая система философии держится своим принципом и есть не что иное, как вывод из этого принципа; а система, которая выбирает из разных, не может быть системой философии, потому что должна состоять из различных принципов. Его ни-

что не убеждало! — Во время Писарева, а особливо следовавшим после его воспитанникам, Давыдов, вместо положительных сведений, набил голову философией Шеллинга и многих почти свел с ума[32], а всех вообще сделал умствующими неучами. Писарев, по своему живому и острому уму, ускользнул от этой Сциллы и Харибды, но и он имел чрезвычайно мало сведений: все они ограничивались русской и французской литературой; немножко, как и в наше время, знал он по-латыне и ни слова не знал по-немецки! — А между тем время уже подвинулось далеко вперед; знаний 1812 года и годов, за ним вскоре следовавших, было уже недостаточно. Мы почувствовали это еще в университете и пустились догонять время; а Писарев, не бывший в университете и выпущенный десятым классом прямо из пансиона[33], лишился этим средств себя усовершенствовать.

Но талант его к стихотворству обнаружился рано и достиг скоро некоторой силы. Главное дарование имел он к лирической поэзии и к сатире; но склонность повлекла его к театру. Я вижу доказательство этому в его прекрасных стихотворениях «Элегия на берегах Дона», «Бедринское озеро» и «Марий на развалинах Карфагена»[34]. А в драматическом роде хотя он писал много, но не написал ничего особенного. Его комедии: «Поездка в Кронштадт» есть переделка французской, «Voyage à Dieppe»; его «Лукавин» — подражание Шеридановой «Школе злословия», которую он переделал по переводу И.М. Муравьева-Апостола[35]; все его водвили переделаны из французских. В них его собственное — только куплеты, которые чрезвычайно остры и даже злы: это последнее, вместе с двумя посланиями[36], свидетельствует неоспоримо о его сатирическом даровании. Но Писарев любил чрезвычайно славу и принимал за нее восторженные похвалы Аксакова и актеров; ему нужны были и деньги, по его бедности, а за водвили брал он с бенефициантов по двести рублей ассигнациями. Эти две причины держали его на драматическом поприще; а на водвилях он истратил и талант, и молодые силы — из денежной необходимости!

В доказательство необыкновенных дарований Писарева скажу следующее. Я говорил уже, что он совсем не знал по-немецки. Слыша от меня о Шиллере, он попросил меня однажды перевести ему на словах стихотворение его «Das Siegesfest»; я должен был перевести его и протолковать ему два раза сряду. На другой же день он принес мне на лоскутках прекрасный перевод этих стихов, под названием «Торжество победителей», который был несколько раз напечатан[37]. Он, пришедши от меня домой, принялся отыскивать в словаре все немецкие слова стихотворения и составил смысл по памяти моего перевода на словах. Он от природы получил большие дарования, которые истратил на мелочи; а память его была нечто изумительное. Он никогда ничего не забывал, а если в своих театральных пиесах вычеркивал целое явление или

переносил его на другое место, это так врезывалось в его память, как будто было перестановлено на бумаге. Его захвалили, избаловали похвалами и погубили даровитую природу!

Надобно сказать по правде, что кто ни попадался под руководство Аксакова с его широким горлом, кого он ни начнет, бывало, превозносить и прославлять, тот непременно свихнется! Это случилось и с Писаревым! — Его превознесла эта компания Аксакова и Кокошкина, вместе с актерами, и прославила в своем кружке как гениального остроумца, как поддержку Московского театра, и Писарев, и без того гордый своим талантом, возмечтал, что ему нет равных ни по остроумию, ни по таланту драматическому. Годы проходили; а он оставался на водвилях и забавных куплетах: ему некогда было очнуться от курений славы! — Что же заставляло так баловать его и без того безмерное самолюбие? Аксаков хвалил не даром: Писарев и сам превозносил его как первого знатока литературы и театра, как Мецената[38] и как самого простодушного русского человека; таким образом, мало-помалу, с помощию актеров, составилась целая партия приверженцев, и Аксаков стоял на каком-то пьедестале. Не имея никаких прав и служебной силы по театру, наконец, когда Кокошкин сделался директором[39], Аксаков совершенно завладел им, раздавал славу актерам и определял достоинство пиес. Он всегда любил и всегда умел набирать себе партию и, не имея никакой власти, делаться, однако, властию и силою. Это все вместе было сцеплением пружин, которыми действовал Аксаков. А Кокошкин превозносил Писарева в полной простодушной уверенности, что это будущий великий драматической писатель! — Один Загоскин, по простоте души своей, видел в нем талант, но видел и пустоту его направления, и давал ему ни более ни менее как настоящую цену![40] — За то он и не избегал едких насмешек Писарева![41] Вот пример.

Загоскин очень поздно начал писать стихами и всегда ошибался в мере. Слух его не докладывал ему никак о количестве стоп; и потому сначала считал он их по пальцам, а потом нашел средство удобнее: он клал лист белой бумаги и на нем означал стопы числом черточек. Если ошибался в счете, [то] и стих выходил, по большей части, семистопный. Однажды Писарев, застав его за этим трудом, подвернулся к нему и протянул руку со счетами. «На что это?» — спросил Загоскин. «По косточкам легче считать стопы!» — отвечал Писарев.

В другой раз он говорил, что хочет собрать знакомых литераторов, чтобы предложить им вопрос: «Круглый ли дурак Загоскин или просто дурак?» — И Аксаков хохотал над подобными выходками и ободрял их, считаясь, однако, другом Загоскина, потому что у него слова *«друг»* и *«приятель»* были одно и то же и оба ничего не значили; кто с ним поведется, тот и друг!

Писарев был от природы зол и завистлив. Он ненавидел Грибоедова и князя Вяземского: первого за то, что превозносили его рукописную комедию «Горе от ума»; а второго за то, что превозносили его остроумие, а он никому не хотел уступить в этой способности ума и, уверенный в том восклицаниями Аксакова, почитал себя первым остроумцем. Пушкина он терпеть не мог и не хвалил ни одного из его произведений, ни одного стиха не находил хорошим, с той задней мыслию, что он мешает его славе! Когда вышла первая глава «Онегина»[42], мы все восхищались этою новостию, этою простотою сюжета, в котором Пушкин нашел столько живых картин и жизни в изображении самых мелочей светской жизни, не говоря уже о красоте стихов. Писарев находил сюжет пошлым, а начало поэмы о болезни дяди почти преступным; стихи находил он не более как болтовней! Даже и меценаты его Кокошкин и Аксаков уже спорили против Писарева; но зависть была сильнее убеждений: он сердился, бледнел и оставался при своем.

Скажу уж заодно всю судьбу его. Когда Кокошкина сделали директором Московского театра (о чем будет ниже), он приютил Писарева в какой-то неважной должности, для того только, чтобы давать ему жалованье. Здесь Писарев бывал всякое утро на репетиции и всякой вечер за кулисами, совершенно погрузился в этот обольстительный для страстей Пандемониум[43]. Он въелся, так сказать, в актерские нравы, оставил порядочное общество и вошел в связь с молоденькой и хорошенькой актрисой Леночкой Ивановой[44]; Кокошкин, снисходительный театральный благодетель, позволил ему из крошешной комнаты в его доме переехать с этой девочкой в другой его дом, бывший с угла на угол с тем, в котором он жил, и дал ему несколько комнат. Там худой и горячий Писарев сперва блаженствовал, потом совсем истощился в силах, исхудал и побледнел больше прежнего, получил чахотку и, кажется, в 1828 году умер 27 лет от роду.

Как странно это, когда подумаешь, что слава тоже имеет свою судьбу; тоже и на нее есть своего рода счастие! Писарев, неоспоримо, имел большой талант, и если бы он умел употребить его на нечто постоянное, он мог бы дойти до замечательной степени; то, что он написал уже, его немногие лирические стихотворения и комедия «Лукавин» сами по себе заслуживали известность; если прибавить к этому, как его прославляли приятели и как часто имя его гремело на театре: кажется, как бы после этого быть забытым? А теперь, по прошествии тридцати пяти лет, да и давно уже, никто об нем не помнит! Когда назовешь Писарева, все думают, что говоришь или о бездарном Иванчине-Писареве, или о глупом сочинителе «Военных писем» генерале Писареве![45] — Что же после этого талант, а еще более что же наши приятельские прославления? — Нет! и на славу есть счастие! Поневоле вспомнишь куплет Княжнина:

Счастье строит все на свете,
Без него куда с умом!
Счастье ездит и в карете,
А с умом идешь пешком![46]

А может быть и то, что Бог унижает гордость! — Недавно я был у Погодина и смотрел его галерею портретов[47]. Кого тут нет! — Все мы, хоть сколько-нибудь известные в литературе! — А Писарева портрета не отыскалось нигде, и потому нет его между другими писателями! — Даже тетрадь стихов его пропала. Я был у него дня за два до его смерти; она лежала на столе, подле его постели: по кончине его ее не отыскалось нигде, и никто не знает, куда она делась! — Таким образом, и память об нем погибла! Из стихов его остались только те немногие, которые были напечатаны.

В то же время (1820 или 1821) я познакомился и с Павловым, который вместе с Писаревым жил тогда у Кокошкина. Оба они были еще очень молоды, лет осьмнадцати, и жили в небольшой и длинной комнате, с одним окном, вход в которую был из залы. В ней стояли две их кровати, два-три стула и два столика. Мы звали их тогда *пуерами*, от латинского слова puer, мальчик; а комнату их называли *пуеральной*: так они еще были молоды. Здесь Писарев написал большую часть своих водвилей и две комедии; а Павлов перевел стихами трагедию Лебрюна «Мария Стуарт»[48]. Кстати сказать, как странный случай, что 19 ноября 1825 года, день кончины в Таганроге Императора Александра Павловича, в Москве давали эту трагедию, и вся сцена, представляющая траурную комнату, была обита черным сукном. Оба они часто видались со мною, и навещали меня, и обедали у меня, и их общество, как молодых людей очень умных и занимающихся литературой, было для меня всегда очень приятно.

Павлов был и тогда, в юности, других свойств. Он был говорлив, смел, но более умен, чем остер, и вообще осторожен и прекрасного тона. Где он приобрел его, непонятно; но справедливость требует сказать, что хоть он учился в Театральной школе[49], но не любил якшаться с актерами, как Писарев. Он искал, напротив, знакомства с людьми хороших фамилий, хорошего воспитания и вообще с людьми светскими. Не знаю как, он познакомился и с князем Вяземским[50]. Писарев упрекал его в этом, как в желании прильнуть к известности; но это было несправедливо. Павлова влекла именно чистота образованной и светской атмосферы. Может быть, в этом был и расчет; но расчет самый благородный: желание образовать собственное обращение, собственный тон и поставить себя на приличную ногу. Павлов так успел в этом, что вскоре он явился и в свете, танцовал на балах с светскими дамами и даже, говорят, наконец, имел и некоторые связи, которые он,

однако, скрывал тщательно и не только не хвастался ими, но поступал так, что они были и незаметны. Писарев упрекал его нередко благородными интригами, но ни он, ни всезнающий Аксаков никогда не могли указать ни на одну. Я сказал: «всезнающий Аксаков», потому что он как-то всегда знал о знакомых всю подноготную; как он умел это, не знаю; но знаю, что не было никого из нас и наших общих знакомых, о ком не знал бы Аксаков всех подробностей его жизни. Это тем страннее, что сам он совершенно не принадлежал к какому-нибудь кругу, кроме нашего самого тесного круга, да еще актеров. Однако случалось, что вдруг открывается у него знакомство, которого мы не подозревали. Так однажды (это было уже в царствование Николая Павловича) я совершенно неожиданно нашел у него в кабинете жандармского генерала Перфильева[51]. Однако и он не знал связей Павлова; а они были.

Павлов держал себя всегда чрезвычайно благородно. Так, во время литературной моей ссоры с князем Вяземским, в 1824 году (о чем будет сказано после), когда все пишущие разделились на два враждебные стана, Павлов продолжал знакомство со мной, но не скрывал от меня, что он видается и с Вяземским.

Происхождение его было довольно странное. Мать его была какая-то княжна из Грузии, которая воспитывалась при персидском дворе (стало быть, в гареме шаха) и, будучи еще девочкой, попалась в плен к русским. Это было во время похода в Персию графа Валерьяна Александровича Зубова[52]. По возрасте ее она вышла замуж за крепостного человека г-на Грушецкого, Филиппа Павловича Павлова. Ее выдали за него обманом, в котором участвовал и граф Зубов, уверив ее, что Павлов есть лицо, имеющее значение. — Впоследствии он был отпущен на волю и был московским купцом. У них было два сына: Николай и Павел, и дочь Клеопатра[53]. Все трое воспитывались в Театральной школе: по какому-то случаю им покровительствовал Ф.Ф. Кокошкин. Павлов, будучи еще воспитанником школы, играл на Московском театре в «Меропе» роль Эгиста, в «Танкреде» Нерестана[54] и другие. Потом поступил он в Московской университет, где и кончил курс по словесному факультету. Вскоре по выходе из университета он, зайдя далеко в юношеской шалости, женился на воспитаннице Самариной, Анне Николаевне, которая, однако, вскоре умерла. Но когда я узнал его, он еще женат не был[55].

В похвалу Павлову надобно еще прибавить, что из всех известных мне и мне знакомых людей равного с ним происхождения в нем одном нисколько не было его заметно. Вообще в этих людях остаются какие-то подлые черты, привычки и ухватки и ненависть к дворянству: они и льнут к высшим лицам, и чуждаются их круга. Павлов, напротив, усвоил себе свободу и спокойствие в обращении с людьми высшего звания и тот благородный тон, который дается

только привычкою к нему с малолетства. Он везде находил и знал свое место и держал себя ни выше, ни ниже той ватерлинии, которой держатся люди, привыкшие к свету и плавающие в водах, им сыздетства знакомых. А эта наука — не шутка: она одна дает вход в хорошее общество и удерживает за человеком место, как будто принадлежащее ему по праву. И потому Павлов умел приобрести полное право быть в хорошем и даже высшем московском обществе.

Разговор его всегда отзывался немножко декламацией, правда почти незаметной; но всегда был полон мысли: даром он не говорил даже и шутки. В спорах была у него всегда крепкая логика. Притом он впоследствии старался образовать свой ум дельным и основательным чтением, не пускаясь, впрочем, подобно многим из нас, современников, в головоломные трактаты Шеллинга и Оккена.

Гораздо уже спустя после времени, которое я теперь описываю, именно в 1835 году, он сделался очень известен, напечатав «Три повести»[56]. — Вот в этих-то повестях показал он несколько антагонизм, отчасти напоминающий его происхождение; но антагонизм не собственно к дворянству, а к аристократии, которой нравы он так хорошо и верно изучил в свете. Доказательством же, что он не был никогда противником высшего класса, служит то, что он все-таки в нем видел и просвещение, и более чистые нравы: русским народом он не только никогда не восхищался, как Аксаков с своими чадами и домочадцами, но всегда с негодованием и презрением отзывался о его черноте, о его грубых нравах и пороках.

(Только что я кончил рассказ о Павлове, как получил известие о его кончине, последовавшей 29 марта 1864 года, в воскресенье, половине 9-го часа, вечером.)

Надобно сказать еще об одном человеке, который тоже в это время часто видался с нами, хотя и не был в собственном смысле близким нашим приятелем. На него мы смотрели как-то как на пришлеца, как на чужого: никто с ним не ставил себя на равную ногу, и никто не был с ним вполне откровенен; да он по своим свойствам и не заслуживал этого.

Я говорил, что в Симбирске был у меня знакомый, учитель тамошней гимназии Матвей Михайлович Карниолин-Пинской. Он был олицетворенная тайна, пронырливость, настойчивость в разных проделках, неблагодарность и злобная мстительность; словом: человек опасный, с которым лучше всего было не сближаться. Он был хорош собою, то есть имел свежее румяное личико, как на вербах херувимы, кудрявые черные волосы, высок ростом, но сутул и с поднятыми плечами; одним словом: Антиной на туловище дромадера[57], и большой победитель красавиц низкого класса. Его ничто не останавливало: ни знакомство с хорошим домом, ни условия уважения; впро-

чем, он мастерски скрывал свои проделки. Я говорил уже, что в Симбирске учители гимназии, если они сколько-нибудь были приличны, были принимаемы в лучших домах очень радушно и принадлежали к обществу. Сколько раз случалось, что он, проведя вечер с почтенной хозяйкой дома, уводил к себе на квартиру ее горничную. Он присватался так к дочери одной небогатой вдовы, Авдотьи Ивановны Паскевичевой, и сказывал, что ему дали слово. Но той же невесте сделал формальное предложение комиссариатской полковник Рогачев: эта партия была выгодней, и она вышла за Рогачева[58]. Пинской, надеясь на свою красоту и искусство и пользуясь двусмысленной репутацией матери, придумал совершить над матерью и над дочерью такого рода преступное мщение и, по совершении, обеим им сделать это известным, что при одной мысли о том волосы становятся дыбом! Но скорый отъезд из Симбирска в Москву не допустил его до совершения задуманного плана. Он сам мне открыл это в Москве и клялся, что исполнил бы его, если бы не помеха отъезда!

Выслуживши в гимназии срочные годы[59], он не знал, куда деваться. В это время, в 1823 году, один богатый симбирской помещик, Иван Степанович Кротков[60], вздумал, будто для лечения своей жены Катерины Васильевны, а больше для ее удовольствия, ехать в Париж и пригласил с собой Пинского в качестве учителя для их детей. Но, с приездом в Москву, Катерине Васильевне и Москва показалась Парижем, и путешествие не состоялось; а Пинскому отказали.

Пинской остался и без денег, и без надежды вперед, при одном черном фраке и камлотовой шинели с полинялым зеленым бархатным воротником. Надобно было служить. Он бросился ко мне; но я не мог оказать ему покровительства, а сделал, что мог: познакомил его с Кокошкиным, который в это время был уже директором театра и имел некоторую силу при генерал-губернаторе. Пинского определили в его канцелярию, но без жалованья, а оно-то и было ему нужно. Мы с Кокошкиным придумали еще поместить его учителем в Театральную школу[61], где было хорошее жалованье; а служба считалась бы в канцелярии.

Итак, Кокошкин был первый его благодетель. — Как же он отплатил ему? — У Кокошкина была давно на содержании определенная им после на театр и оказавшаяся даровитой актрисой Марья Дмитриевна Львова-Синецкая[62]. Ее, еще молодую девушку, продала Кокошкину ее тетка, купчиха. — Она была очень хороша собой, а главное, благородного лица и прекрасного, скромного обращения; Кокошкин же и с молодости был не хорош, а в это время был уже старик, смотрел каким-то величественным грибом и вдобавок еще румянился. Но, несмотря на это, Синецкая была ему верна и,

несмотря на свое двусмысленное положение, так умела держать себя, что под конец и на Кокошкина она же набрасывала какую-то тень уважения.

Кокошкин в старости начал изменять прежней своей связи, и замечали, что он пристрастился к дрянной актрисе и дрянной женщине, Потаньчиковой[63]; но разрыва не было. Пинской воспользовался этим, насплетничал Синецкой, увеличил в глазах ее вину Кокошкина и добился того, что вошел сперва в связь с Синецкой, а потом их поссорил. — Они расстались, а он жил на деньги Синецкой. В это время обер-прокурор Дегай, сделавшись директором департамента министерства юстиции, пригласил Пинского служить в его департамент в Петербург[64]. Пинской уверил Синецкую, что на ней женится и что, как скоро устроится в Петербурге, потребует ее к себе; а для большей верности обручился с нею по форме, предписанной церковию. Я это знаю наверное, потому что об этом сказывал Загоскину дьякон, бывший при обряде обручения. Но Пинской забрал у Синецкой денег и уехал с ними в Петербург; она ждала уведомления, а он женился на побочной дочери князя Ивана Алексеевича Гагарина и актрисы Семеновой, на которой Гагарин был потом женат. С женою, которую обирал деньгами, он почти не видался, уезжал рано, пока она спала, и приезжал поздно. Наконец она его бросила; а он завел с нею постыдный процесс, который срамил их обоих и кончился ничем[65]. Дегаю тоже он отплатил худо.

И все это основывалось на какой-то своего рода мстительности, которая была в характере Пинского и которая для меня необъяснима, как одно из немногих психологических явлений. Он сам несколько раз говорил мне, что благодарность есть для него самое унизительное чувство; что всякой раз, когда он встречается с человеком, сделавшим ему добро, ему представляется, что этот человек имеет право требовать от него благодарности; что он его непременно возненавидит и непременно сделает ему зло. Так поступил он и с Кокошкиным. Мне хотя он и не сделал зла — может быть, потому, что не успел, — но неприятности разные делал!

Не правда ли, что эдакого характера не встречается даже и в тех ужасных романах, в которых играют роль мстительные сицилианцы! — Когда я был уголовным судьею, а Пинской уголовных дел стряпчим, он настаивал всегда на строгости наказаний, на увеличении наказаний и вообще был жесток к подсудимым. «Чего жалеть их, — говаривал он, — я помню, когда еще я был мальчиком, в Смоленской губернии[66], меня секали вишневыми розгами. Я за это мщу этим мошенникам!» — Но по службе, кроме интриг, он был человек честный, то есть взяток не брал![67] — В Петербурге разбогател он, взяв на себя какую-то миллионную опеку, с дозволения, впрочем, Государя Николая Павловича. После он сам был директором департамента; нынче этот мерзавец в больших чинах и находится там сенатором[68].

Из всех из нас один Аксаков превозносил Пинского, а за ним и Писарев, оба по ненависти к Кокошкину, и оба говорили: «Славный малый этот Матвей!» — Кокошкина же они возненавидели будто за Синецкую; а более за то, что он не совсем дался в их руки: отмечал иногда тех актеров, которых они не любили, иных, правда, и бездарных, например, Максина и Виноградского[69], и не всегда отдавал справедливость их любимцам. — Кто не знает внутренней закулисной театральной жизни, тот не может и поверить, что это за чертоги и что за интриги: это именно какой-то Пандемониум!

Не помню, кажется, в 1822 году Московской театр поступил под главное начальство генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына[70]. Кокошкина сделали директором, а Загоскина членом конторы, по хозяйственной части. Это время можно назвать периодом процветания Московского театра, не по произведениям драматическим, а по выбору отличнейших актеров. Кокошкин был мастер этого дела: он умел угадывать и отыскивать сценические таланты; умел и способствовать к их образованию. Правда, говорили о нем, что будто он молодых воспитанников школы или молодых людей, вступающих на театр, учит, как птиц, с голосу[71]; но доказательством несправедливости этого упрека служит то, что ни один из них не перенял его декламации: он только развивал природную способность каждого. В короткое время появились на сцене: Щепкин[72], Львова-Синецкая, Сабуров в водвилях и в ролях jeune premier[73], Рязанцев[74], превосходный в ролях слуг, молоденькая актриса Репина[75], для комедий и водвилей, и другие. Комедии и водвили шли отлично. Я не стану распространяться о театре: во-первых, это не мое дело; а во-вторых, этот цветущий период московской сцены и лучшие актеры того времени описаны подробно С.Т. Аксаковым, в его воспоминаниях[76], знатоком, с которым я не могу в этом сравниться. Я скажу только о себе, что, благодаря знакомству с Кокошкиным, в это время я стал и сам чаще, и довольно часто, бывать в театре. Его ложа была всегда нам открыта; чего же лучше? — Ничего не стоит, и не нужно брать билета; всегда готовое место в театре; да сверх того позволялось ходить и за кулисы.

Таким образом, я очертил тот круг, в который я попал по приезде моем из Симбирска. Литература и театр были тою довольно приятною сферой, в которой я обращался. Подумаешь, право, как все зависят от обстоятельств и от людей, которые нас окружают! — И в этот круг я попал после моих бесед с Лабзиным! — Не скажу, однако, чтоб я был вполне доволен этой компанией! Тихая жизнь мысли мне всегда была необходимее развлечений, особливо развлечений шумных и пустых! Я никогда не мог понять, как люди могут быть довольны совершенно внешнею жизнию! Я никогда не любил совершенного уединения, отшельничества; я всегда любил общество, однако такое общество, в котором был бы размен идей, умный разговор, а не один шум и гам, плясание и скакание; а ничто так не отдаляет человека от самого себя,

как эта театральная сфера: напрасно говорят, что театр есть школа нравственности, напрасно думают даже, что это школа искусства: это просто школа пустоты и самозабвения, своего рода гульба! — То есть я говорю о людях, которые пристрастились к нему и живут театральною жизнию. Хорошо, без сомнения, бывать иногда в театре, по выбору, и находить в нем удовольствие как в картине жизни; но с тем, чтоб он не сделался необходимою потребностию души: в таком случае это самая пустая и вредная потребность!

Несмотря, однако, на пустоту и развлечение этого круга, в котором я тогда обращался, природная наклонность к жизни мыслящей все-таки брала свое. В домашнем уединении я невольным образом искал опоры для этой мысли и всеобщих законов того существования, которое так неразумно представляется в обычном вихре нашей жизни. Надобно сказать, что в это время, не знаю откуда, повеял на некоторых из московских молодых людей дух немецкой философии. Многие занимались ею частно, а профессор Павлов (Михаил Григорьевич), не смея преподавать ее публично, да она же и не входила в предмет его науки, тем не менее излагал при всяком случае основания Шеллинга и Оккена; а физику, им изданную, построил именно на этих основаниях, хотя и не признавал их гласно в своей книге, страха ради иудейска![77] — Я тоже принялся читать: «Критику чистого разума» Канта, потом «Die Weltseele» и «System des transc<endentalen> Idealismus» Шеллинга и даже «Natur-Philosoph<ie>» Оккена[78]. Натурально, без приготовительного изучения и руководства живого преподавания, мне трудно было понять ясно подробности, особливо Оккена, для чего нужны были и основательные сведения в химии; но принципы и выводы их сделались для меня ясны. Идея тождества двух натур, без взаимного их слияния в единство, меня поразила новостию и глубиною; но в то же время она была мне задатком к научному разрешению многих вопросов, которые разрешает нам религия посредством веры. Впоследствии я продолжал это изучение, и плодом его было несколько статей[79], помещенных мною в последующие годы в двух журналах: в «Московском вестнике» Погодина и в «Телескопе» Надеждина[80]. Об них и о моих статьях я, может быть, скажу после.

Кроме знакомств, описанных мной выше, я бывал, однако, и в домах семейных: бывал у Долгоруких, но князь Иван Михайлович умер в конце 1823 года, и уже не было в их доме его оживляющей веселости. Я езжал к Новиковым; но в это время он служил уже под начальством князя Д.В. Голицына, производил следствия и редко бывал дома: я, однако, проводил иногда вечера с Варварой Ивановной. Бывал я еще у Вельяминовых, с которыми познакомился через князя Долгорукого[81]. — Я описал это подробно в его биографии[82], повторю вкратце и теперь. Вот как это было. На Святой неделе (1821) у князя болела рука, и нельзя было надеть фрака. Ему хотелось чрез-

вычайно пройтись под Новинским[83], потому что он очень любил народные гулянья, а это особенно: тогда собиралась тут вся лучшая публика, и мужчины все бывали и на гуляньях во фраках. По совету княгини, чтобы сколько-нибудь рассеять его хандру, мы с зятем его Новиковым уговорили его идти хоть в сертуке. Там он был очень весел; но не нашел на гулянье Вельяминовых, без которых ему и праздник был не в праздник; а дом их был недалеко. Князь вздумал пройти мимо их дома, но не заходить к ним, потому что в сертуке казалось ему неприличным. Но нас увидели в окно и зазвали. Таким образом я неожиданно и мимо всех условий света сделал им по необходимости этот первый визит, с которого и началось мое знакомство с их домом.

Я буду говорить о них после, когда дойду до моей второй женитьбы — на одной из Вельяминовых[84]. Теперь скажу только, что это знакомство было для меня самое приятнейшее из всех, сделанных и прежде и после. Семейство состояло, во-первых, из отца и матери: отец, Федор Михайлович, был уже и тогда слеп, а мать, Катерина Николаевна, была уже очень слабою старушкой[85]. Во-вторых, из четырех дочерей и троих сыновей. Из сыновей жил с ними один средний, Николай Федорович[86], израненный отставной полковник, который мало участвовал в нашем обществе; другой, старший, Владимир Федорович[87], служил не в Москве и приезжал редко. Он был ученый юрист и составил себе в юридической литературе самое почетное имя систематическою книгою о гражданском праве. Он был очень умен; но преисполнен странностями, почти невероятными: иногда можно было вести с ним очень умную беседу; иногда не знаешь, бывало, куда деваться от его шуток и странностей. Он имел все, что нужно для светского общества: и природный ум, и просвещение, и даже, говорят, был некогда отличным дансёром[88]; но, по капризам ума и, сказать по-нынешнему, по эксцентричности своих разговоров и обращения, решительно не годился для общества. Третий сын, младший, Федор Федорович[89], служил в Генеральном штабе. Он был тоже молодой человек, очень умный и просвещенный, занимавшийся особенно военными науками; но он тоже редко бывал в Москве и потом в войне с турками был убит, при начале своей прекрасной карьеры.

Из дочерей — одна, Катерина Федоровна, была уже тогда замужем за Офросимовым[90] и жила с мужем в особом доме. Следственно, мне приходится говорить только о трех сестрах, которые жили с отцом и матерью и составляли собственно их семейство, и, могу сказать, цвет этого семейства.

Редко можно найти столько ума, добродушия, просвещения, светскости и радушной простоты в обращении, сколько было в них этих драгоценных качеств, и потому они, без всякого с их стороны старания, привязывали к себе навсегда всякого, кто с ними познакомится! Но, несмотря на эту простоту обращения, несмотря на полную волю, которой пользовался всякой в

их доме, в обществе их соблюдалось столько приличия, что всякой, любя их от души, держал себя, однако, в границах добровольного уважения. Это была не компания Аксаковых и даже не дом Долгоруких, немножко похожий на австерию[91]. Я никогда не забуду их приятных вечеров. Иногда бывали у них вечера танцовальные, иногда посвященные чтению, иногда просто разговорные. Знакомство у них было обширное, со всем лучшим обществом Москвы; но это ограничивалось визитами и выездами на балы, а у себя дома принимали они, на своих вечерах, немногих и близких знакомых: тем приятнее были эти вечера, что, при соблюдении всех принятых в свете условий, они имели вид чего-то домашнего, только в большем размере.

Старшая из всех четырех сестер, Анисья Федоровна[92], была особенно любезна. Она была не красавица, но так привлекательна своим умом и любезностью, что в нее, право, можно было влюбиться скорее, чем в красавицу. Она получила, как и все они, прекрасное и блестящее и вместе основательное воспитание. Она знала языки французской, немецкой и даже английской, который был тогда еще большою редкостию в России; но кроме этого, что было тогда еще большею редкостию, она училась основательно русскому языку и русской литературе: ей давал уроки знаменитый тогда Мерзляков, который, сам добродушный, сделался у них, тоже людей добродушных, почти домашним. Все лучшие его песни писаны в доме Вельяминовых; все лучшие его стихи, например, «К больной Элизе»[93], были написаны к Анисье Федоровне. В числе ее приятных талантов не надобно забыть и музыку: кроме фортопиано, она играла еще на арфе. Сколько средств блистать в обществе! Она в нем и блистала; но более всего была ясною звездою своего семейства!

Как приедешь, бывало, к Вельяминовым, после первых же слов непременно начинается разговор о литературе. Как напечатаешь что-нибудь в журнале, у них тотчас услышишь суд и мнение о своем произведении. Это доказывало и живое участие, и внимание личное. Правда, и время было не то, как ныне: литература была известнее нынешнего; она вообще была в уважении; поэзия была в ходу, а поэты не считались пустыми людьми, не способными ни к чему другому. В обществе тогда не занимались еще разговорами ни о политике, ни о государственном хозяйстве, ни о путях сообщения. Но в их семействе особенно как-то проявлялась любовь к литературе, как потребность души, как верный отголосок просвещения! Не было произведения иностранной литературы, которое не было бы им известно; не было ни малейшего явления в русской словесности, которого бы они не знали или пропустили без внимания! Можно себе представить, что для молодого человека, занимающегося литературой, такое общество было клад, и беседы с ними были неоцененной находкой! Я, по моей тогдашней застенчивости,

бывал у них реже, нежели желал; но душа моя всегда стремилась к ним, как будто предчувствуя, что со временем соединюсь близким родством с их семейством.

Другая сестра, Анна Федоровна, на которой я после женился, была не столь экспансивна, как старшая; но знания ее были, кажется, еще основательнее и тверже. Она была необыкновенного ума; в нем много было и блестящего, но она редко обнаруживала эту его способность и более имела склонностию углубляться мыслию. Согласно этому она любила и чтение, дававшее пищу размышлению. Не скажу теперь о ней ничего более: она займет много страниц в моей жизни, которой она была путеводным светилом, но, к несчастию, ненадолго!

Третья их сестра, Александра Федоровна, тогда еще очень молодая девушка, почти девочка, была очень мила собою, имела, что называют, une phisionomie piquante*, была очень весела и остра в своих наблюдениях над людьми и в своих невинных шутках. Elle avait toujours un mot pour rire**, как говорят французы, и всегда это было какое-нибудь тонкое и острое замечание. Она училась вместе с Анной Федоровной и получила равное с ней воспитание.

Как мне не вспоминать с любовию об этом семействе! С ним слилось впоследствии воспоминание о лучшем и разумнейшем времени моей жизни!

Еще познакомился я, кажется в начале 1824 года, с семейством Бакуниных. Отец был сенатором и в это время находился в отставке; мать была урожденная Голенищева-Кутузова, родная сестра бывшего попечителя университета. Я был знаком с старшим их сыном, Васильем Михайловичем, который служил тогда адъютантом при князе Д.В. Голицыне. Он-то, по приезде отца и матери на житье в Москву, ввел меня в это семейство. Тогда были у них только две взрослые дочери, Авдотья Михайловна и Любовь Михайловна, которая потом вышла замуж за нашего же приятеля, В.И. Головина. А две младшие дочери: Прасковья Михайловна и Катерина Михайловна, с которыми через несколько лет я познакомился гораздо короче, были тогда еще детьми[94], и мы их никогда не видали на их вечерах, на которые немногие из нас в определенные дни собирались, в том числе и старинный друг их дома, известный наш драматической писатель князь А.А. Шаховской. Об нем я буду говорить гораздо после, когда я с ним более сблизился и видался очень часто. Эти вечера назывались, не знаю почему, литературными, но на них не только не было никакого чтения, но даже и разговора об литературе. Но общество было приличное и хорошего тона, чему я всегда давал большую цену.

Чуть было не позабыл еще об одном доме, сенатора Захара Николаевича

*выразительное лицо (*фр.*).
**Она всегда находила, над чем посмеяться (*фр.*).

Посникова, который был женат тоже, как и Кокошкин, на дочери Архарова[95]. Я и познакомился с ними через Кокошкина. У них, в собственном доме с большим садом на Плющихе, были обеды каждое воскресенье, и я почти никогда не пропускал их. Хозяева были люди умные, добрые и приветливые к нам, молодым людям. У них было так же приятно, как и у Долгоруких, но богаче и опрятнее. Я всегда вспоминаю с удовольствием их обеды. Кокошкин, Загоскин, я и Писарев собирались обыкновенно после обеда в особую комнату, между гостиной и залы, и вдавались в разговоры о литературе. Я был тут в своей сфере.

Вот и все дома, с которыми я был знаком в это время. Я счел нужным сделать им этот беглый очерк как обстановку моей тогдашней жизни. Могу прибавить к этому еще знакомство с графиней Брольо[96], у которой я, по старой приязни ее с моей матерью, бывал иногда с визитами и на званых обедах, очень вкусных, очень светских и очень безжизненных и скушных. Кстати сделать здесь одно замечание, которое ныне может быть не лишено интереса. Со времени 1812 года тон московского общества постепенно переменялся, и наконец не осталось в нем и следа прежнего. У графини Бролио господствовал разговор бывшего до двенадцатого года светского общества: приличный и легкий, и почти всегда на французском языке. Исключение делалось только для моего дяди: только при нем говорили по-русски, потому что он хотя и понимал совершенно французской язык, но говорить на нем не мог. Главный характер этого легкого разговора состоял в том, чтобы не зацепиться ни за одну глубокую или оригинальную мысль, не высказать ни в чем своего собственного убеждения; чтобы все было гладко, не касалось ни жизни, ни правительства, ни науки; одним словом, чтобы разговор не был никому особенно интересен и был всем понятен, всем по плечу; чтобы не обиделось ничье самолюбивое невежество и все были довольны уровнем ума, всем и каждому общим. Этого правила держался и дядя мой в своих разговорах. Скользить по всем предметам равно, не останавливаться долго ни на чем и не обременять ума ничем тяжелым — это было правило светского разговора! — Вы скажете: какая скука! — Конечно! Это несколько похоже на приятное щебетанье птиц; но оно оживлялось несколько легкою безобидною насмешливостию и остротою. Теперь их нет, и даже оно почлось бы нехорошим признаком характера; но тогда говорилось в похвалу: comme vous êtes caustique!* — и принималось с улыбкой удовольствия. — Без всякого сомнения, разговор должен быть обменом мыслей; но и в этом случае крайности не хороши. А у нас, как у народа несамостоятельного, всегда крайности! Разве лучше нынешние бесконечные споры об убеждениях? Соберутся человек два-

* как вы язвительны! (*фр.*).

дцать, и всякой кричит о своем убеждении и не слушает другого. Тогда было больше вежливости и больше взаимной снисходительности; от этого общество было приятнее. По крайней мере, можно было быть уверенным, что, выходя из него, не вынесешь ни раздражительности, ни обиды своему мнению, ни досады.

В это время, в 1824 году, произошел один случай, который имел для меня довольно неприятные последствия. Пушкин написал прекрасную маленькую поэму «Бахчисарайской фонтан». Издание ее было поручено князю Вяземскому, который прибавил к ней, в начале книжки, «Разговор между Издателем и Классиком». В этом разговоре он высказал некоторые неосновательные положения, а именно: что Ломоносов ввел германские формы в нашу поэзию; что наши современные поэты следуют тому же движению, с тою только разницею, что Ломоносов следовал Гюнтеру[97], а не Гете и не Шиллеру. Далее, не различая романтизма с национальностию, он утверждал, что Гомер, Гораций и Эсхил[98] имели более сродства с главами романтической школы, чем с своими последователями. — Одним словом, князь Вяземской, довольно даровитый поэт, но плохой литератор, не имевший прочных оснований, высказал в этом разговоре такую литературную ересь, которая доказывала вполне и слабость его познаний, и гордую самонадеянность недоучки! — Мне, признаюсь, было досадно, что всякой, сам недоучившийся, хочет у нас учить, а по известности своей в светских кругах имеет и голос. Досадно мне было видеть его надменный отзыв и о стихотворцах, помещающих свои произведения в «Вестнике Европы», в числе которых был и я. Я напечатал в «Вестнике», без моего имени, «Второй разговор между Классиком и Издателем Бахчисарайского фонтана». Здесь, правду сказать, я не пощадил князя Вяземского. Я сказал прямо, что это разговор двух учеников, что классику стыдно было связаться с таким противником и что жаль, что он не учился ни в каком университете. Я доказывал, вопреки положениям критика, что пора истинной классической литературы у нас уже настала; что новость выражений состоит у наших тогдашних писателей не в новых словах, а в несовместном их соединении; что Ломоносов заимствовал у немцев только стихосложение, а в ходе од подражал древним; что Ломоносов не следовал Гюнтеру; что во время Ломоносова не было еще и германской школы. Далее я коснулся различия между *народной* и *национальной* поэзии. — Все мои положения были основаны на твердых началах: они и без того раздражили бы всякого критикуемого писателя; но, к сожалению, мой разговор был пересыпан насмешками и полным разоблачением легко доставшейся славы избалованного писателя! — Он вспыхнул гневом; но на кого? — Имя было неизвестно; это еще более придавало досады! Князь Вяземской напечатал в

«Дамском журнале» длинную статью «О литературных мистификациях», в которой вызывал критика объявить свое имя. — В этой статье он обвинял своего критика в пустословии, называл его пожилым педагогом (приписывая эту критику Каченовскому) и ни одним словом не только не опроверг, но даже и не упомянул о вопросах, возбужденных критиком. — Я отвечал на это статьею под заглавием «Ответ на статью о литературных мистификациях». Князь Вяземской напечатал «Разбор Второго Разговора»; я написал «Возражение на разбор Второго Разговора», статью в 30 страниц, которая была еще сильнее прежней, и старался в ней об одном: навести князя Вяземского на самый предмет, на самые вопросы моей критики. Но отвечать на них было ему не под силу, и он продолжал, так сказать, только отгрызаться от своего противника и городить одни несообразности[99]. — Под второю статьею я выставил свое имя, и на меня обрушилась не только вся злоба моего противника, но и полное негодование моего дяди!

На последнее было много причин: Вяземской был родня Карамзину; он был человек, известный в свете; он почитался остряком, а дядя боялся, чтоб он в досаде не сделал и его ridicule*; наконец, и благодарность: Вяземской к последнему изданию сочинений моего дяди написал его биографию и некоторый род панегирика[100]! — А я что? — Безгласный молодой человек, покорный племянник, недавно начавший писать и не имеющий ни славы, ни силы, ни партии! — Нехорошо и несправедливо это было со стороны дяди. Он перестал принимать меня. Я просил о посредничестве другого, двоюродного дядю, Платона Петровича Бекетова. Он сказал мне, с обыкновенным своим добродушием, что усовещивал Ивана Ивановича, который отвечал, что я забыл, что Вяземской сын его друга! (Это неправда: князь Андрей Иванович[101] был только коротким его знакомым.) — Бекетов возразил ему, что я еще к нему ближе: сын его брата! Ничто не помогло: мы с дядей расстались.

От полемики с князем Вяземским произошла для меня одна польза: я еще более почувствовал, как шатко поверхностное знание литературы и как нужны прочные основания. Это сделало, что я занялся прилежнее изучением немецких эстетиков. В это время и после я перечитал вновь известное прежде и многое прочитал вновь, но с сравнительною поверкою разных теорий, я обращал постоянное внимание на философские начала изящного как на жизнь его, как на источник, из которого должна истекать теория. Это изучение представило мне много умственного наслаждения и наделило меня многими верными и сладостными идеями об отношении духа человеческого к видимым, или ощущаемым, формам изящного. Это повело меня к желанию изучить и науку о душе. Наша школьная психология говорит обыкновенно не о

*смешным (*фр.*).

самой духовной нашей сущности, а только об ее свойствах, выражаемых идеями и внешними чувствами, что не есть собственно учение о душе. Я искал проникнуть глубже и напал на чтение книги Шуберта «Geschichte der Seele»[102]. Эта книга, вместе с чтением некоторых мистиков, открыла мне, так сказать, новый мир, соприкасающийся с видимым, в него втекающий и от него отличный. Все эти чтения исправили и утвердили на прочном основании и понятия мои об изящном. Так это полемическое движение обратилось мне, в одном отношении, в существенную пользу; и так случайный толчок нашим умственным силам напрягает их к дальнейшей деятельности. Но все это может происходить только в молодости, в эти лета нашей свежести.

Между тем от наших статей разгорелась страшная литературная война и в Москве, и в Петербурге! За меня писали: Писарев, Ушаков, Булгарин и даже Пинской; а Василий Иванович Головин написал даже целую комедию, «Писатели между собою», в которой, впрочем, ничего не было похожего на нашу ссору. За Вяземского вступался больше князь Шаликов и еще кто-то, не помню, из людей, не сильных ни в остроумии, ни в диалектике[103].

Из посторонних статей были замечательнее всех: Писарева — «Еще разговор между двумя читателями Вестника» — и Пинского, под псевдонимом Юста-Ферулина — «Мое первое и последнее слово». Были и мелкие статьи, очень забавные и меткие, например моя — «Отрывок из Кодекса знаменитости»[104]; но всех более рассердила дядю небольшая статья Писарева «Нечто о словах». Надобно сказать, что князь Вяземской сказал в одной из своих статей, что он «крепок собственным убеждением и мнением людей, на которых с гордою уверенностию может указать пред лицем отечества!» — Это он ссылался на одобрение моего дяди, взявшего его сторону. — Но, к его несчастию, в это время написал в его защиту какую-то довольно карикатурную статейку князь Шаликов. — Писарев воспользовался этим и говорит простодушно в своей статье, что «читатели долго не знали, на кого князь Вяземской *указывает пальцем пред лицем отечества*, но, по защите его князем Шаликовым, догадались на кого»[105]. — Этот подмен, пред лицем отечества, И.И. Дмитриева — князем Шаликовым был действительно обидною насмешкою и над Вяземским, и над обоими его сторонниками! — Для первого это был щелчок; а для дяди такое понижение его авторитета и важности, какого он, конечно, никогда еще не испытывал!

Но была и еще причина к его досаде. В этой литературной войне, кроме больших сражений, были еще и партизанские действия. Мы с Писаревым писали эпиграммы на Вяземского, а он с Грибоедовым на нас[106]. В то время был у нас общий знакомый Николай Александрович Шатилов, старый камер-юнкер, женат на Алябьевой, пустейший человек, принадлежащий к

большому светскому кругу, и настоящий Репетилов: едва ли не с него Грибоедов списал эту роль своей комедии[107]. Я сказал уже, что мы очень часто бывали в ложе Кокошкина; туда приходил всегда и Шатилов. Он у нас в это время исполнял должность нынешней городской почты, которой тогда еще не было: il f[ai]sait la petite poste*. Он брал у нас эпиграммы, относил их в кресла к князю Вяземскому и Грибоедову и возвращался в ложу с уведомлением, что завтра будет прислан ответ. На другой день, тоже в театре, мы получали через него же и их эпиграммы, в ответ на наши[108]. Нам казалось это только забавным; но вышло другое. Князь Вяземской сообщал наши эпиграммы моему дяде, а своих не сообщал. Это рассердило дядю еще более и окончательно! — Эта война продолжалась с полгода и кончилась литературным поражением князя Вяземского, но действительным вредом одному мне: потому что размолвка с дядей была для меня не шутка, тем более, что дядя имел вес, и некоторые угодливые люди охолодели ко мне, из угождения к такому лицу, в том числе и начальник мой, трусливый искатель Алексей Федорович Малиновской.

Я сказал выше, что одна из моих статеек называлась «Отрывок из Кодекса Знаменитости». — Надобно объяснить, что это значит, потому что в ней выставил я в смешном виде, чем приобреталась тогда знаменитость некоторых из наших писателей. Жуковской и Батюшков прекрасными, поэтическими своими посланиями ввели этот род в моду. Василий Львович Пушкин тоже написал, в числе других, несколько посланий острых и сильных в осмеяние Шишкова и других тогдашних славенофилов. Этот род, ныне забытый, действительно очень хорош тем, что, не ограничиваясь пределами определенной формы, можно высказывать в нем всю широту своих мыслей и переходить, смотря по предмету, от одного тона к другому, начиная с дружеских выражений чувства до поэтических картин и до самой резкой сатиры. Французы имеют превосходные образцы в этом роде. Достаточно вспомнить эпистолы Буало и «La Chartreuse» Грессета[109]. Но со времени Вяземского, а потом молодого Пушкина с его современниками послание превратилось у нас или в приятную болтовню, или в прославление своих друзей, или в средство удовлетворения своей неприязни. Стоит только вспомнить послание князя Вяземского к Каченовскому, которое начинается двусмысленным стихом:

Перед судом ума сколь, Каченовской, жалок![110]

Если вымарать из него две запятые, выходит, что жалок Каченовской. Он и Воейков более других наводнили наши журналы посланиями, которые или прославляли друзей, или бесчестили их врагов и, по большей части без

*он исполнял обязанности местной почты (*фр.*).

всякого поэтического достоинства, служили только к этим двум целям. Обыкновенно один расхвалит своего приятеля; тот отвечает ему тоже похвалами; а третий подхватит их знаменитость, уверенный, что и его расхвалят и что это пронесет их имена по всей читающей России! — И действительно, это давало славу, которая длилась лет десять и более. Теперь эти славы все забыты. Князь Вяземской писал и к партизану Давыдову, и к В.Л. Пушкину[111]; другие теперь не приходят мне на память. Но всех бессовестнее был в этом, как и в других своих литературных проделках, Воейков. Он, издавая один год «Сын Отечества» (1821), первый употребил этот эпитет знаменитости и провозгласил своих приятелей своими знаменитыми друзьями![112] — Нечего и говорить, как подхватили другие этот титул и какая пошла из этого потеха! Поэтому и я написал «Кодекс Знаменитости».

Тогдашние журналы стоят не быть забытыми и заслуживают быть прочитанными в наше время. Теперь у нас нет журнальной литературы, потому что повести и ученые статьи не составляют журнального характера; они дают журналу характер сборника. Но тогда — литература, не будучи столь серьезна, как ныне, была живее и, по одному французскому выражению, трепетала интересом настоящей минуты. «Вестник Европы», «Сын Отечества», потом «Телеграф», «Телескоп» и другие — жили литературой; критика занимала в них место почетное; кроме того, они были ареною, на которой подвизались литературные атлеты, иногда к пользе литературы, иногда в удовлетворение партий, а иногда просто к невинному удовольствию и забаве читателей. Кроме полезных замечаний по предметам словесности лучшее было в этом еще то, что обнаруживало много жизни и разностороннее направление словесников.

Это прекратилось мало-помалу, когда цензура сделалась строже. Много повредил нашей критике Сенковский в своей «Библиотеке для чтения» (с 1834 года)[113]. Он принял методу, не существовавшую никогда ни в одной литературе, и постановил правилом не следовать в критике никаким правилам, а держаться безотчетно собственного вкуса: его критика была произвольна, бесстыдна в своих выводах и по принципу не давала ни в чем рационального отчета, точно так и по тому же основанию, почему мы не даем отчета во вкусе кушанья. Много вреда сделал нашей литературе этот вполне безотчетный судья и бессовестный литератор, видевший в литературе только торг и прибыль! — Самые остроты его были не то что в наше время: не остроумие, а гаерство!

Правда, критика продолжалась еще в «Отечественных Записках» Краевского (с 1839 года)[114]. Она была довольно основательна и рациональна, но одностороння и небеспристрастна. Кроме того, она выражала мнение не всего тогдашнего литературного времени, а одного человека. Конечно, Белинс-

кой[115] был критик умный, у которого не было недостатка ни в диалектике, ни в силе и верности оценки; но кроме недостатка сведений, которые приобретаются изустным преданием и без которого, особенно у нас, многое остается неизвестным, кроме этого недостатка, он держался еще одностороннего направления и демократических пристрастий. Он, как и Полевой[116], разрушал все старые знаменитости; но Полевой не ставил никого на их место, а Белинской, ставя ни во что Державина, Дмитриева, Жуковского и многих других, возвышал одного Пушкина, Лермонтова, Гоголя[117], и наконец — Кольцова[118]. Написав, что Ломоносов и Державин не поэты и не лирики, он признавал гений в одном Пушкине, отчасти в Гоголе, а Кольцова называл звездою первой величины. Он ратовал один на опустелом поле русской словесности в продолжение четырнадцати лет (1834—1848). В это время своими критиками и на своем направлении он воспитал не одно поколение молодых людей и поселил много превратных понятий и стремлений в нашей литературе.

Я забежал несколько вперед с моим рассказом; но меня привела к этому естественная последовательность речи. Мне хотелось показать заодно ход нашей журнальной критики. В следующей главе я расскажу, как неожиданно и по какому случаю я примирился с дядей[119].

ГЛАВА 11
Примирение с дядей • Открытие театра • Служба под начальством князя Д.В. Голицына • Кончина Александра • Бунт • Николай Павлович

Литературе обязан я многими утешениями в жизни, многими благородными наслаждениями и сладостными воспоминаниями. Ей же обязан я тем, что меня узнал и приблизил к себе по службе московской генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын[1]; она же дала мне случай видеть его часто в последний год его жизни и бывать у него непременно раз в неделе[2]. Вот отчего воспоминание о незабвенном начальнике Москвы, который был и моим начальником по службе, тесно соединено в моей памяти с воспоминанием литературной моей жизни. Думая о князе Дмитрии Владимировиче как о вельможе, кончишь тем, что задумаешься о человеке; ибо душевные его качества, высокое благородство мыслей, чистота и доброта сердца, горячее чувство ко всему доброму, ко всему отечественному, в обращении какая-то простота европейского образованного вельможи, что-то рыцарское и в наружности и в характере: все это было дано ему природою, было независимо от той высокой степени, на которой он стоял как вельможа.

Вот как было, что узнал меня князь Дмитрий Владимирович.

Я продолжал служить в Архиве Иностранной коллегии. Спокойная служба оставляла мне много времени и свободы[3], которою я всегда дорожил более всего и которою впоследствии я уже пользовался так мало. Честолюбие не было никогда моею страстию; случаев к нему не представлялось, а искать их не было сообразно ни с моим характером, чуждым искательства, которое всегда казалось мне унижением, ни с тою беспечностию о самих себе, в которой всегда обвиняют стихотворцев, и дурных, и хороших: и потому я не думал переменять род службы, будучи всегда уверен, что умственная деятельность человека имеет довольно обширное поприще и вне службы и что быть полезным можно на всяком месте. Многие из моих сослуживцев, при вступлении князя в управление Москвою, поспешили оставить Архив и определиться к нему в чиновники особых поручений, и многие пошли довольно быстро по новой стезе отличий[4]; а я оставался в Архиве, в чем иногда и упрекал меня мой дядя, представляя мне примеры моих товарищей. На меня все это мало действовало: но случай представился сам собою.

Я сказал уже, что в 1824 году московской театр был в главном заведовании генерал-губернатора[5]. Князь Дмитрий Владимирович, заботившийся и о пользе московских жителей, и об удовольствии московской публики, будучи притом знатоком и любителем театра, деятельно занимался улучшением московских спектаклей и отстройкою Петровского большого театра[6]. Работа приходила к концу; надобно было думать об открытии нового здания великолепным спектаклем, приличным случаю. Я никак не воображал, что это без меня не обойдется.

Однажды приехал ко мне директор театра Кокошкин и застал у меня Писарева. Само собою разумеется, что предметом разговора нашего была литература. Тогда люди, занимавшиеся словесностию, не стыдились говорить о ней при всякой встрече между собою; не пренебрегали ни малейшим произведением стихотворства; от них не ускользала ни малейшая черта ни ума, ни чувства, ни воображения, ни вкуса; они сообщали друг другу всякое свое произведение; читали свои стихи, не дожидаясь просьбы и приглашения, выслушивали суд самый строгий, но за то слышали и похвалу не хладнокровную, сказанную не из одной учтивости. Это взаимное сообщение, или взаимная сообщительность талантов, пробегала их какою-то электрическою искрою, которая много содействовала к жизни литературы, возбуждала деятельность дарований, особенно в молодых людях; литература — жила. Итак, разговор был, как обыкновенно, о литературе; а Кокошкина не оставляла мысль об открытии театра: немудрено, что ему вз[д]умалось, в продолжение разговора, предложить мне и Писареву написать Пролог на открытие театра.

Мы оба от этого предложения отказались: я — потому, что никогда не писал для театра; а Писарев — потому, что, сознавая в себе истинный талант драматической, не хотел тратить его на такую эфемерную вещь, которая требовалась только на случай, на одно представление, и потом должна была быть забытою.

Но по отъезде их, от нечего делать, я начал, так сказать, пробовать свое воображение: что можно бы написать на такой бесплодный сюжет, как открытие театра. Это было время еще классическое; романтизм — только начинался; а о *безродной* поэзии, которая родилась впоследствии, то есть о произведениях стихотворства, не принадлежащих ни к какому роду, мы не могли еще и думать. И потому неудивительно, что при мысли о Прологе само собою представлялось моему воображению прежде всего — о Музах, о Фебе, о Парнасе[7]: все это холодно! Но мне блеснула мысль, что это случай упомянуть на сцене о прежних наших драматических писателях; мне понравилось, что имена, приходящие в забвение (а у нас так легко забывают!), произнесутся громко при тысячах слушателей и что я отдам им последнюю память. С

этой мыслию я написал несколько сцен Пролога; прочитал их Писареву, как попытку, и оставил. Кокошкин узнал от него об этом; но чем более он убеждал меня продолжать, тем более я не соглашался: меня всегда пугала толпа, и никогда не нравилась мне дешевая известность.

Через несколько дней после того мне случилось быть в театре, в директорской ложе. Кокошкин вышел; вошел в ложу генерал-губернатора, которая была напротив; поговорил с князем Дмитрием Владимировичем; пришел назад и, с своею театральною важностию, своим трогательным декламаторским голосом, с обыкновенным своим эпитетом: *мой милый*, обратился ко мне с следующею речью: «Ну, мой милый, я перед вами виноват! Не утерпел, сказал князю, что вы пишете Пролог, и дал слово, что он непременно будет написан. Князь приказал убедительнейше просить об этом. Не введите же меня в ответ! А у нас будут какие великолепные костюмы, какие декорации! Верстовской, Алябьев и Шольц[8] напишут музыку, и проч.» — Признаюсь, мне это было досадно; я не мог никак поручиться, что Пролог будет написан: кто может за себя отвечать, что непременно придет ему в голову, к такому-то сроку, и мысли, и стихи, и рифмы! — Однако Пролог как-то написался; Кокошкин читал его, и из беды выручен!

В один день приезжает он ко мне и говорит, что князь Дмитрий Владимирович поручил ему звать меня завтра обедать; что на обеде будут одни литераторы и мои короткие знакомые, и что он желает слышать чтение Пролога. Это меня чрезвычайно затруднило. Я всегда почитал приличия необходимыми условиями общества. Я никогда не был представлен князю; надобно бы было представиться ему хоть накануне, но уж нынче некогда, поздно, а обед завтра. Ехать знакомиться с генерал-губернатором прямо на обед, который он делает для меня же: это мне казалось ни на что не похоже! — Правда, Федор Федорович разрешил это одним словом: «Эх, мой милый! Какие приличия между поэтами!» — Но я помнил, что князь Дмитрий Владимирович не поэт, а генерал-губернатор; а я хоть и стихотворец, да камер-юнкер. Делать нечего: надобно ехать!

Но как же был деликатен князь![9] — Я сказал уже, в предыдущей главе, что имел журнальную распрю с князем Вяземским о классицизме и романтизме. О блаженные времена, когда эти предметы могли произвести распрю! — Я сказал уже, что это рассердило моего дядю и что мы с ним в продолжение некоторого времени не видались. Князь Дмитрий Владимирович знал об этом. — Вечером Кокошкин опять приезжал ко мне, и после многих вступлений сказал мне, что князь затрудняется, позвать ли ему на обед моего дядю, будет ли это ему и мне приятным и не будет ли для обоих нас затруднительным, и что он велел меня об этом спросить. — Дядя меня всегда

любил; я дорого ценил его достоинства; это с его стороны была одна досада: и потому легко угадать ответ мой.

На другой день, вместе с Кокошкиным, я приехал обедать к князю. Он жил тогда в доме графа Разумовского, на Тверской, за Тверскими воротами, где теперь Английской клуб[10]. Он принял нас не в гостиной, а в библиотеке, которой все стены были в шкапах, наполненных книгами: какое чувство приличия в самых мелочах! Дядя мой сидел уже у него — и при входе моем представил меня князю, как следует. Дело обошлось прекрасно; а сверх того я примирился с дядей. Так как поводом к этому был мой Пролог, то это было для меня не последнее благодеяние литературы! Это было летом 1824 года.

Перед обедом я прочитал свою тетрадь. Из слушателей и гостей князя были между прочим: незабвенный учитель мой и многих — профессор Алексей Федорович Мерзляков; знаток древней словесности, бывший посланником в Испании, Иван Матвеевич Муравьев-Апостол[11]; Загоскин, А.И. Писарев, адъютант князя и наш приятель В.М. Бакунин и другие. — Князь не утерпел, после обеда, за кофеем, пошутил немножко над классицизмом и романтизмом. Так познакомился я с князем Дмитрием Владимировичем, или, лучше сказать, так он узнал меня.

Театр был открыт в начале генваря 1825 года[12]. Открытие было великолепно; костюмы роскошны; декорации очаровательны; музыка Верстовского, Алябьева и Шольца соединяла в себе и величие, и нежность, соответствующие вполне названию и сюжету Пролога: «Торжество Муз». Особенно гимн Верстовского и последний хор Алябьева долго отзывались в моем слухе, несмотря на то, что у меня слух совсем не музыкальный. Правда, и тут не обошлось без помехи. В это время была в Москве известная певица Аделина Каталани, родственница знаменитой певицы того же имени[13]. Между их талантами расстояние было, конечно, велико; но и Аделина обладала органом звучным и ровным, хотя не столь обширным; в нежности же выражения едва ли не превосходила первую, которую я также слышал. Она была приглашена участвовать в роли одной из муз; она выучила уже русские слова гимна, не зная ни слова по-русски, и произносила их прекрасно, как русская; Верстовской восхищался уже ею в своем гимне: но она была приглашена к известному сроку, срок прошел, а открытие театра не поспело. Аделина уехала, и ее роль отдали лучшей певице, какая случилась, m-lle Филис[14], которая коверкала слова и с которой насилу могли сладить. Я хотел сам поучить ее, как это обыкновенно делают авторы; но она на это время, по особенному случаю, сделалась невидима и недоступна. Ее взял к себе бывший фаворит Екатерины Иван Николаевич Корсаков, она поселилась у него в доме. Старик был ревнив, а Филиска (как ее звали) боялась потерять место и потому боялась принимать к себе молодых людей. По этой причине и мне

она затворяла двери. — Кроме этого препятствия к хорошему представлению моего Пролога было и другое: новые машины останавливались и скрыпели. Все это было довольно досадно. Пробы повторялись беспрестанно; я бывал на репетициях; это доставляло мне случай всякой раз видеть князя и говорить с ним. Но что началось спектаклем, то кончилось делом.

Со времени вступления своего в управление Москвою князь обратил особенное свое внимание на судебные места, которые были наполнены людьми, может быть, и знающими, но не такими, в руках которых он желал бы видеть судьбу человека: ближайшее же внимание обратил он на суды уголовные. Первое старание его состояло в том, чтоб наполнить их людьми образованными и известных фамилий[15]. Будучи сам и знатного рода, и человеком просвещенным, он не без причины, может быть, думал, что это ручается за благородство мыслей, следовательно, и за честность. Он любил таланты, уважал литературу и не думал, чтобы стихотворцы были ни к чему дельному не способны.

В то время, о котором я пишу, московские суды были уже замещены людьми известными или такими, которые сделались известными впоследствии. — Довольно упомянуть Павла Ивановича Дегая, строгого практика и юридического писателя, составившего столь много книг по части нашего законодательства[16]; Эраста Васильевича Абазу[17], отличавшегося ясностию и точностию юридического ума, бывшего потом обер-прокурором и кончившего жизнь в Сенате, во время занятия делами. Многих я не называю; скажу одно только, что князь Дмитрий Владимирович, приближая к себе людей опытных, любил окружать себя и молодыми людьми, подававшими надежды[18]: эти молодые чиновники составляли рассадник будущих судей и законоведцев.

Узнавши князя, я захотел служить под его начальством. Трудно мне было решиться после моей архивской службы вступить на незнакомое мне судебное поприще. Но дядя мой был рад этому случаю, и я должен был решиться. Итак, 17 мая 1825 года я был уволен из Коллегии иностранных дел для поступления под начальство князя Д.В. Голицына. — В ожидании этого я взял отпуск и поехал к родным в Симбирск. Там получил я известие о моем перемещении от начальника моего Малиновского. Я упомянул (в главе 9-й), какое строгое письмо написал он ко мне о явке в Архив, в таких обстоятельствах моей жизни, в которых снисходительность была бы самою простою справедливостию. Теперь, когда можно было действительно рассердиться, потому что я, не предупредив начальника ни одним словом, перешел к другому, Малиновской обнаружил, напротив, большую мягкость. Он писал ко мне от 6 июня: «Надеюсь, что, перестав быть сослуживцем моим, вы не перестанете оттого любить меня. Я ж, с своей стороны, сохраню к вам навсегда чувствования искренней моей привязанности и почтения». — Эта мяг-

кость объясняется тем, что я уже от него не завишу; «а может быть-де — кто знает — будет и близок к вельможе, пред которым я прах и пепел!» — Семинарская уклончивость[19] Малиновского оказывалась во всем!

Однакож, решившись идти по судебной части, я не хотел уже, подобно многим, только числиться при генерал-губернаторе; я хотел прямо заняться делом и потому просил себе место советника, которое соответствовало и моему чину, ибо я был тогда уже надворным советником. Князь обещал это; но до открытия ваканции советника и я должен был, как другие, пробыть несколько времени чиновником особых поручений. Обещанное место досталось мне не скоро.

Я сказал уже, что в ожидании моего перевода из Архива (это было летом 1825 года) я взял отпуск и поехал в Симбирск. Там занемог я жестокою нервическою горячкою и опоздал моим возвратом: в это время открылась ваканция советника уголовной палаты, и по пословице «Les absents ont toujours tort»* — на нее поступил не я, а сын тогдашнего сенатора князь Юрий Алексеевич Долгорукой[20].

Я получил другое назначение: в члены уголовного комитета. Надобно объяснить, что такое был этот комитет[21] и что в нем было хорошего и худого. Я сказал уже, что князь обращал особенное внимание на дела уголовные и не пропускал ни одного без тщательного рассмотрения, причем человеколюбивая душа его всегда искала средств облегчить судьбу несчастных. Для облегчения его труда учрежден был им, так сказать, домашним образом, упомянутый комитет, которого обязанность была рассматривать предварительно решения двух департаментов уголовной палаты и, изложив их в краткой записке, представлять князю вместе с своим мнением. Записки эти составлялись образованными молодыми людьми, служащими в канцелярии, и справедливость требует сказать, что составлялись очень хорошо: кратко, полно и отчетливо. Эти записки могли служить образцом изложения дела. В них не пропускалось ни одного обстоятельства, необходимого для *юридического* разрешения вопроса pro или contra**; все прочее отбрасывалось, как ненужное. Комитет сверял их с самым делом и потом уже прилагал к ним свое мнение. Он был под председательством директора канцелярии действительного статского советника Андрея Афанасьевича Шафонского; членами его были: тогдашний губернский прокурор Семен Иванович Любимов, М.М. Пинской, аудитор Оранский и я[22].

Отчетливое составление этих записок, облегчение труда генерал-губернатора при рассмотрении решений уголовных палат, указание на неправильность решений и неполноту следствий: вот что было хорошего в этом коми-

*«Отсутствующие всегда виноваты» (*фр.*).
**за или против (*лат.*).

тете. Но справедливость требует сказать потом, что в нем было дурного и против чего я сильно восставал после, сделавшись сам членом палаты. Главное то, что этот комитет, так сказать, домашний и не имевший никакого характера, ce comité batard*, как я называл его в досаде, превратился почти в судебную инстанцию, высшую палаты, что было тем опаснее, что, не имея никакого открытого значения в ряду судебном, действуя как домашний советник князя и закрываясь всегда его именем, он мог действовать всегда безответственно. Случалось, например, что губернский прокурор Любимов, пропустив решение палаты, подавал против того же решения свое мнение как член комитета. Князь, конечно, внимательно рассматривал решение палат; но нельзя сказать, чтоб и мнения комитета не имели на него влияния. При всем том, если б он, приняв мнение комитета, противное палатскому, поступал по форме, предписанной судебным порядком, то есть представлял дело в Сенат, то от этого не было бы вреда никакого; но, любя сокращать производство и вообще не любя формальностей, он посылал обыкновенно своего секретаря переговорить с палатою, не переменит ли она решения; и палата переменяла свое решение — писала другой журнал, другое определение, губернский прокурор пропускал их, а князь утверждал, и все обходилось домашним образом, чего не должно быть в судопроизводстве. Против этого-то я сильно восставал, бывши после советником палаты. Скажут: «Что же было в этом дурного? Сокращались формы, и выигрывала справедливость!» — Так судит у нас обыкновенно публика, доверяя больше естественной справедливости, чем юридической. — Нет! Это не так: формы суть гарантия юридической правды; а так называемая естественная справедливость зависит от совести и частного взгляда лица: совесть же у каждого своя; наблюдение форм ее гарантия.

Служба при князе была во всех отношениях приятна: товарищество людей просвещенных, благовоспитанных; начальник добродушный, благородный; ожидание наград, которые князь сыпал на своих подчиненных! Вскоре все это должно было перемениться: 19 ноября скончался император Александр; 14 декабря вспыхнул бунт в Петербурге; некоторые из московских были замешаны в заговоре; на князя стали смотреть с недоверчивостью, как на слабого начальника. Награды прекратились; места начали наполняться другими людьми, иногда не по выбору князя; да надобно примолвить, что с этого времени и у князя, так сказать, руки опустились; ему не из кого было и выбирать: число чиновников особых поручений было ограничено. Это множество людей, состоявших при его особе, иногда без всякого дела и получавших награды часто без заслуги, было, конечно, некоторым образом

*этот бестолковый комитет (*фр.*).

злоупотребление сильного вельможи, но с уничтожением этого безвредного злоупотребления лишили его возможности выбирать людей по своему усмотрению, выбирать одного из сотни и замещать судебные места людьми известными и достойными. — Так трудно различить у нас, где скрывается истинная польза под наружным злоупотреблением. Лишние награды, иногда не по достоинству, никому не делали вреда, а сокращение числа чиновников при князе лишило судебные места честных людей, служивших с энтузиазмом к добру и к справедливости.

Не нужно упоминать, сколько был огорчен князь кончиной Александра. Ему и графу Петру Александровичу Толстому[23], начальствующему корпусом войск, новый Государь поспешил прислать первым голубые ленты. Помню, что князь, надевая свою ленту и заметив на ней пятнышко, промолвил: «Не нося[ся], полиняла!»

Кончина Государя Александра Павловича последовала, как известно, совершенно неожиданно. В полном мужестве сил, 48 лет от роду, сильного сложения, крепкого здоровья, цветущий красотою, он был похищен внезапною болезнию, далеко от столицы, в Таганроге, во время путешествия. Говорят, что в последнее время он унывал духом; что, уезжая из Петербурга, он как бы предчувствовал, что не возвратится. Говорят, что в самую ночь отъезда он был в Невском монастыре[24], долго молился на коленях и со слезами, был в келье у митрополита[25], виделся с бывшим в монастыре схимником и прислал в монастырь масла, свеч и ладану, принадлежностей церковной службы и погребения. Во всем этом видели тогда многие как будто предзнаменование и предчувствие кончины. Действительно это можно почесть замечательным, потому что прежде никогда Государь не присылал в монастырь подобного вкладу.

Впрочем, причины уныния, в котором он находился в последнее время своей жизни, можно объяснить очень естественно, не прибегая ни к каким предчувствиям. Вспомним эту славу, которой он достиг после 1812 года и после двукратного взятия Парижа. Победитель Наполеона, Агамемнон, вождь царей между королями Европы, он примирил мир, успокоил народы[26]. Народы отдохнули, цари успокоились; но Александр не отдохнул, потому что не успокоил своего народа. Все народы Европы, пользуясь благодеянием Александра, благодеяниями мира, начали заботиться о внутреннем своем благосостоянии, которое начало развиваться быстро: успехи гражданского устройства, торговля, науки, литература — все воскресло в Европе, все пошло к улучшению и к совершенству. Одна Россия, страдавшая за всех, примирившая и успокоившая всех и потому имевшая все право ожидать внутреннего благосостояния, встретившая своего любезного и славного Государя с радостными надеждами, ждала, ждала и не дождалась лучшего! — На-

против, все пошло хуже; Александр отвык от кабинетного труда, перестал заниматься делами, не допускал более в кабинет своих министров, отменил их докладные дни, их личные доклады; все шло через графа Аракчеева[27]; министры, по-видимому потерявшие силу, вознаграждали себя домашним деспотизмом, каждый по своей части, хотя и не таким, как ныне: машина внутреннего управления государством или останавливалась за недостатком общего движения, или работала по каждой части управления отдельно. Дела пошли хуже, чем до 1812 года.

Александр имел великую душу; ум тонкий, но не обширный; его недоставало, чтобы обнять такую империю, как Россия. — Он сам это видел; и у него, так сказать, опустились руки: вот вероятная причина его уныния и беспокойствия в последние годы его жизни.

Кроме того, Александр возвратился в Россию с идеями блага и свободы. Он дал конституцию Польше[28]; в речи своей к варшавскому сейму обещал ее и России. Все образованные люди были в надежде; смотрели на него с любовию. Эта конституция, какова ни есть, была уже написана на французском языке и по его повелению переведена на русской: этим переводом занимался в канцелярии Новосильцева[29] князь П.А. Вяземской. Она напечатана была дважды: один подлинник в политическом сборнике «Le Portfolio», а вместе с русским переводом издана особо польским революционным правительством, во время Императора Николая. Она уже существовала; она была нам известна. Но, или испугавшись италианских карбонаров[30], или напуганный Меттернихом[31] и Австрией, вечной ненавистницей России, или, наконец, увидевши незрелость своего народа воспользоваться опасным орудием свободы, Александр после 1818 года обратился в своих идеях совершенно в противоположную сторону: о свободе, о конституции не было и в помине! — Тогда любовь образованного класса, обольщенная его же идеями, особливо любовь молодых военных людей, его сподвижников обратилась тоже в противоположность: почти в ненависть. Между ними завелись тайные общества, противные существующему порядку. Мыслящие люди вообще были недовольны, с завистью глядя на Польшу. Жители внутренних губерний, хозяева и народ, роптали, не видя ничего лучшего в своем быте, не видя, так сказать, никакой прибыли от славы, приобретенной Россиею! Александр знал это, и знал о заговорах тайных обществ. Привыкши к великолепной, торжественной рассеянности конгрессов[32], он начал искать той же рассеянности в беспрестанных путешествиях по России. Эти путешествия стоили много денег, но не приносили никакой существенной пользы государству, а ему, вероятно, приносили скуку. Вместо торжественных приемов Европы он должен был в этих быстрых поездках довольствоваться балами губернаторов; вместо благоустроенных земель Европы; искусственных, покойных дорог,

обсаженных деревьями; полей, тщательно обработанных и красиво огороженных кустами; вместо красивых и опрятных сельских домов — он увидел пустоту неизмеримой России, неопрятные деревни, поля, едва взрытые русскою сохою, и не знал, за что приняться, чтобы сделать Россию сколько-нибудь похожею на трудолюбивые и красивые государства Европы. Было от чего не только прийти в уныние, но и совсем в отчаяние! Он видел, что Россию, после всех этих происшествий, после всей этой бесполезной славы, надлежало пересоздать вновь, а для этого надобно было быть Петром Великим или Екатериной Второй.

Между тем все близкие к Александру утверждают, что никогда он не был так доволен своим личным положением, как в это последнее путешествие. — После походов, конгрессов, по возвращении в Россию, Государь особенно как-то сблизился с Императрицею, своею супругою[33]. Цель путешествия была болезнь ее; Император поехал для нее. В Таганроге жили они в небольшом доме, совершенно частными людьми, исключая занятия Государя необходимыми делами, которые, по возможности, не прекращались. Здесь пользовался он, может быть, в первый раз, тихою семейною жизнию частного человека. Этот новый, безмятежный образ жизни был сообразен с тихою и благородною душою Александра! — Я часто думал, какой превосходный человек был бы он в состоянии частного человека! Но и тогда царственная его наружность, его лицо — соединение царского величия с красотою и ангельскою улыбкою — представляли бы его, конечно, существом высшим, чем прочие люди, и возбуждали бы к нему благоговение! — Говорят, что в Таганроге Государь был в первый раз совершенно спокоен, доволен и счастлив! Его спокойствие нарушалось одним: существованием заговоров, которые были ему известны и которых подробности оказались в его бумагах. Но об этом скажу после. — Во время краткого его путешествия по Крыму он простудился, получил нервную воспалительную горячку, и 19 ноября 1825 года (да будет этот день отмечен навсегда в памяти потомков как черный день России) его не стало!

Вот как я узнал о кончине Императора Александра. Тогда был попечителем Московского университетского округа Александр Александрович Писарев, плохой литератор, человек даже довольно простой, но добрый и попрежнему довольно образованный. Он любил сближать у себя людей ученых и просвещенных. Московские профессоры и литераторы, какие были, в том числе и я, обедали у него по воскресеньям[34], где было довольно весело, особенно нам, молодым людям. В одно воскресенье, приехав к нему обедать, я нашел хозяина, против обыкновенного, чрезвычайно скучным и неразговорчивым; посмотрел на гостей: тоже все молчаливы и серьозны. Наконец, князь Шаликов подзывает меня к окошку и говорит мне: «Разве

вы не знаете печальной новости? Император скончался!» — Это известие поразило меня. После обеда я тотчас поехал к моему дяде: я нашел его в ужасном состоянии: старик рыдал неутешно! — Кроме личной его привязанности к Государю, он, конечно, больше многих понимал эту общую потерю; ибо, несмотря на бездейственность последних лет царствования Государя, его высокая, благородная душа, наклонная к одному благу и чуждая всех низких, нецарственных подозрений и помышлений, была такова, что с его кончиною закатилось солнце России.

Александр любил моего дядю; мой дядя боготворил Александра! — Увидев меня, он зарыдал пуще и не мог промолвить ни одного слова; долго, долго был он в неутешном положении! Да будет сказано в память доброго, великодушного, благословенного Александра, что многие плакали о нем и рыдали подобно моему дяде! — На князе Дмитрии Владимировиче, как говорится, лица не было!

Немедленно по получении официального известия о кончине Государя принесена была присяга новому Императору Константину Павловичу[35], которому первый присягнул в верноподданстве великий князь Николай Павлович, между тем как ему известно было завещание Александра и отречение Константина от короны. Если бы в этом случае поступлено было открыто и прямодушно, то есть если бы завещание было открыто немедленно и первый Николай отказывался бы от короны, тогда отречение Константина было бы не столько отречением, сколько явным утверждением завещания; тогда не было бы двух присяг, которые возродили сомнения в войске и в народе. Но поступлено было иначе: сам великой князь Николай Павлович и Россия торжественно присягнули Константину. Тут начались с ним пересылки; великий князь Михаил Павлович[36] отправился в Варшаву: все это подало повод к толкам. Иные говорили, что уговаривают Константина принять корону; другие говорили, что он сам хочет этого, а его уговаривают, напротив, подтвердить отречение от престола. Могло быть и то, и другое. Наконец, обнародовано завещание Александра, отречение Константина и новая присяга — Николаю.

Расскажу здесь кстати одно предсказание и для этого позволю себе прервать мой рассказ довольно длинным отступлением.

Родной дядя моей матери генерал-поручик Иван Алферьевич Пиль был наместником, или генерал-губернатором, Сибири и жил в Иркутске вместе с своею женою Елизаветой Ивановной, с дочерью Катериной Ивановной и ее мужем Степаном Федоровичем, который приходился мне двоюродный дядя и о котором я не раз упоминал уже в продолжение моего рассказа.

В Сибири жил в это время старичок швед, который, будучи еще ребенком, был взят в плен вместе с своим отцом, который сослан был в Сибирь и там остался. Этот старичок имел под городом Иркутском землицу и дом,

где и жил. По всякой год на праздники Рождества приезжал в Иркутск и останавливался у одной старушки, его знакомой.

Она была вхожа к жене наместника и рассказывала ей, что швед, накануне нового года, проводит ночь на верху ее дома, занимается наблюдениями звезд и многое по звездам предсказывает.

Однажды рассказала она с некоторым страхом, что в этом году, по предсказанию старика, падет насильственно одна коронованная глава. Это предсказание исполнилось казнию Людовика XVI[37], о которой, само собою разумеется, известие в Сибирь пришло не скоро.

Вследствие этого предсказания Елизавета Ивановна просила старушку спросить шведа: что будет с Россиею. Вот его ответ, который она пересказала с некоторым удивлением.

После Екатерины будет царствовать Павел недолго, после него вступит на престол сын его Александр, коего царствование будет славно. Однако у него прямых наследников не будет, и наследует ему не брат его Константин, а кто-то другой. (Тогда, в 1793 году, Николай Павлович еще не родился.) И это царствование будет таково, что лучше бы людям не родиться. А кто после него будет царствовать (это Александр II), того царствование будет самое благополучное и все будут благоденствовать.

Дядя Степан Федорович, рассказывая мне это, всегда прибавлял: «Как хочешь, суди; а я старичку верю: Константин Павлович не будет царствовать!»

К этому я должен прибавить, что означенный мой дядя умер прежде Александра, именно в июле месяце 1825 года. Следовательно, рассказывал мне это, когда еще никто не мог и подозревать об исключении Константина от престолонаследия.

Какое было царствование Николая, мы знаем; но исполнится ли пророчество о нынешнем Государе, этого мы доселе не видим. — Обращаюсь к присяге.

Странное дело! Константин слыл всегда человеком буйным, взбалмошным; а присягали ему охотно: говорили, что он при всем этом имеет доброе сердце![38] — Но присяга Николаю была в Москве — хлопотлива, печальна и как будто страшна: у всех сжималось сердце; все чего-то ждали и ничего не надеялись. К этому случаю относится у меня в стихах моих на встретение в Москве тела Императора Александра следующий куплет, который, по счастию, остался не замеченным ни цензурою, ни публикою:

Печален вид сего торжественного дня!
Великолепия и мрачности слиянье!
Так с черной тучею багряное сиянье
Сливает Запада заря!

Земля, покорная борющейся природе,
Безмолвствует и ждет, безвестности полна,
Что будет нового светила на восходе:
Гроза иль тишина[39].

В Петербурге, по случаю второй присяги, вспыхнуло возмущение, которое отразилось в некоторых полках пограничных западных губерний[40]. До меня все новости доходят позже, чем до других, потому что я мало занимаюсь внешним. Так и это. Я приехал к П.А. Новикову, жившему тогда в доме своего тестя князя Долгорукого; увидя меня в окно, выбежала ко мне на крыльцо жена его и говорит: «Слышали ли вы, что в Петербурге? — Бунт; на площади дрались; Милорадович убит!» — Я, признаюсь, не поверил, как городским слухам; оказалось, что это правда! — Известно, что это произошло 14 декабря 1825 года; Верховный уголовный суд и его последствия также известны.

По случаю открытия заговора многие из московских были также схвачены и увезены в Петербург. В том числе судья надворного суда 1-го департамента Иван Иванович Пущин. Я не знал его лично; но все говорили, что он был человек умный, просвещенный, честный и правосудный. Его ставили за образец знающего судьи и отзывались об нем с уважением[41]. В один вечер я получаю записку из канцелярии князя, чтобы в 11 часов утра явиться к нему. Вслед за тем приезжает ко мне мой приятель Новиков, служивший тоже по особым поручениям. Он уведомил меня, что и он получил то же приглашение, что нас зовет князь для того, чтобы предложить нам место Пущина; что он просит меня, по дружбе к нему, не отказаться от этого места. «Я, — говорил он, — служу при князе давно уже (год или около двух); мне обещано место советника; а ты недавно и можешь показать этим, что хочешь сделать князю удовольствие: это ему будет приятно, и проч.». — Я решился. На другое утро были мы у князя; Новиков просил уволить его от места надворного судьи, а я согласился. — Князь представил Сенату; а в ожидании определения дал предложение губернскому правлению о допущении меня к исправлению должности. Так сделался я надворным судьею. Об этом судействе буду говорить после.

Вскоре начались для князя горькие хлопоты: ожидание тела покойного Императора и распоряжения по этому случаю[42]. Не могу при этом не упомянуть одну забавную встречу, которая была в совершенной противоположности с тогдашним настроением моего духа и с общею горестию. Мы находим иногда у комиков, даже у Мольера, сцены, которые называем фарсами; говорим, что они не натуральны, преувеличены, chargées, outrées! — Таковы у него некоторые сцены медиков и стихотворцев; таковы его «Les precieuses

ridicules» и сцена сонета в «Мизантропе»![43] — Теперь я верю, что все это взято с натуры.

За день до прибытия тела Государя я, по делам службы, пришел к князю и дожидался его в гостиной. Он был очень озабочен и предстоящей церемонией, и делами, и теми предосторожностями, которые по тому времени казались нужными[44]. В это же время приехал к нему нынешний митрополит, архиепископ Филарет, для нужных совещаний, и прошел мимо нас в кабинет князя. Я был в гостиной не один. Тут были: обер-полицеймейстер[45], жандармской полковник, адъютанты, тогдашний чиновник особых поручений, а потом сенатор Степан Дмитриевич Нечаев[46] и еще незнакомый мне отставной генерал, в военном мундире без эполет и в Анненской ленте. Все мы были, сообразно тому времени, мрачны и молчаливы. — Наконец, подходит ко мне помянутой генерал и спрашивает: «Вы, верно, имеете нужду до князя?» — Я отвечал ему, что жду его по делам службы. «А вы, ваше превосходительство?» — «Я, — отвечал он, — имею нужду до князя: пришел поднести ему оду моего сочинения; вот она: не угодно ли посмотреть?» — Я взглянул на печатную оду; что же я вижу! — «Ода на всерадостное прибытие Государя Императора Александра Павловича в город Углич, такого-то числа». — Я не вдруг сообразился; на всерадостное прибытие в город Углич, когда везут его тело в Москву! — Потом вспомнил, что Император в Угличе не был; наконец, взглянул на число прибытия — je croyais avoir la berlue!* — Это число еще впереди; а он уже отошел в вечность! — Какое же тут радостное прибытие? — Наконец, генерал объяснил мне мое недоумение. «Покойный Государь, — сказал он, — намерен был на возвратном путешествии посетить город Углич, и прибытие туда назначено было, по маршруту, того самого числа, которое выставлено на оде. Но между тем он скончался; а ода была у меня заранее приготовлена и напечатана. Теперь я пришел поднести ее князю». — Я вытаращил глаза: не сумасшедший ли он — подносить радостную оду в такое время и на несбывшееся прибытие! — Подошел к Нечаеву, спросил и узнал, что это генерал-маиор Дмитрий Евгеньевич Кашкин[47]. Все подступили к нему с разговорами: не буду говорить, что он нам рассказывал о своих стихотворных произведениях; никто не поверил бы этой сцене; сам Мольер воспользовался бы ею. Между тем, проводивши Филарета, князь подошел к нам и, как следует, прежде всех обратился к военному генералу, от которого, к удивлению князя, последовало очень серьозно поднесение ему оды. Князь принял ее с невольною легкою улыбкою на огорченном лице; поблагодарил его, с легким при том замечанием о его прекрасном намерении и с сожалением, что не успел его исполнить. Потом подошел к нам,

*я подумал, что мне мерещится! (*фр.*).

сказал еще два слова о таланте генерала и начал говорить о делах. — И в этом случае видны были его добродушие и снисходительность!

При этом случае кстати уже упомянуть о моих стихах на кончину Государя Императора[48]. Многие писали на этот случай[49]; я, читая эти оды, дивился только, как такое происшествие не возбуждает в наших поэтах истинного вдохновения: ибо одни из этих стихов были вялы; другие, как будто писанные по заказу, имели характер какой-то казенной оды! — Ни в одних ни глубокого чувства, ни высоких мыслей, сообразных с важностию происшествия. Сам я не думал писать на кончину Государя. Однажды приехал я обедать в гостиницу Яра[50] и встретил там моего дядю Ивана Ивановича. Мы сели обедать вместе. За столом говорит мне дядя, как он недоволен всеми этими стихами. — «Я уже заказывал, — продолжает он, — написать на этот же случай Иванчину-Писареву; но и он написал вяло!»[51] — Слушая его, мне сделалось немножко досадно, что он имел такую доверенность к Иванчину-Писареву, а мне не промолвил об этом ни слова. Приехавши домой, начал я думать о европейской важности кончины русского Государя, имевшего такое влияние на судьбу Европы; о необыкновенных обстоятельствах кончины славного монарха, победителя Парижа, примирителя народов, вождя царей, последовавшей в отдаленном углу России, в тишине семейной жизни, и проч. — Все это нечувствительно воспламенило меня. Я сел и в тот же вечер написал стихи на кончину Государя. Помню, что, писавши их, я был в необыкновенном и сладком волнении духа: слезы невольно текли из глаз моих; стихи писались как будто сами. Это было уже в начале 1826 года. На другое утро я вставил в средину еще четыре куплета о Европе; переписал и послал к дяде, думая: что он скажет? Ибо он был строгой судья литературы.

Через полчаса сказывают мне, что приехал Иван Иванович. В ту же минуту он сам появляется в дверях: в шубе, в шапке, в галошах; держит в руках мои стихи и рыдает! — Потом, не говоря ни слова, бросился обнимать меня! — Признаюсь, от такого строгого судьи — это было мне неожиданная и сладкая награда! Об этих стихах написали потом большую похвалу в Journal de St. Petersbourg, которую потом перевели в «Литературных прибавлениях к “Инвалиду”».

Если зависть доказывает достоинство, то я с моими стихами имел этому неприятный опыт. Расскажу и это. Александр Иванович Писарев, которого таланту я отдавал и отдаю ныне, по смерти его, должную справедливость, имея прекрасные свойства ума, кажется, не имел многих качеств сердца. Он был чрезвычайно хорош со мною, пока ему казалось (что, может быть, и действительно было), что мои стихи уступают его произведениям; но первый успех мой обнаружил его кошачью природу: он впустил свои когти; он оцарапал меня больно, но неосторожно в отношении к самому себе, потому

что решился себя обнаружить. Общество любителей словесности положило сделать особое заседание в память Императору Александру. В этом собрании положено было прочитать публично все, что было написано и напечатано на его кончину. Смело могу сказать, что мои стихи блеснули бы перед другими. — Как помешать этому? — Вот как.

Все прежние мои стихи читывались в собраниях Общества Кокошкиным, который читал прекрасно. На этот раз брался читать тоже Кокошкин; у него оспоривал это право С.Т. Аксаков, который тоже был мастер произносить стихи публично и, конечно, захотел бы на этот раз пощеголять своим талантом. Но у всех оспоривал право чтения — Писарев. Чтобы убедить меня отдать ему мою пиесу для публичного чтения, он взялся прочитать ее на пробу в приготовительном собрании — и, надобно сказать, прочитал звучно и с чувством, словом: восхитительно! — Я решился вверить мое дитя ему! Но что же вышло?

В публичном заседании общества[52], к которому собрались и архиепископ, и генерал-губернатор, и вся знать, и дамы большого света, доходит очередь до моих стихов; я в ожидании. Каково же было мое изумление, когда Писарев вдруг начинает читать их не только разговорным, но даже комическим, почти шутливым тоном. Он не постыдился присутствия многочисленной и избранной публики, лишь бы только уронить одно удавшееся мне произведение! Конечно, все были этим недовольны: иные причли это к неуменью читать; другие дивились; но каково же было положение автора! — Я сидел, как на иглах; а прервать было невозможно: и он имел бесстыдство прочитать таким образом до конца всю длинную пиесу! — На другой же день было у нас объяснение. Кокошкин вздумал мирить нас и добродушно защищать его, чтобы позолотить пилюлю. Я отвечал, что не сержусь на Писарева; что переменить натуру невозможно, а злость в его натуре; что он не мог уронить совершенно мою пиесу, потому что она напечатана и ее все уже читали, а обнаружил этим только свою зависть. В заключение я примолвил, что за талант Писарева я ручаюсь, а за его душу не дам и гроша! — Тем и кончилось; а Писарев продолжал свое знакомство со мною и ездил ко мне по-прежнему, как будто ничего не бывало между нами!

Тело Государя Императора привезено было в Москву 3 февраля 1826 года. Процессия была великолепна. Войска, печальный марш, знамена, государственное знамя, короны всех царств и княжеств России, знамена всех губерний, корона и регалии императорские, значки ремесл, Сенат, присутственные места, корпус дворян, корпус купцов, корпус ремесленников, радостная лошадь, печальная лошадь, радостный рыцарь, весь в золоте, печальный рыцарь в черных латах: все это было великолепно[53]. Но так как мы, русские, никак не можем сохранить ни в чем чинного порядка[54] и никак не понима-

ем, чего требует от нас собственное наше достоинство, и все надеемся, что авось не увидят: то и тут не обошлось без национальной нашей безурядицы. Например, некоторые чиновники, бывшие в церемонии, надеясь на свои широкие мантии, навешали на эфесы своих шпаг кренделей и баранок; а печальный рыцарь был пьян и шатался из стороны в сторону.

При этой печальной церемонии для меня и для многих московских придворных началась в первый раз придворная служба — дежурством в Архангельском соборе при гробе Государя. Мы чередовались через четыре часа, и днем, и ночью. Кроме военных и почетного караула четыре вельможи первых двух классов, в том числе мой дядя; четыре сенатора; два камергера и два камер-юнкера — посменно отправляли это дежурство. Вокруг гроба стояли двадцать пять бархатных подушек с русскими и иностранными орденами покойного Императора. Для нас, молодых людей, это было между прочим и развлечение; а между тем — стоять ночью при великолепном гробе, окруженном погребальными свечами, при однообразном чтении Евангелия (ибо по коронованных особах читается не Псалтырь, а Евангелие): это было что-то величественное, возвышающее душу! — Помню, что однажды вошла дама, в черном платье, под черною вуалью, поклонилась пред гробом и что-то на него положила. Мы посмотрели — венок из незабудок. Это была княгиня Зенеида Александровна Волхонская[55]. — Помню и другое — о молодость! — В то время, как все были в трауре (а наши мундиры из темно-зеленого сукна — тоже не яркого цвета), вдруг я вижу, вступает в собор — совершенный попугай! Мундир бирюзового цвета с розовыми отворотами, палевые штаны и камзол, голова напудрена, коса и букли в роде каких-то крылышек! — Цветен до бесконечности! — Мне объяснили, что это отставной бригадир Николай Селиверстович Муромцев[56] и что этот мундир еще екатерининской. — Но дядя мой — сколько раз заставал я его ночью в соборе, что он приклонится к столбу и тихо рыдает! — Однажды он мне сказал: «Я вспомнил твои стихи —

Сними с сего чела земное покрывало;
Скажи: чей вопль течет, отвержен от него!»[57]

После погребения тела Государя Императора начался в Петербурге Верховный уголовный суд. Слухи приходили и сменялись беспрестанно: все трепетали; и в первый раз в жизнь мою я увидел, что боятся говорить громко. Однажды я приезжаю в книжную лавку Ширяева[58]. Он показывает мне первый полученный им экземпляр решения Верховного уголовного суда. Я взглянул: четвертование! — Ужас обдал меня![59] — Ободренный успехом моих стихов на кончину Александра, я думал написать и на коронацию нового Императора. Но тут я дал себе слово не писать их; да и не мог: мысли, вели-

чие минуты, в которую новый монарх принимает корону — все исчезло и не возвращалось в мое воображение! — Однако Государь повелел смягчить казнь и исполнить приговор, какой состоится, не представляя ему на конфирмацию. Вследствие этого милосердия пять человек были повешены: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев-Рюмин и Каховской[60]; сто двадцать сосланы на каторгу и на поселение. За сим назначена была коронация.

Прежде всех прибыла в Москву вдовствующая Императрица Мария Федоровна[61], добродетельная, кроткая матерь сирот и последняя из царской фамилии, помнившая и наследовавшая обычаи двора Екатерины: милостивую вежливость, кроткую величавость и церемониальный тон двора. Мы, московские камергеры и камер-юнкеры, не более как в числе человек двадцати, были ей представлены. Петербургской двор еще не приезжал. За обер-камергера был старший камергер Аполлон Александрович Майков[62]. Императрица подходила к каждому из нас особо. Когда ей назвали меня, она остановилась, посмотрела на меня молча и сказала мне по-французски: «N'est-ce pas vous qui avez fait une ode sur la mort de mon fils, l'Empereur Alexandre?»* — Когда я отвечал ей, что это я, глаза ее наполнились слезами, и она сказала: «Je vous suis très reconnaissante; vous m'avez touché jusqu'aux larmes, en même temps vous m'avez fait un grand plaisir! Je vous remercie pour vos sentiments qui vous font honneur!»** — Когда удалилась Императрица во внутренние комнаты, придворные и приехавшие с нею московские, а первый Майков, подбежали ко мне и начали расспрашивать, о каких стихах говорила со мной Императрица. Никто и не знал об них!

Вслед за нею приехала великая княгиня Елена Павловна[63], супруга Михаила Павловича. Она нас, молодых людей, просто очаровала! Прелестная собою, умница, говорящая по-русски, как русская, она со всяким находила приличное слово. Когда мы представлялись ей, нас было уже много, порядочная толпа; но и она отличила меня в этом множестве, и все благодаря стихам моим. Она сказала мне уже чистым русским языком: «Я читала вашу *элегию* на кончину Государя» — и тоже какую-то похвалу очень лестную. Это слово *элегия* показалось мне очень замечательным и доказывающим, что она вникла в дух этого стихотворения. Императрица назвала его одою, имея в виду важность предмета; но оно имеет действительно тон более элегической.

Вскоре последовало рождение и крещение дочери великого князя Михаила Павловича, Елизаветы Михайловны[64]. Маленькой московской двор потребовался в первый раз на действительную службу. Я говорю «маленькой», потому что при Александре не было еще такого множества камергеров и ка-

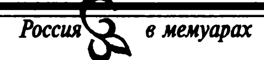
*«Не вы ли сочинили оду на смерть моего сына, Императора Александра?» (*фр.*).

**«Я так признательна вам; вы растрогали меня до слез, и в то же время доставили мне большую радость! Благодарю вас за ваши чувства, которые делают вам честь!» (*фр.*).

мер-юнкеров: это было редкое отличие, которое давалось совсем не в награду за службу, а в уважение знаменитости фамилии или заслуг отца, родственника и проч. Тогда еще не было камергеров по военной части или в Соляной конторе и не жаловали в них и смотрителей уездных училищ, и уголовных стряпчих, и столоначальников коннозаводства. Тогда камергерство и камер-юнкерство ручалось за род и чью-нибудь в том роде важную службу. Оно почти никогда не означало заслуги того лица, которому давалось, по крайней мере всегда соединялось с известностью фамилии; но уважалось гораздо более и было редко.

Таинство крещения совершено было торжественно в соборе Чудова монастыря 13 июня 1826 года. Мы прошли в церковь, предшествуя императрице, коридором, ведущим из Малого дворца. Я слышал плач царственного младенца; слышал, что они плачут, как и наши дети. В стороне поставлены были ширмы, за ними диван и столик для кормилицы. Маленькую великую княжну держала на подушке княгиня Ливен[65]. На Императрице были три ленты: Андреевская, а из-под нее видны были сверху края Екатерининской, а снизу Малтийской. Церемония кончилась. У Императрицы в этот день был обед, надобно было назначить четырех дежурных: двух камергеров и двух камер-юнкеров. Помня, как приняла меня Императрица, А.А. Майков назначил меня, и я имел счастие обедать за одним столом с Императрицей. — Мы четверо шли за обед перед нею. Расстояние между стены и стульев было очень тесно; Императрица задела рукавом платья за графин с водою и пролила его; я успел подхватить графин и поставить его на место. Она меня поблагодарила. Я упоминаю об этих подробностях, чтобы показать ее милостивую вежливость; меня оправдает последующее. После обеда тем же порядком она возвратилась в тронную залу, и мы ушли отыскивать свои кареты. На лестнице говорят мне, что нас ищут, что нас спрашивает Императрица. Мы, четверо дежурных, камергеры Небольсин и Солнцев и камер-юнкеры граф Толстой[66] и я, удивились и возвратились в тронную. — Императрица ожидала нас одна посреди залы. Она спрашивала нас только затем, чтобы поблагодарить за нашу службу. Вот зачем я упоминал все подробности, чтобы показать милостивое обращение Государыни. С приездом Государя и петербургского двора мы уже не видали таких примеров: суета, шум и никакого внимания.

Приехал и Государь. Мы ему представлялись. Князь Дмитрий Владимирович, желая, видно, отличить меня, сказал ему, что я племянник Ивана Ивановича Дмитриева. Он ни слова. Строг, молчалив, неприветлив. У московских опустились крылья!



ГЛАВА 12
Коронация Государя Николая Павловича • Праздники и балы • Записка о нуждах дворянских • Учреждение тайной полиции

После казней и ссылок на каторгу людей, преступных иногда одной мыслию, одним неосторожным словом и оставивших после себя столько вдов и сирот, назначен был триумфальный въезд в Москву для коронации. Для Николая Павловича это был действительно триумф: победа над мятежом.

Рассказывать подробности петербургского бунта не нужно: они всем известны. Но нелишнее сделать оценку этого происшествия: она тем легче и тем будет справедливее, что так судили об этом вскоре после происшествия, так судят беспристрастные люди и теперь, по прошествии почти сорока лет. Мнение не переменилось, что ручается за его истину, ибо «истина, — говорит Тацит[1], — получает силу от рассмотрения ее и от времени; одна ложь от торопливости и слухов».

Причин к неудовольствию было много. Александр успокоил Европу и не улучшил положения России. Винить его в этом трудно. Россия всегда бывала такая страна, которая не имела своего голоса, да если бы и дали его, она сама не знала бы, что ей нужно, чего просить или чего требовать. Мы чувствуем только инстинктивно, что нам нехорошо, а устройство не нашего ума дело! И потому все должно угадывать само правительство! Можно ли же винить кого бы то ни было, что он не умеет угадывать? — Александр, как человек, и притом не гений, угадывать не умел! — Между тем, познакомившись с другими государствами, видя, что там устройство везде лучше, просвещеннейшие из русских офицеров невольно вынесли оттуда зависть к лучшему устройству, приписывая его более всего политической свободе. Александр, давши конституцию недостойной Польше и в речи, произнесенной на сейме, обещавши такую же и России, возбудил еще более желание свободы и мечты людей, может быть, лучших по благородству стремлений, по уму и по просвещению, но обольщенных и неопытных. Они, исполненные надежд, боготворили тогда Александра. Но когда он, напуганный карбонарами и Меттернихом, обратился от идей свободы и конституции в противную сторону и сделался так называемым консерватором, то есть от защиты

прав народов обратился к поддержанию прав государей, тогда и молодые люди, о которых я говорил, обратились в другую сторону, и любовь превратилась в ненависть. Мало-помалу они начали думать, как бы самим произвести преобразование! — Виноват не Александр; виноваты и не они: виновато во всем исключительное и неисходное положение России, страны, которая шла не естественным ходом истории, а насильственно, и зашла в такую трущобу, которая ни Европа, ни Азия, из которой надо куда-нибудь выйти, а дороги не видать.

Но самый характер бунта 14 декабря несет с собою свое оправдание, не говоря уже о причинах. Что это за заговор, в котором не было двух человек, между собою согласных, не было определенной цели, не было единодушия в средствах, и вышли бунтовщики на площадь, сами не зная зачем и что делать. Это была ребячья вспышка людей взрослых, дерзкая шалость людей умных, но недозрелых!

Если бы Николай Павлович оказал при этом царское великодушие, наказал легко и временно, и то немногих, он приобрел бы себе сердца всех этих людей, а Россия приобрела бы в них людей способных, которые со временем, получивши опытность, могли бы быть людьми государственными, потому что в уме и сведениях у них недостатка не было! — Но Николай Павлович был жесток, не имел в себе довольно величия души и благородства духа, чтобы быть великодушным. Он видел в этом одно: восстание против деспотизма; он желал одного: усиления своей деспотической власти. Он желал царствовать не любовью, а страхом; и действительно, со времени этих казней и со времени учреждения тайной полиции в его подданных не было другого чувства, кроме страха!

При этих чувствах всех людей мыслящих совершилось торжественное его вшествие в Москву[2], к коронации, при пальбе из пушек и колокольном звоне. Придворная служба московских камергеров и камер-юнкеров, в числе которых был и я, началась с того, что при этом торжественном въезде в Москву они должны были от Петровского дворца до Кремлевского ехать впереди верхами. До начала коронации нередко доводилось нам видеть во дворце нового Государя; всякой раз видели на его суровом лице заметное беспокойство; вообще он был в тревожном состоянии. Мятеж гвардии оставил в нем сильное впечатление, которое, кажется, имело влияние на всю его жизнь и на его характер, и без того суровый. А в это время была и еще причина тревоги: отсутствие Константина Павловича в торжество коронации могло подать повод к разным заключениям, могло подтвердить в народе мысль о завладении престолом и о насильственной его смерти, о которой в народе ходили уже слухи[3]. Однажды будят меня рано утром и подают афишку: ехать в собор по случаю приезда Константина. В соборе в первый раз несколько

расцвело лицо Государя: доказательство уступки налицо! — А Константин Павлович во всю обедню проболтал с братом Михаилом Павловичем. Я думаю, никогда вся семья не была ему так рада, как в этом случае.

Коронация назначена была 22 августа. В Кремле были построены места для зрителей, некоторые пускались по билетам, а за местами весь Кремль был полон народом. От собора до собора было разостлано красное сукно для шествия Государя; по сторонам стояла гвардия. Мы собрались с раннего утра в Кремлевский дворец в тронную залу. Долго ждали мы Государя и не знали, в которые двери он войдет. Через несколько времени начало доходить до нас *ура*; но по разным местам и голосов от десяти, не более. Это показалось нам странным, потому что *ура* могло в это время кричаться только в приветствие Государю и было бы всеобщее. Мы подошли к окну и увидели, что через толпу народа пробираются два белые султана. Это были Константин Павлович и Николай Павлович: первый вел его под руку и открывал ему дорогу. Так как въехать в Кремль по множеству народа не было возможности, то они вышли из коляски и пробирались во дворец пешком. Их узнавали только те, с кем они сталкивались в толпе; эти-то несколько человек и кричали *ура*, между тем как другие не видали их и молчали.

Двор был тогда уже в полном составе: приехали все камергеры и камер-юнкеры из Петербурга. Они были столь вежливы, что сделали нам, московским придворным, визиты; а мы им: таким образом мы, по крайней мере по форме, познакомились и составили одно золотое сословие. И граф Виктор Никитич Панин[4], который сделался после моим начальником, был в это время одним из младших камер-юнкеров и тоже сделал мне первый визит наравне с другими.

Нам назначено было идти в собор перед Императрицей Марьей Федоровной, за полчаса перед торжественным шествием Государя. Таким образом она, в предшествии двора и сопровождении придворных дам, первая открыла эту церемонию. Она шла под балдахином и, как коронованная уже Императрица, одна была в порфире и короне. Николай Павлович и Александра Федоровна шли в собор, не имея еще на себе этих императорских регалий. Мы шествия их не видали, потому что были в это время уже в соборе. Но зато — нас не вывели оттуда, как нынешних камергеров и камер-юнкеров в коронацию Александра Второго: покойный Николай Павлович наделал их столько из всякого звания, что им в соборе не оказалось места, и они прошли только из одних дверей в другие. Для нас, напротив, были устроены места, по правую сторону трона, а так как я был тогда из младших, то стоял впереди, в первом ряду, в двух саженях от трона, и видел очень хорошо весь обряд коронации.

Всего обряда я описывать не буду: он известен. Кто не знает, может прочитать его в книжке, издаваемой всегда по этому случаю, под названием: «Чин

действия» и проч.[5] — Я скажу только о том, что наиболее поражает при этом благоговейное чувство зрителей или что было замечено мною особенного при этом случае. — Шествие в собор, а потом и самый обряд коронования происходят по прочтении часов и перед началом литургии. Старший митрополит прежде всего предлагает Государю исповедать во всеуслышание символ веры и спрашивает его: «Како веруеши?» — поднося ему в то же время разгнутую книгу. Николай Павлович прочел символ веры громко и молодецки! — Откровенно скажу, что во все продолжение этой августейшей церемонии я не заметил на его лице не только никакого растроганного чувства, но даже и самого простого благоговения. Он делал все как-то смело, отчетисто, по темпу, как солдат по флигельману[6], и как-то будто не в соборе, а на плацпараде! — Протодиакон громко молился о нем Господу: «О еже помазанием всесвятаго мира прияти ему с небес к правлению и правосудию силу и премудрость» и «яко да подчиненные суды его немздоимны и нелицеприятны сохранити». А он едва ли участвовал в этом прошении, судя по его неподвижному лицу и солдатскому величию! — Между тем для всех присутствующих было умилительное зрелище, когда и это гордое величие должно было, сообразуясь обряду, стать на колена и прочитать по поданной митрополитом книге молитву, составленную из слов царя Соломона, молившегося Господу, «да пошлет с небес своих святых приседящую престолу его премудрость; и да вразумит и управит в великом сем служении». — Замечательно, что все коронование русских царей состоит в молитвах за них церкви и их краткой молитве; но что они не дают не только никакой клятвы или присяги, но даже и никакого обещания. Кажется, основанием этого служит то убеждение, что «сердце царево в руке Божией»: следовательно, если он хорош, это значит, что Господь умудрил его; а если дурен — он не виноват, потому что Господь не вложил хорошего в его сердце! — Это могло бы быть более справедливо, если бы не было той истины, что Господь влагает добрые мысли и премудрость только в душу, достойную его дара; а «в злохудожну душу не внидет премудрость», как говорит Соломон. — Вот этого бы забывать не должно!

Корону, скипетр и державу подает Императору митрополит; но возлагает он их на себя сам. Прекрасная минута, когда потом, сев на престол, он подзывает к себе свою супругу; она становится пред ним на подушку на колена, а он, сняв с себя корону, прикасается ею к голове ее и тем приобщает ее к своему званию и власти. Потом придворные дамы надевают на нее уже ее собственную меньшую корону. А за сим сам Император возлагает на нее порфиру и цепь ордена Св. Андрея.

В конце литургии, по причастии внутри алтаря архиереев и других священнодействовавших лиц, митрополит помазал нового Императора святым миром; потом ввел его за руку, чрез царские врата, внутрь алтаря к престо-

лу, где он приобщался Святых таин как священник (особо тела Христова, и особо пил из сосуда кровь Христову).

По совершении коронования, когда начались поздравления, Николай Павлович сам подошел к матери и сделал вид, что хочет стать перед ней на колена; но она не допустила его и приняла в свои объятия. Когда потом он бросился обнимать Константина Павловича (а его было за что благодарить!), чем-то зацепился он за его генеральские эполеты, и насилу могли расцепить их! Маленькой наследник, нынешний Император Александр II, бывший тогда осьми лет, стоял во время церемонии возле великой княгини Елены Павловны, и во все время тихонько плакал: видно, этот обряд, величественный и священный, растрогал его мягкое отроческое сердце.

Мы возвратились во дворец, опять предшествуя вдовствующей Императрице; а Государь с своею супругою прошли сперва в Архангельский собор поклониться гробам предков, а потом в Благовещенский. Мы же, проводивши вдовствующую Императрицу во внутренние покои, высыпали все на Красное крыльцо смотреть это шествие по соборам. День был прекрасный; мы молоды и веселы; для нас это было подлинно торжество. При том же мы и себя чувствовали чем-то как будто не равными с другими, мы были какими-то если не хозяевами во дворце, то по крайней мере как будто домашними, потому что имели доступ туда, куда и взору других не дозволено было проникнуть! Все это веселит суетность человека, особенно в юности!

Увидя, что Государь возвращается уже в Кремлевский дворец, мы все собрались в тронную залу, где он снял [с] себя корону. Ее и другие регалии, скипетр и державу, положили на стол, покрытый красным бархатом, а он, в порфире и бриллиантовой андреевской цепи, пошел в другую комнату, показаться с балкона народу.

Оставшись одни, мы натурально бросились смотреть регалии. Ко мне подошел камер-юнкер князь Петр Алексеевич Голицын[7] и спросил, видел ли я корону. Я отвечал, что видел. — «Ну что же?» — Я сказал: «Очень хороша и великолепна!» — И подлинно она вся была из крупных бриллиантов и блистала, как кусок льду! — «Нет! — отвечал он. — Стало быть, вы не все рассмотрели!» — Мы подошли опять, и я увидел, что крест погнулся набок. Он состоял из пяти больших солитеров; осно́вный, самый нижний камень выпал, и весь крест держался только на пустой оправе. — Нам показалось это дурным предзнаменованием. Да и подлинно все царствование Николая Павловича было без осно́вного камня; благодаря его правлению, государство пошатнулось, оттого и теперь оно почти на боку. Тщетно придумывали мы, когда могло случиться это повреждение короны: никак не могли отгадать, потому что она была во все время на голове Государя. После уже мне пришло на мысль, не крестом ли он зацепился за эполет Константина. Ежели

так, то очень странно, что от него получил корону; об него же погнулся и крест, символ ее святыни. — «Есть язык вещей», — сказал кто-то.

В этот день был торжественный обед в Грановитой палате. Император с Императрицей обедали особо от всех, на троне. У среднего столба, обставленного старинной драгоценной посудой, косвенно, лицом к трону был стул для трех митрополитов. А по стене, по правую сторону от трона, или по левую от входной двери, длинный стол, загнутый глаголем[8], был назначен для Государственного совета, Сената, министров и отставных чинов первых классов. Между ними находился и мой дядя. Наследник смотрел на этот обед в какое-то окошечко, проделанное очень высоко во внутренней стене, против трона. Из всей царской фамилии был в зале один Константин Павлович, который ходил вокруг стола наших вельмож; подойдя к Алексею Федоровичу Орлову[9], который тогда не был еще графом, он с обычной своей любезностию сказал ему: «Ну, слава Богу! Все хорошо; я рад, что брат коронован! А жаль, что твоего брата не повесили!» — Это он говорил о Михайле Федоровиче[10], с которым я, в последствии времени, был знаком хорошо. Он был человек необыкновенно умный и просвещенный, один из тех людей, которые в других правительствах делаются людьми государственными. Но Николай Павлович, по принадлежности его к тайным обществам, считал его бунтовщиком; а на Константине Павловиче нечего и взыскивать за его мнения! — Это вышеписанное его изречение пересказал мне мой дядя, который слышал его своими ушами.

После коронации начались обеды, праздники и представления: Синода, Совета, Сената, чужестранных министров[11], чинов первых четырех классов и других лиц или сословий, как-то: губернских предводителей, купеческих голов и проч. Мы, по нашей придворной службе, были при всех этих представлениях и стояли по правую сторону трона, у подножия которого, стоя, принимали поклоны Император и Императрица.

На этих представлениях занимательны были две вещи: во-первых, привычка и непривычка быть во дворце и видеть царское величие; во-вторых, личный характер некоторых лиц, несмотря на знакомую им обстановку. Всех более отличались разнообразием поступи и оригинальностию торжественности приехавшие из провинции предводители. Кажется, никто в это время столько не хлопотал и не чувствовал так своего величия! — Купцы, очень смиренно и важно, один за другим шли гусем, и у всех были сапоги со скрыпом, так что шествие их, кроме запаха кожи, отличалось еще каким-то утиным кряканьем: вероятно, никогда еще не бывало во дворце ни такого запаха, ни такой музыки. Из вельмож один, всегда величественный, подошел к Государю с такой робкой (чуть не сказал рабской) и с такой благоговейной физиономией, которая как будто хотела возбудить жалость; Кочубей,

потомок знаменитого гетмана и посланник еще времен Екатерины[12], шел прямо, смело и гордо; а Сперанской, по натуре своего поповского происхождения[13], еще от дверей вытянул шею. Я подумал, глядя на него: кажется, можно бы было привыкнуть ему к придворному паркету; а натура все-таки взяла свое!

После всех представлений, 27 августа был вечером бал в Грановитой палате. Эта зала, может быть, казалась огромной при московских царях; но по-нынешнему она тесна. Кроме того, много отнимает места тот, упомянутый мною, массивный четвероугольный столб, поставленный по самой средине, для поддержания свода. И потому вся зала была так наполнена людьми, как в заутреню Светлого Христова воскресенья бывает набита ими церковь. Только и можно было танцовать длинный польской, то есть ходить парами; а другие танцы были невозможны. Я помню, что тут я ходил в этом польском с Анной Федоровной Вельяминовой, на которой после женился; этот польской был таков, что, сделавши сквозь толпу несколько шагов, мы должны были останавливаться или пятиться назад, потому что встречались с первой парой, обогнувшей уже всю залу. Духота соответствовала многолюдству; и это был не бал, а движущаяся или стоящая на одном месте масса людей: всякой видел только того, с кем встретится или кто стоит возле.

Из других балов самые замечательные по роскоши, вкусу, а для нас особенно и по национальному характеру, были: 8 сентября бал французского посла Мармонта, герцога Рагузского[14], и 10 сентября бал английского посла, герцога Девонширского[15]. В это время были еще другие послы тех же двух наций, французской Лаферон и английской, которого имени я не помню[16]; но Мармонт и Девонширский были присланы как послы экстраординарные, для принесения поздравления Императору и для торжества коронации. Мы, зная заранее из расписания, что у них будут балы, сделали им первые визиты; они оба отвечали нам на другой же день присылкою визитных карт. Я все обращаюсь в мыслях к нынешнему незнанию обычаев и думаю, что иным придет на мысль вопрос: какая нужда была нам делать им визиты? — Вот какая: оба они, по нашему придворному званию, были обязаны пригласить нас на свои балы, хотя бы мы у них и не были: то, чтобы избавить их от неприятной необходимости приглашать людей незнакомых, эти визиты были необходимою вежливостию. С этой минуты, то есть с взаимного обмена карточками, мы, по общепринятому условию, были уже как бы знакомы*.

Не буду говорить, как оба эти бала были великолепны, скажу только, что бал Девонширского был роскошнее, а на бале Мармонта было более

*В этот самый день 8 сентября Пушкин, прощенный и возвращенный, был у Государя[17]; а Аксаков въезжал в Рогожскую заставу из своей Оренбургской деревни[18]. Замечание Михаила Николаевича Лонгинова[19] (*примеч. М. Дмитриева*).

вкуса. В обоих было нечто не по-нашему, но обычаи и обстановка последнего были ближе к нашим.

Мармонт принимал всех в передней небольшой зале, стоя посредине: великолепный его маршальской мундир был облит золотом и похож на наши придворные мундиры, кроме того, что был военного покроя и с эполетами. На нем в первый раз увидели мы белые брюки сверх сапогов, каких у нас еще не носили. Он стоял неподвижно, как на двух столбах, загнувши руки за спину и всякому на его поклон отвечал поклоном: в нем заметна была какая-то raideur*, может быть, военная, но уж совсем не придворная. Он был, так сказать, дубоват немножко! — Но выбор его в послы показывал большую деликатность французского двора: он был назначен именно потому, что был один из немногих маршалов, не участвовавших в войне 1812 года и не видавших истребления Москвы[20]. Он командовал в это время в Испании. Следовательно, его присутствие на торжествах коронации не могло напоминать нам ничего неприятного и оскорбительного для национального чувства и не было ни нам, ни им живым упреком.

С самого входа мы заметили уже некоторую разницу в их и наших обычаях. При входе дам молодые кавалеры посольства представляли каждой прекрасный букет живых цветов. Нынче ездят с букетами не только на балы, но и в театр; тогда этого обычая у нас еще не было, и эта своего рода внимательность была как приятна, так и необыкновенна. Впрочем, весь ход бала был почти как у нас, с тою только разницею, что у нас балы начинались тогда длинным польским, а у них прямо вальсом, и что танцевали больше всего французские кадрили, которые у нас были тогда еще редкость. Впрочем, надобно и то сказать, что тогдашние кадрили были нелегки: нынче только переходят с места на место и толкутся перед своими визави; а тогда делали отчетливо определенные па, а перед визави почти балансировали. — И потому нынешнюю нашу кадриль протанцует всякой, кто знает дорогу куда идти; а тогдашняя требовала искусства и грации. — Нечего и говорить, что все чиновники французского посольства, молодые люди из лучших фамилий, отличались вежливостию, предупредительностию и прекрасным тоном.

Для ужина Императорской фамилии была приготовлена несколько возвышенная эстрада. Об изящной деликатности ужина нечего и говорить; должно заметить только одно, что и выбор блюд и их относительный порядок были и не совсем таковы, и не в той общепринятой последовательности, как бывает у нас. Несмотря на то, что мы и в пище подражаем французам, что к нам перешла французская кухня, мы, видимо, переделали ее несколько по своему вкусу: так национальное берет всегда перевес при подражательности; видно, оно в связи с натурой народа.

*угловатость, неловкость (*фр.*).

При входе в отель герцога Девонширского[21] всех удивило, во-первых, то, что в передней большой официантской комнате стояли в две шеренги, вместе с лакеями, покрытыми золотыми галунами, и кучера, и форейторы; и даже, по своему званию, которое в домашней иерархии англичан считается выше, они стояли выше лакеев, то есть ближе к парадным комнатам. Говорят, это потому, что при торжественном случае надобно выставить весь дом посольской; а может быть, потому, что англичане, по свидетельству Свифта, уважают лошадей более, чем людей[22]. Не знаю, что из этого вернее.

Сам герцог был высокого роста, очень худ и тонок, с большим носом и далеко разрезанным ртом, неловок до крайности, и как Мармонт представлял собою неподвижность, так этот гнулся во все стороны. Умом он тоже не отличался, и об нем ходили разные анекдоты и неловкие его ответы. Мундиры на нем были как-то странного покроя и сидели мешком. Танцовал он неловко и смешно; а вальсу выучился уже в Москве, у княжны Софьи Александровны Урусовой, вышедшей после замуж за Радзивила[23]. На этом или на другом бале, хорошо не помню, танцуя кадриль с будущей моей невестой Анной Федоровной Вельяминовой, он упал и растянулся во всю длину перед нею. Прусской принц[24], стоявший подле, сказал ей: «Madame, vour devez être bien etonnée de voir la Grande-Bretagne à vos pieds». — Она ему отвечала: «Non, Monseigneur! Depuis longtemps je me suis aperçu de sa décadance!»* — Это произвело смех, и bon-mot** перелетело от одного к другому.

Танцовали, как везде; но английским кавалерам много помогали и в танцах, и необходимости занимать дам французы, шведы и наши русские, которые все были и ловчее, и любезнее кавалеров великой британской нации. Но зато англичане навеселились по-своему, не стесняясь никаким принуждением в присутствии Государя и царской фамилии. Например, двоим англичанам вздумалось в той же зале, в стороне, в уголку, протанцовать особо от всех мазурку; и протанцовали! — Один англичанин поправлял перед зеркалом хохол; оборотясь, он увидел за собою Государя, к которому стоял спиною. Вместо того, чтобы вежливо отойти, он растопырил перед ним руки, сделал гримасу, разинул рот и закричал только: «А-а!» — в знак изумления. Все посольство их было для нас образцом неловкости в обращении.

Ужин отличался массивностию и тем, что все кушанья стояли на столе. Никто их не подавал; все, сидящие за столом, должны были требовать этой услуги один от другого и служить один другому. Тарелок и приборов тоже никто не переменял; а возле каждого стула стояли по обе стороны две корзи-

*«Сударыня, вы, должно быть, немало удивлены тем, что Великобритания оказалась у ваших ног». — «Нет, ваше высочество! Уже давно я замечала, что величие ее склоняется к закату» (*фр.*).

**острота (*фр.*).

ны: одна пустая, чтобы складывать туда употребленные уже серебряные тарелки, ножи и вилки; а другая, наполненная чистыми тарелками и приборами, на смену. Между тем кругом стола стояло множество слуг, в ливрее с богатыми галунами, которые во весь ужин не трогались с места и ничего не делали. Не знаю, так ли это было за столом Императорской фамилии; но знаю, что когда спросили Девонширского, отчего нет эстрады и особенного стола для них, он отвечал, что у него все гости равны.

Таким образом, у Мармонта было только живо и весело; а у этого — еще оригинально и забавно. Мы, русские, любим замечать странное и смешное; а тут были черты, которые оставались в памяти и служили предметом ко многим рассказам.

Из всех посольств, приезжавших к нам в это время, всех замечательнее было шведское. Не говорю уже о почтенном старце Стединге[25]; но все кавалеры шведского посольства отличались вообще скромною и серьозною вежливостию, прекрасным тоном, знанием приличий и просвещением. И обращение с ними, и разговоры с ними были особенно приятны. Еще замечателен был своим костюмом посланник Американских Соединенных штатов[26]: все были в богатых мундирах, он один в фиолетовом бархатном французском кафтане; все были в звездах и в лентах, он один без всяких наружных украшений.

Перед этим и после этого были еще три бала: 6 сентября в Благородном собрании[27], 12-го у князя Юсупова и 16-го у графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской[28]. Об них рассказывать нечего, кроме того, что все они, особливо бал графини Орловой, были великолепны и что мы навеселились вдоволь и утомились донельзя. Но нельзя не упомянуть о маскараде 1 сентября, бывшем в театре.

Мы были en petit uniforme*, с галунами, в коротких черных венецианах[29] и так как мы предполагались замаскированными, то ходили в шляпах, не снимая их с головы и при встрече с Государем. Государь и любимец его генерал-адъютант Чернышев[30], который не был еще тогда графом, были оба в красных конногвардейских или кавалергардских мундирах, с черным блондовым венецианом, висящим сзади: оба они были молодцы и красавцы, особенно был хорош собою Чернышев — и в этом костюме оба они были живописны. Собственно маскарадных костюмов почти не было, по крайней мере я замечательных не помню. Но так как в этот маскарад пускали по билетам и купцов, и разночинцев, то и по платью, и по лицам некоторые и без костюмов, и без масок смотрели маскарадом. Из дам среднего класса и не принадлежащих к светскому кругу многие нашли самое удобное средство надеть

*в малой парадной форме (*фр.*).

сарафаны и нашили себе их, вероятно, из старых тафтяных занавесей, потому что многие были решительно в тряпье. Купцы, встречаясь не только с Государем, но и с генералами, схватывали с головы своей шляпу, несмотря на беспрестанное повторение не скидать; а купчихи были и тут залитые бриллиантами! Одним словом: этот маскарад был такая дикая смесь двора и захолустья, европейских дипломатов и каких-то подземных испуганных физиономий, что это казалось иногда репетицией последнего суда, а иногда как будто зверинцем, который показывают за деньги. После этого говорите, что нет и не должно быть различия классов в гражданском обществе! Нет! Оно не только есть; но на каждом есть своя печать, которой не изглаживает ни время, ни перестановка людей с места на место, ни фортуна!

13 сентября были на Девичьем поле столы и увеселения для народа. Угощение состояло из пирогов и жареных быков и из белого и красного вина; а увеселения из балаганов и палаток, как бывает всякой год под Новинским, с разными даровыми представлениями. Для нас присланы были билеты в императорскую галерею, где мы и стояли за стульями царской фамилии; но праздник кончился в несколько минут, и никто не видал никакого праздника. Русской народ жаден и не способен ни к спокойному наслаждению, ни к порядку; удовольствие для него всегда сопровождается буйством. По первому знаку толпа бросилась на столы с остервенением; а никакая сила не удержит воли, когда не удерживает ее закон моральный и приличие. В несколько минут расхватали пироги и мясо, разлили напором массы вино, переломали столы и стулья и потащили домой кто стул, кто просто доску, в полной уверенности, что это не грабеж, потому что все это царем пожаловано народу. Николай Павлович не приказал останавливать, да это не было и возможно. Двор уехал; мы тоже разъехались по домам. Благоразумн<ейшие> из народа или, лучше сказать, те, которые не добрались до добычи, остались доканчивать пир и за недостатком белого и красного вина утешать себя сивухой; эти благоразумнейшие, вероятно, домой не воротились, а остались и ночевать на Девичьем поле. Благотворная ночь осенила их своим покровом; а на рассвете убрала их благотворная полиция[31].

О российский бодрственный народ,
Отечески хранящий нравы![32]

Последним празднеством был 17 сентября фейерверк. Его описывать нечего, да и нельзя. Скажу только, что он был великолепен; но видевшие и его, и другой, бывший при коронации нынешнего Императора, говорят, что он не может сравниться с последним. Этим кончились все праздники и увеселения, которые были для нас и веселы, и любопытны, но в то же время утомительны и под конец надоели чрезвычайно: хотелось и отдохнуть.

По окончании коронации я получил, наравне с другими придворными, серебряную медаль, выбитую по этому случаю. А 2 сентября получил орден Владимира 4-й степени. Генерал-губернатор, помня, что я принял должность надворного судьи — единственно по его желанию, хотя по чину имел право на высшую, помня, что мне обещано было место советника, и, сверх того, будучи доволен ходом вверенного мне суда, желал отличить меня и представлял меня к Анне на шею с бриллиантами, но получил отказ. После этого он велел губернатору Безобразову[33] представить, вместе со всеми губернскими чиновниками, просто к Анне 2-й степени; мне вместо этого дали Владимира в петлицу. Все, подобное этому, чрезвычайно огорчало князя Голицына: он привык, при Александре, и к личному уважению, и к уважению его представления. Но Николаю Павловичу попало в голову, что у князя много лишних людей, которые ничего не делают и даром получают награды; а что попадет в голову человеку грубых свойств, то остается истиной, без всякой поверки. Он не мог понять улучшений, сделанных князем в судопроизводстве, и как правильно, беспристрастно и отчетливо производятся следствия благородными молодыми людьми, которые его окружали. Государю казалось одно: что князь окружил себя каким-то подобием двора; он был вообще ревнив к власти, а любимцы его не любили князя как человека, не принадлежащего к их дворне и стоящего твердо на своих ногах и без их поддержки, одним словом, как вельможу александровского благородного времени[34]. Самого его уронить они не могли: падение было бы слишком гласно, и вся Москва возопияла бы в таком случае; и потому они делали ему косвенно разные неприятности. «A-t-on de la force et de la vie, — говорит Монтескьё, — on vous l'ôte à coups d'épingles»*[35] И действительно, в самом начале нового царствования у князя Голицына опустились руки, и дела пошли хуже.

После праздников губернские предводители вздумали воспользоваться благоприятным случаем (ибо новый Государь, как новый молодой помещик, есть всегда благоприятный случай): они подали Государю «Записку о нуждах дворянских»[36]. — В этой записке из множества требований, которые могли бы возникнуть по самой простой справедливости, выбраны были самонужнейшие и легчайшие предметы для поддержания сколько-нибудь лишенного прав русского дворянства. Эти pia desideria, эти жалкие требования, состояли в следующем:

1. Основываясь на Грамоте, пожалованной дворянству, где сказано, что дворяне судятся равными[37], они просили, чтобы заседатели палат уголовной и гражданской не участвовали в суждении о дворянах.

---

*«Если есть у вас силы и жизнь кипит в вас, у вас отнимают ее булавочными уколами» (*фр.*).

2. Чтобы председатели палат не определялись от правительства, а были бы по выборам от дворянства[38], по примеру присоединенных от Польши губерний, по указу от 19 мая 1802*.

3. Разобрано было довольно основательно, что казна роняет цены на хлеб, покупая его для армии по ценам, которые сама же назначает; что от этого не окупается труд земледелия, нет денег в обращении народном, беднеет народ, беднеют и владельцы крестьян. По этой же причине сказано было, что нет возможности платить в банк по 8 и 12 процентов, когда даже в первоклассных губерниях имения не дают больше 5 процентов, что доказывается большим накоплением недоимок; что от этих же причин дворянство входит в неоплатные долги; что бедствие дворянства распространяется и на упадок мануфактур, потому что оно почти единственный потребитель лучших произведений промышленности. На этих основаниях просили: а) чтоб казна покупала хлеб и другие продукты, нужные для армии и флота, по ценам существующим, а не самою ею назначаемым произвольно; б) чтоб проценты на ссуды банка были уменьшены и чтоб заложенные имения не продавались, а отдавались в опеку до уплаты. — Далее, чтобы в случае недостатка доходов на уплату банку имения продавались по крайней мере не ниже той цены, по которой узаконено писать купчие крепости; а в продажу назначалось только то число душ, которое равняется банковскому долгу. Наконец, чтобы, по мере уплаты капитала, освобождалось имение.

4. Чтобы в делах между частными людьми и казною тяжбы и пени производились тем же порядком, как между людьми частными. (То есть: просто апелляционным порядком, а не следственным.)

Здесь, для не знающих нашего судопроизводства, я объясню, что́ это значит и как важно и справедливо это требование. Для частных людей назначена цена тяжбы или иска, дающая право на апелляцию, например, в палату переносились тогда дела не ниже 2000 рублей ассигнациями; при этом вносились апелляционные деньги, а в случае неправой жалобы налагался штраф. А со стороны казны, несмотря на ценность тяжбы или иска, и без боязни штрафа, и доныне всякое дело переносится выше просто губернатором, если оно решено не в пользу казны. От этого происходит, что по одному и тому же делу частное лицо не имеет права жаловаться, а казна имеет. — Казна, по пословице, на огне не горит и в воде не тонет; а мы и горим, и тонем. Эта привилегия не только существует и нынче, но еще в Сенате, по всякому делу с казною, требуются предварительно мнения у каждого министра по его части! — Продолжаю по пунктам записку предводителей. Они просили далее:

*В полном собрании законов, 1830, том 27, стран. 146. Этот указ распубликован от Сената, 9 июня 1802 (*примеч. М. Дмитриева*).

5. Чтобы, по уголовным делам, дозволено было дворянам защищать своих крестьян и подавать за них апелляции. Здесь сказано было, что когда по делам гражданским предоставлено им защищать свою собственность, то тем более справедливость требует предоставить им сие право по делам уголовным, где страдает человечество.

Были и еще два пункта, относящиеся до голосов в собраниях дворянских и до права записываться в купеческие гильдии. Они тоже были вызваны необходимою потребностию[39].

Из этого краткого моего извлечения видно, что во всех этих требованиях дворянства посредством органов своих, губернских предводителей, так сказать, сама кровь говорила; что требовалось не прав и привилегий, а одной справедливости, одного средства свободнее дышать; что все эти требования были такого рода необходимость, как средство к продолжению жизни целого сословия, и даже двух сословий: дворян и их крестьян. — Из всего этого Николай Павлович соизволил утвердить только одно, самое пустое и впоследствии оказавшееся вредным, именно назначения председателей палат не от короны, а по выборам дворянства. То есть: дворянство помазали по губам, как и всегда делают наши Государи в подобных случаях. В собраниях предводителей и на их совещаниях более всех настаивал на этом симбирской губернской предводитель. После он говорил мне, что и сам раскаивается в этом. Председатель должен быть человеком опытным в судопроизводстве; а опытность приобретается у нас только долговременною службою. Таковы они прежде и были, потому что до чинов достигали не скоро, а председатель не мог быть малого чина: следовательно, попадали на эти места люди после долгой службы и долгого опыта. А по выборам стали поступать в председатели иногда из мало служивших людей или из отставных военных, совсем не знающих дела.

Все прочие скромные требования оставлены вовсе без внимания. Но, чтобы предводители молчали (а их голос и без того неопасен), их всех, несмотря ни на какой чин, пережаловали в статские советники, а статских в действительные. Таким образом и симбирской предводитель, князь Баратаев, из отставных гусарских штаб-ротмистров пожалован был в статские советники. Они все остались довольны и разъехались опять по своим губерниям.

В то же время, не знаю, прежде или после коронации, потому что официально никогда об этом объявлено не было, учреждена была при корпусе жандармов тайная полиция, которой начальником был назначен шеф жандармов Александр Христофорович Бекендорф, после пожалованный в графы[40]. Я достал, с большим трудом, *Инструкцию*, которая давалась Бекендорфом его тайным агентам. Это что-то похожее, как будто писано калифом Гарун Альрашидом к визирю Жиафару[41]. Учреждение имело целию тайно

изыскивать виноватых и правых, порочных и добродетельных, дабы первых наказывать, а вторых награждать, особенно же преследовать взяточников. С этой целию дозволено им было путаться во все дела, и судебные, и семейные. А основано было это право жандармов, как сказано было в инструкции, на их собственной добродетели и на чистоте их сердца, в том, вероятно, предположении, что всякой, надевающий голубой мундир небесного цвета, тотчас делается ангелом во плоти! — Я не шучу, потому что сей час представлю выписки из инструкции. Вот они по пунктам:

1. Обратить особенное внимание на все, без изъятия, злоупотребления, беспорядки и законопротивные поступки.

2. Наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личной властию, или преобладанием сильных лиц, или пагубным направлением людей злоумышленных.

3. Прежде обнаружения беспорядков можно лично предварять начальников или те лица, между коих замечены будут незаконные поступки, а когда домогательства будут <т>щетны, тогда доносить. Отстранять всякое зло по дошедшим слухам о худой нравственности и дурных поступках молодых людей; стараться поселить в заблудших стремления к добру и возвести их на путь истинный прежде, нежели обнаружить гласно их худые поступки перед правительством.

Не могу удержаться здесь от моих замечаний. По первому же пункту инструкции давалась жандармам carte blanche* действовать неограниченно и вступаться во все. Во втором говорится о правах граждан, которых нет; о наблюдении, чтобы они не были нарушены властию и сильными лицами, а этим-то самым учреждением и нарушалось первое необходимое право гражданина — безопасности и домашнего спокойствия, и им-то и предавался гражданин власти сильного лица, действующего втайне и совершенно безответственно. Но третьим пунктом нарушалась уже и семейная безопасность надзором за нравственностию молодых людей, который по законам и божественным, и гражданским должен принадлежать только родителям. По самому первоначальному юридическому понятию, власть гражданская может иметь дело только с поступками, а не с нравственностию; на нравственность она может действовать только воспитательными учреждениями и отъятием способов к разврату, что и называется в законодательстве предупреждением преступлений, но под этим опять разумеется предупреждение действий, а не помыслов. Но требование — «поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный» — это уже дело религии, а не жандармов; это до того смешно и преступно, что делало жандармов духовными отцами![42] —

*полная свобода действий (*фр.*).

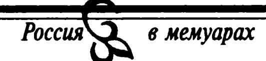
Поневоле вспомнишь стих Хмельницкого: «Как в голову войдет дурачество такое!»[43]

Далее, в 4-м пункте, Бекендорф, обращаясь к своим сателлитам, говорит им: «Свойственные вам благородные чувства и правила, несомненно, должны вам приобрести уважение всех сословий; в вас всякой увидит чиновника, который чрез мое посредство может довести *глас страждущего человечества* до престола царского. На таковом основании вы в скором времени приобретете себе многочисленных сотрудников и помощников».

Жандармы действительно в скором времени приобрели себе многочисленных сотрудников; но не на основании всеобщего к ним уважения, а за деньги. Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки; вся бродячая дрянь, не способная к трудам службы; весь обор человеческого общества подвинулся отыскивать добро и зло, загребая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом. Вскоре никто не был спокоен из служащих; а в домах боялись собственных людей, потому что их подкупали, боялись даже некоторых лиц, принадлежащих к порядочному обществу и даже к высшему званию, потому что о некоторых проходил слух, что они принадлежат к тайной полиции. Я знал двоих из таких лиц[44]. Очень вероятно, что это подозрение было несправедливо, но тем не менее их опасались, разговор при них умолкал или обращался на другое, и они, бедные, вероятно, и сами замечали, что при них неловко! А жандармы, вместо уважения, были во всеобщем презрении.

Но они не только не унывали, а, напротив, на первых порах действовали сильно. Нечего и говорить, что у нас не только берут взятки, но что без взяток не делается ни одно дело. Я всегда был против взяточников; но дело в том, что взятки должно прекращать в их корне, то есть: устроить таким образом судебную часть, чтобы и нельзя было и не за что было брать взятки. А по методе жандармов попадались не все и не главные взяткобратели, а только те, которые подвертывались случайно, или те, на кого шпион был сердит. Думали, что страх удержит и других; но вместо того другие делались только осторожнее, а потом (что будет объяснено после) и сами жандармы за ум хватились и нашли, что всего выгоднее им самим делиться со взяточниками. Но сначала употребляли они такое средство, что давали шпиону пачку ассигнаций, которых нумера были записаны, что и служило уликой.

Во время коронации пострадали от этого двое: обер-секретарь Спасской и секретарь управы благочиния Кумов[45]. Для вида велено было произвести над ними следствие, которое, по высочайшему повелению, поручено было московскому обер-прокурору, нынешнему председателю Государственного совета, князю Павлу Павловичу Гагарину[46]. Князь Гагарин был человек очень умный, знаток в законах и в судопроизводстве, бойкой, резкой, смелый и,



по русским понятиям, честный, то есть деньгами не подкупный; но честолюбивый, угодник власти и готовый на все из почести и возвышения. Он повел эти следствия с энергией и быстротой, которые требовались тогда больше, чем правосудие. Не помню, были ли эти две жертвы судимы формальным порядком; но знаю, что дела о них кончились в несколько дней и оба они были лишены чинов и дворянства и сосланы в Сибирь, в ссылку.

Возвращаюсь к инструкции. В пятом пункте Бекендорф с чувством, достойным Августа, не императора Августа[47], а Августа Лафонтена, говорит жандармам: «Вы, без сомнения, даже *по собственному влечению вашего сердца* стараться будете узнавать, где есть должностные люди бедные или сирые, служащие бескорыстно верой и правдой, о каковых имеете доставлять ко мне подробные сведения».

Столь чувствительный пункт инструкции был не только обязателен для влечения сердца; но равнялся приказанию. И потому, coûte qui coûte* надобно было непременно отыскать бедного и бескорыстного служителя Фемиды, дабы показать, что вместе с строгостию наказаний действует и великодушие милости, награждающей достойного. И отыскали секретаря или обер-секретаря Бажанова[48], который был не честнее других, но по скупости жил бедно. Его представили как жертву бескорыстия; а в знак его правдивости довели до сведения Бекендорфа, что он ни на кого не смотрит, когда дойдет до правды, и что у него есть даже привычка говорить: «Обер-прокурор порет вздор!» Этот обер-прокурор был Жихарев. — Государю это чрезвычайно понравилось. Он дал ему Владимира 3-й степени и велел, лично вручив ему орден, сказать при этом: «А обер-прокурор порет вздор!»

Вскоре после этого я вошел в книжную лавку Ширяева. Он сказал мне: «Вот, сударь, и Бажанов получил орден». — Я спросил: «А вы его знаете?» — «Так, немножко! — отвечал Ширяев. — Был у него один раз по делу. В лицо-то я его не знал. Вхожу в переднюю и вижу человека в нагольном тулупишке, который мешает кочергой в печи. Я ему говорю: «Нельзя ли, батюшка, доложить обо мне?» — да и сунул ему в руку полтинничек; он взял и сказал: «Хорошо!» — Через несколько минут выходит самый этот человек в сертуке и кресте и говорит: «Что вам до меня надобно?» — Я сконфузился и начал извиняться. — «В чем? — спросил он. — Что дали полтинничек-то? — Ничего! И это хорошо!» — Ну, натурально, я после поднес уже не полтинник».

Всех злее из шпионов был купеческой сын Николай Игнатьев Золотарев[49]. Он погубил многих невинных. Был он за что-то сердит на одного архимандрита. Он пришел к нему; поговорил о каком-то пустом деле, да, вышедши от него и проходя через залу, и подложил под клеенку одного стола пере-

*во что бы то ни стало (*фр.*).

нумерованных 500 рублей ассигнациями. А внизу у дверей дожидался уже жандармской офицер, которого он тотчас и ввел, воротясь к архимандриту, требовать денег. Тот ничего не знал; но деньги, по словам Золотарева, что архимандрит положил их под клеенку, были тут же найдены, и улика для офицера была налицо! — Не знаю, чем кончилось это происшествие, но оно тогда наделало шуму. — Этого Золотарева чрезвычайно боялись, и в нижних присутственных местах он получил немалый вес.

Долго продолжал Золотарев свое выгодное ремесло, пока, наконец, самая известность его сделала его менее опасным. Много времени спустя после этого, когда я был уже советником уголовной палаты, он и сам попал к нам под суд за ложный донос. Я настаивал, чтобы его судить по тому закону, который ложного доносчика подвергает тому же самому наказанию, под какое он подводил лицо, подвергнутое доносу, и подал мнение, чтобы он, подвергавший невинного каторге, был сам высечен кнутом и сослан на каторгу. Но его так боялись, что председатель и другие члены не согласились со мною, и он из воды вышел сух!

Эти занумерованные ассигнации были беда для взяточников: надобно было придумать некоторые средства, и изобрели многие. Например, в Архангельске стали разрывать бумажки надвое; одна половина оставалась у просителя, а другую брал судья. Если он сделает по просьбе, то благодарный проситель приносит и другую половину; а если нет, то не доставайся же никому! — А один советник, в другой губернии, брал по равной сумме у обоих соперников, и обе в запечатанных пакетах, и говорил каждому, разумеется особо и наедине, что в случае неудачи он пакет возвратит в целости. При слушании дела он сидел сложа руки. Дело на какую-нибудь сторону, на ту ли, или на другую, наконец решалось. Проигравший процесс приходил к нему с упреками; а он уверял, что хлопотал за него, да сила не взяла, и, как честный человек, возвращал его пакет с деньгами.

Наконец, решились иначе не брать, как золотом, которого перенумеровать невозможно, и потому оно безопасно.

Так мало-помалу усовершенствовались взятки в царствование Николая Павловича. Наконец жандармы хватились за ум и рассудили, что чем губить людей, не лучше ли с ними делиться. Судьи и прочие, иже во власти суть, сделались откровеннее и уделяли некоторый барыш тем, которые приставлены были смотреть за ними; те посылали дань выше, и таким образом все обходилось благополучно.

Но и частным людям в начале царствования Николая Павловича нельзя было быть спокойным. Гораздо спустя после коронации, когда Государь давно уже был в Петербурге, вот что случилось со мною. Ко мне хаживал, и очень часто, один бродячий книгопродавец, о котором я упомянул во второй гла-

ве моих рассказов, старик Петр Егорович Котельников[50]. — Однажды поутру, только что я напился чаю, сказывают мне, что он пришел. Я вышел к нему в гостиную, надеясь увидеть его с мешком книг; но вместо того увидел вместе с ним частного пристава. Я тогда жил на Большой Пресненской улице. Я натурально подошел прежде к частному приставу и спросил, что ему угодно. А он, не говоря ни слова, указывает рукою на Котельникова, который с запинкою начинает требовать у меня какой-то бумаги Фон-Визина. Я долго не мог понять, какая это бумага; насилу вспомнил, что он давал мне переписать письмо Панина к воспитаннику его, великому князю Павлу Петровичу, и что это письмо действительно было сочинено Фон-Визиным. Вредного и опасного в этой бумаге было вот что: он говорит своему питомцу, что если бы цари рождались только властвовать, а подданные только повиноваться, то тогда цари родились бы с коронами на головах, а все прочие люди с седлами на спинах[51]. Но от чего же произошло это требование?

В Петербурге заподозрили в чем-то какого-то Синельникова, и не знаю, по какой ошибке сделали из него на бумаге двух человек: Селивановского и Котельникова. — Велено было обыскать их бумаги; и кому же? К молодому книгопродавцу Селивановскому поехал с обыском обер-полицеймейстер Шульгин; а к старику Котельникову, по особой доверенности царя, двоюродный мой дядя, сенатор Кушников. Старик перепугался и в этом переполохе признался, что у него только одна и есть запрещенная бумага, но и ту отдал мне. Кушников велел частному приставу съездить вместе с ним ко мне и учтивым образом взять у меня эту бумагу, которую я и отдал.

После, особенно когда обнаружилась ошибка в именах, Кушников объяснил мне это, и мы смеялись; но в такое суровое время можно было этой безделки перепугаться не на шутку[52].

Таковы были плоды панического страха нового Императора, который был подозрителен и во всем видел заговоры и бунты. И вот что происходило во время и после коронации. В следующей главе, оставя великое[53], обращусь опять к самому себе и к собственной моей жизни[54].

ГЛАВА 13
Вторая женитьба • Поездка в Симбирск и в деревню • Описание дороги • Наша семейная жизнь в Москве

Я рассказал в главе 10-й мое знакомство с семейством Вельяминовых-Зерновых. Я бывал у них нередко и всегда с удовольствием, но по одному случаю чуть было совсем не прекратил этого знакомства. Стихи мои на кончину императора Александра Павловича[1] сделались известными еще прежде печати, и многие желали их слышать: я знал их наизусть и потому многим читал их. Однажды вечером, когда у Вельяминовых было много гостей, меня также просили прочитать их; я прочитал, и все их расхвалили. Приехали еще гости; меня опять просили читать, и опять расхвалили. Приехали и еще — и опять чтение, и опять похвалы. Мне сделалось совестно и стыдно; мне показалось, что, верно, заметили мою суетность и мое самолюбие, потому и просили читать до трех раз одно и то же стихотворение. Я подумал, что, расхваливши так в глаза, без всякого сомнения, заочно сделают обо мне самое невыгодное заключение, и что самое повторение до трех раз чтения не было ли пробой моего самолюбия. Как бы то ни было, но после этого вечера у меня недостало духа приехать к ним вскоре, а не бывши довольно долго, я не знал, как и начать опять к ним ездить. Надобно сказать, что я всегда был застенчив, недостаток, который увеличивало еще и то, что я с молодых лет мало бывал в обществе, а так как застенчивость происходит не столько из скромности, сколько от тайного самолюбия, то видно, что у меня в нем не было недостатка: я и рад был, что меня хвалят, и боялся, не заметили ли во мне этого самолюбивого чувства. После, когда я более созрел в опытах жизни, я сделался проще, не скрывал, что похвалы мне приятны, но в то же время не очень предавался от них удовольствию, зная, что часть их надобно отдать приличию, часть лести, часть — очень нелестной благодарности, что автор, читающий стихи, помог как-нибудь провести время: много ли, после этого, остается на часть достоинства? — Я говорю это не на счет хозяек, которые истинно любили литературу, но вообще на счет слушателей. Тем не менее, от этого я перестал бывать у них. Между тем, видаясь часто с ними на балах и праздниках коронации, я не прерывал с ними знакомства, только не у них в доме, где я не был почти в продолжение года.

Вскоре пустота молодых знакомств и одиночество вдовой жизни, в которой я был, так сказать, ни у того берега, ни у другого, и один между чужими, вскоре, говорю, все это сделалось мне невыносимым. Я чувствовал, что мне надобно опять жениться, чтобы не пасть под бременем этой жизни, или не совратиться с пути, а это было так легко с театральными моими знакомствами. — Вновь влюбиться мне казалось невозможным, а знакомых домов у меня было так мало, что из молодых девиц не на кого было разбегаться глазам. Но если бы я мог выбирать и из тысячи, конечно, ни одной не нашел бы достойнее той, которая одна представлялась и уму моему, и воображению. Это была третья дочь Вельяминовых — Анна Федоровна. В противоположность беленькой и белокурой Наташе, она была смуглого лица и черноволоса, не красавица, но такого милого и приятного лица, каких мало, а ум, доброта и скромность выказывались не только в лице ее, но во всех движениях. Я начал об ней думать и сообщил мою мысль Новикову, а чрез него и жене его, Варваре Ивановне. Положили ехать к Вельяминовым вместе. Это случилось вечером 22 декабря 1826 года, накануне именин старшей сестры Анисьи Федоровны[2]. У них в зале служили всенощную[3]; только что вошли мы в переднюю, как услышали оттуда пение тропаря[4]: «Тебя, жених мой, люблю!»[5] Варвара Ивановна взглянула на меня значительно, показав туда головою, как будто хотела сказать: «Слышите ли это предзнаменование?» — Я улыбнулся, и, признаюсь, мне тоже показалось это недаром! Я всегда верил предзнаменованиям. Мне обрадовались, и с этой минуты я опять стал к ним ездить.

Наконец, я просил Варвару Ивановну объясниться об этом прежде с Анисьей Федоровной. А так как Варвара Ивановна, по нынешнему варварскому выражению, была эксцентрична, то есть выскакивала из центра; то и в этом случае не обошлось без странности. Она пригласила к себе вечером меня и Анисью Федоровну. С ней пошла она объясняться в свою супружескую спальню. Через четверть часа она прислала мужа позвать меня туда же. Я вошел; и что же я вижу? — Варвара Ивановна лежит на спине, во всю длину, на двуспальной кровати, загнувши обе руки под затылок и вверх брюхом. Анисья Федоровна сидит с левой стороны у нее в ногах на этой же кровати. При входе моем в брачное святилище, хозяйка сказала мне: «Садитесь и объясняйтесь!» — и указала мне такое же место на кровати с правой стороны. Я сел и таким образом объяснил свои чувства Анисье Федоровне, сидя к ней спиною и оборачивая голову назад, а она в таком же положении мне отвечала. — Если бы это изобразить на картине, никак нельзя бы было угадать, что это сватовство!

Давши мне некоторую надежду, Анисья Федоровна советовала мне объясниться с самой Анной Федоровной: этого было достаточно для моей уверенности. На одном вечере, бывшем у них, я, в стороне от всех, объяснился с

нею: она вся покраснела и изорвала свой батистовый платок, бывший у ней в руках, во время слушания моей речи. После благосклонного ее ответа мне надобно было приехать утром к ее отцу, Федору Михайловичу, и сделать формальное предложение. Это было 10 февраля 1827 года, когда я приехал к нему и получил согласие отца и матери. Призвали невесту, которая подтвердила при них свое согласие; потом позвали братьев и сестер; все нас поздравляли. И вот, слава Богу, я опять вступаю в семью людей добрых, умных и просвещенных: не богатых деньгами, но одаренных от Бога всеми качествами ума и сердца!

Таким образом, первое сватовство мое было несколько романтическое, предшествуемое любовью, интригами, разлучениями, гонениями; второе совершилось, исключая эксцентричность Варвары Ивановны, не только по всем правилам, но несколько и по-старинному, потому что жених адресовывался прежде к родным невесты, когда она об этом еще и не знала. Но от этого мы были, во время нашего союза, не менее счастливы, и я уверен, по собственному опыту, что удовлетворение пылкой страсти доставляет, конечно, какое-то блаженство, которое, впрочем, много зависит от горячей крови, но что вернее спокойное и тихое счастие. Не знаю, как это делается ныне: страсти, кажется, уже не бывает; а спокойному счастию много мешают и житейские обстоятельства и понятия, навеянные духом времени, а ежели в понятие о браке замешается, избави Боже, хоть некоторый оттенок социализма, нигилизма или, по крайней мере, понятие о браке как о гражданском учреждении: чего ожидать в таком случае? — Нет! Я уверен и в действительности родительского благословения, и в том, что недаром учреждены предками некоторые непреложные обычаи, передаваемые от отцов к детям: в них крепость уверенности и гласная порука связи, которую потом уже освящает церковь. — От этой помолвки нашей до свадьбы прошло месяцев пять в необходимых приготовлениях.

Как нарочно, в это время я вместе с Новиковым, который был тогда советник московского губернского правления[6], производил по высочайшему повелению одно следствие, которое отнимало у меня всю свободу быть вместе со своей невестой. К Вельяминовым приезжало всякий день множество знакомых с поздравлениями, а жених утром был в суде, а вечером на следствии, где-нибудь на съезжей[7] то в той части города, то в другой. В начале царствования Николая Павловича доносы были беспрестанно. Какой-то бритый купчик во фраке по имени Пантелеев подал донос на чиновника провиантской комиссии Прудникова и на другого купца с бородою, которого имени я не помню. — Обвинение состояло в корыстной поставке и в корыстном приеме дров, то есть во взятках. Из этого наделали столько шума, что на всех нагнали ужас, а оба обвиненных были правы. Сам же доноси-

тель был пустая голова, понадеявшийся на то, что достаточно одного голословного доноса, чтобы погубить людей. Он так мало и сам проникнут был правдой своего доноса, что на очных ставках, начав уличать, вдруг умолкал, и на требование наше продолжать улику, отвечал, что забыл, о чем хотел говорить. Мы записывали это в журнале, чтобы показать, какова была основательность доносителя. Счастлив был Прудников, что это следствие попалось в наши руки! Но, при всей чистоте и правильности наших действий, натурально, и оно не обошлось без сильнейшей тревоги. Мы должны были производить у обоих обвиненных домашний обыск, с пересмотром всех их бумаг. Я всегда в таких случаях не отступал от исполнения моей обязанности, но сколько можно смягчал мои действия мягкостью речей и поступков. Но чувствительный Новиков, мой товарищ, был не таков. Строгость и мелочная точность, в соединении с трусостью собственного охранения, были единственными его правилами. У Прудникова в это время жена была беременна, на сносях. Бедная молодая женщина натурально тревожилась и терзалась мыслями еще более мужа. Во время обыска вдруг слышим мы пронзительные крики: она упала на крыльце, в конвульсиях, и вне себя кричит во весь голос, а муж, бывший с нами, ходит по комнате в отчаянии, ломая руки! Такой спектакль кого бы не встревожил! Я предлагал Новикову уехать и отложить до следующего дня, но он оставался холоден и равнодушен и требовал продолжения обыска. Признаюсь, я, по праву студенческой дружбы, разбранил его за это, но делать было нечего: должно было остаться! — При обыске у купца нашли мы какую-то медную четвероугольную печать. Я хотел рассмотреть ее, но Новиков испугался, чтобы не попасть в беду, чтобы самим не попасть под ответственность, и требовал отобрать просто опасную печать и положить к делу. Я, однако, не послушался. Что же оказалось на этой печати? — На ней было написано французскими буквами по-русски: samaia lutchaia roumena. Купец занимался составлением румян, и это был его штемпель! — Беда была попасть в руки Новикова, даром что он был человек справедливый и честный!

Я, конечно, был благодарен Варваре Ивановне за ее услугу, за то, что она взялась первая открыть мое намерение старшей сестре моей невесты. Однако это было не такое же благодеяние, которое давало бы ей особые права и преимущества над нами. Но она принимала это не так и по временам обнаруживала явные признаки неудовольствия, что ей не отдают почета, как какой-нибудь благодетельнице. Это неудовольствие, удерживаемое несколько времени, разразилось наконец самым странным образом. Анисья Федоровна, моя невеста и я нередко посещали Новиковых, сколько по старому знакомству, столько и по приязни, доказанной ее участием. Однажды, посидевши у них, дамы мои встали и начали прощаться. Вслед за ними и я,

поклонившись последний, хотел идти за ними, как вдруг Варвара Ивановна схватила меня за руку. Я взглянул на нее; она бледна, как смерть, губы синие, и вся дрожит. Я испугался, думая, что с ней дурно, и сказал мужу: «Подай скорее воды!» — «Нет, не воды! — закричала она. — Дмитриев! Вы неблагодарны!» — и начала делать мне упреки, что я не оказываю ей почета за ее благодеяния, а сама не выпускала моей руки, держа ее всей силой и не пуская меня выйти. — Наконец я вскричал мужу: «Петр Александрович! Уйми свою жену, а не то — я сам ее уйму!» — Но он только уговаривал: «Варенька! Пусти его!» — Я вырвался и ушел, а между тем мои дамы давно ждали меня, сидя в карете с отворенными дверцами. Я пришел к ним, вне себя и бледный, так, что они испугались, думая, что и со мной дурнота. Но я рассказал им эту сцену; они подивились и успокоились, ибо знали коротко нрав Варвары Ивановны! — Она заняла бы не последнее место в каком-нибудь английском романе, но Петр Александрович не годился бы в немецкой с своею чувствительностью.

Свадьба наша состоялась 10 июля 1827 года. Она была не так шумна и роскошна, как первая моя свадьба с Натальей Михайловной, потому что в столицах вообще менее торжественной пышности и тщеславия, чем в провинциях, а, может быть, более благоразумного расчета. В провинциях хотят еще удивлять, а в Москве никого ничем не удивишь. И потому на второй моей свадьбе не было разорительных подарков, не было балов, как после первой, но она была совершенно прилична и стоила с обеих сторон довольно-таки дорого. Знакомство у Вельяминовых было обширное; мы сделали всем визиты, но с первых же дней решили не поддерживать его дальнейшими связями, а ограничиться родными и малым кругом моего собственного знакомства.

После свадьбы мы поехали в Симбирск, чтобы познакомить молодую жену с моими тетками. Они, любя меня, были, конечно, довольны моим выбором и моим счастием. Они полюбили ее за ее достоинства, но, сказать правду, кажется, она представлялась им несколько высшего полета против ежедневных их привычек, слишком светскою и несколько холодною, потому что в провинциях привыкли для изъявления родственной любви бросаться на шею, а для полной принадлежности к семейству входить во все домашние мелочи и дрязги. Анна Федоровна оказывала все должное, и я уверен, что она делала это даже по чувству семейной близости, не по одному холодному долгу, но в провинциальных обычаях приличие почитается церемонностию, не допуская и их перешагнуть через границу вежливой простоты, которая кажется им холодностию. Со всем тем, я говорю и утверждаю, что они очень поняли и оценили ее достоинства.

Из Симбирска съездили мы и в деревню мою, которую я хотел показать жене моей, хотя нечего было показывать, потому что у меня не было еще и

моего собственного дома. Тогда связь между крестьянами и их господами не была еще ослаблена, как ослаблялась более и более впоследствии, не только совсем разрушена, как ныне. Приезд господ, давно не бывавших в имении, был эпохой и возбуждал всеобщее любопытство: когда мы с молодою женою поехали в воскресенье к обедне, народ повалил из всех ворот и вся церковь наполнилась людьми. Из дворовых много было еще таких, которые помнили меня ребенком: все хотели видеть молодую барыню, и кажется, восторг их был не притворный. Многие дворовые женщины приносили жене моей кто яиц, кто стакан густых сливок, кто ягод, и оставались довольно долго, только чтобы посмотреть на нее и поболтать, или, по тамошнему выражению, покалякать. Анне Федоровне было это, наконец, и скушно; она хотела бы лучше посидеть если не со мною, то хоть одна с книгою, но она никак не позволяла себе прекращать их посещений, как ни утомляли ее эти старухи: впрочем, это было отчасти хотя, конечно, простое любопытство, но отчасти добродушное усердие. За это они после, вероятно, вознаграждали себя рассказами о молодой барыне тем, которые у нее не были. Патриархальное время!

В одном только случае она изменила своему терпению. Управитель вздумал представить ей от каждой семьи по депутату: по одному крестьянину, но в одной, видно, на тот случай мужчины не случилось, и его представляла одна баба, которая и стояла впереди всех. Эта баба, как женщина, вздумала поцеловаться с барыней, которая тоже не мужчина. А мужики, думая, вероятно, что это в этикете, тем более, что баба представляла в это время своим лицом мужика, заключили, что надобно последовать ее примеру, и пошли все целоваться с Анной Федоровной. Она, вытерпев храбро поцелуев с пяток, вдруг повернулась назад и со всех ног ударилась бежать в спальню! — Тем аудиенция и кончилась; признаюсь, я от души хохотал этому.

Но один старик, из людей моего дяди, возбудил в высочайшей степени любопытство жены моей. Домашний живописец покойного моего деда, Ефрем Дементьевич, принес ей образ своей работы. Она изумилась, когда я сказал ей, что это тот самый *Ефрем, домовый наш маляр*, которого описал мой дядя в одной своей эпиграмме[8]. С каким нетерпеливым любопытством шла она на это свидание, и не могла прийти в себя от удивления, увидав живой оригинал того, что она привыкла считать шуткою игривого воображения! — Справедливость требует, однако, сказать, что этот Ефрем был совсем не маляр, а довольно хороший живописец, учившийся в Петербурге у кого-то из академиков: рисунок у него был правильный, законы света и тени соблюдались им также строго. Не только в сельских, но даже в уездных городских церквях я мало видал столь хорошей живописи, как образа его работы. Но дядя, сам не знаток в живописи и, по легкомыслию своему,

подозревавший в несовершенстве все, отдаленное от столиц и от Европы, во многом не находил хорошего, потому что сам, при всем своем уме, разобрать не мог, а верил только или приобретенной известности, или знатокам Москвы и Петербурга, как двум единственным центрам нашей образованности.

В деревне жили мы в доме дяди, потому что его и моя деревни были рядом: с того времени они обе мои[9]. Там пробыли мы недели две, в продолжение которых я занялся, более для приличия, своим хозяйством, потому что плохо знал его, да и что же сделаешь в две недели? — Одно, что сделал для себя в этом отношении полезного, было вот что: я составил систематически довольное таки количество вопросов, относящихся до хлебопашества; времени, способа и количества посевов и уборки хлеба; о местах и способах продажи и способах поставки; о количестве и времени взимания оброков и других повинностей, также и о положении дворовых людей. Все это поместил я в график, оставя рядом с каждым вопросом место для ответа. Потом я позвал к себе управителя моего дяди, человека опытного, и, отобрав от него нужные мне сведения, по предметам всех этих вопросов, записал их. Эти краткие сведения оказались так полезны, что и после, когда довелось мне самому заниматься хозяйством, они послужили мне верным руководством. Повторяю: что же можно было [сделать] полезного в две недели?

А между тем, не знаю почему, напала на меня охота к поэзии, и, тоже не знаю почему, вся голова была занята Наполеоном. Я уединился на несколько дней в мезонине, который был моим кабинетом, и написал стихотворение «Наполеон»[10], которое по возвращении в Москву было напечатано и которое Полевой, по обыкновению своему, разбранил в своем «Телеграфе»[11]. Я не упомянул бы об этом ни одним словом, если бы он только заметил недостатки. Но он говорил, что это стихотворение выбрано по стишку из Ламартина, Делавиня[12] и Пушкина: что нисколько не справедливо. По этому случаю я замечу то, что несколько раз замечал уже в продолжение моих рассказов, только в разных видах. Человек просвещенный и хорошего воспитания разнится во всем от неуча и самоучки. Если бы на это стихотворение написал критику человек хорошей фамилии и хорошего тона, может быть, он пересыпал бы ее острыми эпиграммами, но никогда не осмелился бы солгать так нагло: ему было бы стыдно. Недаром говорят: noblesse oblige*!

Здесь кстати сказать о «Телеграфе», о котором я не упоминал прежде, а умолчать о нем нельзя, потому что он имел немалое влияние на нашу литературу; хорошее ли, дурное ли, но оно было. По справедливости должно сказать, что в двадцатых годах журналы наши сделались очень слабы, и со-

*положение обязывает (*фр.*).

держанием, и действием своих мнений на читателей. Журнальная политика у нас никогда вполне не существовала; после Карамзина никто из журналистов не вдавался у нас в политические суждения: они появились у нас в Отечественную войну 1812—1815 годов, но это была вспышка; по заключении мира наши домашние публицисты совсем замолчали до нынешнего царствования. Но было время, когда литература посредством журналов действовала сильно и на вкус, и на мнения читателей. В лучшие годы «Вестника Европы» в нем кроме произведений русских писателей, правда, больше в стихах, чем в прозе, появлялась зрелая критика, хотя не всегда беспристрастная, но всегда умная и по большей части основательная. В нем встречались нередко статьи по археологии искусств и теории изящного, впоследствии были статьи исторического содержания, или повествовательные, или критические. Он оживлял и даже раздражал внимание публики иногда к таким предметам, которые почитались специальностью знания: так, я помню, возбуждал большое участие спор издателя с Мартосом о банном строении при церквях, о котором упоминает Нестор[13]. Многие и смеялись, но многие и читали эту полемику с вниманием.

Но мало-помалу, год от года, «Вестник Европы» становился хуже, пустее содержанием и скучнее и приближался к падению. — «Сын Отечества», после войны превратившись в журнал полулитературный, не отличался с тех пор ни интересом содержания, ни искусством вкладчиков[14]. О других журналах: «Соревнователе», «Благонамеренном», «Дамском журнале» и проч. нечего и говорить, а «Отечественные записки» Свиньина[15], при всем своем относительном достоинстве, были не журналом, а сборником. По всем этим причинам это было самое благоприятное время для нового журнала. Полевой, человек сметливый и торгового духа, воспользовался обстоятельствами и на опустевшем поле журнальной словесности основал в 1825 году свой «Телеграф», кстати и вовремя. Он был какой-то сибиряк из Курска, такое двойное происхождение может показаться неясным и загадочным, но в нем много было загадочного[16].

Он первый, задолго до Сенковского, понял, что издание журнала есть отчасти предприятие торговое. И потому со сметливостью догадливого человека он понял и то, что товар должен быть, во-первых, самый свежий, потом, разнообразный, на все вкусы, и наконец, и такой, какого больше требуется. И журнал его был верен этим трем правилам, и потому он расшевелил нашу литературу и имел много подписчиков. Но, кроме того, Полевой знал, что покровительство людей известных — тоже не лишнее: и потому он бросился рекомендоваться к князю Вяземскому, который имел голос, по обширному своему знакомству в свете и по приятельским связям с лучшими писателями; через него вошел и к И.И. Дмитриеву, который был

некогда литературная сила и гласность: его заключениям верили, а его колких насмешек боялись. Как русский человек, он сделал завтрак, позвал их, как Мецената и Вария[17], и тем угладил себе путь, по крайней мере, до той степени, что уж никто не мог спрашивать: «Кто этот Полевой?» — Он сделался физиономией, знакомой известным лицам, а этого-то ему и нужно было достигнуть на первый случай. По этому покровительству в первой же книжечке «Телеграфа» появились стихи князя Вяземского и Пушкина[18], а князь Вяземский писал даже в его журнал критики на своих противников, не подписывая своего имени, что я узнал из биографии Полевого, изданной братом его после его смерти[19]. Из нее же видно, что князь Вяземский, оставаясь сам в стороне, много подстрекал Полевого и направлял его нападать. Тогда это было неизвестно; но время все открывает.

Я беспристрастен и потому говорю и хорошее, и дурное, как оно есть. — Нельзя не согласиться, что «Телеграф» как журнал был хорош и даже что он, по своему содержанию, был первый у нас журнал истинный, то есть следивший за своим временем. Это было одно его достоинство; другое — то, что он был разнообразен: литература русская, немецкая и английская; науки политические и история; новейшая философия; критика; известия и моды — все это входило в состав нового журнала. Надобно сказать, что все это было не на твердых основаниях опытного литератора и ученого; все это было, по большей части, схвачено сверху и наудачу, по русской пословице: «Смелость города берет!» — Но надобно вспомнить и то, что кому же было заметить это в такой литературе и при таком легком запасе сведений, как наши. И потому журнал пошел за ученый и, главное, за универсальный.

Полевой знал свою публику; он брал смелостию; говорил без стыда о таких предметах, которых совсем не знает; главное для него было: говорить без запинки обо всем — и он говорил обо всем, от судеб царства и трансцендентальной философии, как его упрекнул кто-то, до петушьих гребешков в соусе![20]

Критика его была вообще слишком заносчива и слишком требовательна, какой нет даже и у всезнающих немецких критиков. Он признавал поэтами только Шекспира[21] (которого называл даже своим старым другом), Байрона, князя Вяземского, Пушкина и иже с ними. Все другие стояли у него [слово нрзб.] Буало, Расин и Вольтер были у него в презрении, как набиратели рифм[22]. Эти строгие требования открыли ему полную свободу бранить и осмеивать всех, кого он не любил лично или кого не любила та партия, которой он сделался провозвестником.

Полевой своею резкостию литературных приговоров и своим бесстыдным притязанием на универсальность пошел у многих за какого-то замечательного человека и за гениального всезнайку! — То правда, что, кое-чему научившись и многому начитавшись, он действительно нахватал много из области

той или иной науки, до которой многие не доходили, а в том числе и остроумный его милостивец князь Вяземский. — У нас же так легко прослыть ученым! — У нас никто не разберет цены истинного ученого, потому что глубина знания не всякому доступна, а уединенный труд не заметен для внешней хлопотливой и пустой жизни, но шарлатан, который имеет горластых друзей или открытую площадь журнала, всегда найдет отголосок толпы и получит известность! — Таким образом, и около Полевого стали собираться тогдашние молодые писатели второй руки, и недозрелые выходцы из университета, которые смотрели на него как на оракула и слушали его вещания[23]. Это сделало неисчислимый вред нашей литературе. Эти клиенты наслушались его пренебрежения ко всему прежнему, что было в славе, его заносчивых и почти презрительных отзывов о многих именах литературных и не захотели знать их! — С этого времени между новыми людьми стали гаснуть старые славы, и вот отчего мало-помалу исчезли литературные предания, и со временем дошло до того, что никто ничего не знает о прежней, например, о екатерининской литературе и о писателях, предшествовавших Пушкину. Полевой воспитал целое поколение заносчивых аристархов[24], которые были уверены, что свет науки и литературы начался с их времени. И вот отчего ныне, когда хватились прежнего, так трудно его отыскивать и так много самодовольных заключений и догадок о том, что мы знали просто по преданию, переходившему от отца к сыну, от наставника к слушателю, и дошедшему до нас от предшественников, подвизавшихся на том же поприще. Вот и все, и хорошее, и худое, о «Телеграфе». Он существовал довольно долго; сокрушил его несчастный случай. Полевой написал коротенькую критику на трагедию Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», а трагедия эта, к несчастью, понравилась в Петербурге Государю Николаю Павловичу. Самодержец натурально оскорбился, что дерзкий подданный смеет не уважать самодержавного вкуса Государя и смеет быть другого мнения. «Телеграф» был запрещен[25]. По этому случаю очень забавно сказал веселый друг мой Курбатов:

Рука всевышнего отечество спасла
И погубила Полевого![26]

Но забавного в этом было мало! Полевой лишился средств к жизни и способов содержать свое семейство. Он переехал в Петербург, участвовал в каком-то журнале, начал писать драмы à la Kotzebue* и льстить правительству. Но ничто не помогало: он разорился и умер, говорят, в бедности[27]. Теперь Полевой со своим «Телеграфом» остались только в предании!

Но пора от этого отступления обратиться опять к рассказу о самом себе.

*в духе Коцебу (*фр.*).

Проживши недели две в деревне, мы поехали обратно в Москву. Проезжая через Симбирск, мы взяли от тетушек пятилетнего моего сына[28], ибо я был уже не одинок: Анна Федоровна могла быть ему истинною матерью, и такою, каких мало. С теплотой сердца она соединяла твердость благоразумия. Да и пора было взять его из рук тетушек: слепая любовь старушек приучила его к такому своеволию и барству, от которого отучить его было надобно, но было трудно!

С 1811 года начал я ездить по этой дороге между Москвою и Симбирском и моей деревней. Думаю, не лишнее будет описать ее, тем более, что с того времени многое переменилось. Я начал ездить по ней еще мальчиком, без имени, на паре и в рогожной кибитке: можно себе представить, как успешна была моя езда и каким я пользовался тогда почетом. — Почти нигде не давали лошадей, и я по суткам и более сидел на станции. Немногие только станционные смотрители, приглядевшись часто к моему лицу, встречали меня ласково и отпускали без задержки. Но когда стали прописывать в мою подорожную титул камер-юнкер двора Его Императорского Величества, откуда взялись на всех станциях лошади! — Я дивился этому, но подсмотрел в книге у одного смотрителя, что меня записывают не камер-юнкером, а камер-генералом Его Величества: вот что было причиной почета. — С тех пор мне почти всегда были готовы лошади!

Эта дорога от Москвы до Владимира была тогда чрезвычайно беспокойная, по причине деревянной мостовой: толчки по круглым бревнам, особливо в кибитке, были невыносимы! — Впоследствии я езжал уже в коляске, а с женой ехал и в карете[29]. Первый замечательный город, Владимир, нравится всякому москвичу, как напоминающий собою эту столицу. Переезд через Клязьму по живому мосту, который стелется по воде, как полотно, и под экипажами уходит в воду, тоже для непривычного довольно интересен. Но Муром так напоминает собою то старое время, когда от набегов, своих и чужих, строились на местах гористых, почти неприступных, что, проезжая его, мне всегда мечтается, что живу во времена наших удельных князей; он всегда возбуждает во мне какое-то странное чувство этой тревожной старины, спокойной на своей горе, за своею широкою рекою, за своими непроходимыми лесами и песками! Муром, с своим длинным и крутым спуском к самой Оке, чрезвычайно живописен, особенно с средины реки, а самое плавание по Оке на пароме составляет какое-то приятное разнообразие с скушной и утомительной дорогой. За ним пойдут на шестьдесят верст глубокие сыпучие пески, окруженные сосновым лесом, по которым закладывают в карету по осьми и по двадцати лошадей, но и те едва смогут вывезти: ноги уходят в песок дальше щиколотки, как в воду. Зато эта пустыня, эта окрестная тишина, имеют в себе что-то романтическое, как будто читаешь ро-

ман Купера[30]. Нынче знаменитый муромский лес так вырублен по обеим сторонам дороги, что между двух сторон с полверсты пространства. Но когда я начал ездить по этой дороге, она вся была в лесу, а по обеим сторонам узкого пути, в некоторых местах, застланных хворостом, было болото, так что разбойники могли нападать из лесу, почти невидимо, а ускакать было некуда! Об этой узкой дороге в дремучем лесу, с которой только и видно было вверху небо, было в старину даже особое выражение «в небо дыра»! — Далее проезжаешь через прекрасный уездный городок Арзамас, а за ним, на второй станции, между Медынцева и Шарапова, надобно было двенадцать раз спускаться с крутых гор и вдруг подыматься на горы и для безопасности выходить из экипажа. Нынче этот переезд отведен в сторону: его минуют и проезжают по другой дороге, на Лукоянов, небольшой городок, который только и замечателен для одного меня, потому что там родилась покойная жена моя, Наташа. — Так разнообразна и занимательна для воображения эта дорога, если кто не торопится или кому она не наскучит. Но в Симбирской губернии пойдет дорога ровная и гладкая, по которой катаешься как по маслу. Сам Симбирск, при приближении к нему, раскидывается самой живописной картиной, оптический обман, который тотчас исчезает, как скоро въедешь в его улицы! Он имеет вид удивительно скушный!

Станции были в старину не такие, как ныне. Особых домов, построенных на этот предмет, не было, а нанималась крестьянская изба с огромной печью, широкими полатями и лавками по стенам. Ни диванов, ни стульев не было. Смотрители были редкие в зеленом сертуке, а большею частию в чем случится. Но вот что замечательно: ямщики были у них в полном и совершенном повиновении и не смели отказаться ни от какой домашней службы и работы на смотрителя, чего теперь нет, потому что все власти и всякая подчиненность ослабли. А так как русская натура только и не выбивается из порядка, когда находится под страхом, то теперь порядка меньше и произвола больше! — На чем же основывался страх ямщиков? Да просто на том, что смотрители наказывали их палками! — На чем же основывалось такое право смотрителей? Просто на том, что они считаются в 14-м классе[31], да сверх того и их начальники! — Взамен этого проезжающие военные офицеры без милости колотили самих смотрителей, на том основании, что они военные и что они настоящие офицеры, а те только состоят в классе[32]. — Зато им никогда не было отказа в лошадях! — Таким образом равенство человеческих прав восстановлялось, никто не роптал и всякой пользовался своим правом!

Русская конституция очень проста, если не отступать от натуры русского человека и ее потребностей, требований! — Некоторые из смотрителей были старики, мне уже знакомые и очень ласковые, потому что кроме гривенника на водку (42 коп.) я угощал их чаем. Но некоторые были неприступными

деспотами и диктаторами; были и пьяницы, на которых не действовало даже волшебное слово «на водку!». — Не дают лошадей или вынимают, под видом найма, двойные или тройные прогоны! Ныне они, сказать по-варварски, гуманные и цивилизованные! — Но юность во всем находит наслаждение: живешь, бывало, суток по две на станции, как на корабле, в ожидании попутного ветра: ешь землянику, запиваешь сливками и осмотришь всю окрестность деревни: несколько раз походишь и по лесу, и по селу, и покупаешься в пруду, и, отдохнувши от тряски, пускаешься дальше и веселее, и с новыми силами!

Мне случалось езжать по этой дороге и на долгих[33], на своих или на наемных. — Вспоминая эти поездки (а я помню их за пятьдесят лет), я сделал такое замечание, что прежде люди были простее и добрее, зажиточнее, но менее роскошны. Самоваров тогда еще по деревням нигде не было; даже нельзя было достать и у сельских священников; надобно было возить с собою погребец с чашками: погребцы эти были обиты тюленьей кожею и жестью; в них заключались: чайник, молошник, две чашки, стакан и две жестянки для чаю и сахару, иногда штофик для водки и рюмки. Так мало было удобства по дорогам. Но за то везде можно было достать курицу и прекрасные сливки, чего теперь не достанешь. И все было дешево! А за яйца и хлеб не хотели брать денег, говоря, что это домашнее. Если же приласкаешь ребенка, дашь ему кусок сахару или дорожную лепешку, хозяева за многое не захотят брать денег или берут их с принуждением. Лет через двадцать начали без всякой совести драть с проезжих, так что мне случалось, расплатившись уже совсем, видеть, что приступают еще, и просят — особо за постой, особо за тепло, если едешь зимой, и даже особо за то, что сидели на лавках и ходили по полу, потому что они трутся! — Поверить трудно, но уверяю по совести, что это случалось!

Многие произведения местностей были дешевы еще и в это время, когда я ехал с Анной Федоровной (1827). — Так, я помню, что в Муроме была всегда отменная уха, из живых стерлядей. Я вздумал попотчевать жену и заказал уху. Меня спросили: «В какую цену?» — Сказал наудачу: «Хоть в целковый!»[34] — «Много будет!» — отвечали мне. — «Прикажите в полтинник». — И что же? Нам сварили такую уху, которую в Москве могут есть только богачи! И не только достало ее для нас, но две наши девушки и двое слуг наелись ею досыта. — Нынче и за четыре целковых и дороже не достать такой в Муроме. Особливо на Волге в последние годы стерляди сделались редки и дороги, потому что всю рыбу разогнали пароходы: ее пугает шум колес, и она уходит в другие воды.

Нынче из Москвы в Симбирск проложена другая дорога, удобнее прежней, через Нижний Новгород. До Нижнего ездят по железной дороге: это,

конечно, покойнее, но это не путешествие, а просто передвижение. Дорогой ничего не видишь и ничего не заметишь. От Нижнего, кто хочет ехать сухим путем, тот проезжает ужасной, колеистой и глинистой дорогой на Арзамас. А кто хочет, может отправляться в Симбирск и до Сызрана на пароходе по Волге. По воде мне еще не случалось совершать этот путь, но я воображаю, а те, кто ездил, и утверждают, что это очень покойно и приятно. Приволжские места с своими городами Симбирском и Самарой, а особливо известные Жигулевские горы, действительно живописны. Эти-то места и описал в великолепной картине мой дядя, плававший по Волге из Сызрана в Астрахань:

Я плыл, скакал, летел стрелою!
Там видел горы пред собою
И спрашивал: который век
Застал их в молодости сущих?
Здесь мимо городов цветущих
И диких пустыней я тек!

*

Там веси, нивы благодатны,
Стада и кущи рыбарей,
Цветы и травы ароматны,
Растущи средь твоих зыбей,
Влекли попеременно взоры;
А там сирен пернатых хоры,
Под сень кусточков уклонясь,
Пространство пеньем оглашали
И два сайгака им внимали
С крутых стремнин, не шевелясь.

*

Там кормчий, руку простирая
Чрез мыс дремучий на курган,
Вещал, сопутников сзывая:
«Здесь Разинов был, други, стан!»
Вещал и в думу погрузился,
Холодный пот по нем разлился
И перст на воздухе дрожал[35].

Все это картины, взятые с натуры. Тогда еще были в тех местах сайги и дикие козы, а дед мой помнил, когда в наших лесах водились еще и кабаны. Нынче многое переменилось во всем: люди разродились и расселились шире; лесов много вырублено; распаханы большие пространства, которые в старину, по ненадобности этой земли, лежали впусти; звери, прежние обитатели, или истреблены, или выгнаны соседством человека. Людям стало безо-

паснее, но не знаю, спокойнее ли: зверей они уже не боятся, но боятся друг друга!

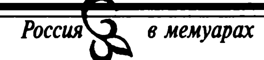
Повторяю: я не видел картин этого плавания, но даю себе слово налюбоваться ими при первой же моей поездке в деревню. Однако, просмотревши написанное, я и сам испугался моих отступлений. Хотя это не хронологические записки, а просто рассказы, однако вижу, что они превращаются иногда в болтовню, и обещаюсь вперед придерживаться больше порядка.

Возвратившись в Москву, мы остановились сперва в Старой Конюшенной, в доме С.Н. Озерова, нанятом для приезда на один месяц, но потом наняли уже на год дом Купреяновой на Пречистенском бульваре[36] с паркетами и шелковыми занавесками у окна, с просторным кабинетом наверху в мезонине, с прекрасною мебелью, обитой шелковой материей, он был красив, чист и удобен, то есть представлял комфорт, который я всегда любил, хотя это слово тогда еще не вошло в употребление. Близость бульвара была тоже не малым удовольствием в городской жизни. За этот дом мы платили две тысячи ассигнациями в год; нынче нельзя и подумать нанять такой дом за такую цену: он стоил бы, по крайней мере, 800 серебром, то есть 2800 на ассигнации. Тогда мы могли прожить долго и пятьюстами рублей, а ныне — куда деваться, имея 150 рублей серебром? — Их и не увидишь! — Основавшись таким образом на одном месте, здесь занялся я службою, занимался и литературою, но об этом после. Теперь скажу о нашем образе жизни.

Никогда еще я так не чувствовал совершенной оседлости и полной домашней жизни. Будучи женат в Симбирске, я все был как будто не на месте, потому что рано ли, поздно ли, надобно было ехать в Москву, а переезды со всем домом у нас на Руси — это сущее переселение. Но теперь я свил гнездо в Москве; кроме того, я приобрел родство, умное, доброе и просвещенное: я стал не одинок, я был уже семьянином и членом семейства!

Дядя мой Иван Иванович тоже был очень доволен моей женитьбой; кажется, я много выиграл этим в его мнении. Он, с высоты своего величия, редко признавал скромные качества людей в их тихой обыкновенной жизни; ему всегда нужна была обстановка, которая ручалась бы за человека. Видя, что я нашел себе жену в семействе умном и просвещенном, а главное, в светском, он поневоле должен был заключить, что я что-нибудь да значу. Даже, я думаю, с этого времени он стал подозревать, что я правильно говорю по-французски, потому что он подозревал меня в противном. А теперь доказательство было налицо: без французского языка нельзя же войти в светское семейство! — По старинной логике лучшего общества заключение было верно. Оставя шутки, лучшее, что я сделал в моей жизни, это женитьба на Анне Федоровне.

Вот как мы с нею проводили время. Всякое утро я проводил на службе, в надворном суде, а жена уходила пешком к своим родным. Как добрая дочь



и сестра, она не хотела пробыть ни одного дня, не видавшись с ними, тем более, что они жили недалеко, но, как добрая жена, она не хотела, чтобы я оставался один. И потому она для своих посещений выбирала утро, когда я не мог быть дома, но обедали мы всегда вместе и все вечера проводили неразлучно.

Между тем эти посещения не были и без пользы. Несмотря на блестящее ее воспитание, по наружности совершенно светское, оно, видно, имело много прочных оснований. С самых первых дней замужества она стала уже входить в наше домашнее хозяйство, которое у меня, как человека одинокого, было, не скажу, в беспорядке, но в каком-то состоянии безотчетности. По мере того или другого, что открывалось ей в вопросах о содержании дома, если чего не знала сама, она немедленно спрашивала об этом свою мать или советовалась с старшею сестрою. Таким образом, вскоре я увидел, что и с небольшими деньгами можно жить порядочно. Вследствие этого открытия я ничего не придумал лучше, как отдавать ей все мои деньги в совершенное ее распоряжение. Она занималась не только столом, но всеми покупками и распоряжениями по нашему домашнему хозяйству, зная всему меру, чего сколько надобно и надолго ли достанет, так, что я, будучи с этой стороны обеспечен совершенно, мог употреблять все мое время на службу, на чтение и на любимые мои занятия литературой. Нередко повторял я ей шутя куплет из водевиля Писарева:

Где нет в занятьях разделенья,
Все дурно там; и потому
Тебе отдам бразды правленья,
Себе веселости возьму![37]

Но и веселостями мы пользовались вместе. Летом, в хорошую погоду, мы иногда вдвоем, иногда с Вельяминовыми-Зерновыми ходили прогуливаться или езжали за город. Парка[38] тогда еще не было; его начали разводить в 1832 году, в последний год ее жизни. Вместе с ним, кажется, прекратились в Москве загородные поездки и пикники, которые я описал в биографии князя Долгорукого[39]. Парк — заведение прекрасное, особенно для живущих там на дачах. Но окрестности Москвы: Кунцово, Царицыно, Архангельское, Останкино, Марьина и Петрова рощи — представляют собою более разнообразия, более свежести и чистого воздуха, не испорченного пылью и спертым дыханием толпы, кроме того, успокаивают чувство тою тишиною, которых нет на публичных гуляньях. Эти загородные прогулки оставили во мне самые приятные воспоминания! Иногда собирались мы, несколько родных или знакомых семейств: мы, Вельяминовы, Даниловы, Оболенские и Дашковы, Огаревы[40] и проч. — и езжали в нескольких экипажах. Тогда еще у всех была

четверня лошадей с форейтором, чего теперь нет: мы, с нашим прогрессом, во многом попятились назад! — Так, никогда не забуду я одну приятную поездку в Архангельское. Князь Николай Борисович Юсупов[41], его владелец, был последний вельможа Екатерининского века, последний образец вежливости, сопровождаемой осанкою знатности, но вместе и обязательною улыбкою, и тою предупредительностью прекрасного тона, которые ныне исчезли совершенно! — Повторяю, князь Юсупов был последний образец этой породы. Пушкин, в стихах своих «К Вельможе»[42], описал его прекрасно и верно. Пушкин, человек хорошей фамилии и прекрасного воспитания, умел вполне чувствовать все достоинства аристократических обычаев и привычек. Опишу нашу прогулку.

Только что приехали мы в Архангельское, нам отвели в парке павильон, где мы могли бы отдыхать после прогулки: это было так заведено гостеприимным хозяином. Потом явился сам хозяин, вельможа, старик и подагрик, который, заметьте это, знал некоторых из нас только по обществу иль по слуху, многих не знал и по имени, и ни с кем из нас знаком не был. После первых учтивостей он сказал, что не хочет больше нас беспокоить, но что сейчас будет готово к нашим услугам несколько линеек, потому что пешком нет возможности обозреть всего парка. Но что он просит останавливаться на тех пунктах, которые им указаны, для обозрения лучших видов. Осмотревши картинную галерею и статуи, между которыми мы полюбовались группами, каковы «Амур и Психея», и картиною Давида, изображающей сына хозяина[43], мы отправились по парку в его линейках, и когда подъехали к одной из загородок, за которой паслись две ламы, подаренные ему Государем, хозяин встретил нас уже у ворот решетки. Здесь просил он позволения пить у нас чай, то есть угостить нас своим же чаем, и по возвращении нашем в павильон мы нашли уже там серебряный чайный сервиз, чай и разные молочные кушанья. Вскоре явился сам хозяин. Разговор, бывший, заметьте, на французском языке, тогдашний язык нашей и европейской аристократии, склонился на его время. Он видел в жизнь свою много; путешествовал и один, и с великим князем Павлом Петровичем, был и во Франции, и в Италии, и в Испании; бывал при многих дворах[44]; был знаком с лучшими и первыми людьми своего времени, приятель с философами своего века, был гостем у Вольтера, знал Альфьери и курносого Касти[45]: можно себе вообразить, как занимательны были его рассказы и замечания! — Наконец, его вежливость прошедшего века сказалась даже и при прощании. Сажая наших дам в их экипажи, он указал им на полную луну и промолвил с улыбкою: «Vous voyez, mesdames, j'ai pourvu à tout!»* — Нет, много было ума и привлекательности

*«Вот видите, сударыни, я позаботился обо всем!» (*фр.*).

в людях прошедшего века, и много хорошего в аристократическом воспитании, в аристократических привычках и манерах!

Последние наши вельможи: Строгановы, Юсуповы и еще немногие — были все из века Екатерины и сохраняли остатки этого типа в царствование Александра. Но при Николае Павловиче, хотя были тоже знатные люди, выскочившие из ничего, как при Павле, но вельмож уж не было. Кто назовет вельможами Обольянинова, Кутайсова[46], Алексея Федоровича Орлова и Клейнмихеля? — Стало быть, ни богатство, ни Андреевская лента, ни близость к Государю не дают права на это титло! — Что же дает его? — Особый тип — в жизни, в привычках, во вкусах и в обращении! — Другое воспитание! Другие цели! — Эти люди копили богатство для самих себя; в них не было благородной страсти к художествам; другие классы людей не видели в них посредников между ними и высшей властью! Даже люди древних фамилий, вышедшие в высокие чины в последнее время, и они не были вельможами! Таков был добрый и пустой человек князь Сергей Михайлович Голицын, который по своему роду, богатству и чину мог бы быть вельможей, но и он был вельможа только для Новикова и для князя Николая Ивановича Трубецкого[47]! — Во-первых, жил он не открыто; потом, по своей торопливости, по своей фигурке прыгающего петушка, по своим пустым речам, скороговоркою и до крайности пошлым, он не имел той спокойно вежливой осанки, которая принадлежала старинным вельможам.

Я знаю, скажут ныне: «Да на что все это?» — Да на то, по крайней мере, чтобы было за что уважать: кого за покровительство художествам, кого за великолепные сады и парки, которыми всякой с благодарностью может пользоваться; кого за защиту и заступничество перед сильными! — Было ли что-нибудь подобное от последних выходцев? — Да и самая осанка важности и вежливости ручается за нечто благородное и благосклонное: такие задатки приятно встречать в человеке высшего разряда.

Никогда не забуду я и обратной поездки нашей из Архангельского! — Месячная, светлая, как день, и теплая ночь! Мы все довольны и веселы! — С нами был друг мой, А.Д. Курбатов. Мы дорогою, в карете, начали импровизировать стихи на нашу прогулку, с похвалою всем порознь, и дамам, и девицам, и кавалерам, и князю Юсупову, и его парку. К первым же куплетам наши дамы прибрали голос, выучили их и запели. Как накопится несколько куплетов, мы остановимся, сдвинем все экипажи рядом и пропоем! — Общая веселость и смех были нам наградой. Таким образом набралось куплетов двадцать. Приехали домой к Вельяминовым, одна из наших дам села за фортопиано; мы все составили хор; и остававшиеся дома очень смеялись нашей выдумке. Так забавлялись и веселились мы в то время, и старые, и молодые; веселились от души и невинно. — Это было еще в начале царство-

вания Николая Павловича. Мало-помалу все становилось при нем мрачнее, и мы сами стали не те, какие были!

Мы обедали всегда или дома, или у Вельяминовых. Иногда только случались званые именинные обеды у родных. Я, признаюсь, любил в молодости поесть вкусно и готов был ездить на эти обеды, но признаюсь и в том, что для длинного обеда я всегда любил приправу умного или, по крайней мере, не пустого разговора. Вот этим-то недостатком этой приправы наши русские обеды были всегда мне скушны. Я требовал немногого: не философии, не учености, а просто размена мыслей. А у нас обыкновенно разговоры ограничиваются новостями и рассказами. Это всегда было мне несносно, признаюсь, что тут я терял иногда терпение и только в этих случаях возвращался иногда домой в дурном расположении духа — от скуки, которой я не знал дома. Но равенство нрава Анны Федоровны, всегда владевшей собою, было что-то необыкновенное! — Конечно, это был дар природы, но в то же время она и работала много над собою: ибо от природы она была совсем не хладнокровной. Она перерабатывала себя нравственно до последних мелочей! — По поводу о родственных обычаях скажу, однако, что они имели в себе и хорошую сторону: радушное соединение людей близких. Конечно, и без них можно родным любить друг друга и сохранять родственное чувство, но это патриархальное, почти обязательное соединение в известные дни имеет в себе что-то почти религиозное: не по исполнению, а по мысли, как необходимая дань почета и уважения к старшим в родстве или почетнейшим в семействе. Мы видим это в самой древности: сыновья Иова по очереди угощали свои семейства[48]. В обычаях наших предков было то же обыкновение, оставшееся у нас и до нашего времени. Нынче и это выводится! Холостые обеды у ресторатора гораздо приятнее. Может быть, и в самом деле приятнее, но оставляют по себе связи другого рода, а родственными обычаями держались связи общества!

Мы выезжали редко, потому что для нас довольно было и нас самих. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь скучали, особенно с Анною Федоровною, которая имела столько запаса в своем уме и просвещении. Меняться мыслями в разговорах о разных предметах мысли было для нас истинным наслаждением: самые противоречия наводили нас на заключения, которые без того не представились бы сами собою! Какое счастие иметь такой ressource* дома, под руками! — Она читала много, и по большей части книги, вызывающие на размышления и расширяющие область мысли. В них искала она во-первых, упражнения своей умственной деятельности, во-вторых, и пользы. С этой целию, я помню, готовясь быть матерью, она с большим вниманием

*ресурс, источник (*фр.*).

читала книгу Monecker de Saussure «L'Éducation progressive»[49]. Но не надобно заключать из этого, что она увлекалась какою-нибудь системою. — Нет! Все системы и мысли, находимые ею в книгах, она проводила через собственное сознание, чрез проверку собственной совести, которые были в ней чрезвычайно светлы и верны, в соединении с ее чистым сердцем. Находя в моей библиотеке книги мистического содержания и видя, что я имею к ним уважение, она читала книги и этого рода; сперва с некоторою недоверчивостию, но после многих разговоров со мною, найдя руководящую нить к этому чтению, она углублялась в него, с некоторым удивлением, что так много есть еще неизвестного и непонятного в Истинах, которые доступны разумению. Иногда читала она и романы Вальтера Скотта, который был тогда в полной славе. По вечерам, особенно зимою, оставаясь одни, читали мы вместе; по большей части — она, а я слушал. Здесь, кроме удовольствия, производимого самим чтением, оно доставлялось еще и тем, что возбуждало мысль нашу и служило поводом иногда к самым интересным суждениям [и] разговорам между нами по случаю какой-нибудь мысли, какого-нибудь происшествия, встреченного в книге.

Через год после нашей свадьбы, 5 июня 1828 года, родилась у нас дочь, которой дали имя Катерины, в честь ее бабушки, матери Анны Федоровны. Я едва помнил себя от радости, а сама Анна Федоровна, успокоившись после мук, глядела с небесным чувством в глазах на первое дитя свое. Нет! Я никак не могу выразить всего моего чувства при рождении Кати, но думаю, что и я даже не мог достигнуть до чувств ее матери. Каждую минуту она занималась ею, и когда стала вставать с постели и ходить по комнате, каждую минуту была бы с ней и жила бы только для нее, если бы было возможно уничтожиться до всего другого! — Не дожила она до того, чтобы видеть ее на возрасте, и дочь не может ее помнить, но мое сердце и теперь всегда радуется, видя в ней, и по наружности, и по уму, и по характеру, совершенный образ матери: к ней перешли даже приемы, привычки и сама походка матери!

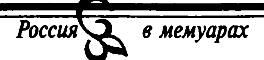
После родов Анна Федоровна сидела уже в гостиной, хотя еще не выезжала, потому что не прошло шести недель, как в один день сделалась буря, какой я никогда не видывал, и потому стоит описать ее. Сначала мы увидели, что одна сторона неба покрылась сплошною массою мутно-желтого цвета. Она росла, приближалась быстро и вдруг разразилась над Москвою ураганом. На бульваре, бывшем против наших окон, было вырвано по пяти деревьев на каждой стороне, с корнем. Против нас был каменный дом Корсакова (где я и после жил)[50]. В одном каменном же флигеле помещалось тогда отделение почтамта. С него сорвало огромную железную крышу и поставило целиком на бульваре. Я увидел в окно что-то кружащееся в воздухе, как лист бумаги: то вырвало в нашем мезонине оконную раму и кружило ее на возду-

хе. Много поломано было глав на церквах; снесен целый, крытый железом, купол с винного двора, находившегося за Москвою-рекою: его перенесло через реку и поставило где-то на одной из больших улиц. Едучи на другой день по Москве, я увидел крышу экзерциргауза, на Неглинной[51], всю завитую: все листы снизу были сорваны с гвоздей и загнуты кверху. Можно вообразить наш ужас, особливо в положении Анны Федоровны, после родов только что вставшей с постели. — Но крепость духа поддерживала ее физические силы; это было тоже одна из замечательных принадлежностей ее характера: в ней был строгий ум мужчины с мягким сердцем женщины, а характер заимствовал свои качества от обоих. — Эта буря памятна мне особенно потому, что была вскоре после рождения Кати.

Изобразив свойства Анны Федоровны как жены и молодой хозяйки, я в продолжении моих рассказов надеюсь опять возвратиться к воспоминанию о ней как о матери малолетного семейства, которым Бог наградил нас впоследствии. Скажу теперь несколько слов о тогдашних моих занятиях литературою.

Служба оставляла мне мало свободного времени: ибо все часы присутствия проходили в допросах и производстве текущих дел, а читать дела и соображать обстоятельства надобно было дома. Большую часть вечера я должен был посвящать на это. Кроме того, в свободные минуты нельзя было оставить и чтения книг, чтобы не совсем потупеть от службы. В это время я наклонен был к чтению важного содержания: это описывалось и в немногих стихах, написанных мною в это время. Я печатал тогда, что ни напишу, в «Московском вестнике», издаваемом Погодиным[52]. Эти стихи возбуждали тогда в кругу московских литераторов некоторое внимание, не столько, думаю, поэтическим своим достоинством, сколько по всеобщей тогда наклонности к сериозному направлению мысли. Следовательно, не стоит говорить о них в подробности.

Заключаю эту главу; в следующей буду говорить о моей службе[53].



ГЛАВА 14

Надворный суд • Устройство • Роды преступлений • Примеры • Содержание под стражей

Я сказал уже в 11-й главе моих рассказов, что князь Дмитрий Владимирович Голицын, вступивши в 1820 году в управление Москвою, обратил особенное внимание на устройство судов, преимущественно же уголовных. На это имел он самую основательную причину. Люди, имеющие процессы гражданские, пользуются свободою и могут лично просить и ходатайствовать в свою пользу, а подсудимые по делам уголовным, по большей части содержащиеся под арестом, находятся совершенно в руках судей. Главное старание его состояло, как я сказал уже, в выборе лиц, но он первый, я думаю, из московских генерал-губернаторов обратил внимание и на судопроизводство, и на самое устройство внешности. Последнее, конечно, произведено им было для губернского правления и палат, а не для судов первой степени[1], потому что денежных средств было недостаточно.

Первое, что я заметил, вступивши в надворный суд, натурально, это внешнюю обстановку. Правда, что она была не изящна, однако и не черна, как в других судах. Правда и то, что помещение было довольно тесно и бедно, но другого не было, а что можно, то было улучшено и по внешности. Между прочим, я нашел в моем суде стол не такой, какие у нас бывают обыкновенно в присутственных местах, а в виде легкой, едва загнутой дуги, обращенной к стеклянным дверям внутренней своей стороною, в которой, против самой ее середины, стояло зерцало не на самом столе, а на особой тумбе, или колонне. Заседатели же сидели не по обеим сторонам стола, а рядом с судьею. Это, говорят, взял князь Дмитрий Владимирович с французских трибуналов. Цель этой формы стола была та, чтобы подсудимые, приводимые для допросов, могли стоять перед лицом всех присутствующих. Особенно это ловко было при очных ставках: они были как на сцене перед зрителями.

Во всех судах бывает обыкновенно один докладной реестр, в котором даются и решительные резолюции по делам, и делаются отметки по входящим бумагам: это затрудняет тем, что все их должен излагать один из присутствующих, между тем как это могло бы быть разделено между ними, чем

сокращались бы и труд, и время, потому что отметки делались бы в три руки. Князь завел три докладных реестра: один делам, а два входящим бумагам, по двум экспедициям. Таким образом, в одно и то же время решительные резолюции излагались самим судьею, а по входящим бумагам двумя заседателями. Первые, само собою разумеется, отмечались не иначе, как вследствие общего рассуждения и приговора, а последние, состоящие более в одних и тех же отметках, потому что относились не к существу дела, а к производству, не требовали совещания, а одного навыка: если же случалось затруднение, то заседатель тут же обращался за советом.

Но это еще не все. На составление журналов по закону полагается три дня[2], что, по множеству дел, решительно невозможно. В нашем надворном суде устроено было так. В резолюции по двум реестрам входящих бумаг, данные заседателями, подписывались всеми троими членами суда, а в журнал они не вносились. Всякой журнал начинался одною и тою же фразой: «Слушали. Во-первых, входящие бумаги и данные по ним резолюции, отмеченные общим подписанием. Приказали: записать их в журнал и учинить исполнение. — А потом дела». — Здесь прописывались решительные резолюции делам, уже во всей полноте и подробности, из докладного реестра делам, данным самим судьею. И потому журналы, содержащие в себе одни дела, были коротки; скорому изготовлению их не мешало множество мелких резолюций, затрудняющих обыкновенно состав их. Для людей, знающих судопроизводство, легко понять всю важность этого облегчения. Само собою разумеется, что эти и другие перемены князь не мог иначе ввести, как с разрешения Сената. Почему же они не были введены везде? — Потому что Сенат, вероятно, не подверг их живому разбору и не потрудился вникнуть в их пользу, а допустил без дальнейшего рассуждения, в виде изъятия, из уважения к лицу. У нас, народа мертвого и равнодушного, все так делается!

Дел у нас в судах, как и во всех русских судах, кроме Сената, не слушали, а только прочитывали их, каждый про себя: то есть докладов не было. А слово «слушали» была только формальность, употребляемая только в журналах и определениях. На это есть многие причины. Во-первых, нет людей, которые умели бы докладывать, то есть изустно излагать дело в порядке и без запинки: мы вообще не умеем говорить. Во-вторых, так как наше правосудие состоит не в широкой юридической мысли и не в светлом чувстве совести, а мелочах судопроизводства, то при изустном докладе нет почти возможности ни изложить их в систематическом и ясном порядке, ни сохранить и слушающему в своей памяти. И потому все делается на бумаге.

Надобно заметить еще, что у нас секретари по большей части опытнее судей. Для нас судейство есть служба; для них — профессия. Мы смотрим

на наше звание как на временную ступень по лестнице честолюбия, как на переход к чему-то высшему; для них место есть хлеб насущный. Они вцепятся в него и сидят на нем, не разгуливая фантазией в облаках воздушных: для них это — дело жизни. По этой причине они приобретают рутину, которая, при нашей формальности, дело важное[3]. Силою этой-то рутины они держат иногда в руках и судей, хотя благонамеренных, но не совсем твердых в своем деле. Я все дела прочитывал сам; все решительные резолюции писал своею рукою. А доказательство, что они не были списаны, можно найти еще и ныне в докладных того времени: там найдут перемарки, доказывающие, что судья думал, обдумывал и иногда передумывал или мысль, или выражение. Предшественник мой, И.И. Пущин, говорят, был тоже человек деловой и не легко руководимый. Со всем тем, не только в нашем суде, но даже и в палате, где я был потом советником, я нашел обычай подавать вместе с бумагами так называемые *ремарки*. Эти ремарки не что иное, как проекты резолюций, предлагаемые секретарями. Для судьи ленивого или незнающего это клад: переписывай своей рукой готовые резолюции! — Я не хотел отменить их, потому что они некоторым образом напоминали ход дела и заменяли беспрестанные справки; однако я смотрел в оба. И признаюсь: чем более наклонялась ремарка в какую-нибудь сторону, тем была она для меня подозрительнее. Я составлял для себя дома краткое извлечение из дела. Оно содержало: имена подсудимых — и их показания при допросе; имена прикосновенных — и то же; наконец, повальный обыск[4]. Таким образом, я мог писать решительную резолюцию, уже не справляясь с самим делом, а следуя моим заметкам.

Заседателя нашел я одного; другого не было. Это место, к счастию моему, пожелал получить Николай Филиппович Павлов. Я чрезвычайно был рад такому товарищу, умному, просвещенному и литератору. Кроме того, и это главное, я мог быть уверен, что он не продаст меня, не подведет какую-нибудь штуку из корыстных видов, не пойдет на интригу и не свяжется дружбой с секретарями. Благородство чувств его и самых его манеров заставляли забывать в нем его происхождение. Я просил об определении его в заседатели князя Дмитрия Владимировича, и он получил это место без затруднения. Вскоре я увидел всю выгоду иметь своим сотрудником не записного подьячего, а просвещенного и благонамеренного молодого человека, хотя вначале и неопытного.

Я дал ему свои краткие выписки самонужнейших законов и образцы форменных резолюций — и в две недели Павлов отмечал резолюции как опытный заседатель. Два секретаря наши дивились этому, но при его уме очень немудрено было понять эту науку. Сами обстоятельства дела указывают на дальнейшее производство.

Замечу при этом случае все достоинство, всю выгоду литературного образования перед ученым и общего перед специальным, которое вводится ныне. Специальное образование может производить деятелей в одном определенном роде; особенно у нас, без общего образования, оно производит нередко ремесленников науки, потому что русской ум довольствуется очень немногим и не любит заглядывать далее своей профессии, то есть он никогда не откроет сам далекого горизонта, пока ему не откроют. А служба наша, обязательная для всех, требует самых разнообразных способностей именно потому, что у нас никто не готовится к какому-нибудь известному делу, а должен быть способен ко всем делам, не зная, куда попадет: в юстицию ли, в финансы ли, в судейство ли или в администрацию! Посмотрите, сколько и специалистов, и просто неучей попали у нас в законодатели и администраторы по так называемому крестьянскому делу, хотя оно больше всего было дело дворянское![5] Самое это название — крестьянского дела — показывает уже, что люди, решавшие его, не имели о нем понятия! Зато что и вышло! — В этой-то односторонности понятий литературное образование, будучи общим, является на помощь и на выручку одноглазой специальности! — Оно образует не чиновника, а человека; а нам люди-то и нужны! — Кроме того, представляя уму и воображению идеи чистые и благородные добра, истины и красоты и приучивши обращаться в этом круге идей, обнимающих не какие-нибудь частные истины, а полноту души человеческой, оно облагороживает и возвышает душу и делает противными все эти низкие, грязные привычки, которыми обесчещено и обезображено наше русское служебное сословие. Сколько мы ни знали литераторов на служебном поприще, начиная от Державина и Дмитриева, вспоминая Хераскова, Озерова, Оленина, Дашкова, Грибоедова[6] и многих из воспитанников университетского благородного пансиона, выросших и вскормленных на литературе: ни одного не было ни взяточника, ни прижимщика, ни подлого льстеца, ни интригана! Напротив, при благородстве чувств они были и деловыми людьми: стало быть, литературное образование не только не мешает быть дельным, а, напротив, расширяет деловые способности[7].

Привычка же к делам не так и трудна: нужны только прилежность, терпение и трудолюбие. Конечно, знание гражданских законов труднее, чем уголовных: в первых многое поставлено произвольно или условно, например, разные сроки, и потому они требуют обширной и преимущественно мелочной памяти. Что касается до законов уголовных, относящихся как до следствий, так и до решения дел, напрасно думают, что до издания Свода[8] трудно было узнать их. Их было не так много, как воображают, ибо из всей кипы старых законов в ходу были немногие. Я теперь же могу назвать их. Из всего «Уложения» царя Алексея Михайловича нужна была только 10-я глава, по-

том — для следствий — «Воинские процессы Петра Великого», а для решения дел «Воинские артикулы», отчасти Воинский и Морской уставы[9]. Из всех названных мною томов применялось только несколько пунктов, которые мы знали наизусть и приводили в подкрепление резолюций, не справляясь с книгами законов. Потом — манифест Екатерины, кажется, 1784 года, разделяющий воровство на четыре степени: разбой, грабеж, кража и мошенничество[10]; и знаменитый ее же манифест 1787 года о спокойствии, или о поединках[11]. Две-три статьи Наказа[12] и немногие законы Александра: вот и все. — К этому надобно еще прибавить, что такие крупные законы легко врезывались в память. Самое название закона облегчало труд ее; это не то, что помнить наизусть: цифры тома, отдела, главы, пункта и его отделений. Цифры помнить труднее, чем имя книги или название манифеста, или год закона, ибо год соединяется часто с памятью какой-нибудь исторической эпохи или происшествия. — Так, при манифесте 1787 года кто не вспомнит год путешествия Екатерины[13]? — В нашем судопроизводстве были даже многие юридические термины, которые истреблены Сводом. Например, слово *тренник*, четвертая часть, выдающаяся в награду нашедшему деньги, и другие. А они существуют во всех законодательствах; они тем важны, что служат к единообразному пониманию закона, или к единообразному изложению резолюций. — У нас так настроена была привычка памяти, что некоторые законы мы просто означали первыми словами (как папские буллы, например, Unigenitus[14]) и все понимали. Так, достаточно было назвать закон словами «Паче всего надлежит», чтобы слушающий понял продолжение: «жалобу свою исправно доказать»[15], и проч. — В Своде техническая точность выражения пожертвована какой-то наружной гладкости, и тип юридической верности сглажен подлишним лоском. Самая недостаточность в подробностях применения была в прежних законах в пользу, а не во вред правосудия: применение закона требовало соображений и выводов ума юридического, а со времени Свода наше законодательство, кажется, хотело превратить ум судей в машину, выделывающую и определяющую однообразно судьбу людей, как обделывают вещь, забывая, что они существа свободные и что действия их основываются на свободе. Так, например, Свод определяет от десяти до десяти число ударов, смотря по преступлению, а прежде палаты определяли их по соображению обстоятельств, сопровождавших действие, и даже смотря по летам и по силам преступника: здесь входили в определение возмездия вместе с законом и разум, и совесть судьи, а не одна арифметика. Чем более простора для судейского мнения, тем больше порука за верность мнения, а однообразие в этом случае есть только наружная правильность. Правильность же не всегда есть верность.

Старые законы наши, если разбирать их рационально, представляют всегда достаточную причину их учреждения. Так, например, нижние инстанции

определяют только *род* наказания, а палаты — *меру*, то есть число ударов. Но Сенат может уменьшить их, а не прибавить, и вообще не может увеличивать меры наказания. Вероятно, это по той причине, что суды и палаты лично видят преступника и могут судить о его физической силе и слабости, а Сенат, не видя его в лицо, может переступить пределы его сил, отягчая наказание. А потом это право умягчать, а не отягчать участь преступника есть какое-то даже уважение к высшему месту суда и к предполагаемому характеру лиц, его составляющих. При министерстве графа Панина это было забыто до той степени, что он предписывал обер-прокурорам предлагать о увеличении числа ударов, но при нем мало ли что было забыто.

Во все время моего судейства я и Павлов смотрели на дела и на людей одинаково[16]: с чувством отвращения от низости и жестокости многих преступлений и с чувством жалости и презрения, но не пренебрежения к невежеству людей, попадающих в вины, по большей части из этого несмысленного стада, называемого черным народом! — Мы никогда не говорили, как другие: «Ведь это преступник: чего его жалеть!» — Мы всегда думали: «Ведь это человек! Будь он в другом кругу и другого воспитания, он не дошел бы до этого!» — У нас не столько дурных людей лично, сколько дурен тот народ, из которого они выходят! Посмотрите на него даже в обыкновенном обращении. Он не пробирается в толпе вежливо, как мы: он, даже в храме Божием, лезет, толкается и работает локтями. Посмотрите на его игры и забавы: всегда толчки и в шутку удары! От этих толчков и ударов ради шуток долго ли до настоящей драки? — А в драке долго ли до убийства? Особливо когда «руки расходились»! — Этого выражения на иностранных языках нет, потому что и действие это неизвестно! Мудрено и судить русского человека!

Вот некоторые замечания, выведенные мною из множества уголовных дел, бывших в моих руках в продолжение пятнадцатилетнего опыта. Сильных страстей у нас нет; все преступления происходят большею частью от всеобщего разврата народа: развратного поведения и развратной мысли! Первым началом их бывает всегда пьянство и разгульное сообщество людей низкого класса. У нас (исключая разбойничество) почти не бывает убийств, хладнокровно задуманных заранее, а всегда в пьяной драке и в бесчувственном самозабвении[17]. Нет, я думаю, народа, который бы так мгновенно воспламенялся и так скоро остывал. Через минуту после зверского побоища те же люди готовы обниматься! — Почти не бывает смертоубийства из мести, редко из ревности и никогда из оскорбления чести, которой русской человек совсем не понимает. Его разругают; он лезет драться, но не с намерением омыть в крови личную обиду, потому что, по пословице, «брань на вороту не виснет», а как зверь, которого раздразнили палкой. — Иногда в этой драке последует и убийство, но это не месть, а бешенство, усиленное по большей части вином.

Кража — одно из самых обыкновенных у нас преступлений, и даже самый грабеж, если проследить их историю, представляют всегда одно начало и один исход: человек начинает пить; являются друзья; когда он пропьет все деньги — из них же являются советники, и он незаметным образом делается вором, сколько из необходимости добыть денег на пьянство, столько же и из молодечества. Такое же бывает начало и разбоям!

Более всех в мое время попадались в кражах дворовые люди, отпущенные на волю. Это очень понятно. Отпуская на волю человека, обыкновенно дают ему какие-нибудь сто рублей ассигнациями награждения. Он такой суммы никогда в руках не видывал; она кажется ему неистощимою. А почувствовав волю, он находится в состоянии коня, вырвавшегося из конюшни, или собаки, сорвавшейся с цепи: первая мысль — дорога во все стороны, а всего ближе — в кабак! — Вот тут-то и найдутся приятели, которые тотчас почуют деньги, а богач, как русской человек, готов показать себя и пользуется у них своего рода почетом. Я бы сказал даже уважением, если бы русской человек знал, что такое уважение. Но, по понятию нашего народа, *уважить* — значит или напоить допьяна, или сбавить цену с продажной вещи: другого значения оно не имеет. По истрате всех денег промотавшийся Амфитрион[18] требует взаимного угощения уже от приятелей, а у тех вместо денег готовы советы. Эти-то советы и производят вора.

После вольноотпущенных первые по разврату и по воровству — это мещане. На это есть тоже причина. Мещанин, вопреки своему имени, которое, вероятно, происходит от слова «место»[19], есть именно человек без места, живущий, как птица небесная, между неба и земли. Между ними есть люди, не имеющие ни дома, ни ремесла, истинные пролетарии. Это, разумеется, не без исключения, класс людей самый бедный и самый развратный; а бедность, соединенная с развратом, ведут прямо к преступлениям, и всего ближе к воровству.

Когда, бывало, при допросе следишь за препровождением дня или нескольких дней из похождений подсудимого, нельзя не удивиться этой охоте шататься по Москве, без дела, без цели, с одною мыслию пить и развратничать! — Нельзя надивиться, как достает сил, как достает ног у русского простолюдина, чтобы исходить столько мест в один день и побывать на противоположных концах города или за городом, и везде гульба, вино и селянка[20]: тогда чаю пили еще мало. Из Рогожской в Зарядье; от Симонова монастыря в Марьину рощу; из Перовой рощи в Угрешу[21]: это им нипочем! Шатаются, шатаются и кончат непременно преступлением!

У нас почитается основанием уголовного следствия допрос, и следователи добиваются всеми мерами признания; между тем как во всех законодательствах существует правило, что никто не имеет нравственной обязанности быть

своим обвинителем. У нас — напротив, в мое время, да и теперь, я думаю, тоже, была в ходу юридическая апофегма «собственное признание есть свидетельство лучшее всего света». — Это сказано было в законе, не помню теперь, в каком, о подтвердительных допросах[22]. Если на вопрос: «Не было ли при следствии пристрастных допросов?» (то есть пытки) подсудимый отвечает, что не было, то, конечно, ему больше всего можно в этом поверить, потому что он утверждает этим безответственность других в отношении к нему. Но во всех других случаях, когда дело идет о собственной его виновности, о его преступлении, если утверждаться только на его признании, то что же после этого другие доказательства? — Сколько раз случалось мне видеть на опыте, что собственное признание опровергается доказательствами! — Да и в законе Петра Великого сказано, что собственного признания одного недостаточно, а требуются еще дознания и «гораздо смотреть, чтоб оно всеконечно в действо произведено было»[23]. — Но у нас требуется непременно признание. Это одно из доказательств той истины, что у нас не требуется ума юридического, а одно машинальное последование букве закона, не вникая в смысл ее. Я старался вводить иногда в мои решения рассуждения о смысле закона, что и товарищ мой, Павлов, находил нужным; но большая часть других судей (например, в соединенных присутствиях надворного суда с уездным и с магистратом) боялись, как огня, всяких рассуждений: конечно, быть машиной безопасно и безответственно! Зато во все два года моего судейства только одно какое-то решение наше было не вполне утверждено палатой. Но и то с такою внимательностию ко мне, что председатель прислал ко мне в суд секретаря палаты с извинением и с объяснением, почему не может вполне согласиться с нами: это уже такая тонкость уважения, какой никто не может и требовать.

В это время председателем первого департамента уголовной палаты был умный, честный, трудолюбивый и знаток дела Эраст Васильевич Абаза. Он говаривал мне при всех, что ревизия дел, поступающих из моего суда, это отдых для палаты. — К прочим его достоинствам по справедливости должно еще прибавить, что он был необыкновенно скромен и хорош собою.

Составив себе, таким образом, репутацию правдивого и внимательного судьи, я пользовался лестным вниманием и генерал-губернатора, который очень заботливо занимался уголовною частию и следил за важнейшими делами. Всякое первое число месяца все судьи, председатели палат, советники губернского правления и член управы благочиния обязаны были являться к нему с ведомостями о решении дел. Кроме наблюдения за числом их и арестантов, он расспрашивал о важнейших делах, и, что странно, в будущее первое число он вспоминал, бывало, на чем останавливалось дело в прошедший месяц.

Мягкая душа князя Дмитрия Владимировича всегда искала средств облегчать участь подсудимых. Иногда, не смея действовать властию, как сделал бы другой, он призывал меня и, так сказать, ходатайствовал за подсудимого, наводя на облегчающие обстоятельства. Так, призвал он меня однажды в Страстную пятницу[24] и спрашивал меня, нельзя ли к празднику освободить из тюрьмы иностранца Годуа, судимого будто бы в фальшивом провозе через польскую границу товаров. Я сказал князю, что, по моему мнению, основанному на обстоятельствах дела, не только можно, но и должно, но что это дело производится не у меня, а в магистрате, что, хотя я и участвую в суждении этого дела, но купцы не согласятся со мною, потому что, не имея ясного понятия о делах, они боятся, чтобы по делу, относящемуся до таможни, не отвечать после своим капиталом. Князь хотел, чтоб я поговорил с ними от его имени, но это были уже дни, когда нет присутствия, собирать же присутствие магистрата я не имел права, а князю хотелось выпустить Годуа к Светлому празднику. Я осмелился дать такой совет, чтобы князь дал предписание от себя обер-полицеймейстеру выпустить его из тюрьмы, а нас уведомил бы предложением. Князь обрадовался этой мысли, хотя это было неправильно и самовольно. Годуа был освобожден, а в понедельник Фоминой недели[25] я объявил магистрату предложение генерал-губернатора, которое дано было, по ошибке, на имя моего суда. Князь вообще не любил формальностей, однако им следовал: только в таких случаях он переступал их, когда мог оказать справедливое облегчение страждущему человечеству и когда мешала этому одна форма.

У нас в уголовные дела втекает множество предметов других ведомств, и таких, которых правила или неизвестны, или даже не были и обнародованы. Так было и в этом случае. Московская складочная таможня обвиняла Годуа в фальшивом провозе товаров, на том основании, что мера их оказывалась не та, какая показана в накладных, следовательно: заключала она, товары не те, а если не те товары, то и штемпели пограничной таможни — фальшивые. И так это дело, кроме конфискации товаров, вело еще и в Сибирь. А складочная таможня крепко вцеплялась в эти дела, потому что часть денег, выручаемая посредством аукционной продажи, предоставлялась членам таможни. Но так как они основывались на одном предположении и на силлогизме, то силлогизмом же только можно было его и опровергнуть, то есть доказать, что мера та самая, какая в накладных. Это было бы и нетрудно, потому что в накладных считалось на польские локти, а таможня считала на русские аршины[26]. Но какая пропорция аршина к локтю?

К счастью, один из оговоренных, еврей, бывший на свободе, принес мне печатную тетрадку, изданную когда-то министерством финансов и содержащую пропорцию или сравнение мер и весов иностранных и русских[27].

Книжка эта была издана только для ведомства того министерства и хотя имела характер официальный, но никогда не была обнародована. Я ухватился за эту книжку, нашел пропорции локтя к аршину и доказал в мнении, поданном мною магистрату, тождество меры товаров: следовательно, если это те самые товары, которые значатся в накладных, то и фальшивого клеймения не было. — Вот отчего зависит иногда судьба человека! Отдают торговые дела на решение уголовному суду, а средства к разрешению их признаются принадлежащими к одному торговому ведомству. Таможня, конечно, знала эту книжку, но кто же велит ей указать на нее, в свое же обличение и, главное, в убыток своим чиновникам.

В числе многих несовершенств нашего уголовного процесса следует упомянуть и об оценке краденых вещей. Везде оценка делается посредством экспертов, а у нас посредством добросовестных, хотя тоже упоминается и в наших законах о каких-то сведущих людях[28]. Но кто эти сведущие люди? Кто их знает? И где их найти? — А добросовестные, известно, избираются из промотавшихся мещан, которые не смеют слова сказать перед полицейским. Эти невежи и люди бессовестные оценивают такие вещи, каких они и не видывали, например, картины и книги, и всегда ценят нипочем, во-первых, по незнанию, а во-вторых, из жалости к вору, потому что цена вещи определяет меру наказания. Тогда было — до ста рублей ассигнациями — наказание плетьми без ссылки, а свыше ста рублей — со ссылкою в Сибирь[29]. Я помню, однажды украден был между прочими предметами один том «Истории» Карамзина. Его оценили в несколько копеек. А полный экземпляр продавался тогда рублей [за] 80. Следовательно, каждый том стоил несколько рублей, да сверх того, разрозненный экземпляр потерял всю цену. В таком случае следует ценить не самую вещь, а весь убыток, происшедший от кражи, то есть один том равнялся потере целого экземпляра. Но эти невежи и не слыхивали, я думаю, ни слова *экземпляр*, ни о цене всей книги! — В картине они оценят холст и краски, и потому цена всех картин для них одна, или ценят ее по величине: большая дороже, а маленькая дешевле! — Одним словом, какой бы знающий и честный судья ни решал дело, но если основания к решению положены грубостью, невежеством и бессовестностию, как сделать из таких данных правильные выводы? — Вот что мешает нашему уголовному судопроизводству!

Этой мыслию я приблизился вообще к следствию! — Все зло нашего уголовного процесса лежит в следствии: не от того, чтобы правила следствия были дурны или недостаточны; но от исполнения, от невежества понятий и от грубости чувства, от черноты людей, составляющих полицию, и тех агентов и помощников, которых она употребляет для своих целей! — Это — подонки общества, отребие человечества! — Сколько, например, ни было издано

законов против пыток, они существуют[30]! Сколько ни заботился князь Голицын, он не мог вывести русских привычек из русского процесса! — С одной стороны, таковы следователи, что не умеют без них обходиться, с другой — таков и русский простолюдин, что нейдет ни на убеждение, ни на совесть, а понимает и уважает только силу! — Битье по зубам, сечение, содержание в угарной комнате, кормление одними солеными сельдями, без утоления жажды — это было дело обыкновенное! — Без этого у нас не обходится ни одно полицейское следствие; без этого не делается никакого открытия по уголовному следствию! — Этим славился, я помню, знаменитый сыщик Яковлев[31], которого я видал лично вскоре после французов, но который продолжал свое ремесло и гораздо позднее этого времени. Мне рассказывала одна женщина, нанимавшая у него мезонин, что в его доме был целый арсенал орудий пытки, и всякой день происходили в нижних комнатах крики и вопли его жертв, так что она принуждена была съехать с квартиры из его дома.

У меня в суде было дело о покраже из Угрешинского монастыря. Виноватые, в том числе один мещанин, Масленников, сознались. Но как сознались? Этого по делу было не видно, а я узнал частным образом. Яковлев, истомивший их голодом и другими средствами, возил их в продолжение нескольких дней беспрестанно, под предлогом следствия, из Москвы в Угрешу и обратно, не давая им ни отдыха, ни сна. Это было в самые летние жары; он ехал на передней телеге вместе с одним из подозреваемых. Видя, что он от жара, от голода и от истощения, сидя в тряской телеге, стал клониться ко сну, Яковлев вдруг схватил его за горло и заревел: «Признавайся! Задние уже признались!» — Видя, что тот не признается, он закричал: «Вешать! Мне дано право вас повесить!» — и тут же, по его знаку, полицейские солдаты стащили его, подвели к дереву и накинули петлю. Он в испуге упал на колени. Яковлев от него бросился к другим и вскрикнул: «Признавайтесь! Видите, что тот уж на коленях и прощения просит». — Те и признались, а когда признались, и переднему нечего было делать! Признался и он. Вот какие употреблялись средства! Это варварство почиталось искусством, и Яковлев между своими славился мастерством следователя. Не знаю, как поступают они теперь, при нынешней модной гуманности. Я думаю, что так же.

Но кроме собственного сознания, которого добиваются у нас насильно, каковы и другие средства? Что такое и повальный обыск, и показания свидетелей? — Все фальшь, все подлог, и все пустая форма!

Повальный обыск делается у нас, по большей части, так, что собирается одно общее показание о поведении подсудимого, слова всех записываются в одну речь, и пишет их обыкновенно за всех один писарь, прописывая только в заголовке имена десяти—двадцати человек, набранных наудачу, и сам же составляет за них показание. Между тем эти люди приводятся пред-

варительно к присяге. Рукоприкладствует же за них, по их безграмотству, первый пойманный на улице грамотник! — Не значит ли это шутить присягой и унижать учреждение, при котором закон имел в виду нравственность народа и опирался на его совесть? — Часто обыскные люди[32] берутся даже не из того сословия, не из того класса общества, к которому принадлежит подсудимый, так что они не могут ничего и знать о нем.

Да и к чему служит повальный обыск? — Если бы у нас определялась виновность лица по убеждению совести, как определяют ее в Англии присяжные (le juri*), тогда этот обыск мог бы служить указателем для совести судей. Но у нас совесть судьи подчинена доказательствам рассудка и подчинена им обязательно, а повальный обыск не прибавляет ничего к доказательствам. При других неполных доказательствах опорочение поведения служит только к тому, чтобы подсудимого оставить в подозрении[33]. — А что такое подозрение? — Разве может подозрительный человек оставаться в том же обществе? — У нас может. — Хорошо ли это со стороны нравственной? — Везде человека подозрительного чуждалось бы общество. А у нас — при шаткости понятий нашего народа о нравственности и по недоверчивости его к правде судей — подозрение не бросает никакой тени: оно не значит ровно ничего! — Что же значит приговор: «Оставить в подозрении»? А сколько дел оканчивалось у нас одним этим заключением!

Не лучше и показания свидетелей! Во-первых, присяга у нас нипочем, во-вторых, свидетели всегда жалеют преступника и всегда боятся, чтоб их самих не привлекли к делу и не затаскали по следствию. И потому они почти всегда лгут или выдумывают: от этого происходит нередко в их показаниях несообразность и запутанность. Но и сам закон много ослабляет показания свидетелей. Во-первых, к устранению свидетелей много причин самых ничтожных. Во-вторых, если свидетель не был два года на исповеди и у св. причастия, его спрашивают без присяги[34], а без присяги закон не верит[35]. Наконец, если по ошибке следователя он спрошен без клятвы, то закон дозволяет дать ему присягу только в подтверждение прежнего показания, но и то только в тот же день, а на другой день уже запрещает допускать к присяге[36]. Зная этот закон, иной следователь нарочно спрашивает без присяги, чтобы показание свидетеля не пошло в дело, а за это, как за ошибку, он не подвергается ответственности.

Таковы у нас следствия! И вот отчего я страдал в моей судейской совести: от полиции и следствий! — Только и были полны и правильны те, которые производились чиновниками особых поручений, по выбору и особой доверенности князя [Голицына].

---

*Правильнее: le jury — суд присяжных (*фр.*).

Какое же вывести заключение из всего, сказанного мною? — Что законы о производстве следствий дурны или недостаточны? — Нет! Они хороши; что же касается до полноты, то разве, напротив, не грешат ли они излишеством, мало предоставляя совести и требуя слишком много фактических или формальных доказательств! — Если бы, например, присяга не требовалась так настоятельно от свидетелей, не разбирая важности и неважности предмета, она была бы реже и была бы больше в уважении. Если бы предоставить следователю или судье давать присягу по своему усмотрению и только в крайнем случае, тогда самое требование присяги указывало бы на важность случая. А у нас она так истаскалась и сделалась обыкновенною, что присягнуть не значит ничего, как стакан воды выпить! — Но если присяга необходимо требуется законом от свидетелей, и без присяги их словам закон не верит, то уже она и должна требоваться без упущения. Если следователь не дал присяги, то должно бы дозволить судье дать ее в суде. Таким образом, у следователей была бы отнята возможность прикрыть мнимой ошибкой вину подсудимого. Повальные обыски тоже должно делать только в нужных случаях, а не всегда, как одно соблюдение формы. Допрос преступнику хотя необходим, но если он не сознается, нечего добиваться его признания, а надобно изыскивать доказательства. Если бы не требовалось так настоятельно собственное признание, не было бы и такого повода к пристрастным допросам или к пытке.

Везде законы основаны на доверенности к совести народа и совести судей. У нас — на недоверчивости и к нравственности, и к совести, как к народной, так и к судейской. — Видно, правды всегда было мало в России: опасением этого отзываются и законы. Оттого и правда, и совесть окованы формами, поставлены в станок, чтобы машинально выделывать правосудие. Наше уголовное правосудие есть машина, очень хорошая, но все-таки машина.

Как мало значит у нас присяга, доказало мне одно дело, очень важное по своему содержанию и кончившееся присягой, как шуткой, да и какой еще присягой! — Очистительной присягой! — Самый рассказ мой объяснит это слово для тех, кто не знает его значения, но прежде о самом деле.

В Москве жил отставной маиор Николай Александрович Норов[37], человек за пятьдесят лет от роду, имевший хорошее состояние, но запутавшийся в долгах и казенных, и частных, так что его имения едва ли достаточно было на уплату. Сговорившись с одним искусником, Герцем, он сумел познакомиться с стариком князем Гагариным[38], богачом и скрягой, который боялся родных, как наследников, всех подозревал, ни к кому не имел доверенности и жил в своем большом доме в совершенном отчуждении от всех, кроме этого Герца, который был его фактотум[39]. К этому-то подозрительному скряге сумел Норов войти в доверенность.

Однажды, приехав к нему, он сказал, что был в Опекунском совете, где страшная давка народу, потому что все берут свои капиталы. — «Отчего же

это?» — спросил старик. — «Да все от этого нового указа! — отвечал Норов. — Велено платить вкладчикам только по два процента. Потому все и берут свои деньги назад, а у Воспитательного дома скоро и сумм недостанет! Как бы не быть всем банкрутами!» — Старик испугался, потому что у него там лежала большая сумма денег. — А этого указа и не было: все это было выдумка Норова. Князь Гагарин спросил, однако, Герца, и тот подтвердил то же.

Сам он не выезжал из дому; знакомых было мало, почти никого, а к Норову он имел уже большую доверенность. Ему поручил он взять оттуда, помнится, 270 тысяч и выдал, с надлежащею подписью, билеты. Опекунский совет был, однако, так осторожен, что послал своего чиновника спросить князя Гагарина, точно ли он дал это поручение Норову. Он подтвердил, и деньги были выданы. Но денег Норов не привозил ему.

Случилось в продолжение этих дней видеться с князем Гагариным вице-губернатору Ивану Семеновичу Храповицкому[40] Гагарин говорил ему, что тревожится получением денег. Храповицкий, встретившись с Норовым на третий день Нового года в Благородном собрании, говорил ему об беспокойстве князя Гагарина, но тот отвечал, что он его успокоит.

Время проходило, а Гагарину некому было и поручить справиться у Норова, потому что к нему только и был вхож один Герц, который сам был участник в этой проделке, хотя и не явным, и тоже его успокоивал.

Наконец, слух об этом дошел до князя Дмитрия Владимировича, который послал князю Гагарину своего чиновника расспросить его и, увидя обман, велел произвести следствие. Следствие производил с кем-то вместе Карниолин-Пинский, о котором я упоминал прежде: он был дурной человек, но следователь строгой и честный. Открылось вот что.

Норов утверждал, что привез деньги князю Гагарину на *другой* день Нового года, кроме сорока тысяч, которые он позволил ему взять взаймы. Об этих сорока тысячах князь и не спорил, но прочих не получал.

Этому противоречило свидетельство Храповицкого, который на *третий* день Нового года напомнил Норову о деньгах, и тот не говорил ему, что возвратил, а только обещал успокоить.

Свидетелями были только жившие у князя Гагарина мальчик и мещанин Медведев. Оба видели Норова, приезжавшего действительно 2 января. Медведев стоял у дверей гостиной во все время его посещения, и оба свидетельствовали, что не только денег, но и никаких бумаг Норов при них не отдавал.

Между тем между получением из Опекунского совета денег и началом следствия Норов переслал через почту гораздо более ста тысяч на уплату своих долгов, капитала и процентов. На вопрос, где он взял столько денег для пересылки, он указал, во-первых, на сорок тысяч, полученных взаймы от князя Гагарина; потом сказал, что получил, помнится, пятьдесят тысяч от

тетки своей, если не ошибаюсь, Ляпуновой, которая перед смертью своей передала свой ларчик с деньгами своему дворецкому для передачи ему, Норову.

Дворецкой, Сидор Карпов, подтвердил это, сказавши, что до приезда в Москву Норова он сперва хранил этот ларчик у себя под кроватью, а потом поставил его в кладовую. А Норов приехал через несколько месяцев!

Если бы это было и справедливо, то две эти суммы составили бы все не более девяноста тысяч, которые далеко не равнялись суммам, пересланным им через почту. Между тем женщина Елизавета, бывшая при больной тетке Норова безотлучно, не подтвердила слов Сидора, а показала, напротив, что она сама передала этот красный ларчик племяннице старушки, ее наследнице, что и та подтвердила; что старушка никогда не поручала Сидору больших сумм, кроме ежедневной выдачи денег на стол; наконец, что по смерти старушки она тотчас же передала ключи от кладовой ее племяннице, куда, следовательно, нельзя было поставить ларчика, нельзя было и взять его обратно оттуда без племянницы.

При вопросе в надворном суде: «Каким образом люди, бывшие у князя Гагарина, не заметили, что он привез и отдал эти деньги?», Норов объяснил, что они были в четырех пакетах, каждый по 50 тысяч; что три пакета были у него в трех карманах сертука, а четвертый в фуражке. Мы просили Опекунской совет прислать нам четыре пакета, толщиною каждый в пятьдесят тысяч; потом истребовали сертук Норова; потом в присутствии суда надевали на него этот сертук и клали в карманы пакеты. Но хотя у сертука оказались уже не карманы, а мешки, однако, когда положили в них пакеты, оказались такие горбы, которых нельзя бы не приметить при самом входе в комнату. Свидетели этих горбов не видали.

Одним словом, обман Норова было дело ясное и очевидное. Мы осудили его, по закону, как за фальшивый поступок и кражу, или присвоение чужой собственности. Палата тоже. Но Сенат нашел это дело неясным и определил дать Норову очистительную присягу.

Правда, убеждение совести было полное, но не совсем юридическое. Храповицкий, будучи потребован следователями, написал к ним письмо в объяснение дела, не дожидаясь допроса. Его приняли как показание, данное без присяги: конечно, следовало дать ему в тот же день присягу, но не догадались. Показание мальчика не принято, как малолетного; остается один истинный свидетель Медведев, но одному свидетелю закон не верит. Мы, в нашем решении, тоже были правы, потому что судили по совокупности доказательств, но Сенат, видно, рассматривал их отдельно.

Очистительная присяга (случай чрезвычайно редкой) была произведена согласно чину, постановленному церковью[41]. В продолжение трех дней каж-

дое утро водили Норова из уголовной палаты в Казанский собор (на углу Никольской)[42] при колокольном звоне, в сопровождении жандармов верхом и одного члена палаты, шедшего с ним рядом. Кругом было множество народа. В соборе ожидал протоиерей в облачении. Все три дня он делал ему увещания. На третий я и Павлов были оба в соборе и стояли за налоем, на котором лежали крест и Евангелие, против самого Норова, как его совесть!

После долговременного увещания, видя, что Норов не отступает от намерения дать присягу, протоиерей ввел его в алтарь и увещевал тайно. Потом, выведя оттуда, говорил ему: «Я удивляюсь вашему упорству, Николай Александрович! Вы должны знать, что правительство, конечно, сообщило мне все обстоятельства вашего дела. Соображая их, я прошу вас испытать себя, не принадлежите ли вы к тем людям, которых называет Апостол Павел *сожженными в совести своей*[43]. Я боюсь допустить вас до присяги. Но Христос сказал: «Не клянитесь ни небом, которое есть престол Божий, ни землею, которая есть подножие ног Его, а да будет слово ваше: ей-ей, нини»[44]. Попробуйте, можете ли вы сказать: «ей-ей!» Норов сказал: «Ей-ей!» — Нечего делать! Истощивши все средства бесполезно, протоиерей сказал диакону: «Начинай!» — И после обычного начала диакон читал особую эктинью, которой просил Бога просветить приступающего к клятве. — Народ плакал. — Наконец Норов начал читать присягу, длинную и ужасную, где, между прочим, говорил, что если он клянется ложно, да будет часть его с Ананием и Сапфирою, обманувших на сребре Апостолов и павших мертвыми[45], да будет часть его с Иудою, предавшим за сребреники Христа Спасителя, да не будет успеха и детям его!» — Один купец плакал навзрыд при присяге; мы трепетали! — А он ничего: прочитал бодро и поцеловал крест и Св. Евангелие, именно как стакан воды выпил. — А он был действительно виновен и присягнул ложно; но он вышел прав, а князь Гагарин не получил своих денег.

Накануне этой присяги сыновья Норова обедали у графини Брольо. Один из них сказал со смехом: «Завтра батюшка будет присягать, да еще с аккомпаньементом». — Так называл он колокольный звон. — Не знаю, который из них был после обер-прокурором Сената[46]. — А на другой же день после присяги я видел самого Норова на Тверском бульваре, в том же коришневом сертуке, в котором он был у присяги.

Тяжелы уголовные дела! Много насмотришься и на общую черноту людей, и на частное ожесточение сердца! — Рассказывая этот случай, я хотел только показать, как мало иными уважается присяга, да еще с такой торжественной и тяжкой обстановкой, а обыкновенная присяга свидетелей решительно нипочем!

Это происходит оттого, что в России никакой нет веры. Закону Божию у нас в старину совсем не учили, а нынче учат ему наизусть по книжке, но,

уча закону Божию, страху Божию не учат, а требуют только исполнения обрядов. Мудрено ли, что мы имеем самое смутное понятие о всеведении Божием и что, давая клятву, думаем в то же время: «Что-то невероятно, чтобы Бог ее услышал! До Бога высоко!»

Я всегда был строг к преступникам из нашей братии дворян, особенно в делах денежных, касающихся до честности. Если я уважаю преимущества благородного происхождения, то это именно потому, что соединяю с ним понятие о чести, и потому я требую от него безусловного благородства и в чувствах, и в поступках. По этой же причине человек хорошего рода, изменивший им, становится в моих глазах неизмеримо виновнее простолюдина! — На нашей стороне все — и честный род, и примеры, и воспитание; у простолюдина ничего этого нет: от него нельзя и требовать столь строгой честности, не говорю уже чести!

Тяжелы уголовные дела! Я помню, чего мне стоило подписать в первый раз определение о наказании кнутом[47]: я медлил три дня, рука не поднималась! А избавить от наказания было невозможно! — Я нарочно расспрашивал при начале моего судейства людей знающих об этом орудии казни, о приемах и способах этого наказания, расспрашивал для того, чтобы иметь ясное сознание о том, к чему ты приговариваешь несчастных преступников: подробное объяснение всего этого привело меня в ужас! Тем труднее была во мне вечная борьба милосердия с долгом. Тяжелы уголовные дела!

Но не однажды случалось мне видеть, как легко смотрят сами преступники на это жестокое наказание! — Правда, что богатые из них подкупают иногда палачей, которые, как мне сказывали, дают только два первые удара, разрезывая ими тело до крови, а потом размазывают кровь по спине. Но это не всегда может случиться, потому что не у всех есть деньги, да и мастера эти, называемые на судебном языке заплечными, при всем мастерстве своем могут и ошибиться. А тут ошибка на какую-нибудь линию может стоить жизни! — Однако легко смотрят иногда преступники на казнь, их ожидающую.

У нас судился один делатель фальшивой монеты. Он был уже наказан за это кнутом, бежал с каторги и опять принялся за то же. Я спросил его, как он решился приняться опять за то же ремесло после такого наказания? Он отвечал мне со вздохом: «Видно, нас мало бьют!» — Мало — наказание кнутом, который вырывает куски мяса[48]!

Есть и у них, однако, своего рода совесть. Однажды губернский прокурор, осматривавший острог, дал мне знать, что этот преступник желает открыть мне тайну. Я велел его истребовать. Он объявил мне, что жена его призналась ему, что она в Сибири убила человека. Надобно здесь сказать, что этот каторжный женился в Сибири на ссыльной, с ней вместе они бежали и стали делать фальшивую монету. Он сказал мне при этом, что уже

три дня, как его тяготит это открытие, что его замучила совесть, и потому он решился объявить. Мы истребовали жену, она не признавалась. Потребовали справку из Сибири; оказалось, что действительно она убийца и была уже там приговорена к кнуту, когда бежала.

Когда привезли их обоих, мужа и жену, обратно в острог, после наказания кнутом, в это время был в остроге по должности своей уголовного стряпчего Карниолин-Пинский. Он сказывал мне, что наказанные смеялись, и на вопрос одного арестанта муж отвечал ему: «Меня летом в лесу комары больнее этого кусали!» — Вот каковы эти люди! — Правда, что он был высокого роста, широк в плечах и сильного сложения, впрочем, уже не молод: лет за сорок с лишком.

Убийства были тогда довольно редки, и, странное дело, убийцы, сколько я мог заметить, никогда не бывают свирепого вида. Может быть, потому, что и это преступление происходит у нас не от сильных страстей, а по большей части из корысти или временного порыва! — Злоба в нашем народе сильна, но непродолжительна. Но корысть и разврат — вот что пускает глубокие корни и почти неистребимо. Убийца может еще раскаяться, но вор остается по большей части всю жизнь свою вором!

Делатели фальшивой монеты или ассигнаций были в то время, напротив, очень многочисленны и подделывали мастерски. Народ понимает очень хорошо преступление против лица, например, убийство, воровство; но преступление против государства, против казны он ставит решительно ни во что: идеи государства он не понимает, а казну он почитает неистощимою и, разумеется, никак не может понять, какой вред может произойти государству от фальшивой монеты и ассигнации. То есть он понимает преступление только тогда, когда оно грех. Если же он и поймет, что это тоже грех, как обман, но, во-первых, он не считает обмана большим грехом, а во-вторых, полагает, что от этого обмана никакого вреда не происходит. Вот одна из причин, извиняющих в их глазах делание фальшивой монеты, но главная причина есть, разумеется, корысть и желание скоро обогатиться!

Есть удивительные искусники! Однажды прислали нам в суд пачку двестирублевых ассигнаций, нарисованных просто рукою, свинцовым карандашом. Кто вспомнит тогдашние серенькие решетки этих ассигнаций, тот, конечно, удивится такому искусству, потому что подделки почти нельзя было разобрать! — Каким бы художником в рисованьи мог быть этот человек, если бы употребил себя на это благородное занятие!

Много путает наше уголовное судопроизводство то, что дела не остаются в строгих пределах преследуемого преступления, а расплываются, так сказать, безгранично. Везде постановлено правилом, что обвинительный акт указывает на предмет и на границы процесса, и что чего не содержится в

обвинительном акте или что не относится прямо к предмету обвинения, то не подлежит и рассмотрению суда. У нас, напротив, суд разбирает не одно преступление, но и нравственное поведение лиц, и не только подсудимых, но и прикосновенных, иногда и свидетелей. Например, в деле о краже, об убийстве вдруг открывается любовная связь лиц посторонних: суд должен определить и им наказание — в смирительный дом[49]; открывается связь замужней женщины или женатого мужчины — их отсылают на покаяние[50]; не был кто-нибудь несколько лет на исповеди и у св. причастия — о том сообщается на определение духовного ведомства. Одним словом: наше уголовное законодательство, кажется, имеет целию не одно наказание преступления, а вообще соблюдение безукоризненной жизни в народе! — И в каком народе! — Оно должно бы, кажется, знать, что в этом народе нет твердых начал ни нравственности, ни религии, в народе, который само же правительство приучает все более и более к пьянству, следовательно, и к разврату. От этих уклонений суда в разные стороны уголовные дела наши чрезвычайно сложны, наполнены мелочами и запутаны множеством посторонних околичностей, вовсе не принадлежащих к делу.

Есть у нас еще особый род подсудимых, каких, я думаю, нет ни у одного европейского народа: это — не помнящие родства. Человек лет тридцати—сорока говорит, что не помнит, где он родился и откуда на этой земле появился, что шатался во всю жизнь, как начал себя помнить. И закон поневоле должен верить этой сказке, потому что нет никакой возможности дойти до правды в этих сплетениях лжи, которые составляют выдуманную историю жизни человека, называющего себя не помнящим родства! — Часто случается узнавать в этих людях преступников, скрывающихся под этим вымыслом, но всего чаще так они и остаются. Прежде их ссылали в Сибирь, потом годных отдавали в солдаты. Последнее постановлено, кажется, с тою целию, чтобы уменьшить их охоту называться не помнящими родства, потому что в солдаты идти им не хочется, а в Сибирь они отправляются очень охотно. Но этот класс людей и этим средством не переводится. Впрочем, в государствах небольших и тесно населенных таких людей быть не может, а Россия так широка, что от Астрахани до степей Бессарабии и от Одессы до северных губерний есть, где разгуляться бродяге! Кто его узнает![51] А долговременное содержание под стражею во время справок по всем концам России мало тревожит русского человека: кормят хорошо, работы нет, а это два главные условия его блаженства!

Но содержание под стражею — это школа разврата и ожесточения. Сколько видал я мелких или неопытных преступников низшего разряда, которые при первых допросах показывали раскаяние и которые, посидевши в остроге или во временной тюрьме, делались упорными и закоренелыми. Их научa-

ют, их воспитывают опытные воры и преступники, особливо молодых людей, которые могли бы еще возвратиться на путь добра! — Их научают отказываться от первых показаний, выдумывать разные небылицы, чтобы запутать дело, и наконец научают клеветать и получать за это себе прибыль. Их учат оговаривать в соучастии людей невинных и потом, взявши с них деньги, сговорить, то есть признаться, что оговорил напрасно! — Наше прежнее законодательство хотя не отличалось нынешнего гуманностию, но, видно, хорошо знало русского человека: оговорам арестанта, просидевшего в тюрьме более полугода, не велено было верить. — Не знаю, есть ли этот закон в Своде: не помню[52].

Во все царствование Николая Павловича, особенно в начале, было обращено большое внимание на арестантов. Требовалось двух вещей: скорого решения дел и уменьшения содержащихся под стражею[53]. Только тот и был хороший судья, у кого мало дел и мало арестантов, а как решаются дела, до этого царю и его сотрудникам не было нужды! — Но у самого правосудного судьи эта скорость и это уменьшение зависят совершенно не от него, а от обстоятельств дела. Иные дела просты, иные запутаннее и многосложнее других; иные маловажны, другие важнее. Николай Павлович не смотрел на это: для него все дела были равны. Придет в голову забота об арестантах, то есть не об участи их, а о числе и времени содержания: он не смотрит на важность дела, ни на то, что оно не дошло еще до полноты юридического разрешения всех его вопросов; чтобы было решено, да и только! — От того иногда и решали их наскоро, кое-как. Но не у меня: я всякое дело старался доводить до крайней его ясности. — Однако страх был велик! И много его обманывали! Так, я помню, прибегает однажды ко мне в суд губернский прокурор Любимов. До него дошло, что Государь на другой день собирается быть в остроге. Тогда распределение арестантов зависело еще не от полиции, а от самих судов. Он прибежал просить меня, чтобы из острога перевести их побольше в яму, то есть во временную тюрьму[54]. Я немедленно велел послать об этом записку, и их в тот же день перевели. В остроге по списку осталось за нами немного. На другой день опять прибегает! — Говорят, что Государь будет во временной тюрьме. Просит перевести побольше из нее в острог. Опять перевели и перечислили. Государь, однако, не был; однако вот как его обманывали! — Что же делать! — Ведь он не разберет, почему накопилось много арестантов и по чьей вине. Пострадают судьи безвинно, а делам и арестантам все-таки не будет пользы. — Пустая и неразумная строгость власти всегда ведет к обману: обман есть сила слабых; при деспотизме всегда много обмана. — Наконец, когда я был уже в Сенате, Государь стал вступаться и в гражданские дела о взысканиях; об этом скажу в своем месте. — Но вообще при его деятельности у него были такие неясные и странные понятия о про-

странстве и пределах правительственной власти, что он путался во все: ему хотелось быть и судьей, и полицеймейстером своей империи: от этого ему недоставало ни времени, ни возможности, ни уменья быть истинною главою государства. Эта глава хотела быть и руками двигающими, и ногами бегающими, и всем, кроме мыслящей силы, правящей хладнокровно в пределах закона.

Так шло правосудие в наше время, и так шел наш надворный суд. Я занимался делами прилежно и с усердием, даже, в начале моего уголовного поприща, с некоторым энтузиазмом: решать участь людей было для меня важною обязанностию, каким-то избранием свыше; мне казалось, да и действительно это так, что должность уголовного судьи — это как будто право быть участником в определениях судьбы. Но множество дел и особенно смесь дел важных с кучей мелочных утомляют наконец самое терпеливое внимание и не дают приложить к каждому делу все участие души! Товарищ мой, Павлов, испытал то же настроение и тот же переход: иногда утомление превозмогало! — Мы же были молоды! — Мы никак не могли, подобно многим, видеть в наших должностях ремесло, более или менее выгодное для собственной нашей карьеры! — Нам хотелось правды и милосердия для других, свежей атмосферы души для себя. Первое часто терялось в лабиринте судопроизводства; второй совсем не было! — Сколько раз случалось, бывало, что он говорил мне: «Отдохнемте и поговоримте о литературе». — Но я был старее его и должностью, и летами; я не забывал этого, не забывал также и того, что, слыша наши разговоры, пожалуй, два секретаря наши распустят молву, что мы занимаемся пустяками: ибо во время присутствия у нас можно говорить об Английском клубе или о псовой охоте, но не о литературе! — Я, бывало, отвечал Павлову с улыбкою: «А вот когда мы кончим нужнейшую работу, мы с вами отойдем к печке и поговорим о литературе!» — Он смеялся и принимался опять за дело. — Да! Я сначала занимался делами с энтузиазмом, но он прошел через некоторое время: осталось одно исполнение долга. И я должен признаться, что, вникнув в поступки человеческие и в побуждения их действий, я не вынес из моих наблюдений уважения к человечеству вообще и добрых мнений о русском человеке в особенности. — В сильных страстях человека, как бы они ни были преступны, больше видно могущество души, чем в общей безнравственности, происходящей более от бессилия души, чем от ее энергии!

Наскучила мне наконец моя должность. Несколько раз напоминал я князю, что я пошел под его начальство в уверенности получить место советника, на которое я имею право и по чину. Он всегда отклонял мои напоминания. Однажды он сказал мне шутя: «Вы помните, что говаривал Цезарь, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»[55]. — Я ему отвечал

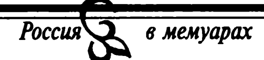
тоже с шуткой: «Это вы оттого так думаете, князь, что никогда не были первым в своей деревне: вы бы узнали, каково это!» — «Кто же там был первым?» — спросил князь. — «Я думаю, ваши управители, — отвечал я, — а вы только отдыхали от звания первого человека в Москве!» Князь расхохотался и отвечал: «Savez-vous, mon cher, que vous avez raison!»*

В продолжении этого времени открылись две ваканции председателей: в уголовной палате с перемещением Абазы и в гражданской с перемещением Дегая. Князь представил на первую Голохвастова, который был тогда советником губернского правления, а на вторую — в гражданскую палату — меня. Нам обоим отказали, найдя причину к отказу в том, что мы не более как надворные советники. — И в то же время на место председателя рязанской гражданской палаты, которое занимал мой шурин Владимир Федорович Вельяминов-Зернов, определили отставного подполковника[56], переименовав его в тот же чин надворного советника, который послужил нам препятствием к получению такого же места! — Такова справедливость нашего правительства, которому даже и не стыдно собственных противоречий, обличающих его несправедливость.

Наконец, пробывши ровно два года судьею, 17 февраля 1828 года я получил место советника в 1-м департаменте Московской уголовной палаты[57].

---

*Знаете, дорогой, вы правы! (*фр.*).



ГЛАВА 15
Уголовная палата • Отпуск и отъезд в Симбирск и в деревню • Раздел• Некоторые уголовные дела • Председатели

Вступивши в должность советника уголовной палаты, я думал, что несколько отдохну от мелочных трудов, которых, чем ниже инстанция, тем больше; я думал, что отдохну от ответственности за надзором над порядком судопроизводства, разделяя его с президентом места, которому принадлежит и главное наблюдение, и главная ответственность. Но вышло напротив. Я нашел председателем глупого старика, Федора Васильевича Кондырева[1], не только не знающего порядка судопроизводства и законов, но даже почти не имеющего здравого смысла. Между тем он все-таки не забывал, что он председатель, и хотел распоряжаться. Товарищами моими были два заседателя от дворянства: один — Василий Иванович Щепочкин[2], старый плутоватый подьячий, бывший секретарем Сената, ленивый, ничего не делающий, да и мало знающий дела; другой — Федор Васильевич Окуньков[3], глупейший франт среднего круга, полуграмотный невежа до степени невероятной в наше время и вдобавок — масон, на содержании у препротивной и толстой старухи, Марьи Федоровны Яновой[4]. — Этот и рад бы заниматься делами; но, по его недалекому уму и плохой грамотности, дела ему не давались. — Два заседателя от купечества были: один — Федор Ананьевич Карташов[5], человек с природным умом и даже при мне в последствии времени понявший несколько дела; другой добрый и глупый богач, бывший после купеческим головою, Александр Васильевич Алексеев[6]: этот сам не понимал дела, но верил во всем Карташову; а Карташов, разобравши своим природным умом, что один я мог сколько-нибудь вести дела и любил правду, верил мне. Окуньков, зная мою дружескую связь с некоторыми масонами и предупрежденный в мою пользу, тоже больше держался меня. — Таким образом, на моей стороне было три голоса против двух. Главное же согласие этих лиц со мною, особенно купцов, основывалось на их страхе, чтобы с глупым председателем не попасться в какую-нибудь беду. Однако, тем не менее, вот каков был состав палаты: председатель дурак; один заседатель — полузнающий плут; два заседателя невежи и глупы; один Карташов с умом, но без всякой опытности. — И это

в столице! — Чего же ожидать в губерниях? — И таким-то людям вверяется судьба людей! — Я думаю, право, только у нас в России можно найти членами трибунала такое собрание животных; а все оттого, что выбор лиц от короны делается заочно, по послужному списку, а дворянам и купцам в их собраниях не из кого и выбирать, да и что за охота идти в заседатели!

Сколько мыслей рождается при этом об нас, русских, об нашем положении и нашем характере! — У нас нет гражданской славы: никто не знает и не заботится узнать, хорош ли судья или дурен! — Нет почета от граждан за честность, знание и правосудие! — У нас одно отличие: чины и кресты: а даются они за выслугу лет и наудачу. Их никто не принимает за истинный признак достоинства. Из чего же быть хорошим судьею, если нет за это гражданского почета? — Одно остается: награда совести. Но все ли так святы, чтобы довольно было этой одной награды? И все это происходит от непостижимого равнодушия нашего к общественной пользе! Как скоро дело не касается до нас самих, до нас лично, нам все равно, как его ни решают! — От этого равнодушия мы и на выборах дворянских не смотрим на качества, а иногда на лицо, и кладем шары как исполнение обряда, если не замешано личное пристрастие! — Но кто захочет, напротив, поступить по справедливости и возвысить голос за достоинство или против недостойного, все бросятся на него: «Что за выскочка!» — Впрочем, у нас в многочисленных собраниях нельзя и говорить: все кричат и никто не слушает! — И после этого хотят у нас европейского порядка и законности! — У нас нет чувства законности! — И не такой мы народ, чтоб у нас могли быть порядок и правда! — А зависть? Попробуй кто отличиться от этой толпы, правдой ли, умом ли, высокостию ли чувств: из одной зависти все возненавидят и пойдут против тебя! — Есть французская пословица, что в царстве слепых кривые бывают царями[7], а у нас слепые из зависти заели бы кривых.

Власть, я сказал уже, выбирает заочно, по послужному списку. Сначала князь Дмитрий Владимирович сажал на судейские места людей лично и хорошо ему известных. До него в высшем московском обществе не видывали даже председателей, не только советников и заседателей. Этот класс людей не принадлежал к хорошему кругу: у них была своя компания. При нем — увидели их в светских гостиных, увидели заседателя надворного суда, танцующего на бале[8]. — Я знаю, многие скажут, что не в этом должно состоять их достоинство. Знаю, но у нас в России это признак достоинства, потому что ручается за их благородное воспитание, которое в свою очередь ручается и за благородство чувств и образа мыслей. Человек, добившийся бескорыстного значения в хорошем обществе, конечно, лучше другого, привыкшего к захолустью, где пьют пунш и играют в палки![9] — Самые манеры некоторым

образом ручаются за нравы! — При Николае Павловиче начали мешать князю и в выборе людей. И вот что из этого вышло: начали сажать в председатели людей, подобных Кондыреву! Вот что значит ослабление кредита князя Дмитрия Владимировича! — При Императоре Александре Павловиче не смели бы не уважить представления и вопреки ему назначать в председатели другого! — Князь, как я сказал выше, представлял на это место Д.П. Голохвастова, человека умного, знающего дело и честного. Вместо его посадили глупого старичишку, а он перешел в ведомство министерства просвещения, в котором он, при всем своем уме, был только вреден. Судебная же часть потеряла в нем отличного председателя. Вместо меня, которого представлял князь в председатели гражданской палаты, по крайней мере, посадили хоть человека опытного в судебной части, Андреева[10], бывшего обер-секретарем Сената.

При таком составе нашей палаты вместо отдыха мне надобно было, как говорится, смотреть в оба. С одной стороны, глупость; с другой — проделки канцелярии. Вскоре вся тягость легла на одном мне.

Это сделалось само собою. Трое из заседателей, державшихся меня по недоверчивости к самим себе и к председателю, относились ко мне со всем [доверием] и избегали советоваться с председателем. Наконец, напуганные некоторыми явными признаками его бессмыслия, просили меня, разумеется, негласно, принять на себя всю дирекцию дел[11]; секретари, увидя, что большинство доверенности на моей стороне, тоже начали обращаться за приказаниями ко мне — и мало-помалу председатель остался один, как на острову! — Наконец, нельзя было доверять ему и самые ничтожные резолюции. Чтоб успокоить, однако, самолюбие его президентства, я велел подавать ему бумаги, требующие форменных, всегда одинаких, резолюций, например: «отдать узаконенным порядком в архив» и проч. — Он, бывало, и сидит целое утро над ними, а дела делаются без него. Но и за этим надобно было смотреть. Однажды, намаравши такую резолюцию на подлинном предложении генерал-губернатора, он, по безграмотству своему, пропустил литеру *я*, вместо буквы *д* написал *т*, а вместо *о* поставил *а*. Секретарь принес показать эту подпись присутствию, и непристойный смысл этой ошибки произвел всеобщий хохот!

Заседатель Щепочкин сидел сложа руки и обыкновенно или зевал, или смеялся. Однажды, я помню, какой-то жид, чтоб избегнуть телесного наказания, объявил желание креститься в православную веру и был, по этому случаю, призван для подтверждения своего желания. С ним пришла и жидовка, жена его, которая не хотела принимать христианской веры, потому что она была неприкосновенна к преступлению своего мужа. Щепочкин сказал, на смех, председателю, что если муж принимает христианство, то

по закону следует обратить и жену. Председатель немедленно отправился в канцелярию обращать жидовку. Та не соглашалась; а жид, боясь, что и его не примут, перепугался до смерти, ожидая, что будет высечен. Это произвело пресмешную сцену. Председатель наступал на жидовку со словами: «Крестись, матушка! А не то мужа высекут и сошлют!» — Жид умолял жену креститься, а жена ревела и не поддавалась! — Насилу мог я увести председателя обратно в присутствие и растолковать ему, что Щепочкин сказал ему об этом законе на смех и что обращать жидовку не наше дело!

В палате нашел я, что тоже не было докладов, а подавались, как и в надворном суде, *ремарки*, то есть заранее написанные секретарями решения. Так [как] средства палаты были вообще значительнее, жалованье канцелярия получала больше, чем в нижней инстанции[12], следовательно, и люди должны были быть способнее, то я полагал, что можно устроить доклады изустные, как положено Учреждением о губерниях, и чрез несколько времени начал настаивать на это требование. Но председатель не только никак не поддавался, но, по глупости своей, принял это за превышение моей должности, полагая, что одному председателю принадлежит установление порядка по своему усмотрению. Он так уверен был в своем праве, что привел в присутствие губернского прокурора для удержания меня от своеволия. Прокурор хотя и знал, что докладов у нас не бывает, но сделал вид, как будто удивился этому, и сказал, что я требую совершенно законного и как советник имею полное право требовать порядка. Тогда и председатель, в свою очередь, удивился, а я потребовал записать все это в журнал. Тут испугался и прокурор; а председатель чрезвычайно струсил, когда ему растолковали о последствиях. Упросили меня не записывать и обещали, что доклады будут.

После этого, имея в виду, что секретари наши обременены делом, а притом желая узнать ближе способности столоначальников, я выразил присутствующим мысль, чтобы дела докладывали столоначальники. — Это было не совсем по Учреждению; но имело очевидную пользу, и со мной согласились. Из этого произошло, что оказались знающими и способными людьми такие столоначальники, о которых мы не имели и понятия и которых секретари держали в тени, работая их головою и их руками. Они выставились из толпы сами собою; а неспособные тоже оказались. Хорошие были мне очень благодарны; а слабые стали бояться известности своей неспособности присутствующим палаты.

Но все-таки совершенного порядка не было: и по старым привычкам, и по неспособности присутствующих, и по самому составу канцелярии. Журналы должны писаться с докладного; а определения с журнала. У нас же было напротив: журнал составлялся иногда после определения, а резолюции переписывались купцами в докладной с журнала, то есть: с белого начерно.

Главное внимание обращал я на справедливое и правильное решение дел; а канцелярский порядок поддерживал, сколько мог, при таких товарищах и при этих средствах и способностях канцелярии.

Странное дело, что у нас члены судов принимают иногда свое судебное место за нечто домашнее; как в своем доме всякой может распорядиться, как хочет, так они распоряжаются и в суде, по-домашнему. Только бы было сделано; а средства, состоящие в определенном порядке, им ни во что! — «Никто де не узнает! Все свои!» — А эти свои держатся пословицы: «Сору из избы не выноси!» — Это *кое-как* есть одна из необходимых принадлежностей безурядицы, составляющей замечательную черту нашего русского характера. — Покойный Константин Аксаков нашел на стене одного постоялого двора латинскую надпись: «Dei providentia et hominum confusione, Ruthenia dicitur»*. Это совершенно справедливо! Министры Панины, председатели Кондыревы; а дела идут! Как же не явное Божие заступление! — Что касается до внешности, то у нас нет никакой внешней представительности: если бы не мундиры, нельзя бы было отгадать, что делают, сидя у стола, эти люди! Все нараспашку, все развалясь, все по-приятельски: гадко!

Через год после вступления моего в палату неожиданное семейное происшествие заставило меня проситься в отпуск. Здесь надобно сказать нечто странное. В продолжение многих лет я имел способность знать вперед, что со мною будет, не ясно и определенно, то есть не самое происшествие, а только радостное оно будет или горестное, однако всегда верно, и знал, около которого времени. Это знал я иногда за несколько лет вперед. Однако это было не предчувствие, а просто предузнание, как будто кем мне сказано. Я верил и никогда не ошибался. Так было и в этом случае.

Это была, конечно, психологическая задача, которая разве не указывает ли на то, что мы окружены добрыми духами, открывающими нам будущее. Мы напрасно думаем, что наша наука объясняет нам все. Это все объясняется нам отдельно от мира духовного; а в этом-то и состоят все необъяснимые загадки и жизни, и внешней природы: потому что эти два мира, физической и духовный, не только соприкасаются друг с другом, но и взаимно проникают друг друга. Впрочем, надобно сказать, что в мое предубеждение входил у меня и некоторый род расчета, или исчисления. Наблюдая мою жизнь, я заметил, что некоторые годы, в определенном порядке, соответствуют одни другим. Но это исчисление затруднялось двойственным порядком годов; а именно: все седьмые и десятые были подобны и соответствовали один другому. Это было постоянно; но встреча седьмых с десятыми из-

*Божественный промысел и человеческая беспомощность — вот что называется Россией (*лат.*).

меняла ход происшествия или модифировала его характер. Иначе и яснее я истолковать этого не могу.

Итак, в этом случае было вот как. Вечером 31 декабря 1828 года, накануне Нового года, мы собрались всей семьей у Вельяминовых, ожидая полночи, чтобы поздравить отца и мать и друг друга с Новым годом. Старшая сестра жены моей сказала мне, почти шутя: «Ну, вы, который знаете вперед, скажите, что будет с нами?» — Я в ту же минуту почувствовал в себе совсем не шуточное расположение и отвечал спокойно и уверенно: «Что будет с вами, я не знаю, а со мною в половине февраля будет несчастие». — На возражение предстоящих: «Зачем накануне Нового года предсказывать несчастие?» — я отвечал: «Вы не тревожьтесь: это что-то относится не к вам, а более ко мне одному». — Они задумались, потому что почти верили моей чудной способности.

И что же! — В один день, в конце февраля, меня будят рано поутру, потому что на мое имя получена эстафета из Симбирска. Это было уведомление, что 14 февраля скончался в Симбирске скоропостижно дядя мой, Сергей Иванович. Он сел с своими сестрами за обед; вдруг почувствовал головную боль; шатаясь с стороны в сторону, едва мог дойти до своего флигеля и умер от удара. Это было подлинно семейное несчастие, потому что он один был звеном, соединяющим всех членов семейства. Иван Иванович жил всегда далеко от сестер своих; да он же, живя постоянно в Москве и в Петербурге, не только отвык от родных, но рознился с ними и в образе жизни, и в привычках и был как чужой, сохраняя только одно приличие в родственной связи. Сергей Иванович, напротив, оставивши рано гвардейскую службу, жил сперва с отцом и с матерью, помогая первому в хозяйстве; потом с сестрами, и был им и помощником в их хозяйстве, и советником в делах домашних, и покровителем в их хлопотах и нуждах, и оберегателем их болезненной старости, хотя сам был старше их. Он пользовался от всех нас, и от старших, и от младших, равною любовью и равным уважением. Иван Иванович пользовался только почетом: он жил для себя и никогда и никому из семьи не был ни нужен, ни полезен. А Сергей Иванович был человек полезный для всех, его окружающих; умеренный в желаниях, скупой для себя, готовый на помощь; мягкой души, но постоянного и твердого характера, он распространял вокруг себя атмосферу добра, любви и спокойствия. Такова была наша в нем потеря! — Предсказание мое сбылось точь-в-точь, в половине февраля, как было сказано. Надобно было ехать в Симбирск и в деревню для раздела после него наследства.

Князь Дмитрий Владимирович сперва согласился охотно отпустить меня и велел подать просьбу об отпуске. Но потом, на другой же день, позвал меня к себе и сказал, с своею добродушною улыбкою, но довольно реши-

тельно, что, обдумавши хорошо, он никак не может дать мне отпуска, пока не решатся в палате два известные мне дела: о храме и о запасной аптеке, которых он никому, кроме меня, поручить не может, потому что ни на кого, кроме меня, не надеется в правильном решении таких важных дел. Это было, конечно, очень лестно, как знак особой доверенности начальства, но ставило меня в крайнее затруднение. Я отвечал князю, что эти два дела не могут кончиться и в год, не только в три месяца; я говорил это наверное, потому что знал их положение и чего требовало дальнейшее их производство, многосложное, запутанное и содержащее расчеты в огромных суммах. Но князь стоял на своем и не соглашался.

Я поехал к моему дяде Ивану Ивановичу, попросил его, чтобы он убедил князя. Да не нужно было и много убеждать его: дяде стоило только сказать одно слово; в этом же был и собственный его интерес, потому что мое отсутствие могло помешать нашему разделу. Но вместо того он на меня же рассердился и говорил мне, что, стало быть, я не умел моей службой заслужить внимание начальника, когда не могу выпросить даже отпуска. Я ему толковал, что, напротив, это признак большой доверенности, потому что он одному мне верит в решении столь важных дел! — Ничто не помогало, и аргумент мой не дошел до его слуха. — Одним словом, он отказался просить князя, а требовал, чтобы я ехал в Симбирск непременно. Это была та же история со мною, как и при графе Нессельроде!

Большая невзгода иметь родственника высокого звания, если он не оказывает справедливости. Все думают, что подвигаешься вперед по службе благодаря его покровительству: что даже и обидно. А ежели этот покровитель живет для одного себя, то он только всему помехой. Если что получишь, всякой думает: «Дядюшка выпросил». — А если догадаются, что дядюшка не выпрашивает, всякой думает: «Что-нибудь да есть, когда и дядя не хлопочет». Самый лучший покровитель у нас на Руси — это какой-нибудь вельможа, которому угождаешь мелкими домашними услугами; но я и не охотник был до такого покровительства, да и не способен к нему. А мой знатный дядя был таков, что при всяком успехе моем по службе он расцветал радостно, потому что и на него некоторым образом отражались мои успехи: я делался известным уже племянником известного дяди; а при первой неудаче он первый, бывало, сделается ко мне холоден и пойдет против меня же. У него не было ни родственного чувства, ни теплого соучастия; в нем было сильно одно чувство — известности имени, успехов в свете. Я не скажу, чтоб он был вульгарно честолюбив, как все наши русские вельможи, он жаждал почета, и если желал внешних знаков честолюбия, то единственно как внешних прав к почету. Надобно сказать, что этим чувством он все-таки был выше большей части этой толпы наших вельмож, жертвующих всем для звезды

и ленты. Я думаю, если бы ему дать на выбор лишнюю ленту или почет его имени, он выбрал бы последнее. — Я говорю о нем правду и в хорошем, и в худом отношении. Но как бы то ни было, он решительно отказался поговорить о моем отпуске князю и вдобавок на меня же рассердился.

Я обратился к губернатору Николаю Андреевичу Небольсину, который вникнул в мои резоны, и домашние, и судейские, и поехал вместе со мною к князю. Он легко убедил его, что эти два дела скоро решиться не могут, что мой отпуск не повредит им — и князь согласился. — Об этих двух делах я расскажу после и расскажу подробно; а теперь буду говорить только о себе.

Я получил отпуск на три месяца с 15 марта по 13 июня; а потом, по 8 июля, мог воспользоваться ваканциями палаты: итого мне предстояло почти четыре месяца свободы, которой я так давно не пользовался. Можно бы немедлено пуститься в дорогу; но, во-первых, раннею весною у нас нет проезда, а потом случился и недостаток в деньгах, что тогда нередко бывало с нами. Деревня, триста душ, при дурном управлении давала тысяч от пяти до шести ассигнациями, да жалованья было восемьсот рублей: вот и все доходы; а за один наем дома нельзя было платить меньше двух тысяч: и потому мы очень нуждались. У Ивана Ивановича имение было не больше моего: те же триста душ; но земля была лучшего качества. Я могу теперь судить об этом верно, потому что часть ее досталась после него мне. Кроме того, его имение и крестьяне частию были за Волгою, где родится хорошо пшеница. Потом, так как он при разделе нашем после дела взял беспрекословно[13] на свою часть обоих прикащиков, Никифора Иванова и Степана Пименова, не оставив мне ни одного человека знающего и опытного, то его имение управлялось лучше и давало больше доходу. Сверх того он получал 10 тысяч пенсиона. Следовательно, при видимом равенстве нашего состояния, он был втрое богаче, да сверх того он был один, а у меня было семейство. На этот раз я принужден был занять на дорогу 400 рублей ассигнациями и решился, хоть очень неохотно, обратиться к нему: он не отказал, потому что уплата была верная: после Сергея Ивановича должны были достаться нам деньги. Таким образом, устроивши с большим трудом возможность отъезда и оставив десятимесячную дочь у Вельяминовых, мы отправились с Анной Федоровной вторично в Симбирск, а потом в деревню.

Теток нашли мы очень огорченными. Они были просто жалки: в Сергее Ивановиче лишились они не только истинного брата, но и покровителя, и в нравственном, и в материальном отношении, а приезд Ивана Ивановича не мог их ни утешить, ни успокоить: это было принуждение и церемонность, которые еще более напоминали дружеское участие и простоту родственной любви, которых они лишились. Кроме того, меня ожидало еще горестное известие. После первых слов с тетками я спросил о Варваре Степановне[14],

с которой мы были так дружны: они молчали. Я тотчас понял, что ее нет уже на свете, и залился слезами!

Наконец приехал и дядя Иван Иванович. Так как покойный Сергей Иванович жил в самом Симбирске, то там было и его движимое имущество: деньги, документы и проч. И потому начало раздела должно было быть положено там же, то есть: разбор бумаг и раздел денег. — Прошло несколько дней, и ни слова о разделе: мы с Елизаветой Николаевной молчали как младшие, предоставляя инициативу дяде; муж ее не вступался первый, потому что не его дело, а Иван Иванович, кажется, ждал от нас предложения приступить к разделу как от людей, более его считающихся домашними людьми в семействе. Мы дивились, что Иван Иванович так долго не начинает говорить о деле, а он вдруг рассердился на нас, что мы его задерживаем в Симбирске, и начал упрекать, что мы и в этом не хотим взять на себя никакого труда, а все взваливаем на него; что он довольно потрудился один в жизнь свою, что можно нам облегчить его, и, наконец, напомнил, что я у него занял 400 рублей и что пора уплатить их! — Одним словом: он пошел капризничать, что всегда с ним случалось, когда он должен был заняться каким-нибудь скушным делом, а для него всякое дело было тошно! — Он так был создан, что ему жить бы только в Елисейских полях, описанных Виргилием[15], где люди не жнут и не пашут, а только прогуливаются в лавровых рощах и питаются воздухом, да разговаривают величественно с древним генералитетом и большим светом, то есть с героями и мудрецами. Мы, разумеется, рады были тотчас же начать, потому что нам и самим казалось: давно пора что-нибудь делать. Первое, что потребовал Иван Иванович, это раздел денег. Принесли шкатулку, открыли и сочли как наличные деньги, так и состоящие в кредитных бумагах и заемных письмах, потом разочли, по скольку придется на каждую часть, и представили ему на утверждение. — Он посмотрел, более для приличия и важности, и, разумеется, утвердил, тем больше, что он плохо знал арифметику: бывало, когда я жил еще у него в доме, он меня же призывал для расчетов или служившего при нем Алексея Васильевича Боголюбова[16]. Но и тут, при полном согласии, опять капризы: не хочу брать золота, подайте всю часть ассигнациями; а на ассигнации считался тогда большой лаж: насилу могли растолковать ему, что по номинальной цене ассигнациями придется ему меньше, хотя в действительности то же. Он боялся, не обсчитают ли, а сам относительное их достоинство расчесть не мог. В нем было какое-то ребячество, которое удивительно как было смешно при его высоком росте и величественной министерской наружности. При разделе после его отца, а нашего деда, он еще более обнаруживал капризов и своевластия, назначая себе лучших и грамотных людей из дворовых, а другим оставляя похуже, и проч. Но все это происходило не от ко-

рысти, а от странного противоречия непрактичности с боязнью потери своих законных интересов. — Он был умен, но не знал никаких дел на практике ни в хозяйстве, ни в домашнем быту, ни в истинных выгодах и невыгодах владельца имения и не мог по этой причине ничего разобрать основательно. Но по уму своему он и сам это чувствовал и потому был крайне недоверчив и подозрителен в деловых отношениях, боясь, чтобы, по его незнанию дел, другие, понимающие их ясно, не обманули его, не умеющего наблюсти своих выгод. И потому, чтобы положить преграду покушениям, он ограждал себя важностию, а чтобы избегнуть ошибки в истинных своих выгодах, он хватался по крайней мере за те выгоды, которые очевидны, с такой мыслию, что оплетут-де меня во многом, так вознагражду себя хоть этим. В этом побуждении обнаруживалась черта совершенно русская: человек честный и некорыстолюбивый, а утянуть можно, и держится мысли, что умный человек на свою руку охулки не положит; человек благородный и со всею широтою понятий человека просвещенного и светского, а почитал деспотизм власти необходимою принадлежностию и правом высокой степени. Надобно-де показать, что я могу властвовать! Кажется, при этом ранге отставного министра, чего бы еще показывать свою высоту! Но он ее показывал, и вся семья покорялась безусловно! — Впрочем, с своими людьми, с своими слугами он не только не был деспотом, но был снисходителен даже до слабости; но, почитая себя после отца, не знаю почему, главою семейства, он считал принадлежностию главы показывать некоторую власть над другими членами семейства; а так как с семьею он жил розно и интересов общих не имел, кроме редких и исключительных случаев, то этими случаями он и пользовался. Мы ему не противоречили ни в чем, как ребенку, которого забавляют взрослые, по пословице: «Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало». Но наедине, между собою, мы никак не могли удержаться, чтоб не посмеяться, то есть мы с сестрой Елизаветой Николаевной и ее мужем; а тетки благоговели перед братом.

После Сергея Ивановича осталось много заемных писем, по которым никто не платил денег, и происходило по судам бесконечное взыскание. Эти письма Иван Иванович пожертвовал великодушно с своей части двум сестрам своим, которые приняли с почтением милость знатного брата.

Я воспользовался при этом разделе только деньгами и взял несколько книг из библиотеки покойного дяди; а часть, следовавшую мне из недвижимого имения и крестьян, уступил за деньги двоюродному брату Федору Федоровичу, потому что я имел тогда тысяч двадцать пять частного долгу: я расплатился со всеми и стал несколько покойнее.

К покупке у меня, или к уступке моей части Федору Федоровичу, уговорили нас вот по какой причине. Я описал в 4-й главе женитьбу дяди Федора

Ивановича, его смерть, приезд вдовы к нашему деду и ее отъезд в Москву вопреки всем его предложениям. Я сказал и то, что это окончательно рассердило деда. Вследствие этого он поручил Ивану Ивановичу обратиться с просьбою к московскому епархиальному начальству о разыскании как о браке, так и о законности детей Федора Ивановича. По метрическим книгам оказалось, что старший сын его, Сергей, рожден до брака. И потому другие дети: Софья, Федор и Катерина были признаны Дмитриевыми, а старшему сыну дана была фамилия Федоров. По этой причине он не имел права на наследство ни после деда, ни после дяди Сергея Ивановича. Вот почему брата его, Федора, мальчика довольно пустого, уговорили купить у меня мою часть наследства и перепродать ее старшему брату, который был тогда еще армейским офицером и по чину своему имел право владеть крестьянами. Таким образом он получил имение, а я расплатился с долгами; да и брату Федору было полезно иметь в руках меньше денег, потому что у него, по его ветрености и бессмысленности, или пустоте головы, деньги утекали, как вода, так что и сам он не знал, на что они шли и куда уходили. Это было общее распоряжение семьи, очень хорошее. Разумеется, что все это устроено было после отъезда Ивана Ивановича.

После же его отъезда мы с женою пробыли несколько времени в деревне и жили, помнится, не в большом доме, а во флигеле, за прудом. Не знаю, почему мы жили там, но очень помню, что однажды мы сидели у окна за ужином: это было уже ночью, и Анна Федоровна указала мне на великолепное созвездие Ориона, которого имя мне было неизвестно. С этого времени Орион всегда напоминает мне ее, и этот вечер остался у меня в памяти.

По возвращении в Москву около половины июля 1829 года я с 15 июля опять вступил в должность советника палаты и занялся делами. Здесь приличное место рассказать о тех двух делах, которые послужили было мне помехой к отпуску. Я нашел их не только неконченными, как сказал князю, но и не подвинувшимися вперед, тем более, что в продолжении этого времени была и ваканция для палаты. Эти два дела были действительно важны. Сперва я расскажу дело о храме.

После войны 1812 и 1813 года Император Александр Павлович, наполненный духом истинного благочестия и относя освобождение России от врагов к явному покровительству Божию, захотел увековечить в памяти народа и потомков благочестивую благодарность промыслу Божию о России. Памятником этого он захотел построить храм Спасителю. Это был бы действительно монумент в духе нашего народа; ибо и предки наши не ставили статуй, почитая их языческими кумирами, а сооружали тоже храмы, и в ознаменование подвигов, и в благодарность Богу, от которого исходит всяко даяние благо[17]. Вследствие желания Государя заданы были от Академии художеств программы на сооружение храма.

В это время жил в Петербурге воспитанник Академии Александр Лаврентьевич Видберг[18], исторический живописец. Для какого-то петербургского храма был подряд для написания иконостаса; на торги явился и Видберг с другими живописцами. Эти другие брали дешевле и отдача подряда склонилась на их сторону. Видберг представил в пользу своего права, что по уставу Академии велено отдавать казенные подряды преимущественно воспитанникам Академии; но ему возразили, что есть другой закон о соблюдении казенного интереса. Пылкой Видберг возразил на это, что если так, то он берется написать иконостас даром, без всякого вознаграждения. Это записали в журнал, и подряд остался за ним.

Но жар молодости проходит скоро. Остывши от восторга и опамятовавшись от негодования, Видберг увидел, что такая работа будет ему не только в убыток, но и не под силу его денежным средствам. Чтобы провести время и уклониться от немедленного начала иконостаса, он отпросился в Москву покупать краски под предлогом, что они там дешевле. В это самое время я узнал его в Москве, в 1814 или 1815 году[19], не помню. Он, не будучи портретным живописцем, начал в Москве писать портреты, чтоб сколько-нибудь заработать денег. Я узнал его у моего дяди, с которого он тоже снял акварельный портрет, хорошо нарисованный, но мало схожий. [Вот зачем приезжал он в Москву; а не затем, чтоб «изучать город и окрестности», как говорит Герцен в одной из своих книжек, напечатанных за границею[20]. Он же говорит, что Видберг там «снова работал, целые месяцы скрываясь от глаз и скрывая свой проект». — Напротив, Видберг, я помню, много выезжал в это время и показывал свой проект, то есть планы и фасады, очень охотно, разумеется, не всем, а людям, умевшим оценить его или стоявшим на высокой степени. Так, я помню, он показывал его и моему дяде[21].]

Когда запала ему мысль составить проект на сооружение храма Христа Спасителя, тут только он принялся изучать архитектуру[22], но с своими необыкновенными способностями, с своими пылкими религиозными идеями он составил проект гениальный, так что, если бы можно было привести его в исполнение, это было бы чудо зодчества.

Александра очаровал этот проект, особливо при слушании красноречивых и мистических объяснений Видберга. Он объяснял его с увлечением и сильно действовал на воображение слушателя как таинственным значением разных частей храма, так и величественною красотою здания. Оно предполагалось из трех храмов, возвышающихся один над другим. Нижний, в самой горе, был в таинственном полумраке и назначался быть во имя Рождества Христова; он имел форму па[рал]лелограмма; средний — в виде четвероконечного креста, во имя его Воскресения; верхний, круглый и светлый, во имя Вознесения Христова. Местом строения избран был берег Москвы-реки, называемый Воробьевыми горами.

Академия не утвердила проекта, между прочим, по двум причинам: по невозможности укрепить сыпучий песчаный берег[23] и по невозможности вывести и утвердить огромный свод храма. На последнее отвечал Видберг, что его можно сделать составной, из чугуна. А на возражение, что чугун не принимает штукатурки, Видберг отвечал, что можно изобрести средство. Что касается до берега, он был уверен, что можно дорыться до твердой почвы и на ней основать бут для фундамента. Все это были одни предположения, которые не могли удовольствовать Академии. А Видберг был сделан директором строительной комиссии, или комитета, и, будучи надворным советником, получил крест Владимира 3-й степени.

Была учреждена главная комиссия для построения храма. Членами ее были: нынешний митрополит Филарет, бывший тогда еще архиепископом, московский генерал-губернатор князь Д.В. Голицын и сенатор С.С. Кушников. Но под ведением ее был комитет, состоявший из директора Видберга и двух членов: Балкашина и не помню кого еще, а под конец Аркадия Рунича[24]. Они-то трое были под судом уголовной палаты. Этот комитет имел право назначать выдачу денег до десяти тысяч рублей ассигнациями, но выше этой суммы не мог без разрешения главной комиссии.

Злоупотребления при этом были такие, которые возможны только в России, земле безурядицы и своевластия, где всякой, у кого в руках власть, делается безотчетною силою; но при всем том Видберга и членов нельзя было винить в русском же, столь обыкновенном, грехе корыстолюбия. Видберг виноват был тем, что и в хозяйственное дело ввел воображение пылкой головы вместо постепенности и порядка; что, очарованный своим гениальным проектом и гордый сильною надеждою на Государя, он позволял себе многие действия самовольно, без ведома главной комиссии, без расчета и без всякого отчета.

Причиною этого было, во-первых, совершенное незнание и неумение Видберга вести административное и хозяйственное дело; а во-вторых, его презрение к бюрократической точности и формам, потом, как я сказал уже, гордость, возбужденная милостию Государя, и надежда на безответственность под непосредственным его покровительством. Эта гордость и заносчивость обнаружилась в самом начале[25]. Например, для заседания главной комиссии, с которой вместе присутствовал и директор, и члены комитета, Видберг заказал стол круглый, чего у нас в присутственных местах не бывает. На вопрос об этом Видберг отвечал, что все присутствующие равны. А тут, как я сказал уже, присутствовали архиепископ, генерал-губернатор и сенатор.

Некоторые неустройства обнаружились еще при жизни Императора Александра, и велено было разобрать их Аракчееву. Так я слышал; но по делу палаты этого не было видно. Но по восшествии на престол Николая взошла

над Видбергом страшная туча и грянул гром, которого он, конечно, не ожидал, плавая в небесных областях воображения и ворочая на земле огромными суммами, в которых отчасти не смели ему отказывать комиссия, но которыми большею частию он распоряжался, и не спрашивая комиссии, вообще же путаясь в расчетах, которые требовали не фантазии, а хладнокровного рассудка, знания и опытности.

Так, например, для уменьшения цены работ и цены леса велено было покупать для храма населенные имения[26] и непременно с строевым лесом. — Из крестьян должны были быть в этих имениях знающие дело плотники и каменщики, а лес должен быть не купленый, а из тех же имений. Не помню точно цены, назначенной на покупку таких имений, но помнится, до 800 и до 1000 рублей за душу. Сначала было и куплено несколько таких имений. Но потом, так [как] не всегда можно было найти село мастеровых и вместе с лесом, то Видберг предложил покупку некоторых имений без леса, по меньшей цене против определенной, а лес покупать особо. Но с покупкою отдельно имений и отдельно леса цена вышла по расчету дороже определенной первоначально.

В покупке леса тоже было что-то не совсем ясное и чистое. Один лес был куплен у купца Лобанова по контракту, утвержденному самой главной комиссией. Но после этого Видберг в своем комитете, без ведома комиссии, сделал с тем же Лобановым частное условие, не облеченное в законную форму, с назначением с каждой десятины леса определенного числа дерев, определенной меры и толщины, с тем, что если не окажется их означенного количества и качества, то Лобанов обязан дополнить, а если окажется лишнее количество, возвратить продавцу. По-видимому, это условие было в пользу храма, но вышло вот что: часть леса на корню и с землею была возвращена Лобанову и опять у него куплена для храма, то есть куплена одна и та же вдвойне, и за один и тот же лес вдвойне заплачены деньги. На вопрос палаты об этом Видберг отвечал, что количество леса, назначенное вторым условием, все было получено с некоторого участка купленного леса, а потому остаток и возвращен. А потом, как принадлежащий уже опять Лобанову, мог быть им опять продан, а комиссиею опять куплен[27]. Но, во-первых, Видберг не имел права без ведома главной комиссии делать дополнительное условие о количестве дерев, ибо лес был куплен весь, без остатка и с землею, следовательно, весь принадлежал храму; а во-вторых, доказано, что и количество дерев, назначенное по второму условию, вырублено не все.

Случалось, что при требовании денег от главной комиссии она требовала с своей стороны отчета в деньгах, выданных прежде, но Видберг, вместо отчета, прекращал требование и назначал выдачу денег сам, по журналу своего комитета. Сперва употреблял он такую осторожность, что назначал,

правда, по 10 тысяч, потому что до этой суммы он имел право, но по 10 тысяч несколько дней сряду, что и составляло требуемую сумму. Но потом он не употреблял даже и этой осторожности, а назначал в выдачу всю сумму вдруг, без ведома комиссии. Прав ли он в этом?

Это я представил только два или три обстоятельства, в виде примера, но все производство работ и покупок и все денежные расходы и растраты представляли такую путаницу и такое своевольство действий, которые и без подозрения в корыстных видах были достаточны для обвинения Видберга, и для тяжелого обвинения.

Он действовал так безрассудно и так вне всякого порядка, что при самом начале работ купил уже запрестольную картину. На вопрос об этом он отвечал, что не хотел выпустить из рук такого прекрасного произведения живописи для украшения храма. А храм существовал только в его воображении и на бумаге.

Одним словом: на покупку 20 тысяч крестьян и леса и на предварительные работы было истрачено 27 миллионов рублей ассигнациями, из которых в двадцати шести дал он отчет, впрочем, ссылаясь часто на личные и не известные никому приказания Государя, а в одном миллионе он решительно не мог дать никакого отчета. Между тем в продолжение десяти лет не было сделано почти ничего, только изрыта гора для отыскания крепкого грунта, и, говорят, несколько выведено фундамента. А гора все осыпалась.

После этого можно ли верить бешеному Герцену, который (в своей книжке «Тюрьма и ссылка») защищал Видберга как пострадавшего невинно, вследствие интриг, клеветы, зависти и несправедливости. Я не обвиняю Витберга в корыстных видах: когда назначено было его имение в продажу, у него оказался только один дом, который и был продан. Но перед законом Видберг был виноват во многом; а именно: в самовольных распоряжениях огромными суммами без разрешения главной комиссии; в совершенной безотчетности и в действиях, и в суммах; наконец, в пустых ссылках на права, данные ему Государем, и на его личные приказания. Ни в одном государстве и ни в каком законодательстве не были бы прощены подобные действия; впрочем, ни в одной земле не могло бы и быть их, кроме России. Правда, что сначала он был вхож к Государю и во многом мимо комиссии сносился с князем Александром Николаевичем Голицыным[28]; но ни прав, ни особых повелений и разрешений он доказать не мог.

Между прочим, он поступал вот как: было время, когда в комитете оставалось только двое, он и Балкашин, который был и членом, и казначеем. Комитет, то есть они двое, назначали выдачу денег и подписывали об этом в журнал. Видберг, как директор, председательствующий в комитете, подписывал указ Балкашину о выдаче денег, Балкашин выдавал и ему же,

Видбергу, подавал об этом рапорт. Это значит, что они играли в административный комитет, как дети. Оба назначали выдачу, да и перекидывались один с другим бумагами, будто другие лица, превращаясь из членов один в директора, другой в исполнителя. Это было перед судом закона и шуткой над законным порядком, и неблаговидно! Однако это значит и то, что у нас бумага значит все, что у нас бумагами и бюрократическими формами можно прикрывать всякие действия. Была бы сохранена канцелярская форма, дело считается правильным!

Не помню, чем было решено это дело у нас в палате: помню только, что в это время председатель Кондырев был уже в отставке и что у нас временно присутствовал Балк[29], председатель 2-го департамента палаты; помню также, что мнения были разные. Это дело пошло далеко, было в Сенате и едва ли не доходило до Государственного совета. Витберг был сослан на житье в Вятку, где и познакомился с Герценом, защищавшим его по одним его же рассказам. Имущество его, как я сказал выше, было продано в удовлетворение казенного взыскания, но я сказал уже, что у него, кроме дома, почти не было никакого имущества, исключая небольшой движимости; он жил одним жалованьем. Что сделалось с Балкашиным, я не помню, но Рунич, бывший членом комитета недолго, был привлечен к суду совсем безвинно: все самовластные действия были без него. Однако он лишился службы и кончил свою карьеру в бедности.

Так прекратилось строение храма; так кончилась сила и слава Видберга; sic transit gloria mundi!*

Храм Спасителя суждено было начать вновь другому Государю, Николаю Павловичу, а не самому орудию Провидения, не самому освободителю России от врагов, не самому Благословенному! А Николаю Павловичу не суждено было его кончить и передать неконченым третьему Государю. Новый храм был заложен уже в 1840 году и на другом месте: у Пречистенских ворот[30]. Николай Павлович, желая казаться совершенно русским и царем православным (ибо у всякого барона есть своя фантазия) и не имея вкуса к изящному, любил, не знаю за что, так называемую византийскую архитектуру, и потому храм решено было строить в этом стиле. Он теперь построен вчерне весь[31]: это какое-то неуклюжее здание в виде индийского пагода, с шапкой в виде огромной луковицы или пикового туза. Герцен очень забавно и очень верно сравнивает этого рода храмы с пятиглавыми судками и луковками вместо пробок[32]. Странно, что деспоты и жестокие государи никогда и не имели вкуса к изящному: это доказывает история. Видно, изящное требует от души свойств мягких: истина, добро и красота имеют один источник.

---

*Так проходит мирская слава! (*лат.*).

Но главный недостаток этого храма составляет то, что он начат не при том Государе, который был участником и довершителем войны народной, что он построен через долгое время после бедствий и торжества отечества, а у нас так скоро все забывается. Если бы тот первый храм приведен был к концу хотя через столетие, причина его сооружения все существовала бы, жила бы в памяти; а этот новый храм, начатый при других поколениях, не бывших свидетелями означаемой им эпохи, не представляет памяти народа ничего, кроме высочайшего повеления. А приказ царя никому не заменит народного чувства.

Другое дело, о котором я упомянул, было следующее. В Москве издавна существовала запасная аптека для снабжения медикаментами казенных аптек и потому имевшая большие обороты и возбуждавшая во многих зависть, ибо, по русским понятиям, при денежном казенном деле всегда предполагаются большие выгоды для приставников: как не позавидовать? — Некто доктор медицины и член медицинской конторы Добронравов[33], не имевший практики и занимавшийся пронырством и ябедой, подал донос на злоупотребления запасной аптеки, и ему же самому, доносителю, поручено было произвесть над нею ревизию и следствие. — Главные лица, привлеченные к делу, были: статской советник Гаврила Петрович Смольянской, старший брат того Смольянского[34], в семействе которого я учился некогда танцовать, и штадт-физик Цемш, с сыновьями которого я был вместе в пансионе[35]. Добронравов при этом следствии не щадил никаких средств не только к обвинению, но и к оскорблению двух несчастных стариков, попавшихся в его лапы, и обращался до того грубо и дерзко, что даже свертком бумаг задевал их по носу. Старик Смольянской жаловался князю Дмитрию Владимировичу. Но медицинская контора была не под его ведением[36]: он не мог назначить другого следователя. Однако для охранения старика он велел Новикову, бывшему тогда при нем чиновником особых поручений, всякой раз, когда требуется Смольянской к допросу, ездить с ним вместе и оберегать его от нападков следователя. Дело это поступило наконец в палату. Так как главное обвинение состояло в злоупотреблениях по покупкам и выдачам вещей и материалов, то палате предстояло разобрать два вопроса: действительно ли нужны были материалы и вещи в показанном количестве, а потом их ценность и расход. Определить их ценность было довольно трудно; нужно было собирать справочные цены разных годов, чего с намерением, конечно, избегал Добронравов. Но я решился взять на дом это огромное дело и с помощью одного чиновника разобрал в подробности и по статьям все начеты. Открылась вся бессовестность доносителя и следователя. Мудрено ли, что начеты были не только огромные, но по многим предметам даже вдвое против израсходованной суммы, когда ревизор, он же доноситель и следователь, считал вдвой-

не одно и то же! Например, был куплен стакан, ненужный для аптеки, и заплачен рубль. Он ставил начету рубль. Но этот же стакан вышел в расход, то есть поступил куда-нибудь: он ставил опять рубль. Итого за вещь, заплаченную рубль, начету два рубля. Вот как у нас ябеда и зависть показывают свое усердие к казне, к этой бездне, поглощающей и имущество людей, и душу своих усердных слуг! — Скажу еще пример. Большое количество ревеню Добронравов нашел будто бы подвергшимся гнилости и потому сжег его и ставил в убыток казне и в начет большую сумму: ибо ревень есть материал большой ценности[37]. Зная, что сожжение должно было по закону производиться при полицейском чиновнике, я настоял, чтоб раскрыт был весь процесс сожжения этого ревеня. Добронравов не ожидал такой догадки со стороны судей. Открылось, что когда полицейской чиновник прибыл на указанное место к означенному часу утра, ему указали небольшую кучку золы, сказавши, что ревень уже сожжен. Но, во-первых, от многих десятков пудов такого легковесного материала, как ревень, должна бы быть огромная куча пепла, а во-вторых, ревень не горит, а тлеет, следовательно, не только в один час времени нельзя было сжечь такого количества, но для этого недостаточно бы было и двух суток. Все это и многое тому подобное было обнаружено палатой, и несчастные старики были спасены. Но тем не менее ревизия, следствие и дело продолжались долго, и они много настрадались.

Итак, вот в чем состояли те два дела, о храме Спасителя и о запасной аптеке, которые князь Дмитрий Владимирович вверял особенному моему попечению и для которых он отказывал мне в отпуске.

Известно, что дела о преступлениях по службе, так называемые следственные, начинаются прямо в уголовной палате. На них я обращал особенное внимание, во-первых, потому, что злоупотребления чиновников у нас действительно есть язва нашего правосудия и нашей администрации, а во-вторых, и потому, что при тайне, требуемой нашей службой, у нас так легко погубить и невинного человека, особливо в уголовной власти. А при Николае Павловиче самые пустые доносы были опасны, потому что верили всему дурному, и в угождение нраву Государя строгость стояла выше правды. — Упомяну еще одно дело.

В Херсонской губернии был вице-губернатор Рюль, родной брат лейбмедика вдовствующей Императрицы[38]. В то время, когда жиды были подвергнуты рекрутской повинности[39], робкие потомки Авраама перетрусились и начали употреблять и подкупы, и клевету против рекрутства. Попробовали с Рюлем первое, и, испытав неудачу, они прибегли ко второму и подали донос в притеснениях и взятках. Не разобрав ничего, Николай Павлович приказал схватить его, привезти под стражею в Москву и предать суду московской уголовной палаты. Его примчали; он содержался под стражею и

оказался невинным! — Много было подобных дел и подобных несчастных; милость не торжествовала на суде Николая Павловича! — Тем тяжелее было отправлять правосудие для человека, который не смотрел на высочайшее требование строгости и строгости и искал только правды!

Здесь кстати сказать о духе Николая Павловича. Нет сомнения, что он желал добра и правды, да и какой же Государь не желает их? — Цари, имея все, так далеки от наших мелких интересов корыстолюбия и честолюбия, что их нельзя и подозревать в наших страстях и недостатках. Но желать — это еще мало; нужно уметь, иметь способность. Характер слагается из ума, сердца и темперамента. Ум его был не довольно гибок, не широкого объема и не многостороннего просвещения; сердце было холодно, а темперамент пылкой. Он шел всегда прямо к цели, несмотря ни на околичности, ни на средства, и, не разбирая дороги, ломал, что попадется под ноги. К нему можно было применить русскую пословицу: «гнёт, не парит; переломит, не тужит». — Таков он был и в своей справедливости. Он был убежден — да кто же и не убежден в этом! — что Россия есть страна взяточничества и всяких судебных и административных мерзостей. На основании этого он видел доказанную вину во всяком подозрении и во всяком доносе, а у него была всякая вина виновата. Это отражалось и на строгость судей, которые сами трепетали, чтобы их не заподозрили в слабости. Одним словом: в его царствование от излишнего требования строгой справедливости не было никакой правды! Но эта строгость не мешала, однако, брать взятки, а кругом его его любимцы наживались так, как и не умели, и стыдились бы подумать об этом благородные люди, окружавшие Александра Павловича. Недаром под конец говорил Николай Павлович: «Я думаю, во всей России только я один не беру взяток!» — Конечно, это гипербола, но ее можно перевести так: «Только тот не берет взяток, кому они не нужны!» — А кто довел до этого? — Жизнь при нем пошла труднее; страх безрассудной его строгости заставлял многое скрывать от него, а любимцы, составлявшие вокруг него непроницаемую стену, не допускали до него настоящей правды, а только тешили его самолюбие, представляя все в лучшем виде, или угождали его строгости сплетнями и доносами.

Обращаюсь опять к палате. Я говорил уже (глава 14), что 1-е число каждого месяца все президенты являлись к князю с ведомостями. Когда я был судьею, и я каждый раз являлся; но с того времени, как поступил в советники, это уже не было моею обязанностию: с ведомостями палаты ездил председатель. Но через несколько времени я получил приказание ездить вместе с ним. Это удивило и меня, и всех, потому что один я из всех советников палат (а нас было четверо) получил такую привилегию. Князь не объяснил это, но оно объяснилось само собою. Я стоял всегда рядом с председателем.

Князь, принявши молча из рук его ведомость, при рассмотрении ее обращался с вопросами ко мне и от меня требовал объяснений. Он не находил возможности, следственно, не видел и нужды объясняться с человеком, не имевшим никакого понятия о делах. Этим он оказывал ему явное пренебрежение, но не допускать его не мог. И потому я был при этом в роде ментора при моем седом Телемаке[40].

Бессмысленность нашего председателя доходила наконец до невероятной степени. Несмотря на мое презрение к нему как к человеку, я все-таки поддерживал его по наружности как президента места; но в мое отсутствие из Москвы он до такой степени потерял все уважение, что сделался посмешищем канцелярии. Так, рассказывали мне, что однажды чиновники пришпилили ему сзади камергерской ключ[41], вырезанный из бумаги. Трудно поверить, чтоб такие важные места могли занимать где-нибудь такие люди, как это бывает у нас в России! Мало-помалу он начал брать и взятки. Секретарь, подговорив его по одному делу подать мнение и обещавши благодарность, взял за это тысячу рублей, а ему купил рублей в пятьдесят золотую табакерку и отдал от имени просителя: он взял и по глупости был очень доволен.

Еще было в мое время какое-то дело об игроках, а в эти дела всегда вмешаются разные аферисты. Так по этому делу значилось заемное письмо на имя шляпного фабриканта Дюлу[42], который промышлял разными аферами и был в связи с игроками. Он просил меня об отделении его претензии от прочих. Я отказал, на основании закона, который говорит именно: что если по уголовному делу откроется иск гражданской, то он не прежде может быть начат, как по окончании суда уголовного. Но в мое отсутствие из Москвы это дело сладили. Обер-секретарь Сената, известный Василий Иванович Буш[43], сделал обед; позвал председателя, позвал и Дюлу. За обедом спросил он Кондырева, купил он для дочки туалет, который торговал? — На ответ его, что не купил, потому что просят дорого, он сказал ему: «Как можно дать такую цену! Это, верно, оттого, что вы не умеете торговаться!» — «Да вот, — обратился он по-приятельски к Дюлу, — ты ведь живешь на Кузнецком мосту и тебе все знакомы! Помог бы ты Федору Васильевичу!» — Тот обещал и на другой же день купил туалет за 500 рублей ассигнациями и привез его к Кондыреву. Но тот никак не хотел взять его даром и требовал, чтоб тот сказал заплаченную цену. — Дюлу долго не соглашался, говоря, что заплатил такую безделицу, что совестно взять и деньги. Однако наконец решился открыть, что заплатил за него десять рублей ассигнациями. — «Ну то-то же, батюшка! — отвечал Кондырев. — А даром я не возьму!» — И тотчас же заплатил десять рублей, которые Дюлу принял с почтительною благодарностию, а сам тотчас же рассказал это советнику другой палаты Зубкову[44], а тот мне. А я напечатал этот анекдот, кажется, в «Телескопе». Все узнали, что это об Кондыреве.

Однажды я получил записку из канцелярии князя, чтобы быть у него на другой же день в 11 часов. Я нашел у него в гостиной в числе других дожидающихся лиц Пинского, который был тогда уголовных дел стряпчим. Он спросил меня, зачем я приехал. — «Не знаю! — отвечал я. — Зачем-то меня потребовал князь». — «А я знаю! — отвечал он со смехом. — Только вам не скажу. Это все я наделал!»

Позвали меня в кабинет к князю. Он, с тою стыдливостию, которая всегда его отличала, сказал мне с запинкою: «Я слышал об вашем председателе много дурного; скажите мне всю правду». — Я сказал все, что знал о его неспособности и незнании. Но князю этого было мало: он хотел знать некоторые подробности, о которых, видно, было доведено до его сведения. — Я подтвердил все это. — Князь, выслушавши меня, сказал мне: «Так! Это самое говорил мне Пинской! Позовите его, да останьтесь и сами». — По входе Пинского в кабинет князь сказал ему: «Г<осподин> Дмитриев говорит то же, что и вы!» — Потом, раскрасневшись, он сказал, не глядя на нас и как бы на общее лицо: «Ну а что же это за анекдот о туалете, который был напечатан?» — «Я должен вам признаться, князь, — отвечал я, — что этот анекдот написан и напечатан мною». — «Я это слышал, — возразил князь, — но не хотел прямо спросить вас! Да неужели это правда?» — Я отвечал, что узнал этот анекдот от Зубкова, что он может спросить об этом его и Данзаса, который тоже это знает. — А Данзас был, говорят, побочный сын его брата, князя Бориса Владимировича, и был у него домашним человеком[45]. — «Боже мой! — сказал князь. — Конешно, хорошо, что мы не имеем права отставлять от службы наших подчиненных, потому что и мы можем быть несправедливы. Однако что же делать в случае, подобном этому? У нас руки связаны! Отдать под суд — и жаль по его старости, и обвинение слишком тяжкое, да и доказать юридически невозможно; просто по неспособности представить о увольнении его — это причина неясная, а оставить такого председателя на его месте — невозможно! Хорошо! — сказал он в заключение, — я позову его к себе!» — и с этим отпустил нас.

Известно, что лет через двадцать после этого последовало высочайшее повеление, по которому начальникам давалось право увольнять своих подчиненных даже без объяснения причин. Этим воспользовались для своих частных целей и для удовлетворения мелочной мести люди, не имеющие благородной души князя Дмитрия Владимировича, а он не имел права избавить палату от глупого и вредного человека! — Таким образом выходит, что у нас надобно связывать руки и благонамеренным людям, чтобы злонамеренные не воспользовались свободою делать зло. Такова Россия, таковы у нас люди, что доверять чести и совести опасно, что связать руки все-таки безопаснее, чем развязать их, и что лучше терпеть до некоторой степени зло, чем довериться общей бесчестности народного нашего характера!

На другой же день после разговора с нами князь позвал к себе Кондырева и велел ему подать просьбу об отставке. Кондырев стал просить его о пенсии; князь обещал и пенсию. Кондырев еще поклон и просил о чине действительного статского советника; князь отказал. Кондырев еще поклон и просит Владимира на шею; князь взял его за оба плеча и оборотил к дверям. Тем и кончилась прощальная аудиенция.

По выходе Кондырева в отставку временно стал присутствовать у нас председатель 2-го департамента Павел Михайлович Балк, длинный, косой и бормотун, говоривший с жестами. Он вошел в председатели и в чины единственно угождениями начальству и интригами и низкими послугами жены своей[46] супруге князя[47], которая была женщина добродетельная, умная и благотворительная; но я не раз замечал, что у нас не одни злые люди делают зло, но и добрые к нему близки: ибо у нас доброта всегда соединяется со слабостью характера, а жена Балка около княгини Татьяны Васильевны бросалась иногда исполнять должность горнишной. Такая преданность всегда сильно действует на людей, которые по возвышенности собственных своих чувств не могут и предполагать в других угодливости, происходящей от подлости и корысти. О Балке, как о присутствовавшем у нас временно, я много говорить не буду. Впрочем, все временно присутствующие никогда не занимаются делами как своими, а как чужими: то есть так, чтобы хоть как-нибудь шло! — Всего хуже, что люди, подобные Балку, равнодушные к делу вообще, нисколько, напротив, не равнодушны, как скоро нужно угодить лицу сильному: пристрастие сильного или ненависть, им все равно, лишь бы угодить! — Таков был и Балк. Взяток он не брал, но из угождения, из подлости готов был продать свою душу. Дело о храме было решено при нем; помнится, что он сперва согласился с моим мнением, а потом отступил от него. Много надоедал он мне своими выходками угодливости, которая одна руководствовала им в делах важных. Много надоедал он и прыжками: он был беспрестанно в движении и был чрезвычайно безобразен лицом; он косил не только глазами, но всем телом, размахивал руками и задевал за все и за всех и руками, и длинными ногами. Он был какой-то фигляр или плясун, une espèce de pantin*, с важностию и с физиономией козла! — Советник его департамента Зубков, которому он надоедал ежедневно, говаривал мне шутя: «Переломите вы мне мою балку, а я за это вашего Федора Васильевича (Кондырева) из электрической машины убью!»[48] — Над Балком все смеялись! Таковы были в это время у нас председатели палат — и где же? — в первопрестольной столице! в Москве!

Князь, желая представить меня в председатели 1-го департамента и помня, что один раз мне послужил препятствием чин надворного советника,

*что-то вроде марионетки (*фр.*).

поспешил представить меня к следующему чину, коллежского советника, за отличие. Я и получил его 1828 [года], февраля 20-го. Между тем мне оставалось дослужить только несколько месяцев, чтобы быть произведену за выслугу лет, а теперь этот чин причитался мне в награду и препятствовал представить к другой. Это бы ничего, если бы удалось место председателя, но оно не удалось, и награда чином вышла мне не наградой, а препятствием к награде. Таким образом, я во всю мою службу только один раз и получил чин за отличие, и то не в пользу.

В это время был министром юстиции Дмитрий Васильевич Дашков, который давно знал меня лично и без всякого сомнения дал бы мне это место, если бы не случай. В это самое время он ехал в отпуск; однако, отъезжая, поручил Дмитрию Николаевичу Блудову, который должен был исправлять его должность во время его отсутствия, непременно настоять, чтобы я получил это место. Блудов был не только друг Дашкову, но и предан ему; не только предан, но опирался на силу его характера, когда недоставало своей. Но сам по себе он был человек хотя умный, но ума легкого, живого, летучего и неосновательного, и в этом совершенная противоположность Дашкову. Он был человек очень добрый, но не имевший никакого характера; он говорил чрезвычайно много, но настоять не умел, и все его добрые намерения улетучивались в разговоре. Он обольщался сам своею говорливостию и оставался очень доволен, что поговорил умно. В этом самодовольстве так размягчалось его сердце, что он уступал охотно другим результат прения, оставляя за собою победу красноречия. Это был древний софист, для которого было все равно, о чем бы ни говорить, только бы говорить много и красно! На него ни в чем нельзя было положиться!

Так и в этом случае: голоса в комитете министров разделились надвое между мною и неким Марковым[49]. Марков этот был два раза председателем где-то в губерниях и оба раза под судом. В первом, по делу о закрытии смертоубийства, его оставили в подозрении; во второй раз его оправдали и определили дать ему место. Блудов, помня приказание Дашкова, сперва стоял за меня, но Марков, красноносый плут с медным лбом[50] или, по крайней мере, блестящим, как медный, явился лично к Блудову, представил свое бедное положение и что у него семеро детей. У плутов просителей и у бродящих по улицам офицеров их всегда бывает семеро! — Блудов разжалобился и перенес свой голос на противную мне сторону. Таким образом, место председателя получил Марков. Князь, получивши это известие, сказал мне: «Это не вам обида, а мне!» — По правде сказать, обоим, да и палате.

Что сказать об этом новом председателе? — Дела он тоже порядочно не знал, как и прежний, но был бы умнее Кондырева, если бы не имел ветрености в уме и не имел бы характера дерзкого и горячего до бешенства. С ним служить было решительно невозможно, потому что он, при незнании дела,

все хотел делать сам да сверх того брал и взятки. Канцелярия была с ним заодно, а купеческие заседатели боялись его горячности.

Это был красноносый старик, гуляка, любивший на чужой счет выпить, любивший цыган, шатавшийся по клубам и игравший в карты. Однажды в Английском клубе пели и плясали цыгане. Он, выпивши за обедом шампанского на чей-то счет, пришел в такой азарт, что влетел в круг цыган и принялся плясать. Балк, почувствовавши все неприличие этого для председательского звания, вздумал вытащить его из круга и взял за руку. Но Марков был сильнее и втянул его самого в круг. Марков плясал, а Балк, желая высвободиться, тоже поневоле делал движения — и вышло из этого, что они плясали оба, один волею, а другой неволею. Балк сердился, а Марков пуще торжествовал и заставлял его плясать с собою. Таков был этот предпочтенный мне председатель палаты.

И вот что происходит от нашего государственного устройства, что весь порядок состоит только в наружной стройности чиноначалия: только бы шла машина, а что она выработывает, до этого нужды нет! Представляет к месту прямой начальник, который знает представляемого лично, а о достоинстве его судят министры, которые его вовсе не знают; представляет тот, которого честь и самолюбие требует, чтобы подчиненные ему места были заняты людьми достойными, а назначают на них те, которым все равно, хорошо ли, худо ли! — Я думаю, нигде нет, кроме России, такого организованного и приведенного в строгую систему беспорядка. Как идти хорошо делам при этой систематической безурядице, вне всякого здравого смысла!

У нас обыкновенно человек благонамеренный начинает службу с рвением, а потом и руки опустятся! Под конец моей службы в палате то же было и со мной. Само собою разумеется, что я все-таки занимался делами и не подписывал, не читавши; но не чувствовал уже прежней энергии. А новый наш председатель до того мне опротивел, что я начал стрелять в него эпиграммами и печатал их в московских журналах. Их знали наизусть, знали все, что они на Маркова, и со смехом повторяли мне их и в книжных лавках, и при встречах со мной на бульваре. Вот некоторые эпиграммы:

1

Пять душ по списку послужному
И ровно семеро детей;
А по окладу годовому
Всего три тысячи рублей!
Играл он в банк, но неудача!
Живет, как все! — За этим вслед
Такая следует задача:
Берет он взятки или нет?[51]

2

Кто раз был под судом и вышел в подозренье,
Тот, может быть, еще по случаю попал;
Кто два раза, тот плут, без всякого сомненья,
Хотя бы суд и оправдал!
Но в утешение для честных остается,
Что он и в третий попадется![52]

3

Как должен быть ему весь кодекс наш знаком!
Он то судья, то под судом![53]

Эти эпиграммы были, что называется, не в бровь, а прямо в глаз, потому что содержали всю историю службы Маркова! — Но всего забавнее, что старый наш заседатель, плут Щепочкин, приносит их, бывало, в палату, показывает Маркову и говорит наивно: «Это, кажется, на вас!» — «Почему же на меня?» — спрашивает тот с злостью. — «Так говорят!» — отвечает он с простодушной улыбкой.

Но всего удачнее были в этом отношении стишки, написанные мною под заглавием «Эмблематический портрет» и напечатанные в «Молве». Вот они:

С затылка волосы он смело
Связал на маковке узлом,
В знак, что когда он спутал дело,
То не распутаешь потом!
Прикрыл верхушку он, хоть можно
Прикрышку тотчас различить,
В знак, что иное скрыть бы должно,
А можно только что прикрыть!
Он лоб свой выставил блестящий
И глянцовитый, как металл,
Затем, чтоб всякой приходящий
Тот лоб за медный принимал
И чтобы всякому, кто дело
Имеет до его суда,
Адресоваться можно смело
К нему без страха и стыда!
Но хоть не все в смысл этих таин
Свободно могут проникать,
Он, говоря, дрожит, как Каин,

В знак, что кто любит взятки брать,
Того отметит Провиденье,
Чтоб знали явственно, кто он,
Печатью явной отверженья,
Которой тот был заклеймен!

Этот портрет был действительно как две капли воды похож на Маркова. Зато Щепочкин никак не утерпел, чтобы не показать ему и не сказать с лукавой улыбкой: «Вот это уж на вас!» — «Да почему же на меня?» — вскрикнул, весь покрасневши, Марков. — «Говорят, что похоже!» — отвечал смиренно и простодушно Щепочкин.

И все это происходило между дел, в самой палате! — Может быть, будут винить и меня, но, право: терпя, терпя, и камень лопнет! — При моей любви к правде и чести иметь дело с такими товарищами и не видеть исхода — выведет хоть кого из терпения! Кроме того, я испытывал несправедливость за несправедливостию, не имея ни в чем успеха, и видел вокруг себя одни успехи этих или глупцов, или сынов погибели! — Мудрено винить меня, что я мстил и им, и правительству тем орудием, которое дала мне природа, моею легкостию писать эпиграммы![54]

ГЛАВА 16

Литературные занятия • Проза • Издатель «Московского вестника» • Стихи • Масонство • Семейные происшествия • Холера • Камергерство • Кончина второй жены

Описавши, как шла моя служба в надворном суде и в палате, я могу сказать по совести, что занимался ею прилежно, наблюдая справедливость и порядок и не отнимая от нее времени на клуб и карты, как делают другие. Английского клуба я был членом, но был в нем всего несколько раз, а в карты и не умел играть, и всегда их ненавидел как самое скушное и самое пустое занятие. Еще в доме Бекетовых, когда я был почти мальчиком, мне надоело смотреть на карты. Но я сказал бы неправду, если б вздумал утверждать, что служба удовлетворяла мою душу. Я видел в ней только исполнение долга, но долга скушного, тягостного человеку, который чувствует в себе некоторую способность или, по крайней мере, влечение к чему-то лучшему. В самом деле, что составляет предмет служебных занятий? — Разбор неправд и преступлений человеческих; вся душа занята ими, и это ежедневно! — Не будь презренной корысти и неправедных притязаний — не было бы тяжеб и исков; не будь разврата и злобы — не было бы судов уголовных! — Мы, судьи, потому только нужны, что есть сутяги и злодеи! — Мы, судьи, воображаем себя очень важными, а мы только подметаем нечистоты человечества, копаемся в черноте души человечества и отыскиваем ощупью следы правды в тине лжи и порока! — Какая разница с занятием ученого, поэта и художника, живущих для чистого разума и изящных форм и звуков, в которых отражается небо добра и красоты! — Эта мысль всегда отвращала меня от судебной практики: это было с моей стороны жертва судьбе и необходимости, а не дело жизни. Кроме того, я всегда любил свободу, а служба есть зависимость!

И потому все время, свободное от занятий служебных, я посвящал на лучшее, по крайней мере, на лучшее по моему разумению. Бог дал нам душу, конечно, не на разбор чужих дел и особенного чужого зла: у ней есть будущее, у ней предметом она сама, требующая духовной и умственной пищи. Я сказал уже, что в прежние годы я занимался изучением философии, особенно системы идеализма Шеллинга. Еще прежде того и впоследствии я

прилежно занимался чтением многих мистических сочинений. Несмотря на различие философии и мистицизма, я искал в них одного: истинных понятий о мире, человеке и Боге, и, несмотря на различие их пути в исследовании сих трех предметов высшего знания, я находил в них много точек соприкосновения, не замечаемых ни формализмом науки, ни строгостию духовной мысли. В этой точке соприкосновения, казалось мне, я нашел тот пункт, от которого должна отправляться наука истины, наука о Боге, мире и человеке.

«Из невидимого произошло видимое,» — говорит апостол (Евр. 11: 3). «Видимое есть внешняя форма и отпечаток невидимого», — говорят мистики. «Тождество видимого с невидимым, различаемое формой», — признают философы. — Вот общее начало науки, которую предположил я развить в целом ряду статей, которые должны были составить самую краткую, сжатую, но целую систему ведения. Я не успел или, лучше сказать, не имел времени исполнить всего моего плана и написал только четыре следующие статьи: в 1829 году 1) «Свобода и необходимость», 2) «Знание и вера», 3) «Добро и зло», и в 1830-м: «Об аналогии творения и происходящей из оной аналогии идей». Три из этих статей были напечатаны в «Московском вестнике», издававшемся Погодиным. Этих статей по плану, составленному мною, предполагалось всего десять, так, чтоб каждая статья имела предмет особый, а все они составили бы логической и полный круг основных начал ведения. — Но исполнение этого требовало размышления, не прерываемого другими занятиями, и углубления в самого себя; а ничто так не бросает во внешность и ничто так не сближает с толпою разных людей, как служба! — И что за внешность! и что за люди! — Самые лучшие их них, самые честные все-таки думают об одном: об ловле чинов и отличий, об угождении начальству и об интригах! — Это ярмарка честолюбия! — Где же углубляться в свою мысль и в свою душу на ярмарке! — Все это помешало мне исполнить свой план, и я остался при статьях, мною упомянутых[1].

Как много мешает у нас служба развитию человека! Домашнее воспитание у нас оканчивается рано, потому что надобно отдавать мальчика в публичную школу, а нужно это для того, что без казенного аттестата, как бы ни был хорошо выучен молодой человек, ему труднее ход службы, путь к чинам. В этих публичных школах учат слишком многому и всему поверхностно; учат, а не воспитывают, и готовят не человека, а чиновника. — Раннее вступление в службу необходимо, чтобы ранее пройти подчиненные звания. И вся цель — не жизнь, не общество, а служба. Поневоле вспомнишь стихи Княжнина:

И кто без чина свой проводит темный век,
Тот кажется у нас совсем не человек![2]

Служба не дает окончивать не только воспитания, но и учения; она делает человека машиной; она не дает заниматься ничем умственным; она делает человека пустым дельцом, истинным формалистом, равнодушным, интриганом и эгоистом. А что дает она в замену убитого добра? — Чины и титулы, которым завидуют не дошедшие до них и за то ненавидят дошедших, и знаки отличия, которые перестали по своему множеству свидетельствовать о заслуге и потеряли свое уважение! — Ничего нет пустее и вреднее нашей службы. Она выделывает из человека чиновника, такое существо, которого и душа затянута в форму, как тело в мундир. — А много ли пользы от этого отечеству? — Отечество требует живых людей, а не бюрократов; ему нужны живые души, а не эти автоматы, которых первое условие отказаться от своего собственного ума и позабыть свою душу! — Знаю, что служба нужна государству; но чтобы все обязаны были служить, чтобы, не служа, нельзя было быть человеком, это такое уродство, которое существует только в России! — И как легко было бы помочь этому! — Стоит только уничтожить чины, и уничтожится все это множество озабоченных тунеядцев и пиявок, которые сосут Россию! — Служба много помешала моему человеческому развитию, а некоторое развитие мешает успехам по службе, потому что благородной душе тяжело и стыдно купаться в этом омуте, из которого другие вытаскивают себе разные привилегии! — Обращаюсь к литературе, составлявшей мой отдых и мою отраду.

Три напечатанные статьи, о которых я сказал выше, возбудили большое любопытство между тогдашнею литературною и ученою молодежью. Имя мое не было под ними подписано. Узнавали и догадывались, кто их писал, но приписывали их одни профессору Давыдову, другие, не знаю почему, Андросову, который занимался преимущественно статистикой[3] и был человек едва ли верующий, по крайней мере, дозволявший себе кощунствовать и потому совершенно далекий от направления этих статей. Наконец, когда узнали, что автор этих статей был я, это придало мне большую степень уважения между ними. Но дяде моему я не счел нужным открывать их автора, да он, думаю, их и не заметил, и если встретил их в журнале, то, верно, не читал. Философией признавал он только мнения осьмнадцатого века; религия была для него только политическим учреждением, да сверх того все это было чрезвычайно скушно и непонятно, и не стоило умному человеку над этим ломать голову. Выше Лабрюйера[4] он не восходил в философии. Странны были эти люди XVIII века, а ведь человек он был умный. Легко было им жить и незачем было углубляться! А мы много испытали, были недовольны жизнию и потому невольно останавливались на вопросе: «Что она такое?» — Им жизнь

была известна, как пять пальцев: ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas*; вот и все! о чем тут спрашивать? — Мой отец, однако, хотя был того же века, но был человек весьма религиозный; судя по оставшимся после него книгам, он читал даже Сен-Мартена. Следовательно, в том и другом направлении есть доля века, но есть доля и собственного влечения души нашей.

Я сказал, что мои статьи были напечатаны в «Московском вестнике», журнале Погодина. Здесь приличное место сказать несколько слов о нем самом. Он, как Гораций, сын отпущенника, libertinus**. Отец его был управитель Салтыкова[5]. Впрочем, отец ли его получил свободу, или он сам, этого я не знаю; может быть, он и libertus***, но верно то, что не ingenuus****. Он учился сперва в московской гимназии, потом в университете, получил звание магистра и был в нем профессором истории; теперь он в отставке и академик[6]. — Более всего он оказал успехов в латинском языке и в истории, которою занимался во всю жизнь свою. Не помню, в котором году, где и как я с ним познакомился, но он всегда был верен в приязни и услужлив, никогда не менялся, как Аксаков, и остается доселе в хороших отношениях со мною. Его поприще можно разделить на четыре разряда: журналиста, автора, профессора и исторического писателя, или, правильнее сказать, изыскателя, исследователя. Как журналист он всегда был честен, и в мнениях, и в направлении, что очень нужно заметить в то время, когда в Петербурге Булгарин, а в Москве Полевой, особенно последний, внесли в журнальную литературу пристрастие, бессовестность и шарлатанство. Но, при всех хороших качествах, журнал его, «Московской вестник», был сух, однообразен и без определенного характера. Было одно время, когда в нем постоянно участвовал Шевырев: в эти годы он оживился критикою и получил более определенный характер[7]. В нем помещал свои стихи Пушкин; в нем напечатан был первый отрывок из его «Бориса Годунова»[8]; в нем помещали свои стихи Хомяков[9], Языков[10], Шевырев, я и многие другие. Были очень хорошие статьи и в прозе. Но журналу нужна жизнь современности; стихи и статьи не составляют журнала, и он чрез несколько лет прекратился.

Как автор Погодин издал три тома повестей[11], которые отличались живостию, чувством и характерами, взятыми из нравов русского народа. В них, при начале своего поприща, Погодин выказывал уже пристрастие, или особенную наклонность к тому простому классу, из которого происходил сам, хотя еще и не обнаруживал вспышек против дворянства, к которому всегда чувствовал скрытную ненависть. — Потом написал он трагедию — «Марфа

*Ешь, пей, наслаждайся, после смерти нечего будет желать (*лат.*).

**отпущенный на волю раб или его сын (*лат.*).

***вольноотпущенник (*лат.*).

****родившийся от свободных родителей, благородного происхождения (*лат.*).

Посадница», которая, несмотря на похвалы Пушкина, не имеет никаких достоинств[12]. Но впоследствии написал он другую трагедию «Петр Великий». Содержание ее — суд над царевичем Алексеем Петровичем[13]. Это такая трагедия, которой по силе и верности национальных характеров в нашей литературе нет равной. Но так как в ней представлен заговор, а заговоров боялся Николай Павлович даже и в книгах, то он и запретил ее, надписавши собственноручно: «Память Петра Великого должна быть для нас так священна, что я нахожу неприличным представлять его на сцене, а потому и к напечатанию эта трагедия не может быть дозволена». — Так в царствование Николая Павловича пропадало у нас в литературе все высокое, оригинальное и сильное. Деспотизм любит уровень, посредственность и низость. Не знаю, почему нынче автор не издает этой трагедии: нынче ее пропустила бы с радостию цензура, потому что Петр Великий у нынешних наших умников виноват кругом перед Россией![14]

Демократическим копытом
Его лягает и осел:
Дух века вот куда зашел![15]

Но Погодин написал и издал еще одно драматическое произведение, которое, если бы принадлежало Пушкину, было бы и теперь в великой славе. Это — «Димитрий Самозванец, история в лицах»[16]. Эта драма, полная жизни и национальности, есть движущаяся живая картина времени. Она показывает, как ее автор напитался историей России, до той степени, что понимает ее не книжным образом, но инстинктивно, как современность. «Петр Великий» и «Димитрий Самозванец» достаточны бы были во всякой литературе, чтобы сделать навсегда известным имя автора. Но у нас великие авторы только те, об которых накричат, да и накричат журнальные приятели; нам нужен площадной шум и гарканье, чтобы мы догадались, что есть что-то замечательное.

Теперь скажу об нем как о профессоре истории. Сначала его чрезвычайно превозносили; под конец стали говорить, что он устарел. Это у нас участь всех людей, подвизающихся на публичном поприще. Впрочем, что он знаток истории, это неоспоримо, а о лекциях его судить не мое дело. Но как исторический исследователь он оставит о себе имя, которое никогда не забудется, несмотря на различие школ или толков. Он начал это поприще в 1825 году с диссертации о происхождении Руси[17]. Потом перевел исследования Эверса[18]. В 1836 году он издал небольшую книжку под заглавием: «Исторические афоризмы»[19], которая, кажется, не была оценена по достоинству, между тем как она есть произведение ума синтетического и глубокого понимания истории. Анализ гораздо большему числу людей приходится по

плечу: оттого он в науке и виднее; но я, признаюсь, ценю эту книжку как произведение ума более всего, что ни напечатал впоследствии Погодин об истории, хотя в последующих своих трудах он показал более подробностей в знании фактов и более ученого трудолюбия. Здесь смотрит он на историю с высоты, открывающей дальные ее пределы и общие отношения: только с этой высоты можно делать те сближения судеб народных и судеб человечества, которые сверкают в его афоризмах. Потом занялся Погодин преимущественно анализом, который составляет уже все продолжение трудов его. Так издал он 6 томов «Исследований о русской истории»[20]: здесь множество подробностей, касающихся до истории и географии России и до ее быта. Эта книга должна быть настольною для всякого, занимающегося русской историей, но она может служить только напоминанием, объяснением и указанием. Это подвиг трудолюбия, а не ума исторического. Наконец начал было Погодин писать полную историю России; но издал только норманский период ее истории[21]. Здесь опять показал он талант автора в том, что нашел тон и язык, совершенно приличные этому поэтическому и сказочному периоду: книга читается как поэма. Но всей русской истории так писать нельзя. И потому отрывки из позднейших периодов, помещенные им в «Москвитянине», например, об Андрее Боголюбском[22], все уже состоят из анализа и подробностей, совершенно не сходных тоном и языком с начальным трудом, то есть с норманским периодом, как будто это принадлежит другой книге и другому автору. Наконец, издавал он еще, с 1841 года, журнал «Москвитянин»; но об этом я скажу в своем месте, при рассказе о другом времени моей жизни и тогда возвращусь опять к Погодину. А теперь несколько слов еще о моих литературных занятиях.

Я писал и стихи, которые тоже отзывались в это время (1829) тем важным настроением души моей, которое выражалось в прозе. Упомяну о некоторых не потому, чтобы почитал их художественными произведениями поэзии, но потому, что они заключают в себе те идеи, которыми я был тогда наполнен, идеи, нынче уже не встречающиеся у наших стихотворцев. Мнимая народность, часто грязная и всегда пошлая и низкая, изгнала из нашей поэзии высокие помыслы человека.

В одном из этих стихотворений, «Смерть счастливца»[23], я изобразил, во-первых, как неверны наши понятия о праведности человеческой и как двусмысленна наша праведность; во-вторых, представил идею воздаяния за гробом как естественное истечение из самих законов бытия. Действие происходит и на земле, около гроба, и в мире духов, куда перенеслась душа отшедшего. Здесь суждения одного рода; там суд другого рода. Здешние основаны на видимости; тамошний на внутренних побуждениях души.

В другом стихотворении, «Исход блаженного»[24], изобразил я действительный пример кончины, рассказанный мне доктором Мудровым. Умирающий

читал псалом 114-й, начинающийся словами: «Рад я, что Господь услышал молитвенный глас мой», — и окончил словами: «Возвратись, душа моя, в покой твой; ибо Господь благотворит тебе!» — Он не договорил только последних слов псалма: «Буду ходить пред лицем Господним на земле живых!» — Эту пиесу написал я в противоположность первой: там — благоразумие и достоинство, уважаемое миром; здесь — простота и спокойствие души, уповающей и блаженной.

Стихотворение «Бессмертие»[25] написано мною было вот по какому случаю. Я был вечером у дяди; у него же был прежний начальник мой, Малиновской. Не знаю, как речь коснулась бессмертия души. Оба старики оказались при этом вопросе совершенными младенцами и вполне несостоятельными философами осьмнадцатого века! Оба не знали, с которой стороны приступить к его разрешению, и оба кончили сомнением неизвестности, то есть что можно думать и так, можно и эдак; может быть, бессмертие души и есть, а может быть, его нет! Меня взволновало жалкое сомнение двух стариков, столь близких к тому берегу жизни, где разрешается эта задача, и оказавшихся столь слабыми при этом вопросе потому только, что их ум, занятый земными благами, никогда не занимался подобными вопросами. Малиновскому было это еще более неизвинительно, потому что он, будучи сам из духовного звания и учившись в духовных училищах, конечно, имел всю возможность слышать доказательства и pro и contra*. Взволнованный и исполненный глубоких мыслей, возвратился я домой, и плодом этого было стихотворение «Бессмертие».

Наконец, я должен упомянуть еще об одном стихотворении, по странному чувству, которое произвело его. Я был совершенно счастлив в новой моей супружеской жизни, хотя и не мог забыть первой жены моей. Я не мог забыть ее; однако это чувство было не более как религиозной памятью о душе отшедшей. Вдруг, среди счастия действительной жизни, превратилось оно опять, хотя, правда, на несколько мгновений, в самое живое чувство любви к умершей, как бы к живой. Оно-то выразилось в стихотворении «Вера любви»[26]. Что я обнаружил в нем стремление сердца к соединению с нею в будущей жизни, это еще понятно; но в нем выразилось даже чувство ревности к духам, которые видят ее перед собою, ту, которую я не смел и помыслить ревновать к кому-либо и во время земной ее жизни. Вот этот куплет:

Хоть улыбнися мне улыбкой той небесной,
Которой на земле ты улыбалась мне:
Ты, просветлевшись в той стране,
Стократно сделалась мне, кажется, прелестной!
Преступной завистью киплю я к тем духам,

*и за и против (*лат.*).

Которых предстоишь всечасно ты очам,
Которым, может быть, как мне, необходима!
Быть может... кем-нибудь из них ты и любима!

Это было что-то необъяснимое и для меня самого! — Вторая жена моя, Анна Федоровна, прочла первая эти стихи, подивилась, но они нисколько не потревожили ее сердца. Другая обиделась бы столь живым чувством ее мужа к первой жене его, а она, с чистою своей душою и прямым умом, видела в этом только силу любви, к которой способно мое сердце, и залог привязанности моей к ней.

О других стихах моих, написанных в это время, не стоит говорить. Если я упомянул об этих четырех стихотворениях, то и это не по особому их достоинству, а по отношению ко мне и к тогдашнему расположению души моей.

В том же году, в 1830-м, Анна Федоровна уговорила меня издать вместе все мои стихотворения. Я бы, может быть, не решился на это по недостатку времени собрать их; но она переписала их все своей рукою. С ее четкой рукописи можно было уже снять копию для ценсуры и для отдачи в типографию, и они были изданы в типографии Семена[27] в двух томах[28]. Теперь они забыты, да, может быть, и стоят того, но тогда они продавались, и издание скоро окупилось.

Я сказал уже, в каком настроении была в эти годы мысль моя; этому соответствовало и чтение. Я весь был углублен в мысли о Боге, человеке и натуре, в загадочное состояние человека на земле в отношении внешнего мира к духовному. В это время был нашим медиком знаменитый доктор медицины Матвей Яковлевич Мудров. Он иногда езжал к нам вечером отдохнуть от своих дневных визитов, отдыхал у меня в кабинете на диване и любил разговаривать со мною о вышеописанных предметах. Он был масон и был принят по рекомендации А.Ф. Лабзина вот каким образом: когда он, будучи еще лекарем, отправлялся в чужие краи и должен был ехать через Ригу, Лабзин дал ему письмо к некоему Гюне, который его и принял[29]. Да позволено мне будет сделать небольшое отступление об этом замечательном в своем роде человеке. Он был обер-офицер в войске, которым командовал князь Николай Васильевич Репнин[30]. Князь Репнин никогда не был неверующим, но был равнодушен к религии, не почитая ее за необходимость. Однажды, стоя у обедни в походной церкви и обводя глазами по сторонам, заметил он, при самом входе в палату, офицера, который плачет. Так как он был от природы благотворителен, то, выходя из церкви, он пригласил офицера прийти к нему. Там, принявши его в кабинете, он спросил его наедине, не огорчен ли он чем по службе или не имеет ли нужды в деньгах, и прибавил, что он готов оказать ему всякую помощь. Офицер, почти ему неизвестный, отвечал, что он не имеет ни в чем нужды и что по службе тоже не испытал ника-

ких неприятностей. — Репнин удивился. — «О чем же, — спросил он, — плакали вы за обедней?» — Офицер (это был Гюне) отвечал ему, закрасневшись: «Как же было не плакать? Вы слышали, что читали в Евангелии: меня это растрогало!» — Репнин пуще удивился и просил офицера почаще навещать его. С ним начал он беседовать о христианстве, полюбил его и сделал своим адъютантом. А Гюне обратил его и принял в масоны. С этого времени князь Репнин получил ту наклонность к истинному благочестию, которым он впоследствии был столь известен. После него остались даже некоторые сочинения его о религии, например: «О трех началах возрождения», статья, напечатанная после уже его кончины, в «Сионском вестнике»[31]. Все это было плодом его обращения и знакомства с Гюне.

К нему-то Мудров был адресован Лабзиным и им был принят в масоны. Вот за что он так чтил Лабзина и признавал его гласно не менее как своим благодетелем. В последствии времени, проходя далее по этому поприщу, он получил и сам высокие степени и имел право уже и сам открыть ложу, которой был великим магистром; но открытие этой ложи случилось перед самым запрещением лож, в 1822 году, и успела только один раз сбираться. Я не знаю имени этой ложи; когда я спросил об нем, Мудров отвечал просто: «Ложа Св. Иоанна», ответ общий, когда не хотят назвать ложи: так принято, потому что все ложи первых трех степеней называются иоанновскими, следовательно, ответ истинный и удовлетворительный, и спрашивать более нечего.

И так разговаривая со мною часто о важнейших предметах, относящихся до религии, и видя, что я читал много книг, так называемых мистических, Мудров сказал мне однажды: «Я вижу, что чтением, а более размышлением, вы постигли многое и углубились сами собою в некоторые тайны; но без руководства можно опасаться, чтоб вы не впали и в заблуждения: ибо в таких предметах истину с мечтательностию различить иногда трудно, когда и то, и другое остается в полусвете. Ничего нет хуже, как знать вполовину. Я вам скажу откровенно, что вам знакомы некоторые истины, известные только в масонстве, чего вы и не подозреваете. И потому вам необходимо быть приняту правильно. Скажу вам, что я говорил об этом с некоторыми из старших братьев и, между прочим, с Николаем Александровичем Головниным[32], что за вами давно наблюдают и следят за вашими свойствами[33]. Они есть того же мнения и принять вас согласны».

Так или почти так говорил Мудров. Я решился. Один раз вечером он приехал ко мне, открыл Библию и, надев свои регалии (les joyaux), как следует, принял меня в первую степень, открыл слово, знак и прикосновение и даже оставил у меня на некоторое время акты этой степени, что, впрочем, по статутам, и не позволялось. Это было 20 июля 1830 года, в день Св. пророка Илии, на Молчановке, в доме Пикулина[34]. Далее я не нахожу нужным распространяться об этом; скажу только, что истина занимавших меня

предметов сделалась мне яснее по той аналогии телесного, видимого мира с духовным, до чего светская наша ученость и не касается.

Мудров был человек очень умный и глубоко верующий: вся жизнь его свидетельствовала об этих двух качествах. Как медик он имел кроме знания и опытности тот орлиный взгляд, который разом проникает в причину и седалище болезни, и в то же время он приступал к лечению всегда с внутреннею молитвою. Даже в заголовке своих рецептов он всегда ставил *альфу* и *омегу* как символ имени Божия, признавая, что он начало и конец всего и что от Господа врачевание. В масонстве он, конечно, знал много, ибо имел высокие степени; но в то же время я не мог не заметить впоследствии, что в этом роде его знания ограничивались только тем, что́ ему открыто, а собственным размышлением, собственною работою ума (что не только дозволяется, но и требуется) он проникал неглубоко: это был не Лабзин, который соединял в уме и верхнее, и нижнее и был деятельным и полным хозяином своего умственного приобретения, приобретая более и более. Лабзиных между людьми немного! — Впрочем, и то надобно сказать, что практическая жизнь врача не оставляла Мудрову времени для умственных работ другого рода. Он много потрудился для страждущего человечества, и память его да будет в благословениях!

Александр Дмитриевич Курбатов еще прежде меня и, кажется, гораздо прежде вступил в орден. Я описал отчасти его разгульную молодость. Вдруг начали мы замечать в нем совершенную перемену. Он удалялся от нашего веселого общества; потом, в одно из моих отсутствий из Москвы, он переехал с Тверской, где жил с матерью и сестрою, на Пятницкую улицу, где был дом его дяди, Александра Петровича Курбатова, с которым вместе жил и сын его, Петр Александрович[35], со своим семейством. — Там построили ему на дворе маленькой особый домик, в котором и помещался он один с своим камердинером. Из всех нас в продолжение многих лет он видался почти только со мною, и то редко. Я у него бывал тоже из всех один, но чаще, чем он у меня. Все его разговоры, прежде неистощимые в веселости, обращались теперь на одни важные и религиозные предметы, что согласовалось и с моим настроением духа, с тою только разницею, что я не чуждался ни прежних знакомств, ни прежней веселости. Занятия Александра Дмитриевича состояли в это время в переводах с немецкого языка, и нельзя было не удивляться постоянству в труде этого, прежде ветреного и тратившего жизнь в пустяках, веселого нашего товарища. В продолжение немногих лет он перевел и издал: Иоанна Арнда «О истинном христианстве», четыре тома и один том его поучений[36]. Так изменился он в короткое время. Многие находили его скушным; но мне сделался он еще драгоценнее: ибо к чувству дружбы присоединилось и чувство уважения к силе души, овладевшей прежними слабостями. Прежде позволял он себе шутки даже о предметах важных; те-

перь был весь наполнен религиозным чувством и не позволял себе даже намека, похожего на прежнее. Правда, спустя много времени после этого, он опять было несколько пошатнулся, но не в вере, не в религиозном чувстве, которое сохранил до конца своей жизни.

Это подает мне случай сказать несколько слов о масонстве. Его благотворное действие на человека обнаружилось вполне над Курбатовым, который хотя никогда не был дурным человеком, но был до излишества предан удовольствиям чувств и удовлетворению своих природных наклонностей своего пылкого темперамента. — Что же это за учение, имеющее такую силу? — Я думаю, что сила его состоит, кроме очевидного, так сказать, ощутительного убеждения в истине христианской религии и кроме требования точного исполнения нравственных, так называемых, должностей еще в единодушном и постоянном стремлении многих к одной цели. Оно составляет, так сказать, замкнутый круг, в котором недаром называются все братьями. Это одна семья, с одними общими интересами, под одною главою, которой члены работают к взаимной пользе, и, как бывает в семье, так и у них жизнь и действия взаимно известны. По крайней мере, так должно быть между братьями. Нет власти сильнее этой. Одно слово великого мастера останавливает дурной поступок или даже побуждение и без всякого возражения. Масон, где бы он ни был, везде находит братьев и, в случае нужды, помощь. Князь Дмитрий Владимирович Голицын рассказывал, что однажды, во время или после сражения, казаки напали на раненого французского полковника и хотели обобрать его. Он сделал знак опасности (le signe de la détresse) и вскрикнул слово, употребляемое при этом случае. Князь подскакал к нему и удалил казаков. Раненый поручил князю деньги и бумаги, хранившиеся у него в кармане, и просил, как брата, доставить их, по адресу, жене его. Князь, по взятии Парижа, отыскал ее и исполнил поручение. — Но имя исключенного из братьев будет известно по всей земле, где только находятся ложи; он ни в одну не будет уже допущен и вместо братства останется чужим. Единодушие есть именно сила. Масоны не лучше других людей, но учение их открывает и теоретически, и практически все средства быть лучшими: и кто ими воспользуется, тот непременно будет лучшим человеком и христианином.

Я говорю о истинном масонстве, которое всегда чтит Государя и законы своей страны и никогда не будет противником и нарушителем порядка. Конечно, в учреждениях человеческих всегда есть человеческое. Может быть, некоторые и масонские ложи превращались в политические общества, но истинные масоны всегда отвергали таковых и по мере сил своих всегда противодействовали им, по крайней мере, нравственно. И потому напрасно уничтожили у нас масонство: это не иезуиты, не status in statu*, а элемент

*государство в государстве (*лат.*).

охранительный. Если б оно существовало и было в силе, вероятно, не было бы бунта, ознаменовавшего кончину Александра Первого, потому что, вероятно, многие из недовольных принадлежали к масонству: их бы удержали и не допустили. Но тайные политические общества существовали, а религиозное общество людей, покорных закону и известное правительству, было уничтожено. С его учением упало учение долга, беспокойная любознательность ума не имела здоровой пищи, а наклонность к тайне, свойственная душе человеческой, обратилась к другому и от внутреннего к внешнему. Не распространяясь далеко, я постараюсь объяснить мою мысль очевидным расчетом: ибо мы живем в веке расчетов. Положим, что ложа собиралась раз в неделю. Это составит в год пятьдесят дней, или седьмую часть года. Итак, пятьдесят дней в году молодой человек или человек лет зрелых вместо рассеянности и пустых толков слышит только о религии, о добрых чувствах и вообще о предметах, важнейших для человека. Одно это должно уже производить сильное действие: ведь это составит седьмую часть жизни, посвященную важным беседам. Образцы этих бесед можно видеть в «Сионском вестнике», ибо многие из его статей суть не что иное, как беседы, произнесенные в ложе. Другие, не менее важные, имеют предметом нравственное усовершенствование человека и указывают на ближайший путь к одному. А взаимный, необязательный, но, так сказать, дружеской надзор, надзор братского участия, которому добровольно подвергается нравственное чувство каждого истинного брата? Где вы его найдете в светском и политическом мире? — Если бы существовало у нас масонство в прежней силе, вероятно, и нынешнее освобождение крестьян от крепостного права произошло бы не так и утвердилось бы на других, прочных и безобидных основаниях: молчала бы ненависть к дворянству и не допустили бы угодников власти предательски выдать нас головою за удовлетворение своей служебной корысти[37]; не допустили бы обобрать у нас собственность и разорить крестьян поборами на мнимое самоуправление, оставив их беззащитными без нашего патронства[38]. Заключаю применением к масонам двух стихов старинного нашего поэта:

Не сетуют они, богаты или бедны;
Пекутся о душах: сии ли люди вредны?[39]

Возвращаюсь теперь за год назад и к предметам семейной нашей жизни. В 1829 году, 27 октября, семья наша умножилась рождением сына Федора[40]. Он родился в том же доме, в котором за год до того родилась у нас дочь; мы жили тогда на Зубовском бульваре, в доме генеральши Куприяновой. Нечего и говорить, какая для нас была радость. Мы дали ему имя в честь отца Анны Федоровны, а его деда.

Теперь этот сын и сам уже в зрелом возрасте и профессором в Московском университете. Вот как идет время! — По поводу его я сделаю вот какое замечание. Я сказал уже, что в эти годы я был предан важным мыслям и вообще настроению духа, стремящегося к предметам, требующим глубокого размышления. Как будто соответственно тому и этот сын мой оказался способным к наукам и к работе мысли. Он теперь известен между нашими учеными своей книгой[41] и своим знанием. Неужели настроение души отца имеет влияние и на свойства души младенца? — Этот вопрос есть, может быть, не пустой предмет любопытства, а имеет основание гораздо глубже и ведет, может быть, к размышлению о натуре души человеческой. Наша психология и физиология стоят одна от другой особо; а они тогда были бы совершенны, когда бы объясняли одна другую. Из всех ученых сочинений, читанных мною, я не находил полнее и глубже Шубертовой «Истории души»; но она-то, кажется, и не известна нашим ученым и читателям. По крайней мере, я не встречал нигде, ни в журналах, ни в книгах, чтобы об ней упоминалось. Причина пренебрежения наших читателей к этой книге заключается, я думаю, в том, что она слишком далеко заходит в область духа, которой мы не любим и которая кажется дикою нашей ремесленной учености. Наша ученая психология не различает души и духа, а занимается только первою и ограничивается одними ее внешними отправлениями.

В 1830 году, летом, мы переехали в другой дом: на Молчановку, в дом, бывший доктора Пикулина. Летом же этого года открылась в южных губерниях холера, которая подвигалась быстро и шла по пути к Москве. Путь ее замечался больше по течению рек, хотя иногда появлялась она, минуя и перескакивая большие пространства.

Всеобщий страх предшествовал в Москве этой болезни; ее ожидали с трепетом, получая известия о ее приближении; с ужасом узнали вдруг, что она появилась в столице! То, чего ожидали наверное, поразило, как неожиданность: ибо в самом верном бедствии человеку свойственно утешать себя надеждою! — Сначала полагали ее заразительною и прилипчивою: довольно было и этого, чтобы бояться ее, как эпидемии; но главная и самая основательная причина страха состояла, во-первых, в столь быстром ее действии, что не успевали подать помощь, во-вторых, в том, что сами врачи не знали, что это за болезнь, были не согласны между собою ни в ее свойствах, ни в способе лечения, и потому каждое лечение было более или менее опытом над больным и над болезнию.

Страх и недоумение, произведенные в Москве появлением холеры, можно выразить только теми простодушными словами наших летописей, которыми говорят они о черной смерти или о других бедствиях, посылаемых Провидением: что это такое и откуда?[42] — Ответом была неизвестность; одно верно: что это было послание Божие!

Но москвитяне оказали себя и в этом случае, как всегда оказывали они себя в дни народных бедствий, то есть верою и самоотвержением. Немедленно Москва была разделена временно на части; в каждой устроена была больница; к каждой больнице приписаны были медики из главных докторов столицы с помощниками из лекарей; и каждой части был дан особый временный начальник, заведовавший больницами и всем, относящимся до больных и занемогающих в его округе, особенно из небогатых жителей простого класса. И в те, и в другие должности пошли люди, известные в обществе, и не только пошли добровольно, но бросались с самоотвержением, несмотря на то, что сначала общее мнение уверено было в заразительности холеры, следовательно, самоотвержение их было не только не безопасно, но они могли думать, что идут на верную смерть[43].

Сам Государь Николай Павлович оказал и в этом случае подвиг бесстрашия, которое действительно всегда в нем было: он прискакал в Москву, в зараженный город. Хотя распоряжения его оказались не совсем соответствующими цели, но самое присутствие его придало духу и потому было полезно[44]. В первый же день его приезда князь Дмитрий Владимирович, бывший уже у него прежде всех, явился во дворец со всеми начальниками частей. Государь вышел и проговорил наскоро: «Господа! Я уже сказал князю, какие нужно сделать распоряжения, а именно: Москву оцепить; части и кварталы также; церкви закрыть, кроме обыкновенной службы, и проч. Он вам объяснит мою волю!» — Проговоривши это решительным тоном, как команду, он повернулся и ушел. — Не успел еще он затворить за собою дверей, как все начальники частей бросились к князю и сказали ему в один голос: «Князь! Это невозможно! Будет бунт!» Князь отвечал вполголоса: «Молчите, господа! Ничего этого не будет! Я сделаю по-своему!» — Государь уехал, а князь, правда, оцепил Москву и велел впускать в нее только с необходимыми припасами, но церквей не закрыл и все прочее оставил как было. Но судебные места были закрыты.

Печальное было время и плачевное зрелище! Только и слышно о числе умерших или имена умерших знакомых людей. О ходе болезни и о числе ее жертв издавались в то время особые печатные листочки[45]: эта мысль, если не ошибаюсь, принадлежала Погодину. Эти бюллетени приносили по крайней мере ту пользу, что объявляли всю правду, противодействовали ложным или преувеличенным слухам. Надобно сказать к чести начальствовавших лиц во время болезни, что помощь подавалась мгновенно, медики по первому приказу являлись в домы немедленно, а в временных холерных больницах принимали безостановочно[46]. Но тем не менее медики надеялись более на свое соображение и на удачу, а не на положительные законы науки: ибо болезнь была новая и неизвестная. И потому гробы и фуры с мертвыми телами ехали беспрерывно и встречались повсюду! — Едучи чрез Арбатскую площадь, я

видел у бывшей там часовни целую гору новых гробов, приготовленных для требователей.

В пище сделались все умереннее и осторожнее; пили херес, который с этого времени вошел в употребление и заменил прежнюю мадеру; во всех домах курили хлором. Но все эти предосторожности, само собою разумеется, могли приниматься и исполняться только классом людей более образованных, лучше понимающих пользу и имеющих более средств. И потому холера более свирепствовала между простым народом, между крестьянами, мещанами и ремесленниками, и в этих норах, где живут бедные, где люди теснятся кучами, в темноте, духоте и сырости; а их в столицах много! — Вначале холера косила людей, как траву, в ужасающем количестве, но мало-помалу, к осени, стала сама собою утихать; наконец, и больницы одна по одной стали закрываться[47].

Я сам испытал на себе эту болезнь в сильной степени, но еще не доходившей до судорог. В день Казанской Божией матери, 22 октября, жена моя поехала к обедне, а я, не знаю почему, остался дома, но был совершенно здоров. За четверть часа до ее возвращения со мной сделалась холера, а когда она возвратилась, меня уже нельзя было узнать: так исхудал я, и так переменился у меня цвет лица, которое потемнело и помертвело. Бросились за докторами: трое приехали в испуге. Между прочим, сажали меня в сухие паровые ванны[48], от которых почти жгло, а от пару захватывало дух. В это время жена моя была беременна; кроме того, от испуга она была совершенно не в состоянии ходить за мною. Тут-то сестра ее Анисья Федоровна показала и ей, и мне всю свою дружбу и все свое самоотвержение. Она не отходила от меня не только во время самой болезни, но до самого последнего выздоровления. Она посылала Анну Федоровну отдыхать, а сама не спала все ночи и на все время моей болезни переселилась к нам и не отходила от меня ни на минуту и в то же время поддерживала слабость духа и робость сердца в сестре своей. Такие доказательства участия не забываются!

В Симбирске обнаружилась холера прежде, чем в Москве[49]. Услышав о ее приближении, тетки мои, Надежда Ивановна, Наталья Ивановна и сестра моей матери Елена Александровна бежали от нее в Москву. Но холера их предупредила. Они едва успели доехать до Богородска[50], уездного города, отстоящего от Москвы в пятидесяти верстах, как узнали, что Москва уже оцеплена и въезд ее задерживается карантином. Несколько времени прожили они в Богородске, пока наконец дозволено им было въехать. Не помню, было ли это по снятии застав или последовало вследствие особого разрешения, но наконец они прибыли в Москву. — Дядя Иван Иванович нанял для двух сестер неопрятный домишко поблизости своего дома, в переулке, идущем с Спиридоновки на Патриарший пруд; а тетка моя Елена Александровна Пиль переехала жить к нам, где для нее нашлась особая комната. Ната-

лья Ивановна и прежде была в Москве; она же была всегда смелее и самонадежнее других; но две другие мои тетки скучали в Москве, как в заключении. Над ними я вполне увидел, что удобство и место ничего не значат в сравнении с привычкой. Впрочем, в их временном московском житье нельзя было похвалиться и удобством. Елена Александровна, жившая у нас, имела и помещение удобное и была всем обеспечена, но и она была недовольна, чувствуя себя не на месте. Они протянули в Москве до лета 1831 года и возвратились восвояси, к своим провинциальным пенатам.

Наконец, по окончании холеры, назначено было всеобщее молебствие. Митрополиту Филарету хотелось обойти крестным ходом всю Москву, то есть вокруг всей Москвы, но это было невозможно по ее пространству: ибо окружность Москвы составляет более сорока верст. Он, однако, придумал прекрасное и удобное средство: он назначил, чтобы в один день, после литургии, каждый священник обошел крестным ходом границы своего прихода с своими прихожанами. Таким образом в один час была обойдена вся Москва, и без этой толкотни и народной давки, которая всегда сопровождает у нас процессии и отнимает у них характер чисто религиозный; здесь, напротив, много способствовало умилению и то, что небольшая кучка людей, следующих за крестами, вся состояла из братьев одной паствы, из жителей одного прихода, более или менее знающих друг друга и обходящих свои собственные жилища. Это был единственный крестный ход и по исполнению, и по чувству участвующих, и по умилительному зрелищу двух соседних церквей, встречающихся каждая с своими прихожанами. Мысль и исполнение ее были достойны такого святителя, как митрополит московской. Это происходило, если не ошибаюсь, 12-го числа октября[51].

Много было писано тогда и после о холере знаменитыми и учеными врачами Москвы. О ней выдали свои наблюдения и советы: Мудров, Мухин, Поль, Рейс, Иовской и другие[52]. Медицинской департамент выдал книжку «Об индийской холере», а медицинской совет наставление о лечении ее[53]. У меня сохранились все эти книжки, которых ныне, я думаю, не находится уже в продаже, или они забыты, как произведения случайные. У нас все забывается, и ничем не дорожат люди; между тем как это — горячий след своего времени и современный памятник одной из важных эпох нашей жизни. Из всех этих и других сочинений о холере оказывалось, что свойства и признаки нашей и индийской холеры различны, почему и лечение ее должно быть иное. После всех профессор Павлов (Михайла Григорьевич) как доктор медицины напечатал в своем журнале «Телескоп» «Философический взгляд на холеру», замечательный по основаниям, взятым из философии натуры (Natur-philosophie) Оккена, и по его выводу, который состоял в том, что «холера есть расстройство растительного процесса в теле животном без изнеможения животной системы»[54]. — Этот новый взгляд был мало замечен и оценен практическими врачами как основанный на теории и, сверх того,

на началах философии, не всеми принятой и немногим знакомой; но он заслуживал бы внимания практиков как руководительная нить науки. — Вот все, что я считал нужным сказать о холере. Она пришла и прошла, как все человеческое приходит и уходит: сперва шум, потом забвение; сперва страх и молитва — потом пустяки и пошлые веселости ежедневной жизни.

Разве прибавить одно: старый и слепой московской поэт, Николай Михайлович Шатров, воспел это время в стихах, исполненных, как и все его произведения, благочестивого и религиозного чувства. В них изобразил он каждый месяц бедственного времени особо, но это не дидактическое, а лирическое произведение и, по всей справедливости, не лишенное жизни и силы[55]. А красивость его выражения известна.

Жизнь наша после холеры и после рождения сына пошла своей обыкновенной чередою. Правда, к обыкновенной тревоге, сопровождающей происшествия подобного рода, присоединялось отсутствие врача нашего, Матвея Яковлевича Мудрова, который по случаю холеры сперва был отправлен в Казань, потом в Петербург. Он был незаменим не только по своему искусству, но и по нашей к нему привычке и по усердию его к нашему семейству. Как врач, кроме науки и опытности, он отличался еще верностию и простотою взгляда на болезнь; проницательным оком ума он мгновенно определял причину недуга и действовал на нее непосредственно и уверенно. Лекарств многосложных он не любил; все, предписываемые им, были обыкновенно просты и недороги. Он не поражал болезнь, а ограждал натуру больного. Я помню, он говаривал мне о своей методе: «Я на болезнь не нападаю; что мне до ней за дело: пускай идет своим порядком! Я от нее только отстреливаюсь и защищаю больного!» — Вместе с этим его благочестие и твердая воля много действовали к облегчению страждущего. Другого Мудрова не было и не будет!

А между тем и у него были враги. Завистливая посредственность называла его лечение *алтейной методой*[56], потому что он врачевал легкими и простыми лекарствами; аптекари говорили, что если бы все лечили по его методе, то им пришлось бы закрыть аптеки, а злость выдумывала на него, что он пьяница. Между тем пациенты его выздоравливали и были им довольны; а сам он был человек примерной умеренности в пище и питье. Сколько раз случалось мне приезжать за ним вскоре после его обеда или перед его вечерним сном: он всегда был готов ехать к больному по первому призыву и всегда с свежею головою. Но истинное достоинство всегда возбуждает зависть: особенно у нас, народа, мало расположенного к уважению. Мы желаем не сами возвыситься до нравственной высоты другого, а чтобы другой унизился до нашей пошлости. Что делать! Я признаюсь, что я невысокого мнения о характере нашего народа! У нас теперь освободили крепостных людей от рабской зависимости, но все мы не освободились от рабства инстинктов: они срослись с нашей натурой!

После поездки в Казань и другие низовые губернии Мудров был потребован, тоже по случаю холеры, в Петербург и там кончил жизнь свою, сделавшись сам ее жертвою[57]. В следующем году, когда дошла нам нужда до врача, по случаю новых родов и болезни жены моей, я испытал, к моему несчастию, каково быть без Мудрова, но об этом я буду говорить в своем месте.

Здесь я должен упомянуть об одном новом знакомстве, которое приобрели мы случайно, но которое осталось прочным и одним из самых приятнейших и умнейших. К нам приезжала пензенская родственница моя Бекетова[58]; мы с женою поехали сделать ей визит. Оказалось, что она остановилась на Басманной, у Левашовых, старинных знакомых моего дяди, об которых, однако, я от него и не слыхивал[59]. Сколько мог бы я, особенно в первой молодости, извлечь для себя полезного и приятного из обращения с людьми, если бы он хотя сколько-нибудь вводил меня в хорошие общества. Но я, живучи у него в доме, жил совершенно одиноко, как какой-нибудь постоялец: он никогда не хотел доставить мне средство быть в обществе и тем содействовать моей светской образованности. Я людей отыскивал сам и был всем обязан самому себе. Мудрено ли, что долго я был робок, застенчив и неловок! — Хорошо еще, что я, по неопытности моей, не нападал на дурные и вредные знакомства! Может быть, сама робость меня от них отдаляла.

Семейство Левашовых составляли: Катерина Гавриловна, муж ее Николай Васильевич, ее мать Катерина Андреевна и две молоденькие дочери, Эмилия и Лидия: обе много лет спустя после этого вышли замуж, первая за барона Дельвига, а вторая за графа Толстого[60]. Но зерно семьи и главное лицо в ней была сама Катерина Гавриловна. Муж ее был человек добрый и благоразумный, но довольно простой и обыкновенный, между тем как она была ума зрелого, образованного и чрезвычайно приятного и разнообразного. Она много читала, и разговор с нею был неистощим в предметах, всегда нов и разнообразен, всегда исполнен умных замечаний и никогда не был нисколько натянут и утомителен, ибо все это было без малейшего педантизма, в котором всегда упрекают ученых женщин. Дело в том, что она была совсем не ученая женщина, а серьозно образованная и проводившая через собственный процесс мысли все, что она знала и читала. Ни одно новое замечательное произведение европейского ума не было ей чуждым, но все находило в ее уме и приличное место, и правильную оценку. А в это время много появлялось, особенно во Франции, новых систем и новых учений: появились книги аббата Ламене, система барона Экштейна и учение сен-симонистов[61]. Знакомство с такой женщиной было истинным приобретением жизни. У ней же познакомился я с Чаадаевым[62]; но я сблизился с этим замечательным человеком гораздо позже и потому буду говорить о нем в другом месте. Анна Федоровна знала истинную цену достоинства и потому так же, как и я, очень дорожила знакомством с Левашовой. Кажется, это было зимою, между 1830 и 1831 года.

В этом же году судьба наконец потешила меня и по службе. В ноябре 1831 года приехал в Москву Государь[63] и с ним Дмитрий Васильевич Дашков, министр юстиции. Я явился к нему, и он с первого слова сказал мне: «В нынешний приезд Государя я намерен представить вас к награде». Поблагодаривши его, я сказал ему, что о награде не почитаю себя вправе просить его, но вполне считаю себя в праве просить о перемене места и помещении меня за обер-прокурорской стол. Дашков сказал, что он «готов исполнить мое желание, но что есть предположение управлявшего министерством князя Долгорукого[64], чтобы за обер-прокурорским столом было только по одному чиновнику. Это предположение, — прибавил он, — не утверждено законом, но Государь его держится. Я хлопочу об отмене его, и, если успею, вы получите непременно это место. Я знаю, — сказал он еще, — что вы недовольны должностию советника палаты, но скажу вам в виде совета, что нельзя обижаться, если не всегда принимаются наши мнения. Скажу вам еще откровеннее, что и мои мнения не всегда уважаются в Комитете министров». — Я отвечал на это тоже откровенно: «Ни один благоразумный человек, — сказал я, — к числу которых я осмеливаюсь причислить и себя, не будет этим обижаться; следовательно, есть другие причины, о которых позвольте мне умолчать перед вашим высокопревосходительством». — Он вполне понял, что я не хотел говорить о взятках, подьячестве и других мерзостях, и обещал мне место при первой возможности.

Между тем я справился у его правителя канцелярии, какую награду хочет министр мне выпросить, и узнал, что камергерство. Мне больше хотелось Анны на шею, потому что в том кругу, в котором я обращался по службе, эта награда была виднее, и очень было заметно, что один я не имею этого отличия. Я бросился рассказать все это дяде и просил его похлопотать об Анне; но он считал камергерский ключ важнее, что и действительно так, и потому не согласился.

В этот приезд Государя было пожаловано четыре камергера: Шеншин[65], Загоскин, князь Лобанов-Ростовской[66] и, после всех, я. — Мы все разным образом получили это звание. — Лет через пятьдесят, когда все наше будет исчезнувшим преданием, я думаю, будет интересно узнать, как это делалось в наше время, и что теперь в порядке вещей, то, может быть, будет предметом любопытства как черта времени. Наши обычаи, служба и все переменяются у нас быстро, и с каждым царствованием Россия и ее народ переделываются заново, и на всем лежит печать скоропреходящего времени, которое едва успевает накладывать свой штемпель: эта печать времени есть царская воля, нрав и каприз Государя. И потому я опишу пожалование каждого из нас, четырех камергеров.

Шеншин служил по тем родам службы, которые не требуют ни большого труда, ни больших способностей, но своего рода ловкости, заботливости

и уменья, именно по каким-нибудь учебным или благотворительным заведениям. Здесь требуется наружный, легкий надзор, но в случае приезда Государя главное дело — вычистить комнаты и торчать в заведении с утра до вечера на случай его посещения: тут успех будет верный. Шеншин был номинальным начальником какого-то из подобных заведений; Государь осматривал его, был очень доволен наружным порядком и чистотою комнат и тут же сказал князю Голицыну: «Шеншина в камергеры!» — Князь отвечал: «А я хотел было просить ему другой награды у вашего величества: производство в коллежские асессоры, потому что он, не имея университетского аттестата, остается в чине титулярного советника». — «Что же! — возразил довольный Государь. — Можно и то, и другое». — Таким образом Шеншин получил вдруг и чин, и звание камергера.

Загоскин получил то же звание по другому случаю. Это — страница из придворной истории, которую непременно надобно сохранить для потомства. — В этот приезд Государя в Москву со всей царской фамилией при дворе были маленькие вечера, на которые приглашались только люди близкие и на которых занимались между прочим разными играми: в кошку и мышку[67], в соседи[68] и проч.

Государю сказали, что актер Щепкин мастерски импровизирует пьяного. Он захотел сделать сюрприз Императрице и приказал министру двора, князю Волхонскому[69], чтобы на такой-то вечер был готов Щепкин и вошел неожиданно в круг играющих в виде пьяного[70].

Князь Волхонской, думая, что надобно сохранить предварительный этикет двора, спросил Государя: «Кому же прикажете его представить?» — «Вели просто привезти его с собой директору театра», — отвечал Государь. (Загоскин в это время был уже директором театра.) — «Да он сам не имеет входа ко двору», — возразил князь Волхонской. — «Это легко поправить, — сказал Государь. — Скажи ему, что он камергер!» — Так Загоскин сделался камергером.

Князь Лобанов служил, как и я, советником уголовной палаты, только в другом, во 2-м департаменте. По просьбе брата его, сенатора, князя Ивана Александровича[71], и его представил к этой награде непосредственный наш начальник князь Дмитрий Владимирович Голицын. По крайней мере, это представление было в служебном порядке и имело вид действительной награды.

Но так как за меня никто не просил, то обо мне и забыл князь Голицын, хотя очень знал и сам не раз говорил мне, что я обижен по службе, не получивши два раза должности председателя. Когда я на другой день приехал в палату, председатель Марков, всегда недовольный моей оппозицией, сказал мне эту новость с очевидным желанием уколоть меня. — А я, знавши уже наверное от самого министра юстиции, отвечал на это хладнокровно: «Что же! Нынче камергер князь Лобанов, а завтра, может быть, будет другой!» —

«Ну, это еще Бог знает!» — возразил с улыбкою Марков. — Признаюсь, тут я рад был предстоящему камергерству: меня задело за живое! — Но как же был удивлен и раздосадован председатель, когда я, приехавши на следующий день в палату, сказал ему: «Поздравьте меня! И я камергер!» — Он едва поверил: так скоро сбылось мое предсказание.

Сколько раз случалось, что меня представляли к наградам мои сильные начальники и, несмотря на все вероятности получения, мне не удавалось! А в другой раз — и не думаешь, а все пойдет, как по маслу. Так было и в этом случае. Дашков подал обо мне записку Государю 22 ноября, и он тут же написал на ней: «Согласен!» На другой же день, 23 ноября, был поднесен и подписан указ, а 24 числа было мне об этом официально объявлено. На все есть своя минута. Как не вспомнить Шиллера:

Aus den Wolken musz es fallen;
Aus der Götter schosz das Glük
Und der mächtigste der allen
Herrschen ist der Augenblick!*[72]

Жена моя и все ее семейство были обрадованы, как торжеством. Дядя Иван Иванович тоже принял это с искренним удовольствием: я думаю, ему казалось, что я вырос и поумнел и вообще сделался достойнее его родственного благорасположения. — Мы с женою поехали в этот день к Вельяминовым обедать: были именины матери Анны Федоровны, а моей тещи, Катерины Николаевны. Но я не раз уже заметил в моей жизни, что судьба никогда не дает мне полной радости, как будто она заранее отучала меня от обольщений честолюбия. Когда получено было в Симбирске письмо от дяди о пожаловании меня в камер-юнкеры, я так страдал зубами, что не хотел и слышать об этом известии, не только не мог ему обрадоваться. А в этот день, 24 ноября, у меня так разболелась голова, что у радостных Вельяминовых, хотевших поздравить меня шампанским, не мог досидеть до конца обеда и в половине его уехал домой.

Хотя я получил камергерство не через князя Дмитрия Владимировича, который просто забыл обо мне, однако, помня его расположение ко мне, и в то же время из соблюдения приличия, я поехал в приемный день благодарить его. Он, добрый человек, как увидел меня, покраснел, закрыл лицо обеими руками и проговорил скоро: «Ah! Ne me remerciez pas! Je suis coupable

*Свыше к нам нисходит счастье
От божественных владык;
Но из них всех выше властью —
Из владык владык — миг!
(пер. с нем. *М.Л. Михайлова*)

envers vous!»* — Хорошо и то от начальника: приемная зала была полна людьми; немногие так добродушно сознаются в своей забывчивости!

Но дядя мой до той степени принял участие в моем успехе и до той степени родственно разделял его со мною, что перемешал в этом случае, кому принадлежит инициатива моего повышения, и в рассказе Огареву[73] приписал себе ходатайство о моем камергерстве. Это было за обедом. Я не утерпел и сказал, что почитаю себя несколько обязанным собственной моей службе. Дядя рассердился. Впрочем, он, может быть, и в душе был уверен, что его величию обязан я всеми моими успехами, которые между тем были не очень быстры. Но счастие обольщает человека, а он всю жизнь свою был балован счастьем. Об нем сказал я в одних стихах моих:

За тем всю жизнь ему ненастья
Правдивый рок не посылал,
Чтобы хотя под солнцем счастья
Он, слабый, легче созревал[74].

Вскоре сильная болезнь свалила меня в постель. Я получил сильный ревматизм. И с этого времени считаю я начало болезней, которыми после этого я страдал неоднократно. Я почувствовал сперва небольшую боль в ногах, но пренебрег ею, ездил в обществе родных за город, помнится, на скотный двор Воспитательного дома[75], куда езжали тогда прогуливаться и полдничать отличными варенцами и простоквашей. Там пробыли мы до позднего вечера; меня обхватило вечерним холодом, тем больше, что я не мог много ходить и больше сидел на одном месте. — У меня отнялись ноги. Анна Федоровна, несмотря на свою четвертую беременность, ходила за мной, как за ребенком. Кроме несомненного чувства любви, которое она имела ко мне, надобно сказать, что чувство долга было так сильно в этой необыкновенной женщине, что всякой долг был для нее законом, и вся жизнь ее была исполнением долга.

Во время этой болезни, когда мне сделалось полегче, я, привыкши к упражнениям, вздумал заняться опять латинским языком или, лучше сказать, латинской грамматикой. Просыпаясь раньше всех, потому что сон у меня был плохой, я принимался за ученическую книгу. Само собою разумеется, что успехи были невелики, но меня это занимало.

Я уже начал вставать с постели, но еще не мог порядочно ходить и долго держаться на ногах, когда Анна Федоровна родила последнего сына, Валериана. — Это было, помнится, 4 сентября 1832 года. Никогда роды ее не были

*«О, не благодарите меня! Я перед вами виноват!» (*фр.*).

так легки и скоры, но я не обрадовался, когда возвестили мне рождение этого младенца: предчувствие, неодолимое предчувствие сопровождало до сего времени почти все происшествия моей жизни, и оно на этот раз было нерадостное. Я не ошибся. Через две недели, 15 сентября, я лишился доброй и добродетельной жены моей, а по собственной моей болезни не мог даже проводить ее в могилу. Ее похоронили в Даниловом монастыре. На надгробном ее камне изображена такая надпись: «Правды твоея не скрых в сердце моем»[76].

Я говорил уже, что нашего доктора, Мудрова, в это время не было на свете. Ее лечил другой медик, Михайла Вильмович Рихтер[77]. Не помню, кто его нам рекомендовал. Об искусстве медиков судить трудно: дело закрытое. Обыкновенно винят их в случае неудачи, а прославляют при успехе, между тем как и то, и другое происходит иногда не от них. Но в этом случае было другое дело. Он оказался и медик неискусный, и человек был ветреный, занимавшийся во время своих посещений не столько болезнию, сколько болтовнею о тогдашних политических происшествиях. Кто их узнает без горького опыта! Этого узнал я, но поздно. Он ошибся в болезни. У больной молоко бросилось в ногу, но он, несмотря на уверенность штаб-лекаря Зайковского[78], утверждавшего эту причину, не признавал ее. Сделали консилиум, на котором был двоюродный брат его, и тогда уже знаменитый доктор Маркус[79], но помочь было уже поздно. Уходя от нас и не зная, что его слышат, Маркус, вероятно, по бесцеремонному родству, сказал ему: «А тебе стыдно, что ты не узнал болезни, которую распознал молодой лекарь». — Но этот выговор не воротит моего счастия. Закатилось мое солнце. С этого времени я бывал весел, но не бывал уже счастлив.

Кончина Анны Федоровны была необыкновенна и заставляет думать, что переход в духовный мир не так легок, как мы воображаем, хотя он от нас и недалеко. Ее кончина показала нам, что в это время совершается нечто такое, чего мы никак постичь не можем. Это происходит, вероятно, от того, что очам умирающего, или отходящего от нас, открывается другая натура, не понятная очам телесным и здешнему нашему разуму. Речи ее, хотя были исполнены здравого смысла, следовательно, не были бредом, но в то же время в них было нечто такое, что, кажется, и ее удивляло. Опишу здесь последние часы ее, как это было тогда же записано мною.

Ночью с 13 на 14 сентября она призвала меня нарочно и сказала: «Послушай, мой друг! Я хочу с тобою поговорить. Я хочу тебя просить (здесь с маленькой остановкой проговорила очень скоро), чтобы ты женился». — На мое возражение отвечала: «Что же! Ведь я себя чувствую. Ты мне не мешай, а слушай! — Ну, люби детей, люби их всех равно; старайся о их воспитании. — Прошу тебя, не отдавай их тетушкам. — Воспитывай их, как свое сердце тебе скажет. Это всего лучше. — Катю я очень любила. — Ради Бога, чтобы не было никакого кокетства!»

Все это было сказано, как видно, в полном сознании. Но на возражение мое, зачем она это говорит, потому что ее состояние неопасно, она отрывисто отвечала: «Почему же мне не говорить! — Я могу говорить! Я бросила голубой шарик и потому я могу говорить!»

Как объяснить эту смесь благоразумия с непонятным!

В эту же ночь были ей то ужасающие, то обольстительные видения и борьба с ними. Из ее слов можно было заключить, что одни страшные образы угрожали ей, а другие, в виде маленьких женщин, манили ее к себе. — Мы, окружающие ее постель, представлялись ей тоже в безобразном и не собственном нашем виде. Наконец она промолвила: «Я победила!»

14 числа она вдруг сказала: «Бог может все проникнуть!» — На мои слова: «Может все, только веруй ему, молись и надейся!» — отвечала: «Кому же и веровать, коли не ему! — Я и верую!»

Потом сказала: «Я чувствую, что я могу возникнуть! Я возникаю! — Что это со мною делается? — Страшно сказать!» — «Скажи, мой друг! что такое?» — «Страшно выговорить!» — «Скажи, ради Бога!» — «Я светлею!»

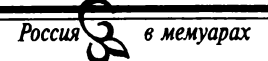
15-го поутру, в самый день кончины, сказала она: «Как мне весело! Как бы я хотела, чтоб нынешний день всем было весело!»

Скончалась в три четверти десятого часа, вечером, лежа на левом боку, согнув правую руку немного к груди и сложив пальцы, как бы в намерении оградить себя крестным знамением.

Странно, что, прощаясь со мной и с детьми, благословляя их и приказывая любить друг друга, Анна Федоровна упомянула всех их поименно, кроме Валери, как будто зная, что он не жилец на земле и вскоре последует за нею.

Странно еще, что пока жили со мною все дети, из всех из них ни один не был ко мне так привязан, как Валеря. — Когда он начал уже понимать, он, бывало, показывает кормилице ручкой, куда идти, и тянется ко мне, в мой кабинет: таким образом его принесут ко мне, он тотчас попросится ко мне на колени и сидит у меня охотно и долго. Как будто и он предчувствовал, что ему жить недолго. Он прожил с небольшим год, и я его тоже лишился[80].

Детей через несколько времени взяла от меня на свое попечение тетка их Анисья Федоровна, и я остался один. Нужно ли описывать состояние моего одиночества, когда я с самой юности жил только жизнью сердца! Кроме того, это уединение было для меня таким новым положением, к которому надобно было привыкать снова, а привыкать тяжело. — Это было на Молчановке, в доме Пикулиных[81].



ГЛАВА 17

Бегство и замужество двух сестер • Поступление за обер-прокурорской стол • Протасов • Чаадаев • С.Н. Глинка • Журнал Киреевского • Объявление Чаадаева сумасшедшим • Литература • Моя третья женитьба • Пушкин • Симбирск • Моя болезнь • Кончина дяди • Отъезд

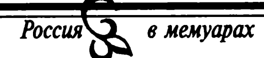
Я описал в 4-й главе историю моего дяди Федора Ивановича. — Здесь самое приличное место рассказать о его семействе. Жена его умерла. Из оставшихся законных детей сын Федор был сделан пажем и был в пажеском корпусе[1]. Не знаю, каким образом он попал как-то потом в гусарские юнкера[2]: кажется, потому, что дурно учился. К службе он тоже не прилежал, был не то что глуп, а то, что называется шаль, как-то имел мало здравого смысла и, кроме того, был гуляка. — Денег у него было довольно, потому что он получал доход, как и я, с трехсот душ. Но я кое-как мог-таки жить моим доходом, хотя и входил в долги, притом же я был не один, содержал дом и семейство, а у него никогда не было денег, и сам он не знал, куда они деваются. Хотя я и сказал, что он был гуляка, однако на это он тратил немного, а был до той степени нерасчетлив, до той степени человек пустой и бессчетный, что думал, например, что его верховая лошадь съедает по четверти[3] в день овса. Однажды, едучи в полк из Симбирска, взял он с собою пять тысяч ассигнациями и доехал с ними только до Москвы. Никто их у него не крал, в карты он их не проигрывал, а деньги изошли, и сам не знал куда. По этим двум примерам можно судить и о других его расчетах. Наконец отпросился он в отпуск и приехал к теткам и к дяде Сергею Ивановичу в Симбирск, под видом ремонтера, хотя все удивлялись этому, потому что юнкеров не посылают ремонтерами[4]. Здесь жил он пусто и блудно, так что один раз привезли его к дяде пьяного и избитого. Наконец жандармской полковник Малов[5] получил приказание выслать его в полк, стоявший в Тверской губернии. Он, приехавши в полк, явился к полковому командиру. Что там было, это неизвестно; но, возвратясь от него, он спросил стакан воды, выпил и умер. Принял ли он

яду, или холодная вода в его разгоряченном состоянии, после погонки, подействовала на него так быстро, это осталось неоткрытым. После его смерти имение его досталось сестрам, Софье и Катерине, которые были тогда уже взрослыми; и таким образом они сделались не бедными невестами.

Эти девочки, по смерти их матери, были отданы в Москве в пансион. Я тогда сам был еще студентом, но мне поручено было надзирать над их учением и приличным содержанием. Я нашел наконец, что учат их и содержат плохо и что им не для чего оставаться долее в пансионе. Вследствие этого тетка Наталья Ивановна приехала в Москву и взяла их из пансиона. Катю, как младшую, требовавшую большего надзора, взяла она в Симбирск с собою; а Соню, постарее ее, отправила туда же со мною и с своей собственной нянюшкой, Авдотьей Матвеевной, женою того живописца Ефрема Дементьевича, который так славен эпиграммою моего дяди. Там обе тетки разделили по себе этих несчастных девочек: Наталья Ивановна взяла старшую, Соню, а Надежда Ивановна младшую, Катю. Они занялись их воспитанием, учили их на свои деньги и полюбили, как дочерей; одним словом, по русскому выражению, души в них не чаяли. Но по русской же пословице, яблочко от яблонки не далеко падает. В них, кажется, обнаружилось происхождение от такой матери и неблагородные чувства, свойственные этой крови. Вместо благодарности обе сестры отплатили теткам оскорблением их чувства и срамом для всей фамилии.

В Симбирске было два молодца из военных: Матюнин[6] и Нефедьев[7]. Голытьба поневоле жадна к деньгам, а армейские офицеры, провождающие жизнь свою в лишениях и нужде, и подавно до них охотники и чуют носом лакомые кусочки. — Напрасно говорят, что первые взяточники штатские; военные всегда корыстолюбивее. Посмотрите на грабительство полковых и баталионных командиров. На это есть причина: во-первых, и от них требуется иногда по службе расходов, на которые не отпускается сумм; во-вторых, каждый предмет комфорта для них диковинка. Они бросаются, как на драгоценность, на самые обыкновенные предметы жизни, потому что или их не видывали, или не думали никогда иметь их у себя. Эти два молодца, не знаю как, познакомились с двумя сестрами и лазили к ним через забор, в сад Надежды Ивановны. Правда, Матюнин сватался порядком к Кате; но ему не дали решительного ответа, хотя и не отказали, а откладывали согласие на неопределенное время. А Нефедьев не делал даже и предложения. Как бы то ни было, но обе сестры ушли и обвенчались с ними тайно в какой-то деревне: это было в самое Светлое Воскресенье 1833 года. Это происшествие так поразило теток, что с этого времени Надежда Ивановна лишилась употребления ног и уже не вставала с постели[8].

Получивши об этом известие и вместе рекомендательное письмо от Матюнина, который перед этим был в Москве у меня и у дяди, я не знал и



придумывал, как объявить это дяде, как вдруг сказывают мне, что приехал Иван Иванович. Я был все еще без ног и принимал, сидя в больших креслах. При самом входе его в комнату я увидел, что он знает уже об этом происшествии: на нем — лица не было! — Но я ошибся в одном: он знал только об одной племяннице, а об другой не знал. Когда я ему сказал, что и другая тоже, он изумился, сказал только: «Как! и другая?» — и замолчал. Я думал, что ему сделается удар, так поражена была его честная гордость, так было оскорблено его сердце, его благородное понятие о чести нашей фамилии!

Я потому описал это происшествие, что после придется говорить о сношениях моих с этими людьми, и вообще потому, что с этого времени вошел в наше семейство новый и чуждый элемент корысти, а оно до того времени отличалось всегда взаимною уступчивостию и бескорыстием.

Вскоре мне удалось переменить место моей службы. Министр юстиции Дмитрий Васильевич Дашков велел уведомить меня, что открывается возможность поместить меня за обер-прокурорской стол. Это перемещение последовало наконец по именному указу 2 апреля 1833 года, и я освободился от председателя Маркова и от ежедневного сообщества людей грубых или непросвещенных, которые меня не понимали и которым я нисколько не сочувствовал.

Внимательность же министра юстиции простиралась до того, что, рассматривая мой послужной список и заметив, что мне остается до выслуги следующего чина только три месяца, он велел написать ко мне, что мог бы вместе с моим перемещением представить меня и к чину, но что в таком случае он причтется мне полученным за отличие и помешает представить к другой награде, но что я получу его в свое время. Для объяснения этого нужно знать, что Государь приказал не представлять к награде за отличие прежде истечения двух лет от последней; то есть: при Николае Павловиче нельзя было отличиться по службе больше одного раза через два года. Зато счастливцы через два года непременно отличались. Так и я, через три месяца после перемещения, 7 июля того же года, получил, уже за выслугу лет, чин статского советника и, как будто за мое долготерпение, пошел, как говорится, в гору, потому что с этого времени я получил три награды, одна за другою, через каждые два года.

Первое благодеяние судьбы, почувствованное мною при новой моей службе, это было знакомство с обер-прокурором Александром Павловичем Протасовым[9], в товарищи к которому я поступил во второе отделение 6-го департамента Сената. Я знал его и прежде, но не коротко. Я знал только, что он человек умный и просвещенный; но не более. Сблизившись с ним, я нашел в нем такого человека, какие редко встречаются в жизни и знакомство с которым можно назвать истинно благодеянием судьбы и отрадою на пути житейских столкновений с другими. Опишу, сколько могу, этого человека, и все, что скажу о нем, будет самою правдою.

Я сказал уже, что он был умен. Однако ум его состоял не в высоком полете и не в глубине, а больше в тонкой рассудительности и в проницательности. Разборчивость его ума проникала далеко, и в мелкие изгибы сердца человеческого, и в дела и поступки. Он ничего не постигал вдруг, одним объемом взгляда, но строгим анализом открывал самые тайные черты предмета, которые другому были бы незаметны. Доброта его души была самая христианская: спокойная, беспристрастная, основанная на здравом рассудке и независимая от увлечения, от порывов сердца. Он делал много добра[10]; на раздачу бедным у него была определена ежегодная сумма, входившая в его годовой бюджет, от которого он не отступал. Главная же его благотворительность простиралась на его имение и на служителей. Крестьян отпустил он в вольные хлебопашцы, обложив их умеренным оброком[11]; дворовых учил грамоте, всех отпустил на волю и потом нанимал их же. Жил он, по-видимому, скупо; но люди почитают скупостию расчетливость, а он был в высочайшей степени расчетлив. Он очень хорошо понимал себя и сам смеялся над двумя самыми заметными своими свойствами, над любознательностию и расчетливостию. Он говаривал, разумеется, в шутку: «Я хочу жить, во-первых, из любопытства, чтобы знать, что будет; а во-вторых, для приумножения моего состояния». — Но главные черты его характера составляли: честность, осторожность и необыкновенная робость. Благоразумие и осмотрительность были, кажется, неизменным для него правилом: он рассчитывал каждый шаг; держал себя перед начальством всегда благородно, но покорно; не уступал в правде ни перед кем, потому только, что боялся Бога еще более, чем сильных людей, но боялся и их. Говоря с лицами, имеющими титулы сиятельства и превосходительства, он никогда не пропускал случая титуловать их; а когда князь Дмитрий Владимирович получил титул светлости, он начал говорить ему: «Monseigneur!» — Впрочем, не знаю почему, он иногда очень забавно и притворялся робким. В нем были странности, неизъяснимые даже и для тех, которые знали его коротко.

Он учился сначала у иезуитов; а потом в Вышнем училище правоведения, которого не должно смешивать, ни сравнивать с нынешней Школой правоведения, заведенной принцем Ольденбургским[12]. Это было заведение не громкое, не блестящее, без лишних прав и преимуществ, надувающих гордостию недоучившихся мальчишек. Это было учебное заведение основательное, дающее самонужнейшие знания молодым правоведцам. Протасов был отлично приготовлен к науке. Он знал основательно языки: латинской, французской, немецкой, английской и италианской. Он знал хорошо политическую историю народов; а историю церкви во всех подробностях; он учился химии и физике. Одним словом: он обладал редким запасом знаний, и все они ложились в его голове систематически. Большую наклонность ока-

зывал он к христианской мистике, наклонность, в которой принимало участие не одно религиозное чувство, но и любопытство. Любознательность его в этом случае не ограничивалась одним чтением книг (а каких не прочел он!). — Он, кажется, искал даже случаев знакомства с людьми, могущими объяснить ему многое из тайных знаний. В молодости своей он попадал даже на тех шарлатанов, которые другого сбили бы с надлежащего пути; но у него кончалось это удовлетворением любопытства, удивлением многому, чему он был свидетелем, но чего объяснить себе не мог, и, может быть, вредным действием на нервы, чего оставались некоторые признаки[13].

Из всего, сказанного мною, легко заключить можно, как занимательны были беседы с таким человеком[14]; но в одном только самом коротком знакомстве дозволял он себе раскрывать все богатство своих сведений и объяснять откровенно свои мысли. Как скоро входил в комнату человек, который казался ему другого духа или которого считал он недостаточно готовым понимать предметы важные, он тотчас начинал говорить пустое, иногда даже вздор, и являлся совсем другим человеком.

В службе — для него не было различия важного и неважного: всякая обязанность была для него равно обязанность, и исполнение всякого долга было для него равно свято. Служба была для него каким-то священнодействием. Точность и непоколебимость в правилах были для него путем, которым он достигал правды; руководителями его были в этом случае — во-первых, совесть и страх Божий, во-вторых, недоверчивость к самому себе и к другим. Сколько раз, сомневаясь в собственной своей проницательности, он давал мне читать дела, чтобы собственное свое мнение подвергнуть поверке моего убеждения. Сколько раз случалось, что он просил меня перечитать еще раз то же дело, в том предположении, не переменится ли мой взгляд при другом чтении!

Сколько приятных и умных вечеров провел я с этим необыкновенным человеком, в откровенных беседах о предметах важнейших для человека и гражданина: о тайнах религии и о том порядке вещей, который господствует в России и вообще в гражданском мире! — Время еще более упрочило знакомство мое с Протасовым. Я возвращусь к нему еще, когда оба мы возвысились одной степенью по службе и когда я сделался обер-прокурором, а он сенатором в одном и том же департаменте.

Служба за обер-прокурорским столом была для меня легка: дела было мало и никакой ответственности для совести, никакой боязни быть обмануту взяточничеством и подьяческими кознями. Это место было почти то, что называется *синекурой*[15]. Определенной работы не было. — Главное дело мое во всю эту службу состояло в некоторых поручениях министра и в следствиях, производимых по его же предписаниям. Но об этом я скажу в своем месте.

Вообще я давно уже не пользовался такой свободой и таким приятным отдыхом, после тягостной работы в надворном суде и в палате.

В это же время я познакомился с одним замечательным человеком, с которым сблизился гораздо после. — Это был Петр Яковлевич Чаадаев. Так как, говоря о нем, я должен буду упомянуть об одном необыкновенном примере самовластного участия правительства в области мысли и литературы, то я нахожу нужным возвратиться здесь за несколько лет назад и рассказать подробно же предшествовавшие примеры.

С самого начала царствования Николай Павлович смотрел неблагоприятно на литераторов как на людей мыслящих, следовательно опасных деспотизму, а вследствие этого почитал опасною и литературу. Бунт 14 декабря 1825 года, произведенный заговорщиками, имевшими в рядах своих лучших и просвещеннейших людей России, так перепутал его понятия о просвещении вообще, что оно не отделялось в его голове от мысли о бунте; а бунтом почитал он всякую мысль, противную деспотизму. И потому малейший повод к толкованиям служил уже к подозрению; а жандармы и другие услужливые люди не упускали случая наводить его на такие подозрения, из желания услужить его любимой мысли, угодить его тревожной подозрительности и доказать самодержцу, что они берегут его особу. Ценсура была сама по себе и запрещала по произволу, что хотела; но кроме ценсуры, установленной законом, и кроме безотчетных действий цензоров была еще тайная бдительная власть над всеми литераторами и над всеми произведениями литературы: эта власть сосредоточивалась в жандармском отделении Собственной канцелярии Государя и действовала всегда мимо министерства просвещения, и часто без его ведома. Упомяну здесь некоторые примеры этой тайной силы. И для этого, как я сказал уже, возвращусь на несколько годов ранее и упомяну то, о чем не сказал, описывая те годы.

Первый пример, который я помню, оказался в 1830 году. В альманахе М.А. Максимовича «Денница» напечатаны были стихи девицы Тепловой на смерть утопившегося какого-то молодого человека. — Вот эта элегия, состоящая вся из осьми стихов, которые здесь выписываю:

Слезами горькими, тоскою
Твоя погибель почтена!
О верь, о верь, что над тобою
Стон скорби слышала волна!
О верь, что над тобой почило
Прощенье, мир, а не укор,
Что не страшна твоя могила
И непостыден твой позор![16]

Проницательные люди донесли, что в этих стихах дело идет о Рылееве, содержавшемся перед казнию в каземате Петропавловской крепости, омываемой волнами. Довольно было этого имени, чтобы поднять тревогу в душе Николая Павловича и воздвигнуть бурю. В это время был в Москве цензором Сергей Николаевич Глинка. Это был самый честный, снисходительный и беспристрастный цензор из всех бывших и будущих. Он не смотрел ни на что и ни на кого; был верен уставу и не думал прежде всего о собственном самосохранении на этом месте, а потом уже о чужой рукописи. — Он-то рассматривал и дозволил напечатать этот альманах «Денницу», и над ним-то грянула буря за стихи Тепловой. Вдруг прислано было повеление посадить Глинку на Ивановскую гауптвахту, что в Кремле, у колокольни Иван Великой. Это случилось зимою, в генваре или в феврале 1830 года. Но это было торжеством Глинки! Как узнали в Москве, что Глинка на гауптвахте, бросились навещать его; в три-четыре дня перебывало у него человек триста с визитом. Дядя мой, бывший некогда министром юстиции, одним из первых навестил его. — Не всякой бывший министр на это бы решился.

Я тоже поехал на гауптвахту. Время было дурное, шел снег; я был после болезни, и потому я ехал в карете с поднятыми стеклами. Въехав в Кремль, я заметил сквозь стекла, заносимые снегом, сани с сидящим в них человеком, а против его стоял на снегу другой и размахивал руками. По этим жестам мне показалось, что это был сам Сергей Николаевич. Я опустил стекло и, увидев, что не ошибся, вскричал ему: «Сергей Николаевич! Я еду к вам!» — «Милости просим, — отвечал Глинка, — я вышел только прогуляться; вот мой и дядька!» — примолвил он, указывая рукою на стоящего в стороне солдата. — «Там вас примут жена и дочь, а я сей час ворочусь!» — Я приехал на гауптвахту; сперва надобно было пройти через комнату, которая была вся битком набита солдатами; потом вошел я в другую соседнюю комнату, где содержался Глинка, нашел там супругу и дочь арестанта, нашел там книги и фортопиано. Комната, однако же, была черна, сыра и неопрятна, а с окон текла ручьями сырость.

Наши цари, привыкшие к удобствам и роскоши своих дворцов, никогда, вероятно, и не заглядывали в эти сырые вертепы, где содержатся жертвы их деспотической власти. Старик, муж и отец семейства, может сгнить, забытый в этой сырости и грязи; бедная жена и несчастная дочь переселились к нему и разделяют его позор и страдание, и все это без малейшей его вины, по одному пустому подозрению, по одним доносам подлых угодников, а деспот думает, что он отправляет правосудие, пьет и спит спокойно в теплом, светлом и роскошном дворце своем! — И все это происходит от того, что они далеки от своего народа, что они ему чужие, не знают, как живут и что терпят русские люди даже в обыкновенной их жизни, не только в этих

вертепах и подземельях! — Много будет отвечать Николай Павлович и за свою природную жестокость, и за свое обманчивое и мнимое правосудие! О ненавистные свойства русского правительства: деспотизм и слепота в деле правды! — Возвращаюсь к моему рассказу.

Минут через десять вошел хозяин. «Милости просим! А я вот перевез сюда жёну и дочь: день они проводят со мною, а ночевать уезжают домой! — Перевез сюда и альманах, в доказательство, что я прав и пропустил эту статью по уставу, перевез и цензурный устав, потому что не я виноват, а он: так я его и посадил на гауптвахту!» — Потом он сел за фортопиано и запел, аккомпанируя себе, свою песню:

Ах ты горе, жизни горе!
Как кипящее ты море,
Залило меня собой!
Видно, в гроб сойду с тобой!

В продолжение моего посещения двери не затворялись; беспрестанно приходили новые лица. Я помню, что вошел вдруг молодой артиллерийской офицер и обратился к Глинке с следующею речью, которую я упомнил слово в слово: «Сергей Николаевич! я такой-то, — сказал свою фамилию и продолжал: — Мой батюшка был знаком с вами. Я не могу себе простить, что до сего времени не имел чести представиться вам и засвидетельствовать вам моего уважения; но я не нахожу к тому приличнее времени, как теперь»[17].

Выходя от Глинки, я встретился на пороге с профессором Надеждиным. «А вы, — спросил он, — знакомы с Глинкою?» — «Знаком». — «Так воротитесь и представьте ему меня». — Я воротился и познакомил с ним Надеждина.

Так показала свое негодование Москва. До Петербурга дошли слухи об этих визитах, и оно подействовало. Не прошло еще определенного срока его *осадному сидению*[18] (ибо он был посажен на две недели), как пришло повеление его выпустить. Потом, когда он не захотел более служить, ему дали две тысячи рублей ассигнациями пенсии. — Говорят, что этому способствовали: князь Дмитрий Владимирович (генерал-губернатор Москвы) и князь Сергей Михайлович Голицын. — Да! Если б мы всегда были тверды и не отступались друг от друга, может быть, нас во что-нибудь бы ставили и нам было бы лучше! — Этот пример служит доказательством, хотя он и ненадолго подействовал на Николая Павловича. Натуру переменить трудно, особливо самодержавному Государю; вскоре последовала в литературе новая проделка его деспотизма.

Этот второй случай был в 1832 году. Журнал «Европеец», который только что начал издавать Иван Васильевич Киреевской, был запрещен на вто-

рой же книжке[19]. Причины запрещения изложены были в отношении графа Бекендорфа к тогдашнему министру просвещения, помнится, князю Ливену[20], которого кто-то[21] назвал в одной эпиграмме не источником, а ливнем просвещения, потому что в его министерство так и лились, как из ведра, нападки на литературу и литераторов. Эти причины запрещения «Европейца» так оригинальны, по высочайшему толкованию самых обыкновенных выражений, употребляемых в литературе, что я решаюсь переписать здесь всю эту официальную бумагу с копии, данной мне тогда же самим цензором, С.Т. Аксаковым. Вот это запрещение в том виде, как оно было прислано министром к попечителю Московского университета[22]:

«Г. генерал-адъютант Беккендорф сообщил мне, что Государь Император, прочитав в первом нумере издаваемого в Москве журнала под названием «Европеец» статью «XIX Век», изволил обратить на оную особое свое внимание. Его Величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждения о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить некоторое только внимание, чтоб видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная средина* не что иное, как *конституция*. Посему Его Величество изволит находить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещается помещать что-либо о политике; а как сверх этого оная статья, *невзирая на ее нелепость*, написана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оную пропускать. Далее, в той же книжке «Европейца», Государь Император изволил заметить в статье «Горе от ума» самую неприличную и непристойную выходку на счет находящихся в России иностранцев, в пропуске которой цензура уже совершенно виновна. Г. генерал-адъютант Беккендорф по повелению Его Величества сообщил мне о сем с тем, чтобы на цензора, пропустившего означенную книжку, обращено было законное внимание, и дабы издание оного журнала было на будущее время воспрещено, так как издатель г. Киреевской обнаружил себя человеком неблагомыслящим и неблагонадежным.

Вследствие сего покорнейше прошу ваше сиятельство предписать Московскому цензурному комитету не дозволять впредь издание журнала «Европеец», а цензору, пропустившему первый нумер оного, сделать строгое замечание[23]»[24].

К этому прибавить нечего. Высочайшее толкование слов: *просвещение, деятельность разума* и *искусно отысканная средина*, которые будто бы означают *свободу, революцию* и *конституцию*, достаточно объясняет, какому паническому страху подвержен был ум этого Государя при малейшем подо-

зрении. Но при ближайшем рассмотрении такого жалкого свойства в особе Государя невольным образом возбуждается чувство сожаления. Киреевской, издатель «Европейца», был человек столь тихих нравов и такой благонамеренный, каких подданных немного было у Николая Павловича; а между людьми, его окружавшими, не было ни одного человека, столь благонамеренного! — И не оказалось такого никого, кто вразумил бы Николая Павловича — для его же славы, — как безумно было такое толкование и гонение на такого человека! Жалка участь деспота!

Но самый сильный пример деспотизма оказался над Чаадаевым, так что все, приведенное выше, было только как бы предисловием к следующему рассказу и доказывает вполне ту истину, что страх деспота усиливается временем и что самовластие доходит наконец до того, что переступает предел всякого благоразумия и всякой меры справедливости. — Возвращаюсь к моему знакомству с Чаадаевым.

Я встречался с ним у Левашовых; но не искал его знакомства именно потому, что не хотел показать себя заискивающим внимание этой тогдашней знаменитости. — Однажды Катерина Гавриловна Левашова (у которой во флигеле он и жил), позвав меня обедать, сказала мне, что ее просил Чаадаев сблизить его со мною и что она приглашает меня именно для этого. От такого предупредительного вызова отказаться было нельзя и не было причины. Мы сошлись, и это было одно из самых приятных и прочных знакомств моих.

Чем же был знаменит в Москве Чаадаев? — Умом, не говоря о других его качествах и чистоте его жизни. Вопреки мелочной зависти, которая у нас так сильна в обществе, и вопреки предубеждения против людей светских, пример Чаадаева доказывает, что и у нас достоинствам человека знают цену. Чаадаев был не богат, не знатен; а не было путешественника, который не явился бы к нему, просто как к человеку, известному своим умом, своим просвещением. Это была в Москве умственная власть. Но участь его была довольно странная. Он служил в гвардии. После неповиновения Семеновского полка, которое представлено было возмущением, он был послан курьером с этим известием к Императору Александру Павловичу, который находился тогда в чужих краях[25]. Но курьер австрийского посла[26], отправленный из Петербурга при самом начале этой истории, само собою разумеется, приехал ранее Чаадаева, посланного уже по усмирении: Александр был раздосадован, что узнал об этом после Меттерниха и от чужих, прежде получения прямого донесения. Не знаю, какого рода неприятность испытал по этому случаю Чаадаев; но он после этого вышел в отставку и поехал в чужие краи.

Несколько лет сряду провел он в путешествии[27], и при его светлом, наблюдательном уме это путешествие не прошло бесплодно. Он хорошо узнал

те земли и народы и познакомился со многими европейскими знаменитостями, в том числе и с Шеллингом. Но в то же время получил какую-то особенную наклонность к католицизму: единственное пятно, которым можно укорить Чаадаева. Это поставило его в жалкую противоположность с действительною жизнию, вообще чистою и примерною. Плоды просвещения, которыми Европа действительно много одолжена католицизму, мешались в его уме с самыми истинами религии, и потому, приписывая многое единству просвещения, замечаемого в Европе, он относил его, как к одной из главных причин, к единству видимой главы Церкви, то есть к папе. Это был пункт, который тем более мучил его, что в душе своей он был православным, принимая православие едва ли не за схизматизм.

С этой точки зрения смотрел он с сожалением и на историю России, как на отставшую во всем от Европы. В это время зарождалась уже в Москве партия староверов, которые осуждали Петровскую реформу и стояли за московское царство, находя в нем твердые элементы быта, которые будто бы задушил преобразователь. Эта партия сперва состояла в одном горластом семействе Аксаковых; но потом, когда пристал к ней говорун Хомяков, она начала трещать в некоторых московских гостиных и наделала шума. Чаадаев долго прислушивался к их проповеди: он не сочувствовал нисколько застою нашей старины, но понимал инстинктивно всю незрелость реформы Петра, не имевшей корня в прошедшем. Это поставило его в еще большее противоречие с самим собою. Таким образом этот ум, ясный и образованный по-европейски, уступая среде, в которую поставлен был русскою жизнию и толками московских умников, не находил опоры и центра и колебался между двух крайностей: отвращения к застою старины и чувства явной несостоятельности нашего русского европейства. Он пропадал в этом омуте и был решительно неспособен к практической жизни, например, к занятиям службой гражданской или к другой какой-нибудь общественной деятельности. Такова у нас, впрочем, участь всех людей, выходящих мыслию и просвещением из уровня посредственности: они делаются бесполезными мыслителями, живущими в сфере идеальной, редко кому передающими свои идеи и никогда не находящими возможности применить их к делу. Чаадаев мог быть счастлив сам собою, но ему недоставало свободного воздуха в окружавшей его атмосфере. Он искал и не находил под ногами твердой почвы. Русскою жизнию был он недоволен, да нечем было и быть довольным; а европейство не прилагалось к русскому быту и ни к чему, чего желал он для России.

Под влиянием этого настроения своего духа изложил он свой образ мыслей и свой взгляд на Россию вообще в нескольких философских письмах, писанных им на французском языке к одной даме, г-же Пановой. — Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французской подлинник[28]. Но я

никогда не думал, чтоб их можно было напечатать. Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно.

Однажды Катерина Гавриловна Левашова просила меня приехать к ней и обратилась ко мне вот с какою просьбою. От нее узнал я, что философические письма переводятся Кетчером[29] и что их хотят печатать в «Телескопе», журнале профессора Надеждина. Она предвидела последствия и боялась их; зная некоторое влияние мое на Чаадаева, она просила меня уговорить его не издавать этих писем, как содержащих в себе такие мнения, которые для него лично могли быть опасны. Но ничто не помогло, и первое письмо было напечатано в 15-й книжке «Телескопа» 1836 года. Книжка эта должна была выйти в августе, но журнал запаздывал выходом — и потому этот достопамятный нумер и его письмо появились в октябре. А в ноябре разыгралась следующая история.

Московской генерал-губернатор князь Голицын получил вдруг (от 23 октября) отношение графа Бекендорфа, который писал к нему, «что статья Чаадаева возбудила в жителях московских всеобщее удивление. Но что жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся здравым смыслом и будучи проникнуты чувством достоинства русского народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и поэтому, как дошли до Петербурга слухи, не только не обратили своего негодования против г-на Чаадаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление о постигшем его *расстройстве ума*, которое одно могло быть причиною написания *подобных нелепостей.* — Вследствие сего, — писал в заключение граф Бекендорф, — Его Величество повелевает, дабы вы поручили лечение его искусному медику, вменив ему в обязанность каждое утро посещать г-на Чаадаева, и чтобы сделано было распоряжение, чтоб г. Чаадаев не подвергал себя влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха»[30].

Одним словом, Чаадаев, один из умнейших людей Москвы, объявлен был, по высочайшему повелению, сумасшедшим, и с тем вместе, опасением о влиянии холодного воздуха, запрещался ему выезд из дома и сообщение с человеческим обществом. Эта высочайшая ирония принята была Москвою еще с большим негодованием, чем история Глинки. Само собою разумеется, что все бросились навещать Чаадаева, и деспотизм произвел действие совершенно противное намерению деспота. Все были на стороне угнетенного, и никто не похвалил насилия власти, что тем замечательнее, что перед этим многие сами винили Чаадаева[31]; но жестокость власти заставила и их перейти на его сторону.

Но этим дело не кончилось. Велено было произвести следствие[32]. При этом следствии всех откровеннее и благороднее поступил Надеждин. Он объявил, «что поводом к напечатанию статьи «Философические письма» в «Телескопе» было суждение многих лиц, которые ставят себя в просвещении наряду с Европою, но он сею статьею хотел им доказать, что они ошибаются и находятся еще в таком положении, что не только не могут сравниться с европейским просвещением, но что их надо еще водить на помочах».

Но Чаадаев (чего от него никак нельзя было ожидать) оказал некоторую слабость духа. Выслушав объявление высочайшего повеления, он сказал, «что заключение, сделанное о нем, весьма справедливо, ибо при сочинении им назад тому шесть лет «Философических писем» он чувствовал себя действительно нездоровым и расстроенным во всем физическом организме; что в то время хотя он и мыслил так, как изъяснил в письмах, но по прошествии столь долгого времени образ его мыслей теперь изменился и он предполагал даже против оных написать опровержение; что он никогда не имел намерения печатать сих писем и не может самому себе дать отчета, каким образом он был вовлечен в сие и согласился на дозволение напечатать оные в журнале Надеждина, и что, наконец, он ни в каком случае не предполагал, чтоб цензура могла сию статью пропустить»[33].

В объяснении своем с попечителем университета графом Строгоновым[33] (если верить донесению обер-полицеймейстера) Чаадаев объявил, что его статья «напечатана вопреки его желанию». — Но это несправедливо. Я сказал уже, что Левашова заранее просила меня уговорить Чаадаева не печатать своих писем, но что он не согласился. — Если действительно было такое отречение Чаадаева, то это доказывает только, как и самые сильные умы, попавши в руки деспотизма, уступают страху и неотразимой силе власти.

Для нас, современников всех этих людей, знавших их лично, знавших коротко и качества их сердца, и умственные их способности, для нас, говорю, не может казаться не возмутительным еще то обстоятельство, что следствие об оценке мнений философа о споре европейства с Русью, хотя бы отчасти и ошибочных, производил — невежда, взяточник, солдат и лошадиный охотник, не только не слыхавший о науке, но не знающий даже ни одного иностранного языка, одним словом, обер-полицеймейстер Цынской[35], вышедший в люди тем, что управлял конным заводом графа Алексея Федо́ровича Орлова! — Только у нас наука и философия попадают в такие лапы! — О Русь!

Дело это кончилось, как и все кончалось в царствование Николая Павловича, действием власти. Государь сам произнес приговор, ибо у нас его воля, и одна только его воля — закон. Чаадаев оставлен сумасшедшим, а Надеждин лишен профессорства и отправлен в ссылку в Усть-Сысольск[36], в Вологодскую губернию, за 1306 верст от Москвы и 1585 верст от Петербур-

га. Но всех жалчее был цензор Болдырев: он был и всех невиннее, и всех виноватее, потому что пропустил статью Чаадаева, не читавши, по доверчивости к благоразумию Надеждина[37]. Дело о нем рассматривалось в петербургском Сенате.

Старик Болдырев был профессором с 1812 года. Я помню, когда в начале этого года я был еще в университетском благородном пансионе, он возвратился из чужих краев и поступил к нам в подвышний класс обучать русской словесности. Он был лингвист: знал языки — еврейской, греческой, латинской, несколько новейших языков европейских, а главное, знал языки: арабской, персидской и турецкой, что и составляло специальность, для которой он был отправлен в чужие краи. Русской язык знал он в совершенстве, о чем свидетельствует его теория спряжения глаголов, напечатанная в трудах Общества любителей словесности. Он был человек умный, честный, скромный и тихой. Чаадаев и Надеждин оба были средних лет, а его постигло несчастие в старости. Он был лишен места и звания профессора.

Вот чем занимался Николай Павлович, всю жизнь отыскивавший врагов у себя дома, в людях мыслящих, и наживший их во всей Европе!

Надобно сказать несколько слов и о Надеждине. Он происходил из духовного звания, кончил полный курс наук в духовной академии и поступил в профессоры в Московской университет. Он тоже знал языки: еврейской, греческой, латинской и несколько новейших. Он обладал обширною памятью и обширною ученостью. Не было предмета в круге философии и литературы, с которым бы он не был знаком во всех подробностях. Ума он был быстрого и светлого. По этим причинам знакомство с ним было очень приятно, а умный и полный смысла и сведений разговор его был всегда занимателен. Через несколько лет после ссылки он был возвращен, вступил в службу по какому-то министерству и жил в Петербурге[38]. Там он кончил и жизнь свою.

При таких стеснительных условиях трудно было идти нашей литературе, и потому старые журналы мало-помалу прекратились, пока не начались новые. Но об этом после. Страх к литературе доходил в Николае Павловиче до странных заключений: например, он дозволял новые журналы только под старыми заглавиями, как будто опасно имя, а не содержание. Имя оставалось то же: он и спокоен; ему не приходило в голову, что важно лицо издателя и что при том же названии журнала может быть совсем другое направление: что со временем и воспоследовало и о чем будет сказано в своем месте.

Кончив это эпизодическое отступление о приключениях нашей литературы, обращаюсь опять к самому себе.

Я говорил в последней главе о постигшей меня болезни. Освободясь несколько от ревматизма, для совершенного излечения от него я, по совету

медиков, употреблял два года сряду минеральные воды и брал ванны в заведении, устроенном для этого на Стоженке[39]. Употребление этих вод вместе с движением на воздухе восстановило и укрепило мои силы. Вообще надобно сказать, что учреждение в Москве минеральных вод было одним из тех истинно полезных заведений, каких у нас в России почти не бывает. У нас по большей части жертвуется всем наружности, пустой славе и блеску: здесь имелась в виду одна польза, но на европейской лад, то есть польза, соединенная с удобством и удовольствием: прогулки в саду и по залам, музыка и общество. А в таком множестве людей, посещающих воды, между больными есть и здоровые, и всегда можно встретить знакомых. И поэтому даже между больными всегда встречаются веселые лица. Между пьющими воды делается какая-то короткость взаимного участия; иногла являются оригиналы или бывает что-нибудь забавное; иногда вдруг появляются какие-нибудь стихи и займут на несколько дней праздную водяную публику. Так появилась однажды пародия П.Н. Арапова[40] на цыганскую песню Загоскина. Вот переделка одного куплета[41]. Вместо такого изображения цыганской жизни:

Вместе с солнцем не встаем
Для чужой работы;
Лишь проснулись — и поем!
Нет у нас заботы, —

в пародии было сказано о водопийцах:

Вместе с солнцем мы встаем
С головною болью,
И как гуси воду пьем,
Смешанную с солью!

Все это забавляет, развлекает и способствует к равенству и веселости духа, следственно, и к здоровью. В то же время, встречаясь на водах всякое утро с одними и теми же людьми, делаешь новые знакомства и проводишь всякой день несколько часов беззаботно и с некоторою рассеянностию, которая разгоняет мрачные мысли. Я испытал это на себе и, как человек еще не старый (мне было 39 лет) нашел на этих водах чего и не думал: там встретил я Елизавету Михайловну Анитову[42], которая также пила воды. Отец мой узнал мою мать тоже у колодца, в Сарепте. Меня ожидала та же участь, и я вполне доказал собою, что человеческое сердце никогда не может отвечать за себя и что в некоторые лета обольщение чувств побеждает самую сильную горесть. Стыжусь, но признаюсь, что я страстно влюбился в Елизавету Михайловну. Не думаю, чтоб тут была взаимность, но я на ней женился. Свадьба наша была 28 июля 1835 года, в день Св. Прохора и Никанора и Смоленской Бо-

жией Матери, когда бывает крестный ход в Новодевичий монастырь и народное гулянье на Девичьем поле.

Грустна была для меня эта моя свадьба. Дядя мой, единственный мой родственник, живший в Москве, недовольный, что я беру жену не из знатной фамилии, не захотел быть у меня на свадьбе. Я принужден был просить чужих людей заступить место посаженых отца и матери: первым был московской сосед мой генерал Ушаков[43], а второю Ольга Семеновна Аксакова. После свадьбы, однако, мы были у дяди и были приняты им довольно родственно, хотя, конечно, не очень горячо, а сообразно его холодному характеру и светскому приличию: от него было и то хорошо! — Но Катерина Гавриловна Левашова оказала в этом случае весь свой такт, всю свою доброту и всю свою просвещенную дружбу. Зная нерасположение дяди, она сделала, однако, для нас обед, на который пригласила и его. Видя, что жена моя попала в светское общество и принимаема с должным вниманием и почетом, и он переменил свое обращение с нами. Он при своем наружном величии был так слаб духом, что для него (повторяю сказанное уже не раз) обстановка и общее мнение, или, лучше сказать, мнение света — значило все: ими руководствовался он во всю жизнь свою; они же помогли поправить его собственное мнение и о моей женитьбе.

Ровно через год, 27 июня 1836 года, родилась у нас дочь Софья[44], та самая, которая лет через десять после этого жила с нами, одна из всех наших детей, в деревне и была мне единственною отрадою. Восприемниками ее от купели были: мать Елизаветы Михайловны и дядя мой Иван Иванович. Упоминаю об этом как доказательство, что мы не чуждались дяди, несмотря на его прежнее неудовольствие, и что он тоже нас не чуждался.

Прерываю рассказ о самом себе, чтобы рассказать о происшествии, которым начался следующий 1837 год и которое отозвалось не только во всей нашей пишущей братии, но во всей читающей России. — Это смерть Пушкина, последовавшая 29 генваря вследствие его дуэли с иностранцем Дантесом[45].

С Пушкиным я не мог быть коротко знаком, потому что он никогда не жил в Москве, а бывал в ней только на короткое время, почти проездом. И потому я сообщу о нем немного. Я видал его у моего дяди и у его дяди, добродушного Василья Львовича Пушкина, о котором я упомянул в 8-й главе моих рассказов. Пушкина считают у нас одним из первых остроумцев, но этого не было. Правда, что он был ума очень живого, но легкого, который не только не был способен углубляться, но по большей части схватывал только верхушки предметов. Он был совсем не мыслитель и даже не наблюдатель, но, по природной счастливой своей способности, мог легко принимать и легко передавать впечатления: он был верным зеркалом, отражающим все, что

проходило мимо. Такова была и его поэзия. В ней отражался мир, как в зеркале, но в этом зеркале отражались только такие предметы, которые его окружали, то есть картины житейские, а великие произведения жизни и мира не вмещались в его рамку. Это был не Гете, даже и не Державин. Высокое, кажется, не вмещалось в его духе. Раз только написал он патриотические стихи: «Клеветникам России», но и эти стихи не более как лирическая сатира. — Таков был и разговор его: летучий, отрывочный, переходящий от одного предмета к другому и не оста[на]вливающийся ни на чем в размышлении. Он постигал очень легко, что было у него перед глазами, но, кажется, труд мысли был ему не под силу. Таковы были и суждения его о произведениях литературы: он или хвалил, или молчал, или осуждал одним резким словом, но никогда не разбирал основательно и подробно. Словом, он судил, кажется, как судят у нас умные, светские женщины. Кто-то сказал: «Что не нравится женщине, чего она не любит, то она уже осудила». Другими словами, он судил, кажется, более по инстинкту, который, надобно сказать, был в нем изящен, но безотчетен[46].

Вся жизнь Пушкина прошла в волнении. Еще в царствование Императора Александра Павловича он раздражил его своими эпиграммами и был послан служить в Бессарабию, к генералу Инзову[47]. — Николай Павлович при коронации своей возвратил его. Говорят, что он после своего изгнания въехал в Москву во время самого бала французского посла, маршала Мармонта (следовательно, « » числа)[48]. Он был представлен Государю, который очаровал его милостивым приемом и отеческими наставлениями. Но Николай Павлович мастер был унижать самыми своими милостями. Пушкин к службе был не способен; ему нужна была тихая жизнь, много досугу, а пуще всего много денег; что касается до его значения, оно было немалое, по той славе поэта, по которой его имя было известно всякому. А Николай Павлович пожаловал его в камер-юнкеры[49] и тем самым сравнял его с толпою придворных, в которой было уже и тогда множество людей, не отличающихся ни родом, ни воспитанием. — Это унизило Пушкина в глазах таких людей, которые почитали его выше мелочного честолюбия. Это сравняло его со всеми; а то и нужно было великодушному деспоту.

Между тем Пушкин был уже женат на Гончаровой. Она была очень хороша собой, и я верю, что она была верна мужу; но какая хорошенькая женщина не хочет нравиться? А ее окружала придворная сфера! Она не устояла против искушения светского кокетства. Обожатели явились, и между прочими иностранец Дантес, побочный сын, как говорили, короля голландского, усыновленный его посланником при русском дворе, бароном Геккерном[50].

Пушкин однажды, находясь в большом обществе, у графини Воронцовой, получил пакет[51]. Он думал, что это какие-нибудь листы по предмету

издававшегося им в то время журнала. Но вместо того нашел в пакете диплом на принятие его в общество рогоносцев. Не знаю почему, подозрение в этой дерзости пало на Дантеса, и дуэль была уже неизбежна.

Он умер от раны, как я сказал, 29 генваря. Тело его дозволено было Тургеневу проводить в Псковскую губернию, где он похоронен в монастыре. Секундант его Данзас был наказан[52]; убийца его Дантес, бывший уже в русской службе, в императорской гвардии, выслан из России; а жена его через несколько времени вышла замуж за Баратынского[53].

Странно, что Пушкину было предсказание, что он должен умереть от белого человека или от белой лошади; а Дантес, служа в кавалергардах, носил белый мундир.

Возвращаюсь к самому себе.

Надобно было познакомить мне жену мою с симбирскими родными; надобно было показать ей и нашу деревню. С 24 июня 1837 [года] я взял отпуск — и в июле отправился в дальный путь, на свою родину, где хоть и жили мои родные, но где все уже было мне чужое. Маленькую дочь оставили мы у бабушки; Катю у тетки ее Анисьи Федоровны; Мишу — у старого приятеля моего Михайлы Петровича Погодина; а Федю и Сашу[54] взяли с собою. Лето было в этот год самое жаркое; в продолжение нескольких дней, во время путешествия нашего, не было ни одного облачка на небе, жар солнечный и духота кареты располагали тело к испарине; вдруг подул холодный ветер. В это время проезжали мы одну станцию за Арзамасом, знаменитый тогдашний переезд между Медынцева и Шарапова, где на тридцати трех верстах находилось тогда двадцать гор, то есть подъемов и спусков. На половине этой станции находится село Нагаево, близ которого, с полверсты в стороне от дороги, построена часовня с образом Божией Матери. Она окружена лесом и стоит на ручье: местоположение прекрасное и живописное. Я, с отроческих лет ездя по этой дороге, всегда останавливался помолиться в этой часовне и один раз даже срисовал ее. — И в этот раз я тоже вышел из кареты и пошел к ней в сторону от большой дороги. На этом переходе обхватило меня холодным ветром, и я тут же почувствовал боль в ногах. По причине этой боли мы должны были останавливаться ночевать на станциях. А перед этим временем проезжал тою же дорогою великий князь, нынешний Государь Александр Николаевич, путешествовавший, не знаю для чего, по России[55]. Их посылают в эти путешествия, как говорят, для того, чтоб они узнали Россию. Но справедливо сказал один умный человек, что, проехавши несколько тысяч верст, они так же узнают Россию, как бы, например, проскакать по Пречистенке и узнать, что делается во всех ее домах. От этих путешествий ничего не остается, кроме вреда государству и убытков частным

людям: для исправления дорог сгоняют крестьян в рабочую пору и оставляют без уборки хлеб; дворянство разоряется на губернские балы, которые этим высоким путешественникам не в диковинку; да сверх того делают раскладку по душам на разные праздники и угощения. Одним словом, каждое такое путешествие равняется неурожаю и пожару; а ни пользы, ни удовольствия никаких! — Если бы они ездили, как мы, грешные, то есть ждали бы лошадей на станциях, побеседовали бы с пьяными станционными смотрителями да посмотрели бы, что ест русский народ, и как тяжела его жизнь, и как лениво он работает с утра до ночи; поболтали бы с дворянами о их хозяйстве, о их быте: тогда узнали бы и они Россию. А то — им показывают то, что они знают; тот же двор, только в губернской карикатуре. Они видят одну лицевую и праздничную сторону; одни улыбки; а не видят нужды и быта народа, его трудов, страданий и пороков. Им так показывают Россию, как будто в ней вечный праздник; а в ней и праздники-то не что иное, как на время позабытое горе! — Я привожу речь к тому, что путешествие Государя Наследника, по следам которого мы ехали, было одной из причин к большему развитию моей болезни. — В этот раз для высокого путешественника собраны были лошади со всех окружных станций; а для нас, простых смертных, выставили лошадей не почтовых и нагнали каких-то татар из окружных деревень. Станции недели на три опустели, потому что почтовые кони и ямщики сняты были с них задолго до проезда великого князя; в это время мужики повыдергали из дверей крючки и перебили в окнах стекла. Дуло со всех сторон на наших ночлегах: и таким образом, благодаря путешествию высокой особы, я получил опять ревматизм.

Едва мы приехали в Симбирск к теткам, как через четверть часа у меня распухли ноги, я слег в постель и пролежал десять месяцев. Вот какой плод получил я от приезда на родину.

Что я вытерпел в эту болезнь от симбирских медиков и от симбирских властей, это невообразимо и стоит, чтобы узнало об этом потомство, если дойдут до него мои рассказы.

Меня лечили один за другим четыре медика: два штаб-лекаря — Рудольф и Баршацкой[56], лекарь Типяков[57] и, наконец, доктор Рючи[58]. Замучили меня и они, и аптеки, и ни один не сделал ни малейшей пользы. Кроме того, самое обращение их, и с больным, и между собою, лишало меня доверчивости к их искусству; ибо я привык к просвещенным формам московских медиков. А провинциальная так называемая бесцеремонность — так близка к грубости, что она мне всегда была противна. Эта же грубость обращения соединяется обыкновенно и с недостатком той совестливости, которою прикрывается у нас или отказ, или несогласие с чужим мнением. У них все это делается просто. Так, например, Баршацкой и Рючи, будучи несогласны

между собою в средствах, отнеслись к суду третьего; а этот третий, произнеся свое решение, не согласился, однако же, подписать рецепта: следовательно, не был и сам в себе уверен. Какую же после этого больной мог иметь к ним доверенность? — Наконец оба они, у меня на консилиуме, разбранились. После этого Рючи меня бросил; а Баршацкого я прогнал сам. Последнее мое слово к нему было: «Все вы скоты!» — Больше они и не стоили; а мне от этого было не легче.

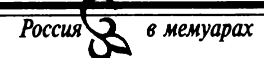
Аптеки же были таковы, что один раз я принимал, в продолжение десяти дней, одно лекарство, стоящее по осьми рублей ассигнациями за склянку, которое, однако, не производило ожидаемого действия. А в это время лечили меня уже не они, а хороший медик, о котором скажу после. Наконец открылось, что из аптеки отпускали не тот роб[59], который мне был прописан, а другой, который был наготовлен у них в некотором количестве для другого больного.

Кроме болезни испытал я на родине и другие неприятности.

В этом году был рекрутской набор[60], и с имения моего был уже поставлен рекрут. Его приняли и выдали мне квитанцию; а через два месяца выбрили ему затылок[61] и отослали опять ко мне в деревню, а вместо его взяли двух мужиков насильно и привезли их в Симбирск на выбор. По счастию, их привезли на масленице, когда нет присутствия, а дежурные все пьяны. Некому было и принять их, и потому привели их ко мне. — Я взял их и, посоветовавшись с губернским предводителем[62], отпустил их в деревню обратно; а сам, несмотря на болезнь мою, вступил в переписку об этом с тогдашним симбирским губернатором Иваном Петровичем Хомутовым[63].

Все мои аргументы основывались на следующем главном положении: «По закону, ежели 10 дней не было протеста против приема рекрута, то его не возвращать; а мой рекрут принят уже два месяца!» — Кажется, ясно; со всем тем процесс продолжался два же месяца, и я думал, что не обойдется без жалобы в Сенат. Но Хомутов так мало знал дела, что не боялся этого, как я ни толковал ему, что квитанция у меня в руках: следовательно, доказательство его беззаконного поступка очевидно![64]

Переписка моя по сему случаю с губернатором так всех удивила, что ее все читали, переписывали и даже посылали за Волгу. Некоторые из моих симбирских знакомых испугались моего либерализма и от меня отстали; а когда я устоял против губернатора, то опять явились. — Один только из тамошних дворян (который, впрочем, ко мне не ездил), Александр Алексеевич Сталыпин[65], с длинным носом и необычайно крепким горлом, сделался в этом случае трубачом моей славы и делал нарочно визиты, чтобы читать всем нашу переписку. Впрочем, это по особой причине: ему губернатор не отдал визита, то он рад был случаю отмстить ему, показавши, что и его превосходи-



тельства иные люди не боятся! Однако же переписка в самом деле была довольно занимательна по своей критической форме и забавна, по ошибке губернатора в указании на закон и по моему учтивому указанию на эту ошибку, которая совершенно нечаянно послужила к успеху моего дела.

Главный зачинщик самовластного поступка со мною был вице-губернатор как президент рекрутского присутствия[66]. Имя его было: Петр Герасимович Воскресенской, некогда, во время моего студенчества, сидевший на задней лавке на лекциях Сандунова, первый тогдашний симбирский взяточник и сын тоже взяточника, Герасима Кирилловича, которого князь Голицын пересадил за это из губернских прокуроров Москвы в свою канцелярию[67].

При нем и при Хомутове в Симбирске при рекрутских наборах происходили мастерские плутни[68]. Например, один из членов рекрутского присутствия, г. Рушко[69], покупал у кого-нибудь человека за дешевую цену и, как следует, совершал купчую крепость. При первом рекрутском наборе он запродавал этого человека какому-нибудь мещанину, желающему нанять за себя рекрута. Но помещик, по закону, не имел права поставить своего крепостного человека за другого; а отпущенный на волю всегда мог наняться в рекруты. — И потому г. Рушко, запродавши этого человека, писал ему отпускную, о которой, однако, этому человеку было неизвестно. Потом он вел его, как своего крепостного, в рекрутское присутствие, которого он сам членом, и, отдавши его в рекруты, брил ему лоб; но в делах присутствия имя господина не упоминалось, а значилось, что этот человек, как вольноотпущенный, нанялся в рекруты по доброй воле, и прилагается, как документ, его отпускная. — Всякого наемщика по закону следует спрашивать, добровольно ли он нанялся в рекруты за такого-то; но тут этого вопроса, разумеется, уже не делалось, и вольноотпущенный покорялся, как раб, судьбе своей, в полной уверенности, что его отдает господин его, а не воображая, что он идет за другого[70]. — За такого наемщика брал г. Рушко тысячи по четыре ассигнациями.

Всякой согласится, что для подобного плутовства г. Рушки надобно было, чтоб все его товарищи по рекрутскому присутствию были с ним заодно: так оно и было; во-первых, потому, что все они заодно, а во-вторых, потому, что этот г. Рушко был главным агентом взяточничества по рекрутскому присутствию, и всякому имеющему нужду по рекрутству здешние старожилы давали совет обращаться к нему; а он уже вел переговоры с вице-губернатором, который всегда был готов помочь за деньги, и потому считался здесь добрым человеком.

Добрый человек был здесь тот, который берет большими кушами и с разбором, то есть знает, с кого и за какое дело взять, и который возьмет, да и сделает: такой человек берет взятки систематически и сверх того приобретает

себе друзей в тех, кому он нужен, потому что на него им всегда можно уже надеяться. — *Дурной человек* здесь тот, кто берет со всякого, что попадется, и который ни для кого ничего не сделает и не умеет сделать: губернатор, Иван Петрович Хомутов, почитался здесь дурным человеком! — А *прекрасный человек* назывался здесь тот, который сам дает взятки и сверх того поит шампанским. Титул прекрасного человека имел здесь откупщик Бернадаки[71], который в самом деле, говорят, был человек честный, насколько откупщик может быть честным человеком. Впрочем, если он пользовался здесь уважением, то, конечно, не за честность, которая и нынче здесь никакой цены не имеет, а за богатство, которое он нажил единственно умением и дальновидностию в самое короткое время: в шесть лет из ничего он сделался миллионщиком. При расчетах с товарищами он доказал не только честность, но примерное бескорыстие; а именно, торговавши на откупные доходы хлебом без ведома прочих соучастников откупа, он, по окончании с ними расчета, принес им еще 500 тысяч рублей, приторгованных с суммы, пущенной им в этот оборот с их части капитала. Этой прибыли они не могли ни знать, ни ожидать, ни требовать, если бы даже знали о его торге хлебом. — Этот Бернадаки платил ежегодно губернатору 10 тысяч рублей ассигнациями, вице-губернатору 20 тысяч, прокурору Ренкевичу[72] 3 тысячи, советникам всем по 2 тысячи рублей каждому. — Прокурору давал он сравнительно с другими мало, как человеку слабому и безгласному. — Сверх того всем им отпускалось даром из питейной конторы мед, пиво, вино и ерофеич[73]. Он-то здесь был прекрасным человеком!

Трудно изобразить тогдашнее симбирское взяточничество и трудно ему поверить; однако честию уверяю, что все, что я пишу теперь, есть сущая правда. Например, губернатору ставил сам полицеймейстер белые хлебы, говядину на стол и прочее, забирая их у продавцов даром. — Грабеж и насилие властей доходили до неслыханных размеров. — Вот несколько примеров, оставшихся у меня в памяти.

Один из симбирских каретников — Петр Александров Филатов чинил экипаж губернатору даром. Но на требование его переделать совсем почти развалившуюся карету отвечал, что переделка этой кареты будет стоить несколько сот рублей, и потому без денег он исправить ее не может. — В заутреню Светлого Воскресенья прислал к нему полицеймейстер[74], чтоб он выровнял перед своим домом бугор. Тот отвечал, что работники его все у заутрени, а сам он лежит болен. — После заутрени схватили его и посадили в тюрьму. Продержавши всю неделю, прислали ему сказать, чтоб он дал столько-то полуимпериалов (тогда у нас было еще золото), и что его за этот выкуп выпустят; он обещал, но с тем, чтоб его прежде выпустили, потому что без него жена не знает, где лежат деньги. Долго не соглашались; нако-

нец отпустили его домой с полицейским солдатом. Заплативши выкуп, он был освобожден и явился с жалобою к губернатору. Губернатор треснул его в зубы, закричал: «Как он смеет клеветать на полицеймейстера!»— и прибил его до полусмерти, после чего он опять долго был болен.

У начальника симбирского комиссариата полковника Шуинга[75] покрали из дома бронзу. Он объявил о том полиции. Полиция, отыскавши вещи, прислала ему сказать, что они отысканы и что ежели он пришлет пять полуимпериалов, то их получит. — Он поскупился. Присылают вторично сказать, что ежели он не пришлет денег, то вещей ему не отдадут, потому что сей час отправляется обоз с разными вещами на Нижегородскую ярмарку, то их уложат и увезут. Он послал деньги, и вещи ему возвратили, однакож не все. — После увидел он из них у полицеймейстера свои канделабры и выкупил.

Здесь был в то время длинный и широкой мост через глубокой овраг, в котором течет речка Симбирка, не уступающая в грязи и бедности воды знаменитому Мансанаресу[76]. По обе стороны моста вместо перил были построены лавочки, в которых торговали разными мелочами, как-то: гвоздями, тряпьем и проч. — В 1837 году губернатору понадобились деньги для отъезда в Петербург. Он велел полицеймейстеру вынуть по две доски с каждой стороны моста под предлогом, что мост худ, так что ездить и ходить по мосту было можно, но покупщикам подходить к лавочкам было нельзя: следовательно, торг в них прекратился! — А чтобы опять вложить эти доски, требовал он по два полуимпериала с каждой лавочки. Продавцы, однако, не согласились. В таком виде оставался этот мост даже и во время приезда в Симбирск великого князя; почему и провезли его к назначенному для него дому далеким объездом по темным переулкам. Наконец, во время отсутствия губернатора в Петербург, правивший его должностию председатель Племянников[77] приказал опять положить снятые доски.

Даже симбирские нищие были в то время обложены от полицеймейстера ежемесячным оброком. 1837 года каждый нищий платил по пятиалтынному в месяц, то есть по 69 копеек по тогдашнему курсу, а с нового 1838-го стали платить по двугривенному, то есть по 92 копейки[78]. — Это все знали и говорили об этом открыто.

Пожарная команда, какова она была тогда в Симбирске и как действовала, это тоже заслуживает описания. — Вообще, при пожарах наблюдался престранный порядок. Прежде всего забьют на приходской колокольне в набат; потом по улицам пойдут с трещотками; потом пойдет по всем улицам единственный в городе барабанщик сзывать народ[79]. — Этот единственный барабанщик, и возмутитель сна, и охранитель спокойствия жителей, ходил также по всему городу в торжественные дни, разумеется, без барабана, поздравлять с праздником и собирать со всех дань благодарности: какие патри-

архальные нравы! И вместе какая европейская, гласная признательность к громкому человеку! — Наконец — после всего этого — выставляли на каланче флаг! — Когда весь этот порядок в точности был исполнен, тогда приезжала и полиция с пожарными инструментами. — За водой же надобно было ездить под гору, на Свиягу, к самому Московскому въезду, то есть иногда с одного конца города на другой. Была бы вода и в средине города, где протекает в крутом овраге речка Симбирка, но для этого надобно бы было срыть часть берега и сделать съезд к воде, но не догадались![80]

В конце 1837 года, именно 4 ноября, случился пожар в доме штаб-лекаря Рудольфа, когда совсем еще не было снега, а была грязь, и по временам, когда подморозит, кочки; но бочки и пожарные трубы давно уже были поставлены на зимние полозья в надежде, что до зимы не будет пожара! — Пока полицеймейстер перестанавливал весь пожарный обоз опять на колеса, у Рудольфа сгорело одних экипажей на 15 тысяч: у него было одних рессорных дрожек шестеро. — Самый дом его был спасен от пожара, однако не полицией, а солдатами комиссариата, потому что полиция приехала к окончанию пожара только для взыскания 25 рублей, следующих, говорят, по закону на пожарную команду, которые после Рудольф и разделил своими руками пожарным служителям, чтобы их не присвоил себе полицеймейстер. Вещи все вынесены были из дома знакомыми хозяина и хранились до возвращения его из деревни (ибо пожар случился без него) и по возвращении его отданы ему в такой целости, что не было разбито ни одной фарфоровой чашки. Хозяйка дома, нанимаемого нами, славная в Симбирске своею красотою Софья Ивановна Манштет[81], сберегла у себя все взятые из дома бриллианты на большую сумму, которые, если б ускорил приездом полицеймейстер, верно бы истлели от сильного жара даже и в негорелом деревянном доме.

Таково было тогда положение дел в Симбирске, и вот в какую сторону я попал, приехавши на свою родину. Ничего не встретил я там, кроме неприятного, и ничем не порадовал меня в этот приезд тот самый Симбирск, где я прежде был так доволен судьбою и счастлив до самой кончины Натальи Михайловны. — Все переменилось! — Две беглые сестры, которые так оскорбили теток своим замужеством, вошли через три года опять к ним в милость и сделались их любимицами, а Елизавета Николаевна, заметил я, стала от них отдаляться. Не видя ее мужа, я спросил об нем и узнал, что он лет пять уже не видится с тетками. Одним словом, я увидел, что после кончины дяди Сергея Ивановича семейные связи распались. Матюнин и Нефедьев, мужья двух сестер, не гармонировали с нами ни родственным чувством, ни тоном обращения и держались у теток, с одной стороны, мелкими угождениями, а с другой — страхом старушек за своих племянниц. — Петр Сергеевич, муж

Елизаветы Николаевны, как я узнал после, и тогда уже любил выпить. Сами тетки ласкали жену мою, но ко мне были видимо холодны.

Сначала мы остановились в доме тетки Натальи Ивановны на Московской улице, но так как болезнь моя продолжалась и становилась упорною, то я заметил, что мы ей в тягость. С большим трудом нашли мы себе помещение, но наконец наняли дом Манштета, у Николы, куда и переехали. Здесь, по крайней мере, мы жили одни с детьми и никому не были в тягость. Но предполагая большую часть отпуска прожить в деревне на всем готовом, я рассчитывал на издержки по своей возможности, а вышло напротив, что для симбирской жизни понадобилось едва ли не столько же денег, сколько для московской; сверх того дорого стоило леченье, а денег не было: со всех сторон затруднения, и тяжело было мне это время! Не говорю уже о том, что жил розно с некоторыми из детей, лишенный всех удобств, к которым привык, и не имел надежды возвратиться.

Я заметил в течение моей жизни, что когда судьба начнет преследовать — одно несчастие не бывает без другого. Положение мое было истинно горестным и казалось безвыходным. К этому прибавилось еще горе: неожиданная кончина в Москве дяди моего Ивана Ивановича, последовавшая 3 октября 1837 года. Он родился 1760 года, сентября 10-го, следовательно, ему было 77 лет [и один месяц] без 7 дней.

Я так много упоминал о нем в продолжение этих рассказов и по большей части с некоторой иронией, что здесь считаю нужным поговорить поболее об этом замечательном человеке. Не получивший почти никакого воспитания и всем обязанный двум силам — природе и счастию, Иван Иванович умел возвыситься сам собою и на гражданской лестнице отличий служебных, и на литературном поприще. — Он выучился самоучкой по-французски. Никогда не мог объясняться на этом языке, но понимал его хорошо: доказательством этого служат его переводы из Лафонтена и Флориана, где сохранены тончайшие черты подлинника. Он имел ум не глубокой, но ясный; неспособный к труду, к делам, к исследованиям, но догадливый и последовательный. Главное свойство его стихотворных произведений — это чистота вкуса и уменье красивой формы, одним словом, искусство истинного художника. Он первый очистил наш язык стихотворный и сделал для поэзии то, что Карамзин для прозы. И потому он истинный родоначальник наших поэтов, включая в то число и Пушкина: без него трудно бы было им дойти и до пушкинской легкости, и до художественной формы. — Главное свойство его характера составляла мера во всем, и последствие ее — благоразумная осторожность, уменье идти вперед при попутном ветре и вовремя остановиться. Непрактической человек в делах, он был в жизни человек самый практической. — От родных он отстал, живя в молодости далеко от них, то в Петербурге, то в Москве, и потому не оказывал к ним теплого родственного чувства; но он

имел друзей и был любим многими, что доказывает, что имел же он качества сердца, которые возбуждали симпатию. Что касается до его дружбы с Карамзиным — это статья особая. Во-первых, это была связь юности, а известно, как прочны эти связи. Потом, добродушие Карамзина было действительно привлекательно; далее, прочности их связи много способствовала обоюдная их склонность к занятиям литературным; и наконец слава обоих друзей, думаю, была одной из причин, соединявших их более и более. Но они с Карамзиным были люди разные. Карамзин имел не только более сведений, но более и основательных качеств; Иван Иванович был легче его и характером, и силою мысли. Карамзин был нежен и чувствителен, Иван Иванович холоден. Карамзин был ума неглубокого, но обширного; Иван Иванович был ума более светского. Карамзин имел обширные сведения и мог пускаться в открытое море, Иван Иванович умел так хорошо держаться фарватера, что всегда плавал в водах, ему хорошо известных, и потому плыл всегда хорошо, не сталкиваясь с сильными кораблями. И потому вся жизнь его прошла с тою философскою беспечностию, которую так ценили не одни философы, но и вообще люди осьмнадцатого века.

Неожиданная кончина его последовала таким образом. Он был совершенно здоров и выезжал. В день своей болезни он обедал дома, и умеренно; но кушанья за столом были тяжелые. После обеда, одевшись довольно тепло, он пошел садить акацию около кухни, чтобы закрыть ее с приезду. Тут он почувствовал дрожь; под конец впал в беспамятство. Четыре доктора навещали его, но не могли осилить болезни, и через три дня его не стало. Никого из родных его не было в Москве, и никого, кроме чужих, не было при его кончине.

Странно, что, ничего не зная о его болезни, с 5 на 6 октября ночью я видел сон, бывший как будто предвещанием. Я видел, что передо мною держат два дерева, совершенно не похожие на известные нам, вышиною одно сажени в полторы, другое гораздо выше. Последнее, то есть самое большое, с корнями и листьями, так, как их сажают. Первое пониже, срезанное гладко с обоих концов, и сверху, и снизу у корня, так, что ни корней, ни ветвей, а один гладкой ствол, хотя мне его и называли деревом. Я будто говорю, что мне этого дерева не надо, а куплю другое, чтобы посадить, а мне отвечают, что того уже купить и нельзя, потому что оно куплено Иваном Ивановичем. Я подивился этому и подумал: на что оно ему? А сам купил то, которое с корнями и ветвями, чтобы его посадить.

Только что я рассказал этот сон жене моей 6 числа поутру, как получил письмо, уведомляющее, что Иван Иванович болен при смерти[82]. Вместе с тем получил и другое, уведомляющее, что он занемог, сажая акацию, следственно, сажая дерево[83]. Но всего страннее то, что я давно уже, по моей

способности предугадывать, предчувствовал его кончину, только не в 1837 году, а в начале 1838 года. Ошибся в год, но немногим: только четырьмя или пятью месяцами, потому что я ожидал в феврале.

Переход в вечность для нас тайна. Что совершается в это время с человеком? Что видит он, что чувствует в то время, когда мы почитаем умирающего бесчувственным? — Нет! в эту-то минуту и открывается ему эта тайна! Это вступление в новый мир, в другую природу, духовную, бывает, конечно, нелегко для всякого, и небезболезненно и изумительно для нового взора духовного человека. Не нам судить об этом, не испытавшим еще над собою этого страшного перехода в вечность. Тут, вероятно, не помогает даже и прежняя привычка размышлять о мире духовном, если кто и размышлял о нем в течение своей земной жизни; ибо гадать и угадывать посредством умозаключений — это не то, что видеть. Но если кто удаляется и от мысли о духовном мире? Иван Иванович (боюсь, чтоб это не было мне самому в осуждение) боялся даже и мысли о предметах духовных. У него был какой-то страх к духовному миру; и вдруг... там!.. страшно! — Одно только может утешить при этой мысли: мы не знаем всех средств Провидения, а благость его неистощима!

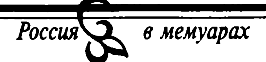
А на земле происходило в это время другое. Мы были его наследниками. Я был весь предан горести о потере дяди, который все-таки был благодетель моей юности и сообразно своим понятиям оказывал мне некоторое покровительство. Его старанием был я определен в пансион; его имя, вероятно, имело некоторое влияние и на поприще моей службы. Я был весь предан горести и мыслям, изложенным выше. Но Матюнин и Нефедьев, мужья двоюродных сестер моих, особливо первый, не могли скрыть своей радости о наследстве. Тут же начали они собирать разные справки и осведомления и наводить беспрестанно разговор на наследство, так что мне сделалось вдвое горше, видя, как бесстыдно радуются люди смерти близкого человека — и какого человека! — Известного во всей России! И гадко мне было глядеть на корыстолюбцев, обманом втершихся в семейство. Но об этом разделе и о всех их проделках я расскажу в своем месте.

Между тем срок моего отпуска давно минул; сверх его, по закону Николая Павловича, можно было просрочить только четыре месяца: долее этого срока причины болезни не допускались, и надобно было идти в отставку. Мне не хотелось прервать вдруг свою служебную карьеру, и потому я решился написать частное письмо к министру юстиции Дмитрию Васильевичу Дашкову, объяснить ему мое положение и мою невольную отлучку. Я писал к нему, что, зная закон, я не имею права основать своей просьбы на законе, и потому обращаюсь только к его рассудительности и человеколюбию. Я писал между прочим, что, прося о себе, мне кажется, что я ходатайствую в то же

время о многих людях, могущих находиться в таком же положении и потерять службу без всякой вины по причине болезни. — Это письмо мое подействовало. — Так как переступить мелочный порядок службы было при Николае Павловиче опаснее, чем погубить невинного доносом, то оставалось одно средство: обойти закон. И потому министр юстиции, не смея продолжить мне отпуска сверх меры и видя, что просрочка перешла уже на следующий год, дал мне с 5 апреля 1838 года на два месяца новый отпуск.

В то же время лежал в Симбирске больной и другой стихотворец, Николай Михайлович Языков[84]. Наконец отыскали нам нового медика, штаб-лекаря Смирнова. — Это был у меня уже пятый. — Но, к несчастию, он жил в сорока верстах от Симбирска, за Волгою, в имении Михайлы Михайловича Наумова[85]. Однако он согласился ездить к нам оттуда. Он давал мне принимать сассапарель[86] с иодием и роб Кольберто, и через две недели я начал становиться на ноги. — Стало быть, было же средство против моей болезни. — Вскоре, благодаря Смирнову, я до такой степени почувствовал свои силы, что мог к концу десятого месяца болезни отправиться на две недели в свою деревню, а потом в Москву. Если бы я раньше узнал этого медика, болезнь моя, конечно, не продолжилась бы столько времени.

Мы приехали в Москву в дом, который только что наняли перед своим отъездом в Симбирск: в дом Семеновой на Пречистенском бульваре[87]. Свидание с Катей и Соней, которой без нас минуло два года, дружеское общество московских знакомых, особенно же Курбатова, прогулка по бульвару и вообще прежняя московская жизнь — все это подействовало благоприятно на мой дух после симбирского заточения. Но дом дяди опустел и ожидал наследников[88].



ГЛАВА 18
Возвращение в Москву • Болезнь • Раздел наследства • Бакунины • Князь Шаховской • Парк и воксал • Маркиз Кюстин • Литература • Служба за обер-прокурорским столом 6-го департамента Сената • Пожалование чина и в должность обер-прокурора

Вскоре по приезде нашем в Москву посетила меня другая болезнь: горячка. Странно, что я чувствовал только головную сильную боль и жар, но не подозревал в себе опасной болезни, между тем как я был в положении опасном. Как ни страдает больной, редко, я думаю, приходит ему на мысль, что жизнь его в опасности. Физическая природа борется с болезнию и силится прийти в нормальное положение, и так бывает занята собою, что не дает простора силам душевным и ослабляет их действие: оттого, я думаю, болезнь бывает всегда страшнее для окружающих, чем для самого больного. И от этого же, я думаю, большая часть людей переходят в тот мир, не подозревая близости этого перехода. Опасность для души — не менее, чем для тела! Болезнь кончится вместе с смертию, и начинается другая жизнь — но какая жизнь? Мы редко бываем к ней готовы, а приготовиться во время болезни мешали самые страдания тела! — В таком состоянии был и я. — Но искусство московских врачей, из которых тогда было много знаменитых, избавило меня не только от болезни, но, может быть, и от смерти. А как я был человек еще не старый, то силы возвратились скоро.

Меня ожидала другая горячка: приезд наследников Ивана Ивановича и раздел наследства. Они, само собою разумеется, не замедлили и налетели, как два ворона на труп, на добычу, снабдя себя каждый доверенностию от жены своей. А я имел доверенность от Елизаветы Николаевны Пазухиной.

Раздел наш был летом 1838 года, в самые жары. Он имел два предмета различные: имения недвижимого и движимого. Недвижимое состояло из 518 душ в разных деревнях, из которых мне следовала третья часть. Не занимавшись до этого времени сельским хозяйством, я не знал выгод, происходящих от качества земли и от местности, кроме того, я не был корыстолюбив:

хотя и терпел нередко нужду, но был доволен малым. А мужья двух моих сонаследниц были оба опытны в хозяйстве, и вся забота их была о приобретении и о выгодах: по этой причине не было обращено мною должного внимания на существенные качества имения, а только на количество земли и на число крестьян. Мне как старшему предоставлено было село Богородское, главное, по наружности, имение, то есть то село, в котором жил дед мой и где я родился и провел свое отрочество. Правду сказать, мне и грустно бы было видеть его в чужих руках, но это было одна привязанность к воспоминаниям, одно поэтическое чувство. А качество земли было в нем хуже и годно было только для посева ржи или овса, проса и пшеницы в нем почти не сеялось. А в других, заволжских, деревнях был посев даже белотурки[1], которая приносила доходу вдвое против ржи. Но мы разделили землю поровну: мне казалось тогда это справедливым; кроме того, Богородское было рядом с моим селом Троицким, и один сосед напомнил мне старую пословицу: дорога борозда к загону. — Соучастники же, разумеется, в этом не спорили, потому что вся выгода такого раздела была на их стороне. Кроме того, в этом родовом селе мне достался господской дом, оцененный, помнится, в десять тысяч ассигнациями, за который я должен был заплатить, однако, части, следовавшие другим. При всем том и раздел угодий не обошелся без спора. Оба эти господа, Матюнин и Нефедьев, ненавидели Елизавету Николаевну Пазухину, а ей на долю приходилось с одной мельницы десятью рублями ежегодного дохода более, чем другим, и уравнять было невозможно. Кто поверит, что из этих десяти рублей они в продолжение двух недель не подписывали раздельного акта! Они меня замучили этим разделом. И приходило мне на мысль одно средство, как покончить с этим обстоятельством, но долго я боялся обидеть их моим предложением и пуще испортить дело. Наконец, однако, решился. Так как эти десять рублей дохода составляли, по десятилетней сложности, сто рублей ассигнациями, то я предложил Матюнину получить от меня эти сто рублей вдруг и единовременно: он, не краснея, согласился; положил в карман деньги, взял перо и подписал. Таковы благородны были эти люди!

Я не раз думал: от чего происходят те или другие свойства человека? — Вероятно, от темперамента, от воспитания, от примеров, виденных в детстве; а может быть, есть и различные души! Например: что такое — корыстолюбие, к которому я никогда не имел наклонности? — Неужели это бывает в крови, как некоторые другие страсти? Что такое — зависть, не довольная ничем и всегда желающая чужого? — Как бы то ни было, но тут едва ли есть оправдание в темпераменте! Это просто свойство жадной души; это такая же ненасытимость любостяжания, как бывает неутолимый голод. Но много за-

висит и от породы, и от воспитания, и от прежнего положения. Отец Матюнина был старый подьячий, который жил приносами[2]. Кроме того, оба эти молодцы были прежде в армейской службе и, вероятно, стоя по деревням на квартирах, натерпелись разных лишений. Они знали цену довольства; а довольство дается приобретением имения. Им все было в диковинку: оттого они на все и бросались жадно! — Такой жадности к деньгам, как в Матюнине, я не видывал ни в ком: говоря о доходном месте по службе, он даже дрожал от ощущения корысти!

Когда мы делили вещи, всего легче был раздел серебра, потому что его оценили на вес. Но когда дошло до предметов искусства, эстампов и некоторых рисунков, я предлагал попросить италианца Кампиони[3] оценить их; однако, думая, что я могу сговориться с Кампиони, они не согласились. В одно утро, приехав в дом дяди для раздела вещей, я нашел эстампы расставленными по величине их, большие к большим, а маленькие к маленьким. — Это расставил их так Нефедьев, который вдобавок к плутовству был и глуп до крайности. Решились наконец выбирать поодиначке. Если кто возьмет большой, то и другой наследник должен брать большой же, и третий тоже; а если первый возьмет маленькой, то и другие должны брать такие же маленькие. Я предоставил им начинать выбор, и это, без всякого намерения, послужило мне в пользу. Они, не имея понятия об искусстве, выбирали те, которые показистее, и набрали хуже. Однажды проговорил мне Матюнин, что Нефедьеву очень бы хотелось получить один эстамп, да боится взять его, потому что он в золотой рамке, то не пришлось бы за него отдавать два. Я предложил сам ему этот эстамп, и он был очень доволен. Это было какое-то дрянное произведение домашней русской гравировки, изображающее переселение каких-то армян. — Известный богач Лазарев[4] заказывал нарочно нарисовать и выгравировать этот эстамп, чтобы увековечить память этого переселения своих соотечественников и единоверцев. — Один оттиск этого эстампа подарил он моему дяде, потому-то он и был в золотой рамке. А переселял армян полковник Лазарев[5], что и значилось в надписи. На другой день после получения Нефедьевым драгоценного эстампа я нашел его очень недовольным. — Что же случилось? — Он открылся нам, что ошибся в выборе, думая, что тут изображен какой-нибудь славный генерал, а по надписи видно, что это какой-то полковник. А надпись была на французском языке, то он нескоро разобрал, что значит слово colonel. Таковы были эти знатоки, наследовавшие дядины эстампы, в числе которых были некоторые знаменитых мастеров, попавшие в грубые лапы этих знатоков. Я думаю, они у них завалялись в деревне и распропали. А я, любивший всегда искусства, но не имевший у себя эстампов по их дороговизне, с этого времени стал обладателем небольшой, но отличной коллекции, к которой присовокупил

несколько и покупкою. Зная в них уже несколько толк, я накупил еще каталогов, в которых обозначаются их достоинство и цены; кроме того, я стал посещать старого знакомца италианца Кампиони, рассматривать его собрание и руководствоваться его знанием. У дяди недоставало некоторых эстампов, которыми я дорожил преимущественно, особенно хотелось мне иметь «Тайную Вечерю» Леонарда Винчи, мастерское произведение Рафаел-Моргена[6]. Я купил отличный экземпляр за 400 рублей ассигнациями, и «Les quatre docteurs»*, эстамп Шарпа[7], avant la lettre[8], заплаченный мною 125 рублей ассигнациями. Некоторые эстампы Виля[9], например, «Les musiciens ambulans»** и другие, тоже умножили мое собрание. Я и доныне любуюсь ими и наслаждаюсь то силою, то мягкостию резца, то его отчетливостию или смелостию. Великое благодеяние природы и просвещения — это благородное наслаждение искусствами: оно много украшает нашу жизнь и особенно полезно для тех, которые принуждены заниматься сухими делами гражданской службы.

У Ивана Ивановича было еще несколько эскизов знаменитых художников. Были и ученические рисунки, подаренные ему рисовавшими их девочками, дочерьми его знакомых. Они были тоже в хороших рамках и потому привлекали к себе внимание и жадность наследников. Они не хотели мне верить, что те эскизы имеют существенное достоинство, а эти рисунки никакого. — «Да вы возьмете ли те эскизы на свою часть?» — спросил меня Нефедьев. — «Возьму!» — сказал я. — «Так берите же!» — поспешил он проговорить, как будто желал поймать меня на слове. Таким образом достались мне эти эскизы.

Кстати повторить здесь анекдот об одном эстампе, напечатанный уже мною в «Мелочах из запаса моей памяти». — У Ивана Ивановича был Миллеров эстамп «La Madona di Santo Sisto»[10], которым он дорожил по красоте экземпляра, не зная, впрочем, в чем состоит его достоинство у знатоков, и любовался им, не заботясь об этом. Однажды рассматривал его известный знаток в этом деле, Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев. Вдруг показалось ему издали, что это оттиск avant l'auréole, но, не доверяя своим глазам, он просил снять эстамп со стены и вынуть из рамки. Открылось, что это не только avant la lettre, но действительно avant l'auréole[11], то есть величайшая редкость! Писарев встрепенулся от радости, найдя такую драгоценность, и оценил этот эстамп по крайней мере в тысячу рублей ассигнациями, если не дороже.

Иван Иванович сказал ему шутя: «Хочешь, Николай Дмитриевич, я завещаю наследникам, чтобы они подарили тебе этот эстамп? Изволь, обещаю

*«Четыре медика» (*фр.*).

**«Бродячие музыканты» (*фр.*).

тебе». — Но Иван Иванович чрезвычайно боялся смерти и не любил, чтобы об ней вспоминали. — На другой день Иванчин-Писарев приходит к нему и подает ему бумагу, прося ее подписать. — Это была расписка в обещании, чтобы после его кончины эстамп достался Писареву. — Дмитриев взял перо и подписал, потом сказал Писареву: «Я твое желание исполнил, дай же мне слово, что и ты мое исполнишь». — «Даю!» — отвечал в радости Писарев. — «Итак, я по твоему желанию подписал эту бумагу, а ты, по моему желанию, оставь ее у меня»[12].

После кончины Ивана Ивановича мне большого труда стоило уговорить Матюнина и Нефедьева отдать этот эстамп Писареву; они не верили моему рассказу, принимая все это за шутку, и ничего не помогало; самое домогательство иметь эту вещь заставляло их думать, что она должна быть непростая! — Но, к счастию, я нашел в бумагах Ивана Ивановича его расписку, и эстамп был, наконец, отдан по обещанию.

Но мне самому очень хотелось иметь этот эстамп как знаменитое и лучшее произведение резца Миллера. Иванчин-Писарев, получивши наш эстамп, продал свой прежний Кампиони, у которого я и купил его за триста рублей ассигнациями.

Продолжаю рассказ о нашем разделе. Грустно вспоминать это, но не хочу пропустить ни одной черты из моей картины. — Всего ниже показались мне наследники при разделе платья. Например, Нефедьев, желая испытать легкость медвежьей шубы, надевал ее на себя и, несмотря на то, что это было в июньские жары, выходил в ней на балкон, обращенный в сад, а в саду в это время прогуливались дамы. Потом обращался он ко мне с предложением променять ему бархатный жилет на два другие похуже. Я предлагал ему драгоценный жилет в подарок, но он, из великодушия, подарка не принял. Тогда я взял у него оба жилета и при нем же подарил их слуге. Он не понял этого знака пренебрежения.

Всего любопытнее было видеть, когда они, получивши часть имущества, следующую их женам, отходили в уголок и делили ее между собою. Они не хотели ссориться открыто, но слышалось из угла их ворчанье и огрызанье, как собак над брошенною костью. И все это происходило за какие-нибудь старые ковры, за шубы, за кухонную посуду и проч. — Одним словом, это была живая сатира на наследников. Поэту не оставалось бы ничего придумывать, хотя бы он имел не только веселую шутливость Горация, но даже и злость Ювенала![13]

После дяди остались некоторые бумаги, относящиеся до литературы. Этих бумаг я им уже не уступил, да они и не ухватились за них, не давая им никакой цены, как бумажному хламу. Но в числе их были четыре тома писем к нему Карамзина. Нашел я также один экземпляр подлинных записок Ива-

на Ивановича под названием «Взгляд на мою жизнь». — Были связки писем и других известных лиц. — Это все я взял к себе без раздела. — Но говорят, что лучший экземпляр записок взял при описи имущества Степан Петрович Жихарев и передал Дашкову или кому другому[14]. В правде этого не уверяю, но от Жихарева и не того ожидать можно было. Он любил распоряжаться чужим добром, как своим[15].

Много досталось сонаследникам моим таких предметов, о которых они по воспитанию своему не имели никакого понятия, но тем не меньше или, лучше сказать, тем более дорожили ими, что, не зная достоинства вещи, подозревали в ней дорогую цену. Для них изящное как наслаждение души не существовало; они понимали одно: что из всего можно извлечь деньги. И потому я, например, получивши в наследство некоторые бюсты, украсил ими мой кабинет и как произведениями искусства, и по уважению к изображаемым ими лицам. У меня появились бюсты: императоров — Петра, Александра и Наполеона; философов Сократа[16] и Сенеки[17]; писателей — Вольтера, Руссо и нашего великого поэта Державина. Я любовался на них, и душа моя возвышалась, находясь как будто в их обществе. А Матюнин и Нефедьев, получивши мраморного Аполлона Бельведерского, о котором они и не слыхивали, бросились продавать его к меняле Гавриле Волкову[18] и все обращали в деньги и в деньги. Божественная красота, изящество формы — для них не существовали; их божество были деньги и деньги!

Остались без раздела только библиотека и дом его[19]. И то и другое поручено мне было продать. Но библиотеку продать было трудно, почти невозможно; разве за бесценок. Она состояла из книг литературного и исторического содержания, в числе которых было много мемуаров и политических сочинений, большею частию на французском языке, — словом, из книг, имеющих в глазах литератора постоянное достоинство, но не имеющих никакой привлекательности для нынешних любителей легкого чтения. Нынче в ходу книги или пустые, или ученые, по части специалистов: ни тех, ни других в этой библиотеке не было. Несколько лет пролежали книги те у меня в ящиках и были мне только в тягость, особливо при переездах с одной квартиры на другую. Наконец, отделивши из них несколько на свою часть, все остальные переслал я к Елизавете Николаевне Пазухиной, потому что с другими не хотел иметь дела. Она разделила их с ними, как они нашли это удобным, а ее часть, слышал я, уже продавалась в Казани.

Дом Ивана Ивановича стоил ему, покупкою места с садом и постройкою, сто двенадцать тысяч ассигнациями, ибо он строился в 1815 году, через три года после нашествия французов, в самое дорогое время, а я едва смог продать его через двадцать пять лет после этого за сорок четыре тысячи ассигнациями же и рад был, что этим разделался совсем с моими благородными

родственниками. Его купил у меня советник губернского правления Васильчиков, который торговал домами. Он перестроил его и перепродал другому. С тех пор давно уже принадлежит он Николаю Тимофеевичу Аксакову[20], который сам живет в Симбирске, а его отдает внаймы. Недавно мне хотелось погулять на старости по дядиному саду и вспомнить мою молодость, но меня в него не пустили. Его нанимает какой-то купец из жидов и держит сад на запоре. Весь двор заставлен огромными возами; должно думать, что с шерстью, потому что другого, более тяжелого продукта не свезла бы лошадь в такой огромной массе.

А по этому саду ходил некогда старый поэт Екатеринина века, старый министр Александра Благословенного — муж благородного духа, человек изящных манеров и наклонностей; ходил и любовался зеленым лугом, который он называл по старинной привычке газоном, любовался дубом, растущим перед домом. В этом саду беседовали Карамзин и Жуковской, по его аллеям ходил Батюшков, в этой беседке читывал наизусть свои стихи добродушный Василий Львович Пушкин и смешил князь Шаликов своими сладострастными выходками и нежными кривляньями. В этом саду в блаженные дни беспечной и безденежной юности бывал я с молодым другом моим Александром Дмитриевичем Курбатовым. — Все, все они в могиле, а мне заперта уже решетка этого сада! — Все проходит; не будет и меня, а бесчувственная природа будет зеленеть по-прежнему, но едва ли она увидит когда людей, напоминающих прежнее время!

Недаром сказал Гете:

Природа бесчувственна! Солнце
Сияет равно
На злых и на добрых.

Впрочем, и люди едва ли чувствительнее природы. Природа, по крайней мере, бескорыстна и вознаграждает нас за труды и попечения наши об ней, а люди думают каждый только о себе. Говоря же об этих родственниках, не вправе ли я был сказать, что вместе с ними вошли в наше семейство элементы корысти, которых в нем прежде не было? — Этим оканчиваю я мой рассказ о разделе и об этих родственниках, с тем, чтобы к ним уже не возвращаться.

Говорят, что в старину родственные связи были теснее. Бог знает, правда ли это! Конечно, была пословица: свой своему поневоле друг, но что же это за дружба, если она поневоле, то есть связывалась только взаимными интересами. Эта дружба есть и ныне; к этой дружбе, основанной на взаимных выгодах, может быть, никогда не было такого влечения, как ныне, когда нужды наши увеличились. Однако это правда, что в старину родство цени-

лось более, что родные помогали друг другу и защищали своих, как самих себя, дорожа и честию своего рода. Родство было обширно, потому что заключало в себе и близких, и дальных, несмотря на степени родства, но оно было зато и ограничено этим кругом, в который чужие не впускались с своими интересами. Нынче напротив — родство определяется более взаимностию склонностей; с кем мы различного направления, с тем и незнакомы. — Правда, все человеческое в гражданском обществе ныне так перепутано, что и не разберешь, что лучше. Однако эти, описанные мною, Матюнин и Нефедьев, неужели и в старину их признали бы родными? — Признали бы, только вот при каких условиях: все прочие члены семейства восстали бы на них общим бунтом, и им житья бы не было в семействе! — Из страха быть отвергнутыми, как гнилые члены, и из самой корысти, видя в этом потерю собственных интересов, они не смели бы оказать себя такими, какими были, по крайней мере, так явно, например, взять сто рублей за подписание бумаги или жадничать наследства после умершего. Но нет сомнения, что всего прочнее связи, происходящие не от взаимных материальных интересов, а от сходства благородных наклонностей и вкусов. Эти же наклонности бывают только у людей чистого сердца и просвещенного воспитания.

Такого рода дружеская связь утвердилась мало-помалу между нами и семейством Бакуниных, о которых я упомянул в главе 10-й. Расскажу здесь о них, что будет кстати. Отец семейства, старик Михайла Михайлович, был человек умный, просвещенный, прекрасных старых манеров, которые нынче уже выводятся; он был приветлив, не терял своего достоинства и служил честно, но жил в свое время, говорят, довольно открыто. Он был некогда могилевским губернатором. Император Александр Павлович захотел перевести его в ту же должность в Петербург и в то же время пожаловал его в сенаторы. Бакунин не желал этого, представляя недостаточность своего состояния для петербургской жизни, но Государь отвечал, говорят: «Скажите ему, что уж это не его беда». После этого можно было понадеяться на поддержку со стороны самого Государя; может быть, Бакунин думал в то же время поддержать свой кредит и связи. Но на деле вышло не то. Он разорялся, входил в долги; наконец, оставаясь только сенатором 3-го департамента и живя только сенаторским жалованьем, он должен был переехать в Москву, где жизнь была дешевле. — Здесь, уже в царствование Николая Павловича, не знаю, от кого и откуда, последовал на него донос — и в чем же? — что будто он топил губернаторский дом на деньги приказа общественного призрения. Может быть, это было и так, но если и было, то, конечно, без его ведома, или он не обращал на это внимания по своим привычкам знатного барина, потому что, если бы он хотел наживаться службой, то нашел бы другие способы на таком месте. Это происшествие тем замечательнее, что состоялось

тогда, когда он давно уже был сенатором, именно в 1827 году. При Императоре Александре такой донос был бы неслыханным происшествием. Но при Николае Павловиче, особливо в начале его царствования, было такое строгое преследование всяких мелочных поборов, как будто из России он хотел сделать царство бескорыстия, а между тем любимцы его наживали миллионы, делились барышами с акционерными обществами за свое им покровительство да получали и от царя огромные суммы за свою преданность. Бакунин был уволен от службы и разорился окончательно. — Когда я начал их знать, они жили уже очень умеренно. Часто занимал он понемногу денег у моего дяди и был обременен долгами[21].

Участь Бакунина доказывает ту неоспоримую истину, что у нас в России честная служба невозможна, что рано или поздно подкопаются под такого человека. В это же время, конечно, она служит и уроком не жить выше своего состояния и *не надеяться на князи, в них же несть спасения*[22]. В России можно грабить безопасно и безнаказанно, но только большими суммами, и сверх того делиться с кем следует: такой человек не только не пострадает, но будет благоденствовать. Это те люди, *которые прияли благая в животе своем* и забыли совсем о будущей жизни. Им одним житье в России, которую между тем называют и Святою Русью, и православною.

Мы сблизились с этим семейством в 1839 году, на Святой неделе, с тех пор начали видаться с ними часто в Москве и потом бывали у них на Бутырках[23] — деревне, отстоящей верстах в пяти от Москвы, где был у них небольшой дом и обширный старинный сад. Как прежде, при начале нашего знакомства, в 1825 году, бывало мне у них скушно и неловко, так с этого времени, напротив, мне сделалось отрадою близкое знакомство этих добрых и просвещенных людей.

Простота обращения, умеряемая светским приличием, светской же, но не пустой разговор, любовь к литературе младшей дочери Прасковьи Михайловны — все это согласовалось с моими вкусами и привлекало меня более и более. А радушие их приема выражалось не в том притворном восторге, с которым принимают в провинциях, а в тихом удовольствии встречи и беседы, свидетельствующем без всяких уверений, что хозяева рады посещению.

Мне у них всегда было ловко и хорошо, как дома. Когда я вспоминаю, как трудно мне было найти какой-нибудь предмет разговора с моими родственниками и как легко с ними, тогда я вполне понимаю всю выгоду образованности и хорошего воспитания. Они дают средства довольствоваться людям самим собою, они представляют в самом человеке множество средств к занимательному разговору и множество интересов без помощи карт или толков об урожае, о доходе и о других материальных предметах. А литература может

служить всегда новым и неистощимым предметом; и потому литература и вообще просвещение суть истинное благодеяние для человека, который умеет ими пользоваться. Я тем более чувствовал цену их знакомства, что дома не находил такого разговора, и как скоро не заключался в самого себя, выступал в ту пустую жизнь, которая не удовлетворяет ни ума, ни сердца.

У них узнал я короче известного нашего комического писателя князя Александра Александровича Шаховского, который был старинным другом их дома. Князь Шаховской заслужил почетное имя в нашей литературе своими веселыми и живыми комедиями. О нем сказал Пушкин коротко, но верно:

Там вывел колкой Шаховской
Своих комедий шумный рой[24].

Его комедии были действительно колки, но еще более забавны. Шуму они производили в свое время много, потому что он метил иногда на известные лица: не всегда верно, но публика вообще любит применения к лицам ей знакомым и нередко дополняет своей невинною злостью неудачную злость комического автора. Так, в комедии «Новый Стерн», одном из первых своих произведений, князь Шаховской хотел осмеять тогдашнее сентиментальное направление наших авторов, хотел представить нечто в роде чувствительно-смешного князя Шаликова, но его насмешки отнесла публика на счет Карамзина[25]. — В комедии «Липецкие воды», написанной гораздо позже той, осмеяно целое общество и выведен на сцену какой-то поэт, помнится, с балладой — из этого вывели намерение осмеять Жуковского. Все это наделало князю Шаховскому множество врагов, и в то время эпиграммы сыпались десятками, и все принимали в них живое участие, потому что вообще литература обращала на себя большое внимание за недостатком других интересов. Это было в 1815 году. Я был тогда еще очень молод, и потому некоторые из эпиграмм, помещаемые в «Российском музеуме» Измайлова, мне были очень памятны. — Все это вместе с умножением врагов придало много известности имени князя Шаховского. Впрочем, те, которые знали его прежде, чем я, еще в Петербурге, говорили, что были и другие причины не любить его. Когда он был одним из членов петербургской дирекции театров, когда от него зависел прием театральных пиес на сцену и постановка их, говорят, что из зависти к чужим произведениям он лишал их успеху. Это правда, что в князе Шаховском было довольно хитрости и уменья для того, чтобы придать всячески цены собственным своим пиесам, не было недостатка и в наклонности к унижению других, однако в этом случае верить всему и безусловно — невозможно. Во-первых, кто были соперники князя Шаховского на театральном поприще? — Хмельницкий, потом Загоскин и несколько весь-

ма посредственных талантов, например, Ильин, Федоров[26] и другие, которых теперь забыты и самые имена. Такие соперники не могли уронить писателя, беспрерывно занимавшего собою публику, написавшего такое множество пиес и владевшего не скажу таким комизмом, но таким знанием сцены. Если меня спросят, что такое — знание сцены, я буду отвечать: это навык заранее угадывать комизм положений и действие их на зрителей во время представления. Кроме того, князь Шаховской трудился много, и мудрено было с ним соперничать. К этому надобно прибавить и то, что нигде нет таких интриг и такой зависти, как в театральном мире!

Лучшею комедией из всех своих произведений почитал князь Шаховской «Аристофана». — Но много ли в ней афинских нравов и вообще *аттицизма*, этого я не знаю, но сильно сомневаюсь в их верности. Автор нашел имена некоторых лиц в известных «Афинских письмах», например, поэта Гипербола, содержание склеил из интриги, бывшей будто бы при первом представлении Аристофановых «Всадников», и был вполне уверен, что представил верную картину афинской жизни[27]. Ему позволительно было это думать по его самолюбию и его малому знанию литературы и особенно древности, почерпнутой им из одной книги, попавшейся под руку. Пример князя Шаховского доказывает, что у нас нет недостатка в талантах, но что они состоят не в изобретательности и что много мешает их полету недостаток основательного знания. Все, что мы знаем в науке, получается нами из вторых рук, как предмет, видимый не прямо, а в отражении или в копии. Он восхищался, между прочим, и тем, что комедия эта написана *разностопными* стихами, а Гипербол говорит всегда анапестом. Но, по моему мнению, это смешение стоп чрезвычайно неприятно для слуха и вместо гармонии, необходимой в поэзии, производит какофонию. Греки писали свои комедии ямбами, и они знали, что делали: ямб есть стопа самая простая и разговорная. — Но был еще человек, который восхищался этой комедией. Федор Федорович Кокошкин, смотря на нее в репетициях, повторял беспрестанно: «Я в Афинах! Я в Афинах!» — Говорят, будто он до того повторял это, что однажды, когда кто-то не застал его дома, на вопрос, куда он уехал, слуга отвечал: «Кажется, он в Афинах!»

Князь Шаховской, забавляя публику своими комедиями, был и сам довольно забавен. — Его толстая, лысая фигура, большой висячий нос, его тонкой голос и его живость при такой тучности — все это вместе составляло такое соединение контрастов, в котором само по себе было что-то комическое. Когда он сердился (а раздражить его было очень легко), тогда он был очень смешон. Он же не терпел никакого противоречия. Надобно сказать и то, что, получивши не более как светское образование своего времени, он был плохой литератор и по тому самому не мог уже оценить достойным обра-

зом чужих достоинств в литературе: он не мог оценить ни широты и глубины мысли, ни знания языка; для него существовала только драматическая литература, но и та только на подмостках сцены, а не в поэтических красотах своих. Он был пристрастен. Он не любил Карамзина и, хотя не смел при мне явно пренебрегать им, боясь при моем защищении выставить свое невежество, однако стороной иногда задевал его. В Жуковском видел он, кажется, не более как гладкого версификатора. Немецкой литературы он не знал, и потому перенесение Жуковским немецкого элемента в нашу поэзию не почитал ни во что, ибо не понимал ничего, кроме драмы. Говорят также, правда ли, нет ли, что он много повредил и Озерову[28], которого самолюбие и без того не знало меры.

Он вздумал однажды издать все свои драматические сочинения и к каждой пиесе написать предисловие таким образом, чтоб все эти предисловия или введения в разные пиесы составили в совокупности курс драматической литературы. Но курс литературы был, во-первых, ему не по силам, а во-вторых, самый план этот заключал в себе очевидную несообразность. Он позвал, однако, меня и молодого Писарева выслушать написанное. К удивлению нашему, мы нашли у него профессора математики Перевощикова[29], самолюбивого невежу, и сверх того грубиана и человека, дерзкого на язык. — Каким образом пришло ему в голову пригласить вместе с нами этого третьего судью, я не постигаю. Слушая его предисловия, мы с Писаревым тотчас увидели, что он путается, отыскивая теорию изящного, найденную давно немецкими эстетиками, о которых он и не слыхивал. Противоречить ему не было никакой возможности, потому что это с начала до конца была какая-то путаница, но оскорбить старика нам не хотелось. Мы сделали для вида несколько замечаний и не стали разбирать серьозно. — Перевощиков молчал. — «А что же скажете вы, Дмитрий Матвеевич?» — спросил автор. — «Это, ваше сиятельство, все вздор-с!» — брякнул вдруг Перевощиков. — Князь Шаховской остановился, как пораженный громом. — Жаль нам было старика, а после мы расхохотались такому приговору этого медведя. Но князь Шаховской, вероятно, видел в этом мнении одно невежество, в чем был и прав!

Таков был князь Шаховской, с которым я более сблизился уже гораздо после, почему и возвращусь к нему впоследствии.

Домашняя жизнь моя шла не то чтобы скушно, но как-то пусто, без содержания. Мы в летнюю пору ездили прогуливаться, зимой по вечерам читали вместе романы Вальтер Скотта. Но мне этого было мало, а служба за обер-прокурорским столом тоже занимала немного времени. Прогуливаться езжали мы по большей части в парк, который начали садить, я помню это, в 1832 году. Но в шесть-семь лет он разросся чрезвычайно, а был все еще вновь, следовательно, в моде. У нас редко улучшается и поддерживается

старое, но все новое обыкновенно процветает, пока не наскучило. А тогда только что учредился в парке воксал[30], который после превратился в какую-то ресторацию, а потом в Немецкой клуб[31]. Это было чрезвычайно приятное и удобное заведение. Члены воксала платили, помнится, всего десять рублей ассигнациями, а дамы и того менее. За эту цену они имели право всякой день входить в здание воксала, где находились всевозможные журналы и газеты, несколько роялей прекрасного тона и всегда настроенных, прекрасный чай и тонкой, почти роскошный ужин; и все это за самую недорогую цену, почти за безделицу. Иногда бывали летние балы: я помню, на одном из этих балов я увидел в первый раз маркиза Кюстина[32], который после издал свое путешествие по России. Оно, как и многое в России в царствование Николая Павловича, было запрещено нашей ценсурой. Тем более все старались достать его и тем охотнее читали. Читал и я. Вот мое мнение об этой интересной книге: все, что видел путешественник в проезд свой от Петербурга до Москвы и оттуда до Нижнего, все это, как француз, он заметил слегка и превратно, но все выводы его удивительно верны. Это доказывает именно свойства его национальности, то есть соединение ясного и живого ума с легким характером. Эта книга составляет такую же противоположность с другой книгой о России пруссака барона Гаксгаузена[33], как противоположны характеры обеих наций. Барона Гаксгаузена я тоже знал в Москве. Тяжелый и скушный немец, который при первом же знакомстве надоел мне вопросами о происхождении однодворцев. Маркиз Кюстин был не таков: он летал в танцах с нашими дамами, как Зефир. За то был принят при дворе с таким отличием, что по приказанию Государя сам наследник престола, нынешний Император, водил его по всем комнатам, даже показывал внутренние комнаты великих княжон[34]. Он был сын известного по истории французской революции генерала Кюстина, который был гильотинирован[35]. Сын был тоже роялист, то есть приверженец Бурбонов: это послужило ему рекомендацией у Николая Павловича, не любившего Людовика-Филиппа как короля, избранного народом[36]. Он развернулся перед Кюстином, как русский человек, нараспашку и сообщал ему разные свои мнения, которые тот, как француз, и разболтал в своей книге. Правда, Николай Павлович, будучи, как и следует, недоволен такою нескромностию своего гостя, божился после князю Сергею Михайловичу Голицыну, что все это неправда и что он не говорил этого Кюстину. Однако от кого же он узнал то, чего никто другой не мог сказать ему? — Продолжаю о воксале. — Всякое утро и всякой вечер можно было встретить там знакомых и танцовать под звуки рояля. — Как часто мы встречались там с добродушною Верой Дмитриевной Дашковой[37], которой давно уже нет на свете! — Это учреждение воксала завел сенатор Башилов[38], но, наконец, должен был от него отказать-

ся, потому что многие молодые люди вместо благодарности начали объявлять свои требования, как в трактире, и поступать с самим Башиловым, как с содержателем ресторации. Я сам видел, как один из этих праздношатающихся шумел за то, что дурно изжарен рябчик. У нас ничто не может продержаться долго, потому что наше общество состоит из людей не всегда благовоспитанных, а из разнородной смеси, из всякого сброда. Мы не имеем уважения к самим себе, а потому не уважаем и других. Вообще, приличие и уважение для нынешних молодых людей тягостны. — Впрочем, виноваты и старики, что многое позволяют и себе, и другим, чего не допускалось прежде. Сам Башилов не умел держать себя прилично и сообразно своему сенаторскому званию. Например, он просил Государя удостоить его воксал своим посещением. Николай Павлович согласился, поставив шутя в условие, чтобы на крыше воксала был сам Башилов в виде флюгера. Башилов велел нарисовать себя красками и вырезать из доски, и это изображение с вызолоченною трубою во рту вертелось действительно на крыше в виде флюгера[39]. — После, когда его сняли, лакеи показывали Башилова в чулане за двугривенный. — Как же ему было требовать к себе уважения? — Не так держал себя князь Дмитрий Владимирович. Однажды на маленьком вечере Николай Павлович звал его играть в кошку и мышку. Он не пошел, отговорившись не одними летами, но прибавив шутя, что боится в глазах московских жителей уронить важность своего звания, то есть сан генерал-губернатора. — Он делил между тем свое время тоже и на дела, и на удовольствия, бывал в парке, и не раз встречались мы с ним и [в] воксале.

Так проводили мы праздное время. Однако, не удовлетворяясь вполне внешними развлечениями, я искал в самом себе более положительного удовольствия, состоящего в деятельности мысли и внутреннем убеждении в тех истинах, которые иными почитаются недоступными, а другими пренебрегаются как известные, хотя они совершенно с ними не знакомы. В это время я много занимался Священным Писанием и мистическими книгами. Наполненный этими идеями, я предпринял сочинение, которое (я сознавал это вследствие многих размышлений) было мне под силу, а именно: я хотел доказать очевидно внутреннюю связь и необходимость христианского учения. Вследствие многих размышлений о сем предмете я пришел к такому заключению, что благость Божия не отказывает никому в блаженстве: нужно только быть к нему способным, нужно сохранить в целости и здравыми органы, служащие к его восприятию. Это верно, думал я, в отношении к земной нашей жизни, должна быть та же потребность и в том мире, в жизни духовной, то есть нужна удобоприемлемость к блаженству, а удобоприемлемость эта заключается в словах Апостола: «Ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»[40]. —

Следовательно, нужно только соблюсти их. Далее говорил я о средствах к сохранению их в целости, то есть о необходимости оберегать душу от страстей и вообще от влияний падшей природы и о помощи Благодати, которая при этом дается свыше. Все это изобразил я в разговоре двух лиц под названием «Беседа о блаженстве человеческом, или Учение о сем предмете, оправдываемое разумом»[41]. — Одним словом, из этого простого умозаключения я вывел систему, которую можно назвать философиею христианской религии. Меня всегда занимала та мысль, что истинная философия заключается в самой религии. — Но никогда не случалось мне проникать так глубоко в предметы важнейшей истины, как довелось в этом сочинении. Здесь говорю я не для публики, ибо мои рассказы, вероятно, и после моей смерти не скоро могут быть напечатаны, и потому я решаюсь сказать без всякой гордости, что мало знаю я исследований, где бы важнейшие вопросы христианства были исследованы так ясно и глубоко. Это сочинение не могло быть напечатанным, ибо у нас боятся многих истин. Русские люди еще так мало мыслили, что правительство боится, чтобы при малейшем свете они не пошли по этой дороге сами и не заблудились на распутиях. Но я давал читать это сочинение известному глубокою ученостию и благочестием профессору Духовной академии протоиерею Федору Александровичу Голубинскому[42]. Он вполне одобрил мою «Беседу», сделав только на нее несколько ученых замечаний. Однако как цензор духовных книг он побоялся пропустить ее к печати. Так и остается у меня доселе это сочинение в рукописи. С этою же целию начал я писать «Записки, содержащие исследования о религии, для людей, требующих на все объяснения». — Задача была не малая, потому что мне хотелось вывести из самого Священного Писания Ветхого и Нового Завета идею сотворения мира и человека и объяснить рационально как причину и возможность падения, так и необходимость искупления — словом, весь цикл христианского учения. Я читал Пуарета[43] и других мистиков, особенно же Сен-Мартена, но в них находил я не все ясным для умственного убеждения, ибо многое принималось в них условным, многое принадлежало собственно их школе и объяснялось только им понятными терминами. Следовательно, оно не могло быть для всех понятным. А меня давно и неотступно занимала та мысль, что многое необъяснимое может открыться посредством сближения текстов Св. Писания, объясняющих себя взаимно. — Это сочинение должно было состоять из шести глав. Половина была уже написана, когда с наступлением 1840 года новая и важная должность заняла все мое время службою. Несколько раз после этого я принимался продолжать его, но нить мысли была уже прервана и недоставало ни свободного времени, ни спокойного духа, чтобы углубляться в эти предметы. Другое даже было настроение его при практическом занятии гражданскими делами.

Наша русская жизнь вообще то представляет мало движения, то неожиданные скачки. Мы не имеем значения сами по себе: оно дается нам окружающей нас обстановкой: богатством, силой, связями. Мы не имеем и постоянного положения в обществе; мы или гнием забытые, если не служим и не играем в карты, или служба бросает нас из одной сферы в другую. И потому мы бываем иногда в состоянии неподвижности, но никогда в спокойном состоянии. Справедливо сказал Чаадаев, что мы все как будто на ходу, «un pied à l'air»*. Это самое бывает причиною и того, что нигде, я думаю, так, как в России, человек не может подметить в себе такого противоречия с самим собою. Случайность у нас есть почти закон. Так и я при этом серьезном направлении предавался иногда совершенной противоположности, то есть самому веселому настроению духа и некоторой наклонности к сатире. Правду сказать, при всей моей склонности углубляться мыслию я имел всегда живой характер, а веселость и легкая насмешливость были одним из оснований моего нрава. Плодом этого были пародии на три баллады Жуковского[44]. Они были так забавны, что распространились везде без моего согласия, я даже не знаю, каким образом они сделались известны в Москве и в Петербурге. Когда в 1841 году приезжал в Москву Жуковской, Авдотья Петровна Елагина[45] заставила меня прочитать ему эти пародии. Он хохотал от всей души и назвал их своими внучками. Я никогда не нападал на людей, достойных уважения, но люди, подобные осмеянным мною: Полевому, Краевскому и Белинскому, — не заслуживали снисхождения. Правда, что в одной из этих баллад я представил несколько в смешном виде профессора Каченовского, которого я никак не равняю с этими сыромолотными учеными, но Каченовской в моей карикатуре возбуждает только улыбку, между тем как те трое поражены беспощадно! Если бы я не боялся нынешних площадных выражений, я мог бы сказать, что я их заклеймил позором.

Хорошо ли это? — В нравственном отношении, конечно, нехорошо, но обращаюсь опять к нашему общественному положению и к жалкому состоянию нашей литературы: у нас истинной оценки нет, публика читателей беспрестанно вводится в заблуждение теми непрошеными судьями, которые одни в качестве журналистов имеют голос; их базарный крик заменяет у нас общественное мнение в литературе. — За недостатком правильного суда, за недостатком средства сказать тоже свое мнение всем другим остается одно оружие сатиры, а пародия, напоминая какое-нибудь всем известное стихотворное произведение, легче всего остается в памяти и служит, так сказать, перевесом против суда журнальных рыцарей. Вот что можно сказать вообще в оправдание у нас пародий, которые, было время, появлялись в большом

*одной ногой в воздухе (*фр.*).

количестве и одна другой забавнее. В этом роде более других известны Батюшкова, Воейкова и Александра Ефимовича Измайлова. Их пародии были направлены против Шишкова и державинской Беседы[46]; мои — против современных мне вандалов литературы.

Но пора обратиться к моей службе. Она шла успешно, не по трудам и работе моей, но по наградам. Это я заметил во все продолжение моей служебной карьеры, что, когда я трудился более других и действительно заслуживал награды, они шли туго, а когда пойдет удача, то получаешь их одна за другою: все зависит от того, как расположено к тебе начальство и имеет ли оно силу. От этого у нас награды и знаки отличия никогда не могут быть вывеской заслуги и достоинств, а только доказательством счастливого случая. Так, находясь за обер-прокурорским столом и ничего не делая, кроме исполнения некоторых поручений министра юстиции, которые были не столько занятием, сколько развлечением в бездействии, я получил одна за другою три награды и всегда получал их через два года. Я не говорил о них в своем месте и потому исчислю здесь. В 1834 году 20 апреля я получил Анну второго класса, в 1836 году 29 августа Анну с короною, а в 1838-м 25 августа Владимира третьей степени. Первыми двумя орденами я щеголял, как красивой обновкой, но очень уважал последний, и потому он доставил мне истинное удовольствие. Это был уже знак отличия, истинно почетный, не дававшийся тогда всякому без разбора. И нынче больше всех других моих декораций я ценю этот орден, достойный уважения по своему статуту и по тому, что он дается действительно реже других.

Поручения министра в продолжение этого времени были мне следующие: по ордеру его от 24 ноября 1834 года мне поручено было обозреть архивы: Сенатской, Вотчинный и Государственный — и изложить проект правил комиссии для составления описания тех архивов, который и был утвержден министром юстиции[47]. По его же предписанию от 12 генваря 1835 года я производил следствие по доносу чиновника Николева[48] о злоупотреблениях по Сенатской типографии. 13 марта того же 1835 года я был назначен членом комитета для описания вышеупомянутых трех архивов. 29 мая того же года был учрежден другой комитет, под председательством одного из самых деловых и трудолюбивых сенаторов, Семена Николаевича Озерова[49], для составления проекта межевого управления, я был назначен членом и этого комитета.

Как особый знак доверенности начальства я не могу не упомянуть еще одно поручение того же министра. От 12 мая 1836 года писал он ко мне, что граф Петр Александрович Толстой, назначенный по высочайшему повелению главноначальствующим в Москве на время пребывания за границей князя Дмитрия Владимировича Голицына, изъявил желание, чтоб он назначил ему кого-либо из известных ему служащих лиц, к которому он мог бы обращаться с

вопросами по судебной части вверенного ему управления. Министр юстиции назначил меня, и таким образом, не состоя собственно при особе графа Толстого, по одному частному письму моего уважаемого начальника, всякой раз, когда требовал этого главноначальствующий, я способствовал ему по различным вопросам, относящимся до судебных дел вверенной ему части.

Потом, от 6 апреля 1839 года, назначен я был вновь членом одного комитета для перестройки дома Сенатской типографии. Поручение такого рода, конечно, не совсем бы соответствовало моим сведениям, если бы относилось к знанию архитектуры, но оно касалось до хозяйственной части строения, следовательно, требовало только наблюдения и отчетливости. Вообще надобно сказать об этих комитетах, что они имеют у нас более номинальное значение, чем существенное. Обыкновенно кто-нибудь один из членов, посмышленее других или несколько их знающее, заведывает всем, а другие только соглашаются. Нужно бы избирать одного, знающего дело. Но так как у нас не все подчиненные лично известны начальству и так как опять начальству трудно иметь веру к честности подчиненных, то соединение нескольких человек, по крайней мере, препятствует стачке — и то хорошо там, где все дурно!

Наконец, по высочайшему повелению от 3 августа 1839 года поручено мне было вместе с жандармским подполковником графом Толстым[50] произвести следствие о поступках отставного подпоручика Воейкова[51], завладевшего имением поручика князя Козловского.

Когда через несколько десятков лет будут читать мои «Рассказы» (если только они доживут до того времени), вероятно, многие придут в недоумение, каким образом вместе со мною поручено было это дело еще жандарму, но в то время это было в порядке вещей. Николай Павлович, с одной стороны, мало был уверен в честности своих подданных, в чем был и прав, с другой — был уверен, что честность можно купить за деньги, в чем, конечно, ошибался. Но с этой уверенностию он нашел себе честных людей в этих опричниках, названных жандармами. Об них было уже сказано у меня в главе 12-й моих рассказов. — Они получали огромное жалованье и пользовались многими преимуществами по службе. На этом основании, как люди, которым выгодно быть верными слугами власти, они пользовались неограниченною доверенностию высшей власти и были размещены по одному штаб-офицеру в каждом губернском городе для надзора над губернатором, над судьями и вообще для того, чтобы посредством их доносов правительство могло знать, чего, по положению своему будучи отделено от народа, оно не знает. Это была тайная сила, которой все боялись и которая не боялась никого; боялась одного только: потерять жалованье и силу. Этим-то людям, как лицам, сто-

ящим вполне доверенности, поручали важнейшие следствия, а к следствиям, производимым другими лицами высшего разряда, они присоединялись в виде надзирателей. Благородный и правдивый министр юстиции Дашков терпеть не мог этих людей, но и ему, этому твердому человеку, трудно было *против рожна прати*. А в это время был министром юстиции уже не он, а честный же, но слабого характера человек, Дмитрий Николаевич Блудов. Итак, ко мне был прикомандирован этот жандармской подполковник.

Он был человек смирный и не знающий дела и потому следовал во всем моим указаниям. Притом с первого же раза я определил ясно наши отношения. Он думал, что я вместе с ним буду подписывать его рапорты к графу Бекендорфу, но я решительно отказался, не признавая к нему никаких моих служебных отношений и не имея только права отклонить участия жандармов, но не признавая их законным учреждением, ибо в своде законов о тайной полиции ничего нет. Я предоставил графу Толстому уведомлять графа Бекендорфа о нашем следствии от своего лица и не хотел даже видеть его донесений, а от него требовал, чтобы мои рапорты к министру юстиции подписывал и он вместе со мною. Потом по каждому нашему действию я составлял протокол за моим и его подписанием, чтобы, на всякой случай, иметь оправдание, если бы случились жалобы на наше следствие: предосторожность, которая никогда не употребляется при следствиях, а она не лишняя, потому что служит ограждением всех действий следователя.

Но пора обратиться к делу. О самом следствии я скажу кратко, но о Воейкове распространюсь поболее.

Следствие заключалось в том, что молодой офицер князь Козловской надавал на себя старику Воейкову заемных актов на сумму, превышающую действительно должные им деньги, да и те были проиграны в карты. В долговых претензиях, какого бы рода они ни были, законодательство наше допускает иск, а не следствие, но Николай Павлович, желавший исправить нравственность своих подданных, хотел проникать в самые тайные побуждения их поступков, и потому поступок Воейкова был предан уголовному разбору. Оно неправильно, но добродетельно! А впрочем, и то надобно сказать, что в нашей безурядице и при нашей безответственности плутов перед законом нужно, чтоб они хоть кого-нибудь боялись, когда закон не страшен.

Но какой же был человек сам Николай Петрович Воейков? — Он был лицо замечательное, которое годилось бы в какой-нибудь нравоописательный роман или в драму. В то время он был уже старик и отец семейства, но жил розно с женою и детьми, а завел себе другое семейство: цыганку, жившую у него в доме, и от которой тоже были у него дети. Он был богат и скуп, но покутить любил и в компании приятелей на шампанское не скупился. Эти приятели его состояли из игроков и аферистов и из тех молодых неопытных

людей, которых он заманивал и обыгрывал. Но в этом искусстве заманивать свои жертвы он имел свою систему[52] и действовал, как артист. Сначала для привлечения их к игре и чтоб они, так сказать, вошли во вкус, он им проигрывал; потом, в случае их проигрыша другим, его же товарищам, ссужал проигравших деньгами, сперва по дружбе, потом за большие проценты. Наконец, когда несчастный игрок был в крайности и просил у него денег, он ему говорил: «Я готов, пожалуй, ссудить вам эту сумму, но, вы рассудите, при всей вашей готовности к уплате, где же вы достанете денег? Я могу потерять свои, я рискую! Разве дадите заемное письмо вдвое против суммы». — И несчастный давал на себя такое обязательство. — Иногда случалось, что по написании уже заемного письма на условленную сумму он объявлял со вздохом, что всего количества обещанных денег у него нет, а предлагал на половину этой суммы взять каких-нибудь вещей, тот брал их и продавал за бесценок, потому что они действительно не стоили тех денег, вместо которых были взяты. Иногда и покупал их у промотавшегося игрока подставной меняла и потом передавал их тому же Воейкову. Таким образом понемногу доводил он несчастного юношу до разорения, и случалось, что за вдвойне приписанные суммы и за накопившиеся проценты законным образом приобретал беззаконно последнее его имение. Но мало этого! Он в выборе своих жертв никогда не доверял случаю. У него была разграфленная книга, в которой он в первой графе вписывал имена и звание тех богатых молодых людей, на которых имел виды. А ни один вновь прибывший в Москву не ускользал от его внимания, потому что его агенты тотчас давали ему знать о приехавшем, о его состоянии и качествах. Во второй графе описывалось его состояние и положение имения, чистое ли оно или заложено. В третьей делалась отметка, следует ли его разработывать, или оставить совсем, или подождать. Иногда случалось, что ему советовали его агенты приняться за такого-то. Он справится в своей книге и говорит: «Мимо!» — Или скажет: «Рано! вот подождем годок, как он затянется побольше: еще будет время!» — И никогда в этом не ошибался.

Этот-то искусник обыграл молодого офицера князя Козловского, заставил его надавать безденежных обязательств и уже наложил лапу на его имение, но дядя князя Козловского, глупейший и ничтожнейший из сенаторов, Владимир Иванович Каблуков[53] подал письмо Государю. И вследствие этой-то жалобы велено было мне и графу Толстому произвести следствие.

Не зная хорошо Каблукова, которого я видал только в Сенате, где он сидел обыкновенно безмолвным, я думал, что он может дать мне некоторые сведения, могущие объяснить мне обстоятельства дела, но вместо того нашел в этой военной кукле такое отсутствие самых первоначальных понятий о законах, что после первых же слов решился не спрашивать его более.

Например, он потребовал от меня, чтобы я привел Воейкова к присяге, и, когда я сказал ему, что по нашим уголовным законам подсудимому не дают присяги, он удивился, как ребенок. Что же было говорить о деле с таким сенатором!

В продолжение этого следствия вздумал Воейков попробовать мое бескорыстие. Один раз, зная, видно, что я люблю драгоценные камни, прельщал меня перстнем с великолепным солитером[54]. В другой раз, приехавши ко мне ранее назначенного часа и найдя меня еще одного, без товарища моего графа Толстого, начал мне говорить с запинкою, что будто он слышал, что я ищу занять денег. — «Сколько же?» — спросил я. — «Да мне сказали, десять тысяч». — «Нет, — отвечал я, — это несправедливо». — «Как жаль! — сказал Воейков, — а я было их приготовил и готов был служить вам». — Я ему сказал после этого: «Нет, Николай Петрович! Мне теперь не нужны деньги, да сверх того, — прибавил я, чтобы испытать его, — я никогда не занимал такой большой суммы. Дать на себя заемное письмо, да к сроку не заплатишь; подадут ко взысканию, а это очень неприятно!» — «Помилуйте! — воскликнул Воейков, — да кто же потребует с вас заемного письма? С вас и простую расписку взять совестно!» — Тогда я сказал серьезно: «Послушайте, Николай Петрович! Если бы я и действительно нуждался в деньгах, то, согласитесь, что занять у вас в то́ время, когда я произвожу над вами следствие, было бы по крайней мере неблаговидно. Но если в последствии времени мне понадобятся деньги, позвольте тогда к вам адресоваться».

Но в последствии времени он доказал мне, что совсем не расположен сделать мне услугу, да, впрочем, и не за что было, потому что я производил следствие, хотя сохраняя вежливое приличие, но со всею строгостию. Вот как было, что мне понадобилась и его услуга.

При начале следствия, которое производилось у меня в гостиной, Воейков притворялся больным и не хотел по требованию нашему явиться к следствию. Тогда на основании закона мы потребовали медицинского свидетельства, по которому нам дали знать, что на дому он ответы давать может, и мы с графом Толстым отправились к нему на дом.

Зная, видно, мои вкусы, он окружил себя некоторыми духовными книгами, в числе которых был и «Сионской вестник». А на стене увидел я небольшой оригинальный портрет Лабзина, писанный Боровиковским[55], и который достался ему вместе с домом, купленным после известного в масонстве Николая Алексеевича Дьякова[56].

Через два года после этого следствия я вспомнил об этом портрете. Зная, что Воейков всегда был близок с менялою Волковым, я просил его выпросить мне у Воейкова позволение снять с портрета копию. Волков не сомневался в этом позволении, но получил в ответ, что портрет этот в деревне.

Тогда, догадываясь, что это ложь, я просто сказал Волкову: «Ах, он мошенник! Не хочет и этого; а когда я производил следствие, знаете ли, что он предлагал мне десять тысяч! — Ну так скажите же ему, что я не хочу копии, а требую оригинального портрета!» — Это было сказано шутя, но каково же было мое удивление, когда через несколько дней я получил от Волкова оригинальный портрет с просьбою велеть списать для самого Воейкова копию. Таким образом этот драгоценный для меня портрет у меня и остался, а прежнему хозяину я доставил прекрасную копию.

Следствие же это кончилось ничем. Когда меня сделали обер-прокурором, его передали состоящему за обер-прокурорским столом Ивану Федоровичу Похвистневу[57], хорошему хозяину и фабриканту, но человеку без головы и не знающему совсем службы. Граф Толстой приезжал ко мне в отчаянии, потому что сам не знал дела и боялся до смерти ответственности за промахи Похвистнева. Но все уладилось посредством тех же жандармов, при посредстве которых заварилась эта каша. Зять Воейкова был сам жандармской офицер, с его покровительством вошли в переговоры с Дупельтом[58], который ворочал всеми делами тайной полиции и самим графом Бекендорфом, и претензия князя Козловского кончилась какими-то уступками со стороны Воейкова и обоюдным примирением. Наши уголовные законы не допускают примирения в уголовном поступке, а это следствие было уголовное, ибо предметом его было раскрытие мошенничества, но тайная полиция и не знала законов, и не хотела знать их, да не имела в этом и нужды: она действовала по внушению обстоятельств и по своему усмотрению. Эластическое правосудие жандармов легко склонялось и на ту, и на другую сторону. Вероятно, Воейкову стоило это немалых денег, но, по крайней мере, кончилось не Сибирью.

В конце этого года мне прибавилось еще дела по службе. Занемог обер-прокурор Протасов; вместо его мне поручено было с 21 ноября исправлять должность обер-прокурора во 2-м отделении 6-го департамента. Здесь был я совершенно в своей сфере и на знакомой мне почве, ибо уголовные дела я знал очень хорошо, был знаком с сенаторами этого департамента и знал его канцелярию. Но я не мог оставить следствия, и потому дела мне было много. Впрочем, пока не изменяли мне физические силы, пока не настигли меня болезни, я был всегда довольно деятелен и не знал усталости. — В это короткое время моего начальства над канцеляриею нашего департамента я имел удовольствие представлять чиновников к наградам и, между прочим, представил к Владимиру 3-й степени нашего обер-секретаря Соколова[59], который некогда был асессором московского губернского правления, следовательно, у которого я, как надворный судья, был под указами, а теперь представлял его как начальник. Так вертится колесо службы.

Наступил 1840 год. В самый день Нового года, окончивши мои визиты и уставши от езды, вечером сидел я с женою дома; у нас был Степан Иванович Кологривов, муж старшей свояченицы моей Анисьи Федоровны Вельяминовой[60]. В это время принесли мне с почты письмо из Петербурга от моего шурина Быкова[64]. Из него узнал я совершенно неожиданно, что 31 декабря минувшего года мне пожалован чин действительного статского советника и что я назначен в должность обер-прокурора 7-го департамента Правительствующего Сената.

Само собою разумеется, что я обрадовался чрезвычайно: титул превосходительства, важное место и большое жалованье. Но признаюсь, я боялся гражданских дел, которые мне не так были знакомы, как уголовные. Сверх того ябеда была мне всегда противнее самых преступлений!

В это же время произошли по министерству юстиции и другие важные перемены. Дмитрий Васильевич Дашков с год тому назад сделан был в Государственном совете председателем департамента законов, а на его место поступил тогда граф Блудов (не бывши еще графом). Но в конце этого года, по смерти Дашкова, Блудов поступил в председатели, а должность министра юстиции была поручена товарищу его графу Виктору Никитичу Панину, который был только еще действительным статским советником и который впоследствии имел такое неблагоприятное влияние на Сенат и на судьбу мою по службе. Из московских обер-прокуроров Мороз[62], Жихарев и Протасов были сделаны сенаторами, а Дашков (Андрей Васильевич, брат прежнего министра)[63], князь Борис Александрович Лобанов-Ростовской и я — в должность обер-прокуроров. Радостных было много, а мне еще была радость: пожалование в сенаторы Александра Павловича Протасова, и в один департамент со мною. Кроме заслуженного повышения этого любимого и уважаемого мною человека я радовался, что Сенат приобретает в нем честного, твердого и знающего юриста, каких у нас немного, а сам он освобождается, наконец, от трудов и ответственности, сопряженных с прежнею его должностию. Не зная, известно ли уже это Протасову, я в тот же вечер Нового года поехал к нему и застал у него несколько человек посетителей: ему было уже все известно через почт-директора Булгакова[64]; все радовались и нас поздравляли. Одним словом, редко случается встретить Новый год такой неожиданной удачей, как встретили мы 1840-й. — Но вместе с тем прощай, моя спокойная жизнь, мой драгоценный досуг, мое il dolce far-niente!* Совсем другая жизнь началась для меня с этого времени[65].

---

*сладкое ничегонеделание (*ит.*).

ЧАСТЬ III

ГЛАВА 19

Обер-прокурорство в 7-м департаменте ● Дела: Волоцкой, графа Зотова, Пассека, Вадковских ● Ревизии палат и Совестного суда ● Секретная переписка ● Школа правоведения ● Общее собрание

По вступлении в должность обер-прокурора я счел моею обязанностию сделать визиты сенаторам моего департамента, чтобы познакомиться с моими сослуживцами. Первоприсутствующим 7-го департамента был тогда обер-шталмейстер двора Петр Иванович Озеров[1], который имел двойную репутацию: сенатора довольно знающего, но ветреного, и более придворного искателя, чем юриста; старика довольно умного и вежливого, но гордого, вспыльчивого и не любящего противоречия. Он был некогда по военной службе, если не ошибаюсь, адъютантом и любимцем великого князя Константина Павловича, что, конечно, не ручалось за его моральные свойства, но поэтому он сделался лично известным вдовствующей Императрице Марье Федоровне и попал в опекунский совет Воспитательного дома, что, до последнего преобразования этого совета, было верным шагом к почестям. От этой же близости к двору сохранил он некоторые связи и от этого же имел в Сенате некоторую силу. — Признаюсь, вступивши в мою должность после обер-прокурора Мороза, знатока дел и в то же время человека не очень разборчивой честности, я вдвойне боялся моего места: боялся своей неопытности, боялся и мастерской опытности моей канцелярии. По этим двум причинам я решился не доверять ни себе, ни другим с первого взгляда, а смотреть в оба и советоваться с Протасовым, которому я мог верить, как своей совести. При всем том я был уверен, что дела моего департамента, по крайней мере, должны идти стройно и с сохранением той условной справедливости, которая зависит от строгого соблюдения порядка и формы; я полагал, что в таком департаменте, где был обер-прокурором Мороз, а первоприсутствующим Озеров, дела, по крайней мере, обтачиваются так тщательно, что трудно и заметить какое-нибудь упущение обстоятельства и закона. Мне подали на просмотр, само собою разумеется, несколько определений по делам, решенным еще до меня. Но, к удивлению моему, я и в них нашел уже нечто та-

кое, с чем я не мог согласиться. И потому я решился почтительно переговорить о том с первоприсутствующим. Его это ошеломило: он, не привыкший к противоречиям и видевший во мне новичка, очевидно был недоволен; смешался, вспыхнул, однако согласился. Канцелярия призадумалась, а сенаторы стали осторожнее.

Озеров был, однако, недолго; кажется, он вскоре умер. После него поступил в первоприсутствующие Матвей Петрович Штер. Этот знал дело лучше Озерова и занимался им прилежнее. На него можно было положиться в правильном решении дел; он был строг и справедлив, но немец: наблюдатель мелочей, и при случае не мог оказать высокого духа, то есть не мог стоять за правду, если она была опасна[2]. Тем труднее мне было в это время, что на другой год моего обер-прокурорства Протасова перевели в 8-й департамент, и я лишился поддержки его опытности и советов его неподкупной совести. Вскоре представился случай, по которому я был предоставлен совершенно самому себе, одним собственным силам, одной собственной ответственности и отдан, так сказать, в жертву. Но Бог послал мне твердость, и я устоял.

Несколько раз уже я упоминал о вмешательстве тайной полиции в дела, подлежащие другим законным ведомствам, но доселе ее действия не касались моей службы. Наконец, довелось и мне вступить с нею в борьбу вот по какому делу.

В Москве жила полковница Волоцкая. Прежде, по первому своему мужу, она была поручица Бордеглио; она была известная в Москве повивальная бабка и имела, говорят, связь с одним пожилых лет женатым человеком, Ладыженским[3]. Вследствие этой связи она имела от него многие долговые обязательства на свое имя. По выходе вторично замуж за молодого красивого мужчину, полковника Волоцкого[4], она все эти долговые обязательства представила ко взысканию.

Они были трех родов: 1. простые заемные письма, 2. крепостные заемные письма и 3. закладные на дома. Все эти претензии поступали в подлежащие места: бесспорные в управу благочиния, спорные в уездный или надворный суд, а закладные в гражданскую палату — и дела приняли правильный ход.

Но Волоцкой захотелось ускорить взыскание, и она нашла случай действовать через жандармов, то есть через тайную полицию, которая при Николае Павловиче вступалась во все, путалась во все дела и становилась поперек правосудию на всех путях его[5], не только как бревно, лежащее на дороге, но и как яма, в которой можно было сломить голову. Жандармы брали безбоязненно взятки, потому что на них доносить было некому, и презирали всеми судебными инстанциями, всеми формами судопроизводства и всякой справедливостию. Их боялись, как опричников, да они и были при нем опричниками, только в новейшей форме.

Дупельт именем графа Бекендорфа вызвал тяжущихся в Петербург и в собственной канцелярии Государя, во 2-м отделении, заставил их заключить между собою условие в пользу Волоцкой, по которому Ладыженской уступал ей долги и предоставлял еще какие-то выгоды. В этом условии сказано было именно, что они были вызваны во 2-е отделение Собственной канцелярии Государя и там составили этот акт, который признавать им третейским судом.

Третейский суд, как известно, бывает двух родов: или составляется по просьбе тяжущихся, или определяется судебным местом. В последнем случае решение третейского суда подлежит апелляции, а в первом — предоставляется самим тяжущимся определить в своем первоначальном акте, желают ли они предоставить себе право апелляции или вверяют решение дела третейскому суду окончательно. Судей же всегда назначают сами: двух, каждый своего, а третьего общего.

Но этот акт, этот мнимый третейский суд, был такая гиль, которая была явным нарушением законов и показывала, что жандармское отделение не имеет никакого понятия ни о законодательстве, ни о подлежащих местах и формах судопроизводства, и вся эта гиль была написана на листе простой бумаги.

Волоцкая возвратилась в Москву в полной уверенности в своем успехе и в твердости этого условия. А Ладыженской через своего родственника Николая Андреевича Кашинцева[6], шпиона, принадлежавшего к той же тайной полиции, стал искать средств разрушить это дело.

Тогда жандармы приняли уже сторону Ладыженского, но, полагая свое прежнее произведение очень крепким, решились употребить средство еще сильнее, то есть имя графа Бекендорфа, который ни во что не вступался, был в какой-то моральной апатии, вследствие, как говорят, его любострастной жизни, и подписывал все, что приносил ему Дупельт[7].

Вдруг московской военный генерал-губернатор князь Щербатов[8], добрый человек, не имевший ни малейшего понятия о делах, и человек простой, получил от графа Бекендорфа отношение такого содержания, что «до сведения его дошло о безнравственности полковницы Волоцкой, которая с первым своим мужем будто бы не была венчана, а потому он просит произвести о том строжайшее следствие для доклада Государю, дабы и впредь подобные безнравственные поступки не могли остаться без наказания; а между тем прекратить все дела по денежным претензиям Волоцкой с Ладыженского и с имения его сложить запрещение, а на имение Волоцкой наложить запрещение, в предупреждение могущих последовать с нее взысканий».

Князь Щербатов все это исполнил: были прекращены дела даже по закладным, а Волоцкая подала просьбу в Сенат. Князь Щербатов на вопрос Сената в своем объяснительном рапорте все это подтвердил.

Седьмой департамент Сената сперва хотел уничтожить действия графа Бекендорфа. Даже первоприсутствующий сенатор Штер обратился ко мне с такою речью: «Как вы думаете, ваше превосходительство? Я полагаю всю эту дрянь уничтожить». — Я отвечал, что «хотя я не смею называть это дрянью, однако думаю, что нельзя же этого оставить». — Подумав с минуту, Штер велел сначала составить из дела записку. Дело и без того было ясно, но, вероятно, он хотел выиграть время, чтобы хорошенько обдумать, последовать ли своему первому движению. Дня через три, при слушании составленной из дела записки, я вдруг услышал, к моему удивлению, совсем противное тому заключение Сената, именно: «Утвердить действия графа Бекендорфа».

Тогда я подошел к столу сенаторов и напомнил им о первом намерении Сената. Но первоприсутствующий возразил мне, что он видит в этом деле высочайшее повеление. — Я отвечал, что высочайшего повеления нет, а сказано только: «для доклада Государю Императору». «Когда мы уничтожим распоряжение графа Бекендорфа, — прибавил я, — тогда пусть он и докладывает об этом Государю».

Но Штер вместо всяких резонов упомянул только о жандармах. И вот какой последовал за этим разговор, едва ли приличный в таком высоком, или правительственном, месте, как Сенат:

— Что ж такое жандармы? — сказал я. — Жандармы должны стоять у крыльца при разъезде карет. Вся их должность в этом.

— Разве вы не знаете, — возразил он, — что это тайная полиция?

— Не слыхал! — отвечал я.

— Вы шутите!

— Я в седьмом департаменте не шучу, — отвечал я, — я знаю в нем только то, что находится в пятнадцати томах свода законов. Прикажите обер-секретарю отыскать в своде законов статью о тайной полиции.

— Там этой статьи нет! — отвечал обер-секретарь.

— Видите ли, Матвей Петрович, что я прав? — продолжал я. — Вы знаете мою стойкость, знаете, что я непременно дам предложение против графа Бекендорфа. За что же вы хотите мной жертвовать?

— Ну, как хотите! — отвечал Штер. — Это ваше дело.

— Однако, — продолжал я, — вы занимаете такое важное место и, вероятно, известны самому Государю, а я — травка, которую завтра же можно выдернуть! И со всем тем вы боитесь, а я не боюсь! Отчего это?

— Отчего же? — спросил Штер.

— Я думаю оттого, — отвечал я, — что у меня сильный покровитель!

— Кто же это? — спросил он.

— Иисус Христос! — отвечал я и не стал говорить более, а отошел к своему столу.

Таким образом я вынужден был дать предложение, которого содержание было следующее: 1. В законе сказано, что по смерти одного из супругов, если не было при его жизни опровержения против законности его брака, оставшийся в живых вступает во все права законного супружества, а потому следствие прекратить. 2. Действия судов по денежным претензиям Волоцкой восстановить и дать этим делам законный ход. 3. На имение Ладыженского опять наложить запрещение, а с имения Волоцкой запрещение снять, потому что на нее никаких исков не предъявлено, а в законе, вопреки выражению графа Бекендорфа, именно сказано, чтобы не налагать запрещения, в предупреждение могущих последовать взысканий. — Одним словом, я дал предложение Сенату об уничтожении всех распоряжений графа Бекендорфа по этому делу: решимость небезопасная; граф Бекендорф был любимец Государя, человек всемогущий по доверенности к нему царя, сверх того, начальник тайной полиции, которая действовала во мраке, безотчетно, одним именем Государя, и не подчиняясь никаким законам.

Мудрено ли, что в 7-м департаменте ни один сенатор не согласился со мною! — Я ожидал, что и от министра не будет поддержки моему мнению, и утешал себя только тою мыслию, что поступил по закону и по совести и честно исполнил свою обязанность. Однако министр юстиции граф Панин велел мне перенести это дело в общее собрание: следовательно, согласился с моим предложением. Это удивило сенаторов, а мне доставило на некоторое время такую славу в Москве, что, куда ни приезжал я, везде только и речи было, что о моем предложении, о моем, как говорили, смелом гражданском подвиге. — Сам граф Панин обратил на него внимание; приехавший из Петербурга наш же обер-прокурор граф Толстой[9] приходил ко мне в департамент с поручением от министра благодарить меня за твердость, оказанную мною против графа Бекендорфа.

Несмотря на все это, в общем собрании, состоявшем тогда из двадцати пяти сенаторов, только пятеро согласились с моим предложением: Протасов, Мороз, Башилов, граф Строгонов, кто был пятый, теперь не помню: так велик был страх идти против графа Бекендорфа, так слабо было в них чувство правосудия, так бессилен был дух этих людей, которым в их высоком звании, при безответственности их мнений, и сверх того составляя целый судебный корпус, нечего было и опасаться! Но деспотизм мало-помалу ослабляет души и даже лишает их стыда выказывать свою робость. В числе московских сенаторов был тогда князь Павел Павлович Гагарин, прославившийся своею смелостию и своим строгим правосудием, а его мнение было так странно, что к нему не пристал даже ни один сенатор: показалось и им стыдно! Оно заключалось в том, что так как граф Бекендорф не состоит под ведомством Сената, который и указов к нему не посылает, то Сенат не имеет права

и рассматривать его действия! — Да после этого Сенат не будет иметь права судить и действий частного пристава, потому что и к нему он указов не посылает! — До такой степени страх и угодливость были сильнее правды!

Не подействовало и согласительное предложение самого министра. И потому дело должно было поступить в Государственный совет. Но оно получило вдруг не ожиданное никем разрешение.

Министр юстиции прислал вдруг к тогдашнему обер-прокурору общего собрания Сезаревскому[10] для предложения Сенату отношение к нему графа Бекендорфа, который отказывался от всего и уведомлял министра, что о прекращении следствия над Волоцкою он писал уже к князю Щербатову; что же касается до других его распоряжений, то он полагает, что они не должны служить препятствием действию законов. — Сенаторы, видя, что граф Бекендорф сам отказывается от этого дела, все единогласно согласились с моим предложением. Однако дело это тянулось два года.

Вот что было причиною перемены ветра: граф Панин объяснил графу Бекендорфу, что это дело, поступивши в Государственный совет, не минует Государя, и что если он обратит внимание на его действия, то ему самому будет худо. — Граф Бекендорф тотчас согласился и прислал свое отречение, потому что и он боялся Государя. Кроме того, он был человек добрый, но ленивый, усталый, заваленный пустяками, сплетнями и доносами, и подписывал, не читая. — Много зла делал Дупельт его именем — и вот как шло правосудие при Николае Павловиче!

Но не всегда граф Панин оказывался таким героем правды; кажется даже, что это дело Волоцкой было единственным примером его стойкости. В последствии времени он оказался вполне угодником не только высшей власти, но даже и невысоких ее любимцев. Все его министерское поприще имело целию — удержаться на своем месте посредством угождений: Государю угождал он подвигами непомерной строгости в делах уголовных и в отношении к своим подчиненным, а сильным лицам — вступаясь за людей, покровительствуемых ими, и преследуя тех, кто подпадал их немилости. Ни при ком, думаю, ни при одном министре юстиции, не было такого нарушения порядка и закона, как при графе Панине, и все из угождения. Было бы лишнее приводить многие примеры; довольно и немногих. Расскажу дело графа Зотова[11].

В Москве был губернатором Иван Григорьевич Синявин[12], человек гордый, самонадеянный, пустой, занимавший у купцов деньги и задолжавший кругом, потом обманувший казну продажею имения и кончивший тем, что перерезал себе горло. Он надеялся на свой фавёр, причина которого будет объяснена после.

Пользуясь силой, основанной на этом фавёре, Синявин явился в Москве гонителем злоупотреблений, Аристидом[13], и противником губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына, которому делал всякие неприятности и был явным порицателем всех его действий. Впрочем, что я буду теперь рассказывать, это было уже при его преемнике и племяннике князе Алексее Григорьевиче Щербатове, человеке, как я сказал уже, простом, почти глупом, который не умел так сдерживать Аристида, как князь Голицын.

Дошло, по слухам, до сведения Синявина, что граф Зотов передал свое населенное имение иностранцу Move. Этот граф Зотов был родственник князю Голицыну: это было главною причиною, почему Синявин вступил в это дело. Он нарядил следствие и предложил дело это на рассмотрение губернского правления, которое потом представило его в Сенат.

В это время приезжал в Москву граф Панин. Он позвал меня к себе вечером, посадил, вынул из бокового кармана какую-то бумагу и спросил меня: «В каком положении дело графа Зотова?» — Вся эта сцена происходила почти в потемках, свеч не подавали. Я отвечал, что дело Сенату было доложено и Сенат находит графа Зотова правым, но что я знаю это дело только еще по словесному докладу, что определение еще не готово, и потому я еще не рассматривал самого дела.

— Однакож, — спросил министр, — как вы думаете?

— Основанием этому делу, — отвечал я, — служат два документа: условие с иностранцем Move, из которого можно заключать нечто, похожее на передачу имения, и доверенность, ему же данная, по которой граф Зотов обязал его такою ответственностию, которой не могло быть при совершенной передаче прав. И потому, при рассмотрении самого дела, надобно будет оценить эти два документа и решить, которому из них дать преимущество. Но прежде рассмотрения подробностей,— продолжал я, — я хочу дать предложение Сенату, чтоб возвратить это дело в губернское правление, которое представило его в Сенат без своего мнения, выписав только законы. Оно обязано постановить свое заключение и с ним вместе представить дело в Сенат.

— Хорошо! — сказал граф Панин. — Дайте это предложение. А когда это дело поступит вновь, тогда что вы намерены сделать?

— Я уже сказал вашему сиятельству, что заключение будет зависеть от рассмотрения двух документов и от того, которому из них дать преимущество.

— Очень хорошо, — отвечал граф Панин, — я вижу, что вы это дело знаете; следовательно, вам не нужна будет эта бумага (с этим словом он положил ее опять в карман). Но я не хочу от вас скрывать, что меня просил об этом деле Иван Григорьевич Синявин; следовательно — понимаете? Надо, чтоб это дело решено было против графа Зотова. Я поручаю вам завтра же

сказать о нашем свидании сенаторам и настоять на таком решении. А если они не согласятся, поручаю вам дать предложение, согласное с моим взглядом.

На другое утро я рассказал об этом сенаторам, которые не хотели и слышать об обвинении графа Зотова. В это время место первоприсутствующего занимал Андрей Васильевич Богдановской[14], человек простой и бесхарактерный, но добрый, справедливый и несколько навыкший к делу, хотя совсем не законник.

По поступлении этого дела из губернского правления вторично в Сенат они оправдали графа Зотова, а я, по приказанию министра, дал против их заключения предложение. Ни один не согласился, хотя они обыкновенно уважали мои предложения.

Так как все сенаторы единогласно остались при своем мнении, то, по закону, я отправил это на разрешение министра.

В это время граф Панин, оставя свои настоящие обязанности, ревизовал петербургской магистрат. Должность его исправлял товарищ министра Василий Александрович Шереметев[15]. Он предписал мне перенести это дело в общее собрание: следовательно, согласился со мною. Это надобно заметить, потому что последствия вышли другие.

В общем собрании большинство голосов было тоже против предложения, и дело поступило на консультацию. Надобно было ожидать, что Шереметев будет верен прежнему своему предписанию и даст согласительное предложение в пользу моего мнения, ибо по моему протесту сам же он велел перенести дело в общее собрание; но вышло напротив: он согласился с Сенатом. В это время граф Панин был уже в чужих краях[16], а потому Шереметев мог безопасно действовать в пользу правого дела по своему собственному усмотрению.

Несколько времени спустя после этого Шереметев был в Москве и приезжал ко мне. В продолжение разговора он сказал мне с усмешкою: «А ваше предложение по делу графа Зотова? Хорошо!» — Я отвечал ему, что имел особые причины к подаче этого предложения. — «Знаю, знаю! — сказал Шереметев. — Вам велел дать его граф Панин! И мне он же велел перенести это дело в общее собрание. А когда я действовал без него, тогда я поступил уже другим образом».

Так играли они Сенатом, правосудием и судьбою людей в царствование прозорливого и мудрого Николая Павловича!

Скажут: «Зачем же обер-прокурор дал предложение против своего убеждения?» — Во-первых, потому, что, когда вступается в дело сам министр юстиции, тогда обер-прокурор делается уже не оком правосудия, а оком министра, не головою, а рукою, исполняющею повеленное: ибо, по смыслу

закона, обер-прокурор только заменяет министра при Сенате. А во-вторых, если бы я не послушался министра, только и вышло бы, что меня спихнули бы с места и этим лишили возможности быть полезным по другим делам, а это дело все-таки министр повернул бы по-своему!

Теперь скажу два слова о московском губернаторе Иване Григорьевиче Синявине. — Почему он был так силен? — Вот почему: он был женат на полурусской-полуголландке О'Ггер, живой, как француженка, ловкой, черноволосой, свежей, которая была не красавица, но довольно appétissante*[17]. — Во время его губернаторства в Новгороде Николай Павлович, проезжая через Новгород, ночевал там и переспал с губернаторшей. Это было основанием фавёра Синявина[18]. Под конец он был товарищем министра внутренних дел и просил Государя Николая Павловича о покупке у него в казну его имения для уплаты долгов. Государь согласился; имение было куплено. Но в нем не оказалось лесу, означенного в купчей, который составлял всю цену того имения. Синявин продал его прежде, другому лицу, и думал, надеясь на свой фавёр, что эту двойную продажу скроют и не доведут до сведения Государя. Но об этом обмане было ему доложено. Синявин, в отчаянии, пробовал застрелиться, но рана была не смертельная. Он перерезал себе горло, но горло зашили. Он разорвал его вновь, бросился в окно из второго этажа и кончил смертию. Мудрено ли, что таково было правосудие при этом государе и таковы были при нем сильные люди, когда он и сам следовал не законам, а каким-то мгновенным порывам справедливости, то есть тому впечатлению, которое он в ту минуту признавал за справедливость, не разбирая того, что оно находится иногда в явном противоречии с положительным законодательством его государства. Так поступил он в деле Пассека.

Братья Пассеки[19] имели процесс с князем Шаховским о наследстве огромного имения после князей Кантемиров. Но ни те, ни другие не имели прямого законного права на это наследство, ибо Пассеки предъявляли свое право по отцу[20], который был побочный сын истинного наследника, а Шаховские по матери, которая была побочная же дочь[21]. Правда, что отец Пассеков, по указу Императора Павла, был усыновлен, но гораздо после по смерти владетеля имения, следовательно, при его смерти не был наследником[22]. А на стороне князей Шаховских было мнение Государственного совета, утвержденное Императором Александром[23], которым они, по другому делу, были уже признаны в правах законности. Итак, ни та, ни другая сторона не имели права на имение Кантемиров, но права Шаховских утверждались на том мнении Государственного совета.

Сенат решил это дело в пользу князей Шаховских. Я, желая сколько-нибудь помочь Пассекам, тем более, что они были почти нищие, нашел в

*женщина в теле, соблазнительная (*фр.*).

этом деле одно обстоятельство, упущенное из виду Сенатом; именно, что один из князей Шаховских не апеллировал на решение гражданской палаты, которой заключение было в пользу Пассеков, и что в этой части решение палаты вошло в законную силу. А имение было столь огромно, что на одну эту часть приходилось душ триста, которые Пассеки могли бы продать и заплатить этими деньгами огромный штраф, следовавший с них по этому делу. Больше этого ничего нельзя было сделать в пользу Пассеков. Так и решили.

Но Пассеки были, по отце, народ смелый[24], пронырливый, предприимчивый, пускающийся наудачу, на все; это были голые bonvivants*, которые тянулись из последнего, при малейшей удаче поднимали нос, а при малейших деньгах пускались в роскошь. Терять им было нечего, а для всякого выигрыша они готовы были пуститься напропалую! Всякой же случай они хватали на лету. Они воспользовались случаем.

В это время был убит на сражении их брат Диомид Пассек[25], оказавший много храбрости и известный этим Государю. Братья подали просьбу Николаю Павловичу.

Государь, имея в виду только подвиги Диомида Пассека и желая почтить его память, рассматривая по этому делу мнение Государственного совета, согласное с заключением Сената, дал сгоряча такую собственноручную резолюцию: «Во уважение подвигов Диомида Пассека имение между Пассеками и князьями Шаховскими разделить пополам»[26]. Это значит, во-первых, что он не мог или не хотел разобрать законности права; во-вторых, что он считал себя вправе наградить подвиги храбрости чужим имением. Половина наследства, правильно или неправильно принадлежавшего Шаховским, пошла в награду Пассекам, которым оно совсем не принадлежало, в награду за подвиги убитого; а отнятием частной собственности награждены заслуги отечеству! — Нигде, я думаю, в целом мире нет примеров такого дикого правосудия, какое оказал в этом случае наш русской Соломон[27], мудрый Николай Павлович!

Князь Шаховской (это наш комик, о котором я говорил прежде) утешился тем, что написал себе эпитафию:

Здесь Шаховской лежит.
Он царской милостью к убитому убит[28]!

Кстати, к характеристике людей, расскажу еще следующее. Когда я был обер-прокурором, всякой день, возвращаясь в три часа пополудни из Сената, я находил у себя, в передней и в зале, несколько человек просителей.

---

*любители пожить (*фр.*).

Обер-прокурору нельзя не принимать их: во-первых, потому, что всякой тяжущийся лучше всех или, по крайней мере, подробнее, объяснит свое дело; во-вторых, потому, что, не принимая лично просителей, пойдешь за неприступного человека и неминуемо потеряешь доверенность к своему нелицеприятию. В один день приехал ко мне один из этих Пассеков, именно Леонид[29]. Он начал не с объяснения своего дела, а с вызова на некоторую искренность. «Извините мою откровенность, — сказал он,— меня пугают тем, что вы знакомы с моим соперником, князем Шаховским, и что он бывает у вас каждую пятницу». — Мне эта откровенность понравилась; кроме того, я увидел в Пассеке молодого человека очень приличной и приятной наружности и хорошего тона. «Это правда, — отвечал я, — но это легко поправить. Вы можете предъявить на меня подозрение, на это закон вам дает право, и этим мне обижаться нечем. А делается это так, что тяжущийся напишет письмо к обер-прокурору; тогда я откажусь от этого дела, и вместо меня его передадут другому. А если вы не хотите, то есть другое средство для вашего успокоения: будемте также знакомы. У меня вечера каждую пятницу; приезжайте ко мне: я буду рад знакомству с вами». — После этого Леонид Пассек начал ко мне ездить[30], встречался на моих вечерах с князем Шаховским и держал себя очень прилично. — Но как скоро кончилось его дело, и кончилось ударом власти в его пользу, он раззнакомился со мною, и если где мы встречались, он уже не узнавал меня и мне не кланялся. Таковы эти люди!

Кстати расскажу еще одно дело, чтобы показать, как в это время решалась судьба людей и их имуществ мимо всякого законного хода, по одному произволу, и как изменялись решения по другому произволу же. Купец Аристархов[31] и почетный гражданин Прянишников[32] завели бумажную фабрику на праве торговой компании и сделали об этом обоюдный акт. Капитал был Аристархова, но управление делами и выписка из Англии машин производились Прянишниковым. — О части барышей Прянишникова было упомянуто в самом акте, но тем не менее он был составлен, как всегда делают это купцы, без точного соблюдения законных форм: и на бумаге не по цене предприятия, и не там засвидетельствованной, где следовало. Ему давало вес только то одно, что обе стороны его признавали, но в случае спора он не мог служить неопровержимым документом. Купец делает это не столько по незнанию, сколько с намерением, чтобы на случай обмана была готовая лазейка отказаться от условия. — Вскоре последовало несогласие между участниками, и дело поступило на разбор в коммерческой суд. Не помню, по какому частному вопросу, встретившемуся по этому делу, но по обстоятельству маловажному, коммерческой суд испрашивал разрешения Сената, и Сенат легко и скоро разрешил этот вопрос; но, по счастию, и именно потому, что предмет был неважный, у меня это определение несколько замед-

лилось без пропуска. Вдруг молодой чиновник, у которого оно было в столе (именно Аксаков, нынешний оренбургской губернатор[33]), приносит ко мне листок газет и показывает, что это дело, только что начавшееся в первой инстанции, решено высочайшею властию. Объявляется от имени графа Бекендорфа высочайшее повеление в таких словах: «Фабрику отдать в принадлежность одного Прянишникова, а от Аристархова по оконченному делу никаких просьб не принимать и въезд ему в обе столицы воспретить». — Что с этим делать? Остановить определение Сената нельзя; пропустить его вопреки высочайшему повелению нечего и думать; дать предложение на основании газетной статьи невозможно, да и допустить такое явное нарушение закона было бы преступным потворством жандармам, той темной власти, которой я решительно не признавал законною. Я решился представить все эти мои соображения министру юстиции с прописанием всей незаконности такого решения. Граф Панин вошел с докладом к Государю. — И что же? Последовала отмена высочайшего повеления, и последовало другое высочайшее повеление: «дать делу законное течение». — Это доказывает, что Николай Павлович готов бы был всегда исправить свою несправедливость, но его вводили в обман его любимцы, которые прикрывались его высочайшей волей, были самодержавнее его самого. — Какой-нибудь Дупельт был пружиною, двигавшею графом Бекендорфом, а Государь был стрелкой, показывавшей и ясную, и мрачную погоду. В чьих же руках была власть? — Вот эта-то темная сила была страшна при Николае Павловиче!

Я рассказываю все эти дела для того, чтобы показать, как шло правосудие в царствование Николая Павловича и при министерстве графа Панина. Государь, требовавший от всех непоколебимой справедливости, сам, кажется, не признавал никакого закона, кроме своей воли; а министр, гордый и неприступный с подчиненными и тяжущимися, был мягче воска перед малейшей силой, оставлял Сенат на жертву всякому любимцу Государя и уступал без всякого отпора[34], кто бы ни захотел оказать свою силу. Никогда Сенат не был так бессилен, никогда не приходилось ему испытывать такого унижения, как в его министерство. Так оказался граф Панин в деле Вадковских с князем Мещерским[35].

У князя Платона Мещерского было тяжебное дело с двумя братьями Вадковскими, из которых один служил в гвардии и был полковник, другой был военный же в отставке. Полковник был очень глуп и предоставлял говорить за себя брату. Они просили меня ускорить слушание их дела, потому что полковнику выходил срок его отпуска. Я отвечал, что это невозможно, потому что дела назначаются к слушанию на целый месяц, по числам, о чем доносится и министру юстиции, и что их дело будет предложено к слушанию такого-то числа, через две недели. Вдруг получаю я рапорт Сенату от воен-

ного министра князя Чернышова, которым он доносит, что «полковник Вадковской просил об отсрочке отпуска, потому что ему нужно быть в Москве для личного ходатайства по своему делу» (и это докладывали Государю!), «но Государь отсрочки не дозволил, потому что Вадковскому нужно ехать в Тверскую губернию и заниматься с бессрочно отпускными солдатами. Но Государь высочайше повелеть соизволил отсрочить в Сенате слушание дела до возвращения Вадковского». — А министр юстиции граф Панин и не знал этого: военный министр рассудил за благо объясниться с Сенатом мимо его, и я уже должен был уведомить графа Панина о таком высочайшем повелении и о распоряжении мимо его по делам Сената! — Таким образом, в пользу полковника Вадковского (и надобно повторить, болвана и дурака, хотя и красавца) был остановлен и нарушен законный порядок. — А что от этого терпел медленность в решении дела другой тяжущийся, князь Мещерский, и что Государь должен равно обеим сторонам покровительствовать, допуская равно для обеих действие закона, этого никому опять и в голову не пришло, ни самому министру юстиции!

В это царствование и при этом министерстве до того перепутались все понятия о законности, что никто уже и не дивился отступлениям от легального порядка, никто и не понимал вреда, от них происходящего: беспорядок в угоду власти был в порядке вещей[36]. В это время я уже заведовал делами и общего собрания московских департаментов; за первоприсутствующего был у нас на время сенатор Егор Александрович Дурасов[37], человек довольно опытный и тонкой, хотя и не высокого ума. Я сказал ему: «Каким это образом военный министр объявляет Сенату высочайшие повеления?» — Он отвечал мне с спокойною уверенностию: «Что ж! Он имеет на это право, он генерал-адъютант!» — «Я не оспариваю у него этого права, — сказал я. — Но я желаю знать, может ли министр юстиции объявить приказ по армии? А он тоже, как статс-секретарь, имеет право объявлять высочайшие повеления».

Но пора обратиться к самому себе. Доставшийся мне на долю 7-й департамент Сената был обременен делами более всех департаментов, и московских и петербургских: что можно [видеть] из ежегодных печатных отчетов по министерству юстиции. В него поступали не только дела из семи губерний, но из губерний или самых населенных и торговых, как, например, Московская, Владимирская, Нижегородская и Астраханская, или из самых ябеднических и разнопоместных, как Курская, или, наконец, из палат, отличающихся своим неустройством и отступлениями от законного порядка, как, например, из Харьковской. Затем оставалась одна Кавказская область, из которой дел поступало менее и дела которой были не важны. Кроме того, в других департаментах не так надоедали просители, ибо не всякой мог ехать в Москву за несколько сот верст, а мои московские были всегда налицо, и от

личных объяснений и просьб не было отбою! — К этому надобно прибавить, что все эти люди имеют в Москве своих родственников, знакомых и покровителей, которые в массе если не составляют мнения, то все-таки составляют голос, — таковы были мои затруднения в сравнении с другими обер-прокурорами. Они имели дело только с бумагами, а я с людьми. Для взяточника эти обстоятельства были бы очень выгодны, а для меня они были обременительны. К этому прибавить надобно, что в столице, какова Москва, живет много людей, имеющих свои связи и своих милостивцев в Петербурге. И потому я беспрестанно получал просительные и рекомендательные письма от лиц сильных, как-то: от графа Орлова, от графа Адлерберга[38] и других. Правда, этим людям я спешил всегда отвечать прежде слушания дела, чтобы отделаться от них одним обещанием употребить старание к правильному рассмотрению дела; однако и эта пустая переписка занимала много времени и требовала по этим делам большой осмотрительности.

Но, несмотря на трудность этого департамента, граф Панин дал мне еще поручение. Предписанием своим от 27 июня 1841 года поручил он мне произвести ревизию, или обозрение порядка, в производстве дел московских судебных мест второй степени, именно: уголовной палаты, двух департаментов гражданской палаты и совестного суда.

Правда, по приказанию министра директор спрашивал меня, не найду ли я удобным, чтобы на время моей ревизии дела 7-го департамента были переданы другому. Но я отказался от этой уступки и отвечал, что надеюсь исполнить новое поручение, не оставляя своей должности. — Трудно мне было, но в этом предложении я видел одно только намерение выдвинуть на мой счет как дельца другого, именно состоявшего тогда за обер-прокурорским столом Зубкова, приятеля директора Данзаса. Таковы эти служебные интриги, с которыми борьба труднее всякого занятия делами! — А нам, московским, еще труднее петербургских, потому что все пружины там: мы работаем, а там заглазно, невидимо для нас, и заводят, и останавливают машину, как им лучше и как выгоднее для этих машинистов. — Притом же, подумал я, что это такое? — Чрез полтора года моего обер-прокурорства мне уже дают другое назначение! По исполнении его, вступив опять в управление департаментом, мне опять должно бы было узнавать дела, которые поступили без меня, а те, которые я вел к известному мне концу, может быть, приняли бы другое направление; одним словом, опять связывать порванную нитку, которую прял другой! — Я предпочел двойной труд этому затруднению и двойную постоянную работу этой путанице. На ревизию же у меня оставались пятница и суббота, два дня недели, в которые не было присутствия по департаментам.

По особой инструкции предоставлено мне было: удостовериться в порядке заседаний палаты и совестного суда, и если порядка не наблюдается, то указать, в чем состоят отступления, и происходят ли они от неудобств исполнения, или от небрежности, или от недостатка средств. Далее предписывалось: обозреть настольные реестры, описи делам, хранение их, соблюдается ли очередь при слушании дел, каким порядком собираются справки и какое имеется наблюдение за движением дел; потребовать и рассмотреть во всей подробности ведомости о указах Сената и требованиях других судебных мест; узнать, в каком положении отчетность по денежным суммам; рассмотреть, в каком порядке находятся крепостные дела, и вникнуть в причины замедления совершения предъявляемых актов; войти в рассмотрение опек и, наконец, — представить обо всем свои соображения и особое заключение.

По окончании ревизии требовалось сообщить членам присутственных мест о замеченных беспорядках и потребовать от них объяснений, а потом представить министру мое мнение о каждом лице отдельно.

Далее, в дополнительном ордере от 27 июня 1841 года сказано было, что хотя возложено на меня только обозрение порядка в производстве дел, но что это не стесняет меня обращать внимание и на существо производящихся дел, и если замечу отступления от законов, то должен доводить о том до сведения министра.

Само собою разумеется, что вступаться таким образом в самую сущность решения дел было таким правом, которое никак не могло, ни по какому законодательству, принадлежать отдельному лицу и противоречило совершенно здравым понятиям коллегиального судопроизводства: один только Сенат мог рассуждать о сущности решения, и то, когда дело дойдет до него в апелляционном порядке. И потому исполнить это требование министра было бы с моей стороны некоторым образом шпионство; но граф Панин не был так разборчив в средствах, законность соблюдал только в мелочах канцелярских, справедливость покорял своему собственному кривому толку, а на все подчиненное ему смотрел как на свое поместье. — Я имел другой взгляд на правосудие, и потому это требование его я оставил без всякого внимания. Другой на моем месте наделал бы путаницы по делам, а может быть, наделал бы и несчастных! — У нас любят показывать свою власть и силу. Но я никогда не любил выходить из пределов законности.

Кроме всего, сказанного выше, от 18 октября 1841 [года] велено мне было представить министру соображения опытных судей и других чиновников, служащих в губернских местах, об улучшении существующего порядка в хранении и производстве дел как гражданских, так и уголовных.

Их этого краткого указания предметов ревизии видна вся обширность ее объема. Правда, что много облегчало ее для меня прежнее знакомство мое с

московскими палатами и с самими составляющими их лицами. Я знал отчасти заранее, в чем состоят недостатки каждого из этих присутственных мест и где искать неисправностей.

У нас всякая ревизия производит передрягу. Но самое это близкое мое знакомство с их подробным бытом и было причиною того, что при моей ревизии встрепенулись наши суды более обыкновенного: они знали, что мое обозрение будет не поверхностное, не такая ревизия, какую производят обыкновенно губернаторы, обозревая свою губернию. Это беспокойство обнаружил более всех председатель уголовной палаты Косой Балк, который, когда я временно присутствовал с ним вместе, бывши советником, делал мне разные каверзы, а теперь приехал просить меня, чтобы я ревизовал его палату после других и дал бы ему время приготовиться: что, впрочем, нисколько не послужило к улучшению, как я увидел впоследствии. — Когда же я вошел в первый раз в присутствие 1-го департамента гражданской палаты, председатель Смирнов[39] только встал гордо с своего кресла, и заметно было, что он оскорблен данным мне поручением. Оно и немудрено: он был гораздо старее меня, и летами, и службой, и в этом чине; он был уже давно председателем, когда я был только надворным судьею и мог состоять у него под указами. Но его, как человека хотя и гордого, но умного и дельного, я скоро успокоил. При втором же свидании я сказал ему наедине: «Я заметил, Алексей Иванович, что вам неприятно, что я произвожу ревизию, но, во-первых, я уверен, что у вас все в исправности, а во-вторых, вам обижаться этим нечего: и у меня в канцелярии производилась недавно ревизия, да еще подчиненным мне же лицом, Похвисневым». Он скоро успокоился, особливо увидя мои деликатные поступки.

Однако кто знает запутанность нашего судопроизводства, множество форм и множество книг и реестров, тот согласится, что нелегко мне было проникнуть во все закоулки, в которые так искусно умеет прятаться наша юстиция. Только время и мелочное терпение могли преодолеть все эти затруднения. Я употребил на эту ревизию семь месяцев, зато не оставил, я думаю, ни одного нумера, не сверивши его с другими. Результатом моей ревизии было следующее.

В 1-м департаменте гражданской палаты, несмотря на некоторые маловажные отступления от порядка, я нашел, однако, как в составе его канцелярии и в содержании всех книг и реестров, так и в течении судопроизводства такой порядок и такое органическое устройство, которые могли служить примером для всякого судебного места. Справедливость обязывала меня сказать в моем рапорте министру, что все это устройство держалось знаниями, опытностию, строгою взыскательностию и умом истинно юридическим председателя Смирнова.

Во 2-м департаменте гражданской палаты собственно в течении делопроизводства не было замечено мною явного отступления от порядка, исключая, однако, настольного реестра делам, который был разделен на двенадцать разных реестров, хранящихся у столоначальников, и еще некоторой медленности.

Между тем, обращая мое внимание не на одно настоящее положение этих двух департаментов, а на самую сущность их, я счел нужным представить министру свой образ мыслей об относительной важности того и другого. Предметом 2-го департамента были: крепостное приобретение и отчуждение собственности и надзор за действиями по частному производству подчиненных судебных мест, что требовало скорости исполнения и наблюдения подробностей. В 1-м же департаменте производились дела апелляционные, то есть определялось судебным образом право на владение собственностию. С первого взгляда, дела этого департамента могли представляться более важными, но апелляция, подвергающая их пересмотру во всем объеме, служила до некоторой степени ручательством в осмотрительном их разрешении и той гарантией, которой не имели дела частные, производящиеся во 2-м департаменте. Дела первого рода, в случае апелляционной жалобы, поступали в Сенат во всей целости своего производства, и потому ни одно обстоятельство дела не могло укрыться от внимания при пересмотре в Сенате, но дела частные разрешаются по одной жалобе и объяснительному рапорту палаты или по вопросу, содержащему не все положения дела, а одни частные обстоятельства, на которые приносится жалоба. — Между тем сии-то разрешения частных жалоб дают иногда направление всему делу, даже и в апелляционном его ходе, неотвратимое уже впоследствии. Вот что составляло, по моему мнению, особенную важность частных дел 2-го департамента гражданской палаты. — Другой министр юстиции обратил бы свое внимание на это воззрение, и оно, конечно бы, послужило к пользе нашего судопроизводства вообще, но при невероятной тупости и неповоротливости ума и характера графа Панина все эти практические выгоды и замечания не произвели никакого последствия и как в воду канули! Трудно было что-нибудь втолковать этому человеку!

Уголовная палата, в противоположность сказанному мною о гражданских, требовала не только исправления, но совершенного восстановления, ибо не имела не только никакого внутреннего устройства, но во всем (особенно в назначении дел к докладу и в рассмотрении их) не только не наблюдала порядка, предписанного законами, но вводила порядок свой, совершенно произвольный. Докладов присутствию совсем не было, а подавалась так называемая ремарка. Секретари обыкновенно читали дела дома и по прочитан-

ному, не докладывая дела, составляли сами резолюцию; эту черновую резолюцию вкладывали в дело, которое потом клали на окно за креслами председателя вместе с другими, прочитанными прежде. Это называлось «подано к докладу». Председатель брал из этих дел которое попадется, рассматривал черновую резолюцию, иногда поправлял ее и сдавал потом в протокол, где помечался на ней произвольно день слушания и составлялся журнал. А в докладной реестр переписывалась эта резолюция уже с подписанного журнала. Я нисколько не удивился этому беспорядку, потому что при вступлении моем в должность советника уголовной палаты я нашел в ней то же и только через долгое время, и то с помощию тогдашнего губернского прокурора, смог восстановить в ней законный порядок; но теперь я видел, что палата только обратилась к прежней привычке.

Совестный суд, по небольшому количеству дел, мог бы быть исправнее, но малое число чиновников и недостаточное жалованье служили некоторым образом оправданием его недостатков. Впрочем, это присутственное место у нас почти лишнее: у нас мало охотников разбираться по совести. Екатерина, учреждая совестные суды, кажется, имела излишне хорошее мнение о нравах своих подданных, а с того времени нравственность и честность русских людей не только не улучшились, а едва ли не сделались еще хуже. Удивляешься даже, как слово «совесть» сохранилось в языке нашем!

О последствиях моей ревизии я донес министру юстиции и представил самый подробный отчет, основанный на фактах. Что же воспоследовало? — О моей ревизии молчали несколько месяцев, как будто забыли; наконец, вспомнили. Уголовной палате и 2-му департаменту гражданской палаты последовали предложения министра об исправлении замеченных мною неисправностей, хотя в уголовной были уже не неисправности, а просто произвол и хаос; а Смирнова, председателя 1-го департамента гражданской палаты, примерной по своему порядку, отставили от службы[40]. — Я приезжал после этого навестить его и нашел в глубоком огорчении. Вследствие этого он сошел с ума и умер. Таково было воздаяние за его деятельную и долговременную службу, и такова была справедливость графа Панина. Но я уверен, что главною причиною такого поступка с Смирновым был Пинской (о котором рассказано у меня еще в главе 10-й), который в это время исправлял должность директора министерства юстиции. Он не любил Смирнова, будучи еще в Москве, и завидовал его превосходству; Пинской завидовал всем и почитал себя всех выше, а Смирнов держал себя довольно гордо и видел в Пинском обыкновенного чиновника: одного этого довольно было, чтобы возбудить в этой черной душе чувство непримиримой мести. Пинской долго был в унижении; ненависть к богатству, к известности, к талантам и к правам, соединенным с родовым преимуществом, развилась в нем в сильной степени, как

это обыкновенно бывает у всех выходцев его рода; но он особенно отличался всегда этою ненавистью[41].

Выше было сказано мною, что мне предписано было еще потребовать мнения о предметах судопроизводства от людей опытных: эти мнения были истребованы. Некоторые из них были очень дельны. Но ни одно из них не обратило на себя внимание министра юстиции и не произвело никаких последствий. А мне через долгое время прислана была благодарность. Тем и кончилась моя ревизия.

Обращаясь теперь мыслию к тем беспорядкам и к тем темным делам, которые допускало в наше время закрытое судопроизводство, как не видеть ныне преимущества открытого судопроизводства? — Как ни думай об этом, но сотни посторонних глаз и ушей надзирают, без всякого сомнения, лучше и беспристрастнее ненавистных жандармов и их шпионов и даже лучше законного начальства, как бы оно ни было подозрительно и вместе прозорливо! — Чего боялся Николай Павлович в уничтожении этой тайны? — Его ужасало самое слово «свобода», в каком бы виде она ни представлялась! Он хотел правды, но под условием, чтоб она открывалась ему в потемках! — Министры, правда, и теперь не оставляют привычки к самовластию, однако и о них начинают уже пописывать в газетах. Уничтожение цензуры оказывает и на судебную, и на административную власть благодетельное действие[42]. Моя служба отечеству происходила в самое несчастное и неблагоприятное время, которое ныне, кажется, миновалось!

К числу неприятностей моей обер-прокурорской службы надобно причислить еще многие секретные предписания министра юстиции. Подозрительность была в характере графа Панина. Он, кажется, никому не верил, кроме себя, но в то же время, при своей тупости, чувствовал, однако, что и самому чего-то недостает для ясного понимания дела: это чувство еще более усиливало его недоверчивость к людям, точно так, как человек, имеющий слабое зрение, боится признаться, что неясно видит, чтобы его не обманули, и не верит видящим ясно, подозревая, что его обманывают. Как тот расспрашивает иногда обиняками, так и он любил доходить до правды окольными и темными путями. Вскоре по моем вступлении в должность обнаружилась его подозрительность в требованиях тайного надзора за чиновниками. Это мне было всего тяжелее, потому что к этому я был менее всего способен. Я требовал, чтоб всякой из них делал свое дело; я наблюдал, чтоб дела имели законное течение и чтоб не происходило в них медленности, — одним словом, я наблюдал порядок и правосудие и полагал, что этим ограничивается моя обязанность. Но контроль над совестию каждого не входил, по моему мнению, в мою обязанность. Само собою предполагается, что чиновники Сената, как и все чиновники, не безгрешные праведники, и где же усмотреть за личными их сношениями? Но граф Панин требовал именно этого.

Итак, вскоре по вступлении моем в 7-й департамент, когда я еще не знал лично ни одного из чиновников моей канцелярии (именно от 8 апреля 1840), получил я от министра секретное предписание, в котором писал он, что по делу Данилы Клёницына должны быть высланы из Харькова две тысячи рублей по требованию секретаря 7-го департамента Емельянова[43]. Мне предписывалось: сделав к открытию истины разыскание под рукою и без всякой огласки, о последствиях довести до сведения министра.

Не любя шпионства и не имея никаких средств узнавать такого рода тайны, но в то же время не желая потакать взяточникам, я решился адресоваться прямо к почт-директору Булгакову, для которого на почте не было ничего тайного. От отвечал мне, что по почтовым правилам все корреспонденции пользуются неприкосновенностию, и потому, без особого на то приказания высшего начальства, нельзя остановить выдачи денег. Но по справке оказалось, что с последнею почтою получено на имя Емельянова пятьсот рублей. Потом почт-директор уведомил меня, что на его же имя получено еще два пакета: один с тысячью пятьюстами рублей, а другой со вложением пятисот рублей, и оба ему выданы.

Обо всем этом я уведомил министра, но получил приказание наблюдать далее. Между тем завязалась переписка о присылке к тому же Емельянову и других сумм, из других местностей и по другим делам. Наконец почт-директор прислал мне целый реестр суммам, полученным им же, Емельяновым, с 1839 года, и эти суммы простирались в сложности почти до семнадцати тысяч рублей. Так как в царствование Николая Павловича преследовались особенно взятки, и были люди, пострадавшие от малейшего подозрения, то чего бы лучше было подвергнуть суду Емельянова, который никак не мог оправдаться в получении этих денег, и чего бы лучше было этой улики? — Но вместо того он был переведен в 5-й департамент Сената (в уголовный, находящийся в Петербурге), а мне велено было объявить ему словесно, что он переведен туда по особому высочайшему повелению. Казалось бы, и этого можно испугаться; однако он в Петербург не поехал, а послал просьбу об отставке и был уволен с хорошим аттестатом. Вероятно, это стоило ему больших денег, но в Петербурге чего нельзя получить за деньги? А в департаменте министра юстиции тоже сидели люди не безгрешные! Таково было правосудие в царствование строгого Государя! — Но этим история Емельянова ещё не кончилась. В отставке он вздумал зажить барином и купил под Переславлем-Залесским, на берегу знаменитого Переславского озера, богатое село Веськово. При нем находился в каком-то сарае знаменитый ботик Петра Первого, около которого в известные дни, летом, устроивалось гулянье. Новый помещик вздумал запрещать жителям Переславля пользоваться этим правом; запрещение гулянья возбудило ропот. Николай Павлович занялся и этим. Он приказал переславльскому дворянству собрать деньги и купить на-

сильственно это имение в пользу дворянства и наблюдать за сбережением ботика. Емельянов поневоле должен был продать это имение, и оно стало принадлежать всему переславскому дворянству[44]. Эта штука была совершенно в роде Павла Петровича!

На место Емельянова мне прислали секретаря из Петербурга, молодого человека именем Небольсина, но не из дворянской фамилии Небольсиных, а сына какого-то камер-лакея. Директор департамента Пинской писал мне об нем самую жаркую рекомендацию, как об отличном чиновнике. Но он при первом же свидании со мною откровенно признался мне, что гражданских законов не знает, но чтобы я не беспокоился и что он узнает их скоро, потому что даже в дороге, едучи в Москву, читал десятый том свода законов. — Я посмотрел на него, как на дурака, но незнание его обнаружилось при первом же докладе. Что же вышло? — Не прошло пяти месяцев, как последовало высочайшее повеление, сообщенное министру графом Бекендорфом, немедленно исключить Небольсина из службы!

При таком порядке просто не за кого было взяться, у всех руки опустились. Случалось, что не успеет чиновник принять дела от другого, как его уже переводят в другой департамент и он должен сдавать их своему преемнику. Многие столоначальники не успевали перечитать всех дел своего стола! — Вот после этого и устроивай канцелярию!

Много и других неудач и помех испытал я, так что, при всем желании моем улучшить и поддержать прочным образом состав моей канцелярии, не было возможности сделать выбора по собственному моему усмотрению. Недоверчивость министра и происки министерского департамента с тех пор, как он попал в руки Пинского, становились поперек во всех моих распоряжениях. Требовалось строгости и порядка, само собою разумеется, от меня, а распоряжались канцелярией в Петербурге.

Пока был директором министерского департамента Данзас, министерство поступало и с большею справедливостию и с соблюдением большей деликатности; одним словом, осторожнее и благороднее. Он удерживал графа Панина в пределах законной власти, хотя нередко, чтобы сладить с его тупоумисм и упрямством, употреблял одну и ту же хитрость: именно, когда нужно ему было на чем-нибудь настоять, он настаивал на противном своему убеждению. Граф Панин, всегда настороже против обмана, тотчас кидался в противную сторону; чем больше настаивал Данзас, тем больше он подозревал его, тем больше упирался и, таким образом, поддавался желанию директора, в полной уверенности, что он восторжествовал и сделал по-своему. Данзас пользовался его манией и достигал своей доброй цели, хотя и обманом. Но Пинской, злой и злонамеренный человек по природе, раздраженный продолжительным периодом ничтожного существования в звании

учителя гимназии и непримиримо-мстительный, как скоро видел чужой успех или чужое превосходство, раздражал министра, подбавляя своей желчи в его тупую подозрительность. При нем-то пошли все распоряжения, колебавшие беспрестанно установившийся порядок, и та ломка, которая лишила Сенат многих полезных чиновников[45]. В Петербурге это было ему все-таки труднее, потому что там обер-прокурорам можно было лично объясниться с министром и обнаружить его козни, а в Москве дело заглазное, и поздно уже переделывать, что сделано, а предупредить и совсем невозможно.

Открылась у меня ваканция обер-секретаря. Я представил на это место старика Андреева. Он был старший секретарь в моем департаменте, человек трудолюбивый и столь опытный в делах, что иногда приходили спрашивать его советов чиновники из других департаментов. А законы знал он столь твердо, что когда не было еще свода законов, у него справлялись об указах, как с книгою. — Но министр не утвердил моего представления и велел директору написать ко мне, что до его сведения дошло, будто Андреев предан пьянству. Это было совершенно несправедливо. В ответ на это я написал директору доложить министру, что это ложь, что если я представляю к занятию столь важной должности людей с такими пороками, то после этого я и сам не заслуживаю доверенности, и потому я не представляю уже никого, а буду ожидать, кого назначат. В ответ на это мне написали, что министр приказал уверить меня, что я пользуюсь полной его доверенностию и потому представил бы я, кого назначу. Что мне было делать? — Я представил старшего из секретарей после Андреева. Он оказался человек добрый, но без юридических соображений. Его утвердили. А Андреева так это поразило, что он действительно спился, и я принужден был уволить его из службы[46].

Скушно писать о всех этих проделках. Я пишу об них для того только, чтоб показать, как трудно мне было в моей должности не от одного множества дел и не от важности их, а более от беспрестанных помех в стремлении моем к добру и порядку и от вмешательства в мои внутренние распоряжения по департаменту. Это было подобно тому, как бы, например, не знающий сельского хозяйства барин мешал управителю устраивать имение да с него же и взыскивал.

Но истинное бедствие для службы были правоведы. Так как через несколько десятков лет позабудется, кто были эти люди, то я считаю нужным об этом распространиться.

Племянник Николая Павловича, сын Екатерины Павловны, принц Ольденбургской, не одаренный большими способностями ума и писавший тихонько от дяди глупые стихи, вздумал показать себя перед ним дельным человеком и устроил школу правоведения.

Цель была прекрасная: образовать государственных людей и по преимуществу юристов. Само собою разумеется, что будущим великим деятелям обещаны при выпуске и чины, и места, и всевозможные преимущества по службе. А граф Панин, как величайший угодник власти, понимающий, откуда ветер дует, оказался самым ревностным покровителем молодых юристов и напихал их во все департаменты Сената, поручая их особенному покровительству обер-прокуроров, выгоняя, для помещения их на ваканции, старых и опытных чиновников и уверяя принца, что в них-то, в этих мальчиках, и спасение Сената[47]. Но молодые люди, выходившие из этой школы, оказывались и на службе ленивыми и гордыми школьниками, которые не умели порядочно составить доклада, но мастерски танцовали и пели водевильные куплеты[48]. Ко мне в течение моего обер-прокурорства прислано их было человек десять; из них только двое было порядочных: Аксаков и какой-то немец, а ни один из них не мог сравняться с нашими чиновниками. С прочими бился я, как с избалованными мальчиками: то экзекутор должен был отыскивать ленивых по домам, то секретари чуть не плакали над исправлением их маранья, а один, Оголин, только и являлся в канцелярию Сената для получения жалованья[49]. Между тем, видя, что с них требуют дела, как с прочих, они роптали, как на притеснения, и распространяли слух, что их преследуют из зависти, что их ненавидят за чистоту их действий. Граф Панин, не доверявший никому, верил, однако, этому, боясь, чтоб их ропот не дошел до принца и чтоб это не было поставлено в знак неблагорасположения самого министра к его заведению. От всего этого составилась какая-то система шпионства этих юношей, с одной стороны, и особенных знаков внимания к ним, с другой, так что эти правоведы сделались язвой Сената. Теперь это отчасти прекратилось, во-первых, потому, что заведение потеряло блеск новости, как и всякая мода, во-вторых, потому, что министр юстиции другой и не такой уже угодник; а наконец и потому, что эти скороспелые юристы, выходя из заведения, нейдут совсем по юридической части, а разбродятся по разным ведомствам, где кому выгоднее. Но в мое время они много мешали делу в Сенате и повредили многим достойным чиновникам.

Возвращаясь по временам в Петербург, они шныряли по департаменту юстиции и болтали о Москве, что приходило в голову, тем более, что им действительно не нравилась московская служба: от них требовали работы, а они привыкли шататься по кофейням и театрам и получать чины. Московские тоже их не любили, потому что они сели им на шею и из-за них получали награды. Неудовольствие было взаимное; мальчишки эти знали, что их не любят; их расспрашивали в Петербурге, и они, не думая этого и сами, были шпионами и вредили доброй славе многих людей достойных.

По поводу этой пресловутой школы правоведения нельзя не сделать замечания, как непрочны все новейшие наши учреждения и как полезны были старые. Это доказывает, что они имели незыблемое основание, утверждающееся на истинной потребности, и цель твердую, а нынешние, подобно моде, являются вдруг, прельщают блеском и исчезают без следа, а если и не без следа, то не служат к той цели, для которой предназначались. Возьмем для примера университетской благородный пансион, основанный в 1779 году и существовавший лет пятьдесят на одном прочном основании. Сколько вывел он людей и способных, и полезных отечеству, и заслуживших славу и себе, и России! Дашков, Жуковской, С.Н. Озеров, один из самых деловых сенаторов, Кайсаров, Тургеневы, Фонвизин С.П.[50] и многие, многие: из него выходили и государственные люди, и военные генералы, и судьи, и поэты, и писатели! Это оттого, думаю, что воспитание было просто, не заносчиво, что воспитывали людей, а не высших сановников, что образование было общее, а не специальное и что мало жертвовали хвастовству и пустому блеску! Оттуда выходили воспитанники людьми, готовыми на все и, главное, не думающими о себе много, а желающими быть лучшими между равными. При Императоре Александре Павловиче учрежден был лицей с целию образовать людей государственных, и для этого давались им в задаток большие права и преимущества. А много ли из них вышло людей государственных? — Ни одного![51] — А вышел один из них поэт, Пушкин, но не с тем высоким и благородным направлением, как чистый сердцем Жуковской. При Николае Павловиче учредилась эта несчастная школа правоведения с целию образовать ученых юристов. А юристы эти — ни один не служит долго по юридической части, а шныряют они по разным министерствам, и ни одного человека не вышло дельного и полезного! А тоже и им даны большие преимущества по службе и набито им в голову, что они передовые люди в России! — Во всем этом видно какое-то недомыслие, насаждение без корня, как все, что ни делается ныне в России!

Так шла моя служба. Между тем многие по министерству юстиции получали разные награды, а я был забыт. Мне уже не раз намекали об этом с некоторым сожалением наши сенаторы: в этом притворном сожалении я видел для себя новую обиду и решился написать об этом к министру. Это был единственный случай в моей жизни, что я решился просить себе награды, но содержанием моего письма к графу Панину была не столько просьба, сколько напоминание. Я его помню, сожалею только, что не сохранил с него копии и не могу здесь привести его слово в слово. «Столько-то раз, — писал я к нему, — представлял я вашему сиятельству отчеты о делах департамента, и вы были ими довольны. Кроме того, я производил ревизию, которою вы тоже были довольны. Со всем тем доселе я не получаю награды, которой удостаиваются все обер-прокуроры, а недавно получил ее один чиновник,

состоящий за обер-прокурорским столом, г. Цеймерн[52]. Не хочу скрывать от вас, что господа сенаторы приписывают это боязни сильного лица, против которого я вынужден был дать предложение Сенату, между тем как я от вас самих получил благодарность за твердость, оказанную в этом случае. К этому я должен прибавить, что пренебрежение, оказываемое обер-прокурору, имеет неблаготворное влияние и на дела: заключая по этому о неблагорасположении ко мне министра, сенаторы меньше обращают внимания и на мои предложения. Из всего этого, я надеюсь, — писал я, — вы усмотрите, что я вынужден просить той награды, которая принадлежит званию обер-прокурора». — Таково было содержание моего письма, и через три недели, именно 3 июля 1843 года, я получил Станислава 1-й степени.

Не скрываю, что звезда и лента через плечо меня очень обрадовали. Я не стыжусь этого, подобно нынешним демократам, которым кисел виноград, потому что его не достанут, или которые добиваются незаконными мерами знаков отличий, а потом не носят их, показывая, что они выше этих мелочей. Я признаюсь, что был рад моей звезде и носил ее, пока был еще между людьми. Теперь, конечно, больной, не выходя из дома, не видя никого и не принадлежа уже к обществу, я вижу всю тщету этих отличий; но пока еще служишь и пока обращаешься с людьми, они необходимы. Притом же я имею утешение думать, что получил эту награду не даром.

В феврале месяце 1844 [года] граф Панин приезжал в Москву по случаю кончины его матери[53]. В это время неожиданно занемог обер-прокурор общего собрания, Сесаревской; случилось же это в четверг, то есть накануне собрания. Я, как старший после него, подал министру об этом рапорт и в тот же день получил предписание заведовать делами общего собрания, в которой должности с тех пор и остался, то есть с 25 февраля того же года, ибо Сесаревской вскоре умер. Таким образом, вместе с 7-м департаментом я стал управлять и общим собранием Сената со всеми зависящими от него ведомствами, то есть казначейством, типографией, архивами сенатским, вотчинным и государственным, хозяйственной частию по строениям и курьерской командой.

Дела общего собрания сами по себе легче департаментских и подвергают менее ответственности, во-первых, потому что они уже обделаны в департаментах, а во-вторых, потому что обер-прокурор не дает от себя предложений Сенату, а представляет свое мнение министру, который присылает уже от себя предложение, за которое обер-прокурор не ответствует. Но, с другой стороны, когда сенаторы не соглашаются с предложением министра, это иногда приписывается неуменью обер-прокурора согласить их. А предложения графа Панина были по большей части таковы, что заключение противоречило предыдущему изложению[54], и потому не было никакой возможности приве-

сти их к соглашению. Это сердило графа Панина, а упорство его и бессмыслица до того раздражали сенаторов, что они почти не слушали его предложений, не считая их стоящими внимания[55]. Вот что было затруднительно в делах общего собрания. Здесь не считаю я излишним сделать общее замечание о предложениях. Члены наших трибуналов имеют право или принять предложение во всех частях, или вовсе его отвергнуть. Этот закон один как для Сената в отношении обер-прокуроров и министра, так и для средних инстанций в отношении губернского прокурора. От этого происходит то важное неудобство, что если иногда бывают в предложениях и дельные замечания, но, так как выбирать не позволено, а только принять или не принять, то, по невозможности изъявить согласие на другие части предложения, оно отвергается все. Если б дозволена была критическая оценка, тогда общее согласие могло бы последовать скорее. Но в предложениях графа Панина всегда бывала какая-нибудь несообразность, какой-нибудь кривой толк, препятствовавший согласиться, если бы даже в целом и было бы можно и если бы даже сенаторы и были расположены к согласию. Его воззрения были вот в каком роде, как бы, например, кто говорил: «это пять, а это шесть», — что и правда, но в сложности у него выходило бы двенадцать, с чем согласиться и нельзя. Что «пять» и «шесть», в этом все согласны, да на «двенадцать» нельзя согласиться. В арифметике такая путаница понятий, конечно, очевидна, но перенесите ее в область логики и обставьте многоглаголивыми фразами, вы увидите, что не скоро и разберешь, чего хочет предложение.

Кроме того, граф Панин раздражил многих сенаторов своими деспотическими, хотя и бессильными поступками, но во всяком случае поступками бессмысленными и оскорбительными, без всякой цели. Так, например, он написал письмо к одному из сенаторов, заслуженному военному генералу, Дмитрию Николаевичу Болховскому[56], советуя ему идти в отставку и предлагая исходатайствовать ему у Государя пенсию. Тот отвечал ему, что хочет продолжать службу, а о пенсии просить его не будет, потому что он имеет право и сам писать к Государю, напоминая ему в то же время, что Государь знал его тогда еще, когда граф Панин ходил в курточке и не носил галстуха на шее. Граф Панин проглотил эту пилюлю и прислал еще письмо, в объяснение первого. Эти письма все читали, перечитывали и смеялись[57], а министр более и более терял уважение, хотя и не терял силы при дворе и у Государя, который был уверен в его необыкновенных способностях и даже сказал об нем однажды: «Il est du bois dont on fait les premiers ministres!»*

Он до такой степени забывался на высоте, не соответствующей его ограниченному уму, что однажды предписал мне объясниться с сенатором кня-

*Он из породы людей, которые становятся премьер-министрами! (*фр.*).

зем Оболенским[58], что он в генваре 1843 года из девятнадцати присутственных дней не присутствовал 12 дней по болезни, и предупредить его, что если это дойдет до сведения Государя, то может иметь неприятные последствия. В этом напоминании всего глупее было то, что сам граф Панин приписывал отсутствие этого сенатора его болезни.

При начале каждого года, не знаю для чего, всегда происходило перемещение сенаторов из одного департамента в другой[59]. Прежде этого не было, но при графе Панине вошло в обычай. К новому году присылали обыкновенно к обер-прокурору общего собрания печатный список сенаторам, из которого узнавалось, кому в котором сидеть департаменте. — Однажды в списке, присланном ко мне, не оказалось совсем сенатора Меркулова[60]. Через несколько времени узнали, что его граф Панин перечислил в неприсутствующие, то есть его отставили, не лишая звания и с сохранением какого-то оклада. Конечно, он был один из самых ничтожных сенаторов, какой-то выслужившийся из гатчинских офицеров, вероятно, в свое время битый палками у Павла Петровича; однако же этот старик имел уже высокое звание сенатора, которое одно должно было в нем уважить.

Такими поступками мало-помалу он довел сенаторов до совершенного разладу с министерством юстиции, до оппозиции, превратившейся в какую-то ненависть, смешанную с презрением. А один из сенаторов, именно Протасов, человек правдивый, стойкой, но трусливый и осторожный, видя самовластные поступки графа Панина и боясь неприятного столкновения с этой дикой силой, оставил службу и вышел в отставку[61]. А он был один из самых дельных сенаторов.

Но кто имел связи, кто имел при дворе покровителей и милостивцев сильнее графа Панина, тех он щадил, хотя они и должны были угождать ему или, по крайней мере, избегать прямого столкновения с ним своею уклончивостию. Таков был сенатор Нечаев, муж гуманный, когда гуманность не была еще в моде, ханжа, воздыхающий о благочестии и шнырявший по передним и девичьим у знатных бар и богомольных барынь. Этот человек подбился к князю Александру Николаевичу Голицыну и попал в обер-прокуроры Синода[62]; он метил в статс-секретари и министры, но не угодил как-то архиереям[63]: чтобы развести его с святыми отцами, его разжаловали в московские сенаторы, и он попал опять на старое пепелище, где начал учиться науке ползанья. Он, бывало, как скоро назначено к слушанию в Сенате какое-нибудь несколько щекотливое дело, непременно скажется больным. И потому я всякую пятницу, день общего собрания, мог заранее угадать, здоров ли он будет или болен. Этот держался и у графа Панина и получал ленту за лентой.

Давно уже вошло в обычай сажать некоторых избранных сенаторов в Опекунской совет. Там они были под крылом Императрицы Марии Федоровны. Хотя по ее кончине преемница ее заведений, Александра Федоровна, не могла, подобно ей, заниматься делом и дела Опекунского совета докладывали уже самому Николаю Павловичу, однако все-таки члены совета считались под особым покровительством и были на виду более прочих сенаторов. Они получали преимущественно и награды. И потому же, которые попадали в совет, не боялись уже графа Панина, а случалось, что и он за ними ухаживал. Все это свидетельствовало об унижении Сената, несмотря на его название правительствующего.

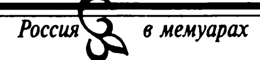
Мудрено ли, что при этом незаслуженном унижении сенаторы боялись правды, боялись восставать против сильных лиц? — Часто доходили до Сената дела вопиющей несправедливости и самовластия, и все сходило с рук некоторым лицам. Так, в Воронеже был военным губернатором барон Ховен, деспот, которого следовало бы сослать в Сибирь, но его любил Николай Павлович за строгость и называл его в похвалу «урод справедливости», как будто в справедливости бывают уроды[64]. Он, заметив однажды, что советники губернского правления приходят поздно в присутствие, посадил их всех на гауптвахту и водил их в губернское правление под караулом. Это дошло законным порядком до общего собрания Сената, но ни Сенат, ни министр ничего не осмелились сделать. А я в общем собрании не имел права давать предложений. Теперь этот Ховен и сам сенатором и, говорят, так же бесится в Сенате, как бесился некогда в своей Воронежской губернии.

Николай Павлович был строг и предпочитал крутые меры всем другим способам правосудия, хотя бы они и ближе вели к цели. Эта самая строгость была причиною, что многое не доходило до его сведения, ибо боялись взыскания, превышающего меру вины. — Для большей угрозы он узаконил, чтобы за третий выговор отдавать под суд, а для придания большей важности он повелел о всяком выговоре губернским правлениям испрашивать высочайшей воли. Сенат, опасаясь его строгости, вместо выговоров стал делать замечания. Он велел, чтоб и замечания вносились на высочайшее усмотрение. Сенат выдумал третью форму: «поставить на вид». — Так обходили сторонкой его высочайшую строгость. От этого произошло, что губернские правления совсем перестали бояться Сената.

Я сказал, что мне подчинена была также и типография Сената[65]. Осмотревши ее, я нашел в жалком состоянии и работы, и положение служащих. Шрифтов порядочных не было, теснота такая, что мешала работникам проходить между станками. А помещение чиновников было таково, что в одной комнате, если она была побольше, жило несколько семейств; некоторые были разгорожены полатями надвое: внизу жила одна семья, а на полатях другая.

Я представлял об этом министру, подавал ему проект, чтобы продать дом типографии, ибо он был на бойком месте и за него взяли бы дорогую цену, а вместо его полагал купить в другой местности, где дома дешевле и потому можно бы было купить на те же деньги здание более обширное. Да и денег жалеть было нечего, потому что московский Сенат имел сумм, приобретенных тою же типографией за сенатские объявления, до восьмисот тысяч рублей в билетах Опекунского совета. Было и больше, но четыреста тысяч было взято в Петербург на отделку министерского дома. Одним словом, мое предложение было выгодно во всех отношениях, тем более, что я предполагал еще, по улучшении шрифтов, дозволить печатать в ней и книги, по примеру прежней сенатской типографии. Но граф Панин ни на что не согласился, и типография оставалась все в том же жалком положении. На отделку министерского дома он не задумался взять столь огромную сумму, а я в мое обер-прокурорство не мог выпросить трех тысяч на мебель общего собрания Сената.

Таков был этот министр юстиции. Я, кажется, довольно описал его[66], но если б я вздумал рассказывать здесь все анекдоты о нем, известные от петербургских чиновников его министерства, трудно было бы им поверить, и потому я о них умолкаю. Мне и без того надоело уже говорить о Сенате, где моя служба не представляет мне никаких приятных воспоминаний, ничего, кроме трудов, затруднений и неудач в моем стремлении к добру и правде. — Перехожу к другому[67].



ГЛАВА 20
Литературные вечера • Гегелисты и славянофилы • Мои пятницы • Знакомые этого времени • Приезд в Москву Жуковского • Мое стихотворство • Вечера князя Голицына • Стихотворство и журналы • Зыково

Сенатская служба оставляла мне мало свободного времени, или, по крайней мере, я не мог располагать им по своему произволу и по необходимости должен был привести свои дни и часы в некоторый определенный порядок. Часов до трех пополудни я обыкновенно, исключая субботы, был в Сенате, в четвертом часу возвращался домой, но тут ожидали меня просители с своими записками. Отобедав после четырех часов, я ложился отдыхать, а в семь часов, раза три в неделю, приезжали ко мне по очереди обер-секретари с делами, и конференция с ними продолжалась иногда за полночь. Таким образом, на посещение знакомых у меня оставалось воскресенье и вечера три в неделю, а знакомство вместе с званием обер-прокурора увеличилось: надобно было поддержать его, сколько для того, чтобы и самому отдохнуть в обществе людей, столько и для того, чтобы не прослыть неприступным и нелюдимом.

В это время, то есть около сороковых годов, завелись в Москве так называемые литературные вечера, в которых, правду сказать, мало было литературного. По понедельникам съезжались к Федору Николаевичу Глинке, по четвергам к Павлову; один день в неделю был обед у Писемского[1]: надобно сказать, что все эти собрания одних и тех же людей, коротко знакомых между собою, и из которых многие занимались литературою, заключали в себе самое избранное московское общество, не по внешним отличиям, но по просвещению. Здесь занимались не сообщением друг другу городских новостей, но разменом мыслей о благородных предметах человечества. Этими предметами называю я опять не разборы действий правительственной власти, которые теперь составляют существенный интерес наших разговоров: тогда действия эти были неприкосновенной тайной для народа, да боясь подслушивания невидимых жандармов, опасались и рассуждать о них. Нет! это были взаимные сообщения идей и даже иногда жаркие споры о преимуществах той или другой стороны образованности, сравнение Запада с нашей Россией или

славянства с народами других национальностей. Иногда на этих вечерах читались проза и стихи некоторых из гостей: правда, это случалось редко, потому-то я и сказал, что в них мало было литературного, однако все-таки литература из них не исключалась и не уступала места нынешнему тошному направлению, когда только и слышишь о неудачах наших скороспелых преобразований. Несмотря, однако, на очерченный здесь мною общий характер этих вечеров, они имели в каждом доме и свое собственное отличие. У Глинки собирались и мужчины и дамы; у Павлова одни мужчины, и большею частию или профессора университета, или славянофилы. И потому у Глинки было более разнообразия и терпимости в мнениях, более приличия и воздержности в речах, хотя и туда забегали иногда кое-кто из другого света, не принадлежащие ни к той эпохе, ни к разряду общих интересов. Но на вечерах у Павлова и тогда уже обнаруживалась та односторонность и нетерпимость мнений, которая мало-помалу разделила мыслящих людей Москвы на два противоположные лагеря; не у самого хозяина, который, как человек необыкновенно умный и большой наблюдатель приличий, был в стороне, а у посетителей его и у хозяйки дома, истинной педантки в юбке[2]. В то время в Москве был еще в моде Гегель[3] и его философия, и часто случались бесконечные прения.

Здесь место сказать о предмете этих прений, которые наконец превратились в какой-то лозунг, при котором борцы мгновенно выходили друг против друга и шли стена на стену. Это сказание, думаю, будет со временем не без интереса, потому что оно сохранит предание о том, что и теперь уже не существует, о том, как шли идеи у тогдашних людей, считавших себя передовыми, как они менялись в своем направлении и разрешились той пустотой, которая наполняется ныне толками о земстве и жалобами на всеобщее пьянство и грабежи — единственный прогресс, происшедший от свободы.

Было время, когда в Московском университете возникла было мысль о философии и даже учреждена была кафедра для профессора Давыдова; но он был столь несчастлив, что первая же его вступительная лекция (и надобно сказать, препустая) не понравилась подозрительному правительству Николая Павловича, и философия была запрещена. Это не помешало, однако, ей проникать, так сказать, во все невидимые поры университетских лекций по другим предметам. Так, профессор Павлов (Михаил Григорьевич), читая физику и земледельческую химию, вводил в основание и той и другой науки начала, почерпаемые из философии Шеллинга и отчасти Оккена. Молодой профессор Надеждин, обладая обширными сведениями в языках и науках, вводил начала философии в эстетику и вообще в литературу. Но все это происходило, так сказать, под сурдиной, не произнося и имени философии. А запрещение всегда усиливает страсть к запрещенному! Все это вместе воспламе-

няло многих из тогдашних людей к Шеллингову идеализму и к Оккеновой системе тождества. Особенно же подействовала на молодые умы «Die Weltseele»[4] первого, ибо Оккен, без основательного познания химии и физики, был не для всех понятен, а Шеллинг, хотя и затрудняла отчасти его особая номенклатура, но живой и восприимчивый ум молодых людей при помощи русской догадки скоро преодолел эту трудность, освоился с его терминами и некоторые из них перевел довольно удачно. — Поприще мышления обольстительно; на нем нельзя остановиться и нейти далее. Так и в этом случае — кончилось переходом к Гегелю, то есть от идеализма возвращением мысли к логической форме, лишенной содержания, от предмета умственного мышления к самому процессу мысли. Доселе живые умы искали, так или не так, живой истины, но с переходом к гегелизму они, не замечая этого, потерялись в великой пустоте[5] без цели и содержания; и тут-то начались прения о дороге, по которой идти и которой никто не усматривал ясно. Само собою разумеется, что при этом самолюбие играло не последнюю роль, и оно-то произвело то разногласие в мнениях, которое отводило еще далее от истины.

Между молодыми людьми того времени были люди, замечательные или по любви к науке, или по пристрастию к своим убеждениям. Назову Ивана Васильевича Киреевского и Константина Аксакова[6], который был, однако, гораздо его моложе и вышел позже на свое поприще. Сначала оба они были последовательно шеллингианцы, оккенисты и гегелисты. Но к этому примешалось другое направление. Киреевской вдался в благочестивый аскетизм православия, а Аксаков в православный формализм позднейшей византийской церкви: у обоих же было общим предпочтение русской старины и русской национальности всему европейскому. Но Киреевской искал старины и национальности в народном духе, а Аксаков в обычаях и наружном складе жизни. Киреевской не изменил ни образа жизни, ни европейского костюма, ибо не в них полагал сущности руссицизма и православия; а Аксаков отрастил бороду и ходил в каком-то маскарадном мниморусском костюме. — Отсюда был один шаг до любви ко всему славянскому и вообще к славянам. У того и другого явились подражатели, но больше у Аксакова. Хомяков (о котором буду говорить после и который был гораздо старее Аксакова) сшил себе тоже какой-то особого покроя кафтан, названный им святославкою, и носил уродливую шапку, названную мурмолка! До такой степени шутовства дошло их направление! — Крайность этого направления вызвала другую крайность: в противоположность их мнениям многие обнаружили себя почитателями Европы и ее просвещенных учреждений. Таким образом возникли в Москве славянофилы и европейцы, восточники и западники, гегелисты и просто просвещенные люди, без всяких претензий на особнячество, посторонние зрители этих актеров. Между этими-то людьми столь различных направлений происходили прения на вечерах у Павлова.

Между ними всех громче ораторствовал Константин Аксаков, широколицый, широкоплечий, с кулаком в арбуз, которым он делал жесты, не всегда безопасные для его соседей[7]. А всех разнообразнее в своих убеждениях был Алексей Степанович Хомяков: он был тоже славянофил и ультраправославный, но это не значит, чтоб он был всегда согласен с людьми того же толка и согласия. Напротив, он не был никогда и ни с кем одного мнения; спор был его стихия, и потому, когда кто-нибудь соглашался с ним, он мгновенно перекидывался на другую сторону и делался его противником, так что однажды, встретившись с ним, я спросил его: «Как вы в своем здоровье и какого вы сегодня убеждения?» — Этот человек стоит, чтоб описать его. Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник[8]; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение[9]. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola[10], рассуждающего de omni re scibili et de quibusdam aliis!* — Таким образом составилась непроницаемая стена бойцов, которые были великими людьми в своем муравейнике, а оттуда распространялась их слава по Москве. Но в сущности они были мыльные пузыри, от которых теперь не осталось и следа. — Всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее был в этом кружке Киреевской. Его уважали за его нравственные убеждения, но его мало слушали: потому что он говорил негромко и без той самонадеянности, которая в глазах толпы придает много веса говорящему.

Написавши это, я опасаюсь, однако, не слишком ли серьозно изобразил я скопище тогдашних московских умников, и потому спешу оговорить-

*обо всем, доступном познанию, а также о многом другом (*лат.*).

ся. Все это было одним праздношатательством ума, не имеющего никакой определенной цели; это была одна гимнастика умственной силы, растрачиваемой попусту, ибо при Николае Павловиче не было другого исхода мысли: практическое направление было невозможно.

Были, однакож, в этом кругу люди и более твердых оснований, достойные внимания и уважения по своим убеждениям. В числе их были: Чаадаев, о котором я писал прежде, Тургенев, Вигель и другие, о которых скажу после. Вечера Глинки были разнообразнее: на них был разговор общий, на них читались иногда и стихи: сколько раз случалось и мне привозить туда и читать перед внимающими слушателями мои стихотворения. Но у Павлова были одни споры и прения людей, завладевших этим обществом, как ареной.

Из всего, описанного здесь мною, можно сделать такой вывод: школа мыслящих людей в Москве этого времени началась было серьозно с изучения философии, но легкомыслие и шарлатанство крикунов завладели ареною и превратили ее из школы любознательных юношей в балаганный цирк наездников. А исключительность славянофилов и нетерпимость мнимого православия стеснила окончательно свободу философствующего ума и уронила в общем мнении тех, которые раздавали друг другу пустую славу мыслителей. Довольно долго, однако, поддерживали они свою фантасмагорию и обольщали многих.

Между тем эти вечера были довольно приятным развлечением. Несмотря на односторонность мнений, не приводивших ни к какому верному результату, несмотря на пристрастные и жаркие споры о предметах, которые требуют, напротив, спокойного размышления, все-таки самые предметы этих прений были немаловажны, и все-таки это не были те пустые разговоры о ежедневных новостях, которые господствуют в наших гостиных. И потому я с удовольствием посещал эти кружки, оставаясь, впрочем, больше слушателем и наблюдателем.

Мне особенно нужно было иногда развлечение и общество людей мыслящих, хотя и увлекающихся своими пристрастиями, нужно же было для того, чтобы не совсем отупеть, занимаясь служебными делами. А принимать у себя я не мог ежедневно, по этому же занятию делами. И потому я решился назначить у себя тоже один вечер в неделю, чтобы все, кто хочет меня видеть, знали наверное, что я свободен и дома и чтобы самому мне быть свободным в другие дни недели. Таким образом начались и у меня вечера, по пятницам, тоже литературные, не потому, чтобы на них что-нибудь читалось, а потому что вначале ездили ко мне только литераторы и любители литературы.

Первые стали ездить ко мне: друг моей юности Александр Дмитриевич Курбатов, о котором я упоминал выше, и двоюродный брат его Петр Александрович, человек основательного ума, благочестивый, кроткий и скром-

ный, живший некогда в большом свете, бывавший за границею, при посольстве, когда еще это было отличием, и сохранивший чистоту души, выражавшуюся в его спокойной и веселой физиономии. Потом, бывали у меня профессор Шевырев и известный поэт Баратынской. Первый из них был не прочь от ученых споров, но у меня не находил для них случая, а второй — добродушный и чистый любитель изящного, испытавший в первой молодости несправедливость и изгнание в Финляндию — был один из самых приятных собеседников. Он был друг Пушкина, но, к его чести, был других свойств, совсем противоположных[11]. Бывал у меня и добродушный Загоскин, который тоже один из первых посещал мои пятницы, но он бывал редко, потому что должность директора театра отнимала его вечернее время. Впрочем, и то надобно сказать, что он был мало способен для общества, он был между нами весельчаком, но не собеседником, и никогда не мог попасть на тон того общества, в котором находился. Он любил говорить много, и говорил громко, но не умел разговаривать. Немного было предметов, ему доступных, хотя он говорил обо всем, у него был свой взгляд на вещи мира сего, но идей было немного.

Должность моя делала меня всем известным в Москве и нужным для многих. Мало-помалу круг моего знакомства по необходимости должен был расшириться. Ко мне стали ездить: граф Александр Панин, брат нашего министра, добродушный чудак с выходками гражданского геройства, которые не делали никому ни вреда, ни пользы[12]; Александр Дмитриевич Чертков[13], московской губернской предводитель и президент общества истории и древностей: он много занимался археологией истории, путешествовал в Сицилию и собрал огромную библиотеку, которая нынче сделана публичною[14]. Чаадаев познакомил со мною Михайла Федоровича Орлова. Начавши свое поприще самым блестящим образом, в гвардии, и дослужась до чина генерал-маиора, он оканчивал свой век в Москве, так сказать, в почетном изгнании. Красавец собой, человек большого ума и обширного просвещения, он был употребляем Императором Александром Павловичем в многих немаловажных случаях, и между прочим для переговоров с Талейраном о сдаче Парижа; но он был замешан в истории четырнадцатого декабря, то есть принадлежал к тайным обществам, и Николай пощадил его только из любви к брату его Алексею Федоровичу, который после сделан был графом. А Михайла Федорович между тем написал на французском языке книгу о финансах и занимался живописью[15]. Он был друг Чаадаева и мог бы быть полезным государственным человеком, но Николаю Павловичу не нужны были умные люди.

Езжали ко мне еще: князь Шаховской, наш комик, которого я описал прежде, и Филипп Филиппович Вигель, которого следует описать подробнее. Он был человек необыкновенного, по крайней мере, не рядового ума

и основательного просвещения, особенно по части новейшей европейской истории и генеалогии; писал прекрасно на двух языках: на русском и французском. Памятником его ума и наблюдательности остались его записки, которые ныне издаются печатно, и несколько сочинений полемических, писанных по-французски. Недавно, после его смерти уже, изданы «Trois mémoires à propos de la question polonaise»[16], которые показывают его подробное знакомство с историей и в то же время тот характер пристрастия к своему мнению, без которого он не мог произнести ни одного суждения. В последнее время — при его жизни — напечатана была без имени автора его книжка «La Russie envahie par les allemands»[17], в которой много правды, но в которой он показал другую сторону своего характера: чувство ненависти, к которому он был особенно способен. Он имел все свойства блестящего и умного человека, служил много и честно и мог бы быть всегда украшением высшего общества, но подозрительность, нетерпимый характер и расположение к мелочной злости делали его не только нелюбезным, но часто даже тяжелым и несносным. Он сердился за безделицу, на всё и на всех; он привязывался к каждому слову, чтобы найти случай к вражде в удовлетворение своей желчи. Это был самый опасный собеседник, но говорил умно и мог говорить увлекательно в минуты спокойного беспристрастия. Очень забавно, но в то же время и очень справедливо описал его князь Вяземской. Вот как он отзывается об Вигеле: «Способный любить и уважать достойных людей, он был злопамятен в безделицах и за безделицы. Он не прощал, если не отплатят ему тотчас же визита его, если нарушат в нем права местничества, то есть посадят его за столом не на место, которое он считал подобающим чину его, если при посещении продолжаешь курить сигарку, которой не переносили его слабые и причудливые нервы. Все это вносилось им в книгу расчетов и обязательств, по которым он, рано или поздно, производил свои взыскания и накладывал пени на провинившихся пред ним. В течение жизни он неоднократно ссорился не только с отдельными лицами, но с целыми семействами, с городами, областями и народами. Не претерпевший никогда особенного несчастия, он был несчастлив сам по себе и сам от себя»[18]. — Таков был действительно Вигель. Но от этого он в последнее время, то есть будучи в отставке, нигде не мог прожить долго и не имел постоянного местопребывания. Приехавши, например, из Петербурга в Москву, он сначала возобновит все прежние знакомства и очень доволен, что избавился от Петербурга, что нашел покойный угол. Не пройдет полугода, как он перессорится со всеми. И все за безделицы, описанные князем Вяземским: где за сигары, где за мнение о немцах, которых он ненавидел, где за невнимательный взгляд хозяйки или за то, что, идучи к столу, не ему подала руку; вследствие этого возненавидит всю Москву и отправится в Пензу. Там кто-нибудь не отдал ему визита или мальчишки на улице посмеялись над его старой

шинелью: он возненавидит Пензу и тащится опять в Петербург. В Петербурге кто-нибудь похвалит Людовика-Наполеона[19] и его coup d'état*: он возненавидит Петербург и является опять в Москву. Немцев он возненавидел вот за что: будучи в Германии, он купил в одном немецком городе сукна и позабыл, по тамошнему обычаю, взять с продавца расписку в получении от него денег; купец завел с ним процесс в полиции и взял деньги вторично. Так, по крайней мере, он сам рассказывал. — Но всего любопытнее было видеть его вместе с Чаадаевым. Чаадаев, человек благородных свойств и высокого духа, был порядочно самолюбив и понимал свое достоинство; но его ценили не за один ум, а также и за его чистый, безукоризненный характер. Вигель чувствовал к нему зависть, видя в нем единственную помеху к своему первенству в московском обществе. Одним словом, признавая в Москве только две патентованные умственные силы, себя и Чаадаева, он никак не мог победить в себе этого чувства соперничества; они двое в Москве делили между собою область ума и никак не могли согласиться в этом разделе! Оба они хотели первенства. Но Чаадаев не показывал явно своего притязания на первенство, а Вигель дулся и томился, боясь беспрестанно второго места в мнении общества: он страдал и не мог скрыть своего страдания. Иногда, правда, и Чаадаев изменял своему аристократическому, величавому хладнокровию: сколько раз случалось, что Вигель приедет ко мне ранее всех, часов в семь, и садится на диван, как на первое место; а Чаадаев приедет всех позже, часов в одиннадцать. Видя Вигеля на почетном месте, он, par dépit**, сядет на последнем стуле, да и страдает целый вечер! Впрочем, они и разговаривали друг с другом, только все как-то с некоторою осторожностию и как будто с принуждением.

Как скоро Вигель закончит, бывало, все свои расчеты с Москвою, то есть перессорится со всеми, он уезжает немедленно. С одним со мною он никогда не ссорился, и этим я обязан, думаю, моей откровенности. Однажды, благодаря его за частые его посещения (а ездил он часто потому, что, кроме меня, перессорился со всеми), я сказал ему: «Ваша беседа чрезвычайно приятна, Филипп Филиппович, и я тем больше боюсь, чтоб нам когда-нибудь не поссориться: мне было бы это очень неприятно!» — «За что же?» — «Да так, потому что вы со всеми ссоритесь. Я хочу просить вас вот о чем: если вам покажется с моей стороны что-нибудь оскорбительное, скажите мне просто, мы объяснимся, и, может быть, вы увидите, что я прав». — С этих пор он только со мной одним и был в ладу; и потому, уезжая опять из Москвы, только со мной одним и простился. Такие странности бывают иногда у людей даже умных и честных. Это доказывает, что в человеке важное преимущество не ум, а характер.

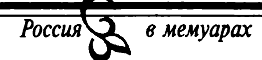
*государственный переворот (*фр.*).
**с досады, назло (*фр.*).

В последний приезд свой в Москву (это было уже без меня: я жил в деревне) Вигель, после долгого размышления, объявил, что хочет быть у Чаадаева. Чаадаев, услышав об этом, сказал, что готов сам сделать ему первый визит. Но ни тот, ни другой не ехали. Наконец Вигель занемог и вскоре умер; Чаадаев действительно сделал визит ему первый, но приезжал уже поклониться его телу. Нынче обоих их нет на свете; смерть примирила соперников. О самолюбие человеческое!

Совершенную противоположность Вигелю представляет Александр Иванович Тургенев, человек самый замечательный из всех умных и просвещенных людей Москвы того времени, а она представляла их немало. Он был сын известного масона и куратора Московского университета Ивана Петровича Тургенева[20], который первый поставил своими советами Карамзина на ту дорогу, на которой он приобрел столь заслуженную славу. Александр Иванович обучался в одном из немецких университетов[21] и приобрел прочное знание как в языках, так и в науках. Но отличительными чертами его были: добродушие, веселость, уживчивость со всеми, несколько легкий характер, но в то же время любовь к труду, к свободе и вообще любовь к человечеству. Он первый восставал у нас против рабства и деспотизма[22]. В молодости фортуна ему улыбалась; он, служа при князе Александре Николаевиче Голицыне директором одного департамента, рано вышел в чины и получил Владимира 2-й степени[23]. Но с воцарением Николая Павловича и с открытием заговора, в который был замешан один из братьев Тургенева, Николай[24], он и сам был в некотором подозрении у правительства[25]. С тех пор он не жил постоянно в России, а беспрестанно переезжал по Европе; жил то в Париже, то в Риме. Чтоб быть свободнее в своих переездах, он даже продал свое наследственное имение и жил деньгами. Со всем тем он не разорвал совсем своей связи в Россиею, ни с правительством Николая: он имел поручение отыскивать в иностранных архивах документы, относящиеся до русской истории, особенно до русской церкви. С этою целию он работал много, особенно в Риме: плодом его трудов было несколько томов, изданных на счет правительства в Петербурге[26]. Гражданин мира, он любил Россию по-своему: любил как отечество, но ненавидел в ней злоупотребления власти, невежество и разврат народа, пустоту нашей наружной образованности и не щадил ее в своих заключениях. Он был в этом совершенно противоположен Загоскину, который видел в ней одно хорошее. — Не имея нигде постоянного жительства, он зато был везде дома: у него было всегда готовое помещение в Москве, был готовый кабинет и в Париже. Он был дружен с Карамзиным, Жуковским, Блудовым и с другими знаменитыми своими современниками. В последнее время, приезжая пожить в Москву, он находил в нас новых своих приятелей; переселяясь на время в Париж, он и там находил людей близких между государственными людьми и писателями Фран-

ции. Доброта души его была неисчерпаема. В Москве всякое воскресенье отправлялся он на Воробьевы горы, в пересыльный замок, и раздавал там после обедни большие суммы медных денег арестантам по поручению двоюродной сестры своей[27]. Довольно ему было узнать о притеснении беспомощного, чтобы без всякой просьбы сделаться его ходатаем у властей или у московского генерал-губернатора. Так, я помню, содержалась в тюрьме какая-то дворовая девка, обвиняемая ее госпожою, и дело продолжалось несколько лет. Он, бывало, как ни приедет из Парижа, тотчас вспоминает о несчастной, тотчас начинает хлопотать и наконец добился-таки ее освобождения[28]. В противоположность характеру Вигеля, Тургенев был совершенно без всяких претензий и не оказывал никакого притязания на первенство между другими, хотя во многих отношениях заслуживал первое место. За то все его любили. Чаадаев тоже дорого ценил его дружбу; покойный мой дядя знал вполне его истинную цену[29]. Он редко пропускал мои пятницы, и надобно сказать, что его разговор был всегда полон смысла, разнообразен, весел и без всякого желания учить других и отличаться, доказывал, что он много видел и узнал в своей жизни. Вигель в своих записках отзывается о нем неблагосклонно[30], но это несправедливо. — Да и к кому же он был благосклонен!

В числе гостей, посещавших мои пятницы, я не должен забыть еще слепца Шатрова. Он был чей-то вольноотпущенный, кажется, дворовый человек Татищева, хотя впоследствии и дослужился до чина коллежского советника[31]. Следовательно, он не получил никакого образования, кроме знания русской грамоты. Но он сделался известен своими стихотворениями в то время, когда стихотворство ценилось у нас еще высоко. Первое стихотворение, доставившее ему большую известность, было под названием «Праху Екатерины Великой», написанное в 1805 году, хотя он начал писать гораздо прежде[32]. — Я знал его, еще будучи студентом, когда он еще не был слеп. Он был человек умный и бойкой, но непросвещенный и большой противник Карамзина, как и все средней руки писатели того времени. В легком и текучем слоге Карамзина видели эти люди легковесность его ума и таланта, а склад его мысли и свободу ее выражения приписывали его пристрастию к иностранным образцам и называли нерусскими. Так трудно самолюбию и невежеству выйти из старой колеи и признавать новые улучшения. Сообразно своим недостаточным сведениям в литературе и отсталым понятиям о поэзии, Шатров чуждался новому движению их в лице Карамзина и Дмитриева и прилепился к школе бездарных писателей того времени, во главе которых стоял в то время Николев[33]. — Николев под конец своего поприща тоже лишился зрения, и Шатров с братиею по одному этому называли его Мильтоном и превозносили его «Сорену» и другие холодные трагедии и надутые оды[34]. Это пристрастие Шатрова к бездарному и скучному стихотворцу было тем удивительнее, что сам он имел неоспоримое дарование, по крайней мере,



к лирической поэзии. Он написал много подражаний псалмам Давида[35], и некоторые из них поистине прекрасны. Это было собственно не преложение псалмов, столь обыкновенное у тогдашних наших писателей: он брал только тему, только идею Давида и составлял оду, по большей части исполненную высоких мыслей и великолепных картин. В последнее время его псалмы читались обыкновенно в Обществе любителей российской словесности и печатались в трудах его. Он почти никогда не пропускал моих пятниц. Я довольно верно изобразил его в стихах моих:

Как бодр он был, когда пред нами,
Провидец с пламенным челом,
Смотря незрячими очами,
Гадал о мире неземном.

Как чуден, вторя песнопенья
С спокойной важностью в очах,
Как бард другого поколенья,
Как Оссиан — в седых власах[36]!

Он принадлежал к масонству и имел в нем довольно высокие степени. Но и в этом учении, как и во всяком другом, общее просвещение не мешает: и потому он не мог вполне развить в себе всю систему этого глубокого учения и повторял только то, чему научился. Со всем тем благоговел перед истиной. Можно только было упрекнуть его в том, что недовольно хранил истины, сообщаемые орденом[37]. Его говорливость происходила от сангвинического темперамента, с которым он не мог совладеть даже и в глубокой старости. — Если б не недостаток просвещения, он был бы по уму человеком замечательным.

К чести его надобно сказать, что, несмотря на свое происхождение, он не обнаруживал той ненависти к дворянству, какую показывают нынешние выходцы, Погодин и другие. Правда, он принадлежал не к тому веку: тогда еще было уважение и к роду, и к чинам, которые приобретались не так скоро и не так легко, как ныне. Зато и этих людей, вышедших из простого звания, ценили тогда как трудолюбцев, доказавших своим возвышением, своим возведением в дворянство неоспоримое достоинство. Мудрено ли, что теперь мы, родовые дворяне, между собою смотрим на них с пренебрежением, когда знаем, что их мнимое, скороспелое благородство получено интригами или за деньги! — Немудрено, что и они, хотя и добивались дворянского звания, не знают цены ему и не умеют поддержать его благородством духа. Во-первых, оно слишком легко им достается, а во-вторых, так ско-

ро, что они не успевают отвыкнуть от своих плебейских понятий и вносят в наш круг свои лакейские привычки и манеры. Тогда не могло этого быть. Зато ни Ломоносова, ни Мерзлякова, ни Шатрова никто не мог укорить их происхождением.

Из сенаторов ездили на мои пятницы только двое: мой незабвенный Александр Павлович Протасов и Нечаев, потому что он был старинный мой знакомый, человек просвещенный и несколько литератор. Об обоих я говорил прежде и потому здесь описывать их не стану. Прочим сенаторам было бы у меня скушно: им нужны были карты, а карт у меня не было.

Но я не должен забыть человека, который в то время был в большой славе: я говорю о Гоголе. Когда он, по временам, жил в Москве, и он бывал у меня[38]. О таланте его говорить я не буду: он всем известен и давно оценен, и по достоинству, и даже выше достоинства. По моему суждению, главное его отличие состоит в живой фантазии и верном изображении малороссийской природы и обычаев. У нас, как у народа, не богатого воображением, это, конечно, большое достоинство, хотя нельзя при этом не пожалеть, что он худо знал русской язык[39] и, впоследствии пустившись в изображение грязного захолустья, перешел границы истины и был родоначальником тех грязных произведений, которые ныне завалили нашу литературу в произведениях Щедрина, Селиванова и им подобных[40]. Это замечание мое относится к «Мертвым душам» Гоголя, несправедливо увеличившим его славу[41]. Вот об этой-то славе я хочу теперь несколько пораспространиться. Я сказал уже, что достоинство его таланта неоспоримо, но все имеет свои степени: так и слава. Только у нас не знают постепенности, ни в прославлении, ни в унижении. Попал он на руки к Аксаковым. А кто попадет, бывало, в милость к их горластому семейству, они поднимутся все кричать и прославлять своим широким горлом и непременно поставят, с помощию своей шайки, великим человеком[42]. Это случилось и с Гоголем; даже наконец Константин Аксаков написал особую брошюру, в которой сравнивал его с Гомером и давал ему перед Гомером преимущество[43]. Эти похвалы подхватил и Погодин, который всегда любил ухаживать за известностями. В «Москвитянине» он был назван однажды великим человеком! — А толпа всегда верит крикам, без справок. Все это свихнуло Гоголя и вскружило ему голову, между тем как и без того он был полон самолюбия. В последнее время своей жизни он раскаялся в этой славе и даже сжег продолжение своих «Мертвых душ»[44], что делает ему большую честь как человеку, победившему свою гордость. Но в то время, о котором я пишу теперь, Гоголь был еще надут своею известностию. Он был неговорлив, но это происходило едва ли тоже не от самолюбия: он не хотел высказываться перед всеми, как перед профанами. В нем было довольно ума, и ума малоросса, то есть хитрого под наружностию натуральной простоты. К сожалению, он был мало образован и совсем не знал обращения: он сам это

чувствовал и тем менее любил показываться там, где его принимали наравне со всеми; ему нужны были овации! — Одним словом, он был талантливый мужичок, но совсем не образованный писатель. — Я помню, что, приехавши ко мне в первый раз и увидя у меня на стене знаменитый эстамп Миллера с Рафаелевой Madona di Santo Sisto, он сказал, взглянув на него: «Эка мерзость!» — Я захохотал и просил его объяснить мне, почему же это мерзость? — Вышло, что он видел в Дрездене подлинную картину и что, по его мнению, эстамп не выражает вполне красоты подлинника[45]! — Лучше, на своем демократическом языке, он не умел выразиться. — Таков был Гоголь, и нельзя никак сказать, чтоб его беседа была занимательна.

Я не буду описывать всех, посещавших мои пятницы; я рассказываю только о тех лицах, которые почему-нибудь замечательнее других, то есть или по своему личному характеру, или по известности, или по странности, выдающейся из общего уровня. Но не могу умолчать еще об одном человеке, который чаще других навещал меня и был везде как бы домашним. Это был Михайла Николаевич Лихонин[46]. Крошечного роста, с огромным носом и всегда с важною наружностию, он был умен, образован и вместе смешон, хотя и не позволял шутить над собою. Он знал несколько языков: латинской, французской, немецкой, английской, италианской и испанской; знал порядочно лучшие литературные произведения на всех этих языках и занимался русскою литературою. Но главное чтение его составляли мистические сочинения о духах и видениях, о явлениях животного магнетизма и вообще о всем таинственном и чудесном. Он был человек весьма религиозный, но чтение в этом роде, без руководства определенной системы, так перепутало его понятия, что для него легче было верить невозможному, чем очевидному, лишь бы только оно пугало воображение темнотою и таинственностию. Не имея собственно сильного воображения, тем не менее он жил более в каком-то фантастическом мире, чем в действительном. И потому, блуждая умом в мире духов, он в окружающем его мире не знал иногда самых обыкновенных вещей, как младенец. Сколько раз случалось, что, напугавши его рассказами о видениях, я, провожая его через темную комнату, нарочно не хотел посветить ему, и он не имел духу пройти через потемки и ворочался назад с трепетом. Я любил иногда рассердить его, противореча его фантастическим умозаключениям о том свете: он рассердится не на шутку, но довольно попотчевать его яблоком, чтобы вся досада прошла, как у ребенка. Несмотря на свою духовность, он особенно любил покушать, и кто кормил его, тому он был всегда предан. Он ел, как акула, что ни попадется: после котлет я, бывало, подчиваю его печеным яблоком, после яблок паюсной икрой, потом вареньем, потом яицами всмятку, потом колбасой; однажды, на даче, он до того наелся молошной каши, что закричал вдруг: «Со мной удар!» — и напугал нас до смерти. Но все кончилось благополучно. При всех

этих странностях разговор его, однако, был умен и чрезвычайно разнообразен, так что он мог занять самым приятным образом. Он был для меня большим ресурсом. Но главное достоинство его было — доброта сердца и истинная, непритворная религиозность. Я всегда и ныне с сожалением вспоминаю об этом добром человеке. При всей бедности он, однако, никогда не унижался до жалобы на фортуну, жил чисто и опрятно и даже имел немаленькую библиотеку из книг довольно важного содержания. Ходил он всегда пешком, и летом, и зимою, несмотря ни на какую погоду, чтобы не тратиться на извощиков. Но никогда ни от кого не хотел принять помощи. — А между тем потребовать, чтоб его отвезли домой и нарочно заложили для него экипаж — это ему было нипочем. Он был очень странен: например, засидевшись однажды у дам хорошего общества и заметив, что поздно и темно на улице, он без церемонии остался у них ночевать. Однажды, возвращаясь домой с дачи Глинки, из Сокольников, и встречая по дороге большие лужи, он нанял за пятиалтынный проходившего мимо его разнощика с лотком переносить его на руках через лужи. — Впрочем, он был человек истинно благородный. Гордиться он, конечно, не мог, но держал себя в отношении к другим с достоинством, что вообще трудно бедняку, которого обстоятельства не допускают держаться наравне с другими. Кто знал его короче, как я, тот, верно, вспомнит об нем со вздохом.

Здесь оканчиваю я описание моих пятниц. О многих не упоминаю[47], но всем должен изъявить здесь мою благодарность: ибо их общество одно вознаграждало меня за скуку и труд моей службы. В заключение скажу только вообще, что мои пятницы не имели особого характера, как, например, четверги Павлова, на которых наши передовые мыслители до того выказывали один перед другим свой ум, что Тургенев назвал их умничанье «четверговою солью». — Мои вечера не отличались ни гегелизмом, ни славянофильством, ни вообще никакими претензиями передовых людей и педантизмом ученых споров: они были просто разменом мыслей людей умных и просвещенных, сходившихся для взаимного разговора и в то же время уважающих общественные приличия. Из наших бесед не исключались и суждения о литературе, но без жару, без предубеждения, без крика[48]. — Никого уже из этих людей нет на свете, и некем заменить их!

В начале 1841 года приезжал в Москву Жуковской[49]. Я знал его с 1813 года, но с тех пор он редко бывал в Москве и едва ли был с 1818 года, занимаясь воспитанием наследника престола, нынешнего Государя Александра Николаевича, потом живя в чужих краях, в Дюссельдорфе. Для меня приезд его был истинным праздником: я привык с малолетства любить его как поэта, а с тех пор, как узнал его лично, любил его как человека, чистого сердцем и ясного духом. Он посетил меня вечером; я имел истинное удовольствие познакомить его с моей женою и показать моим детям, давно при-

выкшим слышать его имя; несколько человек самых близких приятелей были приглашены на этот вечер[50]. Бюст его давно украшал мою залу, и я заметил, что ему приятно было видеть доказательство, что я помню и ценю его. Я так был рад его приезду, что это чувство вылилось у меня в стихах, довольно длинных и удачно написанных. Они были напечатаны тогда же в «Москвитянине» и помещены в собрании моих стихотворений[51], и потому здесь их не повторяю. Но мне хотелось, чтоб и другие показали ему свое соучастие, и я принялся уговаривать наших московских поэтов приветствовать его тоже стихами. Те, которые не слишком дорого ценили звуки своей лиры, ухватились с простодушной радостию за эту мысль, иных насилу мог уговорить, а некоторые, видя в Жуковском только лицо, близкое к двору, и не признавая, видно, его значения как поэта, побоялись уронить себя публичным изъявлением такого почета. Это и немудрено для тех, которые видят столько великих людей между собою: куда ни обернись в их муравейнике: все мыслители, возвысившиеся собственным гением; а Жуковской — просто стихотворец, да еще и придворный: это большое пятно в их глазах, хотя и сами не прочь бы от блестящего уголка фортуны, да не пускают! — Написали по моему желанию стихи: Глинки, муж и жена, Шатров и Зилов[52]; Хомяков отделался тремя незначащими куплетами, а Павловы, муж и жена, и отец и сын Аксаковы решительно отказались. Все эти стихи вместе с моими я переписал в один альбом и поместил в конце стихи моего малолетного сына Федора, который теперь и сам профессором[53]. Этот альбом я привез к Жуковскому в то время, когда у него был знаменитый Ермолов[54]. Он принял этот подарок с таким искренним чувством, какого я даже и не ожидал, и на другой же день он поехал благодарить Авдотью Павловну Глинку. Когда узнали об этом отказавшиеся, они очень о том сожалели, говоря в свое оправдание, что они не ожидали, что это будет так просто, а думали, что я хочу сделать какое-то торжественное поднесение, какую-то овацию. Гордость не допускает до многого хорошего!

Жуковскому было тогда пятьдесят семь лет (ибо он родился в 1783 году), а приезжал он в Москву женихом. Он был помолвлен в Дюссельдорфе на дочери старинного своего приятеля, Рейтерна, немца по происхождению, но полковника русской службы, на девице очень молодой и прекрасного лица[55]. Он показывал мне портрет ее. Проведя не только молодость, но и всю жизнь свою, не предаваясь сильным страстям, в чистоте души и неприкосновенности к пороку, он и при седых волосах, будучи почти шестидесяти лет, сохранял всю свежесть и силу молодости. Плодом этого брака были двое детей, сын и дочь, здоровых, румяных и прекрасных, как ангелы[56]. Я узнал жену Жуковского уже после его кончины; теперь обоих их нет на свете. А безукоризненная жизнь его отразилась и в его сочинениях, в которых не найдешь ни одного стиха, зараженного низкою мыслию или чувством

сладострастия: чистота души отразилась, как в зеркале, во всех его произведениях. По силе таланта и по благородству направления он был последний из той фаланги поэтов, которая примыкала ко времени Державина, Карамзина и Дмитриева, из того благородного поколения писателей, о котором скоро не останется и памяти.

С 1841 года Погодин начал издавать журнал «Москвитянин». — Не писавши давно стихов, мне случилось, однако (это было прежде стихов к Жуковскому), написать стихи к Шатрову, под названием «К слепому поэту»[57], которые и были помещены в первой книжке «Москвитянина». Не знаю почему, я никогда не писал так много стихов, как для журналов Погодина[58]. Как прежде я помещал много в его «Московском вестнике», так и теперь. С этого времени стихи выливались у меня сами собою. — Я не упомянул бы об этом, но для меня это была эпоха, с которой стих мой сделался свободным в выражении и глаже по языку; по мысли крепче; по содержанию получил более определенности и современности, а по форме более объективности, то есть я менее стал говорить о своих собственных чувствах, а в форме более начал соблюдать органической целости и соответственности с идеей. Вообще, если смею так выразиться, с этого времени в произведениях моих было несколько более художественности, чем в прежних.

В это время я как-то особенно полюбил Уланда. Прочтя его стихотворение «An die Madchen»*, которое начинается так:

Ihr besonders dauert mich,
Arme Mädchen inniglich,
Daß ihr just in Zeiten fielet,
Wo man wenig tanzt und spielet** —

я задумался над тою мыслию, что действительно нет уже той чистой любви и беззаботной веселости, которая прежде украшала нашу юность. Эта мысль произвела мое стихотворение «Жаль мне вас, младые девы»[59]. — Но я распространил мысль Уланда и применил ее ко всем возрастам современного человека и к самому веку, хлопотливому, холодному, пренебрегающему всем прежним и идущему вперед во что бы то ни стало. Это одно из лучших моих стихотворений.

С этого времени мои стихи более всего приняли характер негодования; впрочем, и нечем было быть довольным. Не стану распространяться о всех

*«Девушкам» (*нем.*).

**Жаль мне вас, младые девы,
Что родились вы в наш век,
Как молчат любви напевы
И туманен человек!
(Пер. с нем. *М.А. Дмитриева*).

стихах моих, но скажу о некоторых, по отношению к тем случаям, которые подали повод к их сочинению. Дом университетского благородного пансиона, в котором я получил воспитание, был продан. Его купил богатый и глупый камергер Базилевский[60] с тем, чтобы наделать в нем различных помещений для магазинов, рестораций и тому подобных заведений. Не одного меня оскорбила эта профанация святилища: я даю ему это название и потому, что тут было место воспитания юношества, дела святого, и потому наконец, что в этом доме была пансионская церковь, на месте которой стали торговать виноградными винами, водками, табаком и сигарами: тут и ныне магазин Мориана. Мне особенно горько было это, как мне казалось, поругание святыни. И я написал элегию «Проданный дом»[61]. Но напечатать ее было невозможно, ибо это значило, по тогдашним понятиям, порицать правительство. В Харькове издавался тогда какой-то альманах или сборник. Издатель его г. Бецкой[62] попросил у меня стихов. Я дал эту элегию: ее там напечатали, но не вполне: выпустили конец, самое сильное или, по крайней мере, необходимое место элегии, как заключающее в себе цель, для которой она написана. Боялись оскорбить министра просвещения Уварова, потому что это он допустил продажу дома. Выписываю эти пропущенные три куплета, чтобы показать нашим внукам, чего тогда боялись. Вот они:

Мир любит счастья перемены!
Добру он прочному не рад!
И вот — проломанные стены
Дверей и крылец кажут ряд!
Тайник святыни воспитанья
Непосвященному открыт,
И осквернен рукой стяжанья
Дом купли он — народу в стыд!

Здесь роскошь некогда разложит,
Прельщая очи, свой товар;
За деньги зрелище, быть может,
Раздует сладострастный жар;
Иль будет там вертеп веселья,
Куда обжорство заманит,
И где народное похмелье
В разгульных песнях загремит!

Я помню дни, как меч и пламень
Постигли древний град царей;

Пожар один оставил камень:
Враг сжег наследие детей!
И плакал я простосердечно!
Но то был славы нашей год!
Теперь... Но что мы помним вечно?
О век! о нравы! о народ!

Спрашиваю: что тут вредного и безнравственного, что было бы противно цензурному уставу? Но в то время смотрели не на закон: страх власти и угождение сильным лицам были сильнее закона! Могу сказать, что мы пережили время тяжелого гнета мысли. Всякая свобода мысли была убита; зато ныне, в царствование Александра Николаевича, и оказались все следы этого гнета: литература упала, и нет уже прежних дарований. — Только нынче, по уничтожении цензуры, я мог напечатать эти стихи вполне в собрании моих стихотворений. Что тогда было невозможно как дерзость, то прошло ныне незамеченным: l'à propos est perdu*! Такова была в то время участь нашей поэзии и вообще литературы!

Между тем наши вечера не прошли незамеченными. Подозрительное правительство Николая Павловича велело полиции тайно наблюдать за нами. Я узнал это вот по какому случаю. У нас квартальный надзиратель был тихой и благообразный старичок, который любил показывать себя человеком образованным, и с этою целию, когда я встречался с ним на бульваре, бывшем против нашего дома, он заговаривал со мною всегда по-французски: для квартального это было действительно признаком некоторого воспитания. Он был знаком с Александром Павловичем Протасовым. Тот, по обыкновенной своей espièglerie**, любил его выспрашивать о тайнах его должности. Не зная, что Протасов сам бывает у меня на вечерах, он говорит ему однажды: «Должность наша трудная, ваше превосходительство! Вот завелись нынче эти литературные вечера. И у меня в квартале тоже: у нас живет обер-прокурор Дмитриев; у него пятницы. — Живет он в верхнем этаже; зима; двойные окна; а велено наблюдать! Хожу, хожу кругом: что тут увидишь? — А надо подавать рапорты!» — «Ну что же? подаете?» — «Подаю!» — «Что же вы в них пишете?» — «Да я пишу по всей совести, что, по моему замечанию, буйства, бражничества и картежной игры не было!» — Так исполнялась эта цель политического надзора. А кто знает! Иной квартальный, не столь совестливый, мог написать нечто и вредное для безопасности людей, совершенно чуждых политических сборищ!

*злободневность утрачена (*фр.*).
**шаловливая хитрость (*фр.*).

В 1842 году учредились литературные вечера и у генерал-губернатора Москвы, добродушного и благородного князя Дмитрия Владимировича Голицына. Мы этому очень удивились, потому что он был совсем не литератор. Но вот что было этому причиною. Ему было велено наблюдать, и наблюдать за всеми, бывающими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашел такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе и тем, с одной стороны, узнать скорее их образ мыслей, с другой — успокоить правительство тем, что они и у него бывают! И что же? — Эти четверги князя были самыми приятными, и лучше всех наших вечеров. На них говорилось свободнее, чем у нас, потому что сам генерал-губернатор был свидетелем и участником этих разговоров: никого уже не боялись; а вредных политических рассуждений и без того никому не приходило в голову. На этих вечерах по желанию хозяина читались и стихи; кроме того, был всегда прекрасный и тонкой ужин, чего у нас не было! — Но будь другой на его месте, надзор принял бы другое направление!

На одном четверге князя прочитал я мою «Песнь Правде»[63]. Я боялся, признаться, цензуры, потому что тут было нечто прямо против сенаторов: именно, несколько выражений было взято из указа, где говорится, что отечество должно быть им родством, а дружбою правда, и еще одна угроза из сенаторской присяги. Но так как князь был доволен этими стихами, то я, воспользовавшись этим, просил позволения посвятить их его имени и с этим напечатать их в «Москвитянине». Князь принял это с любезною благосклонностию; а цензор, профессор Крылов[64], бывший тут же, сказал: «Так я сейчас же их и пропущу!» — Он взял перо и тут же подписал дозволение печатать. Таким образом было напечатано это стихотворение; и вот как мы должны были лавировать с этой цензурой!

Я сказал уже, что к князю ездили все те же, кто и к нам, с тою, однако, разницею, что у него на этих вечерах не было людей, не принадлежащих к разряду ученых или литераторов: приглашаемы были только некоторые из более приличных профессоры и писатели. Из последних долго не являлся один Гоголь. Как ни старались, как ни хлопотали его почитатели Шевырев и Погодин ввести его к князю, никак не удавалось! — Князь спрашивал: «А что же Гоголь?» — Шевырев давал, с запинкой, оговорку, которая никак не могла бы послужить оправданием человеку порядочного общества: «Да что, ваше сиятельство! Он странный человек: отвык от фрака, а в сертуке приехать не решается!» — Князь говорил: «Нужды нет; пусть приедет хоть в сертуке!» — и смеялся. Но Гоголь не являлся. А истинная причина была та, что он был неуч, но неуч гордый, малороссийский медвежонок, которому было неловко в высшем обществе. Он хотя и был знаком с некоторыми лицами, к нему принадлежащими, но те принимали его как самородного гения и спускали ему

его демократическое, бесцеремонное обращение: его избаловали снисходительностию к его sans-façons*. А у князя нужно было уметь держать себя! — Наконец, однако, два поводильщика, Шевырев и Погодин, привезли его и представили князю своего медвежонка. Он приехал во фраке, но, не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок. — В другой приезд положено было, чтоб Гоголь прочитал что-нибудь из ненапечатанных своих произведений. Он привез и читал свою «Анунсиаду»[65], писанную на сорока страницах тяжелым слогом и нескончаемыми периодами. Можно себе представить скуку слушателей; но вытерпели и похвалили. — Тем и окончились его посещения вечеров просвещенного вельможи.

Я не стану говорить много о стихах моих, но упомяну о некоторых, по каким-нибудь особенным отношениям, подавшим к ним повод. С 1840 года началось в Петербурге издание нового журнала под старым названием «Отечественные записки»[66]. Надобно сказать, что Николай Павлович, боясь литературы, не дозволял новых журналов. Но возобновление старых, уже прекратившихся, не почиталось опасным. Это имело бы смысл, если б принимался опять за журнал прежний его редактор, но правительство в этом случае обнаруживало полное невежество, приписывая всю важность имени журнала, как будто под тем же именем нельзя распространять иные идеи, противоположные прежним. Итак, в это время, кто хотел издавать новый журнал, брал для него только старое название или покупал право у прежнего издателя. Таким образом появились «Отечественные записки», «Современник» и «Сын Отечества»[67], совсем не похожие на прежние журналы, издававшиеся под теми же названиями: все эти новые журналы были совершенно нового духа под эгидою старого имени, и немногие замечали, что новое направление идей вытесняло старое, что в них начинается своего рода революция. Сначала это выражалось только в направлении литературном, но и тогда уже проскакивали между строк идеи ломки старого и социализма, которые впоследствии получили более ясности, а теперь проповедуются гласно. Но об этом я буду говорить после, в своем месте. Прежние «Отечественные записки», издаваемые Павлом Петровичем Свиньиным, заключали в себе единственно статьи о России, исторического, географического и статистического содержания. Это был не столько журнал (ибо они мало содержали в себе современного политического интереса), сколько сборник полезных и любопытных сведений о России, выходивший ежемесячно небольшими книжками. Он останется навсегда полезным памятником отечественных предме-

*развязности (*фр.*).

тов. Новые «Отечественные записки», напротив, заключали в себе литературу, науки и политику и выходили ежемесячно же в виде больших томов. Отдел политический в царствование Николая Павловича не мог представлять большого интереса, ибо рассуждения о политике не допускались: он состоял весь в известиях о современных происшествиях и отчасти в осторожных теоретических выводах; науки представляли уже более обширное поле для передачи некоторых новых идей; но литература, несмотря на строгость цензуры, представляла наиболее способов проводить понятия, колебавшие прежние верования. Критика «Отечественных записок», которою стал заведовать Белинский, отличалась обширностью объема, умом и полнотою, но в то же время показывала только трудолюбие и некоторую начитанность рецензента и совершенное отсутствие основательных и ученых сведений в литературе[68], а более самонадеянность, заносчивость, пренебрежение к старым заслугам и очевидное желание низводить высокое, поднимать низкое, но единомысленное с критиком, унижать нравственное чувство и вообще ломать старое, не создавая новых прочных оснований: это были революционные начала, вносимые в литературу, за невозможностию внести их в область государственного устройства. — Все это вводилось довольно искусно; в отношении к средствам распространения своих воззрений эти критики уподоблялись некоторым образом контрабанде, ввозившей тайно запрещенные товары с мастерством, только ей известным.

Издатель новых «Отечественных записок» Краевский приглашал и меня письмом своим участвовать в его издании, но, к счастию, у меня тогда не было ничего готового. Вскоре обнаружилось то направление, о котором я сейчас говорил, совершенно противоположное моим убеждениям. Белинский начал ниспровергать все авторитеты, все признанные заслуги литературные; он говорил, что Ломоносов не поэт, не лирик, что Державин и Жуковской тоже не поэты, что Карамзин не писал истории России, потому что Россия до Петра Великого была младенцем, а кто же пишет историю младенца? — Поэму Богдановича он называл «неуклюжею Душенькою»[69], превозносил Киршу Данилова, а из новейших ставил выше всех только Пушкина и Лермантова! — Это проповедовалось в каждой книжке, и все без подписи критика. — По этому случаю я написал стихи «К безыменному критику», которые были напечатаны в «Москвитянине» 1842 года. «Отечественные записки» раскричались, что это донос, денонсиация. На это я отвечал другими стихами, «К ним», которые, однакож, по совету Аксакова (С.Т.), не были напечатаны. Они помещены ныне в первый раз в собрании моих стихотворений[70].

Странно, что тот самый критик, Белинский, начавший писать в «Молве» 1834 года[71], издававшейся профессором Надеждиным, отзывался о тех же писателях совсем иначе: там превозносил он Ломоносова и Державина как поэтов, Жуковского тоже, о Карамзине отзывается с подобающим уважени-

ем. Эту позднейшую перемену можно приписать отчасти личным неудачам, испытанным Белинским, отчасти тогдашнему влиянию на него профессора Надеждина, а отчасти и времени, ибо и тогда уже начиналась демократическая зависть ко всему, выходящему из уровня. Белинской был заклятой демократ, а все эти люди составляли аристократию наших талантов.

Впрочем, «Отечественные записки» были в это время самым интересным из наших журналов. Несмотря на своевольство своих литературных мнений, они представляли довольно разнообразный материал для чтения, сохраняя по крайней мере наружную пристойность и серьозное направление в предметах науки, между тем как «Библиотека для чтения» Сеньковского, упражняясь тоже в разрушении прежних понятий, глумилась над наукою и гаерствовала в критике. Если бы был отпор критике «Отечественных записок», и она сделалась бы осмотрительнее и осторожнее. Но отпора не было. «Москвитянин» Погодина был честен, но вял, сух, односторонен в своем славянском направлении, но без определенного характера и не имел совсем критики. Это был более сборник статеек, без всякого направления и даже без строгого выбора, как и все, что ни издавал Погодин. Оттого «Отечественные записки» с критикой Белинского были силой, имевшей влияние на нашу литературу, не благотворное, но решительное. — В это время не было уже сильных талантов, и потому вся литература совмещалась в журналах; и с этого времени надобно считать у нас начало их влияния на нашу литературу. Прежде журналисты были сами писателями, но с этого времени журнальная работа сделалась подрядом. Сами редакторы были уже не литераторы, а платили только деньги своим сотрудникам и авторам. Началась в литературе фабрикация, очень выгодная, но не совсем благоприятная для развития талантов, что продолжается и поныне.

Обращаюсь опять к самому себе. Получивши должность обер-прокурора (признаться, поговоривши о литературе, не хотелось бы и вспоминать о службе), я вместе с этою должностию стал получать больше прежнего и жалованья, именно шесть тысяч ассигнациями и две тысячи столовых, а в 1844 году, поступив и в общее собрание, за управление типографией Сената получил прибавку в четыре тысячи. Так было еще до меня, но я принужден был напомнить министру об этой прибавке и просить его, хотя это и не было особой милостью, а в общем порядке[72]. Не скоро разрешил граф Панин, однако согласился. Таким образом я стал получать двенадцать тысяч. Имение мое, состоявшее сперва из трех сот душ, а потом, по разделу после дяди, из шести сот душ, при заглазном управлении не давало достаточного дохода, и я жил всегда почти в нужде; но теперь, с этим жалованьем, я мог жить уже лучше прежнего. Я никогда не любил роскоши и не желал богатства; но

желал того, что называют французы l'aisance*. — И до этого-то достиг я наконец, по моему мнению. Первое удобство жизни, о котором я всегда мечтал и которым воспользовался, это был наем загородного уголка на лето. Возле Петровского парка, за Тверской заставой находится деревенька из пятнадцати дворов, называемая Зыково[73]. Крестьяне выстроили там домики для нанимающих, а сами живут на задах. Эти домики нанимаются по большей части иностранцами. Мы наняли один такой домик за четыреста рублей ассигнациями на все лето. Местоположение ровное, но прекрасное, картинное. Против окон большая дорога, шоссе, обсаженное липами; за нею пруд с полотняной купальной, дачи и Всесвятская роща, в которой мы, воспитанники университетского пансиона, бывало, проводили все лето и учились ружью; сзади большая Зыковская роща, примыкавшая к самой деревне; за нею чистая, великолепная дуброва с высокими, тенистыми дубами, принадлежавшая к Петровскому-Разумовскому с его обширным и величественным садом, с его террасами и роскошным, огромным домом. Налево от Зыкова парк с его красивыми и вычурными дачами, куда было от нас пять минут ходьбы и где из нашей тишины и уединения в пять минут можно было очутиться и в светском обществе, и в театре, и в толпе народа; направо же от Зыкова, верстах в трех, знаменитое село Всесвятское, где останавливалась Императрица Анна Ивановна перед торжественным въездом своим в Москву и куда отправлены были к ней депутаты[74]. Одним словом, наше бедное помещение соединяло в себе все выгоды и деревенской, и городской жизни. Кроме того, при самом нашем домике был небольшой садик, и мы были все в зелени. Для меня, умеренного в желаниях и любящего природу, это был такой раек, лучше которого я и не желал.

Домик наш был почти крестьянская изба, но с большими окнами, с изразцовыми голландскими печами, новый, чистый и опрятный. Стены внутри комнат, правда, не были ничем обиты, но мы перевезли туда свою мебель, уставили и комнаты, и крыльцо с навесом зеленью и цветами. Таким образом поместились очень прилично.

Сам я, по моей должности, не мог переехать туда на все лето. Хотя переезд туда из нашего дома из Москвы требовал не более трех четвертей часа, но я сказал уже, что по вечерам я занимался с обер-секретарями, следовательно, было бы затруднительно переезжать несколько раз ежедневно. И потому переехала на дачу одна Елизавета Михайловна с дочерью Соней, с племянницей Юлинькой Павловской[75] и с гувернанткой. А я езжал туда по вечерам, когда был свободен, а с пятницы до понедельника там и ночевал. Но во время ваканций Сената проводил там и по целой неделе. Собствен-

*обеспеченность, достаток (*фр.*).

ное мое помещение составлял чердак под самою крышкою, une mansarde, так что потолок я мог достать рукою, и все пространство от двери до противоположного балкона было шагов шесть; но нигде я не был так доволен судьбою, так свободен и беззаботен, как в этой воздушной клетке. Я вставал рано и тотчас отворял дверь на балкон. Это ощущение живого удовольствия деревенской жизни, столь давно не испытанное мною, я описал в стихах, ныне напечатанных. Вот их начало:

Сегодня меня на рассвете
Пастуший рожок разбудил;
Опомнясь со сна, что в деревне,
Я дверь на балкон отворил...
Восток золотится, алеют
Слегка уже облак края,
И свежестью утра пахнуло,
Как силой живой, на меня![76]

Надобно иметь талант Карамзина, чтобы описать все удовольствие тогдашней моей деревенской жизни. Ни прежде, ни после, никогда я не ощущал такого беззаботного спокойствия. В своей деревне заботы сельского хозяйства отравляют наслаждение природой; в городе суета не дает углубляться в самого себя. А здесь я жил, как младенец. Немногое нужно, и все под руками; никакой обязанности и никакой заботы! Но вместе с свободой, зеленью и чистым воздухом эта жизнь не исключала и городских удовольствий. Парк был тогда любимым гуляньем Москвы. В пять минут я мог очутиться в обществе гуляющих. Кроме того, все мои знакомые заходили оттуда ко мне в Зыково. Пользуясь уединением, мы в то же время всегда могли быть не одни. По воскресеньям, зная, что я там, приезжали туда же и сыновья мои, Федор и Александр, которые были еще малолетными и жили в Москве, в пансионе. С ними нередко приезжал наш добродушный Лихонин. С ним то оглашался мой чердак стихами, то ходили мы по рощам и даже во Всесвятское. Так, однажды, я помню, мы были там в день храмового праздника этого села[77] и любовались хороводами. Но эти хороводы были не то, что у нас, в отдаленных губерниях: крестьянские девки были в шелковых сарафанах, с дорогими шарфами на плечах и с тонкими белыми платками в руках. Верстах в пяти от нас было еще село Бутырки, где находилась дача Бакуниных; они прихаживали к нам даже пешком. Одним словом, это было такое время, которое оставило во мне навсегда самые живые и светлые воспоминания. Недаром написал я на стене моего чердака стихи Горация, верно, давно уже стертые временем или новыми жильцами:

Ille terrarum mihi praetel omnes
Angulus ridet...*[78]

Эта спокойная жизнь, всегда на воздухе и в зелени, всегда беззаботная, сама собою располагала к мечтательности; а мечта всего легче выражается в поэзии. Здесь-то написал я первую «московскую элегию», а потом они писались сами собою и почти ежедневно. Таким образом составилось это собрание небольших картинок Москвы, довольно верно изображающих и знаменитый наш город, полный исторических воспоминаний, и нашу столичную жизнь с ее обычаями, и отчасти нравы различных классов ее населения[79]. — Эти элегии написаны гексаметром — сначала потому, что так написалась первая, а более по той причине, что ни в какой другой мере стиха не укладывается так свободно простота рассказа и описаний. Гексаметром я писал довольно легко и скоро, но признаюсь, что он требовал больше поправок, чем стихи всякой другой меры. Причина та, что по свойству нашего языка мы в разговорной речи сокращаем звуки, и потому длинные слоги исчезают иногда в коротких. Нужна большая отчетливость в верности звука: кто сам не испытывал себя в гексаметрах, тот не чувствует трудности этого искусства сохранить верное падение. Но от этого-то сокращения долгих слогов, то есть от превращения высокого слога в короткой, и происходит у нас трудность в хорошем чтении гексаметров.

Плохие гексаметры писать легче всяких стихов другой меры, но хорошие, совершенно правильные, очень трудно. Во всех других стихах верный слух никогда не сбивается с меры, но в гексаметрах слуху должно помогать искусство. Я пишу это для тех, которые почитают гексаметр стихом, не свойственным русскому слуху. — Он весьма ему свойствен, но требует искусного и правильного чтения.

Не придавая большого значения стихам моим, я не могу, однако, не упоминать об них, говоря о моей жизни, ибо с молодых лет и почти до старости я находил в поэзии то чистое наслаждение, с которым могу сравнить разве только другое наслаждение картинами природы. Но природа наша более полугода сокрыта под снегом, плоска, однообразна и редко представляет живописные местности, а поэзия всегда цветуща, пока не затмевают ее облака заботы и неприятностей житейских. Но и тогда, уходя в свой внутренний мир, поэт находит светлые области, недоступные в мире действительном. Вот в чем состоит истинное благодеяние поэзии, не говоря уже о том, что она возвышает и облагораживает душу. И вот почему и малейший талант в поэзии я почитаю неоцененным дарованием Божиим! — В молодости нашей мы мечтаем, и потому произведения нашего стихотворства бывают обыкновенно

*Этот уголок мне давно по сердцу... (*лат.*).

без содержания и неопределенны, в зрелом же возрасте опыт жизни выражается и в поэзии. В этот последний период моего стихотворства реальное направление взяло у меня перевес над мечтательностию, а мысль, составлявшая и прежде главное в стихах моих, получила не столь субъективную форму, то есть не столь частную, а более общую. Негодование составляет почти общий характер стихов моих с этого времени. Правду сказать, в царствование Николая Павловича и нечем было быть довольным. И потому грустная ирония, переходящая в легкую сатиру, имеющую тон элегической, сама собою рождалась под пером моим. Таковы и эти «Московские элегии», и все другие стихи мои, писанные под тем же настроением духа.

Я всегда думал, что если при наших условиях жизни, столь неблагоприятных для поэзии, все еще рождаются у нас поэты, то это доказывает большую способность русских к поэзии и вообще большую силу духа. Я говорю не о себе; у нас были великие поэты: Державин, Жуковской и другие. При этой жизни, стесненной во всех ее действиях, при этом деспотизме власти, при этой малой внимательности к литературе в большей части наших читателей, наконец, при этой неблагодатной природе, какой Шиллер и какой Гете могли бы произвести даже и то, что производят наши средней руки стихотворцы, не только одаренные высоким даром поэзии.

Большая часть стихов моих и лучшие из них писаны во время моего обер-прокурорства. Меня упрекали в этом, думая, что я отнимаю время у дел и занимаюсь пустяками. Но доказательством, что я занимался делами, служит и то уже, что я доселе помню важнейшие и некоторые из них описал даже в моих «Рассказах». Если б я не занимался прилежно делами, могли ли бы они остаться так долго в моей памяти? Другие обер-прокуроры проводили же каждый вечер за картами, однако никто в этом не упрекал их. У меня тоже бывали свободные минуты; я вместо карт и пустых светских разговоров употреблял их на стихи: вот и все! — Вероятно, эти люди думали, как сказал дядя мой о бездарном стихотворце, что и я «над парою стихов просиживаю ночь!»[80] — А стихи у меня писались так легко, что только в промежутках между дел я и мог писать их, а если б у меня все мое время было свободно, я нашел бы средства к занятиям более серьозным. А то был отдых ума и сердца[81].

Между прочими укорил меня однажды стихами наш сенатор Небольсин. По этому случаю написаны мною стихи под названием «Упрек», напечатанные в собрании моих стихотворений. Вот их начало:

Давно ль, в одно свиданье наше,
Меня он в шутку укорил,
Зачем и я в кастальской чаше
Уста невольно омочил:

Зачем я, жрец слепой Фемиды,
Люблю и Музы светлый взор!..
И тоже в шутку, без обиды,
Укором встретил я укор:

«Затем, — сказал я, — что свободный
Бывает час и у меня,
Что я бегу толпы народной,
Что не играю в карты я!»[82]

Замечу при этом случае, что нет, я думаю, народа неблагодарнее нас, русских. Поэт, наслаждаясь мечтами и звуками или созерцая мир, созданный его воображением, никому не мешает наслаждаться по-своему. Напротив, он предлагает всякому разделить свои фантазии, если они заслуживают быть известными, а если нет — никого не принуждает. За что же укорять его? — Но я сделаю еще и другое замечание, относящееся собственно к нашему времени. — Прежние поэты были счастливее нас: высокие чувства уважались, глубокие ценились, и не пропадала ни одна мысль, ни одно чувство без сочувствия и без отзыва. — Нынче, напротив, ничем не расшевелить тупого внимания и грубого чувства наших читателей, кроме разве дерзости, непристойности, площадных шуток или безумных систем о сложении мира без творческого слова! — Прежние читатели при меньшем притязании на ученость были, однако, образованнее. Это оттого, я думаю, что и литераторы принадлежали тогда к лучшему классу общества, и читатели были из него же. А нынче литература опустилась на площадь и ходит по рынкам, а писатели из всяких выходцев, семинаристов и плебеев: таковы и читатели.

Я слишком долго заговорился здесь о литературе. Пора перейти опять к другому. Не всё цветы в жизни, а в моей жизни было больше терний[83].

ГЛАВА 21

Общие замечания о Сенате ● Всесокрушающая логика и предложения графа Панина ● Ревизия канцелярии 7-го департамента ● Оправдательная записка ● Увольнение от службы ● Мысли о службе, о Петербурге и Москве

Возвращаясь в этой главе опять к рассказу о моей службе, я начну с общих замечаний о Сенате.

Учреждение Сената имело целию создание высшего правительственного, а не судебного места[1]. Правда, что и при Петре Великом ему поручались иногда дела судебные; но это было не иначе, как в самых важных случаях и по особенному повелению Государя. — В то время это было извинительно, по недостатку ясного понятия о свойствах власти судебной и административной, и потому еще, что вообще в то старое время государство управлялось еще, как вотчина, по непосредственному усмотрению Государей[2]. Но тем не менее Сенат был по преимуществу высшим правительственным местом, в которое стекались все вопросы государственной жизни.

Дел в нем было немного, во-первых, потому, что предмет его деятельности был ограничен одною правительственною частию; во-вторых, потому, что существовали Коллегии, из которых каждая занималась своею отдельною частию, и не все дела из коллегий поступали в Сенат[3]. По этой причине и число сенаторов было невелико, и все они были лично известны Государю и находились в непосредственном и ежедневном с ним сношении: самый выбор их не мог быть ошибочным.

Сенат был устроен с мудростию, которой даже нельзя было ожидать от тогдашних юридических и административных понятий: один гений Петра мог придумать такую стройную машину. Сенаторы, свободные в своих мнениях и не ответствующие за них ни перед кем, кроме закона и Государя; но наблюдателем канцелярии с ее порядком и контролером, так сказать, правильного решения был генерал-прокурор[4] и доверитель его, обер-прокурор Сената, ответственный перед генерал-прокурором. От этого происходило равновесие двух властей, или двух сил: решающей и безответственной, и наблюдающей и ответственной.

Это сохранилось и впоследствии, когда уничтоженное звание генерал-прокурора заменилось министром юстиции. Но отношение к нему Сената сделалось другое.

Мало-помалу с умножением дел, поступающих в Сенат, оказалось нужным разделить его на несколько департаментов[5]. Число сенаторов должно было возрасти, и, само собою разумеется, в выборе их не могло уже быть прежней строгости. А с уничтожением коллегий Сенат стал завален делами, и один только 1-й департамент остался правительственным, и то только в тесном смысле администрации; а с уничтожением генерал-прокурора, заведовавшего всеми частями государства, сенатские дела отошли к министру юстиции, который таким образом сделался как бы начальником Сената.

Министр юстиции представляет сенаторов к наградам и стал между им и Государем не так, как связь и проводник силы, а как стена, как сила, не допускающая до Государя.

Сенат при Петре Великом имел бóльшую силу; ибо он был не только непосредственным исполнителем его предначертаний, но и сотрудником. Государь, контролируя его действия, не только был внимательным к его рассуждениям, но и слушался его справедливых возражений. После него, кажется, главное старание наших Государей состояло в унижении Сената как силы, противодействующей их деспотизму. При Анне Ивановне учрежден был Кабинет, который стал выше Сената. Потом, по уничтожении Кабинета, ослабело его разделение на департаменты; а при Александре Первом учреждение Государственного совета. Хотя он и не посылает указов Сенату, но тем не менее рассматривает и отменяет его решения; и вся собственно правительственная и законодательная власть отошла к совету: в Сенате, в 1-м его департаменте, остались только определения к должностям и другие предметы распорядительной части. Сама Великая Екатерина сажала наконец в Сенат людей, не отличающихся ни заслугами, ни способностями, дабы не иметь в них противодействия своей власти. С того времени, кажется, это было постоянным правилом наших Государей — сажать в Сенат людей неопасных, и кончилось тем, что Сенат наполнялся такими людьми, которых, за неспособностию, некуда было девать и которых не хотели уволить в отставку. Сенат сделался стоком людей почетных, но ненужных. Замечательно, например, что обер-прокуроры почти никогда не попадают в сенаторы; губернаторы редко; а по большей части праздношатающиеся при министрах и других начальниках отдельных ведомств. Но всех вреднее и всех незначительнее из сенаторов — это военные генералы. Садясь на сенаторские кресла, сначала они бывают очень робки; но, осмотревшись несколько времени и увидя, что другие знают не более их, а кричат громко, и они начинают кричать, и тогда уже нет никакой силы, которая могла бы с ними сладить! Законов они не

знают и уверены, что не нужно знать их, потому что законы основаны на одном природном рассудке; кроме того, они привыкли командовать и требовать, чтобы всё исполняло их приказания, а о Сенате имеют они такое понятие, что Сенат может приказывать, что хочет: поди, сладь с такой логикой! — Военные сенаторы — это истинное бедствие Сената! — Кроме того, по своему чину они садятся выше гражданских чинов того же класса: это, казалось бы, и ничего; но и от этого происходит большое зло. Случается, что в половине года выходит или умирает первоприсутствущий департамента; место его заступает старший по чину, а старшим бывает по большей части военный. Каково же, когда такому сенатору предлежит забота направлять вопросы, мнения и ход диспутов!

Как же идут дела при таких сенаторах? — Трудно поверить этому; однако в Сенате дела идут лучше, чем в средних инстанциях. — Дядя мой справедливо говаривал, что если можно у нас на кого надеяться, то всего больше на Сенат! — От чего же это? — Во-первых, в каждом департаменте найдется хоть один сенатор, разумеющий дело, и если на его стороне большинства голосов и не будет, то, по крайней мере, дело перенесется в общее собрание: ибо в Сенате большинство голосов не решает дела. — Во-вторых, предложение обер-прокурора останавливает неправильное решение. Они не любят предложений обер-прокурора; но боятся их, зная, что это сила, тормозящая их безответственные решения. Именно перевес этих двух сил: решающей безответственно и контролирующей ответственно — вот что составляет крепость Сената. — В средних инстанциях протест губернского прокурора не останавливает решения; палата может подписать определение и без пропуска решительной резолюции в журнал. Все, что может сделать прокурор, заключается в представлении его протеста министру юстиции, который, если уважит его, может предложить его Сенату. А протест обер-прокурора немедленно останавливает сенатское решение. Еще надобно заметить, что в делах гражданских губернский прокурор не вступает в самую сущность решения: на это есть апелляция. А в Сенате обер-прокурор рассматривает самое существо решения. — Кроме того, есть еще причина, по которой надежнее ожидать правосудия от Сената, чем от других инстанций. Во всех других судебных местах канцелярия зависит от членов присутствия: они, заодно с канцелярией, могут так вести дело, чтоб оно заранее клонилось к желаемому ими результату; но в Сенате канцелярия составляет отдельное ведомство, подчиненное одному обер-прокурору. Лица, которые должны будут решать дело, не участвуют в его ходе, в его приготовлении к слушанию; им подают готовое, им неизвестное: они узнают апелляционное дело из записок, рассылаемых только за несколько дней до слушания дела, а частные дела только при самом докладе. — Следовательно (не говоря уже о том, что сенаторы

и по положению своему далеки от канцелярии), по самому устройству Сената стачки быть не может. Это составляет тоже большое ручательство в правосудии Сената.

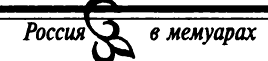
В руках умного министра юстиции Сенат всегда был бы орудием правды. Во-первых, он не должен допускать, чтоб без его согласия сажали в сенаторы всякого без разбора; все сенаторы должны быть по его выбору и под его ответственностию. Во-вторых, министр юстиции не должен становиться поперек дороги, когда Сенат желает довести до сведения Государя доклад дельный и полезный; но нередко министр препятствует поднесению доклада потому только, что доклад проходит чрез его руки и что он боится иногда беспокоить Государя. Во избежание этого и для придачи большей силы Сенату стоило бы только узаконить, чтобы всеподданнейшие доклады Сената представлялись, минуя министра, и с одобрения одного обер-прокурора. В этом случае нечего опасаться никакой излишней смелости: напротив, Сенат, обращаясь, так сказать, лично к лицу Государя, не ограждаемый защитою министра и под ответственностию одного обер-прокурора, был бы, конечно, осмотрителен и осторожен в этих докладах.

Сила министра юстиции должна заключаться именно в Сенате: силен Сенат, непоколебим и министр юстиции: ибо иметь на своей стороне целую коллегию, состоящую из людей дельных и самостоятельных, это значит иметь на своей стороне нравственную силу. Но министры наши этого не поняли, а всех меньше понимал это граф Панин. Он стремился к личной силе, основанной на близости к двору; он полагал, что чем больше унизит Сенат, тем выше будет казаться. От этого произошло, что ни один министр не опасался беззащитного Сената, и по самой этой причине всякой, вступаясь в его дела, тем самым показывал слабость министра юстиции: ибо только в его ведомство смели так вступаться; а все другие министры строго и ревниво охраняли свои ведомства от чужих нашествий.

Зато граф Панин вознаграждал себя тем, что в подведомственном ему круге поступал совершенно по-домашнему: переводил с места на место, кого хотел, и действовал совершенно по произволу.

В один из своих приездов в Москву, бывши в Сенате, в общем собрании, по окончании заседания, он пригласил меня ехать с собою. Сидя в карете, начал он длинное предисловие, которое свел на предложение мне перейти в 6-й департамент. Для этого нужна была благовидная причина. Граф Панин, не удовольствуясь одною, нашел их две. Но так как его логика была особенного рода, то и в этом случае оказалось, что одна причина противоречила другой. Сперва сказал он мне, что недостаточно знать одни гражданские законы, а нужна практика и в уголовных, ибо всякой обер-прокурор на той дороге, чтобы ему быть сенатором, а сенатор должен рассматривать

дела и уголовные, и гражданские. А когда я напомнил ему, что я лет пятнадцать занимался уголовными делами, тогда он нашел другую причину. В это время готовилось новое уголовное уложение. Упомянувши об этом, он сказал мне уже, что ему желательно, чтобы я, как опытный в уголовных делах, поступил в уголовный департамент именно для того, чтобы ввести уложение. Из этого выходило, с одной стороны, что мне надобно учиться, а с другой, что я назначаюсь учить других! — В обоих случаях видно было одно: желание его выжить меня из 7-го департамента. Но так как граф Панин, несмотря на чудное устройство его головы, обладал, однако, достаточною способностию хитрости и лукавства, то нелегко было проникнуть настоящее его намерение. Кто знает! — Может быть, готовясь уже напасть на 7-й департамент, он желал и спасти меня, выведя из него предварительно, как Лота из осужденного Содома[6]. Надобно было или откровенно сказать мне свое намерение, или, когда он считал это преждевременным, перевести меня, не спрашивая моего согласия, как он и поступал иногда по праву начальника! Но мне предложение его показалось неприятным по многим причинам. Тут же, в карете, я отвечал ему, что это зависит от него самого; но что если ему угодно об этом меня спрашивать, то я прежде решительного ответа осмелюсь сам сделать ему вопрос: правду ли говорят, что с новым Уголовным Уложением[7] введена будет смертная казнь?[8] — «Это еще не решено, — отвечал граф Панин, — даже я вам скажу, что сам Государь против смертной казни. Но многие в Государственном совете почитают введение ее полезным; и я не хочу от вас скрывать, что я и сам в числе их же». — «В таком случае, — отвечал я, — я никак не могу согласиться перейти в уголовный департамент». — «Почему же?» — «Потому, — отвечал я, — что хотя я и уверен, что буду поступать по законам, но нравственная ответственность смертного приговора от того не легче, и я не могу принять ее на свою душу!» — Графу Панину это не понравилось. — Он сказал мне, что дает две недели на размышление, и чтоб я написал к нему решительный ответ в Петербург. — Через две недели я написал ему то же. Я не мог перенести мысли, что буду принужден утверждать приговоры к смертной казни; кроме того, я привык уже к делам 7-го департамента. Может быть, примешивалось к этому и своего рода честолюбие; ибо 7-й департамент в мнении публики почитался выше других, и перемещение в 6-й, не будучи собственно понижением, имело бы вид его. — Как бывает человек несогласен с самим собою! — Сначала, когда мне выпал на долю гражданской департамент, я сожалел, что помещен не в уголовный; а теперь, когда исполнялось тогдашнее мое желание, я не изъявил согласия! — Чувствую, что я поступил нерассудительно. Как бы то ни было, но с этого времени начались те неприятности по моей службе, то гонение, которые кончились внезапным увольнением от службы.



Когда судьба начнет преследовать человека, один удар не бывает без другого. Так было и со мною.

Я был совершенно здоров и возвращался с вечера, проведенного у Бакуниных (это было осенью 1846 года), когда вдруг почувствовал приступ болезни, о которой я даже не имел и понятия. Страдания мои были ужасны, тем более, что насилу могли отыскать медика, почти уже к полудню. После болезненной операции я почувствовал облегчение; но на другой день повторилось то же, и с тех пор я уже был почти беспрестанно в болезненном состоянии.

В этом-то положении получил я визит петербургского обер-прокурора Долгополова[9] и бумагу министра, из которой я увидел, что ему поручено произвести ревизию над канцелярией 7-го департамента.

Подписавши ордера моим обер-секретарям об открытии всех дел канцелярии ревизору, я сам не мог, однако, быть в Сенате и передал мою должность графу Толстому. Это обстоятельство, вероятно, тоже мне повредило: во-первых, потому, что могло быть принято за намеренное уклонение обиженного; а во-вторых, потому, что при личной бытности моей во время этой ревизии я мог бы сам объяснить многое, а канцелярия не оставалась бы в состоянии совершенной беззащитности. Но по доходившим до меня сведениям я узнал, что эта ревизия обращается как бы в следствие; что чиновникам делаются запросы, на которые они должны отвечать письменно, и что мою канцелярию обвиняют не только в медленности, но даже в накоплении дел, не сданных в архив и накопившихся при прежнем обер-прокуроре.

Эта ревизия не только ничего не исправила, а, напротив, мешала чиновникам заниматься текущими делами и даже замедляла составление докладов, то есть дела не распутались (в чем не было и надобности), а запутались. Но нужно было мое падение и произведение беспорядка: в чем и успели.

Г. Долгополов так напугал своими притеснительными поступками и строгостию тона, к которому чиновники мои не привыкли, что один из них, боязливый от природы, столоначальник Кольчугин[10], повесился. Это принято было как одно из доказательств, как велико было расстройство в делах, что испугавшийся чиновник решился даже на самоубийство! — А между тем у него в столе все дела найдены [были] в порядке.

Вследствие этого донесения граф Панин составил уже целую комиссию из трех членов. Выбор их как нельзя лучше соответствовал намерению графа Панина: ему [требовались] не знатоки порядка, не правдивые исследователи, а безмолвные исполнители, ничтожные и трусливые рабы его власти. — Я бы никогда не упомянул в своих записках о подобных им людях, если бы, по случайности, не сделались они слепыми орудиями судьбы, меня преследовавшей. Первый из них был упомянутый уже мною состоящий в должно-

сти обер-прокурора граф Иван Петрович Толстой, человек добрый, как все Толстые, и простой, как и все они; но не знающий дела и не имеющий не только силы духа стоять за правду, но и просто никакого характера. — Эти люди только и годятся в слепые орудия других. — Другой был состоящий у меня же за обер-прокурорским столом Иван Федорович Похвиснев. Этот не имел ни малейшего понятия даже о канцелярском порядке и только считался на службе, не ходя к должности, да никакой у него и не было. Он был большой хозяин, завел огромную филатуру[11] и приобрел большое состояние. Он давал вечера и был приятелем со всеми нашими сенаторами: на этом основывалась вся связь его с Сенатом. Тоже добрый человек: смышленый на свои домашние дела и пошлый даже в простом разговоре. — Он был в таком пренебрежении, что когда бывал в Симбирске, его там называли не иначе, как Ванька Похвиснев. — Третий, тоже числившийся за обер-прокурорским столом и никогда не бывавший в Сенате, плюгавый старик А.А. Наумов[12], ежедневный посетитель Английского клуба, ничтожный, подлый, имевший и в наружности что-то скотское. Этот почитал себя обиженным моим обер-прокурорством; ибо он старее меня был в чине и не попал на это место: за что и был на меня сердит! — Какой защиты моей справедливости и какой силы духа можно было ожидать от этой машины, заведенной графом Паниным! — Эти трое господ не знали, с которого конца и приняться за ревизию и что ревизовать; ибо не имели понятия о службе. — Но нельзя же отказаться — и путаница продолжалась и увеличивалась!

Когда я стал выезжать[13], я поспешил явиться в Сенат и вступил опять в должность. Тогда я отнесся к графу Толстому и просил уведомить меня о всех неисправностях, открытых комиссиею; ибо до того времени все это было для меня тайна. Он не мог отказать мне в этом; и только тогда открылся мне результат ревизии.

Имея в руках документы, я счел нужным составить оправдательную записку и послать ее к министру. Очень жаль, что у меня нет ее теперь под рукою, потому что она осталась с другими моими бумагами в деревне. Если добуду ее, то приложу в подлиннике, в виде особого приложения. А теперь упомяну только, что могу привести себе на память. Сама краткость теперешнего перечня доказывает, однако, что ничего не было важного; ибо память моя не настолько мне изменяет, чтобы я мог забыть столь существенные для меня обстоятельства. — Главное обвинение ревизии заключалось во множестве дел, не сданных в архив. Не говорю о том, что это не есть упущение, а разве медленность, и что множество текущих дел заставляет отлагать попечение о сбыте старых; но и это неверно. При самом вступлении моем в должность канцелярия немедленно занялась сдачей, но как при прежнем обер-прокуроре, Морозе, накопилось их много, то само собою разумеется, что

начали сдачу с самых старших, почему и не дошла очередь до последних. Доказательством же этого служит то, что, помнится, более шести тысяч дел поступило при мне в архив. Более сдать не успели.

Между тем злые люди распространяли разные слухи. Говорили, что будто на доклад, что некуда уже класть дела, я отвечал: «Так купить новые шкафы». — Ничего этого не было; но у нас всему поверят! — Да мне и шкафов покупать было не на что!

Другое обвинение состояло в большом количестве дел нерешенных. Я доказал, что ни одного дела, которому вышел апелляционный срок, не оставалось никогда не доложенным; а частные дела докладывались в первое же присутствие, если не требовали составления записки. По сравнению же ведомостей всех департаментов московских и петербургских доказал я, что в 7-м департаменте решалось всех более; а если много остается в итоге, то потому, что число вступающих вновь тоже несравненно более, чем во всех прочих департаментах; что следует считать, много ли решено, а не много ли осталось.

Далее обвинения были еще мелочнее и ничтожнее; например, неисполнение сенатских указов, несмотря на понуждение от экзекуторских дел; даже обвиняли экзекутора, что он, замарав чернилами свою книгу, склеил две белые страницы, чтобы скрыть чернильное пятно!

Вот, помнится, и все! Кто поверит, чтобы все это поставлено было в вину человеку трудолюбивому, честному, бескорыстному и стойкому за правду, и чтобы чрез это прекратилась его долговременная и чистая служебная карьера! — Теперь на это не обратили бы и внимания; но при строгом Николае Павловиче можно было губить людей безответственно.

В записке, составленной мною для министра, я разобрал критически все обвинения ревизии и опроверг во всех частях, основываясь на фактах. Но она-то, говорят, и рассердила министра: он ожидал рабского безмолвия и безответственной покорности ожидающей меня участи; я не требовал милости, оправдание же принял он за дерзость!

Многие, или, лучше сказать, все честные и просвещенные люди Москвы брали мою сторону; все они дивились и упрекали графа Панина. Но что значит у нас общий голос и общее мнение против силы? А между тем и у меня были недоброжелатели и завистники: эти люди радовались, хотя я никому не только не сделал зла, но даже и неприятности, а напротив, был ко всем равно справедлив и доступен. Никто не мог сказать ничего худого ни о мне, ни о моей службе; а отыскивали причины моей невзгоды и заключали обыкновенной у нас догадкой: «Что-нибудь да есть; нельзя же без причины!» — У нас не столько вредны злые люди, сколько пустые; от пустоты происходят все толки! — Но никто из моих знакомых меня не оставил: все отношения мои сохранились те же, а некоторые даже удвоили свое внимание или дружбу.

И доселе я не могу понять истинной причины немилости ко мне графа Панина. Беспорядка в делах канцелярии решительно не было: если и была некоторая медленность, то, в сравнении с числом дел по другим департаментам, и она показывала более трудолюбие и успех, чем застой в делопроизводстве. Незадолго перед этим я получил даже от графа Панина бумагу, в которой он писал ко мне, что видит с удовольствием, что я разделяю его образ мыслей. Следовательно, что-нибудь другое было причиной его досады. Первою был, без сомнения, мой отказ перейти в 6-й департамент. Но я догадываюсь, что была и другая: в один из приездов в Москву министра юстиции, провожая его из 7-го департамента, я не пошел провожать его с лестницы, а откланялся ему на верхней площадке. Он заметил это, воротился несколько ступеней и подал мне руку. Довольно было и этой безделицы, чтобы возбудить мстительность в холодной душе этого гордого человека! Но больше всего подозреваю я шпионство и рассказы молодых школьников правоведения. Их не любили в Сенате, да не за что было и любить; а я особенно был строг к этим неучам и всегда отличал от них в моем внимании коренных чиновников департамента. Они-то, вероятно, дули в уши петербургскому начальству и разносили слухи о 7-м департаменте, о том, чему не было и подобного!

Вот как я узнал об моей отставке. У меня, по обыкновению, была пятница, то есть литературный вечер; я ничего не знал и ничего не замечал особенного, кроме того, что ко мне собралось меньше прежнего и посетители мои были как-то неразговорчивы. В числе их был и Свербеев. На другой день, в субботу, к удивлению моему, он опять приехал, утром. — «Любезный друг! — сказал он мне. — Ты, верно, ничего не знаешь, потому что, я заметил, ты вчера был совершенно спокоен. Я, по дружбе, решился сказать тебе, чтобы не испугать неожиданностию. Ты уволен от службы. Об этом есть в приказах».

Я встал, перекрестился и сделал земной поклон перед образом, промолвив только: «Да будет воля Господня!» — А его поблагодарил за участие, как за доказательство давнишней дружбы. Так кончилась моя служба, и так получил я об этом известие. Это увольнение последовало 22 августа 1847 года. В понедельник я поехал, однако, в Сенат; там, натурально, все знали уже это и встретили меня с прилично-печальными лицами. — Признаюсь, тяжело мне было ездить еще несколько дней до получения официальной бумаги; но, получивши ее, я уложил в карету мундир и уехал.

С тем вместе, само собою разумеется, я лишился и звания камергера. Всей службы моей было тридцать пять лет без семи дней.

Бумага, полученная мною от министра, была уже не в виде ордера, а отношения. Вот она слово в слово.

«Государь Император, по рассмотрении представления моего о беспорядках, обнаруженных в канцелярии 7-го департамента Правительствующего Сената, Высочайше повелеть соизволил уволить вас от службы. Приняв однако во уважение засвидетельствование мое о благонамеренности и усердии ваших действий по тем предметам, кои подлежали непосредственному вашему рассмотрению, Государь Император соизволил изъявить согласие на ходатайство мое, чтобы упущения, отнесенные к недостатку наблюдения с вашей стороны за подчиненными вашими, не были преданы судебному рассмотрению, если вы сами, милостивый государь, не изъявите на то желания. В таком случае Его Императорское Величество разрешил мне передать на рассмотрение и постановление суда представленное мною на Высочайшее усмотрение всеподданнейшее по сему делу представление, вместе с пространною объяснительною запискою.

Уведомляя вас, милостивый государь, о сих распоряжениях, я считаю нужным присовокупить, что о принятии от вас должности обер-прокурора общего собрания московских департаментов Правительствующего Сената, со всеми состоящими в заведывании вашем частями, предписано мною действительному статскому советнику Зубкову, а исправление должности обер-прокурора 7 департамента возложено мною на статского советника Христиановича[14].

С совершенным почтением имею честь быть, и проч. Гр. Панин.

3 марта 1847. № 1306».

Что было отвечать на такую бумагу? — Я думаю, ни с кем еще этого не случалось, чтобы министр свидетельствовал о *благонамеренности* и *усердии действий* и ходатайствовал, чтоб этот человек не был за них предан суду, если он сам не изъявит на то желания! — Я без всякого опасения просил бы суда, но тут удерживали меня два соображения: во-первых, я обвинялся в *недостатке наблюдения за подчиненными*: следовательно, мне предстояло не самому оправдываться, ибо я лично ни в чем не обвинялся, а оправдать целую толпу канцелярских чиновников в их маловажных упущениях, то есть для оправдания себя оставить собственную защиту, а сделаться адвокатом этой толпы: странный предоставлялся мне способ оправдания! Во-вторых: кому поручил бы граф Панин рассматривать мое дело? — Петербургскому Сенату, который дрожал его и был наполнен его креатурами? — Это было не совсем для меня надежно! Конечно, не захотели бы выставить мою правоту в ущерб честности графа Панина! — Московской Сенат конечно не допустили бы рассматривать мое дело, подозревая его в пристрастии к бывшему обер-прокурору. Да сверх этого переселиться для этого на некоторое время в Петербург, и на время неопределенное, при моих болезнях и при малых денежных средствах —

это было для меня решительно не по силам. — Граф Панин знал это и закинул так искусно свою уду, что мне никак невозможно было не попасть на нее, если б я чуть пошевелился! — Я принужден был замолчать и не просить суда, как нескончаемого процесса с министром, как бесконечной процедуры, которая довела бы меня до разорения и конечной погибели! — Могу сказать только, как князь Долгорукой в подобных же обстоятельствах: «Но Бог взглянул — и я не сгиб!»[15]

Здесь кстати вспомнить слова, сказанные мною в жизнеописании моем того же князя Долгорукого: «Недостаточность состояния препятствует не только к исполнению многого, но и к попыткам! — Коротки средства! — Иного неудача только оставляет на том же месте, в том же положении; другого отодвигает назад: риск неодинаков! Богатство, конечно, не дает счастия: «И при золоте слезы текут», говорит пословица; но оно углаживает дорогу, отстраняет мелочные препятствия жизни!»[16]

Случись то же, что со мною, с каким-нибудь вельможей, хоть с тем же графом Паниным, обладая десятками тысяч душ и громким именем, он поклонился бы двору и отправился ликовать в чужих краях или стал бы играть роль вельможи в своих обширных поместьях и принимать дань незаслуженного уважения еще более, чем в Петербурге! — А мне предстояло одно: ехать в свою деревню, чтобы, лишась жалованья и не получая даже пенсии, не прожить в Москве и последнего! — Скрепя сердце, я начал сбираться в дорогу.

Здесь, упомянув в последний раз в моих записках о графе Панине, я прощаюсь с ним навеки! — Во всю долговременную жизнь мою я встретил только одного такого человека, который делал зло бесстрастно, хладнокровно, методически, из одного наслаждения, из одной угодливости своей черствой души, не способной ни к энтузиазму добра, ни к высокой мысли, ни к обширному замыслу, а вращавшейся всегда в холоде и мраке! — Это была совершенная противоположность пылкому, гениальному и глубокомысленному Дашкову! — Его холодность и неподвижность выражалась во всем: и в длинной, деревянной его фигуре, и в наклоненной голове, и в неподвижном его взгляде, и в речах, всегда однообразных и размеренных, как периоды книги, но не оживляемых ни мыслию, ни чувством. Он ходил, как автомат, а говорил, как заведенная машина! — Не дай Бог никому встречаться на дороге жизни с таким опасным животным!

Горько мне было! — Но и в этом положении я не оставлял поэзии, или, лучше сказать, поэзия не оставляла утешать меня. Приближалось семисотлетие нашей первопрестольной Москвы; ибо в первый раз упоминается о ней в летописях под числом 28 марта 1147 года. Всем, занимающимся историей, и всем просвещенным людям, которым дорога Москва как памятник народной славы, хотелось достойным образом отпраздновать ее семисотлетнюю

старость. Все лучшие люди встрепенулись этою мыслию. Но Николай Павлович чрезвычайно боялся всех публичных изъявлений народного духа; ибо всякое свободное движение этого духа казалось ему революцией. Он прекратил разом все приготовления к предполагаемому торжеству и прислал высочайшее повеление, чтобы все оно ограничилось одною Божественною службою в соборе и приличным этому словом. Успело появиться только несколько статей в газетах; один из московских стихотворцев, Н.В. Сушков, успел, однако, написать огромную драматическую поэму, в которую вставил все семь сот лет, прожитые Москвою[17]; другой поэт, Ф.Н. Глинка, написал пролог, представленный на вечере у князя Щербатова; а я напечатал в «Москвитянине» стихи в несколько куплетов, в которых изобразил в краткой картине все участие Москвы в соединении русских княжеств к одному центру и все содействие ее к величию России[18]. Но Петербург у меня сидел на шее: не один я, мы все, московские, не терпели этого города, из которого выходит все зло на Россию; недаром называет Сперанской Петербург военным лагерем, к которому приписана Россия! — И потому, в противоположность тем стихам, я написал другие, под названием «Подводный город»[19]. Я представил в них, что Петербург потоплен уже морем, за грехи свои, и бедный рыбак, спуская лодку, рассказывает мальчику его историю; но позабыл и имя города, потому что оно было неродное! — Эти стихи, само собою разумеется, не могли тогда быть напечатаны, но они вскоре распространились по Москве и Петербургу. Ныне помещены они в собрании моих стихотворений. Я потому только упоминаю об этом, что я и в это время не упадал духом, как ни прискорбно было мое положение.

Вскоре приехал в Москву мой преемник, статский советник Христианович, выгнанный когда-то из Москвы за взятки и подсунутый министру директором Пинским, который, не будучи сам взяточником, покровительствовал, однако, всем искусникам, находя в них самые удобные и покорные орудия для разных своих проделок по министерству. — Не знаю почему, вздумалось Христиановичу явиться ко мне в мундире, в белых брюках и в орденах, то есть во всей парадной форме. Он сказал мне, что почел долгом своим быть у меня и просил не оставить его моими наставлениями. Я благодарил его за честь, мне оказанную, принял его учтиво, но отвечал ему, что после неблагонадежности, доказанной моей отставкой, я не думаю и не почитаю себя вправе давать ему советы, полезные для службы. Он оставался на этом месте, помнится, два-три месяца; и вообще, после меня, в течение первых же двух лет, переменилось несколько обер-прокуроров в 7-м департаменте! — И немудрено! — По множеству дел этого департамента он был труднее всех прочих, а во-вторых, многие опытные чиновники были или отставлены, или переведены в другие места и заменены людьми новыми и неопытными: канцелярия была

так раскассирована и расстроена, что не за кого было приняться, и новые чиновники ходили ощупью! — Таковы были последствия ревизии!

Начавши эту главу общими замечаниями о Сенате, я кончу ее общими же рассуждениями о нашей службе. Самое слово «служить», то есть «быть слугою», не заключает в себе ничего привлекательного. Но под этим словом мы разумеем всегда «служить отечеству», и потому это превращается уже в долг, несомненный и священный. Так в семействе мы все друг другу служим, каждый по мере своей силы, власти и возможности, по мере требования самого семейства, и никто не имеет права отказываться от той тягости, которая падает на его долю. Но более этого никто не смеет от нас и требовать, и если бы в каком семействе всякой член его обязывался хлопотать и ввязываться насильно в дела, это произвело бы только хаос в общем хозяйстве. Так и в службе отечеству. Это все-таки тягость, которая должна падать не на многих, но зато эти немногие должны быть и отличены общим уважением от прочей толпы, для которой они трудятся. Другими словами, служба нужна для государства, для того, чтоб оно шло к своей цели, а все другие незанятые члены его могли заниматься каждый своими делами и тем самым способствовать процветанию того же государства. У нас сделалось это напротив, так, что не столько люди нужны для службы, сколько служба нужна для людей. Это зло произошло от одной черты пера Петра Великого, от несчастной «Табели о рангах». Он разделил всю Россию, имеющую некоторые права, на четырнадцать привилегированных классов, а все остальное за тем народонаселение, всю остальную огромную массу, без всяких прав, оставил за границами этого последнего, четырнадцатого, класса. Само собою разумеется, что кому же не желательно вырваться из состояния, не огражденного никакими правами, и вторгаться насильственно в привилегированные классы! — Вот что разрушило у нас мало-помалу равновесие между различными частями народа. Прежде купец был доволен своими барышами, ремесленник своим заработком, дворянин заботами о сельском хозяйстве, чин придворный пользовался почетом и близостию к царю, крестьянин пахал и сеял и думал только о безбедном прокормлении своей семьи. Всякой был на своем месте, и никто не думал искать счастия свыше своего состояния. Но лестница чинов представляла с тем вместе и постепенность выгод, заключающихся отчасти в большей власти, отчасти в денежной прибыли, в жалованье и в насильственных поборах. Таким образом, мало-помалу все бросились служить, потому что все неслужащие сделались какими-то отверженными париями; а кому же не хочется выйти из состояния зависимости и, напротив, если можно, подчинить себе равных? Для дворянства служба сделалась обязательною и необходимою, ибо она давала чины, а без чинов терялись и права дворянства. Чины же облегчили переход и других состояний

в дворянство — и таким образом все двинулось приобретать чины и, если можно, выходить в дворянство. Для всех прочих классов это было возвышение — с одной стороны, важное, ибо освобождало их от состояния людей бесправных, с другой стороны — возвышение фиктивное, мнимое, ибо не давало им ни образованности, ни истинного благородства. Но для дворянства это было настоящим его падением; ибо, запачканное прикосновением к нему плебейства, оно потеряло те боярские признаки и привычки, которые возвышали его в мнении народа. Теперь нет дворянства, то есть нет рода, нет людей родословных: сын дьячка и вольноотпущенного лакея, достигающие высокого чина, считаются у нас даже потомственными дворянами!

«Служить бы рад; прислуживаться тошно!» — сказал Грибоедов[20]. Вот это-то прислуживанье и тяжело в службе; а без него нет и службы! — Вот это-то прислуживанье необходимо должно было войти в состав нашей службы, как скоро не для нее стали нужны люди, а служба для людей. Само собою разумеется, что где толпа, там и давка. Где тут выбирать, с кем идти об руку, кого пустить вперед, кому и подождать: всякой толкается, и кто кого перегонит, тот и впереди; кого свалят с ног, того поднять некому.

Это была бы обязанность наших вельмож поддерживать людей, принадлежащих к хорошему роду и получивших благородное воспитание. Но кто у нас вельможи? — Они из тех же выходцев. Справедливо сказал Пушкин:

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней![21]

Кроме того, даже и те, которые действительно знатного рода, любят окружать себя поклонниками, а этих людей находят они в тех же плебеях! — Вот что роняет нашу службу! — После этого легко понять, как трудно служить благонамеренному человеку и почему служебные места наполняются в России людьми, наименее достойными уважения. Причина та, что не люди нужны для службы, а служба для людей, и что места сделались помойной ямой, куда стекает всякая дрянь, всякие осадки, все люди, не находящие себе честного хлеба.

Здесь кстати показать различие между Москвой и Петербургом. В Москве более людей оседлых, пользующихся семейною жизнию; в Петербурге все население как будто наплывшее. И потому в Москве меньше людей, хлопочущих о деле, но меньше и пустых людей, живущих на чужой счет. По этой же причине в Москве еще дорожат прочными семейными или дружескими связями; в Москве есть уважение к личному достоинству. В Петербурге — связи другого рода: там утверждаются они на личных выгодах службы и эгоизма; там, в усталости и искательстве, некогда предаваться ни семейному,

ни дружескому, ни просто домашнему чувству. Оттого семейная московская жизнь в Петербурге уступает место публичной, уличной, по театрам, по клубам, по кондиторским. Оттого все лица, не находящие ни дела, ни пристанища в Москве, наплывают в Петербург и делаются там если не деловыми людьми, то, по крайней мере, людьми хлопотливыми, занятыми; и они-то делаются часто распорядителями нашей участи: они-то ломают Россию и производят тот вред, который распростирается на провинции. Недаром я сказал в одних стихах:

Москва надолго сохранила
Свой твердый быт, свой строгий суд;
Но трудно ей: там власть и сила;
А здесь терпение и труд![22]

Чего ожидать после этого от службы, находящейся в руках этих пролетариев? Они готовы всем жертвовать для своей личной пользы! — Вот что губит Россию!

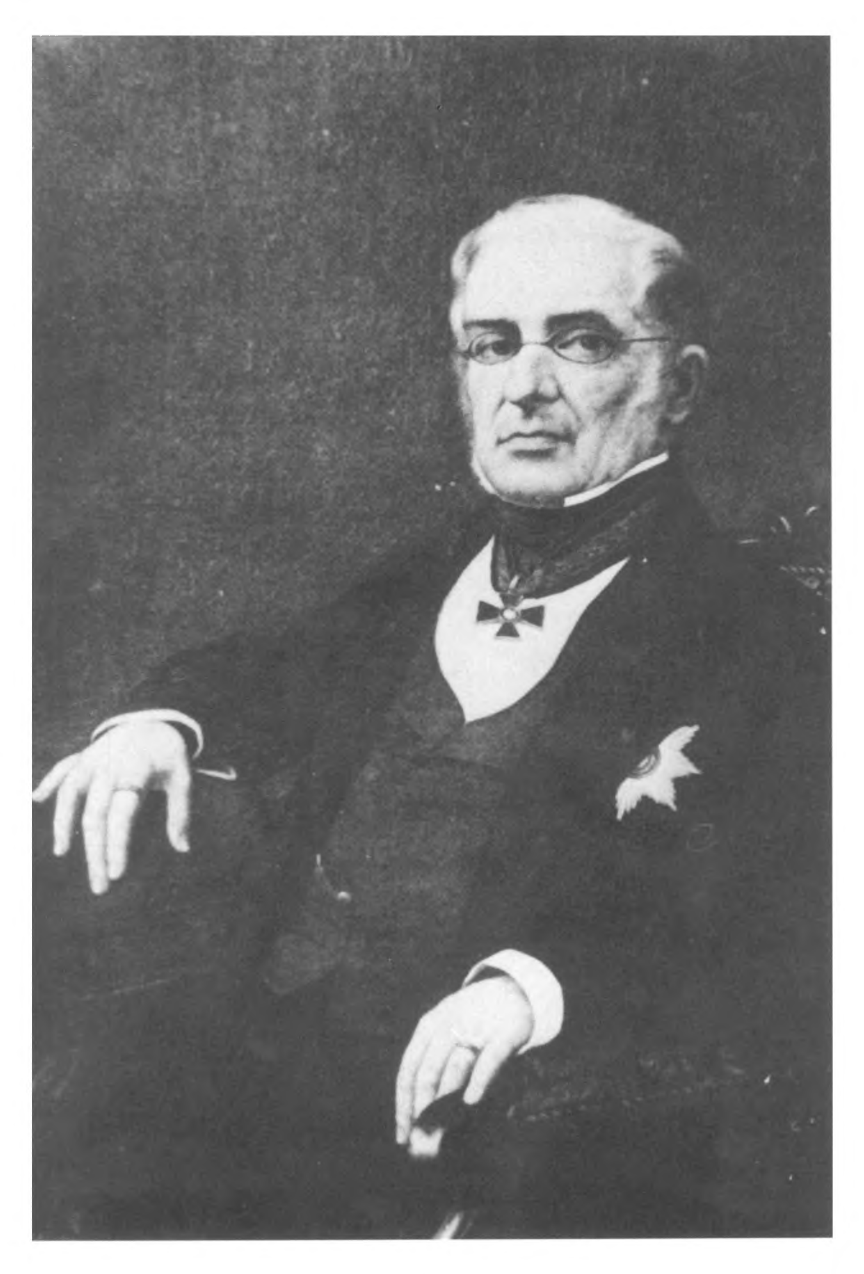
Всегда ли так было? — Нет! — При Екатерине (я знаю это потому, что дяди мои все служили в Петербурге) Петербург был такой же русской город, как и Москва. Все обычаи и привычки жизни были те же, как и в прочей России; различные сословия отличались костюмом; гвардия была немногочисленна и состояла из офицеров дворянского происхождения и лучших фамилий, следовательно, и в ней сохранялся дух благородного направления; служебных мест было не так много, и потому не было этой армии голодных чиновников, живущих на счет народа. Царствование Павла было кратковременно: хотя он и ломал все по-своему и истреблял учреждения Екатерины, коснувшись даже русских костюмов и русских обычаев, вводя и треугольные шляпы, и шоры, и немецкие ботфорты и косы, даже в наряде кучеров; но самая кратковременность его царствования не дала упрочиться этим переменам. С царствованием Александра Павловича все изменилось. Учреждение министерств и многих не бывших до него управлений распространило бюрократизм по всей России; понадобилось множество людей для замещения новых мест: вот и поползли к Петербургу все, алчущие и жаждущие пожить на счет своих сограждан. А Сперанской, вышедший сам не из дворянского звания и получивший силу, начал особенно покровительствовать этому, так называемому ныне, «среднему классу», который, по многочисленности своей и, надобно сказать, по усидчивому трудолюбию, мало-помалу водворился во всех ведомствах и взял решительный перевес перед прочими населениями Петербурга. Прежде воспитание наше ограничивалось немногими правилами, а просвещение много-много что одним иностранным языком; тут, вме-

сте с незрелою наукою, начали входить к нам и незрелые, полупонятые европейские идеи. Все перемешалось, и русской элемент уступил нововведениям. После пребывания гвардии во Франции окончательно увидели всю несостоятельность прежнего, а чтоб присвоить вполне европейское просвещение и порядок Европы, на это недоставало ни сил, ни разумения. Осталось в душах только чувство недовольства, а в уме смутное понятие о потребности перемены. Министерства и бюрократия работали много, работали беспрерывно и бессознательно — и из всего из этого вышло только увеличение бюрократов, тех опекунов, которые, основавши гнездо в Петербурге, поглотили Россию!

Плоды этого мы видим и теперь, когда, при свободе нашего книгопечатания, в газетах наших только разве ленивый не учит Россию управлять ее делами, и всякой хочет вести ее по-своему!

То же самое обнаруживается и в литературе. Пока Москва сохраняла в ней первенство, аристократической элемент сообщал благородство ее идеям и красивость ее формам. Имена Карамзина, Дмитриева, Жуковского, Мерзлякова напоминают одни благородные помыслы, одно изящество и благонамеренность побуждений. К ним примыкали и другие, тоже стремившиеся облагородить литературу как силу нравственную, как действительную силу, имеющую влияние на свойства народного характера. Эти люди не льстили народу, не нисходили в своих произведениях до изображения грубых его навыков и не подражали ни нравам его, ни грубому его языку, а, напротив, старались поднять народ до высоты своей и облагородить выражения его простой речи. Нашу литературу того времени упрекают в недостатке национальности и оригинальности и забывают при этом, что национальность не есть грубая простонародность, а оригинальность не должна впадать в карикатуру. С того времени развилась у нас не национальность, не народность, а чернота или грубость демократического элемента, распространившаяся вместе с этим множеством чиновников, наплывших в Петербург из всех концов России и из всех классов низкого происхождения. Многие из них пустились в ремесло журналистов и писателей, и литература отразила в себе и низость их происхождения, и недостатки их воспитания, и нечистоту их замыслов. Вот что уронило нашу литературу.

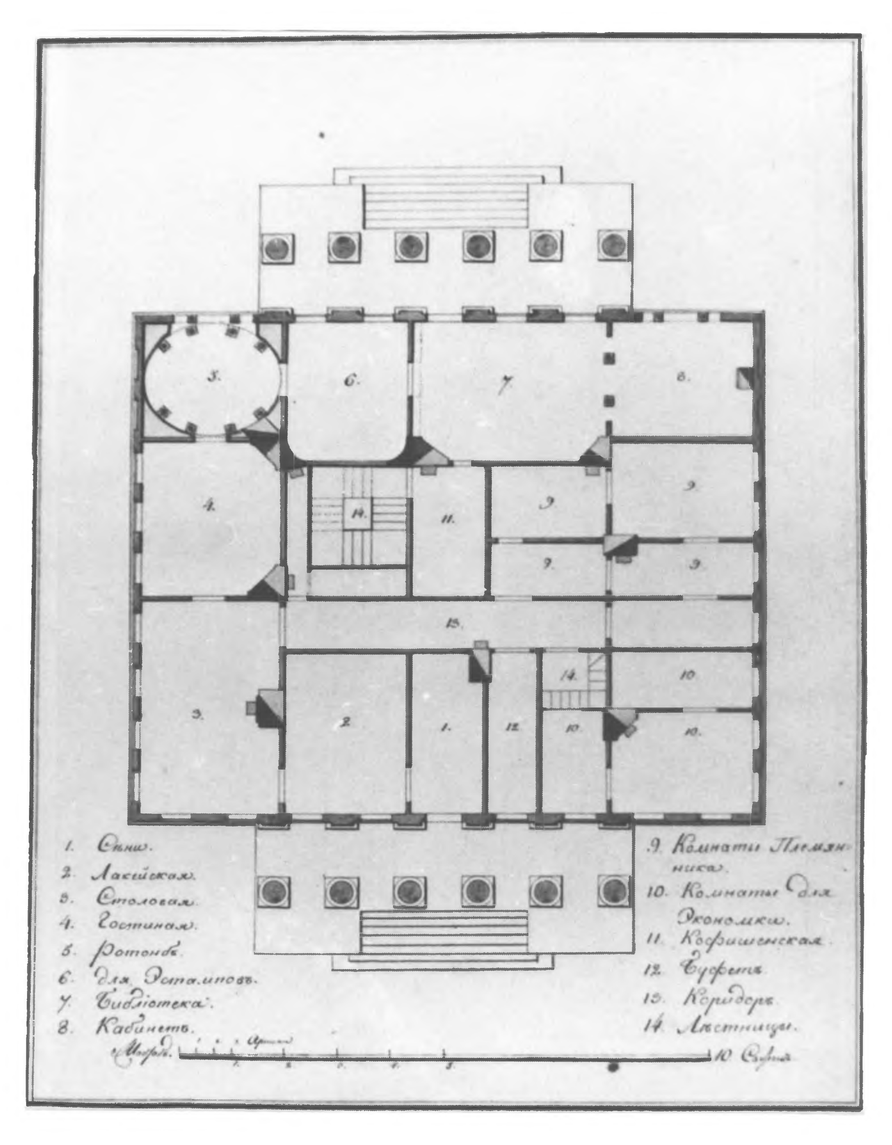
То же направление обнаружилось и вообще, в духе не скажу общества, а большей части людей, составляющих массу. Демократические идеи, сначала робкие и едва смевшие появляться под прикрытием любви к народу, к отечеству, мало-помалу получили преобладающее влияние. По какому-то ложному беспристрастию они, принадлежавши сперва низкому классу петербургских чиновников, людей, не имеющих ни кола, ни двора и живущих на чужой счет, нашли себе опору в тех либералах, которые набирали себе партию



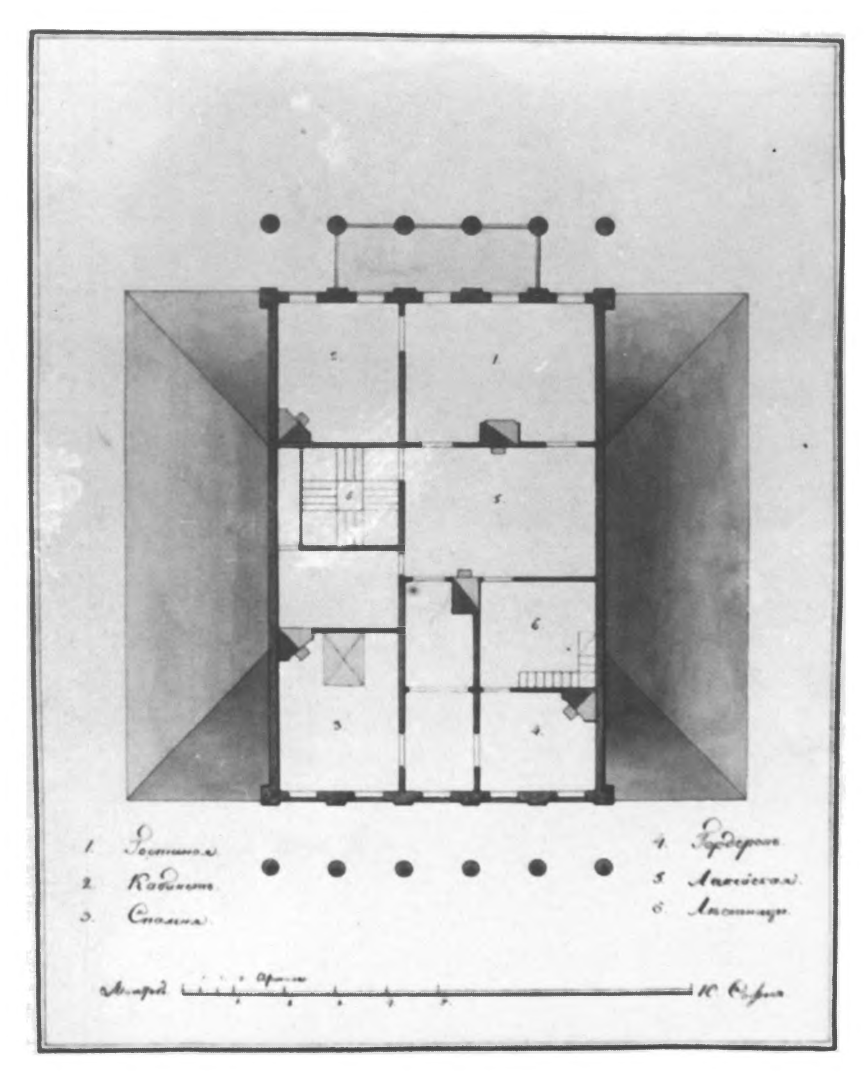
М.А. Дмитриев. Вторая половина 1840-х гг.

И.И. Дмитриев

А.А. Прокопович-Антонский



План дома И.И. Дмитриева в Москве на Спиридоновке.
Первый этаж. (НБ МГУ)



План дома И.И. Дмитриева на Спиридоновке.
Второй этаж. (НБ МГУ)

И.М. Долгорукий

51	Михаилъ Дмитріевъ. —	Геймъ, Черепановъ, Цвѣтаевъ, Каченовскій.
52	Михайло Плохачевъ.	Сандуновъ, Смирновъ, Брянцевъ, Шлецеръ, Цвѣтаевъ, Снегиревъ.
53	Ioannes Rajewsky	Zwjetaew. Sandunoff. Іljaxcr. Геймъ ~~[illegible]~~ Katschenowsky; Тимк...
54	Евграфій Glasounof	Геймъ Мерзляковъ, Каченовскій, Двигубскій, Мягковъ, Побѣдоносцевъ; Арно.
55	And. Nic. Socoloff.	Dom. Heym, Tscherepanoff. Kachenowsky, Merzlianoff.
56	Studi. Grigorius Siwtch	Heym, Dwigubsky, Timkowsky, Mersljakow, Tscherepanow, Gawrilow, Ulrichs, Arnold, Pobjedonostzew.
57	Studiosus Alexius Socolow	Dom: Briantzew, Tscherepanof, Timkowski, Smirnow, Dwigubskiy.
58	Studiosus Daniel Stroew.	Dom. Tscherepanow, heym, Timkowsky, Merzliakow, Katchenowsky.
59	Studiosis Alexi Trubnicow	Schloezer, Sniedaeff ~~[illegible]~~ Smirnoff, Merzliakoff, Геймъ, Каченовскій.

Страница из списка студентов Московского университета с записью о М.А. Дмитриеве. (НБ МГУ)

В.Н. Панин

Торжество Музъ

Прологъ

На открытіе Императорскаго Московскаго Театра.

Москва.

въ Типографіи Августа Семена.

1824.

Титульный лист книги «Торжество Муз» М.А. Дмитриева

КРИТИКА.

Второй разговоръ между Классикомъ и Издателемъ Бахчисарайскаго Фонтана.

Ты хочешь исправлять; но будь исправенъ самъ!
Уваженъ будешь ты, когда другихъ уважишь!

К. Вяземскій.

Класс. Г-нъ Издатель! вы напечатали разговоръ, который будто бы имѣли со мною, по случаю изданія новаго стихотворенія Пушкина. Достовѣрность сего разговора очень подозрительна. Я, признаюсь, невступился бы въ это дѣло; но пріятели, которыхъ мнѣніемъ я уважаю, не даютъ мнѣ покоя и требуютъ, чтобы я обличалъ васъ въ подлогѣ. - - -

Издат. Что же не нравится вашимъ пріятелямъ, и чему они не вѣрятъ?

Класс. Отвѣчать на сей вопросъ не должно бы изъ скромности; но дѣлать нечего! — Они говорятъ, что

Страница журнала «Вестник Европы» (1824. №5) со статьей М.А. Дмитриева

Беседа о Блаженстве Человеческом (?). 53

Филомист.

Не помешал ли я тебе в каком нибудь важном занятии, почтенный Феософ? не прервал ли я твоих размышлений? Я вижу тебя в задумчивости, впрочем обыкновенной всем людям мыслящим.

Феософ.

Нет, любезный Друг! я ничем не занят; но ты застал меня в размышлении над простой запиской, которую сей час получил я от одного моего приятеля. Он просит у меня книг духовного содержания; но прибавляет в конце: <u>единое</u> <u>есть</u> <u>на потребу</u>! сии-то слова заставили меня задуматься, и так задуматься, как будто сие изречение Св. Писания, столь известное, столь часто слышанное мною, я в первый раз услышал.

Филомист.

Подлинно есть над чем задуматься, любезный Феософ! ибо, если сам Божественный Учитель человека напоминает ему нечто такими словами, что это одно только и нужно, то это <u>нечто</u> должно быть не только великой важности, но даже должно думать, что в нем для человека заключается <u>все</u>! Ты более меня упражнялся в науке познания вещей Божественных; я только любитель тайн сих: и потому не можешь ли ты при сем случае объяснить мне сего важного изречения Св. Писания?

Феософ.

Объяснить — не я, друг, любезный Друг мой; но один тот, кто изрек сие, может <u>отверзть</u> <u>ум</u> <u>к разумению</u> <u>писания</u>. (Лук. 24. 45) Потому-то он и учил, <u>как</u> <u>власть</u>

Начало неопубликованной статьи М.А. Дмитриева (писарская копия) из рукописного сборника его произведений. (НБ МГУ)

Милостивому Государю,
Михайлу Александровичу
Дмитріеву,
въ знакъ истиннаго и совершеннаго уваженія,
Ив. Давыдовъ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
ЛЕКЦІЯ
О
ВОЗМОЖНОСТИ ФИЛОСОФІИ,
КАКЪ НАУКИ,
при открытіи Философскихъ чтеній
въ
МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ,
читанная
ИВАНОМЪ ДАВЫДОВЫМЪ,
Докт. и Орд. Професс. Философіи,
1826 Маія 12.

МОСКВА.
Въ Типографіи С. Селивановскаго.
1826.

Михаилу Александровичу
Дмитріеву

СТИХОТВОРЕНІЙ.

А. С. ХОМЯКОВА.

Отъ Сочинителя.

МОСКВА.
ВЪ ТИПОГРАФІИ А. СЕМЕНА,
при Императ. Медико-Хирургической Академіи.
1844.

Книги из библиотеки Ф.М. Дмитриева с дарственными надписями авторов М.А. Дмитриеву. (НБ МГУ)

Любезному своему Другу
Михаилу Александровичу
Дмитриеву
сочинитель

НЕДОВОЛЬНЫЕ.

КОМЕДІЯ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

СОЧИНЕНІЕ

М. Н. ЗАГОСКИНА.

МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВА.
1836.

Милостивому Государю
Михаилу Александровичу
Дмитріеву
въ знакъ искренняго уваженія
отъ автора

ПЕРЕѢЗДЫ

ПО

ФИНЛЯНДІИ

ОТЪ ЛАДОЖСКАГО ОЗЕРА

ДО РѢКИ ТОРНЕО.

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ

ЯКОВА ГРОТА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ПРОДАЕТСЯ ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ И. КРАШЕНИННИКОВА И КОМП.
1847.

СТИХОТВОРЕНІЯ

МИХАЙЛА ДМИТРІЕВА.

Часть первая.

Die Muse.........
......tritt vor dich, ihr Urtheil zu empfangen;
Sie achtet es, doch fürchtet sie es nicht.
SCHILLER.

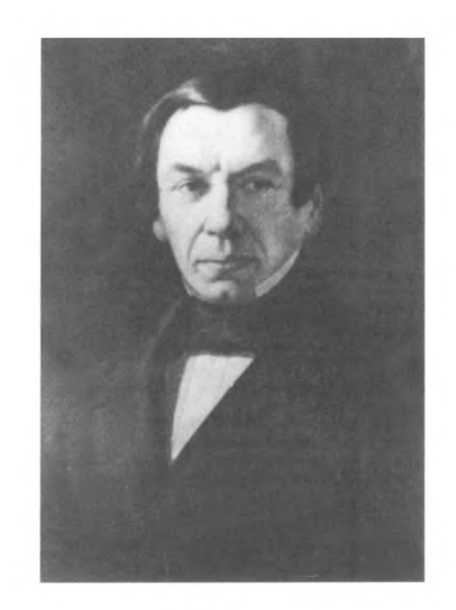
МОСКВА.

ВЪ ТИПОГРАФІИ АВГУСТА СЕМЕНА,
при Императорской Медико-Хирургической Академіи.

1830.

Титульный лист книги
М.А. Дмитриева «Стихотворения» (М., 1830)

Пл.П. Бекетов



М.П. Погодин

Ф.Ф. Вигель

Д.В. Голицын

М.А. Дмитриев в 1860-е гг.

единственно из славы громких проповедников свободы, под которой скрывалась более ненависть к правительству, чем любовь к родине и соотечественникам. Эти люди состояли из двух разрядов: одни совершенно бескорыстные орудия, как Константин Аксаков; другие — себе на уме: ненависть к дворянству была их побудительною целию, и все стремление их было, кажется, к уничтожению существующего порядка, в надежде, что в общем хаосе и они выйдут в люди. В числе этих из первых должно упомянуть о Погодине, который, вышедши из дворовых людей Салтыкова, сын его управителя, чувствовал давно скрываемую зависть и ненависть к привилегированному сословию. Я почитал его всегда революционером, и тем опаснейшим, что он умел подделаться к людям сильным, к Уварову, Блудову, и заражал их своими идеями любви к старинной России, под которыми скрывалась ненависть к благороднейшим побуждениям истинного либерализма. Одним словом, эти люди хотели не законной свободы, а воли низкого сословия, под условием падения высших. К ним примыкали некоторые люди, одни и благонамеренные, но недальновидные; другие из обычая, ибо вошло в обычай быть либералом.

Но не либерализм был собственно целию этих людей. Ко благу народа в них поистине не было большой симпатии; вся цель их была возвышение простонародья как коренной силы, как среды, заключающей в себе все добродетели, и унижать, топтать в грязь высшие сословия. Справедливо сказал Alfred de Vigny[23]: «L'orgueil père de toutes les aristocraties, et l'envie mère de toutes les democraties possibles!»*

Таким образом, и чиновные пролетарии, и литераторы, и некоторые ученые, вышедшие из низкого звания, все соединилось к тому, чтобы уронить дворянство, поднять демократическое начало и ввести в самый дух людей властных те идеи, которые сделались преобладающими в одной партии, а потом повели к переменам духа правительства и учреждений его, которые мы увидим после.

Замечательно, что правительство наше, вообще столь ревнивое к власти и силе, нечувствительно поддается всегда постороннему настроению и что не всегда ведут его смелые Сперанские, дающие новый фасад всему зданию, а нередко подтачивают его те невидные насекомые, которые в некоторых морях истребляют корабли незаметным образом и делают их прежде времени ветхими к употреблению. Россия полна этих преобразователей, мешающих кораблю ее достигнуть спокойной пристани, которую сулила ему крепость первоначальной его постройки. Со времени Екатерины едва ли была в ком сила одного всеобъемлющего ума, правящая Россиею, а по большей части все это были более или менее удачные попытки, которые продолжаются и

*«Гордость порождает все возможные формы аристократического правления, а зависть — все демократии!» (*фр.*).

поныне. Как не вспомнить одной надписи: «Dei providentia et hominum confusione Ruthenia ducitur!»*

Вот куда завели меня размышления о службе. Пора возвратиться опять к самому себе. Делать в Москве было мне нечего, да и жить нечем. Я собрался в деревню, в которой не жил с самых молодых лет, побывавши в ней только недели на две в 1838 году, следовательно, за десять лет до настоящего времени. Я взял с собою жену, младшую дочь Софью и племянницу жены моей Юлию Павловскую. Сын мой Федор оставался еще в Московском университете, а Александр был в военной службе, юнкером. Старшую дочь Катерину оставил в Москве у ее тетки[24]. В следующей главе примусь описывать деревенское житье мое[25].

* Божественный промысел и человеческая беспомощность — вот что называется Россией (*лат.*).

ГЛАВА 22
Приезд в деревню • Хозяйство • Кража хлеба • Соседи • Нравы крестьян • Мой сад • Опыты • Перестройки в доме

Большую часть этого лета 1847 года я провел еще в Москве, в приготовлении к отъезду в деревню: так не хотелось и так трудно было расстаться с Москвою. Наконец к осени, которая тогда была очень теплая, помнится, в конце сентября или в начале октября, пустились мы в наш дальный путь. Дорога мне всегда была приятным развлечением; в дороге всегда чувствовал я необыкновенную свободу и беззаботность; я думаю, потому, что в это время круг действия ограничивается одною определенною целию, что освобождаешься от условий света и попечений жизни и, как древний философ, *все свое несешь с собою.* Omnia mea mecum porto. Но когда я езжал прежде по той же дороге, впереди у меня была радость посещения родных и свидания с Натальей; теперь было почти все незнакомое, чужое, а цель — одна необхо[ди]мость: грустная перспектива!

Этот первый отъезд выразил я после в стихах, под названием «Дорога»[1], которые кончаются следующим грустным куплетом:

И встречу прием я холодный
Людей, не привыкших ко мне,
На родине странник безродный,
Чужой на своей стороне![2]

Действительно, первый привет на моей родине был мне неласков. Надобно было проезжать через Симбирск, где еще находились в живых мои родные: тетки Надежда Ивановна и Елена Александровна, тетка Наталья Ивановна и двоюродная сестра Елизавета Николаевна Пазухина с мужем. Мы приехали в Симбирск поздно вечером; по праву родства и по прежней привычке мы въехали прямо в дом к Надежде Ивановне, думая, что нас удержат на несколько дней и что, хотя мы и спешили, но по крайней мере отдохнем от дороги. Но мы нашли их больными, прежнего радостного свидания с нами заметить не могли; кроме того, без нас перестроили дом и уничтожили мезонин; одним словом: объявили нам, что остановиться у них негде.

Каково же было наше положение — ночью, в городе, где не было даже гостиницы; а лошадей мы отпустили. С большим трудом отыскали мы опять почтовых лошадей и отправились ночевать в Ключи, на первую станцию от Симбирска. Ночь была темная, а весь переезд этот состоял из поворотов и рытвин и кончался тремя верстами глубокого песку и въездом на гору. Никогда не забуду я и страха опрокинуться с экипажем, и грустного чувства, с которым въезжал я на свою сторону. Наконец, утром увидели мы наши две колокольни, и я, перекрестясь, вступил как бы в новую жизнь.

К этому приезду относятся у меня в тех же стихах заключительные два куплета:

Вот показался лес с горою,
Вот колокольни шпиль и крест,
Вот дом, где с тихою семьею
Я жил средь диких этих мест!

Смотрю и думаю: «Так это
Покинул юноша с тоской?
Теперь еще тепло и лето;
А каково-то здесь зимой!»[3]

Грустно было мне переезжать на житье в деревню. Проведя всю жизнь в Москве, на службе, я привык к деятельности, привык и к хорошему обществу, и к занятиям литературным, которые требуют тоже круга людей просвещенных. Здесь ожидала меня пустота уединения среди лишений всякого рода; к хозяйству я не привык и думал, что учиться ему поздно; а между тем необходимо нужно было им заняться по двум причинам: во-первых, для того, чтобы сколько-нибудь получить доходу; а во-вторых, и для того, чтобы не показаться, на новом моем поприще, и соседям моим, и крестьянам пустым человеком и не потерять их уважение. Жене моей, я думаю, было если не тяжелее моего (потому что тягость материального положения вся лежала на мне и не была ей вполне известна), то, верно, еще грустнее: ибо она никогда не живала в такой отдаленной глуши. Я ехал по крайней мере на свою родину, где были для меня воспоминания детства; а она, расставаясь с Москвою, расставалась в то же время с матерью, с сестрою и со всеми родными: ей моя сторона была совсем чужая.

С самого приезда в деревню я не вдруг занялся, однако, управлением имения, а сперва захотел узнать его местность, его положение, его средства, выгоды и невыгоды, и присмотреться, как оно управляется моим старым управителем. Надобно заметить, что у нас не только в управлении имением,

но и в правлении государственном, видя некоторые несовершенства, по большей части не хотят исправлять исподволь, а любят делать коренные реформы, думая, что хорошее в теории непременно поведет к добру и на практике. Я всегда опасался коренных реформ, по двум причинам: во-первых, не столько доверял своему самонадеянному знанию, сколько практической опытности других; а во-вторых, всякая реформа, даже самая благодетельная, есть потрясение основания. И потому я всегда изыскивал средства улучшать на том же, на прежнем основании. Так старался я поступать и в этом случае.

Прежде всего захотел я заняться положением крестьян и узнать, сколько у них земли. Здесь, на месте, узнал я, и не без труда, что у троицких земли меньше, а у богородских больше; что у первых ее отчасти недоставало, а у вторых есть и лишняя, которую они отдают в найм — и за какую цену? — по целковому за десятину.

Это произошло вот от чего. Во время долговременной моей отлучки из имения кончилось в нашу пользу одно нескончаемое дело о земле, начатое еще при моем деде Иване Гавриловиче: мною, вследствие окончания этого процесса, приобретена была земля, под названием Кучуговской дачи, земля новая и отличного качества. Эта земля была, без всякой причины, отдана богородским крестьянам, потому что примыкала к Богородской даче. От этого они приобрели больше троицких, и так как они не в силах были пахать ее всю, то и отдавали в наем за бесценок.

Я нашел, что следует между обоими селами разделить землю поровну, по числу душ; почему прибавил земли троицким, а у богородских взял лишнее. Но и за этим правильным и справедливым разделением осталось еще восемьдесят десятин в мою пользу.

В это время пахалось в обоих селах господской пашни по сту шестидесяти десятин в каждом поле. Прибавка этих восьмидесяти десятин была бы очень выгодна; но так как они были все в одном месте, то нельзя было разделить их на три поля. Долго думая об этом, и по совещании с управителем, я нашел, что у меня есть земля, у Трех Озер, называемая лугами, на которой с сорока десятин накашивалось травы не столько, чтоб она была необходима, ибо у меня были луга и другие, и кроме того поемные луга за Волгой. Мы придумали и эти сорок десятин обратить в пашню. Таким образом, вместе с частию Кучуговской дачи, составилось у меня еще сто двадцать десятин, или по сороку десятин в каждом поле. С того времени у меня пахалось уже по двести десятин в каждом поле. Следовательно, одним внимательным рассмотрением дачи я мог прибавить себе одну пятую часть дохода, без малейшего отягощения крестьян; ибо, за недостатком пашни, часть их была на оброке. Прибавилось только число рабочих тягол, и убавилось число оброчных. А земледелие всегда выгоднее оброка.

Видя мою заботливость о их положении и мою справедливость, как в разделе их земли, так и в соразмерном требовании их работ, крестьяне, видно, почувствовали ко мне ту доверенность, которая исключает страх и пробуждает совесть в людях самых необразованных. Вследствие этого произошел вот какой необыкновенный случай.

Одна из дворовых девок, в мое отсутствие из имения, вышла замуж за крестьянина. По своему прежнему званию она была, само собою разумеется, смелее и доступнее к господам, чем коренная крестьянка. Ее-то выбрали они быть тайным проводником правды, который никто не узнал бы без их собственной доброй воли к сознанию.

Она пришла вечером к жене моей и за тайну объявила ей, что, в мое отсутствие из вотчины, младший сын моего управителя продавал некоторым моим крестьянам мой хлеб, еще не свезенный с поля, и что покупавшие его крестьяне готовы сами сознаться в этом; но боятся управителя.

Узнавши об этом, я сказал жене моей посоветовать этой женщине, чтоб она уговорила мужиков, покупавших краденый хлеб, прийти ко мне и признаться самим, уверив, что наказания им не будет.

Они так были уверены в твердости моего слова, что не задумались ослушаться. Конечно, причиной этого было не столько раскаяние и тревога совести, сколько ненависть к сыну управителя, который их грабил; а старику-отцу они не смели об этом и заикнуться. Как бы то ни было, но однажды, тоже при наступлении ночи, докладывают мне о приходе одного из мужиков, покупавших хлеб. Я велел позвать его в кабинет, и на вопрос: «зачем он пришел?» — он просто отвечал, по-своему: «Повиноватиться! Покупал у Николая ваш хлеб». — Я расспросил его о других, расспросил и их самих, и записал, сколько каждым было куплено и за какую цену. Оказалось, что хлеба продано много, и все пошло за безделицу: за полтинник, за штоф вина, за дозволение уклониться от работы. Наконец спрашивал я: «Где же этот хлеб?» — Иные сказали, что съели; а другие, что цел и что они готовы возвратить его.

Разузнавши все это, я счел справедливым сказать об этом отцу самого вора, то есть управителю, чтобы он, как отец, наказал его, а впредь не имел к своим сыновьям слепой доверчивости. Но отец не хотел мне верить, утверждая, что это выдумано из одной ненависти к нему, за строгость управления. Надобно было доказать отцу все это на опыте; да хотелось и возвратить часть хлеба, оставшуюся в целости. И я велел остатки привезти самим ворам на господской двор.

Каково же было удивление управителя, когда в одно утро въехало на двор несколько возов с покраденным хлебом! — Само собою разумеется, что после этого управитель поверил: ибо крестьяне не повезли же бы ко мне своего

собственного хлеба. Ни один из них не был наказан; но сын управителя, по моей просьбе, был сослан на поселение. Это одно строгое наказание, которое случилось во все время моего управления имением.

Здесь место, я думаю, сказать несколько слов об этом праве ссылки, которое имели помещики при крепостном владении людьми. Конечно, с первого взгляда оно может показаться самоуправством, каково оно и есть с юридической точки зрения: ибо помещик делается в этом случае сам судьею в собственном деле. Но, с другой стороны, если бы, например, ту же кражу хлеба преследовать судом, то и Николай, и толпа крестьян, виновных в покупке, в продолжение нескольких лет насиделись бы в остроге; а дело кончилось бы не одной ссылкой, а телесным наказанием многих: следовательно, потерпели бы многие и наказание было бы сильнее! — Уголовный суд не прощает и раскаяния не приемлет. А отлучка от долгов, по причине следствия и содержания в тюрьме: одно это разорило бы многих! — И так, по закону, наказание было бы строже; а действие было бы слабее: ибо, во-первых, продолжительность процесса ослабляет впечатление; а во-вторых, крестьяне видели бы бессилие непосредственной власти их господина и одну месть правосудия, которую они всегда почитают местию не законной правды, а силы. Если уже было крепостное право (я не вхожу здесь в разбор его законности), если оно уже было признано правом, то должно было, для твердости государства, быть со всеми своими последствиями. Практические люди судили об этом происшествии не так, как стали бы судить при нынешней гуманности. Когда, в проезд через Сызран симбирского губернатора князя Черкасского[4], я рассказал ему об этой ссылке, бывшей еще до него, он отвечал мне: «Вы имели полное право; одно только вы дурно сделали, что не сослали всей семьи! Поверьте, что все они окажутся людьми вредными!» — что и действительно впоследствии оказалось. — После смерти старика я сделал управителем старшего его сына: он оказался таким притеснителем крестьян, взяткобрателем и малознающим, что я через несколько лет прогнал его, давши ему паспорт для прожития в Сызране, только чтоб его не было в деревне. Кончилось тем, что он, с награбленными деньгами, спился с кругу.

Так занимался я, по мере уменья, и хозяйством, и управлением людьми, от меня зависящими; но находил, что и то, и другое труднее дел Сената. Там следует только исполнять положительные законы и требовать от людей исполнения заведенного порядка; здесь должно руководствоваться одною естественною справедливостию и опытностию, которой не найдешь ни в каком своде и которая приобретается долговременными опытами. Крестьяне повидимому народ простой и грубый; но в сущности они чрезвычайно скрытны и хитры: правды от них не узнаешь. А управителям всегда выгодно, чтобы господин не видал ясно!

Старого знакомства у меня почти не было на моей родине. В двенадцати верстах от нас жил старик Леонтьев, скупой, всегда печальный и скушный; однако и ему я был рад, в совершенном моем уединении. Да еще, верстах в осьмнадцати, было семейство Кудрявцевых, которые также нас посещали[5]. У них были две молодые девочки, одна их воспитанница, другая ее компанионка: они две были приятными гостьями для нашей дочери и племянницы. Таково было на первый раз наше знакомство. Как ни скушно мне было с ними после московского просвещенного круга, но я с молодых лет как-то умел прилаживаться ко всякому обществу. Кроме того, давая преимущество образованности литературной, я любил, однако, отдавать беспристрастную справедливость природному уму, хотя бы и лишенному лоска светской образованности, и всякой опытности, в каком бы роде она ни проявлялась. Оба соседа мои были небогаты, но хорошие хозяева, и советы их могли быть для меня небесполезны. Между тем Кудрявцев представлял необыкновенный феномен человека, по наружности необразованного, не знающего ни одного иностранного языка и ничему не учившегося и в то же время занимавшегося русской литературой и опытами химии. Мне чрезвычайно любопытно было видеть в нем, как природный ум побеждает недостатки учения и дополняет их и как, при недостаточных средствах, трудолюбие и природная сметливость заменяют иногда и знание, и средства жизни, приобретаемые деньгами. Так, у него, в его небольшой деревне, был, однако, тенистый сад, много плодов, оранжерея и грунтовый сарай[6] с превосходными вишнями разных родов, вырытый глубоко в земле, летом покрываемый сетью, а на зиму досками, чего я нигде не видывал. Без помощи садовника он содержал все это в порядке и при небольшом состоянии наслаждался по-своему.

Это наводит меня на мысль, что самое счастливое положение в России было бы состояние помещика, занимающегося земледелием, если бы не мешали этому разные обстоятельства, созданные правительством, со времен Петровской реформы. Взглянем сперва на хорошую сторону этого предмета. Жизнь в семействе, жизнь, близкая к природе, возделывание земли и доход самый безгрешный, получаемый трудом, полезным для себя и для государства; сверх того, святая обязанность быть хранителем, руководителем и защитником крестьян, составляя в то же время среднее, соединительное звено между народом и властию. Так и было, пока сохранялась патриархальность нравов и близкие взаимные отношения между помещиков и их подданных. А между тем жизнь самая тихая, удаленная и от политического мира, и от пустых обязанностей света: труд, отдохновение, тишина и довольство немногим: вот каков был девиз этой жизни. Не было раздвоения между желанием и исполнением, не было внешних целей, которых достижение зависит от случая, от людей, от власти. Но то ли ныне в этой жизни? — То ли оказы-

вается в действительности? — Первая помеха всему — служба, потому что нужны чины! — Вместо того, чтоб молодому человеку, выучившись только нужному и необходимому, заняться хозяйством, навыкать ему под руководством своего отца и быть со временем его опорой, его отправляют в столицу, в университет, собственно не для науки, а для того, чтобы со временем дать ему ход по службе. Он отвыкает от семьи, от хозяйства; а учится чему? — Конечно, наукам; но эти науки не применяются к жизни: и он выходит человеком, просвещенным книжно и нисколько не практическим. А земледелие упадает; а связи со своей стороною распадаются; и что всего хуже, родятся другие связи, служебные, корыстные, не дающие ни истинного счастия, ни истинной цели в жизни. Чины, служба и полуобразованность без цели, для наружного лоска — вот что губит Россию; ее устройство несообразно с потребностию людей. Вы теперь найдете в деревнях или хозяев, необразованных, грубых, или полупросвещенных франтов, щеголяющих фальшивым европейским просвещением, бесполезных и себе, и семье, и окружающим их людям, и государству!

Когда я подумаю и о себе, как бы я был счастлив, если б не бросили меня в этот круговорот столичной жизни! Я не писал бы стихов, не написал бы этих записок, не имел бы теперешнего моего чина; но я был бы хозяин и был бы на родине на своем месте. А теперь я приехал сюда, как посторонний, как чужой и земле, и людям!

Не мог я в первый раз долго прожить в деревне: сердце рвалось к Москве. Прожив там зиму, в средине лета собрались мы опять в Москву. Никогда не забуду восторга, с которым я увидел наконец заставу. Помню, что я в карете не мог усидеть на месте и в то же время плакал от радости. Тогда здоровье мое было все еще лучше нынешнего, и я мог еще пользоваться столичною жизнию. Кроме того, все знакомые, все близкие были еще живы: не то, что ныне. Как приехали, в тот же вечер я поехал на Бутырки, к Бакуниным. В саду, идучи по аллее, встретил я первую из них: старшую сестру, которая так обрадовалась неожиданному моему приезду, что бросилась обнимать меня. Никто на моей родине не встречал меня с такою радостию. Протасов, Чаадаев и другие, все встречали меня, как воскресшего! — Но дачи мы уже не нанимали и жили в духоте города. Денежные же обстоятельства были таковы, что к осени опять надобно было отправляться в деревню. — Осенью было особенно нужно мое присутствие в имении: ибо тут поспевает уборка хлеба, а зимой молотьба и продажа. Я уже испытал, что значит глаз хозяйской! Надобно было самому присмотреть, уберечь и продать вовремя и за выгодную цену. В эту зиму я прилежнее занялся хозяйством. Большое удовольствие было для меня, еще в конце лета, смотреть на жнитво; потом, когда был хороший урожай, смотреть, как кладут на гумне

копны, и прибавлять одну за одной; потом ходил я смотреть, как молотят и веют просо; я любовался на вороха его, которые, смотря по положению их, со стороны солнца или с противоположной, представляются то малиновыми, то золотыми. Это же, по времени года, самый первый годовой доход; оно и дороже другого хлеба, и продается ранее, но зато требует земли новой и лучшей. Я отыскал несколько десятин нетронутого залогу[7] и посеял на них: года три сряду на них родилось отличное просо, которое много помогло мне в моем доходе. Но я ходил на гумно и зимою, наблюдать лично за молотьбою и другого хлеба. Для этого сшил я себе, еще в Москве, теплое пальто на серой романовской овчине[8], густой, кудрявой и мягкой, как шелк, и покрыл его черным бархатом: вот в каком костюме ходил я наконец после камергерского золотого мундира! — Зато здесь узнал я в первый раз удовольствие собственности; ибо, живучи в столице, мы ценим не ее, а только результат ее, деньги; здесь же, в деревне, мы научаемся познавать благословения земли, как награду труда, и в самых плодах ее.

В то же время наблюдал я нравы крестьян, уже не так, как помещик, а просто как человек, для которого, по словам Плавта[9], ничто человеческое не чуждо. Не могу сказать, чтобы нравственность их была отличная: о добре и зле, кажется, они имеют самые смутные понятия. Во-первых, верность и неверность супружеская есть между ними дело совершенно случайное; и если женщина начинает вести себя бурно, ее не удерживает тот стыд, который в нашем быту или предохраняет от многого, или по крайней мере заставляет таиться от других. Самое слово «любовь» принимается у них не иначе, как в самом постыдном, физическом смысле. — Браки определяются по большей части соображениями расчета, и не всегда расчетом, основанным на корысти. Вот один пример этому. У меня в Троицком было вдвое большее число душ, чем в Богородском, и потому богородским крестьянам дозволено было жениться на троицких девках, но не наоборот, ибо в противном случае недоставало бы невест для богородских. Однажды троицкой выборный просил у меня позволения женить своего брата на богородской. Я дозволил и спросил: «На ком?» — «Да на какой случится!» — отвечал он. — Это меня удивило, но он откровенно объяснил мне причину. У него не было никого родни в Богородском, и потому на Казанскую (приходской праздник) не у кого пить пиво; а потому надо было завести там родню для гулянья и пьянства. Вот чем иногда определяются их браки и их родственные связи.

Продолжаю мои замечания о их нравственности. — Воровство у них хотя и на худом счету, но только по опасным своим последствиям, и едва ли считается грехом. Редкой крестьянин не украдет, даже из самых честных. Например, на молотьбе хлеба непременно стянет соломки и увезет в своей телеге домой. И даже не оттого, чтоб было нужно; а так, по привычке, нельзя

не взять дарового. — Я никак не мог убедить крестьян завести огороды. Причина та же: боятся, что покрадут огурцы и капусту, не давши даже дозреть им: так они падки на чужое! — В драках они не знают меры злобе. Приехавши в первый раз, я, признаюсь, винил наших двух священников, что они не заботятся о нравственности народа; но когда рассмотрел я этот народ поближе, то перестал винить их. В самом деле — с которой стороны подойти к крестьянину, чтоб начать учить его нравственности: они не имеют самых первейших понятий о каких бы то ни было правилах, а руководствуются одним животным инстинктом. Грамоты они не знают, следовательно, катехизис внушить им невозможно; в религии не понимают ничего, кроме наблюдения праздников, которые проводят в гульбе, в пьянстве, в оранье песен и в драках. Да если б они и знали грамоте, то одна грамотность не поведет к просвещению; напротив, у нас часто она ведет к разврату, неверию и плутовству. Нужно бы домашнее воспитание, то есть чтобы отцы и матери, с малолетства, толковали детям, что хорошо и что худо. — Тогда принесла бы пользу и грамотность: тогда священнику оставалось бы только привести в порядок и правила — понятия, уже готовые в зародыше, и, так сказать, освятить их печатию религии.

Трудолюбия тоже нет в нашем народе. Он работает много, но все с ленью, и оттого работа у него не спорится. В крайней нужде он готов работать и в праздник; но постоянного труда не любит. А на господской работе, без присмотра и понуканья, он провозится до ночи и все ничего не сделает. Они и сами это чувствуют. Я помню, однажды я велел подмести мой сад. Я думал, что это будет, как в Москве, где, бывало, один дворник возьмет метлу, да и подметет сухие листья. Но как удивился я, когда, проснувшись поутру, я увидел в саду пятьдесят баб и девок и над ними десятника с палкой. Мне это чрезвычайно не понравилось, и я заметил десятнику, что его не нужно. Он отвечал мне: «Как вам угодно, а без этого нельзя!» — И что же! — Действительно, как они увидали, что нет начальника с палкой, они ушли подалее за деревья, расселись по садовым скамейкам и запели песни. — В другой раз я сказал им самим: «Зачем это с вами всегда десятник с палкой?» — Они мне отвечали: «Как же! Нельзя без этого! Ведь мы бабы глупы!» — Леность, кажется, один из непобедимых пороков русского человека.

Я сказал уже, что я принял за правило заботиться о нуждах крестьян моих; но и в этом удовлетворить их трудно, или, правильнее сказать, трудно быть с ними справедливым. Узнавши однажды, что у некоторых крестьян моих, семей двадцати, недостало хлеба, я велел раздать им из господских амбаров. На другое утро, проснувшись, увидел я у себя на дворе целую толпу мужиков, человек восемьдесят. Я вышел к ним на крыльцо и узнал, что все они пришли просить хлеба. На вопрос: «Разве и они нуждаются?» — они отвеча-

ли: «Нет! У нас еще есть; да коли тем дали, так за что ж и нам не дать? Мы все равно ваши же мужики! Уж надо всем поровну!» — Это уж не хитрость и не жадность, а просто они требуют с господина. — Здесь надобно заметить, что крестьянам никак нельзя давать хлеба безвозвратно: они так навыкнут даровой даче, что от них отбою не будет. — Хотя бы и никогда не возвратит выданного хлеба, хотя бы и откладывать его уплату год за год, но все нельзя иначе давать, как взаймы, чтобы они знали, что рано ли, поздно ли, могут потребовать его обратно. А то они и своего пахать не будут! Даровое им заманчиво! — Но если, вместо уплаты натурой, потребовать с них за выданный хлеб несколько рабочих дней, они как раз заплатят!

Таковы-то обычаи, нравственность и нравы их; таковы понятия о справедливости и праве! — А судить их чрезвычайно трудно: никогда от мужика не добьешься правды. Ежели они сознались тогда в покупке краденого хлеба, то это потому, что хотели избавиться от управительского сына.

Что касается до их воздержности и невоздержания в пище и питье, и то и другое определяется временем, возможностию и случаем. Крестьянин, живущий далеко от столицы, ест плохо, хотя и много: мясо употребляет только по большим праздникам; обыкновенную же его пищу составляют пустые щи, иногда забеленные молоком, и каша; половина дней у них постных; в эти дни они по большей части довольствуются хлебом или тюрей[10]; а в рабочую пору и не варят горячего. — Такая непитательная пища, без всякого сомнения, убавляет сил у рабочего человека. Зато мы действительно видим, что народ мельчает, и вообще в земледельческих губерниях люди малорослее и слабее, чем в торговых. Но зато в праздники, особливо в приходские, они напекут и нажарят, что только под силу, и особенно любят поросят и свинину. Тут, как дикие, едят они напропалую. Пьяные в обыкновенные дни бывают редко; но в эти праздники, как они говорят: душа мера! А душа эта пьет, пока не свалится в бесчувствии; а на другой день, с утра, начинается то же, и это продолжается, пока есть вино и пиво. Как воздержание их, так и невоздержность бессознательны: одно происходит от необходимости; другая зависит от случая, и в обоих случаях незаметно разумного человеческого действия. Так и должно ожидать от людей полудиких! Не знаю, где больше разврата, в столицах или в деревнях; думаю, что в первых развращенных людей в частности больше, потому что больше представляется и средств; но в деревнях — стремление к разврату имеет более характер всеобщности, ибо в праздники там все население как будто сходит с ума, и все шатаются, как безумные!

Что касается до забав их и увеселений, то и они отзываются тоже их безнравственностию. Хороводы начинаются обыкновенно с недели всех святых и продолжаются до Успенского поста[11]; но они всегда бывают с наступлени-

ем вечера и продолжаются во всю ночь, для того, что ночью не видать обращения парней с девками: тут они и обнимают их, и щупают на свободе. И в этом отношении можно сказать, что наши балы несравненно невиннее этих хороводов. Они не умеют даже пользоваться забавами без своеволия, без некоторого буйства; порядок в забаве для них уже стеснителен. — Видя, что на масленице они делают кое-как горы, я велел сделать для них гору, по образцу московских, с перилами, чтобы было безопаснее с них кататься. Они тотчас же разломали перилы; начали на доски ложиться брюхом и в этом положении скатывались с горы, лежа на брюхе. На святой неделе я велел поставить прочные качели. И что же? — Однажды, возвратившись в деревню, я нашел, что с качелей снята перекладина. После многих допытываний, кто снял ее и зачем сняли, виноватого все-таки не нашлось, но причина открылась. Им пришло в голову, что оттого нет дождя, что поставлены качели. Какая между этим связь, то есть между засухой и качелями, никто объяснить не мог; но все верили этому предрассудку. Прошу воспитывать и просвещать народ закоснелый и упорный: он не внемлет здравым понятиям, а руководствуется своими грубыми поверьями.

Такова эта здравая среда народа, в которой Аксаковы с братиею видят коренную силу России, которая должна послужить к нашему перерождению и к освежению элементов, испорченных влиянием гнилого запада! — По моему мнению, мало надежды на эту дикую силу!

Занимаясь хозяйством, нельзя не чувствовать, однако, большого различия между материальной пользы и удовольствия души; душа требует не дохода, а живых впечатлений. Зелень нив и особенно зелень полей и деревьев смотрит веселее ссыпанного в амбар хлеба; свободная прогулка приятнее надзора за работами. По счастию, при моем деревенском доме был сад; но так запущенный, что казался без дорожек: я сначала принимал его за рощу. Я велел его вычистить; оказались аллеи и дорожки, убитые как следует. Я вздумал увеличить его и распространить с трех сторон; насадил кругом его прямые аллеи из молодых деревьев, а остальное разбил на лужайки и клумбы и таким образом распространил его втрое против прежнего. Сначала моя прибавка была очень некрасива, составляя резкую противоположность с частию старого сада, так что насквозь было видно ходящих по моей плантации. Маленькая дочь моя, Софья, смеялась, называя новую мою садку будущими дремучими лесами. А управитель мой, когда его спрашивали о приезжем барине: «Что он делает?» — отвечал с улыбкой: «Ямки роет!» Но чрез несколько лет, когда принялись и выросли мои молодые деревья, они давали уже тень, и наконец надобно было уже отыскивать ходящих по саду, между его извилистыми дорожками. Ничто, я думаю, не приносит такого чистого удовольствия, ничто так не вознаграждает трудов, как садоводство. Без всякого

руководства и без порядочного садовника (роль которого играл у меня огородник), правда, мне трудно было достичь до искусства сажать деревья с успехом: я не знал ни удобного времени года, ни приличия почвы. И потому только после многих неудачных опытов достиг я до верного успеха. — Много пропало времени; много погибло и деревьев. Я брал их из нашего же леса: следовательно, перемена почвы была небольшая; однако я заметил, что не все равно принимаются, и одни весною, другие осенью, первые, пока сок еще не поднялся от корня, вторые, пока он не совсем опустился; притом главное надобно у корня тщательно сохранять мочку: корень питается этими тонкими нитями. А хвойные деревья лучше всего сажать летом, в самые жары, и в землю, смешанную пополам с песком. Притом надобно наблюдать, чтоб и те и другие сажать тою стороною на полдень или на север, какою они стояли на прежнем месте. Все это узнал я где через советы других, где собственным опытом. Всего лучше принимались у меня клен и рябина, два великолепные дерева, наиболее служащие украшением саду. Вяз и илем[12], тоже красивые деревья, принимались порядочно. Но всех красивее неклен[13], которого не знают под Москвою. Он весь осыпается мелкими пунцовыми лапками, цветочками в два листика, которые составляют прекрасный вид издали; особливо, если находится возле серебристый тополь: и то, и другое изобиловали в новом саду моем. — Но странно, что всего хуже приживались у меня липы и березы, несмотря на то, что они самые обыкновенные деревья в нашей местности и хоть в старом саду их выросло много. Береза безобразна, и я посадил их только с пяток для разнообразия; но неудача в липах была мне очень досадна! — Вместе с другими деревьями попали два-три дубка, и они росли хорошо; но другие, сколько я ни пересаживал их, вырытых нарочно для пересадки, они никогда не принимались.

Охотники до садов не любят в них черемухи, говоря, что будто от нее заводятся черви; но это несправедливо. У меня их было много: это дерево тенистое, красивое и распространяющее по всему саду запах своих цветов. Когда цветет липа и черемуха, весь сад полон благоуханием. Кроме того, черемуха и рябина — два дерева, которые растут очень скоро. Следовательно, для сада, который желаешь устроить поскорее, это очень выгодно.

Но большую красоту моего сада составляли огромные кусты сирени, окружавшие большие деревья или составлявшие отдельные клумбы. Эти огромные круглые шапки зелени, осыпанные кистями лиловых, душистых цветов, чрезвычайно радовали мое зрение и услаждали обоняние. Одно только было неприятно: шпанские мухи[14] преимущественно любят лист сирени и ясеня. Не знаю откуда, они налетали каждое лето целою тучею, и если не обирать их, они, как саранча, в несколько часов обгложут листы с целого дерева. Но, по счастию, сильный запах от этих насекомых всегда при-

ведет к кусту, на который они сели, а к вечеру они делаются смирны и летать не могут. И потому, в пору их прилета, каждый вечер начиналась у нас охота за шпанскими мухами. Дворовые мальчики находили особенное удовольствие обирать их и сажать в банку. А потом отдавали их нашему домашнему фельдшеру Игнатью, и они служили превосходным домашним средством, когда нужно было кому поставить шпанскую муху. Таким образом и вред обращался в пользу. Другой куст, который много служил к украшению моего сада — это дикой персик, называемый у нас бобовником[15]. В Москве он находится только в садах, но у нас растет в поле. Он невысок и осыпан весь розовыми цветами, и, посаженный по краям клумб, составлял у меня большое украшение.

Когда любишь природу, то роднишься как-то с каждым кусточком, который посадил и вырастил своими руками; но и между ими есть свои особенные любимцы: это те, которые стоили наиболее труда и попечений. — Так, я помню, подарил мне мой сосед Кудрявцев кустик душистого лаврового тополя. Так как он был мал, то я посадил его между других деревьев, и несколько лет сряду он не рос нисколько. Через несколько лет вздумал я пересадить его на открытое место, на солнце: он пошел расти, и вскоре из него вышло высокое и стройное дерево. Я очень им утешался.

Нужно мне было поболее акаций; ибо это деревцо растет скоро и необходимо для закрытия пустых мест, когда [надобно] иметь поскорее густую зелень. Под Москвою, живучи на даче, я покупал их по пяти рублей ассигнациями сотню; но в нашей стороне купить было негде, ни за какие деньги. Узнал о моем горе один сосед же наш, Уваров. Ему недавно досталась по наследству деревенька с садом, наполненным акациями. Он дозволил мне взять их, сколько хочу. Я сначала совестился, но, видя, что сад ему не нужен и брошен, мало-помалу я перевез в свой сад почти все его акации. Это послужило мне большим подспорьем.

Долго не мог я дойти до искусства их сеять; наконец дошел и до этого. — Землю мешал я с песком; садил их не глубоко, на палец от поверхности земли, и потом покрывал опять песком же. Вскоре у меня оказались богатые плантации акаций, так что я мог засадить все пустые места, с грядок, посеянных мною. Таким образом, я, как Робинзон, доходил опытом и неудачами до успехов.

Наконец, целая сосновая роща, насаженная моими руками, давала мне тень свою. Как же это не наслаждение! — Нет, никогда честолюбие, никогда новый чин или знак отличия не доставляли мне такой чистой радости, как тень и зелень, произведенная моими трудами! — Как жалею я теперь, что потратил так много времени на службу, и лучшей поры моей жизни!

А цветы? — Из пяти кустов розанов, подаренных мне соседом моим Кудрявцевым, и от небольших лоз, купленных мною в Сызране, на лодках, приходящих туда каждую весну, я развел наконец с лишком восемьдесят кустов и весь сад мой наполнил розами! — Наконец достал я и белых, и желтых!

Роза — цветок самый благородный и самый благодарный, ежели уметь за ним ухаживать. Он не требует больших попечений, но требует внимательности. Во-первых, земля должна быть огородная, самая рыхлая, и непременно каждую весну нужно взрыхлять ее и подбавлять новой. На зиму у меня закрывали их соломой, иногда обвертывая кругом, иногда пригибая только к земле, покрывая соломой только сверху и накладывая камень. — Первый способ, однако, лучше. — Если же заводятся земляные мыши, то вместо соломы нужно обвертывать сеном. Впрочем, я знаю примеры, что и незакрытые они выдерживают зиму. Весной, как сойдет снег, довольно рано нужно раскрывать их и все почерневшие и слабые ветви без всякой жалости обрезывать. Случается, что останется от куста два прутика: они-то и пойдут расти и одеваться листом и произведут иногда куст великолепный!

Розаны пускают от себя корни, бело-розового цвета, ползущие под землей аршина на два и потом выходящие в виде нового кустика. Если оставить его, не трогая, то он истощит старый куст, а сам никогда не дойдет до совершенства. В таком случае я поступал вот как, и придумал это сам: я отыскивал в земле корень, соединяющий молодой отпрыск с старым кустом, и на половине перерезывал его, вынимая отрезок по крайней мере вершка в четыре длины. Таким образом старый куст не лишался соков для питания молодого, а молодой начинал жить собственною жизнию. Когда он окрепнет, я вынимал его и пересаживал на другое место. Но пересаживать надобно непременно весною; а с осенней пересадкой они хилеют года четыре и едва через это время войдут в настоящую силу. Поливки розаны большой не требуют; я поливал их поздно вечером, когда замечу, что листья несколько завяли.

Розаны цвели у меня обыкновенно в июне; один раз только случилось, что они распустились цветом в конце мая к моим именинам. Цветут они долго. Но есть средство заставить их цвести позднее, если первые почки срезывать: они к осени нальют новые. — Великолепный цветок, который я люблю страстно!

Цветов у меня было немного. Но я выписал из Риги десять корней георгин. Они вышли превосходны и разродились у меня с таким успехом, что я мог и других охотников ссужать ими.

Для некоторого разнообразия моего сада я отделил некоторую часть для регулярных аллей, где насадил небольшой лабиринт, а в средине его построил четвероугольную беседку с остросводными окнами. Кругом обсадил ее

розами, и за розами акации; а несколько молодых деревьев выросли сами собою между окон, так, что сама природа как будто помогала моей картине. Это было самое уединенное место, и все в зелени. Другая беседка была вся из акаций; ход к ней был так закрыт, что кто не знал его, для того она была тайной, хотя она была на дорожке, по которой все проходили.

Наконец клумбы мои так разрослись, что сделалось тесно. Долго думал я и советовался с дочерью, наконец решился уничтожить одну огромную клумбу. Пришли с топором; ударили в первое дерево: жаль было, и я было уже поколебался, но стерпел! — Уничтожили всю клумбу, кроме двух дерев посредине! — И что же? — Открылся такой прелестный вид, какого я и не ожидал! — Кругом деревья; из-за них две церкви; с другой стороны открылась моя сосновая роща, и из-за нее гора: одним словом, картина! — Я покрыл вырубленное место дерном и посадил четыре куста роз; и это вышло мое любимое место в саду, которое в честь дочери я назвал Сониной лужайкой! — Скушно мне было сначала в деревне; но когда вспомню эти чистые удовольствия, я должен сознаться, что они составляли истинное наслаждение! — Скушно мне было, что я и выразил в моих «Деревенских элегиях»[16], о которых буду говорить после; но теперь, когда вспомню о деревенской моей жизни, мне она представляется блаженством: так непостоянны чувства человека, и так все зависит от перемены обстоятельств, от перемены окружающих нас предметов и от нашего расположения.

Еще позабыл сказать одно, в доказательство, что при некоторой обдуманности не следует пренебрегать ничем и можно всем воспользоваться. Нет хуже дерева, как осина: и сероватая зелень ствола и листьев, и редкость их, дающая мало тени, делают его самым некрасивым и несадовым деревом. Но я по некоторым местам насадил и их: летом другие густые деревья скрывают его безобразие, а осенью, когда на других лист пожелтеет, осина становится прекрасного пунцового цвета. Я думаю, что Державин имел в виду цвет осины, когда написал об осени: «красножелта ее ряса»[17].

Одно только неудобство было в моем саду в первые годы моего приезда: хотя окна и выходили в сад, но в него не было прямого хода из дома: надобно было ходить чрез двор. Я решился среднее окно гостиной превратить в стеклянную дверь и устроить террасу. Плотники и столяры были у меня свои домашние; но план и фасад террасы и крыльца, которое приходилось довольно высокое и мне хотелось сделать удобным и красивым, растолковать им было трудно. Я нарисовал их и велел столярам сделать небольшую модель, потому что в нашей стороне плотники не видывали террасы. Когда все это поспело, террасу покрыли толстым холстом за неимением парусины и приладили маркизы[18] — вышло очень красиво, а главное, удобно и приятно: мы могли выходить из гостиной прямо в сад, а на террасе обедать.

С этого начал я мало-помалу переделывать мой дом, который был для нас поместителен по числу комнат, но неудобен по их расположению. Он был построен моим дядею Иваном Ивановичем, который имел довольно вкуса, но не имел понятия ни об архитектуре, ни об удобствах семейной жизни, и потому все комнаты были проходные, и в стороне проходная же большая зала; а наверху какая-то длинная галерея. Прежде всего из этой галереи я уделил небольшую комнату для экономки, и другую для собственной моей прислуги; а середину занял комодами и шкафами. Потом приступил к другим переделкам и перестройкам. Окна у нас были по старине подъемные, я велел сделать створчатые рамы; двери все переделал и выбелил под лак; а дощатый пол заменил своего изобретения паркетом из соснового леса, который тоже выкрасил и покрыл мастикой. Наконец переставил некоторые перегородки, посредством чего увеличил комнату дочери и, главное, избавил от сквозного ветра; а из большой залы, нам не нужной, выкроил запасную комнату для гостей и широкой коридор, с шкафами для посуды. Мои домашние столяры сделали по моему рисунку мебель красного дерева, красивую и удобную. Таким образом я добился наконец, что мой деревенской дом получил внутри и чистоту, и красивость, и удобство. Я чрезвычайно радовался на него, как на собственное мое произведение.

Знаю, что все эти подробности неинтересны; но я пишу не для публики. Пусть дети мои, жившие тогда не со мною, узнают, как я жил в деревне. А может быть, если через несколько десятков лет появятся мои рассказы в печати, пусть узнают наши внуки: как нероскошны и умеренны мы были в своих желаниях, как вознаграждалась у нас честная служба лишениями и отпуском на подножный корм и как умели мы из малого делать большое. А между тем увидят и то, что при небольшом состоянии у нас были средства, которых теперь не достанешь и за деньги. И мастера, и материалы, все было свое, домашнее: с одной стороны, это облегчало жизнь; с другой, люди наши были заняты полезным, и для господ, и для себя, и не шатались, как стадо без пастыря, не думали о квартире и о куске хлеба.

Для домашних потребностей завел я два огорода, которые снабжали меня и дворню овощами, но для других необходимых принадлежностей стола я построил еще теплицу. Таким образом, год за год, жизнь становилась легче и удобнее.

Построил я еще флигель, который выходил в тот же сад. Задняя его часть, обращенная к полю, содержала просторную баню и комнату для ванны; а переднюю, к саду, составляли жилые комнаты. Этим я докончил мои постройки, необходимые для деревенской жизни, где нужно, чтоб все было под руками.

Кроме прогулки по саду, я ходил много пешком, с какою-нибудь хозяйственною целию: чаще всего бывал в столярной, где по моим рисункам и под моим руководством всегда производились некоторые работы; или езжал осматривать поля, или заходил в ткатскую, где ткали у меня полотны и скатерти. Этим занимался я после обеда; а утро посвящал литературе. Так сокращал я свободное время деревенской моей жизни и никогда не чувствовал скуки.

Но был ли я совершенно доволен? — Нет! Потому что человек никогда не бывает доволен совершенно: всегда чего-нибудь недостает ему! — Мне недоставало просвещенного общества и литературного круга, к которому я привык с молодости. И это-то самое чувство неудовлетворенной потребности умственной и потребности общежития выразилось в моих «Деревенских элегиях»! — Рассудок бывает часто в противоречии с чувством. Следуя рассудку, можно было сказать, что никогда я еще не пользовался такою спокойною жизнию, как в это время: независимость от службы, полная свобода, чистый воздух, зеленый сад — я имел именно то, о чем вздыхал, живучи в Москве; уединение я тоже любил; но совершенное отчуждение от людей и от центра просвещения — вот что было тяжело в этой жизни!

А теперь пишу я эти строки опять в Москве и рвусь в деревню; но удерживает болезнь. Так время на время не приходит. Впрочем, и то надобно сказать, что с того времени Москва много переменилась, особенно для меня. Никого уже нет на свете из тех людей, с которыми я привык видеться часто, людей умных, просвещенных и занимающихся литературой. Вероятно, есть другие люди, и умные, и просвещенные; но я их уже не знаю, а они меня не знают. Да и не слыхать что-то о литературных вечерах и беседах, которые были в мое время. Теперь, говорят, не до литературы, теперь родились другие высшие интересы благоустройства государственного, или, правильнее сказать, перестройки всей России. Об этой перестройке скажу я в своем месте, но замечу только, что одно не должно мешать другому, что человеку нужно не одно материальное благосостояние, что у него, кроме тела, есть еще душа, требующая своих благородных наслаждений и своей духовной и умственной пищи. Этой-то пищи теперь недостает ей! — Только и слышишь о мировых учреждениях, о денежных операциях, о пятипроцентных билетах, а денег ни у кого нет! — Заботятся о благосостоянии России, как никогда еще не заботились; но есть ли довольные люди? Справедливо сказал Гердер: «Я не могу понять, чтоб могло быть счастливым государство, в котором все частные люди терпят!»[19] — Что мы теперь видим? — Пьянство страшное, грабеж по улицам, города и селы горят[20], торговля остановилась, земледелие упадает; между тем все веселятся напропалую! — Но эти увеселения не веселят духа, а показывают только жадность к наслаждению, как будто

желают заглушить в себе потребность мирного счастия и тихой семейной жизни или дружелюбной общественности, которых нет уже! Это напоминает увеселения Рима перед его падением: panem et circonses!* — Посмотрите это множество публичных гуляний, на которых гремит музыка, пляшут на канатах, жгут фейерверки, и где шум, гам, а нет веселого лица: все как сонные! — Посмотрите это множество садов, и ни в одном нет тихого приюта размышлению, ни в одном нельзя насладиться тенью, зеленью, тишиною и чистым воздухом: все они полны безумным или пьяным народом и миазмами, происходящими от толпы! — Грустно оканчивается моя старость! — Но довольно об этом. В следующей главе я буду продолжать описание собственной моей жизни[21].

*хлеба и зрелищ! (*лат.*).

ГЛАВА 23

Таким образом жил я в деревне не скучая, потому что беспрестанно находил себе занятия по дому и по хозяйству и с любовию занимался литературою, но тоскуя о Москве и невольно обращаясь к ней мыслию и к прежней жизни.

Литературные занятия мои с 1848 года приняли направление более серьозное; именно: я принялся за перевод Горация. — Вот как это было. В один из моих приездов в Москву я купил сочинения Горация на немецком языке и попробовал перевести с немецкого стихов десять его «Ars poetica». Возвратясь в деревню и найдя у себя этот листок, я вздумал попробовать переводить уже с латинского подлинника; трудно мне было возобновить в памяти этот язык, которому я некогда учился, однако я выписал из чужих краев несколько изданий Горация с разными комментариями и несколько словарей, объясняющих этого поэта. С их помощию мало-помалу труд перевода делался мне все доступнее и легче. И таким образом сперва перевел я его «Ars poetica», а потом и все сатиры этого поэта[1]. Перевод мой, когда был впоследствии напечатан, был признан даже неблаговолившими ко мне петербургскими журналами столь верным и близким к подлиннику, как немногие даже немецкие переводы; со всем тем он мало имел успеху, ибо наши русские читатели не доросли еще до Горация и читают больше для забавы, а не для того, чтобы питать душу изящным и благородным.

Во все продолжение моей деревенской жизни я через год, через два опять возвращался в Москву и, проживши там около года, снова переселялся в деревню, во-первых, потому, что денежные средства не дозволяли жить попрежнему в столице, а во-вторых, оттого, что самое хозяйство требовало моего присутствия в имении.

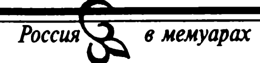
В один из этих приездов, именно 1853 года, сын мой Александр поступил в военную службу. Вскоре объявлена была война с турками, французами и англичанами; заняты были Дунайские княжества, и сын мой в ноябре месяце отправился в поход. Вся война эта была сцеплением неудач. Вызванная самонадеянностью Николая Павловича, ведена она была и без искусства, и без предусмотрительности князем Меншиковым, доказавшим только свою неопытность и неспособность. Давно Россия не испытывала такого унижения; а меня эта несчастная война поразила в самое сердце[2]. В 1854 году мы отправились опять в деревню. Из Москвы выехали мы накануне Казанс-

кой 21 октября[3], и 24-го проезжали Нижний. Я никогда не воображал бедствия, которое стерегло меня в этот день на другом конце России. В этот день было сражение при Инкермане, и сын мой получил рану в плечо, от которой принужден был оставить службу и страдает доныне.

* * *

После 30-летнего царствования Государя, которого при жизни называли в глаза великим и мудрым, не остается ни одного государственного человека, ни одного генерала. После Александра оставались, по крайней мере, Кочубей, Канкрин[4], Сперанский, при нем были Кутузов, Барклай, Багратион[5] и другие. При нем начали карьеру Паскевич[6], Дашков. Россия осталась после него страшною врагам и уважаемою кабинетами. После Николая остались финансы, которые держатся поборами со всякой мелочи, с табаку, с сигар, с путешествующих в чужих краях. Осталось разоренное земледелие; народонаселение, уничтоженное рекрутскими наборами; бедность дворянства от низкой цены на хлеб, упавшей от новой системы винной продажи и курса на серебро; ничтожность талантов от угнетения ума ценсурою и страхом правительства; разрушение всех связей от боязни доносов и шпионства; словом, убит дух, убиты доходы, убиты таланты. Доказательство первого — нынешняя Крымская война; второго — тягость, которой не чувствовал и в 12 году; третьего — все вирши на войну и на кончину Государя. Кто остались вельможи? Орлов, Клейнмихель, Чернышев и Перовский[6]! Кто государственные люди? Граф Панин и Брок[7]! Жалкое наследство принял Александр II! — Что предстоит ему? — Найти людей, которых нет, сотворить генералов, создать финансы, восстановить состояние дворянства, облегчить подати, поднять цены на хлеб и вывести из нищеты земледельцев! Шутка! И когда же ему предстоит эта задача? Когда враги разоряют и унижают Россию.

Желаю по крайней мере одного: чтобы замолчала перед ним проклятая лесть, которая кадила отцу его, чтоб она не заразила чадом его простую душу! Желаю еще, чтоб не было вокруг его проклятых любимцев, которые одни имели право говорить тому правду и которые, стоя стеною вокруг него, закрывали от него истину.



КОММЕНТАРИИ

Список сокращений

АК на... год — Адрес-календарь на... год. СПб., б.г.

Аксаков — *Аксаков С.Т.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1955—1956.

Барсуков — *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888—1910. Кн. 1—22.

Безгин — Симбирская губернская гимназия (1786—1887 гг.). Библиографическая монография / Сост. И.Г. Безгин. СПб., 1888 (Материалы для библиографического словаря. № 1).

Белинский — *Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1953—1959. Т. 1—13.

Библиотека — Библиотека Ф.М.Дмитриева в фонде Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.

Благово — Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989.

Булгаков — Из писем Александра Яковлевича Булгакова к его брату // РА. 1901. № 7. С. 339—438; 1902. № 1. С. 42—157.

Бутурлин — Записки графа М.Д. Бутурлина // РА. 1897. № 2—3, 5—6, 10—12.

ВЕ — «Вестник Европы».

Взгляд — *Дмитриев И.И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.

Герцен — *Герцен А.И.* Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1956. Т. 8.

Глушковский — *Глушковский А.П.* Воспоминания балетмейстера. Л.; М., 1940.

Голицын. 1880; Голицын. 1881— Записки князя Н.С. Голицына // РС. 1880. Т. 29; 1881. Т. 30.

Греч — *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М., 1990.

Гурьянов — [*Гурьянов И.*] Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского... М., 1827—1831. Ч. 1—4.

Де-Пуле — *Де-Пуле М.Ф.* Отец и сын: Опыт культурно-биографической хроники // Русский вестник. 1875. № 3—5, 7—8.

Державин — Сочинения Державина. СПб., 1861—1883. Т. I—IX.

Долгорукий. 1863— *Дмитриев М.А.* Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения. М., 1863.

Жихарев — *Жихарев С.П.* Записки современника. Л., 1989. Т. 1—2.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Загоскин — *Загоскин М.Н.* Сочинения. М., 1989. Т. 1—2.

Иванчин-Писарев — Новейшие стихотворения Н. Иванчина-Писарева. Собранные после издания 1819 года, с прибавлением нескольких сочинений его в прозе. М., 1828.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом).

Кошелев — Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. I.: Записки А.И. Кошелева. М., 1991.

Куликов — Театральные воспоминания Н.И. Куликова (с 1820 по 1883 год) // Искусство. 1883. № 1—5.

Лайкевич — *Лайкевич С.А.* Воспоминания // РС. 1905. № 10.

Лебедев — Из записок К.Н. Лебедева // РА. 1910. № 7, 8, 10.

ЛН — «Литературное наследство».

МВ — «Московский вестник».

МВед — «Московские ведомости».

МТ — «Московский телеграф».

Мелочи — *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. 2-е изд., доп. М., 1869.

Мещерский — Воспоминания князя Александра Васильевича Мещерского. М., 1901.

МСО — «Московские Сенатские объявления».

МУ — Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989.

НБ МГУ — Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ.

ОДАГС — Опись дел Архива Государственного совета. СПб., 1908. Т. 1. Дела Государственного совета с 1810 года по 1829 год. Т. 2. Дела Государственного совета с 1830 года по 1839 год.

Орлова-Савина — *Орлова-Савина П.И.* Автобиография. М., 1994.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

Паламарчук — [*Паламарчук П.*] Сорок сороков. М., 1993—1995. Т. 1—4.

Пассек — *Пассек Т.П.* Из дальних лет. М., 1963. Т. 1—2.

Письма Новикова — Письма Н.И. Новикова. М., 1994.

ПКД — Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Погодин — Шевыреву — Письма М.П. Погодина к С.П. Шевыреву // РА. 1882. № 5. С. 67—126; № 6. С. 127—202.

ПСЗ-I — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830 (Первое собрание. Т. 1—30).

ПСЗ-II — Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830—1884 (Второе собрание. Т. 1—55).

РА — «Русский архив».

РВ — «Русский вестник».

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства.

РГИА — Российский государственный исторический архив (Петербург).

РИ — «Русский инвалид».

РМС — Российский медицинский список, изданный управлением Главного врачебного инспектора Министерства внутренних дел... на [1809, 1810, 1812, 1815, 1825, 1830, 1833, 1840, 1841, 1842] год. СПб., б.г.

РО РНБ — Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Петербург).

РП — Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1989—1994. Т. 1—3.

РС — «Русская старина».

Рунич — *Рунич Д.П.* Записки // Русское обозрение. 1890. Т. 5. Сентябрь.

Русская эпиграмма — Русская эпиграмма (XVIII — начало XX века). Л., 1988.

Сборник эпиграмм — Рукописный сборник эпиграмм М.А. Дмитриева (РО РНБ. Ф. 1000. Оп. 1).

Свербеев — Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. (1799—1826). М., 1899. Т. 1—2.

Свод — Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 1—17.

Семенов — *Семенов Н.* Граф Виктор Никитич Панин // РА. 1887. Кн. 3. № 12. С. 537—566.

СО — «Сын Отечества».

Соллогуб — *Соллогуб В.А.* Повести. Воспоминания. Л., 1988.

Стихотворения—1830 — *Дмитриев М.А.* Стихотворения. М., 1830. Ч. 1—2.

Стихотворения—1865 — *Дмитриев М.А.* Стихотворения. М., 1865. Ч. 1—2.

Стогов — Очерки, рассказы и воспоминания Э.И. С[того]ва. V. Жизнь и служба в Симбирске // РС. 1878. № 12.

Сушков — *Сушков Н.В.* Московский университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, Университетского благородного пансиона и Дружеского ученого общества. М., 1858.

Толстой — *Толстой М.В.* Мои воспоминания // РА. 1881. № 1—6.

Труды ОЛРС — Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Чичерин — Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., 1991.

ЭиС — Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX-го века. 1800—1840. Т. 1. М.; Л., 1931.

Языков — *Языков Н.М.* Сочинения. Л., 1982.

Введение

[1]Источник цитаты не установлен.

[2]Упомянутый текст (автобиография) в архивном деле отсутствует; ко времени создания воспоминаний мемуарист напечатал его малым тиражом «не для продажи» (см.: ПКД. С. 0124) под заглавием «Краткое жизнеописание М.А. Дмитриева» (М., 1863). *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы, профессор Московского университета, академик (с 1847). Дмитриев часто встречался с ним у М.П. Погодина и на литературных вечерах в различных домах, принимал активное участие в издаваемом Шевыревым и Погодиным журнале «Москвитянин» (1841—1856). Известен ряд эпиграмм Дмитриева на Шевырева, довольно резких и в основном направленных против поэтических опытов последнего (см., напр.: Русская эпиграмма. С. 298; Сборник эпиграмм. Л. 6—6 об.). Среди бумаг Шевырева в ОР РНБ сохранилось десять писем Дмитриева к нему за 1842—1850 гг. (Ф. 850. № 228). В *Библиотеке* имеются такие его сочинения, как «История поэзии» (Т. 1. М., 1835), докторская диссертация «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (М., 1836), «17, 18 и 19 маия 1844 года в Москве» (М., 1844), «История русской словесности, преимущественно древней: 33 публичные лекции...» (Вып. 1. М., 1846 — № 8781, с дарственной надписью автора, владельческим инскриптом и пометами Дмитриева), два экземпляра брошюры «Антон Антонович Прокопович-Антонский. Воспоминание, посвященное воспитанникам Университетского благородного пансиона» (М., 1848), «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» (Ч. 1—2. М., 1850), «26 августа 1856 года в Кремле» (М., 1856), а

также выходивший под редакцией Шевырева «Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета» (Т. 1–2. М., 1855 – № 870–871; с экслибрисом Дмитриевых и карандашными пометами, часть которых сделана рукой мемуариста).

[3]*Владимир* Всеволодович *Мономах* (1053–1125) – великий князь Киевский в 1113–1125 гг. Свое прозвище получил по деду, византийскому императору Константину IX Мономаху («единоборцу»). Старший сын Владимира Мономаха *Мстислав* Владимирович (1076–1132) – великий князь Киевский в 1125–1132 гг.; время княжения в Смоленске не установлено.

[4]*Ростислав* (Михаил) Мстиславич (ум. ок.1167–1168) – князь Смоленский в 1125–1154 и 1155–1159 гг., великий князь Киевский в 1155–1156 г. Считается родоначальником смоленской княжеской династии.

[5]*Роман* Ростиславич (ум. 1180) – князь Смоленский в 1169–1171 и 1176–1180 гг., великий князь Киевский в 1171–1172 и 1175–1176 гг., участник похода на Киев в 1169 г.

[6]*Рюрик* (Василий) Ростиславич (ум. 1212) княжил в поросских городах (Вышгород, Торческ и др.), в Новгороде, а также в Киеве в 1173, 1181, 1194–1204 (с перерывом в 1202 г.), 1205 гг.

[7]*Давыд* Ростиславич (1140–1197) княжил в Новгороде, Торческе, Витебске, Вышгороде и с 1180 г. – в Смоленске.

[8]*Андрей* Юрьевич *Боголюбский* (ок. 1111–1174) княжил во Владимиро-Суздальской земле с 1157 г.; в 1169 г. совместно со смоленскими Ростиславичами взял Киев. На киевский престол был посажен брат Андрея Глеб, вскоре умерший; на время престол перешел к врагам Андрея, но тот в конце концов все же сумел посадить на киевское княжение Романа Ростиславича.

[9]*Мстислав* (Федор) Давыдович (1193–1230) – великий князь Смоленский с 1219 г., инициатор развития широких торговых связей с Балтикой.

[10]*Ростислав* Мстиславич – великий князь Смоленский до 1270 г.

[11]О *Константине* достоверных сведений не имеется. По другим данным, *Александр Нетша* – сын не *Федора*, а Юрия Константиновича. Не исключено, что, как и многие другие предки-основатели дворянских родов, значащиеся выходцами из-за границы, был легендарной фигурой; на это, возможно, указывает и прозвище «Нетша» (его можно перевести как «отсутствующий»). С.Б. Веселовский отмечает эту «сбивчивость семейных преданий» и склоняется к мнению, что Дмитриевы «сочинили свое родословие задним числом» (*Веселовский С.Б.* Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 451). Вместе с тем принадлежность иконы, известной под названием «Одигитрия Смоленская», Ивану Мамонову (см. ниже) говорит в пользу смоленского происхождения Дмитриевых (*Антонова В.И.* Одигитрия Смоленская раннего XIV в. и ее владелец Иван Мамонов // Средневековая Русь. М., 1976. С. 258–265). Что касается «утеснений», то с начала XIII в. Смоленская земля подвергалась постоянному давлению со стороны великого княжества Литовского, набегам монголо-татар, а также союзных им московских князей. Территория ее постоянно сокращалась, пока в 1404 г. Смоленск окончательно не попал в руки Литвы. Предполагаемая служба Александра Нетши Ивану Даниловичу Калите, московскому князю с 1325 г. (с 1328 г. – великий князь Владимирский; ум. 1340), маловероятна, так как внуки и правнуки Нетши известны главным образом как бояре удельных князей. Род *Внуковых* обычно ведут от Михаила Дмитриевича, внука Александра Нетши; род *Даниловых* – от правнука Нетши, Данилы Ивановича.

[12]Достоверных сведений о нем не выявлено.

[13]Боярский род Романовых породнился с царствующей династией в 1547 г., когда Анастасия Романовна Захарьина, мать будущего царя Федора Иоанновича, стала женой Ивана IV. Со смертью Петра II в 1730 г. мужская линия династии Романовых пресеклась. В 1761 г., после кончины дочери Петра I императрицы Елизаветы, на трон взошел Петр III, сын герцога Голштейн-Готторпского («голштинского») Карла Фридриха и дочери Петра I Анны. Это давало современникам основание называть Павла I и его потомков голштинцами.

[14]Сведений о них не обнаружено.

[15]По сведениям Веселовского, указаний на боярство Ивана Дмитриевича в актах и летописях нет (*Веселовский С.Б.* Указ. соч. С. 452).

[16]*Дмитриев* (Мамонов) *Илья* Михайлович (ум. 1725) в 1668—1678 гг. — стряпчий, в 1676—1692 гг. — стольник; был воеводой в Царицыне в 1688—1689 гг. и Курске (в середине 1690-х), товарищем белгородского воеводы (ок.1696). Дмитриев (Мамонов) *Афанасий* Михайлович в 1672—1676 гг. — стряпчий, в 1676—1692 гг. — стольник; в 1703 г. был стародубским наместником, в 1706 г. в чине бригадира участвовал в походе против астраханских повстанцев. *Иван* V Алексеевич (1666—1696) — российский царь с 1682 г. (до 1689— под регентством царевны Софьи Алексеевны), по причине слабоумия почти не принимавший участия в государственной деятельности; соправитель Петра I (1672—1725), принявшего в 1721 г. императорский титул. Текст челобитной см.: *Дмитриевы-Мамоновы А.И.* и *В.А.* Дмитриевы-Мамоновы. СПб., 1912. С. 13—15. У Ильи и Афанасия не было брата *Михаила*; Дмитриев, видимо, спутал его с Василием Михайловичем (см. ниже).

[17]*Григорий Андреевич Дмитриев* в числе приближенных к Ивану III лиц известен еще с 1480 г.

[18]*Мамонов Иван Григорьевич* (Меньшой) в 1495—1496 г. ездил с Иваном III в Новгород, в январе 1495 г. участвовал в приеме литовских послов. Великая княгиня Елена Ивановна, дочь Ивана III и Софьи Палеолог, была в 1495 г. выдана замуж за великого князя Литовского (1492—1501) и короля Польского (с 1501) Александра Казимировича Ягеллона (1461—1506), что знаменовало окончание московско-литовской войны и установление союзнических отношений между бывшими противниками. Одним из условий этого брака был отказ от обращения Елены в католичество. Стремление же Александра Ягеллона настоять на своем было частью его курса на осуществление решений Флорентийской (1439) унии католической и православной церквей; Мамонов, отправленный в Литву в декабре 1499 г., должен был этому воспрепятствовать, а также уверить Александра в миролюбии Москвы и Крыма.

[19]Антиправославная политика литовских великих князей во второй половине XV в. вызвала раскол в среде православных русских и литовских феодалов и массовый переход их (со своими землями) к Ивану III. Новая волна отъездов в 1499 — начале 1500 г. привела к очередной войне между Литвой и Россией, в которой литовцы потерпели в июле 1500 г. сокрушительное поражение при Ведроше (неподалеку от Ельни), после чего был фактически решен вопрос о присоединении к России большей части северских земель. *Менгли* (Мингли)-*Гирей* (ум. 1515) — крымский хан с 1468 г., деятельный союзник России, поддерживал Ивана III в войнах с Большой Ордой (1480) и с Литвой (набеги в 1500, 1501 и 1502 гг.).

[20]После смерти Менгли-Гирея в апреле 1515 г. на крымский престол сел Мухаммед-Гирей. Еще в марте он совершил неудачный набег на черниговские и северские земли, в

июле же требовал передачи Крыму восьми городов, а Литве — Смоленска, год назад отошедшего к России. Мамонов, отправленный в Крым в ноябре 1515 г., должен был восстановить российско-крымский союз и не допустить литовско-крымского сближения. Однако миссия его окончилась неудачей. *Василий Иванович* (1479—1533) — великий князь Московский с 1505 г.

[21]*Дмитриев Михаил Михайлович* в 1636—1640 гг. — московский дворянин, в 1658—1676 гг. — стольник; в 1651 г. назначен воеводой в Валуйках, в 1659 г. — в Севске, в 1663 г. — в Нежине; в конце 1670 г., по всей видимости, участвовал в подавлении крестьянских волнений в Касимовском, Кадомском и Арзамасском уездах; в 1671 и 1674 гг. — воевода в Переяславле-Рязанском. *Чашник* и *стольник* — дворцовые чины, пожалование которыми прекратилось при Петре I. *Алексей Михайлович* (1629—1676) — российский царь с 1645 г.

[22]Черкесами (черкасами; от города Черкассы) в XVII в. обычно называли украинских казаков. Значительная их часть была недовольна политикой Москвы на украинских землях, а также условиями Андрусовского перемирия 1667 г., расколовшего Украину на две части. Казакам удалось в середине 1660-х гг. освободить от польских войск Правобережную Украину, и в начале 1668 г. они подняли антимосковское восстание: запугивая московское правительство союзом с Турцией и Крымским ханством, они рассчитывали на создание в составе России автономного единого украинского государства. В 1671 г. сторонник сближения с Турцией гетман П.М. Дорошенко был смещен союзником России гетманом Левобережной Украины И.Самойловичем, которого казаки провозгласили гетманом единой Украины. Развернулась так называемая русско-турецкая война 1672—1681 гг., основным событием которой стала борьба за Чигирин. Активные военные действия против казаков, возглавляемых Дорошенко, и союзных им турок и крымцев шли в 1672—1676 гг., но и позже часть казаков продолжала ориентироваться на татар и турок.

[23]*Куракин Григорий Семенович* (до 1606 — после 1679) — администратор, полководец и дипломат; принимал активное участие в военных действиях с Крымом, Речью Посполитой и казаками. Упомянутый поход состоялся летом 1668 г., когда Куракин был первым воеводой в Севске.

[24]*Мышетский* (Мышецкий) *Борис* Ефимович в 1644 г. получил чин стряпчего, с 1647 г. — стольник, участник Литовского похода 1654 г.; в 1660-х гг. принимал активное участие в боевых действиях на Украине; был воеводой в Белгороде в 1660—1662 гг.; в 1671 г. участвовал в подавлении разинского восстания; в 1687 г., в Крымском походе, был воеводой; отставлен в 1689 г. по старости и болезни. Местнический спор Мышецкого и Дмитриева датируется июлем 1668 г. (*Эскин Ю.М.* Местничество в России XVI—XVII вв.: Хронологический реестр. М., 1994. Вып. 1. С. 203).

[25]*Дмитриев* (Мамонов) *Василий Михайлович* в 1655 г. разбил поляков при Толочине, стольник в 1658—1686 гг., в 1679 г. был вторым воеводой в Новгородском полку, в 1680—1681 гг. — воеводой в Валуйках, затем (приблизительно в 1682—1684 гг.) — в Козлове; командовал полком в 1689—1690 гг.

[26]Решение об уничтожении местничества было принято на Земском соборе в 1682 г. и закреплено так называемым «Соборным деянием» 12 января 1682 г. Василий Михайлович действительно принимал участие в работе этого собора. Два его недатированных письма П.И. Хованскому см.: Старина и новизна. М., 1905. Кн. 10. С. 330—331, 442.

[27]*Екатерина* II Алексеевна (урожд. принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская; 1729—1796) — жена Петра III, русская императрица с июня 1762 г. *Дмитри-*

ев-Мамонов Александр Матвеевич (1758—1803) состоял адъютантом при Г.А. Потемкине, в 1786 г. был представлен императрице и стал ее фаворитом. С августа того же года — флигель-адъютант, с 1788— генерал-адъютант; тогда же был возведен в графское достоинство Римской империи и сделан членом Совета при императрице.

[28]Братья *Орловы* — Алексей (1731—1807), Иван (1733—1791), Григорий (1734—1783), Федор (1741—1796) и Владимир (1743—1831) Григорьевичи. Алексей и Григорий были активными участниками заговора 1762 г., благодаря которому Екатерина получила престол. Григорий известен также как фаворит Екатерины II и усмиритель в 1771 г. «чумного бунта» в Москве. Алексей прославился победой над турецким флотом при Чесме в июне 1770 г., за что был пожалован титулом графа Чесменского. Владимир, выдвинувшийся благодаря братьям, в 1767—1774 гг. занимал должность директора Академии наук.

[29]*Потемкин* Григорий Александрович (ок. 1739—1791) — фаворит императрицы с 1774 г., имел огромное влияние на государственные дела; в 1776 г. был назначен генерал-губернатором Новороссийского края и много сделал для его развития. В 1787—1791 гг. — главнокомандующий русской армией во второй турецкой войне.

[30]*Щербатова* Дарья Федоровна (1762—1801) — фрейлина Екатерины II с 1787 г. Анекдот о том, что Екатерина застала любовников в спальне, был широко распространен. Однако, по другим сведениям, Екатерине сначала сообщили об измене фаворита, а затем подстроили ее встречу с Мамоновым и Щербатовой в царскосельском саду (см.: Записки князя Федора Николаевича Голицына // РА. 1874. Кн. 1. № 5. Стб.1328). Бракосочетание состоялось в конце июня 1789 г.; вскоре супруги уехали в Москву с условием никогда не появляться при дворе, получив в подарок от Екатерины более двух тысяч душ и сто тысяч рублей.

[31]*Записки* статс-секретаря Екатерины II Александра Васильевича *Храповицкого* (1749—1801) были известны Дмитриеву или по рукописной копии, или по публикациям 1862 г.: в «Отечественных записках» (Ч. 7—18, 20—21, 24, 27, 31, 33) или в «Чтениях Общества истории и древностей российских» (Ч. 2—3). Изложение этих событий см.: Памятные записки А.В. Храповицкого. М., 1862. С. 195—196.

[32]Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790—1863) в 1810 г. был назначен обер-прокурором 6-го департамента Сената. В 1812 г. предложил Александру I на военные нужды все свои деньги и недвижимое имущество, однако получил от императора распоряжение сформировать на эти средства кавалерийский полк. Формирование Московского казачьего графа Мамонова полка, командиром которого стал князь Б.А. Четвертинский (Мамонов остался шефом), шло очень медленно, и в боях принимали участие лишь отдельные его подразделения и офицеры, в том числе и сам Мамонов. В состав действующей армии полк вошел только в 1814 г.

[33]Мамонов принимал активное участие в деятельности масонских и ранних декабристских организаций, что не мешало ему, как и М.А. Дмитриеву, подчеркивать древность рода Мамоновых и его большие, по сравнению с Романовыми, права на российский престол. Оригинальные общественные взгляды, странности поведения и вспыльчивость Мамонова привели к тому, что в 1823 г. он был посажен на гауптвахту, затем подвергнут заключению в своем загородном доме в Васильевском (совр. адрес: Воробьевское шоссе, 4), а его имение в конце 1825 г. было отдано в опеку. В 1826 г. Мамонов отказался присягать Николаю I и был объявлен сумасшедшим; в результате принудительного лечения действительно сошел с ума и погиб вследствие несчастного случая. Современница, о трагедии Мамонова знавшая только понаслышке, передает московские слухи: «По

окончании войны он вышел в отставку, недовольный, что мало оценили его заслугу, как ему казалось; уехав в деревню, там прожил безвыездно лет двадцать и помешался в рассудке на том, что он Владимир Мономах» (*Благово.* С. 121). Подробно его биография, политические воззрения и поэтика бытового поведения рассмотрены в статье Ю.М. Лотмана «Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель» (*Лотман Ю.М.* Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. 2. С. 282—349).

[34]Сведений о нем не обнаружено.

[35]Дмитриев перечисляет цепочку прямых потомков Михаила Дмитриевича. Есть сведения, относящиеся к 1610-м гг., о существовании некоего «Нехорошего Дмитриева», арзамасского сына боярского (Русская историческая библиотека. М., 1912. Т. 28. Стб.772).

[36]Дмитриев *Константин Арефьевич* (Константин Нехорошев) — московский дворянин в 1658—1668 гг., в 1665 г. назначен воеводой в Черном Яре. «Литовский поход» 1654 и 1655 гг. (военные действия на территории Белоруссии и Литвы) — часть русско-польской войны 1654—1667 гг. Летне-осенние кампании 1654 и 1655 гг. были удачными для русских войск: взяты Полоцк, Витебск, Вильно, Динабург, Ковно; однако в 1656 г. Россия заключила с Речью Посполитой перемирие, военные действия, возобновившиеся в 1658 г., были малоуспешны, и по условиям Андрусовского перемирия (1667) занятые территории в состав России не вошли.

[37]*Кокшайск* — небольшая крепость, основанная в 1574 г. в землях черемис (марийцев), центр уезда; в XIX в. — село Кокшайское. В начале 1660-х гг. в нем числилось всего 12 детей боярских. Не исключено, впрочем, что Дмитриев имеет в виду Царевококшайск (ныне Йошкар-Ола). В результате пожаров, неоднократно случавшихся на протяжении трех столетий, архивы обоих городов за XVII в., по-видимому, полностью утрачены. Городовые дети боярские (низшая, самая массовая прослойка служилых людей «по отечеству») были объединены в корпорации по уездам, где они имели поместья; московские дворяне — одна из высших категорий служилых людей, представители которой включались в боярские списки. Под «окладом» следует понимать земельную «дачу» и денежное жалованье, на которые мог претендовать служилый человек; размеры их зависели от «чина».

[38]*Дмитриев Семен Константинович* — в 1677 г. воевода в Черном Яре, в 1681 г. пожалован чином московского дворянина, в 1686—1687 гг. был воеводой в Пензе; участвовал в Крымских походах 1687 и 1689 гг. под руководством В.В. Голицына.

[39]Вероятно, речь идет о событиях 1672—1681 гг. на Украине, когда противостояние с Дорошенко вылилось в военные действия с крымскими и турецкими войсками. *Второй стрелецкий бунт* — так называемая «хованщина» (июнь—ноябрь 1682 г.); в целях безопасности царевна Софья, цари Петр и Иван Алексеевичи, верные им войска, бояре и двор обосновались в селе Воздвиженском (на полпути между Троице-Сергиевой лаврой и Москвой), а впоследствии, при слухе о возможном походе на село мятежных стрельцов, переехали в лавру, куда в спешном порядке были стянуты отряды служилых людей.

[40]Имеются в виду знаки высших орденов (или высших степеней орденов). Первый орден (св. Андрея Первозваного) был учрежден в 1699 г.

[41]Противопоставление двух систем наград не совсем правильно, поскольку пожалование земель с крестьянами продолжалось в течение всего XVIII в. и было прекращено только в царствование Александра I.

[42]После отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. крестьяне продолжали оставаться держателями надельной земли и, кроме того, получали право по соглашению с

помещиком выкупить часть его земель при посредничестве и финансовой поддержке государства. Александр II (1818–1881) – российский император с 1855 г.

[43]В архивах указанные грамоты нами не обнаружены.

[44]То есть старопечатным, «кирилловским» шрифтом, существовавшим до реформы русской азбуки в 1708 г., когда был введен упрощенный «гражданский» шрифт и отменено несколько избыточных букв.

[45]Двенадцатая строфа стихотворения М.А. Дмитриева «К безыменному критику» (Стихотворения–1865. Ч. 1. С. 36). Аналогичные идеи Дмитриев высказывал неоднократно; см., например, датированное 31 августа 1849 г. стихотворение «Ответ демократу» (Там же. С. 208–209).

[46]До 1851 г. Самара была уездным городом Симбирской губернии.

[47]Благовещенский-Вознесенский-Кашпирский мужской монастырь был основан не позднее 1699 г. (*Зверинский В.В.* Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи, с библиографическим указателем. СПб., 1897. Вып. 3. С. 22). Вероятно, С.К. Дмитриев выстроил лишь новый храм и другие монастырские сооружения.

[48]*Коллегия экономии* (Коллегия экономии синодального правления) действовала в 1726–1744 и 1763–1786 гг. и управляла синодальными, архиерейскими и монастырскими имениями. В 1764 г. была проведена секуляризация большей части церковных земель, подготовленная еще при Елизавете Петровне (1757) и Петре III (1762).

[49]Симбирская епархия была выделена из Казанской в 1832 г.

[50]*Невоструев* Капитон Иванович (1815–1872) – русский палеограф и археограф. Окончил Московскую духовную академию (1840); широко известен составленным вместе с А.В. Горским «Описанием славянских рукописей Московской синодальной библиотеки» (Т. 1–6. М., 1855–1917). Родом из Елабуги; в 1840–1849 гг. был профессором семинарии в Симбирске, где с 1843 г. занялся археологией, историей монастырей и церквей края, предпринимая разыскания в консисторском и других архивах, а также поездки по губернии, в том числе и в Сызрань; в вакационное время привлекал к этой работе своих учеников. По всей видимости, Дмитриев с начала 1850-х гг. много общался с Невоструевым: в «Мелочах...» он ссылается на полученную от ученого роспись приданого своей бабки (С. 10); известно о встрече Дмитриева и Невоструева в 1851 г. (*Барсуков. Погодин.* Кн. 11. С. 356). Под приложением к «Главам...», возможно, имеется в виду «Описание Кашпирского Благовещенского Симеонова монастыря», написанное Невоструевым еще в 1849 г. и опубликованное уже после смерти Дмитриева (Древности. Археологический вестник. 1867. № 5 (сентябрь–октябрь). С. 220–225). Ниже ссылки даются по отдельному оттиску (М., 1868) из *Библиотеки* (№ 1853).

[51]Монастырь назывался Симеоновским по имени его устроителя (Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С. 203).

[52]В этот день полагается соблюдать строгий пост.

[53]*Дикий камень* – грубо или вовсе не обработанный камень.

[54]Невоструев приводит более подробные сведения о службе и земельных владениях прапрапрадеда Дмитриева: «Семен Константинович, также стольник, имел и оставил по себе следующее недвижимое имение, жалованное за заслуги отца и свои, именно в Турецкой войне 1672–1681 г., Троицком походе 1683 г., при устройстве Кашпира и по случаю мира с Польшею 1686 г., частию же выменянные: в Курмышском уезде при селах Семеновском, Ивашкине и др. местах 103 четверти земли со крестьяны и со всеми угодьи (дано

1675 г.), в Симбирском уезде по рекам Юшанке 130 ч. (1682 г.), Тукшулу 50 ч. (1683 г.), на реке Свияге 80 ч. (1692 г.), ниже города Кашпира при р. Волге по нагорной стороне 684 ч. (1682, 1698, 1699, 1703, 1704 г.), наконец по рекам большому и малому Темерику (1704 г.) 1150 четей, всего 2197 четей, с лесом, сенными покосы и со всеми угодьи. В сих дачах на р.Юшанке Семен Константинович построил село Покровское Дмитриевское, в просторечии — Опалиха, ниже Кашпира — Благовещенский монастырь и далее в 3 от него верстах сельцо Богоявленское Симеоновка, потом Карамзинка тож, и против нея за Волгой деревню Дмитриевку, и на реке большом Темерике село Троицкое, Дмитриева и Симеоновское тож (по Саратовскому из Симбирска тракту за 28 верст до Сызрана). [Впоследствии, когда это село разделено было между двумя его сыновьями Яковом и Иваном, Иван Семенович и в другом доставшемся на его часть конце построил (нынешнюю) каменную церковь, и отсюда произошло здесь другое село — Богородское. — *Примеч. К.И. Невоструева.*] По гражданской службе Семен Константинович в 1686 г. является Пензенским воеводою, в 1689 г. по царскому указу из Симбирска послан в новопостроенный город Кашпир для наделения переведенных сюда солдат землями со всеми угодьи, что он и исполнил; в 1706 г. является в Кашпире воеводою и в августе сего же года разных переведенцев в новопостроенный город Алексеевск (ныне пригород близ Самары) наделяет землями и угодьями, а в 1708 г. сент. —1709 июне был в Симбирске воеводою, в 1715 и 1716 г. комендантом в городе Сызране. Вообще был человек благочестивый и к церкви Божией усердный, по преданию — последние годы свои провел в основанном им Благовещенском монастыре в нарочно устроенной при приделе св. Иоанна Богослова каменной келье (на 2 квадр. саженях). Умер около 1742 г. и погребен в сем же монастыре под алтарем настоящей церкви» (*Невоструев К.И.* Указ. соч. С. 2—3).

[55]Составление боярских списков было прекращено в 1713 г.; какой документ имеет в виду Дмитриев, неясно.

[56]*Церковь Заиконоспасского монастыря* (основан в 1600 г.) — скорее всего имеется в виду Спасский собор середины XVII в. в стиле барокко, перестроенный в первой половине XVIII в. И.П. Зарудным и И.Ф. Мичуриным (ул. Никольская, 7). Церковь Иоанна Воина с восьмигранной колокольней, приписываемая также Зарудному, была возведена в 1709—1713 гг. (ул. Б. Якиманка, 46—48).

[57]Дмитриев *Иван Гаврилович* (1736—1818).

[58]*Катон* (Старший) Марк Порций (234—149 гг. до н.э.) — древнеримский политический деятель, прославившийся борьбой за суровые староримские нравы, а также как неподкупный и беспристрастный судья.

[59]Дмитриев Александр Иванович (1756 или 1759—1798) обучался вместе с младшим братом Иваном в пансионах Манженя (Казань) и Кабрита (Симбирск). Затем служил в Семеновском полку (фактически с 1774): 22 ноября 1772 г. — солдат, 26 марта 1775 г. — капрал, 21 апреля — фурьер, 10 февраля 1776 г. — подпрапорщик, 15 февраля 1777 г. — каптенармус, 7 января 1778 г. — сержант, 1 января 1787 г. — прапорщик, 1 января 1788 г. — подпоручик. По именному указу от 10 мая 1789 г. выпущен в армию премьер-майором в Псковский пехотный полк, 16 декабря 1789 г. переведен в Ямбургский карабинерный полк, а 20 декабря 1790 г. был причислен к Софийскому пехотному полку «сверх комплекта». В 1789 г., во время русско-шведской войны, «при Кемене городе с ротою на батареях июля 8 числа, при мызе Тавастиле в действительном сражении при прогнании шведского войска в свои границы, находился» (Формулярные и именные списки

Софийского пехотного полка за 1795 г. // РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. № 857. Л.65 об.—66). Согласно другому источнику, заменив убитого командира батальона, возглавил атаку и заставил неприятеля отступить от горящего моста, однако в «Истории Псковского пехотного полка» Н.И. Гениева (М., 1883) при описании сражений у Кюменьгородского поста и деревни Стортавастилла 7—9 июля 1789 г., равно как и других боев, Дмитриев не упоминается, хотя в полку в это время числился (С. 89, 94—98). Не исключено, что Дмитриев реально продолжал службу в Семеновском полку, по крайней мере именно в хрониках этого полка встречаем эпизод с мостом, подожженным отступающими шведами, по которому командир (в этом качестве упомянут принц Нассау-Зиген) повел солдат в атаку (*Дирин П.* История лейб-гвардии Семеновского полка. СПб., 1883. Т. 1. С. 308). Что же касается службы Дмитриева в Суздальском мушкетерском полку, то скорее всего он перешел туда в 1796 г.: в полку в июле 1797 г. числится «майор Дмитриев». Полк стоял с 1786 г. на Оренбургской линии, т.е. в относительной близости к Симбирску, затем летом 1796 г. двинулся в Астрахань, принял участие в Персидском походе и в конце того же года вошел в состав Кавказской (10-й) дивизии (*Плестерер Л.Л.* История 62-го пехотного Суздальского... полка. Белосток, 1903. Т. 3. С. 38—39, 58—60, 262) — все это находит подтверждение как в рассказах М.А. Дмитриева об обстоятельствах службы отца, так и в письмах самого А.И. Дмитриева этого периода (см. примеч. 17 к гл.1).

[60]Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — известный поэт конца XVIII — первой четверти XIX в., министр юстиции в 1810—1814 гг. Подал в отставку ввиду «невозможности быть вполне полезным». Примеры «прямоты» И.И. Дмитриева приведены его племянником в «Мелочах...» (С. 138—141).

[61]Впервые опубликовано: Стихотворения—1865. Ч. 1. С. 205—207.

[62]*Откупа* — порядок взимания налогов, при котором заинтересованное лицо вносит в казну приблизительную сумму налога, получая право торговать установленным товаром (если налог косвенный) или собирать его с плательщиков (в случае, если налог прямой). Еще с XVI в. в России периодически отдавали на откуп торговлю спиртными напитками (винные откупа). Отменены в 1860—1863 гг.

[63]В конце «Введения» Дмитриев проставил дату окончания работы над ним: «25 мая 1864. Москва».

Глава 1

[1]"Християнский календарь на лето от рождества Христова 1784, а от сотворения мира 7292, которое есть високосное и содержит в себе 366 дней...» был составлен ректором Славяно-греко-латинской академии, архимандритом Заиконоспасского монастыря Аполлосом (Байбаковым) и вышел в Москве в 1784 г. В 1792 г. в связи с арестом Николая Ивановича *Новикова* (1744—1818) — издателя, журналиста, масона — и закрытием его типографии остатки тиража «Християнского календаря» (в числе прочих изданий) были конфискованы, почему издание и стало редким.

[2]Дмитриева (урожд. Пиль) *Марья Александровна* (ум. 1806) — с 1794 г. жена А.И. Дмитриева; мать М.А. Дмитриева.

[3]23 мая православная церковь празднует память двух святых, носивших одно имя: преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (ум. 821) и мученика Михаила Черноризца, также в IX в. пострадавшего за отказ принять мусульманство.

[4]Дмитриева *Анна Ивановна* (ум. 1812) — старшая из дочерей И.Г. Дмитриева.

[5]*Салтыков* Николай Иванович (1736—1816) генерал-аншеф (с 1773), генерал-фельдмаршал (с 1796), президент Военной коллегии (1796—1802), сенатор.

[6]Указ Павла I от 8 ноября 1796 г. предписывал, «чтобы все отпускные гвардии офицеры непременно явились в свои полки в срок по узаконению. Все офицеры, не исправляющие должности, так как камергеры, камер-юнкеры, выключаются из полков вон» (Цит. по: *Шильдер Н.К.* Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901. С. 289).

[7]Дмитриев дослужился до чина действительного статского советника (1839), но вследствие конфликта с начальством вышел в отставку в 1847 г. Об этом см. в гл. 21.

[8]Зачеркнуто: «суматоха».

[9]В тексте повтор: «как как».

[10]*Бабушка* — Дмитриева Екатерина Афанасьевна (1737—1813), *тетки* — упомянутая выше Анна Ивановна, а также Надежда Ивановна (ум. 1849), средняя из сестер Дмитриевых, и Наталья Ивановна (1780—1866).

[11]Дмитриева Елизавета Николаевна (ум.1865) — двоюродная сестра мемуариста, дочь Николая Ивановича Дмитриева. В 1820 г. вышла за Петра Сергеевича Пазухина, двоюродного племянника Н.М. Карамзина (см. гл. 7).

[12]*Воевода* — назначенный правительством глава местной административной и военной власти. Должность была упразднена в 1775 г.

[13]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (л.12 об.—14). О бессилии властей в борьбе с разбойниками в Среднем Поволжье в конце XVIII — начале XIX в. см. также: Воспоминания В.И. Панаева // ВЕ. 1867. Т. 3. С. 211, 214; *Де-Пуле.* № 4. С. 518—520, 524, 541.

[14]Оспу в России начали прививать в 1768 г., когда из Англии был приглашен врач Т. Димсдэйл (1712—1800). Первыми его пациентами стали Екатерина II, Г.Г. Орлов, наследник Павел Петрович, а за ними и многие жители столицы, но в провинции в последней трети XVIII — начале XIX в. прививок по-прежнему не делали. Ср. свидетельство Е.П. Яньковой: «Осенью 1770 года было сильное оспинное поветрие; оспы тогда еще не умели прививать и ждали, чтобы пришла натуральная» (*Благово.* С. 21).

[15]Кормилица Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» (1782), также имела отчество Еремеевна.

[16]Данные о службе А.И. Дмитриева см. в примеч. 59 к Введению.

[17]Черноморское казачье войско было создано в 1787—1788 гг. по инициативе Г.А. Потемкина из бывших запорожцев (под названием «Войско верных казаков»). За заслуги в русско-турецкой войне 1787—1791 гг. было переименовано в Черноморское казачье войско и получило земли между Днепром и Южным Бугом. В 1792—1793 гг. для закрепления за Россией территории Северного Кавказа значительная часть казаков была переселена на Кубань. «Столицей» Черноморского войска стал Екатеринодар (основан в 1793 г.). См. также: *Щербина Ф.А.* История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1910—1913. Т. 1—2. Упоминаемая командировка состоялась не позже весны 1797 г.; 18 мая А.И. Дмитриев писал из Астрахани, где он уже находился с полком около полугода, А.А. Пилю, своему тестю: «Вчерась с нарочным от Гудовича получено повеление к коменданту чтобы для наших рот нанять лошадей и отправить в Георгиевск и мы завтра выступим а квартиры нам назначены на Усть-Лабе» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 9. Л.3; сохранена пунктуация подлинника).

[18]Слабое здоровье А.И. Дмитриева (унаследованное его сыном) беспокоило его младшего брата Ивана. В его письмах к Александру Ивановичу (весна 1797 г.) читаем: «Сердечно сожалею о слабости твоего здоровья; ради Бога, послушай прежнего моего совета и пусти кровь»; «Я сегодня получил от тебя вдруг два письма; они больше бы меня порадовали, если бы ты был спокойнее и здоровее» (Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 416—417). Как явствует из этих писем, старший Дмитриев в конце жизни тяготился военной службой; брат утешал его: «будь терпеливее, братец; авось <...> фортуна перестанет играть тобою <...> Если ты получишь отставку, то ради Бога приезжай и с Марьей Александровной в Петербург; может быть, я буду столько счастлив, что чрез благодетелей моих найду и тебе хорошее место» (Там же. С. 417).

[19]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 15).

[20]В рукописи это приложение отсутствует.

[21]Дмитриев *Сергей Иванович* (ум. 1829) служил, как и старшие братья, в Семеновском полку (1797—1799), но пожертвовал «сыновней любви всеми выгодами честолюбия и независимости» (Взгляд. С. 220). Был предводителем сызранского дворянства в 1809—1811 и 1816—1820 гг. и заседателем гражданской палаты Симбирска в 1813—1815 гг.

[22]«Собрание писем Абельярда и Элоизы, с присовокуплением описания жизни сих несчастных любовников» (М., 1783).

[23]Сочинение Э. К.Фрерона и П. Э.Кольбера д'Эстутвиля «Adonis» (Londres; Paris, 1775) в переводе А.И. Дмитриева вышло под заглавием «Адонид. С присовокуплением некоторых любовных стихотворений Кастриотта Албанского» (М., 1783).

[24]Выполненный А.И. Дмитриевым перевод одноактной драмы швейцарского писателя К.И. Мюллера фон Фридберга «La prise de Sainte-Lucie» (Lausanne, 1781) назывался «Взятие св. Лукии, Антильского американского острова» (М., 1786).

[25]Основой для прозаического переложения А.И. Дмитриевым эпической поэмы Л. ди Камоэнса «Лузиады» (Т. 1—2. М., 1788) послужил французский перевод, выполненный Ж. Ф. Лагарпом. Дмитриев снабдил его своими краткими примечаниями.

[26]Речь идет о прозаическом переводе с французского «Поэм древних бардов» Дж. Макферсона (СПб., 1788).

[27]Речь идет о прозаическом похвальном слове «Слава русских и горе шведов» (СПб., 1790). Это сочинение и все упомянутые переводы А.И. Дмитриева сохранились в составе *Библиотеки.*

[28]Московский журнал. 1792. Ч. 8. Декабрь (подпись: «*-въ*»).

[29]О строках, относящихся к А.И. Дмитриеву в «Письмах русского путешественника», см. ниже, примеч. 41. Элегия в прозе «Цветок на гроб моего Агатона» (1793) посвящена памяти А.А. Петрова, близкого друга Карамзина; здесь приведен отрывок из письма А.И. Дмитриева к Карамзину о последних днях Петрова: «"Я говорил с ним за два дни до кончины его (пишет ко мне любезной Д***), и никогда не перестану удивляться силам души его" — а я, за сие удивление, никогда не перестану любить тебя, милой Д***» (*Карамзин Н.М.* Сочинения. М., 1803. Т. 7. С. 17). Ряд упоминаний об А.И. Дмитриеве см.: ПКД (по указ.; некоторые письма Карамзина за конец 1780-х — начало 1790-х гг. обращены к Александру и Ивану Дмитриевым одновременно). Свою приязнь Карамзин перенес на М.А. Дмитриева: «Поцелуй от моего имени любезного племянника. И я любил отца его!» (письмо к И.И. Дмитриеву от 28 марта 1800 г.: ПКД. С. 115).

[30]*Грот* Яков Карлович (1812—1893) — языковед, историк литературы, переводчик. Речь идет об издании «Сочинения Г.Р. Державина с объяснительными примечаниями

Я.К. Грота» (Т. 1—9. СПб., 1864—1883). Дмитриев успел ознакомиться с первым и вторым томами. Имя А.И. Дмитриева упоминается в т.1 (С. 344, 461, 800), т.5 (С. 41) и т.8 (С. 603,755). В *Библиотеке* имеются работы Грота о Державине и подготовленные им публикации произведений поэта и относящихся к нему архивных материалов: «Жизнь Державина» (вырезка из журнала «Русский вестник». Т. 26. С. 331—378), «Рукописи Державина и Н.А. Львова. Отчет Я.К. Грота II Отделению Академии наук» (оттиск из «Известий II Отделения Императорской Академии наук». 1859. Т. 2. Вып. 4), «План академического издания сочинений Державина» (оттиск из «Известий II Отделения Императорской Академии наук». 1859. Т. 8. Вып. 2), «Читалагайские оды Державина» (М., 1859), «Записка о ходе в 1860 г. приготовительных работ по изданию Державина...» (СПб., 1860) и «Материалы для биографии Державина. 1773—1777...» (СПб., 1861), «Характеристика Державина как поэта» (извлечение из изд. «Торжественное собрание Императорской Академии наук 29 декабря 1865». СПб., 1866. № 655, с дарственной надписью Грота). *Библиотека* содержит также целый ряд других сочинений Грота: «Альманах в память двухсотлетнего юбилея императорского Александровского университета» (Гельсингфорс, 1842), «Белинский и его мнимые последователи» (извлечение из «Санктпетербургских ведомостей. 1861. № 109), «Письма Ломоносова и Сумарокова к И.И. Шувалову. Материалы для истории русского образования» (Приложение к «Запискам Императорской Академии наук». 1862. Т. 1. № 1), «Материалы для истории пугачевского бунта. Бумаги Кара и Бибикова» (Приложение к «Запискам Императорской Академии наук». 1862. Т. 1. № 4), «Очерк академической деятельности Ломоносова» (СПб., 1865) и путевые записки «Переезды по Финляндии от Ладожского озера до реки Торнео» (СПб., 1847. № 316, с дарственной надписью: «Милостивому Государю Михаилу Александровичу Дмитриеву, с искренним уважением от автора» и владельческим инскриптом: «Мих. Дмитриев. 24 Апреля 1861»).

[31]*Сен-Мартен* Луи Клод де (1743—1803) — французский философ-мистик. Наиболее последовательно его учение изложено в трактатах «Des erreurs et de la vérité» (1775); в *Библиотеке* имеется несколько изданий этого труда на языке оригинала (Salomonopolis, 1781; Edinburgh, 1782; Salomonopolis, 1784) и русский перевод — «О заблуждениях и истине...» (М., 1785). В книжном собрании Дмитриевых находятся и другие сочинения Сен-Мартена: «Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers» (Edimbourg [Lyon], 1782), «Ecce homo» (Paris, 1792), «De l'esprit des choses, ou Coup d'oeil philosophique sur la nature des êtres et sur l'objet de leur existence» (T. 1—2. Paris, 1799—1800) и конволют из четырех сочинений: «Lettre à un ami, ou Considérations politiques, philosophiques et religieuses sur la revolution française» (Paris, 1794—1795), «Eclaire sur l'association humaine» (Paris, 1797), «Reflexions d'un observateur sur la question» (S.l., s.d.), «Essai sur les signes et sur les idées» (S.l., [1798—1799]). Кроме того, в *Библиотеке* есть книга о Сен-Мартене французского историка и философа Жака Маттера (1791—1864) — «Saint-Martin, le philosophe inconnu, sa vie et ses écrits, son maitre Martinez et leurs groupes d'après des documents inédits» (Paris, 1862).

[32]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 15 — 15 об.).

[33]При передаче французского имени по-русски Дмитриев держит в памяти французское написание (St Pierre); отсюда «Ст.» вместо русского эквивалента «Сен» или французского Saint (St). Правильнее было бы: Бернарден де Сен Пиер.

[34]Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737—1817) — французский писатель, автор сентиментального романа «Поль и Виргиния» (1787), главные герои которого, свобод-

ные от пороков цивилизации, наделены идеальными чертами. Это произведение было весьма популярно в России. Русское издание, упоминаемое Дмитриевым, вышло в Москве в 1793 г. (перевод А.Подшиваловой); имеется в *Библиотеке.*

[35]По-видимому, М.А. Дмитриева крайне болезненно переживала разлуку с мужем в 1796—1798 гг. и тяготилась жизнью в Богородском. По письмам А.И. Дмитриева к жене можно судить о ее душевном состоянии. 23 февраля 1797 г. он писал из Астрахани: «Возлюбленная моя, друг мой сердечный, Марья Александровна! <...> прошу тебя моего друга милова ради бога впредь во мне не сумневайся не прибавляй тем еще огорчения к огорчениям, которых и так много; так много что право иногда голова кружится и нередко умываюсь слезами; верь мой друг сердечной что люблю тебя очень много и право переменяться не удобен; <...> ободряй мой друг себя надеждою ты сама говаривала что в самых крайних обстоятельствах всегда очевидно бог подавал тебе свою помощь; неужли он нас оставит теперь <...> во всем касающемся до службы я решился предать себя провидению, даже скажу тебе чтоб есть ли случится так что меня и выключат, то и сие не столь много меня огорчит как бы то было прежде, потому что ето уже стало не в диковинку когда и генерал аншефов выключают и фелдмаршалам делают публичные выговоры, за сущие малости» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 10. Л. 1—1 об.). Дмитриев неоднократно просил А.А. Пиля забрать дочь из Богородского, чего тот, однако, не исполнил: «Я вас батюшка осмеливаюсь покорнейше просить зделайте милость выпишите к себе Марью Александровну ее письма столько исполнены грустью даже до отчаяния доходит <...> божусь вам что за великое щастие почел бы есть ли б меня выключили из службы и тем бы доставилось средство скорее с нею увидеться, — воображение о ее положении и наполненные горестью письма столько мое здоровье расстроили что я и сам насилу брожу» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 9. Л.1; в приведенных отрывках сохранены орфография и пунктуация подлинника).

[36]*Пиль* Александр Алферьевич был записан на службу в 1741 г.; в 1784—1795 гг. служил советником уголовной палаты в Саратове (в чине надворного советника). Сохранилось раннее письмо М.А. Дмитриева к деду (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 14) — поздравление с производством в чин; к письму приложен детский акварельный рисунок, изображающий мальчика за письменным столом, на котором стоят игрушечная лошадка и солдатик; стол находится посреди деревенского двора, обнесенного забором; рядом пруд, дом, деревья; по небу летят утки.

[37]*Владимирский крест* — знак второй—четвертой степеней российского ордена св. равноапостольного князя Владимира, учрежденного в 1782 г. по приказу Екатерины II. В царствование Павла I награждение орденом св. Владимира не производилось, поэтому число кавалеров до 1801 г. было небольшим.

[38]Пиль *Иван Алферьевич* (ум. 1801) на службе с 1745 г.; подполковник (с 1763), генерал-майор (с 1775). В 1782 г. назначен губернатором Лифляндии (в чине генерал-поручика); иркутский генерал-губернатор (1788—1794). В декабре 1794 г. переведен в Симбирск.

[39]Якоби (*Якобий*) Иван Варфоломеевич (1726—1803) — иркутский генерал-губернатор (с 1783). В 1786 г. было возбуждено дело о его «намерении возмутить Китай против России». Будучи статс-секретарем, Г.Р. *Державин* (1743—1816) много занимался этим делом, в том числе четыре месяца ежедневно читал императрице «сенатский экстракт». В итоге Якоби был полностью оправдан. Подробнее см.: *Державин.* Т. VI. С. 633—643.

[40]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 16 — 16 об.).

[41]В «Письмах русского путешественника» (письмо от 26 мая 1789 г.) читаем: «В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д**, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он нещастлив!..» (*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 6). В комментарии Ю.М. Лотман указывает, что здесь имеется в виду чувство А.И. Дмитриева к М.А. Пиль, которое «считалось в дружеском кругу эталоном нежной страсти» (С. 614). Однако 1789 год — время неудачного сватовства А.И. Дмитриева к Тишевской, и этим легко объясняется его желание ехать «искать смерти, которая одна может окончить» его страдания (Там же. С. 6; в июне 1790 г. Карамзин справлялся об А.И. Дмитриеве: «время и воинской шум рассеяли ли мрачность его?» — ПКД. С. 14). Брак с М.А. Пиль (заключенный, судя по рассказу М.А. Дмитриева, вскоре после знакомства с ней) — событие, относящееся к 1794 г. (см. об этом письмо Карамзина И.И. Дмитриеву от 2 августа 1794 г. — ПКД. С. 49). Этот роман имел место не в Петербурге, где А.И. Дмитриев с 1789 г. не служил, а в Сарепте, и затем, видимо, в Саратове.

[42]Голубок комедия, сочинение г-жи Жанлис. Перевел с французского лейб-гвардии Преображенского полку сержант 12 лет от рождения Сергей Тишевской. СПб., 1789 (экземпляр этого издания имеется в *Библиотеке*). Оригинал — одноактная комедия «La Colombe» — входит в многотомный и чрезвычайно популярный сборник драматических произведений, сочиненных специально для детей и предназначенных для любительских детских постановок — «Théâtre d'éducation par M-me de Genlis». По «Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII века» (Т. 5. М.; Л., 1967. С. 193) переводчиком «Голубка» значится Сергей Андреевич Тишевский (1777—1806). Возможно, что он приходился возлюбленной А.И. Дмитриева не родным братом; не исключено также, что мемуарист мог ошибиться в отчестве Тишевской. Историю перевода «Голубка» записал со слов Дмитриева и М.Н. Лонгинов (Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056. Л. 29 — указано С.И. Пановым).

[43]*Сарепта* (Сарпа; с 1920 г. Красноармейск, с 1931 — в черте Волгограда) — немецкая колония в Царицынском уезде Саратовской губернии, на реке Сарпе, впадающей в Волгу. Основана в 1765 г.; Екатерина II даровала Сарепте освобождение от всех налогов на 30 лет. Поблизости от поселения располагались Сарептские минеральные воды — горько-соляные источники (щелочной и железный), пригодные для питья и ванн. Сарепта долгое время оставалась популярным курортом. Так, А.Ф. Воейков рекомендовал «прибегнуть к целительным водам для поправления здоровья, службой расстроенного» (Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая, бывшей столицы ханов Золотой орды // Новости литературы. 1824. Июль. С. 4). В письме от 12 октября 1798 г. Карамзин писал И.И. Дмитриеву: «Я согласен с тобою, что добрую жену скорее можно найти в Сарепте, нежели на сцене большого света и в так называемой bonne compagnie» (ПКД. С. 104).

[44]Имеется в виду графиня Анна Петровна Броглио (урожд. Левашева; в первом браке была за кн. А.Ю. Трубецким); «графиня была хороша, видного роста и приятного обращения» (*Долгоруков И.М.* Капище моего сердца. М., 1890. С. 40); по словам А.Я. Булгакова, «бойкая особа» (письмо к К.Я. Булгакову от 29 августа 1808 г. // РА. 1899. № 9. С. 69). См. о ней также примеч. 74 к гл.5.

[45]*Чарторижский Адам* (1770—1861) — польский князь, друг юности Александра I, член Негласного комитета, товарищ министра (1802—1804), а затем министр иностранных дел (1804—1806), сенатор, член Государственного совета, попечитель Виленского

учебного округа (1803–1824), глава Национального правительства во время Польского восстания 1830–1831 гг., после подавления которого эмигрировал во Францию.

[46]Текст в прямых скобках – вставка из писарской копии ГИМ (Л. 17 – 17 об.)

[47]*Лития* – молитвословие об упокоении души умершего при церковном поминовении.

[48]Дмитриев И.И. Стихи на случай священного коронования его императорского величества государя императора Александра Первого. М., 1801; в позднейших изданиях печатались под названием «Песнь на день коронования его императорского величества...». Экземпляр первой публикации имеется в *Библиотеке.*

[49]Т.е. путала род существительных и ошибалась в правописании глаголов; следует: se promener (прогуливаться), ce livre (эта книга).

[50]Имеется в виду одна из двух книг М.Н. Соколовского: «Французская грамматика с российским переводом, расположенная по вопросам и ответам...» (М., 1781) или «Сокращенная французская грамматика, расположенная по вопросам и ответам, с российским переводом...» (М., 1762); каждая по нескольку раз переиздавалась до конца XVIII в. Одно из этих изданий имеется в *Библиотеке: Соколовский М.* Сокращенная французская грамматика. М., 1788.

[51]Новая французская грамматика, сочиненная вопросами и ответами. Собрана из сочинений г-на Ресто и других грамматик. Перевод Василия Теплова. СПб., 1752 (2-е изд. – 1762). Оригинал – выдержавшая множество переизданий книга французского адвоката и грамматиста Пьера *Ресто* (1696–1764) «Abrégé des principes de la grammaire françoise, dédié aux enfants de France» (Paris, 1739). Теоретическая часть построена в виде вопросов и ответов, практическая представлена образцами спряжений и склонений. Это издание, в свою очередь, является сокращенным вариантом пространного труда того же автора «Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, avec des observations sur l'orthographe, les accents, la ponctuation et la prononciation; et un abrégé des règles de la versification françoise» (Paris,1739).

[52]Эзоп – греческий баснописец VI в. до н.э. «*Юлия*» – повесть Н.М. Карамзина (1796). Вероятнее всего, Дмитриев переводил басни на французский из книжек журнала «Детское чтение» (Ч. 1–20. 1785–1789), где они регулярно печатались. В *Библиотеке* есть полный комплект этого журнала. Возможно также, что Дмитриев использовал книгу «Езоповы басни с баснями латинского стихотворца Филельфа» (М., 1792).

[53]«L'Enfant-géographe, étrennes intéressantes» (Paris, 1786) – учебное пособие по географии, астрономии и геометрии, книжечка карманного формата (в 16-ю долю листа), с календарем фаз луны, картами природных зон, земли и неба, чертежами различных геометрических фигур. Сообщаемые сведения изложены здесь в традиционной для XVIII в. форме вопросов и ответов; сама метóда, по словам анонимного автора, «столь проста, что вы сможете за короткое время постичь эти науки <...>, не прибегая к помощи учителя».

[54]Имеется в виду вышедшее в трех томах сочинение французской детской писательницы Жанны Марии Лепренс де Бомон (1711–1780) «Education complète; ou Abrégé de l'histoire universelle, mêlée de géographie, de chronologie, à l'usage de la famille royale de S.A.I. la Princesse de Galles» (Londres, 1753). Сведения по древней истории (библейской, греческой и римской) даны здесь как в форме вопросов и ответов, так и в обычном изложении. В *Библиотеке* имеются 2-й (1805) и 4-й (1803) тома одного из более поздних изданий, появившегося в Париже. Книга была издана по-русски, в частности, Н.И. Новиковым: «Воспитание совершенное, или Сокращенная древняя история с показанием

географических и хронологических мест, сочиненное на французском языке г-жею ле Пренс де Бомонт, а на российский язык переведенное <...> протоиереем Иваном Харламовым» (Т. 1–3. М., 1787). О популярности сочинений де Бомон в России говорят и их многочисленные переводы на русский язык, и сохранившиеся экземпляры из помещичьих библиотек (см., например: *Морозова Н.П.* Библиотека дворян Башмаковых-Верещагиных (XVIII – начало XIX в.) // XVIII век. Сб.18. СПб., 1993. С. 359).

[55]Законом, принятым Учредительным Собранием 15 января 1790 г., старое административное деление Франции на провинции (в число которых входили Нормандия и Пикардия) упразднялось; страна разделялась на 83 департамента.

[56]«Северная пчела» – французская газета, выходившая с января 1803 по 1811 г. в Альтоне (город на р. Эльба в земле Шлезвиг-Гольштейн, принадлежавший с середины XVIII в. по 1864 г. Дании). Косвенным свидетельством пристального внимания И.Г. Дмитриева к политическим событиям эпохи является его владельческая запись на сочинении Сегюра «Политическая картина Европы» (Ч. 1–2. СПб., 1806 – в *Библиотеке* № 2377) – о получении книги из Москвы от сына Ивана в октябре 1806 г.

[57]Т.е. в войну 1805–1807 гг. Манифест о составлении и образовании повсеместных временных ополчений или милиции в 612 тысяч ратников был подписан 30 ноября 1806 г. После заключения Тильзитского мира милиция была распущена.

[58]В сражении при Аустерлице 20 ноября 1805 г. Наполеон одержал победу над соединенными русско-австрийскими войсками, что решило исход кампании 1805 г. и судьбу третьей антифранцузской коалиции.

[59]По Тильзитскому мирному договору (заключен 25 июня 1807 г.) Россия признавала все завоевания Наполеона в Европе, обязывалась вывести войска из Молдавии и Валахии, заключала мир с Турцией (Наполеон брал на себя роль посредника) и присоединялась к континентальной блокаде, объявленной в 1806 г. Наполеоном и означавшей запрещение торговли с Великобританией. «Континентальная система <...> подорвала совершенно нашу вывозную торговлю, повела к банкротству многих торговых домов <...> Пуд сахара в 1808 г. стоил в Петербурге 100 рублей» (*Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993. С.82, 431).

[60]По свидетельству И.И. Дмитриева, в этой библиотеке были и духовные книги: «Маргарит» (поучительные слова) Иоанна Златоуста, Острожская Библия (Взгляд. С. 19). В *Библиотеке* имеются две части книги «Дух или мысли св. Иоанна Златоуста» (1-я половина года; 2-я половина года. М., 1781).

[61]*Библейское общество* в России было создано в 1813 г. В 1816 г. выпустило славянскую Библию (23-е издание Библии на церковно-славянском языке), в 1818 г. вышел перевод четырех Евангелий на русский язык; в 1821 г. появилось новое русское издание Четвероевангелия вместе с книгой Деяний апостольских и первыми десятью посланиями.

[62]Трехтомные собрания сочинений Вольтера выходили в 1785–1789 гг. в Петербурге и в 1802–1805 гг. в Москве. Речь, скорее всего, идет о последнем, упоминаемом и в «Мелочах из запаса моей памяти» (С. 47), первая часть которого имеется в *Библиотеке*. «Вадины сказки» Вольтера были изданы в Петербурге в 1771 г. Из других сочинений Вольтера в *Библиотеке* числятся «Théâtre de Voltaire» (Т.8–9. Paris, 1809), «Lettres inédites de Voltaire. A m-lle Quinault, à m. d'Argental, au president Henault, à m. Damilaville, à m-me d'Espinay et autres personnages remarquables» (Paris, 1822); «Генриада. Героическая поэма» (М., 1790), «Заира. Трагедия в пяти действиях. В стихах. Пер. Илья Полутарский» (М., 1821), «Исторические записки о достопамятных и важнейших происшестви-

ях, касающихся до жизни г. Волтера, писанные им самим; с присовокуплением писем его к некоторым знаменитым российским вельможам. Пер. Н. Левицкий» (М., 1807), «История Карла XII короля шведского» (Ч. 1–4. М., 1803–1804), «Кандид, или Оптимисм, то есть наилучший свет» (СПб., 1779), «Танкред. Трагедия в пяти действиях. Пер. Н. Гнедича» (СПб., 1816), «Нанина. Комедия в трех действиях. В стихах. Пер. Ф.М. Павлова» (Чернигов, 1859).

[63]*«Московские ведомости»* (1756–1917) — газета, издававшаяся при Московском университете; в описываемое время выходила дважды в неделю. П.А. Вяземский вспоминал, что в детстве в «Московских ведомостях» его больше всего привлекали «объявления книгопродавцев о выходящих книгах. Читал я эти объявления с любопытством и благоговением, тем более, что объявления писались тогда витиевато и кудряво» (*Вяземский П.А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 164).

[64]Речь идет о книге Юста Фридриха Вильгельма Цахарие (1726–1777) «Кот во аде. Забавная поэма. Творение на немецком г. Захарии. Вольное переложение Федора Туманского» (СПб., 1791).

[65]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 20 — 21).

[66]*"Вестник Европы»* (1802–1830) — журнал, основанный Н.М. Карамзиным. Выходил два раза в месяц в Москве. Издатели: Карамзин (1802–1803), П.П. Сумароков (1804), М.Т. Каченовский (1805–1807), В.А. Жуковский (1808–1809), Жуковский и Каченовский (1809–1810), Каченовский (1811–1813), В.В. Измайлов (1814), Каченовский (1815–1830).

[67]*Пушкин Василий Львович* (1766–1830) — московский поэт; дядя А.С. Пушкина. *Шаликов* Петр Иванович (1768–1852) — поэт, журналист. Журнал «Аглая» он издавал в 1808–1810 и 1812 гг. В *Библиотеке* есть ч. 9–12 «Аглаи» за 1810 г.

[68]Собрание сочинений Карамзина вышло в восьми томах в 1803–1804 гг., два тома повестей и мелких сочинений в стихах и прозе «Мои безделки» — в 1791 (2-е изд. 1797; 3-е — 1801). Полное издание «Писем русского путешественника» появилось в 1801 г. В *Библиотеке* имеется два экземпляра второго издания «Безделок».

[69]Карамзин был назначен придворным *историографом* в 1803 г. при содействии М.Н. Муравьева по совету И.И. Дмитриева.

[70]*Щербатов* Михаил Михайлович (1733–1790) — историк и публицист, автор «Истории Российской от древнейших времен» (вышла в 7 томах (15 частях) в Петербурге в 1770–1791 гг.), которая имеется в *Библиотеке.*

[71]*Столбцы* — способ соединения бумажных листов и хранения документов в российском делопроизводстве XVI–XVII вв., предшествовавший папке, вязке и т.п. Бумаги подклеивались одна к другой и навивались на деревянный стержень.

[72]*Хемницер* Иван Иванович (1745–1784) — поэт-баснописец. В *Библиотеке* есть издание его «Басен и сказок» (СПб., 1799).

[73]Ода Г.Р. Державина *«Бог»* написана в 1784 г. В баснях Хемницера *«Орлы», «Лев, учредивший совет»* (обе —1779) и *«Лестница»* (1782) говорилось о необходимости «порядок соблюдать» начиная не с низших, а с высших ступеней иерархической лестницы, высмеивались тупость и бездарность вельмож.

[74]Литературная известность пришла к В.А. Жуковскому (1783–1852) после того, как был напечатан его перевод элегии Т. Грея «Сельское кладбище» (ВЕ. 1802. № 24). Баллада *«Людмила»* (вольный перевод «Леноры» немецкого поэта Г.А. Бюргера), появившаяся в том же журнале (1808. № 9), вызвала бурную полемику. Отрицательно оценили жан-

ровые нововведения Жуковского Н.И. Гнедич («О вольном переводе Бюргеровой баллады «Ленора» // СО. 1816. № 27), А.Ф. Мерзляков в выступлении на собрании московского Общества любителей российской словесности в 1818 г. (этот эпизод подробно описан Дмитриевым: Мелочи. С. 168). О восприятии баллад Жуковского современниками см.: *Немзер А.С.* «Сии чудесные виденья...» // «Свой подвиг свершив...». М., 1987. С. 155—264. В *Библиотеке* сохранились: «Стихотворения» Жуковского (СПб., 1815—1816. Ч. 1—2), составленный им альманах «Для немногих» (М., 1818), «Баллады и повести» (СПб., 1831. Ч. 1—2), стихотворение «Русская слава» (СПб., 1831), 8-й том четвертого издания его «Стихотворений» (СПб., 1835), 3—5 и 7—13 тома пятого издания «Сочинений» (СПб., 1849—1857), «индийская повесть» «Наль и Дамаянти» (СПб., 1844). В письме к Погодину от 3 ноября 1852 г. Дмитриев вспоминал: «Я узнал Жуковского или в конце 1813 года, или в начале 1814» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 8. Л. 5 об.).

[75]В писарской копии ГИМ (Л. 22) она названа Стефанидой.

[76]Лобанов Василий Михайлович (1746—1809) — генерал-майор, командир лейб-гвардии гренадерского полка с 1799 по 1809 г. Подробнее о нем см.: История лейб-гвардии гренадерского полка / Сост. В.К. Судравский. СПб., 1906. Т. 1. С. 308—309. Его дочь, упомянутая выше, умерла около 1811 г.

[77]*Сапожникова Марья Тимофеевна* — дочь коллежского асессора Тимофея Ефимовича Сапожникова, воспитанница Смольного института (окончила курс в 1800 г.).

[78]Кашпиров (Кашперов) Никита Прохорович (1783—1833) — офицер (в 1801 г. прапорщик, в 1816 — майор) Кексгольмского гренадерского полка. В 1816 г. по болезни был уволен от службы в чине полковника и определен на инвалидное содержание. Был женат на Любови Ивановне Бекетовой (1791—1830), дальней родственнице Платона и Петра Петровичей Бекетовых (о них см. примеч. 4 и 6 к гл. 2).

[79]Вставка из писарской копии ГИМ (Л. 23—23 об.).

[80]Двоюродный брат мемуариста, сын Николая Ивановича Дмитриева *Валентин* (1798—1819).

[81]Бекетов Афанасий Алексеевич — полковник, симбирский воевода в 1729—1731 гг.; был женат на шведке, умершей в 1771 г. Их дети: Никита (см. примеч. 82 к данной главе), Николай (поручик, казанский прокурор в 1771 г.), Петр (1732—1796; подполковник в 1775 г.) и дочь Екатерина, бабушка М.А. Дмитриева. «Ее хотели взять ко двору: она была еще очень молода, лет шестнадцати, и красавица! — Отцу этого очень не хотелось: он боялся придворных нравов. Вскоре присватался к ней мой дед: ей было уже 17 лет, а ему 18. Отец и рад был этому случаю отдать дочь за хорошего человека и богатого дворянина хорошей фамилии, чтобы только отклонить ее принятие ко двору» (Мелочи. С. 9). Таким образом, свадьба состоялась в 1754 г. Ошибочная дата — 1764 г. (ср. год рождения сына Ивана: 1760) — приведена в поколенной росписи рода Бекетовых (Сборник исторических и статистических материалов о Симбирской губернии. Симбирск, 1868. Вклейка между С. 176 и 177).

[82]*Бекетов Никита Афанасьевич* (1772—1794) — выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, автор стихов и песен, в 1763—1773 гг. астраханский губернатор (основал Сарепту — место знакомства родителей М.А. Дмитриева), с 1780 г. сенатор.

[83]*Сумароков* Александр Петрович (1717—1777) — поэт, драматург; запечатлел Н.А. Бекетова в образе Нарцисса в одноименной комедии (1769). В составе *Библиотеки* имеется 5-й том второго издания «Полного собрания всех сочинений в стихах и прозе» Сумарокова (М., 1787).

[84]*Сушков Василий Михайлович* (1747—1819) — симбирский губернатор в начале 1770-х и в 1803 г., отец литератора Н.В. Сушкова, соученика М.А. Дмитриева по Благородному пансиону.

[85]Александр Васильевич *Суворов* (1729 или 1730 — 1800) принял участие в подавлении пугачевского бунта не ранее августа—сентября 1774 г. В первых числах октября он провозил через Симбирск плененного Пугачева. Известно также о его пребывании в городе в августе 1775 г.; вероятно, именно в это время И.Г. Дмитриев мог познакомиться с полководцем.

[86]Т.е. Н.А. Бекетова.

[87]Число лошадей в упряжке регламентировалось еще «Табелью о рангах». 3 апреля 1775 г. был опубликован манифест, согласно которому для ограничения разорительной роскоши было установлено (в городах) количество лошадей в экипаже для дворян и чиновников разных рангов: особы 1—2-го классов — шестерка с двумя «вершниками» (форейторами), 3—5-го — шестерка без «вершников», 6—8-го — четверка, 9—14-го — пара, для неимеющих обер-офицерских чинов — верхом или в одноколке с одной лошадью. Текст манифеста см.: РА. 1898. № 3. С. 445—448. По указу от 18 апреля того же года дворянам, достигшим пятидесятилетнего возраста, а также дворянским женам, дочерям и вдовам разрешалось ездить парою. И.Г. Дмитриев по занимаемой им должности городничего должен был иметь чин 8-го класса; в отставку он вышел с чином надворного советника (7-й класс).

[88]*Гусар* — здесь в значении «служитель у вельмож, в венгерской одежде» (В.И. Даль).

[89]*Межевание* — процесс установления и утверждения границ отдельных владений. В России долгое время границы фиксировались без надлежащей точности, что открывало помещикам широкие возможности для злоупотреблений — главным образом для захвата земель, принадлежащих казне, а также крестьянам и даже небогатым дворянам. Идея точного геометрического межевания относится еще ко временам Петра I, попытка — к царствованию Елизаветы. «Генеральное межевание» проводилось по манифесту от 19 сентября 1765 г. и было в основном закончено к концу века.

[90]С 1797 по 1799 г. И.И. Дмитриев был обер-прокурором Сената и товарищем министра в Департаменте уделов; в это же время был «озабочен <...> бедностию <...> принужден закладывать вещи», «занимая по 5 и 10 руб. на содержание людей и лошадей» (письмо П.П. Бекетову от 25 октября 1798 г. цит. по: Дмитриев—1986. С. 377). Ср. также его слова в письме к брату Александру: «Нам обоим по домашним обстоятельствам равная участь; начнем же сами стараться искать лучшей доли по своей службе» (Письма русских писателей XVIII века. С. 417). Сенатором И.И. Дмитриев был назначен в 1806 г.

[91]Н.А. Бекетов не был женат, но имел сына и двух дочерей, одна из которых, Елизавета Никитична, была замужем за действительным камергером Всеволодом Андреевичем *Всеволожским* (1769—1836). По завещанию Бекетова его детям причитались имения, а Дмитриевым (детям его сестры) — 40 000 руб. Но Всеволожский не хотел выполнять условий завещания, и в 1795 г. между ним и И.И. Дмитриевым возникла тяжба. Г.Р. Державин хлопотал за Дмитриева и выступал как его доверенное лицо в Петербургском совестном суде. «Справедливость была на стороне Дмитриева, но покровительство приближенных двора на стороне Всеволожского» (*Державин*. Т. III. С. 597). Претензии Дмитриева были удовлетворены только в 1803 г., когда Всеволожский, узнав, что Державин назначен министром юстиции, пошел на мировую. Перипетии этого дела см. в «Записках» Державина и в его «Объяснениях на <...> сочинения» (*Державин*. Т. VI. С. 673—

677). Интересные подробности выясняются также из письма А.И. Дмитриева к А.А. Пилю от 14 июня 1795 г. (из Петербурга): «Вы изволите писать что надеетесь получить нам успех по совестному суду — но ето сумнительно, потому что дело зависит от посредников надобно чтоб они согласились, — а со стороны Всеволож[ского] господа Васильев и Сушков, — хотя они и до начала дела уверяли Сушков меня а Васильев брата Ив. Иван. что мы справедливое имеем требование а теперь держутся противного мнения говорят что Всеволож[скому] есть ли нам отдать так и других должно будет удовлетворить — а он де живет здесь в большом свете так ему деньги надобны, тысячные шали и обозы с рыбой сделали перевес в мыслях г[оспо]д[ина] Васильева и преклонили весы на сторону Всеволож[ского] да так и надлежало ожидать потому что с нашей стороны одна справедливость — а она ныне очень маловесна где ей перетянуть несколь[ко] сотен пудов астраханской рыбы и протчаго и протчаго» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 9. Л. 4; пунктуация автографа сохранена полностью).

[92]В писарской копии ГИМ (Л. 26) вместо «серебром» — «ассигнациями».

[93]*Тамбур* — «род вышивания в пяльцах, петля в петлю» (В.И. Даль).

[94]*Канифас* — плотная хлопчатобумажная ткань, однотонная или в полоску.

[95]*Орлянка* — желтая краска.

[96]*Ранжевый* — оранжевый; *couleur saumon* — желтовато-розовый, цвет лососины.

[97]*Гумно* — 1. помещение, сарай для сжатого хлеба; 2. площадка для молотьбы, ток.

[98]*Опекунский совет* — высший административный орган Воспитательного дома (приюта для сирот и подкидышей), учрежденного в Москве в 1763 г. В ноябре 1772 г. при Московском воспитательном доме были учреждены Вдовья, Ссудная и Сохранная казна, также находившиеся в ведении Опекунского совета. Одной из целей их создания было сбить высокую процентную ставку по кредитам у тогдашних ростовщиков, а также направить доходы от льготного кредитования на нужды благотворительности. Финансовые операции этих учреждений, а также действия с недвижимостью, продолжавшиеся до 1861 г., стали основным источником дохода для благотворительных учреждений ведомства императрицы Марии.

[99]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 27—28 об.).

[100]*Бестужев Василий Борисович* (1752—1821) в 1768 г. был зачислен в Семеновский полк, где и служил с 1778 по 1785 г., продвинувшись в чинах от сержанта до полковника; симбирский губернский предводитель дворянства в 1796—1798 гг., статский советник (1805). В 1800 г. в одном из своих сел Симбирского уезда (Репьевке) построил церковь, рядом с которой и погребен (*Мартынов П.* Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1904. С. 276).

[101]26 сентября православная церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

[102]В писарской копии ГИМ (Л. 30 об.) вместо «крымском» — «калмыцком».

[103]*Вязига* — хорда позвоночника осетровых рыб в виде шнура из довольно плотной пузырчатой ткани. Ее вынимали из рыбы, просушивали в особых строениях, связывали в пучки по 12 штук. При варке в воде вязига сильно разбухала и в таком виде, мелко изрубленная, употреблялась для пирогов, одна или вместе с какой-нибудь другой рыбой.

[104]*Фрикасе* — рагу из белого мяса (или птицы), нарезанного кусочками и приготовленного в соусе.

[105]*Бланманже* — десерт, сладкое желе на миндальном молоке.

[106]Судя по значительному (более десяти) количеству изданий и переизданий книг и брошюр по применению этого состава, *эликсир долговечной жизни* («эссенция жизни», «жизненная эссенция») был весьма популярен в 1790-е гг. Один из рецептов см.: Открытая тайна, как составляется бальзам долгой жизни и ароматический настой, названный молоко старых людей, то есть украинская запекайка. М., 1792.

[107]*Сантуринское* — наименование ряда сладких красных вин (один из сортов — мальвазия), производившихся на греческом острове Санторин (самый южный из островов Кикладского архипелага) и в описываемое время вывозившихся преимущественно в Россию.

[108]*Lignum quassi (лат.)* — древесина деревьев Quassia amara или Picrasma excellsa, растущих в тропической Америке; имеет желтую окраску и содержит фермент квассин. В описываемое время такая древесина применялась в медицине для возбуждения аппетита; из нее изготавливали стаканы, рюмки и шарики, сообщавшие воде или вину горький вкус.

[109]*Полпиво* — легкое, слабое пиво.

[110]А.М. Карамзин (гвардии прапорщик, ум. 1850; см.: *Мартынов П.* Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1904. С. 100) и М.М. Философова (ум. 1821) — сводные брат и сестра Н.М. Карамзина, дети его отца Михаила Егоровича от второго брака с Авдотьей Гавриловной Дмитриевой (родной сестрой И.Г. Дмитриева). Муж М.М. Карамзиной — капитан Никита Никитич Философов, предводитель дворянства Карсунского в 1808—1811 и в 1815—1816 гг. и Алатырского уездов в 1813—1814 гг. Их сын Николай Никитич учился впоследствии в Артиллерийском училище. Сын А.М. Карамзина Борис воспитывался в Московском благородном пансионе.

[111]Дмитриев *Николай* Иванович — третий сын И.Г. Дмитриева. Умер молодым в 1800 г. В письме Карамзина от 15 ноября этого года есть строки, связанные с этим печальным событием: «Дай Бог, чтобы ты успокоился в рассуждении своей матушки, и чтобы она перенесла этот удар как христианка» (ПКД. С. 119).

[112]Дмитриев *Федор Иванович* (ум. 1812) служил в Семеновском полку с 1797 (прапорщик) по 1802 г., когда был переведен в Московский гарнизонный полк. О его судьбе рассказано в гл. 4.

[113]Дмитриева *Наталья Ивановна* через племянника была знакома с М.П. Погодиным, отозвалась на его статью «Николай Михайлович Карамзин» (Москвитянин. 1846. № 3) письмом, в котором уточняла место рождения историка, ссылаясь на сведения, полученные от его брата (Несколько дополнительных замечаний к первой статье о Карамзине // Москвитянин. 1846. № 4. С. 115—116). С 1850-х гг. жила в Лужецком монастыре в Можайске (внося определенную плату за свое проживание и не принимая пострига — обычно в женских монастырях так селились незамужние дамы с некоторым состоянием): в тетрадке-реестре корреспонденции, отправлявшейся М.А. Дмитриевым через Сызранскую почтовую контору (НБ МГУ. Дмитр. 11401) письма к ней за 1853—1855 гг. действительно адресованы в монастырь. «И похоронена, и умерла там же, где родилась: в Сызране» (письмо Дмитриева к Погодину от 21 февраля 1866 г. // РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. № 145. Л. 11 об.).

[114]После смерти И.Г. Дмитриева одно из принадлежавших ему имений (село Опалиха Симбирского уезда) было разделено между его дочерью Натальей и внучками Елизаветой Николаевной (в замужестве Пазухиной), Екатериной Федоровной (в замужестве Матюниной; ум. 1875) и Софьей Федоровной (в замужестве Нефедьевой). В 1861 г. Наталья Ивановна не *отдала*, а продала «оставшуюся за наделом крестьян землю» дочери М.А. Дмитриева Софье Михайловне (в замужестве Насакиной). Другая часть, принадле-

жавшая Е.Н. Пазухиной, была унаследована в 1863 г. сыном М.А. Дмитриева Федором (см.: *Мартынов П.* Селения Симбирского уезда. С. 209–210).

[115]Издания типа «галерей» (сборники кратких биографий знаменитых людей с приложением их портретов или же альбомы гравюр с изображением животных, птиц, костюмов и т.д.) были чрезвычайно популярны в течение XVIII–XIX столетий и широко применялись при обучении детей. Здесь речь, скорее всего, идет о французском переводе немецкой книги, вышедшем под названием «Galerie des Hommes», с подзаголовком «книга эстампов для юношества, позволяющая расширить свои сведения и удовлетворить жажду знаний» (Part. 1–3. Leipzig, 1802–1804). В этом издании представлены этнографические типы Европы, Азии, Африки и Америки: тирольцы, лапландцы, цыгане, самоеды, якуты, башкиры, китайцы, яванцы, алжирцы, копты, готтентоты и т.д. Краткий рассказ о месте обитания, обычаях и нравах каждого народа или этнической группы проиллюстрирован раскрашенной гравюрой.

[116]Дмитриев был судьей Московского надворного суда 1-го департамента (с 1826), советником Московской палаты уголовного суда (с 1828) и обер-прокурором 2-го отделения 6-го департамента Сената (с 1833).

[117]*Коцебу* Август Фридрих Фердинанд (1761–1819) – немецкий драматург, романист. В *Библиотеке* имеется много его сочинений: роман «Долгий Иван, или Права человека» (Смоленск, 1802. Кн. 1), «Воспоминания, оставшиеся в Париже в 1804 году» (СПб., 1805. Ч. 1–4), «Путешествие в Париж» (Смоленск, 1804), «О дворянстве, его происхождении, распространении и неодинаковом введении между всеми почти народами земного шара...» (М., 1804), повести «Подземный ход» (М., 1802), «Мальчик у ручья, или Постоянная любовь» (М., 1801. Кн. 1–2), драма «Ненависть к людям и раскаяние» (М., 1801), «Младшие дети моего веселого духа» (Смоленск, 1802. Ч. 1–2), «слезная» драма «Нещастные мужья» (М., 1801), «Отборные цветы, или Собрание повестей, исторических произведений, анекдотов, извлечений, былей и небылиц. Из новейших сочинений Коцебу» (М., 1815. Ч. 1–2), десять экземпляров книги «Театр Августа фон Коцебу, содержащий полное собрание новейших трагедий, комедий, драм, опер и других театральных сочинений славного сего писателя.» (М., 1801. Ч. 1), «Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или Заточение его в Сибирь и возвращение оттуда, описанное им самим» (М., 1806. Ч. 1–2. Пер. В.Кряжева), драма «Граф Беньевский» (М., 1802), «Страдания Ортенбурговой фамилии» (Орел, 1823–1826. Ч. 3–4).

[118]*Жанлис* Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746–1830) – французская писательница, автор сентиментальных романов из светской жизни. Перечень отдельно изданных переводов Жанлис на русский язык, составленный С.А. Венгеровым, см. в кн.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. СПб., 1900. Т. 2. С. 553–555. Кроме уже упоминавшейся комедии «Голубок» в *Библиотеке* имеется ряд других ее сочинений в русских переводах: «Альфонс, или Побочный сын» (Б.м., б.г.), «Матери соперницы, или Клевета» (М., 1803–1805. Ч. 1–6), «Знатные не по породе, или Добродетель во всяком звании найти можно; записки Жюльеня Дельмура, писанные им самим» (М., 1822. Ч. 1–6), «Повести», переведенные Карамзиным (Изд. 2-е. М., 1816. Ч. 1–2). *Радклиф* Анна (1764–1823) – английская писательница, прославившаяся своими «готическими» романами. О восприятии ее книг в России см.: *Вацуро В.Э.* А.Радклиф, ее первые русские читатели и переводчики // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 202–225. В *Библиотеке* есть ее роман «Лес, или Сент-Клерское аббатство» (М., 1801–1802. Кн. 1–

8). Ф.В. Булгарин вспоминал, что в начале XIX в. в Петербурге «в моде были повести Мармонтеля, г-жи Жанлис, романы Дюкре-Дюминиля, г-жи Радклейф, и вообще роды *чувствительный* и *ужасный*» (*Булгарин Ф.* Воспоминания. СПб., 1846. С. 27). Книги Жанлис и Радклиф пользовались популярностью до середины 1820-х гг., особенно в провинции. *В.А. Инсарский*, годы юности которого (начало 1820-х) прошли в Пензе, писал: «...можно без преувеличения сказать, что едва ли из переводных романов Жанлис или Радклиф есть какой-нибудь, которого бы я не прочел» (*Инсарский В.А.* Половодье. СПб., 1875. С. 266). См. также: *Геевский С.Л.* Автобиография. Киев, 1894. С. 41; *Орлова-Савина.* С. 80; *Печерин В.С.* Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX в. М., 1989. С. 149, 151; *Сушкова Е.* Записки. Л., 1928. С. 64; *Тимковский Е.Ф.* Воспоминания. Киев,1894. С. 29.

[119]Возможно, Ружевский Феофан Степанович.

[120]Дмитриева (урожд. Быкова) Наталья Михайловна (1802—1822) — первая жена мемуариста.

[121]Быков Михаил Егорович служил симбирским губернским прокурором в 1811—1820 гг.

[122]Ср. сходное впечатление И.И. Дмитриева от занятий с отцом: «Отец мой заставлял меня с братом под строгим своим надзором повторять старые наши уроки. <...> Такой ход учения наводил на меня грусть и отвращение» (Взгляд. С. 14).

[123]Т.е. в 1773 г.

[124]Дмитриева *Александра Герасимовна* — жена Николая Ивановича Дмитриева.

[125]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 40).

Глава 2

[1]*Бекетова Ирина Ивановна* (урожд. Мясникова; 1741—1823) — вторая жена Петра Афанасьевича Бекетова, родного брата Е.А. Дмитриевой. Принадлежавший ей дом находился на Пречистенке, в 5-м квартале Пречистенской части (№ 470).

[2]*Голицын Сергей Михайлович* (1774—1859) — попечитель Московского учебного округа и председатель Московского цензурного комитета в 1830—1835 гг. Его дом значился под № 464 в том же 5-м квартале на Пречистенке.

[3]*Алексеевский монастырь* (назывался также Старым Девичьим, Зачатьевским) основан в 1360 г. митрополитом киевским и владимирским Алексием. С XVI в. находился на Волхонке. В 1837 г. в связи с началом строительства на этом месте храма Христа Спасителя был переведен в село Красное (ныне Верхняя Красносельская улица, 17).

[4]*Бекетов Платон Петрович* (1761—1836) — книгоиздатель и типограф, председатель Общества истории и древностей российских (1811—1823) (см.: *Симони П.К.* П.П. Бекетов // Старые годы. 1908. № 2—4; Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. С. 76—77; статья Г.П. Ионина). В РГАЛИ (Ф. 1060. Оп. 1. № 22) сохранилось его теплое письмо (не позднее 1797 г.) к А.И. Дмитриеву. В *Библиотеке* имеется экземпляр «Собрания сочинений и переводов» И.Ф. Богдановича (2-е изд. Ч. 1—4. М., 1818), «собранного и изданного» П.П. Бекетовым, с дарственной надписью на авантитуле части 1: «Любезному Михайле Александровичу Дмитриеву в знак искренней дружбы от издателя» (*Анохина Т.Г.* Дарственные надписи на книгах библиотеки Дмитриевых // Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки МГУ. М., 1973. С. 104—105).

[5]*Штофная мебель* — мягкая мебель, обтянутая штофом — дорогой плотной одноцветной шелковой тканью с рисунком.

[6]Бекетов *Иван Петрович* (1766—1835) — капитан гвардии (1790), позже полковник в отставке, действительный статский советник. Известный нумизмат, собиратель редкостей. Прожил холостяком и умер бездетным; его имение оценивалось в 7 млн. рублей. Бекетов *Петр Петрович* (1775—1845 или 1849) — камергер.

[7]Дом помещался в приходе Ильи Пророка на Тверской улице — 2-й квартал, № 106 (в 1793 г.), № 109 (в 1818 г.); до настоящего времени не сохранился.

[8]*Фрез* (Фрезе) Генрих — московский врач, без которого «ни один достаточный москвич ни выздороветь, ни умереть не смеет» (*Жихарев.* Т. 2. С. 16); доктор медицины, статский советник (РМС на 1809 г.), профессор Московского госпитального училища.

[9]Дмитриев не совсем точен. Знаменитые купцы, владельцы восьми металлургических заводов в Оренбургской губернии, Иван Борисович (ум. 1773) и Яков Борисович (ум.1783) Твердышевы скончались, не оставив наследников. Их компаньоном был муж их сестры Иван Семенович Мясников, дочери которого Ирина, Екатерина, Аграфена и Дарья унаследовали это огромное состояние.

[10]Козицкая (Казицкая) *Екатерина Ивановна* (урожд. Мясникова; 1746—1833). Один из современников называет ее «преумнейшей женщиной» (*Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 51).

[11]Неточность мемуариста: *Григорий Васильевич Козицкий* (1725?—1775) — статс-секретарь Екатерины II с 1768 по 1773 г., редактор и издатель сатирического журнала «Всякая всячина» (1769), главным автором которого была сама императрица. Ученая карьера Козицкого началась в 1758 г., когда, вернувшись из-за границы, он стал переводчиком при Академии наук. В 1759 г. в журнале «Трудолюбивая пчела», который издавался А.П. Сумароковым, печатались переводы Козицкого, главным образом с древнегреческого и латыни: из Биона, Мосха, Сафо, Лукана, Овидия, Лукиана, Тита Ливия. В дальнейшем Козицкий продолжал заниматься классическими языками, почему Дмитриев и называет его «известным эллинистом».

[12]Белосельская-Белозерская (урожд. Козицкая) *Анна Григорьевна* (1773—1846).

[13]*Белосельский-Белозерский Александр Михайлович* (1752—1809) — дипломат, литератор, член Российской академии (с 1800), почетный член Академии наук и Академии художеств (с 1809). Ср. другой отзыв: он «умно излагал свои депеши, писал изящные французские стихи <...> был <...> человек достойный и со вкусом; он употребил большое состояние на покровительство искусствам и много ума — на собственные упражнения в них» (*Массон Ш.* Секретные записки о России. М., 1996. С. 53).

[14]*Александра* Григорьевна Козицкая (1772—1850) в 1799 г. вышла замуж за графа Ивана Степановича Лаваля (1761—1846), управляющего 3-й экспедицией Коллегии иностранных дел, члена Главного правления училищ и ученого комитета при нем, камергера, тайного советника. По другим сведениям, Жан Франсуа Лаваль происходил из неаристократической семьи Лубрери; в России первое время преподавал в Морском корпусе, оттуда перешел на службу в ведомство иностранных дел (*Оленина А.А.* Дневник Annette. М., 1994. С. 236). В пересказе А. де Кюстина история замужества Козицкой приобрела дополнительные штрихи: влюбленные «подкараулили императора, когда тот проезжал по улице, бросились ему в ноги и попросили его заступничества»; об Архарове как исполнителе воли Павла I здесь не упомянуто (*Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. М., 1996.

Т. 2. С. 310; эта версия, по замечанию самого Кюстина, была оспорена дочерью Лаваля, А.И. Коссаковской).

[15]Рассказ об участии в этом эпизоде Архарова не подтверждается датами: свадьба Лаваля состоялась в 1799 г. в Петербурге, а Николай Петрович Архаров (1740—1814) — генерал от инфантерии (с 1796), московский губернатор (1782—1783), генерал-губернатор тверского и новгородского наместничеств (с 1784), директор водяных коммуникаций (с 1790), второй (после наследника престола) генерал-губернатор Санкт-Петербурга (с ноября 1796) — 15 июня 1797 г. был отставлен от всех должностей с запрещением въезда в обе столицы и отправлен в свои тамбовские поместья, откуда возвратился лишь после 1801 г., почему и не мог участвовать в этих событиях. Кроме того, мемуарист ошибается, называя его обер-полицмейстером: все описываемое происходило в Петербурге, а должность обер-полицмейстера Н.П. Архаров исполнял в Москве в 1775 г.

[16]Это произошло после падения Наполеона, в 1814 г.

[17]Разбогатев после женитьбы на Козицкой, Лаваль смог снабдить крупной суммой денег Людовика Бурбона — будущего Людовика XVIII (1755—1824), который эмигрировал из революционной Франции и жил в 1798—1800 гг. в Митаве (ныне Елгава), где в его распоряжение Павел I предоставил замок герцогов курляндских. За эту услугу Лаваль был пожалован титулом графа; следовательно, после реставрации Бурбонов он не возвратил себе графский титул, а скорее получил от Людовика XVIII подтверждение своему пожалованию в графы. Кюстин передает, что, женившись, Лаваль без всяких на то оснований причислил себя к древнему французскому аристократическому роду герцогов де Монморанси-Лавалей и «велел изваять свой герб на подъезде» особняка Козицких; герб был убран лишь через много лет, когда действительный Монморанси-Лаваль, оказавшись в Петербурге, пожаловался на самозванца Александру I (*Кюстин А. де.* Указ. соч. Т. 2. С. 311).

[18]Дмитриев ошибается: третью сестру звали не Степанидой, а Аграфеной; ее муж А.Ф. Дурасов был бригадиром.

[19]*Дурасов Николай Алексеевич* (1760—1818) — богатый помещик, известный своим хлебосольством. Учился вместе с И.И. Дмитриевым в Симбирске, затем жил в Москве и подмосковной — селе Люблине (см.: *Аверьянов К.А.* Люблино // История сел и деревень Подмосковья XIV—XX вв. М., 1993. Вып. 2. С. 68—72).

[20]Та часть «Записок современника» Степана Петровича Жихарева (1788—1860), которую имеет в виду Дмитриев, была впервые напечатана в 1853—1854 гг. в «Москвитянине» под названием «Дневник студента» (пассаж о Дурасове см. в № 3 за 1853 г., с.55—58). Ознакомившись с ней, Дмитриев 16 марта этого же года писал Погодину: «<...> меня восхитили «Записки студента»! Я не мог оторваться от чтения! Хотя я начал знать Москву годами четырьмя позже этого времени (1805 года. — *Коммент.*), но вообразите, что я за этим чтением пережил вновь все прежнее, потому что большую часть людей знал и многих видел тут как в зеркале. Я подписал имена, отечества и фамилии тех, которые означены только заглавными литерами; и наконец расхохотался, узнавши Николая Алексеевича Дурасова, с его хвастовством, с его *подлинными* словами: *дрянь-с*, которые я тысячу раз слышал! <...> Дурасов — родной дядя графини Закревской, Аграфены Федоровны. Племянница расхохочется, если прочитает об дядюшке» (ОР РГБ. Ф. 231/II. К.11. № 8 (2). Л. 8—8 об.; частично опубликовано в кн.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1898. Т. 12. С. 265). В *Библиотеке* имеется отдельное издание мемуаров Жихарева «Записки современника с 1805 по 1819 год» (СПб., 1859. Ч. 1).

[21]Сыновья бригадира С.Е. *Мельгунова* и его жены Екатерины Алексеевны (ум.1848; в надгробной надписи названа «действительной статской советницей»: Московский некрополь. М., 1907. Т. 2. С. 247): Михаил Степанович и Алексей Степанович (ум.1871), статский советник.

[22]*Дурасова Аграфена Алексеевна* (урожд. Дурасова, ум.1835). Ее муж — генерал-лейтенант *Михаил Зиновьевич Дурасов* (1772—1828). По замечанию современника, Мельгуновых, Дурасовых, Козицких называли в Москве «евангельскими богачами» (*Де-Пуле.* № 5. С. 150).

[23]Писарева (урожд. Дурасова) *Аграфена Михайловна* (ум. 1877).

[24]*Писарев* Александр Александрович (1780—1848) — плодовитый литератор, член ряда литературных и ученых обществ. Участник кампаний 1805—1807 и 1812—1814 гг.; генерал-майор (1813). В 1825—1830 гг. был попечителем Московского учебного округа и университета, в 1830—1847 — сенатором 7-го департамента.

[25]*Толстой Федор Андреевич* (1758—1849) — сенатор, тайный советник, собиратель древних рукописей. См. составленное К.Ф. Калайдовичем и П.М. Строевым «Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке тайного советника... графа Федора Андреевича Толстого» (М., 1825), а также новейшее издание «Из коллекции графа Федора Андреевича Толстого. Каталог выставки БАН» (Сост. Л.И. Киселева. СПб., 1994). Славянорусская часть собрания была в 1830 г. куплена Публичной библиотекой в Петербурге; иностранную часть (включавшую 98 рукописей, 295 инкунабул, более 1000 изданий XV—XVII вв.) после смерти Толстого приобрел московский купец Семен Петрович Алексеев и в 1854 г. преподнес ее в дар Академии наук. С.А. *Толстая* (урожд.Дурасова) умерла в 1821 г.

[26]Толстая *Аграфена Федоровна* (1799—1879) — известная красавица, предмет увлечения Е.А. Баратынского, П.А. Вяземского, А.С. Пушкина. В 1818 г. она вышла замуж за генерал-адъютанта Арсения Андреевича *Закревского* (1786—1865). В 1828—1831 гг. он был министром внутренних дел, в 1830 г. пожалован в графы, в 1848—1859 гг. — московский военный генерал-губернатор.

[27]*Пашков* Александр Ильич (р. 1734) — коллежский асессор, с 1802 г. владелец особняка, выстроенного в 1784—1786 гг. по проекту В.И. Баженова и известного под названием «дом Пашкова». Его сыновья: *Василий Александрович* (1764—1834) — обер-гофмаршал, обер-егермейстер, член Государственного совета (1821), председатель Департамента законов (1826—1828 и 1831—1834) и *Иван Александрович* (1758 или 1763—1828) — подполковник.

[28]*Увражи* — здесь: сочинения, издания (от фр. ouvrage); другое значение — иллюстрированные издания большого формата.

[29]*Котельников Петр Григорьевич* (Егорович) — издатель и букинист; см. о нем в примеч. 51 и 53 к гл. 12.

[30]В России в XIX в. *фарисеями* именовали бродячих букинистов-мешочников — вероятно, по привычному для слуха соседству слов «книжники и фарисеи» в евангельских текстах (Мф., VII, 29; XXIII, 13 и 23; Лк. VI, 7; Ин. VIII, 3).

[31]*Мария Стюарт* (1542—1587) — королева Шотландии в 1542—1567 гг.

[32]*Пальм* Иоганн Филипп (1766—1806) — немецкий книготорговец. В его нюрнбергской лавке продавался один из многочисленных анонимных антифранцузских памфлетов («О глубоком унижении Германии»), и хотя никаких доказательств причастности Пальма к изданию этой брошюры не имелось, он был расстрелян по личному приказу Напо-

леона. После смерти Пальма в пользу его вдовы и детей был открыт сбор пожертвований в ряде городов Германии, а также в Лондоне и Петербурге.

[33]*Антиминс* («вместопрестолие», *греч.*) — четырехугольный плат из льняной или шелковой ткани с вложенной в него частицей мощей, на котором изображено положение Иисуса Христа во гроб. Антиминс полагается на престол, и на нем совершается литургия.

[34]Оба брата Бекетовых служили в Семеновском полку: Платон Петрович в 1776—1788 гг., Иван Петрович — с 1786 по 1797 г.

[35]П.П. Бекетов обучался вместе с И.И. Дмитриевым в казанских и симбирских пансионах. В 1774—1776 гг. он занимался в московском пансионе И.М. Шадена (Н.М. Карамзин учился там же в 1775—1781 гг.). Бекетов был старше Карамзина не на четыре, а на пять лет (они родились соответственно в 1761 и 1766 г.), но М.А. Дмитриев считал годом рождения Карамзина 1765 г.

[36]Типография существовала с 1801 по 1811 г. и помещалась (вместе со словолитней) в одном из флигелей дома Бекетовых; в другом флигеле находилась книжная лавка. Издания, выходившие из типографии Бекетова, отличались тщательностью и изяществом оформления, чрезвычайно высокой эдиционной культурой. Подробнее о выпущенных им книгах см.: *Клейменова Р.Н.* Книжная Москва первой половины XIX века. М., 1991. С. 96—99. *Воейков* Александр Федорович (1778 или 1779—1839) — поэт, переводчик, журналист. Первые издания, отпечатанные в его типографии (чаще означаемой как «Типография Воейкова и компании»), вышли в 1811 г.

[37]Императорское московское *общество истории и древностей* российских — первое научное общество в России, имевшее своей целью изучение и публикацию документов по русской истории; основано в 1804 г. при Московском университете. В него вошли преподаватели университета, историки, архивисты и археографы (среди первых членов были Н.М. Карамзин, Н.Н. Бантыш-Каменский, А.Ф. Малиновский, К.Ф. Калайдович, А.И. Мусин-Пушкин). Бекетов был председателем общества не со времени его основания, а с 1811 г. Общество выпускало периодические издания: «Записки и труды Общества истории и древностей российских» (1815—1837), «Русский исторический сборник» (1838—1844), «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (1845—1848, 1858—1918) и книги. Официально закрыто в 1929 г.

[38]В писарской копии ГИМ (Л. 45 об.) после этого слова вставлено: «ясный».

[39]Ср. описание подобного птичника (у дома Пашкова): «По саду расхаживали разные птицы: павлины, фазаны; было несколько пребольших сетчатых птичников из золоченой проволоки» (*Благово.* С. 155).

[40]*Крест Иоанна Иерусалимского на шею* (мальтийский крест — белый эмалевый с раздвоенными концами) — знак принадлежности к ордену мальтийских рыцарей, деятельность которого была разрешена в России в начале 1797 г. Кавалером ордена мог стать каждый, доказавший, что дворянство получено его предками не менее 150 лет назад.

[41]Кутузова Елизавета Михайловна (1783—1839) — дочь полководца М.И. Голенищева-Кутузова (1745—1813), генерал-фельдмаршала и светлейшего князя Смоленского (с 1812). Была замужем дважды: первый раз за Ф.И. Тизенгаузеном, погибшим под Аустерлицем в 1805 г., второй (с 1811) — за генерал-майором Николаем Федоровичем Хитрово (1771—1819).

[42]Генеральскими считались чины с 1-го по 4-й класс «Табели о рангах». *Камергер* — придворный чин (с 1737 г. — 4-го класса), с 1809 г. почетное придворное звание. *Действительный камергер* — придворный чин; после 1737 г. — 4-го, иногда 3-го класса.

[43]Роговые оркестры — забава богатых помещиков; существовали с середины XVIII в. по 1830-е гг. Музыка в них исполнялась на усовершенствованных русских охотничьих рогах — медных или латунных трубах конической формы с загнутым узким концом. Каждый музыкант извлекал из своего инструмента (в оркестре их могло быть до пятидесяти) одну ноту определенной высоты. Подробное описание такой музыки современниками см.: Воспоминания Ю.К. Арнольда // РА. 1891. Кн. 2. № 7. С. 351—353; *Соллогуб.* 1988. С. 371. См. также: *Вертков К.* Русская роговая музыка. Л.; М., 1948.

[44]Ср. следующее свидетельство о Петре Петровиче Бекетове: «Из имения своего 6000 душ крестьян отпустил он в свободные хлебопашцы и около 6000 душ определил тоже в вольные, с тем, чтобы они небольшую сумму платили на богоугодные заведения. К сему последнему имению определил попечителями детей двоюродного брата своего Аполлона Николаевича Бекетова; такое распределение имения встревожило его знатных родных, они хотели учредить над ним фамильную опеку, но Петр Петрович Бекетов в 1823 году написал государю письмо, с изъяснением, между прочим, что отпуск крестьян на волю есть молитва его к Богу за род Бекетовых, и поручил оное представить и дать подробные объяснения Сергею Николаевичу Глинке. Государь император спросил Глинку: сам ли Бекетов писал представленное письмо. Господин Глинка подтвердил и услышал резолюцию: «Я тебе верю, успокой Бекетова, что над ним никогда опеки не будет». Бывший при том Александр Николаевич Голицын сильно защищал гонимого, коротко знакомого ему благоприятеля Бекетова, и он мирно умер около 1848 года холостым, оставив после себя значительное богатство и дома на Мясницкой и Тверской» (Сборник исторических и статистических материалов Симбирской губернии. Симбирск, 1868. С. 190).

[45]Кушникова (урожд. Бекетова) *Екатерина Петровна* (1771—1827).

[46]*Кушников* Сергей Сергеевич (1765—1839) — племянник Карамзина (сын родной сестры историографа Екатерины Михайловны, бывшей замужем за С.А. Кушниковым, помещиком Чебоксарского уезда Казанской губернии), адъютант Суворова (1799—1800), петербургский губернатор (1802—1804), сенатор (с 1807), член Государственного совета (с 1827).

[47]Балашева (урожд. Бекетова) *Елена Петровна* (ум. 1822). Дмитриев запомнил ее рассказ о чтении Жуковским баллады «Старушка» у нее в доме (Мелочи. С. 190).

[48]*Балашев* Александр Дмитриевич (1770—1837) — генерал-майор (1799), в 1804 г. был назначен обер-полицмейстером в Москве, в 1808 — в Петербурге. Вскоре генерал-адъютант и петербургский военный губернатор. В 1810—1819 гг. министр полиции, член Государственного совета.

[49]*Синявская* (в замужестве Сахарова) Мария Степановна (1762—1829) — талантливая актриса русской драматической труппы в Петербурге.

[50]*Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — поэт, переводчик; обер-прокурор Синода (1799—1803), член Государственного совета, сенатор (с 1807). Упоминаемый факт, по-видимому, имел место до женитьбы Хвостова в 1789 г.

[51]В поколенной росписи рода Бекетовых *Павел Афанасьевич Бекетов* не значится. По-видимому, имеется в виду двоюродный дядя Платона Петровича — Павел Яковлевич Бекетов (1745—1811), титулярный советник, владелец имений в Арзамасском уезде.

[52]Т.е. до 1796 г. Ср. воспоминания И.И. Дмитриева: «Семьсот девяносто четвертый год был моим лучшим пиитическим годом. Я провел его посреди моего семейства, в

приволжском городке Сызране <...> Для меня достаточно было одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона Петровича Бекетова» (Взгляд. С. 70).

[53]И.И. Бекетовой принадлежал бывший дом графа И.Л. Воронцова, построенный в 1778 г. архитектором М.Ф. Казаковым. Он сохранился до наших дней в сильно измененном виде (сейчас в нем располагается Московский архитектурный институт). В 1808 г. часть дома Бекетовой, выходившая на Рождественку, была приобретена в казну для Медико-хирургической академии. Описанный Дмитриевым сад был «регулярный, разбитый по примеру версальских садов, с прудами и беседками и привольно текшей в естественных берегах рекой Неглинной» (*Сытин П.В.* Из истории московских улиц. М., 1958. С. 248).

[54]И.И. Дмитриев, живший с 1799 г. в Москве, в 1810 г. был назначен министром юстиции и переехал в Петербург. В 1814 г., выйдя в отставку, снова поселился в Москве.

[55]*Голенищев-Кутузов Павел Иванович* (1767—1829) — поэт, переводчик, куратор (1793—1803) и попечитель (1810—1817) Московского университета; в 1805—1821 гг. сенатор. В типографии П.П. Бекетова были напечатаны, в частности, его переводы «Стихотворения Сафы» (1805), «Творения Гесиода» (1807). С.П. Жихарев замечал: «Иван Иванович (Дмитриев. — *Коммент.*) жалеет, что пособия Платона Петровича падают большею частию на бездарных писателей, довольно назойливых. Дождит на злыя и благия!» (*Жихарев.* Т. 1. С. 35).

[56]Журнал «Друг просвещения» (1804—1806) печатался в типографии Бекетова только в 1804 г. Кроме Голенищева-Кутузова, Хвостова и Григория Сергеевича Салтыкова (1777—1814) в нем сотрудничали В.Л. Пушкин, Н.П. Николев, С.Н. Глинка, А.С. Шишков, Г.Р. Державин и др. Подробнее о журнале см.: *Вацуро В.Э.* И.И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // XVIII век. Сб.16. Л., 1989. С. 139—179.

[57]*Евгений* (Евфимий Алексеевич Болховитинов, 1767—1837) — митрополит Киевский и Галицкий (с 1822), библиограф, историк, переводчик. Здесь речь идет о его труде «Новый опыт исторического словаря о российских писателях», печатавшемся в «Друге просвещения» в 1805—1806 гг.

[58]В стихотворениях Хвостова, напечатанных в «Друге просвещения», таких слов нет. Не исключено, что это одна из пародийных «цитат», сочиненных за Хвостова многочисленными насмешниками и приписывавшихся ему (ср., например, «Притчи» Вяземского, написанные в подражание хвостовским. — *Арзамас.* М., 1994. Т. 2. С. 183—195).

[59]*Глинка* (урожд. Голенищева-Кутузова) *Авдотья Павловна* (1795—1863) — писательница, жена декабриста Ф.Н. Глинки. Об отношениях Дмитриева с этим семейством подробнее см. примеч. 24 к гл. 7.

[60]*Университетский благородный пансион* — закрытое учебное заведение при Московском университете для детей дворян; фактически существовало уже в 1776 г., но официальные известия о его открытии относятся к 1779 г.. С 1783 г. пансион размещался в отдельных от университета зданиях (ранее принадлежали отчиму М.М. Хераскова — Н.Ю. Трубецкому, затем — Межевой канцелярии) на углу Газетного и Долгоруковского переулков и Тверской улицы (постройки не сохранились, в настоящее время на этом месте располагается Центральный телеграф). Подробнее о пансионе см.: *Тихонравов Н.С.* О пребывании В.А. Жуковского в университетском благородном пансионе; Московский университетский благородный пансион // Тихонравов Н.С. Сочинения. М., 1898. Т. 3, ч. 2, его же работу «В.А. Жуковский» (Указ. соч. Т. 3, ч. 1), а также статью Э.Е. Шипковой «Московский университетский благородный пансион» (Вестник МГУ: Сер. Исто-

рия. 1979. № 6). В 1833 г. пансион был преобразован в Дворянский институт, а в 1849 г. — в 4-ю московскую гимназию.

[61]*Прокопович-Антонский Антон Антонович* (1760—1848) — профессор натуральной истории, минералогии и сельского хозяйства (с 1794), ректор Московского университета (1818—1828), директор Московского университетского благородного пансиона (1791—1826).

[62]В «Подробном начертании учения в Университетском благородном пансионе на 1810 год» сообщается, что «Михайло Ханенко и Матвей Гаврилов, кандидаты, изъяснят учащимся у них российскую этимологию и правописание, по изданным для пансиона правилам грамматики; разбирая небольшие, приличные детским летам пьесы, постараются приучить их к правописанию» (цит. по: *Сушков.* С. 6). В 1811 г. Ханенко получил звание магистра университета (см.: *Шевырев С.П.* История Московского университета. М., 1855. С. 410). В 1812 г. — учитель арифметики в пансионе. Затем, вероятно, продолжал службу в Ярославском Демидовском училище; в 1813 г. в Москве отдельной книжкой вышло его «Рассуждение о духе первобытной поэзии и о влиянии ее на нравы и благосостояние народов».

[63]«Все отделения и горницы были вверены комнатным надзирателям. Обязанности их: быть неотлучно при детях в свободное время от учения и в часы приуготовления и повторения уроков (репетиции), следить за их занятиями, играми, поступками и обращением между собою, наблюдать за чистотою, умеренною теплотою и освежением покоев воздухом, за своевременною явкою детей в классы и в столовую к обеду и к ужину и т.д., за здоровьем их и опрятностью в одежде» (*Сушков.* С. 39).

[64]И.Ф. *Гудим-Левкович* окончил курс кандидатом университета, в 1814 г. утвержден в звании магистра и уволен от университета (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. Т. 1. № 230). В 1812 г. обучал в пансионе латинской и русской грамматике, был не чужд литературе: в 1811—1816 гг. член-сотрудник Общества любителей российской словесности при Московском университете. Печатался в «Вестнике Европы» (стихотворения «Фиялка и кокос» — 1810. № 3; «За Волгой», «Воспоминание» — 1816, № 1), в «Трудах» ОЛРС помещены его сочинения «К римлянам» (подражание Горацию; ода 6 3-й книги) — 1812. Ч. 1, кн. 2), «К Лицинию» (из Горация; ода 10 2-й книги) — 1812. Ч. 3, кн. 6). Вместе с И.Ф. Стопановским составил план книги «Избранные места из лучших латинских писателей» (Там же. 1812. Ч. 4). В 1816—1818 гг. служил секретарем гражданского губернатора Симбирска; затем стряпчим (1818—1820) и советником (1821—1822) Симбирской уголовной палаты. В 1830 г. был председателем Симбирской гражданской палаты.

[65]После этих слов в писарской копии ГИМ вставка: «русская просодия» (Л. 49 об.).

[66]Краткая российская грамматика. В пользу юношества в Благородном пансионе при Имп. Московском университете. М., 1793; *Ломон Ф.Ш.* Начальные основания французской грамматики. М., 1808; *Гейм И.А.* Немецкая грамматика для классов гимназии и вольного Благородного Пансиона при Московском университете. М., 1802; *Тростин Д.П.* Новая латинская азбука, или Легчайший метод читать по латине и в то же самое время учиться началам латинского языка, местами из латинских писателей, для упражнения детей в чтении избранными, кратким изъяснением частей слова, некоторыми грамматическими нужными правилами, таблицами склонений и спряжений, и наконец словарем, для употребления в низших классах снабденный (3-е изд.). М., 1804; *Богданов П.П.* Краткая логика для юношества, обучающегося в Московском пансионе. М., 1806; *Мерзляков А.Ф.*

Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических. В пользу благородных воспитанников университетского пансиона. М., 1809 (в *Библиотеке* имеется и 1-е, и 2-е (М., 1817) издание этой книги); *Шрекк И.М.* Всеобщая история (2-е изд.). М., 1805; Всеобщее землеописание, изданное от главного управления училищ для употребления в гимназиях Российской империи. СПб., 1806; Курс математики господина Безу, члена Французской Академии Наук, экзаменатора воспитанников Артиллерийского и Морского корпусов и королевского цензора. Переведен Василием Загорским в пользу и употребление благородного юношества, воспитывающегося в Университетском пансионе (2-е изд. Ч. 1–4). М., 1806. *Безу* Этьен (1730–1783) — французский математик, автор классического учебника «Cours complet de mathématique» (Т. 1–6. Paris, 1764–1769); по его книгам учились в России и в Морском шляхетном кадетском корпусе, и в Горном училище; Начертание знатнейших народов света по их происхождению, распространению и языкам. Перевод с нем. <Н.Е. Черепанова>. М., 1798; *Кайсаров А.С.* Славянская и российская мифология. 2-е изд. М., 1810.

[67] *Тека* (*греч.*) — здесь в значении «портфель».

[68] Детский театр, или Собрание пьес, представленных воспитанниками в Университетском благородном пансионе. Ч. 1–2. М., 1802. О роли Сандунова в составлении этого сборника см.: *Резанов В.Н.* Из разысканий о сочинениях Жуковского. СПб., 1906. С. 46–49.

[69] В удовольствие и пользу. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1810–1811. Ч. 1–2.

[70] Ср.: «Годовая плата за пансионера в начале составляла 150 руб. асс. В 1811, после 32 лет, она удвоилась. По изгнании Наполеона из Москвы, увеличиваясь постепенно, в 1824 г. дошла до 650 <...> Всю единственную прибыль составляли ложки, на которые выменивались серебряные, с позолотой внутри, стаканы. В этих-то ложках и стаканах и заключалось все богатство пансиона» (*Сушков.* С. 37).

Глава 3

[1] На полях рукой Дмитриева: «Написать, что пансион был наполнен малороссиянами<.> Большею частию были болваны<.> Долинский<.> Скоропадский<.> Старосельский<.>». Точно сказать, о ком именно идет речь, непросто, т.к. учеников с такими фамилиями в пансионе в разные годы было несколько. Так, Александр Долинский в отчете о Торжественном акте, бывшем 21 декабря 1810 г. (МВед. 1810. № 103), назван в числе воспитанников среднего возраста, получивших «один приз»; в 1815 г. он уже студент, награжденный «саблею и флейтравесическим дуэтом» (МВед. 1815. № 104). Егор Долинский в 1814 г. назван в числе воспитанников большего возраста, получивших «один приз» (МВед. 1814. № 103), в 1815 г. он студент, награжденный за успехи чернильницею (МВед. 1815. № 104). Картина Григория Скоропадского была оставлена в парадной пансионской зале в 1811 г., тогда же он был переведен из класса «богословия и нравственности» в высший — «исторический и физический»(МВед. 1811. № 104). Яков Скоропадский на акте 1811 г. играл скрипичный концерт и был назван в числе воспитанников большего возраста, переведенных из класса «богословия и нравственности» в «исторический и физический» класс (МВед. 1811. № 104); в 1814 г. играл концерт на скрипке и

был «награжден скрипичным концертом»; Александр Скоропадский на том же акте фехтовал (МВед. 1814. № 103). Иван Скоропадский — перевел с французского эссе «Дружба» («Утренняя заря», 1807). Александр Старосельский на акте 1811 г. назван в числе воспитанников большего возраста, получивших «один приз» и переведенных в высший французский класс (МВед. 1811. № 104).

[2]Пансионское образование носило энциклопедический характер, с преобладанием ряда гуманитарных дисциплин. Однако следствием многопредметности была поверхностность знаний, на которую жаловались даже лучшие выпускники пансиона, например В.А. Жуковский: «Для мужчины в нынешнем веке, в котором от других отставать не должно, в этих науках (истории, географии, натуральной истории) нужно знание фундаментальное <...> Мне часто приходилось плохо от недостатка в этом фундаментальном знании» (РС. 1883. № 9. С. 583); «Я часто сетовал на свое совершенное невежество в латинском и греческом языке» (Сочинения Жуковского. СПб., 1878. Т. VI. С. 615).

[3]*Миллер* Иван Осипович (р. ок. 1770) в 1782—1787 гг. обучался в университетской гимназии. С 1799 г. учитель немецкой этимологии и надзиратель пансиона. В 1811—1818 гг. имел чин титулярного советника. Был женат на дочери профессора Н.Н. Сандунова Анне.

[4]*Черепанов* Никифор Евтропиевич (1763—1823) — профессор всемирной истории, статистики, географии. Преподавал в университете (1799—1823) и пансионе. «Профессор в коротко обстриженном рыжем парике, в коричневом полинялом фраке, в пестром жилете, в желтых панталонах с пятнами, немытый и с небритой бородой <...> Читал он вяло, длинно, монотонно и каким-то гробовым голосом» (*Свербеев.* Т. 1. С. 90).

[5]Любопытно практически дословное совпадение этого отзыва о Черепанове с характеристикой, содержащейся в мемуарах сокурсника Дмитриева по университету Д.Н. Свербеева (написаны в 1868 г.). По его словам, Черепанов «умерщвлял в нас всякое умственное стремление к исторической любознательности, будучи сам воплощенною скукою и бездарностью» (*Свербеев.* Т. 1. С. 91). Это совпадение (если оно, конечно, не фиксирует общего мнения о Черепанове, переходившего от одного студенческого поколения к другому) позволяет предполагать, что Дмитриев знакомил с фрагментами своих воспоминаний Свербеева, удостоившегося в «Главах» краткой доброжелательной характеристики (см. гл. 7).

[6]В «Дневнике студента» С.П. Жихарева имеется такая запись о Черепанове: «До сих пор, как только появится на кафедре, так тотчас наши шалуны и давай повторять третьегоднишную его фразу: «Оное Гарнереново воздухоплавание не столь общеполезно, сколько оное финнов Петра великого о лаптях учение есть». Разумеется, конструкция фразы смешна, да за то в ней есть глубокий смысл» (*Жихарев.* Т. 1. С. 33). Свербеев вспоминал другое красочное его изречение: «Семирамида была хотя и легкомысленная женщина, но монархиня наизамечательнейшая» (*Свербеев.* Т. 1. С. 92).

[7]В копии свидетельства, выданного Дмитриеву университетским благородным пансионом, перечислены предметы, которым он обучался: «1. Закону божию и нравственности. 2. Арифметике, геометрии и началам алгебры. 3. Всеобщей истории и географии. 4. Логике, риторике, поэзии и мифологии. 5. Римскому праву и российскому практическому законоискусству. 7. Латинскому, французскому и немецкому языкам с отличною прилежностью и с весьма похвальными успехами» и отмечено, что он «вел себя честно и скромно, в награду получил два приза» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 168. Л. 2).

[8]*Дашков* Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор, с 1826 г. статс-секретарь и товарищ министра внутренних дел; министр юстиции (с 1832). Окончил пансион с отличием в 1801 г. Отношения Дашкова и Дмитриева никогда не были близкими: Дашков с 1810 г. постоянно жил в Петербурге, где Дмитриев не бывал (не считая кратковременной поездки в июне 1813 г., описанной в гл. 5), однако начинал службу в министерстве юстиции под покровительством И.И. Дмитриева (с которым впоследствии сохранил тесные литературные связи). М.А. Дмитриев ценил Дашкова и как талантливого литератора карамзинской школы, и как квалифицированного юриста, цивилизованного администратора, под чьим начальством было приятно служить (см. об этом в гл. 16—18). Интересно, что П.И. Бартенев в статье «Дмитрий Васильевич Дашков. Обозрение его службы» (РА. 1891. Кн. 1. № 2. С. 331—333) ссылается на М.А. Дмитриева как на источник сведений о Дашкове. *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — литератор, археограф, директор департамента духовных дел иностранных исповеданий (1810—1824). Окончил пансион в 1801 г. *Жуковский* учился в пансионе в 1797—1800 гг. Неясно, кого из братьев Кайсаровых имеет в виду Дмитриев, так как воспитанниками пансиона были и Андрей, и Михаил, и Петр Кайсаровы. Вероятно, здесь речь идет об Андрее Сергеевиче Кайсарове (1782—1813) — публицисте, филологе, поэте, организаторе походной типографии при штабе войск во время Отечественной войны; он учился в пансионе до 1795 г. *Милонов* Михаил Васильевич (1792—1821) — поэт-лирик; в пансионе обучался в 1803—1805 гг. *Родзянка* (Родзянко) *Аркадий* Гаврилович (1793—1846) — поэт, активно печатавшийся в пансионских сборниках (Гармония // Стихи, читанные в день заведения Собрания благородных воспитанников при Университетском Пансионе. М., 1810. С. 9—12; Отечество // Там же. 1811. С. 7—10; Уединение; Воображение; Младенчество // В удовольствие и пользу. Труды воспитанников Университетского Благородного Пансиона. М., 1811. Ч. 2. С. 31—38, 305—314, С. 325—332) и периодике 1820-х гг. В пансионе — с 1807 г.; тогда же стал своекоштным студентом словесного отделения университета. В 1810 г. за успехи был награжден «серебряной медалью с именем и листом» (МВед. 1810. № 103), в 1811 — «золотой медалью» (МВед. 1811. № 104). В 1811 г. «уволен с аттестатом», отмечавшим его «превосходные успехи, особливо в поэзии», от пансиона и университета. В 1813 г. вторично вступил в студенты университета, но уже на следующий год снова уволился для поступления на государственную службу (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 154. Л. 1, 4; Оп. 109. № 256). Служил в лейб-гвардии Егерском полку, в 1819 г. перешел с чином штабс-капитана в Орловский пехотный полк; с 1821 г. — в отставке, проживал преимущественно в своем полтавском имении. Член литературного общества «Зеленая лампа» (1818—1819).

[9]О нем см. примеч. 62 к гл. 2.

[10]*Болдырев* Алексей Васильевич (1780—1842) — востоковед, лингвист-полиглот, профессор восточной словесности (1811—1837), в 1832—1837 гг. ректор Московского университета. В 1807—1809 гг. изучал за границей восточные языки. О нем см.: *Стариков А.А.* Восточная филология в Московском университете (А.В. Болдырев и П.Я. Петров) // Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 3. М., 1960.

[11]Статьи Болдырева о глаголах были напечатаны в «Трудах» ОЛРС (1812. Ч. 2—3; 1816. Ч. 6).

[12]*Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, переводчик. Магистр университета (1804; с этого времени занимал кафедру российского красноречия и поэзии),

профессор красноречия, стихотворства и языка российского в Московском университете (с 1807), декан словесного отделения (в 1817—1818, 1821—1828 гг.).

[13]*Баттё* Шарль (1713—1780) — французский философ-эстетик, педагог, автор обобщающего труда «Изящные искусства, изложенные по единому принципу» (1746; русский перевод: «О свободных науках <...>» (СПб., 1803)), а также пользовавшегося европейской известностью трактата «Курс словесности, или Основания литературы» (1756; русский перевод Д.А. Облеухова: Начальные правила словесности. М., 1806. Ч. 1—4). На последнее сочинение Мерзляков ориентировался в своем курсе теории словесности, учитывая также эстетические труды Иоганна Иоахима Эшенбурга (1743—1820): Мерзляков перевел его книги, значительно дополнив их разборами сочинений русских писателей: Краткая риторика. М., 1821 (3-е изд.), Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822. Ч. 1—2. Краткое руководство к эстетике. М., 1829. С.П. Шевырев, ученик Мерзлякова, характеризует его эстетические предпочтения следующим образом: «Эшенбург признает начало, которое Батте полагал для изящных искусств, в подражании изящной природе, за недостаточное <...> Эшенбург, вместе с Баумгартеном, ставит высшим началом изящных искусств чувственное совершенство <...> Мерзляков приводит оба мнения, и Батте, и Эшенбурга, но остается при мнении первого» (Словарь профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. Т. 2. С. 65).

[14]Речь идет о романе М.М. Хераскова (1733—1807) «*Кадм и Гармония.* Древнее повествование» (М., 1789), популярном в конце XVIII в. и выдержавшем несколько изданий.

[15]*Российская академия* была создана в 1783 г. по образцу Французской академии как филологический центр; в число ее первоочередных задач входили создание словарей, разработка грамматики русского языка и всестороннее его изучение. Успешно с этим справляясь, Академия (в особенности с начала 1800-х гг., под воздействием А.С. Шишкова, ставшего в 1813 г. ее президентом) пыталась направлять литературный процесс. При этом зачастую членами ее становились незначительные авторы и лица, в глазах широкой публики не имевшие отношения к изящной словесности, тогда как знаменитости — Крылов, Карамзин, Озеров — на протяжении долгого времени в Академию попасть не могли.

[16]«*Беседа* любителей русского слова», возникнув как дружеский литературный кружок, члены которого в 1807—1810 гг. собирались поочередно в домах Г.Р. Державина, А.С. Шишкова, И.С. Захарова, А.С. Хвостова, оформилась в официально утвержденное литературное общество со строгой иерархией в феврале 1811 г. Отзывы Дмитриева о Российской академии и «Беседе» отличаются предвзятостью и отражают даже не столько мнение литератора — поклонника Карамзина, сколько воззрения человека, далекого от петербургской литературной жизни.

[17]*Крылов* Иван Андреевич (1769—1844) — писатель, баснописец, журналист. В составе *Библиотеки* имеется его «волшебная опера» «Илья Богатырь» (СПб., 1807).

[18]Имеются в виду книги «Басни И.А. Крылова» (СПб., 1809) и «Новые басни» (СПб., 1811).

[19]*Петров* Василий Петрович (1736—1799) — поэт-одописец.

[20]Составить представление о лекциях Мерзлякова можно по его статьям, помещенным в «Трудах» ОЛРС: «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии» (1811. Ч. 1), «Разбор осьмой оды Ломоносова...» (1817. Ч. 7), «О Державине» (1820. Ч. 18). В *Библиотеке* сохранилось лирико-драматическое стихотворение Мерзлякова «Шувалов и Ломоносов» (М., 1827).

[21]*Саларев* Сергей Гаврилович (1792—1820) — сын «покойного прапорщика» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 399. Л. 2), в пансионе учился с 1803 г. и окончил его с золотой медалью; его имя было занесено на почетную доску лучших воспитанников. В 1807—1812 гг. — студент словесного отделения университета, которое кончил кандидатом. В свидетельстве об окончании курса отмечено, что он «благородным и честным поведением, примерной скромностию и добронравием отличался пред всеми своими товарищами. Был один из первых самых лучших благородных воспитанников» (Там же). Служил писарем в Опекунском совете при Воспитательном доме (1815—1816), секретарем в одном из московских департаментов Сената (с 1818). Поэт, литератор; с 1811 г. сотрудник, с 1818 — действительный член ОЛРС. «Антонский любил его как сына и действительно вполне заменил родителей ему, круглой сироте с детства. В сношениях своими с товарищами Саларев отличался какою-то мягкою девичьею застенчивостью, детскою кротостию. Его и звали товарищи красною девушкой» (*Сушков.* С. 78—79; см. также: *Давыдов И.И.* Воспоминание о С.Г. Салареве // Труды ОЛРС. Ч. XIX. Кн. 29. С. 5—28). Был одним из самых плодовитых сочинителей-пансионеров; писал стихи: К Дружбе; Религия; Поэзия // Стихи, читанные в день заведения Собрания благородных воспитанников при Университетском Пансионе. М., 1810. С. 3—6; Ода на победу при Полтаве // В удовольствие и пользу. Ч. 1. 1810. С. 127—132; Гимн Солнцу; Поэзия; К молодому деревцу // Там же. Ч. 2. М., 1811. С. 3—7, 258—263, 392—394, басни: Волк и козел; Собака и овца; Два брата // Там же. С. 226—228, 296—297, 364—366, прозаические миниатюры: Смерть Игоря; К Богу // Там же. С. 133—139, 333—336, эпиграммы. Переводил отрывки из сочинений Жофруа (О воспитании // Там же. С. 170—179), Саллюстия (О нравах и характере первобытных римлян // Там же. С. 186—190).

[22]Об А.Г. Родзянко см. также воспоминания Сушкова: «Добрый товарищ и страстный любитель поэзии, он отыскивал грядущих стихотворцев по всем комнатам пансиона, даже в отделении маленьких. Нрава он был не столько вспыльчивого, сколько подчас нетерпеливого, и это от того, что, немножко заикаясь при продолжительном иногда споре о какой-нибудь оде Ломоносова или Державина, не поспевал за скороговоркою своих противников <...> очень нравились нам, его товарищам, прощальные стихи Родзянки на выход из пансиона: «Корабль мой окрылен! Пора, друзья, расстаться!» (*Сушков.* С. 77). Речь идет о стихотворении «К друзьям, воспитанникам университетского благородного пансиона, при выходе из оного» (Каллиопа. М., 1815. С. 42—48), читанном на торжественном акте 23 декабря 1811 г. (МВед. 1811. № 104).

[23]Имеется в виду организованное в 1801 г. «Собрание питомцев благородного пансиона», основателем и первым председателем которого был В.А. Жуковский.

[24]*Полëтика Григорий Васильевич* — в пансионе с 1802 г., выпущен с золотой медалью; в 1807—1813 гг. студент университета, окончил курс кандидатом. В 1811 г. его имя было занесено на доску лучших воспитанников пансиона (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 109. № 327. Л. 1, 2; Ф. 459. Оп. 1. № 118. Л. 3). Вероятно, был сыном Василия Григорьевича Полетики (1765—1845), сочинившего вместе со своим отцом Григорием Андреевичем знаменитую «Историю Руссов» (изд. в 1846 г.), которая была приписана Г. Конисскому (см.: *Полетика Н.П.* Виденное и пережитое. Иерусалим, 1990. С. 9—10). Сочинения Г.В. Полетики на заданные темы («О семейственных обязанностях как вернейших обязанностях гражданина», 1808; «О басне» 1810; «О том, каким образом просвещение способствует благосостоянию, силе и славе государства», 1811) были призна-

ны на торжественных актах пансиона одними из лучших (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 109. № 327. Л. 1, 2; Ф. 459. Оп. 1. № 118. Л. 1 об.—2; МВед. 1811. № 104). В 1812—1816 гг. — сотрудник ОЛРС.

[25]Вероятно, память подвела Дмитриева. В «Истории Московского университета» С.П. Шевырева (М., 1855. С. 411, 460) упоминается воспитанник пансиона и позже (1815) магистр университета Александр *Павлович Величко* (1793—1867) — «сын коллежского советника и кавалера Павла Велички, уроженец города Оренбурга <...> обучался в харьковском университете <...> с 1808 года учился в Благородном Московском университетском пансионе <...> того же года произведен от университета студентом» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 109. № 290. Л. 1). В 1810 г. награжден «серебряной медалью с именем и листом»; выполненные им рисунок и архитектурный чертеж, как лучшие, оставлены в пансионской зале (МВед. 1810. № 103); в 1811 г. награжден золотой медалью, архитектурный чертеж снова оставлен в зале (МВед. 1811. № 104). В сборнике трудов пансионеров «В удовольствие и пользу» напечатан его прозаический перевод из Левека «Орфей» (Ч. 2. М., 1811. С. 384—391). Прервав обучение в университете в 1812 г., в 1813 г. был вторично зачислен в число своекоштных студентов физико-математического отделения (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 109. № 290. Л. 3) и утвержден в степени кандидата (Там же. Ф. 459. Оп. 1. № 54. Л. 1). С конца 1810-х гг. жил в Петербурге; в 1830-х гг. служил управляющим делами Сибирского комитета, в 1840-х был членом Совета министра внутренних дел и Статистического отделения министерства; действительный статский советник. Переводил В.Скотта (Турнир в Англии... // СО. 1820. № 52. С. 253—271; Одна глава из романа «Ивангое» // ВЕ. 1820. № 22. С. 81—99); в письме к К.Ф. Рылееву (РС. 1889. № 2. С. 325) предлагал свои сочинения для альманаха «Полярная звезда».

[26]*Полугарский Илья Иванович* (ум. 1859) в 1810 г. студент, награжден серебряной медалью и переведен из класса алгебры в класс «приложения к геометрии и механике» (МВед. 1810. № 103; там же объявлено, что он будет обучаться «фортификации, артиллерии и гражданской архитектуре»). В 1811 г. награжден серебряной медалью «с таким же листом, как при золотой медали»; сочиненный им его «Разговор о выгодах войны и мира» был признан одним из лучших пансионских сочинений (МВед. 1811. № 104). Московский литератор-дилетант, с 1821 г. член-корреспондент ВОЛРС, где обсуждались его стихи «Мои цепи» (заседание 19 сентября 1821 г.), «К Филиберу» (заседание 11 сентября 1822 г.); автор «Переложения псалма 136-го» (Сочинения в прозе и стихах. 1826. Кн. 16. С. 187). Перевел трагедию Вольтера «Заира» (М., 1821; издание имеется в *Библиотеке*).

[27]*Эсимонтовский Григорий* в 1810 г. студент, награжден «серебряной медалью с именем» (МВед. 1810. № 103), в 1811 — «серебряной медалью с листом» (МВед. 1811. № 104). В одном из пансионских сборников помещены его переводы с немецкого (Древние писатели // В удовольствие и пользу. М., 1810. Ч. 1. С. 247—266) и французского (О происхождении поэзии (из Кондильяка), О дарованиях поэта (из Мармонтеля) // Там же. М., 1811. Ч. 2. С. 340—352, 367—381).

[28]Речь идет о стихотворении И.И. Дмитриева «Ермак», вошедшем в его сборник «И мои безделки» (1795). Текст построен как разговор двух сибирских шаманов, старого и «младого»; в предваряющих эту беседу строках дано подробное описание их одежд: «С булатных шлемов их висят / Со всех сторон хвосты змеины / И веют крылия совины; / Одежда из звериных кож; / Вся грудь обвешана ремнями, / Железом ржавым и кремнями; / На поясе широкий нож» (*Дмитриев—1986.* С. 22).

[29]Труд историографа, академика Герарда Фридриха (Федора Ивановича) Миллера (1705—1783) «Описание Сибирского царства и всех происходящих в нем дел, от начала, а особливо от покорения его Российской державе по сии времена» (СПб., 1750) долгое время оставался основным источником сведений о Сибири и населяющих ее народах.

[30]Т.е. П.И. Голенищев-Кутузов.

[31]Ср. замечание А.И. Тургенева в письме к А.С. Кайсарову (начало 1805 г.): «В пансионское собрание ходит очень часто Дмитриев и твердит беспрестанно Хвостову и Кутузову, которые выдают вместе журнал, чтобы они шли учиться благоразумной критике к детям в пансион» (Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 328).

[32]Имеются в виду следующие издания: Утренняя заря. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. Кн. 1—6. М., 1800, 1803, 1805—1808 (в *Библиотеке* есть кн. 1); Избранные сочинения из «Утренней зари». М., 1809—1810. Ч. 1—2 (в *Библиотеке* имеется экземпляр этого издания с надписью «Михаилу Дмитриеву за отличное благонравие, прилежность и успехи. Ректор Иван Гейм»: *Анохина Т.Г.* Указ. соч. С. 94); И отдых в пользу. М., 1804; В удовольствие и пользу. Труды воспитанников Университетского благородного пансиона. М., 1810—1811. Кн. 1—2 (в *Библиотеке* — по два экземпляра каждой книги); Каллиопа. Труды благородных воспитанников университетского пансиона. М., 1815—1817, 1820. Ч. 1—4. Выходили и другие сборники сочинений пансионеров: Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов, издаваемых питомцами учрежденного при императорском Московском университете Вольного Благородного пансиона. М., 1787; Труды благородных воспитанников университетского пансиона. М., 1824—1825. Ч. 1—2.

[33]*Плиний Старший* (23 или 24—79) — римский ученый, автор «Естественной истории». *Плиний Младший* (61 или 62 — ок. 113) — племянник и воспитанник Старшего Плиния, римский государственный деятель и писатель, автор десяти книг «Писем». Переведенное с французского жизнеописание «Младший Плиний» — дебют Дмитриева в печати.

[34]*Муравьев* Михаил Никитич (1757—1807) — с 1803 г. товарищ министра народного просвещения и попечитель Московского университета. Поэт, прозаик; в *Библиотеке* есть его «Полное собрание сочинений» (СПб., 1819—1820. Ч. 1—3) и сборник «Обитатель предместья и Эмилиевы письма» (СПб., 1815, № 1822). Поэт М.М. Херасков был куратором университета с 1778 по 1802 г. *Мелиссино* Иван Иванович (1718—1795) — в 1757—1767 гг. директор, с 1771— куратор университета. См. стихи П.С. Кайсарова «Надписи к портретам» (Избранные сочинения из «Утренней зари». М., 1809) и С. Родзянко «К портретам их превосходительств гг. кураторов университета, поставленным в новой пансионской зале» (Утренняя заря. М., 1800. Вып. 1. С. 179—181). Об этих же портретах вспоминает сам Дмитриев в элегии «Проданный дом» (1843): «Вот зала та, где с стен заветных / Взирали лики прежних лет, / В чьих взорах важных и приветных / Читали мы добра завет: / Шувалов — памятию вечный, / Херасков — двух времен звено, / И Муравьев чистосердечный, / И скромный муж Мелиссино!» (Стихотворения—1865. Ч. 1. С. 90).

[35]В писарской копии ГИМ (Л. 59) вместо этого слова стоит: «обыкновенно».

[36]В разные годы название этих книжечек менялось: в 1816 г. были изданы «Речь, разговор и стихи, читанные в университетском благородном пансионе на публичном акте 1816 года, декабря 23 дня», в 1817 г. брошюра называлась «Речь, разговор и стихи, произнесенные на публичном акте университетского благородного пансиона, 1817 года декабря 21 дня», в 1826 — «Речь и стихи, произнесенные в торжественном собрании уни-

верситетского благородного пансиона, по случаю выпуска воспитанников, окончивших курс учения 1826 года, апреля 10 дня»; перечисленные книги имеются в *Библиотеке*.

[37]Второй переулок — Долгоруковский. Ср. описание зданий пансиона: «Главный корпус его выходил на пансионский двор, перпендикулярно к нему были построены три корпуса: два по протяжению Газетного и Долгоруковского переулков и в равном от них расстоянии третий средний, упиравшийся в ту часть дома, фасадом на Тверскую, которая назначена была для помещения директора и инспектора. Таким образом здание, в своем целом имело форму буквы Е, вероятно данную в память Екатерине II, во время приспособления дома под помещения пансиона. Корпусы по Долгоруковскому и Газетному переулкам оканчивались круглыми залами под куполами: в одном из них находилась библиотека и физический кабинет, в другом, со стороны Газетного переулка, — церковь (построенная во время директорства Антонского, но уже после пребывания Дмитриева в пансионе. — *Коммент.*)» (Московский университетский благородный пансион. По поводу юбилея В.А. Жуковского // РС. 1883. № 4. С. 236; статья подписана астронимом ***).

[38]Церковь Успения Божией Матери на Успенском вражке (ныне Газетный пер., 15) — в переулке, который соединял Никитскую и Тверскую улицы и назывался Успенским вражком (т.е. оврагом). Существовала уже в первой половине XVI в.; в XVII—XIX вв. четырежды перестраивалась. В настоящее время главы церкви и колокольни сломаны; в здании по сей день располагается телефонная станция для междугородных переговоров (*Паламарчук*. Т. 2. С. 117).

[39]*Базилевский* Петр Андреевич (1795—1863) — камер-юнкер, в 1826 г. коллежский асессор в Экспедиции кремлевских строений; в 1844 г. камергер, чиновник при московском военном генерал-губернаторе в чине коллежского советника. Знакомый Н.В. Сушкова (см.: *Ильин-Томич А.А.* К истории эпистолярных отношений Ф.Ф. Вигеля // Темы и вариации: Сб. статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Stanford, 1994. С. 231). В 1842 г. Дворянский институт (так с 1830 г. стал называться пансион) «был переведен в дом № 1 на Моховой улице, а освободившийся дом казна продала в следующем, 1843 г. купцу А.Н. Голяшкину, который в том же году перепродал его уездному предводителю дворянства П.А. Базилевскому» (*Сытин П.В.* Из истории московских улиц. М., 1958. С. 210).

[40]Ср. запись А.А. Прокоповича-Антонского: «По завладении французами Москвы, дом (пансиона. — *Коммент.*) со всеми заведениями, кроме серебра, которого было довольно значительное количество в посуде, стаканах, ложках и проч., сожжен. Когда министр Разумовский предписал, чтобы опять восстановить мне пансион, то сначала я завел его в наемном доме, в 10 тыс. на год, но потом приступил опять к отделке пансионского дома и устроил его гораздо лучше прежнего, даже и церковь со всею утварью и причтом учредил, по указу государя императора Александра во имя Воздвижения Креста» (РА. 1897. № 5. С. 115).

[41]*Мориан* Иван Петрович — купец 3-й гильдии, в 1850-х гг. живший и торговавший в доме Базилевского.

[42]См.: *Дмитриев М.* Проданный дом // Молодик на 1844 год: Украинский литературный сборник. СПб., 1844. Ч. 2. С. 17—19. «Молодик на 1843 год» и первая часть «Молодика на 1844 год» (издатель И.Е. Бецкий) вышли в Харькове, поэтому Дмитриев называет альманах харьковским (названные издания сохранились в составе *Библиотеки*).

Цитируя это стихотворение Дмитриева в 1883 г., анонимный автор «Русской старины» замечает: «Горькие опасения покойного Дмитриева сбылись; в этом доме, принадлежащем, кажется, г. Шаблыкину, помещаются не только торговые и съестные заведения и номера для приезжающих и приходящих, но даже в том самом месте, где была церковь <...> производится теперь продажа спиртных напитков распивочно и на вынос» (РС. 1883. № 4. С. 237).

[43]О нем см. примеч. 64 к гл. 2.

[44]Речь идет об одном из следующих сочинений: «Размышление о делах Божиих в царстве натуры и провидения, на каждый день года, и беседа с Богом, или размышление в утренние и вечерние часы» (М., 1787—1789. Т. 1—12; первая часть этого издания, «Размышления», «представляет как бы популярную естественно-научную энциклопедию, проникнутую от начала до конца религиозною мыслию» (*Тихонравов Н.С.* Сочинения. Т. 3, ч. 1. С. 404), вторая, «Беседы», носит богословский характер) и «Книга премудрости и добродетели, или Состояние человеческой жизни, индейское нравоучение» (М., 1794) — переведенный с немецкого В.С. Подшиваловым сборник нравственных поучений — сочинение английского моралиста Роберта Додсли (1703—1764), выдавшего свою книгу за перевод индийского манускрипта (о ней см.: *Тихонравов Н.С.* Указ. соч. С. 404).

[45]Сушков вспоминает еще одну любопытную деталь обедов в пансионе: «Перед столовою в проходной горнице, в углу близ двери, накрыт маленький стол; перед ним у стены ленивый или упрямый преступник, над ним лист бумаги на стене с надписью: «Ослиный стол». — Полтораста, двести пар воспитанников проходят мимо в столовую и из столовой — и стыдят его. Впрочем, редко и очень немногие подвергали себя такому позору» (*Сушков.* С. 48—49).

[46]Ср. пансионское правило: «Без позволения инспектора не должно читать никаких книг, кроме ученых и тех, кои в библиотеке Пансиона находятся, дабы в противном случае чтение без разбору не нанесло вреда нравам» (Благородный пансион императорского московского университета. М., 1820. С. 43).

[47]Неустановленное лицо.

[48]После этих слов в писарской копии ГИМ (Л. 62) вставлено: «унтер-офицера и».

[49]*Тесак* — рубящее и колющее оружие: короткий обоюдоострый клинок на крестообразной рукояти.

[50]Т.е. упражнений.

[51]*Всесвятская роща* — в селе Всесвятском, в то время находившемся в 5 верстах от Москвы. Теперь неподалеку от этого места — станция метро «Сокол». Описание рощи см. в кн.: *Гурьянов.* Ч. 4. С. 239.

[52]*Швенгсфельден* Осип — барон, в 1811 г. помощник инспектора пансиона. В.И. Сафонович, бывший пансионер, в «Воспоминаниях» называет его Швейнфельдом (скорее всего, производя это пансионское прозвище от нем. Schwein — свинья) и пишет, что «его никто терпеть не мог за глупое и грубое обращение» (РА. 1903. № 1. С. 120), а Н.И. Тургенев упоминает о насмешливом нраве барона Швернгсфельда (Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 1. С. 114; в комментарии Е.И. Тарасова (Вып. 2. С. 466) он назван Швенфельденом).

[53]Имеется в виду Николай Александрович *Крюков* (1800—1854), декабрист, воспитывавшийся в пансионе до 1813 г. (в 1810 г. назван в числе воспитанников меньшего

возраста, получивших один приз — МВед. 1810. № 103). Второй *Крюков*, Иван (возможно, брат первого), в 1810 г. был переведен из класса богословия и нравственности в класс нравственный и физический (Там же). В 1810—1815 гг. в пансионе обучались несколько *Похвистневых*. Речь может идти о Дмитрии (Николаевиче?) Похвистневе, в 1810 г. в звании студента награжденном математическими инструментами (МВед. 1810. № 103), в 1811 — вкладным циркулем с именем (МВед. 1811. № 104), или о Николае, ставшем в 1814 г. студентом университета (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 216), или же о Владимире (он был награжден «серебряной медалью без имени» в 1816 г.: Речь, разговор и стихи, произнесенные на публичном акте... пансиона... М., 1817. С. 46).

[54]Вероятно, речь идет об экономе Болотове, «смотрителе за домом благородного пансиона» (ум. ок. 1813: ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 102); о нем же упоминает В.И. Сафонович (РА. 1903. № 1. С. 127).

[55]См.: *Прокопович-Антонский А.А.* Слово о воспитании. М., 1798 (в 1807 г. перепечатано в 6-й книге «Утренней зари» с заглавием «О воспитании», в 1818 г. — переиздано отдельной брошюрой под тем же названием).

[56]*Четвериков* Михаил Филиппович — «сын действительного статского советника и кавалера Филиппа Прохоровича Четверикова» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 112. № 231. Л. 1—2), племянник Аграфены Алексеевны Дурасовой. В пансионе с 1807 по 1 августа 1812 г. В 1810—1815 гг. студент университета. В 1810 г. был награжден на торжественном акте пансиона книгою и планом и переведен из класса логики и риторики в высший латинский и российский классы, из класса геометрии и тригонометрии — в алгебраический (МВед. 1810. № 103). В 1811 г. переведен из алгебраического класса в класс приложения алгебры и механики (МВед. 1811. № 104). В «Свидетельстве», выданном ему пансионом, отмечено, что Четвериков «вел себя честно и благоразумно. На публичных экзаменах оного пансиона получил в награду 5 призов» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 112. № 231. Л. 2). По-видимому, о нем упоминает Д.И. Вельяшов-Волынцев в своем дневнике: «24 февраля 1816 <...> был у Мерзлякова, коего нашел в халате, дающего какому-то Четверикову укор <...>» (*Вельяшов-Волынцев Д.И.* Моя повседневная записка // ОР РГБ. Ф. 721. К. 3. № 3. Л. 78).

[57]Правильно: *Загорский Василий* Андреевич — адъюнкт физико-математического факультета университета в 1805—1810 гг.

[58]Дмитриев и его приятель нарушили п. 91 Устава: «Никто из пансионеров и полупансионеров не имеет права выходить из Пансиона без позволения инспектора» (Благородный пансион императорского московского университета. С. 36).

[59]*Чернявский Иван Пантелеевич* (ок. 1789—1836) — выпускник Московского университета; служил в пансионе с 1805 г., исправляя должности старшего надзирателя и учителя рисования. В 1811 г. губернский секретарь, в 1820 — помощник инспектора пансиона в чине 8-го класса, в 1826 — надворный советник. О нем см. в воспоминаниях М.П. Третьякова «Императорский московский университет в 1799—1830: «инспектор пансиона Д[авыдов] и помощник его Чернявский, племянник Антонского, имели у себя в комнатах от 10 до 15 человек воспитанников за условленную плату. Эти воспитанники как-то лучше успевали в учении и получали за то первые награды. То же делали и надзиратели, только в малом виде» (РС. 1892. № 9. С. 534). См. о нем также: *Снегирев И.М.* Дневник. Т. 1. С. 40, 151.

[60]На полях помета Дмитриева: «Как готовили в студенты. Антонской, Куницкий и Стопановский». — Павел Куницкий и Федор Семенович Стопановский обучали в пансионе началам российского языка. Куницкий, будучи кандидатом Московского университета, перешел в Харьковский (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 112. № 169). В 1814 г. Стопановский был утвержден в звании магистра и вскоре перешел из университета на службу в другое место (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 230). В 1844 г. имел чин надворного советника и служил советником палаты государственных имуществ Бессарабской области.

[61]С.П. Шевырев воспитывался в пансионе в 1818—1822 гг. Он автор воспоминаний «Антон Антонович Прокопович-Антонский» (Москвитянин. 1848. № 8), отдельной статьи о директоре пансиона в юбилейной «Истории Московского университета» (М., 1855) и написанной совместно с Г.Е. Щуровским биографии Прокоповича-Антонского в «Словаре профессоров и преподавателей Московского университета» (М., 1855. Ч. 1). Оттиск воспоминаний Шевырев прислал Дмитриеву в Богородское; в письме от 17 декабря 1848 г. Дмитриев благодарил его за доставление «прекрасной статьи об общем нашем наставнике Антоне Антоновиче» (РО РНБ. Ф. 850. № 228. Л. 12).

[62]Ср. в «Воспоминаниях» В.И. Сафоновича об Антонском: «Он вынес из места своего воспитания (имеется в виду Киевская духовная академия. — *Коммент.*) некоторую жестокость характера, но мог тотчас совладеть с собою; как скоро являлся свидетель, и он немедленно превращался в самое кроткое существо» (РА. 1903. № 1. С. 117—118).

[63]Евр., XIII, 7: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

[64]Эта встреча произошла 5 июня 1812 г. (Мелочи. С. 55).

[65]Дмитриев усвоил восторженное отношение своих старших современников к екатерининскому царствованию: «А время-то было какое! Екатерина после Анны, бабы Елизаветы и пьяницы Петра! — Законы, обычаи, общество, понятия — все новое и свежее. Только при этом всеобщем воскресении России мог родиться живой Карамзин» (Письмо к Погодину от 28 апреля 1865 г. // РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. № 146. Л. 5 об.).

[66]См.: Письмо Николая Михайловича Карамзина к императору Александру I-му после разговора с ним о Польше в 1819 году // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России. Берлин, 1861. С. 151—160. В *Библиотеке* имеется карамзинское «Историческое похвальное слово Екатерине Второй» (М., 1802).

[67]*Гораций* Флакк Квинт (65—8 гг. до н. э.) — римский поэт.

[68]*Федр* (ок. 15 до н. э. — ок. 70 н. э.) — римский баснописец.

[69]Эта ода обращена не к *Юлию*, а к Юлу Антонию, сыну триумвира Марка Антония, поэту, казненному во 2 г. н. э. за связь с дочерью императора Августа.

[70]*Гейм* Иван Андреевич (1758—1821) — профессор истории, статистики и географии Московского университета (с 1786). Службу в Московском университете начал в 1781 г. лектором немецкого языка и классической древности. Был первым (до Прокоповича-Антонского) инспектором пансиона, преподавал в нем немецкий язык и словесность; в 1808—1818 гг. ректор университета.

[71]Цитата из стихотворения «Воспоминание молодости» (1845): *Дмитриев М.А.* Московские элегии. М., 1858. С. 12.

[72]*Сперанский* Михаил Михайлович (1772—1839) по восшествии на престол Александра I получил звание статс-секретаря; с 1802 по 1807 г., оставаясь в этой должности,

служил в министерстве внутренних дел. Член Комиссии составления законов, в 1809 г. подготовил «Введение к уложению государственных законов». 17 марта 1812 г. был отстранен от дел и отправлен в ссылку (возвращен в 1816 г.). Впечатления современника от ареста Сперанского и характеристику его как «изменника» см., напр.: Письма И.П. Оденталя к А.Я. Булгакову о петербургских новостях и слухах // РС. 1912. Т. 150. № 5. С. 417—418, 422, 424, 427.

[73]Ср. «Записки о 1812 годе» Ф.В. Ростопчина: «<...> фактическое последствие злоязычия было, к несчастью, таково, что Сперанский прослыл за преступника, за предателя своего царя и отечества и что люди простого сословия заменяли его именем имя Мазепы, которое есть эпитет изменника» (*Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! М., 1992. С. 246).

[74]*Малиновский* Алексей Федорович (1762—1840) — историк, переводчик, литератор. С 1814 г. управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел, до этого времени служил советником канцелярии архива.

[75]*Бантыш-Каменский Николай Николаевич* (1737—1814) — историк, управляющий московским архивом Коллегии иностранных дел (1800—1814).

[76]Ф.Ф. Вигель, в 1800—1802 гг. также служивший в архиве, в своих «Записках» рассказывает о событиях сентября 1771 г., следствием которых стала глухота Бантыш-Каменского: «Наш начальник имел несчастие лишиться слуха от побоев разъяренной черни, когда она, во время чумы, вломилась в комнаты родного дяди его, московского архиепископа Амвросия Зертыс-Каменского, убила мудрого своего пастыря. Из уважения в памяти сего мученика приложил он русское фамильное имя к своему молдавскому прозванию. Дед его, Константин Бантыш, при Петре Великом прибыл в Россию в свите князя Кантемира» (*Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. 1. С. 107).

[77]*Шмольник* — «скупец, скряга, попрошайка» (В.И. Даль).

[78]*Верещагин* Михаил Николаевич (1789—1812) — сын купца, переводчик нескольких немецких и французских романов; арестован московским генерал-губернатором Федором Васильевичем *Ростопчиным* (1763—1826) и отдан на расправу толпе 2 сентября 1812 г., перед вступлением Наполеона в Москву. Это событие, нашедшее отражение в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, потрясло современников. О его правовом и нравственно-психологическом аспектах размышляли Вяземский в «Воспоминаниях о 1812 годе» (*Вяземский П.А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 293—296), Д.П. Рунич в «Записках» (Русское обозрение. 1890. № 9. С. 200—205), Свербеев в статье «Московские пожары 1812 г.» (*Свербеев.* Т. 1. С. 427—468), А.Д. Бестужев-Рюмин (1812-й год. Краткое описание происшествий в столице Москве в 1812 году // РА. 1910. Кн. 2. № 5. С. 98; в *Библиотеке* есть экземпляр этих воспоминаний в более раннем издании; оттиск из «Чтений в Обществе истории и древностей российских». 1859. Кн. 2). Рассказ о прокламации Верещагина содержится и в «Мелочах» (С. 236).

[79]*Пике* — плотная (шелковая и хлопчатобумажная) материя, лицевая поверхность которой обработана в виде выпуклых рубчиков. К концу 1810-х — началу 1820-х гг. жилет из белого пике стал атрибутом модной, щегольской одежды (*Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. М., 1995. С. 213).

[80]*Планшевая китайка* — дешевая шелковая ткань, особый вид тафты.

[81]*Флорье* Егор — портной, живший на Ленивке в доме № 423.

Глава 4

[1]*Долгоруков Алексей Алексеевич*, князь (1767—1834) — симбирский гражданский губернатор (1808—1815); московский гражданский губернатор (с 1815); сенатор 1-го отделения 6-го (московского) департамента (1817—1827); министр юстиции (1827—1829).

[2]*Китайчатый сарафан* — из китайки, плотной хлопчатобумажной ткани синего (реже красного) цвета. *Александрейская рубашка* — сшитая из красной хлопчатобумажной ткани. *Полосушка* — здесь в значении «платье из дешевой материи в полоску».

[3]Двоюродный брат мемуариста. О нем см. примеч. 80 к гл. 1.

[4]Этот обычай подтверждается детским письмом Дмитриева, адресованным, по-видимому, его кормилице: «Милая мама. Я давно к тебе не писал и особливо право нет на это время, скажу тебе, что я слава богу здоров. Кланяйся от меня няне и всем тетушкиным девкам, так же и Параше, Алевтине Матвеевне, Осиповне и всем-всем; нашим и ильинским Арине Алексеевне и Акулине — прости, милая мама, остаюсь истинно любящим тебя — М. Дмитриев» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 14).

[5]В современной орфографии слово «мир» объединило в себе два различных слова, прежде отличавшихся и по написанию (миръ и міръ). Здесь речь идет о *міре* — крестьянской общине.

[6]Манифест о создании ополчения был подписан императором 6 июля 1812 г.

[7]О милиции 1806—1807 гг. см. примеч. 57 к гл. 1.

[8]По свидетельству В.И. Сафоновича, относящегося к пансиону и его директору далеко не так сентиментально, как Дмитриев, не со всеми своими подопечными Антонский был столь предупредителен и заботлив. Сафонович рассказывает о судьбе нескольких воспитанников, которые остались на лето 1812 г. в пансионе и в августе—сентябре оказались без всякого присмотра; сам же Антонский уехал в подмосковную деревню (РА. 1903. № 1. С. 127).

[9]Из бывших выпускников и воспитанников пансиона в войне 1812 г. принимали участие А.Г. Бурцов, А.Ф. Воейков, А.С. Грибоедов, П.Г. Каверин, Н.И. Комаров, И.С. Повало-Швейковский, А.Н. и В.Ф. Раевские, А.В. Семенов, М.А. Фонвизин, А.И. Якубович и др.

[10]*Муравьев Николай Николаевич* (1768—1840) — генерал-майор, участник войны 1812 г.; отец декабристов А.Н. и М.Н. Муравьевых. Училище колонновожатых (младших штабных офицеров) возникло в начале 1810-х гг. в Москве по инициативе и на средства Муравьева (в его доме частным образом читались лекции по математике и военным наукам, необходимым для офицеров квартирмейстерской части). В 1816 г. эти курсы были преобразованы в Московское учебное заведение для колонновожатых (Муравьев заведовал им до 1823 г.); в 1826 г. училище было переведено в Петербург.

[11]*Филатов Степан Федорович* (ок. 1752—1825) — муж Екатерины Ивановны Филатовой (урожд. Пиль), двоюродной сестры матери М.А. Дмитриева. В «Мелочах» рассказан тот же эпизод, однако здесь отчество Филатова — не Федорович, а Федулович (С. 105).

[12]*Георгиевский кавалер* — человек, награжденный российским орденом св. Георгия, который был учрежден в 1769 г. как боевая награда для офицеров и генералов и имел четыре степени.

[13]*Глогау* — прусская крепость на р. Одер в Силезии. Была сдана французам в 1806 г.; отвоевана в 1814 г. русско-немецкими войсками после восьмимесячной осады.

[14]*Салтан* (султан) — украшение в виде стоячего пучка перьев или конских волос на головных уборах, обычно у военных.

[15]В августе журнал «Вестник Европы» (№ 16) вышел в срок, а следующий (сентябрьский) № 17 появился (судя по дате цензурного разрешения — 20 декабря 1812 г.) уже после ухода французских войск из Москвы. Издание «Московских ведомостей» прекратилось на № 70; 23 ноября вышел первый после возобновления номер газеты, на котором значилось № 71—91 («Мы с величайшим удовольствием начинаем листы сии», — писал редактор).

[16]*Греч* Николай Иванович (1787—1867) — журналист, писатель, филолог. Как историк русской словесности, Дмитриев вполне оценил тот факт, что при создании «Опыта краткой истории русской литературы» (СПб., 1822) «Греч не только заботился о точности сведений, но каждого живого автора, упоминаемого в его истории, просил о присылке ему краткой его биографии» (выдержка из письма Дмитриева П.И. Бартеневу — «О месте рождения Н.М. Карамзина» [перепечатано из МВед. 1857. № 135] // РА. 1865. Стб.1375). В *Библиотеке* имеется переведенная Гречем брошюра «Германия в глубоком унижении своем» (СПб., 1807) и изданная им антология «Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе. С прибавлением известий о жизни и творениях писателей, которых труды помещены в сем собрании» (СПб., 1812).

[17]*«Сын Отечества»* (1812—1844, 1847—1852) — исторический, политический и литературный журнал, основанный Н.И. Гречем (цензурное разрешение первого номера — 7 октября 1812 г.) и издававшийся им по 1837 г. (с 1825 г. совместно с Ф.В. Булгариным; формально Греч редактировал его до 1839 г., реально в 1837—1838 гг. журнал выходил под редакцией Н.А. Полевого). Подробнее о начале журнала см.: *Греч Н.И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 290—306. Этот фрагмент был впервые опубликован в 1839 г. (Северная пчела. № 28, 29) и, по-видимому, был известен Дмитриеву.

[18]*Пезаровиус* Павел Павлович (1776—1847) — основатель и редактор (до кончины) газеты «Русский инвалид» (начала выходить в 1813 г.).

[19]И.Г. Дмитриев числился также среди подписчиков «Русского вестника» в 1814 г. (см.: РВ. 1814. № 12. С. 84).

[20]В писарской копии ГИМ (Л. 81) вставка: «случившиеся будто».

[21]*Сцевола* (от *лат.* «левша») — прозвище римлянина Муция, сжегшего на огне правую руку, чтобы доказать врагам бесстрашие римлян.

[22]В «Сыне Отечества» печатались «анекдоты» (в старом значении этого слова — небольшой рассказ о каком-нибудь замечательном случае) о войне 1812 г.; иногда их помещали под рубрикой «русские анекдоты». Дмитриев упоминает следующие тексты: «Русский Сцевола» (1812. № 4); «О старостихе Василисе» (1812. № 11); «Как один казак победил трех артиллеристов» (1812. № 5); «О французах, испугавшихся козы» (1812. № 9). На сюжеты этих анекдотов И.И. Теребенев создал серию чрезвычайно популярных карикатур.

[23]*Теребенев* Иван Иванович (1780—1815) — скульптор, художник. См. о нем: *Варшавский Л.Р.* Иван Иванович Теребенев. М., 1950; *Каганович А.Л.* Иван Иванович Теребенев. М., 1956. Не исключено, что сатирические листы Теребенева входили в принадлежавшее Дмитриеву «небольшое собрание русских портретов и карикатур, которое перешло в собственность его сына, сенатора Федора Михайловича» (*Ровинский Д.А.* Словарь русских граверов XVI—XIX вв. СПб., 1895. С. 300).

[24]По-видимому, это собрание не сохранилось. Об английских карикатурах на Наполеона см.: *Clerc C.* La Caricature contre Napoleon. Paris, 1985.

[25]*Поверхность* — здесь в значении «победа» (победить — одержать верх).

[26]Речь идет о польском восстании 1863—1864 гг.

[27]О нем см. примеч. 112 к гл. 1.

[28]Адрес-календари 1810—1812 гг. не содержат сведений о службе Ф.И. Дмитриева в военной конторе и в Сенате. Но слова мемуариста подтверждаются рассказом А.Д. Бестужева-Рюмина: «Сей Дмитрий Иванович (следует: Федор Иванович. — *Коммент.*) Дмитриев, место которого я занял, вступил в Вотчинный департамент в ноябре месяце 1811 года, из отставных майоров, а в марте 1812 года, по представлению министра юстиции, родного своего братца, за отличное служение пожалован в надворные советники и посажен в Сенат за обер-прокурорский стол с жалованьем по тысяче рублей в год» (*Бестужев-Рюмин А.Д.* 1812-й год. Краткое описание происшествий в столице Москве в 1812 году // РА. 1910. Кн. 2. № 5. С. 79).

[29]Имеется в виду П.П. Бекетов.

[30]Согласно воспоминаниям И.И. Дмитриева, его брат «служил за обер-прокурорским столом в Сенате. Пред занятием французами Москвы, за разгоном лошадей, он не мог следовать за Сенатом в Казань, и только что в состоянии был добраться до села Измайлова, отстоящего в семи верстах от столицы. Там нашла его шайка французов, ограбила, и потом — свирепый поляк прострелил его из пистолета, в глазах жены и малолетних детей!» (Взгляд. С. 219). Соболезнования по поводу гибели Ф.И. Дмитриева содержатся в письме Карамзина от 18 декабря 1812 г.: «Горестно читал я письмо твое о нещастной судьбе Федора Ивановича. Мне давно рассказывали его историю; а после слышал я, что она несправедлива: к нещастию оказалось противное. Варварство ужасное! Летел бы я обнять тебя горестного, если бы мог» (ПКД. С. 169).

[31]На самом деле — в 1813 г. В альбоме И.И. Дмитриева, обнаруженном в середине 1950-х гг., среди других автографов сохранилось последнее письмо матери к нему: «Милый мой друг Иван Иванович! Благодарю вас за письмо. О себе скажу — я, слава богу, брожу. Прости, мой друг. Заочно тебя целую, буди над тобой божья милость и мое благословение. Мать ваша Катерина Дмитриева». Рядом помета И.И. Дмитриева: «Написано перед кончиною, последовавшею 28 мая 1813 года» (Дон. 1957. № 6. С. 154).

[32]Следующий далее фрагмент почти дословно повторяет соответствующее место в «Мелочах» (С. 7—12).

[33]*Семира* — главная героиня одноименной трагедии (1751) А.П. Сумарокова.

[34]*Шувалов Петр Иванович* (1710—1762) — граф (1746), конференц-министр (1756), генерал-фельдцейхмейстер (1756), генерал-фельдмаршал (1761).

[35]*Шувалов Иван Иванович* (1727—1797) — камергер (1751), генерал-лейтенант (1857), генерал-адъютант (1760), первый куратор Московского университета (1755), президент Академии художеств (1757), меценат, фаворит императрицы Елизаветы Петровны с 1749 г.

[36]Саратовское наместничество было образовано в 1780 г., с 1797 г. стало Саратовской губернией.

[37]Т.е. Всеволожского.

[38]Ср. также свидетельство И.И. Дмитриева: «Матушка любила стихотворения А.П. Сумарокова. Живучи в Петербурге, она лично знала его. Поэт был в коротком знакомстве

с родным братом ее, Никитою Афанасьевичем Бекетовым. Не считая трагедий «Гамлета», «Хорева», «Синава и Трувора» и «Аристоны», полученных ею в подарок от самого автора, она знала наизусть многие из других его стихотворений» (Взгляд. С. 17).

[39]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 89—90).

Глава 5

[1]Здание почтамта с 1792 г. находилось на месте бывшей усадьбы А.Д. Меншикова — на этом же месте располагается современный московский почтамт, выстроенный в 1912 г. О прежнем комплексе зданий почтамта напоминает лишь церковь Архангела Гавриила (так называемая Меншикова башня), возведенная архитектором И.П. Зарудным в 1704—1707 гг., невиданной для XVIII в. высоты — 81 метр (Телеграфный пер., 15а).

[2]Имеются в виду Александровские сады (Верхний, Средний и Нижний), разбитые по проекту архитектора О.И. Бове в 1821—1823 гг. на месте р.Неглинки, заключенной в трубу. Название Александровских закрепилось за ними после коронации Александра II (1856); до этого их называли Кремлевскими.

[3]Московские бульвары были разбиты на месте срытых за ветхостью и ненадобностью стен Белого города. Тверской бульвар был открыт в 1796 г., обсажен липами и усыпан песком; «служил любимейшим местом прогулок московского дворянства. Экипажи приехавших на «булевар» заполняли прилегающие улицы. По всему «проспекту» были расставлены «софы», на особой галерее можно было пить чай, лимонад, оршад, лакомиться конфетами и мороженым» (*Второв И.А.* Москва и Казань в начале XIX века // РС. 1891. № 4. С. 15). Никитский бульвар был проложен на месте сгоревших в 1812 г. деревянных строений, располагавшихся на линии от Арбатской площади до Никитских ворот и также обсажен липами (в 1813—1814 гг. — об этом времени пишет Дмитриев — это были все еще молодые деревья, не дававшие тени; ср. сетования Н.М. Карамзина в 1803 г. по поводу того, что мало тени дают липы Тверского бульвара: ВЕ. 1803. № 16. С. 283). Другие московские бульвары появились вскоре после войны 1812 г. (Пречистенский, Петровский, Рождественский) и во второй четверти XIX в. (Яузский, Страстной, Сретенский, Чистопрудный, Покровский).

[4]Адрес-календари на 1813 и 1814 гг. не содержат сведений о службе А.В. Бестужева в министерстве юстиции. В 1844 г. он был обер-прокурором 2-го отделения 6-го департамента Сената в чине действительного статского советника.

[5]Перед тем как уйти в отставку с поста министра юстиции, И.И. Дмитриев взял четырехмесячный отпуск (во второй половине 1813 г.). Ср. письмо Карамзина к нему от 10 июля этого года: «И так с нетерпением буду ждать тебя в Москву, любезный друг <...> Здесь все знают о твоем отпуске на четыре месяца и говорят, что г.Болотников будет на время править министерством юстиции» (ПКД. С. 177).

[6]Валентин Дмитриев находился в Пажеском корпусе до 1817 г. (Алфавит камер-пажей и пажей по их родовым фамилиям с 1711 г. // РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. Т. 4. № 3905. Л. 70 об.), однако его имени в списках лиц, окончивших это учебное заведение (Пажеский корпус за 100 лет. СПб., 1902. Т. 1—2), не обнаружено. Принято считать, что в 1821 г. И.И. Дмитриев через Карамзина выхлопотал у императора милости для племянников: для Михаила — звание камер-юнкера, а для Валентина — зачисление в Пажеский корпус (или звание пажа; см. письмо Карамзина от 15 августа 1821 г.: ПКД. С. 313).

Однако известно, что в 1819 г. Валентин Дмитриев умер (Московский некрополь. СПб., 1907. Т. 1. С. 378). Поэтому, скорее всего, в 1821 г. в Пажеский корпус был зачислен другой племянник И.И. Дмитриева, Ф.Ф. Дмитриев (см. о нем примеч. 1 к гл. 17).

[7]Т.е. в Малом Харитоньевском (ныне ул. Грибоедова) или Большом Харитоньевском переулке, которые назывались так по имени церкви Харитона-исповедника в Огородниках (известна с 1620 г., разрушена в 1930-е гг.), стоявшей на пересечении этих переулков.

[8]*Румянцев Николай Петрович*, граф (1754—1826) — дипломат; в 1802—1811 гг. — министр коммерции, с 1808 г. министр иностранных дел. В 1809 г. возведен в звание государственного канцлера; в 1810—1812 гг. председатель Государственного совета. В 1814 г. уволен от дел. Собрал богатейшую коллекцию книг и рукописей, составившую основу Румянцевского музея.

[9]Дом Румянцева (Маросейка, 17) был построен М.Ф. Казаковым в 1770—1780 гг. и до 1793 г. принадлежал М.Р. Хлебникову. В 1886 г. был сильно перестроен.

[10]*Альфреско* — стенная роспись, исполняемая по сырой штукатурке.

[11]*Румянцев*-Задунайский Петр Александрович (1725—1796) — граф (1744), генерал-фельдмаршал (с 1774). В Семилетней войне (1756—1763) овладел крепостью Кольберг, в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. одержал победы при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле.

[12]*Баженов* Василий Иванович (1737 или 1738 — 1799) — архитектор, один из основоположников русского классицизма. Убедительных доказательств причастности Баженова к строительству румянцевского особняка пока не обнаружено.

[13]В писарской копии ГИМ (Л. 92) вставлена фамилия живописца: «Козлов». Какая из дочерей Баженова была замужем за Козловым, установить не удалось. Среди учеников Академии художеств было два живописца с такой фамилией: Протас — гравер, в 1764 г. обучавшийся также и «в живописном классе», и Назар, получивший аттестат Академии в 1785 г. (Сборник материалов для истории... Академии художеств за сто лет ее существования. СПб., 1864. Т. 1. С. 97).

[14]*Сертук* (сюртук) — верхняя мужская одежда, появившаяся в России в первые десятилетия XIX в. *Нанковый* — сшитый из нанки, плотной дешевой хлопчатобумажной ткани грубой выделки, первоначально ввозившейся из китайского города Нанкина.

[15]*Александровская звезда* — знак ордена св. Александра Невского, учрежденного в 1725 г. для лиц, имевших чин не ниже генерал-лейтенанта или соответствующего ему гражданского чина тайного советника. Представлял собой серебряную восьмиконечную звезду.

[16]*Румянцев Сергей Петрович* (1755—1838) — граф, член Государственного совета (с 1802), чрезвычайный посланник и полномочный министр при короле прусском (1785—1788), чрезвычайный посол при короле шведском (1793—1794), член Совета при Высочайшем дворе (с 1800).

[17]*Чернышевский* Николай Гаврилович (1828—1889) — писатель, революционер.

[18]*Дионисий* (в миру Давид Федорович Зобниковский, ок. 1570 — 1633) — архимандрит Троице-Сергиевой лавры в Смутное время. В 1616—1618 гг. по именной царской грамоте возглавлял работу по исправлению ряда богослужебных книг. Однако внесенные изменения вызвали неудовольствие митрополита Ионы, в результате чего Дионисий и его сотрудники подверглись осуждению на Церковном соборе 1618 г. Дионисий был отлучен

от церкви, лишен сана и заключен в Новоспасский монастырь (до 1619 г., когда он был полностью оправдан). Книга С. Азарьина «Житие и подвиги преподобного отца нашего Дионисия» издавалась пять раз: в 1808, 1816, 1817, 1824 и 1834 гг. Однако в этом жизнеописании (см., например, изд.: Канон преподобному отцу нашему Дионисию, архимандриту Сергиевой Лавры, Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением жития его. М., 1834) упоминаемого Дмитриевым эпизода нет. О Дионисии см. также: *Скворцов Д.* Дионисий Зобниковский, архимандрит Троице-Сергиева монастыря (ныне лавры). Тверь, 1890.

[19]Фридрих Вильгельм II (1744—1797) — прусский король с 1786 г.

[20]*Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король с 1740 г., полководец и военный теоретик.

[21]Ср. замечание о стиле депеш Румянцева: «Граф может, пожалуй, забавляться уснащением своих донесений шутками и злословием» (Из записок о России графа фон Герца, прусского посланника при дворе Екатерины II // Вестник Общества ревнителей истории. Пг., 1914. Вып. 1. С. 21). По всей вероятности, Дмитриев имел возможность ознакомиться с дипломатической перепиской Румянцева и даже снять с нее копии во время службы в архиве министерства иностранных дел.

[22]*Дмитриев М.* На кончину Александра I // Сочинения в прозе и стихах. 1826. Ч. 6, кн. 17. С. 197—203.

[23]Тарутинское сражение состоялось 6 октября 1812 г.

[24]В 1834 г. близ села Тарутина на средства, собранные крестьянами, по проекту архитектора Д.А. Антонелли был воздвигнут памятник, на одной из сторон которого имеется надпись: «На сем месте российское воинство под предводительством фельдмаршала Кутузова, укрепясь, спасло Россию и Европу». В 1855 г. памятник был перестроен. Он представляет собой колонну, на которой расположен земной шар с сидящим на нем орлом (см.: Бородино. 1812. М., 1989. С. 253).

[25]*Клейнмихель* Петр Андреевич (1793—1869) — начальник штаба военных поселений (1819—1832). С 1832 г. дежурный генерал Главного штаба, с 1835 — управляющий департаментом военных поселений; граф (с 1838); главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями (1842—1855). Имел у современников репутацию казнокрада и мелочного формалиста (см., напр., его характеристику в кн.: *Долгоруков П.В.* Петербургские очерки. М., 1992. С. 142). Язвительное упоминание о Клейнмихеле как воплощении глубоко чуждого Дмитриеву духа николаевского царствования см. в одном из его поздних (15 марта 1863 г.) писем Погодину: «Фавориты Екатерины были люди всемогущие. Так; да ведь это были не Клейнмихели!» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 11. Л. 6 об.).

[26]*Киселев* Павел Дмитриевич (1788—1872) — генерал от инфантерии; в 1812—1813 гг. состоял адъютантом при М.А. Милорадовиче; с 1816 г. — флигель-адъютант Александра I; с 1819 по 1829 г. — начальник главного штаба 2-й армии. Граф (с 1839); в 1838—1856 гг. — министр государственных имуществ; в 1856—1862 — посол в Париже. Дмитриев несправедлив к нему: мысль о постепенной отмене крепостного права в России занимала Киселева с молодости. Еще в 1816 г. он подал Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России». Подробнее о нем см.: *Заблоцкий-Десятовский Л.П.* Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1—4.

[27]Ростопчин был московским генерал-губернатором в 1812—1814 гг.

[28]Нерасположение Александра I к Ростопчину обнаружилось летом 1814 г., когда император, вернувшись из заграничного похода в Москву, холодно обошелся с москов-

ским главнокомандующим. 30 августа того же года Ростопчин был уволен от должности с назначением в члены Государственного совета; в 1815 г. надолго уехал за границу.

[29]Речь идет о брошюре Ф. В.Ростопчина «La vérité sur l'incendie de Moscou» (Paris, 1823), которая заканчивалась фразой: «Я сказал правду и ничего кроме правды». <<Тогда говорили, что настоящее ее название — «Неправда о пожаре Москвы»>> (*Благово*. С. 302).

[30]В подмосковном *селе Воронове*, приобретенном Ростопчиным у А.И. Воронцова в 1800 г. (ныне Подольского района Московской области), у Ростопчина был великолепный трехэтажный дом, окруженный парком и прудами. Здесь он прожил почти безвыездно 11 лет: с февраля 1801-го, когда попал в немилость у Павла I, по весну 1812 г., когда Александр I вновь призвал его на службу. Ростопчин сжег дом в 1812 г., а после возвращения из-за границы в 1823 г. заново отстроил его. С 1839 г. имение принадлежало Шереметевым. См.: *Березин А.* Вороново. Художественная галерея. М., 1985. С. 7—8; *Палентреер С.Н.* Усадьба Вороново. М., 1960; *Захарова О.Ю.* «Восемь лет я украшал это село...» // Мир русской усадьбы. М., 1995. С. 175—190.

[31]Имеется в виду книга Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева». Она была напечатана А.С. Шишковым в Петербурге без согласия автора в марте 1807 г. (с некоторыми изменениями), что побудило Ростопчина в мае того же года издать свое сочинение в Москве в первоначальном виде и сопроводить его «Письмом Силы Андреевича Богатырева к одному приятелю в Москве», где он резко отзывается об искажениях, которым подвергся текст.

[32]Неточность: эта комедия была издана в Москве в 1808 г.

[33]*Маремьяна Бобровна Набатова* и (далее) *Николай Иванович Пустяков* (у Дмитриева ошибочно: Пустячков) — персонажи комедии «Вести, или Убитый живой».

[34]*Офросимова* (урожд. Лобкова) Настасья Дмитриевна (1751—1825) — московская барыня; вероятный прототип старухи Хлестовой в «Горе от ума» и Ахросимовой в «Войне и мире».

[35]*Ильин Николай Иванович* (1777 или 1779 — 1823) — плодовитый драматург и переводчик. В 1806—1810 гг. управлял хозяйственной частью московских театров; с 1812 г. был секретарем канцелярии московского генерал-губернатора Ф. В.Ростопчина; впоследствии служил чиновником особых поручений при его преемниках: А.П. Тормасове, затем — Д.В. Голицыне. В *Библиотеке* имеется его драма «Лиза, или Торжество благодарности» (М., 1817).

[36]Ростопчину принадлежат лаконичные, но весьма информативные воспоминания «Последний день жизни императрицы Екатерины II и первый день царствования императора Павла I» (Архив князя Воронцова. М., 1876. Кн. 8. С. 158—174; вошли в современное изд.: *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., 1992). Анекдоты о Ростопчине см.: Мелочи. С. 236—239, 247—248; там же приводятся некоторые его рассказы о Павле, в том числе лично слышанные Дмитриевым.

[37]С 1 июля по 31 августа 1812 г. Ростопчин почти ежедневно выпускал «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям ее» в форме афиш (в сентябре—декабре того же года было напечатано несколько последних выпусков). Основной целью этих оригинальных по стилю текстов было успокоить москвичей перед нашествием Наполеона и вселить в них уверенность в победе русского оружия. Позднее их издавали В.И. Саитов (Ростопчинские афиши 1812 года. СПб., 1889), П.А. Картавов (Летучие листки 1812 года. СПб., 1904; в этой книге Ростопчину приписаны и не принадлежащие ему тексты),

Н.В. Борсук (Ростопчинские афиши. СПб., 1912); часть их недавно перепечатана в кн.: *Ростопчин Ф. В.* Ох, французы! М., 1992.

[38]Такой призыв содержится в пятнадцатой из сохранившихся афиш (от 30 августа): «Вооружитесь, кто чем может, и конные, и пешие <...> возьмите хоругви из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех Горах; а буду с вами и вместе истребим злодея» (*Ростопчин Ф. В.* Указ. изд. С. 218).

[39]Ср.: «Когда граф Ростопчин сделал воззвание к народному ополчению, чтобы встретить неприятеля вооруженною рукой на Трех горах, тогда арсенал, в котором находилось старое оружие с незапамятных времен, по приказанию начальства был открыт; лица разного сословия бросились туда брать его: пики, сабли и пистолеты; многие брали оружие не для защиты Москвы, а из одной корысти» (*Глушковский.* С. 91).

[40]Ср.: «За несколько дней до Бородинской битвы он (Ростопчин. — *Коммент.*) распорядился, чтобы полиция собрала всех французов, живущих в Москве, купцов, модных продавцов и других, как мужчин, так женщин и детей, на пристани больших пароходов, отправляющихся по Оке и Волге; он приказал всех поместить на одном пароходе и сам лично отправился на берег, откуда сказал французскую речь, которую раньше составил, чтобы подражать наполеоновским прокламациям, адресованным своим солдатам. Между другими громкими фразами он сказал следующее: «Французы! вас увлекает злой рок!! Ваша безопасность зависит от вас самих, от вашего спокойствия и тишины! Но знайте, что малейшее упрямство превратит эту мирную ладью в барку Харона, то есть отправит вас в вечность!» Они все были переселены в Казань, их имущества сделались добычей французских солдат, и русских, по их возвращении в Москву, после освобождения города» (*Рунич.* С. 202). С.Н. Глинка объясняет высылку французов тем, что власти «опасались, может быть, что народ при вторжении Наполеона посягнет на них» (*Глинка С.Н.* Записки 1812 года. М., 1836. С. 42). *Ламираль* Жан — французский балетмейстер, танцовщик и педагог; друг Ш.Дидло и его соученик по Парижской консерватории. В начале 1800-х гг. с женой Елизаветой, также балериной, прибыл из Вены в Петербург и поступил в балетную труппу Немецкого театра. В 1806 г. переехал в Москву и по приглашению дирекции императорских театров занял должность балетмейстера; преподавал также в театральном училище. Ставил многочисленные балетные миниатюры и дивертисменты (в том числе спектакль «Олимп», сыгранный в день открытия Арбатского театра 13 апреля 1808 г.). В 1811 г. вышел в отставку и занялся частным преподаванием танцев во многих аристократических домах. Ламиралю принадлежал двухэтажный каменный особняк (его описание см.: Бумаги, относящиеся до Отечественной войны, изданные П.И. Щукиным. М., 1897. Ч. 2. С. 35) «в приходе Рождества, что в Столешниковом переулке, Тверской части» (*Глушковский.* С. 88). Этот же мемуарист рассказывает, что летом 1812 г. Ламираль пригласил его пожить в своем доме. По дороге Глушковский зашел в кондитерскую Гуа, чтобы купить по этому случаю большой торт, и от владельца лавки услышал: «Боже вас сохрани ехать к нему в дом <...> Вы не знаете, что третьего дня Ламираль <...> и другие французы из дома Ламираля взяты полицией и отправлены на барках в Нижний Новгород? <...> Говорят, что за обедом у Ламираля пили шампанское за здоровье Наполеона, прославляли его победы над Россией и от винных паров довольно дурно отзывались на счет российского правительства» (С. 88—89). В списке лиц, состоявших под наблюдением полиции как изменники (сохранился в бумагах московского полицмейстера А.Ф. Брокера), числилась жена Ламираля (РА. 1868. № 9.

Стб.1432), которая, согласно воспоминаниям Глушковского, «с двумя молоденькими дочерьми <...> при отступлении французской армии из Москвы следовала за ними при обозе. Во время сражения под Березиной <...> г-жа Ламираль с дочерьми были взяты в плен казаками и находились с того времени под покровительством графа Матвея Ивановича Платова. В 1817 году я видел их в Москве с их отцом» (Там же. С. 99). «Дочери Ламираля выступали в наполеоновском театре в Москве и имели огромный успех в русских танцах, описанных рядом французских очевидцев» (*Слонимский Ю.И.* Рождение московского балета и Адам Глушковский // *Глушковский.* С. 31).

[41]Известно, что в 1811—1812 гг. Жан Годфруа преподавал в Московском благородном пансионе французскую грамматику.

[42]Французская модистка Обер-Шальме владела известным в допожарной Москве магазином, находившимся в Глинищевском переулке (между Тверской и Большой Дмитровкой). Прозвище, связанное с очень высокими ценами на товары в ее магазине, она получила еще до войны 1812 г. (ср. запись в дневнике Жихарева за 1805 г.: «Много денег оставлено в магазине Обер-Шальме! достаточно было бы на годовое продовольствие иному семейству. Недаром старики эту Обер-Шальме переименовали в Обер-Шельму» — *Жихарев.* Т. 1. С. 34). В 1812 г. за ней было установлено секретное наблюдение (РА. 1868. № 9. Стб.1435). П.И. Бартенев писал, что во время вступления Наполеона в Москву она «придумала устроить кухню для великого императора» в алтаре Архангельского собора Кремля (РА. 1886. № 11. С. 386).

[43]Об этом манифесте см. примеч. 6 к гл. 4.

[44]Александр I приехал в Москву 11 июля.

[45]15 июля московское дворянство и купечество, собравшись в Слободском дворце, слушали речь императора. См.: МВед. 1812. № 56. 20 июля.

[46]*Глинка* Сергей Николаевич (1776—1847) — поэт, прозаик, драматург. С 1800 г. в отставке в чине майора; в 1802 г. поселился в Москве. Журнал «Русский вестник» выходил с 1808 по 1826 г. В коллекцию манускриптов, собранную Дмитриевым, входил экземпляр «Записок» И.В. Лопухина (приобретен Дмитриевым «28 апреля 1854 года, в Москве»: НБ МГУ. Рукопись № 181. Л.1), который Лопухин подарил Глинке с надписью: «Почтенному издателю Руского Вестника; на память отличного к нему уважения, от Сочинителя, Руского душою и сердцем. 17 апреля 1810 года» (Л. 2). В *Библиотеке* имеются сочиненные Глинкой «Стихи государыне императрице Александре Федоровне по случаю благосклонного ея внимания к трудам моим» (М., 1826).

[47]По словам П.А. Вяземского, «Глинка был рожден народным трибуном, но трибуном законным, трибуном правительства. Он умел по-православному говорить с народом православным» (*Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2. С. 341).

[48]Четвертой (низшей) степенью ордена св. Владимира награждали офицеров за военные заслуги (Владимир 4-й степени с бантом), а гражданских чиновников — за выслугу лет. Это был крестик под красной эмалью с черной и золотой каймой, который носился в петлице. Кавалер ордена мог рассчитывать на пенсию. Глинка получил его 18 июля 1812 г. «за любовь к Отечеству, доказанную сочинениями и деяниями».

[49]Ср. в мемуарах самого Глинки: «1812 года я первый поспешил в Москве записаться в ратники ополчения, и вот почему смелою речью июля 15-го в Слободском дворце, в собрании дворянском, высказал, что Москва будет сдана <...> я, по взятии Смоленска, подал графу Ростопчину записку о вооружении охотничьих дружин по уездам московским

<...> Граф сперва согласился, а потом сказал: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ. Мое дело выпроводить теперь дворян из уездов Московских» (*Глинка С.Н.* Записки. СПб., 1895. С. 254—255).

[50]*Николай* I (1796—1855) — российский император с 1825 г., третий сын Павла I. Дмитриев не скрывал своей радости, когда дождался окончания его тридцатилетнего царствования. «При добром царствовании и мы сделаемся авось лучше. «Любовь изгоняет страх», — сказано у апостола Павла. — А вместе с страхом изгналась бы та подлость, которая перешла все пределы, тот обман, в котором, так сказать, стакнулась вся Россия, и на которых выросли поколения! <...> Ложь, страх, самоуправство властей, поклонение не закону, а силе, недоверчивость, подозрительность; излишняя доверчивость к лицам избранным и любимым; пресечение, мимо их, всех путей правды: вот наши болезни...» (письмо к Погодину от 31 марта 1855 г. // ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 9 (2). Л. 2—2 об.). На смерть Николая I Дмитриев отозвался также эпиграммой: «О в Бозе почившем какую ж тревогу / Российский Парнас наш поднял! / А правду молвить, слава Богу, / Что наконец започивал!» (Сборник эпиграмм. Л.10).

[51]Об этом см. ниже, в гл. 17 и примеч. к ней.

[52]В афише от 3 июля Ростопчин сообщал об аресте «сына московского второй гильдии купца Верещагина» и предании его суду за перевод прокламации Наполеона, в которой тот обещал быть в обеих столицах через шесть месяцев.

[53]Речь идет о «Письме Наполеона к прусскому королю» и «Речи Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене», напечатанных в «Гамбургских известиях». Подробный рассказ об этих событиях содержится в мемуарах московского полицмейстера А.Ф. Брокера (РА. 1868. № 9. Стб.1430—1431). В фундаментальном исследовании Е.В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию в 1812 г.» (1943) версия событий, связанных с убийством Верещагина (в том виде, как она изложена в подавляющем большинстве источников, в том числе у Дмитриева, Брокера, Свербеева, и в исследованиях о войне 1812 г.), названа «нелепой», ошибочно «почитаемой за истину» и характеризующей «плачевное состояние изысканий о 1812 г.». По мнению Тарле, «на самом деле Наполеон и письма такого к королю не писал и с речью к князьям Рейнского союза не обращался. Да и не мог говорить такой вздор (в Дрездене!) и не мог писать какой-то нелепый набор фраз прусскому королю («вам объявляю мои намерения, желаю восстановления колонии, хочу исторгнуть из политического (!) ее бытия» и т.д.). Ведь эти две странные, курьезно безграмотные «прокламации» никогда ничего общего с Наполеоном не имели, а сочинены (как Верещагин в конце концов признал) самим Верещагиным... Таким образом, должно признать, что это было либо поступком умственно ненормального человека, либо преступным по замыслу, хотя и вполне бессмысленным по выполнению действием» (*Тарле Е.В.* Сочинения: В 12 т. М., 1959. Т. 7. С. 593). Тексты прокламаций см.: ЦИАМ. Ф. 1165. Оп. 1. № 164. Л. 1—4.

[54]См. о нем примеч. 78 к гл. 3.

[55]*Ключарев Федор Петрович* (1751—1822) — московский почт-директор (1801—1812); из обер-офицерских детей. Член «Собрания университетских питомцев», «Дружеского ученого общества»; видный масон, преданный друг Н.И. Новикова, поэт. После событий, связанных с арестом Верещагина, выслан Ростопчиным в Воронежскую губернию. В 1816 г. «в вознаграждение за потерпенное удаление от должности, произведенное в 1812

<...> пожалован в тайные советники и облечен званием сенатора» (Русский биографический словарь. Т. «Ибак—Ключарев». СПб., 1897. С. 756). См. о нем также: Мелочи. С. 236—239. Его сын — Ключарев Андрей Федорович (р. 1783). В 1785 г. был записан в гвардию унтер-офицером; подпоручик (1797), поручик «мушкатерского бывшего генерал-майора Петровского полка» (1799); в 1801—1804 гг. служил цензором Московского почтамта; в 1805 г. губернский почтмейстер в Туле; в 1807 — полицмейстер в Тамбове; в 1808 г. «перемещен в Комиссариатский штаб комиссионером». В 1812—1815 гг. находился под следствием «по открывшемуся сомнению в поведении его во время бывшего вторжения неприятеля в Москву», в сентябре 1815 г. «правительствующим Сенатом признан невиновным и указом оного совершенно оправдан». В 1819 г. член астраханского портового карантина; в 1821—1827 гг. был чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, с 1823 г. надворный советник (ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 222. № 164. Л. 1 об.—2).

[56]А.Ф. Брокер вспоминал: «Дом почтамта перестроен и утратил тот вид, какой имел при Ключареве. Тогда над вторым его этажом был бельведер, который прикрывался громадным, двухглавым орлом с распростертыми крыльями; в этом-то бельведере проживал сын Ключарева, 25-летний юноша; к нему часто приходил сын пивовара, приятель его, молодой человек Верещагин; по-видимому, оба они принадлежали к масонству. Верещагин знал хорошо французский и немецкий языки; он прочитывал у сына почт-директора иностранные газеты и журналы — без цензуры. Такое противозаконное дело производилось следующим образом: цензоры, прочитав журналы и отметя запрещенное в них карандашом, по одному номеру приносили в кабинет почт-директора для просмотра; сын Ключарева брал их, может быть, не с ведома отца и делился с легкомысленным Верещагиным. В кофейных и других публичных домах полиция давно замечала молодого человека, который либерально разглагольствовал о политике иностранной и внутренней» (РА. 1868. № 9. Стб. 1430—1431).

[57]По свидетельству Д.П. Рунича, Ростопчин «предварительно выпроводил всех арестантов Московского острога и поместил их в местах, недоступных для неприятеля. Зачем же он оставил одного Верещагина? Он ведь хорошо знал, что эта несчастная жертва ни в чем не повинна! Убивая Верещагина, он погружал в мрак неизвестности все это дело и навсегда клеймил Ключаревых, отца и сына, недостойным подозрением, которое извиняло его поступок» (*Рунич*. С. 204).

[58]Дом был выстроен в 1782 г. по проекту М.Ф. Казакова для графа З.Г. Чернышева, вскоре ставшего московским главнокомандующим. В 1784 г. особняк был куплен в казну; с 1790 г. — резиденция московских генерал-губернаторов. В настоящее время в здании (с надстроенным вторым этажом) помещается мэрия Москвы (Тверская, 13).

[59]Построенный в XVIII в. дом Ростопчина на Большой Лубянке сохранился до наших дней (№ 14).

[60]*Орлов-Денисов* Василий Васильевич (1775 — 1843 или 1844) — граф (с 1801), участник наполеоновских войн; генерал-адъютант (1811), генерал от кавалерии (1826); с конца 1820-х гг. в отставке.

[61]*Церковь Введения* во храм Пресвятой Богородицы на Большой Лубянке возведена в 1514—1518 гг. зодчим Алевизом, в середине XVIII в. сильно перестроена; разрушена в 1924 г. Сейчас на этом месте — площадь Воровского.

[62]П.И. Бартенев в примечаниях к мемуарам Брокера, называет Петра Ивановича Бурдаева «бывшим при графе ординарцем» и также сообщает, что «он впоследствии слу-

жил по полиции в Москве, безупречно исполняя свои обязанности» (РА. 1868. № 9. Стб.1432). Д.П. Рунич, ссылаясь на рассказы почтовых чиновников, говорит даже, что Ростопчин «сам лично направил первый удар на несчастного» (*Рунич.* С. 205), а А.П. Глушковский утверждает, что «первый удар Верещагину нанес по голове палашом ординарец графа Ростопчина Пожарский, а не Бурдаев, как было сказано в описании смерти Верещагина» (*Глушковский.* С. 96).

[63]*Обрезков Василий Александрович* (1790—1839) — московский полицмейстер, полковник, впоследствии камергер, статский советник. Обрезков был двоюродным братом Д.Н. Свербеева и рассказывал ему историю Верещагина в подробностях (*Свербеев.* Т. 1. С. 172).

[64]В писарской копии ГИМ (Л. 100): после этого абзаца примечание, написанное, очевидно, Свербеевым «Так как этот рассказ Михаила Александровича частию пришел от меня (Свер[беева]), то я почитаю не лишним его исправить. В.А. Обрезков рассказывал всем, а в том числе и мне только одно то, что гр. Ростопчин приказывал рубить жандармам Верещагина и потом предал его на растерзание народу. О бегстве же через заднее крыльцо Ростопчина из Москвы он никогда не упоминал».

[65]Ср. рассказ Ростопчина об этих событиях в изложении А.А. Шаховского: «Давно уже мартинист Шварц и недавно немецкий философ Буле трудились заводить русский ум за чужой разум и не взмилить наш православный быт. Угоревший от ада новопросвещения, купчик Верещагин пустился переводить, толковать и распускать в народе Наполеоновы прокламации, когда он сам уж был под Москвою, где начали проявляться другие Верещагины и верещать по-заморскому; то должно было, чтоб узнать своих и показать чужим русскую ненависть к их соблазнам, предать одного народной казни и ее ужасам, если не образумить, то хотя бы устранить прочих сумасбродов» (*Шаховской А.А.* Двенадцатый год // РА. 1886. № 11. С. 399).

[66]В «Записках» Рунича (в 1805 г. он стал помощником Ключарева, а в 1812 г. занял его место) эпизод с Верещагиным рассматривается лишь как часть интриги Ростопчина против Ключарева, которую Рунич объясняет не столько общеизвестной нелюбовью Ростопчина к масонам, сколько личной обидой. «Я вскоре узнал, что Ростопчин уже начал кровавую трагедию, план которой он себе составил: он начал подкапываться под Ключарева <...> которого он решил погубить <...> Узнав, что Ключарев позволил себе высказывать на его счет довольно нелестное мнение, он проникся относительно него непримиримым чувством вражды. Эта вражда явилась и вследствие уязвленного самолюбия и вследствие подозрения: он полагал, что тайны его переписки нарушены <...> [Ростопчин] старался удалить директора <...> Но император, знавший Ключарева с выгодной стороны, отказался сменить его, говоря: «Теперь не время делать подобные изменения!» Ключарев, по желанию Ростопчина, должен был прослыть за ненадежного человека, и главнокомандующий об этом позаботился: в это время он назначил полицмейстером в Москве одного своего преданного клеврета Броккера, служившего прежде в почтовом ведомстве и бывшего личным врагом Ключарева <...>. После известия о взятии Смоленска Ростопчин уже не мог сдерживать своей злобы. Он лично 10 августа отправился ночью в помещение почтового ведомства, схватил директора и сослал его во внутренний отдаленный город. Директор был тайным советником, с большими лентами Святого Владимира и Святой Анны! Не прошло и двух недель с тех пор, как государь напрямик отказался сослать Ключарева и, посетив Москву, высказал директору свое особенное к нему высочайшее благоволение» (*Рунич.* С. 200—201).

[67]Д.П. Рунич приписывает себе немалые заслуги в деле оправдания и возвращения Ключаревых из ссылки, так как благодаря ему сохранились все бумаги почт-директора, опечатанные при его аресте: в них при рассмотрении не нашлось ничего предосудительного (*Рунич*. С. 240–241).

[68]Версия Рунича косвенно подтверждается сведениями о пристальном внимании, с которым Ростопчин впоследствии следил за сыном Ключарева и Н.И. Новиковым (они были соседями по подмосковным имениям в Бронницком уезде). «В 1812 году Новиков опять возбудил против себя подозрения. Начальник Тульского ополчения генерал-майор Миллер задержал 15 октября в Кашире, на переправе через Оку, крестьянина, везшего из Тулы в Бронницкий уезд письма к Новикову и сыну Ключарева от Камкина, чиновника московского почтамта. Эти письма были распечатаны и содержание показалось почему-то загадочным. 15 же октября граф Ростопчин предписал Бронницкому исправнику Давыдову узнать, какие сношения с неприятелем имели Новиков и сын Ключарева, так как говорили, что они принимали больных французов и чиновников наполеоновской армии. Но подозрения эти оказались неосновательными» (*Лонгинов М.Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 382).

[69]*Селивановский* Семен Иоанникиевич (1772–1835) — типограф и книгопродавец. См. о нем: *Кононович С.С.* Типографщик Селивановский // Книга: Исследования и материалы. М., 1972. Вып. 23. С. 100–129.

[70]*Карамзина* (урожд. Колыванова) Екатерина Андреевна (1780–1851). Вышла замуж за историографа в декабре 1803 г. По отцу, А.И. Вяземскому, она приходилась сводной сестрой П.А. Вяземскому.

[71]Первая жена Карамзина (с апреля 1801) — Елизавета Ивановна *Протасова* (1767–1802).

[72]*Панагия* — небольшая круглая икона с изображением Богородицы, обычно носимая на груди; знак архиерейского достоинства.

[73]Впечатления Шаликова от оккупации нашли отражение в его «Историческом известии о пребывании в Москве французов 1812 года» (М., 1813).

[74]См. о ней примеч. 44 к гл. 1. О графине Броглио и ее ветрености резко отзывается Вигель: «Эта женщина под именем княгини Анны Петровны была долго слишком известна целой Москве. В ней примечательны были не красота ее, совсем не изумительная, ни даже кокетство, а нечто более: она изменяла первому мужу, бросила второго и осталась верна одному только другу»; «старая греховодница, не раскаявшаяся, но унявшаяся» (*Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1892. Ч. 6. С. 30).

[75]Этот эпизод лег в основу светской повести «Чужое слово», открывающей сборник Шаликова «Повести» (М., 1819). Главный герой Леонс наделен некоторыми автобиографическими чертами, а Эльмина, прообразом которой была графиня Броглио, названа «любезной ветреницей».

[76]И.И. Дмитриев, изучавший французский язык самостоятельно и стеснявшийся своего произношения, в обществе говорил только по-русски.

[77]*Шишков* Александр Семенович (1754–1841) — адмирал, член Государственного совета (с 1814), министр народного просвещения и главноуправляющий Департаментом духовных дел иностранных исповеданий (1824–1828), президент Российской академии (с 1813); литературный противник карамзинистов. Из его трудов в *Библиотеке* имеются: «Рассуждение о красноречии Священного Писания» (СПб., 1811), конволют, состоящий

из «Разговоров о словесности» (СПб., 1811) и «Прибавления» к этому сочинению (СПб., 1812), 2-е издание «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» (СПб., 1813), а также два издания «Кратких записок адмирала А. Шишкова, веденных им во время пребывания его при блаженной памяти государе императоре Александре Первом в бывшую с французами в 1812 и последующих годах войну» (СПб., 1831; СПб., 1832).

[78]Галломания, охватившая русское общество конца XVIII — начала XIX в., стала темой многих художественных и публицистических произведений этого времени. Дмитриев имеет в виду «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) А.С. Шишкова; публицистику и прозу С.Н. Глинки в его журнале «Русский вестник» (1808—1826); комедии «Модная лавка» (1806) и «Урок дочкам» (1807) И.А. Крылова; «Мысли вслух на Красном крыльце...» (1807) и другие сочинения Ф.В. Ростопчина.

[79]*Ульрихс Юлий Петрович* (ум. 1836) — университетский профессор всеобщей истории, статистики и географии (с 1823), немецкого языка и литературы (1807—1812). Преподавал в университете с 1807 по 1832 г.

[80]В писарской копии ГИМ (Л. 107 об.) названа его фамилия: «Яковлев».

[81]В писарской копии ГИМ (Л. 108 об.) вставка: «Сбитень прекратился во время откупов, потому что он причислен был к числу питей, и с него брали откупной акциз: не из чего было им торговать. Но нынче (1864) он опять появился».

[82]Кондитерская братьев Педотти располагалась на Тверской близ Охотного ряда. О лавке Гунгера сведений обнаружить не удалось. «Конфектный магазин» Гуа находился на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы; описан К.Н. Батюшковым в очерке «Прогулка по Москве» (1811): «<...> жид или гасконец Гоа продает мороженое и всякие сласти. Здесь мы видим большое стечение московских франтов в лакированных сапогах, в широких английских фраках, и в очках, и без очков, и растрепанных, и причесанных» (*Батюшков*. Сочинения. М., 1989. Т. 1. С. 290). Во время пожаров 1812 г. на Кузнецком мосту «сгорел один только желтый флигель, где была конфектная лавка Гуа» (Перечень письма из Москвы, в октябре 1812 // СО. 1812. № 7. С. 41). По мнению современника, во второй половине 1820-х гг. «лучший из кондитеров был Гуа <...> вскоре передавший свое заведение г. Дубле» (*Бутурлин*. № 5. С. 183).

[83]*Фуркасовский переулок* (между Большой Лубянкой и Мясницкой) назван по имени домовладельца, французского портного (по другим сведениям — «паричного мастера») Фуркасэ.

[84]*Чертков* Александр Дмитриевич (1789—1858) — историк и археолог (подробнее о нем см. примеч. 13 к гл. 20); дом сохранился, современный адрес — Мясницкая ул., 7.

[85]Возможно, французский язык Дмитриеву преподавал Пьер Петэн (1766—1845).

[86]Карамзина *Софья Николаевна* (1802—1856) — дочь Н.М. Карамзина от первого брака с Е.И. Протасовой; фрейлина.

[87]*Гердер* — учитель немецкого языка, бывший актер. По некоторым сведениям (Русский биографический словарь. Т. Гааг—Гербель. М., 1914. С. 368), приходился братом известному немецкому писателю и философу Иоганну Готфриду Гердеру. Однако, вероятнее всего, это семейное предание: в монографии Р. Гайма «Гердер, его жизнь и сочинения» сообщается, что у философа был только один брат, умерший в младенчестве, и сестры (М., 1888. Т. 1. С. 3).

[88]*Шиллер* Иоганн Кристофор Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт и драматург.

[89]*Геснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский художник и поэт-идиллик (писал по-немецки).

[90]*Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт. Издания различных его сочинений в *Библиотеке* представлены весьма широко: Oeuvres completes. Part. 1. Londres, 1788; Oeuvres. Paris, 1805, 1821. T. XV, XVII; Oeuvres choisies. Paris, 1850; три издания поэмы «L'homme des champs» (Strasbourg, 1800; Bâle, 1800; Paris, 1805; наличествует и перевод Е.И. Станевича: Сельской житель, или Георгики французские. М., 1804); Dithyrambe sur l'immortalité de l'âme. Paris, 1802, переводы: Дифирамб на бессмертие души. М., 1804 (А.А. Палицын), Бессмертие души. М., 1820 (А.И. Писарев); Le malheur et la pitié. Brunswick, 1804; L'imagination. Poème. Paris, 1806. T. 1. Имеется также выполненный Делилем перевод «Георгик» Вергилия (Paris, 1812. T. 1—3) и знаменитая описательно-дидактическая поэма «Сады», переведенная П.М. Карабановым (СПб., 1801; песнь 1—2) и А.Ф. Воейковым (СПб., 1816).

[91]*Флориан* Жан Пьер Клари де (1755—1794) — французский баснописец и комедиограф, романист. Перечень отдельно изданных переводов Флориана на русский язык, составленный С.А. Венгеровым, см. в кн.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. СПб., 1900. Т. 2. С. 555. В *Библиотеке* имеются сочинения французского поэта (по всей видимости, приобретенные Иваном Ивановичем) в русских переводах: «Флориановы повести, изданные Вышеславцевым» (М., 1798. Ч. 1) и пастушеский роман «Галатея» (М., 1800).

[92]*Парни* Эварист Дезире Дефорж (1753—1814) — французский поэт-элегик.

[93]*Мунаретти Гаэтано* — плодовитый балетмейстер, в московской труппе служил с 1806 г. Многочисленные его постановки не пользовались успехом у публики; ср: «Балетмейстер Мунарети поставил новый балет под названием «Охотники», который смотреть охотников немного» (*Жихарев*. Т. 2. С. 125). В 1808 г. уволился из императорских театров, давал частные уроки танцев (*Глушковский*. С. 99).

[94]Дом врача, коллежского асессора С.П. Смольянского числился под № 593 по Малой Якиманке.

[95]Церковь Святых праведных Богоотец Иоакима и Анны на Якиманке известна с 1493 г. (она же дала название улице). Храм был закрыт после 1917 г., взорван в 1969 г. Сейчас на месте церкви пустырь (Б. Якиманская ул., 13).

[96]*Арсеньев* Александр Александрович (1756—1844) — сенатор, тайный советник, московский уездный предводитель дворянства в 1811—1820 гг.

[97]*Барклай де Толли* Михаил Богданович (1761—1818) — российский полководец, военный министр в 1810—1812 гг.

[98]*Траверсе* Жан Франсуа де (Иван Иванович; 1754—1830) — маркиз, французский эмигрант на русской службе (с 1791); морской министр в 1811—1828 гг.

[99]*Гурьев* Дмитрий Александрович (1751—1825) — министр финансов (1810—1823), граф (с 1819).

[100]*Козодавлев* Осип Петрович (1745—1819) — сенатор (с 1799), товарищ министра внутренних дел (1807—1811), министр внутренних дел (1811—1819).

[101]*Разумовский* Алексей Кириллович (1748—1822) — граф, министр народного просвещения в 1810—1816 гг.

[102]Н.И. Салтыков был председателем Государственного совета в 1812—1816 гг.

[103]*Судиенко* Иосиф Степанович (ум. 1811) — тайный советник и член Главного почтового правления. Один из усыновленных им в 1804 г. «воспитанников» (незаконнорожденных сыновей) — Михаил Осипович Судиенко (1802—1874), поручик лейб-гвардейского

Кирасирского полка, адъютант А.Х. Бенкендорфа, автор книг по истории Малороссии. Подробное изложение этого дела И.И. Дмитриевым см.: Взгляд. С. 207–211.

[104]*Кочубей* Виктор Павлович (1768–1834) – вице-канцлер (1798–1799), член Негласного комитета в начале царствования Александра I; управлял Коллегией иностранных дел (1801–1802). Министр внутренних дел (1802–1807, 1819–1823), председатель Государственного совета и Комитета министров (1827–1834), государственный канцлер (1834). Графский титул получил в 1799 г., княжеский – в 1831 г.

[105]В писарской копии ГИМ (Л. 114 об.) вставка: «(и после князем)».

[106]Об этом см. также: Взгляд. С. 217.

[107]*Аракчеев* Алексей Андреевич (1769–1834) – граф (с 1799), генерал от артиллерии (1807), член Государственного совета (с 1810). С 1815 г. в его руках сосредоточилось заведование императорской канцелярией, руководство Комитетом министров и Государственным советом; с 1817 г. начальник военных поселений.

[108]*Трощинский Дмитрий Прокофьевич* (1754–1829) – в 1802–1806 гг. возглавлял Департамент уделов; министр юстиции (1814–1817).

[109]*Болотников Алексей Ульянович* (1760–1828) – сенатор, член Государственного совета. В 1782–1789 гг. служил в Семеновском полку «вместе с [И.И.] Дмитриевым. Вероятно сей последний находил его странности забавными, тайком подсмеивался над ним, ласкал его, как нужного для себя человека, а тот привязался к нему, и наконец, сам Дмитриев был нежно к нему расположен. Его сделали министром юстиции в то самое время, когда шло дело об избавлении Екатерины Павловны, об удалении Болотникова из Твери. Он мог неприятным образом быть отставлен; но Дмитриев, пользуясь первоначальным кредитом своим у Государя, выпросил ему сенаторство с сохранением придворного мундира и всего весьма большого содержания, по званию гофмейстера, им получаемого <...> Несмотря на безрассудность его поведения при дворе великой княгини, слыл он человеком чрезвычайно дельным и по всей справедливости называли его весьма трудолюбивым. Он хотел быть беспристрастным и сведующим судиею и вникнуть в существо каждого дела, а понять дела самого простого не мог он без величайшего труда. Оттого Дмитриев в шутку, хотя и в глаза, называл его Долбилиным, находя, что каждый вопрос долбит он, чтобы добраться до его смысла» (*Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1891. Ч. 3. С. 156). Вигель рассказывает еще об одном эпизоде взаимоотношений Дмитриева и Болотникова: «За месяц до возвращения своего (в Петербург, из отпуска, о котором шла речь выше. – *Коммент.*) Дмитриев письменно извещал об нем Болотникова и просил очистить для него дом. Но супруге его полюбилось широкое житье, и она не хотела с ним расстаться. В одну ночь, когда, возвратясь с бала, может быть, от Хвостова, она начала раздеваться, без спроса вошел к ней Дмитриев в дорожном платье, и пошли у них пререкания. В эту ночь Иван Иванович в одной из комнат нашел себе место для отдохновения, а на другое утро Алексей Ульянович, как с чужого коня средь грязи, должен был выехать из дома. И это их навсегда поссорило» (Там же. М., 1892. Ч. 4. С. 127). Судя по письмам Карамзина к Дмитриеву, отношения последнего с Болотниковым не закончились полным разрывом: в 1820 г. уже Болотников в каком-то деле, касавшемся Дмитриева, подал свой голос за него в Общем собрании Сената (ПКД. С. 286, 289).

[110]Обширный фрагмент этого письма приводит в мемуарах И.И. Дмитриев: «Ежели судьба не допустит меня видеться с государем, ежели я умру неоправданным: и в том и

другом случае, по долгу моего преемника, для пользы службы и собственной вашей, будьте моим душеприкащиком или ходатаем. Вам вверяет и общую пользу и свою честь и пр., и пр.» (Взгляд. С. 218).

[111]Ср.: «Я купил погорелое место с разгороженным садом, недалеко от Тверского бульвара и так называемого Патриаршего пруда, в приходе св. Спиридона» (Взгляд. С. 219). Новый небольшой деревянный дом был выстроен по проекту архитектора А.Л. Витберга (рисунок и два плана здания см.: НБ МГУ. № 1274) и стал одним из культурных центров Москвы; см., напр., стихотворения П.И. Шаликова «К Ивану Ивановичу Дмитриеву, на новоселье» (Российский музеум. 1815. № 7) и Вяземского «Дом Ивана Ивановича Дмитриева» (1860). После смерти хозяина дом был приобретен Н.Т. Аксаковым, в 1893 г. — снесен, на его месте возведен особняк Морозовых.

[112]Неточность: Карамзин приехал из Москвы в Петербург 2 февраля 1816 г. хлопотать об издании первых восьми томов «Истории государства Российского» и оставался там до середины марта; вскоре состоялся окончательный переезд семейства Карамзиных в столицу. Интересно, что в письме к Погодину, датированном 5 ноября 1865 г., Дмитриев верно указывает дату отъезда историографа из Москвы и даже основывает на этом свою аргументацию в споре с Погодиным о годе рождения Карамзина: «<...> летом 1815 года <...> Карамзин собирался в Петербург, но не поехал, потому что Ив. Ив. оставил министерство и переехал на житье в Москву <...> в 1816 <...> Карамзин переехал уже совсем на житье в Петербург, и переехал в начале года, в феврале» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 11. Л. 18—18 об.).

[113]*Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик, мемуарист.

[114]См. о нем примеч. 46 к гл. 2.

[115]*Ангальт* Фридрих (Федор Евстафьевич; 1732—1794) — граф, сын принца Ангальт-Дессауского, с 1783 г. на русской службе; с 1786 — генерал-директор сухопутного Шляхетного кадетского корпуса. Талантливый педагог. В *Библиотеке* сохранилась его книга «Искусство учиться прогуливаясь, или Ручная энциклопедия для воспитания» (М., 1829).

[116]Имеется в виду итальянский поход А.В. Суворова (апрель—август 1799 г.).

[117]Сардинское королевство (Пьемонт) — государство в Италии, существовавшее с 1720 по 1861 г. В 1796—1802 гг. там правил Карл Эммануил II (1751—1819).

[118]*Нови* — город в Северной Италии. Во время итальянского похода русские и австрийские войска под командованием А.В. Суворова нанесли там 4 августа 1799 г. поражение французской армии, которой командовал генерал Б.К. Жубер.

[119]Балашев имел высший российский орден св. Владимира 1-й степени; из иностранных орденов был награжден: прусским — Красного Орла 1-й степени, баденскими — Верности и Церингеннского Льва, а также баварским командорским орденом Максимилиана Иосифа.

[120]*Орлов Григорий Владимирович* (ум. 1826) — граф, сенатор, меценат, издатель переводов басен Крылова на французский и итальянский языки. См. о нем: РА. 1905. Кн. 1. С. 327.

[121]В январе 1814 г. Балашев готовился стать военным генералом-губернатором Парижа, но это назначение не состоялось. С того времени по начало 1818 г. Балашев редко виделся с императором, так как выполнял важные дипломатические поручения. Это дало современникам повод говорить об охлаждении Александра к Балашеву.

Глава 6

[1]В описываемое время Московский университет разделялся на словесный, нравственно-политический, физико-математический и медицинский факультеты. Отделение нравственных и политических наук часто называли этико-политическим и в документах университета.

[2]В соответствии с указом 6 августа 1809 г. (ПСЗ-I. Т. 30. № 23771). «О правилах производства в чины по гражданской службе» для получения чина коллежского асессора (8-й класс согласно «Табели о рангах») требовалось иметь университетский аттестат или сдать специальный экзамен. По мнению Дмитриева, эта мера сыграла важную роль в повышении образовательного уровня дворянства (см. также: *Долгорукий.* 1863. С. 93). О порядке проведения экзаменов и судьбе указа см.: *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 30—33.

[3]*Гаврилов* Матвей Гаврилович (1759—1829) — профессор славено-российской словесности и теории изящных искусств (с 1804). Из малороссийских разночинцев. Окончив курс в 1779 г., преподавал в обеих университетских гимназиях (дворянской и разночинской) немецкий язык, а с 1796 г. — российскую словесность. Адъюнкт философии (1795); профессор изящных наук и российской словесности (1804); декан словесного отделения университета (1816); статский советник (1822) (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 2537. Л. 77 об.—79 — формулярный список 1822 г.). С 1790 г. до самой кончины издавал «Политический журнал» (название менялось: с 1807 г. — «Политический, статистический и географический журнал, или Современная история света»; с августа 1809 г. — «Исторический, статистический и географический журнал...»). Автор нескольких учебников немецкого языка и «Нового лексикона на немецком, французском, итальянском и латинском языках» (М., 1781).

[4]*Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — журналист, переводчик. Доктор философии и изящных искусств (1806). С 1811 г. ординарный профессор теории изящных наук и археологии; декан словесного отделения (1813); член правления университетского благородного пансиона (с 1819); в 1821 г. занял кафедру истории, статистики и географии Российского государства (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 2537. Л. 79 об.—82 — формулярный список 1822 г.), в 1835— кафедру истории и литературы славянских наречий, учрежденную по его инициативе в 1825 г. С 1837 по 1842 г. — ректор университета. В *Библиотеке* имеются его «Два рассуждения о кожаных деньгах и о Русской правде» (М., 1849).

[5]*Брянцев* (Брянцов) Андрей Михайлович (1749—1821) — выпускник Славяно-греко-латинской академии и Московского университета. С 1779 г. учитель латинского и греческого языков и латинской словесности в университетской гимназии; магистр философии и свободных наук (1787); с 1788 г. — экстраординарный, с 1795 г. — ординарный профессор логики и метафизики.

[6]*Цветаев* Лев Александрович (1777—1835) происходил из духовного звания. Выпускник Славяно-греко-латинской академии и Московского университета; доктор философии (1804). Экстраординарный (1805), ординарный (1811) профессор прав «знатнейших и новых народов»; в 1816—1817, 1821—1823 гг. декан этико-политического отделения (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 2537. Л. 70 об—74 — формулярный список 1822 г.).

[7]*Сандунов* (Зандукели) Николай Николаевич (1768—1832) — профессор гражданского и уголовного судопроизводства (с 1811 по 1832). Окончив Московский университет, слу-

жил там учителем российского языка (1787), был секретарем М.М. Хераскова (с 1791), с 1797 г. принимал участие в работе Комиссии о составлении законов Российской империи, с 1798 по 1811 г. служил обер-секретарем 6-го департамента Сената. В 1814—1815 и 1819 гг. избирался деканом нравственно-политического отделения (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 2537. Л. 73 об.—77 — формулярный список 1822 г.). О нем см. также: *Ахвердян Р.С.* Из истории русско-грузинских литературных взаимосвязей. Тбилиси, 1985. С. 50—66.

[8]*Смирнов* Семен Алексеевич (1777—1847) — профессор российского законоведения в Московском университете (1811—1834). По воспоминаниям современника, «лекции профессора С.А. Смирнова из русского судопроизводства были совершенно нестерпимы. Он читал свою печатную книгу, вставляя изредка примеры судебных решений, говорил очень вяло и медленно и, услышав звонок, заключал свое чтение словами: "до сих пор прочтено, нужно твердо знать к следующему разу"» (*Толстой.* № 3. С. 44).

[9]*Шлёцер* Христиан Августович (1774—1831) — доктор права, профессор политической экономии (1801—1826), автор книг «Начальные основания государственного хозяйства» (М., 1805; 2-е изд. — М., 1821), «Начальные основания естественного права....» (Пер. Семена Смирнова. М., 1810), «Начальные основания права римского гражданского и законоположения уголовного...» (Пер. В.Ф. Вельяминова-Зернова. М., 1810; этот учебник, изданный на французском языке и предназначенный для воспитанников Благородного пансиона, имеется в *Библиотеке*: «Principes élémentaires du droit romain civil...» — М., 1808), «О происхождении славян вообще и в особенности славян российских...» (М., 1810).

[10]*Двигубский* Иван Алексеевич (1771—1839) — профессор физики. Окончив медицинский факультет, с 1797 по 1802 г. служил смотрителем университетского кабинета естественной истории; с 1798 по 1802 г. преподавал в Благородном пансионе естественную историю и физику. Доктор медицины (1802). В 1802 г. был отправлен в Геттингенский университет; по возвращении из-за границы в 1804 г. назначен экстраординарным профессором (с 1808 г. — ординарным) физики, с 1813 г. возглавил кафедру физики. Декан отделения физико-математических наук в 1818—1822 гг. (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. № 2537. Л. 28 об.—33 — формулярный список 1822 г.). В *Библиотеке* есть 2-е изд. его «Физики» (М., 1814) и первый номер издававшегося им в 1823 г. журнала «Новый магазин естественной истории, физики, химии...».

[11]Ср. аттестат, выданный Дмитриеву в июле 1817 г., по окончании университета: «1812 года в июне месяце произведен от университета студентом, и слушал в оном следующие профессорские лекции: 1) красноречия и поэзии, 2) немецкой и 3) французской словесности (ее читал Иван Пельт. — *Коммент.*), 4) всеобщей истории, 5) теории изящных искусств, археологии и российской истории, 6) статистики Российской империи, 7) логики, 8) физики, 9) политической экономии, 10) прав: естественного и частного гражданского, уголовного и римского и 11) российского практического законоискусства с прилежностью и отличными успехами» (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 114. № 223. Л. 11).

[12]*Баумгартен* Александр Готлиб (1714—1762) — немецкий философ, основатель эстетики как особой области знания. Профессор философии в университете Франкфуртана-Одере. Русскую публику познакомил с ним Н.М. Карамзин в 1791 г. (Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 63). Его представления об эстетике как «учении о чувственности человека вообще» и «философии вкуса» разделялись такими русскими эстетиками, как П.А. Сохацкий, И.С. Рижский, Н.М. Яновский, Л.Г. Якоб, В.М. Перевощиков (подробнее о нем и рецепции его идей в России см.: *Соболев П.В.* Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Л., 1972. Ч. 1. С. 11—22).

[13]*Сульцер* (Зульцер) Иоганн Георг (1720—1779) — немецкий философ, эстетик, последователь Баумгартена, разработавший систему эстетики как «всеобщую теорию изящных наук». Профессор математики в дворянской академии в Берлине. На русский язык были переведены следующие его книги: Разговоры о красоте естества. СПб., 1777; Сокращение всех наук и других частей учености, в коем содержание, польза и совершенство каждыя части сокращенно описываются. М., 1781 (пер. И. Морозова); Упражнения к возбуждению внимания и размышления. СПб., 1801; Новая теория удовольствий. СПб., 1813 (пер. И. Левицкого; имеется в *Библиотеке*).

[14]*Эберхард* (Эбергард) Иоганн Август (1739—1809) — профессор философии в Галле. Автор «Руководства по эстетике» (1803).

[15]*Бутервек* (Боутервек) Фридрих (1766—1828) — профессор философии в Геттингенском университете, автор сочинений по эстетике, литератор. В *Библиотеке* имеются 2—12 тома его труда «Geschichte der Poesie und Beredsamkeit» (Göttingen, 1802—1819).

[16]*Бахман* Карл Фридрих (1785—1855) — немецкий философ, профессор Иенского университета. В 1832—1833 гг. на русский язык был переведен его труд «Всеобщее начертание теории искусств». Первая часть этого издания (пер. Мих. Чистякова), а также сочинение Бахмана «Система логики» (СПб.,1831—1832. Ч. 1—2) есть в *Библиотеке.*

[17]*Аст* Георг Антон Фридрих (1778—1841) — немецкий философ, эстетик; профессор классической филологии в Иене (с 1802), Ландсгуте (с 1805), Мюнхене (1826). Автор книги «Система искусства, или Эстетика» (1805). В *Библиотеке* имеется его «Обозрение истории философии» (СПб., 1831; пер. Д.С. Вершинского).

[18]*Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик. В *Библиотеке* имеются переводы его трагедии «Эмилия Галотти» (М., 1788), трактата «Лаокоон» (М., 1859; пер. Е.Эдельсона), «Избранные басни» (СПб., 1816).

[19]Речь идет о пользовавшемся общеевропейской известностью эстетическом труде Лессинга «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766).

[20]*Винкельман* Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк античного искусства.

[21]*Монфокон* Бернар (1655—1741) — ученый, собиратель редкостей и исследователь археологической истории Франции (его сочинения и подготовленные им издания долгое время считались классическими).

[22]*Келюс* Анн Клод Филипп де Тюбьер (1692—1765), граф — французский археолог, филолог, беллетрист и гравер. Автор обширных исследований «Recueil d'antiquités egyptiennes, etrusques-grecques, romaines et gauloises» (1752—1767), «Recueil des peintures antiques, imitée fidèlement pour le couleur et pour le trait» (1757).

[23]Речь идет о пятитомном итоговом труде Монфокона «L'antiquité expliquée et représentée en figures» (1719—1724).

[24]*Болтин* Иван Никитич (1735—1792) — русский историк, автор основательных «Примечаний на Историю древния и нынешния России г. Леклерка» (СПб., 1788. Т. 1—2); первый издатель (совместно с А.И. Мусиным-Пушкиным и И.П. Елагиным) пространной редакции «Русской правды». См. о нем: *Шанский Д.Н.* Из истории русской исторической мысли: И.Н. Болтин. М., 1983.

[25]*Шлёцер* Август Людвиг фон (1735—1809) — немецкий историк, профессор политических наук в Геттингене, автор написанных по-немецки трудов по источниковедению и русскому летописанию (Нестор: русские летописи на древле-славянском языке, сличен-

ные, переведенные и объясненные Августом Лудвиком Шлецером. СПб., 1809; Русская летопись по Никоновскому списку, изданная под смотрением императорской Академии Наук. СПб., 1767. Ч. 1. Отец Х.А. Шлецера. См. о нем: *Иконников В.С.* А.Л. Шлецер: Историко-биографический очерк. Киев, 1911. В *Библиотеке* представлен ряд книг А.Л. Шлецера на немецком языке: Neuverandertes Russland oder Leben Catharina Zweiten Kayserin von Russland. 3 Aufl. T. 1. Riga; Mittau, 1771; T. 2. Riga; Leipzig, 1772; Briefwechsel meist statistischen Inhalts. Göttingen, 1775; August Ludwig Schlözer's offentliches und privat-Leben, von ihm selbst beschrieben. Fragment 1. Göttingen, 1802.

[26]*Нестор* — летописец XI — нач. XII в., автор житий св. Бориса и Глеба, Феодосия Печерского; традиционно считается составителем первой редакции «Повести временных лет». Статьи Каченовского о нем: «Об источниках для русской истории» (ВЕ. 1809. № 3), «Нестор. Русские летописи на древле-славенском языке» (ВЕ. 1811. № 18).

[27]Лекции Каченовского представлялись выдающимся явлением не одному Дмитриеву. И.А. Гончаров, также учившийся на словесном отделении университета (1831—1834), вспоминал о его методе изложения материала следующее: «Читал он медленно, вяло — и, пожалуй, если не вслушиваться глубоко в его речи, то и скучно. Но все, следившие за непрерывной нитью его рассказов, слушали с глубоким интересом этот тонкий анализ, в котором сам профессор никогда не приходил к синтезу, последний возникал сам собою, по окончании лекции или лекций» (*Гончаров И.А.* Собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 208).

[28]*Аполлон Бельведерский* — статуя работы древнегреческого скульптора Леохара (середина IV в. до н.э.); одна из копий с утраченного оригинала хранится в Бельведерском дворце в Ватикане.

[29]*Венера Медицейская* — древнегреческая статуя работы Кефисодота Младшего и Тимарха (IV—III в. до н.э.), римская копия находится в галерее Уффици во Флоренции.

[30]*Голицын Борис Владимирович* (1769—1813), князь — генерал-лейтенант (1799), участник войны 1812 г., брат московского генерал-губернатора Д.В. Голицына. Литератор (писал преимущественно по-французски), деятельный член «Беседы любителей русского слова». В его доме весной 1812 г. Мерзляков читал лекции о словесности. Голицын «был очень хорош собой, умен и по своему времени получил воспитание, как немногие» (*Благово.* С. 176).

[31]*Кокошкин* Федор Федорович (1773—1838) — переводчик, драматург. Его дом на Воздвиженке был одним из культурных центров Москвы; здесь Мерзляков прочитал второй цикл публичных лекций (1815). В *Библиотеке* имеется экземпляр комедии Мольера «Мизантроп», переведенной Кокошкиным (М., 1816 — № 9569), с дарственной надписью И.И. Дмитриеву, а также два экземпляра стихотворной комедии «Воспитание, или Вот приданое!» (М., 1824).

[32]*Вельяминовы-Зерновы* жили в Кречетниковом переулке (дом № 161 Арбатской части). Об этом семействе см. в примеч. к гл. 10.

[33]В «Мелочах...» Дмитриев приводил название этого имения (Жодочи) и сообщал, что там была написана «большая часть <...> романсов и простонародных песен» Мерзлякова; здесь же приведены шуточные стихи Мерзлякова «Маршрут в Жодочи» и процитировано его письмо Дмитриеву с просьбой прислать тексты написанных им в Жодочах стихотворений (С. 173—174). О тесных отношениях Мерзлякова и семейства Вельяминовых-Зерновых свидетельствует опубликованное Дмитриевым «Письмо Алексея Федоровича Мерзлякова к Федору Михайловичу Вельяминову-Зернову, о Москве после пожара 1812 года» (от 14 марта 1813 г. // РА. 1865. Стб.1073—1077; снабжено примечаниями публикатора).

[34]Реконструкцию курса лекций А.Ф. Мерзлякова, осуществленную З.А. Каменским, см. в кн.: Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 1. С. 390—395.

[35]Речь идет об издании: *Вергилий.* Эклоги. М., 1807.

[36]*Дезульер* Антуанетта (1638—1694) — французская поэтесса. *Библиотека* содержит два издания ее стихотворений: Poésies. Bruxelles, 1745. Т. 1; Poésies. Paris, 1824, а также упомянутый перевод Мерзлякова: Идиллии госпожи Дезульер. М., 1807.

[37]См., напр.: Улисс у Алкиноя // ВЕ. 1808. № 7. С. 223—229. Свои переводы греческих трагиков и поэтов и отрывки из «Одиссеи» Мерзляков позже собрал в книге «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев» (М., 1825—1826. Т. 1—2; имеется в *Библиотеке*).

[38]Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575). Фрагменты своего перевода Мерзляков начал публиковать в 1808 г.; работа над семнадцатью песнями поэмы была закончена в 1813 г., но напечатан перевод был лишь в 1828 г.

[39]На полях карандашная поправка: «Коварство и любовь». *Смирнов Семен Васильевич* (1780-е — после 1828) — переводчик, журналист. Из духовного звания. В 1804—1807 гг. слушал лекции в Московском университете, где познакомился с А.Ф. Мерзляковым. В 1806 г. в Москве вышел перевод драмы Шиллера «Коварство и любовь» (подпись: С. См.р.н.в; 2-е изд. — М., 1824; здесь указано, что перевод выполнен «действительным членом общества любителей Российской словесности» при университете «С. Смирновым»). В этом переводе пьеса долгое время шла в московских театрах, в «Истории русского драматического театра» (М., 1977. Т. 2. С. 132) и ряде других источников переводчиком ошибочно назван профессор Московского университета С.А.Смирнов (о нем см. примеч. 8 к данной главе). С.В. Смирнов был членом-учредителем ОЛРС (с июня 1811); в 1811 и начале 1812 г. посещал вечера в доме Ф. Ф. Иванова (Мелочи. С. 161; *Аксаков.* Т. 3. С. 21); в 1815 г. совместно с Мерзляковым и Ивановым издавал журнал «Амфион», где были напечатаны его статья «Каков должен быть писатель?» (№ 1), переводы из Шатобриана, Тита Ливия и др. авторов.

[40]*Иванов Федор* Федорович (у Дмитриева ошибочно: Иванович; 1777—1816) — драматург, поэт, театрал, автор одноактной стихотворной драмы «Семейство Старичковых, или За Богом молитва, а за царем служба не пропадают» (М., 1808). Мерзляков оставил «Воспоминания о Ф.Ф. Иванове» (Труды ОЛРС. Ч. 7. 1817). О кружке Иванова — Мерзлякова см. ст. Ю.М. Лотмана «Ф. Ф. Иванов» (РП. Т. 2. С. 384).

[41]На полях: «Любови»; в писарской копии ГИМ (Л. 126) примечание: «Погодин говорит: Любовь Васильевне». О ней упоминает в своем дневнике И.М. Снегирев (М., 1904. Т. 1. С. 28, 141).

[42]Ср. еще один рассказ Дмитриева о Мерзлякове: «После моей женитьбы на одной из В<ельяминовых>-З<ерновых> сколько раз я звал его к себе; сколько раз он обещал мне приехать, назначал день — и никогда не мог решиться; как будто не имел силы перешагнуть стену, отделявшую его от прочей жизни. Но вздыхал, и я видел, что сердце его в борьбе и не спокойно» (Мелочи. С. 165).

[43]*Терехов* Николай Александрович (р. 1796) — серпуховской дворянин, сын титулярного советника А.И. Терехова; воспитанник университетского благородного пансиона, в 1813—1814 г. — своекоштный студент словесного отделения Московского университета (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 177. Л. 1—2).

[44]*Апофегма* (греч.) — краткое остроумное изречение.

[45]По смерти Мерзлякова, отзываясь на просьбу Погодина написать для «Московского вестника» статью о его песнях, Дмитриев отвечал: «О песнях Мерзл<якова> я очень рад написать что смогу и потому, что они точно имеют собственное достоинство, и потому, что уважаю память А.Ф. и как человека, и как моего учителя» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.48. № 35. Л. 2).

[46]Ср. свидетельство мемуариста: «На его (Мерзлякова. — *Коммент.*) лекциях, с пяти до шести часов пополудни, самая большая аудитория была переполнена студентами всех факультетов; на них мы видели нередко почетных посторонних лиц и неоднократно известного баснописца Дмитриева» (*Назимов М.* В провинции и в Москве // Русский вестник. 1876. № 7. С. 142).

[47]Речь идет о текстах Державина «Дева за клавесином» (перевод стихотворения Шиллера «Laura am Klavier» — ВЕ. 1806. № 7) и «Цирцея» (перевод оды Ж.Б. Руссо — там же. № 3). В 1848 г. М.А. Дмитриев опубликовал в журнале «Москвитянин» (№ 10) письмо Державина к И.И. Дмитриеву от 2 марта 1806 г.: «Письмо ваше от 22 числа минувшего месяца получил. Как я уже отвечал пред сим вам на просьбу г. Каченовского, то на письмо его, после мною полученное по той же самой материи, и не рассудил делать повторения к вам написанного, уповая, что вы покажете ему письмо мое; а сим и кончится смешная переписка наша и мы будем по прежнему приятели. Но из нынешнего вашего письма вижу, что по вашему совету переправил он перевод мой Цирцеи; следовательно, он и не виноват ни в чем передо мною. Вы же как по вашей дружбе ко мне уже и прежде поправляли в стихах моих, что вам не покажется, и я нередко следовал вашим советам; то и теперь также безделка не может между нами сделать ни малейшей неприятности... Касательно же Девы за клавесином, белыми стихами написанной, то мне известно отвращение ваше от сей поэзии, как от протухлой рыбы, которая неприятна вкусу вашему, то и не мудрено теперь, что она г. Каченовским при первом разе не была напечатана. А потому и прошу сказать ему, что зависит теперь от вас предавать ее тиснению или оставить» (цит. по: *Державин.* СПб., 1865. Т. II. С. 540—541; см. также С. 536). В примечаниях Я.К. Грота приводится рассказ Д.Н. Блудова: «Это стихотворение («Дева за клавесином». — *Коммент.*) собственно было поводом к неудовольствию между Каченовским и Дмитриевым <...> Каченовский, получив стихи и будучи недоволен ими, попросил Мерзлякова перевести ту же пьесу Шиллера (перевод Мерзлякова «К Лауре за клавесином» см.: ВЕ. 1806. № 2. — *Коммент.*), а между тем написал Державину, что его перевод не может быть напечатан, так как в редакции есть уже другой. Державин оскорбился и послал Каченовскому резкий ответ. Получив его, издатель «Вестника» отправился к Дмитриеву с просьбою объяснить знаменитому переводчику, что «Дева за клавесином» не была тотчас напечатана по совету Дмитриева. Дмитриев на это не соглашался, и тогда-то между ними произошел спор» (Там же. С. 541).

[48]Случаи правки Дмитриевым текстов Державина, отмеченные в собрании сочинений поэта под редакцией Грота, перечислены: *Державин.* Т. IX. С. 567—568.

[49]Это письмо Державина неизвестно.

[50]Каченовский отомстил И.И. Дмитриеву, написав рецензию на третью часть его «Сочинений и переводов» (ВЕ. 1806. № 8. С. 278—300 и № 9. С. 42—54). Реакция Дмитриева известна по его резкой эпиграмме на Каченовского («Нахальство, Аристарх, таланту не замена...») и письму к А.И. Тургеневу (*Дмитриев—1986.* С. 252, 383—384). О конфликте И.И. Дмитриева и Каченовского см. также: *Вацуро В.Э.* И.И. Дмитриев в

литературных полемиках начала XIX в. // XVIII век. Сб.16. Л., 1989. С. 166–167. Полного примирения так и не произошло: в августе 1824 г. Каченовский «рассказывал о коварном характере И.И. Дмитриева и его насмешливости» (*Снегирев И.М.* Дневник. М., 1904. Т. 1. С. 91); несколькими месяцами позже отказ цензора Снегирева пропустить сатиру И.И. Дмитриева на Каченовского вызвал сильное недовольство сановного поэта (Там же. С. 102).

[51]Имеется в виду статья Каченовского «От Киевского жителя к его другу», подписанная буквой «Ф.» (ВЕ. 1819. № 2–6).

[52]Справедливость этого замечания подтверждают слова самого Погодина: «В 1828 году я лишился благосклонности Дмитриева за помещение в «Московском вестнике» замечаний Арцибашева на «Историю» Карамзина. В дом к нему, разумеется, я не смел уже показываться, и только через несколько лет, когда впечатления изгладились, я был принят» (Цит. по: *Дмитриев–1986.* С. 491).

[53]В 1801 г. Цветаев по определению университетского совета отправился за границу, сопровождая куратора Ф.Н. Голицына, три года слушал лекции в германских и французских университетах и получил степень доктора философии в Геттингенском университете.

[54]Цветаев был автором следующих учебников: «Краткая теория законов» (М., 1810. Ч. 1–3), «Начертание теории законов» (М., 1816). После окончания Дмитриевым курса Цветаев издал еще ряд пособий: «Начертание римского гражданского права, изданное для руководства учащихся» (М., 1817), «Краткая история римского права, изданная в пользу учащихся» (М., 1818) и др.

[55]*Кукольник* Василий Григорьевич (1765–1821) – профессор Главного Педагогического института (с 1803), Петербургского университета (1819–1820), преподавал римское и российское гражданское право великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам (1813–1817); первый директор гимназии высших наук кн. Безбородко в Нежине (с 1820), отец поэта и драматурга Н.В. Кукольника. Дмитриев упоминает его книгу «Начальные основания римского гражданского права» (СПб., 1810).

[56]Речь идет о «Вечном эдикте» (Edictum perpetuum; 128 г.) римского императора Публия Элия Адриана (76–138). Этот законодательный акт лишал преторов права вносить изменения и дополнения в судебные инструкции; названная прерогатива закреплялась за императором.

[57]Ср. сопоставление Цветаева и Сандунова, сделанное Шевыревым: «В этико-политическом отделении тогда славился оригинальный Сандунов как юрист-практик и ученый, Цветаев как юрист-теоретик. Резкую противоположность представляли они как в воззрении на науку, так и в самом способе преподавания. Сандунов, отвергая всякую теорию, не признавал даже римского права как теории живой, хотел на место науки поставить здравый русский смысл и требовал от юриста только ясного и правильного толкования закона. Цветаев, напротив, следуя иностранным учителям, признавал возможность теории и воплощал ее в римском праве. Быстрота и живость <...> были наружными признаками первого профессора, медлительность и спокойствие – признаками другого» (*Шевырев С.П.* История императорского Московского университета. М., 1855. С. 450–451).

[58]Ср. воспоминания Свербеева: «Покойный Михаил Александрович Дмитриев, занимавшийся целую жизнь философией, говорил о Брянцеве, что сам всеразрушающий Кант не отрекся бы признать в своем соученике брата о философии. Когда я с обычным моим глумлением припоминал Дмитриеву Брянцева дефиницию души: «Душа есть безусловное

условие всякого условия», Дмитриев объяснял мне глубокий смысл этого изречения, и я, в том убежденный, с ним соглашался, но теперь должен признаться, что опять позабыл глубокий смысл дефиниции» (*Свербеев*. Т. 1. С. 91).

[59]*Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ. О восприятии его идей в России см.: Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 590—593; *Каменский З.А.* Русская философия начала XIX в. и Шеллинг. М., 1980.

[60]*Вольф* Христиан (1679—1754), барон — немецкий философ, популяризатор философских идей Лейбница. О русском вольфианстве см.: *Артемьева Т.В.* История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996. С. 33—54. Хотя философская система Вольфа к началу XIX в. безнадежно устарела, Брянцев, по замечанию Г.Г. Шпета, «все еще продолжал тянуть вольфианскую лямку» и «томить философию, совокупляя Вольфа с бесцветным кантианством» (*Шпет Г.Г.* Сочинения. М., 1989. С. 102—103).

[61]*Шаден* Иоганн Матиас (1731—1797) — доктор философии, профессор нравственной философии, права естественного и народного и политики. В 1756—1772 гг. был ректором обеих гимназий при Московском университете, с 1771 по 1796 г. возглавлял кафедру практической философии и этики. Директор частного пансиона, в котором учился Н.М. Карамзин.

[62]*Страхов* Петр Иванович (1757—1813) — профессор опытной физики (с 1789), руководил кафедрой физики. По окончании Московского университета (1778) служил секретарем М.М. Хераскова. Став ординарным профессором (1785), был на год откомандирован за границу, по возвращении назначен главным смотрителем Благородного пансиона, инспектором университетских гимназий. В 1805—1807 гг. — ректор университета. Автор учебника «Начертание краткой физики» (М., 1810). По словам выпускника университета Ф.П. Лубяновского, Шаден и Страхов «из кожи лезли, чтобы все то, что сами приобрели неутомимым трудом, передать нам с логической ясностью, в систематическом порядке, с обдуманным суждением» (*Лубяновский Ф.П.* Воспоминания // МУ. С. 45).

[63]Об А.Д. *Курбатове* подробнее см. в гл. 7 и примеч. к ней.

[64]Ср. текст, вошедший в «Полное собрание российских песен» (М., 1780. Ч. 3. С. 142—143): «Ах по мосту, мосту, / По каменову мосту, / Ай шел тут молодец / На нем аленький кафтан».

[65]По мнению юриста К.Н. Лебедева, окончившего Московский университет в 1835 г., одних практических занятий, которые вел Сандунов, было недостаточно; требовалось и «формоучение теоретическое» (*Лебедев.* № 7. С. 346—347).

[66]*Стряпчий* — судебный чиновник, а также ходатай по делам. *Подьячий* — собирательное название всякого мелкого (преимущественно судебного) чиновника.

[67]Выполненный Сандуновым (по немецкой переделке) перевод драмы Д.Дидро «Отец семейства» (1758) был посвящен А.А. Прокоповичу-Антонскому, который поддержал Сандунова в трудных обстоятельствах (см. его письмо к Антонскому. — Москвитянин. 1853. Т. 5, отд. IV. С. 16). О «Детском театре» см. примеч. 68 к гл. 2.

[68]*Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н.э.) — римский политический деятель, оратор, писатель.

[69]В Древнем Риме судебным ораторам было запрещено получать вознаграждения от подзащитных. Правило это обходили, и здесь Цицерон не был одинок. Однако называть его «взяточником» все же не совсем верно, так как он не был государственным чиновником.

[70]Сандунов «есть утешительное исключение из категории большей части его сослуживцев и не без причины пользуется общим доверием и уважением» (*Жихарев.* Т. 1. С. 92). Ср. свидетельство А.М. Тургенева: «Он был очень правдолюбив, говорил прямо без оговорок <...> Один только он (в то время) и был обер-секретарь, который с заднего крыльца у себя в доме никого не принимал, и руки его были чисты от взяток» (PC. 1889. № 4. С. 219). Ср. также: *Назимов М.* В провинции и в Москве // Русский вестник. 1876. № 7. С. 135—137, 145—147.

[71]См. характеристику Сандунова в статье Ф.Л. Морошкина: «Он читал лекции законоведения в Московском университете, и вместе служил оракулом города Москвы для вопрошающих о правосудии и ищущих правосудия. Двери его дома были постоянно открыты для всех желавших его видеть. Некоторым студентам, из особенного к ним благоволения, он дозволял присутствовать при объяснениях с просителями, и нередко употреблял их в помощники при сих занятиях. Они приискивали ему указы в тогдашнем хаосе законов, давали свои мнения, записывали темы для стряпческих его бумаг» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. Т. 2. С. 389—390). По свидетельству А.Я. Булгакова, до самой кончины Сандунова «все доки прибегали к его советам в казусных случаях» (*Булгаков.* 1902. № 2. С. 290).

[72]*Клиент* — здесь употреблено в том значении, которое это слово имело в Древнем Риме: человек, пользующийся покровительством влиятельного лица (патрона).

[73]Речь идет о совете и правлении Московского университета. В 1811 г. Сандунов занял должность синдика (юридического консультанта) в университетском правлении, позже исправлял должность бессменного заседателя правления.

[74]*Бортные ухожи* — участки леса с деревьями, в дуплах которых живут дикие пчелы. Этот термин часто встречается в «Уложении», например: «А буде у кого бортные ухожьи, или рыбные ловли, озера, или сенные покосы в Государеве, или в помещикове, или в вотчинникове лесу: и тем людям <...> владети по старым межам» (Уложение государя, царя и великого князя Алексея Михайловича. Б.м., 1913. С. 109).

[75]В.В. Виноградов (со ссылкой на Ф.И. Буслаева) указывал, что «в соответствующей социальной среде и жизненной обстановке такие слова, как рык («на три рыка коровьих»), могут обозначать меру пространства» (*Виноградов В.В.* История слов. М., 1994. С. 111—112).

[76]Ф.Л. Морошкин, автор краткой биографии Смирнова, отмечал, что «иногда его добродушие и незлобие подавали на лекциях повод студентам употреблять во зло эти качества души» и что «Смирнов боялся критических нападений Сандунова» (Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855. Т. 2. С. 419). См. о нем также: Сто один [Галахов А.Д.]. Время высшего образования. Университет (1822—1826) // Русский вестник. 1876. № 11. С. 186—187.

[77]*Алябьев* Александр Васильевич (1746—1822) — сенатор (1798—1818), действительный тайный советник, президент Берг-коллегии (1801—1803), отец композитора А.А. Алябьева.

[78]*Курбатов* Александр Петрович (1744 или 1745 — 1830) — заседатель палаты Московского верхнего земского суда в 1785—1797 гг. и Совестного суда — в 1801—1803 гг.; депутат дворянства Серпуховского уезда (1791—1797). Директор московского главного народного училища в 1790-е гг. Видный масон (в 1781 г. вместе с Н.И. Новиковым и Ф.П. Ключаревым был членом ложи «Озирис»; в 1783 г. входил в московскую ложу «Астрея»).

[79]В схожих выражениях вспоминает о методе Гаврилова Свербеев: «Профессор славянской словесности Матвей Гаврилов обучал нас, собственно говоря, церковному нашему языку посредством одного упражнения в чтении наших божественных книг и преимущественно Четь-миней. Едва ли и сам он знал во всем объеме язык, им преподаваемый» (*Свербеев*. Т. 1. С. 93).

[80]Отзыв Свербеева почти дословно совпадает с дмитриевским: Гаврилов «со всеми его синонимами, как, например, Бог (Творец, Вседержитель)» (*Свербеев*. Т. 1. С. 94).

[81]*Попов Гавриил Степанович* (1799—1874) окончил пансион в 1814 г., университет кандидатом в 1818 г., в годы студенчества служил в пансионе библиотекарем и комнатным надзирателем. Автор ряда статей в «Каллиопе» и множества речей, в том числе произносившихся на пансионских праздниках (Речь о достоинстве и обязанностях благовоспитанного человека // Речь, разговор и стихи, читанные в университетском благородном пансионе на публичном акте 1815 года декабря 22 дня. М., 1815. С. 1—16; Речь о религии, как основе истинного просвещения // Речь, разговор и стихи... 1816 года декабря 23 дня. М., 1816. С. 1—12; Речь о главных обязанностях образованного молодого человека, вступающего в общество // Речь, разговор и стихи... 1817 года декабря 21 дня. М., 1817. С. 1—16). По окончании университета получил должность старшего помощника секретаря при директоре департамента народного просвещения А.Н. Голицыне и много лет служил в разных возглавлявшихся им ведомствах (с 1824 г. — в особой канцелярии при главноначальствующем над почтовым департаментом); действительный тайный советник (1840), камергер (1842).

[82]Гейм составил «Словарь российско-французский» (М., 1796—1797. Т. 1—2), «Словарь российско-французско-немецкий» (М., 1799—1802. Т. 1—3), выдержавшие многочисленные переиздания; «Учение российского языка для немцев» (М., 1789), «Российскую грамматику для немцев» (М., 1791), «Немецкую грамматику для классов гимназий и вольного благородного пансиона при императорском Московском университете» (М., 1802; 2-е изд. — М., 1805); «Опыт полной географико-топографической энциклопедии Российского государства в алфавитном порядке» (М., 1796), «Начертание всеобщего землеописания» (М., 1811), «Первоначальные основания новейшего всеобщего землеописания» (М., 1813), «Начертание всеобщего землеописания, по новейшему разделению государств и земель» (М., 1817. Ч. 1—2). Более подробный перечень трудов Гейма см.: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. СПб., 1900. Т. 2. С. 579—580.

[83]Орден св. Анны был учрежден голштейн-готторпским герцогом Карлом Фридрихом в 1735 г. в память его жены Анны Петровны (дочери Петра I); в России им стали награждать с 1742 г. С 1815 г. орден имел четыре степени: высшую — красный крест, который крепился на широкой ленте через левое плечо, и звезда (единственную из всех российских орденов ее нужно было носить на правой стороне груди); вторую — красный крест, носившийся на более узкой ленте на шее; третью — крест в петлице; четвертую — небольшой крест, который привинчивали на эфес шпаги или сабли.

[84]Выпад в адрес А.С. Хомякова, К.С. Аксакова и других славянофилов, которые с середины 1840-х гг. стали демонстративно одеваться в русское платье и носить бороду. Подробнее о бытовом поведении славянофилов см.: *Мазур Н.Н.* Дело о бороде // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 127—138.

[85]*Тимковский Роман Федорович* (1785—1820) — профессор римской и греческой словесности, переводчик.

[86]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 139).

[87]*Мудров* Матвей Яковлевич (1772—1831) — известный доктор-практик. Выпускник Московского университета (1800), с 1809 г. — профессор и директор клинического института в университете; в 1813—1817 гг. профессор и директор московского отделения Медико-хирургической академии; декан медицинского факультета (1813—1820). В *Библиотеке* имеется его «Слово о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача» (М., 1814). О нем см. также в гл. 16 и примеч. к ней.

[88]*Рихтер Вильгельм Михайлович* (1767—1822) — заслуженный профессор повивального искусства, доктор медицины Московского университета (1790—1819), лейб-медик.

[89]Университетским профессором химии в 1804—1832 гг. был Фердинанд Фридрих Рейсс (см. примеч. 52 к гл. 16); чистую (т.е. не прикладную) математику читали Федор Иванович Чумаков (1782—1837) и Пафнутий Алексеевич Афанасьев (преподавал в 1815—1816 гг.).

[90]В отличие от французского парка (регулярного, декоративного, в котором натура подчинена замыслу человека-творца) английский парк (сад) должен был казаться творением самой природы и демонстрировать ее собственную красоту.

[91]Речь идет о популярной в конце XVIII — первой четверти XIX в. мраморной скульптуре Э.М. Фальконе «Купидон, вынимающий стрелу» (ныне в Эрмитаже), известной в многочисленных копиях; ср. стихотворение Державина «Фалконетов купидон» (1804), цикл надписей Карамзина «На статую Амура» (1798; *Карамзин Н.М.* Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1966. С. 241—242) и сочиненную Н.А. Львовым в 1790-х гг. «Надпись к статуе Фальконетовой, Ерота или Леля представляющей» (Лит. наследство. М., 1933. Т. 9/10. С. 277).

[92]*Герм* — четырехгранный столб со скульптурной головой (первоначально греческие гермы изображали Гермеса — отсюда название — и служили межевыми и дорожными знаками); с XVI в. — вид декоративной и садово-парковой скульптуры. *Янус* — древнеримское божество дверей и ворот, входов и выходов, а также всякого начала; изображалось двуликим («лик Януса» обращен одновременно в прошедшее и будущее).

[93]*Соус тартар* — густой соус, изготовленный на основе горчицы, уксуса, растительного масла, яичных желтков с добавлением лука, мелко накрошенных трав (петрушки, эстрагона), корнишонов и каперсов.

[94]*Медок* — легкие красные вина, производимые в важнейшем из винодельческих районов Франции — в департаменте Жиронда (на юго-западе страны). В целом ряде местечек с общим названием Медок (Castelnau-en-Médoc, Saint-Yzans-en-Médoc, Listrac-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Prignac-en-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc и др.), которые располагаются к северу от Бордо, для изготовления вина используются те же сорта винограда, что и в соседней местности Saint-Julien. Все эти марки входят в семейство бордоских вин, среди которых известны такие сорта, как Лафит, Марго, Латур.

[95]В.А. Жуковский был записан в московское ополчение 10 августа 1812 г. поручиком. В штабе М.И. Кутузова он занимался составлением листовок и бюллетеней для походной типографии. Подробнее об этом см.: *Самовер Н.В.* Новые данные к биографии В.А.Жуковского (военные награды поэта за 1812 год) // Вестник МГУ: Сер. История. 1995. № 3. С. 58—65.

[96]Стихотворение «Певец во стане русских воинов» написано во второй половине октября — ноябре 1812 г. Опубликовано: ВЕ. 1812. № 23/24.

[97]Стихотворения Василия Жуковского. СПб., 1815—1816. Ч. 1—2.

[98]Из вызвавших общественный резонанс произведений Николая Алексеевича Некрасова (1821—1877) к середине 1860-х были опубликованы: стихотворения «В дороге» (1845), «Еду ли ночью по улице темной...» (1847), «Вчерашний день, часу в шестом...» (1848), цикл «На улице» (1850), поэма «Мороз, Красный нос» (1864). Слава великого поэта пришла к Некрасову после выхода в 1855 г. его сборника «Стихотворения».

[99]Перевод из английского поэта Р. Саути «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди» осуществлен в октябре 1814 г., впервые опубликован в кн.: Баллады и повести В.А. Жуковского. СПб., 1831. Т. 2.

[100]*Давыдов* Денис Васильевич (1784—1839) — поэт.

[101]*Измайлов* Владимир Васильевич (1773—1830) — писатель, переводчик и журналист; издавал в 1815 г. в Москве «Российский музеум, или Журнал европейских новостей», в котором сотрудничали П.А. Вяземский, Жуковский, В.Л. Пушкин, П.И. Шаликов.

[102]*Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт.

[103]Вяземский, по его собственному выражению, «прокипятил» в карты в общей сложности около полумиллиона рублей.

[104]В.В. Измайлов приехал в Москву не в 1814-м, а в 1813 г. Ср. строки из писем к нему Каченовского: «Ежели вы решаетесь приняться за журнал, то <...> для уговора вам нужно будет приехать сюда самим <...> Не излишним почитаю известить вас, что здесь на сих днях ждут И.И. Дмитриева, с которым вам без сомнения приятно будет увидеться; вот и другая побудительная причина к вашему сюда приезду» (письмо от 30 июля 1813 г.: Московское обозрение. 1877. № 19. С. 80) и Воейкова: <<радуюсь переселению вашему в Москву и еще более участию в издании «Вестника Европы»>> (письмо от 26 апреля 1813 г.: Там же. № 17. С. 480).

[105]Басня М.А. Дмитриева «Новый календарь» (пер. с фр.; подпись *М.Д.*) опубликована не в «Вестнике Европы», а в «Российском музеуме» (1815. № 12; там же напечатана переложенная им басня Флориана «Два путешественника»). Фрагмент сочинения французского писателя Виктора Жозефа Этьена Жуи (1764—1846) «Отшельник с шоссе д'Антен» появился в переводе Дмитриева под названием «Взятие Парижа» (ВЕ. 1816. № 11). По-видимому, Дмитриеву принадлежит еще один перевод с французского, помещенный в «Вестнике Европы», — «Нечто об элегии» (1814. № 22; подпись *М.Д.*).

[106]*Шаховской* Александр Александрович (1777—1846) — драматург, автор комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (премьера ее в Петербурге состоялась 23 сентября 1815 г.). В образе одного из персонажей — сочинителя слезливо-сентиментальных стихов Фиалкина — осмеивался В.А. Жуковский. Противники Шаховского откликнулись на комедию множеством эпиграмм; скандал вокруг нее был поводом к созданию «Арзамасского общества безвестных людей».

[107]*«Расхищенные шубы»* — ирои-комическая поэма Шаховского, частями печатавшаяся в «Чтении в Беседе любителей русского слова» (песнь 1 — Чтение 3. 1811; песнь 2 — Чтение 7. 1812; песнь 3 — Чтение 19. 1815). В поэме содержались выпады в адрес Карамзина, Д.Н. Блудова (в первой, не дошедшей до нас редакции), было спародировано послание В.Л. Пушкина к Д.В. Дашкову.

[108]Российский музеум. 1815. № 12. С. 235. Подпись: *В.* Причинами нападок на Шаховского было его членство в «Беседе любителей русского слова», слухи (малообоснованные) о его кознях против В.А. Озерова, доведших последнего до сумасшествия, а также комедии «Липецкие воды» и поэма «Расхищенные шубы», полемически заострен-

ные против Жуковского, В.Л. Пушкина, С.С. Уварова и других литераторов карамзинского направления. Насмешки над Шаховским содержались не только в ряде эпиграмм, опубликованных на страницах «Российского музеума» («Вольтер нас трогает Китайской сиротой...», «С какою легкостью свободной...» — № 12), но и в других произведениях, помещавшихся в журнале.

[109]Цитируется гимн «Венчание Шутовского» (впервые: *Арапов П.* Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 241—242). В тексте Дашкова использовано эпиграмматическое прозвище драматурга — Шутовской.

[110]С 1810 г. Дашков служил в министерстве юстиции под началом И.И. Дмитриева.

[111]*Дашков Д.В.* О легчайшем способе возражать на критики. СПб., 1811.

[112]Пример, приводимый Шишковым («Дам ти подзатыльницу»), содержится в его «Присовокуплении» к «Рассуждению о красноречии Священного Писания» (Собрание сочинений и переводов адмирала А.С. Шишкова. Ч. IV. СПб., 1825. С. 103). Реплику Дашкова см.: Арзамас. М., 1994. Т. 2. С. 61.

[113]*Шишков.* Указ. соч. С. 25. Иронический силлогизм Дашкова см.: Арзамас. Т. 2. С. 68.

[114]См., например, статью Измайлова «О полах растений» (ВЕ. 1812. № 18).

[115]Путешествие в полуденную Россию. В письмах, изданных В. Измайловым. М., 1800—1802. Ч. 1—4. В *Библиотеке* имеется второе издание этого сочинения (М., 1805).

[116]Измайлов поместил в «Вестнике Европы» 1814 г. повести «Обе школы, или Свет и уединение» (№ 3) и «Сироты в Малороссии, или Цветы: Иван да Марья» (№ 7).

[117]*Бурцов* Алексей Петрович (ум. 1813) — сослуживец Давыдова по Белорусскому гусарскому полку в 1804—1806 гг., снискавший славу «величайшего гуляки и самого отчаянного забулдыги из всех гусарских поручиков» (*Жихарев.* Т. 1. С. 99). К нему обращены стихотворения Давыдова «Бурцову», 12 строк которого Дмитриев процитировал на полях рукописи мемуаров, и «Гусарский пир» (оба 1804 г.).

[118]Вяземский напечатал в «Амфионе» следующие сочинения: переводное стихотворение «К подушке Филлиды» (№ 3), адресованное Давыдову послание «К партизану-поэту» (№ 4), пейзажную зарисовку в анакреонтическом духе «Весеннее утро» (№ 10). Давыдов поместил в № 5 «Амфиона» только одно стихотворение — «Элегию» («Пусть богамстителя могучая рука...») — вольный перевод стихов французского поэта Антуана де Бертена.

[119]*Иванова* (в замужестве Глушковская) Татьяна Ивановна (ок. 1799 — после 1857) — танцовщица московских театров, в которую долгое время был влюблен Давыдов. Ей посвящены первая, вторая, третья (а также, возможно, четвертая и восьмая элегии цикла, датируемого 1814—1817 гг.). Вяземский в следующих выражениях вспоминает об Ивановой: «Была она красавица и необыкновенно стыдливо-грациозна. Денис воспламенился ею с чистою страстью целомудренного и пламенного Петрарки» (РА. 1866. Стб. 900). В «Амфионе» были помещены также стихи Д.И. Вельяшева-Волынцева «Девице Ивановой, в балете “Остров невинности”» (№ 8).

[120]*Глушковский* Адам Павлович (1793 — ок. 1870) — ведущий танцовщик и хореограф Большого театра в Москве в 1812—1839 гг., автор неоднократно цитированных «Воспоминаний балетмейстера» (Л.; М., 1940).

[121]В баснях Давыдова «Река и зеркало», «Голова и ноги» (обе — 1803) содержались аллюзии на Александра I.

[122]В 1820 г. Воейков стал соредактором Н.И. Греча в журнале «Сын Отечества». Позже редактировал газету «Русский инвалид» (1822—1838) и выходившие в качестве

приложений к ней журналы «Новости русской литературы» (1822—1826, до 1825 г. — при участии В.И. Козлова) и «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» (1831—1836); журнал «Славянин» издавался в 1827—1830 гг.

[123]Речь идет о «Сатире к С<перанскому> об истинном благородстве» (ВЕ. 1806. № 19).

[124]Цитируется послание Воейкова «К А.Н.В.» («О ты, с которой постигаю...» — ВЕ. 1808. № 6). Дмитриев полагает, что этот текст носит название «К Эмилии» — вероятно, потому, что упомянутое им выше стихотворение Воейкова начинается строкой: «Эмилий! друг людей, полезный гражданин...» (об этих стихотворениях см. также: Мелочи. С. 202—203; здесь дано неточное название послания — «К А.А.В.»).

[125]Отрывки из поэмы «Сады» печатались в «Вестнике Европы» (1807. № 15; 1810. № 7, 16; 1811. № 8; 1812. № 11; 1813. № 7, 8; 1814. № 9; 1815. № 7, 13; 1816. № 2, 8).

[126]Отдельное издание поэмы Делиля «Сады, или Искусство украшать сельские виды» (СПб., 1816) содержит четыре гравюры. Две из них принадлежат литографу, граверу резцом и пунктиром, академику пейзажной живописи (с 1808) Степану Филипповичу *Галактионову*, автор двух других — гравер резцом Иван Васильевич *Ческий* (1777 или 1782 — 1848), академик живописи с 1807 г. Гравюры Галактионова и Ческого соседствовали во многих изданиях первой четверти XIX в.: «Полярной звезде» на 1824 г., в «Северных цветах» на 1826 и 1827 гг., в «Баснях» И.А.Крылова (СПб., 1825. Ч. 1—7).

[127]*Протасова Александра Андреевна* (1795—1828) — с 1814 г. жена А.Ф. Воейкова; сестра М.А. Протасовой, в которую был влюблен В.А. Жуковский, бывший домашним учителем обеих. Баллада «Светлана», посвященная Жуковским А.А. Протасовой (ВЕ. 1813. № 1—2), представляет собой (как и баллада «Людмила») вольную переработку стихотворения немецкого поэта Г.А. Бюргера «Ленора».

[128]*«Дом сумасшедших»* — распространявшаяся в списках сатирическая поэма А.Ф. Воейкова, текст которой он постоянно дополнял новыми строфами. Первая публикация (с пропусками): Сборник, издаваемый студентами... С.-Петербургского университета. СПб., 1857. Вып. 1. Ю.М. Лотман выявил четыре основные редакции поэмы (Поэты 1790—1810 годов. Л., 1971).

[129]Послание Воейкова «К жене и друзьям» (1816) напечатано в «Сыне Отечества» (1821. № 4. С. 177—186). Здесь было «описано его путешествие по России. В нем было много мест истинно сатирических, которые выставлялись тем более, что в некоторых местах они сменялись тоном элегии» (Мелочи. С. 202).

[130]В середине 1822 г. у Батюшкова усилились признаки душевного расстройства. С февраля 1823 г. и до конца жизни он находился под неусыпным присмотром врачей и родственников, проживая в 1828—1833 гг. в Москве, а затем в Вологде — в почти полной самоизоляции от внешнего мира.

[131]Батюшков вышел в отставку в апреле 1816 г.; во время пребывания в Москве часто виделся с И.И. Дмитриевым (см. письмо Батюшкова Н.И. Гнедичу (июль 1817 г.): «Я ему (И.И. Дмитриеву. — *Коммент.*) обязан: в бытность мою в Москве он навещал меня больного очень часто и подарил мне свою книгу». — *Батюшков К.Н.* Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 448). В письме к самому Дмитриеву (10 августа 1817 г.) он вспоминает «краткие, но сладостные минуты, которыми я наслаждался в доме вашем в обители муз» (Там же. С. 456).

[132]В 1819—1821 гг. Батюшков занимал должность внештатного секретаря русской миссии в Неаполе. В Россию вернулся в 1822 г., однако в Москве оказался лишь в 1828 г., уже непоправимо больным.

[133]М.Н. Муравьев приходился Батюшкову двоюродным дядей. Он оказал серьезное влияние на поэта, годы юности которого прошли в доме Муравьева, способствовал формированию его литературных вкусов. «Я обязан ему всем», — говорил сам Батюшков о Муравьеве (письмо к Жуковскому от 3 ноября 1814 г. — *Батюшков К.Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 309). Подробнее об их отношениях см.: *Майков Л.Н.* Батюшков, его жизнь и сочинения. СПб., 1896. С. 13—17; *Кошелев В.А.* Константин Батюшков. Странствия и страсти. М., 1987. С. 32—37; *Кошелев В.А.* Батюшков и Муравьев // Новые безделки. М., 1996.

[134]*«Мои пенаты»* (1811—1812) — стихотворное послание, обращенное к Жуковскому и Вяземскому; впервые напечатано в сб. «Пантеон русской поэзии» (СПб., 1814. Ч. 1. С. 55—69).

[135]*«Видение на берегах Леты»* (1809) — сатира Батюшкова, направленная, в частности, против литераторов-архаистов. Впервые опубликована в литературном сборнике «Русская беседа» (СПб., 1841. Т. 1. С. 1—10).

[136]Имеется в виду стихотворение Батюшкова (написанное им совместно с А.Е. Измайловым) «Певец, или Певцы в Беседе славено-россов» (1813) — травестийная перелицовка гимна Жуковского «Певец во стане русских воинов». Впервые напечатано в журнале «Современник» (1856. № 5. С. 10—18).

[137]В.А. Кошелев полагает, что тут «подразумевается либо А.С. Шишков, либо Г.Р. Державин» (*Батюшков К.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 479). Версии Дмитриева придерживаются А.Л. Зорин и О.А. Проскурин в комментариях к изд.: *Батюшков К.Н.* Избранные сочинения. М., 1986. С. 478.

[138]Батюшков, уроженец Вологды, проведший детство, юность и первую молодость в Петербурге и родительских поместьях Тверской и Новгородской губерний, а также в заграничных походах в Пруссии и Финляндии, действительно не бывал в Москве до декабря 1809 г. Тогда он познакомился и сблизился со многими московскими литераторами (в особенности с Вяземским, В.Л. Пушкиным и Жуковским). Потом Батюшков жил в Москве в феврале—июне 1811 г., помогал семейству Е.Ф. Муравьевой выбраться из осажденной Наполеоном столицы; снова приехал в Москву в декабре 1815 г. и весь 1816 год провел здесь.

[139]*Богданович* Ипполит Федорович (1743—1803) — поэт, автор поэмы-сказки «Душенька».

[140]Речь идет о гравированном портрете В.Л. Пушкина работы С.Ф. Галактионова, приложенном к его сборнику «Стихотворения» (СПб., 1822).

[141]М.Н. Лонгинов записал со слов Дмитриева такой анекдот: «В.Л. Пушкин смертельно любил читать свои стихи. Как-то он написал басню и очень ею был доволен. Встречается ему М.А. Дмитриев и на вопрос его: «слышал ли ты такую-то басню?» — отвечает: «даже знаю наизусть» — и прочитывает ее, думая быть ему приятным. Не тут-то было. В.Л. обиделся и остался очень недоволен» (Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056. Л. 11. — сообщено С.И. Пановым).

[142]*«Опасный сосед»* напечатан литографским способом, без выходных данных и с подписью «П......». По утверждению Н.И. Греча (Северная пчела. 1853. № 142), поэма была литографирована в Мюнхене в 1815 г. по предложению состоявшего при русской армии чиновника министерства иностранных дел барона П.Л. Шиллинга фон Канштадта — в виде образца, как первый опыт применения литографии в России. В 1855 г. в Лейпциге вышло типографское издание: «Опасный сосед. Стихотворение Василия Львовича Пушкина».

[143]*Ренье* Матюрен (1573—1613) — французский поэт; в его сатирах сочные бытовые зарисовки сочетаются с проникновенными лирическими медитациями.

[144]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 153).

[145]Речь идет о стихе «Херы с покоями сцеплялись по стенам», на принадлежность которого Жуковскому указал Вяземский (Старина и новизна. М., 1904. Кн. 8. С. 45).

[146]*Пушкин Сергей Львович* (1767—1840) в молодости служил в лейб-гвардейском Егерском полку, В.Л. Пушкин — в Измайловском, И.И. Дмитриев — в Семеновском.

[147]*Пушкина* Анна Львовна (1765—1824) — тетка А.С. Пушкина. В 1798 г. ходили слухи о том, что И.И. Дмитриев собирается на ней жениться (ПКД. С. 104).

[148]Имеется в виду «Элегия на кончину тетушки», написанная А.С. Пушкиным совместно с А.А. Дельвигом и опубликованная в изд.: Стихотворения А.С. Пушкина, не вошедшие в полное собрание его сочинений. Берлин, 1861. С. 44. Дмитриев следил за пушкиноведческими штудиями своего времени; интересна его реакция на складывающийся в пушкинистике миф об Арине Родионовне: «<...> из бельгийского журнала Le Nord узнали мы, что вероятно обязан Пушкин народностью некоторых своих произведений — старухе, своей нянюшке, о которой столько ныне пишут, что, я думаю, ей икается на том свете. Словом: Пушкина не выводят нынче перед публику иначе, как с старухой нянькой. Карамзин и И.И. Дмитриев, я думаю, смеялись бы этому; а Пушкин краснел бы, представляя из себя эту группу» (письмо к Погодину от 31 января 1856 г.: ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 10 (1). Л. 1 об.).

[149]Заблуждение мемуариста. См. письмо А.С. Пушкина Вяземскому (конец апреля 1825 г.), где цитируется текст упоминаемого стихотворения и указываются его авторы (Пушкин А.С. Письма. М., 1926. Т. 1. С. 130; комментарий Б.Л. Модзалевского — С. 434—435).

[150]Этот анекдот со слов Дмитриева записан М.Н. Лонгиновым (Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056. Л. 5. — сообщено С.И. Пановым).

[151]О том же см.: «Мелочи...».

[152]Цитируется стихотворение П.А. Вяземского «Отъезд Вздыхалова» («С собачкой, с посохом, с лорнеткой...», 1811). Об этих стихах в письме к Гнедичу (апрель 1811 г.) сообщал Батюшков: «Посылаю тебе стихи князя Вяземского на Шаликова, который хотел ехать в Париж. Они очень остры и забавны. В этом роде у нас ничего нет смешнее» (*Батюшков К.Н.* Сочинения. М., 1989. Т. 2. С. 164). В июне 1814 г. Ю.А. Нелединский-Мелецкий писал Вяземскому: «К великому удовольствию государыни (императрицы Марии Федоровны. — *Коммент.*) я проговорил ей «С собачкой, с посошком, с лорнеткой...» и проч.» (РА. 1866. Стб.886). Впервые стихотворение было опубликовано в 1863 г. (РА. Стб.896).

[153]Под текстом главы — авторская помета: «21 февраля 1864. Москва».

Глава 7

[1]На полях зачеркнуто: «Сотрудник 26 февраля 1816. Действительный член 20 дек. 1820. Первые стихи: из Делиля читаны публично 27 генваря 1817. Читал Василий Львович Пушкин». Речь идет о членстве Дмитриева в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Выполненный Дмитриевым перевод отрывка 4-

й песни поэмы Ж. Делиля «Сельский житель» напечатан в «Трудах» ОЛРС (1817. Ч. 7, кн. 12).

[2]См. о нем примеч. 87 к гл. 5.

[3]*Виланд* Кристофор Мартин (1733—1813) — немецкий писатель-просветитель. В *Библиотеке* имеются следующие его сочинения: «Оберон, царь волшебников» (М., 1787), «Пифагоровы ученицы» (СПб., 1797), «Аристипп и некоторые из его современников» (М., 1807. Ч. 1—4). *Тидге* Христиан Август (1752—1841) — поэт, автор дидактических стихотворений; *Фосс* Иоганн Генрих (1751—1826) — поэт-идиллик, переводчик Гомера на немецкий язык; *Маттисон* Фридрих фон (1761—1831) — поэт; *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — создатель религиозного эпоса «Мессиада» (1748—1773).

[4]*Гете* Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель и мыслитель. В *Библиотеке* представлены издания его сочинений на немецком: «Goethe's Gedichte» (Abt. 1—3. Wien, 1816), «Theater von Goethe» (Th. 4—12. Wien, 1816), «West-oestlicher Divan» (Stuttgart, 1819), «Ueber Kunst und Alterthum» (Stuttgart, 1827), «Hermann und Dorothea» (Stuttgart; Tubingen, 1840); французском «Des hommes célèbres de France au dix-huitième siècle...» (Paris, 1823) и русском языках: «Страсти молодого Вертера» (СПб., 1794), «Фауст» (в пер. Н. Грекова. СПб., 1859).

[5]*Курбатов* Александр Дмитриевич (1800—1858) — поэт-дилетант, переводчик, сотрудник журнала «Москвитянин»; выпускник Благородного пансиона (*Сушков.* С. 32); упоминается (в чине 10-го класса) среди служащих университетской типографии в «Списке чиновников, находящихся в ведомстве императорского московского университета, принадлежащих к масонским ложам» (1826 г.; РС. 1910. № 2. С. 336); был корректором, а с 1825 г. помощником издателя «Московских ведомостей» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 1. Т. 2. № 2546); впоследствии имел чин коллежского асессора. Он издал (анонимно) роман «Последний год власти герцога Бирона» (М., 1835. Ч. 1—4), атрибутированный А.И. Рейтблатом (Советская библиография. 1987. № 2. С. 45; ср. слова из письма Дмитриева к Погодину от 26 марта 1851 г.: «посылаю вам рукопись древнего писателя Курбатория»: ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 7 (2). Л. 35); фрагмент романа был опубликован в «Телескопе» (1832. № 11. С. 309—346). Дружеские отношения с Курбатовым Дмитриев сохранил на всю жизнь. Некоторые сведения о Курбатове содержатся в письмах Дмитриева к Погодину: 2 июля 1845 г. Дмитриев приглашает его к себе на дачу: «у меня будут Курбатов, Тютчев (Федор Ив., знаете?) и Сушков» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 3 (1). Л. 24; фрагмент письма опубликован: Лит. наследство. Т. 97, кн. 2. С. 214); 30 января 1851 г. пересылает Погодину тетрадь от Курбатова (Там же. № 7. Л. 15), в недатированном письме того же года пишет о намерении вместе с Курбатовым навестить Погодина (Там же. Л. 63), 18 апреля 1851 г. исполняет поручение Курбатова возвратить Погодину «немецкие <...> газеты и извиниться, что по состоянию здоровья он никак не может теперь заниматься переводом» (Там же. Л. 43), 5 июня 1854 г. сообщает о тяжелой болезни Курбатова (Там же. № 9 (1). Л. 44 об.). Через Дмитриева редакция «Москвитянина» заказывала Курбатову перевод романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд» (Там же. № 7. Л. 19 — письмо от 26 января 1851 г.). Однако эту работу выполнили Ф.Б. Миллер и Д.П. Колошин (см.: *Катарский И.М.* Диккенс и переводчики «Москвитянина» (По неопубликованным материалам архива М.П. Погодина) // Чарльз Диккенс. Библиография переводов и критической литературы на русском языке. 1838—1960. М., 1962. С. 256—

260). Дмитриев посвятил Курбатову свой перевод «Науки поэзии, или Послания к Пизонам» Горация (М., 1853): «на память нашей тридцатилетней дружбы, со времени студентства нашего в Московском университете».

[6]*Новиков* Петр Александрович (1797—1878) — дальний родственник Н.И. Новикова (родство подтверждается тем, что П.А. Новиков был последним владельцем села Непецыно Коломенского уезда Московской губернии, принадлежавшего ранее отцу Н.И. Новикова — Ивану Васильевичу; при здешней церкви похоронены некоторые представители рода Новиковых. См.: *Кузнецов В.И.* Непецыно // История сел и деревень Подмосковья XIV—XX вв. М., 1993. Вып. 2. С. 89—93). Обучался на этико-политическом отделении Московского университета (1815—1818); служил в архиве Коллегии иностранных дел (1819—1826). С 1822 г. чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе Д.В. Голицыне. В 1826—1833 гг. советник Московского губернского правления (сначала в чине коллежского асессора, с 1829 г. — надворного советника и с 1832 — коллежского советника). Впоследствии камергер (1844), директор Московской ссудной казны (с 1838), член Попечительского совета заведений общественного призрения и попечитель Преображенской больницы в Москве (1844), тайный советник (1852), почетный опекун при Московском Воспитательном доме, училище св. Екатерины и Александровском институте. В ОР РГБ (Ф. 37. № 232) хранится экземпляр первого тома «Сочинений В.А.Озерова» (СПб., 1816): в него Дмитриев вписал два шуточных стихотворения (1818?), обращенных к Курбатову («Курбатов! Твой ответ меня не устрашает: / Кто по-китайски здесь читает?..») и Новикову («Се книга Новикова / Эдип в ней и Фингал...»). Перу Новикова принадлежит ряд стихотворений и статей, напечатанных в «Амфионе», «Трудах» ОЛРС и др. периодических изданиях; подробнее о нем см. статью Т.Ф. Нешумовой в РП (Т. 4, в печати).

[7]Ср. мемории Свербеева: «Курбатов, полиглот, владевший почти всеми европейскими языками, не выезжая из Москвы, и изучивший сверх того еврейский, арабский и даже санскритский, имел огромные способности, но к сожалению утопил их все в водке»; «Курбатов был славный малый, умный, необыкновенно даровитый, ученый, мистик, и при всем этом чрезвычайно веселый и увлекательный» (*Свербеев*. Т. 1. С. 168; Т. 2. С. 78). Он же рассказывает о поездке в Петербург, предпринятой им совместно с Курбатовым весной 1823 г., и о знакомстве там с приятелем последнего А.С. Хомяковым, тогда «конно-гвардейским юнкером, еще очень молоденьким» (Т. 2. С. 80).

[8]Общество любителей российской словесности при Московском университете было основано в 1811 г. Его первым председателем (до 1826 г.) был А.А. Прокопович-Антонский.

[9]*Титов* Петр Николаевич (р. 1800) — своекоштный студент университета, сын гвардии поручика Николая Титова, московский дворянин (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 112. № 264. Л. 1, 4—5).

[10]Ср. со словами Свербеева: «нежный Новиков» (Т. 1. С. 298).

[11]*Волков Михаил Аполлонович* (1799—1882) к этому времени (апрель 1817 г.) был выпущен из Пажеского корпуса в чине 14-го класса и поступил в Московский архив Коллегии иностранных дел, представив аттестат Московского университета о сдаче экзаменов, необходимых по указу от 6 августа 1809 г. В дальнейшем чиновник Коллегии иностранных дел. Был членом Союза благоденствия, но по высочайшему повелению этот факт оставлен без внимания. Подробнее о нем см.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988.

[12]См. примеч. 2 к гл. 6.

[13]*Свербеев Дмитрий Николаевич* (1799—1874) — автор многократно цитировавшихся выше «Записок» (М., 1899. Т. 1—2), дипломат, хозяин литературного салона. Пронес дружеское расположение к Дмитриеву через всю жизнь и удостоил его в воспоминаниях лестной характеристики: «Дмитриев, умерший два года назад, сделался известным в нашей литературе как поэт, мыслитель и замечательный писатель» (Т. 1. С. 168). Свербеев поступил в университет на словесное отделение в 1814 г. (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 110. № 421. Л. 1), окончил его в 1817 г. (Там же. Ф. 418. Оп. 114. № 222. Л. 1.).

[14]Воспоминания о дружбе с Дмитриевым, Новиковым и Курбатовым см.: *Свербеев.* Т. 1. С. 110, 168, 298—299, 308—309.

[15]*Внучатый* (о родстве) — происходящий из третьего колена или еще далее (В.И. Даль).

[16]*Философов Михаил Никитич* — племянник Карамзина, сын его сводной сестры Марфы Михайловны Карамзиной и Н.Н. Философова. В отчете о торжественном акте в пансионе в декабре 1816 г. сказано, что он «фехтовал на саблях» и получил в награду «эспадрон и рапиру» (МВед. 1816. № 105), его басня «Медведь и обезьяна» напечатана в «Каллиопе» (М., 1816. С. 204), а стихи «Аполлон и московская муза» — в брошюре «Речь и стихи, читанные в университетском благородном пансионе...» (М., 1816. С. 13—15). По всей видимости, начал посещать лекции с января 1817 г. (Studiosorum Album. 1815—1816 // НБ МГУ. 5Те 501. Л. 18 об.).

[17]Возможно, намек на стихотворение Новикова «Явление ночи» (Амфион. 1815. № 9).

[18]*Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и философ. В *Библиотеке* находится его «Théâtre et poesies divers» (Londres, 1782). *Сенанкур* Этьен Пивер де (1770—1846) — французский прозаик-романтик; его сочинения (наибольшей популярностью пользовался роман «Оберман», 1804) пронизаны мотивами одиночества, сосредоточенного созерцания природы.

[19]*Шеншин Павел Петрович* — позднее чиновник Министерства государственных имуществ, коллежский советник; действительный член Общества испытателей природы при Московском университете (1844).

[20]*Яковлев* Федор Иванович (1797 или 1799 — 1853) впоследствии, окончив Московскую духовную академию, получил в ней место наставника. Автор книг «Апостолы» (М., 1849—1856. Вып. 1—2), «Надпись на кресте Господа нашего Иисуса Христа» (М., 1860) и др.

[21]*Гильфердинг Федор Иванович* (1798—1864) по окончании пансиона в 1815 г. слушал лекции в Московском университете, откуда был уволен по прошению в 1818 г. В 1819 г. поступил на службу в Коллегию иностранных дел; переводчик (1822), с 1824 г. причислен к канцелярии министра. С 1829 по 1836 г. — директор дипломатической канцелярии при наместнике Царства Польского; управляющий государственным архивом Министерства иностранных дел (с 1851), тайный советник (1852), сенатор (1858). По выходе из университета поддерживал отношения с Новиковым (в ОР РГБ сохранилось письмо Гильфердинга к нему: Ф. 126. Оп. 2. Карт. 3608. № 12). Отец известного историка и фольклориста А.Ф. Гильфердинга.

[22]*Чеколини* Александр Иосифович — «сын умершего капитана датской службы Иосифа Чеколини»; обучался в московской губернской гимназии, в 1814—1817 гг. был своекоштным студентом университета (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 114. № 302). Приятель Свербеева, вспоминавшего, что в начале 1820-х гг. Чеколини служил помощником начальника

отделения в Коллегии иностранных дел (*Свербеев.* Т. 2. С. 85). В 1844 г. в чине действительного статского советника был первым переводчиком Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел и цензором Петербургского почтамта.

[23]*Das grüne Gewöhlbe* — «Зеленый свод» (*нем.*), богатая коллекция саксонских ювелирных изделий и фарфора в музее прикладного искусства в Дрездене.

[24]*Глинка Ф.Н.* Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 г., а также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. С присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии (М., 1815—1816. Т. 1—8). *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — участник войны 1812 г., писатель, декабрист. По всей вероятности, Дмитриев, живший в описываемое время у дяди, читал экземпляр этой книги, присланный Ивану Ивановичу автором (см. письмо И.И. Дмитриева к Глинке от 30 декабря 1815 г. // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 419; названное издание имеется в *Библиотеке*). Более тесными отношения Глинки и М.А. Дмитриева стали позже, примерно с 1840-х гг., когда Дмитриев сделался одним из завсегдатаев на понедельниках А.П. и Ф.Н. Глинок (см.: Записки Николая Васильевича Берга // РС. 1891. № 2. С. 248), в пятидесятые годы Глинки — постоянные адресаты писем мемуариста (эпистолии за 1846—1866 гг.: РГАЛИ. Ф. 141. Оп. 1. № 248 и 566; частично опубликованы: РА. 1912. Кн. 1. № 2; Красный архив. 1941. № 2). Через Дмитриева Глинка часто передавал свои стихотворения М.П. Погодину для публикации в «Москвитянине». В *Библиотеке* находится также книга Ф.Н. Глинки «Свободное подражание Священной книге Иова» (М., 1859 — № 9272) с дарственной надписью: «Многоуважаемому и многолюбимому Михаилу Александровичу Дмитриеву от Ф. Глинки» — и пометой мемуариста: «Получено от автора 21 августа 1859 года в селе Богородском».

[25]*«Оберон»* — фантастическая поэма-сказка (1780) К.М. Виланда о любви рыцаря Гюона и багдадской принцессы Аманды, представляющая собой свободную переработку старофранцузского эпоса «Гюон Бордоский».

[26]*Римский-Корсаков* Иван Николаевич (1754—1831) — генерал-майор, генерал-адъютант, фаворит Екатерины II с лета 1778 по осень 1779 г.; по выходе в отставку переехал в Москву. Современный адрес дома — Тверской бульвар, 24—26 (частично перестроен; описание особняка и рассказ о хлопотах хозяина по сдаче его внаем на время коронационных торжеств 1826 г. см.: *Булгаков.* 1901. № 7. С. 350); о саде см.: *Гурьянов.* Ч. 4. С. 142—143. О гуляньях в этом саду современник вспоминал: «В Сущеве, в бывшем Корсаковском саду, было в недавнее время устроено Морелем летнее гулянье, под названием Эрмитаж, где давались для публики разного рода увеселения: пели цыгане и тирольцы, иностранные фокусники показывали фокусы, походные актеры декламировали комические сцены. В хорошую погоду пускали воздушные шары с сидевшими на них людьми, на пруду катались на лодках. Вечером сад великолепно иллюминировался, был и буфет с хорошими винами и изящно приготовленными закусками. После ужина сожигался блестящий фейерверк...» (*Глушковский.* С. 75).

[27]*Пресненские пруды* — на реке Пресне (ныне заключена в трубу), давшей название одному из районов Москвы. До наших дней сохранился только верхний пруд на территории Московского зоопарка.

[28]*Симонов монастырь* — мужской монастырь, известный с XIV в.; близ него находился Лисий пруд — излюбленное место прогулок москвичей, ставшее особенно попу-

лярным после выхода в свет повести Карамзина «Бедная Лиза» (1792). С этого времени пруд стали называть не Лисьим, а Лизиным. Сейчас на месте пруда — вестибюль станции метро «Автозаводская». Подробнее о знаковой насыщенности этого места для современников Дмитриева см.: *Зорин А.Л., Немзер А.С.* «Парадоксы чувствительности» // «Столетья не сотрут...». М., 1989. С. 7–54.

[29]См. примеч. 2 к гл. 5.

[30]*Проломные ворота* — ворота на Никольской улице (отделенной стеной Китай-города от других улиц), против Малого Черкасского переулка, выходящие на Лубянскую площадь. В 1820 г. были перенесены в конец Никольской улицы.

[31]Оставляя горевшую Москву, Наполеон приказал взорвать Кремль; были разрушены звонница колокольни «Иван Великий», Водовзводная, 1-я Безымянная и Петровская башни, пострадали Никольская, Боровицкая и Арсенальная башни, а также часть Арсенала. В 1816–1819 гг. в Кремле велись восстановительные работы под руководством архитекторов О.И. Бове и Ф. Соколова. О поругании и расхищении сокровищ кремлевских соборов в 1812 г. см.: *Паламарчук*. Т. 1. С. 39, 52, 60–61, 65, 75, 93, 105, 119, 121.

[32]Ср.: Мелочи. С. 81–82, 88–89.

[33]*Уваров* Сергей Семенович (1786–1855) — президент Академии наук (1818–1855), министр народного просвещения (1833–1849); граф (1849).

[34]*Блудов* Дмитрий Николаевич (1785–1864) в 1826 г. был делопроизводителем Следственного комитета по делу о декабристах; товарищ министра народного просвещения (1826–1832), министр внутренних дел (1831–1838); в 1838–1862 гг. — главноуправляющий II Отделением собственной его императорского величества канцелярии и председатель департамента законов Государственного совета, с 1862 г. — председатель Государственного совета и Комитета министров, президент Академии наук (с 1855), граф (1842). Дмитриев, познакомившись с Блудовым в доме дяди, стремился поддерживать с ним отношения и в последующие годы (ср., например, его письма к Погодину от 4 июля 1851 г.: «Здесь граф Блудов; был у него, но не застал; сейчас он сделал мне честь приезжал ко мне, но голова болит ужасно, и я не мог принять его» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 7. Л. 52) и 13 августа 1854 г.: «Я буду иметь честь быть у графа Дмитрия Николаевича в середу» (Там же. № 8. Л. 46). Через Блудова Дмитриев поднес Александру II свою оду на его восшествие на престол и удостаивается «особенного благоволения» (письмо к Погодину от 8 июля 1855 г. — Там же. № 9 (2). Л. 8 об.). В «Книжке подаваемых в Сызранскую почтовую контору писем простых от его превосходительства Михаила Александровича Дмитриева» (НБ МГУ. Дмитр. 11402) отмечены письма Блудову, отправленные 23 мая и 8 июля 1855 г.: по-видимому, в первом Дмитриев препровождал названную оду, во втором благодарил за посредничество).

[35]*Вигель* Филипп Филиппович (1786–1856) — вице-директор, затем директор департамента духовных дел иностранных исповеданий (1829–1840); мемуарист. См. о нем также в гл. 20.

[36]*Северин* Дмитрий Петрович (1791 или 1792 — 1865) — литератор-дилетант, дипломат.

[37]В.Л. Пушкин, принятый в «Арзамас» по специально для него изобретенному ритуалу (об этом см. ниже в тексте воспоминаний), получил по вступлении прозвище Вот (И Вот); вскоре было решено произвести его «в старосты Арзамаса, с приобщением к его титулу двух односложных слов я и вас, так что он вперед будет именоваться Староста Вот

я Вас». После того, как Пушкин отправил в общество несколько стихотворений, сочиненных им по дороге из Петербурга в Москву, недовольные присланным арзамасцы лишили его «почетного титула» и переименовали в Вотрушку. После покаянно-укоризненного «Послания к Арзамасцам» Пушкин был «очищен и достоин снова сиять в Арзамасе: он не Вотрушка; он член: Вот, он Староста: Вот я Вас» (Арзамас. Т. 1. С. 345, 359–362, 371).

[38]Не названы: Адельстан, или Статный Лебедь – Н.М. Муравьев, Армянин – Д.В. Давыдов, Асмодей – П.А. Вяземский, Ахилл – К.Н. Батюшков, Варвик – Н.И. Тургенев, Дымная Печурка или Две огромные руки – А.Ф. Воейков, Очарованный Челнок – П.И. Полетика, Пустынник – Д.А. Кавелин, Рейн – М.Ф. Орлов, Сверчок – А.С. Пушкин, Черный Вран – А.А. Плещеев, Чу!!! – Д.В. Дашков.

[39]*Ступин* Александр Васильевич (1776–1861) – иконописец и живописец, уроженец Арзамаса; обучался в Академии художеств (1800–1802), в 1802 г. основал в своем родном городе школу живописи.

[40]Имеется в виду Гавиньи (Гавинье) – француз, живший в доме Уварова.

[41]Уваров в это время был попечителем Петербургского учебного округа; Блудов служил в Коллегии иностранных дел под непосредственным начальством статс-секретаря по иностранным делам И.А. Каподистрии; Жихарев – в канцеляриях Комитета министров и статс-секретаря П.С. Молчанова, одновременно исполняя должность производителя дел Театрального комитета. Тургенев был директором департамента духовных дел иностранных исповеданий.

[42]Ср. слова из письма Дмитриева к Погодину (28 октября 1863 г.): «Что Общество [любителей российской словесности] печатает песни Киреевского, хорошо, да и будет! Неужели оно всю литературу заключит в одних памятниках нашего невежества? – Это хорошо, как памятник старины, но это не литература» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 11. Л. 9 об.).

[43]См. о нем основанную на извлечениях из комментируемой главы статью А.Г. Грумм-Гржимайло и В.В. Сорокина «Общество громкого смеха» (Декабристы в Москве. М., 1963), а также работу Н.В. Королевой «Тютчев и Пушкин» (Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 193–196).

[44]По-видимому, это уже упоминавшийся в 6-й главе Г.С. Попов. Среди пансионеров был и другой Попов, Дмитрий Иванович, впоследствии известный масон (собрание его рукописей хранится в ОР РГБ).

[45]*Панчулидзев Дмитрий* Алексеевич – сын Алексея Давыдовича Панчулидзева, саратовского губернатора (в 1808–1822 гг.), позже управляющего Елтонской экспедицией соляных заводов, действительного статского советника.

[46]*Раич* (настоящая фамилия Амфитеатров) Семен Егорович (1792–1855) – поэт, переводчик, литературный критик. Был членом Союза благоденствия; в 1820–1822 гг. жил в доме Н.Н. Муравьева (основателя Московского учебного заведения для колонновожатых) в качестве воспитателя его младшего сына Андрея. Вскоре после смерти Раича Дмитриев написал с нем небольшой очерк мемуарного характера (Воспоминание о С.Е. Раиче // МВед. 1855. № 141); здесь рассказано о состоявшемся в 1816 г. знакомстве Дмитриева с Раичем (тогда кандидатом университета) и его воспитанником Ф.И. Тютчевым: «Потом бывали они у меня, и я у них» (с.5 отдельного оттиска статьи), а также о встречах с Раичем в более поздние годы. Об «Обществе громкого смеха» в статье не упоминается. Наряду с Дмитриевым Раич был постоянным посетителем понедельников Ф.Н. и А.П. Глинок (Записки Николая Васильевича Берга // РС. 1891. № 2. С. 248).

[47]Отрывок «Распря вождей» из «Илиады» в переводе Н.И. Гнедича был прочитан на заседании ОЛРС 28 октября 1816 г.

[48]Вероятно, имеется в виду Михаил Бруевич, чье стихотворение «Щастие» читалось на торжественном акте 1817 г. и вошло в книжку «Речь, разговор и стихи... благородного пансиона» (М., 1817. С. 30—31). Не исключено, что это мог быть и Николай Бончо-Бруевич, в 1817 г. — пансионер «большего возраста», награжденный призом на торжественном акте (см.: МВед. 1817. № 104).

[49]*Давыдов* Иван Иванович (1792 или 1794 — 1863) — с 1822 г. ординарный профессор латинской словесности и философии в Московском университете; в 1826 г. возглавил кафедру философии. В *Библиотеке* имеется 2-е издание его труда «Чтение о словесности» (Курс 1—2. М., 1837—1838).

[50]Цитируется заключительная строфа державинского стихотворения «Лето» («Знойное лето весну увенчало...», 1804).

[51]*Гораций.* Наука поэзии, или Послание к Пизонам (М., 1853); *Гораций.* Сатиры (М., 1858).

[52]Цитата из монолога Фамусова («Горе от ума», действие 2, явл. 2). Грибоедовские слова весьма точно соответствовали позиции «сражающегося старика», занятой Дмитриевым в последние годы жизни. Так, за год до смерти он, собираясь участвовать в затеваемом Погодиным журнале, писал ему: «Вот мы старики каковы! Не только тянемся за молодыми, да еще можем сказать им стихом Грибоедова*: Вы, нынешние, нутка!*» (Письмо от 20 апреля 1865 г. // РГАЛИ. Ф. 373. Оп. 1. № 145. Л. 1 об.).

[53]*Филатова* (урожд. Пиль) Екатерина Ивановна — дочь генерал-поручика Ивана Алферьевича Пиля, двоюродная тетка мемуариста.

[54]Филатова *Варвара Степановна* (ок. 1794 — 1829).

[55]Александр I пробыл в Москве со второй половины осени 1817-го до 21 февраля 1818 г. (исключая короткую отлучку в январе 1818 г. в Петербург).

[56]В Москве император готовил речь, которую он произнес на варшавском сейме 15 марта 1818 г.

[57]*Нессельроде* (Нессельрод) Карл Васильевич (1780—1862) — граф, дипломат, министр иностранных дел (1814—1856), член Государственного совета, канцлер (1845).

[58]*Каподистрия* Иоаннис (Иван Антонович; 1776—1831) — грек на русской службе (с 1809); дипломат и политический деятель. С 1815 г. статс-секретарь по иностранным делам, в 1816—1822 гг. возглавлял вместе с К.В. Нессельроде Министерство иностранных дел. В 1827 г. был избран президентом Греции.

[59]*Голохвастов Дмитрий Павлович* (1796—1849) служил в Коллегии иностранных дел, затем стал чиновником для особых поручений при попечителе Московского университета С.М. Голицыне, в 1830—1832 и 1835—1838 гг. был совестным судьей; в 1847 г. попечитель Московского учебного округа; автор нескольких книг по российской истории. Двоюродный брат А.И.Герцена, который рассказывает о нем в «Былом и думах» (гл. 31 и др.); см. также: *Свербеев.* Т. 1. С. 135—142, 168 и др. Как попечитель Московского учебного округа вмешивался в цензурование книг; удостаивался неизменно презрительных отзывов Дмитриева (в письмах к Погодину) и эпиграммы под названием: «На Балка, которому дали чин действительного статского советника, и на Д.П.Голохвастова, которому, по месту помощника попечителя университета, дали, в чине статского совет-

ника, право на титул превосходительства»: «Два Генерала на земли! / Дивись обоим, мир крещеный! / Тот — Генерал недопеченный; / А этого — перепекли!» (Сборник эпиграмм. Л. 21).

[60]По адрес-календарям *Зорин* Павел Егорович служил в архиве Министерства иностранных дел «на разных должностях» с 1820 г. (коллежский асессор; в 1821 г. — надворный советник).

[61]Правильно: Щулепов *Петр Петрович* — действительный статский советник, служил в 1-й секретной экспедиции Коллегии иностранных дел, камергер.

[62]*Жомини* Антуан Анри (Генрих Вениаминович; 1779—1869) — швейцарец, военный историк и теоретик, участник похода Наполеона на Россию в 1812 г. С 1813 г. на русской службе. В 1837 г. преподавал наследнику (будущему Александру II) военную стратегию. Известность ему принесла книга «О великих военных действиях» (1804—1810).

[63]См.: Рассуждение о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона, с собранием важнейших правил военного искусства, оправданных подвигами сих двух военных полководцев. С картами и планами. Сочинение полковника Жомини. СПб., 1809—1817. Ч. 1—8. Позднее Холчинский был управляющим Экспедицией государственных кредитных билетов.

[64]Александр I вернулся в Москву 1 июня 1818 г.

[65]*Нарышкин Иван Александрович* (1761—1841) — обер-церемониймейстер, сенатор, тайный советник.

[66]Остен-*Сакен* Иван Христофорович — действительный камергер, в 1814—1824 гг. числился при Коллегии иностранных дел. Дмитриев называет его молодым, помня о старшем — генерал-губернаторе Парижа в 1814 г., впоследствии фельдмаршале и князе Фабиане Вильгельмовиче Остен-Сакене (1752—1837).

[67]Польский орден *св. Станислава* был учрежден в 1765 г. в честь погибшего в XI в. краковского епископа. Представлял собой крест красной эмали (встречаются варианты темного цвета) с четырьмя польскими орлами между лучами; в центре располагался вензель святого — «SS». Российские подданные стали награждаться им после подавления польского восстания 1831 г. Ордена предназначались для ношения на шее и в петлице.

[68]*Фридрих Вильгельм III* (1770—1840) — прусский король с 1797 г.

[69]*Черный Орел* — прусский орден, учрежденный королем Фридрихом I в 1701 г.; имеет одну степень. Знак ордена — золотой крест, инкрустированный голубой эмалью, с изображением черного орла с развернутыми крыльями; носится на оранжевой муаровой ленте.

[70]Знак ордена св. апостола Андрея Первозваного (учрежден в 1699 г.) представлял собой синий крест в виде буквы X, на котором, по преданию, был распят св. Андрей; носился на широкой голубой ленте через правое плечо.

[71]Памятник Минину и Пожарскому работы скульптора И.П. Мартоса был установлен перед Верхними торговыми рядами на Красной площади 20 февраля 1818 г. В 1930 г. он был передвинут к собору Василия Блаженного.

[72]В 1818 г. Ф.Н. Глинка был полковником Измайловского полка; с 1812 по 1822 г. он состоял адъютантом М.А. Милорадовича.

[73]*Pour le mérite* (*фр.*) — прусский орден «За заслуги», учрежденный Фридрихом II в 1740 г.; *Legion d'Honneur* (*фр.*) — французский орден Почетного легиона; учрежден Наполеоном в 1802 г. Вручается за военные и гражданские отличия; имеет пять степеней.

[74]*Глинка Ф.Н.* Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического повествования: Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия. СПб., 1816—1817. Ч. 1—3.

[75]Стихотворение К.Н. Батюшкова «Поэт» было прочитано на 22-м обыкновенном заседании ОЛРС 25 ноября 1816 г. Идиллии Жуковского «Овсяный кисель» (прочитана на 31-м обыкновенном заседании 30 ноября 1817 г.; напечатана: Fur Wenige. М.,1818. Кн. II) и «Красный карбункул» (читалась на 30-м обыкновенном заседании 27 октября 1817 г.; опубликована: Труды ОЛРС. 1817. Ч. 9. Кн. 14, с подзаголовком «сказка») — переводы стихотворений Иоганна Петера Гебеля (1760—1826), немецкого поэта и прозаика, писавшего на одном из швабских наречий. Все упомянутые сочинения были прочитаны сотрудником ОЛРС П.С. Яковлевым.

[76]*Александра Федоровна* (Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, 1798—1860) — дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, с 1817 г. жена великого князя Николая Павловича. Зиму 1817—1818 гг. супруги проводили в Москве; в это время Жуковский стал давать великой княгине уроки русского языка.

[77]*Уланд* Иоганн Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик и филолог. О переводах Дмитриева из Уланда см. гл. 20.

[78]«Fur Wenige. Для немногих» — двуязычный сборник переводов Жуковского из немецких поэтов (М., 1818. Кн. 1—6).

[79]Над переводом драматической поэмы Ф. Шиллера «Орлеанская дева» (1801) Жуковский работал в 1817—1821 гг.

[80]26 апреля 1821 г. Волков был прикомандирован к Неаполитанской миссии канцелярским служителем. С 1827 г. третий секретарь, с 1830 г. — второй секретарь, с 1832 г. — первый секретарь миссии в Константинополе.

[81]Выполненные Дмитриевым переводы басен Флориана см.: Труды ОЛРС. 1818. Ч. 10. Кн. 16; 1820. Ч. 17. Кн. 26; 1820. Ч. 19. Кн. 30.

[82]ВЕ. 1820. № 19. С. 161—169 (под названием «К московским друзьям из N*... N*...; подпись: 85.78); Стихотворения—1830. Ч. 1. С. 97—107.

[83]Упомянутые письма не обнаружены.

[84]*Корнилович Александр Осипович* (1800—1834) — писатель, историк, член ВОЛРС; декабрист. В 1815—1816 гг. слушал лекции в Московском училище колонновожатых; по окончании курса — прапорщик в свите по квартирмейстерской части. С апреля 1816 по май 1820 г. состоял при Д.П. Бутурлине, помогал ему в сборе материалов по военной истории XVIII в. в столичных архивах, в том числе в архиве Коллегии иностранных дел. Входил в «Общество громкого смеха».

[85]*Бутурлин* Дмитрий Петрович (1790—1849) — участник войны 1812 г. и заграничных походов, военный историк, сенатор (с 1833), директор Императорской Публичной библиотеки (с 1843), председатель Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений (1848—1849). Автор «Истории нашествия Наполеона на Россию в 1812 году», написанной, как и другие сочинения Бутурлина, по-французски (Histoire militaire de la campagne de Russie en 1812. Paris; Petersburg, 1824. V. 1—2. Русский перевод, выполненный генерал-майором по квартирмейстерской части А. Хатовым, — СПб., 1823—1824. Ч. 1—2).

[86]Имеется в виду изданный Корниловичем альманах «Русская старина» (СПб., 1824; 2-е изд. — СПб., 1825).

[87]Корнилович состоял в Южном обществе (1825); приговорен к 8 годам каторги с последующим поселением в Сибири; в начале 1827 г. отправлен в Читинский острог; в 1828 г. возвращен в Петропавловскую крепость, где пробыл до 1832 г., когда был отправлен рядовым на Кавказ. Умер от желчной горячки в Дагестане.

[88]Надежда Николаевна Философова (ум. после 1846) была замужем за Семеном Ивановичем Ознобишиным. Дмитриев поддерживал отношения с ней и позднее; в своей работе о месте рождения Карамзина, приходившегося ей дядей, опирался на полученные от нее сведения; имя Н.Н. Ознобишиной упомянуто в этой связи в «Москвитянине» (1846. № 4. С. 114).

[89]*Рудольф* Карл Генрих — в 1809—1815 гг. лекарь, коллежский асессор, в 1825—1841 гг. — штаб-лекарь, титулярный советник.

[90]*Гердер Наталья Федоровна* — вторая жена барона Ф.К. Гейсмара (о нем см. ниже).

[91]*Фильд* Джон (1782—1837) — ирландский пианист-виртуоз, композитор, педагог. В России с 1802 г. (в 1810 г. поселился в Москве). См. о нем: *Каратыгин П.А.* Записки. Л., 1930. Т. 2. С. 164.

[92]*Гейсмар* Фридрих Каспар (Федор Клементьевич; 1783—1848) — барон, генерал от кавалерии, генерал-адъютант Главного штаба. В русской службе с 1805 г., участник Отечественной войны и заграничных походов русской армии, в 1815—1818 гг. командовал Московским драгунским полком. Возглавляемый им отряд 3 января 1826 г. подавил восстание Черниговского полка. Отличился в русско-турецкой войне 1828—1829 гг.: начальствовал авангардом 6-го корпуса, а затем отдельным отрядом, действовавшим в Валахии; в мае он разбил турок при Слободзее, 26 июня провел удачный бой под Калафатом, а 14 сентября его четырехтысячный отряд разбил 26-тысячный турецкий корпус под Бойлештами (Гейсмар получил чин генерал-лейтенанта); этот бой разбирался как образцовый в курсах тактики.

[93]*Демидов* Павел Николаевич (1798—1840) — владелец богатейших сибирских чугуноплавильных заводов, егермейстер, камергер, почетный член Академии наук; гражданский, а не военный губернатор Курской губернии (1831—1840). Меценат, учредитель наиболее почетной для русских ученых Демидовской премии (1831) — за опубликованные труды по науке, технике, искусству.

[94]*Лафонтен* Август Генрих Юлиус (1758—1831) — немецкий сентиментальный писатель-романист; его сочинения были весьма популярны в первой трети XIX в. В *Библиотеке* имеются его повести «Клара Дюплесси и Кларант» (М., 1804. Ч. 1—3), «Новые семейственные картины» (М., 1805—1806. Ч. 1—5; пер. с фр. А. Мухина), «Русские качели на берегах Рейна» (СПб., 1814. Ч. 1—2).

[95]*Карповы* — вероятно, супруги Александр Алексеевич, титулярный советник, предводитель в дворянской опеке (1803), и Елизавета Николаевна — помещики Симбирской губернии, владевшие деревней Карповский выселок, и их сыновья: Петр, впоследствии гвардейский полковник, уездный предводитель дворянства (1848), и Николай, в 1840-х гг. прапорщик. *Родионовы* — возможно, семейство гвардии капитана-поручика Павла Ивановича Родионова, помещика Буинского уезда Симбирской губернии (упомянут в кн.: Архив Симбирского окружного суда. Вып. 1: Гражданские дела Буинского уездного суда. Симбирск, 1901 — по указ.).

[96]*Стратагема* (*греч.*) — военная хитрость.

[97]*Аргус* — персонаж древнегреческой мифологии, великан, тело которого было усеяно множеством глаз; неусыпный сторож, приставленный Герой к Ио, возлюбленной Зевса.

[98]В.С. Филатовой.

[99]Речь идет о Спасском (позже он назывался Спасо-Преображенским) монастыре.

[100]*Пазухин Петр Сергеевич* (1788—1852) приходился Н.М. Карамзину двоюродным племянником по матери историографа Екатерине Петровне, урожд. Пазухиной. В 1804 г. окончил казанскую гимназию. В 1816—1819 гг. служил в главной дирекции путей сообщения; с 1819 г. в чине титулярного советника — в Счетной экспедиции Симбирской казенной палаты, в 1824 г. переименован в губернские контролеры (в 1836 г. — старший губернский контролер) в Приказе общественного призрения Симбирской губернии. Депутат дворянства от Курмышского уезда (1825); от Симбирского уезда (1832—1835).

[101]Карамзин писал И.И. Дмитриеву 20 марта 1820 г. о Пазухине: «Он хороший человек, с изрядным умом, с честными правилами, не мот; любит иногда, между нами будь сказано, красное словцо: иных слабостей в нем не знаю. Искренно скажу, что считаю его не худым женихом. Да будет воля Божия!» (ПКД. С. 283—284).

[102]*Шаховской Федор* Петрович (1796—1829), князь — служил в резервной команде лейб-гвардии Семеновского полка (с 1813), участвовал в военных действиях на территории Франции в 1814 г., в 1818 г. переведен в 38-й егерский полк штабс-капитаном; адъютант И.Ф. Паскевича (1819—1820); член Союза спасения и Союза благоденствия, возглавлял одну из его московских управ; масон.

[103]Этот французский журнал был популярен в России. Ср. строки из письма П.А. Вяземского к И.И. Дмитриеву (24 апреля 1820 г.): «<...> Минерва, составляемая знаменитейшими публицистами и литераторами, достойна вашего любопытства» (Письма разных лиц к И.И. Дмитриеву. М., 1867. С. 113—114).

[104]*Фонвизин* Михаил Александрович (1787—1854) — декабрист, воспитанник Московского университетского благородного пансиона и выпускник Московского университета, в 1801 г. записан в лейб-гвардии Преображенский полк, служил в лейб-гвардии Измайловском полку (1803—1813). Адъютант А.П. Ермолова, участник военных действий в Финляндии во время шведской кампании 1809—1810 гг., Отечественной войны и заграничных походов русской армии, командир Перновского гренадерского полка (с 1817); генерал-майор (1820). Член Союза спасения и Союза благоденствия. Осужден на 12 лет каторжных работ (срок сокращен до 8 лет). Масон; мемуарист и публицист.

[105]*Муравьев* Александр Николаевич (1792—1863) учился в Московском университете, колонновожатый в свите по квартирмейстерской части (1810), участник войны 1812—1814 гг. Полковник (1816), обер-квартирмейстер при резервно-кавалерийском корпусе, начальник штаба гвардейского отряда во время пребывания гвардии в Москве в 1817—1818 гг. Один из создателей и активнейших деятелей ранних декабристских организаций, возглавлял одну из московских управ Союза благоденствия. В 1819 г. отошел от революционной деятельности, что не спасло его от ссылки в Сибирь; в 1856—1861 гг. — нижегородский генерал-губернатор; убежденный масон. Мемуарист.

[106]Дом Д.П. Бутурлина значился под № 19 на улице Коровий брод в Лефортовской части.

[107]В «Донесении» Следственной комиссии, составленном Д.Н. Блудовым и опубликованном 12 июня 1826 г. в приложении к газете «Русский инвалид», а затем и в других российских газетах, говорится о «первой части Устава [Союза благоденствия], отысканной Комиссиею», сочинителями которого названы «Александр, Михайла Муравьевы, князь Сергей Трубецкой и Петр Колошин» (цит. по: 14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994. С. 76). Вторая, «сокровенная», часть устава, которая была предназначена для узкого круга заговорщиков, готовых к решительным действиям, не сохранилась.

[108]Выборы губернских и уездных предводителей дворянства происходили раз в три года.

[109]*Ивашев* Петр Никифорович (1767—1838) — генерал-майор, отец будущего декабриста В.П. Ивашева; богатый симбирский помещик. Кротков Степан Степанович — симбирский помещик. Пугачев взял его в плен и приставил к награбленному богатству; после казни Пугачева Кротков оказался владельцем этого состояния. Кротковы имели каменный дом на углу Ново-Басманной улицы и Басманного переулка (д. 23) с прудами; жили преимущественно в Симбирске, бывая в Москве короткими наездами. Клан Кротковых славился своим богатством и самодурством. О них см.: *Соллогуб.* С. 404—406; *Благово.* С. 75, 245—247; *Жихарев.* Т. 1. С. 145—146.

[110]*Длинный польский* — то же, что полонез. Как бальный танец известен с начала XVIII в. «Основу полонеза составляет ритмический, плавный и мягкий шаг <...> сопровождающийся глубоким и плавным приседанием на третьей четверти каждого такта» (*Васильева-Рождественская М.В.* Историко-бытовой танец. М., 1987. С. 124). Как танец, открывающий бал, сменил на рубеже XVIII—XIX вв. устаревший менуэт. По словам Ф. Листа, полонез «вовсе не был банальной и бессмысленной прогулкой; он был дефилированием, во время которого все общество, так сказать, приосанивалось, наслаждалось своим лицезрением, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым. Полонез был постоянной выставкой блеска, славы, значения...» (*Лист Ф.* Шопен. М., 1956. С. 113).

[111]*Русская кадриль* — «под сим названием разумеется кадриль простая, или всякой нации принадлежащая, как то: в России русская, в Царстве Польском — польская...» (Правила для благородных общественных танцев, изданные учителем танцевания при слободско-украинской гимназии Людовиком Петровским. Харьков, 1825. С. 75). *Вальс* — немецкий народный танец, в России получил распространение только в 1798 г. после смерти Екатерины II, его не одобрявшей.

[112]*Французская кадриль* — танец, для исполнения которого требовалось четное количество пар. Танцующие располагались в две линии, танец состоял из сложного сочетания фигур поклонов и переходов партнеров. Подробное описание фигур танца см.: *Васильева-Рождественская М.В.* Указ. соч. С. 162—166.

[113]*Контрданс (фр.)* — собирательное название для танцев, построенных по каре или по линии, где четное количество пар стоит друг против друга. К этой группе относятся: экосез, французская кадриль, лансье, гроссфатер, тампет, матредур.

[114]Ср. с сетованиями А.П. Глушковского, чьи мемуары создавались в середине XIX в.: «<...> как ни стара по своему происхождению французская кадриль, или контрданс, она все еще и теперь в большом употреблении, но только претерпела большие изменения: прежде ее танцевали, а ныне в ней ходят...» (*Глушковский.* С. 195).

[115]*Экосез* — народный шотландский танец типа контрданса, известен с XVII в. В России в эпоху Петра I получил название *англеза* и был любимым танцем на всех балах. Особая популярность его приходится на 1830-е гг. «Под сими названиями разумели когда-то один танец; не знаю, кому понравилось сделать из него танец двойной, отличая названием англеза, дабы во втором колене немного повальсировать, что и делают в некоторых местах с своею дамою, в некоторых с дамой другого» (Правила для благородных общественных танцев... С. 60). Описание фигур танца см.: *Васильева-Рождественская М.В.* Указ. соч. С. 174—176.

[116]«Не знаю также, кто выдумал круглый польский; таким образом поляки не танцуют <...>. Танцующий в первой паре <...> восклицал: «Круг!» все брались за руки, делая

оный в такой обширности, сколько их в зале поместиться могло. После прохождения круга в одну и в другую сторону, начинающий выходил со своею дамою и пройдя с нею в кругу танцующих, благодарил ее за честь, которую сделала ему, танцуя с ним; дама сия пройдя также избирала мущину, который ей нравился, оставляла его на своем месте и таким образом продолжалось до тех пор пока видели достойных своего выбора, или же до конца» (Правила для благородных общественных танцев... С. 57–58).

[117]*Polonaise sautante* (*фр.*; буквально — «полонез с прыжками») — бальный танец.

[118]*Тампет* — бальный танец, возникший во Франции в конце XVIII в. Исполнялся парами, выстраивающимися в колонну; число пар могло быть любым. «Первая пара начинала танцевать со второй, меняясь с ней местами, и продолжала танец с другими парами, пока не доходила до последней пары колонны. Затем первая пара делала поворот и танцевала с идущими к ней навстречу парами в направлении к своему исходному месту» (*Васильева-Рождественская М.В.* Указ. соч. С. 153). Вплоть до конца 1840-х гг. занимал видное место среди бальных танцев. Подробное описание фигур см.: Правила для благородных общественных танцев... С. 117–119).

[119]*Матрадура* (правильнее — матредур, матредура) — французский бальный танец, появившийся примерно в то же время, что и тампет. Танцующие располагались в колонне из двух линий. «Кажется, нет танца несчастнее, как матредур. Весьма немногие любят его: но почему? Не от того ли, что в 4-й фигуре кавалер с дамою, танцуя на середине вдвоем, как бы solo, должны исправною выделкою ответствовать вниманию зрителей, на их одних обращенному; где, следовательно, наименее позволяется ходить или худо танцевать?» (Правила для благородных общественных танцев... С. 98; подробное описание танца: Там же. С. 98–105).

[120]*Котильон* — бальный танец французского происхождения, вид кадрили, обычно исполнялся в конце бала; состоял из нескольких самостоятельных танцев и игр. В середине бала исполнялся котильон-галоп, после которого был длинный антракт для ужина.

[121]*Грос-фазер* (правильнее — гроссфатер; от *нем.* «дедушка») — бальный танец, один из видов контрданса.

[122]Текст в прямых скобках — вставка из писарской копии ГИМ (Л. 195–196).

[123]*Бенефис* — здесь: счастливый случай.

[124]В конце — дата завершения работы над главой: «1 марта 1864 г.».

Глава 8

[1]*Долгорукая* (Долгорукова) Антонина (Варвара) Ивановна (1794–1877) — младшая дочь И.М. Долгорукова, жена П.А. Новикова. В мемуарах И.М. Долгорукова объяснено происхождение ее двойного имени: «<...> изъясню здесь, отчего дочери моей новорожденной такое странное дали мы имя. Вот причина: возмущение Франции все умы занимало; казнь поносная королевы Антуанетты кого не трогала? Подействовала она сильно и на мою добрую душу, и так как у нас уже была дочь Марья, то, желая в семье своей составить имя французской королевы, я уговорил жену, что естьли родит она дочь, дать ей имя Антуанетты, по-русски Антонины <...> вечного ничего нет на свете; мы через время переименовали ее Варварою» (*Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни. Пг., 1916. С. 301).

[2]Долгорукий (Долгоруков) *Иван Михайлович* (1764—1823) — вице-губернатор Пензы (1791—1796), губернатор Владимира (1802—1812); поэт, мемуарист, театрал. С 1812 г. постоянно жил в Москве.

[3]Долгорукой (Долгоруков) Рафаил Иванович (1801—1826) — младший сын И.М. Долгорукова. В отчете о торжественном акте в Благородном пансионе, состоявшемся в декабре 1815 г., назван среди воспитанников среднего возраста, получивших один приз (МВед. 1815. № 104); в 1816 г. награжден серебряной медалью с именем (МВед. 1816. № 105). О нем см.: *Долгоруков И.М.* Капище моего сердца. М., 1890. С. 93; *Долгорукий.* 1863. С. 161.

[4]Возможно, описка Дмитриева; в этом случае имеется в виду Алексей Иванович Бахметев, о домовой церкви которого в Старой Конюшенной улице вспоминает Е.П. Янькова (*Благово.* С. 287, 327).

[5]Речь идет об известной песне на слова Ю.А. Нелединского-Мелецкого «Выду я на реченьку, / Погляжу на быструю...», широко распространенной не только среди образованной публики, но и в народной среде (см.: Собрание народных песен П.В. Киреевского. Л., 1986. Т. 2. С. 117) и неизменно включавшейся в многочисленные сборники песен, например, в «Избранный песенник для прекрасных девушек и любезных женщин» (М., 1820. Ч. 2. С. 180—182).

[6]«*На то ль, чтобы печали* / В любви нам находить, / Нам боги сердце дали, / Способное любить...» Полный текст песни приводится в упомянутой выше книге «Избранный песенник...» (Ч. 1. С. 100—101). Автора слов установить не удалось.

[7]Дмитриев не пишет, что Курбатов также принимал участие в любительских театральных постановках в доме Долгоруковых. Аксаков же вспоминает, что «А.Д. Курбатов играл ученого немца (в пьесе Долгорукова «У семи нянек дитя без глазу», представленной на его домашнем театре. — *Коммент.*) с удивительным совершенством» (*Аксаков.* Т. 3. С. 44).

[8]Упомянуты эпистолярный роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и его мемуары «Исповедь» (1782—1789).

[9]Речь идет о сочинении французской писательницы Анны Луизы Жермены де *Сталь* (1766—1817) «О влиянии страстей на счастье людей и народов» (1796). Перевод Новикова не был издан и, по всей видимости, не сохранился.

[10]Свербеев говорит о В.И. Новиковой в следующих выражениях: «Варвара Ивановна, главным занятием которой было анализировать, анатомизировать по всем нервам, костям и суставам индивидуума, коего любовь была ей сколько-нибудь известна, мучила меня нескончаемыми разговорами, анатомически рассекая и химически разлагая все тонкости моей страсти» (Т. 1. С. 309). Возможно, именно она перевела роман А. Коцебу «Филибер, или Отношения общественные» (1815), вышедший за подписью ее отца, И.М. Долгорукова (*Степанов В.П.* Долгоруков И.М. // Словарь русских писателей XVIII века. Л., 1988. Вып. 1. С. 281).

[11]Новиков *Александр Борисович* — московский дворянин, коллежский советник (см.: ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 14. № 1390. Л. 26 об. — формулярный список П.А. Новикова, 1840).

[12]Речь идет о трудах Ивана Ивановича Голикова (1734—1801) «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам» (М., 1788—1789. Т. 1—12) и «Дополнения к Деяниям...» (М., 1790—1797. Т. 1—18), оба сочинения имеются в *Библиотеке.* О популярности этих книг среди чита-

телей екатерининского времени Дмитриев писал в «Мелочах...» (С. 48). Труды Голикова, отмеченные методологической наивностью и панегирическим тоном по отношению к Петру I, у последующих поколений вызывали ироническое отношение (ср. письмо А.С. Пушкина к А.А. Бестужеву от 30 ноября 1825 г., в котором упоминаются «витиеватый слог» и «тяжелый язык» Голикова).

[13]В молодости И.И. Дмитриев и И.М. Долгоруков служили в Семеновском полку и были добрыми знакомыми (Дмитриеву посвящено дружеское послание Долгорукова «Сослуживцу»). Позднее Дмитриев, будучи министром юстиции, начал против Долгорукова следствие, обвинив его в ряде злоупотреблений в бытность владимирским губернатором, в результате чего Долгоруков вышел в отставку. В 1816 г. в ОЛРС читались стихи Долгорукова «Невинность», написанные в связи с его оправданием по владимирскому делу и содержащие колкости в адрес Дмитриева. Ср. рассказ самого Долгорукова: «Первое мое короткое знакомство с ним в гвардии; я его застал в ней унтер-офицером, а сам был уже офицером. Склонность к поэзии нас сблизила <...> Женившись и заведя свое хозяйство, я всех чаще проводил время с ним: он любил ходить ко мне без особенных приглашений и чинов, и мы, казалось, были хорошими приятелями. <...> Он умел ковать железо пока горячо и совсем ко мне переменился. Я простил ему холодность одну; но он, когда начинались у меня неприятности с правительством по службе, старался мне вредить, обходился со мной надменно и сурово, насмеивался над моим несчастием и делал мне такие язвительные обиды, коих я вечно не забуду. Его коварными интригами я принужден был к публичному выговору; ибо он с умыслу повел дело так, чтоб оно могло достигнуть сей цели: злословил меня явно и приватно, и наконец, приехавши из министров в отставку в Москву, искал снова встретиться со мной; но я, испытав в нем езуита и холодного егоиста, уклонялся от него везде с большим старанием, и мы, из хороших друзей в юности, сделались под старость скрытными ненавистниками друг друга. В моих сочинениях под именами «Песнь невинности», «Везет» <...> я многие резкие места относил к нему, и прямо бил в него, как в мишень <...> О нем я могу сказать, что он стихотворец чистый, приятный, мастерский, но никогда не назову его ни честным, т.е., по-моему, праводушным, ни добрым человеком. Сух, холоден, важен и ко всему нечувствителен» (*Долгоруков И.М.* Капище... С. 94–95).

[14]«Воспоминания» Свербеева позволяют скорректировать рисуемую Дмитриевым картину: «За обедами моими всякий раз до положения риз напивался Курбатов и нас то тешил, то пугал своими шутками. Однажды, например, проходящего мимо растворенных окон, важного и сурового всею своею поставою, бывшего министра Ивана Ивановича Дмитриева, родного дядю Михайлы, громко звал он к нам на выпивку. На другой же день дядюшка отблагодарил племянника за такое лестное от друзей его приглашение и позавидовал ему в том, что у него такое прекрасное общество. Поэт Дмитриев всегда отзывался насмешливо, язвительно. Узнав о головомойке приятелю от дяди, мы долго с Новиковым к старику Дмитриеву не являлись, но удалой Курбатов был у него на другой же день и хорошо был принят» (*Свербеев.* Т. 1. С. 298–299). Подтверждением доброго отношения И.И. Дмитриева к Курбатову является письмо Д.Н. Блудова к старшему Дмитриеву от 26 февраля 1828 г., из которого следует, что Дмитриев принимал живое участие в судьбе Курбатова и хлопотал за него перед Блудовым, бывшим в то время товарищем министра просвещения (См.: Письма разных лиц к И.И. Дмитриеву. М., 1867. С. 78–79).

[15]*Зверев Василий Карпович* (ок. 1783 — 1848) — статский советник и кавалер, служил в Министерстве финансов. Издал книгу «Вид натурального кабинета, или Приятная и полезная забава для детей» (М., 1816).

[16]Звереву принадлежало несколько домов на улицах, расположенных в промежутке между Сухаревой башней и Сущевским валом: дома № 306, 309 и 310 в Протопоповском переулке и № 591 на Первой Мещанской улице. *У Креста* — вероятно, близ нынешнего Крестовского моста (район пересечения Сущевского вала и проспекта Мира).

[17]Имеются в виду «Ведомости Московской городской полиции», выходившие с 1848 г.

[18]Современный адрес: Тверской бульвар, 25 (сейчас в этом здании расположен Литературный институт).

[19]*Полуимпериал* — русская золотая монета номиналом в 5 рублей (империал чеканился с 1755 г. и содержал 11,61 г. золота). Дмитриев переводит сумму на ассигнации.

[20]По-видимому, речь идет о книге «Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами европейскими, от заключения всеобщего мира в 1814, до конгресса в Вероне в 1822 году, изданные Министерством иностранных дел» (СПб., 1823—1825. Ч. 1—2).

[21]Прокопович-Антонский называл «архивных юношей» «дармоедами» (*Жихарев.* Т. 1. С. 192).

[22]*Глебов* Дмитрий Петрович (1789—1843) — выпускник Благородного пансиона; в службу в архив записан с 1803 г. актуариусом (1807— переводчик; в 1814 г.— коллежский асессор, в 1815—1821 гг. имел чин коллежского советника, в 1829 г. в чине статского советника вышел в отставку). Орденом св. Анны 2-го класса награжден 26 декабря 1826 г. Поэт, член ОЛРС, переводчик французских поэтов Ш. Мильвуа и Ж.М. Легуве. *Глебов* Александр Петрович (р. 1786) в архиве «на разных должностях» с 1803 г. (в 1814— коллежский асессор, в 1815—1821 — надворный советник).

[23]*Аббат Perin* (Перрен) — московский репетитор. Был также домашним учителем С.Н. Кашкина, будущего декабриста.

[24]*Виже* Луи Жан Батист Этьен (1758—1820) — французский писатель. *Дора* (Дорат) Клод Жозеф (1734—1780) — французский поэт, стихи которого изобилуют изысканными остротами и галантными комплиментами дамам.

[25]*Малиновская* (урожд. Исленьева) *Анна Петровна* (1770—1847) — жена А.Ф. Малиновского с 1812 г.

[26]Здесь «портфель» употребляется в значении древнегреческого слова «тека» — собрание (в данном случае — собрание архивных материалов). Портфели Миллера — коллекция документов по русской истории, собранная Г.Ф. Миллером. «Собирание и издание материалов по русской истории было главным предметом его забот <...> Назначенный в 1766 году управляющим Московского архива Коллегии иностранных дел, Миллер продолжал свои занятия по собиранию материалов по русской истории, вместе с тем он стал приводить в порядок все, что было собрано им раньше. Управляя Московским Архивом до самой своей смерти (в 1783 году), он имел досуг распределить по содержанию весь богатый запас документов, накопившихся у него за все время его долголетней ученой деятельности. Так образовались те знаменитые «портфели Миллера», которыми пользовались <...> исследователи русской старины» (*Голицын Н.В.* Портфели Г.Ф. Миллера (Сведения о поступлении их в Архив и описание 3-х портфелей) // Сборник московского главного архива министерства иностранных дел. М., 1899. Вып. 6. С. 404).

[27]Дмитриев сильно преувеличивает. По адрес-календарям в архиве одновременно числилось не более 20—30 человек.

[28]Д.Н. Блудов служил в архиве в 1800—1802 гг.; Д.В. Дашков — в 1801—1810 гг.; А.И. Тургенев — в 1800—1803 гг. (*Белоусов С.А.* К истории Московского главного архива Государственной коллегии иностранных дел // Сборник московского главного архива министерства иностранных дел. Вып. 6. С. 380), Александр Яковлевич *Булгаков* (1781—1863) — в 1796—1802, 1810—1812, 1819 гг.; впоследствии московский почт-директор (с 1832), Константин Яковлевич *Булгаков* (1782—1835) служил в архиве в 1801 г.; дипломат, московский (1816—1819) и петербургский (с 1819 г. до кончины) почт-директор, директор почтового департамента в 1832—1835 гг.; Дмитрий Николаевич *Бантыш-Каменский* (1778—1850) — известный историк, прозаик; на службе в архиве состоял с 1800 по 1814 г.

[29]*Крузенштерн* Иван Федорович (1770—1846) — русский мореплаватель, совершивший вместе с Ю.Ф. Лисянским кругосветное путешествие (1803—1806) на кораблях «Надежда» и «Нева», ученый, писатель. Н.П. Румянцев, возглавлявший в 1802—1811 гг. Министерство коммерции, был одним из инициаторов этого плавания; впоследствии на свои средства снарядил экспедицию вокруг света на бриге «Рюрик» (1815—1818) под руководством О.Е. Коцебу.

[30]Комиссия печатания государственных грамот и договоров при Московском архиве Коллегии иностранных дел была учреждена 3 мая 1811 г. О ее трудах см.: Очерк деятельности Комиссии печатания грамот и договоров, состоящей при московском главном архиве иностранных дел. М., 1877; Каталог изданиям Комиссии печатания государственных грамот и договоров, состоящей при московском главном архиве иностранных дел // Сборник московского главного архива министерства иностранных дел. М., 1883. Вып. 3—4. С. I—XI.

[31]«Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной Коллегии иностранных дел» (М., 1813. Т. 1—4).

[32]*Калайдович* Константин Федорович (1792—1832) — историк, исследователь древнерусской и славянской письменности. В *Библиотеке* имеются его «Опыт словаря русских синонимов» (М., 1818. Ч. 1) и «Законы великого князя Иоанна Васильевича и судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича с дополнительными указами» (М., 1819).

[33]*Строев* Павел Михайлович (1796—1876) — историк, археограф, член Академии наук. Вместе с Н.Н. Бантыш-Каменским, Калайдовичем, А.Х. Востоковым, митрополитом Евгением (Болховитиновым) входил в так называемый «румянцевский кружок» — группу ученых, при поддержке Н.П. Румянцева занимавшихся собиранием и публикацией древнерусских рукописей. В *Библиотеке* имеется составленный Строевым «Ключ к Истории государства Российского Н.М. Карамзина» (М., 1836. Ч. 1—2).

[34]На полях рукой автора: «Нестеров». В предсмертном письме Н.Н. Бантыш-Каменского к Н.П. Румянцеву от 26 декабря 1813 г. было высказано пожелание, «чтобы при издании грамот остались те же самые чиновники: г[оспо]да Ливенау, Нестерович и Прихуцкий» (цит. по: Записки Калайдовича // Летописи русской литературы и древности. М., 1859—1860. Т. 3, кн. 5. С. 86. Прихуцкий, Ливенау — явная описка или опечатка; следует: Прилуцкий, Либенау). *Прилуцкой* (Прилуцкий) Дмитрий Николаевич (1789—1846) — комиссар в архиве Коллегии иностранных дел, титулярный советник; позже — надворный советник. Либенау Иван Федорович — надворный советник в архиве Колле-

гии иностранных дел (1814). Далее Калайдович упоминает И.И. и Н.Н. Нестеровичей, но чиновники с такой фамилией в архиве Коллегии иностранных дел по адрес-календарям не числятся.

[35]Калайдович стал принимать участие в изданиях Комиссии печатания государственных грамот и договоров с 1817 г., тогда же был принят на службу в архив; участвовал в подготовке второго—четвертого томов «Грамот и договоров». Под предисловиями ко всем этим томам стоит подпись Малиновского. Сходное разоблачение осталось на полях экземпляра книги Сушкова «Московский университетский благородный пансион...» (М., 1858), принадлежавшего Дмитриеву (№ 2658 в *Библиотеке*; С. 10). Напротив слов о Малиновском: «перевел две, в числе прочих, драмы из лучших произведений Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» и «Бедность и благотворительность души»» — Дмитриев оставил карандашную помету: «Он не знает по-немецки. Переводили другие». Имя Малиновского не раз упоминается в «Записках важных и мелочных К.Ф. Калайдовича» (см.: Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н.С. Тихонравовым. Т. 3, кн. 5. С. 89, 103, 106 и др.).

[36]Малиновский *Федор Авксентьевич* (1738—1811) — протоиерей, законоучитель в Московском университете; был близок к кругу Н.И. Новикова.

[37]Малиновский был пожалован сенатором 12 декабря 1819 г.

[38]Не упуская случая подольститься к Аракчееву, Малиновский писал ему 12 апреля 1826 г.: «Не без труда достал я изданную в минувшем году книжку под названием «О военных поселениях» и при чтении оной познал более, нежели когда-либо, всю важность подвига, вами совершенного» (*Дубровин Н.Ф.* Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I. СПб., 1883. С. 489). Некоторое время Аракчеев намеревался оставить свое имение Грузино в Новгородской губернии дочери Малиновского Екатерине.

[39]Малиновский доставлял Карамзину подлинники летописей, грамот, дипломатических актов и их копии (об этом см.: Письма Карамзина к А.Ф. Малиновскому... М., 1860).

[40]См. примеч. 6 к гл. 1.

[41]Учредителями ОЛРС были: П.И. Страхов, П.П. Бекетов, А.А. Прокопович-Антонский, Н.Н. Сандунов, Г.С. Салтыков, Ф.Ф. Кокошкин, Д.И. Вельяшев-Волынцев, А.Ф. Мерзляков, М.Т. Каченовский, Л.А. Цветаев, И.А. Двигубский, М.Г. Гаврилов, П.М. Дружинин, В.Л. Пушкин, Р.Ф. Тимковский. П.В. Победоносцев, С.В. Смирнов, Я.И. Бардовский, А.В. Болдырев, Ф.Ф. Иванов, А.А. Перовский, А.Ф. Воейков, П.А. Плавильщиков (по АК на 1812 г.).

[42]*Дружинин* Петр Михайлович (ок. 1766 — 1827) — адъюнкт Московского университета, директор училищ Московской губернии, статский советник.

[43]Труды ОЛРС. М., 1812. Т. 1—4. В четвертом томе напечатаны «Летописи» общества.

[44]А.А. Прокопович-Антонский отказался от звания председателя в октябре 1826 г. После него этот пост занимали: Ф.Ф. Кокошкин (май 1827 — ноябрь 1829), А.А. Писарев (ноябрь 1829 — май 1830), И.А. Двигубский (май 1830 — весна 1833), М.Н. Загоскин (весна 1833 — февраль 1836), С.Г. Строганов (с февраля 1836). Последнее заседание ОЛРС состоялось 3 апреля 1837 г.; возобновление его деятельности относится к 1858 г.

[45]См., напр.: *Фортунатов А.* Вологодский провинциальный словарь // Труды ОЛРС. 1820. Ч. 20; *Шаховский А.А.* Слова, употребляемые в Северо-Восточной Сиби-

ри // Сочинения в прозе и стихах. М., 1822. Кн. 6. Перечень статей об областных наречиях (материалы для диалектологического словаря) в изданиях ОЛРС см. в кн.: *Клейменова Р.Н.* Систематическая роспись изданий Общества любителей российской словесности. М., 1981. С. 36–38.

[46]См., напр.: *Калайдович П.С.* Синонимы // Труды ОЛРС. 1817. Ч. 9, кн. 13; *Кох Н.* Синонимы // Сочинения в прозе и стихах. М., 1824. Ч. 4, кн. 10; *Саларев С.Г.* Синонимы // Труды ОЛРС. 1817. Ч. 7, кн. 11 и др. Полный перечень статей о синонимах: *Клейменова Р.Н.* Указ. соч. С. 35.

[47]Имеется в виду статья П.И. Шаликова «Об уравнительных степенях в русском языке» (Труды ОЛРС. 1818. Ч. 12. Летописи. 3-й год. С. 42–46).

[48]Речь идет о статьях А.Г. Глаголева: «О характерах русских народных песен» (Труды ОЛРС. 1818. Ч. 11, кн. 17); «О характере русских застольных и хороводных песен» (Там же. 1821. Ч. 19, кн. 29).

[49]*Кирша Данилов* — предполагаемый составитель сборника былин, исторических и лирических песен, записанных в XVIII в. и впервые изданных в 1804 г. Под «представителем невежественного направления» Дмитриев, очевидно, имеет в виду В.Г. Белинского, посвятившего в 1841 г. ряд статей сборникам народной поэзии, в том числе и второму изданию «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым» (1818). Здесь Белинский развивал сформулированное им в том же году разделение понятий национальности и народности: «Песня Кирши Данилова есть произведение народное; стихотворение Пушкина есть произведение национальное: первая доступна и высшим (образованнейшим) классам общества, но второе доступно только высшим (образованнейшим) классам общества и недоступно разумению народа» (*Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 121–122). Свое понимание народности Дмитриев высказал в статье «О натуральной школе и народности» (Москвитянин. 1848. № 9).

[50]*Филарет* (Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867) — архиепископ московский с 1821 г. (с 1826 — митрополит); настоятель Троице-Сергиевой лавры в 1821–1867 гг. В *Библиотеке* имеются следующие его сочинения: Слово к московской пастве. СПб., 1822; Слово по случаю принесения тела государя Александра Павловича. М., 1826; Беседы к глаголемому старообрядцу. М., 1836 (с владельческой записью и пометой, указывающей на авторство Филарета — № 1162); Разговоры между испытующим и уверенным о православной греко-российской церкви. М., 1843 (4-е изд.; с владельческой записью и обозначенными датой (22 февраля 1857) и ценой покупки (1 р. сер.) — № 2543).

[51]«Преогромный деревянный» дом М.И. Долгорукого (отца И.М. Долгорукого) числился под № 174 на Воздвиженской улице во 2-м квартале Хамовнической части; находился «у Воздвиженья на Пометном Вражке близ Девичьего поля» (*Благово.* С. 52; описание убранства дома — С. 53). По воспоминаниям самого Дмитриева это были «длинные старинные тесовые хоромы в один этаж, окрашенные полинялою желтою краскою. Позади этого дома, к Москве-реке, был сад, почти брошенный, кажется, им никто не занимался <...> Ныне это место продано, дом сломан; на его месте построена какая-то фабрика» (*Долгорукий.* 1863. С. 137,166).

[52]Неустановленное лицо.

[53]*Дмитриев М.А.* Князь И.М. Долгорукий и его сочинения // Москвитянин. 1851. № 3; отдельное издание (М., 1863) значительно дополнено и исправлено. На заседании ОЛРС, состоявшемся в начале 1824 г. и посвященном памяти И.М. Долгорукого, Дмит-

риев вызвался написать очерк жизни и творчества князя; это предложение было принято обществом. Дмитриев сразу же занялся сбором источников (известно, например, что в конце 1824 г. И.М. Снегирев передавал ему через С.Д. Нечаева «французскую речь князя И.М. Долгорукова»: *Снегирев И.М.* Дневник. М., 1904. Т. 1. Записи от 21 дек. 1824 и 2 янв. 1825 г.), однако всерьез приступить к жизнеописанию князя он смог лишь после выхода в отставку в 1847 г.; этапы работы над книгой прослеживаются по его письмам. 28 октября 1849 г. он обращался к сыну И.М. Долгорукого Александру из Богородского: «Живучи в деревне и имея много свободного времени, я пишу статью под заглавием: «Воспоминания о князе И.М. Долгоруком и взгляд на его сочинения». Первая часть ее у меня почти готова. Вы можете себе представить, что я писал ее con amore [с любовью. — *ит.*], и что она лилась из-под пера моего; писавши эти воспоминания, я вновь пережил мою молодость. — Но у меня недостает главного: подробностей об его жизни и службе. Я принужден был выписывать об этом из Истории русской литературы Греча. Его известия очень коротки, и потому эта часть труда моего составляет une espèce de lacune [нечто вроде лакуны. — *фр.*], что очень заметно, потому что не соответствует прочему. Помогите мне в этом и дайте мне нужные сведения, хотя в виде сухова реестра, в виде ответов на мои вопросы, которые здесь прилагаю» (ОР РГБ. Ф. 126. Карт. 3610. Л. 93). Через полтора месяца информировал Погодина: «О князе Долгоруком у меня написано все, что можно было написать без подробных сведений о его жизни, которые, впрочем, обещал мне его сын: ожидаю! Что написано, будет, кажется, интересно: я изобразил его во всей его оригинальности (а он был большой оригинал), разумеется, без всякого вреда его уму и характеру» (письмо от 16 декабря 1849 г. // ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт.11. № 6 (2). Л. 47; здесь же Дмитриев пеняет Погодину за небрежное цитирование стихов Долгорукого в библиографическом отделе «Москвитянина»: «как на смех приведены навыдерку стихи, что нет их хуже и никогда никто не повторял их: все это напраслина!.. Жаль, что наша литература становится все более и более неизвестною, и об ней пишут по слуху!» (Там же. Л. 48 об.). Следующий этап — хлопоты Дмитриева о переписке работы и ее напечатании в «Москвитянине» — относится к первому после увольнения со службы длительному пребыванию автора в Москве в течение 1851 г.: «Если вам нужен Долгорукой, то схлопочите, чтоб могли переписать» (записка к Погодину от 26 января 1851 г. // Там же. № 7 (2). Л. 11); «Нынче уже середа; а Долгорукого из типографии ко мне не приносили. Я боюсь, чтоб он не был напечатан без моего присмотра и моей корректуры» (31 января 1851 г. // Там же. Л. 17). О продолжении занятий Дмитриева биографией и творчеством князя свидетельствует записка к Погодину: «У меня теперь все комедии, или фарсы князя Долгорукого, которые не были напечатаны» (10 июня 1851 г. // Там же. Л. 50 об.). Труд Дмитриева (как и «Мелочи», опубликованные в «Москвитянине» в 1853—1854 гг.) сочетал богатейшую эмпирику литературных преданий с высоким уровнем концептуальности и удачно найденным стилем. Он стал ценным источником по истории русской литературы и не превзойденным до сих пор исследованием жизни и творчества Долгорукого. О нем Дмитриев вспоминает и в стихотворном послании «А.Д. Курбатову» (1844): «<...> А князь / Иван Михайлыч Долгорукой? / Когда судьба не повезла, / Забыл он все обиды зла / Шутил он жизненной докукой, / Кругом себя поставив рай, / Дешевый рай, но не мишурный, / Домашний собственный свой рай!...» (Стихотворения—1865. Ч. 1. С. 156).

[54]О домашнем театре Долгорукого см.: *Долгорукий.* 1863. С. 141—148; *Аксаков.* Т. 3. С. 43—46. Описание летних развлечений есть в сочинении о Долгоруком: «Для наших прогулок и пикников избирались то Кусково, Петровское, Кунцово, то близ лежащие

сады и рощи <...> Тут мы играли в разные игры, бегали в горелки, качались на качелях и катались с гор, где их находили; шумели, говорили, смеялись <...> и только с наступлением вечера возвращались в родную Москву» (*Долгорукий.* 1863. С. 148–149).

[55]*Любавская Аграфена Федоровна* (ум. до 1845). В других мемуарах Дмитриев рассказывает: «Об ней написал князь Долгорукий: «Другая — той я дал прозванье Анемоны / Славнее красоты Надировой короны!» Об ней же упомянул я, в одной из моих «Московских элегий»: «Помните ль, тут была всех прекраснее, всех выше ростом, / Стройная пальма, щечки, как роза, агатные глазки, / Живостью птичка, умна и мила, и игрива, как кошка; / Помните: имя ей было у нас — Анемона» (*Долгорукий.* 1863. С. 139; автоцитата из элегии «Пикники», 1845).

[56]Неустановленное лицо.

[57]Долгорукая *Прасковья Михайловна* (1758–1844) — старшая сестра И.М. Долгорукого. В «Рассказах бабушки» приводится легенда о замысле возвести на российский престол с помощью М.И. Долгорукого (отца И.М. и П.М. Долгоруких) Иоанна Антоновича (законного наследника, внука Петра I, свергнутого Елизаветой Петровной) и женить его на П.М. Долгорукой (*Благово.* С. 52). Сам Дмитриев вспоминает, что в доме Долгорукого висел «портрет Императора Петра II, который был помолвлен на княжне Долгоруковой» (*Долгорукий.* 1863. С. 140).

[58]*Классон Иван Николаевич* (возможно, Johann Christian Classen; 1757–1821) — уроженец Любека; майор русской службы в отставке, «прежде состоял адъютантом при Степане Матвеевиче Ржевском, женатом на баронессе Софье Николаевне Строгановой (родной сестре княгини А.Н. Долгорукой), и когда Ржевский умер, он остался у его вдовы заведовать имением и делами, а после ее смерти (в 1790 г.) и переехал жить к Долгоруковым и был у них своим человеком, верным глазом и помощником в делах» (*Благово.* С. 106). Долгорукий пишет, что «его начал знать, будучи еще мальчиком, когда он служил при родном дяде моем, Ржевском, старшим адъютантом. Он часто посещал наш дом, по смерти дяди остался домоправителем вдовы его <...> Человек отменно к нам привязанной, сердца наидобрейшего, честности, не повреждаемой никакими искушениями; теперь он составляет почти всю мою домашнюю беседу» (*Долгоруков И.М.* Капище... С. 140). Поговаривали, что «немолодая княжна Прасковья Михайловна и он взаимно питали друг к другу очень нежные чувства, но об этом трудно судить» (*Благово.* С. 106).

[59]Сведений о нем собрать не удалось.

[60]Долгорукая (урожд. Безобразова, в первом браке Пожарская) Аграфена Александровна (1766–1848) — с 1807 г. вторая жена И.М. Долгорукого.

[61]*Пожарская Прасковья Ивановна* — племянница второй жены И.М. Долгорукого по первому мужу. Мать ее рано овдовела, потом вышла замуж второй раз, но в новой семье Прасковья Ивановна не прижилась, и ее взяли к себе Долгорукие. Подробнее о ней см.: *Долгоруков И.М.* Капище... С. 262–264.

[62]*Елисеева* Елизавета Ивановна — приятельница первой жены Долгорукого Евгении Сергеевны (урожд. Смирной; ум.1804), «почтенная добрая старушка» (*Долгорукий.* 1863. С. 138).

[63]*Эктинья* (ектенья) — молитвенные прошения, составляющие значительную часть православного богослужения. Здесь процитирован перефразированный возглас из Великой ектеньи: «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся!»

[64]*Перова роща* находилась в подмосковной А.К. Разумовского Перово.

[65]Братья Быковы учились в пансионе в первой половине 1820-х гг.: имя Андрея Быкова приводится в списке «отличных воспитанников» пансиона (*Сушков*. С. 89). Оба брата пробовали себя в поэзии: стихи Андрея Быкова «Послание великому» и Василия Быкова «Ломоносов» напечатаны в книжке «Речь и стихи, произнесенные в торжественном собрании... благородного пансиона, по случаю выпуска воспитанников, окончивших курс учения...» (М., 1826). Сочинение А. Быкова «О качествах человека юридического» признано одним из лучших, сам он награжден серебряной медалью с именем (Там же. С. 35—36). Впоследствии оба служили в Министерстве юстиции. А.М. Быков в 1832 г. был помощником начальника первого отделения министерства; в 1851 г. в чине действительного статского советника был обер-прокурором 1-го отделения 3-го департамента Сената; умер после 1865 г. В.М. Быков в 1836 г. был пожалован камер-юнкером, в 1842 — камергером; в 1832 г. был секретарем канцелярии министра, с 1836 г. — правителем канцелярии министерства; в 1853 г. занимал должность обер-прокурора 1-го отделения 5-го департамента Сената, действительный статский советник. Умер после 1865 г.

[66]*Кроткова* (урожд. Ридер) *Агафья Вильмовна* — жена Степана Степановича Кроткова, о котором упоминалось в гл. 7.

[67]*Ружевщина* — село Карсунского уезда Симбирской губернии. О нем и его владельцах см.: *Мартынов П.* Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1904. С. 81—82.

[68]Мелочи. С. 64—65; см. также: Взгляд. С. 245; ПКД. С. 313.

[69]*Метакса Егор Павлович* (р. ок. 1780) — автор книги «История греческих происшествий... заимствованная из соч. Раффанеля и других очевидцев с собственными дополнениями издателя» (М., 1824. Ч. 1—3; в *Библиотеке* имеются две первых части). По свидетельству А.Я. Булгакова, Метакса был «толстый, маленький, 35 лет (в 1816 г. — *Коммент.*), чернее цыгана, нос уже в гостиной, когда сам еще грек в передней» (цит. по: *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва. М., 1989. С. 79); по предположению Гершензона, именно о Метаксе Чацкий спрашивает Софью: «А этот... как его... он турок или грек... / Тот черномазенький, на ножках журавлиных, / Не знаю, как его зовут, / Куда не сунься — тут как тут / В столовых и гостиных?» («Горе от ума», д. 1, явл. 7).

[70]Среди бумаг Дмитриева сохранился «Реестр приданому» Н.М. Быковой, написанный рукой ее отца и датированный 21 января 1822 г. (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 28). Все, данное за невестой, распределено в «Реестре» по пяти статьям: «Божие милосердие» (образа в окладах и без них, «Животворящий Крест со Св. Мощами»); «Вещи и серебро» (фермуар, бриллиантовые серьги, 10 золотников жемчуга, «часы золотые малинькие», ложек столовых и десертных по 24, два «ковша внутри вызолоченных», две соусных ложки, два ситечка и одни щипцы вызолоченные, корзинка и ложка для сахару, два серебряных шандала, корзинка для сухарей, 18 чайных вызолоченных ложечек); «Мебели» (красного дерева и под красное дерево), «Кровать и белье» (кровать, постельные принадлежности, нательное белье, а также полотенца, скатерти, манишки, воротнички); «Платье и прочее» (в частности — 3 салопа, «шуба мериносовая пунцовая», 2 палатина: «американских лис» и соболий, 24 платья (с описанием каждого; в их числе: «платье мосака матеревое», «платье шитое батист-декосовое, с полосатой талией», «платье коленкоровое шитое, петербургское»), 13 капотов, 5 шляп, 22 пары башмаков, 2 ковра и «карета четвероместная новая»).

[71]Камер-юнкерский мундир, как и другие мундиры придворных чинов, отличался от прочих гражданских мундиров «роскошным золотым шитьем с бранденбурами (вышиты-

ми золотом ниспадающими кистями)» (*Шепелев Л.Е.* Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 186).

[72]Романы *Вальтера Скотта* (1771—1832) в 1820-х гг. были необыкновенно популярны. По-видимому, Дмитриев, как и большинство русских читателей, знакомился с его сочинениями по французским переводам, хотя некоторые фрагменты начиная с 1815 г. публиковались в русских журналах (см.: *Левин Ю.Д.* Прижизненная слава Вальтера Скотта в России // Эпоха романтизма. Л., 1975. С. 5—68; *Долинин А.* История, одетая в роман: Вальтер Скотт и его читатели. М., 1988; *Альтшуллер М.Г.* Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996). Отдельные книги на русском языке стали появляться с 1823 г. В *Библиотеке* имеются 3-я и 4-я части романа «Квентин Дорвард» (М., 1827) в переводе А.И. Писарева, а также издания его романов на французском языке.

[73]*Федоров* Максим Федорович — в 1822 г. в чине титулярного советника занимал должность советника гражданской палаты в Симбирске.

[74]Дмитриев *Михаил* Михайлович (р. 1822) — учился в Московском университете, единственный из семейства присутствовал при кончине И.И. Дмитриева (см.: *Барсуков.* СПб., 1892. Кн. 5. С. 119—120, 487). В 1850-х гг. жил в Симбирске, о чем свидетельствует доверенность на управление имением, выданная ему Е.Н. Пазухиной (1853) (ОР РГБ. Ф. 221. Карт. 9. № 55), и прошение о прекращении иска с Пазухиными Петром, Дмитрием и Александром (Там же. № 73). Упомянут в кн.: Мелочи. С. 152—153, 155.

[75]См. о нем примеч. 89 к гл. 7.

[76]*Арнольд* (правильнее — Аргнольд) Адам — «медико-хирург», в 1812 г. коллежский асессор, в 1825 г. — надворный советник, инспектор Симбирской врачебной управы; в 1830 г. — статский советник.

[77]*Покровский монастырь* — мужской монастырь третьего класса, с 1797 г. управлялся архимандритами, а с учреждением Симбирской епархии назначен местом жительства епископов. Первоначально располагался на берегу Волги; в 1698 г. был перенесен в пределы Симбирска.

[78]В конце главы проставлена дата и место окончания работы над ней: «11 марта 1864. Москва».

Глава 9

[1]*Серафим* — настоятель (архимандрит) Покровского монастыря в Симбирске в 1819—1830 гг.

[2]*Баратаев* Михаил Петрович (1784—1856) — грузинский князь, штабс-капитан в отставке (с 1809); симбирский уездный (избран в конце 1815 г.), затем губернский предводитель дворянства (1820—1835); тайный советник (с 1838). Масон, основатель симбирской ложи «Ключ к добродетели» (1818), в которой был мастером стула; нумизмат, член-основатель Петербургского археологического общества. Поддерживал отношения с Дмитриевым и впоследствии: подарил ему экземпляр своего труда «Нумизматические факты Грузинского царства» (М., 1844; в *Библиотеке* № 3036) с дарственной надписью: «Истинно чтимому мною Михаилу Александровичу Дмитриеву в напамятование о преданном авторе. Князь Михаил Баратаев. Сент. 22 ч. 1846. Москва»); известно также о существовании переписки между ними в 1853 и 1855 гг. (НБ МГУ — Дм. 11401).

[3]*Вейс* Франциск Рудольф (1751 – после 1797) – швейцарский генерал и писатель. Речь идет о его книге «Principes philosophiques, politiques et moraux» (Geneve, 1806. Т. 1; пер. А. Струговщикова: Основание или существенные правила философии, политики и нравственности. Творение полковника Вейсса. СПб., 1807. Ч. 1). Точное название упомянутой главы (р. 54–63): «Consolations dans l'infortune» («Утешение в невзгодах»; ее перевод: ВЕ. 1819. № 14. С. 114–121; подпись: *Дв. Дв.*).

[4]Переложение псалма 138 // Сочинения в прозе и стихах. 1824. Ч. 5, кн. 14; Переложение псалма 18 // Там же. 1826. Ч. 6, кн. 17; Переложение псалма 36 // ВЕ. 1824. № 3; Переложение псалма 71 // ВЕ. 1824. № 3. В первой части сборника Стихотворения–1830 Дмитриев собрал «Подражания Библии» в особом разделе; здесь кроме перечисленных содержатся переложения псалмов 48, 51, 57, 79 и фрагментов Книги Ездры со следующим примечанием: псалмы «писаны, большею частию, вскоре после кончины жены моей, когда все земные утешения были чужды моему сердцу! В духовных песнях я нашел если не утешение, то по крайней мере отраду, заключавшуюся в каком-то живом чувстве другого мира, в чувстве, как будто соединявшем меня с нею» (С. V).

[5]*Лабзин Александр Федорович* (1776–1825) окончил Московский университет (1784); конференц-секретарь (с 1799) и вице-президент (с 1818) Академии художеств. Был близок к Н.И. Новикову, масон (с 1783), основатель петербургской ложи «Умирающий Сфинкс» (1800–1822); религиозный просветитель, издатель журнала «Сионский вестник».

[6]Описываемое заседание состоялось 13 сентября 1822 г.

[7]*Оленин* Алексей Николаевич (1763–1843) – археолог, в 1811–1843 гг. – директор Императорской Публичной библиотеки, президент Академии художеств (с 1817), член Государственного совета (с 1827).

[8]Байков *Илья* Иванович (ум. 1830) – с 1805 г. любимый кучер Александра I. Получая много денежных подарков, скопил значительное состояние, стал купцом 1-й гильдии и владельцем нескольких каменных домов в Петербурге. После смерти Александра I оставался кучером императрицы Александры Федоровны.

[9]В действительности на этом заседании присутствовало около 20 академиков. Кто из них написал донос на Лабзина и отослал его петербургскому генерал-губернатору М.А. Милорадовичу, осталось неизвестным. Милорадович потребовал от Оленина, как от президента Академии, письменного отчета о событиях (текст его: PC. 1875. № 10. С. 293–294), который был переслан Александру I, находившемуся в то время в Вероне, на конгрессе Священного союза. Император повелел отставить Лабзина от должностей и выслать из столиц; А.Н. Голицыну было приказано сделать выговор Оленину «за то, что не умел в сем случае исполнить должность, оставя столь дерзкий поступок без донесения начальству» (Там же. С. 295). Существует несколько отличающихся в деталях рассказов об этих событиях. Кроме Дмитриева о них вспоминают: воспитанница Лабзиных С.А. Лайкевич (PC. 1905. № 10. С. 188), митрополит Филарет (РА. 1888. Кн. 3. С. 586), Н.В. Сушков (ВЕ. 1867. № 6. С. 177), А.Л. Витберг (PC. 1872. № 4. С. 549–550) и со слов последнего – А.И. Герцен (*Герцен.* Т. 8. С. 57–58). Описанный эпизод вошел также в рукописную подборку литературных анекдотов М.Н. Лонгинова (не исключено, что последний услышал его от Дмитриева). Несколько иначе расставлены акценты в официальном объяснительном письме Оленина от 21 сентября: «Когда я объявил совету [Академии художеств] о надлежащем выборе трех почетных любителей (на каковые места в привилегии, сей академии данной, предписано помещать из знатнейших особ) и когда я выбор

сей предоставил общему согласию гг. членов академического совета, отказавшись сам от сего выбора, то г. вице-президент Лабзин, не соглашаясь долго на утверждение предназначенных советом трех новых особ, а именно графа Гурьева, графа Аракчеева, и особенно упорствуя в выборе графа Кочубея, заключил свой спор тем, что если совет полагает выбрать сих трех новых членов по причине, что они имеют доступ к величайшей особе, то он, Лабзин, с своей стороны, предлагает в почетные любители также близкую Государю Императору особу, а именно государева кучера Илью. Я, избегая неприятных с ним объяснений и уважая тяжкую его болезнь, рассудил этому делу дать оборот не столь серьозный, сказав Лабзину, что не премину известить новоизбранных гг. членов в почетные любители о чести, которую им сделал Александр Федорович предложением к совместному с ними выбору кучера Ильи. Сей неожиданный ответ мой произвел в собрании невольный общий смех, который привел г-на Лабзина в некоторое негодование, ибо он с сердцем отвечал мне: «Извольте им это сказывать, я их не боюсь»» (РС. 1875. № 10. С. 293—294). Сохранился ряд неопубликованных официальных документов: «Дело о неприличных словах, произнесенных <...> Лабзиным» (РГВИА. Ф. ВУА. Т. 1. Отд. 1. № 760), переписка «по делу о произнесенных дерзких словах» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. 1822 г. № 3868 — за указание благодарим А.И. Серкова).

[10]Несмотря на то что Оленин не был причастен к высылке Лабзина, сам Лабзин (см. его письмо к З.Я. Карнееву от 10 марта 1823 г.: РА. 1892. № 12. С. 369) и близкие к нему люди (С.А. Лайкевич, А.Л. Витберг) были склонны винить Оленина в интригах. Это во многом объясняется прохладными отношениями между Лабзиным и Олениным: первый рассчитывал на место президента Академии художеств, доставшееся Оленину, а тот, в свою очередь, считал лишней должность вице-президента, занимаемую Лабзиным. Когда стала известна воля императора, Оленин через посредника передал Лабзину 300 рублей и хлопотал о нем через начальника императорского штаба П.М. Волконского (РС. 1875. № 10. С. 295—296).

[11]*Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — граф (с 1813), генерал-майор (1798); герой Отечественной войны 1812 г.; с 1818 г. петербургский генерал-губернатор.

[12]Место ссылки Лабзина, не имевшего родового поместья, было выбрано министром внутренних дел В.П. Кочубеем. Основным аргументом в пользу Сенгилея являлось то, что город был «преимущественно окружен татарским населением и что тамошний полицмейстер, бывший улан, по имени Дзичканец, пользуется репутацией очень строгого человека» (Донесение Кочубея Александру I от 10 ноября 1822 г. // РС. 1881. Кн. 12. С. 881). Едкий отзыв Лабзина о Кочубее см. в его письме к Карнееву от 10 марта 1823 г. (РА. 1892. № 12. С. 369—370).

[13]Лабзина (урожд. Яковлева, в первом браке за известным ученым-минералогом А.М. Карамышевым) Анна Евдокимовна (1758—1828) — с 1794 г. жена Лабзина, мемуаристка (ее мемуары переизданы В.М. Боковой в сборнике «История жизни благородной женщины», выпущенном издательством «Новое литературное обозрение» в 1996 г. в серии «Россия в мемуарах»).

[14]Лабзины покинули Петербург 13 ноября 1822 г.

[15]См. об этом: *Лайкевич*. С. 190.

[16]Во время учебы в Московском университете в 1796—1801 гг. Мудров вошел в круг московских масонов: И.П. Тургенева, Х.А. Чеботарева, Н.И. Новикова, И.В. Лопухина. С Лабзиным он познакомился в 1801 г. в Петербурге, придя к нему с рекомендатель-

ным письмом от своего тестя Чеботарева. В это же время на попечении Мудрова осталась маленькая дочь его внезапно скончавшегося старшего брата, заботы о которой взяли на себя бездетные Лабзины, воспитавшие девочку. Мудров всегда помнил об этом и помогал Лабзину материально и до его ссылки, и во время нее (*Лайкевич.* С. 182–183, 195). О Мудрове и Лабзиных см.: *Модзалевский Б.Л.* Из архива И.Е. Великопольского // РС. 1901. № 7.

[17]Дом Мудрова числился под № 402 на Пресненских прудах.

[18]Лабзины приехали в Сенгилей 12 декабря 1822 г.

[19]*Тургенев* Петр Петрович (1763–1830) — масон, член новиковского «Дружеского ученого общества»; в 1796 г. сенгилейский уездный предводитель дворянства. Согласно мемуарам С.А. Лайкевич, «снабжал нас всем, что только мог прислать из деревни: [посылал] припасов, даже столового белья и корову»; он и Д.И. Попов (также известный масон) «посещением своим влили отраду в сердце страждущего морально и физически. Целые дни они проводили у нас в приятнейшей беседе» (*Лайкевич.* С. 193). *Тургенев Иван Петрович* (1752–1807) — директор Московского университета (1796–1803), друг и сотрудник Н.И.Новикова, масон, член ложи «Гармония», основатель ложи «Золотого Венца» в Симбирске (1784), переводчик и писатель. Под Симбирском находилось его родовое имение Тургенево.

[20]Лабзины прожили в Сенгилее до середины мая 1823 г., когда им было разрешено переехать в Симбирск.

[21]Баратаев был женат на Александре Николаевне Чоглоковой и приходился «по жене несколько сродни» Лабзину (*Лайкевич.* С. 192; выяснить степень этого родства не удалось). Известно письмо Лабзина к Баратаеву 1824 г. (Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1870. № 2. С. 209–210).

[22]*Лазаревич* Иван Федорович — коллежский советник, почтмейстер в Симбирске.

[23]Кроме названных лиц Лабзины были дружны с семейством генерала П.Н. Ивашева (о нем см. примеч. 109 к гл. 7).

[24]*Крылов* Александр Алексеевич — коллежский советник, начальник уездной конторы в Симбирске (1822).

[25]*«Сионский вестник»* — духовно-просветительский журнал, в котором печатались преимущественно переведенные Лабзиным сочинения европейских мистиков и его собственные статьи. Издавался с января 1806 г.; закрыт в сентябре того же года по инициативе обер-прокурора Синода А.Н. Голицына, который «сам же потом, сделавшись более внимательным к религии, выхлопотал» Лабзину орден и право вновь издавать журнал (Рассказы митрополита Филарета, записанные А.В. Горским // РА. 1888. Кн. 3. С. 594; см. также письмо Лабзина к Карнееву от 10 марта 1823 г.: РА. 1892. № 12. С. 369). После возобновления в апреле 1817 г. был вторично прекращен в июне 1818 г. О журнале см.: *Дубровин Н.Ф.* Наши мистики-сектанты // РС. 1895. № 1; *Галахов А.Д.* Обзор мистической литературы в царствование Александра I // ЖМНП. 1875. № 11). В *Библиотеке* сохранился полный комплект журнала (1806. Ч. 1–3; 1817. Ч. 4–6; 1818. Ч. 7–8).

[26]На первой странице кн.1 возобновленного «Сионского вестника» было помещено посвящение: «Господу Иисусу Христу, бывшему, сущему и грядущему, вечному возродителю и обновителю всяческих, о его же имени, всяко колено поклонится, небесных, земных и преисподних, прах и пепел, чающий обновления своего, со всеми купно при-

падая и поклоняяся, в недостоинстве своем, с трепетным благоговением сей труд свой и самого себя посвятить дерзает».

[27]Ср.: «Более всех он любил проводить время с Михаилом Александровичем Дмитриевым и с архимандритом Покровского монастыря Серафимом» (*Лайкевич*. С. 196–197).

[28]Торжество Евангелия, или Записки светского человека, обратившегося от заблуждений новой философии... СПб., 1821–1822. Ч. 1–4. Автор книги – испанский государственный деятель П. Олавиде.

[29]Праздник *Преображения* отмечается 6 (19) августа. Речь идет о статье: «Дружеская беседа на день Преображения Господня» (Сионский вестник. 1806. Ч. 3, кн. 8. С. 137–180).

[30]Санкт-Петербургское (с 1814 – Российское) Библейское общество было создано в конце 1812 – начале 1813 г. Его президентом стал А.Н.Голицын, через год одним из директоров Комитета Библейского общества был назначен Лабзин. К концу 1814 г. в названный Комитет входило 18 вице-президентов и 12 директоров. Период наибольшей активности Общества приходится на 1816–1824 гг., когда оно обзавелось собственной полиграфической базой и в широких масштабах занялось осуществлением своей главной цели: переводом на русский (и другие языки), изданием и распространением Библии и отдельных ее книг. В ряде городов России были открыты отделения и «сотоварищества» Общества. Указ о его закрытии был подписан Николаем I в апреле 1826 г.

[31]Шишков, назначенный в мае 1824 г. министром народного просвещения, был решительным противником всякого вольномыслия в религиозных вопросах, в том числе выступал против перевода Библии на русский язык. Его деятельность на этом посту ознаменовалась мерами, направленными против «мистицизма» в целом (дело пастора И. Госнера и др.) и Библейского общества в частности.

[32]Арест Новикова, закрытие его типографии и книжных магазинов произошли в апреле 1792 г. Допросу, последовавшему за арестом Новикова, подверглись его «сообщники»: Н.Ю. Трубецкой, И.П. Тургенев и И.В. Лопухин. Новиков был заключен в Шлиссельбургскую крепость (пробыл в ней до 1796 г.), Трубецкой и Тургенев высланы в деревни, Лопухин оставлен под надзором в Москве.

[33]Екатерина, всегда относившаяся к масонству иронически, решительно выступила против Новикова и его товарищей лишь после того, как получила сведения о возможном существовании масонского заговора с целью возвести на престол великого князя Павла Петровича.

[34]*Лопухин* Иван Владимирович (1756–1816) – масон, с 1784 г. управитель ложи «Блистающей звезды»; по предписанию берлинских начальников надзиратель для русских братьев. По воцарении Павла I пожалован в действительные статские советники (вскоре стал тайным советником), непродолжительное время был статс-секретарем императора; затем был назначен сенатором в 5-й (московский) департамент.

[35]См. об этом: *Пыпин А.Н.* Российское библейское общество // ВЕ. 1868. № 8–12; *Его же.* Русское масонство. Пг., 1916; *Соколовская Т.О.* Возрождение масонства при Александре I // Масонство. М., 1991. Т. 2.

[36]*Глазунов* Илья Иванович (1786–1842) – петербургский книгопродавец и издатель.

[37]*Голицын Александр Николаевич* (1773–1844) – обер-прокурор Синода (1803–1816); в 1816–1824 гг. министр духовных дел и народного просвещения; с 1818 г. главнона-

чальствующий над почтовым департаментом. Позже, став единомышленником Лабзина, Голицын ходатайствовал о возобновлении «Сионского вестника», остро переживал свою вину перед Лабзиным (см. его записку к Александру I 1816 г.: «Вопрос можно сделать: от чего я в 1806 году представлял о запрещении сего издания, а ныне нахожу его превосходным? — От того, что я был в совершенной тьме, а ныне, хотя и не могу сказать, чтоб я был уже просвещенным, но по крайней мере ищу света в истинном источнике...»: РС. 1894. № 12. С. 121). После высылки Лабзина Голицыну было непросто находить с ним общий язык (см. их переписку 1823 г.: РА. 1892. № 12. С. 373—374, 377—385). Голицын вспоминал: «Лабзин был такой человек, оценить которого по достоинству гордая человеческая философия и грезить не смеет <...> Это был благодетель души моей, приведший меня от тьмы к свету; он развил во мне те спасительные видения, для которых человек и родится в мир сей» (РА. 1886. № 5. С. 93).

[38]Речь идет о романе С.Ф. Жанлис «Les Chevaliers du Cygne ou La cour de Charlemagne» (1795; пер. Н.Ф. Кошанского: Рыцари Лебедя, или Двор Карла Великого. М., 1807—1808. Ч. 1—6. Позже был издан другой перевод — М., 1821).

[39]*Карл Великий* (742—814) — франкский король с 768 г., император (800).

[40]*Димитрий* (Даниил Саввич Туптало; 1651—1709) — известный религиозный писатель, завершил начатый в XVI в. труд по созданию православных «Миней-Четий»; митрополит Ростовский (с 1702). О внимании Дмитриева к его творчеству говорит большое количество сочинений святителя в составе *Библиотеки*: «Сочинения святого Димитрия митрополита Ростовского» (М., 1827. Т. 1—5), три издания книги «Алфавитный духовник» (Киев, 1747, 1751 и 1803), «Апология в утолении печали человека сущего в беде, гонении и озлоблении» (Могилев, 1716), а также «Летопись иже во святых отца нашего Димитрия Ростовского чудотворца...» (М., 1800). *«Умное делание»* — постоянное творение «умной» (т.е. внутренней, не соборной) молитвы.

[41]*«Добротолюбие»* («Филокалия») — сборники преданий о практике жизни христианских подвижников. Наиболее полный издан в 1782 г. в Венеции Иоанном Маврокордатом. Подобный же сборник, составленный Никодимом Святогорским и Макарием Коринфским в конце XVIII в., был переведен на русский язык Паисием Величковским (1722—1795); здесь, в частности, описывается практика «умной молитвы», к которой постоянно прибегали и русские аскеты.

[42]По всей видимости, речь идет об оставшемся в рукописи сочинении немецкого мистика Иоганна Фридриха Мейера (Meyer), книги которого в большом количестве представлены в *Библиотеке*: «Hades. Ein Begriff zur Theorie der Geisterkunde» (Frankfurt am Main, 1810); «Blätter für höhere Wahrheit» (Samml. 1—2, 4—5, 7—11. Frankfurt am Main; Berlin, 1818—1832); «Wahrnehmungen einer Seherin» (Hamburg, 1827—1828. Th. 1—2); «Das Buch Jezira, die alteste kabalistische Urkunde der Hebräer...» (Leipzig, 1830); «Kritische Kranze» (Berlin, 1830); «Hesperiden» (Kempten, 1836—1837. Samml. 1—2); «Inbegriff der christlichen Glaubenslehre» (Kempten, 1832 — № 6470, с владельческой надписью на первом форзаце в правом верхнем углу: «M. Dmitrieff. Le 12 Octobre. 1839. Moscou»); имеется также рукопись, озаглавленная «Учение христианской веры» (2Са 27) — видимо, перевод последнего труда). В 1841 г. Дмитриев поместил в «Москвитянине» (Ч. 2. № 3. С. 237—239) рецензию на переводное сочинение «О благодати, как об основании истинного самопознания и исправления» (М., 1841), представлявшее собой подборку фрагментов из составленного Мейером сборника «Blätter für höhere Wahrheit». В рецензии приведен перечень основных трудов Мейера, в числе которых находится и «Die Weissagungen und

Verheissungen der Kirche Iesu Christi...». Приветствуя появление «маленького, но драгоценного» томика, Дмитриев замечал: «желательно бы было, чтоб книги, изданные Мейером, нашли у нас более читателей <...> Они доставили бы более жизни для размышления, чем лабиринт какой-нибудь философии, в конце которого — сидит скелет, толкующий о жизни».

[43]Пс., 50, 15.

[44]*Мудрова Софья Алексеевна* (1797—1870) — дочь Алексея Яковлевича Мудрова (ум. 1801), племянница М.Я. Мудрова, воспитанница Лабзиных; с 1830 г. жена масона Николая Петровича Лайкевича. Мемуаристка.

[45]Находясь в звании кандидата хирургии, М.Я. Мудров был направлен за границу для продолжения обучения, но из-за смерти Павла I задержался в Петербурге, где добровольно служил в Морском госпитале. Уехал в 1802 г.; учился в Берлине и Париже до 1804 г.

[46]Дмитриев соединил в одно лицо двух Серафимов: симбирского архимандрита и Серафима Глаголевского, впоследствии митрополита Санкт-Петербургского.

[47]*Платон* (Левшин; 1737—1812) — в 1763—1773 гг. законоучитель цесаревича Павла Петровича, митрополит Московский (1775—1812).

[48]*Архиерей* — общее название высших лиц в духовной иерархии (епископа, архиепископа, митрополита).

[49]Другой вариант этой же прибаутки см.: *Лайкевич.* С. 187.

[50]*Татаринов Николай Ильич* — титулярный советник, губернский стряпчий казенных дел в Симбирске (1819), губернский казначей (1822). Член симбирской ложи «Ключ к добродетели»; его имя упоминается в числе подписавшихся на «Сионский вестник» (1818). В 1823 г. жил в Петербурге, поддерживал отношения со столичными литераторами: Рылеевым, А.А. Бестужевым, Гречем (*Де-Пуле.* № 8. С. 557—562).

[51]Цитата из сказки И.И. Дмитриева «Искатели Фортуны» (1794; перевод басни Ж. Лафонтена).

[52]Будучи еще ректором Академии, Филарет посещал Лабзина и обсуждал с ним свои проповеди (*Лайкевич.* С. 174), причем Лабзин высоко ценил его ораторский талант (см. письмо к Карнееву от 29 апреля 1820 г. РА. 1892. № 12. С. 359). По словам Филарета, Лабзин «был добрый человек, только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных. <...> Мы ему говорили: сколько прекрасных вещей, которые можно было бы печатать с пользою для других, не касаясь этих особенностей! Но он отвечал: «Всякая птица своим голосом Бога хвалит»» (РА. 1888. Кн. 3. С. 585). В ссылке Лабзин получил от Филарета письмо «с приложением тысячи рублей» (*Лайкевич.* С. 195).

[53]*Рунич Павел Степанович* (1748—1825) — в царствование Павла I владимирский гражданский губернатор, сенатор (с 1805), тайный советник.

[54]*Рунич* Дмитрий Павлович (1780—1860) — управляющий московским почтамтом после удаления Ключарева (в это время через него осуществлялась частная переписка масонов, в частности И.В. Лопухина и А.Ф. Лабзина: РА. 1870. № 7. Стб.1217—1236), один из директоров комитета Библейского общества (с 1819 г.), в 1821—1826 гг. — попечитель Санкт-петербургского учебного округа.

[55]Ростопчин с 1798 г. был кабинет-министром Павла I по иностранным делам. Лабзин служил в Коллегии иностранных дел с 1799 г. и был подчиненным Ростопчина.

[56]Стихотворение написано 28 ноября 1823 г.; опубликовано: РА. 1866. Кн. 2. С. 855—859.

[57]Лабзин умер 26 января 1825 г. Памятник на его могиле был восстановлен Симбирской губернской ученой архивной комиссией в начале XX в.

[58]Лабзина приехала к Мудрову в сентябре 1825 г. и передала ему, согласно завещанию, бумаги покойного мужа.

[59]Эпитафия Лабзину опубликована во вступительной статье П.А. Бессонова к публикации дмитриевских воспоминаний о Лабзине в «Русском архиве» без указания на авторство Дмитриева (РА. 1866. Кн. 2. С. 836).

[60]«Астрея» — ложа в Петербурге, основанная в 1775 г.; в 1779 г. слилась с Великой провинциальной ложей. Астрея — в греческой мифологии богиня правосудия и справедливости.

[61]Ложа «Умирающий Сфинкс» была основана в январе 1800 г. в Петербурге.

[62]Вероятно, речь идет о союзе Великой провинциальной ложи.

[63]Юнг-*Штиллинг* Иоганн Генрих (1740—1817), *Эккартсгаузен* Карл (1752—1803) — немецкие писатели-мистики. Лабзин перевел следующие сочинения Юнга-Штиллинга: Краткие нравоучительные правила на каждый день года для друзей христианства. СПб., 1805; Приключения по смерти. СПб., 1805. Ч. 1-3; Победная повесть, или Торжество веры христианской. СПб., 1815; Угроз Световостоков. СПб., 1806—1815. Ч. 1—8 (имеется в *Библиотеке*; в 1815 г. в Петербурге начало выходить 2-е изд., но появились только первые два тома). Он выпустил также три книги о Штиллинге: Жизнь Генриха Штиллинга. СПб., 1816; Последние дни Ю. Штиллинга... СПб., 1818; Слова воспоминания о усопшем, незабвенном друге Г. Юнге, прозванном Штиллингом, от некоторых друзей его. СПб., 1818. В *Библиотеке* есть немецкие издания Штиллинга: «Theorie der Geisterkunde» (Nürnberg, 1808) и «Gedichte» (Frankfurt am Main, 1821). Еще более многочисленны переводы сочинений Эккартсгаузена, с которым Лабзин состоял в переписке: Путешествие молодого Костиса от востока к полудню. СПб., 1801; Наставление мудрого испытанному другу. СПб., 1803 (2-е изд. — СПб., 1817); Важнейшие иероглифы человеческого сердца. СПб., 1803. Ч. 1—2 (2-е изд. — СПб., 1816); Ночи, или Беседы мудрого с другом. М., 1804 (2-е изд. — СПб., 1816); Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет. СПб., 1804; Ключ к таинствам натуры. СПб., 1804 (2-е изд. — СПб., 1821); Отрывки из сочинений Эккартсгаузена (СПб., 1803); О философской кислоте, яко вернейшем средстве против гнилости (СПб., 1811); Наука числ. СПб., 1815. Ч. 1—2 (2-е изд. — СПб., 1816).

[64]Речь идет о «Пастырском послании к истинным и справедливым св. кк. (свободным каменщикам. — *Коммент.*) древней системы» (СПб., 1806).

[65]Книга «Предварительное понятие к познанию натуры» (СПб., 1819) была переведена с французского Е.Г. Чиляевым; Лабзин лишь издал ее.

[66]Речь идет о книге «Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христа» (СПб., 1820), переведенной с французского языка правителем дел Комиссии духовных училищ Иваном Ястребцовым. Она вышла дважды в течение полугода и рассылалась за счет комиссии в духовные училища. Оригинал — сочинение швейцарского офицера на французской службе Б.Л. Мюральта (1665—1749) «L'Instinct divin recommandé aux hommes» (Londres [i.e. Zurich], 1753; 2-е изд. — 1790). В *Библиотеке* имеются два экземпляра русского перевода с разными датами цензурных разрешений: № 1278 — от 25 марта (с владельческой записью Дмитриева на контртитуле и его пометой на чистой странице перед вторым форзацем: «В Blatter Мейера, кн. 6 стран. 23 сказано, что сочинитель сей

книги Muralt») и № 1279 — от 7 сентября 1820 г. (на авантитуле владельческая запись: «Алексей Масленников»); обе книги имеют многочисленные маргиналии Дмитриева.

[67]Карамышев Александр Матвеевич (1744—1791) — ученый, член Вольного экономического общества и Берлинского общества любителей естествоиспытания, автор диссертации о сибирских растениях, написанной под руководством К. Линнея; член-корреспондент Академии наук (с 1779 г.); преподаватель химии и металлургии в Горном училище и маркшейдер при Берг-коллегии (с 1773 по 1778 г.), директор конторы Ассигнационного банка в Иркутске (в 1779—1789 гг., с перерывом в 1780—1781 гг. — на время пребывания в должности начальником Нерчинских горных заводов), с 1790 г. — коллежский советник в горной по Колывано-Вознесенским заводам экспедиции. Автор статей по естествознанию и сельскому хозяйству в «Трудах Вольного экономического общества» и «Новых ежемесячных сочинениях».

[68]Согласно Гюлистанскому (1813) договору, подводившему итог начавшейся в 1804 г. русско-персидской войны, его условия могли быть пересмотрены. С этой целью в конце 1814 г. в Петербург прибыло персидское посольство, которое находилось в российской столице до 1816 г. включительно.

[69]*Гульковский Михаил Константинович* (1799—1865) — известный московский врач, знакомый Аксаковых, П.Я. Чаадаева (после объявления философа сумасшедшим должен был регулярно освидетельствовать его по распоряжению властей и исполнял это тягостное поручение чрезвычайно тактично).

[70]*Базилев* Иван Васильевич — в 1820-х гг. учитель истории в симбирской гимназии.

[71]*Карниолин-Пинский* Матвей Михайлович (1796—1867) — поэт, критик; учитель симбирской гимназии (1816—1823), член ложи «Ключ к добродетели» (1821). С 1823 по 1831 г. жил в Москве, принимал активное участие в литературной и театральной жизни, с 1825 г. служил в канцелярии московского генерал-губернатора. Позже чиновник Министерства юстиции, сенатор (1850).

[72]*Маздорф* Александр Карлович (ок. 1790 — 1820) — поэт. В 1810-е годы в чине титулярного советника служил частным приставом в Симбирске, вышел в отставку в 1817 г.; умер от чахотки. Общение Дмитриева с ним могло происходить в конце 1810-х годов, а не после женитьбы мемуариста (к этому времени Маздорф уже умер).

[73]Басни Маздорфа опубликованы: ВЕ. 1811. № 12; 1812. № 5; 1814. № 6; 1815. № 8, 14; 1817. № 1, 7, 8, 23; 1818. № 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 17, 19, 21, 22 и др. Признательность Маздорфа за сделанные в его пользу пожертвования выражена в его «Письме к редактору “Вестника Европы”» (ВЕ. 1818. № 6; объявления об отчаянном положении поэта и его семейства, сборе средств см. также: ВЕ. 1820. № 8. С. 324; Соревнователь просвещения и благотворения. 1820. № 1. С. 112, Благонамеренный. 1819. № 16. С. 262; 1820. № 4. С. 283—284, № 9. С. 208 и 213). Среди помогавших Маздорфу был Д.И. Хвостов.

[74]*Дмитриев М.* Стихотворения. М., 1830. Ч. 1—2.

[75]*Бестужев* Александр Александрович (1797—1837) — прозаик, поэт, декабрист.

[76]Взгляд на старую и новую словесность в России // Полярная звезда на 1823 г. СПб., 1822. С. 31.

[77]В «Полярной звезде» на 1824 г. напечатаны два стихотворения Дмитриева: «Лес» и «Песня»; тогда же, по предложению Рылеева, Дмитриев был избран членом ВОЛРС. Однако Бестужев принял сторону Вяземского в его полемике с Дмитриевым о романтиз-

ме и «Бахчисарайском фонтане» (см. его письмо к Вяземскому от 7 мая 1824 г.: Лит. наследство. Т. 60, кн. 1. М., 1956. С. 218), и издатели «Полярной звезды», видимо, охладели к Дмитриеву, что сказалось в отзыве Бестужева о прологе «Торжество муз»: «В нем, хотя форма и очень устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли» (Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 г. // Полярная звезда на 1825. СПб., 1824. С. 18; в *Библиотеке* имеется экземпляр этого выпуска альманаха (№ 8927) с дарственной надписью: «Михаилу Александровичу Дмитриеву. От издателей»: *Анохина Т.Г.* Дарственные надписи на книгах библиотеки Дмитриевых // Рукописная и печатная книга в фондах Научной библиотеки МГУ. М., 1973. С. 104). В 1825 г. Дмитриев через С.Д. Нечаева передавал Бестужеву и Рылееву письмо и какое-то стихотворение для альманаха на 1826 г. «Звездочка» (см. две его записки к Нечаеву: РГИА. Ф. 1005. Оп. 1. № 135. Л. 15, 16).

[78]*Афанасьев* Александр Николаевич (1826—1871), *Бессонов* Петр Алексеевич (1827—1898) — известные историки-фольклористы. Последний — издатель сборника «Калики перехожие» (СПб., 1861—1863. Ч. 1—2). Из трудов Афанасьева в *Библиотеке* имеются 2-й и 4-й выпуски «Народных русских сказок» (М., 1856—1858) и серия статей «Русские журналы 1769—1774 годов» (вырезки из «Отечественных записок» —1855. № 3—5).

[79]Повесть А.А. Бестужева «Роман и Ольга» была напечатана в «Полярной звезде» на 1823 год (СПб., 1822). В *Библиотеке* имеются три экземпляра повести «Поездка в Ревель» (СПб., 1821) и лирическая стихотворная повесть «Андрей, князь Переяславский» (М., 1828).

[80]*Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852) — романист, комедиограф; приятель Дмитриева (подробнее об их отношениях см. в гл. 10). Его сочинения широко представлены в *Библиотеке*: исторические романы «Аскольдова могила» М., 1833. (Ч. 1—3), «Брынский лес» (М., 1846. Ч. 1—2) и «Кузьма Петрович Мирошев» (М., 1842. Ч. 1—4), цикл очерков «Москва и москвичи» (М., 1842—1850. Выходы 1—4), а также многочисленные драматические произведения: «Комедия против комедии, или Урок волокитам» (СПб., 1816), «Роман на большой дороге» (СПб., 1819), «Вечеринки ученых» (СПб., 1820), «Добрый малой» (СПб., 1820), «Урок холостым, или Наследники» (М., 1822), «Г-н Богатонов, или Провинциал в столице» (М., 1823), «Деревенский философ. Комедия-водевиль в одном действии» (М., 1823), «Благородный театр» (М., 1828), «Недовольные» (М., 1836), «Поездка за границу» (М., 1850).

[81]*«Полярная звезда»* — альманах, издававшийся К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым в Петербурге. «Полярная звезда» на 1823 год вышла в конце 1822 г.; на 1824-й — в 1823; на 1825-й — в 1824 г.

[82]*Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789—1859) — журналист, прозаик. В *Библиотеке* имеются его «Воспоминания» (СПб., 1846—1849. Ч. 1—6) и роман «Димитрий Самозванец» (СПб., 1830. Ч. 1—4).

[83]*Клаурен* Генрих (настоящее имя Карл Готлиб Гейн; 1771—1854) — немецкий писатель-романтик. В *Библиотеке* есть его сочинение «Das Schlachtschwert» (Dresden, 1825).

[84]*«Северные цветы»* — альманах А.А. Дельвига (1798—1831), выходивший в 1825—1831 гг. в Петербурге. Последняя книжка была издана А.С. Пушкиным в 1832 г. в пользу родственников Дельвига.

[85]«Альманашный период» в русской литературе длился приблизительно одно десятилетие (начиная с 1823 г.). Подробнее о бытовании альманахов, причинах их расцвета и

упадка см., например: *Кашин Н.П.* Альманахи двадцатых—сороковых годов // Книга в России. Ч. 2. М., 1925. С. 99—138; Skrunda W. Na marginesach wielkiej literatury: Ewolucja rosyjskich almanachow literackich lat 1794—1852. Wrocław, 1974; *Рейтблат А.И.* Литературный альманах 1820—1830-х гг. как социокультурная форма // Новые безделки. М., 1996. С. 167—181.

[86]Minerva. Taschenbuch für das Jahr [1809—1833] (Th. 1—23. Leipzig, bei Gerhard Fleischer d. Jung) — литературный альманах, включавший стихи, прозу и «мелочи»: шарады, палиндромы, логогрифы; изящное издание в двенадцатую долю листа с золотым обрезом и гравюрами (в томике на 1809 г. их 8, на 1812-й — 9, на 1813-й — 10). В *Библиотеке* имеются выпуски за 1809—1827, 1829 гг.

[87]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «18 марта 1864. Москва».

Глава 10

[1]*Аксаков Сергей Тимофеевич* (1791—1859) — писатель, литературный и театральный критик, цензор. В период с августа 1820 г. по август 1821 г. жил в Москве, играл в любительских спектаклях у Кокошкина и (зимой 1820—1821 гг.) у Долгоруких (*Аксаков.* Т. 2. С. 43—46). В этот сезон они шли наиболее интенсивно и продолжались до Великого поста (*Долгорукий.* 1863. С. 141—145). В РГБ сохранился экземпляр Стихотворений 1830 с дарственной надписью на приплетенном листе ч. 1: «Любезному другу Сергею Тимофеевичу Аксакову в знак искренней дружбы Мих. Дмитриев» (шифр Е 100/637).

[2]*Писарев* Александр Иванович (1803—1828) — драматург, автор многих популярных в свое время водевилей, поэт-сатирик. *Павлов* Николай Филиппович (1803—1864) — прозаик, публицист, издатель. По свидетельству Аксакова, Писарев, учась в Благородном пансионе, уже был ценим товарищами за свое литературное дарование (*Аксаков.* Т. 3. С. 49). Первая выявленная публикация Писарева — «Сцена из Метромании» (ВЕ. 1819. № 23/24; перевод фрагмента комедии А. Пирона), Павлова — басня «Блестки» (ТОЛРС. 1823. Ч. III. С. 257). В составе *Библиотеки* из сочинений Аксакова сохранились оттиски статей «Несколько слов о М.С. Щепкине. По случаю наступающего пятидесятилетия его театрального поприща» (МВед. 1855. № 143) и «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» (Москвитянин. 1854. № 11 — № 8766, с дарственной надписью автора), а также «Биография М.Н.Загоскина» (М., 1853), «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах» (М., 1855) и «Записки об уженье рыбы» (М., 1856). Из произведений Павлова: два экземпляра статьи «Биограф-ориенталист» (М., 1857 — оттиски из «Русского вестника» [1857. № 6]) и (в виде вырезок из того же журнала) пространный отзыв о комедии В.А. Соллогуба «Чиновник» (1856. Т. III—IV) и критическая статья «Вотяки и г. Дюма» (1858. Т. XVI; № 9627 — с дарственной надписью автора). Сочинения Писарева представлены более широко: «рассуждение из класса красноречия» «О нравственных качествах поэта» (М., 1821 — видимо, одно из самых ранних сочинений Писарева), перевод из Ж. Делиля «Бессмертие души. Дифирамб» (М., 1820; № 708 — с инскриптом «Михаилу Александровичу Дмитриеву от кающегося переводчика»), поэма «Выкуп Оссиана» (М., 1824), полемическая статья «Анти-Телеграф, или Отражение несправедливых нападений г-на Полевого» (М., 1826), а также

водевили: «Лукавин» (М., 1823), «Поездка в Кронштадт» (М., 1824), «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» (М., 1824), «Волшебный нос, или Талисманы и финики» (М., 1825), «Хлопотун, или Дело мастера боится» (М., 1825), «Пятнадцать лет в Париже, или Не все друзья одинаковы» (М., 1828.)

[3]Еще в период учебы в гимназии и университете в Казани (1801—1807) Аксаков увлекся театром, много играл в любительских спектаклях, выступал как декламатор; некоторое время возглавлял университетский театральный кружок. Переехав в 1811 г. в Москву, сблизился с существовавшим там литературно-театральным сообществом, объединявшим Н.П. Николева, Я.Е. Шушерина, Н.И. Ильина, Ф.Ф. Кокошкина, Н.М. Шатрова). В это же время выступил как переводчик пьес: «Дон-Карлос» Шиллера, «Школа мужей» Мольера (с посвящением А.С. Шишкову; премьера прошла в Петербурге в мае 1819 г., опубликовано: Полное собрание сочинений С.Т. Аксакова. СПб., 1886. Т. 4. С. 249—307; впоследствии была переработана автором и с успехом представлена в Москве 27 января 1828 г. в бенефис М.С. Щепкина).

[4]*Лагарп* Жан Франсуа де (1739—1803) — французский писатель, теоретик и историк искусства. Его трагедия «Philoctète» была напечатана в 1781 г. Перевод Аксакова вышел в 1816 г. в Москве под названием «Филоктет. Трагедия в трех действиях, в стихах, сочиненная на греческом Софоклом, с греческого на французский переложенная Лагарпом, по-русски переведенная Сер-м Ак-вым». «Рецензию» Н.И. Греча (цитату из трагедии Вольтера «Эдип», 1718) см.: Сын Отечества. 1817. № 5. С. 200. О влиянии этого отклика на литературную репутацию Аксакова свидетельствует, например, письмо П.А. Вяземского к А.И. Тургеневу от 1 января 1828 г.: «Глупец Аксаков, le Philoctète est-ce vous, не пропустил моей статьи» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 175).

[5]*Буало* Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма; сатира X («На женщин») сочинена в 1693 г. Его сочинения в *Библиотеке* представлены «Осьмой сатирой» в переводе М. Зиновьева (М., 1822) и трактатом «Наука о стихотворстве» (в стихотворном переводе Д.И. Хвостова. СПб., 1830). Впоследствии Аксаков отзывался о своем труде («Десятая сатира Буало» — М., 1821, с посвящением Ф.Ф. Кокошкину) иронически (*Аксаков*. Т. 3. С. 50—51), хотя среди современников он и пользовался некоторым успехом. О «склонении» сатир и посланий французского классика на русские нравы подробнее см.: *Песков А.М.* Буало в русской литературе XVIII — первой трети XIX века. М., 1989. С. 76—80. Сам Аксаков вспоминал позже, что приспособление иноязычного текста к русским реалиям представлялось литераторам в описываемое время наиболее адекватным способом обращения с оригиналом: «Казалось, так лучше, понятнее, сильнее произведет впечатление на читателя, а при том — все так делали» (*Аксаков*. Т. 3. С. 51).

[6]Большой (с флигелем) дом Кокошкина на Воздвиженке существовал до 1941 г., когда был разрушен прямым попаданием бомбы (*Благово*. С. 414).

[7]В 1809 г. Кокошкин женился на Варваре Ивановне Архаровой (1786—1811); ее памяти посвящена элегия К.Н. Батюшкова «На смерть супруги Ф.Ф. К<окошки>на» (1811). Его сестра — Кокошкина Аграфена Федоровна (ум. 1822).

[8]О кокошкинских обедах см. также: *Милюков А.П.* Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 2, 12—13, 22—24; *Куликов*. № 1. С. 8.

[9]Аксакова (урожд. Заплатина) *Ольга Семеновна* (1793—1878) — с 1816 г. жена С.Т. Аксакова. Аксаков *Константин* Сергеевич (1817—1860) — впоследствии публицист, критик, поэт; один из идеологов славянофильства.

[10]*Новинское* — район Москвы между Кудринской площадью и Смоленским рынком на западе и Москвой-рекой на востоке. Название получил от Новинского (Нового) Введенского монастыря, упраздненного еще в XVIII в. Не исключено, что Аксаковы жили в районе Сенной площади и в конце 1830-х гг. Во всяком случае, сохранилось свидетельство о том, что напротив их дома «стояли большие весы и валялись клоки сена на площади» (*Панаева А.Я.* Воспоминания. М., 1986. С. 74). *Несвицкая* Мария — бригадирша, владелица дома в 1-м квартале Арбатской части.

[11]Слово «славянофил» («славенофил») Дмитриев, по-видимому, употребляет в самом общем и отличном от современного смысле: как принадлежность к широкому и многостороннему общественному течению, акцентировавшему внимание на своеобразии России и русского народа в сравнении с Западной Европой. Разбор эволюции этого термина см.: *Цимбаев Н.И.* Славянофильство. М., 1986. С. 5—55. Определение славянофилов как «либералов и преобразователей» довольно точно характеризует их общественно-политические взгляды. О кружке славянофилов и месте в нем различных его членов см. также в гл. 20.

[12]К концу 1823 г. Загоскин написал семь комедий, и они с успехом шли на сценах обеих столиц. Прозаическая комедия «Добрый малой» (СПб., 1820) была поставлена годом ранее. Не исключено, что Дмитриев слышал ее в авторском чтении у Долгоруких в конце мая или начале июня 1821 г. (*Загоскин.* Т. 2. С. 692).

[13]Речь идет о составленном И.И. Татищевым «Полном французско-российском словаре», с конца XVIII в. по 30-е гг. XIX в. выдержавшем около десятка изданий. Об изучении французского языка Загоскиным см. также: *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 154—155. Ср. возражения и уточнения сына писателя — С.М. Загоскина (Исторический вестник. 1901. № 1. С. 47). Слова «une femme» (женщина), «une maison» (дом) по-французски женского рода; Загоскин, если верить Дмитриеву, неизменно путался в роде этих существительных: «<...> он чрезвычайно любил говорить на этом языке, и все с одними и теми же ошибками: le maison, la public и даже un femme» (*Дмитриев М.А.* Воспоминания о М.Н. Загоскине / Публикация О.А. Проскурина // *Загоскин М.Н.* Избранное. М., 1988. С. 440).

[14]Имеется в виду популярный свод географических и историко-этнографических материалов: «История о странствиях вообще по всем краям земного круга, соч. Прево, сокращенная новейшим расположением чрез господина Ла-Гарпа <...> Пер. с фр. Михайло Веревкин» (М., 1782—1787. Ч. 1—22).

[15]*Коллежский асессор* — чин 8-го класса в Табели о рангах; *титулярный советник* — 9-го класса. Об экзамене на звание коллежского асессора, который вводился указом от 6 августа 1809 г., см. примеч. 2 к гл. 6. Экзамен в университете Загоскин сдавал в ноябре или начале декабря 1821 г. (*Загоскин.* Т. 2. С. 706, 708).

[16]Васильцовская Анна Дмитриевна (1792—1853) — жена Загоскина с 1816 г. Сведений о ней сохранилось немного (в их числе см. мемуары ее сына С.М. Загоскина: Исторический вестник. 1900. № 1. С. 48—49). В памяти С.В. Энгельгардт, посещавшей дом Загоскиных в 1830-е гг., она запечатлелась как «небольшого роста худощавая женщина со строгим профилем и смуглым лицом, увядшая, больная, но спокойная, кроткая, со светлой улыбкой на губах. Она вообще мало говорила» (*Энгельгардт С.В.* Из воспоми-

наний // Куранты. М., 1989. Вып. 3. С. 366). *Новосильцев Дмитрий Александрович* (1758 или 1759 — 1835) — отставной бригадир; его дом (Пречистенская часть, квартал 3, № 307) находился во Власьевском переулке. Новосильцев долгое время считал своего зятя «ничтожным молодым человеком без состояния и общественного положения» (*Загоскин С.М.* Указ. соч. С. 50).

[17]В Казанской гимназии и Казанском университете С.Т. Аксаков учился соответственно в 1801—1805 и 1805—1807 гг. В своих «Воспоминаниях» (М., 1856) Аксаков неоднократно сетует на пробелы в своем гимназическом образовании, а на последних страницах признается: «Мало вынес я научных сведений из университета <...> Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах и в литературных занятиях» (*Аксаков.* Т. 2. С. 162). Однако высказывание Дмитриева нельзя не признать чересчур резким.

[18]Т.е. любителем (от *фр.* amateur).

[19]О грандиозном успехе романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (М., 1829) подробно см.: *Барсуков.* СПб., 1889. Кн. 3. С. 1—2, 117; см. также: Погодин — Шевыреву. № 6. С. 130, 132—133, 138; [*Шаховской А.А.* Письмо к С.Т. Аксакову от 8 января 1830 г.] // РА. 1873. Кн. 1. С. 0472—0473; *Бакунин М.А.* Собр. соч. и писем. М., 1934. Т. 1. С. 42; *Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М., 1897. С. 81; М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 180, 182; *Соллогуб.* С. 382. Н.И. Куликов вспоминал об «увлечении при чтении романа всей образованной публикой, даже всей грамотной Россией» (*Куликов.* № 5. С. 54). Второе издание, выпущенное вскоре после первого (всего при жизни автора вышло восемь изданий), разошлось чрезвычайно быстро, не более чем в полмесяца (только за первый день было продано 700 экземпляров: *Загоскин.* Т. 2. С. 727). Роман «Рославлев, или Русские в 1812 году» вышел в Москве в 1831 г. Право напечатать два издания этой книги Загоскин продал за 40 тыс. рублей: «не за вексель, но на чистые деньги» (Там же. С. 729).

[20]В сборнике литературных анекдотов М.Н. Лонгинова (Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056. Л. 33 об. — сообщено С.И. Пановым) этот случай пересказан (явно со слов Дмитриева) с уточнением дома, в котором происходило чтение, — «у Вельяминовых»; сообщено также, что «одна дама» — это свояченица Дмитриева Анисья Федоровна (в замужестве Кологривова; о ней см. ниже, в примеч. к данной главе).

[21]Загоскин приобрел не сохранившийся до нашего времени особняк в Гагаринском пер. (на месте нынешних домов № 29—31). В 1839 г. он владел также домом в Денежном пер. (Пречистенская часть, № 285). Под *парком* имеется в виду Петровский парк, разбитый в 1827 г. вокруг Петровского путевого дворца по проекту архитектора А.А. Менеласа (строительством руководил А.А. Башилов; отсюда названия улиц Старая и Новая Башиловка). В XIX в. парк находился за пределами Москвы; в настоящее время — в северо-западной части города (в 1927—1928 гг. на части территории парка был выстроен стадион «Динамо»). По некоторым сведениям, «Загоскин накопил значительную сумму из денег, сбереженных от доходов Большого театра, и построил в Петровском парке небольшой, но прелестный театр. Ложи были обиты голубым бархатом; по вечерам публика собиралась там или в вокзале, где танцевали под звуки оркестра» (*Энгельгардт С.В.* Из воспоминаний. С. 366). Со словами Дмитриева о том, что Загоскин все *«нажил своим умом»*, перекликается замечание Е.А. Баратынского (в письме к И.В. Киреевскому; октябрь 1831 г.) о своеобразии таланта Загоскина: «Все его сочинения вместе показывают

дарование и глупость» (Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского. 1800—1844. М., 1998. С. 275).

[22]В письме к Гоголю от 17 апреля 1844 г. Аксаков признавался: «Я боюсь, как огня, мистицизма <...> Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы» (*Аксаков*. Т. 3. С. 298).

[23]*Архаров Иван Петрович* (1744—1815) — генерал от инфантерии, в 1796—1800 гг. был московским генерал-губернатором; славился своим гостеприимством.

[24]Кокошкин как литератор работал во многих жанрах, однако был известен главным образом переводами и переделками с французского басен и комедий (многие из которых ставились на московской сцене), а также стихами «на случай». Однако «не последняя» роль Кокошкина определялась, в первую очередь, тем, что он был важной фигурой московского литературного быта, о чем Дмитриев пишет ниже: общался почти со всеми литераторами старшего поколения, поддерживал молодых авторов, активно участвовал в организации и деятельности Общества любителей российской словесности, пытался выступать законодателем литературных и театральных мнений, а в 1820-е гг. превратил свой дом в литературно-театральный салон (подробнее о литературном творчестве Кокошкина см.: *Рогов К.Ю.* Кокошкин Федор Федорович // РП. Т. 3. С. 18—19).

[25]Отрывок из пятиактной комедии Ж.Б. Мольера (1622—1673) «Мизантроп» (1666) в стихотворном переводе Кокошкина читался в мае (не ранее 20 числа) 1814 г. на заседании «Беседы любителей русского слова»; комедия была сыграна на московской сцене 13 декабря 1815 г. (отд. изд. — М., 1816) и периодически возобновлялась вплоть до 1834 г. (в Петербурге — до 1840-х годов). О том, что этот перевод ставил Кокошкина на «видное место в русской драматической литературе», вспоминает также В.А. Соллогуб (*Соллогуб*. С. 349). Высокую оценку переводу дал Н.И. Греч (Учебная книга российской словесности. СПб., 1822. С. 608).

[26]Язвительное замечание Дмитриева может быть откликом на пассаж из статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860), где английский драматург назван «гениальным писателем», который имеет «всемирное значение» и «стоит вне обычного рода» авторов. В апреле 1864 г., т.е. во время работы Дмитриева над данной главой мемуаров, отмечалось 300-летие со дня рождения Шекспира. В связи с этим в феврале и марте в периодических изданиях печатались многочисленные статьи о нем (в том числе принадлежавшие перу А.В. Дружинина и А.А. Григорьева, к которому Дмитриев относился чрезвычайно негативно).

[27]*Инфлекции* — модуляции, оттенки голоса (от *фр.* inflexions).

[28]Церковь св. Бориса и Глеба (известна с XIV в., в 1763—1767 гг. перестроена зодчим К.И. Бланком) стояла на углу Воздвиженки и бульвара, на месте теперешних проезда и газона между кинотеатром «Художественный» и рестораном «Прага». Снесена в 1930 г. (*Паламарчук*. Т. 2. С. 206). 6 августа 1997 г. на Арбатской площади (перед фасадом Министерства обороны, т.е. существенно южнее того места, где находилась прежняя церковь) был открыт Борисоглебский храм-часовня (арх. Ю. Вылегжанин и П. Чутчиков).

[29]Первая лекция Давыдова по занятии им кафедры философии Московского университета в 1826 г. (О возможности философии как науки. При открытии философских чтений в Московском университете. М., 1826) привела к запрещению курса и закрытию кафедры (в *Библиотеке* — № 1140; на форзаце: «Милостивому Государю, Михайле Алек-

сандровичу Дмитриеву, в знак истинного и совершенного уважения. Ив. Давыдов»). Упомянутая книга Давыдова — «Опыт руководства к истории философии. Для благородных воспитанников Университетского Пансиона» (М., 1820) — имеется в *Библиотеке*. Другие сочинения Давыдова в книжном собрании Дмитриевых: «Начальные основания логики...» (М., 1821); «Система российской словесности» (М., 1832); «Чтение о словесности. Изд. 2-е, исправленное. Курс 1—4» (М., 1837—1843; 2 экземпляра). *Гностицизм* — философское течение I—II вв., в основе которого лежит мистическое учение о знании, достигаемом путем откровения. *Александрийская школа* в широком смысле — совокупность философских направлений I в. до н.э. — VI в. н.э. (иудейско-александрийская философия, неопифагореизм, неоплатонизм и др.) с ярко выраженной мистической составляющей. Дмитриев ставит в вину Давыдову отсутствие внимания к этим учениям потому, что сам он именно в мистике усматривал общее начало как философии, так и религии и личного опыта духовной жизни. В *Библиотеке* имеются сочинения Жака Маттера, специально посвященные этим философским школам: «Histoire critique du gnosticisme, et de son influence sur les sectes religieuses et philisophiques des six premiers siècles de l'ère chretienne» ([T. 3] Planches. Paris, 1828. T. 1—2) и второе, полностью переработанное издание книги «Histoire de l'Ecole d'Alexandrie comparée aux princi pales écoles contemporaines» (Paris, 1840. T. 1—2).

[30]*Дежерандо* Жозеф Мари (1772—1842) — французский общественный деятель, историк философии. Автор многотомной «Histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines» (1-е изд. — 1804; 2-е, расширенное — 1822—1823; окончание труда увидело свет в 1847 г., уже после смерти автора), экземпляр которой находится в книжном собрании Дмитриевых. Там же имеются и другие сочинения Дежерандо: «Du perfectionnement moral» (P., 1824. T. 1—2), «Le visiteur du pauvre» (Bruxelles, 1828). Дмитриев мог много слышать о Дежерандо и его трудах от А.И. Тургенева, который был хорошо знаком с французским писателем (Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 206, 253).

[31]*Кузен* (Кузень) Виктор (1792—1867) — один из создателей так называемой «эклектической» философии, в рамках которой была сделана попытка освоить и объединить идеи многих мыслителей, в том числе Канта, Шеллинга и Гегеля. Упоминаемое сочинение — «Cours d'histoire de la philosophie» (1827). Дмитриев мог читать его в парижском издании 1829 г., экземпляр которого находится в *Библиотеке* вместе с другими книгами французского философа: «Fragmens philosophiques» (Paris, 1826; № 4455, с владельческой записью мемуариста), «Nouveaux fragments philosophiques» (Paris, 1828), «Cours de philosophie» (Paris, 1828), «Rapport sur l'état de l'instruction publique» (Paris, 1833).

[32]Здесь Дмитриев, по-видимому, выступает не против философии Шеллинга как таковой, а лишь против несвоевременности ее изучения в пансионе. Фраза о «неучах» относится, как явствует из пометы на полях рукописи, к московскому литератору Виктору Степановичу Чурикову и князю Владимиру Федоровичу Одоевскому (1804—1869), писателю и мыслителю, испытавшему сильнейшее влияние шеллингианства; Дмитриев питал к последнему устойчивую неприязнь. Известна его эпиграмма на Одоевского («В нем страстная к учению охота / От схоластических избавившись ходуль, / Он в Шеллинге открыл, что Бог есть *нуль*, / А Грибоедов — *что-то*!»: Русская эпиграмма. С. 293), связывающая два разновременных и разноплановых эпизода: 1) чтение Одоевским 12 апреля

1823 г. на заседании кружка С.Е. Раича переведенной им главы из «Натурфилософии» Л. Оккена (последователя Шеллинга) «О значении нуля» и 2) его статью («Замечания на суждения М. Дмитриева о комедии "Горе от ума"» // МТ. 1825. № 10. С. 1—12; подпись: У.У.), служащую ответом на выпад Дмитриева в «Вестнике Европы» («Замечания на суждения "Телеграфа"» // 1825. № 6).

[33]Воспитанники, окончившие университетский благородный пансион, обычно выпускались в гражданскую службу с чином 12-го класса (губернский секретарь), лучшие ученики — с чином 10-го класса (коллежский секретарь), как выпускники университетов.

[34]См.: *Берега Дона* // Сочинения в прозе и стихах. 1822. Ч. 2, кн. 5. С. 189—194; *Бедринское озеро* // Там же. С. 173—178; Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. Ч. 3. С. 84; *Марий на развалинах Карфагена* // ТОЛРС. 1821. Ч. 19, кн. 30. С. 28—33; Соревнователь просвещения и благотворения. 1821. Ч. 3. С. 92—97, 299—303.

[35]Стихотворная комедия Писарева *«Поездка в Кронштадт»* (поставлена в 1823 г., издана в 1824 г.) — вольная переделка прозаической комедии А.Ж.М. Ваффлара и Фюльжанса (Ф.Ж.Д. Бюри) «Le Voyage à Dieppe» («Поездка в Дьепп», 1821). В комедии «Лукавин» (поставлена в 1823 г., издана в 1824 г.) использован сюжет комедии английского драматурга Ричарда Бринсли Шеридана (1751—1816) «Школа злословия» (1780), переведенной в прозе И.М. Муравьевым-Апостолом (Ошибки, или Утро вечера мудренее. СПб., 1794; впервые сыграна на сцене Эрмитажного театра в Петербурге 27 февраля 1793 г.). *Муравьев-Апостол Иван Матвеевич* (1768—1851) — дипломат и писатель; в 1796—1805 гг. — посланник в Гамбурге, Копенгагене и Мадриде, впоследствии числился при Коллегии иностранных дел и состоял членом Главного правления училищ (1829—1840); в течение ряда лет находился в числе сенаторов 1-го отделения 5-го департамента (1827—1831), затем был переведен в «неприсутствующие сенаторы»; тайный советник, действительный камергер (1840). Член Российской академии (с 1811 г.) и «Беседы любителей русского слова».

[36]Подразумеваются остроумные, зачастую насыщенные полемическим содержанием водевильные куплеты Писарева (некоторые собраны в кн.: Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX века. М.; Л., 1964. С. 912—919) и его стихотворения: «К молодому любителю словесности» (ВЕ. 1821. № 7/8. С. 174—183), «Второе послание к молодому любителю словесности» (ВЕ. 1822. № 2. С. 208—218).

[37]Перевод Писарева печатался неоднократно под разными названиями: «Пиршество греков-победителей» (Сочинения в прозе и стихах. 1822. Ч. 1, кн. 2. С. 119—125), «Пиршество победы» (Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. Ч. 1. С. 72—78; автограф с посвящением Н.И. Гнедичу — ОР РНБ. Ф. 777. Оп. 1. № 1622). Это стихотворение (буквально — «Праздник победителей»), сочиненное Шиллером в 1803 г., переводили многие поэты, в том числе А.М. Мансуров (Торжество победителей // ВЕ. 1822. № 8. С. 283—284), Жуковский (Торжество победителей // Северные цветы на 1829 год. СПб., 1829. Отд. II. С. 3), Ф.И. Тютчев (Поминки // Раут. 1851. С. 75). Для собрания сочинений Шиллера (СПб., 1857—1861. Т. 1—7) Дмитриев в 1854 г. послал Н.В. Гербелю, готовившему это издание, перевод «Das Siegesfest», выполненный Писаревым (РГИА. Ф. 777. Оп. 2. № 61. Л.10).

[38]*Меценат* Гай Цильний (69—8 г. до н.э.) — римский всадник, покровитель искусств и художеств.

[39]Кокошкин возглавлял московскую дирекцию императорских театров в 1823—1831 гг.

[40]Ср.: «Молодой Писарев очень доволен твоим ласковым письмом. Он одарен истинным талантом, и притом малый очень хороший, но молод, любит острить, и так как его здесь очень балуют, то боюсь, чтобы он не пошел по стопам автора «Руслана», которому вряд ли уступает в таланте» (Из письма к Н.И. Гнедичу от 20 декабря 1821 г.: *Загоскин.* Т. 2. С. 709).

[41]Сохранилось пять коротких и вполне дружеских записок Писарева к Загоскину за 1820-е гг. В одной из них речь идет о том же литературном круге, который обрисовывает Дмитриев: «С Кокошкиным я еще не видался, милый и любезный соперник мой на Парнасе и в Цитере; когда же увижусь, тотчас вас уведомлю. Головин зовет вас завтра к себе обедать: приезжайте с началом своей комедии. Ваш душою, сердцем и пером — Писарев» (ОР РНБ. Ф. 291. № 129. Л. 2).

[42]Первая глава «Онегина» вышла в 1823 г.

[43]*Пандемониум* (*греч.*) — сборище демонов, ад; в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай» — столица ада, место пребывания Сатаны.

[44]*Иванова* Елена Ивановна — танцовщица московских театров. Любопытные сведения о ее отношениях с Писаревым и смерти последнего содержатся в воспоминаниях П.И. Орловой-Савиной: «В то время был прекрасный переводчик водевилей и друг<их> пиес Александр Иванович Писарев, дворянин. С ним жила танцовщица Елена Ивановна Иванова. Очень милая и добрая женщина! Они любили друг друга; говорили, что А.И. хотел жениться на ней, но она, видя его болезнь (он был в сильной чахотке), всегда отклоняла это, боясь, что неудовольствия его родных за этот брак могут усилить болезнь и ускорить его смерть! Она посвящала ему всю жизнь, покоила... берегла его... но неумолимая смерть рано взяла свою жертву! И не только Ел. Ив., но все, кто знал его, жалели о потере такого доброго, честного и полезного человека!» (*Орлова-Савина.* С. 115). У Дмитриева неточность: Писарев умер 24 лет от роду.

[45]*Иванчин-Писарев* Николай Дмитриевич (1790—1849) — московский литератор, один из ближайших друзей престарелого И.И. Дмитриева, в доме которого встречался с М.А. Дмитриевым. 2 июля 1819 г. датирован автограф последнего в альбоме Иванчина-Писарева (стихотворение «Мир фантазии» — см.: Стихотворения-1830. Ч. 1. С. 71—75); известно также, что в 1830-е гг. Иванчин-Писарев навещал больного и мало выезжавшего М.А. Дмитриева (СиН. М., 1905. Кн. 10. С. 497—499) и неоднократно дарил ему свои книги, снабжая их почтительными дарственными надписями: «Сочинения и переводы в стихах» (М., 1819 — № 1420), «Вечер в Симонове» (М., 1840 — № 1419), «Взгляд на старинную русскую поэзию» (М., 1837 — № 1418). Другие его произведения в *Библиотеке* — еще один экземпляр «Взгляда...» с инскриптом И.И. Дмитриеву (№ 1417), «День в Троицкой лавре» (М., 1840), «Утро в Новоспасском» (М., 1841) и поэтический сборник «Чем богат, тем и рад» (М., 1832). Об Александре Александровиче *Писареве* см. примеч. 24 к гл. 2. Его книга «Военные письма и замечания, наиболее относящиеся к незабвенному 1812-му году» вышла в Москве в 1817 г. Реплика мемуариста доныне звучит злободневно: так, А.А. и А.И. Писаревы спутаны, например, в комментарии Л.Г.Фризмана к изд.: Литературная критика 1800—1820-х годов. М., 1980. С. 299, а также соединены в одно лицо в подборке писем в РГИА.

[46]Характерная ошибка памяти (или описка) мемуариста. Куплет (процитирован неточно) принадлежит не Княжнину, а самому А.И. Писареву (водевиль «Дядя напрокат»; представлен в 1827 г., полностью доныне не опубликован. Два куплета из него см. в кн.: Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. С. 918—919). Дмитриев, очевид-

но, спутал водевиль Писарева с комической оперой Я.Б. Княжнина «Несчастие от кареты» (1779).

[47]*Погодин* Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, писатель и издатель. Подробнее о нем см. в гл. 16 и комментариях к ней. Погодинское собрание портретов впоследствии поступило в Императорскую Публичную библиотеку.

[48]Выполненный Павловым перевод трагедии Пьера Антуана *Лебрена* (1785—1873) был напечатан в 1825 г. в Москве под заглавием «Мария Стуарт. Стихотворный перевод французской переделки трагедии Шиллера». По имеющимся данным, премьера трагедии на московской сцене состоялась не 19, а 27 ноября 1825 г. (История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 490). У Павлова имеется стихотворение, обращенное ко второй жене мемуариста: «А.Ф. Дмитриевой, посылая ей трагедию “Мария Стюарт”» (МТ. 1828. Ч. 22. № 16. С. 519).

[49]Далее в рукописи зачеркнута незаконченная фраза: «и был даже сам актером на сцене, пока был еще воспитанником школы, но по выходе из этого звания». Павлов обучался в Театральном училище с 16 июня 1811 г. по 1 июля 1821 г. и по окончании его некоторое время действительно выступал в спектаклях. С помощью Кокошкина он добился увольнения из театра уже в феврале 1822 г., что дало ему возможность поступить на этико-политический факультет Московского университета, который он окончил в 1825 г. По свидетельству Н.И. Куликова, Павлов и А.М. Сабуров (о нем см. примеч. 73 к данной главе) посещали университет как вольнослушатели, еще будучи старшими воспитанниками; затем, «подышав театральным воздухом, он [Павлов] упросил родителей откупить его у дирекции, т.е. внести деньги за бесплатное воспитание» (*Куликов.* № 1. С. 8).

[50]В конце 1820-х — начале 1830-х гг. имя Павлова часто упоминается в переписке Вяземского (*Вильчинский В.П.* Николай Филиппович Павлов: Жизнь и творчество. Л., 1970. С. 21), однако точная дата их знакомства неизвестна.

[51]*Перфильев* Степан Васильевич (1796—1878) — жандармский генерал; начальник II (московского) округа корпуса жандармов в 1836—1874 гг., председатель Московского опекунского совета. Общение генерала с Аксаковым легко объяснить близостью Перфильева к литературным и театральным кругам. Так, например, он проявлял живой интерес к личности и творчеству Гоголя, присутствовал на праздновании пятидесятилетия театральной деятельности М.С. Щепкина в 1855 г. (см.: Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 58). Известны тесные связи семейства Перфильева с родственниками Л.Н. Толстого и его восторженный отзыв о повести «Детство» (см.: Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 43,134).

[52]*Зубов Валериан Александрович* (1771—1804) — младший из братьев Зубовых, боевой офицер; в чине генерала от инфантерии в 1796 г. возглавил получивший название «персидского» поход в Дагестан, который был прерван по воле вступившего на престол Павла I.

[53]Павлов был побочным сыном помещика Владимира Михайловича Грушецкого и вместе с сестрой Клеопатрой был в 1811 г. отпущен на волю его сыном. Сестра впоследствии вышла замуж за некоего Четверикова (эпиграмму в ее адрес, сочиненную К.К. Павловой, см.: Русская эпиграмма. С. 339).

[54]Подразумеваются пятиактные стихотворные трагедии Вольтера «Меропа» (премьера — 1743; шла в Москве с 1810-х гг. в переводе С.Н. Марина) и «Танкред» (премье-

ра — 1760; ставилась в переводе Н.И. Гнедича). Актерское прошлое Павлова (о котором он сам вспоминать не любил) зло обыграли С.А. Соболевский в эпиграмме-эпитафии «На кончину N.N.»: «Вот жизнь afериста, / Уж был человек! / Играл он Эгиста, / Играл и юриста, / Играл журналиста, / Во всё весь своей век / Играя нечисто» (Русская эпиграмма. С. 311) и Е.П. Ростопчина в сатире «Дом сумасшедших».

[55]В ноябре 1824 г. Павлов женился на мещанке А.Н. Харламовой, воспитаннице богатой московской барыни, действительной статской советницы Н.П. Квашниной-Самариной (1731—1830). Брак этот был несчастливым и непродолжительным: через несколько месяцев молодая женщина умерла (см.: *Зайцева И.А.* Павлов Николай Филиппович // РП Т. 4 — в печати).

[56]Сборник вышел в Москве в 1835 г.; включал повести «Именины», «Ятаган», «Аукцион»; последняя публиковалась еще в 1834 г. в журнале «Телескоп» (№ 9). О впечатлении, произведенном книгой на современников, и реакции критики см.: *Вильчинский В.П.* Указ. соч. С. 30—31; *Трифонов Н.А.* Повести Н.Ф. Павлова // Ученые записки кафедры русской литературы Московского государственного педагогического института им. Н.К. Крупской. М., 1939. Вып. 2. С. 69—135.

[57]*Антиной* (ум. 130) — фаворит римского императора Адриана, обожествленный после смерти. *Дромадер* — одногорбый верблюд. По другому свидетельству, Пинский «был очень красив; особенно у него были прекрасные руки» (*Орлова-Савина.* С. 57).

[58]*Паскевичева* (Пашкевичева) Авдотья Ивановна (ум. 1839); ее дочь — Александра Николаевна (ум. до 1881). *Рогачев* Федор Петрович в 1820-х гг. был членом Симбирской комиссариатской комиссии, в 1830-х гг. состоял членом, а затем президентом Казанской комиссариатской комиссии 4-го класса, впоследствии действительный статский советник (упоминание о нем, его жене и теще см.: РА. 1887. № 5. С. 53).

[59]В 1811—1816 гг. Пинский учился на казенный счет в Главном педагогическом институте и, согласно условиям, должен был выслужить в гимназии не менее шести лет, что пришлось на 1817—1823 гг. В конце этого обязательного срока он, «наскучив преподаванием, с нетерпением ждал возможности подать в отставку и настолько небрежно выполнял свои обязанности, что не раз получал замечания и выговоры от начальства» (*Безгин.* С. 46—47).

[60]*Кротков* (Кроткой) *Иван Степанович* (ум. 1867) — отставной поручик, симбирский уездный предводитель дворянства в 1808—1810 гг.

[61]Восторженные отзывы о преподавании Пинского в Театральной школе см.: *Орлова-Савина.* С. 55, 95—98, 100—101; *Шуберт.* С. 30; *Куликов.* № 1. С. 8—9. Последний пишет, что Пинский поступил в школу «не из жалованья, а надеясь принести пользу обожаемому им искусству» (С. 8).

[62]*Львова-Синецкая Мария Дмитриевна* (1795—1875) — знаменитая актриса Большого и Малого театров в 1825—1860 гг. При содействии Кокошкина перебралась в Москву из Костромы и в 1824 г. поступила на профессиональную сцену. Хозяйка литературно-театрального салона. Другую версию ее разрыва с Кокошкиным см.: *Орлова-Савина.* С. 57.

[63]*Потанчикова* Анна Семеновна (ум. не ранее 1839) — артистка балета Большого театра, любовница, а затем и законная жена Кокошкина. П.И. Орлова-Савина вспоминала, что он «женился на ничтожной и бесталантной актрисе Потанчиковой, которая также не хорошо кончила. Сошлась с племянником Ф. Ф., тоже Кокошкиным, не умела устроить свою жизнь и утопилась» (*Орлова-Савина.* С. 57). В театральной рецензии писали о ней:

«<...> хуже всех была г-жа Потанчикова <...> Нас уверяли, будто она оставила свою службу Мельпомене, по собственному сознанию своей неспособности, и мы от души порадовались благоразумию г-жи Потанчиковой. Но видя ее в новой пиэсе и в нескольких других, назначенных в репертуаре на прошедшей маслянице, уверились, к сожалению, что до нас дошли обманчивые слухи, и пожалели о своей преждевременной радости» (Молва. 1832. № 10. С. 13; резкость тона в этой заметке объясняется тем, что Кокошкин к этому времени уже покинул пост директора Императорских московских театров).

[64]*Дегай* Павел Иванович (1792—1849) — правовед (с 1831 г. директор департамента Министерства юстиции, с 1842 г. — сенатор; подробнее о его служебной деятельности см. примеч. 15 к гл. 11). Вращался в литературных и театральных кругах; хороший знакомый Бакуниных, друг М.Н. Загоскина (два письма Дегая к нему от 1828 и 1832 гг. см.: ОР РНБ. Ф. 291. Оп. 1. № 73). Известно, что в Петербурге он общался с Вяземским и Вигелем (Там же. Л. 4), посещал музыкальные вечера в салоне Виельгорских (*Виельгорский И.М.* Дневник 1838 г. — ОР РГБ. Ф. 48. Карт. 52. № 1. Л. 50). По свидетельству Куликова, инициатором перевода Пинского в Петербург был Дашков (*Куликов.* № 1. С. 8).

[65]*Гагарин Иван Алексеевич* (1771—1832) — с 1799 г. шталмейстер двора великой княжны Екатерины Павловны, с 1816 г. — шталмейстер императорского двора, сенатор с 1819 г. (в 1827 г. — во 2-м отделении 6-го департамента), член Репертуарного комитета дирекции императорских театров. *Семенова* Екатерина Семеновна (1786—1849) — выдающаяся русская трагическая актриса, жена И.А. Гагарина с 1828 г. Их дочь, Надежда Ивановна (1816 — не ранее 1857) в 1833 г. вышла за Карниолина-Пинского, принеся мужу приданое в 120 тыс. рублей. В 1837 г. оставила мужа и вернулась в Москву, к матери. В 1845 г. Пинский возбудил против жены судебное дело, обвинив ее в аморальном поведении, а именно — в беззаконном сожительстве с разными лицами. В результате он в 1853 г. добился развода и заключения бывшей супруги в монастырь, где она находилась на церковном покаянии до 1857 г. (см.: *Медведева И.Н.* Екатерина Семенова. М., 1964. С. 297). Этот процесс представлялся постыдным и другим мемуаристам («с обеих тяжущихся сторон было много грязного»: РА. 1889. Кн. 1. С. 170; цитируются мемуары М.И. Топильского, вице-директора департамента Министерства юстиции в бытность Пинского директором), которые при этом по-разному оценивали степень вины каждого из супругов. Ср.: «если б судьбе было угодно, чтоб это во многих отношениях интересное для криминалиста дело было рассмотрено в порядке нынешнего судопроизводства и отдано на суд присяжных, конечно, жена Карниолина-Пинского была бы оправдана!» (*Стародубский Н.И.* [Заметка о Гагариной] // РС. 1873. № 2. С. 268); «любя ее нежно и страстно, он с первых же дней супружества с грустию замечал в ней и нарушение приличий, и злонравие, и непокорность <...> В 1834 году она уехала в Москву на время, а в 1837 г. уже совсем оставила мужа и поселилась в Москве, состоя в связи с купцом Фирсановым. <...> До него в 1845 г. дошли положительные слухи, что жена его несколько раз, при разлуке с ним, рождала детей, скрывая и сдавая их в воспитательный дом, и что, наконец, она опять в состоянии беременности. <...> Поверенный его, некто Калайдович, горячо преследовал ее, стараясь, чтобы ее подвергнуть освидетельствованию <...> Преследование это часто переходило за пределы должного приличия и уважения к Пинской, как к женщине; посему нашлись защитники ее и справедливо укоряли Пинского в жестокосердии, и действительно, Пинский в этом деле терял иногда всякое

самообладание» (*Колмаков Н.М.* Очерки и воспоминания // РС. 1891. № 7. С. 127–128). О жизни Пинского в Петербурге см.: *Шуберт А.И.* Моя жизнь. Л., 1929. С. 88.

[66]До поступления в Главный педагогический институт Пинский учился в Смоленской гимназии.

[67]О бескорыстии Пинского пишет также Н.И. Куликов (*Куликов.* № 1. С. 9).

[68]Директором департамента Министерства юстиции Пинский был назначен в 1845 г., а сенатором стал в 1850 г.

[69]Подразумеваются или Иван Алексеевич *Максин*-старший (1791–1828; неодобрительный отзыв о его игре см.: *Аксаков.* Т. 3. С. 84), или Петр Николаевич Максин (ум. 1848), актер Малого театра с 1825 г., — второстепенные члены московской труппы. *Виноградский* Василий Петрович — актер Малого театра.

[70]Переподчинение московских театров московскому генерал-губернатору и упомянутые ниже назначения имели место в 1823 г.

[71]Это обвинение против Кокошкина выдвигал сам Дмитриев. Ср.: «Молодых дебютантов и воспитанников Театральной школы он учил, так сказать, с голоса, как учат птиц, и потому некоторые играли немножко нараспев с голосу самого Кокошкина» (*Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854. С. 116). Между тем сами воспитанники Кокошкина высоко оценивали его как театрального педагога и администратора (см., например: *Шуберт А.И.* Указ. соч. С. 32); Куликов назвал его «идеальным директором» (*Куликов.* № 1. С. 7).

[72]*Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863) — крепостной наследников графини А.А. Волькенштейн (вольную на себя и часть своего семейства получил в 1821 г. под давлением общественности). С 1805 г. выступал на провинциальной сцене (в Южной России и Малороссии); с 1823 г. — в Москве (с 1824 — актер Малого театра). О настоятельном приглашении Щепкина в московскую труппу по инициативе Кокошкина см.: *Куликов.* № 2. С. 19–20.

[73]*Сабуров* Александр Матвеевич (1800–1831) — актер Малого театра с 1824 г., выступал главным образом в водевилях. 19 ноября 1825 г. был впервые представлен водевиль А.И. Писарева «Три десятки, или Новое двухдневное приключение», где Сабуров исполнил известный куплет («Всем мил цветок оранжерейный / И всем наскучил полевой»), вызвавший бурное негодование сторонников Н.А. Полевого, против которого он был направлен (*Погодин М.* Замечания // РА. 1869. № 12. Стб. 2094). *Jeune premier* — театральное амплуа первого любовника.

[74]*Рязанцев* Василий Иванович (1800–1831) — актер Малого театра в 1824–1828 гг.; затем выступал в составе петербургской труппы.

[75]*Репина* Надежда Васильевна (1804–1867) — дочь крепостного музыканта; в 1823 г. окончила Московское театральное училище, играла в Малом театре до 1841 г., когда вышла замуж за А.Н. Верстовского.

[76]Имеются в виду «Литературные и театральные воспоминания» Аксакова, которые были опубликованы сначала в журнале «Русская беседа» (1856. Т. 4; 1858. Т. 1–3), а затем в кн.: *Аксаков С.Т.* Разные сочинения. М., 1858.

[77]*Павлов Михаил Григорьевич* (1793–1840) — физик и агробиолог, натурфилософ, специалист по сельскому хозяйству, профессор Московского университета (с 1820 г.). Один из первых популяризаторов шеллингианства в России. Имел дар последовательно и ясно излагать лекционный материал. Дмитриев упоминает его книгу «Основания физики» (М., 1833–1836. Ч. 1–2).

[78]Речь идет о знаменитом труде Шеллинга «System des transcendentalen Idealismus» (1800) и, видимо, о книге Л. Оккена «Lehrbuch der Naturphilosophie» (1809—1811; в *Библиотеке* имеется первый том этого сочинения с пометами Дмитриева — № 6765). *Оккен* (Окен; наст. фамилия Оккенфус) Лоренц (1779—1851) — немецкий ученый и философ, последователь Шеллинга.

[79]О философских статьях Дмитриева см. подробнее в гл. 16 и примеч. 1 к ней.

[80]*Надеждин* Николай Иванович (1804—1856) — профессор Московского университета, критик, редактор журнала «Телескоп» (1831—1836) с еженедельным приложением «Молва». О нем Дмитриев рассказывает также в гл. 17.

[81]О связях внутри круга Долгоруких—Вельяминовых—Дмитриевых—Бакуниных в более поздние годы некоторое представление дают произведения сыновей И.М. Долгорукого: Александра (биографическое сочинение «Александр Иванович Овер» (М., 1865); экземпляр с инскриптом «Брату от брата» имеется в *Библиотеке*, № 650; скорее всего, однако, брошюра была подарена кому-то из Долгоруких и уже потом попала к Дмитриеву) и Дмитрия. Из сочинений последнего в *Библиотеке* находится изданная без имени автора поэма «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (М., 1865; № 702, с пометами Дмитриева) и два экземпляра поэтического сборника «Звуки» (1-е изд. М., 1859 — № 679; 2-е изд., испр. и доп., М., 1860 — № 1226; на обеих книгах — дарственные надписи мемуаристу), тексты которого пронизаны печалью о разрушенной временем домашней идиллии. Ряд стихотворений имеет посвящения: Дмитриеву («Фили». С. 49—52), его дочери от брака с А.Ф. Вельяминовой-Зерновой Екатерине («Что я люблю». С. 73—74), П.М. Бакуниной (С. 69—70), А.Ф. Кологривовой («Жодочи». С. 79—82), Екатерине Ивановне Вельяминовой-Зерновой («Лес». С. 71; страницы указаны по второму изданию). Весьма вероятно, именно Е.И.Вельяминовой-Зерновой (1804—1875) посвящено стихотворение Дмитриева «К......е И......е при посылке ей Малороссийских Повестей», включенное автором в рукописный сборник стихов 1831—1832 гг. (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 11. Л. 11—12):

Вчера я чтеньем русской сказки
Вас целый вечер забавлял;
Сегодня шлет вам — ваш вассал
Малороссийские побаски!

Что остается больше мне,
Женатому, и в эти лета,
Как отложить мечты поэта
И сказки сказывать одне!

Да! если б я побольше ласки
И дружбы вам запел о чем,
Во-первых — вы родня; потом —
И то вы примете за сказки!

Итак, об этом отложить
Я вижу должно попеченье
И, оковав воображенье,
Вас просто, как сестру, любить.

Оно мне прежде было б скушно;
Но вы цветете, я отцвел —
И очень рад, что сердцем цел,
В том признаюсь великодушно.

Но вы, мой северный цветок,
Пришлите книжку мне с стихами,
Где вам подобными цветами
Заглавный назвали листок.

Не будут так оне прекрасны!
Не верю!.. верю лишь тому
Что их шипы не так опасны,
Как ваши сердцу одному!

11 апр. 1832

В фонде Бакуниных в ГАРФ (Ф. 825. Оп. 1. № 223) хранится письмо двух Екатерин (дочери Дмитриева и Вельяминовой-Зерновой) к П.М. и Ек.М. Бакуниным из Жодочей, датированное 22 ноября (б.г.) и относящееся, по-видимому, к концу 1840-х — первой половине 1850-х гг.

[82]См.: *Долгорукий*. 1863. С. 147—148. Ход работы Дмитриева над биографией И.М. Долгорукого изложен в примеч. 53 к гл. 8.

[83]Речь идет о традиционном для XVIII — первой половины XIX в. весеннем гулянье близ Новинского монастыря. На обширном поле сооружались временные балаганы, кукольные театры, цирки, качели и карусели, трактиры, чайные и т.д. Дворяне и зажиточные купцы устраивали на краю поля катания в каретах или колясках. В 1862 г. в связи с прокладкой Новинского бульвара гулянье было перенесено на Красную площадь и частично на Девичье Поле.

[84]Дмитриев женился на Анне Федоровне Вельяминовой-Зерновой (р. 1801) 10 июля 1827 г.; 15 сентября 1832 г. она скончалась. Об этом см. в гл. 16.

[85]Сведения о семействе Вельяминовых-Зерновых довольно скудны. Отец, *Федор Михайлович* (1754—1831) — уроженец Кашинского уезда Тверской губернии, в 1794—1797 гг. в чине премьер-майора состоял заседателем палаты Московского верхне-земского суда; впоследствии коллежский советник и кавалер, в войну 1812 г. и «более пяти трехлетий сряду предводитель дворянства Московской губернии, Верейского уезда» [1802] (1812-й год. Из семейных воспоминаний А.Ф. Кологривовой (урожденной Вельяминовой-Зерновой) // РА. 1886. № 7. С. 339). Мать — *Екатерина Николаевна* (урожд. Рагозина; 1763—1829).

[86]Вельяминов-Зернов *Николай Федорович* (ок. 1791 — 1833) — подполковник; начал службу в декабре 1806 г. сотенным начальником ополчения, откуда в феврале 1808 г. был переведен прапорщиком в Брестский пехотный полк. Участвовал в русско-шведской войне 1808—1809 гг., Отечественной войне (ранен в Бородинском сражении) и европейских походах русской армии 1813—1814 гг., где отличился под Бауценом. В 1816 г. в чине майора переведен в Киевский гренадерский полк, а в начале 1820 г. подполковником «с мундиром и пенсионом полного жалованья» уволен в отставку по состоянию здоровья. В конце 1821 г., видимо, по материальным обстоятельствам, хлопотал об определении в кавалерию (больные ноги не позволяли служить в пехоте) и в начале 1822 г. получил назначение в Ямбургский уланский полк. Сведения о службе взяты в основном из дела «По прошению подполковника Вельяминова об определении его в Ямбургский уланский полк» (РГВИА. Ф. 395. Оп. 73. № 303).

[87]Вельяминов-Зернов *Владимир Федорович* (1784 или 1788 — 1831) — известный законовед, окончил Московский университетский благородный пансион и Московский университет; с 1804 г. на службе в Министерстве внутренних дел в Петербурге, с 1813 г. редактор в Комиссии составления законов, с 1826 г. чиновник II отделения Собственной его императорского величества канцелярии; принимал участие в подготовке (под руководством Сперанского) Полного свода законов Российской империи. Известностью пользовался его «Опыт начертания российского частного гражданского права» (СПб., 1815—1821. Ч. 1—2). Он «мог быть очень полезен, но всегда имел неудачи по службе <...> отличался прилежанием и основательными познаниями, но был несносно скучен и неопрятен» (*Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1892. Ч. 2. С. 59). В молодости не был чужд

литературе; его стихи и прозаические переводы с английского и французского печатались в «Приятном и полезном препровождении времени» (1794—1798), «Новостях русской литературы» (1802), «Вестнике Европы» (1806, 1809); состоял членом ВОЛСНХ. Приятель С.П. Жихарева (*Жихарев*. Т. 2. С. 69, 81); его письмо к Загоскину от 22 февраля 1830 г. об успехе романа «Юрий Милославский» у воронежской публики см.: ОР РНБ. Ф. 291. № 44.

[88]Т.е. танцором (от *фр.* danseur).

[89]Вельяминов-Зернов *Федор Федорович* (р. 1799?) — квартирмейстерский офицер; был одним из первых учащихся в школе Н.Н. Муравьева еще до преобразования ее в Училище колонновожатых (числится колонновожатым с 15 июня 1815 г.), член Общества математиков; после экзаменов получил чин прапорщика Свиты по квартирмейстерской части «за отличие по службе» (1816) и оставлен преподавать в Училище (до декабря 1817); затем был командирован в 1-ю армию, где с 1820 г. «исправлял в разные времена за отсутствием старшего адъютанта Главного штаба 1-й Армии по части квартирмейстерской должность»; с апреля 1822 г. — штабс-капитан (формулярный список за 1823 г. см.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. № 7067. Л. 354 об.—355). Впоследствии капитан Генерального штаба; во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. отличился при переправе русских войск через Дунай 27 мая 1828 г. и был награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость»; убит 18 сентября 1828 г. при атаке турецкого укрепленного лагеря близ Варны.

[90]Вельяминова-Зернова *Екатерина Федоровна* (1790—1874) — жена Сергея Михайловича *Офросимова* (1784—1868), надворного советника в отставке (возможно, он служил в конце 1815 г. в Пензенской удельной конторе — АК на 1816 год).

[91]*Австерия* (аустерия; от *лат.* austeria)— гостиница, трактир-клуб в Европе; со времен Петра I аустерии появились и в России; в тексте употреблено в смысле «проходной двор», т.е. всегда шумный и многолюдный дом.

[92]Вельяминова-Зернова *Анисья Федоровна* (1788—1876) — в замужестве Кологривова, писательница. После смерти сестры сохранила дружеские отношения с Дмитриевым (см. его письма к ней 1855 и 1859 гг.: РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 13). А.И. Дельвиг называет ее «умной и образованной» женщиной (*Дельвиг А.И.* Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 226).

[93]Имеется в виду стихотворение А.Ф. Мерзлякова «К Элизе, которая страждет продолжительною болезнию» (ВЕ. 1808. № 10).

[94]*Бакунин* Михаил Михайлович (1764—1837) — дядя известного революционера-анархиста; до отставки в 1798 г. находился на военной службе, в 1801—1808 гг. — губернатор в Могилеве, а в 1808—1816 гг. — в Петербурге. С 1818 г., будучи отстранен от должности, находился под следствием по делу о беспорядках в подчиненном ему петербургском приказе общественного призрения, числился на службе в Сенате (во втором отделении 5-го, петербургского, департамента). В 1827 г. уволен в отставку. Свидетельством его непростого материального положения может служить поданное им в 1806 г. прошение о пожаловании аренды (РГИА. Ф. 1281. Оп. 1. № 224). Его жена — Варвара Ивановна (урожд. Голенищева-Кутузова; 1773—1840), сестра литератора-архаиста П.И. Голенищева-Кутузова, прославилась тем, что после петербургской премьеры памфлетной комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815) увенчала драматурга лавровым венком, вызвав бурную реакцию в стане карамзинистов и тем самым невольно способствовав созданию «Арзамаса». Их дети: *Василий Михайлович*

(1795—1863) — участник войн с Наполеоном в 1812—1813 гг., поручик Кавалергардского полка (с 1815 г.), адъютант Д.В. Голицына с ноября 1816 г. В декабре 1824 г. получил чин полковника с переводом в Екатеринославский кирасирский полк, в феврале 1825 г. переведен в Рижский драгунский полк, однако, по-видимому, продолжал оставаться адъютантом Голицына вплоть до октября 1825 г., когда был утвержден в должности командира дивизиона. Уволенный в отпуск по состоянию здоровья в декабре того же года, проживал главным образом в Москве (по 1832 г., когда вышел в отставку). Сохранилось прошение его отца на имя военного министра А.И. Чернышева (от 6 января 1832 г.) с просьбой уволить сына действительным статским советником и разрешить ему приехать в Петербург «по семейным делам нашим», так как «перевод его в гражданскую службу может замедлиться», а дела являются неотложными: РГВИА. Ф. 395. Оп. 21. № 227. Л. 5—5 об. В 1833 г. снова поступил на службу и вышел в отставку уже в 1848 г. генерал-майором. Известен как драматург и переводчик (так, два его сочинения: опера-водевиль в одном действии «Княгиня и княжна» (с указанием «перевод с французского») и одноактная прозаическая комедия «Две тайны, или Испытания» — были представлены 16 января 1832 г. в одном из домашних московских театров — вероятно, у Долгоруких; см.: ОР РГБ. Ф. 126. Карт. 3610. Л. 58). *Иван Михайлович* (р. ок. 1811 — не ранее 1852) в конце 1840-х гг. был чиновником по особым поручениям при московском военном генерал-губернаторе А.А. Закревском. *Авдотья* (Евдокия) *Михайловна* (1794 — не ранее 1850) — художница; *Екатерина Михайловна* (1811—1894) — начальница Крестовоздвиженской общины в Кронштадте, во время осады Севастополя (1855) возглавляла отряд сестер милосердия. *Прасковья Михайловна* (1810 — ок. 1880) — писательница и переводчица; печаталась в «Москвитянине» и др. изданиях; Дмитриев оказывал ей всяческое покровительство и посвятил 5 стихотворений. Сохранились его письма к ней: четыре за 1851—1852 гг. (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 3) и одно от 18 декабря 1852 г. из Богородского с припиской жены Дмитриева Елизаветы Михайловны (ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. № 222). Известно также, что в 1855 и 1856 гг. Дмитриев изредка писал П. Бакуниной в Москву (НБ МГУ. Дмитриев. 11401—11402. Л. 2 об., 9об.). О *Любови Михайловне* (1801 — не ранее 1830), не позже 1828 г. вышедшей замуж за В.И. Головина (недатированное письмо супругов Головиных к А.С. Шишкову см.: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. № 149), сведений практически не сохранилось. Некоторые материалы о семействе Бакуниных имеются в ГАРФ. Ф. 825 (Бакунины), а также в работах: *Корнилов А.А.* Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915. С. 4—6; *Синицын А.* Е.М. Бакунина // ВЕ. 1898. № 7. *Головин* Василий Иванович (1796—1845) — драматург, переводчик.

[95]*Посников Захар Николаевич* (1765—1833) — сенатор (с 1819 г.), тайный советник; в конце 1820-х гг. был сенатором 1-го отделения 6-го департамента, с конца 1829-го или начала 1830 г. состоял в 1-м отделении 3-го департамента (в Петербурге). С.П. Жихарев называет Посникова «умным циником» (*Жихарев.* Т. 1. С. 225); см. о нем также: *Соллогуб.* С. 347. Его жена — Мария Ивановна Архарова (1783 или 1784 — 1834). В 1826 г. Посниковы значились проживающими на Смоленской пл. (3-й квартал Новинской части, № 191).

[96]Открытый дом графини А.П. Брольо на Садовой-Кудринской славился своими обедами. В 1826 г. она числилась живущей в доме графини Орловой на Тверской ул. (1-й квартал Тверской части, № 43).

[97]*Гюнтер* Иоганн Кристиан (1695—1723) — немецкий поэт-лирик.

[98]*Эсхил* (ок. 525 — 456 г. до н.э.) — древнегреческий драматург, создатель жанра трагедии.

[99]Статьи, появившиеся вслед за «Разговором между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» Вяземского, публиковались в следующем порядке: [*Дмитриев М.*] Второй разговор между классиком и издателем «Бахчисарайского фонтана» // ВЕ. 1824. № 5; подпись: N; *Вяземский П.* О литературных мистификациях // Дамский журнал. 1824. № 7; [*Дмитриев М.*] Ответ на статью о литературных мистификациях // ВЕ. 1824. № 7; подпись под статьей: Тот же N, под постскриптумом: Михаил Дмитриев; *Вяземский П.* Разбор Второго разговора // Дамский журнал. 1824. № 8; *Дмитриев М.* Возражения на разбор Второго разговора // ВЕ. 1824. № 8; *Вяземский П.* Мое последнее слово // Дамский журнал. 1824. № 9.

[100]Подразумевается апологетический очерк Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях И.И. Дмитриева», предварявший издание «Стихотворений» последнего (СПб., 1823. Ч. 1).

[101]*Вяземский* Андрей Иванович (1754—1807) — генерал-поручик, нижегородский и пензенский наместник; сенатор (с 1796).

[102]Дмитриев говорит о книге немецкого естествоиспытателя и философа религиозно-мистического направления Готтгильфа Генриха фон Шуберта (1780—1860) «Geschichte der Seele» («История души», 1830 — в *Библиотеке* имеются 2-е и 4-е издания этого труда (Stuttgart und Tübingen, 1833 и 1850). В книжном собрании Дмитриевых находятся и другие труды Шуберта: «Die Symbolik des Traumes» (3-е изд., Leipzig, 1840), «Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft» (4-е изд., Dresden und Leipzig, 1840), «Lehrbuch der Menschenund Seelenkunde, zum Gebrauch für Schulen und zum Selbststudium» (2-е изд., Erlanden, 1842).

[103]Имеются в виду сочувственные отзывы на выступление Дмитриева со стороны Ф.В. Булгарина и Василия Аполлоновича Ушакова (1789—1838), журналиста, переводчика, театрального рецензента «Московского телеграфа» (Литературные листки. 1824. № 8), статьи А.И. Писарева «Еще разговор между двумя читателями "Вестника Европы"» (ВЕ. 1824. № 8) и «Нечто о словах» (Там же. № 12; подпись: А. А. А.), а также статья Карниолина-Пинского «Мое первое и последнее слово» (ВЕ. 1824. № 10, подпись: Юст Ферулин). Статьи П.И. Шаликова в поддержку Вяземского напечатаны в «Дамском журнале» (№ 9 и 10). Кто подразумевается под критиком, «не сильным ни в остроумии, ни в диалектике», не ясно; может быть, это В.Н.Олин, автор рецензии на «Бахчисарайский фонтан» (Литературные листки. 1824. № 7). Комедия В.И. Головина «Писатели между собой», впервые представленная на сцене Петровского театра в бенефис актрисы Лисицыной 31 декабря 1826 г., вышла отдельным изданием в Москве в 1827 г. (в *Библиотеке* имеются два экземпляра пьесы: № 1104, с дарственной надписью М.А. Дмитриеву «...в знак дружбы от сочинителя», и № 1103 с инскриптом И.И. Дмитриеву).

[104]См.: ВЕ. 1824. № 9.

[105]Этот эпизод полемики пересказан Дмитриевым весьма точно. Соответствующая фраза содержится в статье Вяземского «Мое последнее слово»: « <...> крепкий собственным убеждением и мнением людей, на коих с гордою доверенностью указать могу пред лицем отечества, я в праве, я в обязанности не дорожить суждением о себе человека, мне совершенно чуждого и по чувствам и по образу мыслей» (Дамский журнал. 1824. № 9. С. 117). Вяземский заявлял о прекращении спора с Дмитриевым, однако уже в следующем номере «Дамского журнала» появилась статья Шаликова (подп.: Издатель) «Слово о

слове *в пустом* и проч. “Вестника Европы” № 8», содержавшая резкие выпады против Дмитриева и его союзников (№ 10. С. 161—165). Статья Шаликова, по-видимому, была инспирирована самим Вяземским: об этом говорит хотя бы тот факт, что завершала статью выдержка из адресованного Вяземскому частного письма Пушкина (публикация, кстати, ускользнула от внимания библиографов-пушкинистов). Появление «защитительной» статьи Шаликова и позволило Писареву прибегнуть к издевательскому полемическому приему. После этого конфликт вышел за чисто литературные рамки. Все перечисленные полемические выступления объединены в хронологическом порядке во владельческом конволюте из Музея книги РГБ (на рукописном титульном листе — заглавие: «Литературная война незабвенного 1824 года»; кому принадлежал этот сборник вырезок — неизвестно).

[106]Позже, в 1825 г., когда Грибоедов находился в Петербурге, развернулся следующий эпизод полемики: на этот раз вокруг «Горя от ума» (к этому времени комедия широко распространилась в списках, а фрагменты 1-го и все 3-е действие ее были напечатаны в альманахе «Русская Талия на 1825 г.»). Об этом Дмитриев умалчивает, хотя и он, и Писарев приняли в ней активное участие, осудив характер Чацкого, композицию и язык комедии (о статье Дмитриева, ответом на которую явилась «Антикритика» Полевого (МТ. 1825. № 10; здесь помимо возражений Дмитриеву по поводу «Горя от ума» содержались нападки на его пролог «Торжество муз»), см. примеч. 32 к данной главе; выпады Писарева см.: ВЕ. 1825. № 10. С. 108—119; № 23—24. С. 147—148, 198 — за подписью «Пилад Белугин»). Молчание Дмитриева по этому поводу объясняется, скорее всего, тем, что со временем его отношение к комедии изменилось. В *Библиотеке* имеются три ее издания: одно в собрании сочинений Грибоедова, выпущенном Е. Серчевским (СПб., 1858), другое — иллюстрированное издание Н. Тиблена (СПб., 1862 — два экземпляра) — оба с владельческими записями М. Дмитриева, и берлинское издание 1858 г., а также стихотворная комедия «Молодые супруги» (СПб., 1815). К личности самого Грибоедова Дмитриев, по-видимому, продолжал относиться весьма отрицательно. Так, на полях лонгиновского издания писем Грибоедова к Бегичеву он старательно отчеркнул фразы, по которым можно составить о Грибоедове невыгодное впечатление (или укрепиться в нем): «у тебя нет матери, которой ты обязан казаться основательным», «Прежде всего прошу П....ву сказать свинью», «Ты, надеюсь, как нынче всякий честный человек, служишь из чинов, а не из чести», «невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько соразмерного вознаграждения». Напротив изречения «несть пророка без чести, токмо в отечестве своем, в сродстве и в дому своем», которое Грибоедов явно примерял к себе, Дмитриев ставит на полях «А! вот что!». А слова уязвленного Грибоедова о презрительных отзывах его матери насчет стихов сына и ее упреках в зависти, «свойственной мелким писателям», Дмитриев сопровождает возмущенной репликой: «Да что же он тогда и написал? Горя от ума еще не было» (Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому и письма Грибоедова к Степану Никитичу Бегичеву. М., 1860. С. 3, 6—8, 13—14 второй пагинации — № 9405).

[107]*Шатилов* Николай Александрович (р. 1786 или 1787) — служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел (1804, 1806—1812, 1819—1822), Комиссии составления законов (1804—1805) и Коллегии иностранных дел (1805—1806), титулярный советник (1808); в июле 1812 г. вступил в военную службу. С декабря 1812 по 1819 г. — в Москов-

ском гусарском, затем в Иркутском гусарском полку, где состоял при генерале А.С. Кологривове и стал одним из близких знакомых Грибоедова. Камер-юнкер (1822); в январе 1822 г. поступил в канцелярию главного директора Межевой канцелярии; в марте 1824 г. перемещен в канцелярию Д.В. Голицына для исполнения особых поручений (недатированный формулярный список – ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 222. № 371). В 1825 г. арестован, а в 1827 г. осужден (вместе со своим зятем А.А. Алябьевым) по делу об убийстве помещика Времева. О Шатилове см. также: *Пиксанов Н.К.* Прототипы «Горя от ума» // *Грибоедов А.С.* Горе от ума. М., 1987. С. 452. Рассказ о «почтовой службе» Шатилова почти дословно передан М.Н. Лонгиновым (ЭиС. С. 185; Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 158. № 23056. Л. 29 об.). Вероятнее всего, Лонгинов, посвященный в работу Дмитриева над воспоминаниями, воспроизвел слышанный или прочитанный им фрагмент «Глав...».

[108]Большая часть этих эпиграмм ныне опубликована. См.: ЭиС; Русская эпиграмма второй половины XVIII – начала XIX века. Л., 1975; Русская эпиграмма (по указателям авторов и адресатов).

[109]*Грессет* (Грессе) Жан Батист Луи (1709–1777) – французский писатель и поэт. Его послание «La chartreuse» («Обитель», 1734) послужило литературным образцом для стихотворения Батюшкова «Мои Пенаты» (1811–1812), которое, в свою очередь, стало эталоном жанра в кругу литераторов-«арзамасцев»: ср. воспроизводящие метрику и образность «Моих Пенатов» ответ Жуковского «К Батюшкову» («Сын неги и веселья...»), два послания Вяземского, адресованные Батюшкову («Ты на пути возвратном!..» и «Мой милый, мой поэт...»), «Городок» А. Пушкина, его же послание «Батюшкову» («В пещерах Геликона...») и др. тексты, объединенные в разделе «Послания» 2-й книги сб. «Арзамас» (М., 1994).

[110]«Послание к М.Т. Каченовскому» П.А. Вяземского, вызванное нападками критика на Карамзина, было опубликовано в: СО. 1821. № 2. Вяземскому отвечал С.Т. Аксаков полемическим «Посланием к Птелинскому-Ульминскому» (ВЕ. 1821. № 9). По свидетельству самого Аксакова, появлению его стихотворения в печати «всех более» содействовал М. Дмитриев (*Аксаков*. Т. 3. С. 51).

[111]Имеются в виду следующие стихотворения Вяземского: послания «К партизану-поэту» («Анакреон под дуломаном...», 1814; опубликовано: Новости литературы. 1823. № 2. С. 27) и «Давыдов, баловень счастливой...» (Амфион. 1815. № 4. С. 71), послание «К Давыдову» (1816) и «Ответ на послание Василью Львовичу Пушкину» (Российский музеум. 1815. № 3. С. 261).

[112]В редакционном примечании Воейкова к стихотворению Вяземского «Песня» говорилось: «Наши знаменитые друзья, В.А. Жуковский, П.А. Вяземский, обогащают, по своему обещанию, наш журнал превосходными своими стихотворениями» (СО. 1821. № 13. С. 277). Выражение «знаменитые друзья» немедленно сделалось расхожей полемической формулой и вызвало волну насмешек над Воейковым в литературной и читательской среде (см., напр.: *Загоскин*. Т. 2. С. 703, 710; эпиграмма А.И. Писарева на Вяземского: Русская эпиграмма. С. 299).

[113]*Сенковский* Осип Иванович (1800–1858) – востоковед, писатель, с 1834 г. издатель первого в России «толстого» журнала *«Библиотека для чтения»* (просуществовал по 1865 г.). Сохранилось не менее четырех эпиграмм Дмитриева в его адрес: «Известный журналист Сеньковской...» (Сборник эпиграмм. Л. 8); «Сенковской доказал, что взяточ-

ники были...» (1838; Там же. Л. 14, с разночтениями: Русская эпиграмма. С. 295); «Слышу я, Барон находит...» (Сборник эпиграмм. Л.16; с разночтением: Русская эпиграмма. С. 295); «Эпитафия Сенковскому»: «Скончался Шпыньковской, / Словесности Шпынь! / Схоронят — таковской! / Забудут — аминь!» (Там же. Л. 17 об).

[114]*Краевский* Андрей Александрович (1810—1889) — издатель, журналист. Неоднократно становился объектом сарказма Дмитриева, который обыгрывал в эпиграммах общеизвестную легкость поведения, свойственную матери Краевского: «Лишась Белинского бойца, / Журнал твой сделался смирнее; / А все не сделался честнее: / Ты видно в мать; журнал в отца!» (Сборник эпиграмм. Л. 10; см. там же тексты: «Сын безносой фон-дер-Пален...», «Мне надоели уж вопросом...», «Эпитафия Краевскому» — Л. 17—18).

[115]*Белинский* Виссарион Григорьевич (1811—1848) — критик, публицист. С осени 1839 г. переехал в Петербург и стал ведущим критиком «Отечественных записок» (до разрыва с Краевским в 1846 г.). Крайне неприязненное отношение Дмитриева к личности Белинского и его критической манере вылилось в памфлете «К безыменному критику» (1842): «Все язвить — что знаменито; / Что высоко — низводить; / Чувством нравственным открыто / Насмехаться и шутить; / Лить на прошлое отраву / И трубить для всех ушей / Лишь сегоднишную славу, / Лишь сегоднишных людей; / Подточивши цвет России, / Червем к корню подползать — / Дух ли это анархии / Иль невежества печать?» (Стихотворения-1865. Ч. 1. С. 35; об этом выпаде Дмитриева см. ниже, в гл. 20 и примеч. к ней). Известны также эпиграммы на Белинского, написанные в сходной тональности: «Из числа журнальных хватов, / Он из их богатырей! / Гонит он аристократов / И кричит, что он плебей! / Кто же сам он? Что за хват он? / Из каких, то есть, людей? / В кабаке аристократ он; / А в гостиной он лакей!» (Сборник эпиграмм. Л. 17; на Л. 16 см. еще одну эпиграмму: «Не говори, что ты плебей...»).

[116]*Полевой* Николай Алексеевич (1796—1846) — писатель и журналист, издатель «Московского телеграфа» (1825—1834), литературный недруг Дмитриева. В декабре 1826 г. Дмитриев сопроводил посылку тетради своих стихов Погодину (для публикации в «Московском вестнике») следующими строками: «Знаю, что они не бисер многоценной, / Да не хотелось их метать пред Полевым!» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 46. № 19. Л. 1). Сохранилось несколько эпиграмм Дмитриева на Полевого, в том числе: «Полевова сечь бы строго; / Да чем высечь, не найдешь! / Свежей розгой — слишком много! / Эпиграммой — не проймешь» (первая строка имеет несколько авторских вариантов фамилии адресата: Подлецова; Подлякова; Луговова: Сборник эпиграмм. Л. 14 об.—15, 18 об. Здесь же (Л. 18) Полевому переадресована эпиграмма «Не умер я, хвала судьбе...», в другом варианте (Русская эпиграмма. С. 293) задевающая цензора И.М. Снегирева). В *Библиотеке* из сочинений Полевого имеются: «История русского народа» (М., 1829—1833. Т. 1—6), «Очерки русской литературы» (СПб., 1839. Ч. 1—2) и 2-я часть книги «Русская история: Для первоначального чтения» (М., 1835).

[117]*Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814—1841). *Гоголь* Николай Васильевич (1809—1852); подробнее о своем знакомстве с ним Дмитриев рассказывает в гл. 20.

[118]*Кольцов* Алексей Васильевич (1809—1842) — поэт, сын купца. Друг Белинского (сборник «Стихотворения» (М., 1835) вышел по подписке стараниями критика и Н.В. Станкевича), посвятившего ему несколько отдельных критических статей, в том числе пространную работу «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846).

[119]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «7 апреля 1864. Москва».

Глава 11

[1]*Голицын Дмитрий Владимирович* (1771—1844) — участник кампании 1794 г. в Польше, русско-шведской войны 1808—1809 гг. и наполеоновских войн 1806—1807 и 1812—1814 гг., генерал от кавалерии, член Государственного совета (1821), московский военный генерал-губернатор в 1820—1844 гг., светлейший князь (1841).

[2]Подробнее о литературных вечерах у Д.В. Голицына см. в гл. 20.

[3]Ср. свидетельство А.И. Кошелева, служившего в Московском архиве с 1823 по 1826 г.: «Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие для нас было мало завлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы» (*Кошелев*. С. 50).

[4]Например, Василий Петрович Зубков (1799—1862), прикомандированный к Д.В. Голицыну в 1823 г. С 1824 г. — советник Московской палаты гражданского суда, титулярный советник; член Практического союза, под арестом с января 1826 г., однако вскоре освобожден с оправдательным аттестатом; впоследствии в отставке до 1829 г. Сенатор (1855). Дмитриев поддерживал с Зубковым, по-видимому, не только служебные отношения. В письме Погодину (без даты; предположительно 1832 г.) читаем: «<...> с Зубковым и Данзасом я как-то давно не видался» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 50. № 20. Л. 1).

[5]С 1823 по 1842 г. Управление московских театров находилось в подчинении московского генерал-губернатора.

[6]Здание Петровского театра сгорело в 1805 г. Еще «в конце 1810-х и в начале 1820-х годов он стоял обгорелый от пожара, полуразвалившийся, как руина, среди театральной площади» (РС. 1881. Т. 30. № 1. С. 40—41). После перехода московских театров под управление московского генерал-губернатора и обновления состава дирекции началось строительство нового здания по проекту О.И. Бове и А.А. Михайлова. В 1805—1825 гг. спектакли проходили в домашнем театре Апраксина на Знаменке (ныне д. 19) и в доме Пашкова на Моховой.

[7]*Пролог* — вступительная часть драматического произведения, как правило, не связанная с основным действием; обычно представлял собой аллегорическую сцену, поэтому неудивительно, что Дмитриев перечисляет расхожие литературные штампы — аллегории искусства: *муз* — дочерей Мнемозины (богини памяти) и Зевса, покровительниц наук и искусств, *Феба* (Аполлона) — бога — покровителя искусств, *Парнас* — горный массив в Средней Греции, который, по преданию, был местом обитания Аполлона и муз. Текст вышел в Москве отдельной книжкой: «Торжество Муз. Пролог на открытие императорского Московского театра. Сочинение М.А. Дмитриева. Музыка: гимна с принадлежащим к нему хором А.Н. Верстовского; первого и последнего хора А.А. Алябьева» (на обложке и втором титульном листе значится 1824-й, на третьем —1825 год. Цензурное разрешение — 23 августа 1824 г.). В Отделе редких книг Исторической библиотеки хранится три экземпляра пролога с дарственными надписями автора А.А. Алябьеву («В знак уважения к его таланту, искренней приязни и благодарности за прекрасную музыку, сочиненную им для пиесы от сочинителя»), А.Х. Востокову и А.С. Ширяеву // ГПИБ России. Каталог коллекции авторских надписей (издания XVIII—XIX вв.). Сост. Л.Б. Шишкова. М., 1994. С. 21—22. Само название «Торжество Муз» было, по-видимому, традицион-

ным: так, пролог А.А. Шаховского в стихах и прозе (к спектаклю, посвященному памяти И.А. Дмитревского) назывался «Новости на Парнасе, или Торжество Муз» (представлен 10 июля 1822 г. в Петербурге). В XIX в. такие названия были уже анахронизмом, в предшествующем же столетии аллегорические «торжества» (впрочем, не только муз) были весьма популярны: «Торжество лаврских муз, всемилостивейшим посещением Павла Первого... обрадованных... 1797 года, апреля дня» (М., [1797]); «Торжество муз Императорского Московского университета, по случаю благополучно ко всеобщей радости свершившегося бракосочетания их императорских высочеств... великого князя Александра Павловича с... великою княгинею Елисаветою Алексеевною...» (М., 1793); «Торжество Севских муз апреля 22, июня 30 и сентября 23 дней 1784 года» (Орел, 1784). События, служащие поводом для подобных сочинений, в XIX в. утрачивают тесную связь с жизнью царствующей фамилии и смещаются в область художественного творчества.

[8]*Верстовской* (Верстовский) Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор. Служил в дирекции московских театров сначала инспектором музыки, а с 1830 г. — репертуара; с 1848 по 1860 г. — управляющий Московской конторой императорских театров. *Алябьев* Александр Александрович (1787—1851) — композитор; хороший знакомый А.А. Шаховского и А.С. Грибоедова. С 1823 г. проживал в Москве. Был арестован в 1825 г. по ложному обвинению и сослан в Сибирь; возвратился в Москву в 1843 г. *Шольц* Федор (Фридрих) Ефимович (1787—1830) — композитор и музыкальный педагог. Дирижер Петровского театра с 1820 г.; автор балета «Руслан и Людмила» (1821). «Торжество Муз» — не единственное совместное произведение этих трех композиторов. В том же 1825 г. ими была сочинена опера-водевиль «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки» (автор музыки к 1-му акту Шольц, ко 2-му — Алябьев, к 3-му — Верстовский; текст А.И. Писарева). В 1826 г. Верстовский и Писарев издали «Драматический альбом для любителей театра и музыки».

[9]Об изысканных манерах и такте Д.В. Голицына сохранилось множество свидетельств, в том числе: «Мне было только 11-й или не более 11-ти лет. <...> После разных приветствий начались танцы — вальсом, и нужно же было Вас<илию> Игн<атьевичу> Живокини схватить меня, приподнять за талию и начать кружиться, платьице мое раздулось, и в это время мы летели против самых высоких гостей; князь Дмитрий Владимирович Голицын, видя такую «неудержимость», схватил меня в объятия и тем опустил мое платьице, сделав со мной несколько поворотов и потом поцеловал, поставил на ноги и сказал: «Ты устала, не вальсируй больше, дитя». Я была очень счастлива, что князь танцевал со мной, с другими ни с кем, но когда мне объяснили, я поняла его добрый поступок и от стыда поплакала» (*Орлова-Савина.* С. 56).

[10]*Тверские ворота* — место пересечения Бульварного кольца и Тверской ул. Упоминаемый дом (совр. адрес: Тверская, 21) был выстроен в конце XVIII в. и принадлежал графу Л.К. Разумовскому. В 1831—1917 гг. в нем располагался Английский клуб; впоследствии — Музей Революции.

[11]И.М. Муравьев-Апостол (о нем см. примеч. 35 к гл. 10) перевел ряд сочинений античных авторов: комедию Аристофана «Облака», сатиры Горация (отдельное издание — М., 1843); занимался учеными разысканиями: «Краткое рассуждение о Горации» (Чтение в Беседе. СПб., 1811. Кн. 2), «Рассуждение о причинах, побудивших Горация написать Сатиру третью первой книги» (Чтение в Беседе. СПб., 1812. Кн. 6; здесь же помещен перевод названной сатиры).

[12]О том, какой ажиотаж вызвало в Москве это событие, см., например, в недатированном письме Л.М. Бакуниной отцу: «Праздники прошли так спокойно, так тихо, что и на праздники похоже не было, зато теперь вся Москва сошла с ума от открытия театра, только что не дерутся за билеты, и я спокойно смотрю на ажитацию и на суету мирскую — потому что у нас есть билет. Новостей никаких нет, никто ни о чем не толкует как об театре» (ГАРФ. Ф. 825. Оп. 1. № 31. Л. 8).

[13]*Каталани* (в замужестве Валабрег) Анжелика (1780—1849) — итальянская певица, выступавшая в 1797—1828 гг. в Европе и в России (в начале 1820-х гг.). Впечатления от ее пения см., напр., в стихотворении Н.И. Иванчина-Писарева «Певице Каталани, известной как единственным талантом, так и благотворительностию» (СО. 1820. № 33. С. 325—326; *Иванчин-Писарев.* С. 26—28), В.Л. Пушкина и П.И. Шаликова (Письма И.И. Дмитриева к князю П.А. Вяземскому 1810—1836 годов. СПб., 1898. С. 22—23). *Каталани* Аделина (р. 1801) — невестка Анжелики Каталани, весной 1824 г. давала концерты в зале Благородного собрания в Москве (см. статью Шаликова «О концертах Аделины Каталани» — РИ. 1824. № 99). П.А. Вяземский сообщал А.И. Тургеневу 31 марта 1824 г.: «Вчера пела здесь вторая Каталани. Голос большой, но мало искусства и приятности» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 28).

[14]*Филис* (Филлис-младшая) Жанетта (Евгения Петровна; 1780—1838) — дочь известной певицы Филлис-Андриё, выступавшей в 1802—1812 гг. в петербургской французской труппе; солистка (сопрано) Большого театра в Москве в 1820—1830-х гг. Резкие отзывы об игре, пении и непомерном самомнении Филлис см., например: Молва. 1831. № 14. С. 4, 7—8; № 15. С. 9; № 16. С. 2 («Краткое известие о московских концертах, данных нынешним постом»). По всей видимости, текст пролога был напечатан до того, как партия Каталани была передана Филлис, поскольку в списке действующих лиц исполнительницей роли Эрато названа итальянская певица.

[15]И.И. Пущин в письме к Е.А. Энгельгардту от 8 мая 1845 г. вспоминает сказанные Д.В. Голицыным в 1825 г. слова о «magistrature renforcée» [крепнущем судействе. — *фр.*] (*Пущин И.И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 212). Вяземский упоминает некую речь Голицына, обращенную к судьям, избранным от дворянства, в связи с ошибочным употреблением Голицыным слова «неумытный», т.е. неподкупный, вместо «неумолимый» (см.: Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990. С. 177). 28 декабря 1825 г. Жихарев писал А.И. и Н.И. Тургеневым, что «мысль об издании Gazette des Tribunaux [Судебной газеты. — *фр.*] не новая. Третьего года князь наш имел намерение печатать наши процессы и представлял об этом, но комитет (министров. — *Сост.*) не согласился и это так и осталось» (Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 493). Этими деталями подтверждаются слова Дмитриева о намерении Голицына поднять престиж судей, а также добиться более эффективной работы московских судов в целом. Основным средством стало все-таки привлечение в судебные учреждения «людей образованных и известных фамилий». То же средство князь использовал для улучшения работы губернской администрации (*Кошелев.* С. 72—75).

[16]П.И. *Дегай* получил юридическое образование в Харьковском университете, с 1815 г. служил в департаменте министерства юстиции; с 1820 г. — чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе, затем в московском губернском правлении. С 1822 г. был председателем 2-го департамента Московской палаты гражданского суда, а с 1828 г. — обер-прокурором 7-го департамента Сената (вероятно, не последнюю

роль сыграло ходатайство Д.В. Голицына). В 1831 г. назначен директором департамента Министерства юстиции; сенатор (с 1842), статс-секретарь; состоял также при II Отделении собственной его императорского величества канцелярии. Автор ряда значительных трудов по юриспруденции, в которых разрабатывались вопросы преподавания права, современного европейского законодательства, российского гражданского права. В *Библиотеке* сохранилось составленное им «Систематическое начертание существующих российских узаконений о общих денежных заемных актах между частными людьми употребляемых» с дарственной надписью И.И. Дмитриеву (М., 1824. Ч. 1—2 — № 1163—1164; имеется еще один второй экземпляр 1-й части, не имеющий ни инскрипта, ни владельческой записи).

[17]*Абаза Эраст Васильевич* (1783—1828) — до 1827 г. в чине коллежского, а затем статского советника служил председателем 1-го департамента Московской уголовной палаты; затем обер-прокурор 7-го департамента Сената.

[18]А.И. Кошелев вспоминал о 1833 г.: «<...> я познакомился и довольно близко сошелся с московским генерал-губернатором <...> который стал уговаривать меня поступить на службу в Московское Губернское Правление, в которое ему уже удалось поместить очень порядочных людей. <...> На другой день после моего разговора с генерал-губернатором я получил от него бумагу, которой он меня уведомлял, что он дал предложение губернскому правлению о допущении меня к исправлению должности советника по 1-му отделению и что сам входит в <...> Сенат об утверждении меня в этой должности» (*Кошелев*. С. 72).

[19]А.Ф. Малиновский учился не в духовной семинарии, а в Московском университете (1771—1778). Говоря о «семинарской уклончивости», Дмитриев, видимо, намекает на происхождение Малиновского, отец которого был священником.

[20]*Долгорукой* Юрий Алексеевич (1807—1882) в 1823—1825 гг. состоял в штате канцелярии московского генерал-губернатора; камер-юнкер (1825). В 1825—1828 гг. — советник Московской уголовной палаты; с 1857 г. сенатор. О его отце см. в гл. 4 и примеч. к ней.

[21]Генерал-губернаторы имели право создавать особые, не предусмотренные законом судебные инстанции. Имеются сведения о существовании в Москве в 1822—1827 гг. также созданного по высочайшему указанию «Временного суда первой инстанции», который должен был рассмотреть и решить все неоконченные тяжебные и вексельные дела.

[22]*Шафонский* Андрей Афанасьевич — в начале 1810-х гг. состоял начальником архива Медицинской экспедиции министерства полиции; в 1820-е гг. — правитель канцелярии Д.В. Голицына, действительный статский советник. *Любимов Семен Иванович* (ум. после 1846) — магистр этико-политических наук, адъюнкт-профессор Московского университета (1820—1822), стряпчий при прокуроре Гражданской палаты С.П. Жихареве (с 1822), надворный советник; позже губернский прокурор. Председатель Московского коммерческого суда в 1833—1840-х гг., статский советник. *Оранский* Николай Диомидович (ум. 1847) — в 1819 г. секретарь губернского правления, в 1820-х — начале 1830-х гг. в чине 9-го класса — секретарь гражданской канцелярии московского генерал-губернатора; одновременно занимал должность обер-аудитора (обер-судьи). В 1830—1840-х гг. состоял смотрителем Павловской больницы, коллежский советник.

[23]*Толстой Петр Александрович* (1769—1844) — граф, генерал от инфантерии, член-председатель департамента военных дел Государственного совета; посол в Париже в 1807—

1808 гг.; с 1816 г. командир 4-го пехотного корпуса, сенатор. На коронации Николая I командовал сводным гвардейским и гренадерским корпусом.

[24]Под *Невским монастырем* подразумевается Александро-Невская лавра. Посещение ее Александром I было широко известным фактом и оживленно обсуждалось в обществе. Этот эпизод, в котором современники, пораженные неожиданной и таинственной смертью императора, искали дополнительных смыслов и предзнаменований, вошел в состав легенды о последней поездке Александра и его смерти (см., напр.: *Данилевский Н.В.* Таганрог, или Подробное описание болезни и кончины императора Александра I. М., 1828; Рассказ неизвестного о кончине императора Александра I // Щукинский сборник. М., 1904. Вып. 3).

[25]Имеется в виду Серафим (Степан Васильевич Глаголевский; 1763—1843) — с 1821 г. митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский.

[26]*Агамемнон* — мифический царь древних Микен; согласно «Илиаде», возглавил союз ахейских государств против Трои. Сравнение Александра I с Агамемноном в контексте событий 1812—1814 гг. было достаточно употребительным в литературе и публицистике первых двух десятилетий XIX в. Ср. использование аналогичной лексики в одной из поздних (1846) «Московских элегий» самого Дмитриева («Память по Благословенном»): «О мой герой, Александр, вождь царей, примиритель народов! / Кроткий в победном венце, терпеливый и твердый в дни бедствий! / Избранный свыше сразить несразимого, благословенный!» (*Дмитриев М.* Московские элегии. М., 1858. С. 46).

[27]В 1815 г. А.А. Аракчеев был утвержден докладчиком по делам Комитета министров; главы ведомств потеряли возможность личного доклада императору, а Аракчеев, пользовавшийся неограниченным доверием монарха, сосредоточил в своих руках огромную власть.

[28]Стремясь ввести в России конституционное правление, Александр I подтвердил таковое в присоединенной к России в 1809 г. Финляндии, добился сохранения конституционных порядков во Франции после восстановления на троне Бурбонов, а 15 (27) ноября 1815 г. подписал конституционную хартию Царства Польского. 15 (27) марта 1818 г., в речи при открытии польского сейма, Александр заявил о своем намерении распространить «законно-свободные учреждения <...> на все страны, Провидением попечению моему вверенные». Текст польской конституции см. в издании: Le Porfolio ou Collection des documents politiques relatifs à l'histoire contemporaine. V. Hamburg. S.a. P. 378—419. Тот же текст с переводом П.А. Вяземского: Charte constitutionelle de l'Empire de Russie. — Государственная уставная грамота Российской империи. Varsovie — Варшава, 1831.

[29]*Новосильцев* Николай Николаевич (1761—1836) — граф (с 1835 г.). По восшествии на престол Александра состоял в Негласном комитете, был автором проекта учреждения министерств и записок о правах и обязанностях Сената. В конце 1804 г., после размолвки с императором, выполнял в основном дипломатические поручения; в 1813 г. был назначен вице-президентом временного совета по управлению Варшавским герцогством, служил в Польше до 1831 г.

[30]*Карбонары* (карбонарии, от *ит.* carbonari — угольщики) — члены тайной революционной организации, которая существовала в первой трети XIX в. в Италии и Франции.

[31]*Меттерних* Виннебург Клеменс (1773—1859) — князь, министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг. С 1821 по 1848 г. — канцлер Австрии.

[32]После завершения войн антифранцузских коалиций против наполеоновской Франции по инициативе России, Великобритании, Австрии и Пруссии был созван Венский конгресс, в котором принимали участие представители всех европейских держав, кроме Турции (продолжался с сентября 1814 по июнь 1815 г.). Осенью 1818 г. конгресс Священного союза проходил в Ахене, в октябре—ноябре 1820 г. — в Троппау, с января по февраль 1821 г. — в Лайбахе; в октябре—ноябре 1822 г. — в Вероне.

[33]Имеется в виду Елизавета Алексеевна, урожд. принцесса Луиза Мария Августа Баден-Дурлахская (1779—1826) — с 1793 г. жена великого князя Александра Павловича; российская императрица с 1801 г.

[34]А.А. Писареву принадлежал дом на Волхонке у Каменного моста. Речь может идти также о его подмосковном имении Люблино: здесь в 1823—1825 гг. также собирались литераторы: И.И. Дмитриев, Загоскин, Каченовский, В.Л. Пушкин, Шаликов, С.Д. Нечаев, И.М. Снегирев и др. (предположение Е.Н. Дрыжаковой — Русская литература. 1975. № 4. С. 99).

[35]*Константин Павлович* (1779—1831) — второй сын Павла I. Цесаревич Константин не желал царствовать и к тому же, расторгнув свой брак с великой княгиней Анной Федоровной и женившись на польской дворянке графине Иоанне Грудзинской, формально потерял права на престол, так как в день расторжения брака (20 марта 1820 г.) был объявлен манифест, который лишал детей от морганатических браков прав, принадлежащих членам императорской фамилии. 16 августа 1823 г. московский архиепископ Филарет по поручению Александра I составил манифест, по которому наследником престола объявлялся великий князь Николай. Манифест оглашен не был и хранился в Москве, в Успенском соборе Кремля; копии были отосланы в Государственный совет, Сенат и Синод. После смерти Александра I манифест был объявлен на заседании Государственного совета, однако петербургский генерал-губернатор М.А. Милорадович заявил, что престолом невозможно располагать «по завещанию» и необъявленный манифест не имеет законной силы. Не пользуясь необходимой популярностью в войсках, Николай Павлович не стал настаивать на исполнении воли покойного брата и одним из первых присягнул Константину.

[36]*Михаил Павлович* (1798—1848) — великий князь, младший из сыновей Павла I. С 1825 г. он был генерал-инспектором по инженерной части; с 1844 г. командовал гвардейским и гренадерским корпусами. С сентября 1825 г. находился в Варшаве, где и получил 25 ноября известие о смерти Александра I. На следующий день Константин отправил брата в Петербург с официальными письмами Николаю и Марии Федоровне, а также личным письмом к первому — во всех документах подтверждался отказ от престола; утром 3 декабря Михаил Павлович приехал в столицу, уже принесшую присягу Константину I. 5 декабря Михаила снова отправили в Варшаву, чтобы он убедил брата прибыть в Петербург; однако 8 числа он остановился на полпути — на станции Неннале, откуда через несколько дней вернулся в Петербург. Подобного стечения обстоятельств (смерть монарха вдалеке от столицы, не оглашенный при его жизни манифест о передаче престола, препирательство двух братьев, разделенных расстоянием около 500 верст) в истории российского престолонаследия еще не было, и эта ситуация закономерно порождала массу слухов, неблагоприятных главным образом для Николая Павловича.

[37]*Людовик XVI* (р. 1754) — французский король с 1774 г. Низложен в августе 1792 г. в результате народного восстания; приговорен Конвентом к смертной казни и гильотинирован 21 января 1793 г.

[38]О репутации Константина Павловича как вспыльчивого, но доброго человека см., напр.: Из рассказов старого лейб-гусара кн. А.Н.Г. // РА. 1887. № 10. С. 192–196. Расположение, которое питали к нему офицеры и солдаты, определялось во многом личной храбростью Константина, неоднократно проявленной им в боях, а также заботой о подчиненных ему офицерах, которых он ссужал деньгами, ходатайствовал об их повышении по службе и т.п.

[39]Автоцитата из стихотворения «На сретение тела Государя Императора Александра Первого» (Стихотворения-1830. Ч. 2. С. 28).

[40]В Петербурге 14 декабря 1825 г. и на Украине 29 декабря — 3 января 1826 г. произошли антиправительственные восстания, организованные членами тайных Северного и Южного обществ и Общества соединенных славян. 26 января офицеры — члены Общества военных друзей пытались сорвать присягу частей Литовского корпуса, расквартированных в Белостоке.

[41]Всего в Москве было арестовано несколько десятков человек. *Пущин* Иван Иванович (1798–1859) — воспитанник Царскосельского лицея, в 1823 г. с чином титулярного советника перешел из военной службы в гражданскую. Судья московского надворного суда (1823–1826), коллежский асессор (1825). Член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества, участник восстания 14 декабря, арестован 16 декабря в Петербурге; приговорен к вечной каторге, с 1839 г. — на поселении, после амнистии вернулся в Европейскую Россию. О впечатлениях Пущина от надворного суда см. в его письме В.Д. Вольховскому от 8 апреля 1824 г. (*Пущин И.И.* Записки о Пушкине. Письма. М., 1989. С. 82). В неоконченном послании «И.И. Пущину» (1826) Пушкин писал о его переходе на службу в надворный суд: «Ты победил предрассужденья / И от признательных граждан / Умел истребовать почтенья, / В глазах общественного мненья / Ты возвеличил темный сан...»

[42]О подготовке к встрече тела Александра I подробнее см.: Записки А.Я. Булгакова. Современные происшествия и воспоминания мои. Ч. 1 // СиН. СПб., 1917. Кн. 22. С. 100–147.

[43]Дмитриев упоминает комедию Мольера «Смешные жеманницы» (1660); *сцены медиков и стихотворцев* можно найти в пьесах «Мнимый больной», «Господин Пурсоньяк», «Лекарь поневоле», «Любовь-целительница»; *сцену сонета* — в «Мизантропе» (1666), д. 1, явл. 2.

[44]Обстановка в Москве в это время была чрезвычайно напряженной; неожиданная смерть Александра вдали от столицы, провоз его тела в закрытом гробу, затянувшееся междуцарствие, военный мятеж — все это породило массу взаимоисключающих слухов (в том числе о скором освобождении крестьян, о дворянском заговоре против царя, о таинственном спасении Александра, о подмене тела), которые в массе своей имели антидворянскую и антикрепостническую направленность (см.: *Кудряшев К.В.* Народная молва о декабрьских событиях 1825 года // Бунт декабристов. Л., 1926. С. 311–320; *Сыроечковский В.* Московские «слухи» 1825–1826 гг. // Каторга и ссылка. 1934. № 3. С. 59–85, и др.). В страхе перед возможным бунтом одни уезжали из города, другие выпрашивали у властей солдат для охраны своих домов, третьи приводили в порядок имевшееся в доме оружие. Городские власти вынуждены были усилить охрану кортежа, организовать патрулирование улиц конными разъездами, поставить в Кремле пушки и воинские части, а также ограничить в ночное время доступ в Архангельский собор, где стоял

гроб с телом государя. Были предложения «запереть все кабаки. <...> Всех, имеющих фабрики, обязать подписками не выпускать в тот день работников и фабричных со двора» и расставить заряженные орудия по всему городу (Записки А.Я. Булгакова... // СиН. Кн. 22. С. 40—41).

[45]Имеется в виду Шульгин (2-й) Дмитрий Иванович (1786—1854) — участник русско-шведской войны 1808—1809 гг. и наполеоновских войн 1805—1807 и 1812—1814 гг., генерал-майор, московский обер-полицеймейстер в 1825—1830 гг., впоследствии начальник 18-й гренадерской дивизии; в 1846—1848 гг. был в Петербурге комендантом, а с 1848 г. исполняющим обязанности военного губернатора.

[46]*Нечаев Степан Дмитриевич* (1792—1860) окончил Московский университет в 1811 г., служил в Коллегии иностранных дел, в канцелярии рижского генерал-губернатора, в 1812 г. участвовал в формировании ополчения. В 1814—1817 гг. был почетным смотрителем Скопинского уездного училища, а затем до 1823 г. — директором училищ Тульской губ.; в 1824—1827 гг. — чиновник особых поручений при Д.В. Голицыне (т.е. сослуживец Дмитриева). С 1828 г. — за обер-прокурорским столом Синода; обер-прокурор Синода в 1833—1836 гг., сенатор (с 1836). В 1856 г. в чине действительного тайного советника вышел в отставку. В 1820-х гг. Нечаев поддерживал дружеские связи с К.Ф. Рылеевым, А.А. Бестужевым, П.Д. Черевиным, Ф.Н. Глинкой, собирал в Москве материалы для «Полярной звезды» и «Звездочки» и сам печатал в «Полярной звезде», «Мнемозине» и «Московском телеграфе» стихи и исторические статьи, касающиеся главным образом Куликовской битвы. Состоял с 1816 г. членом Общества истории и древностей российских при Московском университете и был его вице-президентом в 1838—1839 гг.; известна его переписка с К.Ф. Калайдовичем и Погодиным.

[47]*Кашкин Дмитрий Евгеньевич* (1771—1843) — поэт и переводчик; генерал-майор (1798), в отставке с 1801 г. «Ода на всерадостнейшее прибытие Государя Императора в г.Углич» была напечатана в Москве в 1824 г. (в *Библиотеке* — № 636).

[48]«На кончину Государя Императора Александра Первого» (Сочинения в прозе и стихах. 1826. Ч. 6. С. 197—203; Стихотворения-1830. Ч. 2. С. 15—23). У Дмитриева имеются и другие тексты, посвященные Александру I: «На сретение тела государя императора Александра Первого» (Там же. С. 27—37), «Память по Благословенном» (см. выше).

[49]См., напр., подборку стихотворений в книге Н.В. Данилевского «Подробное описание путешествия Государя Александра Павловича в Таганрог, Крым...» (М., 1829. С. 63—73).

[50]Имеется в виду ресторан на углу улиц Кузнецкий мост и Неглинная, открытый 1 января 1826 г. выходцем из Франции Т. Ярдом.

[51]Речь идет о стихотворении «Печальная песнь на кончину покойного императора Александра I-го» (*Иванчин-Писарев*. С. 29—30).

[52]Это заседание ОЛРС состоялось 27 февраля 1826 г.; протокол см.: Сочинения в прозе и стихах. 1826. Ч. 6. С. 290—292.

[53]Подробнее о составе и порядке процессии см.: Церемониал на время прибытия в первопрестольный град Москву тела в Бозе почившего блаженного и вечнодостойной памяти государя императора Александра I // МВед. 1826. № 11. 6 февр.

[54]О безобразном поведении некоторых участников процессии сохранилось еще несколько свидетельств (*Булгаков*. 1901. № 7. С. 364; *Насонкина Л.И.* Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 91).

[55]*Волконская* (урожд. Белосельская-Белозерская) *Зинаида Александровна* (1792—1862) — писательница, хозяйка известного литературно-музыкального салона в Москве (в 1824—1829 гг. располагался в доме Козицкой на Тверской ул., ныне д. 14).

[56]*Муромцев Николай Селиверстович* — отставной генерал-лейтенант. Вышел в отставку при Павле I, получил «всемилостивейшее позволение» носить драгунский мундир екатерининских времен. В 1810—1820-х гг. Муромцев воспринимался как курьезная достопримечательность Москвы. О нем см.: *Булгаков А.Я.* Воспоминания о 1812 годе и о вечерних беседах у графа Федора Васильевича Ростопчина // СиН. СПб., 1904. Кн. 7. С. 117—118.

[57]Строки из стихотворения «На кончину Государя Императора Александра Первого» (в варианте, помещенном в: Стихотворения-1830. С. 21, вместо «течет» стоит «исчез»).

[58]*Ширяев* Александр Сергеевич (ум. 1841) — московский книгопродавец и издатель, комиссионер Московского университета и Медико-хирургической академии (с 1813), библиофил, коллекционер; был тесно связан с московскими литераторами, в частности с ОЛРС. В *Библиотеке* имеется экземпляр «Реестра старопечатных старославянских книг, находящихся в библиотеке А.С. Ширяева» (М., 1833), который не поступал в продажу и, учитывая библиофильские интересы Дмитриева, возможно, был подарен ему издателем. Согласно характеристике мемуариста, «честный и просвещенный книгопродавец» (*Долгорукий.* 1863. С. 127); по мнению Н.Ф. Павлова, лишившегося места заседателя уездного суда не без участия Ширяева, «грубая и злая скотина» (РА. 1897. № 3. С. 457). Его лавка находилась в доме университетской типографии на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара. Очевидно, именно он выведен П.Л. Яковлевым в «Записках москвича» в очерке «Книжная лавка» (М., 1828. Кн. 1. С. 13—20). Описание университетской типографии, лавки и библиотеки при ней см.: *Гурьянов.* Ч. 4. С. 58—60. Из последних исследований: *Заболотских Б.* Книжная Москва. М., 1990. С. 171—176.

[59]Верховный уголовный суд над декабристами заседал с 3 июня по 12 июля 1826 г. Ряд документов, связанных с его деятельностью (всеподданнейший доклад от 8 июля, «Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осуждаемым к разным казням и наказаниям», указ Николая I Верховному уголовному суду от 10 июля), был опубликован в «Русском инвалиде» 16—21 июля 1826 г. Впоследствии их печатали и другие газеты; выходили они и отдельной брошюрой. К четвертованию суд приговорил пятерых подсудимых (П.И. Пестеля, С.И. Муравьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рюмина, К.Ф. Рылеева и П.Г. Каховского). Приговора в обществе ждали с большим нетерпением, и реакция на него была самой различной, от ужаса до безусловного одобрения.

[60]*Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — участник кампаний 1812—1814 гг., полковник (1821), командир Вятского пехотного полка, член Союза спасения, Союза благоденствия, один из организаторов и лидер Южного общества. *Муравьев*-Апостол Сергей Иванович (1795—1826) — участник кампаний 1812—1814 гг., подполковник (1820), командир батальона Черниговского пехотного полка (1822), один из основателей Союза спасения, Союза благоденствия и Южного общества, руководитель восстания Черниговского полка. *Бестужев-Рюмин* Михаил Павлович (1801—1826) — подпоручик (1824) Полтавского пехотного полка, один из руководителей Южного общества и восстания Черниговского полка. *Каховский* Петр Григорьевич (1799—1826) — отставной поручик (1821), член Северного общества; должен был убить Николая I; в ходе восстания застрелил генерала М.А. Милорадовича и тяжело ранил генерала Стюрлера. Конфирмация приговора последовала 10 июля 1826 г., заседание Верховного уголовного суда, на ко-

тором было определено наказание пятерым декабристам, поставленным вне разрядов, состоялось 11 июля.

[61]*Мария Федоровна*, урожд. принцесса Вюртембергская София Доротея Августа Луиза (1759—1828) — вдова Павла I. В ее ведении состояли благотворительные заведения.

[62]*Майков Аполлон Александрович* (1761—1838) — директор московских театров до 1821 г., директор петербургских театров в 1821—1825 гг.; действительный статский советник; драматург. В театральных кругах имел «репутацию большого невежи» (*Загоскин*. Т. 2. С. 692).

[63]*Елена Павловна*, урожд. принцесса Вюртембергская Фридерика Шарлотта Мария (1807—1873) — с 1824 г. супруга великого князя Михаила Павловича.

[64]*Елизавета* Михайловна (1826—1845) — великая княжна.

[65]*Ливен* (урожд. фон Поссе) Шарлотта Карловна (ум. 1828) — воспитательница дочерей Павла I, в 1794 г. назначена статс-дамой; светлейшая княгиня с 1826 г.

[66]*Небольсин* Николай Андреевич (1785—1846) — участник наполеоновских войн; вице-губернатор в Москве в 1827—1829 гг. и губернатор в 1829—1838 гг.; тайный советник (1836), с 1839 г. сенатор 8-го департамента, московский губернский предводитель дворянства в 1841—1844 гг., камергер. *Солнцев* (Сонцов) Матвей Михайлович (1779—1847) — чиновник по особым поручениям при министре юстиции; был пожалован в камер-юнкерское звание (из уважения к его возрасту замененное камергерским) в марте 1825 г.; непременный член Московской Оружейной палаты. *Толстой* — возможно, Иван Матвеевич, с июня 1839 г. — шталмейстер двора наследника; впоследствии министр почт.

Глава 12

[1]*Тацит* Публий Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский историк. Дмитриев цитирует его «Анналы» (кн. 2, раздел 39; на полях данная фраза приведена по-латыни), расширительно трактуя замечание Тацита, сделанное по весьма конкретному поводу (указано Н.В. Брагинской). В *Библиотеке* имеется билингва «Летопись П. Корнелия Тацита. Пер. с лат. С. Румовский» (СПб., 1806—1809. Т. 1—4 — № 2680—2683) с дарственной надписью И.И. Дмитриеву от Российской академии на авантитуле первого тома.

[2]Это произошло 25 июля 1826 г.

[3]Константин Павлович, несмотря на свою жестокость и взбалмошность, был популярен в войсках, а в крестьянской среде с ним связывали надежды на близкое освобождение (см.: *Ончуков Н.* Песни и легенды о декабристах // Звенья. М.; Л., 1935. Вып. 5. С. 5—43; *Чистов К.В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 198—204; *Рахматуллин М.А.* Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826—1857 гг. М., 1990. С. 122—130; *Он же.* Легенда о Константине в народных толках и слухах 1825—1858 гг. // Феодализм в России. М., 1987). О слухах, а также о значении приезда Константина Павловича в Москву на коронацию, о реакции в Москве на его прибытие см.: Записки Ф. Ф. Вигеля. М., 1893. Ч. 7. С. 79; Декабристы. Неизданные материалы. М., 1925. С. 42; Воцарение императора Николая I-го (Из дневника Г.И. Вилламова) // РС. 1899. Т. 97. № 3. С. 668; *Свербеев*. Т. 2. С. 363; *Благово*. С. 310; Отрывок из записанных рассказов сенатора И.Д. Данилова о цесаревиче Константине Павловиче // РС. 1870. № 3. С. 280; *Аксаков*. Т. 3. С. 58—59.

[4]*Панин* Виктор Никитич (1801—1874) — граф, министр юстиции (1839—1861). С 1819 г. — актуариус, с 1821 г. — переводчик в Коллегии иностранных дел; с 1824 по февраль 1826 г. был вторым секретарем русской миссии в Мадриде. В 1827 г. камер-юнкер, в 1830 г. — камергер. С апреля 1832 г. товарищ министра юстиции, статс-секретарь, действительный статский советник. Популярный очерк его деятельности на посту министра юстиции см.: *Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г.* Тайные советники империи. Российские прокуроры. XIX век. М., 1995. С. 261—306. О своих служебных столкновениях с Паниным Дмитриев рассказывает в гл. 21.

[5]Подробности о коронации см.: Церемониал священнейшего коронования государя императора Николая Павловича. Б.м. и г. С. 3—5; Чин действия, каким образом свершилось священнейшее коронование Его Императорского Величества Государя Императора Николая Павловича. М., 1826; Император Николай I и его царствование. Заимствовано из рукописи гр. де Пасси. СПб., 1859. С. 51; *Голицын.* 1881. С. 36; Два письма Д.Н. Блудова к супруге его // РА. 1867. Стб. 1047—1048.

[6]*Флигельман* — правофланговый ротный унтер-офицер или солдат, который на учениях выходил вперед и показывал элементы (темпы, в современной терминологии — разделения) ружейных приемов.

[7]*Голицын Петр Алексеевич* (1792—1842) в середине 1820-х гг. в чине титулярного советника состоял в звании камер-юнкера и числился при московском генерал-губернаторе.

[8]Т.е. в виде буквы «г».

[9]*Орлов* Алексей Федорович (1786—1861) — граф (1825), генерал-адъютант, генерал-майор, командир лейб-гвардии Конного полка; впоследствии князь, командующий императорской главной квартирой, шеф жандармов, главный начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии (1844—1856).

[10]*Орлов* Михаил Федорович (1788—1842) — участник кампаний 1805—1807 и 1812—1814 гг., основатель Ордена русских рыцарей, член Союза благоденствия и руководитель Кишиневской управы, участник совещаний декабристов в Москве в декабре 1825 г., отправлен в отставку и сослан в деревню. Столь мягкое наказание вызвало всеобщее удивление.

[11]Тогда *министрами* именовали и послов.

[12]В.П. *Кочубей* с 1784 г. находился на дипломатической службе (в 1784—1786 гг. состоял при миссии в Стокгольме, в 1789—1792 — в Лондоне; с 1792 по 1798 г. был полномочным министром в Константинополе, в 1796 г. был назначен членом Коллегии иностранных дел). Его предок Василий Леонтьевич Кочубей (1640—1708) не был гетманом, а с 1699 г. занимал на входившей в состав России Левобережной Украине должность генерального судьи; за пророссийскую позицию был казнен по приказу Мазепы.

[13]М.М. Сперанский происходил из духовного звания: его отец, Михаил Васильевич, был священником церкви в селе Черкутино Владимирской губернии.

[14]*Мармон* Огюст Фредерик Людовик, *герцог Рагузский* (1774—1852), французский маршал (1809); в период наполеоновских войн командовал войсками в Далмации (1806), Португалии и Испании (1811—1812), в марте 1814 г. был одним из руководителей обороны Парижа; впоследствии перешел на сторону Бурбонов.

[15]Кавендиш Уильям Джордж Спенсер, *герцог Девонширский* (1790—1858) — английский государственный деятель и дипломат.

[16]*Ла Ферронне* Пьер Луи Огюст (1777—1842) — граф, французский государственный деятель и дипломат, пэр, в 1819—1821 гг. — посланник, а в 1821 —1828 гг. — посол в Петербурге, в 1828—1829 гг. — министр иностранных дел Франции. Дисброу Эдвард Кромвель — английский дипломат, в 1825—1828 гг. — секретарь посольства в Петербурге и в отсутствие посла — полномочный министр, впоследствии — посланник в Штутгарте и Стокгольме.

[17]В ночь с 3 на 4 сентября 1826 г. Пушкин (в сопровождении фельдъегеря) по приказанию Николая I выехал из Михайловского в Москву; 8 сентября, сразу по приезде в столицу, он был доставлен в кабинет императора в кремлевском дворце и имел с ним продолжительную беседу с глазу на глаз (о ней см.: *Эйдельман Н.* Пушкин. Из биографии и творчества. М., 1987. С. 9—64).

[18]Время с осени 1821 по сентябрь 1826 г. Аксаков провел в принадлежавшей ему деревне Надёжино Белебеевского уезда Оренбургской губернии.

[19]*Лонгинов* Михаил Николаевич (1823—1875) — историк и библиограф, в 1859—1864 гг. секретарь ОЛРС. Переписывался с Дмитриевым; по сведениям П.И. Бартенева (см.: РА. 1912. Кн. 1. № 3. С. 433), Дмитриев помогал ему — скорее всего, в 1850-х гг., когда Лонгинов перешел на службу в Москву — в работе над книгой «Н.И. Новиков и московские мартинисты» (М., 1867). Одно из свидетельств «искреннего уважения и приязни» Лонгинова к Дмитриеву — изданные первым «Письма Екатерины II к Адаму Васильевичу Олсуфьеву» (М., 1863; книга имеется в *Библиотеке* — № 1273) с дарственной надписью мемуаристу. Кроме этого издания в *Библиотеке* есть также подготовленные к печати Лонгиновым «Драматические сочинения Екатерины II» (М., 1857) и несколько статей из журнала «Русский вестник»: «Общество любителей русской словесности при Императорском Московском университете» (Т. 15. С. 596—612 — № 9488; с инскриптом Дмитриеву и исправленными его рукой опечатками), «Материалы для истории русского просвещения и литературы в конце XVIII в.» (1859. Т. 25. С. 631—650) и «Воспоминание о П.Я. Чаадаеве» (1862. Т. 42. С. 119—160). Текст в квадратных скобках находится на полях рукописи.

[20]Мармон принимал участие в военных действиях против русских войск лишь в 1814 г., когда возглавлял оборону Парижа.

[21]Имеется в виду особняк, нанятый на время пребывания в Москве герцога Девонширского, — дом крупного владельца железоделательных заводов И.Р.Баташева на Швивой горке (современный адрес — Яузская ул., 9/11) построен в 1796—1805 гг., архитектор М.П. Кисельников, проект Казакова. Рассказы о богатстве английского посла и его чудачествах см.: *Бутурлин.* № 5. С. 63; Два письма П. Ермолова А.П. Ермолову // Щукинский сборник. М., 1910. Вып. 9. С. 318, 320.

[22]4-я часть «Путешествий Гулливера» («Путешествие в страну гуигнгнмов») Дж. Свифта (1667—1845) представляет собой панегирик населяющим эту страну лошадям, которые гораздо умнее и нравственнее людей.

[23]*Урусова* Софья Александровна (1804 или 1806 — 1889) — с 1827 г. фрейлина; в 1833 г. вышла замуж за флигель-адъютанта князя Леона Людвиговича *Радзивилла* (1808—1885), впоследствии генерала. «Царица московских красавиц» (*Бутурлин.* № 6. С. 206). См. также предположительно адресованное ей пушкинское четверостишие «Не веровал я Троице доныне...».

[24]Имеется в виду Карл Фридрих Александр (1801—1883) — принц прусский, генерал-фельдцейхмейстер русской службы. Прославился в Москве своим остроумием.

[25]*Стединг* (Штединг) Людвиг Богислас Христофор (1746—1837) — шведский генерал и дипломат, посланник в Петербурге в 1772—1808 и 1809—1811 гг.

[26]Речь идет о Генри Мидлтоне (1770—1846) — в 1810—1812 гг. губернатор штата Южная Каролина, с 1815 по 1819 г. — член Конгресса; посланник Северо-Американских Соединенных Штатов в России в 1820—1830 гг.

[27]*Благородное собрание* — дворянское сословное учреждение типа общественного клуба (существовало в Москве с 1783 г.). В 1784 г. приобрело дом бывшего московского генерал-губернатора В.М. Долгорукого на углу Охотного ряда и Большой Дмитровки, заново отстроенный архитектором М.Ф. Казаковым. Здесь московские дворяне принимали приезжавших в столицу государей; по вторникам традиционно давались балы.

[28]*Юсупов* Николай Борисович (1750—1831) — князь, посланник в Турине в 1783—1789 гг., в 1790-е гг. возглавлял Мануфактур-коллегию; камергер, сенатор (1788), директор императорских театров (1791—1802), член Государственного совета (1823), верховный маршал коронаций Павла I, Александра I и Николая I. Известный меценат. — *Орлова-Чесменская* Анна Алексеевна (1785—1848) — графиня, единственная дочь А.Г. Орлова-Чесменского, камер-фрейлина.

[29]*Венециан* — то же, что баута (от *ит.* bautta): маска с капюшоном.

[30]*Чернышев* Александр Иванович (1786—1857) — граф (1826), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, военный министр в 1827—1852 гг.

[31]Описание праздника см. также в кн.: *Милюков А.П.* Доброе старое время. СПб., 1872. С. 134—142; *Благово.* С. 311—312. *Девичье поле* — местность на юго-западе Москвы, в излучине Москвы-реки, между Плющихой и Новодевичьим монастырем.

[32]Цитата из стихотворения Г.Р. Державина «Вельможа» (1794).

[33]*Безобразов* Григорий Михайлович (1785—1854) — в 1803—1809 гг. служил в Коллегии иностранных дел, затем был переведен в канцелярию статс-секретаря П.С. Молчанова; в 1812 г. состоял чиновником особых поручений при Багратионе, участвовал в боевых действиях; в 1813 г. был переименован в майоры, принимал участие в заграничных походах 1813—1814 гг.; полковник (1816). С 1820 г. состоял чиновником особых поручений при Д.В. Голицыне, действительный статский советник (1823), московский гражданский губернатор в 1823—1829 гг.

[34]Не исключено, что поводом для некоторой холодности Николая I к Голицыну мог послужить секретный документ под названием «О противузаконных действиях Московского Ген[ерал]-Губ[ернатора] Кн[язя] Голицина при решении некоторых судебных *дел тяжебных и уголовных*». В нем говорилось: «Отступление и нарушение законов начались с недавних лет появляться более в тех губерниях, где начальствуют Генерал Губернаторы. — Хотя им по закону воспрещено участвовать при выборах дворян и купцов; но они, и именно Московский, не токмо присутствовал, но даже говорил речи, и весь город заранее мог знать, кто на какое место избран будет. — Сверх того он соединил в лице своем власть всех Палат, [Губернского] Правления, Судов, Магистратов и [Городской] Думы, поруча каждое из сих мест надзору чиновников особенных поручений, которые, имея в виду примеры бесчисленные награждений, возрождают новые тяжбы, берут из Судебных Мест к себе на квартиру дела частные и апелляционные, уже заслушанные, и производят по ним новые следствия» (РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. № 4609. Л. 1).

В верхней левой части листа резолюция императора: «переговорить». Внизу, под текстом, помета: «Объявлено Высочайшее повеление Московскому Воен[ному] Ген[ерал]-Губернатору Князю Голицыну 19 Апреля 1826. за № 817». На Л. 1–2 об. кратко изложены случаи наиболее вопиющих нарушений Д.В. Голицына и его подчиненных (в том числе А.И. Смирнова и А.П. Протасова); на Л. 3–36 об. – записки разными почерками за подписью «Генерал от кавалерии Князь Голицын» с подробным изложением каждого из этих случаев.

[35]Цитата из «Персидских писем» (1721) Ш. Монтескье.

[36]*«Записка о нуждах дворянских»* была подана губернскими предводителями дворянства 13 великорусских губерний. В РГИА (Ф. 1409. Оп. 2. № 4655) сохранилась подборка из пяти «всеподданнейших представлений <...> о нуждах дворянства», подписанных предводителями Подольской, Вологодской и Таврической губерний, Кавказской области и грузинского дворянства (документы датированы 31 августа – 16 сентября 1826 г.). Как явствует из этих текстов, они составлялись и были поданы по приказанию Николая I. В числе «pia desideria», помимо пунктов 2 и 3 перечня, приводимого Дмитриевым, находятся также просьбы о позволении: получать чины и жалованье, служа по дворянским выборам; воспретить крестьянам, «состоявшим во владении во время введения российского права, отыскивать вольность»; утвердить в частной собственности дворян новополучаемые земли (по образцу Херсонской губернии); вносить подати провиантом; пользоваться простой бумагой вместо гербовой; рассмотреть выправленные дворянские родословные книги. Жалобы предводителей дворянства разных губерний на дешевизну хлеба поступали в 1826 г. неоднократно и были связаны с общим падением цен на хлеб в середине 1820-х гг., причины которого оживленно обсуждались в периодике (см.: *Рожкова М.К.* Торговля // Очерки экономической истории России первой половины XIX в. М., 1959. С. 220–222).

[37]*«Жалованная грамота дворянству»* (ПСЗ-I. Т. XXVII. № 16187) была подписана Екатериной II 21 апреля 1785 г. Пункт 12-й раздела А («О личных преимуществах дворян») гласил: «Да не судится благородный, окроме своими равными».

[38]Примечание Дмитриева: «В полном собрании законов, 1830, том 27, стран. 146. Этот указ распубликован от Сената, 9 июня 1802». Подобное предложение поступило и от московского губернского предводителя дворянства (см.: *Рахматуллин М.А.* Крестьянское движение в великорусских губерниях в 1826–1857 гг. М., 1990. С. 170).

[39]Напротив этого места Дмитриев пометил на полях рукописи: «NB. Помести[ть] в конце 2-й части подлинную "Записку о нуждах дворянских"». Однако этот текст, как и упоминаемая ниже «Инструкция жандармам», которую автор также собирался приложить к мемуарам, в рукописи отсутствуют.

[40]К концу 1825 г. существовали Особенная канцелярия при Министерстве внутренних дел, занимавшаяся тайным сыском, жандармский (кавалерийский) полк в армии, жандармские дивизионы в столицах и жандармские подразделения в составе корпуса внутренней стражи в других городах. 3 июля 1826 г. было объявлено о создании III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии во главе с Бенкендорфом, а к концу месяца был утвержден ее штат. Шефом жандармов Бенкендорф был назначен еще 25 июня 1826 г., однако собственно корпус жандармов был создан только в 1827 г.; фактическое, а не номинальное подчинение жандармских подразделений шефу жандармов закончилось в 1842 г. *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783–1844) – участник наполеоновских войн, генерал-адъютант (1819), член следственной комисии по делу

декабристов, граф (1832). Интерес к организации тайной полиции в России проявил еще в середине 1810-х гг.

[41]*Гарун Альрашид* (современное правописание — Харун ар-Рашид; 763 или 766—809) — халиф из династии Аббасидов, при котором Арабский халифат переживал расцвет. Вместе со своим визирем *Жиафаром* (Джиафаром) был героем сказочного цикла «Тысяча и одна ночь», перевод которого на русский язык вышел в Москве в 1796 г. (Ч. 1—12 — в *Библиотеке* № 27).

[42]На полях напротив этого места помета автора: «NB. Поместить в конце 2-й части подлинную "Инструкцию жандармам"». Текст инструкции см.: РА. 1889. Кн. 2. № 7. С. 396—397; *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 468—469 (здесь названа инструкцией Шервуду от 13 января 1827 г.; тут же опубликована «инструкция жандармского полка полковнику Бибикову» — С. 781—782); *Лебедев.* № 8. С. 470—472 (мемуарист сопровождает текст собственными рассуждениями и рассказами о вмешательстве жандармов в деятельность судебных инстанций). Дмитриев сокращает документ и местами прибегает к пересказу.

[43]*Хмельницкий* Николай Иванович (1789—1845) — драматург, театрал, переводчик; в 1829—1837 гг. — смоленский губернатор. Дмитриев цитирует XI явление его одноактной комедии «Воздушные замки» (СПб., 1818, первая постановка — 1818 г.). Она имеется в *Библиотеке*, как и два экземпляра комедия «Говорун» (СПб., 1817) и составленный Хмельницким «Сокращенный памятник российского законодательства» (СПб., 1829).

[44]На полях: «Сенатор Нечаев и Вас. Макс. Панов». *Панов* Василий Максимович, талантливый агроном, был известен своей нравственной нечистоплотностью; он добился заключения своей нелюбимой жены (Екатерины Дмитриевны Пановой, адресата «Философических писем» П.Я. Чаадаева) в лечебницу для душевнобольных.

[45]*Спасский* Никифор Иванович (1770—1835) в 1810-х гг. состоял «в должности обер-секретаря» 7-го департамента Сената, надворный советник; в 1826 г. — обер-секретарь 7-го департамента, статский советник. О толках в петербургском обществе по поводу его ареста (сентябрь 1826) см. подробнее: Петербургское общество при восшествии на престол императора Николая. По донесениям М.М. Фока // РС. 1881. № 11. С. 520, 525, 535—536, 540, 553, 558; о рассмотрении его дела в 1827 г. — ОДАГС. Т. 1. С. 610. *Кумов* Сергей Ильич (ум. после 1839) — титулярный советник; в 1830-х гг. в чине коллежского регистратора служил секретарем во 2-м департаменте московского магистрата. О рассмотрении его дела в Государственном совете в 1828 г. см.: ОДАГС. Т. 1. С. 695.

[46]*Гагарин Павел Павлович* (1789—1872) — князь, с 1819 г. обер-прокурор 8-го департамента Сената, с 1823 г. обер-прокурор общего собрания московских департаментов Сената, сенатор (1831), член Государственного совета (1844); с 1864 г. — председатель Комитета министров, некоторое время возглавлял Государственный совет. Поддерживал судебную реформу 1864 г.

[47]*Август* Октавиан (63 г. до н.э. — 14 г. н.э.) — римский император с 27 г. до н.э.

[48]*Бажанов* (Баженов) Яков Иванович службу в Сенате начал в 1798 г. канцеляристом 5-го департамента; обер-секретарь 6-го департамента Сената с 1800-х по 1830-е гг.; затем обер-секретарь 7-го департамента Сената; с конца 1830-х — обер-секретарь общего собрания московских департаментов.

[49]*Золотарев Николай Игнатьевич* (1803 или 1804 — 1867) — потомственный почетный гражданин.

[50]*Котельников* Петр Егорович — путивльский, затем московский мещанин, букинист; в 1791 г. держал книжные лавки в Калуге, Туле и Орле, в 1793—1796 гг. был содержателем типографии в Калуге (*Семенников В.* Литературная и книгопечатная деятельность в провинции в конце XVIII-го и в начале XIX-го веков// Русский библиофил. 1911. № 6. С. 30—32), затем переехал в Москву. Входил в масонскую ложу «Ищущих манны» (о ее членах С.П. Фонвизине, двоюродном брате М.А. Фонвизина, и Н.А. Головине см. в примеч. к гл. 14 и 19) и был в 1817 г. ее казначеем — у него были обнаружены и конфискованы приходно-расходные записи, касающиеся затрат по оборудованию помещений для собраний ложи, по изготовлению масонской одежды, документы, касающиеся масонской библиотеки, регистрационная книга приходящих на заседания (ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. № 265. Ч. 1. Л. 15—53; Ч. 2). По некоторым сведениям, был связан с тайной полицией (*Кетов А.П.* Отрывок из воспоминаний Бекетова // Щукинский сборник. М., 1903. Вып. 2. С. 462—463).

[51]Дмитриев цитирует письмо весьма близко к тексту; ср.: «Если б Богу угодно было предуставлять кому властвовать и кому рабствовать, то б он, конечно, ознаменовал чем-нибудь волю свою; цари, например, рождались бы тогда с короною на головах, а вся достальная часть человеческого рода с седлами на спинах» (Л. 57 об.). Цитированных слов нет ни в фонвизинском, ни в муравьевском списках «Рассуждения...». Других существенных отличий от текста Фонвизина вариант Котельникова не имеет.

[52]Излагаемые события произошли еще до коронации. Во время следствия над декабристами В.И. Штейнгель показал на одном из допросов, что Рылеев предлагал ему принять в тайное общество «купца Селивановского» — Семена Иоаникиевича, известного книгоиздателя; Дмитриев, смещая хронологию, упоминает младшего Селивановского, Николая Семеновича (1806—1852). 3 мая 1826 г. из Петербурга в Москву было отправлено распоряжение провести обыск в его типографии, однако Селивановского по ошибке назвали Синельниковым. Ни один из московских Синельниковых отношения к издательской деятельности не имел, поэтому на всякий случай обыск был проведен у букиниста и книгопродавца Котельникова, о чем Д.В. Голицын 8 мая и сообщил в Петербург. На следующий день из столицы были получены необходимые уточнения (отношение И.И. Дибича Голицыну от 7 мая), и в 4 часа ночи 10 мая к Селивановскому отправилась полиция во главе с обер-полицеймейстером. Селивановскому удалось избежать неприятностей благодаря счастливому стечению обстоятельств, покровительству Д.В. Голицына и С.С. Кушникова. Возможно, Кушников, заинтересованный в том, чтобы не «раздувать» дело, умышленно представил его Дмитриеву как забавное недоразумение (см.: *Любавин М.* Издатель и типограф Семен Селивановский // Альманах библиофила. М., 1981. Вып. 10. С. 149—153). Еще в 1830-х гг. ходили слухи о том, что у Селивановского «печатались манифесты злоумышленников (декабристов. — *Коммент.*), но для сокрытия всего даже самые литеры после отпечатания были перелиты» (Изветы Снегирева // РА. 1901. Кн. 1. № 3. С. 527—528; *Оксман Ю.Г.* Белинский и политические традиции декабристов // Декабристы в Москве. М., 1963. С. 196). Под «письмом» имеется в виду так называемое «Рассуждение о непременных государственных законах» (охарактеризованное Голицыным как «манускрипт, содержащий в себе очень смелые выражения»: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. № 265. Л. 9 об.). По словам М.А. Фонвизина, «список <...> хранился у родного брата его редактора П.И. Фонвизина» и затем перешел к А.И.Фонвизину, отцу декабриста. «Покойному Никите Михайловичу Муравьеву сообщил я с нее копию, и он переде-

лал ее, приспособив содержание этого акта к царствованию Александра I. Разошлось несколько экземпляров сочинения, которое, явясь под именем настоящего автора, было приписано мне. <...> Подлинный манускрипт, писанный рукою дяди Д.И. Фонвизина, украл у меня один букинист и, как я после узнал, продал его П.П. Бекетову, который издавал тогда все сочинения Д.И. Фонвизина» (*Фонвизин М.А.* Сочинения и письма. Иркутск, 1982. Т. 2. С. 129—130). Вероятно, «одним букинистом» Фонвизин называет Котельникова, поскольку тот сообщил на следствии, что получил «Рассуждение...» в 1818 г. от него и его брата Ивана «в том самом виде, как оный есть теперь переписанный и оконченный собственною рукою Ивана Александровича Фонвизина («Рассуждение о непременных государственных законах» Д.И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева / Публ. К.В. Пигарева // Лит. наследство. М., 1956. Т. 60, кн. 1. С. 342; ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. № 265. Л. 10). С Котельниковым у Михаила Фонвизина могли быть и масонские отношения — в 1817 г. он вступил в московскую ложу «Александра Тройственного спасения».

[53]На полях карандашом: «великое и пустое, то есть безурядицу мирскую».

[54]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «26 апреля. 1864».

ГЛАВА 13

[1]О них см. примеч. 48 к гл. 11.

[2]30 декабря православная церковь празднует память мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), скончавшейся в конце III или начале IV в.

[3]*Всенощная* — церковное богослужение, совершаемое накануне праздников и воскресных дней.

[4]*Тропарь* — молитвенное песнопение, в котором выражается сущность празднуемого события или рассказывается о главных чертах жизни прославляемого в этот день святого.

[5]Точнее: «Тебе, Женише мой, люблю» — стих из «Тропаря общего мученице».

[6]П.А. Новиков служил советником Московского губернского правления в 1826—1833 гг. (сначала в чине коллежского асессора, с 1829 г. — надворного советника и с 1832 — коллежского советника).

[7]*Съезжая* — помещение для арестованных при полицейском участке.

[8]Речь идет о стихотворении И.И. Дмитриева «Надпись к портрету» (1791): «Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр! / Он в списываньи лиц имел чудесный дар, / И кисть его всегда над смертными играла: / Архипа — Сидором, Кузьму — Лукой писала» (Московский журнал. 1791. Ч. 3. С. 133; под заглавием «Надпись к портрету Ефрема-живописца»).

[9]Село Богородское, принадлежавшее И.И. Дмитриеву, перешло к его племяннику в 1838 г.

[10]Стихотворение «Наполеон» было сочинено по прочтении книги «Mémorial de St. Hélène», присланной Дмитриеву Погодиным. По выходе стихов из печати Дмитриев писал ему: «Посылаю вам и Степану Петровичу (Шевыреву. — *Коммент.*) моего Наполеона, за которого, должен признаться, обязан вам, потому что без вашей книги не написал бы его: она послужила мне ко вдохновению <...> Если же мне случится когда-нибудь

еще раз напечатать сию пиесу, то непременно украду некоторые мысли из статьи Шатобриана, переведенной Степаном Петровичем и напечатанной в вашем Вестнике: на это преступление я решился в самую минуту чтения и жалею, что не знал этой статьи прежде! — Вот как мало мы боимся журналистов!» (письмо от 22 марта 1828 г. // ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 47. № 33. Л. 1—1 об.)

[11]См.: «Это собрание мыслей о Наполеоне, без всякого плана, не оживленное ни жанром лирики, ни величием эпопеи, ни интересом драмы. Сочинитель риторически спрашивает, отвечает, сомневается, спорит с самим собою, и все у него холодно, как московский февраль, в который явилось его стихотворение. <...> Многие из стихов г-на Дмитриева кажутся не нашими современными <...> Это отзывается 1740-м годом!» (МТ. 1828. № 5. С. 88—92: ср. с мнением С.П. Шевырева, считавшего, что, хотя «стих не всегда свободно и точно выливается у автора, что иногда заметно в сем последнем какое-то усилие себя высказать, охлаждающее жар поэтический, что мелькают у него прозаические обороты», сочинение Дмитриева «высоко стоит перед теми минеральными произведениями, которые ежедневно вырастают посредством накопления слов и рифм»: МВ. 1828. № 9. С. 63—64).

[12]*Ламартин* Альфонс Луи Мари (1790—1869), *Делавинь* Жан Франсуа Казимир (1793—1843) — французские писатели-романтики.

[13]Речь идет о развернувшемся на страницах «Вестника Европы» споре издателя журнала М.Т. Каченовского с чиновником Министерства юстиции Иваном Романовичем *Мартосом* (ок. 1760 — 1831), анонимно напечатавшим книгу «Исследование банного строения, о котором повествует летописец Нестор» (СПб., 1809). Мартос полагал, что под «банным строением» Нестор разумел церковный купол. Возражения Каченовского см.: ВЕ. 1810. № 1. С. 60—70; ответ Мартоса — № 18. С. 145—154. Полемика продолжалась: новые возражения Каченовского — 1810. № 23. С. 218—230 и 1812. № 17. С. 38—56; ответы Мартоса —1811. № 22. С. 116—139 и 1812. № 1. С. 25—52. В результате в сознании многих современников запечатлелось представление о Каченовском-педанте, занимающемся бесконечным «копанием» в никому не интересном историческом хламе, а предмет научного спора — «банное строение» — иронически обыгрывался в эпиграммах; см., напр., «Парнасский Адрес-Календарь» А.Ф. Воейкова (1817—1820?): «М.Т. Каченовский, <...> хранитель древней пыли, обер-банщик торговых Гиппокренских бань, бессменный член банного строения, церемониймейстер предбанников, ордена бани кавалер; имеет через плечо веник на лыке» (Арзамас. М., 1994. Т. 2. С. 8).

[14]*Вкладчики* — здесь: авторы журнала.

[15]*«Соревнователь* просвещения и благотворения. Труды Вольного общества российской словесности» (СПб., 1818—1825); *«Благонамеренный»* (СПб., 1818—1826; издатель А.Е. Измайлов); *«Дамский журнал»* (М., 1806, 1823—1833; издатель П.И. Шаликов); *«Отечественные записки»* (СПб., 1820—1830; издатель Павел Петрович Свиньин, 1787—1839).

[16]Н.А. Полевой родился в Иркутске, но детство провел в Курске, родном городе его отца.

[17]*Варий* Руф Луций — римский поэт второй половины I в. до н.э.

[18]В № 1 «Московского телеграфа» (1825) были напечатаны послание Вяземского «К приятелю» и стихотворение А.С. Пушкина «Телега жизни».

[19]Речь идет о «Записках о жизни и сочинениях Николая Алексеевича Полевого» — сочинении Кс.А. Полевого. Первую часть этого труда в сокращенном виде подписчики «Живописной русской библиотеки» получили в 1859 г. «в виде премии» (в 1860 г. вышла отдельно). Дмитриев успел ознакомиться с «Записками...» по этим изданиям (полностью текст был опубликован в 1887 г. в журнале «Исторический вестник»; отдельно — СПб., 1888). Кс. Полевой писал о том, что в начале издания «Московского телеграфа» его брат, «еще не вполне уверенный в своей литературной опытности, отдавал свои критические статьи на просмотр князю Вяземскому. Некоторые с начала до конца были написаны князем, некоторые он переделывал почти совершенно». При этом Вяземский не мог «защититься от невольного и неизбежного желания кольнуть, при случае, своих недругов» (цит. по: *Полевой Н.* Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 167, 161). Ср. воспоминания Вяземского в «Автобиографическом введении» (*Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. 1878. Т. 1. С. XLVII). После публикации в 1829 г. «Истории русского народа» Полевого, содержавшей резкие отзывы о карамзинской «Истории государства Российского», Вяземский перестал сотрудничать в «Московском телеграфе».

[20]Цитата из статьи А.А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»: «В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», изд. г. Полевым. Он заключает в себе все; извещает и судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частное пристрастие — вот знаки сего телеграфа, а *смелым владеет Бог* — его девиз» (Полярная звезда на 1825 год. СПб., 1824. С. 498—499). Было и другое мнение: И.М. Снегирев писал 29 мая 1827 г. И.Н. Лобойко, что «из журналов «Московский телеграф», по новости своей и разнообразию, берет перевес и отличается резкою критикой, которая с недавнего времени полюбилась публике, отвыкающей от полезного чтения и прикрепляющейся все к легкому и остроумному, так что уже наконец неспособной делается к важному и глубокому» (СПб филиал Архива РАН. Р.IV. Оп. 52. № 8; сообщено А.И. Рейтблатом).

[21]В 1835 г. Полевой перевел «Гамлета» (на сцене с 1837 г.). Вопрос об отношении Полевого к творчеству Шекспира освещен в кн.: *Левин Ю.Д.* Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988. С. 80—86 и 261—266.

[22]*Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург. Дмитриев в данном случае преувеличивает пристрастность Полевого, хотя его эстетика действительно строилась на отталкивании от принципов классицистической поэтики. Полевой называл Буало «старым», Расина «односторонним», а Вольтера «обкрадывавшим Шекспира» (*Полевой Н.А., Полевой К.А.* Литературная критика. Л., 1990. С. 291, 114, 108).

[23]Имеются в виду М.Н. Лихонин, М.П. Розберг, И.Н. Камашев, М.А. Максимович, Д.П. Шелихов и др.

[24]Т.е. придирчивых и несправедливых критиков — имя греческого филолога, грамматика Аристарха Самофракийского (ок. 215 — ок. 143 до н.э.) стало нарицательным.

[25]Премьера исторической трагедии Нестора Васильевича *Кукольника* (1809—1868) состоялась в Петербурге 15 января 1834 г. Полевой, не знавший о высочайшем одобрении пьесы, отрицательно отозвался о ней в своем журнале (МТ. 1834. № 3. С. 498—506, без подписи), который был запрещен 3 апреля 1834 г.

[26]Неточная цитата из анонимной эпиграммы: «Рука всевышнего три чуда совершила: / Отечество спасла, / Поэту ход дала / И Полевого удушила». Не исключено, что эпиграмму сочинил Курбатов; вероятнее, однако, что Дмитриев, впервые услышав ее от Курбатова, счел его автором. Ср. позднейшее замечание М.П. Погодина: «В Москве ходила еще эпиграмма о Руке Всевышнего, на тему второго стиха. Кажется, Д.В.Давыдов подал к ней мысль. Выходя из театра и зевая от скуки, он сказал: «Кто сильный устоит противу сей десницы?» М.А. Дмитриев вспоминает еще остроту Курбатова» (РА. 1869. № 12. Стб. 2094).

[27]Полевой переехал в Петербург в 1837 г. Сотрудничал в «Сыне Отечества», «Северной пчеле», «Русском вестнике» и незадолго до кончины — в «Литературной газете». Известна эпиграмма Дмитриева по поводу драмы «Смерть или честь» (Драматические сочинения и переводы Н.А. Полевого. СПб., 1843. Ч. 4): «Я видел «Смерть и честь», и вот мой суд без лести: / Смерть скушно зрителям; творцу — ни малой чести!» (Сборник эпиграмм. Л. 18; там же еще одна эпиграмма на ту же тему). В письмах к брату Ксенофонту из Петербурга Полевой много писал о «необходимости работать, как на каторге, из куска хлеба» и о своей страшной бедности (*Полевой К.А.* Записки. СПб., 1888. С. 551—579).

[28]Имеется в виду М.М. Дмитриев.

[29]*Кибитка* — крытая дорожная повозка. *Коляска* — рессорный четырехколесный экипаж с откидным верхом. *Карета* — большой крытый четырехколесный экипаж на рессорах.

[30]*Купер* Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский романист.

[31]Т.е. являются государственными чиновниками, хотя 14-й класс — низший по «Табели о рангах».

[32]При равенстве класса по «Табели о рангах» военный чин считался выше гражданского. Кроме того, лица, состоящие на военной службе в 14-м классе, имели право на потомственное дворянство (до 1845 г.), а гражданские чиновники получали его лишь начиная с 8-го класса (с 1845 г. — с 5-го). Таким образом, станционные смотрители были ниже офицеров и чином, и по сословному статусу.

[33]*На долгих* — на своих лошадях, без перемены их в дороге, с ночными остановками и отдыхом.

[34]*Целковый* — разговорное название металлического рубля.

[35]Мемуарист приводит отрывок из стихотворения И.И. Дмитриева «К Волге» (1794). В цитате имеются незначительные расхождения с оригиналом: второй стих третьей строфы звучит: «Чрез лес дремучий на курган»; в двух местах не сохранена авторская пунктуация.

[36]Не удалось установить, имеется ли в виду *Куприянова* Александра, тайная советница, или же генерал-майорша *Куприянова* Авдотья Васильевна, дом которой числился на Земляном валу в Пречистенской части под № 226.

[37]Цитата из оперы-водевиля А.И. Писарева «Забавы Калифа» (М., 1825. С. 36).

[38]Имеется в виду Петровский парк.

[39]*Долгорукий.* 1863. С. 148—149.

[40]Неустановленные лица.

[41]Подмосковная усадьба Архангельское была приобретена Н.Б. Юсуповым у Н.А. Голицына в 1810 г.

[42]Стихотворение А.С. Пушкина «К вельможе» было написано в 1830 г.

[43]Конный портрет Б.Н. Юсупова (1794—1849) был заказан в 1809 г. в Париже не знаменитому французскому художнику Жаку Луи *Давиду* (1748—1825), а его ученику Антуану Гро (1771—1835). О формировании картинной галереи Юсупова и ее составе см.: *Кузнецова И.А.* Собрание живописи кн. Н.Б. Юсупова // Век просвещения: Россия и Франция: Материалы научной конференции «Випперовские чтения — 1987». М., 1989. Вып. 20. С. 261—273.

[44]В 1772 г. Юсупов предпринял путешествие по странам Европы, длившееся 10 лет (за это время он посетил Францию, Голландию, Англию, Испанию, Австрию, Италию). В январе 1783 г. он отправился в Турин, ко двору сардинского короля Виктора Амадея III, куда был назначен чрезвычайным посланником (пробыл в Италии до 1789 г.); исполнял различные дипломатические поручения в Ватикане, Венеции, при дворе короля неаполитанского. После отставки в 1802 г. Юсупов провел в Париже время с 1804 по 1811 г. Европейское путешествие наследника Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны состоялось в 1781—1782 гг.

[45]*Альфьери* Витторио (1749—1803) — итальянский драматург. *Касти* Джамбаттиста (1721—1803) — итальянский поэт.

[46]Вероятно, имеется в виду *Строганов* (Строгонов) Александр Сергеевич (1733—1811) — граф (с 1798 г.), сенатор, президент Академии художеств, директор Публичной библиотеки, меценат; обладал значительным состоянием, собрал коллекции картин, камней, медалей, монет, обширную библиотеку. Его сын Павел Александрович (1774—1817) — товарищ министра внутренних дел (1802—1805), в 1805—1807 гг. состоял на дипломатической службе; сенатор (1807), участник войны со Швецией (1808—1809) и кампаний 1812—1814 гг. *Обольянинов* Петр Хрисанфович (1752—1841) — генерал-прокурор в 1800—1801 гг. *Кутайсов* Иван Павлович (1759—1834) — пленный турок, взятый ко двору в царствование Екатерины II; гардеробмейстер (с 1796 г.), обер-шталмейстер (1800—1801); граф (с 1799 г.).

[47]Имеются в виду П.А. Новиков и Николай Иванович *Трубецкой* (1797—1874) — отставной ротмистр, впоследствии камергер, обергофмейстер, член Государственного совета.

[48]Иов. I, 4, 18.

[49]Речь идет о сочинении Альбертины Адриенны Соссюр (Монеккер) «L'Education progressive, ou Etude au cours de la vie» («Новейшая система образования, или Обучение в течение жизни». Paris, 1828—1832. Т. 1—2). Первая часть книги удостоилась положительной рецензии (МВ. 1828. № 9. С. 104).

[50]Об этом доме см. примеч. 26 к гл. 7.

[51]*Экзерциргауз* — манеж, здание, в котором «производятся разводы и разводные ученья» (*Гурьянов*. Ч. 3. С. 114). Построено в 1817 г. по проекту А.А. Бетанкура; художественная отделка О.И. Бове. Современный адрес — Манежная пл., № 9/1. *Неглинная ул.* — ныне Манежная ул.

[52]В «Московском вестнике» появились, в частности, стихотворения Дмитриева «К друзьям. Элегия» (1827. № 3. С. 167—168), «В альбом» и «Я не могу, я не умею...» (1827. № 6. С. 121—123), «Игра в вопросы» (1827. № 8. С. 313—315), «Забывчивость счастия» (1827. № 9. С. 6—7), элегия «Друг милый, отчего невольно льются слезы...» (1827. № 22. С. 131—132), «Вдохновение» (1828. № 18. С. 105—107), «Соблазнитель», «Две феи», «Баллада» (1829. № 1. С. 131—146, 203—207), «Нетерпение» (1830. № 2. С. 133), «Вера любви» (1830. № 3. С. 229—233), «Смерть счастливца» (1830. № 6. С. 105—118),

«Предчувствия любви» (1830. № 12. С. 289—290). История публикации ряда этих текстов выясняется из писем Дмитриева к Погодину (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 47. № 33. Л. 5—6; Карт. 48. № 35. Л. 6, 8, 10).

[53]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «4 июня 1864. Москва».

Глава 14

[1]*Губернское правление* — основное административное учреждение губернии; было введено 7 ноября 1775 г. «Учреждениями для управления губерний» (ПСЗ-I. Т. XX. № 14392) и существовало до Февральской революции 1917 г. *Палаты* — гражданского и уголовного суда; были созданы тогда же как департаменты Юстиц- и Вотчинной коллегий — высшие губернские судебные учреждения (позднее превратились в суды второй степени); выступали как «ревизионно-решающие» (*Ефремова Н.Н.* Судоустройство России в XVIII — первой половине XIX в. М., 1993. С. 130) инстанции для низших судов (уездных, надворных, магистратов и ратуш). В палате уголовного суда производились также следствия по наиболее тяжким уголовным и должностным преступлениям местных чиновников. В Москве уголовная палата делилась на два департамента: в первом расследовались преступления московских чиновников и рассматривались дела, поступившие из московских судов; во втором — преступления уездных чиновников и дела, поступившие из судов остальных уездов губернии. Надворные суды были созданы специально для жителей Москвы и Петербурга и столичных чиновников также 7 ноября 1775 г. первоначально как суды второй степени. Ликвидированные при Павле I, были восстановлены в 1802 г. как суды первой, низшей степени. В Москве надворный суд делился на три департамента, в каждом из которых присутствовали судья и два заседателя. Кроме уголовных дел рассматривал также дела «тяжебные по долгам и другим обязательствам гражданским», исключая «дела и жалобы по недвижимым имениям». Все перечисленные судебные учреждения просуществовали до судебной реформы 1864 г. Их функции и порядок рассмотрения дел в них изложены в «Учреждениях...»: гл. 6 (ст. 105—109), 7 (ст. 110—113) и 8 (ст. 114—116).

[2]ПСЗ-1. № 4424. Позднее норма перешла в свод (Т. 2, ч. 2. Ст. 152).

[3]Столь высокая роль секретарей неоднократно подчеркивалась современниками. Именно секретари, часть которых выходила затем в судьи, были носителями особой «судейской» — и шире, околосудебной — субкультуры, составлявшей основу тогдашней российской правовой системы. В 1840-х гг. попытки заменить «дельцов» выпускниками Училища правоведения привели к кризису дореформенного суда; он уже безнадежно устарел и требовал коренной реформы. О цепкости существовавших правовых традиций и глубокой их укорененности в российском менталитете свидетельствуют выпады самого Дмитриева против таких, казалось бы, очевидно необходимых мер, как издание Свода законов, предварительное юридическое образование судей и судейских чиновников. См. также размышления В.А. Муханова: «Если правосудие и выиграло, с одной стороны, от назначения в судьи молодых людей с благородными правилами и чистою нравственностью, то, с другой, потеряло от отсутствия чиновников опытных и коротко знакомых с практическим ходом дела. С изменением лиц и частым их перемещением исчезло судебное предание. <...> Прежде, когда секретарь в Сенате оставался долгие годы на своем месте, при докладе дела он ставил на вид, что подобные случаи уже бывали и решение по ним следовало такое-то. Этим произвол судей встречал преграду, сохранялось много времени, и в

решениях соблюдалось единообразие <...>. Воспитанники Училища правоведения суть пилигримы наших судов: они странствуют из суда в суд, из инстанции в инстанцию, из одного департамента в другой, и потому никто не знает и не помнит дел, представляющих аналогию в ходе обстоятельств» (Еще из дневных записок В.А. Муханова // РА. 1897. № 5. С. 93; запись 1855 г.); см. также: *Бутурлин*. 1897. № 11. С. 525–526.

[4]*Повальный обыск* — опрос лиц по месту жительства подследственного или подсудимого о его поведении и, следовательно, возможности совершения им преступления.

[5]Речь идет об освобождении крестьян от крепостной зависимости в 1861 г.

[6]*Озеров* Владислав Александрович (1769–1816) — драматург; служил в армии, в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе, в Лесном департаменте; А.С. *Грибоедов* (1790 или 1795 — 1829) — адъютант генерала А.С. Кологривова (с 1813); секретарь русской дипломатической миссии в Персии (с 1818), дипломат при штабе главноуправляющего Грузией генерала А.П. Ермолова (с 1822), с 1828 г. — полномочный министр-резидент России в Персии.

[7]В качестве исключения можно назвать А.П. Величко, учившегося в пансионе в одно время с Дмитриевым, в 1840-х гг. отставленного за злоупотребления (*Лебедев*. № 10. С. 186–187).

[8]Имеется в виду «Свод законов Российской империи» (СПб., 1832. Т. 1–17), вступивший в силу в 1835 г. Впоследствии вышел указатель (1837) и несколько дополнений. С учетом новых законов переиздавался в 1842 и 1857 гг. О затруднениях, связанных с поиском нужных законов, см. воспоминания М.Д. Бутурлина: «<...> по мере получения отдельных сенатских указов, их издавна складывали по годам в кучки. Они покоились таким образом в углу присутственной каморы или канцелярии суда, а при накоплении их связывали вместе и переносили в пыльный архив. О них кое-что могли еще знать стряпчий и секретарь суда, как чиновники коронные, не сменяющиеся, тогда как дворянством выбранный на трехлетний срок судья, да и часто из военных, или хотя бы из штатских, но без всяких дельных служебных антицидентов, никак уже не мог сыскать в этом хламе подходящих для его руководства законов» (*Бутурлин*. 1897. № 11. С. 525–526).

[9]Дмитриев имеет в виду следующие тексты: 1) «Соборное *Уложение*» 1649 г., важнейший памятник права допетровского времени. Сохранял свое значение вплоть до издания Свода; им открывалось первое «Полное собрание законов Российской империи». Кроме упомянутой Дмитриевым главы X («О суде») важными источниками уголовного права в первой трети XIX в. оставались и многие положения главы XXI («О разбойных и татиных делах»); 2) «Краткое изложение процессов или судебных тяжеб» (1715; ниже в ссылках — Краткое изложение процессов) — сборник преимущественно уголовно-процессуальных норм, применявшихся, как правило, в военно-судной практике; 3) «*Артикул воинский* с кратким толкованием» (1715), в котором систематически излагались нормы уголовного, отчасти — государственного и административного права. «Артикул...» и Краткое изложение процессов были составлены одновременно и неоднократно издавались под одной обложкой (впервые: Артикул воинский купно с процессом надлежащим судящим. СПб., 1715, 26 апреля); использовались и в гражданском судопроизводстве. Впоследствии оба закона были опубликованы в ПСЗ-I (Т. V. № 3006) в качестве второй книги «Воинского устава», несмотря на то что представляли собой отдельные юридические памятники; 4) *«Воинский устав»* и 5) *«Морской устав»* (13 января 1720: ПСЗ-I. Т. VI. № 3485; полное название — «Книга Устав Морской о всем, что касается доброму управлению, в

бытность флота в море») также содержали ряд уголовных и уголовно-процессуальных юридических норм, применявшихся и в гражданской юриспруденции.

[10]Сенатским указом от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказаниях за воровство разных родов» (ПСЗ-I. Т. 21. № 15147) воровство было разделено на грабеж и собственно воровство, а последнее — на кражу и мошенничество, которое понимали несколько шире, чем сейчас («буде кто на торгу или в ином многолюдстве у кого из кармана что вымет или вымыслом или внезапно у кого что отымет или унесет, или от платья полу отрежет, или шапку сорвет, или обманом или вымыслом продаст, или весом обвесит, или мерою обмерит»).

[11]Имеется в виду манифест Екатерины «О поединках» от 21 апреля 1787 г. (ПСЗ-I. Т. 22. № 16535).

[12]«*Наказ* Ея Императорского Величества Екатерины Вторыя самодержицы Всеросийския данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения» (1765—1767) — законодательное компилятивное сочинение Екатерины II из сочинений Ш. Монтескье, Ч. Беккариа и других просветителей. «Наказ» имел большое значение для развития российского законодательства и был широко использован при создании Свода. Дмитриев имеет в виду прежде всего главы, посвященные производству суда вообще и процедуре криминального суда.

[13]В 1787 г. Екатерина предприняла поездку в западные и южные губернии России (Белоруссия, Украина, Крым).

[14]«*Unigenitus*» (1713) — булла папы Климента XI.

[15]«Паче всего надлежит человеку жалобы свои исправно доказать...» — начало статьи 2 главы 1 («О доказании») Краткого изложения процессов. Далее следует: «ибо ежели челобитчик оного, о чем он жалобу приносит, доказать не может, то может потом ответчик от суда освобожден быть. Буде же оное дело тяжкое есть обвинение, и человек оное доказать не мог, тогда надлежит его против Уложения наказать».

[16]Ср. строки из письма Н.Ф. Павлова В.Ф. Одоевскому от 2 сентября 1827 г.: «Сделался добрым служивым, ничего больше не делаю, как только служу, но не на задних ногах. Боюсь нажить по службе врагов, потому что часто спорю и забываю отношения: ты меня поймешь, а очень многие здесь не понимают. Куешь дело о жизни и чести человека, так зачем справляться, как думают сильные о том, кто прав или виноват» (РС. 1904. № 4. С. 193).

[17]О том, что бо́льшая часть убийств совершалась в пьяных драках, см., например: *Лебедев*. № 8. С. 518.

[18]*Амфитрион* — мифический царь Фив. Его имя стало нарицательным для радушных хозяев.

[19]Русское слово «мещанин» происходит от польского mieszczanin — горожанин (от miasto — город).

[20]*Селянка* — горячее мясное блюдо.

[21]Точно сказать, какая местность имеется в виду, сложно: примыкающая к основанному в 1380 г. Николо-Угрешскому монастырю (в 6 км к югу от современного подмосковного города Люберцы) или район нынешних Угрешских улиц (неподалеку от станции метро «Пролетарская»).

[22]«Собственное признание есть лучшее доказательство всего света» (Краткое изложение процессов. Ч. II, гл. 2. Ст. 1). В Своде, с заменой слова «доказательство» на «свидетельство», также есть подобная формулировка (Свод. Т. 15. Ст. 1030).

[23]Данный закон не обнаружен.

[24]*Страстная пятница* — пятница последней недели Великого поста.

[25]*Фомина неделя* — вторая после Пасхи.

[26]*Польский локоть* — польская мера длины; 87 аршин равнялось примерно ста польским локтям. *Аршин* — мера длины в России с XVI в., равна 71,12 см.

[27]Таблицы о иностранных весе и мере с сравнением оных с российскими. Изданы от Департамента внешней торговли... СПб., 1814 (брошюра имеется в *Библиотеке*).

[28]Свод. Т. 15. Ст. 943.

[29]Там же. Т. 15. Ст. 710—711.

[30]Впервые пытки были запрещены при Екатерине II (10 февраля 1763 г.: ПСЗ-I. № 11750, ст. 2); см. также ПСЗ-I. № 11759, 14227, 20022, 20372, 21516. Одним из последних законов стало высочайше утвержденное 20 марта 1826 г. мнение Государственного совета «О истреблении стульев с цепями в полицейских местах и о воспрепятствовании изобретать впредь что-либо подобное».

[31]*Яковлев* Гаврила Яковлевич (ок. 1761 — 1831) — следственный пристав, коллежский советник; из кантонистов. По его собственным словам, при занятии Москвы французами был оставлен в столице «для ее поджогов вместе с несколькими другими чиновниками московской полиции» (*Халютин Л.* Московский сыщик Яковлев // Современник. 1859. № 4. Отд. 5. С. 79). Был «бичом мошенников; они трепетали от одного имени его. Он знал многих из них и щадил за маловажные шалости, потому что иногда пользовался их услугами. Они открывали ему важные преступления» (*Глушковский.* С. 66; см. также С. 67—68). О Яковлеве см. также: *Булгаков.* № 7. С. 344—345.

[32]*Обыскные люди* — лица, привлеченные к повальному обыску в качестве свидетелей.

[33]Доказательства в тогдашнем российском судопроизводстве делились на полные и *неполные*; последние можно было суммировать и составить полное доказательство. *Оставление в подозрении* — типичная норма инквизиционного процесса. Оставленный в подозрении по делам о разбое и воровстве должен был быть отдан на поруки по месту жительства тем, кто в ходе повального обыска даст показания в пользу подследственного (подсудимого); если они отказывались взять его на поруки, он мог быть сослан на поселение, отдан в солдаты или, в лучшем случае, под надзор полиции.

[34]Категорий лиц, не допускаемых к присяге, действительно было много (Т. 15. Ст. 946, 947): все, лишенные чести и прав состояния, «находящиеся с подсудимым в родстве и ближнем свойстве, или в дружбе, или имевшие с ним до того времени вражду, хотя бы потом они и помирились», «раскольники в делах правоверных», «явные прелюбодеи» и др. Согласно ст. 946, к присяге не могут быть допущены лица, не бывшие у причастия, однако указание на 2 года отсутствует.

[35]Краткое изложение процессов. Ч. II. Гл. 3. Ст. 7. Впоследствии эта норма перешла и в свод. (Т. 15. Ст. 1048.)

[36]Свод. Т. 15. Ст. 962.

[37]*Норов Николай Александрович* (ум. 1847).

[38]*Гагарин* Петр Иванович (1713—1827).

[39]*Фактотум* (*лат.*) — доверенное лицо, исполняющее ответственные поручения.

[40]*Храповицкий Иван Семенович* (р. 1787) — вице-губернатор Москвы в 1820-х гг., впоследствии нижегородский (1827—1928) и петербургский (1829—1836) губернатор.

[41]П.В. Киреевский сообщал Н.М. Языкову 7 июня 1833 г.: «<...> в Москву явлюся я только на один день, чтобы посмотреть, если удастся, на обряд, довольно необыкно-

венный. Ты, верно, еще будучи в Москве, слышал об одном Норове, который, как говорят, обманул князя Гагарина тысяч на двести. Вследствие подозрений почти очевидных и за недостатком агетальных доказательств этот Норов сегодня должен с колокольным звоном и в торжественной процессии идти в Казанский собор и решить дело страшной присягой Василия Великого. Вот какие чудеса у нас делаются!» (Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. М.; Л., 1935. С. 41–42). Описание присяги см. также: *Булгаков*. 1902. № 3. С. 526, 530–532; Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 226; Архив братьев Тургеневых. Пг.,1921. Вып. 6. С. 227.

[42]*Казанский собор* сооружен в 1620–1636 гг. Снесен в 1937 г.; восстановлен в 1994 г.

[43]1 Посл. к Тимофею, IV, 2.

[44]Мф., V, 34–37.

[45]Деян., V.

[46]Вероятно, имеется в виду *Норов* Николай Николаевич (1800–1860) — товарищ министра финансов (1853–1855), сенатор (с 1855 г.).

[47]Битье кнутом широко применялось в допетровской России: «Соборное Уложение» назначало это наказание по 140 видам преступлений. В XVIII в. границы его применения несколько уменьшились за счет введения розог и батогов, однако вплоть до 1812 г. число ударов не ограничивалось. Вопрос об отмене кнута был всерьез поставлен в 1817 г., когда в Москве был создан «Комитет об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей». Несмотря на то что большинство его членов признали наказание кнутом чрезмерно жестоким и бесполезным, он лишь в 1845 г. был заменен треххвостой плетью.

[48]Суровые наказания за изготовление фальшивой монеты вводились уже «Соборным Уложением» (в главе «О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги» предусматривалась смертная казнь) и неоднократно подтверждались впоследствии, в том числе в 1814 г. (Сенатский, по мнению Государственного совета, указ от 14 декабря «О нераспространении всемилостливейшего манифеста на деятелей фальшивых ассигнаций»: ПСЗ-I. № 25750), и в Своде (Т. 15, ст. 536: «лишение прав состояния, наказание кнутом и ссылка в каторжную работу»).

[49]Очевидно, Дмитриев имеет в виду ст. 426 тома 15 Свода: «Обретающиеся в пьянстве, буйстве и распутстве бездолжностные и отставные военные и гражданские чиновники, взятые в сем состоянии с полициею в публичном месте, в первый раз присуждаются ко временному заключению в смирительный дом, не более одного года». Смирительные дома вводились в 1775 г. «Учреждениями для управления губерний» (ст. 391) как подчиненные Приказам общественного призрения места заключения для лиц, обвиняемых в «продерзостях, добронравие повреждающих». Заключение могло производиться во внесудебном порядке: например, по прошению родителей, родственников, помещика (для крепостных крестьян).

[50]Согласно статье 664 тома 15 Свода, дела о прелюбодеянии подлежали «ведомству и рассмотрению духовных правительств»; церковное покаяние было одной из самых распространенных мер наказания, назначаемых по подобным делам.

[51]Ср.: «Бродяжничество есть наша дымящаяся рана <...> Их надобно полагать более 60000» (*Лебедев*. № 8. С. 518). См. также длинные списки беспаспортных в «Московских Сенатских объявлениях».

[52]*Оговор* — показания подследственного или подсудимого, обвиняющие другое лицо в преступлении. Согласно сенатскому указу от 17 апреля 1784 г. (ПСЗ-1. № 15983),

следствие и суд могли принимать во внимание показания тех, кто был сослан вместо смертной казни на каторжные работы, лишь в том случае, когда они касались только их лично. В Своде упомянутой Дмитриевым нормы нами не обнаружено.

[53]Николай I действительно занимался этим вопросом. Одним из средств для уменьшения количества заключенных стала замена тюремного заключения — отдачей в солдаты (см.: *Гернет М.Н.* История царской тюрьмы. М., 1960. Т. 1. С. 508–509).

[54]*Острог* (тюремный замок) — постоянная тюрьма; в 1800 г. по проекту М.Ф. Казакова в Москве был построен Бутырский тюремный замок (описание его см.: *Гурьянов.* Ч. 4. С. 136–139). *Яма* — временная тюрьма при полиции для подследственных; «крутая отлогость сего места к стороне Белого города, а может быть и нарочно вырытое углубление для Монетного двора, образующее ныне тюрьму сию, дало ей наименование ямы» (*Гурьянов.* Ч. 2. С. 352). Находилась во дворе здания присутственных мест (в их число входила и Управа благочиния) на Красной площади перед комплексом Монетного двора. Отделение подследственных от осужденных проводилось в первой половине XIX в. не слишком строго, и в яме могли находиться разные категории заключенных.

[55]*Плутарх.* Избранные жизнеописания. М., 1987. Т. 2. С. 445.

[56]В 1829 г. председателем Рязанской гражданской палаты числился надворный советник Петр Гаврилович Сазонов.

[57]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «26 июня 1864. Москва».

Глава 15

[1]*Кондырев Федор Васильевич* (ум. после 1839) — советник 2-го департамента Уголовной палаты в 1810–1820-х гг.; впоследствии председатель 1-го департамента, коллежский советник; с 1832 г. — в отставке. Его деловые способности высмеяны Дмитриевым в эпиграмме: «"Нет! Этот душу не продаст! / Он взяток не берет!" — Да кто ж ему и даст!» (Сборник эпиграмм. Л. 20).

[2]Ошибка мемуариста: правильно — Василий Иванович Щепетков (1763–1847), секретарь московского временного казенного департамента Сената в Москве (1802); обер-секретарь 2-го отделения 6-го департамента Сената в 1810-х гг.; заседатель 1-го департамента Уголовной палаты в 1820–1830-х гг.

[3]*Окуньков Федор Васильевич* (1791–1875) — из дворян; служил в 1-м департаменте московской гражданской палаты; в 1826 г. имел чин губернского секретаря; надворный советник (1832). Посвящен в ложе «Ищущих Манны» в 1819 г. по поручительству Н.А. Головина (о нем см. ниже), вплоть до кончины участвовал в собраниях «теоретического круга».

[4]*Янова Марья Федоровна* (1766–1841) — поручица, владелица дома в Кречетниковском пер. (Арбатская часть, квартал 1, № 67). Ее муж — подпоручик Александр Сергеевич Янов (1762–1829). По-видимому, к Яновой и Окунькову относится история, рассказанная в воспоминаниях М.В. Толстого, отчим которого был известным московским масоном. Некоторые неточности (Толстой называет Янову «девицей») не лишают этот рассказ интереса: «В числе их [масонов] находился некто О[кунько]в, человек, отличавшийся единственно атлетическим телосложением и ненасытным любостяжанием. Ему

удалось <...> жениться на богатой, пожилой барыне, вдове гофмейстера; она чрез несколько лет умерла, и О[кунько]в завладел всем, что после нее осталось, так что дочь ее от первого брака не получила ничего. Но этого было для него мало; он просил содействия старших братьев для сближения его с старой барышней М.Ф. Я[но]вой, на которой будто бы хотел жениться <...>. Неожиданно для почтенных покровителей дело приняло совершенно иное направление: О[кунько]в сблизился со старой девицей, издавна одержимой желанием найти себе мужа, но не женился на ней, а ограбил ее дочиста и бросил. <...> Впрочем выгодные расчеты О[кунько]ва не пошли ему впрок. Он умер в крайней бедности» (*Толстой*. № 3. С. 66).

[5]*Карташов Федор Ананьевич* (ум. не ранее 1842) — купец первой гильдии и почетный гражданин; торговал «бумажным товаром».

[6]*Алексеев Александр Васильевич* (1788—1860) — купец первой гильдии, впоследствии почетный гражданин (не позже 1839), московский городской голова.

[7]«Entre aveugles, borgnes sont élus rois», или «Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois»; пословица известна с XI в.

[8]Возможно, речь идет об И.И. Пущине.

[9]*Палки* — карточная игра.

[10]*Андреев* Николай Петрович (1773—1854) в 1797 г. был назначен архивариусом Московской удельной экспедиции; в 1810-х гг. состоял в должности обер-секретаря 8-го департамента Сената в чине надворного, а затем коллежского советника. С 1828 г. по конец 1830-х гг. председатель 2-го департамента Московской палаты гражданского суда, статский советник.

[11]Т.е. управление всеми делами.

[12]В надворном суде.

[13]Здесь в значении: никого не спрашивая и не считаясь ни с кем.

[14]Имеется в виду В.С. Филатова (о ней см. примеч. 54 к гл. 7).

[15]*Вергилий*. Энеида, VI, 638—665.

[16]*Боголюбов Алексей Васильевич* (р. 1794) в 1830-х гг. советник Московской конторы герольдмейстерских дел, коллежский советник.

[17]На полях рукописи: «Памятуя, что всяко даяние благо и всяк дар совершен, свыше есть сходяй от отца светов». Мемуарист цитирует стих 17 из гл. 1 Соборного Послания апостола Иакова, использующийся в литургии (в заамвонной молитве священника, после причащения Св. Таин).

[18]*Витберг* (Видберг) Александр (Карл) Лаврентьевич (1787—1855) — художник, архитектор; происходил из семьи шведского художника. В Академии художеств учился в 1802—1809 гг. в классе исторической живописи; о признании его таланта говорит тот факт, что в 1807—1809 гг. он удостаивался за свои картины золотых медалей; в 1815 г. за эскиз картины «Освобождение апостола Петра из темницы» получил звание академика. Автор неосуществленного проекта храма Христа Спасителя на Воробьевых горах в Москве (заложен 12 октября 1817 г.; рисунки и чертежи см.: *Снегирев В.Л.* Архитектор А.Л. Витберг. М., 1939). Строительство храма тянулось долго и осложнялось, по мнению ряда современников, тем, что Витберг «попал между двух огней: между графом Аракчеевым и князем Голицыным, министром духовных дел; они друг другу солили и вредили, а Витберг из-за их вражды погиб ни за что ни про что» (*Благово*. С. 204) — в 1826 г. он был отдан под суд, а по его окончании в 1835 г. сослан в Вятку. Разрешение вернуться в столицы получил только в 1839 г.

[19]*Витберг* приехал в Москву в 1813 г. и вернулся в Петербург в 1815 г. для представления Александру I проекта храма.

[20]*А.И. Герцен* (1812—1870) познакомился с Витбергом в Вятке, находясь там в 1835—1837 гг. в ссылке. Упоминаемый Дмитриевым пассаж содержится в «Былом и думах», в части 2 — «Тюрьма и ссылка» (см. в изд.: *Герцен.* Т. 8. С. 278), которая вышла отдельным изданием в Лондоне в 1854 г.

[21]Текст в прямых скобках находится на полях рукописи.

[22]Витберг проявлял интерес к зодчеству еще в петербургский период жизни (был автором проекта моста через Крюков канал).

[23]Именно оседание холма, на котором был заложен храм по проекту Витберга, послужило причиной окончательного прекращения строительства на Воробьевых горах.

[24]*Балкашин* Никанор Николаевич — чиновник «при особых поручениях» в Комиссии о сооружении храма Христа Спасителя (была создана в 1820 г. и просуществовала до мая 1827 г.). *Рунич* Аркадий Павлович (1785 — после 1841) — правитель канцелярии московского генерал-губернатора в начале 1810-х гг., коллежский асессор; советник Комиссии с 1821 г.

[25]Характеристика, данная Витбергу Дмитриевым, и многие обстоятельства дела почти дословно совпадают со сведениями, которые сообщает Н.В.Берг, сын казначея строительной комиссии: «По семейным нашим преданиям о Витберге он был человек очень талантливый, может гениальный, но гордый и заносчивый. Поэтому, что ни день наживал себе новых врагов. В комиссии (построения храма, кажется) он велел поставить *круглый* стол, чтоб нельзя было ясно обозначить место председателя, которым он считал себя, а никого другого, хотя «de jure» и не был им. Слыхал я еще о каких-то столкновениях его с Филаретом, митрополитом Московским. Впрочем, столкновениям вообще не было конца. Бури подымались то и дело. Утишал их обыкновенно государь, переговорив с Витбергом. Витберг имел на государя огромное влияние. Государь считал его гением, перед которым должны были смиряться обыкновенные смертные. При чине надворного советника следовал владимирский крест. Кажется и чин надворного советника дан был с тем, чтоб иметь возможность дать владимирский крест. Это произвело тогда шум и крики. — Витберг в деле стройки запутался как поэт, неумевший вести никаких счетов, полагавший, что это не нужно, что это совершится как-нибудь, само собою. Он давал записки карандашом, которые равнялись высочайшим повелениям. Никто не смел ослушаться. А иные, может быть, уж чересчур слушались, со своими особенными видами. В общем вышел хаос, мутная вода, где было привольно ловить рыбу тем, кто привык этим заниматься. Витберг оказался виноватым, будучи человеком редкой, высокой честности, который, конечно, не посягнул никогда ни на одну казенную (да и ни на какую) копейку. Его честность стоит такого же монумента, как и его гениальность» (Заметка об академике Витберге. (Из письма Н.В. Берга) // РС. 1872. № 7. С. 222).

[26]Ср.: «Витберг скупал имения для храма. Его мысль состояла в том, чтоб помещичьи крестьяне, купленные с землею для храма, обязывались выставлять известное число работников, — этим способом они приобретали полную волю себе и деревне» (*Герцен.* Т. 8. С. 285).

[27]По версии Герцена, «Витберг купил для работ рощу у купца Лобанова; прежде чем началась рубка, Витберг увидел другую рощу, тоже Лобанова, ближе к реке, и предложил ему променять проданную для храма на эту. Купец согласился. Роща была вырубле-

на, лес сплавлен. Впоследствии занадобилась другая роща, и Витберг снова купил первую. Вот знаменитое обвинение в двойной покупке одной и той же рощи. Бедный Лобанов был посажен в острог за это дело и умер там» (*Герцен*. Т. 8. С. 285).

[28]Еще до 1813 г. Витберг сблизился с Лабзиным, в Москве познакомился с Д.П. Руничем, также известным масоном. В 1816 г. через Голицына Витберг добился разрешения сделать объяснения к своему проекту лично для императора.

[29]*Балк* Павел Михайлович (р. 1771) до начала XIX в. на военной службе, депутат звенигородского уездного дворянского собрания в 1803—1807 гг., заседатель 2-го департамента Московской уголовной палаты в 1807—1817 гг. Председатель Палаты в 1820—1840-х гг., действительный статский советник.

[30]В 1832 г. К.А. Тоном был создан новый проект храма Христа Спасителя; 10 сентября 1839 г. прошла церемония закладки храма на месте Алексеевского монастыря, переведенного на северную окраину Москвы, в Красное Село.

[31]В конце 1850-х гг. были окончательно сняты леса и началась внутренняя отделка храма. 26 мая 1883 г. он был освящен. Комиссия для построения храма упразднена 1 июня 1884 г. Подробнее о строительстве см.: *Паламарчук*. Т. 2. С. 159—169.

[32]«Пятиглавые судки с луковками, вместо пробок, на индо-византийский манер, которые строит Николай с Тоном» (*Герцен*. Т. 8. С. 280).

[33]*Добронравов* Степан Федорович (1782—1854) — известный врач и медицинский писатель. Закончил Петербургскую медико-хирургическую академию, служил лекарем в Петербургском военном сухопутном госпитале и в армейских частях; штаб-лекарь (с 1812), корпусной медик одного из кавалерийских корпусов в 1814—1818 гг. Доктор (с 1821); в 1822—1829 и 1832—1840 гг. состоял инспектором медицинской конторы в Москве, впоследствии (1840—1843) инспектор аптекарской части на Кавказе и в Грузии, статский советник. Отличался склонностью к доносам. Так, например, летом 1826 г. подал Д.В. Голицыну рапорт об упущениях и проступках по службе Ф.П. Гааза, который сменил И.Х. Цемша (см. ниже) в должности штадт-физика. В частности, он писал, что слабоумный Гааз может повредить больным. По расследовании выяснилось, что утверждения Добронравова были ложными; согласно черновому отпуску отношения, отправленного в Министерство внутренних дел из канцелярии Голицына, в этом деле «виден <...> строптивый нрав г. Добронравова <...> явно обнаруживается во всех его поступках злонамеренность и ябеда, доказывающие его весьма худую нравственность». По решению Совета министерства от 28 октября 1826 г. Добронравов получил «строжайший выговор» с предупреждением о том, «что если на будущее время не воздержится он от подобных действий <...> то неминуемо подвергнется исключению из службы и взысканию по всей строгости законов» (ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 7. № 418. Л. 11, 8). Однако Гааз был вынужден подать в отставку.

[34]*Смольянский Гаврила Петрович* — в 1810—1820-х гг. — присутствующий Медицинской конторы в Москве, надворный, затем статский советник. Его брат, Семен Петрович, согласно «Российскому медицинскому списку», в 1812—1815 гг. — коллежский асессор; в 1825—1830 гг. имел чин надворного советника; штаб-лекарь (в 1809—1842), вольнопрактикующий врач.

[35]*Цемш Иван Христианович* (1766—1834) — в 1808 г. был назначен инспектором Медицинской конторы в Москве; с 1824 г. штадт-физик (глава Медицинской конторы, то есть начальник всех городских медицинских учреждений) в Москве; в 1809 г. коллежский асессор, в 1810-х гг. надворный советник, в 1820—1830 гг. коллежский советник,

затем статский советник. В 1810–1820-х гг. был также подлекарем при Московском архиве Коллегии иностранных дел. Известны его *сыновья*: Алексей Иванович (ум. не ранее 1839), в 1833 г. бывший комиссионером 9-го класса, с 1835 г. в отставке; Александр Иванович (ум. не ранее 1839), в 1829 г. — коллежский асессор. Небезынтересно, что один из них (вместе с А.И. Долгоруким, Н.Н. Трубецким и др.) принимал участие в домашнем спектакле, состоявшемся 16 января 1832 г. — скорее всего, в доме Долгоруковых (ОР РГБ. Ф. 126. Карт. 3610. Л. 58).

[36]Медицинская контора и Главная (запасная) аптека были подведомственны Министерству внутренних дел.

[37]Согласно справочнику «Аптекарская такса, или Оценка лекарств» (СПб., 1826. С. 44) одна унция (около 30 г) ревенного корня (Radix rhei palmati) стоила в 1825 г. 1 руб. 60 коп.

[38]*Рюль* (Рюхель) Иван Федорович (1768 или 1769 — 1846 или 1848) служил при высочайшем дворе (младшим гоф-хирургом) с 1798 г.; гоф-хирург (1802), лейб-медик (1823); в 1828 г. был назначен инспектором по медицинской части заведений императрицы Марии; действительный тайный советник (1843). Его брат Андрей состоял херсонским вице-губернатором в 1826–1828 гг.

[39]Имеется в виду указ «О обращении евреев к отправлению рекрутской повинности в натуре, с отменою денежного с них сбора, вместо отправления оной положенного» от 26 августа 1827 г. (ПСЗ-II. № 1329), которым вводился в действие «Устав рекрутской повинности и военной службы евреев» (ПСЗ-II. № 1330).

[40]*Телемак* — главный герой сочинения Франсуа Фенелона (1651–1715) «Приключения Телемака» (1699). Под именами мифологических персонажей в этом романе выведены исторические лица: Людовик XIV (Идоменей), его внук герцог Бургундский (Телемак) и наставник дофина, сам Фенелон (*Ментор*).

[41]*Камергерский ключ* — знак камергерского звания.

[42]Скорее всего, имеется в виду один из братьев Дюлу: Эдуард Осипович (Эдуар Никола; 1799–1874) или Филипп Осипович (ум. после 1839). Кому-то из них в 1830–1840-е гг. принадлежал галантерейный магазин, находившийся на улице Кузнецкий мост в доме Всеволожского, где и жил один из Дюлу. В декабре 1833 г. П.В. Киреевский по поручению Н.М. Языкова посылал ему приобретенную там обнову: «Шапку папинька купил у мадамы дю-Лу (что на Кузнецком мосту), и говорят, что это фасон самый новейший и животрепещущий» (Письма П.В. Киреевского Н.М. Языкову. М.; Л., 1935. С. 57).

[43]*Буш Василий Иванович* (1796–1854) — в 1810-х гг. сенатский регистратор, в 1820-х — титулярный советник в должности секретаря, а затем секретарь 1-го отделения 6-го департамента Сената; в начале 1830-х гг. — в должности секретаря 8-го департамента Сената; в 1830 — 1840-е гг. — обер-секретарь того же департамента, надворный советник, затем коллежский советник, зимой 1845/46 гг. переведен в 1-е отделение 6-го департамента; в отставке занимался хождением по делам.

[44]О нем см. примеч. 4 к гл. 11.

[45]*Данзас* Борис Карлович (1799–1868) — лицеист второго выпуска, в 1821–1822 и 1829–1835 гг. чиновник особых поручений при Д.В. Голицыне. По делу 14 декабря был арестован в Москве в январе 1826 г. и препровожден в Петербург, где по высочайшему повелению его месяц продержали на гауптвахте. В 1838 г. И.М. Виельгорский записывал в дневнике: «Говорили за чаем о 14-м числе. Как князь Димитрий Владимирович

Голицын сердился, когда всех молодых людей, у него служащих, взяли к допросу комиссии 14-го числа. Как он хлопотал о Данзасе и выпросил у Государя в вознаграждение за то, что невинно был обвинен, крест и в формуляре вычерк, что он был под судом» (ОР РГБ. Ф. 48. Карт. 52. № 1. Л. 35—35 об.; видимо, юный Виельгорский передавал услышанное от отца, который до 1827 г. служил в Москве и близко знал Голицына). Впоследствии Данзас был директором департамента Министерства юстиции (1839—1844; характеристику его достоинств и недостатков, а также деятельности на этом поприще см.: *Лебедев*. № 8. С. 497—498); обер-прокурор 1-го департамента Сената (с 1845), сенатор (1851). Близость Данзаса к семейству Голицыных порождала толки о том, что он был побочным сыном одного из братьев: Бориса или Дмитрия Владимировича.

[46]Балк (урожд. Титова) Надежда Васильевна (1784—1852).

[47]Голицына (урожд. Васильчикова) Татьяна Васильевна (1783—1841). Об услужливости и расторопности Н.В. Балк упоминает также (в ином тоне) Е.П. Янькова (*Благово*. С. 288).

[48]Зубков много занимался естественными науками (от физики до энтомологии). Так, наблюдения, сделанные им в 1830—1831 гг. во время заведования больницей в Якиманской части Москвы, были обобщены в брошюре «О незаразительности холеры...» (М., 1831).

[49]*Марков* Михаил Егорович (ум. не ранее 1842) — председатель Курской (до 1821 г.) и Тамбовской уголовной палаты (выбыл не ранее лета 1827 г.), председатель 1-го департамента Московской палаты уголовного суда в 1832—1838 гг. О его попытках поступить в 1842 г. на службу по ведомству Министерства внутренних дел, его репутации (характеристика близка дмитриевской), отзыв о нем Д.В. Голицына см.: РГИА. Ф. 1685. № 32. Л. 3—3 об.

[50]*Медный лоб* — «наглец, бесстыжий человек» (В.И. Даль).

[51]Эпиграмма была опубликована: Молва. 1832. № 27. С. 105 (подпись: *М.Д.*).

[52]Молва. 1832. № 34. С. 133 (подпись: *Ф.Ф.*).

[53]Там же. № 27. С. 105 (без подписи). Все три текста перепечатаны в ЭиС. С. 358—359; они же вместе с «Эмблематическим портретом» (Молва. 1832. № 24. С. 93) и еще четырьмя эпиграммами на Маркова, также помещенными в «Молве» (1832. № 34, 36, 39), внесены в рукописный сборник эпиграмм Дмитриева (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 1. Л. 19 об.—20).

[54]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «12 августа. 1864. Москва».

ГЛАВА 16

[1]Ненапечатанной осталась статья «Добро и зло». Остальные были опубликованы в «Московском вестнике» 1830 г. за подписью *«85.78.»* в № 4. С. 354—367 («Об аналогии...»), № 9. С. 31—43 («Знание и вера») и № 11. С. 207—217 («Свобода и необходимость»). Статья «Дух времени и потребность века в философическом и нравственном их значении» появилась в «Телескопе» (1833. № 2. С. 167—187). Тексты статей см. также в рукописном сборнике «Сочинения в прозе М. Дмитриева» (НБ МГУ. 1Pk 299/рук. 51 (82). Л. 1—26 об.). Сборник содержит 9 статей, две из которых — известные литературно-критические работы («О натуральной школе и народности» и «О характере поэзии, ее идее

и форме»); остальные посвящены религиозно-нравственным вопросам, из них три не опубликованы. Рукопись выполнена писарским почерком; имеет нерегулярную авторскую правку.

[2]Цитата из комедии Я.Б. Княжнина «Хвастун» (1784—1785? — д. 1, явл. 4).

[3]*Андросов* Василий Петрович (1803—1841) в 1824 г. окончил Московский университет и поступил на службу чиновником особых поручений к Д.В. Голицыну; в 1827—1829 гг. — преподаватель географии и статистики в Московской земледельческой школе; сотрудник «Московского вестника» и издатель журнала «Московский наблюдатель» (1835—1837); автор ряда статистических работ, в том числе «Хозяйственной статистики России» (М., 1827; имеется в *Библиотеке*), «Статистической записки о Москве» (М., 1832; также есть в *Библиотеке*) и «Земледельческой статистики России» (М., 1832). В московских журналах опубликовал несколько статей по вопросам философии (см. о нем статью Н.Г. Охотина в: РП. Т. 1. С. 73).

[4]*Лабрюйер* Жан де (1645—1696) — французский писатель; в своей книге «Характеры, или Нравы нынешнего века» (вышла первым изданием в 1688 г. в качестве приложения к переводу «Характеров» Теофраста, греческого философа и моралиста IV в. до н.э.; впоследствии дополнялась автором) описал современное ему общество, классифицировав склонности, пороки и слабости людей.

[5]*Отец* Погодина, Петр Моисеевич, был крепостным села Никольское-Галкино Медынского уезда Калужской губ., принадлежавшего графу Ивану Петровичу Салтыкову (1730—1805), генерал-фельдмаршалу и московскому главнокомандующему в 1797—1804 гг. С 1796 г. управлял московской конторой Салтыкова, т.е. ведал делами по заводам, фабрикам, вотчинам и домам в Москве, принадлежавшим хозяину. В 1806 г., согласно завещанию И.П. Салтыкова, был вместе с семьей отпущен на волю. Служил канцеляристом в петербургском правлении Государственного заемного банка, с 1812 г. — в московской Управе благочиния; впоследствии управлял имениями генерала Алексеева и Ф.В. Ростопчина.

[6]Погодин учился в Московской гимназии в 1814—1818 гг., в университете в 1818—1821 гг., в 1823 г. получил звание магистра; стал ординарным профессором университета в 1833 г., с 1835 по 1844 г. занимал кафедру русской истории; академик Императорской Академии наук по отделению русского языка (1841).

[7]С.П. Шевырев помещал в «Московском вестнике», фактическим руководителем которого он стал с конца 1827 г., стихотворения (оригинальные и переводные), рецензии, статьи по эстетике, прозаические фрагменты (см.: *Попкова Н.А.* «Московский вестник». Журнал, издаваемый М. Погодиным. 1827—1830. Указатель содержания. Саратов, 1991; по указ.).

[8]«Московский вестник» издавался при ближайшем участии Пушкина, который в 1826—1831 гг. интенсивно общался с Погодиным и Шевыревым. Первый номер журнала открывался «Сценой из Бориса Годунова»; впоследствии там были напечатаны: фрагмент повести «Граф Нулин», ряд отрывков из «Евгения Онегина», стихотворения «Золото и булат», «Жених», «Поэт», «Стансы», «Пророк», «Зимняя дорога» и др. Подробнее см.: *Синявский Н., Цявловский М.* Пушкин в печати. 1814—1837. М., 1938.

[9]*Хомяков* Алексей Степанович (1804—1860) — поэт, публицист, философ. В «Московском вестнике» напечатано в общей сложности более двух десятков его стихотворений, в том числе: «Желание» (1827. № 12. С. 313—314), «Поэт» (1827. № 15. С. 225—226),

«Вдохновение» (1828. № 3. С. 278), «Сон» (1828. № 17. С. 3–4), отрывки из трагедии «Ермак» (1828. № 4. С. 317–403; 1829. № 1. С. 113–130). Подробнее об отношении Дмитриева к Хомякову см. в гл. 20 и комментариях к ней.

[10]*Языков* Николай Михайлович (1803–1846/47) – поэт. В «Московском вестнике» появились его стихотворения «Тригорское» (1827. № 2. С. 83–90), «Ночь» (1827. № 20. С. 367–368), две «Элегии» (1830. № 1. С. 8; № 4. С. 335) и др. К Дмитриеву, а также его поэтическому творчеству и критическим выступлениям относился прохладно (см., например: Письма Н.М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822–1829). СПб., 1913. С. 187, 296, 336; *Языков*. С. 327, 378–379). Однако в *Библиотеке* имеется экземпляр «Новых стихотворений» Языкова (М., 1845– № 8929) с дарственной надписью Дмитриеву. Известно о существовании перписки Дмитриева и брата поэта, А.М. Языкова; отрывки писем от 20 января 1854 и 22 ноября 1858 гг. см.: *М.* С[уперанский]. Из Поволжской старины // ИВ. 1907. Т. 109. № 8. С. 510.

[11]Имеются в виду «Повести Михаила Погодина» (М., 1832. Ч. 1–3).

[12]«Марфа, посадница новгородская. Трагедия в 5-ти действиях, в стихах» (М., 1830– № 2111). *Похвалы Пушкина* этому сочинению Погодин и слышал (в Москве 13, 14 и 28 мая 1830 г., когда прочел Пушкину четыре действия еще не законченной трагедии), и читал в письме Пушкина (конец ноября 1830): «“Марфа” имеет европейское, высокое достоинство. Я разберу ее как можно пространнее. Это будет для меня изучение и наслаждение» (*Пушкин А.С.* Письма. М.; Л., 1926. Т. 2. С. 118). Это письмо с приложением пушкинского разбора трагедии Погодин напечатал в «Москвитянине» (1842. Т. 5. № 10. С. 461–465).

[13]*Алексей Петрович* (1690–1718) – сын Петра I от брака с Евдокией Лопухиной; бежал за границу, был возвращен и приговорен судом Сената к смертной казни. По слухам, был замучен отцом.

[14]Трагедия «Петр I» была создана в 1831 г.; напечатана полностью лишь в 1873 г. с посвящением «драгоценной для русских памяти Александра Сергеевича Пушкина» и авторским послесловием мемуарного характера. Здесь Погодин, в частности, пишет об истории публикации этого произведения: «Пушкин и Жуковский взялись провести моего Петра чрез цензурные <...> ущелья, с помощию Д.Н. Блудова, бывшего товарищем министра народного просвещения. Но старания их остались безуспешными, и цензура, не находя в трагедии ничего противного уставу, затруднялась самим ее предметом. Печатать было не позволено <...> второе действие я напечатал в последних 30 годах в Наблюдателе, и цензор, П.С. Щепкин, получил за то строгий выговор» (*Погодин М.П.* Петр I, трагедия в пяти действиях, в стихах. 1831. М., 1873. С. 167, 161).

[15]Неточная цитата из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский» (1832–1833); фрагменты ее Пушкин напечатал в «Современнике» (1836) под заглавием «Родословная моего героя (отрывок из сатирической поэмы)».

[16]«История в лицах о Димитрии Самозванце» (М., 1835) вышла с посвящением А.С. Пушкину. В *Библиотеке* имеется три экземпляра этого сочинения; один из них приплетен к трагедии «Марфа».

[17]Диссертационное сочинение Погодина на соискание степени магистра «О происхождении Руси» вышло в Москве в 1824 г. (имеется в *Библиотеке*); на следующий год состоялась защита.

[18]*Эверс* Иоганн Филипп Густав (1781—1830) — историк; в России с 1803 г., преподавал в Дерптском университете. Создатель теории родового быта, развитой позже историками государственной школы; основные исторические труды (на нем. языке): «История руссов» (1816) и «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (1826). В переводе Погодина появились «Предварительные критические исследования г.Еверса для российской истории» (М., 1825—1826. Ч. 1—2).

[19]Исторические афоризмы Михаила Погодина. М., 1836 (книга есть в *Библиотеке*); в том же году книга была издана в Лейпциге на немецком языке.

[20]Исследования, замечания и лекции М. Погодина по русской истории. М., 1846—1856. Т. 1—7. В составе *Библиотеки* сохранилось по два экземпляра первых четырех томов и по одному — Т. 5—7.

[21]Норманнский период русской истории. М., 1859 (книга имеется в *Библиотеке*).

[22]Князь Андрей Юрьевич Боголюбский // ЖМНП. 1849. № 9—10, 12 (отдельное издание — М., 1850). *Библиотека* включает также целый ряд не упомянутых мемуаристом сочинений Погодина: «Историко-критические отрывки» (1841. Кн. 1); «Год в чужих краях» (М., 1844. Ч. 1—4); «К юноше» (Б.м., 1846); учебные пособия «Начертание русской истории: для училищ» (М., 1835) и «Краткое начертание русской истории. Сокращение гимназического курса» (М., 1838); речи «Воспоминание о Ломоносове... для произнесения в торжественном столетнем собрании Московского университета, 12 января 1855 года ([М., 1855]) и «Историческое похвальное слово Карамзину. Произнесенное при открытии ему памятника, в Симбирске, авг.23, 1845 г., в собрании симбирского дворянства» (М., 1845); статьи «О Москве» (оттиск из МВед. 1837. № 67), некролог князя Дмитрия Владимировича Голицына (из МВед. 1844. № 47), «Житейская мудрость» (оттиск из «Журнала сельского хозяйства. 1860. Т. 1. № 1), «Петр Первый и наше органическое развитие» (вырезка из «Русского вестника». 1863. № 7), корректурные листы статьи «Новое издание Пушкина и Гоголя» (Москвитянин. 1855. № 12. Июнь. Кн. 2), не пропущенная цензурой статья «Черты из пребывания царского семейства в Москве»; переведенные Погодиным сочинения А.Л. Шлецера «Введение во всеобщую историю для детей» (М., 1829—1830. Ч. 1—2) и И. Добровского «Грамматика языка славянского по древнему наречию» (СПб., 1833. Ч. 1). В НБ МГУ хранится конволют рукописных «Политических писем и замечаний Михаила Петровича Погодина 1838, 1840, 1843, 1854—1856» (Pα/300. Инв. рук. 316), принадлежавший Дмитриеву; в текстах статей сохранились пометы мемуариста о времени и месте их получения, а также грамматического и полемического характера. Из *Библиотеки* происходит также рукопись упомянутой выше трагедии «Петр Первый» (1Sd/96).

[23]Небольшая трехчастная поэма *«Смерть счастливца»* была написана Дмитриевым в 1829 г. Появилась практически одновременно в МВ (1830. № 6. С. 105—118) и в изд.: Стихотворения-1830 (Ч. 2. С. 101—122).

[24]Стихотворения — 1830. Ч. 2. С. 125—128, с авторской датировкой — «1829».

[25]Там же. С. 131—140.

[26]Там же. С. 143—150.

[27]Рене-*Семен* Огюст (Август Иванович, 1783—1862) приехал в Москву, сопровождая оборудование для типографии Н.С. Всеволожского, открытой в 1809 г., и служил в ней фактором; в 1818 г. стал инспектором Синодальной типографии и пробыл в этой должности около 40 лет. Для своей издательской деятельности арендовал типографию

Медико-хирургической академии (со второй половины 1810-х) и до 1846 г. имел собственную типографию (в 1828—1830 гг. она находилась на Кисловке, в доме Ланга) и книжную лавку на Кузнецком мосту (до 1845 г.). То, что «Стихотворения» вышли у Семена, весьма красноречиво указывает на библиофильские увлечения Дмитриева и его развитый вкус: Семен поддерживал постоянную связь с французскими типографщиками (у себя в словолитне он изготовлял шрифты по образцам, применявшимся знаменитыми парижскими книгоиздателями Дидо); по мастерству исполнения его типография была лучшей в Москве (так, в рецензии на сборник, помещенной в «Телескопе», отмечалось, что «издание своим изяществом делает честь вниманию издателя к публике и типографии Семена» — 1831. № 3. С. 399; ср. благодарности Е.А. Баратынского Н.А. Полевому (ноябрь 1827 г). за хлопоты по изданию сборника «Стихотворения Евгения Баратынского», напечатанного в той же типографии: «Издание прелестно. Без вас мне никак бы не удалось явиться в свет в таком красивом уборе» — Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского. 1800—1844. М., 1998.). О Семене см. также: *Клейменова Р.Н.* Книжная Москва первой половины XIX века. М., 1991. С. 107—110; *Модзалевский Б.Л.* Август Иванович Рене-Семен // Печатное искусство. 1903. Июль—август. В типографии А. Семена-младшего (располагалась на Софийке) Дмитриев напечатал свой перевод «Науки поэзии, или Послания к Пизонам» Горация (1853).

[28]Сборник 1830 г. вызвал ряд откликов. Высокую оценку ему дал рецензент «Телескопа»: «Стихотворения Дмитриева <...> носят на себе печать ума светлого, согреваемого теплотою кроткого чувства»; сожаления вызывало только то, что «фактура стихов, при всей своей исправности, тяжела и жестка. Мысль подавляется ею нередко до прозаической обыкновенности» (1831. № 3. С. 394, 399; ср. также одобрительную заметку А.Н. Глебова: Гирланда. 1831. № 2). Анонимный критик «Литературной газеты» отмечал противоречивость и неравноценность поэзии Дмитриева: «<...> и хорошее и посредственное так перемешаны, так близки друг к другу, так, можно сказать, свободно роднятся между собою <...> что никакое *пробирное искусство* критика недостаточно для того, чтоб отделить одно от другого» (1831. 16 апреля. С. 180). Н.А. Полевой (МТ. 1831. № 4) пренебрежительно высказался как о стихотворениях, назвав автора «полуромантиком»: «шероховато, но вылощено; отзывается тяжелым трудом, но гладко; принужденно, но стройно» (С. 522), так и о типографическом исполнении сборника (что весьма показательно в контексте тотального неприятия Полевым дворянской эстетики).

[29]*Гюне* (Гине) Егор Егорович участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 гг., адъютант Н.В. Репнина (не позже чем до 1793 г.); с 1794 г. — советник Рижской уголовной палаты, в 1802—1812 гг. — вице-президент, а в 1813—1831 гг. — президент Лифляндского гофгерихта. Гюне действительно принял М.Я. Мудрова в масоны в Риге в 1802 г. (Письма Новикова. С. 317, 335—336). Лабзин мог бы принять Мудрова в ложу «Умирающий Сфинкс», основанную им 15 января 1800 г., но до 1802 г. она не имела помещения для заседаний, поэтому принятие в масонство проходило без соблюдения всех ритуальных правил, «вне ложи» (впоследствии именно так, «партикулярно» был принят и М.А. Дмитриев). По замечанию А.И. Серкова, Лабзин, вероятно, потому и отправил Мудрова к Гине, что хотел, чтобы его принятие прошло более торжественно и одновременно дало бы повод восстановить временно прерванные масонские связи с Ригой и Берлином. Реально взаимоотношения Мудрова с лидерами вольных каменщиков (Лабзиным, П.И. Голенищевым-Кутузовым и др.) были сложнее, чем пишет Дмитриев. По-

пытки создать «свою» ложу в противовес другим московским масонам (сторонникам О.А. Поздеева) Мудров предпринимал уже с 1810 г., но безуспешно. К 1819 г. в Москве произошло фактическое объединение бывших противников: сторонников Новикова, с одной стороны, и Поздеева — с другой; начиная с этого времени Мудров выполнял целый ряд обязанностей в ложах «Нептун» и «Феникс» (казначея, ритора, попечителя о бедных и др.); в сентябре того же года был по приказанию Н.А. Дьякова присоединен к «теоретическому» (фактически высшему) градусу. С 1821 г. Мудров вновь оказался в оппозиции к «московским руководителям» и фактически не посещал заседаний вольных каменщиков. В 1822 г. в качестве предполагаемого руководителя (мастера стула) он подал прошение об открытии ложи «Гиппократа» («Гарпократа»), однако из-за последовавшего вскоре запрета масонства она так и не начала своих работ.

[30]*Репнин Николай Васильевич* (1734—1801) — князь, генерал-фельдмаршал (с 1796), дипломат. В 1763—1769 гг. — посол в Польше, в 1775—1776 гг. — в Турции; участник Семилетней (1756—1763) и русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 гг. Историю обращения Репнина Дмитриев мог узнать из сочинения Д.И. Попова «Материалы для жизнеописания пяти благочестивых мужей в России из разных достоверных источников собранные», список которого с пометами Дмитриева имеется в НБ МГУ (5 Nk 35/рук. 185. Л. 47). Н.В. Репнин был членом ложи «[Девяти] Муз» в 1776 г. в Петербурге (она входила в так называемый «елагинский» союз и работала в собственном доме И.П. Елагина), мастером стула и основателем «военной» ложи в Кинбурне (ок. 1779). Гине, конечно, не принимал Репнина в масоны, но мог привлечь его к «истинному масонству», т.е. к «мартинистскому» (шведско-берлинскому), новиковскому течению в Ордене вольных каменщиков. Е.Е. Гине был даже мастером стула (руководителем) ложи «Трех Знамен» (Москва), из которой выросло московское масонство времен И.Е. Шварца и Н.И. Новикова.

[31]На полях рукописи: «“Сионского вестника” в 4-й части, стран. 304. — Написана на французском языке 1785 года; а напечатана 1817 года, через 32 года».

[32]Ошибка (или описка) мемуариста: имеется в виду не *Головнин*, а Головин *Николай Александрович* (1779—1831) — статский советник, директор Московской адресной конторы; видный масон (принят в 1806 г.). По словам М.В. Толстого, «человек необыкновенно умный, хитрый и обладавший разнородными познаниями», однако «был нестерпим в обращении с братьями»; состоял «мастером в “Великой провинциальной ложе” и, как кажется, принадлежал к сословию «Рыцарей Розового Креста»». Основатель ложи «Ищущих Манны», оратор в ней (1818); в этой ложе был «главным деятелем и предметом всеобщего благоговейного почтения» (*Толстой.* № 3. С. 59).

[33]Со времени запрещения лож в 1822 г. русское масонство вступило в полосу кризиса, постепенно превращаясь в приятельские сообщества. Однако в 1825—1830 гг. московское масонство переживает кратковременный подъем, пытаясь усилить конспирацию и сохранить организационные формы; наиболее активно в это время действует кружок «теоретистов» (*Пыпин А.Н.* Русское масонство XVIII и первой четверти XIX в. Пг., 1916. С. 472—480, 532), руководителем которого был в эти годы Н.А. Головин (собрания часто проходили у него в доме). Согласно воспоминаниям М.В. Толстого, «после закрытия лож все обряды исчезли, но собрания братьев продолжались в виде бесед довольно часто, особенно по средам, в доме П.А. Курбатова, и принятие новопоступающих продолжалось тайно» (*Толстой.* № 3. С. 66—67). По-видимому, приглашение вступить в ложу, сделанное Дмитриеву, можно связать со всеми этими обстоятельствами (в том числе со знакомством с Курбатовыми).

[34]*Пикулин* Лука Егорович (1784—1825) — врач; доктор медицины и хирургии (1818), ученый секретарь Московского отделения Медико-хирургической академии, экстраординарный профессор (с 1819). С 1819 г. жил в Москве, где имел большую практику; владел домом № 25 в 1-м квартале Арбатской части. В 1819—1822 гг. был членом московской ложи «Александра к тройственному спасению», в которую входил также М.Я. Мудров.

[35]*Курбатов* Петр Александрович (1788, 1794 или 1795 — 1872) — «московский старожил, состоявший в близких отношениях с главными представителями литературной деятельности первой четверти нынешнего столетия, друг многих значительных масонов и сам ставший масоном. В течение 35 лет (с 1816 по 1851 г.) был директором типографии Московского университета, а с 1826 по 1830 г. директором университетского благородного пансиона. По душевным свойствам, по добродушию, благочестию и благотворительной жизни пользовался общим уважением в Москве. По выходе в отставку остальное время жизни прожил он в своем, многим известном домике в Грузинах, в совершенной тишине и уединении, вовсе не показываясь в обществе» (Гражданин. 1873. № 3. С. 81). На должность директора типографии (где тайно печатал «масонские песни, которые пелись хором в собраниях и беседах, под звуки органов» — *Толстой.* № 3. С. 60) попал по протекции министра народного просвещения А.К. Разумовского, покровительствовавшего масонам; был женат на его внебрачной дочери Прасковье Алексеевне Перовской. Близкий друг Н.А. Головина, член-основатель ложи «Ищущих Манны»; ее наместный мастер (1819—1822); участник собраний теоретического круга по 1862 г.; в 1832—1834 гг. они часто проводились у него в доме.

[36]Речь идет о сочинении известного писателя-богослова, люнебургского епископа *Иоанна Арнда* (Арндта; 1555—1621) «Bucher vom wahren Christentum» («Книги об истинном христианстве»; первые четыре части вышли в 1605—1610 гг.). Русский перевод издан в 1735 г. в Галле Симоном Тодорским под заглавием «Чтири книги о истинном христианстве содержащим в себе учение о спасителном покаянии, сердечном жалении и болезновании ради грехов; о истинной вере, о святом житии и пребывании истинных неложних христиан: такожде о сем, како истинныи христианин имат победити грех, смерть, диавола мир и всякое бедствие, верою, молитвою, терпением, Божиим словом и небесним утешением, всеже сие в Христе Иисусе» (имеется в *Библиотеке*). Полный перевод в пяти томах, выполненный И.П. Тургеневым, вышел в Москве в 1784 г. Упомянутый четырехтомный перевод А.Д. Курбатова — по-видимому, «Об истинном христианстве. Иоанна Арндта. Новый перевод с немецкого» (М., 1833—1835. Т. 1—4); поучения — «Семь поучительных слов Иоанна Арндта» (М., 1832). В *Библиотеке* сохранился также экземпляр «Книги натуры...» И. Арндта (М., 1830 — № 804) с владельческой записью Дмитриева — перевод четвертой части сочинения «Об истинном христианстве». В тексте книги имя переводчика не указано, однако на форзаце рукой Дмитриева помечено: «Перевод Александра Дмитриевича Курбатова». Об изданиях И. Арнда см. также: Пятьсот лет гнозиса в Европе. М.; СПб.; Амстердам, 1993.

[37]Выпад Дмитриева обращен, по-видимому, против деятелей так называемой «либеральной бюрократии» во главе с Н.А. Милютиным. В конце 1850-х — начале 1860-х гг. они оказывали значительное влияние на Александра II, что позволило осуществить «великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. (аграрную, судебную, земскую, городовую, военную). В ходе аграрной реформы значительная часть помещичьих земель перешла в собственность крестьянских обществ.

[38]В ходе реформы были отменены административные права помещиков над крестьянами и создано сельское и волостное самоуправление, средства на содержание которого вносились самими крестьянами. Отмена помещичьей опеки над крестьянами зачастую оставляла их беззащитными перед лицом местной бюрократии.

[39]Источник цитаты не установлен.

[40]Дмитриев *Федор* Михайлович (1829—1894) — историк русского права, в 1858—1859 гг. — секретарь великой княгини Елены Павловны в заграничном путешествии; профессор кафедры иностранного государственного права юридического факультета Московского университета. В 1868—1882 гг. работал в земских и мировых учреждениях сызранского уезда Симбирской губернии, с 1881 г. — попечитель Петербургского учебного округа, сенатор (с 1885). Автор ряда юридических трудов; блестящий лектор, остроумный и язвительный собеседник, производивший глубокое впечатление на современников «острым и тонким, удивительно гибким умом» (*Чичерин Б.Н.* [Некролог Ф.М. Дмитриева] // Рус. ведомости. 1894. 30 янв.) и живой причастностью к дворянской культуре.

[41]Сочинение Ф.М. Дмитриева «История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях» (М., 1859) было удостоено в 1860 г. Демидовской премии.

[42]Холера была завезена в Европу из Индии в 1817 г. Первая вспышка в России была в 1823 г. в Астрахани. Эпидемия, о которой идет речь, началась в 1829 г. в Оренбургской, Уфимской и Самарской губерниях и наибольший размах приняла в 1831 г., когда в Европейской части России пораженными холерой оказались 51 губерния и область (в 1830 г. — 34 губернии и области). Число заболевших превысило полмиллиона человек, из них около 250 тыс. умерло (*Оницканский М.С.* О распространении холеры в России. СПб., 1911. С. 1).

[43]Ср.: «Сенаторы, заслуженные генералы и другие почетные лица московской аристократии приняли на себя обязанности попечителей в каждой части города. Об одном из них, попечителе Тверской части графе А.Н. Панине я слышал после следующий анекдот от М.П. Погодина <...>: при ежедневном посещении больницы граф заметил, что больные, боясь заразы, не хотят садиться в ванну; он разделся и сам при них сел в ванну. Великий пример самоотвержения в то время, когда холера считалась столько же заразительною, как самая чума» (*Толстой.* № 3. С. 45).

[44]Николай I находился в Москве с 29 сентября по 7 октября. Впечатления современников от посещения города императором см.: *Тальберг Н.* Очерки истории Императорской России от Николая I до Царя-Мученика (Общество, политика, философия, культура). М., 1995. С. 47—51; Погодин — Шевыреву. № 6. С. 172—173; *Муханов.* С. 89.

[45]«Ведомость о состоянии города Москвы во время свирепствовавшей в оном болезни холеры» издавалась Погодиным (формально под руководством сенатора А.А. Башилова) с 23 сентября 1830 г. по 6 марта 1831 г. (вышло 106 номеров); распространялась в качестве приложения к газетам, а также раздавалась бесплатно на улицах. Об этих бюллетенях, о работе врачей и их дискуссиях по поводу способов лечения, открытых больницах, пожертвованиях и т.п. см.: Погодин — Шевыреву. № 6. 167—178; *Костенецкий Я.И.* Воспоминания из моей студенческой жизни // РА. 1887. № 3. С. 328—329).

[46]Ср. с характеристикой действий начальства, данной А.И. Герценом: «Князь Д.В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домаш-

нему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливающим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими» (*Герцен*. Т. 8. С. 132).

[47]В разгар эпидемии в Москве ежедневно умирало по 1000—1200 человек; число заболевших резко пошло на убыль в ноябре 1830 г.; карантины были сняты 6 декабря (*Толстой*. № 3. С. 44, 46).

[48]Один из принятых в то время методов лечения холеры. Использовался как средство для оттока крови от внутренних органов и прекращения судорог, в том числе пищеварительного тракта. Его обоснование дано в целом ряде сочинений того времени, в том числе в «Описании способов узнавать и лечить наносную холеру...» (М., 1831) Е.О. Мухина, а также «Описании паровой ванны, устроенной при больнице Императорского Московского университета для страждущих холерою... Петром Андреевым» (М., 1830).

[49]Холера почти не затронула Симбирск, пострадали в основном уездные города и сельская округа (*Де-Пуле*. № 8. С. 601—602).

[50]*Богородск* — с 1930 г. Ногинск Московской области; расположен в 68 км от Москвы.

[51]М.В. Толстой приводит другую дату — 25 сентября — и также сообщает, что «соборное и монашествующее духовенство, с архипастырем во главе, обходило кругом Кремлевских стен, а в то же время каждый приходской священник обходил свой приход, окропляя каждый дом святою водою» (*Толстой*. № 3. С. 45).

[52]*М.Я. Мудров* написал «Краткое наставление о холере и о способе, как предохранить себя от оной, как излечивать ее и как остановить распространение оной» (Владимир, 1830; 2-е изд. — М., 1831). *Мухин* Ефрем Осипович (1766—1850) — физиолог, хирург и гигиенист, профессор Московской медико-хирургической академии в 1795—1816 гг., а также медицинского факультета Московского университета в 1813—1835 гг.; активный участник общественной жизни Москвы и, в частности, литературно-философских споров конца 1820-х — начала 1830-х гг., где проявил себя как «ревнитель русского начала» (Юбилей М.А. Максимовича. Киев, 1871. С. 64); оказал большое влияние на молодого Н.И. Пирогова. Мухину принадлежит обстоятельное «Описание способов...» (см. выше) и «Краткое обозрение способа лечения наносной холеры, о паровых ваннах и самоваре, о постной и рыбной пище» (М., 1830). *Поль* Андрей Иванович (1794—1864) — профессор Медико-хирургической академии и Московского университета, во второй половине 1820-х гг. — доктор медицины и хирургии при Екатерининской больнице. Автор «Краткого описания холеры, наставления, как лечить сию болезнь, какие меры нужно брать во время ее свирепствования и наставления для народа, как себя предохранять от оной» (М., 1830). *Рейс* (Рейсс) Федор Федорович (Фердинанд Фридрих) (1778—1852) — известный немецкий врач, в России с 1803 г., доктор; профессор Московской медико-хирургической академии в 1817—1839 гг. и медицинского факультета Московского университета в 1803—1832 гг., статский советник; с 1822 г. заведовал университетской библиотекой; в 1839 г. вернулся в Германию. Автор сочинения «Об употреблении хлора для предохранения от холеры» (М., 1830). *Иовской* (Иовский) Александр Алексеевич (1796—1857) — профессор химии, фармации и фармакологии Московского университета (1835—

1843), издатель (1828–1833) журнала «Вестник естественных наук». Ему принадлежит упоминаемая Дмитриевым книга «О болезни, называемой холерою, о лечении ее и предохранении себя от оной» (М., 1830).

[53]Дмитриев имеет в виду «Описание индийской холеры, составленное Медицинским департаментом Военного министерства для врачей армии» (СПб., 1830) и «Наставление о лечении болезни, называемой холера (Cholera morbus)», изданное Медицинским советом (СПб., 1830). Медицинский совет входил в структуру Министерства внутренних дел в качестве совещательного органа.

[54]Статья Павлова была напечатана в июньском (11-м) номере журнала «Телескоп» за 1831 г. Для Павлова «своим» был издаваемый им в 1828–1830 гг. журнал «Атеней»; издателем «Телескопа» был Н.И. Надеждин. Цитата не совсем точна, в оригинале: «холера есть быстрое расстройство растительного процесса в теле животном, состоящее в разрушении всей системы питания, а именно: дыхания, кроветворения и пищеварения, без современного изнеможения систем животных» (С. 342).

[55]*Шатров* Николай Михайлович (1765 или 1767 – 1841) – поэт-лирик. Более подробные сведения о нем см. в примеч. к гл. 18. Дмитриев имеет в виду, вероятно, его сочинение «Осень 1830 года. Лирико-историческое песнопение слепого» (М., 1831; имеется в *Библиотеке*). Об этой поэме вспоминает также М.В. Толстой, который, по его словам, записывал поэму под диктовку Шатрова (*Толстой.* № 3. С. 63).

[56]*Алтей* (алтея, Althaea officinalis) – многолетнее травянистое растение семейства мальвовых (в обиходе – «калачики», «просвирка»). Отвар его корня употребляется в медицине как смягчающее средство при раздражении дыхательных путей. *Алтейная метода* заключается в отказе от использования сильнодействующих препаратов.

[57]Обстоятельства смерти Мудрова в Петербурге описаны в очерке «Холерное кладбище на Куликовом поле» (РС. 1878. № 7. С. 486–487; подпись: *П.П.*). О реакции на его смерть в Москве см.: *Булгаков.* 1902. № 1. С. 75.

[58]*Бекетова* (урожд. Опочинина) Прасковья Петровна была замужем за Аполлоном Николаевичем Бекетовым.

[59]Особенно близко сошлась с Левашовыми, по-видимому, свояченица Дмитриева Анисья Федоровна, которая, вышедши замуж, приезжала к Левашовым «каждую зиму из Петербурга гостить несколько месяцев» (*Дельвиг А.И.* Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 226).

[60]*Левашова* (урожд. Решетова) Екатерина Гавриловна (ум. 1839). Ее муж (с 1809 г.) – *Левашев* Николай Васильевич (1790 – не ранее 1842) – в 1832 г. поручик гвардии. Их дочери: Эмилия (1820–1878), с апреля 1838 г. жена Андрея Ивановича Дельвига (1813–1887), и Лидия, вышедшая замуж за Николая Сергеевича Толстого. Дмитриев не упоминает о сыновьях Левашевых: Василии (р.1814), Валерии (р.1822), Николае (1825–1887), Анатолии (р. 1824).

[61]*Ламене* (Ламенне) Фелисите Робер де (1782–1854) – французский философ, создатель христианского утопического учения. В *Библиотеке* имеются его сочинения «Le livre de peuple» (Paris, 1838) и «Paroles d'un croyant. 1833» (Paris, 1834). *Экштейн* Фердинанд (1790–1861) – теолог и философ, противник эклектической философии (отрицательный отзыв Дмитриева о философии Кузеня см. в гл. 10); в 1826–1829 гг. издавал журнал «Le Catholique». В России его творчество не осталось незамеченным: А.И. Тургенев, назвавший Экштейна «католиком с примесью глубокого германского мистициз-

ма», неоднократно упоминает о встречах с ним за границей, его сочинениях и идеях (Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М., 1964. С. 85 и по указ.; Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 190). На внимание самого Дмитриева к его трудам указывает сочинение «Об исторической религии некоторых новейших мыслителей и о системе барона Экштейна» (НБ МГУ. 1 Рк 299/рук. 51 (82). Л. 28—41 об.), датированное им 6 марта 1833 г. *Сен-симонисты* — сторонники учения французского мыслителя и социалиста-утописта Клода Анри де Рувруа, графа де Сен-Симона (1760—1825). В его доктрине многих привлекали не социалистические идеи, а попытки создать новое религиозное учение, в основу которого была положена идея всеобщего братства людей; его сочинение, вышедшее в 1825 г., носило название «Новое христианство». Об интересе Дмитриева к исканиям сен-симонистов свидетельствует наличие в *Библиотеке* таких сочинений, как «Doctrine de Saint-Simon. Exposition» (Bruxelles, 1829—1831. Part. 1—2; № 7439—7440, с владельческой записью мемуариста) и «Religion Saint-simonienne» (Bruxelles, 1831).

[62]Важные сведения об отношениях Дмитриева с Петром Яковлевичем *Чаадаевым* (1794—1856) приведены в изд.: *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1990. Т. 2. С. 575 (со ссылкой на рукопись «Глав...»). Здесь же напечатано письмо Чаадаева к Дмитриеву (1850; С. 246—247) и два письма Дмитриева к Чаадаеву (1847 и 1850; С. 495—496, 508).

[63]Николай находился в Москве, не считая непродолжительной отлучки в Ярославль, с 12 октября по 25 ноября. Об обстоятельствах его пребывания в Москве, в том числе об упоминаемых Дмитриевым играх, см.: *Булгаков.* 1902. № 1. С. 95—153.

[64]Об А.А. Долгоруком см. примеч. 1 к гл. 4.

[65]*Шеншин* Владимир Никанорович (1788 или 1789 — 1858) — член Московского опекунского совета, директор Дома призрения сирот чиновников, умерших от холеры, помощник директора Александровского сиротского института; коллежский советник.

[66]*Лобанов-Ростовский* Борис Александрович (1794 или 1795 — 1863) службу начал в Московском гусарском (позже Иркутском) полку юнкером, участвовал в кампаниях 1813—1814 гг., в 1817 г. вышел в отставку штаб-ротмистром «по домашним обстоятельствам»; в 1822—1825 гг. — воронежский уездный предводитель дворянства, с апреля 1825 г. — коллежский асессор, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе; в 1830-х гг. — за обер-прокурорским столом 1-го отделения 6-го департамента Сената, коллежский советник; впоследствии действительный статский советник (формулярный список 1827 г. — ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 222. № 182).

[67]В игре в *кошку и мышку*, известной во всей Европе (иногда она сопровождается песенкой), участники берутся за руки и образуют хоровод, стремясь защитить игрока-«мышку», который находится внутри, от «кошки», которая старается ворваться в круг. Если ей это удается, то «мышку» выпускают, а кошку держат внутри. Когда «кошке» удается поймать «мышку», выбирают новую пару игроков.

[68]При игре *в соседи* участники рассаживаются парами, и ведущий поочередно спрашивает каждого, доволен ли он своим соседом (соседкой). Если оба в паре довольны, то ведущий иногда говорит: «Ну, покажите же свое удовольствие», и соседи должны поцеловаться. Если кто-либо недоволен своим соседом и называет другого, то названный приходит и садится рядом, а изгнанный занимает свободное место. Если же ведущему ответят: «Желаю тебя», то он садится рядом с отвечавшим, а его сосед становится

ведущим. Если же кто-то скажет: «Всеми недоволен!», то «все вскакивают и быстро переменяют свои места. Если кто во время такого переполоха не успел занять места, тот должен спрашивать» (*Покровский Е.А.* Детские игры преимущественно русские. М., 1887. С. 351). Игра с таким же названием (die Nachbaren) известна и в Германии.

[69]*Волхонский* (Волконский) Петр Михайлович (1776—1852) — с 1797 г. адъютант великого князя Александра Павловича; с 1801 г. — товарищ начальника, затем начальник императорской военно-походной канцелярии; участник войн с Наполеоном, с 1810 г. генерал-квартирмейстер, с декабря 1812 г. — начальник Главного штаба армии (до 1823); с 1826 г. министр двора и уделов. Светлейший князь (1834), генерал-фельдмаршал (1843).

[70]Вероятно, имеется в виду вечер у императрицы 10 или 11 ноября; на нем действительно присутствовал Щепкин, который продекламировал «смешивший очень монолог» (*Булгаков.* 1902. № 1. С. 136). Монолог пьяного так понравился, что через полтора года, 15 июля 1833 г., Щепкин выступал в той же роли на вечере у А.А. Башилова, данном в честь приехавшего в Москву великого князя Михаила Павловича (Там же. № 4. С. 584).

[71]Лобанов-Ростовский *Иван Александрович* (1788 или 1789 — 1869) — обер-прокурор 7-го департамента Сената (1823), во второй половине 1820-х — 1830-е гг. — обер-прокурор 1-го департамента Сената, действительный статский советник; впоследствии сенатор, действительный тайный советник.

[72]Цитата из стихотворения Шиллера «Миг» (1802).

[73]Возможно, имеется в виду Николай Иванович *Огарев* (1778—1852) — до 1826 г. — обер-прокурор 2-го отделения 5-го департамента Сената; сенатор с 1826 г. В 1830-е гг. был сенатором 8-го департамента, тайный советник; впоследствии сенатор 2-го департамента, действительный тайный советник.

[74]Источник автоцитаты не установлен.

[75]*Скотный двор Воспитательного дома* располагался в Кунцеве: между Смоленской дорогой (ныне Кутузовский проспект) и местом впадения Сетуни в Москву-реку.

[76]Пс., 39, 11.

[77]*Рихтер* Михаил Вильгельмович (Вильмович; 1799—1874) — московский врач. В 1816 г. окончил Московский университет; в 1817—1820 гг. продолжал образование за границей. Ординарный профессор (с 1828); возглавлял кафедру повивального искусства Московского университета в 1827—1851 гг.

[78]*Зайковский* Ефим Гаврилович — врач, служивший при полиции («ветеран московской полицейской службы» — *Змеев Л.Ф.* Русские врачи-писатели. СПб., 1886. Вып. 1. С. 113); штаб-лекарь (не позднее, чем с 1809 г.), коллежский асессор (1810), надворный советник (1825).

[79]*Маркус* Михаил Антонович (1790—1865) во второй половине 1830-х гг. был членом правления Голицынской больницы; «прекрасный дамский врач» и «любимец московских дам» (*Лебедев.* № 11. С. 369—370). Вместе с Рихтером и Высоцким входил в «московский медицинский триумвират», заменивший «сошедших со сцены гг. Мудрова и Мухина» (*Бутурлин.* 1897. № 6. С. 205).

[80]«Младенец *Валериан*» Дмитриев (1832—1833) похоронен на кладбище Данилова монастыря, как и сам мемуарист и другие члены его семейства: вторая жена Анна Федо-

ровна, сыновья Федор и Александр и дочь Наталия (от брака с Е.М. Анитовой), умершая в младенчестве.

[81]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «5 июня. 1865».

Глава 17

[1]Согласно делу 1828 г. «О паже Дмитриеве, просящем определения в Александрийский гусарский полк юнкером» (РГВИА. Ф. 318. Оп. 1. № 719), в декабре 1826 г. Ф.Ф. Дмитриев «был уволен в отпуск к тетке его статской советнице Смирновой в Симбирскую губернию для излечения болезни», однако к концу 1827 г., как сообщал его опекун С.И. Дмитриев, «хотя и получил облегчение, но в Корпус на экзамен по неусовершенствованию в науках и по достижению ему девятнадцати лет, по последне изданным ныне правилам для сего Корпуса относящимся, представить его не можно» (Л. 2). С.И. Дмитриев просил директора корпуса передать прошение на высочайшее имя об определении Федора юнкером в Александрийский гусарский полк, однако директор ответил, что «находит себя не вправе» сделать такое представление, и отослал прошение обратно (Л. 3).

[2]*Юнкер* — нижний чин, который получали дворяне в кавалерийских и егерских полках (в пехоте и гренадерских полках ему соответствовал чин подпрапорщика). Юнкера имели льготный срок выслуги в офицеры; как правило, они должны были пройти подготовку в специальных школах. Недоучившихся кадетов обычно выпускали юнкерами.

[3]*Четверть* — мера объема сыпучих тел, равная 210 литрам.

[4]*Ремонтёр* — офицер, отправленный начальством для покупки лошадей, необходимых воинской части.

[5]Э.И. Стогов, сменивший *Малова* в должности жандармского штаб-офицера в Симбирске, отзывался о своем предшественнике так: «Он совершенно не понимал своей обязанности: он хотел быть сыщиком, ему казалось славою — рыться в грязных мелочах и хвастать знанием домашних тайн общества <...> М[алов] совался везде» (*Стогов.* С. 638).

[6]*Матюнин* Павел Ефимович (1805—1874) — помещик Симбирской губернии. Окончил Казанский университет; в 1821 г. поступил юнкером в Иркутский гусарский полк. Корнет (1822), поручик (1826); старший адъютант 2-й Гусарской дивизии. Принимал участие в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. (мужество, проявленное им в бою при Кулевче, было отмечено Владимирским орденом 4-й степени с надписью «за храбрость»), за боевые заслуги при занятии города Кириклиса произведен в штаб-ротмистры. В 1831 г. участвовал в подавлении польского восстания, в том числе взятии Варшавы, награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость». В декабре 1833 г. уволен от службы по домашним обстоятельствам в чине майора с правом ношения мундира. С 1839 по 1846 г. — почетный смотритель симбирского уездного училища, в 1841 г. некоторое время был предводителем дворянства Симбирского уезда; коллежский асессор (1841), надворный советник (1844). В 1850 г. (видимо, по протекции младшего брата Александра, бывшего полицеймейстером в Царском Селе) опять поступил на службу — в Царскосельское дворцовое правление советником по вотчинной части; коллежский советник (1851), статский советник (1855). В 1861 г. оставлен за штатом в связи с реорганизацией Вотчинного департамента (Формулярный список: РГИА. Ф. 472. Оп. 9 (56/890). № 317. Л. 325—336).

[7]*Нефедьев* Николай Алексеевич (ум. после 1844) — штаб-ротмистр в отставке, помещик Симбирской губернии.

[8]Э.И. Стогов излагает эту историю не менее живо, но несколько иначе: «У этих старушек-девиц воспитывалось по племяннице, девицы прехорошенькие и уже в возрасте невест. Старухи страстно любили своих красавиц, не надышатся на них, утеха остальных дней старух, жизнь которых была связана с красивою юностью; а о замужестве племянниц не могло быть и в помышлении, девицы жили в очарованных замках, знакомых старухи не имели, потому что брат — министр. В нашем маловерующем и развратном веке побеждают и Черномора, и Бабу-Ягу. Приехали в отпуск два гусара (ох, эти гусары!); говорят, будто девицы и не видали гусар, а племянницы ушли от милых и дорогих тетенек с незнакомыми, ушли в один претемный вечер. Объяснить этот непонятный казус для всех была задача, но я легко и здраво разрешил колдовством. Хотя я знал, где венчались гусары, но когда сестрицы министра потребовали поймать преступных гусар, я рассвирепел. Да помилуйте: я начальник нравственной полиции, и в моем присутствии смеют совершаться такие скандалы. Я немедля разделил команду на два отряда и на поспонках послал по пяти дорогам (шагом, вместо проездки), с приказанием привезти живых или мертвых — вот как строго! А колдуны-то венчались возле дома, в церкви Покрова. Что делать, сплутовал и признаюсь. Сестры министра, в справедливом гневе, отказали в наследстве преступным племянницам и не пускали на глаза, грозно сердились целую неделю. С шалунами-гусарами совершилась метаморфоза: шалуны превратились в благородных, добрых помещиков и в уважаемых членов общества» (*Стогов.* С. 672—673). Если доверять этому свидетельству, то описываемые события произошли не ранее 1834 г.

[9]*Протасов Александр Павлович* (1790—1856) — в 1822—1827 гг. состоял чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе (т.е. был в течение некоторого времени сослуживцем Дмитриева), действительный статский советник; в 1830—1831 гг. находился в отставке, затем до 1839 г. был обер-прокурором 2-го отделения 6-го департамента Сената, позднее — сенатором 8-го департамента; в 1847 г. в чине тайного советника вышел в отставку. Масон; дальний родственник и знакомый В.А. Жуковского. Очевидно, является автором «Обозрения истории римского права со времен Ромула до издания вновь исправленного Василикона императором Константином Порфирородным» (СПб., 1809; имеется в *Библиотеке*). Рассказ Дмитриева о нем представляет собой сокращенный вариант мемуарного очерка о Протасове из «Мелочей» (С. 250—260). См. также письмо Дмитриева к А.П. и Ф.Н. Глинкам, написанное вскоре после кончины Протасова (РА. 1912. № 3. С. 423—434).

[10]Протасов был также попечителем Императорского Дома трудолюбия.

[11]Г.П. Смирнов-Платонов, знакомый с Протасовым не по службе и, по-видимому, ближе, чем Дмитриев, вспоминал, что «А. П[ротасов] не раз говорил <...> о своих тяжелых душевных состояниях, происходивших от того, что действительная жизнь часто не соответствовала тем идеальным направлениям, на которые была настроена его душа. Крайности крепостного права расположили его отпустить на волю своих крестьян» (Александр Павлович Протасов. (Из записок и воспоминаний протоиерея Г.П. Смирнова-Платонова) // РА. 1897. № 9. С. 121). Согласно указу от 20 февраля 1803 г., определявшему правила освобождения помещиками своих крестьян от крепостной зависимости, единственным обязательным пунктом было наделение последних землею, условия которого предоставлялись добровольному соглашению; освобожденные переходили в особую сословную категорию «вольных хлебопашцев». Что Дмитриев имеет в виду под «умеренным оброком», не совсем ясно. Протасов отпустил своих крестьян на волю в 1832 г. М.В. Киреевская, занимавшаяся переводом своих крепостных в «вольные хлебопашцы»

в конце 1840-х гг., писала брату Ивану, убеждая его согласиться на эту меру: «Чрезвычайно мне жаль, что ты незнаком с Алекс. Павловичем Протасовым. Он давно уже сделал крестьян своих свободными хлебопашцами, и они благоденствуют в полном смысле слова. — Если бы ты где-нибудь встретился с этим почтенным человеком, он рассказал бы тебе подробно и основательно о своих бывших крестьянах, и ты увидел бы, что обе стороны, и помещик, и крестьяне <...> в выигрыше. — А Александр Павл. человек основательный и достойный уважения во всех отношениях, его слову и его опыту можно поверить» (РГАЛИ. Ф. 236. Оп. 1. № 82. Л. 20; письмо от 25 марта 1849 г.).

[12]Дмитриев имеет в виду Высшее училище правоведения, которое существовало в 1805—1816 гг. при Комиссии составления законов и было создано взамен юнкерского института, существовавшего при Сенате с 1801 г. Основной целью его было дать воспитанникам практические юридические сведения, поэтому поступали в него лица преимущественно с гимназическим и университетским образованием. Инициатива создания училища исходила, в частности, от М.М. Сперанского, который составил его устав. *Ольденбургский* Петр Георгиевич (1812—1881) — принц, сын великой княгини Екатерины Павловны и принца Георга Ольденбургского, председатель департамента духовных и гражданских дел Государственного совета (с 1842), главноуправляющий IV Отделением собственной его императорского величества канцелярии, попечитель Императорского училища правоведения.

[13]Протасов имел широкие связи в масонской среде. О круге его масонских знакомств см.: Александр Павлович Протасов... // РА. 1897. № 9. С. 109—110. Что Дмитриев имеет в виду под «шарлатанами» и «некоторыми признаками», неясно.

[14]Ср.: «Протасов говорил всегда умно, содержательно, серьезно о предметах важных и с живым умором о случаях житейской суеты и пошлости. Я никогда не скучал, слушая его речи» (Александр Павлович Протасов... // РА. 1897. № 9. С. 109).

[15]*Синекура* (от лат. sine cura — без заботы) — доходная, но необременительная должность.

[16]*Максимович* Михаил Александрович (1804—1873) — естествоиспытатель, писатель, критик и издатель, в 1820—1830-х гг. активный участник литературной жизни Москвы. *Теплова* Серафима Сергеевна (в замуж. Пельская, ок. 1815 — 1861), московская поэтесса — сестра более известной поэтессы Надежды Тепловой (1814—1848). Приведенное стихотворение «К ***» было опубликовано за подписью «С—ма Т—ва» в альманахе «Денница на 1830 год» (М., 1830. С. 121). О возможном влиянии этого стихотворения (по мнению Р.Б. Заборовой (ВЛ. 1976. № 3), все же посвященного памяти К.Ф. Рылеева, — версия об утопившемся юноше как адресате текста была изобретена Максимовичем, которому пришлось взять у Тепловой подписку в том, что стихи сочинены именно ей) на М.Ю. Лермонтова см.: *Вацуро В.Э.* Записки комментатора. СПб., 1994. С. 291—298.

[17]Причиной ареста Глинки, служившего цензором с 1827 по 1830 г., стал кроме стихотворения Тепловой фельетон в «Московском вестнике» с намеками, по мнению некоторых, на тогдашнего министра юстиции Д.И. Лобанова-Ростовского. Об инциденте с Глинкой и его цензорстве см.: *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1986. С. 151—158). *Ивановская гауптвахта* находилась в примыкавшем к колокольне «Иван Великий» нижнем помещении звонницы, оставшейся от церкви Иоанна Лествичника. В 1812 г. здание было разрушено и впоследствии восстановлено в слегка измененном виде. Цитируемая песня называется «Горе жизни» (см.: Русские песни и романсы Сергея Глинки. М., 1832. С. 17—19).

[18]*Осадное сидение* – устаревшее выражение, означающее пребывание в крепости, которая подверглась осаде.

[19]*Киреевской* (Киреевский) *Иван Васильевич* (1806–1856) – философ, критик. К участию в журнале *«Европеец»*, два первых номера которого вышли в январе 1832 г. и были одобрительно приняты публикой, ему удалось привлечь лучшие литературные силы: Жуковского, Баратынского, Языкова, Хомякова; значительная часть материалов была подготовлена самим издателем. Журнал был запрещен на третьем номере: по предположению Киреевского и его друзей, гнев Николая I по поводу «Европейца» вообще и статьи «Девятнадцатый век» в особенности был порожден доносом; Л.Г. Фризман обнаружил его текст в архиве III Отделения (см.: Европеец. Журнал И.В. Киреевского. 1832. М., 1989. С. 431–432). Сравнение его с письмом Бенкендорфа к К.А. Ливену (начало февраля 1832 г.) убеждает в том, что толкование ряда фраз из статьи Киреевского было подсказано императору анонимным составителем доноса (по мнению Л.Г. Фризмана, им был А.Н. Мордвинов, тогдашний управляющий III Отделением). Отношение Дмитриева к Киреевскому было, по всей видимости, сдержанно-уважительным; ср. его беззлобную эпиграмму на журнал «Москвитянин», издателем которого в 1845 г. фактически был Киреевский: «Читали в журнале? – Прочел! / – Ну что ж? – Умен, учтив и скушен; / При прежнем мастере он только был не зол, / Теперь – он слишком добродушен!» (Сборник эпиграмм. Л. 11).

[20]*Ливен* Карл Андреевич (1767–1844) – князь, генерал от инфантерии, попечитель Дерптского учебного округа (1817–1828), министр народного просвещения (1828–1833).

[21]На полях указание автора: «Князь Шаликов».

[22]*Попечителем Московского университета* и учебного округа в 1830–1835 гг. был С.М. Голицын (о нем см. в примеч. к гл. 2).

[23]В начале февраля 1832 г. С.Т. Аксаков действительно получил *строгое замечание* за дозволение первого номера «Европейца»; в конце месяца он был уволен от должности цензора Московского цензурного комитета, которую занимал с 1827 г.

[24]Текст отношения Бенкендорфа к Ливену, который приводит Дмитриев, практически идентичен документам, опубликованным в приложениях к кн.: Европеец. М., 1989. С. 428–429; отсутствует только заключительный абзац, демонстрирующий стойкое предубеждение Николая I против новых журналов, о котором рассказывается ниже, в гл. 20: «Вместе с тем его величеству угодно, дабы на будущее время не были дозволены никакие новые журналы, без особого высочайшего разрешения, и дабы при испрашивании такого разрешения было представлено его величеству подробное изложение предметов, долженствующих входить в состав предполагаемого журнала, и обстоятельные сведения об издателе».

[25]В 1812 г. Чаадаев вступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк; в 1816 г. был переведен в гвардейский Гусарский полк (1817– ротмистр, с назначением в адъютанты к командиру гвардейского корпуса И.В. Васильчикову). 22 октября 1820 г. был отправлен в Троппау, где Александр I находился на конгрессе Священного союза, с донесением о бунте в Семеновском полку; в феврале 1821 г. Чаадаев был отставлен без производства в следующий чин. Этот эпизод его биографии доныне представляется загадочным и допускает различные толкования (гипотезу Ю.М. Лотмана о том, что Чаадаев в общении с Александром I стремился (малоудачно) разыграть роль «русского маркиза Позы» см. в его работе «Декабрист в повседневной жизни» // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи. Таллинн, 1992. Т. I. С. 311–314).

[26]*Австрийским послом* в Петербурге в 1815—1826 гг. был Людвиг Иосиф Лебцельтерн (1774—1854).

[27]С 1823 по 1826 г. Чаадаев находился в заграничном путешествии: он посетил Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Германию, летом 1825 г. в Карлсбаде познакомился с Шеллингом. По возвращении в Россию поселился в Москве; с 1833 г. и до кончины снимал у Левашовых флигель их дома на Новой Басманной улице.

[28]Цикл Чаадаева «Философические письма» создавался в 1828—1831 гг. по-французски; в течение последующих четырех лет он давал свое сочинение на прочтение достаточно широкому кругу лиц, куда входил и Дмитриев. Первое письмо было помещено в № 15 «Телескопа» за 1836 г. (вышел 16 октября). Среди лиц, получивших от Чаадаева экземпляры журнала, был, по его собственному указанию, И.И. Дмитриев (см.: Вопросы литературы. 1995. Вып. 2. С. 87 — далее в ссылках: ВЛ).

[29]*Кетчер* Николай Христофорович (ок. 1806 — 1886) — врач, поэт, переводчик. Какое-то время жил во флигеле усадьбы Левашовых; вероятно, его знакомство с Чаадаевым состоялось в этом доме. Кто именно переводил текст для публикации в «Телескопе», неясно до сих пор; наряду с Кетчером исследователи называют также Александра Сергеевича Норова (1797 или 1798 — 1870).

[30]Дмитриев цитирует текст отношения Бенкендорфа к Голицыну весьма точно (ср. в новейшей публикации материалов чаадаевского дела, осуществленной В. Саповым и Л. Саповой: ВЛ. Вып. 1. С. 140—141).

[31]Публикация первого «Философического письма» вызвала бурную общественную реакцию (преимущественно негативную); свои ответы Чаадаеву готовили (но не напечатали) Пушкин, Хомяков, Баратынский; опровержение, написанное, по всей видимости, митрополитом Филаретом, см.: ВЛ. Вып. 1. С. 146—153.

[32]Надеждин и цензор А.В. Болдырев были вызваны в Петербург для дачи показаний; по их приезде в столицу была создана следственная комиссия; у Чаадаева произвели обыск с изъятием всех бумаг.

[33]В изложении оправданий Чаадаева Дмитриев очень близок к тексту официального отношения С.В. Перфильева к Бенкендорфу (ВЛ. Вып. 2. С. 56).

[34]*Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) — генерал-адъютант. В 1835—1847 гг. попечитель Московского учебного округа, в 1858—1859 гг. — московский генерал-губернатор. Чаадаев был вызван к нему в первых числах ноября; об этом визите см. также: *Жихарев М.И.* Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х гг. XIX века. М., 1989. С. 102.

[35]*Цынской* (Цинский) Лев Михайлович — участник заграничных походов русской армии 1813—1814 гг.; штаб-ротмистр лейб-гвардии Конного полка и полковой казначей (1822); впоследствии полковник, эскадронный и дивизионный командир; флигель-адъютант (1830), генерал-майор (1833); обер-полицмейстер в Москве с ноября 1833 по февраль 1845 г. Любитель театра (теплые отзывы о нем см.: *Орлова-Савина.* С. 65, 229—235; письмо Цынского к М.Н. Загоскину с утверждением программы спектакля во время пребывания Николая I в Москве в ноябре 1838 г. см.: ОР РНБ. Ф. 291. № 146). После выхода в отставку (не позже 1851 г.) проживал в Одессе и своем имении на юге России.

[36]С 1930 г. — Сыктывкар.

[37]О том, как было получено от Болдырева цензорское одобрение чаадаевской статьи (29 сентября 1836 г.), см.: *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. С. 560—561. По ходатайству С.Г. Строганова Болдыреву, отставленному «за

нерадение» и права на пенсион не имевшему, в начале 1837 г. была все же назначена пенсия в 1000 рублей; через год он был прощен.

[38]О жизни Надеждина в Петербурге см.: *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 145–150, 383.

[39]«Заведение искусственных минеральных вод», основанное на акционерных началах известными московскими врачами Х.И. Лодером и Ф.Ф. Рейсом по примеру дрезденских вод, нанимало с 1828 по 1870-е гг. дом, построенный в 1820-х гг. В.Я. Есиповой, с прилегающим обширным садом (современный адрес: Хилков пер., 3; усадьба сохранилась лишь частично). В объявлении о подписке на акции сообщалось: «устроятся <...> искусственные газовые и тинистые ванны; будет также устроена купальня с палаткою для удобного и безопасного купанья в реке. Сверх того заведутся травяные и обыкновенные ванны» (О заведении для составления вод минеральных в Москве // МВ. 1827. Ч. 4. № 4. С. 221). О популярности заведения и его устройстве см.: *Загоскин М.Н.* Москва и москвичи // Очерки московской жизни. М., 1962. С. 225; *Яковлев П.Л.* Московские минеральные воды // МВ. 1828. Ч. 10. № 14. С. 187–196.

[40]*Арапов* Пимен Николаевич (1796–1861) — известный драматург, переводчик и историк театра; воспитывался в Благородном пансионе, учился до 1814 г. в Московском университете. Проживая в 1810-х — начале 1820-х гг. главным образом в Петербурге, сотрудничал в московских журналах. С 1826 г. занимал должности секретаря по управлению театрами при московском генерал-губернаторе и советника по театральным делам Московского губернского правления. Аксаков указывает на соавторство Арапова, Дмитриева и Писарева в создании водевиля «Встреча дилижансов» (*Аксаков.* Т. 2. С. 489). В *Библиотеке* есть экземпляр его водевиля «Г. Блажнин, или Старый друг лучше новых двух...» (М., 1826).

[41]Имеется в виду песня Гикши (для солиста с хором) «Мы живем среди полей...» — ею открывается второе действие волшебной оперы А.Н. Верстовского «Пан Твердовский» (либретто Загоскина; премьера с большим успехом прошла 24 мая 1828 г. в Москве, в Большом театре). В мемуарах Аксакова рассказана история создания этой песни: первоначальный текст принадлежал Аксакову, и Загоскин, с согласия автора, заимствовал оттуда две строки (*Аксаков.* Т. 3. С. 124; три рецензии Аксакова (1828) на представление оперы см.: Там же. С. 406–413, 418–419, 426–427). Дмитриев приводит фрагмент второго куплета этой популярнейшей песни, надолго закрепившейся в репертуаре цыганских хоров; ср.: «Песня эта сделалась народною, и много лет наигрывали ее органы, шарманки, пели московские цыгане и пел московский и даже подмосковный народ» (*Аксаков.* Т. 3. С. 124).

[42]*Анитова Елизавета Михайловна* (1811–1902) — дочь Михаила Ильича Анитова (1781–1836), с 1800-х — по конец 1820-х гг. занимавшего должность секретаря 2-го департамента Гражданской палаты (в 1820-х гг. — титулярный советник), и Анны Алексеевны (урожд. Гурьевой; ум. не ранее 1853), дочери титулярного советника. Любопытно, что брат М.И. Анитова Алексей, служивший в середине 1810-х гг. секретарем того же 2-го департамента Палаты гражданского суда, а в середине 1820-х гг. — заседателем 1-го департамента палаты, был душеприказчиком Ф.Ф. Кокошкина (см.: МСО. 1840. № 2841).

[43]Кто-то из владельцев большой, ныне перестроенной усадьбы по Коробейникову переулку (д. 1), который, как и соседние Хилков и Турчанинов переулки, одно время

носил название Ушаковского (*Шмидт О.* Пречистенка. Остоженка. М., 1994. С. 109—111), — возможно, генерал-майор в отставке Алексей Александрович Ушаков (1775 или 1776 — 1849) или же генерал-майор Петр Сергеевич Ушаков.

[44]*Софья* Михайловна Дмитриева (1836—1888) впоследствии была замужем за Владимиром Николаевичем Насакиным (1833—1880).

[45]*Дантес*-Геккерн Жорж Карл (1812—1895) — выходец из аристократической французской семьи, с 1834 г. на службе в Кавалергардском полку. Его ухаживания за Н.Н. Пушкиной (1812—1863, с 1844 г. во втором браке за П.П. Ланским) привели к дуэли на Черной речке 27 января 1837 г., окончившейся смертельным для поэта ранением.

[46]Подобное мнение о Пушкине, видимо, было у Дмитриева довольно устойчивым. Так, при чтении статьи Н.Ф. Павлова «Вотяки и г. Дюма» (оттиск сохранился в *Библиотеке*, № 9627) Дмитриев отчеркнул слова: «Неужели это легкое чтение есть нормальное состояние человеческого слова, неужели в самом деле оно имеет какую-то прелесть даже и тогда, как не внушает ни малейшего доверия и звучит в ушах, лишенное своего настоящего значения? когда рассчитывает не на благородные, не на высокие потребности души, а на умственную лень, на праздность сердца, на то удовольствие, какое ощущает невежда-читатель, видя, что книга есть пустая забава, не предъявляющая никаких требований вне сферы его узкого понимания?» — и написал на полях: «Пушкин» (С. 715).

[47]*Инзов* Иван Никитич (1786—1845) — генерал-лейтенант, главный попечитель и председатель Комитета об иностранных поселенцах Южного края России, к канцелярии которого Пушкин был прикомандирован в 1820—1823 гг.

[48]Так в рукописи. Пушкин приехал в Москву 8 сентября 1826 г. Об этом же см. примеч. Дмитриева на полях гл. 12.

[49]Это произошло 31 декабря 1833 г.

[50]*Геккерн* Луи Борхард де Беверваард (1791—1884) — нидерландский дипломат, поверенный в делах в Петербурге с 1823 г., посланник — в 1826—1837 гг. Познакомился с Дантесом в Германии в 1833 г., усыновил его в 1836 г. Слух о том, что Дантес был побочным сыном голландского короля, имел весьма широкое распространение (см.: *Троицкий С.М.* Письмо к А.В., Е.В. и М.В. Златоустовским о дуэли и смерти А.С. Пушкина // Литературный архив. СПб., 1994. С. 156—157).

[51]Дмитриев не совсем точен: пресловутые извещения были присланы Пушкину и некоторым из его друзей по почте. *Воронцова* — вероятно, Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова (1817—1856; урожд. Нарышкина), светская «львица», с 1834 г. жена обер-церемониймейстера и члена Государственного совета И.И. Воронцова-Дашкова. Пушкин часто бывал в этом доме.

[52]*Данзас* Константин Карлович (1801—1870) — лицейский товарищ Пушкина и его секундант в последней дуэли; штабс-капитан Отдельного Кавказского корпуса (с 1827). С 1836 г. — подполковник 3-го резервного саперного батальона. Николай I выражал желание отдать Данзаса под суд за участие в дуэли и на этом основании не позволил ему сопровождать тело Пушкина в Святогорский монастырь; однако наказание ограничилось двухмесячной отсидкой на гауптвахте в Петропавловской крепости.

[53]Дмитриев, прекрасно осведомленный в деталях московской светской и литературной жизни, часто ошибается, когда речь заходит о событиях, имевших место в Петербурге. Таков и этот фрагмент: явное недоразумение (вторым мужем Н.Н. Пушкиной здесь назван Баратынский) легко объяснимо, если принять во внимание более ранние собы-

тия. Наделавшее шуму второе замужество С.М. Дельвиг (овдовев в январе 1831 г., через несколько месяцев она приехала в Москву и вновь вышла замуж — за С.А. Баратынского, младшего брата поэта), по-видимому, осталось в памяти мемуариста, но с течением времени на место скоропостижно скончавшегося Дельвига попал убитый на дуэли Пушкин, а одна вдова по аберрации заменилась другой.

[54]Имеется в виду Александр Михайлович Дмитриев (1830—1869).

[55]Великий князь Александр Николаевич выехал из Царского Села 2 мая и вернулся в Петербург в десятых числах декабря 1837 г. Его пребывание в Симбирске пришлось на 24 июня (о нем см.: Дневники В.А. Жуковского. СПб., 1903. С. 331). О цели и задачах путешествия, предпринятого наследником, см. заметку Н.В. Самовер (Наше наследие. 1996. № 39/40).

[56]*Баршацкий* (Баршацкой) Григорий в 1825—1842 гг. был штаб-лекарем; в 1825 г. — в 9-м классе, 1830—1842 гг. — коллежский асессор.

[57]*Типяков* Василий — «медико-хирург» (РМС на 1840—1842).

[58]*Рючи* (Рютчи) Иван Григорьевич во второй половине 1820-х гг. был акушером Симбирской врачебной управы; в РМС на 1830 и 1833 гг. упомянут как доктор с чином надворного советника, в 1842 г. — статский советник.

[59]*Роб* (от исп. слова «робб», заимствованного через арабский из персидского языка) — буквально: выпаренное вино или фруктовый сок. В фармакопее XVIII—XIX вв. имело широкий круг значений: концентрированная микстура, упаренный сироп или настой.

[60]С 1831 г. рекрутские наборы в мирное время проводились ежегодно, попеременно в так называемых западной и восточной полосах. Помещику выдавался специальный документ, подтверждавший сдачу рекрута, — рекрутская квитанция.

[61]Т.е. забраковали.

[62]Симбирским губернским предводителем дворянства в 1837 г. был Григорий Васильевич Бестужев (1786—1845), генерал-майор.

[63]*Хомутов* Иван Петрович (ум. 1871), в конце 1820-х гг. — гвардии полковник, командир батальона в Преображенском полку; в 1836—1838 гг. был симбирским, а с февраля 1838 по 1840 г. — вятским губернатором, впоследствии действительный статский советник. В качестве губернатора Хомутов возглавлял губернский рекрутский комитет, отвечавший за набор. В комитет входили также председатель Казенной палаты, управляющий Палатой государственных имуществ и губернский предводитель дворянства, почему мемуарист и мог советоваться с ним по этому вопросу. Дмитриеву принадлежит эпиграмма на перемещение Хомутова по службе из Симбирска в Вятку: «Иван Петрович наш назначен в перевод, / Царю хвала и Богу слава! / На Вятке будет он теперь давить народ, / На Вятке, не у нас, получит Станислава! / Иван Петрович наш назначен в перевод, — / Вот как судьба правдива стала: / И служба за царем его не пропадет, / И наша за Богом молитва не пропала» (Русская эпиграмма. XVIII — начало XX в. М., 1990. С. 114). Одной из причин удаления Хомутова стало нестерпимо высокомерное поведение его жены (урожд. Озеровой, дочери известного драматурга): в конце концов местное дворянство устроило губернаторскому семейству обструкцию (подробнее см.: *Мартынов П.* Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898. С. 318). Крайне резкий отзыв о репутации Хомутова см.: *Пассек.* Т. 2. С. 141.

[64]Согласно «Уставу рекрутскому» (1831; Свод. Т. 4. Уставы о повинностях. Кн. 1. Ст. 259), «удостоенный к приему, с того времени, как председатель [рекрутской комис-

сии] прикажет обрить ему лоб, считается принятым» и вся ответственность за него лежит на комиссии. В том случае, если возникали сомнения в здоровье рекрута, он мог быть послан «на испытание» в больницу (ст. 241, 246), срок пребывания в которой устанавливался в зависимости от характера недуга (максимальный — до 6 недель; как правило же — 8—14 дней). По окончании срока присутствие должно было вынести окончательное решение. Превышение срока означало, что рекрут считался окончательно принятым.

[65]*Сталыпин* (Столыпин) Александр Алексеевич (1774 — после 1845) — брат бабки М.Ю. Лермонтова Е.А. Арсеньевой. Флигель-адъютант А.В. Суворова (1795—1797); участник войны 1812 г., генерал-майор. Уездный предводитель дворянства Саранского уезда Пензенской губернии в 1807—1811 гг., судья Симбирского совестного суда во второй половине 1810-х гг., почетный попечитель Симбирской гимназии в 1835—1838 гг. «Один из значительных в губернии дворян» (*Де-Пуле.* № 7. С. 61). Отмеченная Дмитриевым говорливость Столыпина, а также его склонность к интригам подтверждаются также материалами дневника И.А. Второва (Там же. С. 61—62).

[66]*Рекрутское присутствие* — учреждение, непосредственно осуществлявшее прием рекрутов. Возглавлял его вице-губернатор (бывший также председателем казенной палаты).

[67]*Воскресенский Петр Герасимович* (1794—1853) — кандидат Московского университета (1812), магистр физико-математических наук (1815), доктор медицины (1817), симбирский вице-губернатор в 1836—1838 гг., действительный статский советник (1837), впоследствии председатель Комитета по снабжению войск сукном (в начале 1840-х гг.), находившегося в ведомстве Министерства финансов. Его отец, *Герасим Кириллович* (ум. после 1841) — в середине 1810-х гг. московский губернский прокурор, надворный советник; в 1820-х гг. — коллежский советник, чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе.

[68]О злоупотреблениях в Симбирске при рекрутских наборах см. также: *Стогов.* С. 639, 642—643.

[69]*Рушко* (Рушка) Матвей Михайлович — в начале 1830-х гг. был уездным 9-го класса симбирского земского суда; в 1837 г. состоял асессором хозяйственного отделения Симбирской казенной палаты; впоследствии ревизор Симбирской казенной палаты (в чине надворного советника).

[70]Подобные мошенничества, вероятно, были распространены достаточно широко; см., например, описание аналогичного случая в Казанской губернии в 1859—1860 гг.: *Ф.А. П-в.* Из воспоминаний 1859—1861 годов // ИВ. 1907. Т. 110. № 10. С. 114—123.

[71]Возможно, Бернадаки (иначе: Бернардаки, Бенардаки) Дмитрий Егорович (ум. 1870). В молодости состоял на военной службе, затем вышел в отставку и занялся подрядами и откупами, первоначально в Оренбургской губернии. Впоследствии золотопромышленник и владелец ряда металлургических и иных заводов и фабрик. Согласно воспоминаниям С.Т. Аксакова, которому Бернадаки был «хорошо знаком», это был «очень умный, но без образования», «известный богач, очень замечательный человек по своему уму и душевным свойствам, разумеется весьма односторонним». Известен также тем, что «назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь» (*Аксаков.* Т. 3. С. 173—174). Вероятный прототип Костанжогло во втором томе «Мертвых душ».

[72]*Ренкевич* Ефим Ефимович — сибирский губернский прокурор во второй половине 1830-х гг.

[73]*Ерофеич* (от прозвания известного знахаря, вылечившего А.Г. Орлова-Чесменского) — водка, настоенная на травах. Рецептуру см.: *Титов А.* Старинный набор ерофеича // РА. 1902. № 2. С. 351—352.

[74]В 1837 г. симбирским полицмейстером был Игнатий Мартынович Орловский.

[75]*Шуинг* Густав Иванович в 1837 г. был начальником Симбирской комиссариатской комиссии в 6-м классе.

[76]*Мансанарес* — река, протекающая через Мадрид; мелководна и летом пересыхает от зноя.

[77]*Племянников* Василий Абрамович — с начала 1820-х по начало 1830-х гг. — судья уездного суда в Самаре, майор, затем надворный советник; с 1834 г. был председателем Симбирской уголовной палаты. Любопытно, что в бытность судьей в Самаре он добился осуждения двух помещиц, матери и дочери, виновных в убийстве крепостного; Симбирская уголовная палата их оправдала, а Племянников лишился должности. Вынесенный им приговор был, однако, утвержден Сенатом. Опального судью в том же году выбрали председателем палаты (*Бейсов П.С.* Гончаров и родной край. Куйбышев, 1960. С. 41—42).

[78]Стогов также пишет о полицмейстерских поборах с симбирских нищих, приводя, правда, несколько иные цифры (*Стогов.* С. 678—679). Об административных злоупотреблениях в Симбирске в 1830-х гг. писал (с использованием материалов Ульяновского областного архива) П.С. Бейсов (*Бейсов П.С.* Указ. соч. С. 35—42, 157).

[79]Сделанное Дмитриевым колоритное описание перекликается с пассажем в «Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» И.М. Долгорукого и, возможно, навеяно этим отрывком: «В городах губернских увидят, что выкинуло из трубы — ударят в набат! Пьяной барабанщик с гаубтвахты побежит по всему городу шуметь в лукошко. Бутошники сбегутся с пустыми руками, подвезут изломанную трубу, потому что не на что не только купить новой, ниже починить старую. Все это выставят огню на показ, а там кто во что горазд. Унялся ветер, так и пожар погасили; а пока есть чему гореть, полымя красит все своей краской. Попы выносят образа, трясутся, как зайцы, перед ними и машут пустыми кадилами» (*Долгорукий И.М.* Изборник. 1764—1823. М., 1919. С. 197).

[80]Удобный съезд к реке, правда не к Симбирке, а к Волге, был сделан только в конце 40-х — начале 50-х гг. при губернаторе П.Д. Черкасском.

[81]Вероятно, родственница или жена учителя французского языка Симбирской гимназии в 1824—1849 г. Емельяна Ивановича Манштета (Манчтета).

[82]Ср. изложение этого эпизода в «Мелочах» (С. 151—152; о вещих снах Е.И. Кострова и Карамзина рассказано на С. 27—28, 59—60). В *Библиотеке* сохранилось анонимное сочинение на эту тему — «Некоторые любопытные приключения и сны» (М., 1829). См. в письме к Погодину от 3 марта 1849 г. рассуждение по сходному поводу: «Что такое предчувствие? — В воскресенье, 24 февраля, я что-то переписывал, стоя перед своим бюро, и решительно ничего не думал, кроме своего почти механического занятия. Вдруг приходит мне в голову одно за другим: «Получает ли Иванчин-Писарев Москвитянин? Не умер ли он? Верно умер!» — Вечером привозят мне с почты Москвитянин; развертываю: Писарев умер! — Как вы объясните это психологией? — Заметьте еще, что я об нем никогда и не думал» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 6 (2). Л. 39 об.).

[83]Письма Погодина о смерти И.И. Дмитриева см.: Мелочи. С. 152—157.

[84]С весны 1833 по май 1838 г. Н.М. Языков жил попеременно то в Симбирске, то в своем имении Языково (в 65 верстах от города). Обострение его болезни относится к осени 1836 г.

[85]*Наумов Михаил Михайлович* — отставной гвардии подполковник, симбирский губернский предводитель дворянства в 1846—1849 гг.

[86]*Сассапарель* (сарсапарель; Smilax utilis) — лиана (семейство лилейных) тропических лесов Центральной Америки.

[87]В этом доме Дмитриев жил еще в 1839 г.

[88]В конце главы проставлена дата окончания работы над ней: «20 июля 1865. Москва».

Глава 18

[1]*Белотурка* (арнаутка, кубанка) — один из твердых сортов пшеницы, предмет экспорта.

[2]Матюнин Ефим Александрович (1769 — не ранее 1822), советник Саратовского, а с 1797 г. — Симбирского губернского правлений. В 1802 г. в чине титулярного советника был предводителем дворянства Буинского уезда; впоследствии отставной коллежский асессор; в качестве брата 2-й степени входил в симбирскую ложу «Ключ к добродетели». О его сделках с недвижимостью см. в кн.: Архив Симбирского окружного суда. Вып. 1. Гражданские дела Буинского уездного суда. Симбирск, 1901. С. 96—149.

[3]*Кампиони* Сантин Петрович (1774—1847) — скульптор, владелец художественной мастерской; был также известен в Москве как торговец итальянскими винами. Автор надгробного памятника И.И. Дмитриеву на кладбище Донского монастыря.

[4]*Лазарев* (Лазарян) Еким (Аким) Лазаревич (1743—1826) — сын переселившегося в Россию армянского купца. В 1815 г. основал армянское училище, преобразованное в 1827 г. в Лазаревский Институт восточных языков.

[5]*Лазарев* (Лазарян) Иван (Ованес) Лазаревич (1735—1801) — старший брат Е.Л. Лазарева, с 1760 г. в Петербурге; войдя в доверие к братьям Орловым, стал советником Коммерческого банка, дослужившись впоследствии до чина действительного статского советника; организовывал переселение армян в Россию. Не исключено также, что имеется в виду переселение 1828 г. из северо-западных районов Персии, организованное чиновником по особым поручениям при И.Ф. Паскевиче полковником Лазарем Якимовичем Лазаревым.

[6]*«Тайная вечеря»* (1495—1497) — часть выполненной Леонардо да Винчи (1452—1519) росписи трапезной в монастыре Санта Мария делле Грацие в Милане. *Морген* Рафаелло (1758—1833) — известный итальянский гравер.

[7]*Шарп* Уильям (1749—1824) — выдающийся английский гравер; как и Морген, был известен преимущественно гравированными репродукциями с картин знаменитых художников. Возможно, упоминаемая работа — иллюстрация к комедии Мольера «Любовь целительница, или Четыре врача».

[8]*Avant la lettre* (*фр.*) — буквально: «до буквы»; термин граверного искусства: первые отпечатки (здесь — эстампы), сделанные до того, как на гравировальной доске под рам-

кой, в которую заключено изображение, были вырезаны надписи (la lettre), сообщающие фамилии художника, гравера и издателя и название произведения.

[9]*Виль* (Вилле) Иоганн Георг (1715—1808) — немецкий гравер, мастер репродуктивной гравюры; с 1736 г. работал в Париже; член парижской Академии изящных искусств (с 1761 г.).

[10]Имеется в виду гравюра с картины «Сикстинская мадонна» (1515—1519) итальянского художника Рафаэля Санти (1483—1520), исполненная немецким гравером Иоганном Фридрихом Вильгельмом Мюллером (Миллером; 1780 или 1782 — 1816).

[11]*Avant l'auréole* (*фр.*) — буквально: «до нимба»; один из пробных авторских отпечатков с доски, работа над которой еще не завершена художником.

[12]Текстуально близкое изложение этого эпизода см.: Мелочи. С. 132—133. Иванчин-Писарев собрал ценную коллекцию гравюр, произведений живописи и скульптуры (краткое ее описание см.: *Тромонин К.Я.* Очерки о лучших произведениях живописи, гравирования, ваяния и зодчества. М., 1839. Т. 1. С. 119—123), проданную после его смерти за 9000 рублей.

[13]*Ювенал* Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик, создатель жанра «суровой сатиры».

[14]Мемуары И.И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь», работу над которыми поэт завершил в 1825 г. (авторские примечания были дописаны в 1832 г.), вышли в Москве в 1866 г. Издание было подготовлено М.А. Дмитриевым, комментарии — М.Н. Лонгиновым. Труд его был высоко оценен Дмитриевым: «<...> давно чувствую себя обязанным благодарить вас за примечания, составленные вами к запискам моего дяди <...> Вы придали книге моего дяди большую цену, ибо все ваши примечания необходимы: я прочитал их с большим вниманием и все пропуски ваши или вопросы дополнил, по назначению вашему» (письмо к Лонгинову от 15 ноября 1865 г.: РО ПД. Ф. 158. № 23162. Л.31). Во вступительной заметке М.А. Дмитриев писал: «<...> я решился не откладывать более издания и печатаю эти записки в полном их виде по находящейся у меня рукописи, писанною сполна рукой самого автора». По всей видимости, речь идет об автографе, хранящемся ныне в РГАЛИ (Ф. 1060. Оп. 1. № 8, 10); в рукописном отделе Пушкинского Дома имеется еще один автограф «Взгляда» (№ 14.781 LXXXII б. 19 — это рукопись I и III частей; II часть (кн. 4—6) отсутствует), а также писарская копия всех трех частей воспоминаний (числится под тем же шифром) с нерегулярными исправлениями, сделанными, скорее всего, автором. Не исключено, что один из этих списков и есть ***тот «лучший экземпляр записок»***, который, по словам Дмитриева, некоторое время находился у С.П. Жихарева. О местонахождении других рукописей «Взгляда...» и их особенностях см.: *Лямина Е.Э., Пастернак Е.Е.* Списки мемуаров И.И. Дмитриева «Взгляд на мою жизнь» // XVIII век. Сб.18. СПб., 1993. С. 369—375.

[15]Имеется в виду скандал, разразившийся в 1831 г. в связи со злоупотреблениями, допущенными Жихаревым в управлении имениями братьев Тургеневых, состоявшими в его ведении с 1825 г. Как писал Жуковскому А.И. Тургенев, «Ж<ихарев> <...> совершенно ограбил меня. Заложив мои 700 душ, не предваря меня, просрочив даже залог, он собрал и все частные долги и употребил их на покупку жене имения <...> Я был в положении ужасном, из коего Бог и кн. Д.В. Голицын меня отчасти вывели» (*Жихарев С.П.* Записки современника. М.; Л., 1934. Т. 2. С. 527; письма Жихарева к Тургеневым об имущественных делах — С. 397—453). Подробности см. также: *Булгаков*. 1902. № 1. С. 85, 87, 139; Архив братьев Тургеневых. Пг.,1921. Вып. 6. С. 82—90. С 1858 г.

Жихарев был председателем Театрально-литературного комитета для рассмотрения новых пьес; вскоре открылось, что он присвоил себе и заложил бриллиантовый перстень, пожалованный А.В. Дружинину (члену комитета); в итоге Жихарев вышел в отставку (*Никитенко А.В.* Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 42—43).

[16]*Сократ* (470—399 до н.э.) — греческий философ.

[17]*Сенека* (Младший) Луций Анней (около 4 г. до н.э. — 65 г. н.э.) — римский философ-стоик.

[18]*Волков Гаврила* Григорьевич (ум. не ранее 1850-х) — московский (с 1818), а затем петербургский книгопродавец, букинист, антиквар и ростовщик; впоследствии банкир. См. о нем: *Заболотских Б.* Книжная Москва: Исторические очерки. М., 1990. С. 116—118; *Свешников Н.И.* Воспоминания пропащего человека. М., 1996 (по указ.).

[19]Особняк И.И. Дмитриева «у Харитония» сгорел в 1812 г. Новый дом был выстроен на Спиридоновке по проекту А.Л. Витберга.

[20]*Васильчиков* Александр Николаевич (1799/1800?—1877) — в 1830-х гг. состоял советником Московского губернского правления. *Аксаков* Николай Тимофеевич (1797—1882) — брат С.Т. Аксакова, приятель драматурга Н.И. Хмельницкого. Служил в Измайловском полку (в 1820 — поручик); по выходе в отставку был симбирским губернским предводителем дворянства (1847—1859). Богатый помещик.

[21]Так, в 1826—1827 гг. в Московском надворном суде разбиралось дело «О взыскании с тайного советника Михаила Бакунина денег, должных им умершему коммерции советнику Копосову» (ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 7. № 133). Известно, что еще в 1847 г. Бакунины выплачивали проценты по займу под залог тульского имения (картотека РГИА).

[22]Не совсем точно приведен стих 3 из псалма 145.

[23]Словом *Бутырки* в старину назывались любые выселки — селения, располагавшиеся на отшибе от города или большого села (отсюда оборот «на Бутырках»).

[24]«Евгений Онегин», гл. I, строфа XVIII.

[25]*«Новый Стерн»* — одноактная комедия Шаховского (премьера состоялась 31 мая 1805 г. в Петербурге; отдельное издание — СПб., 1807; долгое время не выходила из репертуара столичных и провинциальных театров). В ней содержатся выпады как против «нового слога» и сентиментального направления в целом, так и против конкретных текстов, вышедших из-под пера эпигонов Карамзина: «Отрывки из Нового Иорика» (1794), «Ростовское озеро» (1795), «Путешествие в полуденную Россию» (1800—1802) В.В. Измайлова, «Путешествие в Малороссию» (1803) и «Другое путешествие в Малороссию» (1804) П.И. Шаликова; карикатурный персонаж граф Пронский назван «сентиментальным путешественником». *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор «Сентиментального путешествия» (1768).

[26]*Ильин* Николай Иванович — драматург. Биографические сведения о нем см. в примеч. 35 к гл. 5. В 1800-е гг. широкой известностью пользовались его оригинальные пьесы: «Лиза, или Торжество благодарности» (1802), «Великодушие, или Рекрутский набор» (1803). *Федоров* Василий Михайлович — плодовитый драматург первой четверти XIX в., автор популярных пьес «Русской солдат, или Хорошо быть добрым господином» (1802), «Лиза, или Следствия гордости и обольщения» (1803; как и пьеса Ильина, сочинена по мотивам карамзинской повести «Бедная Лиза»), «Любовь и добродетель» (1803) и др.

[27]Полное название пьесы Шаховского — «Аристофан, или Представление комедии Всадники. Историческая комедия в древнем роде А.А. Шаховского, в разномерных сти-

хах греческого стопосложения, в 3 д. с прологом, интермедиями, пением, хорами и танцами, с помещением многих мыслей и изречений из Аристофанова театра». Написана в 1825 г.; издана в Москве в 1828 г. Впервые представлена на петербургской сцене в ноябре 1825 г., в Москве шла с сентября 1826 по 1832 г. Доброжелательный отзыв об «Аристофане» см.: *Аксаков.* Т. 2. С. 416–417; Северная пчела. 1832. № 28. *Аттицизм* — особенности афинского диалекта греческого языка; у Дмитриева, скорее, имеется в виду соблюдение исторического и местного колорита; в другом значении — безупречный по изяществу и чистоте литературный стиль. Здесь иронически обыграны оба значения этого слова, поскольку мемуарист сомневался как в правильности языка комедии, так и в том, что Шаховской точно воспроизвел афинские нравы. «*Афинские письма*, или Переписка одного агента, находившегося по тайным препоручениям от царя персидского в Афинах в продолжении войны Пелопонесской» (М., 1804–1816. Т. 1–6) — анонимное английское коллективное сочинение, переведенное с французского М.Т. Каченовским; экземпляр с владельческой записью и пометами М.А. Дмитриева имеется в *Библиотеке* (№ 815–816; первые два тома именного экземпляра для И.И. Дмитриева — № 813–814). *Гипербол* (Гиперболус) в этом произведении — не поэт, а один из вождей демагогов. *Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 г. до н.э.) — древнегреческий комедиограф; его пьеса «Всадники» была представлена в 424 г. до н.э. В образе наглого раба Пафлагонца в ней выведен демагог Клеон. По преданию, Аристофан хотел дать исполнителю этой роли маску, изображающую лицо Клеона, но влияние демагога в это время было столь велико, что ни один мастер не согласился изготовлять такую маску, и Аристофану пришлось играть Клеона самому.

28 Трагедии Озерова Шаховской принял с энтузиазмом и многое делал для их скорейшей постановки, однако не избежал обвинений в интригах против драматурга, что нашло отражение и в сочинениях его литературных противников.

29 *Перевощиков* Дмитрий Матвеевич (1788–1880) — математик, астроном, профессор Московского университета (1826–1851). Сотрудничал в журнале «Московский телеграф», состоял членом Московского цензурного комитета. Известно, что Дмитриев пользовался его сочинением «Правила времяисчисления, принятого православною церковью» (М., 1850; имеется в *Библиотеке* — № 9694; с владельческой записью и маргиналиями).

30 *Воксал* — увеселительное заведение, названное так по одному из лондонских пригородов (Vauxhall), где начиная с XVII в. устраивались гулянья с музыкой. В России название укоренилось не позже начала XIX в.: в Твери так именовали городской сад. Во времена Дмитриева — павильон с оркестром в общественном парке. Воксал в Петровском парке открыт не ранее 1833 г. при деятельном содействии Д.В. Голицына.

31 Это произошло в 1843 или 1844 гг. (до этого Немецкий клуб находился на Ильинке, а затем в здании Благородного собрания).

32 *Кюстин* Астольф, маркиз де (1790–1857) — литератор, путешественник. В *Библиотеке* имеется четырехтомное издание его знаменитых мемуаров «Россия в 1839 году», вышедшее в 1843 г. в Брюсселе и являющееся одной из контрафакций (перепечаток без авторского согласия) первого парижского издания, которое появилось в мае 1843 г.

33 *Гаксгаузен* (правильнее: Гакстгаузен) Август (1792–1866) — прусский барон, путешествовал по России в 1843 г., изучая поземельные отношения. Плодом его трудов стали «Studien uber die inneren Zustande, das Volksleben und insbesondere die landlichen

Einrichtungen Russlands von August Freiherren von Haksthausen» (Hannover, 1847. Bd. 1—2; Berlin, 1852. Bd. 3). Русский перевод, выполненный Л.И. Рагозиным, вышел в Москве в 1870 г. под названием «Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, барона Августа Гакстгаузена».

[34]Великий князь Александр Николаевич водил Кюстина по коттеджу, выстроенному в петергофском парке Александрия по проекту архитектора А.А. Менеласа. Комнаты великих княжон Марии и Ольги располагались на втором этаже этого здания (*Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. М., 1996. Т. 1. С. 272).

[35]*Кюстин* Адам Филипп, граф де (1740—1793), дед путешественника, в 1792 г. командовал революционной армией в сражениях против прусских войск. После ряда поражений был отозван в Париж, где обвинен в государственной измене и казнен. Отец писателя, Арман Луи Филипп Франсуа де Кюстин (1768—1794), также закончивший жизнь на гильотине, был дипломатом.

[36]*Людовик-Филипп* — Луи Филипп (1773—1850), французский король в 1830—1848 гг. Происходил из младшей (Орлеанской) ветви династии Бурбонов; взошел на престол после Июльской революции 1830 г.

[37]*Дашкова* (урожд. Оболенская) *Вера Дмитриевна* (1815—1854).

[38]*Башилов* Александр Александрович (1777 или 1778 — 1849) сделал блестящую карьеру при Павле I (от гвардии поручика в 1798 г. до гвардии полковника в 1800 г.); находился на военной службе до 1813 г., когда в чине генерал-майора вышел в отставку. Во второй половине 1820-х гг. состоял чиновником по особым поручениям при московском генерал-губернаторе; сенатор, тайный советник (с 1830), председатель Комиссии для строений в Москве. Написал «Изложение об устройстве воксала в Петровском парке в Москве» (М., 1836).

[39]Склонность Башилова к безвкусным выходкам отмечает не только Дмитриев: «Мне многие рассказывали (дело было во время провоза тела Александра I через Москву. — *Коммент.*), что когда Башилов поравнялся с балконом, на коем сидела певица Теглиша, он забыл, что несет подушку с регалиями, начал ей кричать с улицы: bonjour, madame Teglitch, comment vous trouvez-vous? [Здравствуйте, мадам Теглиш, хорошо ли устроились? — *фр.*] Надобно быть такому скоту! Отчего же всякий мужик был умнее его?» (*Булгаков.* 1901. № 7. С. 364). Рассказ о другой его бестактности см.: *Бутурлин.* 1897. № 10. С. 264.

[40]1-е Посл. к Фессалоникийцам, V, 23.

[41]Под несколько иным названием («Беседа о блаженстве человеческом, или Учение о сем предмете христианской религии оправданное разумом») упоминаемый текст включен в рукописный сборник статей Дмитриева в НБ МГУ (1 Pk 299/рук. 51 (82). Л. 52—89 об.). В письме от 6 октября 1848 г. Дмитриев просил Погодина о возвращении данной ему на прочтение «тетрадки» — списка «Беседы...» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 6 (1). Л. 26.

[42]*Голубинский Федор Александрович* (1797—1854) — богослов, историк церкви; с 1822 г. экстраординарный, а с 1824 г. — ординарный профессор Московской духовной академии, в 1826 г. назначен членом Комитета цензуры духовных книг. Был хорошо знаком с современной философской литературой, имел репутацию чрезвычайно внимательного и дотошного цензора (см.: *Толстой.* С. 122—124).

[43]*Пуаре* (Пуарет) Пьер (1646—1719) — французский протестантский богослов и философ; его наследие включает многочисленнейшие труды на латинском и французском

языках, в том числе «L'Economie divine» (1687), «Ecole du pur amour de Dieu ouverte aux savants et aux ignorants» (1704), «Bibliotheca mysticorum selecta» (1708), «La pratique de la vraie theologie mystique» (Liege, 1709. Т. 1—2; имеется в *Библиотеке*).

[44]Упоминаемые баллады — «Новая Светлана» (против Н.А. Полевого; опубликована отдельным изданием в Москве в 1881 г. без эпиграфа, «прибранного», как указано в авторском примечании, В.А. Жуковским; см. также: РА. 1885. № 4. С. 649—659; ЭиС. С. 265—278), «Двенадцать сонных статей» (пародийный перифраз баллады «Двенадцать спящих дев», обращен против М.Т. Каченовского и О.И. Сенковского), «Петербуржская Людмила» (в адрес А.А. Краевского и В.Г. Белинского); тексты их см.: ЭиС. С. 293—308, 326—340.

[45]*Елагина* (урожд. Юшкова, в первом браке Киреевская) *Авдотья Петровна* (1789—1877) — племянница и воспитанница В.А. Жуковского, мать И.В. и П.В. Киреевских; хозяйка литературно-философского салона, переводчица. С 1822 г. с семейством жила в Москве, в собственном доме у Красных ворот, где до конца 1840-х гг. собирались студенты и профессора университета, ученые, литераторы.

[46]О пародиях «Видение на берегах Леты» К.Н. Батюшкова, «Певец, или Певцы в Беседе славено-россов» Батюшкова и А.Е. Измайлова, «Дом сумасшедших» А.Ф. Воейкова см. примеч. 135—136 к гл. 6.

[47]В первой трети XIX в. множество дел в подчиненных Сенату древлехранилищах: Московском государственном Архиве старых дел, Сенатско-Разрядном и Поместно-Вотчинном архивах (с 1785—1787 гг. располагались на 3-м этаже здания Сената в Кремле) — продолжало оставаться неразобранными и неописанными. 24 ноября 1834 г. министр юстиции Дашков поручил комиссии в составе статского советника П.В. Хавского, Дмитриева и коллежского советника М.М. Солнцева произвести ревизию сенатских архивов и составить проект правил по их описанию, с тем чтобы можно было навести порядок в хранящихся там материалах, выделить наиболее ценные исторические источники и сделать их доступными исследователям. 25 февраля 1835 г. разработанный проект правил был подан, а 13 марта утвержден («Положение об учреждении комитета для составления описания архивов: сенатского, государственного и вотчинного» (М., 1835; имеется в *Библиотеке*, № 2192); комиссия была преобразована в комитет. Через четыре года, закончив общее описание (номер, хронологические рамки, точное или приблизительное количество листов и местонахождение в архиве каждого комплекса документов), комитет издал «Описание первой степени архива Вотчинного департамента» (М., 1839) и просил Министерство юстиции о выделении еще 50—70 чиновников для продолжения работ. В этом ему отказали, и в 1842 г. комитет был закрыт. В 1843 г. была учреждена должность инспектора московских сенатских архивов (им стал П.И. Иванов), а в 1852 г. на их основе созданы Московский архив Министерства юстиции (ныне хранившиеся там документы находятся в составе РГАДА) и ведомственный Московский сенатский архив (сейчас в составе РГИА). 8 ноября — 27 декабря 1839 г. датировано дело Общего собрания московских департаментов Сената «о проекте описания Государственного архива и о печатании Обозрения Разрядного архива» (РГИА. Ф. 1330. Оп. 20. Л. 452 об.). В *Библиотеке* хранятся несколько трудов П.И. Иванова, посвященных архивам: «Обзор писцовых книг по Московской губернии, с присовокуплением краткой истории древнего межевания» (М., 1840), «Описание Государственного Разрядного архива» (М., 1842 —

№ 3208; с дарственной надписью Дмитриеву), «Путеводитель по государственным архивам, состоящим при Правительствующем Сенате в Москве» (М., 1845 — № 1413; с пометами Дмитриева), «Опыт исторического исследования о межевании земель в России» (М., 1846) и «Описание государственного архива старых дел» (М., 1850 — № 1414; с владельческой записью сына мемуариста Федора).

[48]Возможно, *Николев* Яков Сергеевич, в 1832 г. — коллежский асессор, судья в Московском уездном суде.

[49]*Озеров* Семен Николаевич (1776—1844) — в статской службе с 1797 г., служил в министерстве финансов; с 1810 г. за обер-прокурорским столом, в 1811—1812 гг. — обер-прокурор 7-го департамента, статский советник; затем в отставке. До 1832 г. — обер-прокурор общего собрания московских департаментов, затем сенатор; тайный советник (1832). По отзыву Сушкова, «был римлянин твердостию и правотой в своих мнениях по делам, при решении участи тяжущихся и подсудимых» (*Сушко*. С. 70). Упомянутый комитет был создан в соответствии с высочайшим указом от 10 мая 1835 г. Межевой устав в России так и не появился: свод межевого законодательства в Своде законов Российской империи (Т. 10, ч. 2. 1832) переиздавался с дополнениями в последующих изданиях Свода (1842 и 1857).

[50]*Толстой* (Толстой 4-й) Николай Дмитриевич (1795—1876) — граф, подполковник, впоследствии полковник по особым поручениям московского жандармского округа, второе лицо после С.В. Перфильева.

[51]*Воейков* Николай Петрович (1789—1868) — подпоручик, с 1819 г. в отставке.

[52]По свидетельству Бутурлина, Москва 1830—1840-х гг. изобиловала ростовщиками и аферистами — в числе их жертв упомянут «некто молодой князь Козловский». Описанная Бутурлиным система выдачи ссуд (два или три заемных письма на одинаковую сумму, выплата части суммы вещами, которые сам кредитор скупал за бесценок и т.п.) чрезвычайно близка к той, о которой рассказывает Дмитриев. Ее суровость в какой-то мере была оправдана необязательностью должников и теми затруднениями, с которыми сталкивались кредиторы при взыскании долга по суду (на взятки судьям могло уходить до половины суммы долга, а его выплата могла производиться через 10—20 лет после займа). Бутурлин пишет, что только А.А. Закревский, ставший в 1848 г. московским генерал-губернатором, «очистил было» Москву «от этих господ», однако полностью искоренить это зло было невозможно (*Бутурлин*. № 8. С. 556—558).

[53]*Каблуков Владимир Иванович* (1780 или 1781 — 1848) службу начал в Преображенском полку в 1791 г., с 1802 г. — в Кавалергардском полку, штаб-ротмистр (1805), участвовал в наполеоновских войнах в 1805, 1807 и 1812—1814 гг.; с 1813 по 1821 г. командовал Кавалергардским полком, затем лейб-кирасирским ее величества полком и 2-й бригадой 1-й кирасирской дивизии; генерал-лейтенант (1826). В 1828 г. был назначен командиром 4-й гусарской дивизии; участвовал в подавлении польского восстания в 1831 г. Сенатор с 1834 г., действительный тайный советник (после 1840); в 1830-х гг. был сенатором 2-го отделения 6-го департамента, в 1840-х — 1-го отделения того же департамента.

[54]*Солитер* — крупный бриллиант в оправе.

[55]*Боровиковский* Владимир Лукич (1757—1825) — художник-портретист; с конца XVIII в. был тесно связан с масонами, в 1802 г. вступил в ложу «Умирающий Сфинкс»,

руководителем (мастером стула) которой был Лабзин. Известно четыре портрета Лабзина кисти Боровиковского, в том числе и небольшие; их распространение связано с обычаем масонов дарить друзьям свои портретные изображения (подробнее см.: *Алексеева Т.В.* Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18—19 веков. М., 1975. С. 203—226 и по указ.).

[56]*Дьяков Николай Алексеевич* (1757—1831) — майор при криг-комиссариатстве (1784); полковник (1795); с 1799 г. в отставке. В начале 1800-х гг. — московский губернский прокурор; статский советник (1804). Входил в Дружеское ученое общество; известный масон, с 1819 г. возглавлял собрания братьев «теоретического круга». См. его характеристику у Жихарева (Т. 1. С. 133: «мне показался он не более как прокурором, но прокурором зажиточным и наторелым в хорошем обществе»). О его масонской деятельности см.: Письма Новикова. С. 288, 358.

[57]*Похвистнев* (Похвиснев) *Иван Федорович* в 1824 г. в чине надворного советника состоял при Мастерской оружейной палате; в 1840—1845 г. — статский советник, член Вотчинного департамента и Московского отделения Мануфактурного совета.

[58]*Дупельт* (Дубельт) Леонтий Васильевич (1792—1862) — в период александровского царствования боевой офицер, масон, в 1822—1828 гг. командир Старооскольского пехотного полка, затем вышел в отставку; с 1830 г. — на службе в корпусе жандармов: губернский штаб-офицер, генерал-майор и начальник штаба корпуса жандармов (1835), в 1839 г. назначен также управляющим III Отделением, член Главного управления цензуры. Войдя в доверие к А.Х. Бенкендорфу с самого начала своей жандармской службы, фактически руководил всей работой III Отделения. Написание его фамилии как «Дупельт» («Дуппельт») обычно для XIX в.

[59]*Соколов* Иван Яковлевич (1790—1848) — в 1820-х гг. советник губернского правления, титулярный советник; в 1830-х гг. обер-секретарь 7-го департамента, с конца 1830-х — обер-секретарь 2-го отделения 6-го департамента, надворный советник; впоследствии статский советник.

[60]*Кологривов Степан Иванович* (ум. 1848) — служил в лейб-гренадерском полку, капитан (1816), с 1817 г. в отставке (формулярный список 1816 г. см.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 64/315. № 1816. Л. 443—444). А.Ф. Вельяминова-Зернова вышла за него замуж в 1837 г., «на 50 г. от роду» (*Дельвиг А.И.* Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 226).

[61]Утверждение Дмитриева в должности обер-прокурора произошло 18 мая 1842 г.

[62]*Мороз* Даниил Матвеевич (1784—1848) — в 1830-х гг. обер-прокурор 7-го департамента Сената, с конца 1832 г. также — обер-прокурор общего собрания московских департаментов Сената; сенатор с 1839 г.; в 1840-х гг. тайный советник, сенатор 2-го отделения 6-го департамента. Эпиграмму на него, сочиненную С.А. Нееловым и приписывавшуюся одно время Пушкину, см.: Русская эпиграмма. С. 163.

[63]*Дашков* Андрей Васильевич (1790—1865) — в 1828—1830 гг. херсонский, затем рязанский вице-губернатор; в 1836—1839 гг. — олонецкий губернатор; в 1839 г. был назначен обер-прокурором 2-го отделения 6-го департамента Сената, а в 1842 г. — членом консультации (Совета) при Министерстве юстиции; действительный статский советник (с 1838); впоследствии тайный советник и сенатор (1848—1860). Приятель Ф.Ф. Вигеля.

[64]*Булгаков* Александр Яковлевич (1781—1863) службу начал при Московском архиве Коллегии иностранных дел, где состоял до 1832 г.; в 1809—1831 гг. — чиновник особых

поручений при московском генерал-губернаторе. Московский почт-директор (1831—1856), сенатор (с 1863). В *Библиотеке* (№ 9224) имеется оттиск статьи Булгакова «Разговор Неаполитанского короля Мюрата с генералом графом М.А. Милорадовичем на аванпостах армии 14 октября 1812 года. (Отрывок из воспоминаний 1812 года)» (Москвитянин. 1843. № 2. С. 499—520) с дарственной надписью: «Его превосходительству Михаилу Александровичу Дмитриеву усерднейшее приношение от автора».

[65]В конце главы Дмитриев пометил: «17 сентября 1865. Конец второй части».

Глава 19

[1]*Озеров Петр Иванович* (1773 или 1776 — 1843) — воспитанник Московского университетского благородного пансиона, адъютант великого князя Константина Павловича с 1798 до 1807 г., в 1807—1812 гг. был гофмейстером его двора; затем снова вступил в военную службу. С 1817 г. — в должности шталмейстера; с 1823 г. сенатор, член Государственного совета (1837), действительный тайный советник (1834); почетный опекун Московского Воспитательного дома в 1820—1840-х гг.

[2]*Штер Матвей Петрович* (1776/1777? — 1847) службу начал в 1790 г. в Петербурге в Казначействе остаточных в государстве сумм; с 1800 г. служил в Крыму, в 1808 г. возглавил Комиссию для разбора споров в Крымском полуострове и успешно боролся со злоупотреблениями в ней, позднее был председателем в Крымской межевой комиссии. В 1811—1816 гг. — воронежский губернатор. Затем в Министерстве внутренних дел возглавлял последовательно департамент мануфактур и внутренней торговли, департамент полиции исполнительной (1822), статистическое отделение (1824). Был членом Главного правления училищ, принимал активное участие в деятельности Библейского общества и Общества попечительства о тюрьмах; в 1833 г. стал почетным опекуном Московского Опекунского совета. Сенатор с 1828 г.; во второй половине 1830-х гг. первоприсутствующий 8-го департамента, в 1840-х гг. — 7-го департамента, действительный тайный советник (1838). Поддерживал тесные отношения с А.Н. Голицыным, Сперанским и Магницким. Отзыв другого современника о Штере построен по той же модели: «Ренегат, примкнувший к православию, но человек честный» (*Греч.* С. 227). Рукописное собрание Штера хранится в НБ МГУ.

[3]*Ладыженский* Василий Алексеевич (1779 или 1780 — 1851) — прапорщик гвардии, затем губернский секретарь. Был женат на Екатерине Васильевне Зыбиной. Тяжба Ладыженского и Волоцкой проходила в несколько этапов: один из них приходился на июнь—ноябрь 1841 г. (РГИА. Ф. 1583. Оп. 23. Л. 127).

[4]*Волоцкий* Сергей Алексеевич (ум. не ранее 1853) — в начале 1830-х гг. служил в чине прапорщика в Преображенском полку; в 1842 г. отставной гвардии полковник; известно, что в 1853 г. он был посредником при размежевании земель Каширского и Алексинского уездов Тульской губернии.

[5]К.Н. Лебедев также возмущался тем, что «очень часто шеф вмешивался в дела юстиции и нередко испрашивал по делам гражданским такие повеления, которыми ясно нарушались коренные правила и формы» (*Лебедев.* № 8. С. 472).

[6]*Кашинцев* (Кашинцов) *Николай Андреевич* (1799—1870) до 1815 г. служил во Владимире, затем — в Москве (в 1825—1826 гг. — чиновник особых поручений при А.Д. Ба-

лашове). Впоследствии служил в заведениях общественного призрения (в отставке с 1850 г.). С 1832 по 1856 г. — сотрудник III Отделения «для наблюдения за всеми выходящими в Москве периодическими изданиями»; объектами его внимания были многие литераторы, хорошие знакомые Дмитриева: Надеждин, Н.Ф. Павлов, Погодин, Шевырев и другие. Кс. Полевой вспоминал: «добряк наш Н.А. Кашинцев, с своим гладеньким паричком, обширными видами на добро при маленьких средствах, с решимостью говорить смело и трепещущий, если Марко в передней Леонтия Васильевича [Дубельта] скажет ему: «Николай Андреевич! не хорошо-с!» (*Полевой К.А.* Записки. СПб., 1888. С. 516).

[7]Лебедев, в числе «причин нравственного упадка» III Отделения также упоминает «любовные интриги графа [Бенкендорфа] и Дубельта, влияние женщин и, наконец, слабость шефа, коим руководили, как хотели, начальники Третьего отделения» (*Лебедев.* № 8. С. 472).

[8]*Щербатов* Алексей Григорьевич (1777—1848) — генерал от инфантерии; с весны 1843 г., в связи с болезнью Д.В. Голицына и его отъездом на лечение, исполнял обязанности московского военного генерал-губернатора, а в 1844—1848 гг. официально занимал эту должность. По свидетельству М.Д. Бутурлина, «был отличный, можно сказать, человек в частной жизни и <...> доблестный воин, но не рожден был для гражданского, административного поприща и не имел никакого (по-видимому) веса в Министерстве внутренних дел» (*Бутурлин.* 1898. № 2. С. 241).

[9]*Толстой* Иван Петрович (ум. после 1850) в 1840-е гг. находился за обер-прокурорским столом 1-го отделения 5-го департамента Сената; впоследствии действительный статский советник.

[10]*Сезаревский* (Сессаревский) Иван Маркович (1784—1844) во второй половине 1810-х гг. — советник губернского правления и надворный советник; во второй половине 1820-х — за обер-прокурорским столом во 2-м отделении 6-го департамента; в 1830-х гг. исполнял должность обер-прокурора 1-го отделения 6-го департамента Сената; впоследствии обер-прокурор общего собрания московских департаментов; с 1834 г. действительный статский советник.

[11]Известны графы Зотовы: Николай Иванович, Александр Иванович, Иван Александрович и его сыновья.

[12]*Синявин* (Сенявин) *Иван Григорьевич* (1801—1851) — двоюродный брат М.С. Воронцова, с 1822 г. до отставки в 1830 г. был его адъютантом. В 1834—1838 гг. член императорского Кабинета, с ноября 1838 по октябрь 1840 г. — новгородский губернатор; в октябре 1840 — мае 1844 г. — московский губернатор. Впоследствии товарищ министра внутренних дел, с 1846 г. — сенатор общего собрания 3-го, 5-го и Межевого департаментов. Согласно воспоминаниям А.В. Мещерского, «был огромного роста и довольно симпатичной наружности»; «в служебном мире» прославился «своей необыкновенной памятью и знанием законов» (*Мещерский.* С. 83). Однако для резкого отзыва о нем у Дмитриева также имелись основания: см., напр., о неблаговидном поступке Сенявина в отношении В.В. Пассека: *Пассек.* Т. 2. С. 290.

[13]*Аристид* (ок. 540 — ок. 467 до н.э.) — афинский политический деятель и полководец, герой греко-персидской войны 480—478 гг. до н.э. Прославился благородством, справедливостью и любовью к отечеству. Для сравнения Сенявина с Аристидом есть определенные основания: об этом говорит ряд находящихся в фонде братьев Сенявиных документов. В их числе — анонимная записка А.Х. Бенкендорфу от 26 марта 1840 г. о мерах к искоренению взяточничества и других злоупотреблений, а также служебная переписка

1840-х гг., главным образом с министром внутренних дел Перовским, по подобным же вопросам (см.: РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. № 18, 33, 37, 46).

[14]*Богдановский Андрей Васильевич* (1780 — после 1856) — до 1820 г. на военной службе (полковник с 1813 г.; в 1815 г. назначен командиром бригады); в 1823—1831 гг. состоял градоначальником в ряде городов на юге России; тайный советник (1828). В 1831 г. назначен сенатором 8-го департамента, затем 3-го отделения 5-го департамента Сената; в 1833 г. переведен в 7-й департамент; действительный тайный советник (1849). С 1856 г. в отставке.

[15]*Шереметев Василий Александрович* (1795—1862) — камергер, товарищ министра юстиции в 1843—1847 гг. (креатура Панина); впоследствии член Государственного совета.

[16]В 1845—1846 гг. Панин находился за границей; ходили даже слухи о том, что он не вернется на свою должность (*Лебедев.* № 8. С. 512).

[17]*О'Тгер* (Д'Оггер; д'Огер) Александра Васильевна (ум. 1862) — дочь нидерландского посла в Петербурге барона Вильгельма д'Оггера (d'Hogger), внучка (по матери) Елизаветы Романовны Воронцовой и Александра Ивановича Полянского; по отзывам современников, отличалась замечательной красотой. Особенно стоит выделить свидетельство А.В. Мещерского, который хорошо знал ее как подругу своей московской тетки: «Г-жа Сенявина была урожденная Догер, голландка по происхождению, отличавшаяся поразительной красотой: довольно полная, высокого роста, с ярким цветом лица на свежей матовой коже, придающим необыкновенный блеск ее черным глазам, окаймленным длинными ресницами; волосы цвета воронового крыла; все вместе делало неотразимое впечатление. Она была такая же изящная, как и ее записочки на французском языке, которыми она так любила награждать своих знакомых. <...> У нас существовало даже некоторого рода соревнование в этом искусстве между нашими домами, и нечего говорить о том, что моя тетушка и г-жа Синявина не уступали изящностью своего стиля знаменитой писательнице m-me de Sevigne» (*Мещерский.* С. 83—84). Вечера в доме Сенявиных в Москве в 1843—1844 гг. охотно посещали московские интеллектуалы (см.: *Чичерин.* С. 21; Письма Ю.Ф. Самарина (1840—1845) // РА. 1880. С. 310).

[18]Согласно воспоминаниям Мещерского, Сенявина перевели в Петербург «как замечательного юриста»; его трагическая смерть «немало тогда наделала шуму в Петербургском и Московском обществах» (*Мещерский.* С. 74).

[19]Кроме Диомида и Леонида Пассеков, о которых идет речь, известны следующие братья Пассеки: Богдан (1822—1876), Валериан (ум. после 1870), Василий (1816 — после 1861), Вячеслав (1820—1877), Евгений (1802—1842), Егор (1803 — после 1868), Помпей (1818 — после 1860), а также сестры Евгения, Зинаида, Леонила (ум. 1904), Людмила и Ольга (р.1810).

[20]*Пассек* Василий Васильевич (1772—1830) — отец упоминаемых братьев; за подделку документа был лишен дворянства и сослан в 1801 г. в Сибирь, где пробыл до 1824 г.

[21]*Шаховская* (урожд. Пассек) Анастасия Федоровна (р. 1754) — мать А.А. Шаховского. Со стороны Шаховских в процессе участвовали ее сыновья: Александр Александрович Шаховской, его братья Владимир (1781—1845) и Лев (р. 1784).

[22]Согласно другой версии, в 1820 г. «по смерти князя Дмитрия [Константиновича] Кантемира оказалось духовное завещание, которым он оставлял все свое недвижимое имение, полученное им по наследству от отца и матери и им самим приобретенное, своей троюродной племяннице графине Булгари. На имение, оставшееся от матери князя

Дмитрия Кантемира — Софьи [Богдановны], урожденной Пассек, заявили свои права князья Шаховские, доказывая производившимися в судебных местах делами, что мать их, княгиня Настасья Шаховская, была родная дочь Федора Богдановича Пассека — и у них возник процесс с графинею Булгари. <...> Процесс князей Шаховских с графинею Булгари продолжался около двадцати лет и был ими выигран» (*Пассек*. Т. 1. С. 443—444). Одновременно Пассеки были восстановлены в правах, отнятых у них после высылки в Сибирь их отца. «Пользуясь возвращенными правами, один из братьев Пассек — Василий Васильевич, по возрасту своему еще не утративший права иска на кантемировское именье, как не пропустивший сроков, подал прошение, в котором заявил свои права на выигранное князьями Шаховскими имение и просил наложить на него запрещенье. Вслед за Василием Васильевичем подал такое же прошение и меньшой брат его Вячеслав Васильевич. Запрещение было наложено» (*Пассек*. Т. 2. С. 223—224). Признание завещания Д.К. Кантемира недействительным, при наличии у Пассеков доказательств того, что А.Ф. Шаховская была добрачной дочерью Ф.Б. Пассека, давало им основания требовать пересмотра дела, так как юридически они были единственными потомками Богдана Пассека по мужской линии. Возбуждение процесса относится к 1833 г. (*Пассек*. Т. 1. С. 443). Сходным образом события изложены в печатной брошюре «Записка по делу об имении кн. Кантемира» (М., 1835).

[23]Вероятно, имеется в виду дело «графини Елизаветы Булгари, рожденной княгини Кантакузен, с князьями — действительным статским советником Александром, поручиком Владимиром и прапорщиком Львом Шаховскими, и с валахскими боярами Кампинианами о духовном завещании полковника князя Дмитрия Константиновича Кантемира», однако его рассмотрение относится к концу 1828 — началу 1829 г. (ОДАГС. Т. 1. С. 704).

[24]Совершенно иную характеристику и отца и братьев Пассеков см.: *Пассек*. Т. 1. С. 370—373. Дмитриев сходится с мемуаристкой в одном: терять Пассекам было действительно нечего, они терпели жестокую нужду.

[25]*Пассек Диомид* Васильевич (1808—1845) в 1830 г. окончил Московский университет и поступил в корпус инженеров путей сообщения; в 1831—1837 гг. — в Военной академии, а с 1838 г. — в Генеральном штабе; в 1840 г. находился в должности дивизионного квартирмейстера в частях Отдельного Кавказского корпуса, действовавших в Дагестане, где отлично зарекомендовал себя в многочисленных боях; в 1841 г. — подполковник, в начале 1844 г. получил чин полковника и назначен командиром Апшеронского пехотного полка, с конца 1844 г. — генерал-майор. Погиб в кровопролитном сражении при Дарго.

[26]По свидетельству Т.П. Пассек, в 1845 г. на смотре в Чугуеве (Николай прибыл туда из Севастополя, где М.С. Воронцов в числе прочих дел отчитывался и о неудачной даргинской экспедиции) братья действительно подали государю «прошение о переводе их тяжебного дела с князьями Шаховскими в общее собрание Сената». Однако решение Николая предписывало лишь: «во внимание к отличным заслугам и блестящим подвигам <...> генерал-майора Пассека <...> пересмотреть в общем собрании московских департаментов правительствующего сената прошение <...> Вячеслава Пассека по делу его с князьями Шаховскими о наследственном имении» (*Пассек*. Т. 1. С. 419—420). К сожалению, Т.П. Пассек не сообщает, чьим решением спорное имение было постановлено разделить пополам, однако на императора она не ссылается. Возможно, это решение

было принято в Сенате. В ее изложении процесс «кончился тем, что права обеих сторон были признаны, и кантемировское именье разделено между обеими сторонами пополам» (Там же. Т. 1. С. 444). О рассмотрении этого дела в Государственном совете в мае—декабре 1847 г. см.: ОДАГС. Т. 2. С. 352.

[27]*Соломон* (ок. 965 — 935 до н.э.) — сын и наследник царя Давида, правитель Израильско-Иудейского царства. Прославился как справедливый судья и мудрец.

[28]Автоэпитафия Шаховского была впервые опубликована по тексту «Глав...» в кн.: Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л., 1975. В недатированном письме к Н.В. Сушкову (ок.1845) Шаховской сообщает о благополучном завершении дела: «<...> я приехал в Москву по тяжбе в Сенате, которая наконец кончилась, совершенно к моему успокоению; а продолжалась она к величайшему беспокойству и теле[с]ному равно как и к карманному разорению в три приема, 22 года» (ОР РГБ. Ф. 297. Карт. 10. № 20; сообщено К.Ю. Роговым).

[29]*Пассек Леонид* Васильевич закончил Московский университет и в 1831 г. поступил юнкером в Балтийский флот. Был ранен в 1832 г. в сражении с греческими корсарами при Лепанто; лейтенант (1836). В 1837—1841 гг. числился в отпуску; с 1841 г. в отставке с чином капитан-лейтенанта.

[30]Свидетельством общения семейства Пассеков с Дмитриевым могут служить книги из *Библиотеки*: «Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком» (М., 1838. Кн. 1—5; № 2002—2004) с дарственной надписью «Его Превосходительству Михаилу Александровичу Дмитриеву от семейства издателя» и приплетенный к пятой книге сборник «Литературный вечер» с надписью «от детей Вадима Пассека», изданный в память последнего.

[31]*Аристархов* Иван Григорьевич (ум. 1849) — купец 1-й гильдии, бумажный фабрикант.

[32]Имеется в виду или *Прянишников* Василий Осипович, в 1839 г. — купец 3-й гильдии, или (что менее вероятно) Аполлинарий Иванович, коллежский советник. Тяжба Аристархова с Прянишниковым разбиралась в Сенате с ноября 1841 по май 1843 г. (см.: РГИА. Ф. 1583. Оп. 23. Л. 133).

[33]*Аксаков* Григорий Сергеевич (1820—1891) — один из сыновей С.Т. Аксакова; окончил Училище правоведения в 1840 г., до 1843 г. служил секретарем в московских департаментах Сената (вероятно, с 1841 г.: см. указание на дело «о перемещении в 7 Департамент коллежского секретаря Аксакова», датированное 22 мая 1841 г. — 7 января 1843 г. — РГИА. Ф. 1583. Оп. 23. Л. 125 об.); оренбургский губернатор в 1861—1865 гг.

[34]По словам современника, Панин «при столкновениях по службе с высшим начальством других ведомств <...> не отстаивал служащих у него, а обыкновенно выдавал их с головою» (*Семенов*. С. 541—542).

[35]Возможно, *Мещерский* Платон Алексеевич, в 1832 г. — титулярный советник, состоял при Московском архиве Коллегии иностранных дел.

[36]Это вполне объясняется тем, что при своих огромных юридических познаниях Панин «волю Государя считал священною <...>. Высочайшие повеления он исполнял буквально, без рассуждения, требуя того же и при исполнении подведомыми ему лицами своих приказаний» (*Семенов*. С. 546).

[37]*Дурасов Егор Александрович* (1781—1855) — в 1802—1813 гг. служил в Семеновском полку, капитан (1807), полковник (1811); в 1808 г. был назначен полицмейстером в Москве, статский советник (1813). В 1813—1817 гг. состоял в Москве вице-губерна-

тором, а в 1817—1823 гг. — губернатором. Сенатор (с 1823), тайный советник, в 1827—1837 гг. сенатор 1-го отделения 6-го департамента, с конца 1830-х по 1840-е гг. исполнял должность первоприсутствующего 2-го отделения того же департамента, действительный тайный советник; в 1855 г. числился сенатором 7-го департамента.

[38]*Адлерберг* Владимир (Эдуард) Федорович (1791—1884) — генерал-адъютант (1828), генерал от инфантерии (1843). Доверенное лицо Николая I (с 1829 г. сопровождал императора во всех его поездках); член Государственного совета (с 1842). В 1841—1857 гг. в его ведении состоял Почтовый департамент; министр двора (1852—1870), министр уделов (1856—1870).

[39]*Смирнов* Алексей Иванович (1785?—1849) — в 1820—1830-х гг. председатель 1-го департамента Гражданской палаты, статский советник; впоследствии — действительный статский советник.

[40]Обстоятельства, повлекшие за собой эту отставку, выясняются из документа под названием «О неблагонадежности Председателя 1-го Департамента Московского Гражданского Суда Действительного Статского Советника Смирнова», который приводим полностью: «Г<осподину> Мин<истру> Юстиции Графу В.Н. Панину. № 57. 27 Октября 1843 года. Председатель 1-го Департамента Московской Гражданской Палаты Действительный Статский Советник Смирнов пользуется весьма невыгодною репутациею в отношении нравственных своих качеств, и все лица, имевшие какие-либо дела в Палате, единогласно жалуются на строптивость его характера, грубое с ними обращение и превратное толкование дел из личных своих выгод. Хотя в последнем случае нельзя представить юридических доказательств, но при соображении вообще действий его и самой Палаты по производству дел, нельзя не убедиться в справедливости общих отзывов об его неблагонадежности. — Будучи поставлен в обязанность свидетельствовать пред Высшим Начальством о действиях Губернских Присутственных и Судебных мест и самых нравственных качеств Председателей Палат, я долгом представляю представить действия г<осподина> Смирнова на благоусмотрение Вашего Сиятельства, на тот конец, не угодно ли будет Вам испросить ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление об увольнении его от занимаемой должности, как чиновника, не только не пользующегося никаким общественным доверием, но даже навлекающего сомнение в неблаговидных действиях» (РГИА. Ф. 1685. Оп. 1. № 32. Л. 9—9 об.). В деле имеется черновик отношения Сенявина от 7 января 1844 г. к министру внутренних дел Л.А. Перовскому (с грифом «конфиденциально»), из которого выясняется, что вышеупомянутый запрос министра юстиции был инспирирован самим же Сенявиным: «В дополнение записки моей от 11-го ноября № 69 имею честь довести до сведения Вашего Высокоп<ревосходитель>ства, что Высочайшим Именным Указом данным Правительствующему Сенату, в 10 день Декабря, Г<осподин> Действительный Статский Советник Смирнов уволен за болезнию от службы» (Л. 10). М.М. Карниолин-Пинский, видимо, также сыграл в отставке Смирнова не последнюю роль. Он отличался настойчивым стремлением иметь в подчинении «своих людей, безусловно ему преданных» и с этой целью в начале 1840-х гг. «принял систему покровительства воспитанникам Училища правоведения, что приобрело ему любовь молодых людей и покровительство принца Ольденбургского. Это дало ему политически благовидный предлог — распространить свою известность гонением людей старого времени» (*Лебедев*. № 8. С. 511, 509) и усилить свое влияние на Панина.

[41]Близкую дмитриевской характеристику Пинского дал хорошо знакомый с ним в 1840-е гг. К.Н. Лебедев: «К<арниолин>-Пинский человек с большой энергией, не признает величий, любящий значение для света, в котором до сих пор он так мало значил. По этой причине он криклив и заносчив, но мало уверен и труслив. Недостаток образования и теоретичность знания делают его неловким и грубым в поступках и работах. Нет сомнения, что он зазнается, оскорбит самолюбие других <...>. Он был в ежовых руках бедности, но он забывает нужду. Он не уважает несчастья и опасности дружбы, он завистлив и увлекается собою до лжи» (*Лебедев.* № 8. С. 509).

[42]6 апреля 1865 г. были введены в действие «Временные правила по делам печати», согласно которым отменялась предварительная цензура. Дмитриев считал эту меру «величайшим благодеянием», оказанным «нашей мысли». Приветствуя возможность обсуждать общественные вопросы и разоблачать злоупотребления власти, он тем не менее полагал, что воспользовались ею преимущественно «петербургские журналисты и ученые дилетанты», которые «бросились к идеям, разрушающим религию, общество, семью». Поэтому он не считал нарушением свободы печати, «если бы правительство одним ударом прихлопнуло эту шайку» (Замечания и анекдоты // РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 12. Л. 4—4 об.).

[43]*Емельянов* Иван Трофимович (1794 или 1795 — 1851) — секретарь 7-го департамента в 1830-е гг. Переписка Дмитриева с Булгаковым по этому делу относится к апрелю—маю 1840 г., перевод Емельянова в Петербург — к апрелю—маю 1841 г. (Замечания и анекдоты... Л. 1).

[44]*Ботик* (бот) — общее название в XVII—XVIII вв. гребно-парусных одномачтовых судов длиной до 18 и шириной до 4,5 м с косым парусным вооружением. Ботик «Фортуна» — единственное сохранившееся до нашего времени судно «потешной» переславской флотилии (1689—1693). В 1802—1803 гг. по инициативе И.М. Долгорукого, бывшего тогда владимирским губернатором, вместо деревянного сарая, куда после пожара сложили ботик и пощаженные огнем и гнилью остатки судов, было построено специальное каменное здание и организован музей флотилии, действующий до сих пор. Ботик стал его основным экспонатом. Об этом же случае Дмитриев вскользь упомянул в своей книге «Князь Иван Михайлович Долгорукой и его сочинения» (Москвитянин. 1851. № 3), а более подробно и текстуально близко к «Главам...» написал о нем во втором издании этого труда (М., 1863. С. 54—55). Согласно анонимной «Исторической записке о бывшей в Переславле Залесском флотилии и об открытии памятника императору Петру Великому на берегу Переславского озера, близ села Веськова» (Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1853), Емельянов приобрел село на аукционе в апреле 1840 г.; инициатива выкупа в 1846 г. принадлежала не императору, а губернскому предводителю дворянства, Николай I лишь одобрил эту меру; причины выкупа не указаны, сделан лишь намек на «некоторые обстоятельства». Через четыре года в селе был открыт памятник Петру I работы С. Кампиони (С. 25—26, 41).

[45]Дмитриев несколько преувеличивает возможности и значение Карниолина-Пинского. Кадровая политика Панина, стремившегося заменить выслужившихся неродовитых и немолодых «дельцов» представителями старых дворянских фамилий, получившими высшее образование (подробнее см.: *Семенов.* С. 538—540; *Лебедев.* № 8. С. 488; № 10. С. 188), совпала по времени и духу с очередной кампанией по оздоровлению государственного аппарата, начавшейся в середине 1840-х гг. Самой заметной мерой стало усложнение порядка получения потомственного дворянства по службе (с 1845 г. в гражданс-

кой службе его давал чин 5-го класса, а не 8-го, как ранее). Однако планы властей были куда более широкими: в 1846 г. Николай I повелел Панину удалить неблагонадежных чиновников его ведомства и разработать комплекс мер по наведению должного порядка и в других государственных учреждениях. «Думают о сокращении штатов, думают поуменьшить чиновничий класс и нравственно улучшить его <...> хотят учредить высший нравственный контроль» (*Лебедев.* № 10. С. 188). Все это создавало в Министерстве юстиции чрезвычайно нервозную обстановку, так как, естественно, руководство избавлялось как от тех, кто заслуживал суда, так и от лично неугодных (Там же. С. 187, 188, 199–200, 215). Одной из жертв этой «переборки», продолжавшейся несколько лет, по-видимому, стал и Дмитриев; ср.: «У нас уволен обер-прокурор Дмитриев и рассортировали весь 4-й департамент» (Там же. № 10. С. 201).

[46]*Андреев* Иван Петрович (1785–1861) — с 1820-х по 1841 г. сначала в должности секретаря, а затем секретарь 7-го департамента Сената, титулярный советник (до 1826 или 1827), коллежский асессор (до середины 1830-х), затем надворный советник, с конца 1839 г. — коллежский советник. С мая по октябрь 1841 г. исправлял должность обер-секретаря того же департамента; уволен в 1842 г. (см.: РГИА. Ф. 1583. Оп. 23. Л. 125 об., 158).

[47]Отрицательное отношение к подобному стремлению «сажать молодых и ученых вместо старых неученых» выражает также Лебедев (№ 8. С. 508–509; № 10. С. 200, 203–204). Старательно привитое воспитанникам училища чувство исключительности, с одной стороны, и отрицательное отношение к ним большой части коллег — с другой, по-видимому, и породили в «правоведах» редкое для России чувство корпоративной солидарности выпускников одного учебного заведения.

[48]Ср. с отзывом Лебедева: «Хвастовство, заносчивость, какой-то цинизм в некоторых из этих молодых людей доходят до неимоверности» (№ 10. С. 204). В.В. Стасов позднее писал: «На всяческих местах своих, и на местах сенаторов, и секретарей, и всяческих следователей, и прокуроров, большинство выказалось такими же ординарными чиновниками, с темной запутанной головой, загроможденной вздором и предрассудками, как все остальные, не бывавшие от роду в училище правоведения чиновники русской империи, не слушавшие никаких курсов «Энциклопедии права», «местных законов», Юстинианова кодекса, государственных и иных прав. Чувствительной разницы, кроме пышных аттестаций, диплома и понаторелости в специальных технических подробностях, никакой на деле не оказывалось» (*Стасов В.В.* Училище правоведения сорок лет тому назад. 1836–1843 гг. // РС. 1881. № 6. С. 280–281). Этот же мемуарист невысоко оценивал и уровень преподавания в училище юридических дисциплин (С. 248–251). О музыкальном воспитании студентов см. там же (1880. № 3. С. 577–585; 1881. № 6. С. 261–265); выпускником училища был П.И. Чайковский.

[49]*Оголин* Александр Степанович (р. 1821) — впоследствии витебский губернатор и сенатор (с 1873). Еще в училище прославился своими «шалостями». О его литературных и иных занятиях см.: *Стасов В.В.* Указ. соч. // РС. 1880. Т. 30. № 1. С. 410; № 3. С. 582; 1881. Т. 31. № 6. С. 253, 275–276.

[50]*Кайсаров* Петр Сергеевич (1777–1854) учился в университетском благородном пансионе в 1792–1797 гг.; с 1809 г. был секретарем Лифляндского комитета, в 1811–1828 гг. — обер-прокурором Сената, в 1828–1839 гг. — директор департамента разных податей и сборов Министерства финансов, затем сенатор 2-го департамента. Не исключено (хотя и менее вероятно), что речь идет о Паисии Сергеевиче Кайсарове (1787–1844) —

генерале от инфантерии и сенаторе. Фонвизин Сергей Павлович (1783 — 1858 или 1860) — двоюродный брат декабриста М.А. Фонвизина, предводитель дворянства Клинского уезда; упомянут историком пансиона в числе «ученых, драматургов, поэтов, художников» (*Сушков.* С. 32); видный деятель московского масонства.

[51]*Лицей* в Царском Селе был открыт в 1811 г. (текст «Постановления о Лицее», подготовленного М.М. Сперанским, см.: ПСЗ-II. № 31. № 24325). Первоначально предполагалось, что вместе с детьми из хороших дворянских фамилий будут воспитываться великие князья Николай и Михаил Павловичи, но это намерение осталось неосуществленным. Дмитриев тенденциозен в своем отношении к Лицею: один первый выпуск дал таких «государственных людей», как А.М. Горчаков (1798—1883) — дипломат, министр иностранных дел (1856—1882), канцлер (1867) и М.А. Корф (1800—1876) — государственный секретарь (1834—1843), председатель департамента законов Государственного совета (1864—1872), директор Публичной библиотеки (1849—1861). Подробнее о выпускниках Лицея см.: *Кобеко Д.Ф.* Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы: 1811—1843. СПб., 1911. Однако от идеи выпускать из Лицея готовых государственных деятелей пришлось вскоре отказаться, и он превратился в одно из привилегированных дворянских учебных заведений. Предпринятая в начале XX в. попытка вернуться к первоначальному замыслу успехом не увенчалась (см.: Протоколы совещания чинов педагогического персонала Императорского Александровского лицея и дополнительные отзывы по проекту учебного плана Лицея. СПб., 1903).

[52]*Цеймерн* Максим Карлович фон (1795—1890) в 1820-е гг. переводчик в 1-м департаменте Сената, в начале 1830-х гг. — надворный советник, начальник 4-го отделения Министерства юстиции; в середине 1840-х гг. был в чине статского советника в должности обер-прокурора 1-го отделения 3-го департамента Сената. Сенатор с 1852 г.

[53]Панина (урожд. Орлова) Софья Владимировна (1774 — 7 января 1844). В рабочей тетради Дмитриева «Замечания и анекдоты» (1859), которая содержит ряд набросков, впоследствии вошедших в главы 19, 21, 22 воспоминаний, приведен любопытный эпизод, связанный со вступлением Панина в права наследства. Текст по неизвестным причинам не был включен мемуаристом в «Главы...»; приводим его полностью (абзацы заменены тире): «А вот одно из действий министра графа Панина. В Москве был стряпчий Алексей Артемьевич Шибаев, который, по своей известности, брался только за процессы многосложные и дорогие, и потому заключал со своими доверителями формальные условия, дозволенные и законом, чтобы за свои труды получать, по окончании процесса, иногда очень большие суммы. Между прочим, он занимался делами графини Софьи Владимировны Паниной, матери министра. — Графиня вздумала при жизни своей назначить раздел своего имения между двумя сыновьями, графом Александром и Виктором. Последний как министр, почитая себя деловым человеком, взялся написать проект раздела. Но графиня, получивши эту бумагу, вздумала посоветоваться с Шибаевым, который, как юридический практик, нашел в ней некоторые несообразности с требованием закона, Графиня, желая, чтобы ее воля была утверждена прочно, уговорила Шибаева исправить эту бумагу, которую он после многих отговорок и решился наконец исправить, и потому, перемарав подлинное сочинение министра, имел неосторожность оставить его в таком виде в руках графини. — После смерти матери граф Панин приехал в Москву, в продолжение двух недель никого не принимал и копался в бумагах умершей. Попалось ему в руки исправленное его сочинение. От конторщика узнал он, что это почерк Шибаева.

Кончив раздел с братом Александром и обобрав его по этому разделу так, что, например, взял себе восемь сот душ крестьян с землею; а ему дал восемь сот душ дворовых, министр возвратился в Петербург. — Вскоре Шибаев, возвратившись домой с утренней прогулки, нашел у себя квартального, который позвал его к частному приставу. Он тотчас же с ним и пошел, как был в легонькой городской шубе, потому что дело было зимою. Частный пристав повез его к полицеймейстеру; полицеймейстер повез его к обер-полицеймейстеру; а обер-полицеймейстер посадил его в готовую кибитку и отправил в ссылку в Колу, откуда перевезли его, кажется, в Вологду. — Жена бросилась узнавать, куда он сослан, но в канцеляриях обер-полицеймейстера и генерал-губернатора князя Щербатова не знали или не смели объявить ей место его пребывания. Она узнала о нем через полгода. — Наконец, через два года его возвратили. Оказалось, по дознаниям, что граф Панин обнес его графу Беккендорфу, шефу жандармов и начальнику тайной полиции, как человека опасного, который нанимается хлопотать по кляузным делам и подкупает судей, и просил сослать его как вредного человека; его и сослали. Там показали ему бумагу о причине его ссылки. — Но с пропажей его из Москвы остановились все дела его доверителей и его собственные. Доверители взяли других стряпчих; кому был должен Шибаев, заемные документы были представлены ко взысканию; а кто ему был должен, те не платили процентов; а некоторые заемные письма не были протестованы и потеряли законную силу, одним словом: Шибаев разорился, а бывши человеком достаточным, под конец своей жизни, я знаю это, был в крайности и умер в бедности. — Надобно прибавить к этому, как черту характера графа Панина, что, готовясь уже нанести этот удар Шибаеву, он, по приезде в Москву с Нижегородской ярмарки, привез ему в подарок, как человеку, занимавшемуся делами его матери, великолепный китайской халат» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 12. Л. 30—31).

[54]Ср.: «Он, при своем удивительном даре слова, мастерски извлекал сущность из всех разных мнений, высказанных другими, развивал ясно и последовательно свою мысль, но приходил иногда к такому неожиданному заключению, что связать его с тем, к чему он клонил, не было никакой возможности, а еще менее привести в действие его предложение. <...> Раз данную им на представленном докладе или вступившей бумаге резолюцию граф уже не считал возможным изменить, полагая, что этим умалил бы достоинство своего звания и положения, хотя бы такая резолюция была дана им по ошибке или недоразумению, или была бы и вовсе неисполнима» (*Семенов.* С. 543, 548).

[55]Ср.: «Графа Панина вообще не любят и предложенные им меры всюду заслуживают порицания»; «я не знаю ни одного человека, *ни одного*, который бы выгодно отозвался о нем» (*Лебедев.* № 10. С. 201, 217).

[56]*Болховской* (точнее: Бологовский) *Дмитрий Николаевич* (1775 или 1780 — 1852) до отставки в 1802 г. в чине капитана гвардии состоял на военной службе, участвовал в заговоре против Павла I. Вернулся на службу в 1812 г., был начальником штаба ряда корпусов; с 1820 г. генерал-майор и командир бригады (в том числе командир 1-й бригады 16-й пехотной дивизии), с 1834 г. — в отставке. В 1836—1840 гг. исправлял должность вологодского военного и гражданского губернаторов; генерал-лейтенант (1837). В 1840 г. назначен сенатором в 1-е отделение 5-го департамента, в следующем году переведен во 2-е отделение, с 1843 г. в Москве сенатором 1-го отделения 6-го департамента.

[57]Ср.: «Анекдотам, ходившим об нем в обществе, не было конца, и они вызывали своих собирателей» (*Семенов.* С. 543).

[58]*Оболенский* Александр Петрович (1782—1853) — сенатор (с 1831), в 1832—1834 гг. — совестный судья, в 1832—1839 г. — сенатор 8-го департамента, впоследствии (1845) — 7-го департамента, тайный советник, почетный член Московского Опекунского совета. «Человек прекрасный, добрый и мягкосердечный, есть вместе один из тех анахронистов, которых так много в Москве <...> человек как все» (*Лебедев.* № 8. С. 465).

[59]О пристрастии, которое Панин питал к перетасовкам подведомственных ему чиновников, см. также: *Семенов.* С. 542.

[60]*Меркулов* Петр Кириллович (1774 — после 1847) — сенатор с 1829 г., тайный советник (1829); сенатор 2-го отделения 5-го департамента, в 1840-е гг. — 7-го департамента.

[61]Смирнов-Платонов излагает мотивы этой отставки несколько по-иному, одновременно добавляя несколько любопытных штрихов к той картине, которую представлял собой московский Сенат: «Он оставил службу в Сенате преждевременно, потому что не мог выносить той легкости и небрежности, с которой подписывались добродушными старцами-сенаторами уголовные приговоры, обрекавшие виновных на арестантские роты и каторгу, на бесчисленные удары плетьми и кнутом, и это после заседания, в котором старцы проводили время в болтовне, рассказывая пустые анекдоты или развлекаясь выходками кого-либо из присутствующих. Так, покойный Башилов <...> имел обыкновение плясать и петь в присутственной комнате» (Александр Павлович Протасов... // РА. 1897. № 9. С. 121).

[62]Своим назначением за обер-прокурорский стол Синода Нечаев был действительно обязан А.Н. Голицыну, т.к. к этому времени женился на его племяннице С.С. Мальцовой (указано А.И. Серковым). Возвратившись в Москву, Нечаев деятельно участвовал в масонских собраниях «теоретического круга» (до 1834 г.); был одним из инициаторов создания в 1837—1838 гг. Комитета для разбора и призрения просящих милостыню, для которого составил устав и который сам возглавил. Разъезды по «передним» можно объяснить тем, что комитет, пропускавший от 100 до 1000 нищих в день, требовал больших денежных средств, которые, по свидетельству М.В. Толстого, Нечаев умел изыскивать просто мастерски. Вольные каменщики, видимо, вообще стремились поставить под свой контроль сеть благотворительных учреждений города. Так, по протекции П.А. Курбатова и С.П. Фонвизина казначей комитета масон П.Д. Голембовский (1790—1873) получил место смотрителя Екатерининского (Матросского) богаделенного дома (*Толстой.* № 3. С. 81, 98, 100—102, 107—109). Нечаев был также членом Совета Императорского человеколюбивого общества, попечителем Странноприимного дома и Совета заведений общественного призрения и детских приютов в Москве.

[63]Ср.: «Вспыльчивый, худо скрывавший свои внутренние ощущения и резко, с насмешками, отзывавшийся о членах Синода, Нечаев некоторым из них, преимущественно Серафиму, не любившему его свободное обращение, казался слишком либеральным. Петербургский митрополит знал, по слухам, что обер-прокурор членов Синода насмешливо называет «старички мои», и в свете презрительно отзывается об их деятельности, рассказывая, что они в синодальных палатах более занимаются своими недугами, чем делами, и больше болтают о пустяках, чем о важных вопросах, касающихся духовного управления. Последнее особенно кольнуло Серафима, который везде и со всяким любил поговорить о своих болезнях, и потому отзывы Нечаева он прямо отнес к себе. Последний в 1836 году был внезапно уволен от обер-прокурорской должности собственно по настояниям Серафима и, с пожалованием в тайные советники, назначен присутство-

вать в Сенате» (Материалы для истории православной церкви в царствование императора Николая I // Сборник Русского исторического общества. Т. 113, кн. 1. С. 155).

[64]*Ховен* Христофор Христофорович фон дер (1795—1890) — выпускник 1-го Кадетского корпуса, способный квартирмейстерский офицер, выдающийся военный топограф. В 1832—1833 гг. — начальник 3-го отделения Военно-топографического депо, в 1833—1838 гг. — обер-квартирмейстер Отдельного кавказского, а в 1838—1841 гг. — начальник штаба Отдельного сибирского корпусов. В 1841—1847 гг. был генерал-губернатором Воронежской, а впоследствии Новгородской и Гродненской губерний, сенатор с 1856 г. Высокую оценку его деловых и нравственных качеств, а также некоторые эпизоды его служебной деятельности см.: История Правительствующего сената за 100 лет. СПб., 1911. Т. 3. С. 52—503. Характеристику его как «рыцаря без страха и упрека» и указание на множество «устных рассказов, в отличном и своеобразном виде рисующих барона» дает историк В.К. Попандопуло (Корпус военных топографов // РА. 1891. № 6. С. 154). Неспособность многих военных исполнять сенаторские функции чрезвычайно вредила репутации Сената. См., напр. реплику современника: «Он [нижегородский военный губернатор Бутурлин] прославился глупостью и потому скоро попал в сенаторы» (*Кукольник Н.* Анекдоты // *Курганов Е.* Анекдот как жанр. СПб., 1997. С. 102).

[65]Сенатская *типография* располагалась в здании, расположенном между Тверской улицей и Театральной площадью (строительство его было завершено в 1823 г.): «Новейшее с колоннадою и арками здание Сенатской типографии, примыкающее к лавкам Охотного ряда, для украшения и правильности Театральной площади единообразно с домами генерала Полторацкого и купца Варигина построенное <...> Главные обязанности ее состоят в издании сенатских прибавлений к Московским ведомостям, высочайших манифестов, именных и Правительствующего Сената указов» (*Малиновский А.Ф.* Обозрение Москвы. М., 1992. С. 158).

[66]Стойкая неприязнь Дмитриева к Панину отразилась также в эпиграммах в адрес министра: «Без службы, без заслуг, по возвышеньи быстром, / Лет двадцать он сидит юстиции министром! / Побочный дядюшка, друг царский посадил! / Что ж! При Калигуле и Консул бы он был!» (Сборник эпиграмм. Л. 9); «И высокого ты роста, / И в числе больших людей, / И доходу тысяч до ста, / И ходил на медведей! / Но душою ты не Минин: / Мелок, мстителен, жесток! / Всякой скажет, что ты длинен; / Но не скажет: ты высок!» (Там же. Л. 10 об.).

[67]В конце главы Дмитриев пометил: «28 генваря 1866».

Глава 20

[1]*Писемский* Павел Петрович (1797—1857) — подполковник в отставке, племянник Д.Н. Блудова; в его доме в Москве (на Малой Дмитровке) собирался, по воспоминаниям А.Д. Блудовой, «тогдашний блистательный круг московских умственных знаменитостей из разных литературных партий» (цит. по: *Барсуков.* Кн. 10. С. 255). Известно (*Сушков Н.* Ответ на вопрос // ЧОИДР. 1864. Кн. 2. Отд. V. С. 232), что Ф.Ф. Вигель читал там свое сочинение «La Russie envahie par les allemands» (о нем см. ниже примеч. 17).

[2]В доме Павловых на Сретенском бульваре до середины 1840-х гг. «по четвергам <...> собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи

происходили оживленные споры <...>» (*Чичерин.* С. 10). О конфликте Дмитриева и Павловых см., напр., в письме Н.М. Языкова брату от 3 января 1845 г.: «Дом Дм[итриева] и дом Павлова поссорились вследствие сплетни, сделанной Кар[олиной] Карл[овной]. Покуда они замирились, но Дмитриев на днях написал эпиграмму на Кар[олину]. <...> Эта колкая и зацепистая насмешка, вероятно, заденет за живое известную щекотливость Николы Фил<ипповича>» (*Языков.* С. 379). Известна эпиграмма Дмитриева «На посвящение Павловою своему мужу Разговора Калиостро и Мирабо»: «Посвятила ж Калиостро / Своему супругу ты, / Эпиграммой самой острой / Заклеймив свои листы! / Продолжай попытки эти — / Поучать и обращать: / Напиши еще Пинети! / Посвяти ему опять» (Сборник эпиграмм. Л. 9).

[3]*Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ. Скептическое отношение Дмитриева к гегелевской системе и попыткам ее истолкования в московских гостиных отразилось в стихотворении «Гегелисты» (1845): «Гегель да Гегель! — Только и слышишь! — Восток да Славяне! / Запад да немцы! — Подумаешь, Запад в бореньи с Востоком! / Солнце ж, как прежде, с Востока идет и приходит на Запад! / Мудрый молчит в тишине, трудолюбец безмолвно трудится; / А не внемлемый ими поэт позабытую пробует лиру!» (*Дмитриев М.* Московские элегии. М., 1858. С. 13). В *Библиотеке* сохранилась «Логика» Гегеля в пер. В. Чижова (М., 1861; № 1043, с владельческой записью на форзаце, датой «10 сент. 1863» и ценой покупки) и книга С.[С.] Г[огоцкого] «Обозрение системы философа Гегеля» (Киев, 1860).

[4]*«Die Weltseele»* — по всей видимости, имеется в виду сочинение Шеллинга «Von der Weltseele. Eine Hypothese der hoheren Physic zur Erklarung des allgemainen Organismus...» (Hamburg, 1809; имеется в *Библиотеке*).

[5]О серьезных философских расхождениях Дмитриева с его младшими современниками и их отказе принимать всерьез его аргументы см., напр., письмо Ю.Ф. Самарина к К.С. Аксакову осени 1840 г.: «Было много споров. Главные схватки: <...> Шевырева с Редкиным о первобытном состоянии человека. Редкин спорил прекрасно. Шевырев прикрыл постыдное отступление криками и общими местами, но он должен был погибнуть совершенно, если б не вмешался Дмитриев и не отвлек Редкина. <...> Спор Редкина с Дмитриевым, о том же. Дмитриев мистик несносный; вздумал в споре философском приводить тексты, и спор дошел было до личностей» (Письма Ю.Ф. Самарина (1840—1845) // РА. 1880. С. 271).

[6]Одной из причин взаимной неприязни Константина Аксакова и Дмитриева было стихотворение первого «К союзникам» (1844), написанное в ответ на стихотворение Языкова «К ненашим». В нем Аксаков «устремляется <...> на личность, первое лицо — Вигель, второе — [А.И.] Коптев, третье — М.А. Дм<итриев>» (*Языков.* С. 378). Между тем Дмитриев, по-видимому, уделял определенное внимание творчеству К. Аксакова: в *Библиотеке* имеется его «драматическая пародия «Олег под Константинополем» (СПб., 1858) и пятиактная драма «Освобождение Москвы в 1612 г.» (М., 1848), а также текст магистерской диссертации «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (М., 1846), труды «О русских глаголах» (М., 1855) и «Опыт русской грамматики» (М., 1860. Ч. 1).

[7]Об энергической жестикуляции Аксакова пишет и Панаев: «— Да! — сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак, — <...> скоро наступит время, когда все мы наденем кафтаны!» (*Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988. С. 197).

[8]Ср.: «Он знал множество названий книг, из каждой схватывал что-нибудь на лету и из всего этого делал удивительный винегрет. В статье о русской художественной школе говорилось и о всеобщей истории, и о винокурении, и об укатывании зимних дорог <...> Однажды в каком-то журнале он напечатал подобный попурри и в той же книжке поместил статейку о борзых собаках. Встретив Михаила Александровича Дмитриева, он спросил его: «Что вы мне скажете о моей статье?» — «Да вот что,— отвечал остроязычный Дмитриев,— я все хотел у вас спросить: зачем это вы статью о борзых собаках поставили особо?» Хомяков добродушно рассмеялся» (*Чичерин.* С. 159).

[9]Ирония Дмитриева в адрес Хомякова нашла отражение в целом ряде эпиграмм («Какой он говорун, бич слуха, трепет залы!..», «Поэзия не мысль! — сказал мне гордо он...», «В его учености как много болтовни!..» — Сборник эпиграмм. Л. 7, 12, 14). Одну из них приведем полностью: «Какая это сила / Язык сей научила / Пороть такую дичь! / Вот так везде и прыщет! / Так споров вот и ищет! / Вот так и кличет клич! / Такая это сила: / Как в древности Атилла, / Он тоже Божий бич!» (Там же. Л. 12). Впрочем, есть основания полагать, что отношение Дмитриева к Хомякову не было однозначным: «Вчерась был у Чаадаева; встретил там Дмитриева, который был очень мил и рассказал много интересного и забавного. Раза два речь заходила о Хомякове; Чаадаев на него нападал, а Дмитриев заступался» (Письма Ю.Ф. Самарина (1840—1845) // РА. 1880. С. 314; из письма К.С. Аксакову, август 1843 г.). Что касается отношения Хомякова к Дмитриеву, то, видимо, оно было таким же, как и у остальных членов славянофильского и западнического кружков, когда смешивались воедино уважение, недоумение и раздражение. Дарственная надпись Хомякова на экземпляре его «КС стихотворений» (М., 1844 — № 9943): «Михаилу Александровичу Дмитриеву от сочинителя поклон» — как представляется, отчасти передает это разнообразие оттенков в восприятии адресата. Обращение запросто, без титулов соседствует с церемонным поклоном — то ли уважительным, то ли ироническим, то ли приветственным, то ли прощальным.

[10]*Пико делла Мирандола* Джованни (1463—1494) — итальянский гуманист, блистательный эрудит и мыслитель.

[11]*Баратынский* (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт. В 1816 г. за серьезный проступок, совершенный вместе с приятелем (кража 500 рублей и черепаховой табакерки), был исключен из Пажеского корпуса с запрещением вступать в иную службу, кроме солдатской. С 1820 по 1825 г. служил в Нейшлотском пехотном полку, расквартированном в Финляндии. Свидетельством общения Баратынского с мемуаристом может служить сборник стихотворений «Сумерки» (М., 1842) с дарственной надписью «Михайле Александровичу Дмитриеву от сочинителя» — *Библиотека.* № 8940. Там же имеется экземпляр его «Стихотворений» (М., 1827) с инскриптом И.И. Дмитриеву (№ 8923). В сохранившихся источниках никаких сведений о посещении Баратынским пятниц Дмитриева не выявлено.

[12]*Панин Александр* Никитич (1791—1850) в 1809 г. начал службу актуариусом в Московском архиве Коллегии иностранных дел; в 1812—1825 гг. находился на военной службе и вышел в отставку в чине полковника. В 1830—1833 гг. — чиновник особых поручений при попечителе Московского учебного округа С.М. Голицыне; с 1833 по 1838 г. — помощник попечителя Харьковского учебного округа; в конце 1839 г. вышел в отставку в чине действительного статского советника и поселился в Москве. Ср.: «Человек, к которому по бесхарактерности его нельзя иметь доверенности» (*Лебедев.* № 7. С. 391).

[13]*Чертков Александр Дмитриевич* — историк и археолог (в 1838 г. организовал первые раскопки подмосковных славянских курганов), собиратель древностей и библиофил. Московский губернский предводитель дворянства в 1844—1856 гг., председатель Московского Общества истории и древностей российских в 1849—1857 гг. (состоял в нем с 1833 г.). Экземпляр «Воспоминаний о Сицилии» Черткова (М., 1835—1836. Ч. 1—2) имеется в *Библиотеке*, как и другие его труды: «Описание древних русских монет» (М., 1834, а также первое и второе «Прибавления» к этому сочинению — М., 1837, 1842), «Описание посольства, отправленного в 1659 году...» (М., 1840), «О переводе Манассиной летописи на словенский язык...» (М., 1842), «Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967—971 годах» (М., 1843), «О Белобережье и семи островах...» (оттиск из ЖМНП. 1845. № 8—9), «Всеобщая библиотека России...» (2-е изд. Отд. 1. М., 1863).

[14]Чертков собрал знаменитую библиотеку, названную в его честь Чертковской (в 1863 г. была открыта для посетителей, в 1872 г. сыном основателя Григорием пожертвована городу, в 1887 г. передана Историческому музею; в 1938 г. книжный фонд был передан Государственной Исторической публичной библиотеке, а коллекции распределены по отделам музея). Известно, что Дмитриев в 1864 г. посылал в Чертковскую библиотеку издания своих сочинений (см.: РА.1865. Стб. 11).

[15]Чаадаев был одним из близких друзей М.Ф. Орлова, который в мае 1831 г. благодаря хлопотам брата получил высочайшее позволение жить в Москве. *Талейран*-Перигор Шарль Морис (1754—1838) — министр иностранных дел Франции в 1797—1807 и 1814—1815 гг., возглавлял французскую делегацию на Венском конгрессе. Переговоры о сдаче Парижа Орлов вел с маршалами Мармоном и Э. Мортье, а также с адъютантом Наполеона А. де Жирарденом. Об этом сохранились его воспоминания «Капитуляция Парижа», опубликованные с цензурными купюрами в альманахе «Утренняя заря» (СПб., 1843). Вероятно, Дмитриев этих мемуаров не читал. Еще до восстания декабристов Орлов заинтересовался финансовыми вопросами и начал работать над сочинением, вышедшим в 1833 г. в Москве под заголовком «О государственном кредите». Интерес Орлова к живописи был настолько глубок, что в течение нескольких лет он был директором художественных классов, созданных Московским художественным обществом.

[16]Труд Вигеля «Trois memoires à propos de la question polonaise en 1831» был опубликован в «Московских ведомостях» в мае 1864 г. Несколько ранее в «Чтениях в обществе истории и древностей российских» (1864. Кн. 1. Отд. V. С. 11—99) была напечатана «Записка о Керчи» Вигеля, рукописный экземпляр которой сохранился в *Библиотеке* (5Cb 191).

[17]«La Russie envahie par les allemands. Notes recueillies par un vieux soldat, qui n'est ni pair de France, ni diplomate, ni deputé» (Paris; Leipzig, 1844; два экземпляра книги имеются в *Библиотеке*). «Многими замечательными рассуждениями и сведениями» эта книга вызывала значительный интерес у современников (*Лебедев*. № 8. С. 501). Рассуждения Вигеля о немцах в России см. также: *Вигель Ф.Ф.* Письмо к приятелю в Симбирск // *Сушков*. С. 17—18 (2-я пагинация).

[18]К[нязь] В[яземский]. Выдержки из старых бумаг Остархевского архива // РА. 1866. № 2. Стб. 219—220.

[19]*Людовик-Наполеон* (Шарль Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873) — племянник Наполеона I, император французов с 1852 по 1870 г. под именем Наполеона III. В конце 1848 г. добился своего избрания президентом; в декабре 1851 г. при поддержке воен-

ных осуществил государственный переворот, подтвержденный на плебисците и закрепленный конституцией 14 января 1852 г.

[20]И.П. Тургенев был не куратором, а директором Московского университета (1796—1803).

[21]А.И. Тургенев учился в Геттингенском университете в 1802—1804 гг.

[22]В 1820 г., при обсуждении в Государственном совете вопроса о продаже крепостных крестьян без земли, братья Н.И. и А.И. Тургеневы безуспешно добивались запрещения такой практики. Н.И. Тургенев, бывши статс-секретарем департамента законов, составил проект, согласно которому крестьян можно было продавать только с землей и исключительно селениями; так как он не был членом Государственного совета, то с помощью брата проект был подан от Комиссии составления законов, где А.И. Тургенев был в то время секретарем. Впоследствии А.И. Тургенев пытался перевести своих крестьян в «вольные хлебопашцы», чему всячески сопротивлялся С.П. Жихарев, управлявший имениями братьев.

[23]А.И. Тургенев служил директором Главного управления духовных дел иностранных исповеданий с сентября 1810 по май 1824 г., когда был отправлен в отставку, правда, с сохранением жалованья. В 1840-х гг. он числился чиновником по особым поручениям при А.Н. Голицыне, занимавшем должность главноуправляющего почтовым департаментом.

[24]*Тургенев Николай* Иванович (1789—1871) службу начал в 1812 г. в Комиссии составления законов; в 1816—1824 гг. был помощником статс-секретаря Государственного совета, а с 1816 г. — управляющим 3-м отделением канцелярии Министерства финансов; вместе с братом пытался организовать давление на императора с целью добиться ликвидации крепостного права и был уволен от службы; один из руководителей Союза благоденствия и Северного общества. В момент восстания находился за границей, отказался вернуться в Россию и был приговорен к вечной каторге. В *Библиотеке* имеются его сочинения: «Опыт теории налогов» (2-е изд. СПб., 1819) и «La Russie et les russes» (Bruxelles, 1847. Т. 1—3).

[25]*В некотором подозрении у правительства* А.И. Тургенев находился еще с 1824 г., следствием чего и стала его отставка.

[26]Наиболее интенсивный период работы Тургенева в архивах и библиотеках Рима, Ватикана, Турина, Парижа, Лондона и других городов начался в 1835 г., хотя уже к этому времени у него имелось обширное собрание рукописей и их копий; самое поручение российского правительства заниматься сбором исторических документов в иностранных древлехранилищах относится к 1831—1832 гг. Итогом разысканий Тургенева стало несколько публикаций, самыми крупными из которых были изданные Археографической комиссией «Акты исторические, относящиеся к России, извлеченные из иностранных архивов и библиотек А.И. Тургеневым» (СПб., 1841—1842. Т. 1—2). Значительная часть скопированных документов осталась, однако, неопубликованной. Об их судьбе и об исторических штудиях Тургенева см.: *Гиллельсон М.И.* А.И. Тургенев и его литературное наследство // *Тургенев А.И.* Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). Л., 1964. В *Библиотеке* имеются оттиски статей Б.М. Федорова «Обозрение известий о России в век Петра Великого» (ЖМНП. 1843. № 1, 3 — № 2778—2779), посвященные изысканиям Тургенева, с дарственной надписью последнего «Его Превосходительству Михаилу Александровичу Дмитриеву», а также публикация «La cour de la Russie il y a cent ans. 1725—1783. Extraits des dépêches des ambassadeurs anglais et français (2-me ed. Berlin, 1858).

[27]Об одном из таких посещений А.И. Тургенев сообщает брату Николаю в письме от 7 декабря 1842 г.; тогда он раздал присланные его кузиной Александрой Ильиничной Нефедьевой (1782–1857) 25 руб. и хлеб, а детям – яблоки и конфеты (РО ПД. Ф. 309. № 950. Л. 199; см. также письма от 30 августа 1842 г. и 21 февраля 1843 г. – Там же. Л. 177, 212). О визитах Тургенева в пересыльный замок см. также: *Барсуков*. Т. 8. С. 241–243; *Смирнова-Россет А.О.* Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 464–465. Деятельность Тургенева вызывала неудовольствие чиновников тюремного ведомства (см. в его письме брату от 13 января 1843 г.: РО ПД. Ф. 309. № 950. Л. 203 об.).

[28]Не исключено, что именно об этом деле идет речь в упомянутом письме А.И. Тургенева брату от 13 января 1842 г.: «Вчера, к моей великой радости, мне принесли наконец из конторы князя Ник. Трубецкого письмо к его управителю: *«и объявить ему, что по случаю помилования Создателя в тяжкой болезни княгини моей я во имя ее прощаю женщину, посылаемую в Сибирь».* – Я тотчас же отправился к управителю, чтобы показать ему письмо, но его не было ни дома, ни в конторе. Ожидаю его у себя, но боюсь, как бы не возникли новые трудности, даже несмотря на решение князя. В этом случае я сегодня же поеду к ген.-губ. кн. Гол<ицыну> и буду просить его о защите: мне надобно поговорить с ним также о других делах» (звездочками отмечен фрагмент, написанный по-русски). Признательно благодарим В.А. Мильчину, предоставившую в наше распоряжение отрывки из писем А.И. Тургенева брату.

[29]Удивительно созвучен словам Дмитриева отрывок из «Записок» Лебедева, посвященный Тургеневу: «Он принадлежал к талантливому поколению и пользовался славою отлично-ясного и быстрого ума. Некоторые из трудов его по службе в Министерстве духовных дел и Государственном совете, некоторые изречения его до сих пор живут в памяти. Сколько мне известно, ему недоставало терпения и постоянства. <...> Образованность и легкая, любознательная привязанность к наглядному изучению дали ему обширное знакомство в чужих краях; в России он поддерживал старые связи. После истории брата он большею частию жил за границею; продолжительное пребывание свое он оправдал собранием иностранных источников нашей истории. Так умны и важны самые междудельные занятия этого человека» (*Лебедев*. № 8. С. 523–524).

[30]*Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. 2. С. 100.

[31]Шатров был сыном пленного перса Шатра, вывезенного в Россию в 1727 г. Он родился и получил образование в доме М.А. Матюшкина, где воспитывался и его отец. Находясь с 1787 г. на службе (в Москве; в 1816 г. вышел в отставку), сблизился с Петром Александровичем *Татищевым* (1730–1810) – членом Дружеского ученого общества, одним из основателей Типографической компании, масоном (с 1767) – и впоследствии жил у него в доме, что дало повод современникам говорить о том, что Шатров был его воспитанником. Ослеп в 1820 г.

[32]Первое опубликованное произведение Шатрова – «Стихи на смерть его превосходительства артиллерии корпуса генерал-майора и кавалера Бориса Алексеевича Татищева» (МВед. Прибавления. 1794. 13 дек. Ненум. страница после С. 1914). Упомянутое Дмитриевым стихотворение называется «Песнь Екатерине Второй, или Мысли Россиянина, пришедшего к ее гробу в 1805 году» (Северный вестник. 1805. Март. С. 325–332; позже неоднократно перепечатывалось).

[33]*Николев* Николай Петрович (1758–1815) – воспитанник Е.Р. Дашковой, поэт и драматург, член Российской Академии с 1792 г., почетный член Общества любителей российской словесности при Московском университете.

[34]*Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт и политический деятель; автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», трагедии «Самсон-борец», переводов псалмов; ослеп. Николев окончательно лишился зрения не позже 1784 г. Его трагедия *«Сорена* и Замир» (1784) впервые опубликована в издании «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений» (СПб., 1787. Ч. 5).

[35]Подражания псалмам Шатров начал писать еще в 1798 г. («Подражание псалму LXXXI-му»), а с 1814 г. они преобладали среди его сочинений. В «Трудах» ОЛРС помещено не менее 15 его переложений, в том числе: псалмов 14 и 81 (1818. Ч. 11, кн. 18. С. 14—21), 36 и 90 (1819. Ч. 14, кн. 22. С. 3—14), 19 (1822. Ч. 1, кн. 2. С. 95—97; подробнее о публикациях Шатрова в этих журналах см.: *Клейменова Р.Н.* Систематическая роспись изданий Общества любителей российской словесности. М., 1981; по указ.). О внимании Дмитриева к переложениям из Псалтыри свидетельствуют как его собственные опыты в этом жанре (о них см. в гл. 9 и примеч. к ней), так и его рецензия на «Опыты священной поэзии Федора Глинки» (СПб., 1826), напечатанная в «Московском вестнике» (1827. № 4. С. 322—330; авторство Дмитриева раскрыто в № 5. С. 110). В «Мелочах...» Дмитриев приводит сочиненное Шатровым переложение 36-го псалма, а также (С. 226—229) многие из тех биографических сведений о нем, которые представлены в данных мемуарах. «Стихотворения Н. Шатрова» (СПб., 1831. Ч. 1—3) имеются в *Библиотеке.*

[36]Цитируются строфы 5—6 стихотворения Дмитриева «Слепому поэту» (Москвитянин. 1841. № 1. Отд. «Изящная словесность». С. 54—56; Стихотворения—1865. Ч. 1. С. 4). *Оссиан* — легендарный кельтский бард. Памяти Шатрова посвящены стихи Дмитриева «И старца нашего не стало...» (Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 21—24).

[37]См. о том же: *Толстой.* С. 64.

[38]Ср. с замечанием С.Т. Аксакова: «<...> вечером он [Гоголь] хотел было идти к Дмитриеву, у которого очень давно не бывал по пятницам; но <...> не имел силы идти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди. Дмитриев, несмотря на свой замечательный ум, никогда вполне не понимал Гоголя» (*Аксаков.* Т. 3. С. 216). Могла существовать еще одна причина нежелания Гоголя появляться у Дмитриева — Аксаков, с приязнью относившийся к мемуаристу, о ней умалчивает. Убийственная характеристика собраний Дмитриева дана Н.М. Языковым в письме к брату (от 27 декабря 1844 г.): «общество, которое в салонном кругу почитается за неблагородное» (*Языков.* С. 378).

[39]Ср. с мнением С.В. Перфильева о «вставочном» «употреблении руссицизмов», характерном для Гоголя (*Аксаков.* Т. 3. С. 228); о незнании Гоголем русского языка неоднократно писал Ф.В. Булгарин: Северная пчела. 1836. № 12, 97—98; 1846. № 268; 1848. № 268; 1854. № 250 (указание А.И. Рейтблата).

[40]Салтыков Михаил Евграфович (псевдоним Н. Щедрин; 1826—1889) — известный писатель-сатирик. К 1866 г. уже вышли его «Губернские очерки» (1856—1857) и начали печататься «Помпадуры и помпадурши» (с 1863). *Селиванов* Илья Васильевич (1810—1882) — журналист и писатель; с 1856 г. публиковал в «Современнике» резко обличительные «Провинциальные воспоминания. Из записок чудака», вышедшие отдельным изданием в Москве в 1857—1861 гг. в 3 частях. Любопытно, что Н.А. Добролюбов при упоминании писателей «обличительного направления» также ставил рядом этих литераторов. Об отношении Дмитриева к сочинениям Щедрина см. также в его письме к А.П. Глинке (РА. 1912. Кн. 1. С. 423).

[41]Близкую дмитриевской оценку дал Лебедев: «Он не совсем прав и местами немного дерзок <...> К сожалению, подобные пародеры мало знают наше управление и еще менее причины его недостатков» (*Лебедев.* № 8. С. 480–481).

[42]В письме Дмитриева к Погодину (15 августа 1852 г.) говорится: «об Гоголе друзья его пишут слишком много; не потому, чтобы Гоголь не заслуживал и больше; но потому, что это одни холодные восклицания и самая кривая оценка! Гоголя я ценю очень дорого; но много, много и много пристрастия в его приятелях: они его ценят выше меры! Можно хвалить весьма справедливо, и не называя гением! — Особенно жаль, что бранятся над его могилой!» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 8. Л. 3 об).

[43]Имеется в виду брошюра К.С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842). По словам С. Т. Аксакова, сравнение Гоголя с Гомером не встретило понимания в публике (*Аксаков.* Т. 3. С. 232).

[44]Гоголь *сжег продолжение своих «Мертвых душ»* в ночь с 11 на 12 февраля 1852 г.

[45]Ср. с отзывом Жуковского из письма к императрице Александре Федоровне: «Вы не имеете о ней никакого понятия, видевши ее только в списках, или в Миллеровом эстампе. Не видав оригинала, я хотел купить себе в Дрездене этот эстамп; но, увидев, не захотел и посмотреть на него; он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминания» (*Жуковский В.А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 12. С. 10). Гоголь был в Дрездене в конце сентября 1841-го, а потом в июле 1845 г.

[46]*Лихонин Михаил Николаевич* (1802–1864) — поэт, критик. Подробные сведения о нем приведены в статье Е.Е. Пастернак (РП. Т. 3. С. 375–376). К Лихонину обращено стихотворение Дмитриева «Переводчику Шиллерова *Дон-Карлоса*» («Есть и у нас труд совестный, безмездный...» — Москвитянин. 1843. № 11; Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 81–83); любопытно, однако, что экземпляр лихонинского перевода, принадлежавший Дмитриеву (№ 10019), так и остался неразрезанным. В письме к А.Ф. Вельтману (19 декабря 1858 г.) Дмитриев сетовал на то, что поэтические заслуги и глубокие познания Лихонина не оценены и он не состоит в Московском обществе любителей российской словесности: «Надобно бы и следовало бы выбрать его в члены Общества, как лингвиста, поэта, сочинителя грамматики и переводчика Шекспира. Неужели нынче недостаточно этих титулов?» (ОР РГБ. Ф. 47/II. Карт. 3. № 25. Л. 2). Лихонин посещал не только пятницы Дмитриева; они встречались и в других московских домах: у Ф.Н. и А.П. Глинок, Бакуниных, А.П. Протасова, художника К.И. Рабуса (известно шуточное послание к нему, написанное Лихониным в 1851 г. в соавторстве с А.Д. Курбатовым, Дмитриевым и сыном последнего Федором; опубликовано: РС. 1897. № 11. С. 317–321). Общение Дмитриева с Лихониным включало между прочим и обмен книгами, в том числе произведениями немецких философов-мистиков; в одном из сохранившихся писем к Дмитриеву (1 октября 1844 г.) Лихонин замечает: «Честь имею возвратить вам с величайшею благодарностию вашего Шуберта, который у меня долго загостился: выводы его идей были для меня очень полезны, но анатомические доказательства, к сожалению, как для профана, большею частию были недоступны» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 19. № 11. Л. 1 об.). В *Библиотеке* имеется оттиск статьи Лихонина (ЖМНП. 1844. № 12 — № 666) «Очерк умозрительно-сравнительной грамматики» с дарственной надписью автора и составленным им перечнем опечаток). Эта надпись («Его Превосходительству Михайле Александровичу Дмитриеву от М. Лихонина»), как представляется,

небезынтересна для характеристики их взаимоотношений, а также подтверждает отмеченное Дмитриевым стремление Лихонина хранить «благородную» дистанцию даже в отношениях с приятелями. В *Библиотеке* есть и упомянутый выше перевод «Дон Карлоса» (М., 1833 — № 10019), также с дарственной надписью.

[47]В числе тех, кого Дмитриев не упомянул, был и известный позже переводчик и поэт Ф.Б. Миллер. В послании, которое он записал на экземпляре своих «Стихотворений», отправленном Дмитриеву в Богородское весной 1849 г., читаем: «...Отрадные беседы, / У вас по вечерам; / Напомнят, как, бывало, / Мы к вам держали путь / Исправно — раз в неделю, / Чтоб сердцем отдохнуть» (*Библиотека*. № 8935. С. 4а). В ответном послании Дмитриев также с удовольствием вспомнил «тогдашние вечера» (Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 201). Семь писем Дмитриева к Миллеру за 1850—1860 гг. опубликованы: РС. 1899. № 10. С. 201—212, еще одно письмо за 1863 г. — РГАЛИ. Ф. 323. Оп. 1. № 565. Также, возможно, пятницы Дмитриева посещал Я.И. де Санглен (*Берг Н.В.* Из воспоминаний // РС. 1891. № 2. С. 250).

[48]О тоне дмитриевских вечеров некоторое представление дает его письмо к С.Д. Нечаеву от 29 ноября 1845 г.: «Не пожалуете ли ко мне сегодня вечером, ваше превосходительство? — У меня обещали быть: князь Львов и Петр Александрович Курбатов, из которых первый намерен прочитать нам статью, написанную им для предполагаемого издания в пользу бедных. Может быть, приедет еще Ф.Н. Глинка; более никого не будет. Очень бы одолжили, если бы часам к осми посетили мое жилище. А между тем извините, что пишу к Вам прозой» (РГИА. Ф. 1005. Оп. 1. № 135. Л. 9).

[49]Жуковский находился в Москве с 6 января по февраль 1841 г. Подробнее о визите см.: *Осокин В.* «Его стихов пленительная сладость...»: (В.А. Жуковский в Москве и Подмосковье). М., 1984. С. 182—185. Наставником великого князя Александра Николаевича Жуковский был с 1826 по 1841 г. Сопровождая наследника в путешествии по России, он дважды посетил Москву в течение 1837 г.

[50]Любопытно, что Дмитриев умалчивает о том, что Жуковского в Москве «все литераторы и нелитераторы носили на руках», а «обедам и вечерам не было конца»; никак не упомянут и торжественный обед, данный в честь поэта А.Д. Чертковым 20 января, в котором сам Дмитриев тоже принял участие (см.: Москвитянин. 1841. № 2. Смесь. С. 601—602).

[51]*Дмитриев М.* В.А. Жуковскому // Москвитянин. 1841. № 7. С. 3—7; то же: Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 7—12.

[52]*Зилов* Алексей Михайлович (1798—1865) — поэт и публицист. В 1823 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана и жил то в Москве, то в подмосковном и нижегородском имениях. Был близок к масонам (О.А. Поздееву, семейству Римских-Корсаковых), в том числе к Шатрову, с которым находился в дружбе; член ложи «Ищущих Манны». В *Библиотеке* имеются основные труды Зилова: «Басни» (М., 1831—1835. Ч. 1—5), «Стихотворения» (М., 1835—1836. Тетр. 1—2 — № 1403; с владельческой записью Дмитриева) и «Дневник русского путешественника по Европе» (М., 1843. Ч. 1—2 — № 1401—1402; с владельческой записью на титульном листе и многочисленными грамматическими и смысловыми замечаниями на страницах первой части). Дмитриев неоднократно высмеивал его сочинения за отсутствие вкуса, вялость и небрежность (см. также эпиграммы: «Я в поучение Зилова...» и «На стихи А.М. Зилова: «Посмотрите-*ка какая* / Сила вспыхнула живая»» (1854): «Кто Турка резал, кто бранил, / Холодный Турок все не пла-

кал! / Зилов всех лучше поступил: / На Турка он накакал; / Вот Турок и завыл!»: Сборник эпиграмм. Л. 11 об., 16).

[53]Этот альбом (тетрадь в четвертую долю листа в кожаном переплете, вложенная в кожаную же сумку на ремешке) сохранился в архиве Жуковского (РО РНБ. Ф. 286. Оп. 2. № 231; краткое его описание см.: Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1902 г. СПб., 1910. С. 45). На первой странице значится: «Василью Андреевичу Жуковскому. На память пребывания его в Москве в 1841 году и вечера, проведенного с ним 23 февраля». Стихотворения (за исключением текста Хомякова) переписаны рукою Дмитриева и расположены в следующем порядке: Ф.Н. Глинка. «Приглашение» («Собирайтеся, Поэты!..»); М.А. Дмитриев. «Чистый сердцем, светлый духом...»; А.С. Хомяков. «Москва-старушка вас вскормила...»; Н.М. Шатров. «Певцу во стане русских воинов» («Ты пел Царицу и Царей...»); А.П. Глинка. «Василью Андреевичу Жуковскому» («Когда еще я, детским языком...»); Ф.Н. Глинка. «Реин и Москва» («Я унесен прекрасною мечтой...»). Куплеты Феди — «одиннадцатилетнего внука Ивана Ивановича Дмитриева» — находятся на Л. 19: «Для тебя певцы сплетают / Здесь из лавр и роз венок / И по струнам ударяют! / Я вплету и мой цветок! / Мой цветок не пышной — дикой, / И усердием моим / Не заменит дар великой: / Будет даром он — простым. / Я читал твои творенья, / Громобоя я читал, / И в великом восхищеньи / Видеть я тебя желал!». Упоминаемых мемуаристом стихов Зилова в альбоме не обнаружено.

[54]*Ермолов* Алексей Петрович (1772—1861) — начальник штаба 1-й армии в 1812 г., главноуправляющий на Кавказе и командир Отдельного кавказского корпуса в 1817—1827 гг.; уволенный в отставку, жил главным образом в Орле и орловском имении отца Лукьянчикове. В 1831 г. переехал в Москву и после встречи с императором вновь был принят на службу и сделан членом Государственного совета. В 1839 г. подал в отставку и поселился в Москве. В московском обществе пользовался огромным авторитетом и славой умнейшего собеседника. В *Библиотеке* имеются его «Записки» (М., 1863).

[55]*Рейтерн* Гергарт Вильгельм (Евграф Романович; 1794—1865) — художник. Из лифляндских дворян, с 1811 г. на военной службе; увлекшись живописью, изучал историю искусства в Берлине, а в 1819 г. вышел в отставку в чине ротмистра гвардии; жил в Германии. Рейтерн Елизавета Алексеевна (1821—1856) — жена Жуковского с 1841 г.

[56]Жуковские Александра Васильевна (в замужестве Вёрман; 1842—1899) и Павел Васильевич (1845—1912), шталмейстер высочайшего двора. Вскоре после смерти мужа, в 1853 г., Е.А. Жуковская переселилась с детьми в Москву, где и умерла.

[57]Стихотворение «Слепому поэту. В день именин его» было написано 1 ноября 1840 г. (Москвитянин. 1841. № 1. С. 54—56; Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 3—6).

[58]О публикациях в «Московском вестнике» см. примеч. 52 к гл. 13. В «Москвитянине» появились стихотворения: «Как должно жить?» (1841. № 3), «Который час?» (1841. № 5), басни «Вишенный куст», «Старый дом и молодой хозяин», «Мешок и книга» (1841. № 2), «Ворожба», «Орел и Сова» (1842. № 4), «Два века» (1843. № 4), «К Радости. Из Шиллера» (1843. № 6), «Сухой цветок» (1844. № 1), «К.К. П<авло>вой» (1844. № 2), «Море» (1845. № 1), «Сон веков» (1845. № 2), «Опера и песня» (1845. № 5), «Север» (1846. № 1), ряд текстов, вошедших в цикл «Московские элегии» (1846. № 2, 4, 11—12), «Картины моря. Из Гете» (1847. № 1), «Море» (1848. № 1), «Голоса природы» (1848. № 5), «Полный месяц» (1848. № 6), «Символ» и «Песня» («Где тот край благословенный...» — 1848. № 7) и ряд других.

[59]Шестичастный цикл «Жаль мне вас» (первое стихотворение начинается строкой «Жаль мне вас, младые девы...») был опубликован в «Москвитянине» (1842. № 1. С. 1—5). Перепечатан в: Стихотворения-1865. Ч. 1. С. 13—20.

[60]По мнению Бутурлина, Базилевский был человеком крайне недалеким и «вопреки своему камергерскому ключу, шибко напоминал Мольерова “мещанина во дворянстве”» (*Бутурлин*. 1897. № 11. С. 352). В 1849 г. был высечен своими крестьянами; лишен камергерского звания, а также права владеть недвижимыми имениями и выслан в Остзейский край (по другим сведениям — за границу).

[61]Чувства, выраженные Дмитриевым в этой элегии, нашли, видимо, отклик у современников — известно, что она распространялась в списках (как и сочиненная им идиллия «Подводный город»). Так, в бумагах П.Я. Дашкова, в подборке стихотворений разных авторов, сохранился список первых семи строф, скопированных, в свою очередь, из рукописного «собрания лучших стихотворений современных наших поэтов», принадлежавшего Н.В. Минину (РГВИА. Ф. 275. Оп. 1. № 100. Л. 1—2). Погодин назвал это стихотворение «прекрасным» (Погодин — Шевыреву. № 5. С. 72).

[62]*Бецкой* Иван Егорович (1818—1890) — переводчик, писатель и издатель; учился в пансионе М.П. Погодина, Московском и Харьковском университетах, служил в 1843—1845 гг. в Харькове и в 1849—1851 гг. в Москве (чиновником особых поручений при генерал-губернаторе А.А. Закревском), с 1852 г. жил в Италии.

[63]*«Песнь Правде»* появилась с посвящением «Его светлости князю Дмитрию Владимировичу Голицыну» в «Москвитянине» (1842. № 3. С. 1—7). См. также: Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 25—33.

[64]*Крылов* Никита Иванович (1808—1879) — профессор римского права Московского университета, цензор Московского цензурного комитета (1839—1844).

[65]Повесть «Аннунциата» (начата в 1839 г., переделана к концу 1841 г. и появилась под названием «Рим. Отрывок» в «Москвитянине» — 1842. № 3) Гоголь читал в начале февраля 1842 г.: сначала у Аксаковых, а затем на вечере у Голицына. По словам С.Т. Аксакова, «чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров <...> все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей» (*Аксаков*. Т. 3. С. 213); здесь же сообщается о том, что «у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина» Аксакова. Еще в 1839 г., по приезде писателя в Москву, знакомые отметили, что «сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее» (Там же. С. 164).

[66]«Отечественные записки» издавались П.П. Свиньиным в Петербурге с 1820 по 1830 г. Дмитриев неточен: журнал стал выходить под редакцией А.А. Краевского с 1839 г., однако в 10-й главе мемуаров дата возобновления указана верно.

[67]Н.А. Некрасов и И.И. Панаев приобрели у П.А. Плетнева права на издание журнала «Современник» в 1847 г.; «Сын Отечества» выходил под редакцией Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина до 1839 г., но издателем его уже с 1838 г. был А.Ф. Смирдин.

[68]Высказывания о невежестве Белинского см. также: *Долгорукий*. 1863. С. 174.

[69]Поэма-сказка «Душенька» (1-е изд. — 1778) пользовалась большой известностью и снискала восторженные отзывы литераторов не только XVIII, но и первой трети XIX в. (А.С. Пушкина, Вяземского, Мерзлякова и др.). Отношение Белинского к сочинению

Богдановича менялось в соответствии с модификацией его взглядов на литературу в целом. Если в «Литературных мечтаниях» (1834) он еще признавал, что «Душенька» все же «не без достоинств, не без таланта» (*Белинский.* Т. 1. С. 51), то в 1841 г. им было высказано однозначно пренебрежительное мнение: «<...> сказка, лишенная всякой поэзии, совершенно чуждая игривости, грации, остроумия. <...> всё это <...> поддельно, тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско» (*Белинский.* Т. 5. С. 160—161). После того как в «Санкт-Петербургских ведомостях» появился анонимный фельетон, направленный против Богдановича и его поэмы, Дмитриев напечатал «Голос в защиту Богдановича» (Москвитянин. 1851. Ч. 1. Критика и библиография. С. 556—562; еще одно опровержение мнения Белинского о «Душеньке» см.: *Долгорукий.* 1863. С. 174).

[70]Стихотворение Дмитриева «К безыменному критику» было опубликовано в № 10 «Москвитянина» за 1842 г. Белинский ответил статьей «Литературные и журнальные заметки» в № 12 «Отечественных записок» за тот же год. О полемике подробнее см.: Русская литература. 1995. № 4. С. 154—155. Небезынтересно, что стихотворение «К безыменному критику» рассматривалось некоторыми литераторами в Петербурге (например, И.С. Тургеневым) как вышедшее из славянофильского лагеря — по-видимому, в широком понимании этого слова: как круг авторов «Москвитянина». Об этом см.: *Тургенев И.С.* [Семейство Аксаковых и славянофилы] / Публ. Н.П. Генераловой, А.Я. Звигильского, В.А. Кошелева // Русская литература. 1995. № 4. С. 150, 152. Ответ Дмитриева «К ним» («Меня винят за суд свободный...») см.: Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 39—41, с пометой «декабрь 1842».

[71]Белинский дебютировал в «Молве» и «Телескопе» еще в марте 1833 г. переводами с французского. В 1834 г. он начал печатать в «Молве» свой цикл критических статей «Литературные мечтания», имевший широкий резонанс.

[72]Ср.: «Замкнутость в своем кругу и отчужденность от общества лишали его [Панина] возможности понимать людей и распознавать их непосредственно. Совершенное же неведение их быта отнимало у него способность входить в их положение и нужды, тем более, что сам он <...> располагал ежегодным доходом от 127 до 136 тысяч рублей» (*Семенов.* С. 542).

[73]«Зыково, сельцо 46 душ, по Ст<арой> П<етер>б<ургской> дороге 3 1/2 верс<ты> от Петерб. заставы» (*Нистрем К.М.* Московский адрес-календарь для жителей Москвы. Т. 1. С. 106).

[74]*Всесвятское* (Всехсвятское) — село в 5 верстах к северо-западу от Москвы, известное с конца XV в. Часть его в 1840-х гг. принадлежала дворцовому ведомству, другая — князю Грузинскому. Ныне — местность в районе развилки Волоколамского и Ленинградского шоссе. *Анна Ивановна* (1693—1740) — дочь Ивана V, племянница Петра I; с 1710 г. герцогиня курляндская, с 1730 г. — российская императрица. Останавливалась во Всесвятском 10—15 февраля 1730 г. *Депутаты* (Верховный тайный совет, Сенат, генералитет) 14 февраля благодарили Анну за согласие вступить на российский престол.

[75]*Павловская* Юлия Александровна (ум. не позже 1855). Вероятно, дочь Александра Ильича Павловского, в 1842 г. — титулярного советника в отставке (*Нистрем К.М.* Указ. соч. Т. 4). Известно, что 1 августа 1855 г. Дмитриев писал Павловской в Юрьев-Польской (НБ МГУ. Дмитр.11401); к этому же году относится ее письмо к нему (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 20).

[76]Первая строфа стихотворения «Раннее утро. (В Зыкове)» (Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 136—137).

[77]День всех Святых празднуется в первое воскресенье после Пятидесятницы. Церковь во Всесвятском была выстроена в 1733—1736 гг. на месте храма конца XVII в. Подробнее о ней см.: *Паламарчук.* Т. 3. С. 36—41.

[78]*Гораций.* Оды. Кн. 2. 6. Ст.13—14 (в подстрочном примечании стихи приведены в переводе Г.Ф. Церетели; за указание на источник цитаты благодарим М.С. Александрову).

[79]Имеются в виду *«Московские элегии»* — сборник из 48 стихотворных миниатюр, вышедший в 1858 г. в Москве с эпиграфом из 2-й книги «Метаморфоз» Овидия (в переводе автора — «Не на одно лицо, а сходны все, как сестры») и предисловием: «Некоторые из этих элегий были напечатаны в «Москвитянине». Признаюсь, я теперь сожалею, что печатал их порознь: ибо они только вместе могут иметь некоторое значение как собрание небольших картинок Москвы и замечаний о ней, составляющих нечто разнообразное и целое. <...> Я назвал бы их даже «Москва и москвичи», если бы этого названия не употребил уже Загоскин». Дмитриев продолжал работать над текстом элегий и позже: в *Библиотеке* сохранился экземпляр издания 1858 г. (№ 8936) «с моими поправками после печати. М. Д<митриев>» — впрочем, незначительными. Подробный рассказ о сборнике в мемуарах, возможно, был спровоцирован рецензией на него в «Современнике», где стихи Дмитриева были названы «плаксивыми» (о своем возмущении Дмитриев писал А.М. Языкову: ИВ. 1907. № 8. С. 510). О публикации ряда элегий в «Москвитянине» см. примеч. 59 к данной главе.

[80]Незначительно измененная цитата из сатиры И.И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).

[81]Ср. сходный пассаж в тетради «Замечания и анекдоты» (здесь рассуждения о поэзии вылились в заметку, которая должна была, по всей видимости, открывать сборник Стихотворения — 1865): «<...> вопреки общепринятому мнению, что будто поэзия мешает деловым людям заниматься делом, я напротив никогда так не предавался поэзии, как во время моей службы. Всякий согласится, что беспрерывное занятие делами утомляет ум и ослабляет силы физические, что развлечение нужно, для того, чтобы с новыми силами приниматься опять за работу. Но многие ищут этого развлечения в забавах общественных, в театре, в картах. Так, предместник мой в обер-прокурорстве (Д.И. Мороз. — *Коммент.*) всякий вечер проводил в Английском клубе. Я в карты не играл <...>» (РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 2. № 12. Л. 2—3).

[82]Опубликовано: Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 163—165. Датировано 13 сентября 1846 г. Цитируются первые три строфы.

[83]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «25 марта 1866».

Глава 21

[1]Правительствующий Сенат, высший государственный орган России, был учрежден указом от 22 февраля 1711 г. перед отъездом государя в Прутский поход. Его функции, уточненные указами от 2 и 5 марта того же года, были чрезвычайно широки: в отсутствие царя Сенат играл роль законодательного органа, при царе — законосовещательного. Кроме того, Сенат осуществлял надзор за правосудием и исполнением законов в правительственном аппарате, возглавлял текущую борьбу со служебными злоупотреблениями,

ведал государственными доходами и расходами, при Сенате проводился учет служилых людей (дворян и чиновников) и проч.

[2]Представление об особом «вотчинном» периоде русской истории было характерно для ряда представителей государственной школы в российской историографии (К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина). Согласно Кавелину, история России делится на три периода: родовой, вотчинный и государственный. Переход к третьему периоду заканчивается административными реформами Петра I.

[3]Учреждение стройной системы коллегий, избавившее Сенат от множества текущих дел, произошло только в 1718—1820 гг. Связь между объемом административных дел и числом сенаторов не была настолько прямой, как это изображает Дмитриев.

[4]Должность генерал-прокурора была учреждена в 1722 г. Он руководил деятельностью всех сенатских учреждений, в том числе канцелярии, созывал заседания сенаторов и контролировал их явку.

[5]Разделение Сената на департаменты впервые последовало в 1731 г.

[6]Бытие, XIX, 12—16.

[7]«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (СПб., 1845) — первый российский уголовный кодекс; введен в действие в 1846 г. Работу над ним вели с 1834 г. II Отделение Собственной его императорского величества канцелярии и созданный при Министерстве юстиции Комитет по проверке первого издания Свода законов Российской империи. С 1839 г. эта деятельность сосредоточилась во II Отделении и была закончена к концу 1844 г. Подробнее см.: Краткое обозрение хода работ и предположений по составлению нового кодекса законов. СПб., 1846.

[8]Смертная казнь существовала в России и раньше, хотя с середины XVIII в. применялась очень редко, в основном за государственные, военные и карантинные преступления и лишь как исключительная мера; приговоры по государственным преступлениям поступали на утверждение к монарху. Предыдущий проект уголовного уложения (1813 г.) не был принят во многом из-за сопротивления Н.С. Мордвинова, протестовавшего против предусмотренной в нем смертной казни. Уложение 1845 г. не только утверждало смертную казнь, но и переводило ее из числа исключительных в разряд обычных наказаний.

[9]*Долгополов* Федор Иванович (1794—1860) в 1820—1830-х гг. числился за обер-прокурорским столом 4-го департамента Сената, в 1840 г. был членом Совета Главного управления Закавказским краем, сенатор (с 1851).

[10]*Кольчугин* Петр Григорьевич — секретарь 7-го департамента.

[11]*Филатура* (от *фр.* filature) — прядильная фабрика.

[12]*Наумов* Алексей Александрович в 1820—1830-х гг. состоял за обер-прокурорским столом во 2-м отделении 6-го департамента Сената; с зимы 1839/1840 — 7-го департамента; действительный статский советник.

[13]Дело «о болезни обер-прокурора Дмитриева» датируется 26 января 1846 — 21 января 1847 г. (РГИА. Ф. 1330. Оп. 20. Л. 630).

[14]*Христианович* Филипп Иванович (р. 1793 или 1794) службу начал в 1808 г. губернским канцеляристом в Королевецком поветовом суде, коллежский регистратор (1812); с мая 1812 г. — в канцелярии Министерства внутренних дел, с 1818 г. — столоначальник, коллежский секретарь. Был судьей Тобольского уездного суда (1821—1822), советником Енисейского губернского правления (1822—1825). Служил также чиновником особых поручений при министре внутренних дел (1825—1827) и «чиновником» в Калуж-

ской почтовой конторе (1827–1828). В мае 1828 г. переведен «в число чиновников московского военного генерал-губернатора» (формулярный список 1832 г. – ЦИАМ. Ф. 16. Оп. 222. Д. 352). В 1845 г. – статский советник, служивший в Сенатском архиве в должности инспектора. В должности обер-прокурора 7-го департамента оставался менее года. 17 августа 1848 г. Дмитриев писал Погодину по поводу отставки Христиановича: «О преемнике моем слышал: недолго усидел; неужели подобные примеры еще не удостоверяют министра в достоинстве людей, им избираемых? Это же пример не первый» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 6 (1). Л. 18 об.).

[15]Строка из стихотворения И.М. Долгорукова «Везет» (*Долгоруков И.М.* Бытие сердца моего... Т. 3. М., 1818. С. 35), написанного вскоре после отрешения поэта (вследствие необоснованного доноса) от должности владимирского губернатора.

[16]*Долгорукий.* 1863. С. 28.

[17]*Сушков* Николай Васильевич (1796–1871) – воспитанник университетского благородного пансиона, литератор и мемуарист; выйдя в отставку, поселился в Москве. Упомянутое сочинение – «Москва. Поэма в лицах и действии, в пяти частях» (М., 1847), экземпляр с инскриптом Дмитриеву и его многочисленными (как правило – ироническими) маргиналиями имеется в *Библиотеке* (№ 2658; ср. также эпиграмму по этому поводу, в которой иронически обыгран пафос лермонтовского «Бородино»: «В году двенадцатом геройском, / Как шла народная война, / Москва, оставленная войском, / Была французу отдана! / Прошли те гибельные леты! / И что ж! – готовясь к торжеству, / Семисотлетнюю Москву / Сушкову предали поэты!» – Сборник эпиграмм. Л. 4). К творческим и умственным способностям Сушкова Дмитриев вообще относился весьма скептически и с большим удовольствием писал на него эпиграммы (общим числом не менее 27, и задел еще как минимум в двух). На приплетенном листе «Пансиона...», подаренного ему Сушковым «23 Марта, в день Пасхи», Дмитриев поставил «эпиграфы»: «"Всякого жита по лопате" (Замечание М.Н. Л[онгино]ва)»; «Качай, валяй, куда кривая ни вынесет! (Русская пословица)». Общую характеристику отношений между двумя писателями, сведения о выпадах Дмитриева и ответах Сушкова, рассказ об участии Дмитриева в ссоре между Сушковым и Ф.Н. Глинкой в 1847 г., связанной с вышеупомянутой поэмой «Москва», см.: *Ильин-Томич А.А.* К истории эпистолярных отношений Ф.Ф. Вигеля // Темы и вариации. Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана. Stanford, 1994. С. 230–231). В *Библиотеке* сохранились такие произведения Сушкова, как драма в пяти действиях «Бедность и благотворительность» (М., 1847 – № 2655, также с инскриптом Дмитриеву), пьеса «Движущиеся столы. Пустячок в одном действии» (М., 1853), стихотворная комедия «Современные вопросы и женихи всех времен» (М., 1858), вырезки и оттиски журнальных статей: «Воспоминания о Павле Алексеевиче Тучкове» (Душеполезное чтение. 1864. Февр.; № 2654 – с дарственной надписью), «О бедности православного духовенства и о средствах восстановить его нравственное влияние на народ» (оттиск из ЧОИДР. 1864. Кн. 2. Отд. V. С. 219–230) и др.

[18]*Дмитриев М.* Москва. 28 марта, 1847 года, в день ее семисотлетия // Москвитянин. 1847. № 4. С. 162–164; Стихотворения – 1865. Ч. 1. С. 168–171.

[19]Идиллия *«Подводный город»* помещена в: Стихотворения – 1865. Ч. 1. С. 175–178.

[20]«Горе от ума», д. 2, явл. 2.

[21]Строки из стихотворения «Моя родословная» (1830).

[22]Строфа из стихотворения «Ответ П.М. Б<акуниной>» (Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 186; в печатном тексте имеется ряд разночтений по сравнению с автоцитатой).

[23]*Виньи* Альфред Виктор де (1797—1863) — французский писатель-романтик.

[24]По всей видимости, у Анисьи Федоровны Кологривовой, одной из сестер второй жены Дмитриева. Ср. сообщение Е.М. Дмитриевой в ее письме к отцу от 11 мая 1856 г.: «На будущей неделе мы едем в Жёдочи» (в имение Вельяминовых-Зерновых; РГАЛИ. Ф. 184. Оп. 1. № 15. Л. 1 об), а также слова самого мемуариста в письме к Погодину от 11 ноября 1849 г.: «<...> недавно умер скоропостижно муж Анисьи Федоровны: у них живет моя старшая дочь; это тоже не последняя потеря!» (ОР РГБ. Ф. 231/II. Карт. 11. № 6 (2). Л. 45). Со значительно меньшей долей вероятности можно полагать, что имеются в виду Агафья (р. 1807) или Екатерина (р. 1816) Михайловны Анитовы, сёстры Е.М. Дмитриевой. О переписке Дмитриева с дочерью в 1855 г. см.: НБ МГУ. Дмитр. 11402. Л. 3, 5.

[25]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «16 апреля 1866. Москва».

Глава 22

[1]Опубликовано в: Стихотворения — 1865. Ч. 1. С. 189—194.

[2]Последняя строфа пятого стихотворения цикла «Дорога» (датировано 2 марта 1848 г.).

[3]Заключительное стихотворение цикла «Дорога» (датировано 1848 г.).

[4]*Черкасский* Петр Дмитриевич — в 1826—1831 гг. советник 1-го департамента Московской гражданской палаты, состоял в звании камер-юнкера; в 1840-е гг. — почетный смотритель зарайских уездных училищ, симбирский губернатор в 1849—1852 гг. Сдержанную оценку его деятельности в этой должности см.: *Бутурлин.* 1898. № 2. С. 259—260. По мнению П.В. Анненкова, «на беду Черкасский был фантаст, но он оставил по себе добрую память одним желанием внести свет в эту клоаку» (*Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1960. С. 537).

[5]*Леонтьев* — возможно, Александр Моисеевич, штаб-ротмистр, сызранский помещик. *Кудрявцевы* — очевидно, семейство Дмитрия Алексеевича Кудрявцева.

[6]*Грунтовый сарай* — «навес на столбах, в котором посажены плодовые деревья, раскрываемый на лето, а на зиму покрытый и забранный досками» (В.И. Даль).

[7]Т.е. залежи, непаханой земли.

[8]*Романовская овчина* — мех особой породы овец, выделывавшийся в уездном городе Романов-Борисоглебск Ярославской губернии; здесь же шились длинные полушубки мехом внутрь, также получившие название романовских.

[9]*Плавт* Тит Макций (сер. 3 в. — ок. 184 г. до н.э.) — римский комедиограф. Цитированный афоризм принадлежит, однако, не Плавту, а другому римскому драматургу, Публию Теренцию (ок. 195 — 159 г. до н.э.): «Homo sum: humani nihil a me alienum puto» (Я человек: ничто человеческое мне не чуждо).

[10]*Тюря* — «самое простое кушанье» (В.И. Даль): накрошенный хлеб, сухари или корки, размоченные в квасе или подсоленной воде.

[11]*Успенский пост* начинается 1 и заканчивается 15 августа, в праздник Успения Богородицы.

[12]*Илем* (ильм) — скорее всего, Ulmus laevis (горный ильм), одна из разновидностей вяза, наиболее распространенная в широколиственных лесах Европейской части России и Украины.

[13]*Неклен* — черноклен, татарский клен (Acer tataricum). Дерево 2—5 м высоты, с темной корой и слабо разрезанными листьями, мало похожими на лопастные листья других разновидностей кленов (отсюда, вероятно, название); распространено в Черноземной полосе России и Поволжье.

[14]*Шпанские мухи* (шпанки, Lytta vesicatoria) — жуки золотисто-зеленого цвета, длиной 12—15 мм. Их сушат и изготовляют порошок, применяемый для нарывного пластыря.

[15]*Дикий персик, бобовник* — миндаль низкий (Amygdalus nana). Кустарник высотой от 30 до 120 см, цветет в середине апреля — начале мая. Основной ареал — Среднее и Нижнее Поволжье, Черноземная полоса.

[16]*«Деревенские элегии»* — цикл из 20 стихотворений, над которым Дмитриев работал в 1848—1860 гг. Опубликован: Стихотворения — 1865. Ч. 2. С. 125—146.

[17]Цитата из стихотворения «К Эвтерпе» (1789). Этот эпитет находим также в державинской «Осени во время осады Очакова» (1788; «Шумящи красно-желты листья / Расстлались всюду по тропам») и в шуточной поэме Н.А. Львова «Русский 1791 год» (1791): «Лишь к деревьям обратился / Чудной сей богини взор — / Красно-желтый лист свалился».

[18]*Маркизы* — наружный навес у окна (обычно из парусины или бумажной материи) для защиты от солнца.

[19]*Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ-просветитель, выступал за национальную самобытность искусства и самоценность культурных эпох. Приведенная цитата взята из предисловия к его сочинению «Ideen zur Philisophie der Geschichte der Menschneit» (впервые издано в 1784—1791 гг.). В русском неполном переводе этого сочинения («Мысли, относящиеся к философической истории человечества». СПб., 1829. Ч. 1; есть в *Библиотеке*) предисловие отсутствует. Дмитриев, очевидно, цитирует французский перевод, имевшийся в его книжном собрании (Paris, 1827—1828. Т. 1—3 — № 5520—5522; на форзаце первого тома есть карандашные пометы, сделанные его рукой): на полях данный фрагмент отчеркнут карандашом. Другие сочинения Гердера в *Библиотеке*: «Einige Geschprache uber Spinosa's System» (Gotta, 1800), «Herder's sammliche poetische Werke» (Bd. 1—12. Wien, 1818), «Histoire de la poesie des hebreux» (Paris, 1845).

[20]Это упоминание могло быть навеяно рассказами о страшном симбирском пожаре 13—22 августа 1864 г., уничтожившем четыре пятых городских построек. Александр II по этому поводу был вынужден назначить специальное расследование (подробнее см.: *Милошевич Н.* Симбирские пожары 1864 года // РВ. 1890. Т. 211. № 12. С. 49—92; *Зикерман А.* К делу о симбирских пожарах // РА. 1891. № 9. С. 165—176). Многочисленные пожары происходили в 1863—1865 гг. и в других местах. В 1863 г. был создан Временный комитет по приисканию мер по борьбе с пожарами и оказанию помощи жителям, пострадавшим от них. В 1864—1865 гг. действовала следственная комиссия сенатора С.Р. Жданова о расследовании причин пожаров в Саратовской, Самарской и Симбирской губерниях, которая собирала сведения также по ряду других губерний Российской империи. Для предупреждения беспорядков и оказания помощи комиссии было создано временное генерал-губернаторство, объединявшее вышеперечисленные, а также Казанскую губернии, во главе с командующим войсками Казанского военного округа генералом Р.И. Кноррингом (ГАРФ. Ф. 40). Ходили слухи о поджогах, о причастности к ним

поляков и радикально настроенных студентов, однако убедительных доказательств собрано не было.

[21]В конце главы Дмитриев проставил дату окончания работы над ней: «3 августа. 1866».

Глава 23

[1]Выполненные Дмитриевым переводы «Науки поэзии» и «Сатир» Горация вышли в Москве соответственно в 1853 и 1858 гг. В большинстве отзывов на эти труды высоко оценивался сам выбор Дмитриева (обращение к серьезной, классической поэзии в противовес «легкой, ежедневной» литературе — Москвитянин. 1854. Т. 1. № 1. С. 16), добросовестность переводчика, превосходное знание произведений Горация, его языка и эпохи, близость к оригиналу («г. Дмитриев очень хорошо понимает, в чем состоит верность перевода: где того требует необходимость, он с легким отступлением от мертвой буквальности сохраняет истинный смысл»: Современник. 1854. Т. 43. Отд. IV. С. 3; «нам редко случалось видеть даже немецкие переводы, которые бы отличались такою точностию и внешним соответствием с подлинником»: Отечественные записки. 1858. Кн. 1. Июнь. Отд. 2. С. 79), а также справочный аппарат обоих изданий и исправность латинского текста в bilingua («Науке поэзии»). Однако если рецензент «Москвитянина» не сомневался также в высоких художественных достоинствах перевода и владении Дмитриева гекзаметром, то петербургские рецензенты отказывали ему и в том, и в другом: стих «безжизнен <...> всегда исправен, как старый чиновник, но в нем, как и в старом чиновнике, нет искры поэзии», «на каждом шагу встречаются анапесты вместо дактилей» (Отечественные записки. С. 80, 86; см. также: Современник. 1858. № 10. С. 174). Переводы Дмитриева воспроизводятся в современных изданиях римского классика. Круг привлеченной Дмитриевым исследовательской литературы и степень ее использования подробно освещены М.С. Александровой в дипломной работе (кафедра классической филологии филологического факультета МГУ).

[2]Речь идет о Крымской (Восточной) войне, начавшейся в 1853 г. оккупацией российскими войсками Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии). Николай I, начиная войну, не обеспечил ей дипломатической подержки и неудачно выбрал момент для ее начала; в результате Россия оказалась в международной изоляции, а с весны 1854 г. — перед лицом коалиции в составе Турции, Англии, Франции и Сардинии. Дунайские княжества были очищены; 4 сентября состоялась высадка союзников под Евпаторией. Предотвратить их продвижение к Севастополю не удалось, русские войска под командованием адмирала Александра Сергеевича Меншикова (1787—1869) потерпели ряд серьезных поражений. 24 октября, пытаясь предотвратить штурм Севастополя и снять уже начавшуюся осаду города, Меншиков решил нанести удар по английскому корпусу, стоявшему на Инкерманских высотах, однако операция была плохо подготовлена и закончилась полным провалом: осаду снять не удалось, а потери составили около 11 тыс. человек против 5 тыс. у союзников. Другими причинами поражения (кроме слабого командования и неблагоприятной внешнеполитической обстановки) стали военно-техническая отсталость России и связанная с ней неподготовленность русской армии к ведению современного боя. Дмитриев интересовался ходом военных действий и связанными с ними политическими событиями: в *Библиотеке* сохранился многотомный «Сборник

известий, относящихся до настоящей войны» (СПб., 1854—1855. Кн. I—XII; № 9775—9786) с его владельческими записями.

[3]В октябре 1612 г. сдался польский гарнизон, осажденный в Кремле русским ополчением. Так как с ополчением находился взятый из Казани образ Божией Матери, то эта победа естественно связывалась с чудесным заступничеством Богородицы. 22 октября стало вторым праздником Казанской иконы.

[4]*Канкрин* Егор (Георг) Францевич (1774—1845), граф (с 1829) — уроженец г. Ганау (прусская провинция Гессен-Нассау), в России с 1797 г., генерал-интендант русской армии (1813—1820), член Военного совета (1820—1823), член Государственного совета (1822). С 1823 по 1844 г. — министр финансов.

[5]*Багратион* Петр Иванович (1765—1812) — талантливый полководец, участвовал почти во всех войнах России начиная с конца XVIII в. В Отечественную войну 1812 г. командовал 2-й армией.

[6]Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, командир Отдельного Кавказского корпуса (с 1827), наместник Царства Польского (с 1832).

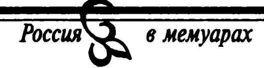
[7]*Перовский* Лев Алексеевич (1792—1856) — граф, генерал от инфантерии, министр внутренних дел (1841—1852), министр уделов с 1852 г.

[8]*Кто государственные люди? Граф Панин и Брок!* — Ср. с аналогичным риторическим восклицанием Н.И. Греча: «Он [А.И. Тургенев] сделался бы превосходным министром финансов или юстиции. А там Вронченко, Брок, Панин!» (*Греч.* С. 294). *Брок* Петр Федорович (1806—1875) — министр финансов в 1853—1858 гг., в 1862—1864 гг. — председатель Департамента государственной экономии Государственного совета. У современников имел репутацию бездарного выскочки (*Лебедев.* № 11. С. 363).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

*В указатель не включены имена мифологических и библейских персонажей, христианских святых (кроме тех случаев, когда это важно для понимания текста).

СОДЕРЖАНИЕ



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Дмитриев Михаил Александрович

ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

Редактор
А.И. Рейтблат

Корректор
Л.Н. Морозова

Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28

ЛР № 061083 от 6 мая 1997 г.
Формат 60×90/16
Бумага офсетная № 1
Усл. печ. л. 47 Заказ № 3716

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В серии «Россия в мемуарах» в 1996—1997 гг. вышли следующие книги:

Н.И. Свешников
Воспоминания пропащего человека

История жизни благородной женщины

Ш. Массон
Секретные записки о России

Вл. Пяст
Встречи

Л.Н. Энгельгардт
Мемуары

россия в мемуарах
ISBN 5-86793-023-8
9 785867 930233